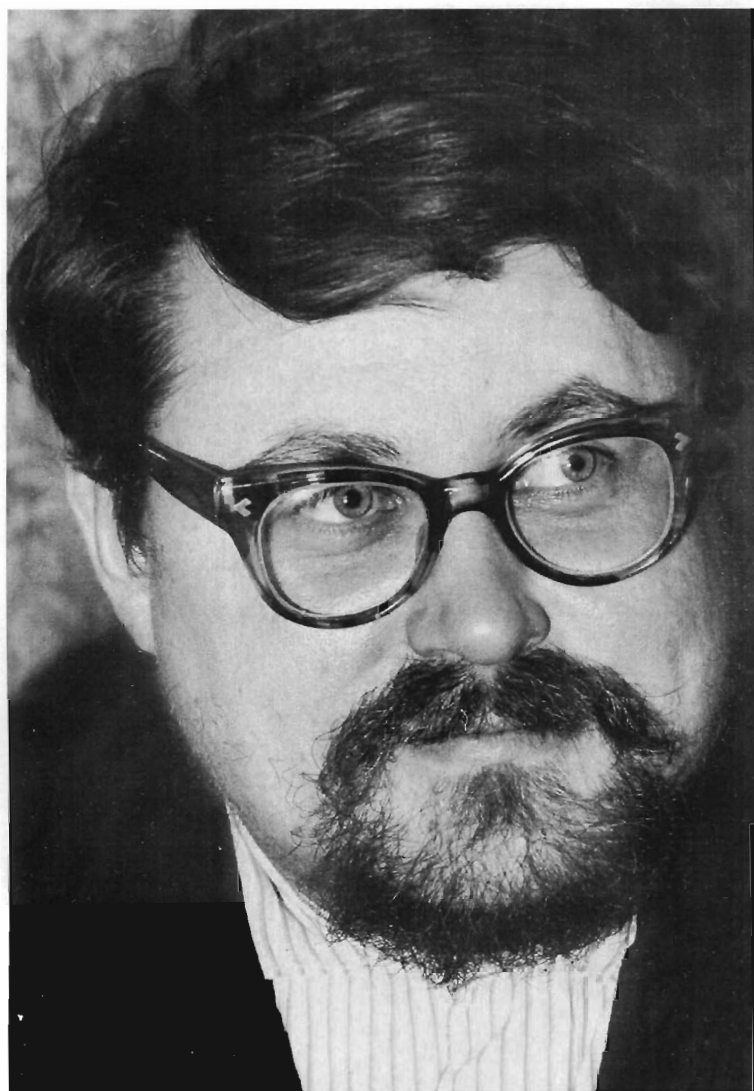




БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

— XVIII —



*Посвящается памяти  
Владимира Николаевича Топорова  
(5 июля 1928 — 5 декабря 2005)*

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
XVIII

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР  
МОСКВА 2009



Издание осуществлено при поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)  
проект № 07-04-16115

Редакционная коллегия:

*А. А. Гиттис, П.-У. Дини, М. В. Завьялова,  
Вяч. Вс. Иванов (отв. редактор серии), С. Каралюнас, Б. Лаумане,  
В. Мажюлис, Н. А. Михайлов, Е. Л. Назарова, С. И. Рыжакова, А. Сабалюскас,  
Б. Стундзя, Т. М. Судник, У. Шмальцитис*

Б 20 Балто-славянские исследования. XVIII: Сб. науч. трудов. —  
М.: Языки славянских культур, 2009. — 648 с., ил.  
ISBN 978-5-9551-0299-3

Настоящий том «Балто-славянских исследований» посвящен памяти одного из создателей серии, на протяжении долгих лет являвшегося душой издания — Владимира Николаевича Топорова. В томе помещены статьи, по тематике близкие сфере интересов Владимира Николаевича в области баллистики и балто-славянских отношений: исследования по этимологии, гидронимии, истории балтийских и славянских языков, наследию пруссов, балтийской мифологии и фольклору. В сборник также включены воспоминания коллег Владимира Николаевича, фотографии. Среди авторов статей — известные балтисты и слависты из России, Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Америки, Италии, Германии.

ББК 81

СОДЕРЖАНИЕ

Докладная записка, написанная В. Н. Топоровым: к предыстории серии «Балто-славянские исследования» .....	7
Беседа В. Н. Топорова с Н. Н. Казанским 26 сентября 2005 г. ....	10
<i>А. Сабалюскас.</i> Несколько деталей к портрету Владимира Николаевича Топорова .....	28
<i>Вяч. Вс. Иванов.</i> Ранняя праиндоевропейская перспектива развития балто-славянской глагольной системы в свете идей В. Н. Топорова .....	40
<i>W. R. Schmalstieg.</i> The *-o stem dative and accusative in Baltic and Slavic .....	66
<i>П. М. Аркадьев.</i> Теория акциональности и литовский глагол .....	72
<i>W. Smoczyński.</i> Grupy spółgłoskowe języka staropruskiego .....	95
<i>В. А. Дыбо.</i> О системе акцентных парадигм в прусском языке .....	131
<i>Б. Стундзя.</i> Составные существительные в Эльбингском словаре .....	183
<i>А. В. Андронов.</i> О петербургском экземпляре II прусского катехизиса .....	205
<i>P. U. Dini.</i> Zur vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen Fassungen von Luthers «Kleinem Katechismus»: Dt. «leyder» und seine Entsprechungen .....	210
<i>Р. Эккерт.</i> Что нам говорят имена собственные о жизни древних пруссов? .....	222
<i>Р. А. Агеева.</i> Топонимические работы В. Н. Топорова. I. ....	235
<i>Ж. Ж. Варбот.</i> О возможности альтернативного истолкования одного гидронимического гнезда .....	250
<i>G. Blažienė.</i> Zu den altpreussischen dehydronymischen Oikonymen (2) .....	254
<i>В. Л. Васильев.</i> Древнеевропейская гидронимия на Русском Северо-Западе .....	262
<i>L. Balode, Dz. Hirša.</i> On several names of Latvian inhabited places .....	279
<i>Ю. С. Лаучюте.</i> Этноязыковые контакты во времени и в пространстве (на материале балтийских и славянских языков) .....	300

ISBN 978-5-9551-0299-3



© Авторы, 2009  
© В. Н. Топоров. Наследники, 2009  
© Языки славянских культур, 2009

<b>Е. А. Хелимский.</b> <i>Аист</i> и его возможные этимологические свойства ники (клёст, глест) .....	313
<b>Н. П. Антропов.</b> По следам одной «птичьей» этимологии .....	319
<b>С. Ю. Темчин.</b> О семантической эволюции лит. <i>laikas</i> , лтш. <i>laiks</i> 'время' .....	326
<b>Д. Киселюнайте.</b> Исследование языка курсениеков Куршской косы: язык информантки Эрики Кальвис .....	342
<b>Ю. И. Смирнов.</b> Перебрасывание единственного топора .....	354
<b>V. Blažek.</b> All Indo-european «smith» .....	369
<b>С. Каралюнас.</b> Древний литовский пантеон и его сравнительно-истори- ческий контекст .....	448
<b>Н. Лауринкене.</b> Земля-мать в литовской народной традиции .....	486
<b>Б. Ясюнайте, Е. Коницкая.</b> Колесница Пяркунаса (атмосферные явле- ния в выражениях с переносным значением: облака) .....	504
<b>Д. Разаускас.</b> Рыба как символ (воз)рождения и жизни .....	528
<b>Н. А. Михайлов, Т. В. Цивьян.</b> <i>Rauda boružei</i> — Плач по божьей коровке (статья В. Н. Топорова и стихотворение М. Мартинайтиса) .....	568
<b>С. Валянтас.</b> В поисках потерянной традиции: поэтическая балти- стика .....	578
<b>В. И. Матузова.</b> Пруссy глазами Петра из Дусбурга .....	606
<b>Е. Л. Назарова.</b> Кришьянис Валдемарс и Федор Чижов .....	614

#### In memoria

<b>С. Т. Лидия Георгиевна Невская</b> .....	633
<b>А. Е. Аникин.</b> Памяти А. П. Непокупного .....	636
<b>Й. Вайшунас.</b> Гинтарас Береснявичюс .....	640

## Докладная записка, написанная В. Н. Топоровым: к предыстории серии «Балто-славянские исследования»

В архиве «Балто-славянских исследований» сохранилась написанная В. Н. Топоровым докладная записка в дирекцию Института славяноведения и балканистики АН с предложением от Сектора структурной типологии об учреждении ежегодника «Balto-balkanica». Дата в ней не указана, но год написания — 1979-й — достоверно определяется по содержанию, в частности по упоминанию балто-славянской конференции.

В декабре 1978 года в Секторе структурной типологии Института славяноведения, руководимом Вяч. Вс. Ивановым, состоялась Первая Международная балто-славянская конференция «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом», в которой принимали участие ученые России, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, Польши, Германии. Участники конференции поддержали предложение об учреждении в Секторе регулярного научного издания по балто-славистике. Тогда же на рассмотрение дирекции и была представлена публикуемая ниже докладная записка, где вопросы балто-славистики предлагалось исследовать в связи с более широким ареалом.

О целесообразности и перспективности такого подхода Владимир Николаевич писал еще в начале 60-х годов прошлого века (см.: К проблеме балто-славянских языковых отношений: положение дел, задачи // Актуальные проблемы славяноведения: Материалы Первого координационного совещ. по актуальным проблемам славяноведения (24-27 января 1961 г.). М., 1961; К проблеме балто-славянских языковых отношений // Краткие сообщения Ин-та славяноведения. Вып. 33/34. 1961 и др.). В этих и позднейших работах ученого обращалось внимание не только на гидронимический континуум, связывающий балтийские территории Прибалтики с Паннонией, Балканами и Адриатикой, но и на уникальные лексические и семантические изоглоссы, совпадения в словообразовании, фонетике и морфологии в языках и диалектах этого ареала, на следы общих представлений из области мифологии. Сообразно с этим в Секторе структурной типологии начиная с 60-х годов велись ареальные и структурно-типологические исследования балканского языкового союза и южной части балтийско-славянского языкового союза; в 1979 г. был проведен симпозиум по структуре текста «Balcano-Balto-Slavica»; целый ряд выполненных в те годы работ был посвящен как раз балто-славяно-балканским фольклорным и мифопоэтическим параллелям.

Тем не менее, предпочтение было отдано другому варианту, и 14 февраля 1980 г. РИСО (редакционно-издательский совет) АН постановил: «Принять предложение Института славяноведения и балканистики АН СССР, поддержанное Отделением истории АН СССР и Отделением литературы и языка АН СССР, об издании ежегодника по проблемам балто-славянского языкознания «Балто-славянские исследования»».

## ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Сектор структурной типологии Института славяноведения и балканистики выдвигает предложение об учреждении научного ежегодника под названием «Balto-balkanica» (25–30 печ. л. в томе).

Предполагается, что это издание будет курироваться Отделением языка и литературы и Отделением истории АН и возглавляться редакционной коллегией из специалистов соответствующего профиля. Ежегодник «Balto-balkanica» планируется как издание, посвященное сравнительно-историческому, ареальному (в плане теории языковых контактов), типологическому и этнокультурному исследованию балканского и балтийского регионов на языковом материале. Выбор и взаимное рассмотрение этих двух ареалов обусловлены целым рядом причин (некоторые из них стали очевидными в результате исследований последнего времени): 1) обнаружение ряда существенных языковых и этнокультурных сходств между балтийским и балканским ареалом в древности, что заставляет предполагать особую интенсивность этнолингвистических связей в эпоху, не засвидетельствованную письменными памятниками; 2) выявление особой роли Балкан как связующего звена в восточной части Средиземноморья (проблема языковых, культурных и этнических связей с Малой Азией и отчасти с Апеннинским и Пиренейским п-овом); 3) признание важного значения пространства от восточной Балтики до Средиземноморья для изучения ранних этапов развития континуума индоевропейских диалектов и соответствующей древней цивилизации (ср. особое внимание, уделяемое этой территории в исследованиях археологов последних 10–15 лет); 4) установление факта теснейших связей славянского этнолингвистического комплекса с языками и культурами южно-балтийского и балканского ареалов, без изучения которых невозможно решение проблемы выделения славянских языков из индоевропейской общности и проблемы славянского этногенеза в целом; 5) признание балтийского и балканского ареалов исключительно интересными и перспективными районами для постановки, проверки и решения важнейших задач ареальной лингвистики (ср. наличие двух разнотипных языковых союзов, балтийско-славянского — Литва, Латвия, Белоруссия, сев.-вост. Польша — и балканского) и общего языкознания (языковое контактирование, передача языковых моделей в пространстве и времени, проблема билингвизма и полилингвизма, лингвистическая география и т. п.).

Выпуск ежегодника такого профиля позволит консолидировать научные усилия многочисленных специалистов в области балтийского, славянского, романского, албанского, греческого, тюркского, палеобал-

канского (фракийского, иллирийского и т. п.), анатолийского языкознания, сконцентрировать внимание на изучении наиболее существенных проблем, организовать в дальнейшем ряд больших коллективных исследований (в частности полевых; следует заметить, что в настоящее время планируется создание Балканского лингвистического атласа усилиями ученых многих стран Юго-Восточной Европы). Несомненно, что, помимо лингвистов, «Balto-balkanica» привлекла бы к себе внимание — и как возможных авторов и как читателей — историков, археологов, фольклористов, специалистов в области изучения культуры. Выпускаемые в последние годы Сектором структурной типологии Института славяноведения и балканистики сборники по балтийской и балканской тематике позволили сплотить круг специалистов по данным специальностям (чему способствуют регулярно проводимые институтом занятия балканистического семинара и конференции по балтистике); сборники пользуются большим интересом и спросом читателей и вызвали весьма положительные отзывы у нас и за границей. Этот факт позволяет надеяться, что учреждение ежегодника «Balto-balkanica» сейчас вполне своевременно: оно отвечает глубоким внутренним запросам нашей науки и поможет дальнейшему ее развитию в новом перспективном направлении.

Предлагаемый состав редколлегии: А. В. Десницкая, Вяч. Вс. Иванов (председатель), В. П. Нерознак, Т. М. Судник, В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян.

*Публикация Т. М. Судник*

## Беседа В. Н. Топорова с Н. Н. Казанским 26 сентября 2005 г. Петербург \*

Ниже приводится текст из видеосюжету Владимира Николаевича Топорова, данного им 26–27 сентября 2005 г. Николаю Николаевичу Казанскому в Санкт-Петербурге у него дома. Это была последняя поездка В. Н. в Петербург; город, к которому он был особенно привязан, последнее его интервью (за 2 месяца до смерти). Н. Н. Казанский предоставил видеозапись редакции, и редакция глубоко признательна ему за это.

Н. Н. — Если можно, спрошу про пятьдесят восьмой год, про конгресс славистов в Москве, приезд Яковсона и про то, что последовало за этим.

В. Н. — Да. Вы знаете, я заранее извинюсь, потому что не чувствую себя человеком устного слова, я, скорее, человек пера. Последнее мне проше дается.

Должен начать с того, что я не ходил на подавляющее большинство лекций, я работал в библиотеке... Я помню, что в университете обычно кончался рабочий день что-нибудь в полтретьего — в три, я брал домой в библиотеке, в подсобной, какие-то книги и к десяти часам вечера их привозил, благо, что на одной линии метро, через три станции...

Пожалуй, больше всего я, и не только я, обязан Петру Саввичу Кузнецову, Михаилу Николаевичу Петерсону... Надо сказать, что они были очень откровенны, притом что в этом не было никакой нарочитости, ни такого вещания человека, который знает все. Так что в этом отношении довольно много впитывалось само по себе, не как что-то обязательное, что надо знать, а на уровне душевном. Те же люди сразу давали понять, что марризм — это просто что-то дикое.

Съезд был в пятьдесят восьмом году. Насколько я помню, последнее заседание в Москве этого «совета избранных» было в предыдущем году, в мае. О Яковсоне мы знали многое, при том что о Яковсоне рассказывал и Петерсон, рассказывал и, видимо уже в устной передаче, Петр Саввич Кузнецов, и — Яковсон был приглашен. Притом что [официально] все делалось, чтобы Яковсона вообще не было.

Надо сказать, что меня поразил цинизм Виктора Владимировича Виноградова. Я представлял самый низкий ранг, а руководил, в частности, Аванесов. Было закрытое заседание, где было очень много незнакомых лиц. Совершенно ясно, что там треть не имела отношения к линг-

вистике. И Виноградов, сам многое переживший и сам много натерпевшийся, вдруг стал говорить совершенно неприлично: говорил, что вообще неизвестно, чем Яковсон занимается — наукой или не наукой, намекал, что он был награжден орденом Почетного легиона, сами, мол, подумайте, — и все это в таком шипящем плане. Притом что о нем нельзя сказать, что он был человеком, лишенным совести. Переживания прошлых лет, когда он и сидел, и все прочее... Он ведь по первому делу славистов, я не знаю, знаете вы или нет, он ведь должен был оклеветать Владимира Николаевича Сидорова. Это была такая группа друзей — Аванесов, Сидоров и Кузнецов. И Виктор Владимирович должен был оклеветать по делу славистов Сидорова. И когда возникла идея Ушаковского словаря русского языка и понадобился Виноградов, то его выпустили раньше срока, и первым делом он пришел к матери Сидорова, упал на колени и сказал: «Простите, я оклеветал Володю», — Владимира Николаевича Сидорова. Так что у него много разного было, и поэтому я не склонен ставить это ему в вину, просто уж такая была ситуация и такое время.

Выступление Яковсона произвело впечатление сразу же. Во-первых, это такая художественная манера, его жестикация. При том, что у него глаз «один на вас, другой в Арзамас», и это тоже играло все время. И он очень быстро менял позы. Я не знаю, запечатлено ли это на пленку...

Н. Н. — Запечатлено.

В. Н. — Запечатлено. Да-да-да. А потом в «Известиях», не в «Известиях», тогда в «Правде», появилась статья анти-яковсоновская, совершенно ложная в своих послылках. И я не выдержал и написал письмо Яковсону, и с тех пор до самой смерти мы переписывались с ним. У меня много писем Яковсона. Потом он водил меня, потом это делала уже его жена Кристина Поморска, водили меня по району, в котором был дом, в котором я родился и жил до войны и после войны до женьгибы. Имя Яковсона было очень хорошо известно. Я не знаю, вы представляете себе Тургеневскую площадь?

Н. Н. — Представляю.

В. Н. — Сейчас, года два назад снесли [этот] дом, который был записан в памятники искусства, [его построил] архитектор Кондратьев в 1902 году, напротив Тургеневской читальни, в которую меня, снисходя к просьбе моего отца, записали еще перд войной, и я туда ходил, хотя это нарушало статус библиотеки, так не полагалось делать. И я с детства слышал имя Яковсона в связи с Лилей Брик. Наш дом стоял прямо против Тургеневской читальни, а за нею проходил трамвай по узкому Водопьяному переулку. И я слышал, это говорили и в квартире, и в доме,

\* Публикуется с разрешения Т. В. и А. В. Топоровых.



Мясницкая улица. Справа церковь Флора и Лавра, в которой крестил В. Н. Топорова (литография Ж. Лемерсье по рисунку С. Дитца «Москва. Императорский почтамт». Вторая треть XIX в.). Репродукция из архива В. Н. Топорова

что это, как будто, такой разврат, и, кроме того, связи с Лубянской (они были, действительно, очень тесные).

В тридцать третьем году моя тетка вышла замуж за молодого человека, отец которого был сапожник, из Шклова, — после революции он жил в подвальном этаже [нашего дома]. К нему приходил сначала сам Дзержинский, чтобы ему сапоги подбили, а потом уже стали от Дзержинского заходить, такая уже связь была и по этой линии. В доме было довольно много людей, которые были связаны с Коминтерном. Особенно много было латышей, но были и немцы, эстонцы, еще кто-то. И уже с тридцать шестого года они стали постепенно исчезать, так что имен их я уже больше никогда не слышал. Так вот, о Якобсоне и об этом круге было определенное мнение, притом что даже больше, чем о Якобсоне, говорили о самом Брике. Его я еще увидел последний раз в сорок пятом году, а после этого, вероятно, через неделю или две прочитал о его смерти. Якобсон был очень тесно связан с Тургеневской читальней.

Во время Первой мировой войны очень много поляков бежало от немцев в Москву, вот в этот район между Мясницкой и Лубянской. Почему туда? Там был храм католический, он, собственно, и сейчас есть... Можно узнать, там сейчас какой-то институт. Я помню, в тридцать восьмом году было объявлено, что ни в каких церквях не должна отмечаться Пасха. И ксендз польский пригласил [православных] в католическую церковь. И вот русский люд пер прямо сплошной толпой, притом что, знаете, чужой храм, все непохоже. Польки все в черных одеяниях, и, конечно, такое сочетание было не очень удачное. И после этого закрыли и эту церковь. Это в Милютинском переулке, он и сейчас называется Милютинским. Это между Мясницкой и Лубянской, посредине. И там же стоит на расстоянии полутора метров собор святого Людовика. Потом уже я читал в каких-то воспоминаниях, мемуарах, как это все было.

Якобсон жил в доме, который до сих пор существует и находится чуть-чуть наискосок от этого бывшего собора, в начале Мясницкой, это угловой дом, где сейчас музей Маяковского, он выходит на Лубянскую площадь. Это, если вы идете к центру, слева, там жил Якобсон. И вот он рассказывал, как они с Трубецким ходили из университета домой, от дома одного до дома другого.

Кроме того, была знаменитая гимназия номер пять, сейчас уже ее место трудно установить, на ее месте Новоарбатский проспект сделали, все разрушили, но церквушку, которая стояла перед этой гимназией, все-таки удалось сохранить.

Якобсону так все здесь нравилось, что он уже преувеличивал, как здесь хорошо и как замечательно было раньше. Рассказывал всякие вещи, например, как он видел Льва Толстого. Он, Якобсон, мальчиком с отцом пошли на угол Рождественки и Кузнецкого моста, там и сейчас банк, это была Московская контора Государственного банка. Ну, и с отцом, значит, он пришел туда, и отец его толкает: «Лев Николаевич Толстой». Так что, видите, повезло ему и Толстого увидеть воочию.

Якобсон использовал каждый случай приехать в Москву, так что это стало уже неотъемлемой составной частью его жизни. Несколько раз были какие-то провокации против него. Один раз мы шли из Президиума Академии наук в сторону Октябрьской площади. И вдруг какой-то мужик пьяный остановил Якобсона и стал материться. Я должен сказать, что просто решительно его оттолкнул... А Якобсон боялся таких вещей. Такие выпады, явные и неявные, были очевидны.

Я не знаю, что еще можно сказать. Якобсон поразил аудиторию... [Его лекцию] устроили незаконным образом, как встречу с ним на кафедре русского языка. И вот он рассказывал. Он, конечно, был такой,

знаете, мастер. Он упоминал то, о чем мы не слышали. Например, говорил о таком математике — по-моему, это Александр Яковлевич Хинчин. (Мой отец учился в Иваново-Вознесенске у него семестр, это был рижский университет, который был эвакуирован в Иваново-Вознесенск.) И [Якобсон] поразил и воспламенил сразу же всех. После этого сразу же — это был конец мая — все с нетерпением стали ждать начала учебного года, и начал работать семинар по структурной лингвистике, который возглавляли Вячеслав Всеволодович [Иванов], математик Добрушин и Петр Саввич Кузнецов. И действительно, все впитывалось моментально, и, может быть, даже слишком бурно все развивалось, так что в этом было и что-то неорганическое. И сейчас, вспоминая это время, понимаешь, что иногда наш энтузиазм играл не лучшую роль. Конечно, ведь так все быстро менялось. Так что, действительно, был такой период «штурм унд дранг».

Н. Н. — Владимир Николаевич, с этим мы пришли к началу шестидесятых годов, да? А шестидесятые годы — это то, уже то, что теперь называют московско-тартуский семиотический круг. Или это отчасти искусственное название?

В. Н. — Вы знаете, это совершенно искусственное название, вы понимаете, москвичи были в гораздо более выгодной ситуации. Во-первых, был машинный перевод, из которого, строго говоря, ничего не получилось, но были уяснены некоторые важные вещи. Читали все, что попало, книги по математике, в которых в лучшем случае могли понять то, что к самой математике даже не относится, вышелушивалась некая идея. Точно так же интерес был такой же к физике. Книги покупались...

Н. Н. — Ну, последнее было обычно в то время. Шестидесятые годы я уже хорошо помню, и книжка Шкловского о вселенной была в каждом доме, без преувеличения... какие-то книги по математике, книги по логике...

В. Н. — У Шкловского хоть понятно было все...

Н. Н. — Он специально писал...

В. Н. — Да-да-да.

Н. Н. — Тем не менее, это было как раз обычно, а вот в шестидесятые годы было ли какое-то общение, которое было важным в становлении и уяснении... или какое-то событие, дата, то, что по-настоящему сопоставимо со Съездом славистов?

В. Н. — Вы знаете, Съезд славистов, с какой-то стороны, был более узким. Были только слависты, правда, вдруг предстали все, кто только возможно. Я вот, например, очень хорошо помню Унбегауна. Я, может быть, говорил уже... Я тогда ошибся этажом во время Съезда. Мне, положим, надо было на девятый, а я приехал на четырнадцатый. И вот

у окна увидел почтенной внешности Унбегауна, который стоял и созерцал всю Москву с высоты четырнадцатого этажа, и вынимал платок, вытирал слезы...

Очень быстро все стало разветвляться. Потому что нам был уже неинтересен машинный перевод, зато были интересны понятия, то, что называют идеями структурализма, потом понятие текста как такового, как особой единицы. Вместе с тем, Вячеслав Всеволодович и я, мы оставались верны сравнительно-историческому языкознанию, индоевропеистике и т. д.

Во время нашего пребывания в университете... это был первый год, когда пришли люди, которые провели все годы войны в армии, на фронте. Уровень был очень низкий, и всех объединяло только одно — что они в какую-нибудь газету своей фронтовой части писали стихи. Стихи, так сказать, искренние, но стихами их можно было назвать условно. Поэтому преподаватели примеривались к ним. Надо сказать, что вели себя очень хорошо. Вот экзамен сдает человек, ну ничего не знает — ставят зачет.

И кроме того, что нас с Вячеславом Всеволодовичем тоже объединяло — это любовь к литературе, знание, большее, чем требовалось на экзаменах. А потом вдруг очень важное событие произошло. Это было в декабре, конец пятидесятых годов: была первая структуралистская конференция, в которой участвовало очень много людей, при том что говорили каждый что хотел, что думал, очень много оригинального, интересного, это все тоже впитывалось.

Это было в декабре<sup>1</sup>. А, по-моему, в апреле следующего года приехал такой ученик, студент Юрия Михайловича Лотмана, Игорь Аполоньевич Чернов. И он рассказал, что Юрий Михайлович Лотман очень интересуется этим, следит за всем, но еще больше следит за всем, что делается в Москве, его жена Зара Григорьевна Минц. И вот Игорь Аполоньевич сказал, что летом будет километра в сорока пяти от Тарту, в Кяэрику, первая семиотическая конференция. И она, действительно, была очень удачная, и время, проведенное нами там, незабываемое было. Через две конференции на третью удалось привезти Якобсона. Представляете, в Эстонию и вообще в какое-то такое масонское общество. И Юрий Михайлович отзывался на все, не боялся выстраивать какие-то построения, которые могли быть совершенно неверными, но всегда в них было что-то важное, интригующее и направляющее. Вы знаете, вот так всегда бывает.

<sup>1</sup> Вероятно, речь идет о Симпозиуме по структурному изучению знаковых систем, состоявшемся в декабре 1962 г.





В. Н. Топоров и Вяч. Вс. Иванов в Секторе структурной типологии Института славяноведения и балканистики. Конец 70-х гг.

Я был на первых четырех летних школах. Мы общались каждый раз, когда Юрий Михайлович приезжал в Москву, мы всегда встречались или у нас, или у Бориса Андреевича Успенского, благо, что мы жили в одном квартале. У меня много писем от него. Кстати, что-то и опубликовано было, издано уже довольно давно. Письма Лотмана и письма ему. Конечно, после Юрия Михайловича уже ни о каком продолжении по существу не могло быть речи. То есть какие-то идеи использовали литературоведы, но никак не лингвисты тартуские. И последнее — это похороны [Юрия Михайловича]. От Москвы была довольно большая делегация. Было понятно, что перевернута какая-то очень важная страница. Так что, вот видите, могу себя считать счастливым человеком, что столько всего видел.

Н. Н. — Владимир Николаевич, кроме совместной работы с Вячеславом Всеволодовичем и серии книг, были ли в шестидесятые годы еще какие-то встречи с людьми, которые заставили как-то по-новому взглянуть на все, системно по-новому?

В. Н. — Шестидесятые годы — это, собственно говоря, тартуские школы, и последний раз, если я не ошибаюсь, я был там в семьдесят четвертом году. После этого я только уже на похороны [Юрия Михайловича] приехал.

Вы знаете, я бы так сказал, что дальше было два пути. Один путь — некоторое расширение круга интересов, хотя и раньше мы с Вячеславом Всеволодовичем интересовались этим — мифология, религия, другие традиции. Это с одной стороны. С другой стороны, переход на несколько более серьезный, как я полагаю, уровень. Уже появлялась и некоторая неловкость от того, что и слишком многое пытаемся охватить, и, так сказать, требование большей что ли строгости.

Н. Н. — Владимир Николаевич, может быть, вы начнете с того, как [он] начался, почему возник — Прусский словарь.

В. Н. — На втором курсе мы с Татьяной Яковлевной<sup>2</sup> и лингвисткой Татьяной Вячеславовной Булыгиной начали заниматься литовским у Петерсона. После этого (а мы были еще свободные люди, не женаты) поехали летом сорок девятого года в Латвию, на Юрмалу. Там ситуация была такая: у Татьяны Яковлевны была путевка в дом отдыха, а я смело решил, что где-нибудь найду [жилье]. Ну, действительно, пришел в один домик такой бедноватый и думаю, тут, наверное, возьмут меня. Женщина с маленьким совсем ребенком сказала, приходите уже прямо, когда надо спать. Я пришел в одиннадцать часов, было совершенно светло, и выходит военный, в форме, и говорит: «Ты куда пришел, такой-сякой...» — и так далее и так далее. Я вынужден был уйти и... ночь или на улице проводить, или еще где-то. У кого-то я спросил, и мне сказали, вы пойдите в Майори... Православный храм там был разрушен, и мне показали [дом священника]. И что же — я пришел, меня приняли, но условие поставили такое: приходите после одиннадцати, а уходить не позже восьми часов. По молодости все это легко переносилось.

И вот, когда в доме отдыха, где была Татьяна Яковлевна, был обед, завтрак, ужин и другие мероприятия, то я где-нибудь на скамеечке сидел и занимался латышским. Как раз тогда вышел самоучитель латышского языка Паэгле. И как-то это все так быстро укладывалось — и уложилось... И был еще дополнительный интерес от того, что сразу появлялись литовские параллели. И когда на каком-то этапе возникла проблема выбора какой-то темы, и я решил — прусский. А если говорить о самом начале, то оно состояло в том, что когда Мажюлис кончил Вильнюсский университет, он попал в аспирантуру в Московский университет, на филологический факультет.

Н. Н. — Он был примерно в одно время с вами?

В. Н. — В одно время. Мы были одного года. Три года мы провели вместе. Познакомились, поговорили, я ему рассказал, каковы мои по-

<sup>2</sup> Жена Владимира Николаевича Татьяна Яковлевна Елизаренкова (17/IX 1929–5/IX 2007), индолог, переводчик Ригведы и Атхарваеды.

знания в области баллистики. И сказал, что очень жалко, что даже в Ленинской библиотеке не было Траутмана<sup>3</sup>. И дал мне книжку, она была тоже не сго, а взята из библиотеки Вильнюсского университета, вернее, на кафедре, и мне просто перепечатали все — работа очень трудная, человеку нынешнего времени, действительно, сложно это представить. И это у меня какое-то время лежало, я просто посматривал, притом что предметом интереса были факты даже не самого прусского языка, а просто — есть ли что-то, что соотносится с известными мне параллелями в других индоевропейских языках. Вы знаете, все время были какие-то мелкие конференции, избыточные, это уже становилось ритуалом. Так как я не выступаю с докладами, то чувствовал даже некоторое неудобство в связи с этим. И так я решил заниматься прусским языком.

Н. Н. — Владимир Николаевич, но ведь это было уже после занятий балтийской топонимикой Москвы... или это параллельно шло?

В. Н. — Это или параллельно, или чуть позже. Но через некоторое время начались неприятности. Во-первых, я числился среди неблагонадежных. Меня несколько раз вызывали на дирекцию. Я говорил то, что думал, и, как ни странно, именно это производило наибольшее впечатление. Я видел, что все присутствовавшие, кроме одного человека, моего сокурсника еще по университету, сильно боялись, что я говорю такие вещи. Такой триумвират был, знаете, как из «Недоросля» Фонвизина: значит, директор был Хренов, заместитель директора Резонов, а ученый секретарь — Шептунов. Вот так скажешь — не поверят. И мой сокурсник, с которым во время университетских занятий даже никакого общения не было, — он был единственный, кто что-то относительно примиряющее говорил... А потом пошли следующие неприятности. Предполагалось, что каждый год я выпускаю по тому. Мне, действительно, хватало пяти-шести месяцев на том, поскольку все материалы к этому времени были в моем распоряжении, и тут особой сложности не было. А когда вышел второй том и встал вопрос о третьем томе, то появился новый директор, даже не помню его фамилию<sup>4</sup>, болгарин из русских болгарских поселений, который меня очень не любил. И поэтому том откладывали неоднократно, потом сказали, что у института есть лимит на печатные листы... в общем, так получилось [что издание прервалось]. Но я не прекращал работы по более мелким темам, жалко было только отойти от прусского совсем.

Н. Н. — И параллельно с этим шли статьи по «Мифам народов мира»?

<sup>3</sup> R. Trautmann. Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Göttingen. 1910.

<sup>4</sup> Д. Ф. Марков.

В. Н. — Это, вы знаете, как раз вещь была несложная, поскольку у меня было достаточно материалов, и это писалось быстро. Возглавлял [издание] Токарев. Он был прагматик, ему тоже казалось все это очень диким. Он считал, что мифология — это просто какие-то сказки, и достаточно просто рассказать содержание, кто с кем сражался, кто чья жена была и так далее. Тут мне повезло, потому что в эту редколлегию входил Елеазар Моисеевич Мелетинский и еще несколько человек, которые, во всяком случае, понимали, для чего это нужно. При том что неловко получилось, когда не пошел подготовленный одним автором большой материал из древнеиндийской и ведийской мифологии, поскольку он оказался недостоверным, со ссылками на источники в лучшем случае XIX века, а с тех пор много сделано было. Так что мне писать было нетрудно, и, кроме всего прочего, это был такой период, когда не хватало денег, а я не отказывал себе в покупке книг, притом что иногда и очень дорогих. Вот так я оказался в числе много написавших в это издание.

Н. Н. — Да, но написавших, пожалуй, самое основное, например о числе, насколько я понимаю.

В. Н. — Да-да, там были и отнюдь не только индологические, были и общие понятия, относящиеся к любой мифологии. Так что, пожалуй, мне больше на эту тему трудно что-либо сказать.

Н. Н. — Но в результате получилось совершенно замечательное издание, и трудно себе представить, что бы мы без него теперь делали. Оно остается замечательным источником, содержащим собственное осмысление очень больших пластов материала.

В. Н. — Я знал, что Токареву это очень не нравилось, но рядом с ним были люди, которые уговаривали его смириться.

Н. Н. — Я отвлек вас вопросом от «Прусского словаря».

В. Н. — Да, да.

Н. Н. — Эти трудности не только задерживали, но и потом, собственно, привели к тому, что словарь остался незавершенным?

В. Н. — Да, уже было общественное мнение в институте, мне неудобно было: такое, знаете ли, мое себялюбие, мне казалось, и одновременно было нежелание писать и писать одно и то же.

Н. Н. — Настолько, что это воспринималось как одна тема, при том что каждая из статей, в общем, это свой большой фрагмент реконструкции текста.

В. Н. — Да, действительно, все так должно было быть, но как-то не получилось. Кроме того, была еще одна причина. Когда я начинал первый том, был один круг источников, литературы и т. д. Кстати, мы, может быть, не всегда отдаем себе отчет в том, что после войны баллисти-

ка вышла на новый уровень. Конечно, лучше всего работали в Литве. В Латвии весьма неважно.

Я помню, нас с Вячеславом Всеволодовичем послали от Института на 85-летие Эндзелина. Это само по себе было очень колоритным событием. Тогда было некоторое потепление, и, значит, решили отпраздновать Эндзелина, хотя известно, что Эндзелин всюду открыто говорил [против власти]. Привели сго, он совсем немощный, за ним ухаживали две или три женщины. Его посадили, у него потерянный, непонимающий взгляд. Причем даже хотели начать в десять часов, но сказали, что он приходит в себя примерно к двум часам дня. Явился тогда первый секретарь компартии Латвии и член Политбюро Калнберзиньш — может быть, вы его еще застали.

Н. Н. — Я, конечно, не помню, но фамилия очень революционная.

В. Н. — Да-да-да. Ну, и выступали, говорили, всё очень хорошо и приятно, до Эндзелина это явно не доходило, он сидел и сидел. И потом вдруг громким голосом председательствующий говорит: «С поздравлением юбиляру выступит полковник такой-то от рижского военного округа». Вскочил бойкий военный, отчеканил. Эндзелин проснулся и воспринял, видимо, только это, притом что горючил этот военный...

Были и другие конференции, куда мы и с Вячеславом Всеволодовичем ездили, и по отдельности. Дело в том, что и для него, и для меня интерес к латышскому языку, первые познания в этой области были связаны именно с пребыванием на Юрмале. Там был Дом творчества писателей, где Вячеслав Всеволодович с родителями довольно долго жил и написал целый цикл стихотворений, я что-то помню наизусть, там такой фрагмент: «Мне кажется, что я попал в страну, где солнцем, как мячом, играют дети, и стонут сосны, отходя ко сну, и рыбаки развешивают сети...» Я помнил все, во всяком случае из этого периода.

Н. Н. — После войны многие ученики Эндзелина оказались в Швеции и основали там латышскую академию.

В. Н. — Да-да-да.

Н. Н. — В восьмидесятом году мы ездили в Ригу на конференцию, и там была Руке-Дравиня.

В. Н. — Руке-Дравиня, да. У меня с ней была долгая переписка, хотя началось это с переписки с Дравиньшем. Действительно, вся леттонистика была в Скандинавии, и не только в Скандинавии. Гатерс был... Было несколько талантливых молодых леттонистов уже перед самой войной, которые в основном печатались в этом журнале.

А ситуация в Литве меня удивила с самого начала. У нас с третьего курса в университете появился литовец, собственно, литовский еврей, сын какого-то очень видного, еще досоветского, адвоката, Додик Юде-

лявичюс. Когда я учился на третьем курсе, он подключился к этому третьему курсу. И он знал, что я занимаюсь литовским у Петерсона, и знал, что мы с Татьяной Яковлевной собираемся летом поехать в Литву — в Каунас, поскольку там литовский лучше, чем в Вильнюсе, естественно. И когда он узнал, что мы собираемся в Литву, он сказал: «Первым делом идите к Зинкявичюсу». Когда мы приехали, я не искал знакомств, я занимался там в библиотеке академической и университетской и в Институте литовского языка.

Н. Н. — А все это было еще в Каунасе?

В. Н. — Нет, это было в Вильнюсе. В Каунасе я ничем не занимался, кроме того, что читал какие-то книги на литовском языке. Ну вот, и как-то я занимался в библиотеке Института литовского языка, и вдруг входит очень энергичный человек [Зинкявичюс] и сразу: «Топоровас?» И действительно, он очень многим помог. Потом мы не раз останавливались у него. У него поразительная библиотека, поразительное умение организовать материал, притом все так четко размечено...

Н. Н. — Его шеститомная «История литовского языка» содержит колоссальный объем информации и глубоко проработана...

В. Н. — Да-да, поразительно. И по диалектологии этот толстый том.

Н. Н. — Он когда-то останавливался у нас, приезжая в Петербург, и выискивал специально тома хроник, русских летописей западных, для того чтобы размечать языковые факты.

В. Н. — Он поразительно работал, да. Вы помните или нет такую фигуру в первом парламенте — Ландсбергис?

Н. Н. — Да, конечно.

В. Н. — Его дед, собственно говоря, и был основателем независимой Литвы после Первой мировой войны. Ландсбергис, ценя Зинкявичюса, очень захотел, чтобы тот управлял просвещением. Зинкявичюс согласился, скорес, чтобы не отказывать Ландсбергису. А потом он написал книжку «Kai aš buvau ministras», вот в таком духе.

Н. Н. — На самом деле, конечно, лучше было бы, если бы была организована комиссия мудрецов по реформированию образования, которая бы вырабатывала стратегию. Этого очень не хватает. Владимир Николаевич, тем не менее, в Литве над новым этимологическим словарем никто не работал в это время. В Латвии просто и некому было.

В. Н. — Карулис — вы знаете? — два тома.

Н. Н. — Но это появилось значительно позже. И тем не менее, вы выбрали прусский, а не литовский и не латышский.

В. Н. — Вы понимаете, о литовском уже были сообщения в печати, что над этим работает Френкель.

Н. Н. — Френкель все-таки уже вышел к этому времени.

В. Н. — В пятидесятом году.

Н. Н. — Но ясно было, что учтены в полной мере материалы скорее тридцатых годов, а сороковых уже не в такой степени. В семидесятые годы уже существовал огромный массив, который в словарь Френкеля не вошел. У Френкеля имеются некоторые странности в построении самих словарных статей, которых вы наверняка бы избежали, т. е. словарь, может быть, даже в тот момент, когда он и выходил, уже казался слегка устаревшим, — но все-таки он был.

Потом примерно в то же время, когда вы взялись за прусский, но все-таки позже, Летас Палмайтис возглавил группу литовского этимологического словаря в университете. Кажется, из этого так ничего и не вышло. Но, тем не менее, в этот момент в области баллистики была возможность выбора. И ясно, что прусский — это не была случайность.

В. Н. — Как вам сказать. Тут были такие параллельные вещи. Например, источник начала второй половины XIX века, Маннхардт, «Letto-Preussische Götterlehre», переизданный в 1936 году в Риге. Меня он очень интересовал, а в московских библиотеках его нигде не было. И вот тут повезло. Петр Григорьевич Богатырев, фольклорист, переезжал с одной квартиры на другую, позвонил мне и сказал, что у него есть для меня книги. И среди них оказался «Letto-Preussische Götterlehre». Так что у меня это есть. А буквально недели две-три назад мне понадобилась для чего-то эта книга — и не нахожу ее, хотя знаю, что есть максимум два места, где она может быть. Эти места известны. Не мог найти, и даже решил, что когда Коля Михайлов приехал из Италии и хотел продолжать занятия баллистикой, я ему дал эту книгу, притом что он хотел заниматься не языком — вообще языки он поразительно знает, совершенно...

Н. Н. — И то, что он защищал диссертацию по-голландски... По моему, это язык, на котором говорить просто невозможно.

В. Н. — Да-да-да. Там ведь целый ряд выдающихся лингвистов, в частности покойный индолог Кёйпер совершенно замечательный, говорили, что голландский язык надо просто спасать. Так вот, после того как я смирился, а Коли не было, Татьяна Владимировна [Цивьян], посмотрев по верхам, ничего не нашла. И действительно, у них книги не было. Просто это уже, знаете, признаки распада. Я прекрасно знаю эту книгу, все время с ней работал, она лежала на своем месте. И вот сейчас я в том периоде, когда вот такие странности, провалы.

Н. Н. — Владимир Николаевич, мой дед говорил, что книги прячутся иногда специально.

В. Н. — Прячутся! Именно. Притом что, вы знаете, твердо помнишь внешний вид...

Н. Н. — И чем лучше помнишь, тем хуже находятся.

В. Н. — Да-да-да. Вот это я сейчас вполне в этом состоянии нахожусь.

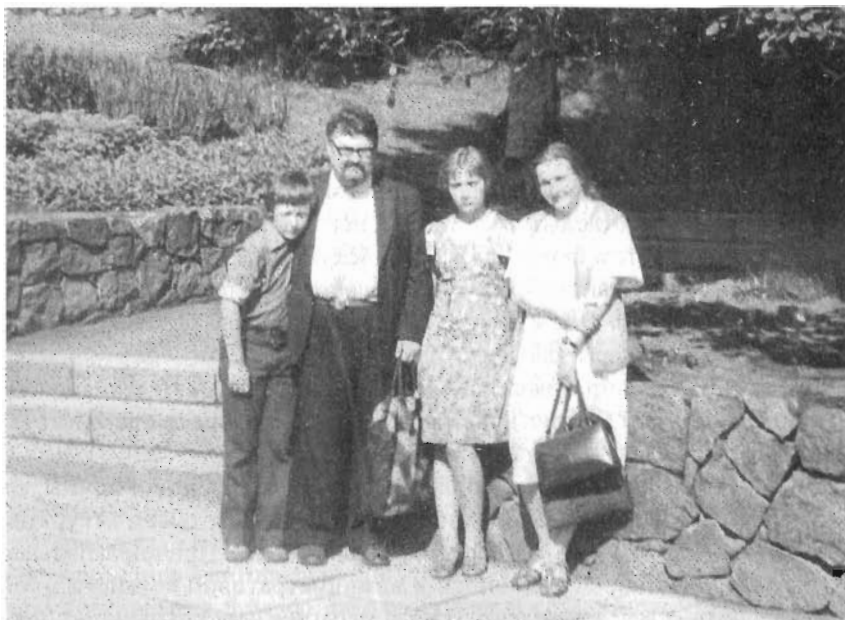
Так вот, о латышском этимологическом словаре Карулиса, двухтомном. У нас с Карулисом были очень тесные отношения, и мы чуть ли не каждое лето с середины 80-х годов приезжали к нему в Дзинтари и жили там у него в отдельном домике. У него изумительная библиотека была, которую потом передали в Латвийскую академическую библиотеку. Но он не лингвист, совсем не лингвист. Приходится удивляться, как он написал это. Но, конечно, продолжает оставаться неотложной задача создания нового словаря.

Н. Н. — Владимир Николаевич, тем не менее, прусский давал основу для более широкой баллистики, для того, чтобы провести реконструкцию более всеохватно — от пруссов до голяди?

В. Н. — Вы знаете, тут еще было одно обстоятельство: немцы, их экспансия, завоевание Пруссии и так далее. Немцы очень аккуратно записывали все, что только можно было записывать. Причем записывали не только вещи, относящиеся к административно-хозяйственной деятельности, а все, что можно. И на немецком языке сохранилась масса текстов — ну, масса, может быть, по сравнению с литовскими и латышскими текстами этого времени, которых вообще еще не было. У меня как раз есть такой том, который был издан еще в девятнадцатом веке (с тех пор не очень много нового появилось), с текстами, как стихотворными, так и прозаическими, относящимися к Пруссии в самых различных аспектах. Понимаете, если б свои немцы были во многих других местах, то многое несколько иначе бы было. Кроме того, очень много прутенизмов в немецких говорах Восточной Пруссии, я тоже, кстати, этим занимался. Еще в одно из первых посещений Вильнюса в середине пятидесятых годов, я нашел словарь такого Цисмера (Cissemer пишется), огромные тетради, и там прутенизмы. Их так много. Но так как у нас в библиотеках этого словаря нет, я знакомился с ним во время наездов в Вильнюс. В польских говорах много заимствований. Очень интересно, что есть заимствования в кашубском языке, то есть на крайнем северо-западе этой территории. Один священник, сейчас уже покойный, издал восемь томов кашубского словаря<sup>5</sup>. Он не лингвист был, его интересовало только кашубское, притом некоторые статьи превращались в некий этюд, с объяснениями, какие есть пословицы на данное слово и так далее.

<sup>5</sup> B. Sychta. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967-1976. Т. 1-7.





Во время экспедиции в Пелясу (слева направо): Коля Михайлов, В. Н. Топоров, Аня Топорова, Т. М. Судник. Вильнюс, 1979 г. Фото Т. В. Цивьян

Еще в середине восьмидесятых годов, может быть, несколько раньше, я получил письмо лютеранского священника, он жил в небольшом городишке где-то в окрестностях Гамбурга. Он во время войны был призван и воевал. И писал мне, что каким-то образом что-то прочитал, и предлагает новые балтизмы в говорах далеко к западу от Вислы. Он успел выпустить, видимо на свои собственные средства, примерно шесть-семь книг, одни касаются истории, в других — попытки лингвистической интерпретации. Мы с ним довольно долго переписывались. Потом он умер, его жена прислала мне письмо и фотографию его. Если будете у нас, я просто хочу ее вам показать.

Потом была большая неприятность. Приехал президент Академии наук ГДР в Москву. Естественно, он вращался на самых верхах академических. Кто-то сказал, что такое безобразие происходит, что пытаются отдавать балтам и пруссам все по Рейн включительно. Меня тоже вызвал вице-президент Академии нашей, при том что представлений у него об этом никаких не было. Я, не подумав, говорил, если можно так сказать, профессионально, а для него это было какой-то дичью. И, конечно, ему наплевать было на то, что я думаю, но ему надо было угодить своим немецким друзьям.

Так что, вот видите, набирается довольно много воспоминаний. Конечно, стоило бы даже записать, но сейчас уже боюсь, что и память не та.

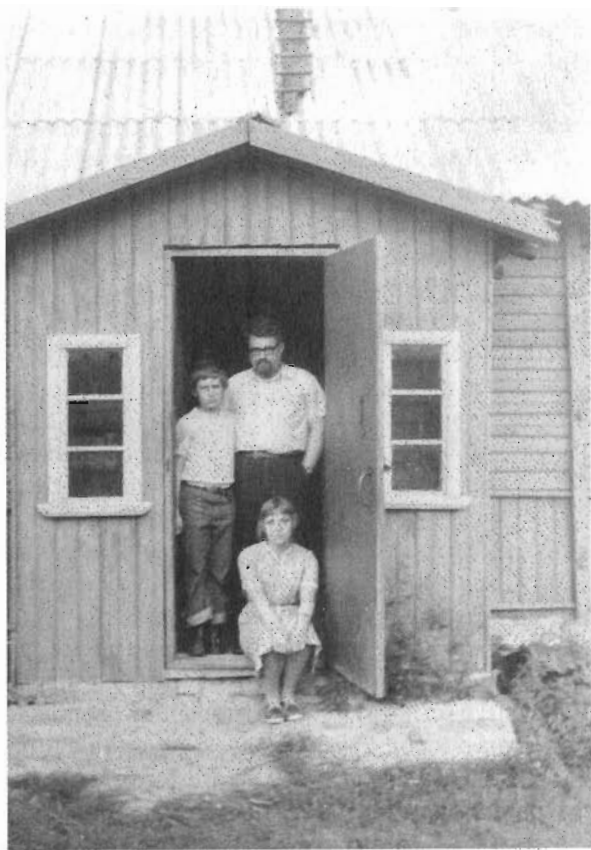
Совершенно очевидно, что это вопиющее положение, что в Московском университете не преподают балтийские языки. Иногда бывает периодически, осядет кто-то, знающий литовский язык, но не имеющий никакого отношения к науке.

У меня глубокое убеждение в том, что праславянский — это поздняя филиация не просто балтийских, а именно прусских диалектов. Есть книга американского лингвиста Шмальштига (он тоже как-то приезжал, даже останавливался у нас) о прутенизмах в славянских языках. У меня его книга есть и много статей.

Вы понимаете, удивительная вещь: если вы будете от Балтийского моря идти на юг до Судет, на границе северной Чехии (есть полное издание топонимии этих мест), там будет много десятков названий, производных от *прус-*: *Прусы* и т. п. Есть мнение польского историка Лабуды, он считает, что сюда ссылали пленных пруссов, что мне кажется неверным. И надо сказать, что есть названия, идущие и от литовцев, но они явно поздние, тут нет никаких сомнений.

А я, кроме того, вспомнил, как мы были в свое время<sup>6</sup> в Пелясе, ряд сотрудников сектора, в котором я работаю. Там же была Татьяна Владимировна [Цивьян] с [сыном] Колей, который заговорил на пелясском говоре буквально на второй-третий день, с мальчишками. Так что он лучше всех знал пелясский говор. И была тоже сотрудница нашего сектора — сейчас она, правда, не работает — Тамара Судник. Она как раз неплохо знала литовский язык, и у нее тоже был дар имитации. К сожалению, она без всяких видимых причин прекратила работу, а у нее были очень интересные данные об инфильтрации из Восточной Пруссии на юг Литвы, вернее, это административно даже не юг Литвы, а Вороновский район Белоруссии. У нас там было приключение — не знаю, до вас дошло или нет. Вдруг в одно воскресенье приезжает глава милиции Вороновского района Белорусской ССР. Такой энергичный мужик, при нем еще какой-то помощник: «Вы какое имеете право появляться здесь?» Я ему говорю, это не ваше дело, а если вас действительно интересует, то это экспедиция, у нас есть направление из Института. Потом он бесцеремонно пошел в комнату, которая выполняла роль спальни, видит Евангелие на литовском языке, и был еще большого формата, малополезный — издание Московской патриархии — Вестник Московской патриархии. Увидели они это — и собрались посадить нас в ма-

<sup>6</sup> В 1979 г.



Во время экспедиции в Пелясу: Коля Михайлов, В. Н. Топоров и Аня Топорова у дома, в котором они жили в Пелясе. 1979 г. Фото Т. В. Цивьян

шину и везти в Вороново, и там творить праведный суд. Но нам очень повезло. В это время там был уроженец этого места, Изидорюс Шимелёнис, — у него родители похоронены там, он сам из Пелясы (есть специалистка по литовской мифологии Ниёле Лауринкене, она сейчас в Испании, жена посла Литвы в Испании, — его дочь). И вот, Шимелёнис говорит: «Они приехали ко мне, здесь похоронены мои родители, я всю жизнь, кроме концлагерей, провел здесь». И он был настолько энергичен, сказал, что сам поедет в Вороново, и, видимо, этот мильтон, как раньше говорили, сам понял, что лучше не связываться. А года четыре-пять тому назад Шимелёнис издал толстый том большого формата — воспоминания о своем детстве, молодости, о Пелясе, об окрест-

ных деревеньках. И дружеские отношения с ним потом перешли в дружбу с его дочерью.

Кроме того, как раз когда мы там были, живя в здании школы, естественно, летом пустовавшей, приехала большая группа литовцев во главе с очень симпатичным человеком, знаете, таким носителем литовскости в высоком очень плане, и он, считая, что этим русским или белорусам никакого дела до Литвы нет, просвещал приехавших литовцев. Их много было, я думаю, десятка два-три. И это тоже было причиной для клеветы, тем более что руководитель этой группы говорил по-литовски, и его нельзя было поймать — литовского там никто практически не знает. И я вдруг понял, что должен что-то сказать, и сказал более резко — то, что литовцу явно не позволено в те времена было. Вообще в Литве хорошо подготовились к принятию независимости, очень многое делалось заранее, и целый ряд старых памятников они заранее готовили...

Так что, видите, я сам, при всех провалах, что-то вспоминаю. Хотелось бы для самого себя вкратце записать.

Н. Н. — На самом деле, потрясающие встречи и потрясающие экспедиции и настойчивость в осмыслении всего этого. Я помню, как вы мне рассказывали о ярмарках, которые собирают людей не просто из окрестных деревень, но куда специально приезжают за сто верст непонятно зачем. Вы тогда сравнивали это с перелетными птицами. Конечно, если бы сколько-нибудь детально это можно было бы описать, это были бы потрясающие материалы, которые так, без экспедиций, невозможно собрать.

*Запись расшифрована М. Н. Толстой,  
текст подготовлен к печати  
М. В. Завьяловой и Т. В. Цивьян*



А. САБАЛЯУСКАС

## Несколько деталей к портрету Владимира Николаевича Топорова\*

В конце 2005 года балтистику постиг болезненный удар. 5 декабря, после тяжелой болезни (инфаркт, воспаление легких), на 78-м году жизни, нас покинул академик Владимир Николаевич Топоров. Российская наука лишилась одной из самых светлых личностей. Эта утрата также безмерно тяжела и для литовской и латышской филологии, которую покойный обогатил прекрасными исследованиями, и вообще для людей, ценящих культуру, небезразличных к будущему народа. Исследование балтийских языков и древних культур для Топорова не было просто профессией. Это было моральной задачей ученого. Такое кредо он сформулировал в предисловии к «Словарю прусского языка»: «Исчезновение пруссов — утрата для человечества и человечности, и попытка возродить потерянные культуры связана уже с задачами морального порядка».

Автор этой статьи за свою не такую уж короткую жизнь не встречал другого человека, в котором бы так гармонично сочетались уникальный талант, работоспособность, скромность и необычайное уважение к работе другого.

Кажется, в 1960 г. в Институте литовского языка и литературы состоялась встреча с секретарем редколлегии журнала «Вопросы языкознания», правнуком Льва Толстого, Никитой Толстым. Руководство института поручило мне позаботиться о госте. Вы вместе ходили по старому Вильнюсу. Я был очень удивлен, когда гость перекрестился в церкви у Ворот Зари (ведь это были времена воинствующего атеизма!), пожертвовал деньги на свечи и объяснил сидевшему там монаху, за каких умерших он должен помолиться. Невольно речь зашла о Топорове. Незадолго до этого в Москве вышел переведенный им с языка пали шедевр буддистской литературы «Дхаммапада». Из письма Топорова (23.11.1960) я узнал неприятную историю этого издания. Книгу выпустил Институт востоковедения Академии наук СССР. Ее уже начали продавать в книжном киоске этого института. Однако через 3–4 дня ее распространение было приостановлено: переводчик во вступительной статье пишет о религиозных представлениях, не дает марксистской оцен-

ки этого буддистского произведения. Уже было продано около 150 экземпляров (тираж книги — 40 тысяч). Однако ситуация, кажется, улучшается. Топоров надеется, что хотя бы небольшая часть тиража попадет в книжные магазины. Вскоре он прислал мне эту книгу. Возможно, совсем задержав распространение издания сочли неудобным, поскольку его ответственным редактором был Юрий Рерих. Вступление к книге мне очень понравилось. Особенно вдохновенно о ней говорил Н. И. Толстой. Меня заинтриговало еще и то, что она была посвящена «памяти В. С. Воробьева-Десятовского». Я не знал, кто этот человек. Н. И. Толстой мне объяснил, что Топоров с ним, возможно, никогда и не встречался, однако за что-то испытывал к нему особое уважение. Намного позднее я узнал, что это был русский востоковед, не доживший даже до тридцати лет. Когда я начал рассказывать Н. И. Толстому о скромности Топорова, он, словно обобщая, сказал: «Знаете — он просто святой». Мне и сейчас кажется, что эти слова Н. И. Толстого очень подходят для характеристики личности Топорова.

Перевод «Дхаммапады» с этой «скандальной» вступительной статьей в 1996 г. был издан чуть ли не в пятый раз.

Мое косвенное знакомство с Топоровым началось весной 1956 г. Сначала я услышал о нем от Зигмаса Зинкявичюса. Об этом, не известном мне до тех пор московском лингвисте мой бывший преподаватель говорил с большим уважением, характеризовал его как очень дружелюбного и простого. Наконец однажды З. Зинкявичюс показал мне и письмо Топорова, в котором было упомянуто мое имя. Там было написано, что он с Сабалаяускасом уже «косвенно знаком», поскольку в какой-то библиотеке хотел получить произведение Яниса Эндзелина «Древнепрусский язык», но ему объяснили, что эту книгу взял Сабалаяускас. В моих отношениях с Топоровым эта книга имеет определенное символическое значение. Когда в 1959 г. латышская лингвистка Д. Земзаре подарила мне это издание, я сразу его отправил Топорову. Он сделал его копию, вероятно, на протяжении многих лет это была его настольная книга.

Весной 1957 г. я в качестве аспиранта Института литовского языка и литературы получил месячную командировку в Москву. З. Зинкявичюс попросил меня передать письмо Топорову. Однажды я позвонил по данному мне телефону. Все вспоминаю ту затруднительную ситуацию, над которой опекавший меня в университетские времена друг, геолог Пранас Раудонис, помирал со смеху — когда мне надо было по-русски сказать имя и отчество. *Владимир* получалось хорошо, но когда нужно было говорить *Николаевич*, я или совсем его забывал, или не мог правильно произнести. С русскими именами и отчествами у меня и позже бывали проблемы. Помню, однажды я спросил Топорова, могу

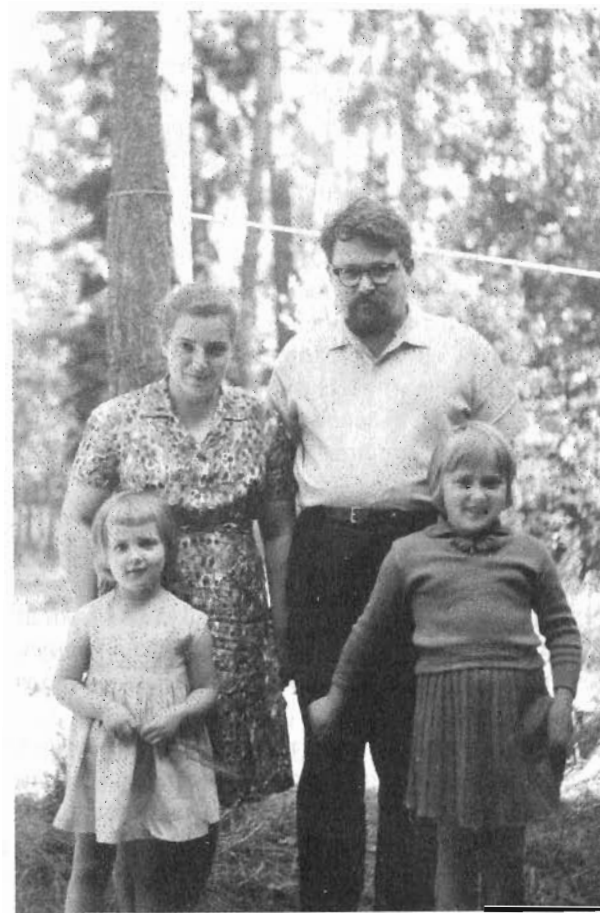
\* Впервые было опубликовано на литовском языке в: Šiaurės Atėnai, № 14 (792) от 8 апреля 2006 г.

ли я вместо *Самуил Борисович* сказать *профессор Бернштейн*. Он мне объяснил, что сказать-то могу, но люди, услышав такое обращение, подумали бы, что «какой уж он профессор, этот твой Бернштейн».

Наконец я решился оправиться к Топорову. Шел пешком. Путь начал от Красной площади. Когда сильно устав, дошел до *Ленинградского шоссе, 68/70* (они тогда жили у родителей жены), мне показалось, что я уже прошел пол-Москвы. Открыл мне сам Топоров. Это был еще молодой, полный, бородатый, голубоглазый мужчина в очках, говорил очень мягким голосом. Всей своей внешностью он мне напомнил русских интеллигентов XIX в. Он извинялся, что только недавно проснулся, поскольку имеет плохую привычку — любит работать по ночам. Я был встречен очень радушно, чувствовал себя так, будто попал к старым друзьям, с которыми давно не виделся. Жена Топорова Татьяна Елизаренкова объяснила, что они отдыхали в Литве, знают Витаутаса Мажюлиса, З. Зинкявичюса. Она мне показалась очень красивой, элегантной женщиной, намного младше мужа (хотя на самом деле она была младше его только на год), с восточными чертами. К этим чертам словно очень подходила и ее специальность — индийская филология. Очень интеллигентная, также с восточными, может быть несколько более строгими чертами лица была и ее мать, тогда выглядевшая еще довольно молодо.

Через несколько дней я снова был у них. С Топоровым мы гуляли по городу. Он мне показал интересные места в старом городе. Показал дом, в котором жили его родители. Недалеко от этого места был и католический костел, где он впервые столкнулся с литовцами. По дороге в школу он иногда видел идущих из костела людей, языка которых он совсем не понимал. И только намного позже ему стало ясно, что это были литовцы. Рассказал он мне и как на площади перед этим костелом за ночь поменяли мостовую. В Москву должен был приехать генерал Шарль де Голль, а он ведь католик, захочет помолиться в Москве...

Я ознакомился с рукописью кандидатской диссертации Топорова. Это были два тома по шестьсот страниц. Я знал, что во время защиты этой диссертации оба оппонента сказали, что за эту диссертацию можно дать не только степень кандидата, но и доктора наук. В 1961 г. эта диссертация была выпущена отдельной книгой — «Локатив славянских языков». В ней детально описана и история литовского местного падежа. Большое впечатление на меня произвела библиотека Топорова. На некоторые книги он сам обратил мое внимание. На его столе лежал огромный том «*Fog Roman Jakobson*». Это был сборник статей, выпущенный в честь шестидесятилетия этого филолога. Топоров мне много рассказывал о нем. До тех пор я о нем ничего не слышал! А когда увидел, что в книге, помимо множества интересных публикаций, есть и статья Аль-



Владимир Николаевич, Татьяна Яковлевна  
и дети Аня и Таня, конец 1960-х годов

фреда Сенна «Винцас Креве и литовский фольклор», не удержался и попросил эту книгу на несколько дней. Ведь тогда А. Сенн, а еще совсем недавно и В. Креве-Мицкявичюс для нас были как запретный плод.

Хотя Топорову эта книга и не принадлежала, он мне ее любезно одолжил. Я все больше убеждался, как много знает этот человек и как приятно слушать его рассказы. Когда я спросил, какой, по его мнению, лучший современный русский поэт, он, к большому моему удивлению, без колебания сказал — Борис Пастернак. И тут же начал декламировать что-то из его поэзии. Этот поэт мне был до тех пор неизвестен. А самый значительный современный русский лингвист, по мнению Топо-

рова, — «такой совсем еще молодой Вячеслав Иванов». Для меня это были все новые и новые «открытия». Кроме того, с высоты моих теперешних лет кажется, что и Топоров тогда был очень молод.

В то время я был горячим почитателем Сергея Есенина. Где только представлялась возможность, громко декламировал его стихи. Даже сейчас, если бывает возвышенное настроение и подходящая аудитория, иногда не могу удержаться от чтения его «Письма к матери» (в переводе Саломеи Нерис). Мне очень хотелось посетить могилу поэта. На Новодевичьем кладбище я его не нашел. Топоров знал, где его могила, и предложил мне уже на следующий день ее посетить. Название кладбища я забыл<sup>1</sup>. Помню, что там похоронены многие известные русские художники (Суриков, Саврасов). На могиле Есенина тогда стоял очень простой памятник. В глаза бросились несколько еще не увядших букетов. Больше всего меня взволновало прижавшееся к могиле Есенина скромное надгробие женщины, которая решила уйти из жизни на могиле любимого. Топоров показал и находящееся там же кладбище московских армян.

Я вновь должен был посетить Топорова. Всякий раз меня угощали. Во время наших бесед я не переставал удивляться его знанию литовских лингвистов и их работ. Из Москвы в тот раз я вернулся счастливым. Я почувствовал, что нашел там людей, к которым хотелось вернуться снова.

Первым Топорова приобщил к литуанистике профессор Михаил Петерсон. Этот профессор познакомил тогда еще первокурсника Топорова и группу его друзей с основами санскрита. А на следующий год на филологическом факультете Московского университета он уже преподавал и литовский язык. Состав студентов был тот же. Хотя шел уже 1948 год, он читал литовские сказки по немецкой книге Августа Шлейхера «Хрестоматия и словарь литовского языка», выпущенной в 1857 г. в Праге. Так что лекции Петерсона для его учеников были еще и стимулом лучше выучить немецкий язык. Однажды во время каникул Топоров один для себя последовательно повторил курс лекций Петерсона. Его особенно привлекало то, что он мог встретить в нем так много интересных фактов, необходимых для изучения славянских языков. В Литву Топоров приехал в первый год аспирантуры. Перед этой поездкой ученый, его жена и Татьяна Булыгина две недели интенсивно учили разговорный литовский язык. На этот раз учителем был воспитанник Московского университета, экономист, будущий доцент литовской высшей школы, а в одно время даже председатель колхоза Альфонсас Бункус.

<sup>1</sup> Ваганьковское (прим. ред.).



В. Н. Топоров в своем кабинете. Конец 60-х годов.

Топоров знал множество языков. Учил их легко. Однако у него не было «таланта попугая». Свободно по-литовски он мог говорить только с детьми, когда не слышат взрослые. Когда он учил дочерей языкам, они уже через два-три месяца начинали критиковать произношение отца. Очень красиво литовские слова произносила его жена, окончившая университет по специальности «английский язык». Однажды на Куршской косе Топоровы искали комнату и никак не могли найти. Жене пришла в голову мысль, что комнату надо попробовать искать по-литовски. Топоров написал «сценарий» вежливого разговора. Жена его так прекрасно выучила, что комнату они получили сразу. Позднее хозяева избегали жену — при ней не говорили по-литовски все подряд, а насчет Топорова они были спокойны: он все равно ничего не понимает...

Другая очень запомнившаяся мне встреча с Топоровым состоялась 21 февраля 1958 г. в Риге. Собираясь представить к Ленинской премии «Граматику латышского языка» Эндзелина, латыши по случаю восьмидесятипятилетней годовщины со дня рождения великого ученого устроили грандиозное празднество. На него пригласили множество гостей из разных республик. Латышского ученого поздравлял даже какой-то начальник прибалтийского военного гарнизона. Ирония судьбы: произведение, за которое Эндзелин получил Ленинскую премию, в

1941 г. власти советской Латвии собирались уничтожить, поскольку в предисловии к его немецкому изданию 1922 г. была фраза, неуважительно отзывающаяся о событиях октябрьской революции.

Топорова я увидел накануне праздника на улице, идущего очень быстрыми шагами с каким-то не известным мне молодым человеком с почти детским лицом. Я сразу предположил, что это и есть тот самый «такой совсем еще молодой», по мнению Топорова, самый известный современный русский лингвист. Я не ошибся. Тогда, конечно, я еще не мог предположить, какой удачной будет деятельность этих двух хороших друзей, зачастую и соавторов, в области балтийского языкознания, истории культуры древних балтов.

Летом того же года я опять встретился с обоими лингвистами в Вильнюсе. А встреча эта была знаменательна тем, что Топоров, по просьбе директора института Йонаса Круопаса, согласился стать оппонентом моей диссертации.

Помню и наш обед в ресторане «Вильнюс». Когда договорились, что мы будем есть, я спросил у гостей, что мы будем пить. Топоров объяснил, что он абстинент. Иванов сказал, что он, как тот старый моряк, пьет все, кроме керосина и воды, а иногда и керосин, но воду никогда...

На другой день с группой сотрудников Института литовского языка и литературы мы отправились на литовские островки на территории Белоруссии, в этот полубившийся уже с конца XIX в. лингвистам всего мира несчастный край. Мы волновались, как там будут себя чувствовать наши гости, привыкшие к жизни интеллигентов в большом городе. Волновались напрасно — гости чувствовали себя прекрасно. В окрестностях Дятлова и Лазун литовцев тогда еще было много. Всюду нас встречали приветливо. Правда, мы не избежали некоторых проблем из-за угощений.

Кажется, уже в первый день экспедиции хозяин одной усадьбы пришел нас поприветствовать. В руках у него была бутылка самогона и стакан. Прежде всего он налил Топорову. Тот отказался. Наш хозяин был удивлен: русский, да еще с бородой, и не пьет водку. Однако эту неловкую ситуацию неожиданно спасла одна женщина, спросила, не баптист ли Топоров. «Да, да, я баптист», — ответил ученый. Это «волшебное слово» Топорова спасало во время всей экспедиции. Честь участников экспедиции спас Иванов. Когда стакан налили ему, он, даже не поморщившись, выпил и любезно поблагодарил. После второго стакана его благодарность была еще более любезной. Только не подумайте, что он был пьяницей. Пьяным я его никогда не видел.

Были и другие беды. Однажды мы втроем довольно сильно удалились от основной нашей базы. Когда спросили дорогу назад, нам объяснили, что по обходной дороге будет около пяти километров, а прямо через болота дорога вдвое короче. Мы, конечно, выбрали более короткий путь. К сожалению, мы сильно ошиблись. Были моменты, когда казалось, что из болот мы никогда не выберемся. Я, в детстве набегавшись по всяким неудобьям, мог легче перескочить с кочки на кочку. Но моим друзьям не везло. Они просто вязли в болоте. Топоров почти ничего не видел сквозь запотевшие очки. Может, и неудобно хвалиться своими заслугами, но дальше я вел друзей под руки. Когда наконец наши страшно уставшие ноги почувствовали твердую землю, Иванов улыбнулся и заявил, что в таком месте наверняка развивался праязык индоевропейцев.

Запомнилась и одна бессонная ночь. В ту ночь я выучил новое русское слово, которое не забыл и через полвека. Это *комар*. Это слово скорее всего того же корня, что и литовское *katānė* 'пчела'. Но мне тогда почему-то казалось, что название комара в славянских языках, как и литовское наименование этого насекомого, должно быть связано с глаголом, обозначающим «жрать». Для ночевки мы выбрали большое гумно, находящееся вдалеке от других изб. Удобно устроились в сене. Однако услышали какое-то далекое жужжание. Жужжание все приближалось. Наконец мы почувствовали, какие страшные создания болотные комары. Наше сопротивление было безнадежно. Около двух часов ночи мы оставили свои лежанки и отправились в ту сторону, откуда, как нам казалось, должно встать солнце. Идти ночью босиком по остывшей торфяной тропинке и смотреть на звездное небо — настоящая благодать — комары нам уже не мешали. А главной темой разговора той ночью было присоединение Литвы к Советскому Союзу. Больше всего их интересовали мои детские впечатления от тех событий.

Эту нашу экспедицию Иванов упомянул в одном из последних своих произведений «Лингвистика третьего тысячелетия» (Москва, 2004).

С Топоровым и Ивановым я снова встретился осенью 1958 г. на IV Международном съезде славистов в Москве. Для меня этот съезд был необыкновенным событием. Я увидел множество легендарных людей, имена которых я знал только по обложкам их книг, журналам по языкознанию или страницам энциклопедий. Спасибо Костасу Корсакосу, который меня, еще не защитившего кандидатскую диссертацию, командировал на такое собрание ученых. Очень большое впечатление оставил и прочитанный Ивановым их общий с Топоровым доклад о древнейших отношениях балтов и славян.



(слева направо): С. Каралюнас, В. Н. Топоров, А. Сабаляускас.  
Посольство Литвы в Москве. 2000 г. Фото Ю. Будрайтиса.

Вместе с Ивановым и Топоровым мне тогда довелось участвовать и в одной «лотерее». В 1939 г. Финская академия наук выпустила произведение Валентина Кипарского «Куршский вопрос». Ни в литовских, ни в московских библиотеках — вероятно, из-за финско-советской войны — этой книги не было. Автор книги, в то время профессор свободного университета Западного Берлина, привез два экземпляра в Москву. Но как поделить: книги должна оказаться в Литве, и подарил ее мне, а насчет второго экземпляра бросили жребий. Победил Иванов.

Для В. Мажюлиса, З. Зинкявичюса и меня Съезд закончился угощением в доме Топоровых. Кроме нас и хозяев, в нем принимали участие исследователь истории русского языка, будущий академик Дмитрий Шмелев и его жена, одна из самых близких подруг семьи Татьяна Булыгина. Много говорили о Съезде, его участниках. В Москве Международный съезд славистов проходил впервые. У властей было много хлопот. Приехало немало эмигрантов и их детей. Говорили, что не хо-

тели впускать друга Владимира Маяковского Романа Якобсона. Его доклад из предполагавшейся аудитории пришлось перенести в центральный зал, поскольку собрались толпы людей.

Из защиты моей диссертации мне больше всего запомнился эпизод с галстуком. Мы с Топоровым гуляли по дворам старого Вильнюса. Когда до защиты диссертации остался час, Топоров сказал, что ему обязательно надо зайти в мою комнату (я жил в общежитии аспирантов Академии наук), потому что там остался его портфель. Я объяснил, что туда идти нет смысла: его отзыв о диссертации у меня был с собой. К сожалению, проблема была сложнее. Жена попросила Топорова, чтобы на защите он был при галстуке. Он обещал, но галстук остался в портфеле. Пришлось спешить. Защита проходила тогда в так называемом Колонном зале университета. Все прошло гладко. После защиты, сделав первый шаг из зала, Топоров просто молниеносно снял галстук и засунул его в карман.

Не желая обременять диссертанта, мой оппонент поздним вечером того же дня уехал в Москву. Мы вместе с другим оппонентом, профессором Меркелисом Рачкаускасом ужинали в ресторане железнодорожного вокзала. Профессор был очень удивлен «баптистским» особенностям гостя. Однако быстро развеселился. Рассказывал всякие приключения из жизни. Объяснял, что он старше профессора Юозаса Бальчикониса. Тот, как и Топоров, совсем не пьет. Но сравните, кто из них лучше выглядит! Наш разговор был такой живой, что гость чуть не опоздал на поезд. И через много лет, встречаясь с Топоровым, мы вспоминали этот ужин и рассказы профессора Рачкаускаса.

Топоров удивлял своими способностями не только в науке. Летом 1968 г. мы с Симасом Каралюнасом жили в доме Топорова и ждали отъезда в Прагу, где должен был состояться VI Международный съезд славистов. Ситуация тогда была напряженная. Не было ясно, кто первым войдет в Прагу — мы или танки. Вошли мы. Танки появились позднее... Я договорился с Топоровым куда-то пойти. Наступил назначенный час, а его все нет. Наконец я увидел в окно, что он бежит. Запыхавшись, он извинился за опоздание. Одна сотрудница<sup>2</sup> его института забрала из роддома младенца, но не умела его купать. Топоров ездил на помощь.

Бывали случаи, когда Топоров извинялся, что не может меня проводить на вокзал. Я знал, что в это время играет московский «Спартак» и моему другу надо спешить на стадион. Топоров не пропускал ни одного матча этой футбольной команды. Позднее на матчи «Спартака» вме-

<sup>1</sup> З. М. Волоцкая (прим. ред.).



сте с Топоровым и компанией его друзей ходил и я. По большей части это были школьные друзья Топорова и их дети. На стадионе Топоров совсем менялся. Он, как и другие болельщики, махал руками, кричал. Иногда он мне казался тонким знатоком футбола. Помню, на большом стадионе в Лужниках играли московский «Спартак» и донецкий «Шахтер». В ворота «Шахтера» был назначен штрафной удар. Публика кричала, что судья слишком далеко положил мяч. Топоров нам спокойно объяснил, что протестуют напрасно. Если будет бить Гаврилов, ему издали еще лучше. Бил Гаврилов, мяч, отправленный им в самый угол ворот, спас «Спартак» от проигрыша. Я удивлялся, что не только Топоров, но и его друзья так много знали о литовском спорте: они без особого труда могли назвать фамилии наших известных футболистов, охарактеризовать их игру.

Связь Топорова со «Спартаком», его внимание к футболу было не случайным. Учась в школе, он играл в одной команде с известным русским футболистом, капитаном команды «Спартак» и сборной Советского Союза Игорем Нетто.

Когда происходили европейские или мировые соревнования, темпы работы Топорова сильно замедлялись.

Я ездил в Москву чаще всего в начале июля. Тогда в моем распоряжении была квартира Топоровых, большая библиотека: он обычно жил на даче, в московскую квартиру заезжал только изредка.

5 июля на эту дачу отправлялся и я. Ехать надо было, кажется, с Ярославского вокзала около 20 км. Я выходил в Валентиновке, там меня встречал Топоров. Дача была в очень красивом месте, среди лесов. Она принадлежала родителям его жены. Соседи в основном были известные московские театральные деятели. Неподалеку была вилла известного русского комика Юрия Никулина.

Я плохо помнил места, боялся заблудиться. Однако, когда поезд останавливался у поселка, где было написано «Мытищи», я знал, что еду в правильном направлении. Перед глазами у меня тогда вставала картина Василия Перова «Чаепитие в Мытищах». Я очень любил этого художника.

День рождения Топорова обычно отмечали одни и те же люди: постоянными гостями были сестра Ирина с дочерьми, ее муж Павлик, Татьяна Булыгина, Дмитрий Шмелев, Татьяна Цивьян, Павел Гринцер. Все они были мне очень приятны. Кажется, только такие люди и могли собираться в доме Топоровых. Говоря о семье Топорова, не могу не упомянуть и многолетнюю хозяйку, няню дочерей тетю Машу. Это была простая, добродушная женщина из русской провинции, очень привязанная к семье Топоровых. Помню ее пироги с капустой (их очень лю-

била моя жена). Она мне объясняла, почему дом Топоровых такой крепкий: его строили немецкие пленные.

Из этих семейных дней рождения помню и очень приятную, красивую рыжую собаку какой-то английской породы. Говорили, что из семьи Топоровых она больше всех любила Владимира. Любовь, видимо, была взаимной, потому что, когда собака «прочитала» первый том «Собраний сочинений» Казимераса Буги со всеми пометами Топорова, отношения обидчика и хозяина не ухудшились. А Топорову свой экземпляр книги отдала Булыгина.

Последний раз у нас дома Топоров с женой несколько дней гостили осенью 1994 года. Тогда Вильнюсский университет присудил Топорову вместе с американским балтистом Уильямом Шмальштигом, историком-иезуитом Паулюсом Рабикаускасом и политологом Томасом Ремейкисом звание почетного доктора. Мне особенно запомнился послеобеденный отдых, когда в нашем доме вместе с Топоровым оказались и Уильям Шмальштик с женой Эмилией. Топоров шутил, что вот здесь наконец впервые в жизни он увидел себя по телевизору. Топорова тогда к нам в дом, сильно опаздывая (по дороге кончился бензин), из своей мастерской привез скульптор Константинас Богданас. Когда он уехал, Топоров нам рассказывал и о своих «муках», испытанных им в мастерской скульптора. Прежде всего скульптор его пронзил насквозь страшным взглядом. Потом его глиняную голову начал бить палками. Ртом брызгал воду, плевал. Топорову иногда казалось, что скульптор что-то берет из него и переносит в эту облитую глину...

Становится грустно, когда думаешь, что все это уже далекое, безвозвратное прошлое. Русские ученые, с которыми мне приходилось так или иначе общаться, к которым мы чувствовали симпатию, один за другим нас покидают. Уже нет Татьяны Булыгиной, Дмитрия Шмелева. Топоров еще успел написать некролог своему другу академику Олегу Трубочеву. Рядом со своим великим предком в Ясной Поляне уже покоится и академик Никита Толстой, когда-то первым мне так красиво представивший Владимира Топорова.



ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ

## Ранняя праиндоевропейская перспектива развития балто-славянской глагольной системы в свете идей В. Н. Топорова

Ученый оценивается ретроспективно по тому его наследию, которое входит в основной фундамент науки, постоянно перестраиваемый благодаря открытию новых фактов и точек зрения. В силу непредвзятости и научной смелости В. Н. Топорова, делавшей его при огромной эрудиции способным воспринять и развивать по-своему самые дерзкие опыты преобразования хорошо им усвоенных традиционных взглядов, он стал одним из создателей современного варианта возможной предыстории балто-славянского праязыка и его диалектов. Настоящая статья ставит своей целью обозреть те направления исследования глагола в праславянском, западно-балтийском, восточно-балтийском и других диалектах индоевропейского праязыка, которые показывают значимость идей, полвека назад высказанных и позднее обоснованных во многих трудах В. Н. Топорова.

1. Для решения стоявшей перед В. Н. Топоровым в начале его научной работы проблемы характера ранних балто-славянских языковых отношений большое значение имела его написанная полвека назад начальная работа о ранней предыстории балтийского и славянского глагола [Топоров 1961<sup>1</sup>; 1962; 1973]. В ней Топоров впервые обратил внимание на такие черты балто-славянской глагольной системы, в которых можно увидеть сходство не с теми индоевропейскими языками, с которыми (как с санскритом — им Топоров всю жизнь много и увлеченно занимался) ее обычно сравнивали в классическом индоевропейском языкознании и в его современных ответвлениях, а с хеттским и другими вновь открытыми древними языками (такими, как тохарские, которыми, как и хеттским, он овладевал специально). Эти идеи Топорова повлияли на развитие мировой науки, прежде всего, благодаря их использованию в соответствующих разделах написанного Калвертом Уоткинсом тома об индоевропейском глаголе [Watkins 1969] в той новой сравнительно-исторической грамматике, которую начал издавать Кури-

<sup>1</sup> Исследование датируется 1957 г. (окончено за 4 года до публикации, отмечено: [Watkins 1969: 214]).

лович (один из наиболее видных структуралистов старшего поколения, применивший новые методы к сравнительному балто-славянскому языкознанию в том направлении, которое в те годы разделялось Топоровым). Воздействие новаторских идей Топорова в мировой компаративистике продолжает чувствоваться до сих пор не только в реконструкции древней формы основных окончаний каждой из восстанавливаемых серий славянских и балтийских глагольных форм, но и в самой постановке вопроса о том, в какой мере праславянский и прабалтийский отличаются от других индоевропейских диалектов<sup>2</sup>. Предложенный Топоровым взгляд на это сопоставление вел и к совершенно новой постановке вопроса об отношении славянских языков к балтийским. Оказывалось возможным восстановить для праславянского такую модель древнейшей грамматической и фонологической структуры, которая выводима из аналогичной модели прабалтийского состояния, но обратное (выведение прабалтийского из праславянского) невозможно.

Топоров продолжал развивать некоторые из идей, родившихся в связи с занятиями балтийским глаголом. Его статья о парадигме литовского глагола [Топоров 1966] применяла тот структурный подход, плодотворность которого на материале славянского глагола была ранее продемонстрирована Романом Якобсоном и его последователями. Вплоть до последних лет Владимир Николаевич продолжает думать о том, в какой мере древнейший период в истории праславянского напминает прабалтийский [Топоров 1988; Toporov 1998].

2. Основным вопросом, стоящим перед исследователем, который хотел бы согласовать вновь открытые данные хеттского (и других анатолийских языков) с индоевропейской реконструкцией, основанной на всех других диалектах праязыка (в том числе и на балто-славянском), является место спряжения на *-he* (такова первоначальная древнехеттская форма этой флексии, которую в работах по индоевропеистике обычно называют по более позднему написанию *-hi*; к историческому соотношению двух форм я вернусь ниже, а в обзоре существующих взглядов буду пользоваться стандартным обозначением, ставшим традиционным). От решения этого частного вопроса зависит и подход к более общему: как смотреть на соотношение хеттского глагола и той индоевропейской реконструкции, которая традиционно делалась на основе

<sup>2</sup> Мне представляется в этом плане весьма поучительным сопоставление ранней работы Топорова с недавним опытом новой реконструкции глагола в каждом из индоевропейских диалектов, включая прабалтийский и праславянский: Douglas Q. Adams. "Give To Drink" in Tocharian B and the Reflexes of the PIE Causative // Tocharian and Indo-European Studies. Vol. 10. 2003. P. 6–7.

санскрита (ведийского), древнегреческого и других языков, известных по более поздним памятникам. Существуют по меньшей мере три возможные точки зрения, каждая из которых имеет сторонников в современном сравнительно-историческом языкознании. Многие западно-европейские лингвисты и часть американских придерживаются взгляда, по которому хеттский язык утратил ту систему глагольных форм, что была в индоевропейском и сохранилась в санскрите и греческом (отчасти и в других языках). Две другие точки зрения предполагают обратное: хеттский язык (и другие анатолийские) сохраняет более раннее состояние в отличие от остальных групп индоевропейских языков. По одной версии (близкой к варианту впервые выдвинутой гениальным Форрером индо-хеттской гипотезы в понимании Стертеванта [Sturtevant 1942], которому впоследствии следовал Коугилл [Cowgill 1975; 1979]), остальные *индоевропейские* языки после отселения от них анатолийских выработали общую систему, совпадающую с индоевропейской по реконструкции Бругмана и других представителей классической школы. По другой версии (которая мне представляется более адекватно оценивающей реальные факты и их понимание В. Н. Топоровым), традиционная система с противопоставлением позднейшего аориста — имперфекта (восходящих, как полагал вместе со своими единомышленниками В. Н. Топоров, к древнему инъюнктиву) настоящему времени и перфекту выработана окончательно только в восточно-индоевропейском (индо-иранском, греческом, фригийском<sup>3</sup> и армянском), тогда как другие диалектные группы (тохарская, балто-славянская, отчасти к ней примыкающие диалектные западно-индоевропейские) каждая имела свои существенные особенности в развитии древнего наследия. Каугилл [Cowgill 1975; 1979] убедительно показал, что именно глагольная система дает бесспорное основание для отрицания первой точки зрения. Споря с разделявшей В. Н. Топоровым и мной точкой зрения на древность инъюнктива в эпоху, когда еще не было перфекта, Уоткинс возражал нам, утверждая, что оппозиция перфективности-имперфективности уже должна была иметь место. Это является не более чем данью почтенной (и совсем не обязательно верной) традиции, от которой большинство лингвистов этого поколения (осо-

<sup>3</sup> Диалектное приурочение остальных палеобалканских языков, линвогеографическим изучением связей которых с балтийскими много занимался В. Н. Топоров, остается проблематичным из-за отрывистости данных о фракийском и других древних языках и все еще недостаточной исторической изученности албанского, см. ниже о возможных следах в нем аугмента, в ограниченном (по сравнению с другими восточно-индоевропейскими языками) объеме представленного (только во аористе, но не в имперфекте) во фригийском.

бенно в Европе, но частично и в Америке) еще боялись отказаться [Иванов 1981б].

Каждому из этих взглядов отвечает и особая интерпретация (а часто и целая группа возможных интерпретаций) спряжения на *-hi*.

3. Вскоре после начала изучения хеттского языка было замечено, что окончания спряжения на *-hi* сходны со спряжением индоевропейского *перфекта* [Kellogg 1925: 38; Jasanoff 2003: 4, fn. 7]. В знаменитой статье Куриловича, где он показал соответствие хеттской фонемы *h* «сонантическому коэффициенту» \**ə*, введенному (при другом обозначении его) в «Мемуаре» Соссюра, он обратил внимание и на то, что подтвержденная его открытием индоевропейская фонема играет существенную роль в обычно реконструированном индоевропейском перфекте [Kuryłowicz 1927]. При таком новом понимании фонологической стороны перфектных окончаний, интерпретируемых как 1 л. ед. ч. — \**ə<sub>2</sub>e*, 2 л. ед. ч. — \**tə<sub>2</sub>e* и 3 л. ед. ч. — \**e*, обнаружилось значительное их сходство с окончаниями спряжения на *-hi*: 1 л. ед. ч. наст. вр. — \**hi*, 2 л. ед. ч. наст. вр. — \**i* и 3 л. ед. ч. наст. вр. — \**i*; в свете этих несомненных сопоставлений форм единственного числа вероятным стало и сравнение перфектного окончания 3 л. мн. ч. \**-ēr* (со ступенью удлинения гласного окончания, сходной с наблюдаемой в индоевропейских собирательных именных формах множественного числа, ср. ниже о сопоставлении перфекта с именными формами) /\**-r* с флексией хеттского 3 л. мн. ч. прош. вр. *-er/-ir*, общей для обоих спряжений, но явно распространившейся из спряжения на *-hi* (в спряжении на *-mi* прямые соответствия этому окончанию в других диалектах отсутствуют, что заставляет искать его источник в иной группе форм). Дополнительный довод в пользу отождествления перфекта со спряжением на *-hi* можно извлечь из соответствия индоевропейской перфектной огласовки \**o* корня и гласного *a* < \**o* в первом корневом слоге многих хеттских глаголов спряжения на *-hi*.

Открытие Куриловича стало отправным пунктом для значительно числа позднейших исследований, в которых предполагается, что реконструируемый индоевропейский перфект в хеттском языке претерпел такую трансформацию, в результате которой возникло спряжение на *-hi*. Прямое сопоставление перфекта, в других индоевропейских диалектах не имеющего первоначальных временных границ и подразделений, и хеттского спряжения на *-hi*, в котором различаются настоящее и прошедшее время, невозможно. Нужно найти промежуточные пути, их соединяющие. Через 30 лет после своей первой работы на эту тему Курилович вернется к ней, в докладе на VIII Международном съезде

лингвистов в Осло в августе 1957 г. ([Kurųłowicz 1958]; доклад был опубликован в предварительном препринте, розданном делегатам Съезда, — впервые я его услышал и прочел тогда, 50 лет назад; в частном разговоре со мной во время Съезда Курилович пояснял, что главной задачей его было «низведение хеттского с престола» — *détrônement du hittite*, т. е. доказательство того, что хеттский язык далеко не во всем наиболее архаичный из диалектов; Курилович пояснял, что на старости лет его стала занимать история отдельных исторических языков (тогда как, по его оценке, меня, как его самого в молодости, интересовала в то время реконструкция возможно более древних состояний гипотетического праязыка). В своем докладе на Съезде Курилович обращает внимание на то, что наибольшее совпадение с перфектом имеет место в формах прошедшего времени. В этом смысле интересны лувийские формы прошедшего времени, в лувийском образующиеся от любого глагола, т. е. не зависящие от спряжения (в лувийском есть противопоставление двух спряжений, но оно проявляется только в формах 3 л. ед. ч. наст. вр. [Morpurgo-Davies 1979]; соответствующие хеттские формы прошедшего времени, в отличие от лувийских, различаются по спряжениям). Лув. *awi-ha* ‘я пришел’, *a-ha* ‘я сделал’ содержат окончание, исторически тождественное перфектному в других индоевропейских языках; в хеттском языке это окончание осложнено присоединенным к нему окончанием, возводимым к показателю 1 л. ед. ч. спряжения на *-mi*: *(h)h-un*, где *-un* противостоит флексии настоящего времени *-h-i*. В своем докладе 1958 г. Курилович предположил, что в дописьменный период истории хеттского языка перфект превратился в форму прошедшего, означающую результат, а затем на основе этого прошедшего возникли противостоящие ему формы настоящего времени. С некоторыми видоизменениями идея подобного развития обсуждалась в последующих работах Эйхнера [Eichner 1975], Риша [Risch 1975], Эттингера [Oettinger 1979; 1992]. Эйхнер полагал, что формы прошедшего времени хеттского спряжения на *-hi* восходят к «неоперфекту» — формам перфекта, переосмысленного как прошедшее время (по типологически вероятному процессу, имеющему параллели в других диалектах). К этому прошедшему времени заново было построено соотносимое с ним настоящее время. С последней мыслью не соглашался тот же Курилович, считавший, что обычно формы настоящего времени определяют характер прошедшего, а не наоборот [Kurųłowicz 1979: 144].

По Эйхнеру, помимо новых форм переосмысленного как прошедшее время неоперфекта, в дописьменный период существования хеттского языка сохранялись в функции настоящего времени (приметы которого могли к ним факультативно присоединяться) и старые перфек-

ты, а кроме того, имелись и формы прошедшего времени со старыми перфектными окончаниями. Постепенно из этих соперничавших друг с другом форм прошедшего времени были отобраны те две серии, которые мы знаем по письменным текстам. Для многих из форм, предполагаемых Эйхнером, в хеттском языке не сохранилось бесспорных свидетельств.

С критикой теории происхождения спряжения на *-hi* из перфекта выступил Каугилл. Он (как потом Курилович) возражал против типологически необоснованного предположения о создании форм настоящего времени под воздействием форм прошедшего. Он также считал, что допущение сохранения претерито-перфектов не подкрепляется достаточным количеством примеров, как и другие предположения Эйхнера.

На перфектной теории происхождения спряжения на *-hi* (вплоть до недавней работы [Kortlandt 2007], где предлагается ряд семантических сопоставлений со значениями отдельных хеттских глаголов главным образом из чешского и других славянских глагольных видовых форм) основывается значительное число созданных за последние полвека схем реконструкции, где утверждается большее значение других индоевропейских данных по сравнению с хеттскими (ср. [Darden 2002]). В частности, сохранение в славянском форм той серии, которая соответствует спряжению на *-hi*, в сравнительно-исторических работах консервативного свойства описывается как изменение старого перфекта [Van Wijk 1933; Vaillant 1962; 1966; Kortlandt 1962]. В большинстве из соответствующих работ предполагается, что реконструкцию перфекта можно сохранить в том виде, в каком его представляло классическое младограмматическое языкознание. Нуждается в объяснении только развитие этого унаследованного общеиндоевропейского перфекта в хеттском (и в целом в анатолийском).

Подвергнув основательной критике такие теории происхождения спряжения на *-hi*, Коугилл [Cowgill 1975; 1979] предложил исходящую из индо-хеттской теории картину развития глагольных форм. По Коугиллу, не было никакого общеиндоевропейского перфекта. Существовали именные формы глагола, позднее втянутые в глагольную систему и превратившиеся в особое спряжение. Эта часть реконструкции опирается на убедительные типологические параллели в афразийском.

4. Последующее развитие исследований этой проблемы в большой степени отталкивается от другого открытия Куриловича, на этот раз сделанного одновременно со Стангом. Оба замечательных ученых пришли к выводу, что индоевропейский *медиапассив* по своим окончаниям

сопоставим с перфектом (и со спряжением на *-hi*): [Kuryłowicz 1932; Stang 1932].

На сопоставлении спряжения на *-ei* не столько с перфектом, сколько с индоевропейским медиопассивом основана гипотеза талантливое хеттолога Б. Розенкранца [Rosenkranz 1952; 1958; 1971; 1978]. Для объяснения форм среднего залога и спряжения на *-hi* он предположил наличие в древности «праглагола» (Urverb) с рядом личных окончаний в единственном числе 1 л. *\*-hə*, 2 л. *-tə*, 3 л. *-s/-ə* [Rosenkranz 1978: 87]. Об особом архаизме этих окончаний может свидетельствовать, по его мнению, то, что этот ряд флексий не разъясняется этимологически индоевропейским составом морфов в отличие от спряжения на *-mi*, легко возводимого к основам индоевропейских личных и указательных местоимений. Дальнейшее развитие в хеттском языке Розенкранц объяснил использованием показателя *-i*, противопоставленного *-r* в серии собственно медиопассивных форм. Заметим, что, хотя объяснение конечного гласного древнехеттского окончания 1-го лица *-he* из дифтонга на *-i* общепризнано, оно не является единственно возможной реконструкцией. Простейшим предположением, которое требует минимального изменения исторически известных фактов при их возведении к праисточнику, явилось бы возведение древнехеттского окончания *-he* к восстановленному окончанию *\*-He*.

К сопоставлению древнейших форм среднего залога со спряжением на *-hi* обратится и Курилович в завершающей своей работе этого цикла. Он объяснит формы на *-hi* как вторичный действительный залог, образовавшийся в противопоставление формам среднего залога на *\*-o* (в 3 л. ед. ч.), игравшим роль *verba deponentia*: [Kuryłowicz 1979: 144–145] («die *-hi* Konjugation ist nicht anderes als sekundäre Aktivform, die von solchen deponentia abgeleitet worden sind»), выделено Куриловичем). Эти активные формы, по Куриловичу, были новообразованием хеттского языка (он все еще заботился о его низведении с престола).

Близкая к реконструкциям Розенкранца идея общего предка трех общиндоевропейских категорий — перфекта, медиопассива и спряжения на *-hi* — изложена в трудах безвременно умершего выдающегося хеттолога Нея [Neu 1968; 1976; 1985; 1989], который настаивал на важности отличия форм медиопассива на *-r* от форм на *-i* (ср. выше о гипотезе Розенкранца), и близкого к нему в понимании этой проблемы Мейда [Meid 1979]. Отличие от концепции Розенкранца у них состояло прежде всего в признании древности некоторого прототипа перфекта.

На исходной древности оппозиции перфективного (т. е. совершенного по видовой характеристике) страдательного залога, не разделен-

ного еще на формы настоящего и прошедшего времени, формам действительного залога, характеризуемым в видовом отношении как неперфективные (несовершенные), строит свою реконструкцию предыстории балто-славянского глагола Шмальштиг [Schmalstieg 2000].

5. Наряду с перфектом и медиопассивом, со спряжением на *-hi* связаны индоевропейские *тематические глаголы*. К особому спряжению их вместе со спряжением на *-hi* возводил выдающийся исследователь тохарских и хеттского языков Куврёр [Couvreur 1936].

Глубокие идеи о предыстории индоевропейского глагола содержались в работах Хольгера Педерсена — одного из великих компаративистов прошлого века. Он высказал предположение о наличии в индоевропейском двух основных спряжений, отразившихся соответственно в хеттском языке. Первоначально эти два спряжения различались как переходное и непереходное [Pedersen 1933; 1938: 80–86]. Эта точка зрения была развита в работах В. Н. Топорова и его соавторов, а также в обобщающей работе Уоткинса [Watkins 1969], оказавшей влияние на последующие исследования, в том числе на ряд статей, подытоженных в книге Джезенова [Jasanoff 2003]. В частности, у продолжателей идей Педерсена нашла развитие его мысль о возможности обнаружения в хеттском прямого отражения тематических глаголов на *-hi*: хетт. *sipandahh-i/-un* ‘произношу молитву богам, совершая жертвоприношение’: др.-греч. σπένδω.

Педерсен также указал на наличие соответствий индоевропейским различиям глагольных форм в других отдаленно родственных языках, в частности уральских, входивших в открытую им *ностратическую макросемью* [Pedersen 1907; 1933: 311–315]. Эта идея получила развитие в последнее время после открытий В. М. Иллича-Свитыча, по мере исследования соответствий в морфологии индоевропейских языков и их «ближайших родственников» в работах Е. А. Хелимского, Дж. Гринберга, Ф. Кортландта и других ученых.

6. Для дальнейшего исследования соотношения тематического спряжения в других индоевропейских диалектах с анатолийским спряжением на *-hi* особенно существенно исследование В. Н. Топорова, показавшего, что в балтийском противопоставление первичных и вторичных окончаний в явном виде (во всяком случае в 1 и 3 лицах в значительной части глагольных парадигм) не прослеживается ([Топоров 1961: 60; 1963: 31 и сл.]; см. к полемике вокруг этого тезиса и о неясности истолкования как бы противоречащих ему форм типа др.-прусс. *giwassi*, *giwasi* [Stang 1966: 421; Watkins 1969: 214–215; Иванов 1981б: 45–56 с

дальнейшей библиографией; Schmalstieg 2000: 39–40]). В. Н. Топоров пришел к выводу, что при отсутствии симметрии в окончаниях тематического и атематического спряжений нет причин восстанавливать окончание первого *-\*t* на основании *-ti* во втором [Топоров 1961: 62; Иванов 1981б: 45, 62]. Это соображение представляет большой интерес для сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков в целом, так как от формы данного окончания зависит, в какой мере приемлемо сближение тематического спряжения с другими индоевропейскими группами глагольных форм.

Наибольший интерес представляет типологический вывод о нулевом характере древнего показателя 3-го лица, занимающего центральное место в балтийской глагольной парадигме, в отличие от двух других лиц ([Топоров 1961; 1963; Иванов 1981б: 49, 58]; о соотношении трех лиц ср. [Иванов 1998]).

7. Многие писавшие в последние десятилетия о предьстории хеттского глагола настаивают на разной степени точности соответствий каждой из трех групп форм в хеттском языке (двух спряжений в действительном залоге и медиопассива) каждой из четырех групп форм (атематическим формам с первичными и вторичными окончаниями, перфекту, медиопассиву и тематическим глаголам) в других индоевропейских языках. Наиболее ясной авторам большинства работ представлялась группа атематических глаголов, которые в хеттском языке принадлежат к спряжению на *-mi*, а в других диалектах индоевропейского языка характеризуются соответствующими хеттским первичными окончаниями (с элементом *-i*, понимаемым как указание на хронотоп акта речи — *hic et nunc*) и более архаичными вторичными, которые, в частности, используются в инфюнктиве, по-видимому, (как полагал и В. Н. Топоров, см. выше), более древнем, чем соединенные с аугментом инновационные формы аориста и имперфекта. Но по отношению к этой группе следует задать тот вопрос, который неоднократно формулировался применительно к другим группам форм: каков семантико-грамматический и формальный принцип, объединяющий все эти формы? На него можно ответить теперь, воспользовавшись рядом достижений сравнительного языкознания. Во-первых, все те атематические глаголы других индоевропейских языков, которые соответствуют хеттским атематическим глаголам спряжения на *-mi*, принадлежат к числу длительных (в отрицательной формулировке неаористических [Мейе 1938]). Согласно тому же Мейе ([1938]; ср. [Иванов 1968; 1981б]) о соотношении выводов Мейе с хеттскими данными), особенно отчетливо выразившему отличия этой группы форм, только от этих глаголов формы

настоящего времени могут образовываться путем непосредственного присоединения к корню (с нулевым суффиксом) личных окончаний: все другие классы глаголов требуют либо присоединения (ненулевых) суффиксов, либо удвоения основы (редупликации). Но это последнее различие обнаруживается только в отдельных диалектных группах и поэтому хронология его нуждается в проверке. Во-вторых, как показали Николаев и Старостин [Николаев, Старостин 2007], в других индоевропейских языках (кроме хеттского, в их работе не рассматривавшегося) эти глаголы кроме атематических форм настоящего времени создают целый ряд других форм, характер которых в позднем индоевропейском строго определен и противопоставлен возможностям формообразования другого класса глаголов (от корней которых в восточно-индоевропейском могут непосредственно образовываться формы корневого аориста, но не настоящего времени). В-третьих, это различие двух основных классов или серий глаголов в отдельных диалектах прослеживается и в их акцентуационных характеристиках ([Николаев, Старостин 2007]; ср. [Иванов 1968; 1981б]). Поэтому можно с полным основанием говорить о двух сериях относительно поздних индоевропейских форм, отвечающих хеттскому различию двух спряжений. Но если по отношению к классу глаголов с первичными и вторичными окончаниями понятны сопоставляемые явления в хеттском и тохарском, то остается проблематичным, как нужно смотреть на соответствия хеттскому спряжению на *-hi* в других индоевропейских языках. Они могут оказаться принадлежащими к более древнему хронологическому уровню.

8. Напомним основные соответствия в балтийском и славянском глаголам, в анатолийских и других индоевропейских языках принадлежавшим к индоевропейской первой серии, в частности к числу атематических глаголов в балтийском и славянском (или хотя бы в некоторых диалектах балто-славянского).

В настоящее время в древнехеттском языке можно считать установленным наличие способа выражения на письме ударения в глагольных (и именных) формах посредством двойного написания ударного (и, вероятно, часто долгого под ударением?) гласного (Pleneschreibung) клинописными слоговыми знаками. Такое написание регулярно обнаруживается в хеттских корневых морфах глаголов спряжения на *-mi-* (исторически тождественного формам настоящего времени длительных или неаористических корневых атематических глаголов в других индоевропейских языках):

8.1. Др.-хет. 3 л. ед. ч. наст. вр. *ku-e-en-zi* 'он убивает' (Хеттские Законы, др.-хет. вариант, [Kassian 2002: 106]); 3 л. мн. ч. *ku-na-an-zi*



(др.-хет. ритуал). Точное соответствие этим формам имеется в древнеиндийском начиная с ведийского, табл. 1.

Таблица 1

Глагол \* $g^{hvc}$ én- в древнехеттском и ведийском

форма	древнехеттский	ведийский	праиндоевропейский
3 л. ед. ч. наст. вр. '(он) убивает'	<i>ku-e-en-zi</i>	<i>hánti</i>	* $g^{hvc}$ én-ti
3 л. мн. ч. наст. вр. '(они) убивают'	<i>ku-na-an-zi</i>	<i>ghnánti</i>	* $g^{hvc}$ n-énti

На основании форм этого типа для \* $g^{wh}$ én-/ \* $g^{wh}$ n- 'ударять, преследовать, убивать' восстанавливается позднеиндоевропейская парадигма, уже отраженная в хеттском языке:

Атематическое настоящее время:

1 л. ед. ч. \* $g^{wh}$ én-mi, 1 л. мн. ч. \* $g^{wh}$ n-més} с вариантами

2 л. ед. ч. \* $g^{wh}$ én-si, 2 л. мн. ч. \* $g^{wh}$ n-té} с вариантами

3 л. ед. ч. \* $g^{wh}$ én-ti, 3 л. мн. ч. \* $g^{wh}$ n-énti

Соотношение первичных и вторичных окончаний в этом типе основ определяет различие времен:

1 л. ед. ч. прош. вр. \* $g^{wh}$ én-m, наст. вр. \* $g^{wh}$ én-m-i

2 л. ед. ч. прош. вр. \* $g^{wh}$ én-s, наст. вр. \* $g^{wh}$ én-s-i

3 л. ед. ч. прош. вр. \* $g^{wh}$ én-t, наст. вр. \* $g^{wh}$ én-t-i

3 л. мн. ч. прош. вр. \* $g^{wh}$ n-ént, наст. вр. \* $g^{wh}$ n-ént-i

Форма 3 л. ед. ч. прош. вр. \* $g^{wh}$ én-t, по-видимому, достаточно точно соответствует древнехеттскому написанию *ku-e-en-t[a]* (табличка Цукраши), хотя в свете приводимых ниже сопоставлений форм этого типа с медиопассивными не исключено при различии огласовок и сравнение с греч. ἔφατο (архаический медиальный аорист, см. [Иванов 1981б: 113–114]). В клинописи передача окончаний -t и t-o могла давать сходные результаты.

Несмотря на исходную архаическую огласовку корня, совпадающую с реконструированной по хеттско-древнеиндийскому соответствию, морфологический тип праслав. \*žénóN относится к первоначальному тематическому с исходной баритонированной парадигмой [Дыбо 2000: 271–272]. Это может быть связано с многочисленными балтийскими и славянскими формами второй серии от данного корня [Иванов 1981б:

111–113]. Для лит. *gĩĩti* 'преследовать' восстанавливается исходный тематический «аорист» [Schmalstieg 2000: 141], т. е. инъюнктив типа

1 л. ед. ч. \* $gĩn-ót$

2 л. ед. ч. \* $gĩn-é(s)$

3 л. ед. ч. \* $gĩn-é(t)$

с позднейшим удлинением гласного суффикса и добавлением к нему суффиксального продолжения \*-jo- [Ibid.]. Но возможный западно-балтийский след раннего атематического типа спряжения предполагается в древнепрусской форме 1 л. мн. ч. *gunnimai*, сопоставимой со среднехеттск. *ku-e-u-e-en* (КВо XVI 47 Vs. 15).

В восточно-балтийских языках непосредственное соответствие этим хеттским и древнеиндийским формам отсутствует, что обращает на себя внимание при количественном преобладании атематического типа глаголов в древнелитовском (ср. [Иванов 1981б]).

8.2. Др.-хет. 3 л. ед. ч. наст. вр. *e-eš-za* (Хеттские Законы, др.-хет. вариант, предположительно с редукцией \*-i, вызвавшего палатализацию предыдущего -\*r' > -z: \*és-ti > \*éšzi > éšz, в клинописи переданное тремя слоговыми знаками; возможно сопоставление фонетического развития с возвратной частицей *za* и окончанием отложительного падежа -z, как обоснованно предполагает А. Касьян [Kassian 2002: 90, fn.7]; *i-eš-zi* (вероятное указание на закрытое произношение начального гласного под ударением уже в период составления этого древнехеттского ритуала); 3 л. мн. ч. *a-ša-an-zi*.

Формы совпадают с древнеиндийскими по окончаниям, тогда как огласовка 3 л. мн. ч. предполагает участие ларингальных (и/или ступени редукции корневого гласного) в результатах аблаута, табл. 2.

Таблица 2

Глагол \*es- 'быть' в древнехеттском и древнеиндийском

Форма	древнехеттск.	древнеиндийск.	индоевропейск.
3 л. ед. ч. наст. вр. '(он) есть'	<i>e-eš-zi</i>	<i>ásti</i>	* $(H)és-ti$
3 л. мн. ч. наст. вр. '(они) суть = являются'	<i>a-ša-an-zi</i>	<i>sánti</i>	* $(H)s-énti$
3 л. ед. ч. пов. накл. 'да будет'	<i>e-eš-tu</i>	<i>ástu</i>	* $(H)és-tu$
3 л. мн. ч. пов. накл. 'да будут'	<i>a-ša-an-tu</i>	<i>sántu</i>	* $(H)s-éntu$



Две последние формы повелительного наклонения имеют соответствия в других анатолийских языках ([Иванов 1981б], там же о других индоевропейских диалектах); следовательно, эта схема изменения места ударения и огласовки корня и окончания в зависимости от категории числа была общей для них всех. Этот характер парадигмы надежно восстанавливается для праславянского и прабалтийского для такого раннего периода, который предшествовал переносам ударения и смещению подвижной парадигмы с окситонической и параллельной тематической баритонированной [Иванов 1981б: 83–90]. В балтийском (лит. 3 л. ед. ч. *ėsti*) и праславянском (3 л. ед. ч. наст. вр. *\*jesti*, мн. ч. *soNti*), так же как в прагерманск. *\*sentī* > др.-англ. *sind*, можно видеть следы древней подвижной парадигмы (ср. др.-греч. *εἶσι* < *\*s-enti*, дорич. *εὔσι*), которая была преобразована в окситоническую в славянском и в баритоническую в некоторых литовских диалектах.

Со сравнительно-исторической точки зрения особый интерес представляет возможность сравнения славянских диалектных форм 3 л. ед. ч. *\*(j)estū* > ст.-слав. *кѣтъ*, праслав. 3 л. мн. ч. *\*soNti* с анатолийскими формами прошедшего времени: 3 л. ед. ч. др.-хет. *e-eš-ta* (см. указание текстов, где встречается форма [Kassian 2002: 90]), лув. клинописн. *a-aš-ta*, 3 л. мн. ч. лув. иероглиф. *a-sa-ta* = [asaNta]. Формы могут быть возведены к реконструированному индоевропейскому медиопассиву или «стативу» с соответствующими окончаниями 3 л. ед. ч. *-\*to*, мн. ч. *-\*nto* [Kümmel 1996; Jasanoff 2003]. Переосмысление этих исходно медиопассивных форм как прошедшего времени происходило в праславянском тогда же, когда сформировалось понимание древней медиопассивной (стативной [Kümmel 1996; Jasanoff 2003: 231]) формы *\*wed-He* как особого настоящего времени (чем объясняется прибавление к древнему окончанию второй серии показателя *-i*). В обоих случаях древние медиальные формы втягивались во вновь сформировавшуюся систему выражения временных отношений (ср. ниже об аугменте).

Для подтверждения интерпретации хеттского прошедшего времени от глагола *\*es-* ‘быть’ как основанного на древней второй серии особенно интересна форма др.-хет. 3 л. мн. ч. прош. вр. *e-še-ir, e-šir* ([Kassian 2002: 90]; во втором случае вероятно баритоническое ударение). Ее можно считать связанной с др.-инд. 3 л. мн. ч. перфекта *āsūt* ‘они были’ [Иванов 1981б: 75]. Значимость тематических форм и других, происходящих от глагола 2-й серии, применительно к индоевропейскому глаголу *\*es-* ‘быть’ была показана Ф. Бадер [Bader 1976; Иванов 1981б: 73–92]. Для праиндоевропейского и прабалтийского историю преобразования форм парадигмы от тематической типа лат. *sum* < *\*(H)s-om* (впервые предположенной Бонфанте [Bonfante 1932]) до обнаруживающих

ее следы диалектных литовских форм предположил Шмальштиг [Schmalstieg 2000: 10, 69–71]. В свете ностратической перспективы представляется возможным реконструировать предысторию парадигмы этого глагола: для самого раннего периода можно предположить противопоставление активной формы (ранее выступающей как объектная или possessивная, позднее переходная) *\*(H)es-(o)m* неактивной (субъектной, позднее непереходной) *\*(H)es-(o)Ho*. Форму первой серии от этого глагола можно видеть в хет. *eš-mi*, форму второй — в иероглиф. лув. *a-sa-ha-a*. В языках, сохранивших (в отличие от хеттского) ностратический глагол, превратившийся в индоевр. *\*bhuH-* ‘вырасти > явиться, быть’, формы второй серии преимущественно стали образовываться супплетивно от этой основы [Ivanov 2001]. В балтийском в супплетивных парадигмах использовались две основы, образованные от (нередуцированной) основы *\*bhuH-* (*bi* < *\*bui-* и *bú-* [Stang 1942: 197; 1966: 180; Топоров 1975: 210; Иванов 1981б: 177–183; Schmalstieg 2000: 72, 216–217; Ivanov 2001: 89]). Развитие этой ситуации можно видеть на позднем этапе в лувийском, где остается еще необходимость уточнить временную характеристику глагольной формы путем добавления к ней наречия времени, образованного от той же супплетивной основы *\*bhuH-* > лув. *puwa* ‘прежде, бывало’.

Для наиболее раннего периода кажется вероятным восстановление форм, образованных и по первой серии (которая раньше считалась основной для этого глагола), и по второй. Супплетивный способ можно считать более поздним, восторжествовавшим к тому времени, когда окончательно установилось позднеиндоевропейское размежевание двух типов спряжения по характеру приуроченных к ним глаголов.

8.3. Парадигма с чередованиями огласовок ед. и мн. ч. того же типа, что в глаголе *es-*, наблюдается и у глагола *\*ed-* ‘есть’: др.-хет. 2 л. ед. ч. наст. вр. *e-iž-ši* = [étsi] ‘(ты) ешь’, 3 л. мн. ч. *a-ta-an-zi* ‘они едят’ ([Kassian 2002: 91–92]; архаическая лувийская форма в древнехеттском тексте *a-da-aan-ti*), др.-инд. 1 л. ед. ч. *ádmi*, 3 л. мн. ч. *adánti*, др.-греч. *ἔδομα*. В старо-литовском парадигма была подвижной, в славянском — окситонической [Иванов 1981б: 92–97]. Описание древней тематической парадигмы и ее преобразования предложил Шмальштиг [Schmalstieg 2000: 10–13, 85].

8.4. Др.-инд. *é-ti* < *\*éi-ti* ‘он идет’, лув. *i-ti*, лит. *eĩ-ti*; краткость корня облегчила замену глагола его производными в ряде диалектов включая хеттский. Как и в других отмечавшихся выше атематических глаголах этой подгруппы, можно указать на смешение с тематическим типом, представленным в ряде архаических форм ([Иванов 1981б: 97–103; Schmalstieg 2000: 85–87], там же см. о происхождении супплетив-

ного глагола *gāji* ‘я шел’ в латышском, по Эндзелину, сопоставимым с восточно-индоевропейскими корневыми аористами типа др.-греч. ἐβη; [Иванов 1981б: 186–187], там же о тохарском).

8.5. Др.-хет. 3 л. ед. ч. медиопасс. (спряжение на *-mi*) *me-ir-ta* ‘исчез’ (как эвфемистическое обозначение смерти соответствует при другой огласовке др.-инд. аористу *á-mṛ-ta* ‘умер’), др.-хет. 3 л. мн. ч. действ. зал. *me-ri-ir*: ст.-лит. *merd-mi* ‘умираю’ (при медиальном суффиксе *-\*dh-* с той же архаической огласовкой, что и в хеттском: [Иванов 1981б: 174; Schmalstieg 2000: 96]).

8.6. Др.-хет. *iš-tar-ni-ik-zi* ‘делает больным’ инфиксальная форма от (*i*)*štark-* (ср. о структуре форм на *-\*nek-* [Puhvel 2002: 114; Shatskov 2006]) соответствует ст.-лит. *serg-mi*, см. об индоевропейских и ностратических соответствиях [Иванов 1981б: 115–116; Schmalstieg 2000: 98].

8.7. Др.-хет. 3 л. ед. ч. наст. вр. *e-ip-mi* ‘я беру, хватаю’, др.-хет. 3 л. ед. ч. *e-ip-zi* при двойном («полном») написании *-a-* в суффиксе прич. наст. вр. мн. ч. одуш. р. *ap-pa-a-an-t[e-e]š*. Древнеиндийские соответствия включают несколько типов аориста; индоевропейский прототип неясен [Иванов 1981б: 12].

8.8. Кроме рассмотренных глаголов, имеющих соответствия в балто-славянском, в обзорных исследованиях по индоевропейскому глаголу приводится и еще несколько хеттских глаголов, для которых древний атематический тип спряжения на *-mi* остается само собой разумеющимся (всего их насчитывают 7: [Jasanoff 2003: 3, 15]). Помимо рассмотренных глаголов, к ним принадлежит др.-хет. 2 л. ед. ч. наст. вр. *e-uk-ši* ‘ты пьешь’, 3 л. ед. ч. наст. вр. *e-ku-zi/e-uk-zi* [Kassian 2002: 89] (с двумя разными клинописными написаниями лабиовелярной фонемы), 3 л. мн. ч. пал. *a-hu-wa-a-an-ti* (с изменением лабиовелярного в спирант): лувийское соответствие остается неясным из-за разного понимания формы *u-ut-ti-iš* (как глагольной 2 л. ед. ч. или как именной; в первом случае тип спряжения отличен от хеттского). Соответствующий тохарский глагол был атематическим [Иванов 1981б: 11]; другие родственные формы гадательны.

8.9. Менее четкой кажется парадигма др.-хет. 3 л. ед. ч. наст. вр. *ú-ik-zi* ‘он требует’; в параллельной древнехеттской форме *ú-ik-zi* и в форме 3 л. ед. ч. прош. вр. *ú-ik-ta* ‘он требовал’ [Kassian 2002: 134] зафиксирован другой тип огласовки корня. Поэтому сравнение с атематическими формами в других языках [Иванов 1981б: 11, 60] не дает вполне однозначных результатов.

8.10. Глагол, в древнехеттском представленный формой 1 л. мн. ч. наст. вр. *ša-šu-e-ni* ‘спим’, то ли отражен одними лувийскими формами, то ли в древнехеттском обнаруживает огласовку *\*e* лишь в итерати-

ве на *-šk-* [Kassian 2002: 121]. Поэтому сравнение с древнеиндийским атематическим глаголом [Иванов 1981б: 11, 25, 60] позволяет и в этом случае (как в ряде приведенных) предполагать наличие общих черт развития атематического типа в древнехеттском и древнеиндийском, но выводы об общеиндоевропейском делать трудно и из-за ограниченности распространения глагола в диалектах, и из-за его аномальной структуры (основа содержит два одинаковых спиранта в начале и конце, что пробовали объяснить ономапопеей).

8.11. Древний атематический глагол, в древнеиндийском осложненный включением в словоформу (типа *set*) элемента *-i-* (из ларингально-го, которым можно объяснить долгий гласный *\*-ā* второго слога двуслоговой базы, давшей ст.-слав. **рыдати**), представлен в ст.-лит. *raumi* [Иванов 1981б: 128; Schmalstieg 2000: 88]. Подобные изолированные сходства древнеиндийского и некоторых других диалектов, формирующих атематические глаголы первой серии на базе старых основ, первоначально образовавших формы второй серии, позволяют задать вопрос: не был ли весь процесс образования атематических глаголов этого типа относительно более поздним? Он начался еще до отделения хеттского языка, но в пору поздних изоглосс, еще объединяющих древнехеттский с ведийским.

8.12. При наличии следов атематических форм восточно-балтийских глаголов, родственных ст.-слав. **велитъ** ‘(он) велит’ (IV класс), восстановление атематического типа, соответствующего лат. *vul-t*, наталкивается на трудности: в том же латинском языке тип спряжения *vol-ō* является достаточно древним [Иванов 1981б: 119–121; Schmalstieg 2000: 85].

8.13. В дописьменный период истории старо-литовского или правосточно-балтийского группа атематических глаголов, ставшая (в развитие процесса, намечающегося уже по данным древнехеттского и ведийского перед распадом праиндоевропейского до отделения анатолийских) значительно более многочисленной и продуктивной, начинает включать в себя целый ряд глаголов, до того входивших в другие глагольные классы. К ним относятся: ст.-лит. *likti* ‘оставлять’, обычно вслед за Маловым и Ван Вейком возводимый к старой форме типа «перфекто-презенса», т. е. с древними окончаниями 2-й серии [Watkins 1969: 224; Иванов 1981б: 124–127; Schmalstieg 2000: 88–89], лит. диал. *sėsti* ‘сидеть’, по Шмальштигу возводимый к полутематической парадигме [Иванов 1981б: 129–130; Schmalstieg 2000: 89–91], *mėgti* ‘предпочитать’, соответствующий гот. *mag* с рядом параллельных германских, балтийских и славянских (рус. *мог/-ж-у/-еишь, -ет*) глагольных форм, удостоверяющих движение от второй серии глаголов к «перфекто-презенса» и далее к

атематическим глаголам [Иванов 1981б: 130–131; Schmalstieg 2000: 91], итеративно-интенсивные глаголы с огласовкой корня \**o* типа ст.-лит. *bárti* ‘ругать, бранить’, слав. \**bor-jǫ*, русск. *бороть* ([Иванов 1981б: 175, 103–104], там же о древности производных на \**-je/o-* в этом классе глаголов в западно-индоевропейском; [Schmalstieg 2000: 91; Jasanoff 2003: 75]), ст.-лит. *trokš-ti* ‘жаждать’ < \**trošk-?* [Stang 1966: 314; Иванов 1981б: 121; Schmalstieg 2000: 91]; ср. ряд других глаголов на \**-sk-* в этом классе), частично ему синонимичное ст.-лит. *alk-ti* (см. сомнения по поводу оценки этой формы Шпехтом: [Schmalstieg 2000: 92; Иванов 1981б: 121]); ст.-лит. *pa-kakti* ‘быть достаточным’, др.-прус. *kackint* ‘достичь’ [Иванов 1981б: 120–121; Schmalstieg 2000: 91]; ст.-лит. *bėg-mi*, отличающаяся типом спряжения от родственных тематических глаголов в других языках, в том числе славянских (русск. *бег-у* [Иванов 1981б: 128–129; Schmalstieg 2000: 91–92]); проблематичный в отношении исходной грамматической (безличной) конструкции глагол *snięgti* ‘снежит’ (о тематических формах в других языках ср. [Иванов 1981б: 123–124]; о литовском: [Schmalstieg 2000: 92–93]); выделяющийся древностью огласовки \**e* ст.-лит. глагол *žėņgti* ‘шагает’ с соответствиями в германских глагольных и индо-иранских именных формах [Иванов 1981б: 175, 191; Schmalstieg 2000: 93]; ст.-лит. *mieg-ti* ‘спит’, разьяснявшееся как «перфекто-презенс», по Малову, и имеющее соответствия по обеим основным группам форм в литовских диалектах [Иванов 1981б: 121–122; Schmalstieg 2000: 93], ст.-лит. *gied-mi* ‘пою’ [Schmalstieg 2000: 94], глаголы, обозначающие телесные реакции: ст.-лит. *kosti* ‘(он) кашляет’ ([Schmalstieg 2000: 97]; соответствует др.-инд. медиальной форме *kāsate* [Иванов 1981б: 123]), ст.-лит. *niežti* ‘чихать’ [Иванов 1981б: 123–124; Schmalstieg 2000: 97]. К тому же типу атематических глаголов позднее примыкало около 40 глаголов, для которых древность этого класса не устанавливается.

9. Рассмотрим некоторые примеры на основные соответствия в славянских и балтийских языках глаголов, судя по данным анатолийских языков, относившихся первоначально к индоевропейской второй серии.

Общая закономерность [Иванов 1968; 1981б]: баритонированные глагольные основы (часто с элементом \**-j-* или \**-w-*, следующим за последним гласным корня) соответствуют лексически хеттским глаголам спряжения на \**-ḫi*:

9.1. Глагольные основы с исходом на гласный.

9.1.1. И.-е. \**dó-H(e/o)* > др.-хет. 1 л. ед. ч. наст. вр. *da-a-ah-he* ‘я беру’

2 л. ед. ч. наст. вр. \**dó-t-H(o)* > др.-хет. *da-a-at-ti*

3 л. ед. ч. наст. вр. \**dó-(H)V* > др.-хет. *da-a-i*

3 л. мн. ч. прош. вр. \**dó-(H)er* > др.-хет. *da-a-ir*

Иероглиф. лув. *ta-ha* ‘я взял’

Лат. *dō* < \**doH* ‘я даю’

Лит. *dúomi*: может предполагаться позднейший переход в тип атематических глаголов на \**-mi* [Иванов 1981б: 134–138].

9.1.2. И.-е. \**dhe-H(e/o)* > 1 л. др.-хет. ед. ч. наст. вр. *te-e-eh-he* ‘я кладу’

Др.-хет. 3 л. ед. ч. наст. вр. *da-i-ir*

Редуцированные формы этого глагола, имеющие соответствие в некоторых балтийских формах, представлены в древнехеттском и тохарском и могут быть реконструированы для индоевропейского.

Ст.-лит. 1 л. ед. ч. наст. вр. *demi* с баритонированной парадигмой (при переходе в тип атематических глаголов спряжения на \**-mi*) соответствует тематическому спряжению ст.-чеш. *deju*, праслав. инфинитив. *děti* ‘класть, положить’ [Иванов 1981б: 139–140].

9.1.3. Ср.-хет. *iš-pa-a-i* ‘он насытился, наелся до отвала’, 3 л. мн. ч. прош. вр. *iš-pi-i-e-ir*; лит. *spėju* (с поздним переходом в атематический тип как в случаях, рассмотренных выше, см. [Schmalstieg 2000: 92; Иванов 1981б: 161–162; Jasanoff 2003: 95–96]), русск. *снеет*, др.-инд. *sphāyate* ‘он толстеет, жиреет, прибавляет в весе’.

9.1.4. Др.-хет. 3 л. ед. ч. наст. вр. *ša-a-i* ‘(он) давит, вдавлиывает (семена = сеет)’, палайск. 3 л. ед. ч. прош. вр. *ši-i-it*; ведийск. *si-tā* ‘борозда’ (на почве после вспахивания и сева) с баритонированной основой, отражающей ударение глагола; лит. *sėja*, слав. *sějo* ‘сею’; др.-англ. *sāwan*; редуцированные основы: лат. *serō*, гот. *saiso*, др.-исл. *sera* [Иванов 1981б: 163–164; Jasanoff 2003: 78].

9.1.5. Др.-хет. *iš-ha-a-i* ‘(он) связывает’ (*iš-hi-ma-a-aš* ‘веревка’), др.-инд. *syāti*, лит. *siėja* ‘связывает’ [Иванов 1981б: 164–166].

9.1.6. Др.-хет. *hu-u-wa-a-i* ‘он спешит, бежит’, слав. *vějo*, др.-инд. *vāti* (с переходом в класс атематических глаголов [Иванов 1981б: 166–167; Schmalstieg 2000: 184]).

9.2. Глагольные основы с исходом на согласный.

9.2.1. Хет. *malla-* ‘молоть’; русск. *молоть*, баритоническая парадигма, гот. *malan* [Vaillant 1966: 297; Иванов 1981б: 108, 170; Schmalstieg 2000: 192; Jasanoff 2003: 64–72].

9.2.3. Др.-хет. *ma-a-al-di* ‘он молится’, *ma-a-al-da-ah-hu-un* ‘я помолился’ (др.-хет. надпись царя Анитты) [Иванов 1981б: 171; Jasanoff 2003: 79]. В лит. *mallo* тип глагола мог быть изменен; слав. \**modliti* имеет баритонированную парадигму.

9.2.4. Хет. *iskallai* (в Хеттских Законах, [Иванов 1981б: 171–172; Jasanoff 2003: 78]) соответствует лит. *kalu* (древний баритонированный тип).

10. Для исследования проблемы становления аугмента как особого показателя аористических и имперфектных форм представляется весьма существенной старая лувийская форма прош. вр. 1 л. ед. ч. *e-el-ha-a-ha* ‘я мыл(ся)’ (лувийская форма в древнехеттском ритуале) <  $\bar{e}$  [=  $\bar{e}$ ] + корень *lH-* +  $\bar{a}$  (ударный суффикс) + *-Ha* (окончание 1 л. ед. ч. прош. вр.), ср. *e-el-ha-a-du* ‘он пусть моется’ 3 л. ед. ч. повел. накл. с окончанием типа хеттского спряжения на *-mi*. Словоформы родственны лув. *lah-uni-* ‘отмывать’ (ср. с возможной потерей ларингального *luwa-*, *liluwa-* ‘лечь’), хетт. *lah-* ‘лечь’, *lahuwai-*, редуцированное *liluwai-* ‘разливать (по многим сосудам — интенсивная форма)’, лат. *lavo*, греч.  $\lambda\upsilon\omega$ ,  $\epsilon\lambda\upsilon\theta\eta\nu$ ,  $\lambda\epsilon\lambda\upsilon\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma$ ;  $\lambda\omicron\epsilon\omega$  ‘мою’, микенск. *re-wo-* ([Melchert 1994: 72–73; Lehrman 1998: 258]; не полностью исключено отдаленное сопоставление с корнем слав. *\*liti*, но с фонетической стороны сравнение маловероятно). Лувийское начальное исходное  $\acute{e}$  может быть следом деформированного первого слога редупликации. Другое объяснение формы могло бы заключаться в роли начального элемента как показателя прошедшего времени (по частой типологической закономерности совпадающего с повелительным наклонением, см. о енисейском, аккадском и индоевропейском [Иванов 1981б: 31]). В этом случае формально и по функции этот элемент сопоставим с аугментом в восточно-индоевропейском. Есть основания думать, что за пределами восточно-индоевропейского диалектного аугментного ареала (где аугмент регулярно присоединялся, в частности, к древним вневременным инъюктивным формам, придавая им временную соотношенность) могли сохраняться единичные случаи использования приставки *\*(H)e-* в качестве временной, как в албанском *hëngra* ‘я поел’ (супплетивный аорист к *ha* ‘я ем’). По Педерсену ([Pedersen 1899]; ср. [Pisani 1959: 110; Иванов 1981б: 185, 187, примеч. 8, с. 199]; то же сопоставление в армянском без четкого вывода — [Huld 1984: 72; Hamp 1971]), эта албанская форма исторически тождественна арм. *e-ker*. Аналогичный случай единичного использования аугмента предполагается в тох. В *e-km-em* [Иванов 1981б: 187–188, 224], сопоставимом с подобными армянскими формами от этого корня. Постепенно происходило отмирание таких факультативных форм с аугментом, которые могли образовываться в отдельных диалектах на значительном временном интервале, отделяющем ностратический прототип аугмента в виде отдельного слова с грамматическим значением [Иллич-Свитыч 1971: 250] от его полностью морфологизованной префиксальной функции в восточно-индоевропейском (греческом, армянском, индо-иранском при ограниченной сфере действия во фригийском, где аугмент представлен в аористе, но не в имперфекте). Если согласно этому предположению лув. *e-el-ha-a-ha* ‘я мыл(ся)’ содержит такое

аугментобразное указание на прошедшее время, то сфера его действия была иной, чем в собственно аугментном ареале общеиндоевропейского: в *e-el-ha-a-du* ‘он пусть моется’ тот же префикс, подобный аугменту, присутствует при форме повелительного наклонения (которое типологически сходно с прошедшим временем, так же противостоящим настоящему времени изъявительного наклонения). Образование данной формы прошедшего времени можно отнести к дописьменному периоду, когда еще не устоялось собственно темпоральное (в отличие от медиально-перфектного) значение лувийских форм на *-ha*; они нуждались еще в дополнительном обозначении этой функции, для чего в историческом лувийском клинописном языке использовался грамматический элемент *puwa* ‘прежде, бывало’ < *\*bhuH-o*), равнозначный др.-хетт. *karu*. Предположение Хэмп о возможности подобного использования аугмента в (восточно-)балтийском [Hamp 1976] заслуживает внимания, но нуждается в обосновании (в частности, акцентологическом). О возможности выявления акцентологических следов аугмента в славянских приставочных формах писал Вайян. Он думал о вероятном следе древнего слав. 3 л. ед. ч. прош. вр. *\*é-plete* ‘плел’ в позднейшей форме *\*za-plete*, отраженной в сербском и хорватском [Vaillant 1966: 551]. В отношении балтийского как возможность, впрочем им всерьез не рассматриваемую, сходное отражение аугмента готов был признать Шмальштиг [Schmalstieg 2000: 69–70, 87, 308].

11. Сравнительное изучение развития глагольных категорий и парадигм в разных индоевропейских диалектах, в частности балтийских и славянских, подводит к постановке вопроса о происхождении категориальной близости системы прошедших времен (аорист–имперфект–перфект) в древнегреческом и в старославянском. Если закономерно предположение, что за пределами восточно-индоевропейского диалектного ареала (в который славянские языки первоначально не входили) такая именно тройственная система отсутствовала, то представляется допустимым подойти к возможности пересмотра ее возраста в праславянском. Кажется вероятной гипотеза, по которой в юго-восточной группе балканских славянских говоров при раннем контакте с греческим языком после инфильтрации славян в Грецию возникли новые черты в структуре глагольных категорий. При переводе священных христианских текстов на тот диалект, который лег в основу старославянского, эти черты были развиты. В окончательном виде система старославянских глагольных времен явилась результатом этой литературной обработки исходного диалектного материала. Языки, входившие в орбиту этой ранней христианской переводческой работы и испытывавшие ее влия-

ние, соответственно перестраивали свою систему глагольных форм. Это можно проследить, сравнивая способы передачи прошедших времен в стилистически различных частях древнерусской летописи. В ней выделяются части с выраженным старославянским типом употребления аориста, имперфекта и перфекта и более разговорные части (в прямой речи действующих лиц), возможно отражающие более первоначальный восточнославянский грамматический тип. В этом плане может быть показательно и исследование глагола в диалекте берестяных грамот.

В качестве одной из проблем, в изучении которых славянская историческая диалектология может прийти на помощь сравнительной грамматике индоевропейских языков, можно назвать употребление славянских форм на *\*/-* [Иванов 1981a]. Как предположил Б. Розенкранц, славянские языки входят в группу индоевропейских диалектов, одной из основных изоглосс внутри которых является образование отглагольных форм на *-l* [Rosenkranz 1978]. В тохарских языках диапазон функций этих часто употребляемых форм очень широк и (так же, как и в славянском) наряду с видо-временными значениями (в частности, определенного типа прошедшего времени) включает модальные значения (возможности, потенциальной осуществимости). Модальные значения характерны для хеттских архаичных редких отглагольных форм на *-la* (*barganu-la-* 'могущие быть сделанными более высокими', *dalugnu-la-* 'могущие быть сделанными более длинными' [Pedersen 1947]) и для хеттского волонтиатива (повелительного наклонения 1 л. ед. ч.) типа *e/as-l-ut-it* 'да буду я'. Последний внутри анатолийских языков находит прямое соответствие в лидийском прошедшем времени на *-l* типа *es-l* 'был'. Результат развития форм, двигавшихся от других употреблений к временным, в славянском и лидийском одинаков. Можно не торопиться делать прямые заключения о близости диалектов. Важнее другое: общий процесс формирования новых способов выражения временных различий в славянском и анатолийском использовал одинаковые морфемы, унаследованные от более древнего периода и имевшие первоначально другие функции.

Условное понимание отглагольных форм на *\*/-* как перфектных представляет собой пример *interpretation graeca*, которая была создана при переводах греческих христианских текстов на старославянский. В таких диалектах, как кривичский, известный нам по берестяным грамотам, функция этих форм другая — они служат для выражения прошедшего времени. В других случаях в индоевропейских языках предполагается описанный выше процесс превращения старых перфектных форм в претерито-перфектные, а потом — в формы прошедшего времени. Кажется возможным, что основной путь развития для форм на *-l* мог

быть несколько иным. Сперва они означали некое событие, находившееся вне поля зрения говорящего, в том числе потенциально возможное или произошедшее до момента речи. Позднее последнее значение становится основным.

12. Общим для всех индоевропейских диалектов процессом было развитие новых форм выражения противопоставления настоящего и прошедшего времени. Уже выявлены черты, объединяющие целые группы диалектов. Употребление глагольных основ с долгими гласными *\*-ā* и *\*-ē* в качестве модальных характеристик и примет прошедшего времени оказалось общей изоглоссой, проходящей по западно-индоевропейской и балто-славянской диалектным областям и соединяющей их с тохарскими языками. Внутри каждой из этих областей становление новой системы времен имело свои особенности. Их изучение позволит более четко понять взаимоотношения балто-славянских диалектов с другими индоевропейскими в период после окончательного полного распада индоевропейской языковой общности.

Для этой эпохи характерны два, возможно, взаимодействующих друг с другом процесса — с одной стороны, фонетический, ведущий к исчезновению ларингальных или к их переинтерпретации (возникновение акута в балто-славянском), с другой, морфологический, связанный с возникновением временных противопоставлений и изменением древних видовых и залоговых. Связь этих двух процессов выявлялась, в частности, в том, что происходило исчезновение или фонологическое перетолкование ранних окончаний второй серии, включавших в единственном числе ларингальный (не только в первом лице *\*H-e* и втором *\*-t-H-e*, но и в третьем *\*-H[-e/o?]*<sup>4</sup>). Это привело к существенному изменению тех парадигм (не только тематических глаголов, но и медиопассива и формировавшегося перфекта), которые включали эти фонемы, к появлению новых фонем на морфонологических границах («швах», junctures) внутри словоформы (в частности, к использованию глайдов *\*-j-* и *-w-* для устранения зияния). Резко увеличивается роль атематических глаголов первой серии, вбирающих в себя значительное число старых глаголов второй серии: этот процесс, отчетливо видный в предьстории старолитовского (или правосточно-балтийского) совершался и в других диалектах, о чем красноречиво свидетельствуют приведенные выше данные, отчасти противоречащие распространенным

<sup>4</sup> Помимо общих системных соображений, в пользу такой гипотезы говорит структура форм хеттских глаголов спряжения на *-hi* с суффиксом *-ah(h)-* типа *arm-ahh-* 'сделать беременной', где в словоформах *armahh-i*, *armahh-un* разграничить суффикс основы и окончание затруднительно.



представлениям об общиндоевропейском характере многих атематических парадигм, противопоставляющих первичные и вторичные окончания. Формирование славянских глагольных соотношений можно отнести ко времени, следующему за этими существенными процессами, в основе своей общебалто-славянскими.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дыбо 2000 — В. А. Дыбо. Морфонологизованные парадигматические акцентные системы. Типология и генезис. Т. I. *Studia Philologica*. М., 2000.
- Иванов 1968 — Вяч. Вс. Иванов. Отражение двух серий индоевропейских глагольных форм в праславянском // *Славянское языкознание. Междунар. съезд славистов*. Докл. сов. делегации. М., 1968.
- Иванов 1981a — Вяч. Вс. Иванов. Происхождение балтийских и славянских отглагольных форм на *-l* // *Acta Baltico-Slavica*. Т. XIV. 1981.
- Иванов 1981b — Вяч. Вс. Иванов. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: Индоевропейские истоки. М., 1981.
- Иванов 1998 — Вяч. Вс. Иванов. Нечет и чет // *Избранные труды по семиотике и истории культуры*. М., 1998.
- Мейе 1938 — А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938.
- Николаев, Старостин 2007 — С. Л. Николаев, С. А. Старостин. Парадигматические классы индоевропейского глагола // С. А. Старостин. Статьи. М., 2007.
- Топоров 1961 — В. Н. Топоров. К вопросу об эволюции славянского и балтийского глагола // *Вопросы славянского языкознания*. Вып. 5. М., 1961.
- Топоров 1963 — В. Н. Топоров. О некоторых архаизмах в системе балтийского глагола // *International Journal of Slavic linguistics and poetics*. V. 1963.
- Топоров 1966 — В. Н. Топоров. Несколько замечаний о структуре флексивной парадигмы литовского глагола в связи с проблемой порождения глагольных форм // *Kalbotyra*. XIV. 1966.
- Топоров 1973 — В. Н. Топоров. Несколько замечаний о балтийских глаголах на *-sta* в связи с происхождением этого форманта // *Lietuvių kalbotyros klausimai*. XIV. 1973.
- Топоров 1975 — В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. Т. I–V. М., 1975–1990.
- Топоров 1988 — В. Н. Топоров. К реконструкции древнейшего состояния праславянского // *Славянское языкознание. X Междунар. съезд славистов*. М., 1988.
- Bader 1976 — F. Bader. Le present du verbe «être» en l'indoeuropéen // *Bulletin de la Société Linguistique de Paris*. T. LXXI. 1976. Fasc. 1.
- Bonfante 1932 — G. Bonfante. Lat. *sum, es, est* etc. // *Bulletin de la Société Linguistique de Paris*. T. 33. 1932. Fasc. 1.
- Couvreur 1936 — W. Couvreur. Les désinences Hittites *-hi, -ti, -i* du present et *-ta* du preterit // *Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales et Slaves de l'Université Libre de Bruxelles*. 4. 1936.
- Cowgill 1975 — W. Cowgill. More evidence for Indo-Hittite: the Tense-Aspect system // *Proceedings of the Eleventh International Congress of Linguists*. 2. Bologna: Società Editrice di Milano, 1975.

- Cowgill 1979 — W. Cowgill. Anatolian *-hi* conjugation and Indo-European perfect: Installment II // *Hethitisch und Indo-Germanisch*. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft / Hrsg. E. Neu, W. Meid. Bd. 25. Innsbruck, 1979.
- Darden 2002 — B. J. Darden. On the question of the archaism of the Hittite verb // *The Linguist's Linguist*. A collection of papers in honour of Alexis Monaster Ramer / Ed. F. Cavoto. Munich, 2002.
- Eichner 1975 — H. Eichner. Die Vorgeschichte des hethitischen Verbalsystems // *Flexion und Wortbildung*. Akten der V. Fachtagung der indogermanischen Gesellschaft / Hrsg. H. Rix. Wiesbaden, 1975.
- Hamp 1971 — E. P. Hamp. *ha* = Indo-European *\*ed-* // *Studia Albanica*. 1971. 2.
- Hamp 1976 — E. Hamp. The accentuation of Lithuanian compound verbs // *Baltistica*. XII (1). 1976.
- Huld 1984 — M. E. Huld. Basic Albanian Etymologies. Columbus, 1984.
- Ivanov 2001 — V. Ivanov. Indo-European *\*bhuH-* in Luwian and the Prehistory of Past and Perfect // *Proceedings of the Twelfth Annual UCLA Indo-European Conference*. Los Angeles, May 26–28, 2000 / Ed. M. Huld, K. Jones-Bley, A. della Volpe, M. Robbins Dexter. *Journal of Indo-European Studies*. Monograph № 40. 2001.
- Jasanoff 2003 — J. H. Jasanoff. Hittite and the Indo-European verb. Oxford, 2003.
- Kassian 2002 — A. S. Kassian. Glossary of verbal forms and derivatives from published Old Hittite texts // *Anatolian languages / Ed. V. Shevoroshkin, P. Sidwell / AHL Studies in the Science and History of language*. Monograph. Ser. I. Vol. 6. Canberra, 2002.
- KBo — Keilschrifttexte aus Boghazköi.
- Kellogg 1925 — R. J. Kellogg. Some new Indo-European coincidences in Hittite // *Ottawa University Quarterly Bulletin*. 23. 1925.
- Kortlandt 1962 — F. Kortlandt. Le statif indo-européen en slave // *Revue des études slaves*. LXIV/3. 1962.
- Kortlandt 2007 — F. Kortlandt. Hittite *-hi* verbs and the Indo-European perfect // <http://www.kortlandt.nl/publications/art241e.pdf>
- Kümmel 1996 — M. Kümmel. Stativ und Passivaorist. Historische Sprachwissenschaft 39 Ergänzungsheft. Göttingen, 1996.
- Kuryłowicz 1927 — J. Kuryłowicz. *a* indo-européen et *h* Hittite // *Symbolae grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski*. Kraków, 1927.
- Kuryłowicz 1932 — J. Kuryłowicz. Les désinences moyennes de l'indo-européen et du hittite // *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*. 33. 1932.
- Kuryłowicz 1958 — J. Kuryłowicz. Le Hittite // *Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists*. Oslo, 1958.
- Kuryłowicz 1979 — J. Kuryłowicz. Die hethitische *hi-* Konjugation // *Hethitisch und Indo-Germanisch*. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft / Hrsg. E. Neu, W. Meid. Bd. 25. Innsbruck, 1979.
- Lehrman 1998 — A. Lehrman. Indo-Hittite Redux. *Studies in Anatolian and Indo-European Verb Morphology*. M., 1998.
- Meid 1979 — W. Meid. Der Archaismus des Hethitischen // *Hethitisch und Indo-Germanisch*. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft / Hrsg. E. Neu, W. Meid. Bd. 25. Innsbruck, 1979.
- Melchert 1994 — H. Melchert. Craig. *Anatolian Historical Phonology*. Amsterdam; Atlanta (GA), 1994.

- Morpurgo-Davies 1979 — *A. Morpurgo-Davies*. Luwian language and the Hittite hi-conjugation // *Studies in Synchronic, Diachronic and Typological Linguistics: Festschrift for O. Szemerényi on the occasion of his 65-th birthday* / Ed. B. Brogyanyi. Amsterdam, 1979.
- Neu 1968 — *E. Neu*. Das hethitische Mediopassiv und seine indogermanische Grundlagen. Studien zu den Boghazköi-Texten. 6. 1968.
- Neu 1976 — *E. Neu*. Zur Rekonstruktion des indogermanischen Verbalsystems: Studies in Greek, Italic and Indo-European Linguistics. Offered to L. R. Palmer on the occasion of his seventeenth birthday / Ed. A. Morpurgo-Davies, W. Meid. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. 16. Innsbruck, 1976.
- Neu 1985 — *E. Neu*. Das Frühindogermanische Diathesensystem // *Grammatische Kategorien: Funktion und Geschichte. Akten der VII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft* / Hrsg. B. Schlerath. Wiesbaden, 1985.
- Neu 1989 — *E. Neu*. Dichotomie in grundsprachlichen Verbalsystem des Indogermanischen // *Indogermanica Europaea: Festschrift für Wolfgang Meid zum 60. Geburtstag am 12.11.89*. Graz, 1989.
- Oettinger 1979 — *N. Oettinger*. Die Stammbildung des hethitischen Verbums. Nuremberg, 1979.
- Oettinger 1992 — *N. Oettinger*. Die hethitische Verbalstämme // *Per una grammatica ittita. Studia Mediterranea*. 7. Pavia, 1992.
- Pedersen 1899 — *H. Pedersen*. Albanesisch und Armenisch // *Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen*. 1899.
- Pedersen 1907 — *H. Pedersen*. Neues und Nachträgliches // *Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen*. Bd. XL. 1907.
- Pedersen 1933 — *H. Pedersen*. Zur Frage nach der Urverwandschaft des Indoeuropäischen mit den ugrofinnischen // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. 67. 1933.
- Pedersen 1938 — *H. Pedersen*. Hittitisch und die anderen indo-europäischen Sprachen. Danske Videnskabernes Selskab, historisk-filologiske klasse Meddelelser. 25/2. Kjöbenhavn, 1938.
- Pedersen 1947 — *H. Pedersen*. Hittite *dalugnula* and *barganula* // *Journal of Cuneiform Studies*. Vol. 1. 1947. № 1.
- Pisani 1959 — *V. Pisani*. Saggi di linguistica storica: Scritti scelti di V. Pisani. Torino, 1959.
- Puhvel 2002 — *J. Puhvel*. Epilecta Indoeuropaea. Opera Selecta Annis 1978–2001. Excusa Imprimis ad Res Anatolicas Attinentia. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Innsbruck, 2002.
- Risch 1975 — *E. Risch*. Zur Entstehung des hethitischen Verbalparadigmas // *Flexion and Wortbildung. Akten der V. Fachtagung der indogermanischen Gesellschaft* / Ed. H. Rix. Wiesbaden, 1975.
- Rosenkranz 1952 — *B. Rosenkranz*. Die hethitische *hi*-Conjugation // *Jahrbuch für kleinasiatische Forschung*. 2. 1952.
- Rosenkranz 1958 — *B. Rosenkranz*. Die hethitische *li*-Conjugation und das indogermanische Perfekt // *Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen*. 1958. 75.
- Rosenkranz 1971 — *B. Rosenkranz*. Zur Entstehungsgeschichte der indogermanischen Verbalflexion // *Institut für Sprachwissenschaft der Universität Köln. Arbeitspapier* 16. 1971 (отпечатано множительным аппаратом).

- Rosenkranz 1978 — *B. Rosenkranz*. Vergleichende Untersuchungen der altanatolischen Sprachen. Trends in Linguistics / Ed. W. Winter. State-of-the-Art Reports. 8. The Hague; Paris; New York, 1978.
- Schmalstieg 2000 — *W. R. Schmalstieg*. The Historical Morphology of the Baltic Verb. *Journal of Indo-European Studies. Monograph № 37*. Washington, 2000.
- Shatskov 2006 — *A. Shatskov*. Hittite verbs of the type *harnink-* // *Altorientalische Forschungen*. Bd. 32. 2006. 2.
- Stang 1932 — *Ch. S. Stang*. Perfektum und Medium // *Norsk Tidsskrift for Sprogvedskab*. 6. 1932.
- Stang 1942 — *Ch. S. Stang*. Das slawische und baltische Verbum. Oslo, 1942.
- Stang 1966 — *Ch. S. Stang*. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo, 1966.
- Sturtevant 1942 — *E. H. Sturtevant*. Indo-Hittite Laryngeals. Baltimore, 1942.
- Toporov 1998 — *V. N. Toporov*. Sulla ricostruzione dello stadio più antico del protoslavo // *Res Balticae*. Pisa, 1998. 4.
- Vaillant 1962 — *A. Vaillant*. Le parfait indo-européen en balto-slave // *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*. 57. 1962.
- Vaillant 1966 — *A. Vaillant*. Grammaire comparée des langues slaves. Vol. III. Le verbe. Paris, 1966.
- Van Wijk 1933 — *N. Van Wijk*. Le problème de prétérito-présents slaves en baltique // *Studi baltici*. 3. 1933.
- Watkins 1969 — *C. Watkins*. Indogermanische Grammatik / Hrsg. J. Kuryłowicz. Bd. III. Formenlehre erster Teil. Geschichte der indogermanischen Verbal flexion. Heidelberg, 1969.

W. R. SCHMALSTIEG

## The \*-o stem dative and accusative in Baltic and Slavic

In the call for contributions in honor of the sorely missed Vladimir Nikolaevich Toporov it was suggested that papers should be on topics close to his heart, Baltistics and Balto-Slavic relations. But Toporov was a wide-ranging scholar, who recognized the importance of many other languages for his scholarly activity. Indeed the fourth entry in his Old Prussian etymological dictionary [Топоров 1975: 47–48], *abbaiēn* ‘both’, in addition to the expected Baltic and Slavic cognates (Lith. *abū*, Slavic *oba*) contains Goth. *bai*, Old Indic *ubhā*, Avestan *uva*, Old Persian *ubā*, Tocharian A *ām-pi*, *ām-puk*, Tocharian B *ant-āpi*, Greek *ἄμφω*, Latin *ambō*, etc. In this paper I will then concentrate on Balto-Slavic relations, but neither will I ignore material from other languages.

I shall begin with the general observation that the assignment of different meanings to different generalized sandhi variants of an original single morpheme is observed in the history of various languages. For example, the English possessives *my* and *mine* derive from different sandhi variants, the form with the final nasal deriving from original prevocalic position and the form lacking the final nasal deriving from original preconsonantal position [Strang 1970: 198]. The original automatic distribution of similar variants is still preserved in the use of the indefinite article *a* vs. *an*, e.g., *a book* but *an apple*. Anttila [1972: 79] writes concerning Estonian: «In the beginning of the seventeenth century, the final *-n* was about to disappear everywhere, but it was still retained if the following word began with a vowel. From such positions it could be generalized back into every position in the first person singular partly (presumably) to avoid homonymy with the imperative *kanna* ‘carry!’».

I propose that the Indo-European word-final sequence *\*-om* either remained as *\*-om* or else developed into *\*-ō* depending on conditions of sentence sandhi. The original sequence *\*-om* was retained if the following word began with a vowel, but the vowel *\*-ō* emerged if the following word began with a consonant, in other words in preconsonantal position the nasal consonant was lost and the preceding vowel underwent compensatory lengthening. In the course of time these etymological automatic phonological variants occurring in the *\*-ō* stem nouns were reanalyzed, each variant gaining a separate syntactic significance. The accusative singular case is represented by *\*-om* (< *\*-om* in prevocalic sandhi position with retention of the final

nasal) whereas the dative singular case is represented for the most part (but not exclusively) by *\*-ō* (< *\*-om* in etymological preconsonantal sandhi position), cf. Lat. acc. sg. *serv-um* (< *\*-om* < *\*\*om* + V...) ‘slave’ vs. dat. sg. *servo* (< *\*-ō* < *\*\*om* + C...), (see [Schmalstieg 2000; 2004]).

This word-final sequence < *\*-om* developed into Baltic *-an*, cf., e.g., Old Prussian acc. sg. *deiwan* ‘God’, but the Slavic situation was more complex. In Slavic the etymological Indo-European sequence *\*-om* in closed syllable passed to *\*-um* (i. e., originally in word-final position before a word beginning with a consonant) and this generalized word-final *\*-um* was then subject to a repetition of the same sandhi rules which had governed the Indo-European phenomena described above such that in prevocalic position *\*-um* passed either to *\*-ǔ* with loss of the final *\*-m* (as in the accusative singular), but in preconsonantal position *\*-um* passed to *-ǫ* (which in the dat. sg. was soon denasalized into *-u*). A partial parallel is observed in the development of the preposition/prefix *\*sun(-)* ‘with’ which from *\*sǔn-im*; ‘with him’ was reanalyzed as *\*sǔ-nim*; which passed to modern Russian *с ним*, although in preconsonantal position we encounter *sq-prǫgǔ* ‘spouse’ as in modern Russian *супруг*. In early Slavic, however, the etymological *\*-o* stem dative singular ending *\*-ǫ* was soon denasalized in stem-stressed paradigms and then generalized as the *\*-o* stem dative singular ending. There is a partial parallel to the Slavic denasalization in the situation described by Zinkevičius [1966: 77] for certain western Lithuanian dialects (Klaipėda, etc.) in which the genitive plural ending has the variants: *šāk-ūn* or *šāk-ū* ‘(of the) branches’ (the latter form without the final nasal). According to Zinkevičius, perhaps under the influence of the root-stressed type the second variant is more characteristic of the younger generation and in places in the east has completely ousted the first variant.

Several factors determined the Slavic choice of *\*-om* > *-ǫ* > *-u* for the *\*-o* stem dative singular ending. Differently from Baltic which continued the distinction between Indo-European *\*ō* (> Lith. *uo*) and *\*ā* (> Lith. *o*) Slavic merged *\*ō* with *\*ā* such that a Slavic dative singular ending *\*-ō* would then have become homonymous with the *\*-o* stem genitive singular ending *\*-ā*, cf. Lith. gen. sg. *gard-o* ‘(of the) animal pen’ = Old Church Slavic *grad-a* ‘(of the) city’ (both the Baltic and Slavic endings reflecting the *\*-o* stem gen. sg. ending *\*-ā*). The Slavic denasalized form *-u* (< *\*-ǫ*) from stem-stressed paradigms was generalized in order to differentiate it from the accusative singular *-ǫ* of the *\*-ā* stem paradigm, (cf. Lith. *rank-q* ‘hand’ = Slavic *\*rǫk-ǫ*) although this difference was soon rendered impossible in those Slavic languages which lost nasalization as a vocalic distinctive feature, cf., e.g., Russian dat. sg. *город-у* ‘city’, acc. sg. *руку* ‘hand’.

The definite form of the Baltic and Slavic adjective and pronoun consists of a reduplication of the etymological ending (mostly by the addition of a pronoun). In both Baltic and Slavic, however, the nominal *\*-o* stem ending has been added, such that the Lithuanian dative singular is Lith. *t-am-ui* and the Slavic is *t-om-u* 'to that' with retention of the etymological *\*-om-* in protected position before a vowel. The definite accusative singular form, however, represents an innovation in both Baltic and Slavic. Lith. *tą* (< *\*tan* < *\*tom*) takes the accusative form *į* from the pronoun *jis* 'he' (Lith. *įjį*) whereas Slavic *тѣ* takes the accusative *ѣ* from the cognate pronoun (Slavic *тѣѣ*). In both Baltic and Slavic the dative plural was formed by the addition of *\*-us* to the original ending *\*-om(-)* giving *\*-om-us* (> Baltic *-amus* and Slavic *-omъ*). In Indo-European times the plural marker *\*-s* was added to the etymological *\*-om* to give the accusative plural ending *\*-oms*, which, of course, with the loss of the nasal in preconsonantal position passed to *\*-ōs* (cf. Lat. acc. pl. *servos* 'slaves') and the cognate is preserved in East Baltic, cf. Lith. definite adjective acc. pl. *ger-uos-ius* 'the good'. In most other Indo-European languages, however, the accusative plural was recreated a second time by adding *-s* giving *\*-om-s*, thus, e.g., Old Prussian acc. pl. *deiw-ans* 'gods', Slavic *\*-ums* > *\*-ūs* > *-y*). There exists the possibility, of course, that original *\*-ōs* and *\*-oms* existed as stylistic variants already in Indo-European times and that some languages, e.g., Latin and East Baltic chose one variant, viz., *\*-ōs* and that another variant, viz. *\*-oms* (> *\*-ons* with assimilation to the final sibilant) was chosen by Greek (*ἀνθρώπων* 'men'), Gothic (*dag-ans* 'days'), Old Indic (*devān* 'gods'), Old Church Slavic (*grad-y* 'cities') and Old Prussian (*deiw-ans* 'gods') (see [Schmalstieg 1980: 81; Schwyzler 1959: 337, 556]).

After the split into the dative and accusative cases in the *\*o*-stem class other noun stem classes (e.g., the consonant stems) assigned the old dative in *\*-m* to the new accusative function and a form of the old locative in *\*(e)i* took over dative function, cf. Lat. acc. sg. *homin-em* < *\*-m* 'man', dat. sg. *homin-i*. < *\*-ei*, Gk. acc. sg. *ποιμέν-α* < *\*-m* 'shepherd', dat. sg. *ποιμέν-ι* < *\*-i*. This etymological locative marker *\*-i* was also added independently to the etymological *\*-ō* to give standard Lithuanian *-ui* and in Greek to give *-ω*.

I note next that the expression of direct, indirect object and goal of motion by the same case is quite normal in many languages of the world. Gamkrelidze and Ivanov [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 285–286] write that these can all be expressed by the same case (*-s*) in Georgian: *k'aci aḡlevs c'ign-s bavšv-s* 'the man gives the book (*c'ign-s*) to the child' (*bavšv-s*) and *midis kalak-s* 'goes to the city'. Similarly in Classical Arabic dative and accusative functions were both accomplished by the accusative case, cf. *saqaw Zaid-an* (acc. sg.) *khamr-an* (wine — acc. sg.) *masmūmat-an* (poisoned — acc. sg.) 'they gave

Zaid poisoned wine to drink' [Wright 1898: 48] where in classical Indo-European languages *Zaid* would be in the dative case. The object of a verb of motion can also be in the accusative case in Classical Arabic: *dhahaba š-ša'm-a* (acc. sg.) 'he went to Syria' [Ibid.: 191].

I consider it evidence of the etymological identity of the dative and accusative cases that in the oldest forms of Indo-European both cases could be used as the goal of motion, cf. Lat. *domum* (acc. sg.) *ire* 'to go home' (replaced in late Latin by *in (ad) domum*, where the preposition, added later, reinforces the original meaning), *tollitur in caelum* (acc. sg.) *clāmor* 'a shout is raised to heaven' (Virgil, Aeneid 11, 745), but also *it clāmor caelō* (dat. sg.) 'the shout goes heavenward' (Virgil, Aeneid 5, 451). Greek examples include *οἶκον (δῶμον)* (acc. sg.) *ἰέναι* 'to go home' [Hofmann, Szantyr et al. 1972: 49], but also *Ἀλφειῷ* (dat. sg.) *μέσσω καταβαίς ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν ἐυρυβίαν* 'going down into the middle of the Alpheos he called upon widely ruling Poseidon' (Pindar, Olympian Ode 6, 61–62). Delbrück [1893: 177] gives the Old Indic examples, *grāmam* (acc. sg.) *gacchati* vs. *grāmāya* (dat. sg.) *gacchati* 'he goes to the village'. Danylenko [Даниленко 2003: 295] gives the following example from Old East Slavic, *pride Volodimerъ Haličъskoi* (acc.) *i pride Kyevu* (dat.) 'Volodimer came to Galicia and arrived at Kiev'.

According to Friedrich [1960: 120] the Hittite accusative is very rare and perhaps archaic in its usage as the object of motion. He gives as examples *nu-šmaš HUR.SAG-an* (acc. sg.) *parhanzi* 'und sie werden euch ins Gebirge jagen, and they will chase you into the mountains'; *GÜ-zu* <sup>GIS</sup> *APIN-an* (acc. sg.) *šēr tizzi* 'sein Nacken kommt auf einen Pflug, one places his neck on a plow' [Hoffner 1997: 133].

The older Hittite language has a directive in *-a* for the object of motion as opposed to an *-i* to denote location at rest, thus *arun-a* 'to the ocean', *nepiš-a* 'to heaven' as opposed to *arun-i* 'in the ocean', *nepiš-i* 'in heaven' [Friedrich 1960: 121]. The Hittite directive in *-a* corresponds to the Indo-European dative in *\*-ō*, the accusative in *-an* to the Indo-European accusative in *\*-om*. The Hittite dative in *-i* derives from the Indo-European locative in *\*(e)i*, as do, indeed, the above mentioned Lat. dat. sg. *homin-i*, Gk. dat. sg. *ποιμέν-ι*.

One encounters Lith. *Einu einu ir prieinū mišką* (acc. sg.) 'I go and go and arrive at the forest' (LKŽ II, 1100); *privažiavome dvarelį* (acc. sg.) 'we came to the small manor' (LKŽ XVIII, 449); *Aš pats keliausiu tolimą šalę* 'I myself will travel to a distant land' (JD, 2704); *Lėkčiau žalią giruželę* 'I would fly to a green forest' (JD II, 341); *Ryto josiū jomarkėlį* 'Tomorrow I will ride to the market' (LKŽ IV, 358 = JD, 521); *Balnok, tėveli, bėra žirgelį, josiū svečią šalę* 'Saddle up, o father, the bay horse, I will ride to a foreign country' (LKŽ IV, 358 = JV, 985). Note also the ancient phraseological

sequences, e. g., Lith. *bitės kópti*, Latv. *bites kāpt*, Old Russian *бѣчѣли лазити* 'to keep bees, (literally) to climb bees' in which the accusative is encountered as the apparent direct object of a verb of motion [Eckert 1997: 158].

Although the Lithuanian preposition *į* 'to, in' may strengthen the simple accusative case in the function of object of motion just as *ad*, *in* do in Latin or *въ* in Slavic, the preposition may add nothing to the meaning. The introduction of a preposition to strengthen an original case function without essentially changing the meaning is common in the history of languages. With regard to the locative case Toporov has written [Топоров 1961: 310]: «...лок. с предлогом *в* во многих случаях заменял б/пр. лок., не внося ничего нового в значение конструкции и являясь, по сути дела, лишь структурным нововведением. Во всяком случае, в области местного и временного значений лок. с предлогом *в* был преемником л/пр. лок., и это можно считать доказанным».

I believe that all syntax has its origin in semantics and the semantic dative case is clearly the original case. Now Kuryłowicz's principle IV [1960: 79] states that when as the result of a morphological transformation two new forms are created the new form corresponds to the primary function (*forme de fondation*) and the old form is reserved for the secondary function (*fondée*). Notice that the phonologically more modern noun ending *\*-ō* has the original dative function and for the most part the phonologically older *\*-om* has the more modern accusative function.

#### Abbreviations and references

- Anttila 1972 — *R. Anttila*. An introduction to historical and comparative linguistics. New York, 1972.
- Delbrück 1893 — *B. Delbrück*. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. I. Strassburg, 1893.
- Eckert 1997 — *R. Eckert*. Baltisch-slawisch-finnougrische Entsprechungen im Wortschatz der Waldimkerei // Finnisch-ugrische Forschungen. 54/1–2. 1997.
- Friedrich 1960 — *J. Friedrich*. Hethitisches Elementarbuch. Heidelberg, 1960.
- Hofmann, Szantyr et al. 1972 — *J. B. Hofmann, A. Szantyr et al.* Lateinische Syntax und Stilistik. Munich, 1972.
- Hoffner 1997 — *H. Hoffner*. The laws of the Hittites. Leiden; New York; Cologne, 1997.
- JD — Lietuviškos dąjnos užrašytos par Antaną Juškevičę. 3 volumes. Kazan'. 1880–1882. The numerals denote the number of the song.
- JV — Lietuviškos svotbines dąjnos užrašytos par Joną Juškevičę ir išspąudintos par Joną Juškevičę. St. Petersburg, 1883. The numerals denote the number of the song.
- Kuryłowicz 1960 — *J. Kuryłowicz*. La nature des procès dits analogiques // Esquisses linguistiques. Wrocław; Kraków, 1960.
- LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. T. 1–20 / Ed. by J. Balčikonis, J. Kruopas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas. Vilnius, 1941–2002.

- Schmalstieg 1980 — *W. Schmalstieg*. Indo-European linguistics: A new synthesis. London, 1980.
- Schmalstieg 2000 — *W. R. Schmalstieg*. Dative or Accusative, A Latvian parallel to Proto-Indo-European // Aspekte baltistischer Forschung. Schriften des Instituts für Baltistik. Vol. 1. In honorem R. Eckert, Ernst–Moritz–Arndt–Universität Greifswald / Ed. by J. D. Range. Essen, 2000.
- Schmalstieg 2004 — *W. R. Schmalstieg*. The common origin of the *\*-o* stem dative, accusative and instrumental cases // Baltistica. 39. 2004.
- Schwyzer 1959 — *E. Schwyzer*. Griechische Grammatik. Vol. 1. Allgemeiner Teil. Lautlehre. Wortbildung. Flexion. Munich, 1959.
- Strang 1970 — *B. Strang*. A history of English. London, 1970.
- VD — *A. Vireliūnas*. Kupiškėnos dainos (see the journal Tauta ir žodis III and IV). The numerals denote the number of the song.
- Wright 1898 — *W. Wright*. A grammar of the Arabic language. Vol. 3. Cambridge, 1898.
- Zinkevičius 1966 — *Z. Zinkevičius*. Lietuvių dialektologija. Vilnius, 1966.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Т. Гамкрелидзе, В. Иванов*. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.
- Даниленко 2003 — *А. І. Даниленко*. Предикати, відмінки і діатези в українській мові: історичний і типологічний аспекти. Харків, 2003.
- Топоров 1961 — *В. Н. Топоров*. Локатив в славянских языках. М., 1961.
- Топоров 1975 — *В. Н. Топоров*. Прусский язык: Словарь. Т. I: А–D. М., 1975.



П. М. АРКАДЬЕВ

## Теория акциональности и литовский глагол

### Предварительные замечания<sup>1</sup>

Задача данной статьи двойка. С одной стороны, в ней ставится эмпирический и конкретно-языковой вопрос о системе акциональных классов глаголов в литовском языке — проблема, до сих пор не только не получившая адекватного решения, но и, фактически, эксплицитно не ставившаяся. С другой стороны, меня интересуют теоретические и типологические следствия, которые можно получить в результате анализа литовского материала, и возможные пути решения проблем, здесь возникающих.

Структура статьи такова. В первом разделе дается сжатая, но по возможности исчерпывающая характеристика аспектологической теории, в рамках которой проведено данное исследование. Во втором разделе характеризуется видо-временная система литовского языка и излагаются результаты исследования литовских акциональных классов. Наконец, в третьем разделе обсуждаются типологическое своеобразие системы акциональных классов в литовском языке и возникающие при анализе литовского материала проблемы теоретического характера.

### 1. Теория акциональности

Акциональностью принято называть те компоненты лексической семантики глагола, которые отражают внутреннюю структуру описываемой им внеязыковой ситуации и релевантны для функционирования видовых категорий, таких как Совершенный<sup>2</sup> и Несовершенный Виды в русском языке, Present Continuous в английском и т. п. Само

<sup>1</sup> Работа выполнена при поддержке Фонда содействия отечественной науке и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН. Я благодарю Б. Вимера, М. В. Завьялову, Т. М. Николаеву, А. Г. Пазельскую, Ю. Пакериса, Б. Парти, В. А. Плуногяна, Л. Савицки, А. Хольфута, А. В. Циммерлинга и А. Б. Шлуинского за ценные советы и замечания.

<sup>2</sup> Следуя сложившейся в типологии грамматических категорий традиции (ср. работы [Dahl 1985; Bybee, Dahl 1989; Bybee et al. 1994]), названия конкретно-языковых категорий и граммем я буду писать с заглавной буквы, а названия универсальных грамматических типов (например, «имперфектив», «перфектив») и универсальных семантических ярлыков (например, «актуально-длительное значение») — малыми прописными.

понятие акциональности имеет смысл лишь в рамках такой трактовки вида, которая эксплицитно противопоставляет по меньшей мере два типа видовых значений — неформально говоря, «грамматический вид» и «лексический вид» (см. [Sasse 2002]). Таковой является, в частности, двухкомпонентная теория вида, наиболее отчетливо сформулированная в работах К. Смит [Smith 1997/1991; Смит 1998], ср. также отстаивающие, фактически, ту же идеологию работы [Vendler 1967; Маслов 2004/1948; 2004/1978; Булыгина 1997/1982; Гловинская 1982; Bache 1982; Dahl 1985; Klein 1994; Breu 1994; Bache et al. (eds.) 1994; Johanson 1996; Bertinetto, Delfitto 2000; Падучева 1996; 2004a]. Кратко охарактеризую эту теорию.

Двухкомпонентная теория вида исходит из того, что аспектуальная семантика предложения складывается из двух компонентов: внутренней аспектуальности, т. е. семантических характеристик ситуации, таких как стативность/динамичность, точечность/длительность, предельность/непредельность и т. п., — и внешней аспектуальности, т. е. значений, связанных с точкой зрения говорящего на ситуацию, в частности, видового ракурса (*aspectual viewpoint*). Остановимся на каждом из этих компонентов подробнее.

Внутренняя аспектуальность не сводится лишь к лексическому значению глагольной основы, но складывается по определенным принципам в результате взаимодействия глагола, его аргументов и определенных типов обстоятельств (см. подробнее такие работы, как [Krifka 1989; 1998; Tenny 1994; Levin, Rappaport Hovav 1998; Filip 1999; Падучева 2004б; Лютикова и др. 2006: 250–266]). Так, известно, что во многих языках есть глаголы, которые в сочетании с объектом определенного количества (*к в а н т о в а н н ы м*) имеют предельную интерпретацию, а в сочетании с объектом неопределенного количества (*к у м у л я т и в н ы м*) — непредельную, ср. примеры (1a) и (1b) из английского языка:

- (1) a. *John ate the apples in two minutes.*  
'Джон съел (известные) яблоки за две минуты.'  
b. *He ate apples for half an hour.*  
'Джон полчаса поел яблоч.'

На внутреннюю аспектуальность могут оказывать влияние разного рода модификаторы, ср. английские примеры (2a) и (2b) из работы [Levin, Rappaport Hovav 1998]:

- (2) a. *Phil swept the floor for an hour.*  
'Фил подметал пол в течение часа.'

- b. *Phil swept the floor clean in an hour.*  
'Фил за час подмел пол дочиста.'

В русском и других славянских языках большую роль в формировании внутренней аспектуальности играет глагольная префиксация; то же самое, и во многом еще более ярко, наблюдается и в литовском языке.

Перейдем к внешней аспектуальности. Основным ее компонентом является видовой ракурс — точка зрения говорящего на ситуацию. Здесь важнейшую роль играет прагматическое понятие в р е м е н и о т с ч е т а (*topic time*, по В. Клейну [Klein 1994], ср. [Падучева 1996; 2004a]) — того отрезка времени, который находится в сфере внимания говорящего в момент речи. При имперфективном ракурсе время отсчета помещается внутри времени ситуации, которая, тем самым, наблюдается «изнутри»; при перфективном же ракурсе время отсчета, напротив, включает в себя время ситуации, наблюдаемой во всей целостности (ср. аналогичные формулировки в работах [Исаченко 2003/1960; Comrie 1976]).

Важно отметить, что видовые ракурсы, по предположению, универсальны, причем в двух смыслах: во-первых, они имеются во всех языках мира, независимо от того, существуют ли в них грамматические средства их выразить, во-вторых, один и только один из видовых ракурсов представлен в любом независимом предложении (ср. [Csirmaz 2004]). Возможны ситуации, когда одно и то же предложение допускает как перфективное, так и имперфективное прочтения, ср. русский пример (3), однако эти прочтения взаимоисключают друг друга и не могут «амальгамироваться».

- (3) а. *Я читал «Войну и мир».*  
б. *Что ты делал, когда я вошёл? — Я читал «Войну и мир».*  
с. *Какие произведения Л. Н. Толстого ты читал? — Я читал «Войну и мир».*

Типичными «представителями» видовых ракурсов являются прогрессив, или актуально-длительное значение для имперфектива, ср. (3b) и лимитатив (грамматическое значение, выражающее ограниченные во времени ситуации, как правило, в прошлом) для перфектива. Последний, однако, может реализовываться также и в частных употреблениях таких, в принципе, аспектуально немаркированных категорий, как экспериенциальное (общефактическое) значение, ср. (3с), и хабитуальное (узуальное) значение, когда оно выражает квантификацию целостных ситуаций, ср. (4).

- (4) *Я всегда быстро читаю книги.*

Теперь скажем несколько слов о соотношении двух рассмотренных типов видовых значений. Из самих ярлыков «внутренняя» и «внешняя» аспектуальность вытекает, что значения, относящиеся ко внутренней аспектуальности, находятся в сфере действия операторов внешней аспектуальности. Действительно, видовой ракурс может применяться лишь к уже построенным концептуализациям ситуаций и не надстраивается какими-либо дополнительными ситуативными компонентами. То же самое, в общем случае, верно и для некоторых типов квантифицирующих аспектуальных значений (подробнее см. [Шлуинский 2005]).

То, как ситуация представлена на уровне внутренней аспектуальности, оказывает непосредственное влияние на возможности применения операторов видového ракурса. Так, очевидно, что имперфективный ракурс сочетается лишь с ситуациями, имеющими длительность. Более того, имперфективный ракурс не позволяет рассматривать конечные точки ситуации, в связи с чем возникает так называемый «имперфективный парадокс» (см. [Dowty 1979]): имперфективизация предельной ситуации имплицитно, что предел не достигнут.

Напротив, перфективный ракурс наиболее естественно сочетается с точечными и предельными ситуациями. Об этом свидетельствует, в частности, то, что в некоторых языках аспектуально немаркированная глагольная форма получает перфективную интерпретацию при глаголах, обозначающих предельные и точечные ситуации, а имперфективную интерпретацию — при предикатах, обозначающих неопредельные ситуации и состояния (ср. [Bohnenmeyer, Swift 2005]). Соответственно, перфективизация неопредельных ситуаций и имперфективизация предельных, как правило, сопровождаются особыми морфологическими показателями и, возможно, сдвигами в значении (подробней см. [de Swart 1998; Csirmaz 2004]).

Перейдем теперь к собственно понятию акциональности. Акциональность я буду понимать как тот компонент внутренней аспектуальности, который непосредственно отражен в лексической семантике глагола. При этом я исхожу из следующих методологических допущений, вытекающих из более общего принципа композициональности (ср. [Heim, Kratzer 1998: Ch. 1]): (i) акциональные свойства глагольной лексемы (т. е. глагола, рассматриваемого в данном лексическом значении и с данным набором аргументов; я позволю себе абстрагироваться от неизбежных теоретических проблем, связанных с понятиями «одинаковые/различные лексические значения», исходя из предположения, что в каждом конкретном случае разные значения одного предиката можно тем или иным образом разграничить) следует описывать так, чтобы они были по возможности постоянны во всех ее

употреблениях; тем самым адекватная теория акциональности должна сформулировать акциональные свойства глагола *eat* 'есть' так, чтобы различные значения внутренней аспектуальности в примерах (1a) и (1b) были, во-первых, совместимы с ней, и, во-вторых, порождались в результате ее взаимодействия с контекстом; (ii) акциональная характеристика глагола должна описываться так, чтобы контекст мог «надстраивать», но не модифицировать ее (стирать или заменять отдельные ее компоненты, ср. [Levin, Rappaport Hovav 1998]); тем самым, акциональные свойства глагола *sweep* 'подметать' должны быть сформулированы таким образом, чтобы позволять ему выступать в контексте типа (2b), а глагола *читать* — так, чтобы он мог выступать как в контекстах типа (3b), так и в контекстах типа (3c). Насколько данные допущения могут быть реализованы при разработке конкретной теории акциональности — вопрос эмпирический, и в следующих разделах мы к нему обратимся.

Существующие в настоящее время подходы к акциональности базируются в основном на работе З. Вендлера [Vendler 1967], предложившего классифицировать предикаты английского языка на четыре класса: состояния (*states: John loves Mary* 'Джон любит Мери'), деятельности (*activities: John runs* 'Джон бежит'), достижения (*achievements: John found the key* 'Джон нашёл ключ') и свершения (*accomplishments: John wrote a letter* 'Джон написал письмо'). В последующих работах (например, [Dowty 1979; Mourelatos 1981; Smith 1991/1997; Verkuyl 1989; 1993; Klein 1994; Breu 1994; Filip 1999; Селиверстова (ред.) 1982] и в особенности [Булыгина 1997/1982], а также уже упомянутые работы Е. В. Падучевой) классификация Вендлера многократно уточнялась и пересматривалась, причем на материале самых разных языков. За редкими исключениями исследователи полагали, что предложенная ими акциональная классификация предикатов универсальна, т.е. что в любом языке представлен один и тот же набор акциональных классов. Такое представление, однако, оказывается эмпирически неверным (см., в частности, работы [Ebert 1995; Johanson 1996]), по крайней мере в том смысле, что, во-первых, аспектуальная классификация в конкретных языках оказывается более дробной, чем предложенная Вендлером (это верно, в частности, и для английского языка), и, во-вторых, глаголы, являющиеся в разных языках «переводными эквивалентами», нередко принадлежат в них к разным акциональным классам.

Для того чтобы теория акциональности, с одной стороны, была способна адекватно отразить межъязыковое разнообразие в этой области, а с другой, давала возможность делать типологические обобщения, не-

обходима процедура выделения акциональных классов, применимая к любому языку. Такая процедура была предложена в работах С. Г. Татевосова [Tatevosov 2002; Татевосов 2005; Лютикова и др. 2006: Гл. 3]. Суть ее заключается в том, что акциональная характеристика лексемы выводится из акциональной характеристики ее комбинаций с основными видовыми ракурсами, реализуемыми в видо-временных формах (имперфектив в форме настоящего времени или прогрессива, перфектив — в форме перфективного претерита или, в его отсутствие, аспектуально неохарактеризованного прошедшего времени). Акциональная же характеристика видо-временной формы принадлежит к закрытому универсальному набору элементарных акциональных значений: «состояние» (S; *спит*), «процесс» (P; *работает*), «мультипликативный процесс» (M; *кашляет*); «вхождение в состояние» (ES; *заснул*), «вхождение в процесс» (EP; *заработал*), «квант мультипликативного процесса» (Q; *кашлянул*)<sup>3</sup>. Акциональный класс в таком случае образует множество лексем с тождественными акциональными характеристиками обеих релевантных видо-временных форм.

После того как были изложены основные положения такого подхода к акциональности, который принят в данной статье, обратимся непосредственно к материалу литовского языка.

## 2. Акциональные классы в литовском языке<sup>4</sup>

Перед тем как перейти к рассмотрению собственно акциональных классов в литовском языке, необходимо кратко охарактеризовать его видо-временную систему (подробнее см., в частности, [Sližienė 1995; Matthiassen 1996]). В литовском языке представлена морфологическая категория Времени, включающая следующие граммы: Презенс, Претерит (так называемое Прошедшее однократное, *būtašis kartinis laikas*), Хабитуалис-в-Прошедшем (так называемое Прошедшее многократное, *būtašis dažninis laikas*) и Будущее. Несмотря на то, что, подобно многим языкам, литовский обладает грамматикализованным аспектуальным противопоставлением в системе прошедшего времени, соотношение однократного и многократного Прошедших времен вовсе не тождествен-

<sup>3</sup> Последнее из указанных значений сам С. Г. Татевосов не выделяет, отождествляя его с «вхождением в состояние»; я полагаю разумным различать эти два акциональных значения.

<sup>4</sup> Материал литовского языка собирался в 2005–2006 гг. в Литве и в Москве. Я благодарю сотрудников Института литовского языка (Вильнюс), Вильнюсского университета и Посольства Литовской Республики в Москве за любезно оказанную помощь.

но оппозиции Аорист vs. Имперфект в европейских языках. Прошедшее многократное употребляется лишь для обозначения узуальных, повторяющихся ситуаций в прошлом, но не способно в норме выражать однократные длящиеся ситуации, ср. пример (5), заимствованный из статьи [Holvoet, Čižik 2004: 154]:

- (5) *Jon-as ateĩ-dav-o i mĩs-ũ susitikim-us.*  
 Йонас-NOM.SG приџти-НАВ-PST.3 в мы-GEN встреча-ACC.PL  
 'Йонас приходил на наши встречи.'

Таким образом, Претерит фактически покрывает всю семантическую зону прошедшего времени (за исключением ряда таксисных, результативных и экспериенциальных контекстов, обслуживаемых аналитическим перфектом), будучи совместим с обоими видовыми ракурсами.

Литовская грамматическая традиция (см. такие работы, как [Dambriũnas 1959; 1960; Дамбрюнас 1962; Галнайтите 1963; Galnaityte 1962; 1978; Paulauskienė 1971; 1979; Reklaitis 1980; Амбразас (ред.) 1985: 199–202; Ambrasas (ed.) 1997: 234–237; Valeckienė 1998: 285–287; Ambrasas 1999]<sup>5</sup>) постулирует в литовском языке «лексико-грамматическую» категорию Вида (*veikslas*) с двумя граммемами: «Несовершенный Вид» (*eigos veikslas*) и «Совершенный Вид» (*įvykio veikslas*)<sup>6</sup>. «Видовое» противопоставление в литовском языке обычно трактуется как лексическое. К «Несовершенному Виду» относятся глаголы, Презенс которых имеет актуально-длительное значение, а Претерит обозначает длящуюся ситуацию в прошлом (например, глагол *rašyti* 'писать'), ср. пример (6).

- (6) a. *Jon-as raš-o laišk-q.*  
 Йонас-NOM.SG писать-PRS.3 письмо-ACC.SG  
 'Йонас пишет письмо.'
- b. *Jon-as raš-ė laišk-q.*  
 Йонас-NOM.SG писать-PST.3 письмо-ACC.SG  
 'Йонас писал письмо.'

Как глаголы «Совершенного Вида» трактуются те, Презенс которых не имеет актуально-длительного значения, а употребляется в хабитуальной и нарративной ('*praesens historicum*') функциях, а Претерит обозначает

точечные события в прошлом (например, глагол *parašyti* 'написать'), ср. пример (7).

- (7) a. *Jon-as kasdien pa-raš-o laišk-us.*  
 Йонас-NOM.SG каждый.день PRV-писать-PRS.3 письмо-ACC.PL  
 'Йонас каждый день пишет письма (те, что задумал, и до конца).'
- b. *Jon-as pa-raš-ė laišk-q.*  
 Йонас-NOM.SG PRV-писать-PST.3 письмо-ACC.SG  
 'Йонас написал письмо.'

Также выделяется весьма обширный и, как мы увидим ниже, довольно аморфный класс «двувидовых» глаголов, Презенс которых, подобно «Несовершенному Виду», способен употребляться в актуально-длительном значении, а Претерит выражает законченные ситуации, как у глаголов «Совершенного Вида» (например, *atidaryti* 'открывать/открыть'), ср. пример (8).

- (8) a. *Jon-as atidar-o dur-is.*  
 Йонас-NOM.SG открыть-PRS.3 дверь-ACC.PL  
 'Йонас открывает дверь.'
- b. *Jon-as atidar-ė dur-is.*  
 Йонас-NOM.SG открыть-PST.3 дверь-ACC.PL  
 'Йонас открыл дверь.'

Такая система во многом напоминает категорию вида славянского типа, в особенности тем, что в литовском языке довольно широко представлена «видовая соотносительность» глагольных лексем (ср. пару *rašyti* ~ *parašyti*).

В работах последнего времени (см. [Mathiassen 1996; Sawicky 2000; Вимер 2001; 2004; Holvoet, Čižik 2004]), преимущественно написанных за пределами Литвы, выделение в литовском языке категории Вида подвергается сомнению. Против трактовки обрисованных выше противопоставлений как категории вида (в общепринятом понимании терминов «(грамматическая) категория» и «вид») можно выдвинуть следующие аргументы (подробнее см. [Аркадьев 2008]). Во-первых, данная «категория» в литовском языке не имеет собственно морфосинтаксических коррелятов: глаголы обоих «Видов» имеют полную парадигму временных, причастных и аналитических форм, не противопоставлены в значительном числе грамматических контекстов (так, в литовском языке нет того ограничения на сочетаемость полнозначных глаголов с фазовыми, которое является диагностическим для Вида в русском и ряде других славянских языков, ср. [Вимер 2001: 40]). Во-вторых, данная категория не допускает нейтрализации ни в каких типах контекстов, в

<sup>5</sup> Библиография по вопросу о виде в литовском языке весьма обширна; разные исследователи придерживаются подчас весьма различных точек зрения на его характер и степень грамматикализованности, однако сам факт наличия в литовском видового противопоставления, во многом аналогичного славянскому, насколько мне известно, до недавнего времени под сомнение не ставился.

<sup>6</sup> Ср. более адекватные переводы этих терминов — «процессуальный вид» и «событийный вид» — в статье [Булыгина, Синёва 2006].

отличие от категории Вида в русском языке (ср. известный «критерий Маслова»). В-третьих, «видовое» противопоставление в литовском языке не обладает той степенью продуктивности, которая характерна для славянских языков. Таким образом, можно заключить, что «в функциональном отношении глагольная аффиксация литовского языка существенно отличается от аффиксации в современном русском языке» [Там же: 32].

В свете всего вышесказанного, приходится признать, что литовский язык представляет собой пример языка, в котором видовые ракурсы не грамматикализованы<sup>7</sup>. Дополнительным подтверждением этому могут служить следующие свойства глаголов, традиционно рассматриваемых в качестве глаголов «Несовершенного Вида». Во-первых, они, в отличие от «классических» форм имперфектива (ср. [Маслов 2004/1978: 340–341; Dahl 1985: 76 ff.; Johanson 1996: 250]), сочетаются с наречиями длительности, обозначая ограниченную во времени ситуацию, ср. (9); во-вторых, они способны употребляться в таксисном контексте следования, ср. (9), что также свидетельствует о том, что для них доступен перфективный ракурс<sup>8</sup>.

(9) <i>Berņiuk-as</i>	<i>skait-ė</i>	<i>knyg-a</i>	<i>dvi</i>	<i>valand-as,</i>	<i>po</i>
мальчик-NOM.SG	читать-PST.3	книга-ACC.SG	два:ACC	час-ACC.PL	после
<i>t-o</i>	<i>žiūrė-jo</i>	<i>televizori-ų</i>	<i>ir</i>	<i>nuėj-o</i>	
это-GEN.SG.M	смотреть-PST.3	телевизор-ACC.SG	и	уйти-PST.3	
<i>miego-ti.</i>					
спать-INF					

‘Мальчик читал два часа книгу, потом смотрел телевизор и пошел спать.’

При применении к литовскому языку описанной в предыдущем разделе процедуры выделения аспектуальных классов, глаголы рассматривались в формах Презенса и Претерита, причем как самостоятельно, так и в сочетании с наречиями длительности (типа *pusvalandį* ‘полчаса’) и срока (типа *per pusvalandį* ‘за полчаса’). В качестве материала была использована выборка из примерно двухсот лексем, состоящая из

<sup>7</sup> Данное утверждение не следует понимать так, что литовский язык не имеет средств противопоставить перфективный и имперфективный ракурсы; такие средства в нем есть, однако они носят не грамматический, а лексический характер.

<sup>8</sup> Следует отметить, что обе эти характеристики литовские глаголы разделяют с русскими глаголами НСВ, которые, тем самым, также оказываются совместимыми с обоими видовыми ракурсами. Это свидетельствует, как уже неоднократно отмечалось (см. хотя бы уже цитированную монографию [Dahl 1985]), о том, что категория вида славянского типа не сводится к противопоставлению универсальных перфективного и имперфективного ракурсов. Ср. также [Dickey 2000].

двух «блоков»: «базовые», в массе своей неизменяемые глаголы и глаголы, морфологически производные от «базовых». Такой способ рассмотрения необходим, в частности, для того, чтобы учесть «пары», подобные приведенной выше *rašyti ~ parašyti*.

В результате применения процедуры выделения аспектуальных классов в литовском языке был обнаружен целый ряд классов, часть которых, очевидно, весьма продуктивна, а часть — скорее малочисленна<sup>9</sup>, ср. таблицу 1<sup>10</sup>.

Таблица 1 позволяет отметить ряд важных особенностей литовской акциональной системы. Основная из них — резкое преобладание моментальных и процессуальных глаголов над предельными. Если в европейских, финно-угорских, тюркских и кавказских языках предельные предикаты составляют едва ли не большую часть глагольного лексикона, то в литовском языке они скорее находятся в меньшинстве. «Аналоги» предельных глаголов других языков в литовском языке — пары однокоренных лексем, одна из которых относится к процессуальному классу, а другая, морфологически производная от первой, как правило, при помощи преверба, — к моментальному. Семантические отношения между членами таких пар устроены следующим образом: процессуальный глагол обозначает «действие в развитии», тем самым допуская как актуально-длительное значение Презенса, так и дуративное и лимитативное прочтения Претерита; моментальный же глагол обозначает событие, являющееся закономерным результатом того процесса, который выражает процессуальный член пары. «В сумме» эти глаголы покрывают целостную предельную ситуацию, комплексная структура которой (см. [Levin, Rappaport Hovav 1998; Pustejovsky 2000]) и позволяет «распределить» ее между двумя разными лексемами.

К такого рода «акциональным парам» мы еще вернемся ниже, а теперь обратимся к другим, менее многочисленным классам. Часть их — сильный и слабый предельные и слабый инцептивно-стативный — роднят акциональную систему литовского языка с «классическими» системами, часть — так называемые лимитативные классы — напротив, составляют его типологическое своеобразие.

Глаголы сильного предельного класса — это как раз те глаголы, которые традиционная литуанистика называет «двувидовыми», ср. выше

<sup>9</sup> Следует сразу оговориться, что любые статистические утверждения в данной статье являются сугубо предварительными, в частности, из-за того, что ряд аспектуальных классов коррелирует с продуктивными словообразовательными типами, представленными в моей выборке лишь единичными лексемами.

<sup>10</sup> В таблице 1PF и PF обозначают акциональную характеристику Презенса и Претерита соответственно. Дефисом разделяются превербы и глагольная основа.



Таблица 1

## Система акциональных классов в литовском языке

Класс	Число лексем	IPF	PFV	Примеры
Моментальный	83	—	ES	<i>mesti</i> 'бросить', <i>pa-rašyti</i> 'написать', <i>mostelėti</i> 'махнуть'
Процессуальный	56	P	P	<i>skristi</i> 'лететь', <i>rašyti</i> 'писать', <i>pykdyti</i> 'сердить'
Стативный	30	S	S	<i>girdėti</i> 'слышать', <i>laukti</i> 'ждать', <i>pri-klausyti</i> 'принадлежать'
Сильный предельный	21	P	ES	<i>grįžti</i> 'вернуться', <i>ati-daryti</i> 'открыть'
Мультипликативный	13	M	M	<i>bučiuoti</i> 'целовать', <i>moti</i> 'махать'
Лимитативно-стативный	5	—	S	<i>pa-laikyti</i> 'подержать'
Лимитативно-предельный	4	—	ES,P	<i>pa-žiūrėti</i> 'посмотреть'
Слабый инцептивно-стативный	4	S	ES,S	<i>pa-tikti</i> 'нравиться', <i>su-prasti</i> 'понимать'
Слабый предельный	3	P	ES,P	<i>plyšti</i> 'рваться', <i>pa-dėti</i> 'помогать'
Моментально-ингрессивный	3	—	EP	<i>už-virti</i> 'закипеть'
Сильный мультипликативный	1	M	Q	<i>nu-lašėti</i> 'капнуть'
Лимитативно-процессуальный	1	—	P	<i>pa-vaikščioti</i> 'погулять'

пример (8). Основное отличие сильных классов от слабых — возможность непредельного прочтения Претерита — проявляется в сочетаемости с временными наречиями. Если глаголы сильного предельного класса допускают лишь наречия срока, ср. (10a), то лексемы, входящие в слабый предельный и слабый инцептивно-стативный классы<sup>11</sup>, сочетаются как с наречиями срока, так и с наречиями длительности, ср. (10b), (11):

<sup>11</sup> Сильные инцептивно-стативные предикаты (<S, ES>) в нашей выборке систематически не представлены; в принципе, однако, разные носители трактуют литовские инцептивно-стативные глаголы по-разному: одни допускают у них стативное прочтение Претерита наряду с инцептивным, другие — нет.

- (10) a. *Paukščiai* *\*(per) du* *menesi-us* *at-skrid-o* *i*  
птица-NOM.PL за два.ACC месяц-ACC.PL при-лететь-PST.3 в  
*piet-us*.  
юг-ACC.PL  
'Птицы за два месяца прилетели || \*два месяца летели на юг.'
- b. *Tavo rankov-ė* *plyš-o* *(per) dešimt sekundžių*.  
твой рукав-NOM.SG рваться-PST.3 за десять секунда-GEN.PL  
'Твой рукав порвался за десять секунд || рвался десять секунд.'
- (11) *Aldon-ai* *ilgai* || *iš kart-o* *patik-o* *Algird-as*.  
Алдона-DAT.SG долго из раз-GEN.SG нравиться-PST.3 Альгирдас-NOM.SG  
'Алдоне долго нравился || сразу понравился Альгирдас.'

Более того, Претерит слабых предельных и инцептивно-стативных глаголов, по крайней мере в речи некоторых носителей, может интерпретироваться как в ПЕРФЕКТИВНОМ, так и в ИМПЕРФЕКТИВНОМ РАКУРСАХ, ср. пример (12):

- (12) a. *Kai Aldon-a* *su-si-pažin-o* *su Algird-u*,  
когда Алдона-NOM.SG PRV-REFL-знакомиться-PST.3 с Альгирдас-INS.SG  
*j-is* *j-ai* *pa.tik-o*.  
он-NOM.SG.M он-DAT.SG.F PRV.нравиться-PST.3  
'Когда Алдона познакомилась с Альгирдасом, он ей понравился.'
- b. *Kai aš* *su-si-pažin-a-u* *su Aldon-a*,  
когда я-NOM PRV-REFL-знакомиться-PST-1SG с Алдона-INS.SG  
*j-ai* *pa.tik-o* *Algird-as*.  
он-DAT.SG.F PRV.нравиться-PST.3 Альгирдас-NOM.SG  
'Когда я познакомился с Алдоной, ей нравился Альгирдас.'

Таким образом, оказывается, что деление литовского глагольного лексикона на «Совершенный Вид», «Несовершенный Вид» и «двувидовые глаголы» не только сводится к акциональным противопоставлениям, но и оказывается беднее, чем акциональная классификация: под ярлыком «двувидовых глаголов» скрывается весьма гетерогенная группа лексем, обладающих различными семантическими и сочетаемостными свойствами.

Обратимся теперь к глаголам, которые я условно обозначил как лимитативные. Подобно моментальным глаголам, они не имеют актуально-длительного прочтения форм Презенса и Претерита, ср. (13a), не допускают обстоятельств «включенного времени», ср. (13b), и при

употреблении в таксисных контекстах имплицитно следуют, ср. пример (14):

- (13) a. *Berniuk-as pa-laik-o knyga rank-ose.*  
 мальчик-NOM.SG PRV-держат-PRS.3 книга-ACC.SG рука-LOC.PL  
 ‘Мальчик (некоторое время) держит книгу в руках.’ (только *praesens historicum*)
- b. \**Kai aš įėj-a-u į kambar-į berniuk-as*  
 когда я-NOM войти-PST-1SG в комната-ACC.SG мальчик-NOM.SG  
*pa-laik-ė knyga rank-ose.*  
 PRV-держат-PTS.3 книга-ACC.SG рука-LOC.PL  
 Ожидаемое значение ‘Когда я вошел в комнату, мальчик держал в руках книгу.’
- (14) *Algird-as pa-gyven-o Vilni-uje ir persikėl-ė*  
 Альгирдас-NOM.SG PRV-жить-PST.3 Вильнюс-LOC.SG и переселиться-PST.3  
*į Kaun-a.*  
 в Каунас-ACC.SG  
 ‘Альгирдас пожил в Вильнюсе и <затем> переселился в Каунас.’

С другой стороны, формы Претерита лимитативных глаголов допускают неопределенное прочтение (стативное у лимитативно-стативных и процессуальное у лимитативно-процессуальных) и сочетаются с наречиями длительности, ср. примеры (15a) и (15b):

- (15) a. *Algird-as pa-gyven-o du met-us Vilni-uje.*  
 Альгирдас-NOM.SG PRV-жить-PST.3 два:ACC.M год-ACC.PL Вильнюс-LOC.SG  
 ‘Альгирдас два года пожил в Вильнюсе.’
- b. *Aldon-a pa-vaikščioj-o pusvaland-į park-e.*  
 Алдона-NOM.SG PRV-гулять-PST.3 полчаса-ACC.SG парк-LOC.SG  
 ‘Алдона погуляла полчаса в парке.’

Отдельную подгруппу в составе лимитативных глаголов образуют лимитативно-предельные предикаты, форма Претерита которых допускает не только неопределенное процессное значение, но и предельное значение вхождения в состояние, ср. (16):

- (16) *Jon-as (per) dvi valand-as pa-žiūrėj-o film-a.*  
 Йонас-NOM.SG за два:ACC.F час-ACC.PL PRV-смотреть-PST.3 фильм-ACC.SG  
 ‘Йонас два часа посмотрел фильм <и ушел недосмотрев> || за два часа посмотрел фильм (целиком).’

Как видно, данные глаголы по основным своим характеристикам аналогичны глаголам делимитативного «способа действия», широко представленным в славянских языках. Их основная функция — обозначать ограниченные во времени ситуации, не имеющие «ингерентных» конечных точек.

Итак, в литовском языке представлена весьма своеобразная система акциональных классов глаголов, характеризующаяся следующими особенностями: (i) преобладание «однофазовых», обозначающих во всех формах лишь одну ситуацию (стативных, процессуальных и моментальных) предикатов над «двухфазовыми», способными обозначать две ситуации — длительное состояние или процесс и мгновенный переход-вхождение (предельными, инцептивно-стативными); (ii) большое число соотносительных глаголов моментального и процессуального или стативного классов, обозначающих разные фазы одной сложной ситуации; (iii) наличие лимитативных глаголов, обозначающих ограниченные во времени длительные ситуации. В следующем разделе я рассмотрю теоретические и типологические импликации литовской акциональной системы.

### 3. Теоретические импликации

Основной типологической особенностью акциональной системы литовского языка является наличие в нем большого числа глаголов, как бы дополняющих акциональные значения друг друга до своего рода «целого», которое в других языках выражается в пределах одной лексемы. Глаголы, обозначающие *и н к р е м е н т а л ь н ы е*<sup>12</sup> процессы (*rašyti* ‘писать’, *gerti* ‘пить’, *pilti* ‘лить, сыпать’ и многие другие), как правило, относятся к процессуальному классу и, следовательно, не способны выражать событие, являющееся кульминацией такого процесса. Эту фазу ситуации обозначает производный моментальный глагол (соответственно, *parašyti* ‘написать’, *išgerti* ‘выпить’, *supilti* ‘налить, насыпать’), для которого, в свою очередь, недоступна процессуальная фаза. Аналогичным образом некоторые стативные глаголы (например, *gulėti* ‘лежать’, *manyti* ‘думать, полагать’, *sirgti* ‘болеть’) имеют произ-

<sup>12</sup> Понятие «инкрементального предиката», введенное М. Крифкой (см. [Kriška 1989; 1998; Filip 1999; Падучева 2004б]) может быть неформально охарактеризовано следующим образом: предикат *P* находится в *и н к р е м е н т а л ь н о м* *о т н о ш е н и и* со своим аргументом *x*, если по мере того, как совершается действие, обозначаемое *P*, *x* во все большей степени оказывается затронут этим действием. Так, по мере того как *Иван читает книгу*, все большая часть книги оказывается прочитанной; напротив, неверно, что чем больше *Иван толкает тележку*, тем большая часть тележки подвержена каким-либо изменениям.

водные моментальные корреляты, обозначающие вхождение в соответствующее состояние (*atsigulti* ‘лечь’, *pamanyti* ‘подумать’, *susirgti* ‘заболеть’).

Такая ситуация, тем более при рассмотрении ее на славянском фоне, может навести на мысль, что, для того чтобы приблизить систему акциональных классов литовских глаголов к типологически более частым «образцам» и, помимо этого, отразить тот немаловажный факт, что акционально соотнесенные глаголы, помимо регулярных семантических корреляций, входят также в отношения морфологической производности, необходимо в качестве объекта акциональной классификации в литовском языке рассматривать не отдельные лексем, а пары или группы лексем, входящих в отношения акциональной дополнителности. Ниже я остановлюсь на этой возможности и попытаюсь показать ее неудовлетворительность.

Допустим, что наша теория акциональности позволяет в качестве объектов акциональной классификации рассматривать не только отдельные лексем, но и группы лексем, объединенных по некоторому принципу. В таком случае теория должна эксплицитно задавать, во-первых, случаи, в которых такое расширение классификационной базы возможно, и, во-вторых, критерии объединения лексем в акциональные группы. Выше уже было указано, что акциональные группы, может быть, целесообразно вводить в тех случаях, когда ситуации, состоящие из нескольких неоднородных компонентов (в прототипическом случае — предельные ситуации, складывающиеся, как минимум, из процесса и события-кульминации), оказываются «расщеплены» между двумя (по меньшей мере) лексемами, обозначающими разные фазы таких ситуаций. В литовском языке этому критерию отвечают пары «бесприставочный процессуальный глагол — приставочный моментальный глагол». Следует, однако, еще раз обратить внимание на то, что квалификация того или иного литовского глагола как моментального или предельного зависит лишь от того, допускает ли форма Презенса этого глагола актуально-длительное значение. Как выясняется, данное противопоставление не является абсолютно жестким: носители зачастую расходятся в суждениях о том, можно ли употребить тот или иной приставочный глагол в форме актуально-длительного Презенса, ср. (17) и (18), где одни носители допускают в имперфективном контексте приставочный глагол, а другие — нет:

- (17) *Berniuk-as* (pri-)riš-a šun-į prie medži-o.  
 мальчик-NOM.SG (PRV-)привязывать-PRS.3 собака-ACC.SG к дерево-GEN.SG  
 {Что сейчас делает мальчик?} ‘Мальчик привязывает собаку к дереву.’

- (18) *Berniuk-as* (pri-)ei-na prie savo tėv-o  
 мальчик-NOM.SG PRV-идти-PRS.3 к свой отец-GEN.SG  
 {Я вижу, что} ‘Мальчик подходит (идет) к своему отцу.’

Необходимо отметить, однако, что независимо от способности данного префиксального предиката употребляться в имперфективном контексте, и, следовательно, от его классификации как моментального или предельного, он не перестает находиться в регулярном семантико-морфологическом отношении с бесприставочным процессуальным глаголом. В таком случае встает вопрос о том, можно ли объединять в акциональную пару глаголы, не находящиеся в отношении полной акциональной дополнителности. Отрицательный ответ на этот вопрос привел бы к тому, что целый ряд инкрементальных процессуальных глаголов (например, глагол *rišti* ‘вязать, привязывать’) оказались бы «осиротевшим», попав в один класс с такими прототипическими процессуальными глаголами, как *vaikščioti* ‘гулять’. При положительном же ответе возникает проблема, связанная с размыванием границ применения аппарата акциональных групп и необходимостью вырабатывать дополнительные ограничения.

Обратимся теперь к критериям объединения глаголов в акциональные группы, рассматривая лишь ситуацию полной акциональной дополнителности предикатов. При более пристальном рассмотрении материала оказывается, что само явление «полной акциональной дополнителности» в значительной степени иллюзорно. Соотношение непроизводного процессуального глагола с префиксальным моментальным не является строго однозначным: значение и дистрибуция процессуального глагола, как правило, шире, чем семантика его моментального коррелята, и с этим связано то, что таких моментальных производных у одного процессуального глагола обычно бывает больше одного (см. подробное обсуждение в статье Вимер [2001: 48–51]). Ср. хотя бы глагол *keisti* ‘менять’, которому соответствует *iškeisti* ‘разменять’ и *pakeisti* ‘заменить’. Разумеется, можно постулировать столько омонимичных<sup>13</sup> процессуальных лексем, сколько имеется различных моментальных дериватов, однако такое решение, как мне представляется, дает желаемое разбиение на акциональные пары слишком дорогой ценой. Более того, как убедительно показывает Б. Вимер в указанной выше работе, в литовском языке мы имеем дело не столько с четко структурированной полисемией процессуальных глаголов, сколько с д и ф -

<sup>13</sup> «Омонимичных» в смысле «обладающих тождественной звуковой оболочкой, но различающихся по значению», и не «обладающих синхронно неродственными значениями».

ф у з н о с т ь ю их значения; префикс, тем самым, служит не только для выражения событийной фазы ситуации, недоступной непроемному глаголу, но и конкретизирует («контурит») характер этого события (ср. обсуждение функций глагольных сателлитов в статье [Talmu 2001/1985])<sup>14</sup>.

Допустим, далее, что уже упомянутые проблемы тем или иным образом решены и акциональные группы сформированы. Возникает вопрос: какая лингвистическая реальность стоит за акциональной группой? Действительно, при рассмотрении в качестве объекта акциональной классификации лексем акциональная характеристика приписывается единице словаря, или, если угодно, ее морфологической основе. Акциональная пара, однако, единицей словаря ни в каком смысле не является (о чем свидетельствует, помимо прочего, и литовская лексикографическая практика); тем самым, акциональную характеристику необходимо приписывать общей части основ лексем, входящих в пару. Однако эта общая часть в значительном большинстве случаев является основой процессуального глагола; действительно, если мы рассмотрим акциональную пару <geriti, išgeriti 'пить, выпить'>, то ее основа -ger- является одновременно и основой глагола geriti 'пить', и именно ей следует приписать предельную акциональную характеристику <P, ES>. Если это сделать, однако, необходимо вводить в грамматику литовского языка отдельный механизм, который бы запрещал реализацию акционального значения «вхождение в состояние» у непроемного глагола<sup>15</sup>. Литовские процессуальные глаголы не могут иметь предельных прочтений ни в каких контекстах, в том числе в хабитуальных, ср. пример (19), где допустимо употребить лишь моментальный глагол:

- (19) *Sekretori-us kasdien per dvi valand-as pa-raš-o* ||  
 секретарь-NOM.SG каждый.день за два-ACC.F час-ACC.PL PRV-писать-PRS.3  
 \*raš-o tr-is laišk-us ir išei-na.  
 писать-PRS.3 три-ACC письмо-ACC.PL и выйти-PRS.3  
 'Секретарь каждый день за два часа пишет (букв. \*напишет) три письма и уходит (букв. \*уйдет).'

<sup>14</sup> Ср., например, весьма показательный глагол *rakinti*, у которого есть производные *atrankinti* 'отпереть' и *užrakinoti* 'запереть'; по-видимому, разумнее описывать его значение как 'переводить замок из одного релевантного состояния в другое', нежели постулировать полисемию 'отпирать' vs. 'запирать'.

<sup>15</sup> Замечу, что такой механизм исключается принятой в данной статье архитектурой теории акциональности, которая позволяет добавлять к акциональной характеристике лексемы новые компоненты, но запрещает заменять или тем более удалять уже имеющиеся.

Таким образом, мы приходим к парадоксальной ситуации — акциональная характеристика приписывается языковой единице, у которой она не может быть реализована.

Здесь мы вновь возвращаемся к проблеме своеобразия литовской акциональной системы — своеобразия, которое гипотетическая методика объединения лексем в акциональные пары или группы оказалась неспособной устранить. Для того чтобы увидеть его еще более рельефно, обратимся к русскому языку, во многом похожему на литовский, но отличающемся от него в ряде принципиальных моментов (ср. [Вимер 2001]). Действительно, применение к русскому материалу стандартной процедуры выделения акциональных классов приводит к существенно большему числу акционально дополнительных глаголов, чем в литовском языке; здесь методика акциональных групп кажется более уместной, а ее применение приводит к относительно естественным результатам (ср., например, [Tatevosov 2002]).

Тем не менее, вопрос о природе объекта, которому приписывается акциональная характеристика, для русского языка имеет ту же остроту, что и для литовского. Действительно, в парах типа <писать, написать> акциональную характеристику <P, ES> приходится приписывать основе пис-, а в парах типа <открыть, открывать> — основе откры-. И здесь оказывается, что такое решение для русского материала во многом оправдано. Действительно, в отличие от литовского, в русском языке глагол *писать* сам по себе, независимо от своего СВ-коррелята, способен употребляться в предельных контекстах, ср. хотя бы перевод примера (19). Это свидетельствует о том, что русские бесприставочные инкрементальные глаголы обозначают не только процессную фазу ситуации, но и кульминационное событие; тот факт же, что в ряде случаев они оказываются неспособны выражать это событие, связан не с акциональной дефектностью, как у их литовских аналогов, а с другими факторами, анализ которых выходит за пределы данного рассмотрения<sup>16</sup>. Что касается пар, в которых морфологически более сложным является глагол НСВ, то к ним применима та же логика: основа *откры-* обозначает предельное событие, причем событие, по ряду характеристик отличающееся от ситуаций типа *писать* (см. [Levin, Rapoport Novak 1998]), где вводится противопоставление глаголов способа, как *писать*,

<sup>16</sup> Выскажу лишь гипотезу, что указанное различие между русским и литовским языками напрямую связано со степенью и характером грамматикализации в этих языках видовых ракурсов. См. также статью [Pazelskaya, Tatevosov 2006], где обсуждаются существенные различия в акциональных свойствах русских глагольных основ в составе аспектуально охарактеризованных глагольных форм и отглагольных имен действия.

и глаголов результата, как *открыть*, ср. обсуждение в [Лютикова и др. 2006: 35–38]), а для рассмотрения процессуальной фазы данной ситуации, как и во многих других языках, требуется морфологическая модификация<sup>17</sup>.

Таким образом, приходится признать, что, независимо от того, что выбирается в качестве объекта классификации при анализе акциональности в русском языке, акциональные характеристики русских глагольных основ устроены не так, как в литовском языке, и скорее подобны акциональным характеристикам глаголов европейских языков (ср. аналогичные выводы в работе [Pazelskaya, Tatevosov 2006]). Глагольная основа, в принципе соотносящаяся лишь с одним из грамматических видов, тем не менее обладает полным акциональным потенциалом, будучи способной обозначать, в частности, инкрементальный процесс и событие, к которому приводит этот процесс. Напротив, «парные» глагольные основы литовского языка являются либо строго процессуальными, либо строго моментальными, причем это их свойство носит лексический, а не грамматический характер — в отличие от русского языка, где реализация глагольной основы ее акционального потенциала, как и во всех языках с грамматикализованными видовыми ракурсами, опосредована категорией вида.

Таким образом, к уже не раз отмеченным в литературе различиям между литовской и славянской аспектуальной системами можно с достаточным основанием добавить и фундаментальное различие в устройстве акциональной системы. Это различие тем более существенно и интересно, что оно скрывается за кажущимся параллелизмом морфологических средств, выражающих в славянских и балтийских языках значения из области аспектуальности.

### Заключение

В данной статье я попытался показать, что применение к литовскому языку аспектологических теорий и методик, зарекомендовавших себя на другом и существенно отличающемся материале, может быть полезным и продуктивным как для изучения литовского языка — самого по

<sup>17</sup> Отмечу, что исторически глаголы типа *открыть*, подобно литовским глаголам типа *atidaryti* ‘то же’, могли обозначать как событие, так и процесс, но были постепенно вытеснены из неопределенных контекстов исходно многократными производными с суффиксом *-ыва-* (см. [Маслов 2004/1961]). Аналогичный процесс, в принципе, фиксируется и для современного литовского языка, где приобретает продуктивность аспектуальная деривация при помощи фреквентативного суффикса *-inė-* (ср. [Галнайтите 1966]), постепенно проникающая и в область выражения актуально-длительного значения.

себе и в сопоставлении со славянскими и другими языками, — так и для теории и типологии вида и акциональности. Последнее представляется особенно важным, поскольку материал литовского языка до сих пор сравнительно редко фигурировал в работах типологического и теоретического характера. Кратко суммирую основные результаты работы.

Типологическое своеобразие литовской аспектуальной системы заключается в следующем. Во-первых, в литовском языке нет ни одного из вариантов — «европейского» или «славянского» — грамматической категории вида, морфологически реализующей основные видовые ракурсы. Последние в литовском языке, однако, как правило, не нейтрализуются (что также возможно, ср. немецкий язык), но противопоставляются при помощи лексических средств, а именно соотносительных глаголов разных акциональных классов. Во-вторых, система акциональных классов глаголов в литовском языке весьма гетерогенна, а распределение предикатов по классам в большой степени необычно. Несмотря на наличие немалочисленных и стабильных классов предельных и инцептивно-стативных глаголов, значительная часть предикатов относится к процессуальному и моментальному классам, причем существует большое число пар глаголов, регулярно соотносящихся между собой как непроемный процессуальный и производный моментальный, «в сумме» обозначающих предельную ситуацию. В-третьих, указанные семантические характеристики таких глаголов носят ингерентный лексический характер и не связаны с прагматическим «профилированием» той или иной фазы ситуации, как в русском языке.

### Сокращения

ACC — аккузатив, DAT — датив, F — женский род, GEN — генитив, HAB — хабиуталис, INF — инфинитив, LOC — локатив, M — мужской род, NEG — отрицание, NOM — номинатив, PL — множественное число, PRS — настоящее время, PRV — преверб, PST — прошедшее время, SG — единственное число

### Список литературы

- Амбразас 1985 — Грамматика литовского языка / Ред. В. Амбразас. Вильнюс, 1985.  
 Аркадьев 2008 — Ш. М. Аркадьев. Уроки литовского языка для славянской аспектологии // Славянское языкознание. XIV Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 2008.  
 Булыгина 1997/1982 — Т. В. Булыгина. К построению типологии предикатов в русском языке // Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997. (1-е изд.: Семантические типы предикатов / Ред. О. Н. Селиверстова. М., 1982.)  
 Булыгина, Синёва 2006 — Т. В. Булыгина, О. В. Синёва. Литовский язык // Языки мира. Балтийские языки. М., 2006.



- Вимер 2001 — *Б. Вимер*. Аспектуальные парадигмы и лексическое значение русских и литовских глаголов // *Вопр. языкознания*. 2001. № 2.
- Вимер 2004 — *Б. Вимер*. Таксис и коинциденция в зависимых предикациях: литовские причастия на *-damas* // 40 лет Санкт-Петербургской типологической школы / Ред. В. С. Храковский, А. Л. Мальчуков, С. Ю. Дмитренко. М., 2004.
- Галнайтите 1963 — *Э. Галнайтите*. Особенности категории вида глаголов в литовском языке (в сопоставлении с русским языком) // *Kalbotyra*. 7. 1963.
- Галнайтите 1966 — *Э. Галнайтите*. К вопросу об имперфективации глаголов в литовском языке // *Baltistica*. 2/2. 1966.
- Гловинская 1982 — *М. Я. Гловинская*. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Дамбрюнас 1962 — *Л. Дамбрюнас*. Глагольные виды в литовском языке // *Вопросы глагольного вида* / Ред. Ю. С. Маслов. М., 1962.
- Исаченко 2003/1960 — *А. В. Исаченко*. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Морфология. Ч. I–II. 2-е изд., стереотип. М., 2003. (1-е изд.: Братислава, 1960.)
- Лютикова и др. 2006 — *Е. А. Лютикова, С. Г. Татевосов, М. Ю. Иванов, А. Г. Пазельская, А. Б. Шлуинский*. Структура события и семантика глагола в карачаево-балкарском языке. М., 2006.
- Маслов 2004/1948 — *Ю. С. Маслов*. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // *Ю. С. Маслов*. Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание / Сост. и ред. А. В. Бондарко, Т. А. Майсак, В. А. Плулунян. М., 2004. (1-е изд.: ИАН СССР. ОЛЯ. Т. 7. 1948. Вып. 4.)
- Маслов 2004/1961 — *Ю. С. Маслов*. Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида // *Ю. С. Маслов*. Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание / Сост. и ред. А. В. Бондарко, Т. А. Майсак, В. А. Плулунян. М., 2004. (1-е изд.: Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961.)
- Маслов 2004/1978 — *Ю. С. Маслов*. К основаниям сопоставительной аспектологии // *Ю. С. Маслов*. Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание / Сост. и ред. А. В. Бондарко, Т. А. Майсак, В. А. Плулунян. М., 2004. (1-е изд.: Вопросы сопоставительной аспектологии / Ред. Ю. С. Маслов. Л., 1978.)
- Падучева 1996 — *Е. В. Падучева*. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Падучева 2004a — *Е. В. Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Падучева 2004b — *Е. В. Падучева*. Накопитель эффекта и русская аспектология // *Вопр. языкознания*. 2004. № 5.
- Селиверстова 1982 — Семантические типы предикатов / Ред. О. Н. Селиверстова. М., 1982.
- Смит 1998 — *К. Смит*. Двухкомпонентная теория вида // *Типология вида. Проблемы, поиски, решения* / Ред. М. Ю. Черткова. М., 1998.
- Татевосов 2005 — *С. Г. Татевосов*. Акциональность: типология и теория // *Вопр. языкознания*. 2004. № 1.
- Шлуинский 2005 — *А. Б. Шлуинский*. Типология предикатной множественности: количественные аспектуальные значения. Дис. ... канд. филол. наук. М., 2005.
- Ambrasas (ed.) 1997 — *Lithuanian Grammar* / Ed. V. Ambrasas. Vilnius, 1997.
- Ambrasas 1999 — *V. Ambrasas*. Veikslas // *Lietuvių kalbos enciklopedija* / Red. V. Ambrasas. Vilnius, 1999.

- Bache 1982 — *C. Bache*. Aspect and Aktionsart: Towards a semantic distinction // *Journal of Linguistics*. 1982. 18. 1.
- Bache et al. 1994 — Tense, Aspect and Action. Empirical and Theoretical Contributions to Language Typology / Eds. C. Bache, H. Basbøll, C.-E. Lindberg. Berlin; New York, 1994.
- Bertinetto, Delfitto 2000 — *P.-M. Bertinetto, D. Delfitto*. Aspect vs. actionality: Why they should be kept apart // *Tense and Aspect in the Languages of Europe* / Ed. Ö. Dahl. Berlin; New York, 2000.
- Bohnmeyer, Swift 2005 — *J. Bohnmeyer, M. Swift*. Default aspect: The semantic interaction of aspectual viewpoint and telicity // *Perspectives on Aspect* / Ed. A. van Hout, H. de Swart, H. Verkuyl. Dordrecht, 2005.
- Breu 1994 — *W. Breu*. Interactions between lexical, temporal, and aspectual meanings // *Studies in Language*. 1994. 18. 1.
- Bybee et al. 1994 — *J. L. Bybee, R. D. Perkins, W. Pagliuca*. The Evolution of Grammar. Tense, Aspect and Modality in the Languages of the World. Chicago; London, 1994.
- Bybee, Dahl 1989 — *J. L. Bybee, Ö. Dahl*. The creation of tense and aspect systems in the languages of the world // *Studies in Language*. 1989. 13. 1.
- Comrie 1976 — *B. Comrie*. Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge, 1976.
- Csirmaz 2004 — *A. Csirmaz*. Aspect and aspect change cross-linguistically // *Preliminary Papers of LOLA 8* / Ed. L. Hunyadi, G. Rákosi, E. Tóth. Debrecen, 2004.
- Dahl 1985 — *Ö. Dahl*. Tense and Aspect Systems. Oxford, 1985.
- Dambriūnas 1959 — *L. Dambriūnas*. Verbal aspects in Lithuanian // *Lingua Posnaniensis*. 7. 1959.
- Dambriūnas 1960 — *L. Dambriūnas*. Lietuvių kalbos veiksmazodžių aspektai. Boston, 1960.
- de Swart 1998 — *H. de Swart*. Aspect shift and coercion // *Natural Language and Linguistic Theory*. 1998. 16. 2.
- Dickey 2000 — *S. Dickey*. Parameters of Slavic Aspect (A Cognitive Approach). Stanford, 2000.
- Dowty 1979 — *D. R. Dowty*. Word Meaning and Montague Grammar. Dordrecht, 1979.
- Ebert 1995 — *K. Ebert*. Ambiguous perfect-progressive forms across languages // *Temporal Reference, Aspect and Actionality* / Ed. P.-M. Bertinetto, V. Bianchi, J. Higginbotham, Ö. Dahl, M. Squartini. Vol. 1. Torino, 1995.
- Filip 1999 — *H. Filip*. Aspect, Eventuality Types, and Noun Phrase Semantics. New York, 1999.
- Galnaitytė 1962 — *E. Galnaitytė*. Ginčytini lietuvių kalbos veiksmazodžio veikslų klausimai // *Kalbotyra*. 4. 1962.
- Galnaitytė 1978 — *E. Galnaitytė*. Veikslų definicijos lietuvių aspektologijoje klausimu // *Baltistica*. 14/1. 1978.
- Heim, Kratzer 1998 — *I. Heim, A. Kratzer*. Semantics in Generative Grammar. Oxford, 1998.
- Holvoet, Čižik 2004 — *A. Holvoet, V. Čižik*. Veikslų priešpriešos tipai // *Lietuvių kalbos gramatikos darbai*. 2. Gramatinių kategorijų tyrimai / Red. A. Holvoet, L. Semėnienė. Vilnius, 2004.
- Johanson 1996 — *L. Johanson*. Terminality operators and their hierarchical status // *Complex Structures: A Functionalist Perspective* / Ed. B. Devriendt et al. Berlin, 1996.

- Klein 1994 — *W. Klein*. *Time in Language*. London; New York, 1994.
- Krifka 1989 — *M. Krifka*. *Nominalreferenz und Zeitkonstitution. Zur Semantik von Massentermen, Pluraltermen und Aspektklassen*. München, 1989.
- Krifka 1998 — *M. Krifka*. *The origins of telicity // Events and Grammar / Ed. S. Rothstein*. Dordrecht, 1998.
- Levin, Rappaport Hovav 1998 — *B. Levin, M. Rappaport Hovav*. *Building verb meanings // The Projection of Arguments. Lexical and Compositional Factors / Ed. M. Butt, W. Geuder*. Stanford (CA), 1998.
- Matthiassen 1996 — *T. Mathiassen*. *Tense, Mood and Aspect in Lithuanian and Latvian // Meddelelser av Slavisk-baltisk afdeling. Universitetet i Oslo*, 1996. 75.
- Mourelatos 1981 — *A. P. Mourelatos*. *Events, processes, and states // Syntax and Semantics. Vol. 14. Tense and Aspect / Ed. P. Tedeschi, A. Zaenen*. New York, 1981.
- Paulauskienė 1971 — *A. Paulauskienė*. *Dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodis*. Vilnius, 1971.
- Paulauskienė 1979 — *A. Paulauskienė*. *Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos*. Vilnius, 1979.
- Pazelskaya, Tatevosov 2006 — *A. G. Pazelskaya, S. G. Tatevosov*. *Uninflected VPs, deverbal nouns and the aspectual architecture of Russian // Formal Approaches to Slavic Linguistics. 14. The Princeton Meeting / Eds. J. E. Lavine et al. Ann Arbor*, 2006.
- Pustejovsky 2000 — *J. Pustejovsky*. *Events and the semantics of opposition // Events as Grammatical Objects / Ed. C. Tenny, J. Pustejovsky*. Stanford (CA), 2000.
- Reklaitis 1980 — *J. K. Reklaitis*. *Aspect in the Lithuanian verb // Journal of Baltic Studies*. 11/2. 1980.
- Sasse 2002 — *H.-J. Sasse*. *Recent activity in the theory of aspect: Accomplishments, achievements, or just non-progressive state? // Linguistic Typology*. 2002. 6. 2.
- Sawicky 2000 — *L. Sawicky*. *Remarks on the category of aspect in Lithuanian // Linguistica Baltica*. 2000. 8.
- Sližienė 1995 — *N. Sližienė*. *The tense system of Lithuanian // The Tense Systems in European Languages. Vol. II / Ed. R. Thieroff. Tübingen*, 1995.
- Smith 1991/1997 — *C. Smith*. *The Parameter of Aspect*. 2<sup>nd</sup> ed. Dordrecht, 1997.
- Talmy 2001/1985 — *L. Talmy*. *Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical form // L. Talmy. Towards a Cognitive Semantics. Vol. 2. Cambridge (Mass.), 2001. (1<sup>st</sup> ed.: Language Typology and Syntactic Description / Ed. T. Shopen. Vol. 3. Cambridge, 1985.)*
- Tatevosov 2002 — *S. G. Tatevosov*. *The parameter of actionality // Linguistic Typology*. 2002. 6. 3.
- Tenny 1994 — *C. Tenny*. *Aspectual Roles and the Syntax-Semantics Interface*. Dordrecht, 1994.
- Valeckienė 1998 — *A. Valeckienė*. *Funkcinė lietuvių kalbos gramatika*. Vilnius, 1998.
- Vendler 1967 — *Z. Vendler*. *Verbs and times // Z. Vendler. Linguistics in Philosophy*. Ithaca; New York, 1967.
- Verkuyl 1989 — *H. Verkuyl*. *Aspectual classes and aspectual composition // Linguistics and Philosophy*. 1989. 12. 1.
- Verkuyl 1993 — *H. Verkuyl*. *A Theory of Aspectuality. The Interaction between Temporal and Atemporal Structure*. Cambridge, 1993.

W. SMOCZYŃSKI

## Grupy spółgłoskowe języka staropruskiego

### 0. Uwagi wstępne

W zakresie fonotaktyki spółgłosek staropruskich opracowano dotąd tylko jeden dział, grupy nagłosowe wyrazu, mianowicie w aspekcie ich konfrontacji z nagłosowymi grupami litewskimi, por. [Tankevičiūtė, Strimaitienė 1990]. Celem niniejszego studium jest całościowe przedstawienie grup spółgłoskowych, jakie spotyka się w korpusie staropruskim, przez co rozumie się nie tylko dane apelatywów (katechizmy, słowniczki), lecz również nazwy własne, osobowe i geograficzne<sup>1</sup>. Pod względem metodycznym poniższe opracowanie wykorzystuje technikę syntagmatycznej klasyfikacji spółgłosek, mianowicie w tej postaci, jaką wypracował Jerzy Kuryłowicz [1948; 1952]. Klasyfikacja Kuryłowicza znalazła już zastosowanie do materiału bałtyckiego, z jednej strony w odniesieniu do spółgłosek litewskiego języka literackiego [Girdenis 1981: 73 n.; 1995: 103 n.], z drugiej strony — do spółgłosek litewskiej gwary puńskiej [Smoczyński 1986a]. Klasyfikacja Kuryłowicza wychodzi od obserwacji, że status składniowy spółgłoski jest zróżnicowany odpowiednio do jej pozycji w szyku zewnętrznym fonemów składających się na sylabę. W modelu sylaby  $C_1VC_2(C_x)$  spółgłoska  $C_1$ , znajdująca się przed szczytem (V), pełni funkcję eksplozywną, zaś spółgłoska  $C_2$ , poszczytowa i poprzedzona inną spółgłoską ( $V_x$ ), pełni funkcję implozywną. Zdaniem Kuryłowicza [1952: 55] z faktu, że istnieją języki obchodzące się bez spółgłosek implozywnych, nie ma zaś języków, które by nie znały spółgłosek eksplozywnych, wynika wniosek, że funkcja eksplozywna spółgłoski jest jej funkcją prymarną, zaś funkcja implozywna jej funkcją sekundarną. Klasyfikacja grup spółgłoskowych jakiegokolwiek języka sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na dwa pytania: 1. Jakie spółgłoski są dopuszczalne w części eksplozywnej, a jakie w części implozywnej sylaby? 2. Jakie reguły kombinacyjne rządzą doбором fonemów tworzących każdą z części sylaby? Porządek opisu wyznacza hierarchia elementów spółgłoskowych w sylabie: najpierw idą grupy

<sup>1</sup> Nazwy geograficzne cytuję się z [Gerullis 1922], nazwy osobowe z [Trautmann 1925]. Fakt, że wiele spośród staropruskich nazw własnych nie doczekało się jeszcze zadowolającej etymologizacji (nie wydzielono też z nich składników niemieckojęzycznych), nie sprzeciwia się wykorzystaniu tego świadectwa w rozważaniach fonotaktycznych.

eksplozywne, które tworzą nagłos sylaby i zarazem wyrazu, potem grupy implozywne, które stanowią wygłos sylaby i zarazem wyrazu. Na koniec przychodzą grupy spółgłoskowe wewnątrzwyrazowe, które są połączeniami elementów lub grup nagłosowych i wygłosowych. Obiektywny podział grup wewnętrznych musi brać pod uwagę reguły fonotaktyczne ustalone wcześniej dla nagłosu i wygłosu wyrazu.

## 1. Grupy eksplozywne

### 1.1. Grupy trójczłonowe

Maksymalne grupy eksplozywne składają się z trzech członów. Zaświadczone są cztery kombinacje:

<b>str-</b>	strambo, strannay, streipstañ, strigeno, strigli, stroio, stroysles. Por. n.o. Stradune, Strambote, n.w. Strewe, Stringele
<b>stv-</b>	stwen, stwendau, stwi (brak w onomastyce!)
<b>skl-</b>	sclait, sklaitint (zob. <i>škl-</i> ), n.o. Sclawdoth, Selode, Schlodit, Selunien, n.m. Seloditen
<b>skr-</b>	scrísits, scritayle, scrundos, scrundus, scrutele, n.o. Scrande, Scroyte
<b>škl-</b>	schkläits, schkläitewingiskan (zob. <i>skl-</i> )

Porządek członów jest następujący: obstruent trący (= S) + obstruent zwarty (= T) + sonorant (= R). Ze schematu STR-(V) wynika, że grupa eksplozywna odznacza się narastającym stopniem sonoryczności, od peryferii (ST) po sonorant (R), który zajmuje stałe miejsce przed szczytem sylaby. Por.

S	T	R
/s/	/t/	/r/
/s/	/t/	/v/
/s/	/k/	/r/
/s/	/k/	/l/²

Jak widać, klasy obstruentowe S i T są reprezentowane wyłącznie przez fonemy bezdźwięczne (brak grup typu /z/ + /b, d, g/ + R), zaś w klasie sonorantów nie ma nosowych /m, n/. Specyficzne ograniczenia materiału pruskiego wyjdą na jaw, gdy zestawimy grupy pruskie z repertuarem grup litewskich typu STR-. Por.

<sup>2</sup> Uwaga do /skl-/: Oboczna pisownia przysłówka *schkläits* obok *sclait* 'w szczególności, zwłaszcza' przemawia za tym, żeby znać grupę *škl-* za wariant poboczny do /skl-/. W skład *škl-* wchodzi fonem obcy /š/, właściwy dla pożyczek niemieckich.

Pruski			Litewski <sup>3</sup>		
/-p-/	/-t-/	/-k-/	/-p-/	/-t-/	/-k-/
*spr-	str-	skr-	spr-	str-	skr-
*spl-	*stl-	skl-	spl-	*stl-	skl-
*spv-	stv-	*skv-	*spv-	stv-	skv-
*spj-			spj-		

Wspólne obu językom są ograniczenia wyłączające kombinacje 1. \*stl-, 2. \*stj- i \*skj-<sup>4</sup>, 3. grupy z /m, n/ w pozycji R (brak \*spm-, \*stm-, \*skm-, \*spn-, \*stn-, \*skn-). Różnicę stanowi brak w pruskim grup *spr-*, *spl-*, *spj-*<sup>5</sup>. Przy identyczności grup *str-*, *skr-*, *skl-*, *stv-* w obu językach oznacza to, że pruski zasób jest w typie STR- o połowę mniejszy od litewskiego (4 :: 8). Być może, że ten stan rzeczy jest dziełem przypadku. Język litewski poucza nas o tym, że eksplozywne grupy 3-członowe są w materiale leksykalnym reprezentowane głównie przez tematy werbalne. Tymczasem w wypadku języka pruskiego przekaz form czasownikowych jest, jak wiadomo, bardzo ograniczony. Słowniczki niemiecko-pruskie poza kilkoma wyjątkami (Grunau) w zasadzie czasowników nie wymieniają. Z kolei repertuar czasowników, które pojawiają się w katechizmach, jest ze względów treściowych stosunkowo skromny (fragmentaryczny). Wystarczy np. odnotować fakt, że brak tu takich czasowników, które by w zakresie nagłosu odpowiadały czasownikom litewskim na *spr-* (*sprógti* 'pękać, rozrywać się'), *spl-* (*splėsti* 'rozszerzać'), *skv-* (*skveřbtis* 'przenikać, przedostawać się') czy *spj-* (*spjauti* 'splunąć'). W tych okolicznościach jest prawdopodobne, że brak materiału dla czterech wymienionych nagłosów jest raczej pochodną fragmentaryczności przekazu niżeli różnicą w strukturze fonotaktycznej tego języka. Warto jeszcze wziąć pod uwagę dwa szczegóły:

1. Nieobecne w apelatywach grupy *spr-* i *skv-* zostawiły ślad w materiale onomastycznym, por.

*spr-*: n.o. *Sprot*, *Sprude*, n.m. *Spraude* (:: lit. *Spráudis*, *Spraudaičiai*), n.o. *Sprude*, n.m. *Springelyn* (:: lit. *Springiai*, *dziś nieznane*)

*skv-*: n.o. *Sqwole*, n.m. *Squoliskaym*, *Squaliskaym*, n.o. *Skwabe*, *Squabe*, *Skwobe*.

2. Mimo nieobecności grup *spr-*, *skv-*, *spj-* w apelatywach ich postaci zredukowane *pr-*, *kv-* i *pj-* są zaświadczone (zob. niżej).

<sup>3</sup> Por. lit. *sprūsti*, *stverti*, *splėsti*, *spjauti*, *skveřbtis*.

<sup>4</sup> Warto odnotować obecność implozywnych grup *-its* (*daitis*, *geits*, *quāits*) oraz *-įks* (*slayx*).

<sup>5</sup> Litewski dopuszcza jednak *spj-* (*spjauti*). Implozywne lit. *-ips*, *kreips*, ma odpowiednik pruski, por. *pallaips*.

## 1.2. Grupy dwuczłonowe

Grupy dwuczłonowe realizują trzy redukcje grupy rozwiniętej *STR-*, mianowicie: *TR-*, *SR-* i *ST-*.

## 1.2.1. Grupy typu TR-

	/j/	/r/	/l/	/n/	/m/	/v/
/p/	pj-	pr-	pl-	—	—	—
/b/	—	br-	bl-	—	—	—
/t/	—	tr-	tl- <sup>6</sup>	—	—	tv-
/d/	—	dr-	— <sup>7</sup>	—	—	dv-
/k/	—	kr-	kl-	kn-	—	kv-
/g/	—	gr-	gl-	gn- <sup>8</sup>	—	gv- <sup>9</sup>

<sup>6</sup> Sądzi się, że na rzecz *tl-* mogą przemawiać (1) izolowana forma czasownikowa *tlāku* III 89<sub>2</sub> ‘młóci, trze’ (o wole młóącym zboże) i (2) nazwa osobowa *Tloke*. Moim zdaniem, żadna z tych form nie jest jednak miarodajna do postulowania grupy nagłosowej *tl-*. Już Endzelins [1943: 265] widział w *tlāku* anomalie i poprawiał ten hapaks na <tāku>, postać spokrewnioną z lit. *telkiūšs*, *telktis* ‘tłoczyć się, zbijać się w gromadę’ (tak samo [Mažiulis 1981: 177, przyp. 434]). W wypadku <tāku> chodzi najprawdopodobniej o praesens iteratywne \*/tāku/ < \*/tāka/ < \*/tāka:ja/, inf. \*/tāka:t/ ‘rozłukiwać, miazdżyć’, które co do formacji było paralelne do słów. \**tolčiti* ‘tłoczyć’, zob. [Smoczyński 1991: 316]. — Gdy chodzi o nazwę osobową *Tloke*, to trzeba podnieść, że nie może ona być zidentyfikowana z pruską nazwą ‘niedźwiedzia’ (\**tlākis*, w pomezzańskim niby zmienione na *clokis* EV 655), ponieważ zmiana głosowa *tl > kl* stoi pod znakiem zapytania, por. *ebseñliuns* III 109<sub>10</sub> ‘bezeichnet’, nie *†ebseñkliuns*. Antroponim *Tloke* może być po prostu metatetycznym wariantem w stosunku do *Tolke* (też *Tolk*, *Tolck*), które jest postacią częstszą. Metateza *CIV < CVI* ma oparcie w takich refleksach, jak *glawo* VE 68 ‘głowa’ < \**galwo* (lit. *galvù*), *arglobis* EV 76 ‘czubek głowy’ < \**golbis* (por. *galbo* GrA 45 ‘głowa’, *galwo* EV 504 ‘oberer Teil des Schuhes’), *dalptan* EV 536 ‘dłuto’ < \**daltan* (zapożyczenie stp. *dłoto*). Sam w sobie antroponim *Tolke* jest dwuznaczny: albo stoi w związku z n.o. *Tolike*, *Tulicke* (zob. [Trautmann 1925: 106]), mianowicie jako wariant synkopowany, albo też ma za podstawę — jako przeczyszczenie — apelatyw niemieckiego etymonu sprowadził również n.m. *Tlokunpelk*). O nowych objaśnieniach dla wyrazów prus. *clokis* i lit. *lokÿs*, które nie muszą być ze sobą spokrewnione, zob. [Smoczyński 1999].

<sup>7</sup> O braku pruskiej grupy *dl-* świadczy wymownie traktowanie zapożyczenia stp. *dłoto* ‘dłuto’, które przybrało postać \**daltan*, a potem przez epentezę *p* zmieniło się w *dalptan* EV 536 ‘durchschlag’.

<sup>8</sup> Grupa wątpliwa. Pojawia się w dwóch hapaksach: *gnode* EV 338 ‘dzień do ciasta’ (bez etymologii) i *gnabsem* GrG 66, GrA 32 ‘siemie konopne’, *gnapsem* GrC ts., *gnabsem* GrH ts. Co najmniej w tym drugim wypadku jest pewne, że <gn-> jest okazjonalnym wariantem udźwicznionym do <kn->, por. *knapios* EV 268 ‘konopie’ :: lit. dial. *knāpēs* ts. (z synkopowania *kanāpēs*).

<sup>9</sup> Tankevičiūtė, Strimaitienė [1990: 107] jako jedyny dowód na grupę /gv-/ cytują nazwę osobową *Gvyres* 1299. Ponieważ antroponim ten jest całkiem izolowany (zob.

Największą jest łączliwość zwartych z płynnymi /r, l/. Tylko /t, d, k/ łączą się z /v/. Najslabiej łączliwym sonorantem jest /n/ (tylko *kn-*), zaś /m/ w ogóle nie łączy się z poprzedzającą zwartą. Zgodności z litewskim polegają na 1. braku grup *tl-*, *dl-* i 2. braku grup *zwarta + m*. Brak pruskich grup *bj-* (lit. *bjaurūs*) i *gv-* (lit. *gvérsta* ‘rozchwiewa się’) można wytłumaczyć luką w przekazie.

Lista przykładów:

**pj-** piucfan<sup>10</sup>, n.w. Piał?<sup>11</sup>  
**pr-** pra, prābutskas, pray, prakāisnan, pracartis, pralieiton, pramadlin, prapolis, prassan, prastian, prātin, prawedduns, prawilts, preartue, preddikausnan,

[Trautmann 1925: 37]), nic ma też dlań nawiązań w toponimii, lepiej byłoby na razie zaopatrzyć lekcję [gvir-] znakiem zapytania. — W związku z danym przykładem warto zwrócić uwagę na to, że z punktu widzenia ortografii *niemieckiej* połączenie literowe <vy> dopuszcza więcej niż jedną interpretację. Po pierwsze graf <v>, podobnie jak jego allograf <w>, miewa wartość samogłoskową, por. np. n.o. *Gedvne* ob. *Gedune*, *Gvlaude* ob. *Gwlaude*, *Kvdīr* ob. *Kwdīr*, *Jodvte* ob. *Jodvte*, *Melwke* ob. *Myluke*. Wynika z tego, że *Gvyres* można by czytać [gviŕəs], czyli w sposób podobny do *Kampwys*, *Kampwicz* 1289 (n.w.), które czytamy [kampuis], por. wariant *Campuis* 1289. Por. też n.m. *Kwisen* 1507, później *Kuyschen* [Gerullis 1922: 55, 79]. — Po drugie połączenie liter <vy> było w ortografii średniodolnoniemieckiej wariantem digrafów <ui> albo <uy>, <u>, <u>, których używano na oznaczenie zaokrąglonej, umlautowanej samogłoski [ü] lub [ū] (np. *duid* ‘dies’, *Wisbuy* (n.m.), *Lvidolfus* ‘Lüldolf’, *tuych* ‘Zeugnis’, por. [Lasch 1914: § 21–22, 46, 172]). Wynika z tego, że *Gvyres* można by czytać [gürəs]. — Po trzecie w pozycji po samogłosce graf <y> lub jego allograf <i> może być interpretowany jako diakryt iloczasu długiego («Dehnungs-y/i»), por. śrwn. *mayndagis* ‘Montag’, *breyf* ‘Brief’ [Paul, Mitzka 1963: § 116], śrdn. *raid* ‘Rad’, *jair* ‘Jahr’ [Lasch 1914: § 22]. Por. również uwagę [Schmalstieg 1999: 111] odnośnie do lekcji wyrazu prus. *saika* GrG 27 ‘Sack’, *sayka* GrA 52 ‘saccus’ jako [sa:kâ] oraz paralelny germanizm lit. *zākas* ← *Sack*. Z tego wynika ewentualność lekcji *Gvyres* jako [gu:rəs]. Warto zauważyć, że ta ostatnia interpretacja otwiera drogę do powiązania tego imienia z n.o. *Gure* (*Gursede*) oraz z n.m. *Guren*, *Gureyn*, i ewentualnie dalej z n.w. *Goryn* (zob. [Gerullis 1922: 44]).

<sup>10</sup> Jak już wspomniano, brak jest w języku staropruskim przykładów na grupę /bj-/ typu lit. *bjaurūs*. W związku z tym wymaga komentarza pisownia <bi-> na początku wyrazu przed samogłoską, co spotyka się w formach czasownika ‘bać się’: inf. *biāwei* 11x, 3. praes. *biā*). Otóż w sytuacji, gdy znak <i> stoi przed innym znakiem samogłoskowym, litera <i> nie oznacza spirantu *j*, lecz sekwencję *dwufonemową* *i + j*, taką mianowicie, która należy do dwu sąsiednich sylab. Wymienione wyżej zapisy z <biV> winny więc być czytane /bijai:vei/, /bijai/, co jest zresztą zgodne z normą fonotaktyczną odpowiedników litewskich: *bijōtis*, *bijo*. Co do tego zob. [Schmalstieg 1974: 158]. Trzeba jeszcze przypomnieć, że pisownia typu <ia> = [i.ja:] jest dobrze znana z tekstów staroliteńskich. Por. np. u Maźwida: *bia* 169<sub>15</sub>, *niesibia* 523<sub>16</sub> obok *bija* 326<sub>6</sub> ([Urbas 1996], s.v.) albo u Daukszy: *mūsia* DP 27<sub>12</sub> = [mu:si.ja] obok *mūsia* 100<sub>43</sub>, *mūsio* 418<sub>31</sub> :: *mūsio* 2<sub>34</sub> [Kudzinowski 1977, l: 467].

<sup>11</sup> Tę nie do końca jasną nazwę [Gerullis 1922: 35] łączył z przymiotnikiem polskim *biały*.

- predickerins, prei, preibillisnai, preigērbt, preigerdawi, preīgimnis, preicalis, preiken, preilaikūt, preipaus, preipist, preīsiks, preistalliwingi, preistattinnimai, preitlāngus, preiwackē, preclantyts, °prestemmai, prestors, °prestun, °prettiŋgi, preweri°, priki, prio, pro, proglis, proklantitz, prowela, prūsiskan, prusnas. Por. n.o. Praybuth, Preybuth, Preydar, Preydor, Preymox. n.m. Preybutten, Prebutyn, n.w. Prabiske, Prawes
- br-** braydis, °brandisnan, brāti, bratrikai, brendekermnen, brewingi, brewinnimai, brisgelan, broakay, brokis, brote, bruneto, brunyos, brunse, brusgis. Por. n.o. Bradot, Briole, Brukot, Brulant (obce Brune), n.m. Bredyn, Broiden
- tr-** trapt, °trātwei, °traūki, trēnien, °treppa, tresde, trinie, °trincktan, trinsnan, trintawinni, troskeilis, trumpstis, trupeyle, trupis. Por. n.o. Trankot, Trausde, Trinte, Trumpis, Trvnzch, Trusde, n.m. Trauziken, Trumpow, Trumpske
- dr-** dragios, drastus, draugi°, driāudai, drawine, drimbis, droanse, droeffs, drogis, drūktai (itp.), druwīt (itp.). Por. n.o. Dragothe, Dragusse, Dramutt, Drawsde, Drinke, Druato, Drutenne, n.w. Drawanta, Drewancz, n.m. Drasda, Drutlauken
- kr-** kragge, kragis, crays, craysi, kraclan, kracto, cramptis, crauyo (itp.), crausy, creslan, krichaytos, cristonisto, crixtian°/christiān°, krixtieno, crixtisn°, crixtnix, krumstus, krūt. Por. n.o. Kracke, Craypse/Crapse, Kryxtion, Cruteyne, n.m. Kracotin, Krawsselawken, Crymelaken, Krumstewayn
- gr-** grabis, grabwe, gramboale, grandan, grandico, granstis, gratias, graudi°, graudis, grawyne, grauwas, greanste, greiwakaulin, grek°, gremdsde, grēnsings, grīk°, grim°, grobis, grosis, grumins, grundalis, grunt°. Por. n.o. Grande, Grasim, Grasutte, Grawdio, Gripsio, Grugail, n.m. Grabisto, Graudikaym, n.w. Greywa
- pl-** playnis, plasmeno, plateys, plauti, plauxdine, pleynis, pleske, plieynis, plinxne, ploaste, plonis, plugis. Por. n.o. Pleusko, Plotyms, Plowo, Pluwone, n.m. Plastewayn, Platmedyen, Plausdinis, Plixlawken, Plwnelawken
- tl-** n.o. (tylko jedna osnowa antroponimiczna:) Tloke, Tlokins, Tlokote, n.m. Tlokowe, Tlokou, Tlokenpelk, Tlokunpelk
- bl-** bleusky, blingis, blingo, blusne. Por. n.o. Blicke, Blisio, Bliwote, Blude, Bludit, n.m. Bladia, Bluskaym
- kl-** claywio, klant°, clattoy, klaus°, clenan, klente, clynth, klexto, clines, °klipts, cłokis<sup>12</sup>, clumpis, klumstina, klupstis, °klusmai. Por. n.o. Claus (obce), Clawsigail, Clausucke, Cleecz, Clusite, Clussyte (obce Claus, Clawsicke), n.m. Clapothyten (obce Kloken, Clokstityen)
- gl-** °glābu, gland°, glasso, gleuptene, glosano, glossis, glosto, glumbe. Por. n.o. Glabot, Glabune, Glabunyne, Glandam, Glande, Glausoth, Globicke, n.m. Glabunen, Glandin, Globite
- kn-** knaistis, knapios, kniēipe. Por. n.o. Knaypan, Knawte, Knysteyke, n.m. Knauten, Cnityn (obce Knochstein, Knogstin)
- gn-?** gnode (co do *gnabsem*, *gnabsen* zob. przyp. 8). Por. n.o. Gnaysothe, Gneysutte, Gnetil, Gneytell, n.m. Gnaysoten, Gnathebrast, Gnatynne, Gneist

<sup>12</sup> Formę *caltestisklokis* EV 656 'czidelber' ['Bienenbär']? można interpretować jako grupę paratetyczną z przymiotnikiem *caltestisk* (forma bez końcówki, z sufiksem derywacyjnym *-isk-*) i rzeczownikiem *lokis* 'niedźwiedź' = lit. *lokys*.

- tv-** twais (itp.), twaxtan. Por. n.o. Twanxthe, Twirbute, Tworine, n.m. Twarkte, Twirigeiten
- dv-** dwai, dwigubbus (itp.). Brak w onomastyce!
- kv-** quai, quāits (itp.), quei, queke, °quelbton, °quendau, quoitā. Por. n.o. Quedun, Queybuth, Queyrams, Querbute, n.m. Quittin, Quetteyn, n.w. Quithinck.

1.2.2. Grupy typu *SR-*

	/j/	/l/	/n/	/m/	/v/
/s/	sj-	sl-	sn-	sm-	sv-
/š/	—	šl-	šn-	št-?	šv-
/z/	—	—	—	zm-	zv-

## Lista przykładów:

- sj-** n.o. Syaute? Por. schostro (≡ pol. *siostra*), schumeno, schutuan, schuwikis<sup>13</sup>. — W nazewnictwie <sch> antewokaliczne oznacza z reguły [sk-], np. n.o. Schabeyke i Scabeike, Schabuns, Schayboth i Schaywoth, Scharduthe i Skarduth, n.m. Schaybotten, Schaiten, Schoite ob. Scayte, Schanden ob. Skanda-See
- sl-** slayan, slayx, slanke, slaune, slaunis, slidenikis, sliwaytos, sloyo. Por. n.o. Slabeyke i Slaweike, Sloyde, n.m. Slakelaux, Slankelauks, Slimpen/Schlimp-pen, Slinia
- šl-** schlūsitwei (itp.)
- sn-** snaygis, sneko (ob. *šn-*: schneko), snoxtis. Por. n.o. Snaydape, Snyke, Snyne, Snypte, Snutene, n.m. Snitteynen
- šn-** schneko (ob. *sn-*: sneko), n.m. Schnoten/Snoten
- sm-** smerlingis, smorde. Por. n.o. Smalicke i Smaleg, Smyge, Smoydro, n.m. Smagars, Smaydegarbe, Smausigeyn
- šm-** (obce n.m.) Schmawck, Schmideinen
- zm-** smoy, smunents, smūni, smūnin (w onomastyce grupa *zm-* nie da się w sposób pewny zidentyfikować z powodu braku oparcia w materiale apelatywnym)
- sv-** swāigstan (por. *-šv-*: erschwāigstina), swais (itp.), sweykis, sweikis, sweriapis, swestro, swetan, swibe (?), swintian, swints, switai. Por. n.o. Swayman, Swaymuzil, Swayprot, Swalge, Swantike, Swentike, Swarge, Swibbe, Swirple, Swis-deta, Swodenne, n.m. Swaynien, Swarboniten, Swentegarben

<sup>13</sup> Zakładam, że sekwencja dwufonemowa /sj-/ była realizowana w pozycji przed samogłoskami tylnymi jako spółgłoska palatalna [š] i że to [š] oddawano w pisowni niemieckiej trigramem <sch>, a to dlatego, że wyrażany takim trójznakiem spirant niem. [š] = <sch> był najbliższym pod względem artykulacyjnym odpowiednikiem tej szczególnej spółgłoski pruskiej. Sekwencja eksplozywna /sj-/ ma odpowiednik implozywny /-js/, zaświadczony wieloma przykładami, por. *crays*, *swais*, *swaieis*, *twais* oraz imperatiwy typu *imais*, *isrankeis*. — Również w tekstach staroliteńskich znane jest użycie trigramu niem. <sch> na oznaczenie palatalnego [s'], por. np. u Maźwida: *scha* 195<sub>5</sub>, 351<sub>2</sub> = [š'a], *schischa* 95<sub>8</sub> = [š'iš'a] (por. prus. *schan* III 67<sub>17</sub> 'hie'), *schonai* 120<sub>9</sub> = [š'o:nai], *duschas* 10<sub>24</sub> = [du:š'as] Akk.Pl., *schürdis* 34<sub>22</sub> ([Urbas 1996], s.v.).



- šv- (er)schwāigstinaī (ob. sv-: swāigstan)  
 zv- swīrins, n.m. Swerin (?)

W połączeniach /s/-, /sn/-, /sv-/ spirant /s/ bywa zastępowany przez /š/ na wzór wymowy niemieckiej odpowiednich grup<sup>14</sup>. Brak pisowni <schm-> dla potencjalnego /šm-/ odpowiada grafii niemieckiej (por. <st-> dla /št-/). Miarodajne jest *smerringis* EV 568 'ryba śliz', które pochodzi z niem. *smerring*.

Porównanie z litewskim, gdzie jest *sr-* (*sraivėti* 'płynąć', nadto *šr-* w pożyczce *šratai* 'śrut') nasuwa pytanie, dlaczego brak jest takiej grupy w pruskim. Prawdopodobnie dlatego, że w czasie, z którego pochodzą nasze materiały, język ten wszędzie już zastąpił odziedziczone \**sr-* przez *str-*. Taka innowacja, polegająca na epentezie zwartej *t* do sekwencji dwóch konty-nuantów<sup>15</sup>, znana jest z języka łotewskiego i części dialektów litewskich. Mimo że w litewskim języku literackim normą jest stare *sr-*, to i tu zdarzają się dialektyzmy z epentezą *t*. Tak np. obok *sreigiū*, *sreigti* 'wbijać, wtykać' jest intransitivum o formie *stringū*, *strigti* 'utkwic, wbić się', zaś *srāigas* 'tyczka' ma za synonim formę *strāigas*. Z tym to gniazdem łączy się pruska nazwa 'ostu': *strigli* AS III < \**srig-*<sup>16</sup>.

### 1.2.3. Grupy typu *ST-*

	/p/	/t/	/k/
/s/	sp-	st-	sk-
/š/	šp-	št-	šk-

#### Lista przykładów:

- sp- spagt<sup>o</sup>, sparis, spart<sup>o</sup>, spaustan, specte, spelanxtis, spenis, sperglwanag, sperclan, spignā, spoayno, spurglis. Por. n.o. Spayde, Spande, Spawdenne, Spogenne

<sup>14</sup> Wynika z tego, że trigraf niemiecki <sch> w zapisach z <schl->, <schn->, <schw-> ma wartość spółgłoski interferowanej [š], podczas gdy w zapisach typu <schostro>, <schuwikis> (zob. wyżej) oznacza on spółgłoskę rodzimą [š]. Zob. przyp. 13.

<sup>15</sup> Zapobiegała ona uproszczeniu \**sr-* w *r-*. Por. zmianę \**mr-* w *r-*: lit. *rišū*, *rišti* 'wiązać'.

<sup>16</sup> Trautmann [1910: 440] łączył *strigli* nieprzekonująco ze słow. *strigō* 'strzyc, ciąć'. -- Epentetyczne *t* widać też w l. *stroio* EV 103 'tętnica szyjna' < \**sruja*, por. lit. *srūti* 'sączyć się', *sruvėti* 'ciec cienkim strumieniem', *sraujā* 'bystry bieg rzeki' i 2. w pewnych nazwach geograficznych, por. *Nastrayn* itp., *Strewe*, *Strut-keim* ob. *Strotte-kaymen* [Gerullis 1922: 106, 174 n.]. Dyskusja nad innymi jeszcze przykładami pruskimi w [Smoczyński 1986b].

- st- stabis, stabni, °stagis, staydy, staytan, stakamecczeris, °staclan, stacle, stalis, stalli<sup>o</sup>, starnite, standis, stānint<sup>o</sup>, stanulonx, starkis, starstis, stas (itp.), °stattinnimai, stawids, steege, stenuns (stīnons), stibinis, sticlo, stinsennien, °stippan, stoberwis, stogis, stolwo, stordo, stub<sup>o</sup>, stuckis, stūndicks, sturdis, stūm<sup>o</sup>. Por. n.o. Stagutte, Stigots, Stintil, Stuype, Stupynne, Stusio
- sk- scabs, scalenix, skallisnan, scalus, skandin<sup>o</sup>, skaura, skawra, scebelis, skellānt<sup>o</sup>, skerptus, skewre, scibinis, °skiēndlai, scinkis, °skisai, skist<sup>o</sup>, °skollē, skuna, scuto/schuto. Por. n.o. Scabeike, Scandio, Scudeyke, Scurdenne
- šp- schpartina (ob. sp-: spartina, °spartint)
- šk- schküdan (ob. sk-: skūdan), schkellānts (ob. sk-: skellānts)

Pisownie <schp->, <schk-> wskazują na to, że w grupach rodzimych /sp-/ , /st-/ , /sk-/ spirant /s/ był zastępowany przez /š/ pod wpływem fonetyki niemieckiej. Zob. wyżej o pisowni <schl->, <schn->, <schw->.

Repertuar pruskich grup *ST-* nie różni się od litewskiego, por. *spenys*, *stābas*, *skandinti*; *špūke*, *štai*, (dial.) *škūina*. Litewski wykazuje wprawdzie dodatkowe zbitki ze spirantami dźwięcznymi, ale są one ograniczone do nazw własnych pochodzenia obcego, por. *Zbāras*, *Zdanys*, *Zgānas* [Girdenis 1995: 108].

### 1.2.4. Grupy typu *TS-*

Być może, że pruski miał także grupę eksplozywną /ts-/ , wzorowaną skutkiem interferencji niemieckiej na niem. /ts-/. Przemawiają za tym następujące pisownie:

<cz> w *czix* EV 735 «cziske» 'czyżyk'. Por. n.o. Czeducke (? ob. Teducke, Tidde), Czessim (? ob. Tessim), Czike (? ob. Thyke)

<z> w *zuit* III adv. 'dość'.

## 2. Grupy implozywne

Pod względem stosunku sonorantów (*R*) i obstruentów (*T*, *S*) grupy implozywne stanowią w zasadzie lustrzane odbicie grup eksplozywnych, czyli mają postać maksymalną *-RTS* (por. *STR-* w nagłosie) oraz trzy postaci zredukowane: *-RS*, *-RT* i *-TS* (por. w nagłosie *SR-*, *TR-* i *ST-*). Z uwagi na nadrzędny charakter grup eksplozywnych (nagłos wyrazu) odwrócenie szyku składników w grupach implozywnych traktuje się jako zjawisko umotywowane: nagłos wyrazu determinuje wygłos wyrazu. Choć większość materiału pruskiego potwierdza te prawidłowości, istnieje sporo odchyłeń w obrębie grup dwuczłonowych, które wymagają skomentowania. Z uwagi na znaczne zróżnicowanie przykładów przedstawimy je w dwóch ujęciach: najpierw w postaci spisu alfabetycznego, który pokaże bogactwo materiału i ułatwi poszukiwanie form, a potem w klasyfikacji syntagmatycznej.

## 2.1. Grupy dwuczłonowe

## Lista przykładów:

- fs** Obce: droeffs<sup>17</sup>  
**-jm** II człon n.m. °kaim ‘wieś’: Dulokaym, Krelekaym, Pyzckaym, Porsekaym, Wedirkaym, Woblikaym  
**-jn** II człon n.m. °kain < °kaim ‘wieś’: Dulokayn, Krelekayn, Pysdekayn, Porskayn, Wedirkayn, Woblikayn  
**-js** gerbais, gerbeis, gewineis, imais, isrankeis, crays (?), plateis, pogeis, swais, swaieis, twais  
**-jt** sclait, schlāit, slāit, slait  
**-ks** delliks, dellijcks, gaylux, genix, grīkenix, crixtnix, kuliks, lūbeniks, malnijkiks, malnijkixs, malnijks, mynix, pogalbenix, prēisicks, prēisiks, riks, rijks, stūndicks, wosux. — Nadto w pisowni <gs>: lūbnigs  
**-kt** nackt<sup>18</sup>  
**-ls** engels, catils, mīls, mijls, nuskils, pickūls, pyculs, rundijls, tāls, tols, toūls, wessals  
**-lš** falsch (obce)  
**-lt** Przypadkowa luka wśród apelatywów<sup>19</sup>. Por. n.m. Namuynbalt, Rythabalt  
**-mp** n.o. Bedymp  
**-ms** etnistislaims, rāms, stūrintkrōms, n.o. Adams  
**-mt** enimt, imt  
**-ns** ackons, ackins, agins, alkins, ausins, awins, grunins, gurīns, kērmens, kermens, kurpins, kupsins, passons, sasins, seimīns, tāns, tans, wagins, waldūns, wins, n.m. Plons, Pluns. — Wybór form obliqui z końcówką -ns: abbans, aūnsins, aulauūnsins, deiwans, dīlans, dīlins, dins, gannans, grīkans, kaimīnans, maldans, rānkans, rikijans, seggīsnans, tennans, tūsimtons, undans, wīrans, wīrdans, wissans; noūmaus, stēimans, swāimans, waikammans, wijrimans, wissamans. — Wybór form participii na -ns: enimmans, etskīans, gauuns, gemmans, gemmons, grīmons, milijuns, murrawuns, pērgimmans, sīdans, stenuns, taykowuns  
**-nt** grunt, klint, clynth, n.o. Buckant, n.m. Arsenpint, n.w. Babant, Salmant. — Wybór form infinitivi na -nt: bebbint, glandint, kakīnt, ligint, mukint, pobaiint, pogadint, powaidint, swintint, wartint  
**-ps** bīskops, encops (ob. -pts: enkopts oraz -ptst: enquoptzt), caneips, pallaips, paps, sups. Por. n.m. Auctacops (ob. Auctukape), Iregaps (< °garps < °garbis),

<sup>17</sup> Zwykły rozwój \*tāvas > [taʊs], pis. <taʊs, thaʊs> ‘ojciec’, przemawia za tym, że odpowiednia synkopa w formie \*drowis ‘wiara’ dałaby [drouʃs], pis. <drows>. Pisownia hapaksu <droeffs> z obcym <f> oddaje najwidoczniej nie pruską, lecz niemiecką wymowę zbitki wygłosowej, por. np. niem. *betreffs*.

<sup>18</sup> Całkiem izolowany zapis z GrG 58. Forma pozbawiona końcówki (jak gdyby graficznie upodobniona do niem. *nacht*, przy którym stoi), odpowiada lit. *naktis* ‘noc’.

<sup>19</sup> Obecność participium *prawilts* ‘zdradzony’ pozwala odtworzyć infinitivus o formie \*pravilt ‘zdradzić’, z -lt/ jak w lit. *nusivilt* < *nusivilti* ‘doznać zawodu’.

- Sarguckinstaps, Trops, Unsapotraps, Vogocaps. — Nadto w pisowni <bs>: labs, sallūbs, scabs, subs, n.m. Gildestabs, Sarguttinstabs  
**-pt** trapt  
**-rn** n.m. Wissedam  
**-rs** altars, antars, anters, keckers, keckirs, komaters, maiters, prestors, tickars, tickers, urs, weders, wijrs, wirs, wurs. Por. n.o. Mars, n.m. Scobors, Smagars  
**-st** ast, dāst, est, ist, perrēist, preipist, waist, west. Por. n.m. Ginthebrast, Gintebrost, Cucenbrast, Singurbrast, Stabobrast  
**-ts** astits, belats, billāts, dinkowatz, ebsignāts, immats, ymmits, jmmitz, likuts, limatz, poquoitēts, proklantitz, n.m. Gaunitz. — Nadto w pisowni <ds>: kawīds, kawijds, kuwījds, stawīds, stawījds (por. wīrds). — Wybór form participii na -ts: crixtits, laikūts, dāts, deiwuts, deywuts, entēnsits, crixtits, niebwinūts, patickots, proklantits, posinnāts, polaikūts, skrīsits, scrijsits, scrijsits (ob. -tst: skresitzt)  
**-uk** n.m. Schmauwck  
**-us** buttastaws, buttantāws, tāws, taws, thaus. Por. n.o. Gerdaus, n.m. Karkaus, Tribelaws  
**-ut** aulāut, neikaut, pogaūt. Por. n.o. Bytowt (ob. Bitawte), Eyskaut, Gydowt, Kerstawt, Guntawt, Monawdt, Redaut, n.m. Gydawt, Pokrawt.

## 2.2. Grupy trójczłonowe

## Lista przykładów:

- ikš** malneyks, slayx, teiks  
**-ikt** polāikt  
**-jms** læims  
**-jns** ains, erains, niains  
**-jps** pallaips  
**-jst** perrēist, waist  
**-jts** daitis, daitz, geits, quāits, crixeits, schklāits, schlāits, schlaits, schlaits  
**-iys** deiws  
**-lks** kelks, kelchs, valx. Por. n.o. Preystalks, Prestalx, n.m. Kasewalx, Papelx, Posillipe[1]x  
**-lts** prawilts. Por. n.o. Preywlcz (= Preivulcs)  
**-mps** etkūmps, etkumps. Por. n.o. Glaudimps, Prislamps  
**-mts** animts/enimts, dessimts, dessimts  
**-nks** klausiwinks, malnijkinks (?), pentinx (?). Por. n.o. Salanx, Sandanx, n.m. Barbalenx. W katechizmach zwykłą pisownią dla -nks jest <-ngs>: auschaudiwings, aulāikings, engraudiwings, etneiwings, etniwings, etnijwings, ginnewings, grēnsings, klausiwings, labbings, naunīngs, nigīdings, nipoklusmings, niuāitings, niriġewings, niwertīngs, wertīngs, wertiwings. Por. n.o. Prietunx n.o. Trvnzch  
**-nsk?** n.o. Trvnzch  
**-nst** pakūnst. Por. n.o. Paganst (ob. Poganste)  
**-nts** ainonts, auskandints, dīlants, enkērminints, enkermenints, ensadints, etbaudints, isklaitints, mukints, newīnts, newyntz, niskijstints, niainonts,

nipogattawints, poaugints, pobrendints, pomukints, sacramēnts, schkellānts, skellānts, smūnents, swints, testaments. — Nado w pisowni <nds>: glands, unds. — Por. n.m. Golentz, Ilantz, Wegintz.

- pts** auklipts, enkopts (ob. *-ps*: encops i *-ptst*: enquoptzt). Por. n.w. Lipz (ob. Lipza, Lipze)
- rks** apisorx, n.o. Girks, Marx, Sarchz, Wissedarx. Nado w pisowni <rgs>: butsargs, wargs
- rps** crauyawirps, powirps. Por. n.o. Caterps; n.m. z członem II *garbs* < *garbis* 'góra': Lagegarbs, Lulegarbs (ob. Lulegarbis), Kalegarbs, Kilegarbs, Mantegarbs, Poirbs (ob. Poirbin, Poirpen), Smaydigarbs (ob. Smaydegarbe)
- rpt** etpwērt, etwiērt, etwierpt, powiērt. — Nado w pisowni <rht>: gērbt, gerbt, preigērbt
- rst** ainawārst, aina warst, werst, wīrst, wirst, wijrst, nm. Tuleparst
- rts** ketwerts, kettwirts, ketwirtz, sparts, tirts, werts. — Nado w pisowni <rds>: wīrds, wīrds
- sts** Christs, perpīsts, pomests, senrists, usts (ob. *-šts*: uschts)
- šts** uschts, wuschts (ob. *-sts*: usts)
- tst** bylaczt (ob. *-ts*: billāts), daecz (ob. *-ts*: daits), lymucz (ob. *-ts*: limatz skresitzt (ob. *-ts*: skrīsits)<sup>20</sup>
- uks** cawx, laucks. Por. n.m. Seymolaux, Slakelauchs
- uns** aulauns, awlawns, dāuns, dauns, ebsignāuns, nauns, nowaitiāuns, perdauns, perwūkauns, podāuns, postāuns, popeisauns, pūdauns, sendāuns, soūns
- uts** dinkauts, pagauts. Por. n.o. Mildawtz.

### 2.3. Grupy czteroczłonowe

#### Lista przykładów:

- jpts** n.m. Steypts (ob. Steypata, Steypet, Steynpat)
- ptst** enquoptzt (ob. *-ts*: enkopts)
- mpts** dessempts, dessimpts, dessympts
- nkts** penckts, piēncts, pyienkts
- nsts** andeiānsts (?)
- rkts** erdērckts
- utst** dinkauczt, dinkautzt (ob. *-ts*: dinkauts)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Grupa *-tst* powstała skutkiem dołączenia zwartej *t* do wygłosowego *-ts* formy starszej \**skresitz* 'ukrzyżowany', czyt. [skre:zits], por. warianty *scrisits* I, *skrisits* III, *scrijsits* III *ts*. Zakończenie pruskie *-ts* oddaje niem. *-et* formy «gecreitziget». Epiteza *t* po *-ts* jest zjawiskiem fonetyki niemieckiej, por. nwn. *jetz-t* < *iez* (śrwn. *ieze*). Zob. też przypis następny.

<sup>21</sup> Grupa powstała skutkiem dołączenia zwartej *t* do wygłosowego *-ts* formy starszej *dinkauts* III 75, 'dziękował', gdzie prus. *-ts* oddaje zakończenie *-et* praeteritum niemieckiego *dancket*. Zob. przypis poprzedni.

### 2.4. Grupa pięcioczłonowa

#### Przykład:

**-nksts** nikanxts

### 2.5. Klasyfikacja grup implozywnych

Większość grup implozywnych potwierdza zasadę lustrzanego odbicia w stosunku do grup eksplozywnych. Mimo to przy każdym z typów (*-RTS*, *-RS*, *-RT*, *-TS*) stwierdza się obecność grup anomalijnych, które nie mają odpowiedników nagłosowych i skutkiem tego stwarzają trudność klasyfikacyjną. Wyjściem z tej trudności jest stwierdzenie, że sekwencje nieregularne przedstawiają połączenie typowej zbitki wygłosowej z elementem *niemotywowanym*<sup>22</sup>. W następującym teraz przeglądzie regularne typy wygłosowe podano w konfrontacji z typami nagłosowymi. Po każdym z nich zestawiono grupy anomalijne.

#### 1. Typ *STR-* :: *-RTS*

skl :: -lks	sclait, sklaitint :: kelks, valx
skr :: -rks	scrisits, scrundos :: apisorx, wargs
str :: -rts	strigli, stroio :: kettwirts, sparts, wīrds
stv :: -uts	stwen, stwendau :: dinkauts, limauts, pogauts

1.1. Połączenia typu *-RTS*, które nie mają odpowiedników w grupach eksplozywnych, otrzymują następującą interpretację:

-mps = -m + -ps	etkūmps (por. sups)
-rps = -r + -ps	powirps
-lts = -l + -ts	prawilts (por. immats)
-mts = -m + -ts	dessimts
-nts = -n + -ts	newints
-jps = -j + -ps	pallaips
-jts = -j + -ts	daits, daitz, geits
-jks = -j + -ks	malneyks, waix (por. rikš)
-uks = -u + -ks	cawx, laucks <sup>23</sup>

#### 2. Typ *SR-* :: *-RS*

sl :: -ls	slayx, slaunis :: engels, mijls, pickūls
šl :: -lš	schlūsitwei :: falsch
sn :: -ns	snaygis, snoxtis :: ackins, ausins, alkīns, passons, tans
sm :: -ms	smerlingis :: Adams, laeims, rāms

<sup>22</sup> Za Kuryłowiczem [1948: 105, reguła IX].

<sup>23</sup> Fonemy /j, v/ hipotetycznych grup \*/skj-/, \*/skv-/ należą do tej samej klasy syntagmatycznej, co fonemy /l, t/, które ukazują się w składzie grup /skl-/, /skr-/.

zm- :: -ms	smoy, smūni :: Adams, laeims, rāms
sġ- :: -ġs	schuwikis :: swais, twais
sv- :: -ūs	swāigstan, swais, swints :: taws, thaus
zv- :: -ūs	swirins :: taws

### 2.1. Bez odpowiednika eksplozywnego:

\*sr-<sup>24</sup> :: -rs altars, antars, urs, wirs

### 3. Typ TR- :: -RT

tv-, dv- :: -ūt twais, dwai :: pogaūt

Typ implozywny -RT jest reprezentowany przez jedną tylko grupę [-ūt] (por. lit. *gāut*). Znaczy to, że nie są zaświadczone odwrócenia takich grup nagłosowych, jak /pj-/ , /pl-/ , /pr-/ , (/tl-/) , /tr-/ , /kl-/ , /kr-/ , /kv-/<sup>25</sup>. W tym punkcie zaznacza się różnica w stosunku do języka litewskiego, który zna [-ip] *kaip*, /-rp/ *taip*, /-rt/ *skirt*, /-lk/ *pilk*, /-rk/ *taik* i [-uk] *palauk*, por. [Girdenis 1995: 111–113].

### Grupy bez odpowiednika eksplozywnego:

-mt imt, enimt (por. lit. potoczne *im̃t* < *iṃti*)  
-nt grunt, klint (por. lit. potoczne *gyṽnt* < *gyṽenti*)

### 4. Typ ST- :: -TS

sp- :: -ps sparts, spenis :: biskops, pallaips, sups/subs  
st- :: -ts stabis, stas :: dāts, deiwuts, immats, likuts  
sk- :: -ks scabs, skellānts :: delliks, lūbenix, riks

W typie -TS nie ma grup nieregularnych, a repertuar odpowiada litewskiemu, por. lit. *tr̃yps*, *p̃āts*, *t̃ōks*.

### 5. Typy nieregularne 2-członowe:

-SS -fs droeffs (obce)  
-TT -kt nackt<sup>26</sup>  
-pt trapt<sup>27</sup>

### 6. Typy nieregularne 3-członowe:

-RTT -rpt = -r + -pt etwĩrpt<sup>28</sup>  
-jkt = -j + -kt polāikt

-RST	-jst = -j + st	perrēist, waist
-RRS	-jns = -j + -ns	erains, niains
	-ūns = -ū + -ns	aulawns, dāuns, postāuns
	-iūs = -i + -ūs	deiws (por. -ūs: taws)
-TTS	-pts = -pt + s-	auklipts, enkopts
-STS	-sts = -st + s-	Christis, pomests, usts (ob. -šzs: uschts)
	-šts = -š + -ts	uschts, wuschts (ob. -sts: usts)
-TST	-tst = -t + st-	skresitzt

### 7. Typy nieregularne 4-członowe:

-RTTS	-mpts = -mp + -ts	dessempts, dessimpts, dessympts
	-nkts = -nk + -ts	penckts, piēnckts
	-rkts = -rk + -ts	erdērckts
-RSTS	-nsts = -ns + -ts	andeiānsts (?)
-RTST	-ūtst = -ūt + st-	dinkautzt, dinkauczt
-TTST	-ptst = -pt + st-	enquoptzt

### 8. Typ wyjątkowy 5-członowy:

-RTSTS -nksts = -nks + -ts nikanxts

Nieregularne zbitki implozywne ustaliły się w języku pruskim w następstwie kilku innowacji fonetycznych. Były to:

1. Synkopa samogłoski w końcowej sylabie wyrazu, por. *prawilts* :: lit. *nuviltas*; *pomests* :: lit. *pāmestas*; *piēnckts* :: lit. *peñktas*; *swints* :: *šveñtas*; *deiws* < *\*deivas* :: lit. *diēvas*; *dāuns* < *\*davuns* :: lit. *dāvēs*; *droeffs* ob. *druwis*.

2. Apokopa samogłoski -i w formach infinitiwu: *trapt*, *polāikt* (lit. *palikti*), *imt* (lit. *iṃti*), *ist* (lit. *ėsti*), *west* (lit. *vėsti*), *etwĩrpt* (lit. *veṛpti*), *pakūnst*, jak też w formach 3 os. Prs atematycznego: *ast*, *dāst*, por. stlit. *ēst(i)*, *dūost(i)*.

3. Synkopa w połączeniu z uproszczeniem zbitki spółgłoskowej: *powirps* < *\*pavirpts* < *\*pavirptas*.

4. Synkopa w połączeniu z epentezą p: *dessimpts* < *\*desimts* < *\*desimtas* (lit. *dešimtas*).

5. Epiteza zwartej t po wygłosowej grupie -ts, por. [-tst] w *skresitzt*, [-ptst] w *enquoptzt*, [-ūtst] w *dinkautzt*, *dinkauczt*.

6. Fonetyczna redukcja wygłosu albo jego zniemczenie przez odrzucenie zakończenia pruskiego: *klint*, *nackt*.

Jest oczywiste, że wyszczególnione tu procesy fonetyczne spowodowały powstanie takich grup wtórnych, które były całkowicie zgodne z modelem sylaby pruskiej, zob. wyżej -ps, -ts, -ks, -ns, -ms, -ūs itp., -lks, -rks, -rts, -uts itp.

<sup>24</sup> Na skutek epentezy t nagłosowe \*sr- zostało zidentyfikowane ze str-.

<sup>25</sup> Por. jednak dopuszczalność takich odwróceń w pozycji przed s, czyli w zbitkach typu -RT-S: -jps w *pallaips*, -rps w *powirps*, -lts w *prawilts*, -rts w *trts*, -lks w *kelks*, -uks w *laucks*.

<sup>26</sup> Por. lit. *lėkt* < *lėkti*.

<sup>27</sup> Por. lit. *līpt* < *līpti*.

<sup>28</sup> Por. lit. *veṛpt* < *veṛpti*.

### 3. Grupy wewnętrzne

Podobnie jak poprzednio najpierw idzie alfabetyczny spis wszystkich możliwości. Grupy dzieli się na dwu-, trój- i czteroczłonowe. Znaki zapytania w lewej kolumnie umieszczono dlatego, że pewni badacze są przekonani o fonetycznym charakterze pisowni pruskiej i w następstwie tego dopuszczają istnienie zbitek niejednorodnych co do cechy *dźwięczna* :: *bezdźwięczna*, por. <pd>, <tb>, <tg>. Znaki zapytania umieszczono też po niektórych hapaksach, które w dalszym ciągu nasuwają problemy interpretacyjne.

#### 3.1. Grupy dwuczłonowe

##### Lista przykładów:

- bd- epdeiwütint. Por. n.o. Abdangs/Abdenge, n.w. Abdune
- bg- n.o. Abgautis
- bl- weloblundis, woble, sirablan (ob. *-pl-*: siraplis)<sup>29</sup>. Por. n.m. Oblitten (ob. Obeliten), Woblikaym
- bn- lübnigs, stabni. Por. n.m. Drabnow (ob. Drabinow, Drabenow), Sabnow (ob. Sabenouwe)
- br- Abraham, bebrus, pobrandisan, pobrendints, seabre, wubri (?). Por. n.w. Bebra (ob. Bewer, Bebir)
- bv- grabwe (?), niebwinüts, niebwinütei
- bz- absignātai, ebsignāsnan, ebsignāuns
- db-? etbaudinnons, etbaudints
- dg-? etgimsannien
- dj-? median, medies, medione?<sup>30</sup>
- dl- addle, maddla, madlikan, madlisna, waidleimai. Por. n.o. Sadluke (ob. Sadeluke), n.m. Medlawken (ob. Medelauke)
- dm- n.m. Widminnen (ob. Wedemyn)
- dr- nidruwe, podrūktinai, udro, widre, wydra (ob. *-tr-*: wetro). Por. n.m. Bedrowe «prusch *Wydrjo*», Sudrin, Waidriten, Weddru
- gl- aglo (?), poglabū, strigli. Por. n.o. Wygloys, n.m. Naglanden, Poglawke, Siglawken
- gn- absignātai, ebsignāsnan, ebsignāuns, signāt, signat, nognan (?), wagnis (?)<sup>31</sup>. Por. n.o. Stignote
- gr- engraudisan. Por. n.m. Pogriselawken, Wissegrade
- jb- n.o. Eybuth, Eybud, Kaybut, Keybute, Preybuth
- jd- gaide, gayde, gaydis, gēide, reide, saydit (ob. say dit). Por. n.o. Eydell, Preydar, n.m. Arwayden, Auscloyde (ob. Auscloyte), Baiden, Bayduttten, Geidauw

<sup>29</sup> Wylącza się *emprīkinbilli* III 125<sub>9</sub>, które jest błędem zamiast <emprīkinbilli>.

<sup>30</sup> Raczej chodzi tu o pisownię <i + V> dla heterosylabicznego połączenia [i.j] przed samogłoską, czytaj [medi.jən], [medi.jəs], [medi.jonə]. Inaczej [Mažiulis PEŽ, III: 119 n].

<sup>31</sup> Chyba zam. \*wagins, to z \*vaginziś ← śrwn. *wagense* m., zob. [Smoczyński 2000: 131 n].

- ig- kaigij, maiggun, °maygis, snaygis<sup>32</sup>. Por. n.o. Eygayle, Eigel, n.m. Gaygelyth, Laigekaim
- jk- apkeickan, enteikūns, laikūt, neikaut, sweikis, waikai, waykello, woikello<sup>33</sup>. Por. n.o. Eykant, Eykint, Eychune, n.m. Arganeyko, Draymayken, Caykam
- jl- gaylux, °peilis, perēilai, scritayle. Por. n.m. Gaila, Gayle, Kayliwen
- jm- caymis, kaiminan, laimiskan, seimins. Por. n.o. Goymon, Kaymen, Swayman, Swaymuzil, n.m. Beymegeine, Draymayken, Kaymiten, Neymen, Paymekopo, Poymekopo, Pomeymen, Preymok, Saymino, Seymolaux, n.w. Deyme
- jn- ainat, ainonts, angstainai, angsteina. Por. n.m. Alkayne, Ankraynen, Beykaynen, Dymsteyne
- jp- enlaipints, kniēipe (?), laipinna, laipinnans, laipinnons, polaipinsnan, preipaus, preipist. Por. n.o. Nakaipe, n.m. Keypin, Laypo, Steypata
- jr- n.o. Kayroth
- js- keiserin, kraise, crays, layso (?), reisan, swaisei, waisei, wēisin. Por. n.o. Gnaysothe, Gneysutte, n.m. Bayselawke, Gaysalaukin
- jś- teisin. Wariant z <sch>: *teischin* (zob. przyp. 13)
- jt- edeitte, estureyto, geitan, geittin, geytien, idaiti, maytter, maiters. °saytan. Por. n.o. Goyit, Kaytam, Kaitithe, n.m. Preytilte. — Do tego *-jt-* obok *-jd-*: n.m. Auscloyte :: Auscloyde, Kyrnsneiten :: Kyrnsneiden
- jv- diewan, kaywe. Por. n.o. Eywan, Eywon, n.m. Preywils, Preywiski, Waywe (por. też pisownię <ywb>: Gaywbaynis, Gaywbaynes <\*Gaivain°)
- jz- maise, mayse (por. lit. *mižis*)
- kl- kraclan, panustaclan, piuclan, poklausijsnan, sticlo. Por. n.o. Naclusio, n.m. Kawiclowkin
- km- n.m. Ekmedien (ob. Eykemedien)
- kn- lagno<sup>34</sup>, sagnis<sup>35</sup>
- kr- sacramēnts, tickra, poducere. Por. n.m. Gekriten/Jekriten, Paccraw (ob. Packerew)
- ks- n.o. Wuxe
- kt- aucktimm°, deicktas, deickton, drücktai, ductki, pectis, licte, lickte, nacktien, n.m. Aucktekeymen, Lukte. Nado w pisowni <gt>: spagtan, spagtn
- lb- galbimai, galbo, gulbis, kalbian, pogalbenix. Por. n.o. Albicke, Gilbirs, n.w. Elbinc (ob. *-lv-*: Elwing), n.m. Thalbin, n.w. Walbin, Welbam
- ld- galdo, maldai, maldenikis, maldūnin, mealde, peldiuns, staldis, weldūnai, tuldisan. Por. n.o. Aldegut, Goldyn (ob. Golte), Malde, Maldite

<sup>32</sup> Nie należy tu zapis *deigen* GrG 85 'tagk, dzień', w którym sekwencja <ig> oddaje [j], por. wariant *deyen* GrA 91 ts.

<sup>33</sup> Zapewne nie należy tu wyraz zapisany u Grunaua raz jako *saika* GrG 27 «sack», raz jako *sayka* GrA 52 «saccus». Jest bowiem prawdopodobne, że zapisy te zawierają «dyftong graficzny» <ai>, <ay>, którego segment drugi jest tak zwanym «Dehnungs-*i/y*» jak np. w grafii śrdn. *raid* 'Rad', śrwn. *breyf* 'Brief' (zob. wyżej przyp. 9). Najwidoczniej chodzi tu o zapożyczenie wyrazu niem. *sack* 'worek', paralelne do lit. *zākas/zākas* 'wór', por. [Mažiulis PEŽ, IV: 38; Schmalstieg 1999: 111].

<sup>34</sup> Odpowiednik lit. *jāknosljėknos* 'wątroba'.

<sup>35</sup> Odpowiednik lit. *šaknis* 'korzeń'.



- lg-** ālgas, doalgis, °ilgimai, walge, wolgeit. Por. n.o. Stalge, Stalgune, Swalge, Swalgene, Swilge, Swilgenne, n.m. Algetos, Balga, Dalgantis, Dilgen
- lj-?** euangelion, ebangelion (o ile nie było wymawiane [°ljiŋ], por. lit. *evangēlija*)
- lk-** alkīns, alkunis, burwalkan, kelkan, malko/malcko (war. nalko, nalco), pelkis, pipelko, silkas, wabelcke, wabelko, wobelke, wilkis. Por. n.m. Dulcakayn/Dulkam (ob. Dulokaym), Kalckaymen
- lm-** ilmis, kalmus, kelmis, kelmo/chelmo, salme, salmis. Por. n.o. Scholmis, n.m. Ilme, n.m. Carwomcholmike, Kelmelawken, Salmien, Skolmen, n.w. Gilmen, Pilmen
- ln-** alne, dīlnikans, kulnis, malnijks (z \*malđn- < \*malđnik-, por. maldenikis, maltnicka), melne, pilnan, walnennien, wilna, wilnis, wobalne. Por. n.o. Tulne/Tolne, Tulnico, n.w. Alna, n.m. Angilnyken, Ilnikin
- lp-** kalpus. Por. n.o. Alpas (Alp), Talpīte, n.w. Alpus, Walpis, Vulpyng/Wlping, n.m. Kilpe, Gartilpunge, Sulpalwen, Talpotiten
- ls-** gulsennien, gulsennin, kalsīwingiskan, kelsāi, culczy (?), pobalso (?). Por. n.o. Gylse, n.m. Alsitten, Dulsyn, n.w. Stalsin. Zob. -lč-
- lt-** altars, kalte, meltan, piwamaltan, salta, solthe, woaltis, wolti, woltis. Por. n.o. Golte, Kaltinto, Pobilte, Tultungis, n.m. Daltenen, Galtengrab, Grobetiltēn, Stabynotilte, Tiltenikin, n.o. Wiltaute
- lv-** alwis, galwo, pelwo, stolwo (?). Por. n.m. Balweniken, Salwiten, n.w. Elwing (ob. -lb-: Elbinc), n.m. Walwange
- lz-** balsinis, gelso (por. lit. *balžienas* ‘poprzecznik w bronie, saniach’, *geležis* ‘żelazo’)
- mb-** drimbis, dumpbis (?), embaddusisi, glumbe, golimban, gramboale, strambo (?), wumbaris. Por. n.o. Rumbith, Sambe, Sambil (ob. -mp-: Sampils), Sambyns, Sambym (!), Sambur, Samburine, n.m. Pombitten, Rombiten, Rumbithen (ob. -mp-: Rompyten), Sambangin (ob. -nb-: n.o. Sanbange), Sambelavken, Scrumbayn, Wambyn (ob. -nb-: Wanbin)
- mk-** n.o. Namkant, Nemkynt, n.m. Awctumkape, Damkaw, Kamkal, Comkaym (ob. Comekaymen), Tomkirnikin
- ml-** imlai<sup>36</sup>. Por. n.m. Krymlawgk, Samlandia, Samlawken (ob. Samelauken, Somelauke), Semland
- mn-** emnan, emnen, enimumne (?), °gimnis, camnet (?), kermnen, pomnan (?), prēigimnis. Por. n.m. Dethenniten, Domnykaym, Domnow, Camnitich, Pomnick (ob. Pomenik), Quedemnowe, Samnicz, Umne (ob. Umpna)
- mp-** emperri, empijrint, empolijgu, clumpis, kūmpinna, peempe, senskrepūsnan. Por. n.o. Pampysche, Pampusch, Rympe, Sampalte, Sampils (ob. -mb-: Sambil), Sampol, Temperbut, Tempirbucz, Trumpis, n.m. Amponden, Ampunde, Campen, Lumpe, Nalimpen, Rompyten (ob. -mb-: Rombiten, Rumbithen), Sampeiske, Schumpiten, Trimpow, Trumpiten, Zumpiten. — W złożeniach na-

<sup>36</sup> Hapax *lemlai* III 51<sub>14</sub> ‘bricht’ ze względu na swe znaczenie nie może oczywiście zawierać partykuły permissywno-koniunktywnej *lai* (por. *schlusilai* ‘(daß) diene’). Zapewne jest to błąd druku zamiast <lemai>. Por. lit. *lemii*, *lėmi*.

- zewniczych z niemieckim segmentem łącznikowym -am- < -an-: Namoyumpeik ob. Namoyunpeik. Zob. -np-.
- ms-** °gimsennien. Por. n.o. Pymsix, n.m. Pamszen. Por. oboczność -ms- i -ns- w nazewnictwie: n.m. Grymse :: Grynse, Grynse, Camzikini :: Canczikini, Lymssen :: Lysen, Ramsen, Ramsien :: Ransys, Simser :: Sinsier, Sysarne, Tramsow :: Transow, Transsaw, Transen
- mt-** dessimton, enimton, gemton, imtā, naunagimton, tūsimtons. Por. -mt- obok -mpt- w n.m. Abetimte :: Abetympen (ob. Abetinte), Imten :: Impten, Pogymtynekaym :: Nogympten
- mz-** amsin, amsis
- nb-** enbāndan<sup>37</sup>, pagonbe?<sup>38</sup>. Por. n.m. Cucenbrast, Chucunbrasth, Namuybalt, Wanbin, n.o. Sanbange (ob. -mb-: n.m. Sambangin). Zob. -np-.
- nd-** brende-, endeirā, glandewingei, grundalis, lindan, perbānda, rundijls, sendāuns, senditans, senditmai, stūndicks, sūndan, undan, undans, undas, wunda, wundan. Por. n.o. Genderik, Glande, Candeym, Pomanda, Ponditho, Sandar, Trinde (ob. Trinte, Trintele), n.m. Pandithen
- ng-** anga, angis, dangon/dengon, dangus, dengan, engaunai, engerdaus, euangelistai, -ing- (suf.), manga, pertengginons? (zob. przyp. 49), podingai, sangor (?), sengidaut, sengijdi, songos (?). Por. n.o. Sangal, Sanglande, Tunge, Tungemers, n.m. Angerow, Apuswangen, Ardinghinen
- nk-** dīnckauia, enkaititai, enkausint. encops, luncka, perlānkei, polinka, rānkan, senrinka, scinkis, slanke, tankinne. Por. n.o. Trankot, Trankotim, n.m. Trynkoln, Trynkos
- ngkf-** jungkfrauen (obce). Trigraf <ngk> to allograf <ng> i <nk> na wyrażenie niem. [ŋ]: = [juŋfʁaʊ̯n]. Wariant spruszczoney: iumprawan
- nl-** enlaikūmai, enlaipinne, pogattewinlai. Por. n.m. Gunlawke, Cudinlawke

<sup>37</sup> W języku staropruskim opozycja spółgłosek nosowych /n/ i /m/ neutralizuje się w pozycji przed /p, b/ na korzyść wargowej /m/, por. *embaddusisi* ‘stecken’ < \*en-bad°, *emperri* ‘zusammen’ (← praep. *en* + obliquus *perri* < \**perrin*). Wobec tego pisownię <nb> zamiast <mb> w *ni enbāndan* ‘nicht vergeblich’ (← praep. *en* + obliquus *bāndan*) uznamy za ortografię etymologizującą. Podobnie trzeba ocenić <np> zamiast <mp> w przysłówku *senpackai* ‘sicher’, ponieważ chodzi o pisownię złączoną pierwotnego zwrotu przyimkowego *sen* ‘mit’ + obliquus *packai* < \**packan* ‘ze spokojem’. Etymologiczna jest też pisownia złożenia niemieckich z segmentem łącznikowym -en-, np. *Waistotenpil*. — Poza tym grupa -np- pojawia się jako produkt dysymilacji -mp-: n.m. *Kanpawyn* < *Kampain* (zob.).

<sup>38</sup> Hapaks *pagonbe* EV 795 ‘Heidenschaft’ wygląda na błąd kopisty zamiast <pagonibc> — opuszczenie litery samogłoskowej, por. *ebfignādins* III 113<sub>8</sub> ‘segnete sie’ zam. <cbfignā dīns>, *guntwei* III 87<sub>5</sub> ‘treiben’ zam. <gunitwci> (do lit. *ganyti*). [Mažiulis PEŽ, III: 208] słusznie porównuje tu litewską formację na -ybē: *pagonybe* ‘pogaństwo’. Natomiast emendacja [Trautmann 1910: 388] na <pagonabe> jest trudniejsza do przyjęcia z uwagi na brak w materiale abstraktów o sufiksie <-abe>; autor miał tu zapewne na myśli pruski odpowiednik typu litewskiego na -obė jak *senobė* (ob. *senové*) ‘Altertum, Vorzeit’.

- nm-?** enmigguns<sup>39</sup>. Por. złożone n.m. z I członem na *-en-* = [ən]: Lindenmedie, Ruppenmalcz.
- np-** W złożeniach nazewniczych z segmentem łącznikowym *-an-*: Arsenpint, Ilgenpelke, Namoyenpelk, Namoyunpelk, Sassenpile, Schipenpil, Surkenpurn, Tlokenpelk, Tlokunpelk, Waistotenpil. — Jako produkt dysymilacji grupy *-mp-* w nazwach własnych: n.m. Kanpayn :: Campayn (Campaginis), Conpow :: Compaw, Panpen :: n.o. Pampe, Ponpicken :: Pompicken, Prenpyinen :: Prympynen, Tanpitt :: Tumpiten, Trinpow :: Trimpow, Trympauwe
- nr-** ainontinreisan, senrinka, senrists
- ns-** ansis, brunse, dātūnsi, droanse (?), ensai, ensadinton, insan, maitātunsin, mensā, mensas, mensen, menso, mysnowe (?), sansy (n.m. Sanselin), stansubban, stinsennien, tenseiti, unsei, wanso. Por. n.o. Gense, Glinse, Hansuthe, Ronsyte, Sansanx, Synsuthe, Wysinse, n.m. Banse, Grynse, Lansania, Nawensede, Nawunseden, Ransys, Sansillen, Sensegarben, Unsatrapis. Zob. s.v. *-ms-* o oboczności grup *-ns-* i *-ms-*.
- nš-** menschon (ob. *-ns-*: mensas, menso). Por. ēnschan, ēnschien 'in diesem'
- nt-** antars, antis, gruntan, klantemmai, klente, kūnti, laimintiskai, mēntimai, stāninti, swintan, swintina, tēnti, testamentan, testamenten, trintawinni. Por. n.o. Cante, Cantemynne, Santhaps, Syntirme, Trinte, Trintint, n.m. Antiken, Barthentoben, Buckanthyn, Dalgantis, Ginthebrast, n.w. Drawanta
- nv-** enwackē, enwackēmai, enwaitia, enwāngiskan. Por. n.o. Sanwers, n.m. Kinwangen (ob. Kynewang), Treonkaymynweysigis
- nz-** anonsis, gunsix (?), insuwis, winsus (?)
- pj-?** wupyan. Raczej <y> = [i.j]: [vupi.jən]. Zob. *-rmj-*: wormyan.
- pk-** epkeickan (emendowane z *epkieckan*). Por. n.m. Lapkaymen, Nopkayme (ob. Nopekaym), Pupkaym/Pubkaym (ob. Pupekaymen), Rypkaymen (ob. Rippekaymen)
- pl-** raples, siraplis (ob. *-bl-*: sirablan). Por. n.m. Doplauke, Craplawken (ob. Crawplawken), Neplaucken, Scuplawke, Soplyn (ob. Sopelyn)
- pm-** epmēntimai, sepmas (ob. *-ptm-*: septmas)
- pr-** poprestemmai, passupres. Por. n.o. Tappritz, n.m. Cupritin, Mupri, Pappraten, Topprinen, Weppren
- ps-** abse, absergisan, gnapsen/gnabsem, gnabsen, kupsins (?), supsai/subsai, wobse. Por. n.o. Gripsio, Wapse, n.m. Dripsiten, Kapsow, Subsw
- pt-** dijlapagaptin, lopto, pagaptis (?). Por. n.o. Nagripte, n.m. Aukopte/Aucupte, Kopte/Kupte
- pv-** epwarisan, epwarrisan
- rb-** dirbinsnan, gerbais, gerbaisa, gerbeis, girbin, perbandan, perbilliton, tarbio, wirbe, warbo (?). Por. n.o. Garbote, Garbute, Surbvne, n.m. Auctigarbin, Barbalanke, Iragarbis, Sirbelauk
- rd-** kirdimai, perdāsai, pērdin, pogerdawie, sturdis, wirdai, wirdan (itp.). Por. n.o. Ardange, Gerdete, Gerdite, Surdote, n.m. Ardelauches, Bardyn, Gerdawen, Nerdingyn, Nyskirten, Pardagal, Scardenitin

- rg-** dergē, larga<sup>o</sup>, mērgan, mergo, mergu?, moargis, pergawis, pērgimie, sirgis, surgī, wargasmu, wargē. Por. n.o. Jurge, Nyrginde, Surgaute, Twirgil, n.w. Sirgun, n.m. Dargels, Jorgelauken, Sirgelauwk
- rj-?** pergeis = [perjejs]? Por. n.m. Iwogarge, Iwegarge «huwinboum» (por. *garian* 'Baum'), Lekegarge, Narge/Narigen, n.w. Nerge/Nergia/Neria
- rk-** arcan, birgakarkis, erkīnina, garkity, kirkis, Markon, percunis, sarke, starkis. Por. n.o. Jerkind, Surkant, n.m. Warkallen, Warkallen (ob. Warikallen)
- rl-** erlaikūt, erlāngi, perlānkei. Por. n.m. Arle, Bebirlauken, Erling, Jorlawken, Jurlawken, Perlauken, Wirlaukin, Worlyne, Worlainen, Wurlauken, Wurlitekaym
- rm-** ermit, girmis, gorme, irmo, kermenen, pirnannin, pirmas, pirmonnien, sirmes, warmes, warmun. Por. n.o. Normans, Normoke, Sormest, Surmynne, n.m. Kirmys, Santirmen, Warmediten, Warmen, Warmia, Wermite, Wurmedit
- rn-** bucarwarne, ernertimai, kirno, syrne, stūrnowiskan, warne. Por. n.o. Garnyke, Kapurne, Stimis, n.m. Bebirnik, Karnithen, Kirno, Sernaw, Synsarne, Surminos, Swormien, Warnnaw, Warnikaym
- rp-** auwirpis (?), enterpen, erpilninaiti, etwerpe, corpe/korpe, kerpetis (?), kurpe, kurpelis, kurpins, curpis, perpīdai, sarpis, turpelis<sup>40</sup>. Por. n.o. Arpalte, Tarpe, Tarpio, Warpune, n.m. Dorpine, Nosterpelk, Perpelken, Zyrpin, Sirpenicken, Skerpincz, Surpalwen, Torpine, Warpelauken, Warpunen
- rs-** dirsos, kirsā (ob. *-rš-*: kirscha, kerscha), persurgauī (?), sirsilis. Por. n.o. Marsian, Marsyan, Marsune, Namarsus, Wirsvne, Wyrssuthe, Wursit, n.m. Sursen, Surszen, Sursienis
- rš-** kerscha, kērschan, kirscha (ob. *-rs-*: kirsā), kirsche, pirschau (?). Por. n.m. Karschaw, Karschawin (ob. Carsow), Sawersch (ob. Sawersin), n.w. Warschaw (ob. Warssen, Worsen)
- rt-** ernertimai, ernertiuns, ertreppa, gerte, kārtai, ketwirta, ketwirtin, kurteiti, märtan, märtin, nertien, nierties, norte, pertengginons, pertengninton, pertenniuns, pospartint, powartisan, schpartina, spartin, spartina, surturs (?), tirtan, tirti, tirtian, tirtien, tirtin, wartinna, wertings, wartin, wartint, wertei, wertemmai. Por. n.o. Burtims, Surteyke, Tartyl, n.m. Bartha, Barthentoben, n.w. Berting, Bertung
- rv-** arwi, burwalkan, gerwe, kurwan, curwis, sirwis, stoberwis, tatarwis, werwirsis (? może zam. <weiwirsis>, zob. *-iv-*). Por. n.o. Erwicke, Garwoth, Harwicke, Kerwyke, n.w. Arwayden, Burwite, Syrwythen, Sirwis
- rz-** berse, ersinnat, ersinnimai, kerberse, persurgauī (?). Por. n.m. Berselaukin, Birselauken
- sk-** moska, pleske, paskul<sup>o</sup>/poskul<sup>o</sup>, prabuskai, prabusquan (obok *-tsk-*: prābutskan), salobisquan, *-isk-* suf. (czasem obok *-išk-*, zob. *-šsk-*)

<sup>40</sup> Dwa zapisy: *perrēist* 'przewiązać' i *serrīpimai* 'idziemy w ślad' (chyba zamiast *er-rīpimai*) sugerują jako następną w kolejności grupę *-rr-*. Grupa taka byłaby oczywiście sprzeczna z fonetycznym prawem degeminacji spółgłosek. Ponieważ w obu wypadkach <rr> rozkłada się między sąsiednie morfemy (por. prefiksy *per-* 'prze-' i *er-* (niem.)), więc trzeba <rr> ocenić jako fakt pisowniany, nie fonetyczny. Chodzi tu o pisownię etymologizującą, która markuje granicę między morfemami.

<sup>39</sup> Zamiast <emmiguns>?

- sl-** islāika, creslan, kuslaisin, pettegislo. Por. n.o. Gosleike, Cusleyke, Prislamps, n.m. Aslawken (ob. Aselawken). — *-sl-* obok *-šl-*: Aslese :: Aschlesche
- sm-** ainesmu, asmai, asmus, ismaitint, ismige, ismukint, kasmu, catechismus, kisman, maiāsmu, poklūsmai, plasmeno, schisman, schismu, stesmu, swaiāsmu, twaiāsmu, wismosing. Por. n.w. Pasmar, n.m. Posmal, Regismedien, Czesmekaym
- sn-** prosnan, pusne, wisnaytos. Wybór form z suf. *-sn-*: biāsnan, billisna, girsnan, ispresnā, crixtisna, madlisna, segisna. Por. n.o. Masnyke, n.m. Disnyten (ob. Dysenithen)
- sp-** pospartint. Por. n.m. Sowospanien, Wosispile (ob. Wosepille), Waygispelkis
- sr-** Israel, isrankeis, isrankinna
- st-** astin, āustin, estureyto, glosto, *-ist-* (suf.)<sup>41</sup>, isstallit, lastin, etnistin, postānai, postippan, riste, skistai, sosto. Por. n.m. Balkombrastum, Bolestow, Delisten, Erwisten, n.w. Esterichsvliess
- sv-** aswinan, iswinadu, niswintina, poswāigstinai. Por. n.w. Asswene, n.m. Abiswange, Asswaylen, Eswiten (ob. Esbīten), Tholesway
- šk-** W nazwach miejscowych sufiks *-isk-* przybiera postać zniemczoną *-išk-*: Ilisken :: Ilischken, Laukiskin :: Lawkischken, Meruniska (Merunsky) :: Merunischk, Pliwiskin, Plewiskin :: Plibischken, Saulisken (Sawlesken) :: Sawlischken, Wargiscus :: Wargischken. Nadto: n.m. Lappaschken :: Lapask, Paschaiten :: Poskaytten, Paschkerden :: Paskerden
- šl-** zob. *-sl-*
- šn-?** n.m. Wuschnysols (ob. Wustnysals)
- št-** uschtai, uschtan (ob. usts). Zwraca uwagę brak <sch> w pisowni nazw geograficznych.
- tk-** dutkis (?), etkūmps. Por. n.m. Cabutkaym, Kukutcaym, Mackutkaym, Metkayme, Notkaymen, Otkynn, Setkaym, Strotkaym, Wangutkaym, Witkartten
- tl-** etlāikusin. Por. n.m. Drutlauken, Gitlawken, Gratlauken, Cattlopin, Patlawken, Sardotlawken, Setlauken
- tm-** n.o. Gitmeyne, Lutmodus, Netmenis (ob. Netneme), n.m. Kathmedie (ob. Kathemedien, Kathomedien), Platmedyen (ob. Plotemedye)
- tn-** etnistin, etnīwings, etnijwings. Por. n.o. Netneme (ob. Netmene)
- tp-** n.m. Bitpelkis, Katpanye
- tr-** bratrikai, ettrai, pomatre, wetro (ob. *-dr-*: wydra). Por. n.m. Motren, Nasgitrin, Unsatrapis
- ts-** butsargs, w pisowni <ds>: kawijdsa, kawijdsei. Por. n.m. Butszeyn
- tv-** apewitwo, etwēre, etwerpe, etwinūt, kettwirts, ketwirta, schutuan, witwago, witwan. — Wybór form infinitivi na *-twei*: biātwei, datwei, turrettwey, turrītwei
- ub-** salaūban. Por. n.o. Gawbin, Gavboth, n.m. Dauben, Dowbin, Klaubotten, Lawben
- ud-** engraudis. Por. n.o. Gaude, Mawde, Mawdint, n.m. Awde, Bawde, Drawdyen, Grawden, Lauden, Nawdisken, Neauwdelawken

<sup>41</sup> Np. *eristian* EV 681 'jagnię', czyt. [crisitian].

- ug-** raugus, sendraugi<sup>42</sup>. Por. n.m. Bawgin, Dawgayn, Gaudithien, Gaugien, Zawgelawekyn
- uj-** crauyo, kraugen = [kraujən]
- uk-** iaukint, pertraūki, taukis. Por. n.m. na *-lauk-* (Alawken, Bayselawke, Gede-laukin, Campolaukis), Keukayn, Sawkarthen (ob. *-ug-*: Sawgarthen)
- ul-** caulan, kaules, Paulus (łac.). Por. n.m. Gaulen, Mattewlen, Mawlawken (ob. Mulawken), Saulisken, Saulon, Zcaulo
- um-** auminius, aumūsnan, dinkaumai, ioumas, ioumus, noumans, pansdaumannien (ob. pansdamonnien). Por. n.m. Gaumere, Gaumir
- un-** caune, naunan, pogaunai. Por. n.o. Jawne, Jaunestinte, Jawnucke, Cawnyn, n.m. Gaunitz, Gawnus, Naunesede, Raunaw, Czawnes
- up-** kauptiskan, keyptis (emendowane z *kerpetis*)<sup>42</sup>. Por. n.o. Cawpioth, n.m. Dowpin (ob. Dowbin), Caupositen, Lowpicz, Panauperin, Traupin
- ur-** tauris, skaura, skawra, skewre. Por. n.m. Dawryn, n.w. Maure
- us-** enkausint, klausiton, nouson, pausan. Por. n.o. Bawse, Bause, Gause, Gausutte, Towsotte, n.m. Auwszklosz, Gawsislawks
- ut-** keutaris, keuto, paute, pawtte, tauto. Por. n.o. Knawte, Coawte, Mantawte, Nawtinte, Trawtenne, n.m. Laute/Lawte, Mynauwten, Plauten
- zb-** n.m. Esbīten (ob. Eswiten)
- zd-** tresde (*-zd-* sandhiczne: ewentualnie w *galwasdellitks*). Por. n.o. Swisdeta, n.m. Drasda, Parasdyten, Pisdekayme, Pysdekayn, Zisdelaufen, Sisdentyke, Trusden, Wissdelen (ob. Wixdelen), Wysde
- zg-** brisgelan, musgeno. Por. n.m. Habisgar, Marsgude, Sawsgartten, Taurusgalwo
- zn-** kodesnimma, ku desnammi, schlūsnikai, schlūsnikai, schlūsnikin (ob. schlūsnikai)

### 3.2. Grupy trójczłonowe

#### Lista przykładów:

- bzd-?** wobsdus, n.m. Wobsdis<sup>43</sup>
- ftm-** Obce: höfftmannin
- gzd-** laxde, kellaxde, sixdo, swixdis (?). Por. n.o. Wixdete, n.m. Sixdelawks (ob. *-zd-*: Zisdelaufen), Sixdolauken, Syxdenigken, Syxdeniten, Sligsdelauks, Wyxdelin, Wixdelen (ob. *-zd-*: Wissdelen)
- jdr-** n.o. Eydraus, Preydrus, Smoydro, n.m. Beidriten (ob. Bayderithen), Waidriten, Woydriten
- jgr-** n.m. Swoygrube
- jkl-** wayklis
- jkt-** moicte
- jmk-** n.m. Keimkallen (ob. Kaymekallen)
- jnb-** n.o. Reynbotte, Reynboto
- jnl-** n.m. Waynlaufen

<sup>42</sup> Zapewnc z niem. *heupt*, *houbet* 'głowa', zob. [Smoczyński 2000: 129].

<sup>43</sup> Co do etymologii zob. [Smoczyński 1986b].

- ins**-? meinse (czy raczej czytać [mensə]?). Por. n.m. Schilygeyns, Kusieyans  
 -**ipr**- n.o. Swayprot  
 -**ips**- pallaipsai, pallaipsans, pallaipsitwei  
 -**ipt**- laipto  
 -**isk**- laiskas, laisken. Por. n.o. Ayskawde, Eyskant, Eyskor, Peyskote, n.m. Eyskitin, Kayskaym, Wayskenyten, Weyska, Woyscaymis  
 -**isl**- stroysles (?). Por. n.m. Ayslowiten, Baislacken (ob. Bayselawke), Kreyslauke, Prayslitten  
 -**ism**- aysmis. Por. n.m. Aysmowange  
 -**isn**- prakāisnan, waisnan. Por. n.o. Waysnar, Wayssnore, Waysnotte  
 -**isp**- waispattin. Por. n.m. Weispelke  
 -**ist**- knaistis, maysta, preistalliwingi. Por. n.o. Gaystan, Geystarre, Gaystut/Geistut, Paystikar, Preystalks, Waystauthe, Waystud. n.m. Eystynn, Paysteyn, Perkaysten, Raystopelk, Teystymme, WaysteIn, Waistotenpil  
 -**isv**- n.m. Reyswin (< niem. Reinswin)  
 -**itk**- gaytko, geitke, geytko. Por. n.m. Laytkayme, Leytkayme, Neytkaym, Seytkaym  
 -**itj**? laitian (może czytać [laitijan]?)  
 -**itl**- preitlāngus<sup>44</sup>  
 -**itm**- n.o. Eytmnt  
 -**its**-? kreitzno<sup>45</sup>. Por. n.m. Queytz ob. Quecz, Queze, Queczow  
 -**itv**- n.o. Eytwyde, n.m. Eytwynne (ob. Eytowyna, Ittewinnen)  
 -**izb**-? n.m. Baysbude  
 -**izd**- peisda  
 -**izv**- eyswo (?)  
 -**ksk**- mixkai  
 -**ksl**- n.m. Bexlembyn, Buxlawken, Plixlawken, n.w. Wixla (ob. Wisla)  
 -**ksn**- spigsnā, spigsnan. Por. n.m. Luxneyden  
 -**kst**- kexti, klexto, Chricstus, crixtia, crixtianai, crixtisna, saxtis (?), saxsto, snoxtis (?), swixtis (?), twaxtan. Por. n.o. Kixstyn, Crixtilie, Kryxtion, n.m. Krixyten, Kuxtern (ob. Kucstren), Luxten, Wuxtenig, Woxteniken (ob. Wusenick!)  
 -**lbr**- n.m. Wolbrost (brak *-lpr*-)  
 -**ldg**- zob. *-ltg*-  
 -**ldn**- wāldnikans, wāldniku. Zob. *-ltn*-  
 -**lgn**- balgnan, balgninix. Zob. *-lkn*-  
 -**lkn**- n.m. Wilknitt (ob. Wilkenyte)  
 -**lpk**- n.m. Selbkaym (ob. Selbekaym)  
 -**lps**- galbsai  
 -**lpt**- dalptan, pogalpton, poquelpton. Por. n.m. Talptiten (ob. Talpotiten)  
 -**lsk**- n.w. Walsca, Walsce (Walscha, Walsche)

<sup>44</sup> Grupę tę można uznać za autentyczną pod warunkiem założenia epentezy *t* do etymologicznej grupy *il*. Praprus. *\*preilang*<sup>o</sup> < *\*preitank*<sup>o</sup> mogło być odpowiednikiem przymiotnika lit. *prielankūs* 'przychylny'.

<sup>45</sup> <ei> może być digrafem oznaczającym samogłoskę [e]: [kretsən], por. niem. *kreczem* [Smoczyński 2000: 43].

- lst**- n.o. Melstis, Palstok  
 -**ltg**- lub *-ldg*-: n.m. Galtgarben (ob. Galtengrab)  
 -**ltm**- sealtmeno  
 -**ltn**- maltnicka/haltnyka (zam. *-ldn*-? por. maldenikis). Por. n.m. Perteltnicken (< Pertiltteniken), Saltnicken  
 -**lts**- kaltzā, kaltziwingiskai<sup>46</sup>, culczy (?)<sup>47</sup>, n.m. Pilzeten ob. Pilseten  
 -**ltv**- n.m. Goltwyten  
 -**mbf**- n.m. Kaczimblicke (ob. *-nbl*-: Kaczenblick), Samblandia (ob. Samlandia, Semland)  
 -**mbm**-? wimbmis (ob. *wyms*, *wynis*, bez etymologii)  
 -**mbr**- n.m. Dambraw (ob. Dampraw), n.w., n.m. Zambre, Sambrade/Zambrade (później Samradt, Samerat); *-mbr*- z asymilacji *-nbr*-: n.m. Balkombrastum, Chucumbrast (ob. Chucunbrasth). Zob. *-nbr*-  
 -**mdr**- n.o. Cumdris  
 -**mpk**- n.o. Skumpke  
 -**mpl**- n.m. Camplawken, n.w. Samplat, Samplot, Samplotin  
 -**mpn**- (insercja *p* do starszej grupy *-mn*-): kampnit (ob. camnet), wumpnis (?). Por. n.m. Akypne, Lauxioto dompno, Luxioto dempno; *-mpn*- obok *-mn*-: n.m. Dompnikaym :: Domnykaym, Dompnow, Dampnauw :: Domnow, Dumpnis (ob. Dummis), Corwedompne, Curwedumpne :: Cordomnaw (później Cordommen), Trumpnia (ob. Trumya), Umpna :: Umne, Wompnyen, Wordompne (później Wordommen)  
 -**mpr**- emprikistallaē, iumprawan, tēmprai, tēmpnan. Por. n.o. Tamppryn, Temprune. Por. *-mpr*- ob. *-mbr*-: n.n. Dampraw :: Dambraw  
 -**mpt**- (insercja *p* do starszej grupy *ms, ns*): n.o. Dampse (ob. Damsie), n.m. Gampsen (ob. Gamczen = [gamsən]), Lumpsin (ob. Lomse), Rampsow (ob. Ramsen, Ransys), Rampsien, Rampschyn (ob. Ramsien)  
 -**mpt**- cramptis. Por. n.o. Gedympthe, Impthin, Sorimpte (ob. Sorymte), n.m. Abetympthen<sup>48</sup>, Autolimptin, Grampten, Impten (ob. Imten), Impteniten (ob. Inptenithen), Nagimpten, Nogympten (ob. Pogymtynekaym). Zob. *-npt*-  
 -**msk**- n.o. Symschoni (łac. dat.sg.)  
 -**msl**- dumslē. Por. n.m. Glamslauken (ob. Glamselauken)  
 -**mst**- camstian, klumstinai, krumstus. Por. n.m. Krumstewayn, Crumstichin, Nodimste. Oboczność *-mst*- :: *-nst*-: n.m. Dymsteines :: Dynsteyn

<sup>46</sup> Grupa /lts/ w *kaltzā* 'brzmia', czyt. /kaltsai/, alternuje z /ls/ w oboczniku *kelsāi*. Chodzi tu o zapożyczenie czasownika śrwn. *kalzen/kelzen* 'schreiend sprechen, prahlen'. Dlatego grupę /lts/ uznajemy za obcą, zaś jej uproszczenie w /ls/ za innowację pruską. Oboczność /lts/ :: /ls/ jest widoczna również w derywatach tego czasownika, por. przysłówek *kaltziwingiskai* 'głośno' i przymiotnik *kalziwingiskan* 'lauter'.

<sup>47</sup> Z powodu dwójakiej wartości digrafu (niemieckiego) <cz>: /ts/ lub /s/, należy liczyć się z ewentualnością zmiany pruskiego *\*kulsī* 'biodro' (= lit. *kūlšē*) w /kultsi/, mianowicie przez epentezę *t* do grupy *ls*.

<sup>48</sup> W tej nazwie *p* jest spółgłoską insertowaną do starszej grupy *-mt*- < *-nt*-, por. warianty: Abetimte, Abetinte < *\*Abetin-it*(?), zob. [Smoczyński 2000: 126].

- mtv-** limtwey (ob. *-mptv-*: lembtwey)  
 -**mzd-?** gremsde  
 -**nbl-** n.m. z łącznikowym niem. *-ən-*: Kaczenblick (ob. *-mbl-*: Kaczimblicke)  
 -**nbr-** n.m. z łącznikowym niem. *-ən-*: Cucenbrast, Chucunbrasth (ob. *-mbr-*: Chucumbrast)  
 -**ndl-** auskiēndlai. Por. n.m. Brandlauken, Wandlacken (ob. Wantlavke), Wundlaken  
 -**ndr-** sendraugiwēldnikai. Por. n.o. Hindrix (obce), Nassendru (ob. Nassandir), Nyndru, Wandre, Wandrucke  
 -**ngl-** anglis. Por. n.o. Sanglande, Sanglaube, n.m. Angliten, Sanglyn (ob. Sangelin, n.o. Sangele)  
 -**ngn-?** Jest to raczej trigraf wyrażający welarną spółgłoskę nosową [ŋ] niżeli oznaczenie grupy złożonej z trzech spółgłosek: *dengniskas* = [denjisk<sup>o</sup>] (por. lit. *dañgiškās*), *dengnennis* = [denjən<sup>o</sup>] (por. lit. *danginis*), *dengnennisiss* (ob. <ng>: *dengenennis*, *dengenneniskans*), *pertengninton* = [pertejnt<sup>o</sup>]<sup>49</sup>  
 -**ngp-** Obce [ŋp]: jungprawan (obok tego spruszczone *jumprawan*)  
 -**ngr-** engraudis, wingriskan. Por. n.o. Sangro, n.m. Galtengrab, Wingrawtinen, n.w. Wangrapia, Wangrappe (Angrapia, Angrabe)  
 -**ngv-** <sup>o</sup>lāngwingiskai. Por. n.o. Langwenne  
 -**nkl-** cunclis, sasintinklo  
 -**nkn-?** n.o. Hinknos, Hincnote  
 -**nkr-** n.m. Ankren (ob. Ankeren)  
 -**nks-** n.o. Posinxe, Sinxe, n.m. Wynxene  
 -**nkt-** anctan, ancte, lanctis, pertrincktan, piencktā. Por. n.m. Zcingten  
 -**npt-** glenptene (z *\*glemptin<sup>o</sup>* < *\*glemb-tin-*, do lit. *glembiū*), n.m. Inptenithen (ob. *-mpt-*: Impteniten)  
 -**nsl-** saninsle (?). Por. n.m. Genszlacken, Sanslen (z synkopy Sansillen albo Sanselin)  
 -**nsn-** auskandinsnan, dirbinsnan, ensadinsnan, kanxtinsna, mukīnsnan, palasinsnon, perwaidinsnans, polaipīnsnan, polasīnsnan, potaukinsnas, trinsnan, sklaitinsnan. Por. n.m. Ansnit  
 -**nst-** granstis, greanste, perstlanstan (?), spanstan. Por. n.o. Kynste, Kinstut, Tulekinste, n.m. Dynsteyn, Pangansten, Poganste, Sanstangen, Sarguckinstaps, Sarguttinstabs<sup>50</sup> (por. też nazwy niem. Wohenstorph, Wunstorf). Zob. *-mst-*, *-nzd-*.  
 -**nsv-** n.m. Transwiewten (nadto: niem. Reinswin)

<sup>49</sup> Trigrafiowi <ngn> w *stesmu pertengninton* Hl 93, dat.pl. 'den gesandten' odpowiada allograf <ngg> w wariancie *pertengimons* Hl 115, 'gesandt' i to upewnia nas co do oceny <ngn> jako [ŋ]. Por. stlit. *inggitikies* Mż 24<sub>14</sub> [Urbas 1996: 149]. Temat [pertejnt<sup>o</sup>] zawiera prawdopodobnie wtórne *r-t* zam. *r-d* i należy etymologicznie do stlit. (*per*)*dangintis* 'przenosić się z miejsca na miejsce'.

<sup>50</sup> Oboczność *Sarguckin<sup>o</sup>* :: *Sarguttin<sup>o</sup>* (derywat od n.o. *\*Sargutte*) jest przejawem tendencji do neutralizowania opozycji spółgłosek /k/ i /t/ w otoczeniu samogłosek przednich. Por. też n.m. *Medeniken* obok *Medenithen*. Co do przykładów apelatywnych tego zjawiska w materiale pruskim zob. [Smoczyński 2000: 147].

- ntk-** n.o. Syntke, n.m. Pyantko (obce?)  
 -**ntl-** ebsentliuns :: *\*zantl-* w n.m. Kogonassantle. Por. n.m. Brantlawcken (Prantlawke), Pentlawken, Pentlack, Santlauks, Suntlaucken, Thuntlawken, Wantlavke (ob. Wandlacken)  
 -**ntn-** pentnix  
 -**ntp-** gruntpowirpingin, gruntpowirpun  
 -**ntr-** antrā. Por. n.o. Santrug, Santrux  
 -**nts-** ainontsi, gāntsan, gantzei  
 -**ntv-** gallintwei, gallintwey, menentwey, smunintwey, somonentwey, sündintwei, swyntintwey  
 -**nzd-** pansdau, pansdaumannien, pansdamonnien. Por. n.o. Gansde, Pansde, Pansdicke, Pansdauprot, Panczdaprod, Ponsdouplete. Oboczność *-nzd-* :: *-nst-*: n.m. Pangansden :: Pangansten.  
 -**psl-** n.m. Lapslow (ob. Lapselaw)  
 -**psm-** subbsmu, supsmu. Por. n.m. Absmedie  
 -**psn-** salūbsna  
 -**pst-** abstocle (?), klupstis, streipstan. Por. n.o. Snypste, n.m. Abstyken (ob. Abestichen)  
 -**psv-** n.m. Abswangen (ob. Abiswange, Apuswangen)  
 -**ptm-** septmai, septmas (ob. *-pm-*: sepmas)  
 -**rbr-** n.m. Singurbrast  
 -**rdm-** n.m. Ardana  
 -**rdn-** n.m. Ardnipa  
 -**rdv-** perdwibugūsnan  
 -**rgl-** arglobis (?), sperglawanag, spurglis. Por. n.o. Nirglannde, Nirglinde, n.m. Gorglauken (ob. Jorgelauke), Marglawken (< *\*Marklauk-*, por. Markelauke)  
 -**rgv-** mergwan (?), ob. mērgan (acc. sg.)  
 -**rkl-** gurcle, mercline, perklantīsnan (spertlan, o ile zam. < *sperclan*>). Por. n.m. Stärklauken, Wirklinken  
 -**rks-** powargsennien. Por. n.o. Wurxeyn, n.m. Kurksadel, Kurgsadil (ob. Curchussadil, Korkosadil), Warxeden, n.w. Markxebe  
 -**rkt-** n.m. Twarkte  
 -**rmid-** n.m. Wurmdit, Wormditen (ob. Wurmedit, Wormedith)  
 -**rmj-?** wormyan. Raczej <y> = [i.j]: [vornijən]. Zob. *-pj-*.  
 -**rmn-** brendekernnen, kērnnen, kernnen  
 -**rnl-** n.m. Warnlin (ob. Warnelin)  
 -**rpl-** n.o. Swirple, Swirplis, n.m. Warplauken (ob. Warpelauken)  
 -**rps-** attwerpsannan, etwerpsannan, etwerpsennian, etwerpsennien, etwerpsennin. Por. n.o. Garpse, n.m. Garpseden, Garbseden  
 -**rpt-** etwierpton, skerptus (?)  
 -**rsk-** n.o. Tirsko, Warske, Wirskin, Worskin, n.m. Kewterskaym, Parskayme, Porskayn (ob. Porskaym), Tirskaymen, Warskaythe, Warschayten  
 -**ršk-** n.m. Porschkeim (ob. Porskayn, Parskayme, Porskaym)  
 -**rsl-** kersle. Por. n.m. Karslauken, Mirslokirsiten  
 -**ršl-** perschlūsimaī, perschlūsinsnan, perschlūsins



- rsn**- girsnan, kirsnan, pogirsnan (ob. *-ršn-*: pogirschnan). Por. n.w. Kirsnappe, Kirsno, n.o. Wyrssnecke, Wirssneick, n.m. Werszniken. Zob. *-rzn-*
- ršn**- pogirschnan (ob. *-rsn-*: pogirsnan)
- rsm**- antersmu
- rst**- perstallē, perstalle, perstallisnas, pēstan, pēstans, °pīrstans, pirsten, werstian, wirstai. Por. n.o. Girstawte, Kerstaut, Sirstote, Surstoy, Warstune, n.m. Gierstenis, Powirstiten
- rsv**- n.o. Perswaide, Persways, n.m. Parswyt, Perswangen
- ršv**- erschwāigstinai, erschwāistiuns
- rtk**- n.m. Bartkaym, Quartka (ob. Quarka)
- rtl**- spertlan? (może być błędem zam. <spertlan>). Por. n.m. Gertlauken, Hurltauken, Pasortlawken, Schertlaukis, Schertlovkis
- rtm**- n.m. Girtmytin, Körtmedigen, Curtmedien
- rtr**- ertreppa, pertraūki, pertrincktan
- rts**- karczemo, Marci (o ile = [martsij]). Por. n.m. Dereze, Garczyn, Irczekappinis, Carczemidicz, Koczlauken, Kotzlauken
- rtv**- girtwei. Por. n.o. Wartwille, n.m. Gertwaygen
- rzd**- pirsdan, pirsdau. Por. n.o. Barsde (: lit. *barzdà*)
- rzg**- n.m. Marsgude
- ržd**- pirschdau (por. *-rzd-*, *-rš-*)
- rzn**- n.m. Bersnickenn (por. Berselaukin ob. Birselaufen), por. lit. *Bėržininkai*
- skl**- isklaitints, caltestisklokis (?)
- skr**- n.m. Maskrytyn, Sawliskresil<sup>51</sup>
- skv**- isquendau (por. *-stv-*: istswendan)
- spr**- isspressennen, issprettingi (*is-spr* jest pisownią etymologiczną). Por. n.o. Hisprot
- stk**- n.o. Mystcke
- stn**- pastnygo, pastnigo (ob. pastenick), wistna (?). Por. n.m. Wustnysals
- str**- mistran, schostro, swestro
- stv**- istswendan (por. *-skv-*: isquendau), istwe, pistwis (?), westwey. Por. n.m. Plostwayn (ob. Plostbayn i Plastewayn)

<sup>51</sup> Jest to złożenie z przymiotnikowym członem I na *-isk-*: *Sawlisk*<sup>o</sup> (por. n.m. 1363 *Saulisken* [Gerullis 1922: 153]) i członem II °*resil*, który pojawia się samodzielnie jako n.m. 1341 *Resil*, 1326 *Resel*, 1254 *Resl* [Gerullis 1922: 141]. Chodzi o miejsce zwane *Resil*, które zostało określone przydawką posesjonatywną *Sawlisk* od nazwy osobowej *Saul*-. Por. *Bawiske* od n.o. *BawselBause*, n.m. *Meruniska*, *Merunischk* od n.o. *Merune*, *Meruwne*, *Merun*, n.m. *Tungemyriskin* od n.o. *Tungemyr*, *Tungemers*. Nowożytna wersja nazwy *Sawliskresil* ma postać niemieckojęzyczną *Sonnenstuhl* (niby 'krzesło słoneczne'). Ta postać niemiecka tłumaczy się moim zdaniem fałszywą resegmentacją formy pruskiej *Sawlisk-resil* na †*Sawlis-kresil*, spowodowaną ludowo-etymologicznym przekładem nazwy oryginalnej, por. prus. *saule* 'Sonne', *crestlan* 'Stuhl'. [Mažiulis 1995] oraz [Mažiulis PEŽ, IV: 77] akceptuje tę «Volksetymologie» i nie bacząc na toponim sambijski *Saulisken* (warianty: 1426 *Sawlischken*, *Sawlesken*), utworzony od imienia typu lit. *Saulius*, odtwarza prafornę pruską jako \**Saulēs-krēslan*.

- tsk**- atskisenna, attskiwuns, etskīmai, etskīsai, etskysnan, prābutskai (ob. *-sk-*: prabuskai, prabusquan)
- tsm**- kawīdsmu/kawījdsmu, stawīdsmu/stawījdsmu
- ubr**- kaūbri (?)
- udv**- n.o. Glaudwyn
- ugr**- n.o. Augraute, Augrot
- ukl**- auklextes. Por. n.m. Auclappen
- ukn**- n.m. Lauknithe (ob. Lawkeniten)
- ukr**- n.m. Naukritten
- uks**- n.m. Lauxen, Lauchsen (ob. *-usk-*: Lawsken)
- ukt**- n.m. Aucti, Auctigarbin (ob. *-ur-*: Authgarben), Auctigirgen, Auctowangos, Awctumkape
- upl**- n.m. Crawplawken
- ups**- n.m. Dowpsadel, Doupsadil
- usg**-? n.m. Sawsgartten (ob. Sauszekarthen)
- usk**- n.o. Lawske, Lausee, Pleusko, n.m. Lawsken (ob. *-Oks-*: Lauxen), Drowsken (ob. Trauziken)
- usl**- n.o. Moislot, Moysslod, n.m. Dewslauks, Krauslaken (ob. Krawsselawken), Locauslauken, Loukauslauken (ob. Laukeslauken, Lawkaslauken)
- usn**- dinckausnan, grikausna, kariausnan, labbapodingausnan, preddikausnan, reckenausnan, rickaūsnan, weydikausnan, widekausnan
- ust**- lāustingins, pausto°. Por. n.o. Austigawdis, Kawsteyotthe, Lawstico, Lawstioth, Pavstil, n.m. Pewstern
- ušp**- auschpandimai
- utn**- auschautnikamans
- utr**- autre. Por. n.m. Kautrampkoros, Kewtrin (ob. Kewterin), Wttrowin/Wutrowin
- uzd**- n.o. Drawsde (ob. Drawusde), Trausde (ob. Drauste), n.m. Plausden, Plausdinis, Drausdithen, Trausdytin

### 3.3. Grupy czteroczłonowe

#### Lista przykładów:

- gzdr**- sixdre. Por. n.w. Syxdrin (ob. Seghesdrien), Syxdro
- ikst**- swāigstan, poswāigstinai, erschwāigstinai
- ipst**- streipstan
- istk**- n.m. Paystkaym
- istl**- n.m. Paistlauken
- istv**- n.m. Paistwaistiken
- kstn**- crixtnix
- kstr**- n.m. Kucstren (ob. Kuxstern)
- lksv**- n.m. Alxwangen (od n.o. Alxe)
- lkst**- n.m. Colkstiten (niem. Kalcstein)
- mpsk**- n.m. Trumpske, Trumpszken, Trumpsky
- mpst**- trumpstis. Por. n.m. Kampstigalbe (ob. *-mst-*: Komstegallen, Camstigall), Trumbstab

- mptv-** lembtwey (ob. *-mtv-*: limtwey)  
 -**nksl-** singslo (?)  
 -**nksn-** plinxne  
 -**nksr-** n.m. Banxsrowe  
 -**nkst-** k̄anxtai. kanxtinsna, kanxtisku, lanxto, spelanxtis, n.m. Krunksen. Nadto w pisowni <ngst>: angstainai, angsteina. Por. n.o. Twanxthe. n.m. Wangste (ob. Wangiste)  
 -**nktv-** rancktwey, ranktwey  
 -**nskr-** senskrepūsnan  
 -**nskv-** anterpinsquan  
 -**nstr-** instran  
 -**nstv-** tiēnstwei  
 -**ntsm-** ainontsmu  
 -**rkst-** sarxtes. Por. n.m. Argsteicke, Argstick, Karksterkin, Smyrxteyn, Swirxstein  
 -**rpsn-** etwerpsna, etwerpsnā (ob. etwerpsennian)  
 -**rstl-** dirstlan, perstlanstan (?). Por. n.m. Parstlawke  
 -**rstm-** wirstmai  
 -**rtsm-** ketwirtsmu, tirtsmu  
 -**ugzd-?** plauxdine<sup>52</sup>  
 -**uksn-** lauxnos. Por. n.m. Polauxen (z synkopy \*Polauxinen, por. Polauxine)  
 -**ukst-** n.o. Laucstiete, n.m. Louchstete. Z insereją *k* przed grupę *st*: n.w. Cauxter, Kauxtere (ob. Causter), Kaucstim (ob. Caustir), n.m. Passiauxten. Zob. *-ugzd-*.  
 -**uskl-** n.m. Auscloyde, Auscloyte, Auwszkłosz  
 -**ustl-?** n.m. Locaustlauken (ob. Loukauslauken, Laukeslauken, Lawkaslauken)  
 -**ustn-** n.m. Austnithe  
 -**ustr-** paustre (o ile nie jest błędem zam. <paustie> = [pausti]). Por. n.w. Caustre (ob. Caustere, Caustir), n.m. Caustriten

### 3.4. Grupy pięcioczłonowe

Lista przykładów:

- ngzdr-** anxdris  
 -**nkstr-** n.m. Mynxtrym  
 -**ntstn-?** n.m. Krunstny (por. Krunksen)

<sup>52</sup> Z uwagi na *k* w lit. *plū(n)ksna* 'pióro', *pláukas* 'włos', łot. *plūkt* 'zupfen, raufen, reißen, pflücken' warto rozważyć, czy postać pruska *plauxdine* 'piczyna' = [plaugzdin<sup>o</sup>] nie powstała na skutek perseweracyjnej sonoryzacji *-(u)kst-* > *-(u)gzd-* z *\*[plaukstin<sup>o</sup>]*, to z kolei z *\*[plu(:)kstin-]* przez dyftongizację. Przykładem perseweracyjnego udźwięcznienia obstruentu w sąsiedztwie sonorantu jest np. prus. *pirsdan* 'vor' < *\*per stan*. Z litewskiego por. odpowiednio *spūrzdū* < *\*spūrstu* < *\*spurd-stu*, *grimzdau* ← *\*grimst-u* (do praes. *grimstū* analizowanego jako *grimst-ū*). Zob. [Smoczyński 2000: 225].

### Klasyfikacja grup wewnętrznych

Grupy wewnętrzne są połączeniami elementów/grup nagłosowych i wygłosowych.

Maksymalne grupy wewnętrzne liczą cztery człony. Grupy pięcioczłonowe *-nkstr-* i *-ngzdr-* są innowacyjne i tłumaczą się insercją spółgłoski welarnej przed zbitki *str* i *zdr*. Objasnienie grup wyjściowych: *\*-nstr-* = *n* + *str-*, *\*-nzdr-* = *n* + *\*zdr-*. *-nzdr-* to dźwięczna replika grupy *-nstr-* (*instran*) = *n* + *str-*.

Część implozywna grupy wewnętrznej składa się z jednej (por. *-n* + *-str-* w *in-stran*) lub z dwu spółgłosek (por. *-rtsm-* = *-rt* + *sm-* w *tirtsmu*). Czasem jest ona reprezentowana przez *-ø*; dzieje się tak wówczas, gdy grupa wewnętrzna w całości daje się zakwalifikować jako eksplozywna, por. *-ø* + *str-* w *mi-stran*, *-ø* + *skl-* w *i-sklai-tints*.

### Grupy dwuczłonowe

Granica sylabiczna przechodzi między członami zbitki (implozywny :: eksplozywny). Obstruenty podlegają asymilacji antycypacyjnej co do cechy dźwięczna/bezdźwięczna. Stąd np. prefiks *ap-* jest realizowany raz z dźwięcznym /b/, raz z bezdźwięcznym /p/, por. *-bd-* w *epdeiwūtint*, *-bz-* w *absignātai*, ale *-ps-* w *absergisnan*.

### Grupy trójczłonowe

#### Typ *-RST-*

-mst-	klumstinai	= -m + st- albo -ms + t-
-mzd-	gremdsde	= -m + *zd-
-nst-	spanstan	= -n + st- albo -ns + t-
-nzd-	pansdau	= -n + *zd-
-rst-	pirsten	= -r + st- albo -rs + t-
-rzd-	pirsdau	= -r + *zd-
-jsp-	waispattin	= -j + sp- albo -js- + p-
-jst-	knaistis	= -j + st- albo -js- + t-
-jzd-	peisda	= -j + *zd-
-ust-	pausto <sup>o</sup>	= -u + st- albo -us- + t-
-ušp-	auschpandimai	= -u + šp- (por. schpartina)

#### Typ *-RSR-*

-msl-	dumsle	= -m + sl- (por. slayx)
-nsl-	saninsle (?)	= -n + sl-

-rsl-	kersle	= -r + sl-
-ršl-	perschlūsimai	= -r + šl- (por. schlūsitwei)
-rsn-	girsnan	= -r + sn- (por. snaygis)
-ršn-	pogiršchnan	= -r + šn- (por. schneko)

-jisl-	stroysles	= -j + sl-
-jism-	aysmis	= -j + sm-
-jism-	waisnan	= -j + sn-
-jzsv-	eyswo	= -j + *zv- (por. sv-: swais)
-jism-	grikausna	= -j + sm-

## Typ -RTS-

-nkf-	jungkfrauen	(obce)
-nts-	ainontsi	= -nt + s- albo -n + ts-
-rks-	powargsennien	= -r + -ks (por. delliks)
-rps-	etwepennian	= -r + -ps (por. sups)
-lps-	galbsai	= -l + -ps
-lts-	kaltzā, culczy	= -l + -ts (por. likuts)
-jps-	pallaipsai	= -j + -ps

## Typ -RTR-

-mpn-	kamprnit	= *-mp + n- (niemotywowane p)
-mpr-	iumprawan	= *-mp + r- albo -m + pr-
-mtv-	limtwey	= -m + tv-

-ntr-	antrā	= -n + tr-
-ndr-	sendraugi <sup>o</sup>	= -n + dr-
-ntl-	ebsentliuns	= -n + *tl- albo -nt + l-
-ndf-	auskiēndlai	= -n + *dl-
-ntv-	gallintwei	= -n + tv-
-ngr-	wingriskan	= -n + gr-
-ngl-	angle (?)	= -n + gl-
-ngv-	<sup>o</sup> lāngwingiskai	= -n + *gv-

-rtr-	pertraūki	= -r + tr-
-rdv-	perdwibugūsnan	= -r + dv-
-rkl-	gurcle	= -r + kl-
-rgl-	sperglawanag	= -r + gl-
-rgv-	mergwan (?)	= -r + *gv-

-ltm-	sealtmeno	= *-lt + m- (albo: niemotywowane t)
-ltm-	maltnicka (?)	= *-lt + n- (albo: niemotywowane t)
-ldn-	wāldnikans	= -ld + n
-lgn-	balgnan	= -l + gn- (por. gnode)

-jkl-	wayklis	= -j + kl-
-ūkl-	auklextes	= -ū + kl-
-ūtr-	autre	= -ū + tr-

## Typ -RTT-

-mpt-	cramptis	= *-mp + t- (niemotywowane p)
-ntp-	gruntpowirpun	= -nt + p- (por. wartint)
-nkt-	piencā	= -n + -kt (por. polāikt)
-nkp-	jungprawan (obce)	
-rpt-	etwierpton	= -r + -pt (por. trapt)
-lpt-	pogalbton	= -l + -pt
-jkt-	moicte	= -j + -kt (por. nackt)
-jpt-	laipto	= -j + -pt
-jtk-	geitke	= -jt + k- (por. sclait)

## Typ -RRR-

Wobec wątpliwości, jaką nasuwa pisownia <-rmy-> w *wormyan* (zob. wyżej), brak jest dowodu na istnienie typu -RRR-.

## Typ -RRS-

-jins-	meinse (?)	= -j + -ns (por. awins)
--------	------------	-------------------------

## Typ -TSR-

-psm-	supsmu	= -p + sm-
-psn-	salūbsna	= -p + sn-
-tsm-	stawidsmu	= -t + sm-
-ksn-	spigsnan	= -k + sn-

## Typ -TST-

-pst-	klupstis	= -p + st- albo -ps + t-
-kst-	Chricstus	= -k + st- albo -ks + t-
-gzd-	laxde	= -g + *-zd
-ksk-	mixkai	= -k + sk- albo -ks + k-

## Typ -TTR-

-ptm-	septmas	= -pt + m- (ob. -pm-: sepmas)
-------	---------	-------------------------------

## Typ -STR-

-spr-	issprettingi	= -s + pr-
-str-	mistran	= -s + tr- (por. str-)
-stn-	postnygo	= -st + n-
-skl-	isklaitints	= -s + kl- (por. skl-)
-skv-	isquendau	= -s + kv-

## Grupy czteroczłonowe

## Typ -RTST-

-mpst-	trumpstis	= -mps + t- (por. etkumps)
-nkst-	kānxtai	= -nks + t- (por. labbings)
-rkst-	sarxtes	= -rks + t- (por. wargs)
-jkst-	swāigstan	= -jks + t- (por. slayx)
-ūkst-	plauxdine	= -ūks + t- (por. laucks)

## Typ -RTSR-

-nksl-	singslo	= -nks + l- (por. klausiwinks)
-nksn-	plinxne	= -nks + n-
-ntsm-	ainontsmu	= -nts + m- albo -nt + sm-
-rtsm-	tīrtsmu	= -rts + m- (por. tirts)
-rpsn-	etwerpsna	= -rps + n- (por. powīrps)
-ūksn-	lauxnos	= -ūks + n- (por. laucks)

## Typ -RTTR-

-mptv-	lemtwey	= *-mp + tv-
-nkvt-	rancktwey	= *-nk + tv-

## Typ -RSTR-

-nskr-	senskrempūsnan	= -ns + kr-
-nskv-	anterpinsquan	= -ns + kv-
-nstr-	instran	= -ns + tr-
-ūstr-	paustre	= -ū + str- albo -ūs + tr-
-nstv-	tīēnstwei	= -ns + tv-
-rstl-	dīrstlan	= -r + sl- ( <i>t</i> niemotywowane)
-rstm-	wīrstmai	= -r + sm- ( <i>t</i> niemotywowane)

1. W hapaksie *dīrstlan* 'stattlich' pierwiastkiem jest *dīrs-*, natomiast sufiks pozostaje niejasny.

2. *wīrstmai* 'wir werden' jest innowacją morfologiczną: do formy 3 os. *wīrst*, powstałej przez apokopowanie starszej *\*wīrsta*, dotworzono 1 pl. *wīrst* + *-mai*.

## Typ -TSTR-

-kstm-	crixtnix	= -k + sn- albo -ks + n- ( <i>t</i> niemotywowane)
-gzdr-	sixdre	= -g + *zdr- (por. <i>strigli</i> )

Zbitka *kstm* powstała dopiero na skutek synkopowania formy *\*/krikstini:k-/*. Wobec braku nagłosu *\*zdr-* powstaje pytanie, czy */zigzdr-/* nie polega na sonoryzacji starszego *\*/zikstr-/*.

## ROZWIĄZANIE SKRÓTÓW

itp.	i tym podobne	pol.	polski
lit.	litewski	por.	porównaj
łac.	łaciński	przyp.	przypis
łot.	łotewski	sg.	singularis
niem.	niemiecki	suf.	sufiks
n.m.	nazwa miejscowa	śrdn.	średniodolnoniemiecki
n.o.	nazwa osobowa	śrwn.	średniowysokoniemiecki
n.w.	nazwa wodna	ts.	to samo
ob.	obok	zam.	zamiast
os.	osoba	zob.	zobacz
pl.	pluralis		

## BIBLIOGRAFIA

- Endzelins 1943 — *J. Endzelins*. Senprūšu valoda. Ievads, gramatika un leksika. Rīgā, 1943.
- Gerullis 1922 — *G. Gerullis*. Die altpreußischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922.
- Girdenis 1981 — *A. Girdenis*. Fonologija. Vilnius, 1981.
- Girdenis 1995 — *A. Girdenis*. Teoriniai fonologijos pagrindai. Vilnius, 1995.
- Kudzinowski 1977 — *Cz. Kudzinowski*. Indeks-słownik do «Daukšos Postilė». Tomy I–II. Poznań, 1977. (Seria Filologia bałtycka, 2.)
- Kuryłowicz 1948 — *J. Kuryłowicz*. Contribution à la théorie de la syllabe // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. 8. 1948.
- Kuryłowicz 1952 — *J. Kuryłowicz*. Uwagi o polskich grupach spółgłoskowych // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. 11. 1952.
- Lasch 1914 — *A. Lasch*. Mittelniederdeutsche Grammatik. Halle a.S., 1914.
- Mažiulis 1981 — *V. Mažiulis*. Prūsų kalbos paminklai. T. II. Vilnius, 1981.
- Mažiulis 1995 — *V. Mažiulis*. Dėl pr. «saulės šventė» // Baltistica. 30. 1995. 1.
- Mažiulis PEŽ — Prūsų kalbos etimologijos žodynas. T. I–IV. Vilnius, 1988–1997.
- Nesselmann 1873 — *G. F. Nesselmann*. Thesaurus linguae Prussicae. Der preussische Vocabellvorrath, soweit derselbe bis jetzt ermittelt worden ist, nebst Zugabe einer Sammlung urkundlich beglaubigter Localnamen. Berlin, 1873.
- Paul, Mitzka 1963 — *H. Paul*. Mittelhochdeutsche Grammatik... / Neunzehnte Auflage bearbeitet von W. Mitzka. Tübingen, 1963.
- Schmalstieg 1974 — *W. R. Schmalstieg*. An Old Prussian grammar. The phonology and morphology of the three catechisms. University Park; London, 1974.
- Schmalstieg 1999 — *W. R. Schmalstieg*. Rec.: *V. Mažiulis*. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. T. IV: R–Z. Vilnius, 1997 // Baltistica. 34. 1999. 1.
- Smoczyński 1986a — *W. Smoczyński*. Grupy spółgłoskowe w litewskiej gwarze puńskiej // Acta Universitatis Lodzensis. Folia Linguistica. 12. 1986. (Księga ku czci prof. Karola Dejny.)
- Smoczyński 1986b — *W. Smoczyński*. Le vieux-prussien *wobsd'us* EV 670: Lecture et étymologie // Lingua Posnaniensis. 29. 1986.
- Smoczyński 1991 — *W. Smoczyński*. Etymologie staropruskie. I // Acta Baltico-Slavica. 20. 1991.

- Smoczyński 1999 — W. Smoczyński. Litauisch *lokys*, lateinisch *lacer* und griechisch *ἀπέληξα* // E. Eggers, J. Becker, J. Udolph, D. Weber (Hrsg.). *Florilegium Linguisticum: Festschrift für Wolfgang P. Schmid zum 70. Geburtstag*. Frankfurt a. M. usw., 1999.
- Smoczyński 2000 — W. Smoczyński. *Untersuchungen zum deutschen Lehngut im Altpreußischen*. Kraków, 2000. (Zakład Językoznawstwa Indoeuropejskiego UJ. *Analecta Indoeuropaea Cracoviensia*. III.)
- Tankevičiūtė, Strimaitienė 1990 — M. Tankevičiūtė, M. Strimaitienė. Initial consonant clusters in Prussian // *Baltistica*. 26. 1990. 2.
- Trautmann 1910 — R. Trautmann. *Die altpreußischen Sprachdenkmäler*. Göttingen, 1910.
- Trautmann 1925 — R. Trautmann. *Die altpreußischen Personennamen*. Göttingen, 1925.
- Urbas 1996 — D. Urbas. *Martyno Mažvydo raštų žodynas*. Vilnius, 1996.

В. А. ДЫБО

## О системе акцентных парадигм в прусском языке

В третьем прусском катехизисе (*Enchiridion*) имеются, по-видимому, две графические особенности, по которым можно установить место ударения в словоформе. Это, во-первых, значок  $\sim$  (в различных транслитерациях изображается просто как  $\sim$ ), который ставится над долгим ударным слогом<sup>1</sup>. То, что этот значок обозначал ударение, достаточно убедительно показал Ф. Ф. Фортунатов в работе «Объ ударении и долготѣ въ балтійскихъ языкахъ. I. Ударение въ прусскомъ языкѣ» // *Русский филологический Вѣстникъ*. Т. XXXIII, 1895 (Имеется перевод на немецкий язык [1]). Он же показал, что в слогах с балтийскими дифтонгами и с вторичными прусскими дифтонгами, возникшими в результате дифтонгизации балтийских долгих монофтонгов, посредством постановки этого значка над первой или второй частью дифтонга в прусском языке обозначались просодические явления, соответствующие литовскому акуту (1) и циркумфлексу (2): (1) прус. *pogaūt* = лит. *pagáuti*; прус. *pertraūki* = лит. *uztraukė*; прус. *kaūlins* = лит. *káulas*; прус. *boūt* = лит. *būti*; прус. acc.sg. *soūnon* = лит. acc.sg. *sūni*; прус. gen.pl. *ioūsan* = лит. *jūsi*; прус. dat.pl. m. *steīmans* = лит. dat.pl. m. *tiems*; прус. *aīnan* = лит. *viėna*; прус. *geīwan* = лит. *gýva*; (2) прус. acc.pl. *āusins* = лит. acc.pl. *ausis* (ср. acc.sg. *aūsi*); прус. *āuſtin* (ср. др.-инд. *ōṣṭhah*); прус. *ēit* = лит. *eīti*; прус. *fwāigſtan* = лит. *žvaigždė*; прус. *lāiku* = лит. *laiko*; прус. *lāiskas* = лит. *laiškas*. Аналогичное использование постановки этого значка Ф. Ф. Фортунатов усматривал и в случаях дифтонгических сочетаний с плавными и носовыми при том, что над плавными и носовыми этот значок не ставился. Действительно, в подавляющем большинстве случаев, когда над дифтонгическим сочетанием стоит значок  $\sim$  (естественно, что во всех этих случаях значок  $\sim$  стоит над первой частью этого сочетания), мы имеем дело с циркумфлектированными дифтонгическими сочетаниями. Однако есть случаи, когда такой постановке значка  $\sim$  соответствует литовское акцентированное дифтонгическое сочетание. Это, в первую очередь, адъективный суффикс *-ing-*: *Wertīngs*, *niwertīngs*, *wertīngiskan* (ср. лит. *vertingas* 'ценный'), *teifīngi*, *niteifīngiskan* (ср. лит. *teisingas* 'справедливый, правдивый; правильный, верный'). Обращает на себя внимание, что это балтийский рецессивный суффикс, при котором в производных сохранялся подвижный акцентный тип, а при йотации могла происходить метатония. Другие случаи менее ясные, они будут специально отмечаться ниже в материале.

<sup>1</sup> Иногда этим же значком в тексте *Enchiridion*'а изображается назальный согласный, но таких случаев немного, и проблема истолкования почти никогда не возникает. Исключительные случаи будут обсуждены при анализе примеров.



Второй графический прием, который, по-видимому, имеет отношение к месту ударения, — это удвоение согласных. Обычно принимается, что краткие ударные гласные в тексте *Enchiridion*'а обозначались постановкой после них удвоенного согласного. Это убеждение восходит, вероятно, к Н. Ван-Вейку, который, опираясь на такое написание согласных, разделил (с его точки зрения) парокситонированные и пропарокситонированные формы praes. 1.pl. глаголов и такие же формы dat.pl. имен [2: 135–139]. В дальнейшем этим же приемом пользуется Хр. Станг для разделения прусских глаголов на *-in-*, которые, как оказывается в результате его анализа, проводят акцентуационное деление между деноминативами и каузативами [3: 369–371]. Характерно, однако, что ни Н. Ван-Вейк, ни Хр. Станг не распространяли своего правила на все случаи написания удвоенных согласных в прусских памятниках<sup>2</sup>. Это и понятно, в тексте *Enchiridion*'а обнаруживается богатейший набор примеров с проставленным значком  $\sim$  и с удвоенным написанием согласных после слога, предшествующего слогу, помеченному этим значком: *gennāmans, femmē, gallū, labbings, Jffsprettīngi, fskellāntai, feggūns, pertennūns, tennēmons, turrītwēi, billiton, enwackēimai, tennēifon, feggēmai, fallūban, popeckūt, stallēmai, deffīmts, billā, tickrōmien, preiwackē, wackītwei, perweddā, epwarrīfhan* и многие другие.

Таким образом, обнаруживается явное противоречие между правилом, которое было выведено, в значительной степени опираясь на системные соотношения<sup>3</sup>, и правилом, которое выявлялось из рассмотрения акцентуационных форм. Первое утверждает, что удвоением согласного отмечались предшествующие этому удвоению ударные краткие гласные, второе утверждает, что удвоением согласного отмечались краткие безударные гласные, в подавляющем большинстве случаев непосредственно предшествующие ударному слогу. Второе правило поддерживается также тем обстоятельством, что такая же практика обозначения краткостей установилась в литовской орфографии того

<sup>2</sup> Единственное место, которое я смог обнаружить у Ван-Вейка, где его позицию можно истолковать тенденцией к расширению его правила, — это [4: 60].

<sup>3</sup> Н. Ван-Вейк, по-видимому, не имел достаточно четкого представления о реконструкции двух акцентных парадигм балтийского глагола, хотя наметки такой реконструкции были получены уже Ф. де Соссюром, но он обратил внимание на тождественное акцентуационное поведение славянского глагола *žiti*; при анализе форм dat.pl. он мог опираться на соответствующие формы двух акцентных типов литовского имени. Сравнительно-историческое обоснование его разбиения выглядит как крайне слабое, а теоретическому осмыслению мешает априорная уверенность в первичности «баритонированного» акцентного типа, тем не менее, как будет ясно из дальнейшего, его разбиение оказалось верным (это разбиение уже с новых акцентологических позиций было верифицировано Хр. Стангом и хорошо уложилось в его балто-славянскую акцентологическую реконструкцию [5: 155–157]). Хр. Станг в анализе прусских *-in-* глаголов опирался на словообразовательные отношения, и его анализ также трудно оспорить.

же времени [6: 21]. Это противоречие было разрешено Ф. Кортландтом, который предположил, что в прусском произошло передвижение акцента с краткого слога на следующий за ним слог [7]<sup>4</sup>. Закон Кортландта позволяет объединить материалы с непосредственным обозначением ударения в словоформе с материалами, где место ударения опознается по отмеченной предупредительной краткости, и получить довольно полную реконструкцию прусской акцентной системы, в значительной степени согласующуюся с балтийской и балто-славянской реконструкциями, полученными в результате изучения других балтийских и славянских языков<sup>5</sup>. По-видимому, законом Кортландта объясняется совпадение в прусском языке краткостных имен мужского рода бывших подвижной и баритонной акцентных парадигм в едином конечноударном типе<sup>6</sup>.

Кроме указанных особенностей графики *Enchiridion*'а, имеются чисто языковые особенности, позволяющие иногда установить место ударения в прусской словоформе: так как дифтонгизация  $\bar{u}$  и  $\bar{i}$  в прусском происходила в ударном слоге под акутовым ударением, мы можем привлекать примеры с дифтонгическим написанием этих гласных, даже если над ними не поставлен значок  $\sim$ , т. е. рассматривать формы типа *wijrimans, geijwas* как  $\leq *wīrāmans, \leq *gīwas$ <sup>7</sup>.

Имеются, по-видимому, еще какие-то возможности для изучения прусской акцентуации, так, возможно, не исчерпаны данные, отражающие процессы редукции конца слова; изменение взгляда на акцентную систему

<sup>4</sup> Аналогичное истолкование прусских фактов было предложено мною, независимо от Ф. Кортландта, в 1973 году в лекциях по балтийской акцентологии, читанных мной на Ностратическом семинаре, я однако воздержался от публикации соответствующей работы, так как мне тогда была недоступна работа Ван-Вейка [2].

<sup>5</sup> Характерно однако, что все эти исследования не поколебали уверенности в общем характере правила, которое можно условно назвать правилом Ван-Вейка. Так, в новом издании I прусского катехизиса Б. Стунджа дает реконструкцию текста, которая в акцентологической части, по-видимому, в большой мере основана на этом правиле [8: 76–87].

<sup>6</sup> Предположение о наличии в прусском конечноударного акцентного типа было выдвинуто впервые Ф. Ф. Фортунатовым [1: 167 и след.], на той же позиции стоял и Н. Ван-Вейк [4: 74]). Хр. Станг использовал его для поддержки своего положения об индоевропейской древности славянской а.п. *b* [5: 60–61]). Кроме общей убежденности во вторичном характере и относительно позднем происхождении балто-славянского подвижного акцентного типа, это мнение опиралось на наличие в *Enchiridion*'е некоторого количества довольно частотных словоформ, над которыми знак  $\sim$  никогда не ставится; так как над конечными краткими слогами какого-либо знака, которому можно было бы приписать акцентный характер, тоже никогда не бывает; эти формы были истолкованы как отражающие окситонезу. Отношение этих форм к краткостному окситонированному типу требует дополнительного анализа.

<sup>7</sup> Здесь и ниже знак  $\leq$  читается: 'равняется или из'.

прусского языка в результате реконструкции того ее фрагмента, который восстанавливается на основании указанных выше особенностей, может привести к определенным коррективам результатов, полученных в предшествующих исследованиях. Но это, конечно, задача следующего этапа.

### Именные акцентные парадигмы

Ниже приводятся все словоформы, для которых удается с той или иной степенью вероятности установить прусский или балтийский акцентный тип. Они распределены по литовским акцентным парадигмам. Для этого имеются определенные основания: литовские акцентные парадигмы имени (с учетом древнелитовского) довольно хорошо отражают балтийскую систему, кроме того, в прусском в какой-то мере сохраняются следы действия закона де Соссюра и поэтому релевантно, так же как и для литовского, разбиение этим процессом двух балтийских акцентных типов на четыре акцентные парадигмы. Конечно, получить набор акцентных кривых для каждого приводимого прусского слова практически невозможно — материал слишком скуден, — но, собрав все словоформы одного акцентного типа, мы можем установить какие-то значимые их фрагменты.

#### А.п. 1

1. прусс. *gīdan* acc.sg. f., III 55<sub>21</sub> «(schande) (Schande), gēda», 'стыд' ≤ \**gīdan*<sup>8</sup> (для балтийского акцентного типа ср. лит. *gėda*, gen.sg. *gėdos*, acc.sg. *gėdą* f. 1-ой а.п. 'стыд, позор', так же в др.-лит. по DP: *Gėda* nom.sg., 472<sub>50</sub>, *gėda* nom.sg., 176<sub>42</sub>, 614<sub>15</sub>, 616<sub>1</sub>, *gėda* nom.sg., 40<sub>40</sub>, 104<sub>29</sub>, 108<sub>8</sub>, 114<sub>45</sub>, 167<sub>14</sub>, 242<sub>39</sub>, 364<sub>47</sub>, 610<sub>32</sub>, *gėdos* gen.sg., 182<sub>24</sub>, 398<sub>29</sub>, 479<sub>3</sub>, 490<sub>1</sub>, *gėdos* gen.sg., 254<sub>22</sub>, *gėdos* gen.sg., 46<sub>45</sub>, 47<sub>45</sub>, 48<sub>15</sub>, 108<sub>8</sub>, 169<sub>18</sub>, 191<sub>43</sub>, 419<sub>44</sub>, 518<sub>46</sub>, 559<sub>2</sub>, 565<sub>49</sub>, 613<sub>47</sub>, 614<sub>7</sub>, 614<sub>9</sub>, 614<sub>21</sub>, 620<sub>53</sub>, *gėdas* gen.sg., 197<sub>48</sub>, *gėda* instr.sg., 131<sub>39</sub>, 338<sub>19</sub>, 478<sub>33</sub>, 603<sub>41</sub>, *ne gėdoie* loc.sg., 112<sub>28</sub>, *gėdas* acc.pl., 128<sub>9</sub>, 160<sub>24</sub>, 161<sub>10</sub>, 161<sub>22</sub>, 170<sub>4</sub>, *gėdas* acc.pl., 161<sub>6</sub>, 7, 161<sub>25-26</sub>, 161<sub>52-53</sub>, ср. [KUDZ. I: 217]) || [ТОПОРОВ 1979: 231–233]; [MAŽIULIS I: 361–361]; [ENDZELĪNS IV, 2: 220]; [FRAENK. I: 142].

2. прусс. *Mūti* nom.sg., III 67<sub>3</sub> «Mutter, motina» (= *motina* VE 27<sub>13</sub> instr.sg.), 'мать' (≤ \**mūti*), *mūtin* acc.sg., III 101<sub>22</sub>, *Mūtien* acc. sg., III 29<sub>17</sub> «Mutter, motina» (≤ \**mūtiān*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *motė* 1-ой а.п. 'жена', та же а.п. в др.-лит. по DP: *mōte* nom.sg., 69<sub>27</sub> и др., *mōtę* nom.sg., 471<sub>29</sub>, *mōte* nom.sg., 167<sub>b18</sub> и др., *mōteres* gen.sg., 17<sub>37</sub> и др., см. [KUDZ. I: 463]; лтш. *māte*, gen. sg. *mātes* 'die Mutter'; слав. \**māti*, gen.sg. \**mātere*; см. [6: 76–77, 154 и 78–83, 153–156]; отличие балто-славянской акцентовки от древнеиндийской и от прагерманской акцентовки в этой основе, восстанавливаемой по закону Вернера [др.-инд. *mātā* 'мать', герм. \**mōdār* 'мать'], объясняется оттяжкой по закону Хирта; наличие

<sup>8</sup> В прусских реконструкциях здесь и ниже я использую литовский способ постановки тональных знаков, не придавая однако ему какого-либо конкретного тонологического значения.

3-ей а.п. в восточных дзукских диалектах и в говорах капсов [6: 77], возможно, обязано сохранявшейся в пралитовском смешанной а.п. с многосложными формами с неоттянутым конечным ударением, ср. лит. диал. [Tw.] gen.sg. *māt'ērēs*, др.-лит. [DP] gen.sg. *moteriēs* 293<sub>1</sub>, *moteriās* 493<sub>19</sub>) || [MAŽIULIS 3: 152–154]; [ENDZELĪNS IV, 2: 263]; [FRAENK. I: 465–466].

3. прусс. *Tāws* nom.sg. m., III 27<sub>3</sub>, 115<sub>6</sub>, 129<sub>14</sub> «Vater, tėvas», 'отец', *Tāws* nom.sg. m., III 49<sub>20</sub> «vatter, tėvas», III 55<sub>3</sub>, 67<sub>3</sub>, 81<sub>5</sub> «Vatter, tėvas», 131<sub>15</sub> «Vatter, tėve» (≤ \**tāws*); *Tāwa* voc.sg., III 47<sub>1</sub>, 47<sub>6</sub> «Vater, tėve» (≤ \**tāwa*), *Tāwas* gen.sg., III 59<sub>16</sub> «vatters, tėvo», III 65<sub>3</sub>, 127<sub>14</sub>, 129<sub>11</sub> «Vaters, tėvo» (≤ \**tāwas*); *tāwan* acc.sg. III 29<sub>17</sub>, 127<sub>3</sub> «Vater, tėva» (≤ \**tāwan*); *tāwans* acc.pl., III 37<sub>14</sub> «Vāter, tėvų» (≤ \**tāwans*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. диал. ŠL. *tėvas* 1-ой и 3-ой а.п. 'ojciec', в др.-лит. по DP почти исключительно 1-я а.п.: *tėwai* nom.pl., 5<sub>32</sub> и др., *tėway* nom.pl., 64<sub>45</sub>, *tėwai* nom.pl., 128<sub>40</sub>, см. [KUDZ. II: 331–333]; лтш. *tēvs* 'Vater, alter Mann') || [MAŽIULIS 4: 197–198]; [ENDZELĪNS IV, 2: 324]; [FRAENK. II: 1085–1086].

4. прусс. *wijrs* nom.sg., III 87<sub>2</sub>, 103<sub>21</sub> «Man, vyras» (≤ \**wīrs*), *Wijran* acc.sg., III 109<sub>6</sub> «Man, vyra», *wijran* acc.sg., III 105<sub>4</sub> «Manne, vyruī» (≤ \**wīran*), *wijrau* acc.sg., III 101<sub>21</sub> «Manne, vyro» (опечатка, вместо *wijran* ≤ \**wīran*), *wijrin* acc.sg., III 103<sub>21</sub> «Mennem, vyruī» (≤ \**wīrān*), *Wijrai* nom.pl., III 93<sub>5</sub>, 103<sub>6</sub>, *wijrai* nom.pl., III 103<sub>14-15</sub> «Menner, vyrai» (≤ \**wīrai*), *wijrimans* dat.pl., III 103<sub>26</sub> «Mennem, vyrams» (≤ \**wīrāmans*), *Wīrans* acc.pl., III 93<sub>12-13</sub> «Mennem, vyrams» (≤ \**wīrans*) (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *i*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *vūras*, nom.pl. *vūrai* 1-ой а.п. 'мужчина; муж', так же в др.-лит. по DP: *wīru* instr.sg., 49<sub>10</sub> и др., *wīrai* nom.pl., 125<sub>32</sub> и др., *wīramus* dat.pl., 70<sub>5</sub> и др., *wīrais* instr.pl., 542<sub>31</sub>, см. [KUDZ. II: 439]; лтш. *vīrs* '(Ehe)mann; Knecht, Arbeiter', см. [6: 73 и 78–83]; отличие балтийской акцентовки от древнеиндийской и от кельто-италийской и прагерманской акцентовки в этой основе, восстанавливаемой по правилам сокращения индоевропейских долгот в кельто-италийском и германском, объясняется оттяжкой по закону Хирта.) || [MAŽIULIS 4: 246–247]; [ENDZELĪNS IV, 2: 338]; [FRAENK. II: 1258].

5. прусс. *dīlas* gen.sg., III 89<sub>8</sub> «wercks, veiklos», 'работа, дело' (≤ \**dīlas*), *Dīlan* acc.sg., III 79<sub>23</sub> «werck, darbo», *dijlan* acc.sg., III 125<sub>14</sub> «Wercken, darbui» (≤ \**dīlan*), *dīlans* acc.pl., III 33<sub>2</sub>, 69<sub>3</sub> «wercken, darbuose», *dīlins* acc.pl., III 67<sub>7</sub> «wercken, darbais» (≤ \**dīlāns*) (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *i*; для балтийского акцентного типа ср. слав. \**dělo*, а.п. а: схрв. *djělo*, словен. *dělo*, чеш. *dílo*; слово считалось заимствованным из польского, но сейчас появилась тенденция рассматривать его как исконно родственное, см. [16], [17]) || [ТОПОРОВ 1975: 340]; [MAŽIULIS I: 200–201]; [ENDZELĪNS IV, 2: 198]; [FASMER I: 496–497, 497].

6. прусс. *grīkas* gen.sg., III 117<sub>9</sub> «Sünden, nuodėmės» (≤ \**grīkas*), *grīku* dat.sg., III 115<sub>2</sub> «Sünde, nuodėmėje» (≤ \**grīku*), *grīkai* nom.pl., III 65<sub>12-13</sub> «sūnde,

nuodémēs» (≤ \*grīkai), *grijkan* gen.pl., III 45<sub>6</sub>, 119<sub>25</sub> «Sünden, nuodėmių» (≤ \*grīkan), *grikan* gen.pl., III 115<sub>23</sub>, 127<sub>21</sub> «der Sünden, nuodėmių» (≤ \*grīkan), *grīkans* acc.pl., III 65<sub>9</sub>, 65<sub>15</sub>, 117<sub>6</sub> «Sünde, nuodėmes», *grīkans* acc.pl., III 65<sub>17</sub> «Sünden, nuodėmes», *grīkans* acc.pl., III 37<sub>14</sub>, 45<sub>20</sub> «lūnde, nuodėmes», III 63<sub>17</sub>, 67<sub>18</sub>, 69<sub>20</sub> «lūnden, nuodėmėmis», *grīkans* acc.pl., III 55<sub>3-4</sub> «Sünde, nuodėmes» (≤ \*grīkans), *grijkans* acc.pl., III 65<sub>21</sub> «lūnde, nuodėmes», III 115<sub>11</sub> «Sünde, nuodėmes», *effe grīkans* acc.pl., III 115<sub>12-13</sub> «von Sündt, nuo nuodėmių» (≤ \*grīkans), *en grīkans* acc.pl., III 113<sub>20</sub> «inn Sünden, nuodėmėse» (≤ \*en grīkans) (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ī*; слово заимствовано из польского, поэтому подвижный акцентный тип маловероятен) || [ТОПОРОВ 1979: 304–306]; [MAŽIULIS 1: 408]; [ENDZELĪNS IV, 2: 224]; [FRAENK. I: 168].

7. прусс. *kaūlins* (dat.)acc.pl., III 101<sub>9</sub> «beinen, kaulų», ‘кость’ (= *kaulu* «kaulu» VE 48<sub>22</sub>) (≤ \*kaulāns, интонация корневого слога устанавливается по правилу Фортунатова; для балтийского акцентного типа ср. лит. *kāulas* 1-ой а.п. ‘кость’, так же в др.-лит. по DP: *kāulai* nom.pl., 179<sub>23</sub>, *kāuly* gen.pl., 195<sub>23</sub> и др., *kātu* gen.pl., 605<sub>7</sub>, *kaūty* gen.pl., 445<sub>15</sub>, *kāulus* acc.pl., 170<sub>3</sub> и др., *kāulus* acc.pl., 369<sub>38</sub>, и один раз с двумя знаками ударения: *kāulāis* instr.pl., 131<sub>37</sub>, см. [KUDZ.I: 355]; лтш. *kaūls* ‘der Knochen’; балто-славянская баритонеза по закону Хирта, см. [6: 74 и 78–83]) || [ТОПОРОВ 1980: 275–278]; [MAŽIULIS 2: 142–143]; [ENDZELĪNS IV, 2: 236]; [FRAENK. I: 230].

8. прусс. *en...iūrin* acc.sg., III 119<sub>16</sub> «im...Meer, jūroje», *en iūrin* acc.sg., III 107<sub>1</sub> «im Meer, jūroje», ‘море’ (≤ \*iūrīan, для интонации и балтийского акцентного типа ср. лит. *jūra*, gen.sg. *jūros* 1-ой а.п. ‘море’, диал. ŠL. *jūrė* 1 ‘morze’, pl. *jūrios*, gen. *jūrių* ‘ocean’; лтш. *jūra*, *jūra* ‘das Meer’) || [ТОПОРОВ 1980: 93–97]; [MAŽIULIS 2: 54–56]; [ENDZELĪNS IV, 2: 230]; [FRAENK. I: 198].

9. прусс. *mīls* nom.sg. m., III 67<sub>14</sub> «lieber, mielas», *Mijls* adj. nom.sg. m., III 67<sub>10</sub> «Lieber, mielas», *mijls* adj. nom.sg. m., III 49<sub>8</sub>, 71<sub>15</sub>, 113<sub>11</sub> «lieber, mielas» (≤ \*mīls), *mijlas* gen.sg. m., III 109<sub>9</sub>, 119<sub>22</sub>, 131<sub>8</sub> «lieben, mielo» (≤ \*mīlas), *mīlan* acc.sg., III 27<sub>10</sub> «lieb[haben], miela», *mīlan* acc.sg., III 79<sub>12</sub> «lieben, miela», III 131<sub>9</sub> «lieben, mielam», *mijlan* acc.sg. m., III 47<sub>13</sub>, 81<sub>12</sub>, 113<sub>25</sub>, 129<sub>17</sub> «lieben, miela» (≤ \*mīlan), *mīlai* nom.pl. m., III 89<sub>5</sub> «lieben, mieli», *mijlai* nom.pl. m., III 47<sub>12</sub> «lieben, mieli» (≤ \*mīlai), *Mijlas* nom.pl. f., III 113<sub>9</sub>, 123<sub>8</sub> «Lieben, mieli» (≤ \*mīlas), *mijlan* adv., III 31<sub>6</sub> «lieb, mielai» (≤ \*mīlan), *mijls* adv. compar., III 89<sub>8</sub> «lieber, mieliau» (≤ \*mīls) (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ī*; для балтийского акцентного типа ср. др.-лит. *mielas* по DP, где еще сохраняется в качестве варианта 1-я а.п. этого прилагательного: *mielafis* nom.sg. n., чл.ф. 431<sub>7</sub>, *mieloii* nom.sg. f., чл.ф., 411<sub>28</sub>, *mieloii* nom.sg. f., чл.ф., 432<sub>49</sub>, *mieloii* nom.sg. f., чл.ф. 100<sub>42</sub>, *mieloii* nom.sg. f., чл.ф., 1<sub>26</sub>, *mielos* gen.sg. f., 177<sub>3</sub> и др., см. [KUDZ. I: 446–448]; лтш. *mīls* ‘lieb’, слав. \*mīlь, f. \*mīla, n. \*mīlo, а.п. a, см. [9: 23]). || [MAŽIULIS 3: 137–138]; [ENDZELĪNS IV, 2: 260–261]; [FRAENK. I: 449].

10. прусс. *skijstan* adj. (dat.)acc.sg. f., III 127<sub>10</sub> «skaisčios» (≤ \*skīstan), *skijstan* adv., III 49<sub>5-6</sub> «rein, tyrai» (≤ \*skīstan), *skīstai* adv., III 33<sub>1</sub> «keufch,

skaisčiai» (≤ \*skīstai) (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ī*; для балтийского акцентного типа ср. лтш. *škiests* AP, Ruj., Serbigal (вариант *škiests* C., Ermes, Golg., Kl., Lis., Lubn., PS., Saikava, Selsau, Schwanb., Wolm., по-видимому, результат восстановления прерывистой интонации по формам глагола с полной степенью огласовки, в которых закон Хирта не действовал: лтш. *škiēst*, praes. 1.sg. *škiēžu*, praet. 1.sg. *škiēdu* ‘verstreuen, schleudern; vergeuden, vertun’); слав. \*čístь, f. \*čīsta, n. \*čīsto, а.п. a [ср.-болг. (зап.) f. чїста Ис.Сир. 32б, не чїста ib. 71б, n. чїсто ib. 32б, 97а, н чїсто ib. 36а; схрв. *čīst*, f. *čīsta*, n. *čīsto*; словен. *čīst*, f. *čīsta*); общий балто-славянский характер иммобилизации акцента в этой основе, по-видимому, по закону Хирта–Иллич-Свитыча, при отсутствии каких-либо следов подвижности акцента в прусском, делает достаточно надежной реконструкцию 1.а.п. || [MAŽIULIS 4: 121–122]; [ENDZELĪNS IV, 2: 308]; [FRAENK. II: 805–806, 808–809]; [ДЫБО 2000: 211].

11. прусс. *Sa=lūbin* acc.sg., III 99<sub>18-19</sub> «Gemahel, sutuoktine», *Salūbin* acc.sg., III 107<sub>15</sub> «Gemahel, sutuoktine», *fallūban* acc.sg., III 33<sub>3</sub> «gemahel, sutuoktine», *Salūban* acc.sg., III 101<sub>2</sub> «Ehe, santuokos» (≤ \*salūbān), *Salaūbai* [boūfennien] loc.sg. f., III 103<sub>2</sub> «Ehe[ftandt], santuokos» (≤ \*salūbai), *Sallubai* [bufennis] subst. loc.sg. f., III 101<sub>5</sub> «Ehestand, santuokos padėtis» (≤ \*sālūbai), ‘состояние в браке’; *sallūbs* [laiskas] subst. gen.sg. f., III 99<sub>1</sub> ‘traw[büchlein], sutuokimo [knyga]» (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ū* в соответствии с правилом Фортунатова; так как слово заимствовано, подвижный акцентный тип маловероятен). || [MAŽIULIS 4: 51–54]; [ENDZELĪNS IV, 2: 298]; [FRAENK. II: 364, 760, 1258].

12. прусс. *Salūbŋna* nom.sg., III 99<sub>16</sub> «Trewung, sutuokimas» (≤ \*salūbsna) (образование из предшествующей лексемы при помощи прусского доминантного суффикса; при доминантности производящей основы ни метатонии, ни какой-либо смены акцентного типа не происходит). || [MAŽIULIS 4: 55]; [ENDZELĪNS IV, 2: 298].

13. прусс. *Powackīfna* nom.sg., III 99<sub>4</sub> «Auffbietung, pašaukimas» (≤ \*powackīfna) ~ прусс. *wackīwei* inf., III 47<sub>8</sub> «locken, kviesti, (pa)šaukti, ‘locken’ (итеративный *ī*-глагол от тематического глагола, отраженного в *perweckam=mai* praes. 1.pl., III 29<sub>13-14</sub> «verachten, pašaukiamе, paniekiamе»; в итеративных *ī*-глаголах подвижный тип отсутствовал; образование от итеративного *ī*-глагола в балто-славянской реконструкции исключает метатонию). || [MAŽIULIS 3: 275, 336]; [MAŽIULIS 4: 216]; [ENDZELĪNS IV, 2: 288, 332, 278].

14. прусс. *enteikū=ŋna* nom.sg. f., III 73<sub>5-6</sub> «weise, tvarka, darysena», *Enteikūfna* nom.sg. f., III 111<sub>3</sub> «Form, tvarka» (≤ \*enteikūsna), *enteikū=ŋnan* acc.sg. f., III 89<sub>22-23</sub> «Orðnnng (Ordnung), patvarkymui», III 99<sub>5-6</sub> «Orðnung, patvarkymu», *entei=kū=ŋnan* acc.sg. f., III 91<sub>23-24</sub> «Orðnung (Ordnung), patvarkymui», *enteikū=ŋnan* acc.sg. f., III 111<sub>10</sub> «nach Orðnung, ant patvarkymo» (≤ \*enteikūsnan), *teikū=ŋnan* acc.sg. f., III 99<sub>3</sub> «[Kirchen]orðnung, potvarkyje»,

[*effestan*] *Teikūfnā* (толкуется как = *teikūfnan*) acc.sg. f., III 39<sup>17</sup> «[Von der] Schöpfung, [Arie ta] kūrīma»; *Enteikūfnans* acc.pl. f., III 85<sup>18</sup> «Orden (Beruf), pareigū», 'способ, форма, установление, порядок' ~ прусс. *\*enteikūtfvei* (< *\*enteikātvei*) «padaryti, sukurti»: part.praet. pass. *Enteikūton* nom.sg. n., III 89<sup>21</sup> «geordnet, patvarkyta», part.praet. act. *enteikūuns* nom.sg. m., III 109<sup>7</sup> «verordnet, patvarkęs», 'назначивший, установивший, предписавший', *poteikūuns* nom.sg. m., III 121<sup>19</sup> «begriffen, padaręs» (образование от *ā*-глагола [тип III b по SCHMALSTIEG], в балтийской группе следы подвижного акцентного типа в этих глаголах зафиксированы лишь в восточнобалтийских соответствиях прусс. *biātwei*, см. ниже). || [ТОПОРОВ 1979: 54–55]; [MAŽIULIS I: 276]; [MAŽIULIS 3: 333–334]; [MAŽIULIS 4: 188–189]; [ENDZELĪNS IV, 2: 209, 325]; [FRAENK. II: 1050–1051, 1088, 1093–1093].

*Примечание.* Доминантность суффикса *-snā-* устанавливается по акцентуационному поведению его в восточнобалтийских и славянских языках. Рецессивный акутированный корень при присоединении суффикса *-snā-* становится вторично доминантным и получает циркумфлекс (слово получает 2-ю литовскую акцентную парадигму):

1. лит. диал. *džiūsnā* (2) Plv, Up, Grk, Vb, *džiūsnā* (2) Kt (при вторичных: *džiūsnā* (4) Žvr, *džiūsnā* (4) [K], Gdl и *džiūсна* (1) Ms) 'худой (сухой) человек; сухотка': лит. *džiūti* 'сохнуть, вянуть, чахнуть'; лтш. *žūt* 'trocknen' || [FRAENK. I: 117]; [KARULIS 1209–1211, 1215]; [POK. 179–181];

2. лит. диал. *lūšnā* (2) NdŽ, *lušnā* (2) NdŽ, MŽ 72, N, [K] (при вторичном: *lūšnā* (3) DŽ) 'хижина, лачуга': лит. *lūžti* 'ломаться, ломиться'; лтш. *lūzt* 'brechen' (intr.) || [FRAENK. I: 347]; [KARULIS 510–511]; [POK. 686]; [DYBO 2002: 426–427].

При доминантно акутированном производящем метатония отсутствует:

Лит. диал. *plūsna* (1) BsMt II 183 (Klp), Prk 'перо', *splūsna* (1) LKK II 199 (Zt), LD 190 (Zt), Agu 48 (Zt) «plunksna», с вторичным *s-*, вероятно, по аналогии с лит. *sparnas* 'Flügel' и *plūksna* < *\*plunsna* (словообразовательно вторичен вариант: *plūksna* 'перо', — вторично отношение к лит. *plaukas* 'волос', pl. *plaukai* 'волосы'; лтш. *plauki*); лтш. *plūksnas* pl. 'die feinen Federn der Vögel' ~ лтш. *plūkas* С., KARLS. 'Ausgezupftes, Charpie; Flaumfedern' (развитие засвидетельствованных балтийских вариантов можно представить следующим образом: *\*plūn-snā* > *\*plūn-k-snā* и *\*plū-sna*, под влиянием форм типа лтш. *plūkas* последний перестраивается в *\*plūk-snā* || лат. *plūma* f. 'Flaumfeder, Flaum'; ирл. *lō* 'Wollflocke, Wollhaar; Schneeflocke' < *\*plūsō-*, *luasach* 'haarig, zottig'; герм. *\*flūsī-* [др.-англ. (зап.-сакс.) *flīes* 'Vlies', (англ.) *flēos*, *flūs* (Leid. Rāts.) n. 'Vlies, Wolle, Pelz'; ср.-н.-нем. *vlūs* (также *vlūsch*) n. 'Vließ; Flocke, Locke, Handvoll Wolle oder Haare', ср.-в.-нем. *vlūs* и *vlūs*, *vlies* n. 'Vlies' < *\*flūsī-*, норв. *flūra* 'zottiges Haar' || [POK. 837, 838]; [WH II: 324–325]; [FRAENK. I: 609, 632]; [BÜGA RR I: 287]; [FALK · TORP I: 240–241]; [HOLTHAUSEN AEEW 108]; [EWD I: 445].

Во всех случаях словообразования с подобным суффиксом при подвижном акцентном типе производящего производное получает неподвижный акцентный тип:

Слав. *\*dēsna*, acc.sg. *\*dēsno* > *\*dēsno* (а.п. b) [русск. *десна́*, acc.sg. *десну́*; словен. *dlēsna*; чеш. *dāseň*; ст.-польск. и диал. *dziąsna*] (*\*dent-snā*) ~ лит. *dantis*, acc.sg. *dañtj* 4 'зуб'.

Слав. *\*lūnā*, acc.sg. *\*lūno* > *\*lūno* (а.п. b) [русск. *луна́*, acc.sg. *луну́*; укр. *луна́*, acc.sg. *луну́*; схрв. шток. *luna*; чак. (Orb.) *lūnā*, acc.sg. *lūnō*; кашуб. *luna* f. 'Feuertöte' [LORENTZ PW I: 480]; сокращение корневого гласного в чеш. и слов. явно вторично] (*\*louk-snā*) ~ др.-инд. *rōkāh* m. 'свет', *rōcāh* 'блестящий', *rōcīh* n. 'свет; блеск'; греч. *λεωχός* 'светлый, блестящий'.

А.п. 2

#### Долготные имена

1. прусс. *rānkan* acc.sg., III 83<sup>10</sup> «handt, ranka», 'руку', *rānkan* acc.sg., III 97<sup>7</sup> «Handt, ranka», *rānkan* acc.sg., III 113<sup>7</sup> «hendē, ranka» (≤ *\*rañkan*), *rānkans* acc.pl., III 79<sup>19</sup>, 81<sup>18</sup> «Hende, rankas», III 107<sup>11</sup> «hendē, rankas», *fen* [*fenditmai*] *rānkān* (instr.) acc.sg., III 83<sup>5</sup> «mit [gefalten] hendēn, su [sudēta] ranka», 'mit gefalteten Händen'; *fen* [*fenditans*] *rānkans* (instr.) acc.pl. f., III 85<sup>19</sup>, 20 «mit [gefalten] hendēn, su [sudētomis] rankomis» (≤ *\*rañkans* < *\*rañkams* < *\*rañkāmīs*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *rankā*, 2-я а.п. в совр. и др.-лит. по DP: *rākos* gen.sg., 75<sup>15</sup> и др., *rānkoie* loc.sg., 140<sup>9</sup>, *rākoie* loc.sg., 307<sup>51</sup> и др., *rāky* gen.pl., 39<sup>43</sup> и др., *rāky* gen.pl., 75<sup>16</sup> и др., *rākomus* dat.pl., 403<sup>17</sup>, см. еще [KUDZ. I: 179–180]; см. также [6: 23–24]). || [MAŽIULIS 4: 10–11]; [ENDZELĪNS IV, 2: 293]; [FRAENK. II: 697].

2. прусс. *Maddla* nom.sg., III 47<sup>14</sup>, 49<sup>13</sup>, 51<sup>4</sup>, 51<sup>21</sup>, 53<sup>19</sup> «Bitte, prašymas» (≤ *\*mādlā*); *madlin* acc.sg., III 49<sup>2</sup>, 49<sup>18</sup>, 53<sup>6</sup>, 55<sup>2</sup> «Gebet, maldoje», III 111<sup>8</sup> «Gebet, maldai», III 111<sup>5</sup> «Gebet, malda», *madlin* acc.sg., III 53<sup>5</sup> «Bitte, maldos», *madlin* acc.sg., III 55<sup>4</sup> «Bitte, prašymas», *madlin* acc.sg., III 121<sup>14</sup>, 15 «Gebet, malda», *madlan* acc.sg., III 49<sup>17</sup>, 51<sup>9</sup> «Gebet, maldos» (≤ *\*mādlān*); *madlas* nom.pl., III 57<sup>16</sup> «Bitte, maldos» (≤ *\*mādlas*) (при принятии предположения о заимствовании из польского неподвижный акцентный тип наиболее вероятно, осложняющим фактором является то, что корневой гласный трактуется орфографией как долготный с сокращением долготы в nom. sg., где ударение на окончании по закону де Соссюра; легче всего это явление объяснялось бы из реконструкции Бернекера: *\*maldla* с дальнейшим устранением *-l-*, но с сохранением долготы дифтонгического сочетания; вероятно, подобный эффект можно допустить и для метатезы из *\*malda*, в последнем случае для балтийского акцентного типа релевантно лит. *maldā* 'молитва, моление, мольба', 4-я а.п. в совр. литер. языке и по подавляющему большинству форм в др.-лит. по DP, см. [KUDZ. I: 424–425], как реликт 2-ой а.п. в DP могут быть истолкованы лишь формы: *māldōs* gen.sg., 106<sup>15</sup>, 148<sup>40</sup>, 228<sup>42</sup>, *māldo|ie* loc.sg. 117<sup>21</sup>–22, *māldoie* loc.sg. 371<sup>43</sup>, *māldj* gen.pl., 228<sup>13</sup>, *māldomis* instr.pl., 413<sup>44</sup>; но ср. слав. отыменной глагол *\*modliti*, который показывает, правда, а.п. b<sub>1</sub>, однако в слав. изредка наблюдается переход деноминативных глаголов из а.п. b<sub>2</sub> в а.п. b<sub>1</sub>, ср. *\*ženiti*). || [MAŽIULIS 3: 93–96]; [ENDZELĪNS IV, 2: 255]; [FRAENK. I: 431–434].

3. прусс. *kērdan* acc.sg. f., III 97<sup>8</sup> «zeit, laiko», *kērdan* acc.sg. f., III 111<sup>20</sup> «zeit, laiku», *en kērdan* acc.sg. f., III 99<sup>12</sup> «bey zeit, laike» (≤ *\*keřdan*) (для балтийского акцентного типа ср. слав. *\*čerdā*, acc.sg. *\*čerdō* > *\*čerdō* а.п. b

‘стадо, ряд, череда’, слав. \**čeřďь*, gen.sg. \**čeřda* > \**čerdà* а.п. *b* ‘черед’, ср. др.-инд. *śárdham* п. ‘стадо’, см. [6: 106–107 и 127]. || [MAŽIULIS 2: 163–165]; [ENDZELĪNS IV, 2: 237]; [ФАСМЕР IV, 337–338]; [FRAENK. I: 242].

4. прусс. *fwāigſtan* acc.sg., III 35<sub>13</sub> «schein, šviesa», ‘сияние’ (≤ \**zwaigſtan*, интонация устанавливается по правилу Фортунатова; для балтийского акцентного типа ср. слав. \**gvězdā*, acc.sg. \**gvězdq* > \**gvězdō* а.п. *b* и лит. *žvaigždė*, сохраняющее 2-ю а.п. в DP, как довольно редкий вариант: *žvāyžde* nom.sg. 59<sub>17</sub>, *žvāiždė* nom.sg., 400<sub>8</sub>, *žvāiždės* gen.sg., 400<sub>23</sub>, *žvāiždžių* gen.pl., 590<sub>16</sub>, полный обзор по DP см. [KUDZ. II: 482], — и по диалектам, см. [6: 105–106]). || [MAŽIULIS 4: 170–171]; [ENDZELĪNS IV, 2: 320]; [FRAENK. II: 1324, 1043]; [ФАСМЕР II: 85–86].

5. прусс. *prēipīrstans* acc.pl., III 107<sub>11</sub> «Ringe, žiedus» (≤ \**pīrstans*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *pīrštas* ‘палец, палец ухвата’ 2-ой а.п. повсеместно по диалектам и в литературном языке, ср. также слав. \**prьstь*, gen.sg. \**prьsta* > \**prьstà*, а.п. *b*, см. [6: 52 и 128]). || [MAŽIULIS 3: 287, 351]; [ENDZELĪNS IV, 2: 280, 291]; [FRAENK. I: 598]; [ФАСМЕР III: 244].

6. прусс. *prātin* acc.sg., III 51<sub>13</sub> «Rath, nutarimą» (≤ \**prātān*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *prōtas* 2-ой а.п. ‘Verstand’, ‘ум, разум; рассудок’, лтш. *prāts* ‘Verstand, Sinn, Wille, Gesinnung, Meinung’; ср. также герм. \**frōdā*-adj., ‘разумный, толковый’: гот. *froþs* (*frods*) ‘klug, weise’, adv. *frodaba*; др.-англ. *frod*, др.-фриз. *frōd*; др.-сакс. *frōd*, др.-в.-нем. *frōt*, *fruot* ‘verständlich, weise’). || [MAŽIULIS 3: 345]; [ENDZELĪNS IV, 2: 289]; [FRAENK. II: 658]; [FRAENK. I: 646–647].

7. прусс. *tārin* acc.sg., III 105<sub>7</sub> «Stimme, balso» (по-видимому, ≤ \**tārān*, образование того же типа, что и предшествующее, с метатонией долгого гласного и с переходом в неподвижный акцентный тип; обнаруживает то же соответствие с др.-инд. *tārāh* ‘durchdringend, überwindend, laut, gelend’, что и предшествующее слово с германским; относительно количества ср. лит. диал. *tārti* ‘говорить’, лтш. *tārlāt* ‘болтать, нести чушь’) || [MAŽIULIS 4: 184]; [ENDZELĪNS IV, 2: 323]; [BŪGA RR II: 454]; [FRAENK. II: 1063–1064]; [MAYRHOFER I: 497, 480]; [KARULIS 1010].

8. прусс. *Quāits* nom.sg., III 51<sub>5</sub> «Wille, valia», *quāits* nom.sg., III 51<sub>8</sub> «Wille, valia», *quāits* nom.sg., III 51<sub>17</sub>, 51<sub>20</sub> «wille, valia», III 105<sub>4</sub> «Will, valia» (≤ \**quāits*), *quāitan* acc.sg., III 51<sub>14</sub>, *quāitin* acc.sg., III 95<sub>13</sub> «willen (Willen), valia», *sen...quāitin* (instr.)acc.sg., III 95<sub>14</sub> «mit...willen (Willen), su...valia» (≤ \**quāitān*) ~ прусс. *as quoi* praes. 1.sg., III 69<sub>6</sub> «[ich] will, noriu», III 101<sub>10</sub> «[ich] will, noriu», [as] *quoi* [tebbe] praes. 1.sg., III 105<sub>1</sub> «[ich] wil [dir], noriu»; *Quoi tu* praes. 2.sg., III 99<sub>18</sub> «willtu (willst du), nori tu», III 129<sub>3</sub> «Wiltu (willst du), nori tu»; *quoi* praes. 3.sg., III 47<sub>8</sub> «will, nori»; глагол \**kvaitīt*, \**kvaitītvei*, отраженный в part.praet.pass. *poquoitītōn* nom.sg. n., III 11<sub>9</sub> «begeret (begehrt), pāgeista, panorēta» (для балтийского акцентного типа ср. др.-инд. *kētaḥ* м. ‘Wille, Absicht, Verlangen, Aufforderung, Einladung’, ‘желание, требова-

ние’; греч. *κοῖται* *γυναικῶν* *ἐπιθυμίαι*, *κίτταν*: *γλίχεσθαι*, *ἐπὶ τῶν γυναικῶν*, *ἐπιθυμεῖν* Hes., при такой записи толкование Фриска не представляется приемлемым). || [ТОПОРОВ 1984: 366–374, 384–389, 113–114]; [MAŽIULIS 2: 324–325]; [ENDZELĪNS IV, 2: 247]; [FRAENK. I: 326]; [РОК. 632]; [MAYRHOFER I: 265]; [MAYRHOFER EWA I: 399]; [FRISK I: 859–860].

9. прусс. *fen Wēisin* (instr.)acc.sg., III 109<sub>8</sub> «mit Früchten, vaisių» (= *vaisiumi* VE 52; instr.sg.) (≤ \**ueišjan*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *vaišius* 2-ой а.п. ‘плод, фрукт’, но для прусского слова В. Мажюлис восстанавливает *jo*-основу) || [MAŽIULIS 4: 228–229]; [ENDZELĪNS IV, 2: 335]; [FRAENK. II: 1184].

10. прусс. *kārtai* adj. nom.pl. m., III 93<sub>10</sub> «bitter, kartūs» (≤ \**kařtai* согласно правилу Фортунатова, но в совр. лит. 3-я а.п., т. е. акутированный корневой слог) (для балтийского акцентного типа ср. др.-лит. по DP: *kārtumi* instr.sg. m., 285<sub>29</sub>, *kārczių* gen.pl. m., 526<sub>а</sub>, что может быть истолковано как 1-я или 2-я а.п., 2-я а.п. поддерживается и славянской реконструкцией, где соответствие м. \**kořťькь* > \**korťькь*, ф. \**kořťька*, п. \**kořťько* из \**kořťь*, неподвижный акцентный тип с балто-славянским циркумфлексом, см. [9: 94–107]. Однако в DP засвидетельствованы и формы 3-ей или 4-ой а.п.: *kartūfisis* nom.sg. m., 178<sub>6</sub>; *kartūii* nom.sg. f., 170<sub>42</sub>; *kartāus* gen.sg. m., 182<sub>39</sub>, кроме того непонятен акцент в современном литовском, поэтому реконструкция остается ненадежной). || [MAŽIULIS 2: 129–131]; [ENDZELĪNS IV, 2: 235]; [FRAENK. I: 225].

11. прусс. *imtā* nom.sg. f., III 101<sub>21</sub> «genomeu (genomen), imtā» (≤ \**imtā*; для балтийского акцентного типа ср. прус. *immimai* III 83<sub>16</sub> «[wir] nemen (nehmen), imame», *ni immimai* III 33<sub>10</sub> «[wir] nicht nemen (nehmen), neimame» (≤ \**imjāmai*); *immati* III 115<sub>19</sub> «nemen, imate» (≤ \**im(j)āti*), глагол неподвижного акцентного типа, тот же акцентный тип показывает и славянское соответствие, см. часть работы, посвященную прусскому глаголу. В литовском *t*-причастия от первичных глаголов неподвижного акцентного типа сохраняли этот тип еще в DP). || [MAŽIULIS 2: 25–26]; [ENDZELĪNS IV, 2: 227–228].

12. прусс. *etwerpsnā* nom.sg., III 75<sub>19</sub>, 75<sub>21</sub> «vergebung, atleidimas», ‘отпущение’ (для балтийского акцентного типа ср. прус. *etwērpimai* III 53<sub>21</sub> «[wir] verlašēn, atleidžiame», глагол неподвижного акцентного типа, производное от которого должно было иметь также неподвижный акцентный тип [неподвижный акцентный тип обеспечивается также доминантным суффиксом], тональная характеристика корневого слога устанавливается по правилу Фортунатова). || [ТОПОРОВ 1979: 114–117]; [MAŽIULIS I: 306–308]; [ENDZELĪNS IV, 2: 215]; [FRAENK. II: 1227].

13. прусс. *Spigsnā* nom.sg., III 63<sub>2</sub> «Bad, prausimas» (≤ \**spigsnā*), *Spigsnan* acc.sg., III 63<sub>4</sub> «Bad, prausimą» (≤ \**spigsnan*) (аблаутные отношения указывают на корневое *-i* < \**-ē*, ср. прусс. *specte* E. ‘Bad’ и *spagtas* gen.sg. f., III 119<sub>4</sub> «Bades, prausimo», *spagtan* acc.sg. f., III 103<sub>9–10</sub> «[Wasser]bad, prausimą», *spagtun* acc.sg. f., III 119<sub>19</sub> «Badt, prausimą»). За пределами прусского В. Мажюлис указывает на лит. диал. *spagti* «pirtis» (так в [MAŽIULIS 4:



141]; в [LKŽ XIII: 308] без ударения). Разноместность акцента в приведенных формах может объясняться или подвижным акцентным типом основы, или метатонией при доминантном суффиксе. Принимается доминантность суффикса *-snā-*, см. примечание выше). || [MAŽIULIS 4: 145–146, 144, 141–142]; [ENDZELĪNS IV, 2: 312].

14. прусс. *Crixtifnā* nom.sg., III 61<sub>21</sub> «taufte, krikštijimas», ‘крещение’ (≤ \**krikštīsnā*; основания для принятия 2-ой а.п. с циркумфлексом предударного слога те же, что и в предыдущем примере: метатония рецессивного акута при доминантном суффиксе, ср. лтш. *kristīt* ‘taufen’, *krustīt* ‘Zeichen des Kreuzes machen, taufen’) ~ прусс. \**krikštīvei*: *crixitwi* inf., III 111<sub>4</sub> «tauffen, krikštīti» || [ТОПОРОВ 1984: 189–193]; [MAŽIULIS 2: 277–279]; [ENDZELĪNS IV, 2: 244–245]; [FRAENK. I: 297–298].

15. прусс. *fen biāfnan* (instr.)acc.sg., III 95<sub>9</sub> «mit furcht, su bijojimu», ‘боязнь, страх’ (≤ \**bijāšnan*; эта реконструкция построена на тех же основаниях: метатония первично акутированного слога инфинитной основы глагола подвижного акцентного типа при доминантном суффиксе) ~ прусс. *biātwei* inf., III 27<sub>10</sub>, 29<sub>1</sub>, 29<sub>12</sub>, 31<sub>2</sub>, 31<sub>11</sub>, 31<sub>20</sub>, 33<sub>8</sub>, 33<sub>19</sub>, 35<sub>10</sub>, 37<sub>2</sub>, *biātwi* inf., III 39<sub>3</sub> «fōrchten, bijoti», ‘бояться’ (глагол относится к балто-славянскому подвижному акцентному типу: лтш. *bijāt*, praes. 1.sg. *-āju* ‘fürchten, ehren’ [так MÜHL.–ENDZ. I: 294], *bītiēs*, praes. 1.sg. *bīstuos* ‘sich fürchten, scheuen vor etw.’; слав. \**bojāti se*; praes. 1.sg. \**bojō se*, \*-*se bojō*, 3.sg. \**bojīt se* и т. д. [др.-русск. praes.: *кобѣса оубою* Ап. 1564 г.: 230, *когоса оубою* Пс. № 32: 24б, *не оубоюса* Пс. № 32: 22а, 58б, *не оубоюса* Пс. № 32: 22а ~ *не оубоитѣса* Пс. № 32: 25а; аог.: ст.-серб. XV в. *оубоѣше се* 3.pl. Ев.-апр. 101б ~ *оубога се* 3.sg. Ев.-апр. 100а, *оубога се* 3.sg. Ев.-апр. 283а, Апост. 87б; *l-part.*: юж.-кайк. *se...bojāla* nom.sg. f. Zb.19: 46, bis < \**bojalā*) || [ТОПОРОВ 1975: 218–221]; [MAŽIULIS I: 139]; [ENDZELĪNS IV, 2: 187]; [FRAENK. I: 43].

16. прусс. *En prakāifnan* acc.sg., III 105<sub>14</sub> «Jm schweiß, prakaitē» (≤ \**prakāišnan*; неподвижный акцентный тип этого слова может быть просто отражением неподвижного акцентного типа производящего глагола, ср. лит. *kaĩsti*, praes. 3. *kaĩsta* ‘накаляться, нагреваться; потеть; преть, тлеть, перегорать’, или отражением доминантности суффикса). || [MAŽIULIS 3: 341]; [MAŽIULIS I: 268–269]; [ENDZELĪNS IV, 2: 288, 208]; [FRAENK. I: 204].

Конечноударный акцентный тип из краткостных имен 2-ой а.п.

1. прусс. *Genno* nom. sg. Э. 187 «Wip, moteris, žmona» (≤ \**gēnō*), *gennas* gen.sg., III 87<sub>2</sub> «weibes, moteries», *Gennas* gen.sg., III 103<sub>22</sub> «Weibs, moters» (≤ \**gēnās*), *Gannan* acc.sg., III 35<sub>16</sub> «Weib, moterj», *gennan* acc.sg., III 37<sub>3</sub>, 101<sub>15</sub>, 101<sub>23</sub> «Weib, moterj», *Gannan* acc.sg., III 35<sub>18</sub>, 103<sub>16</sub>, 109<sub>6</sub> «Weib, moterj», *Gannan* acc. sg., III 41<sub>7</sub> «Weyb, moterj», *Gen|nan* acc.sg., III 105<sub>7–8</sub> «Weibs, moteries» (≤ \**gēnān*), *prei Gennan* acc.sg., III 105<sub>1</sub> «zum Weibe, prie moters», *Gennai* nom.pl., III 93<sub>12</sub> «Weiber, moterys», *gennai* nom.pl., III 103<sub>20</sub>, 103<sub>25</sub> «Weiber, moterys» (≤ \**gēnāi*), *gennāmans* dat.pl., III 93<sub>11</sub>

«[Ehe]frawen, moterims» (≤ \**gēnāmans*), *Gennans* acc.pl., III 103<sub>6</sub> «Weiber, moteris», *gennans* acc.pl., III 93<sub>5</sub> «Weibern, moteris», *gannans* acc. pl., III 103<sub>15</sub> «Weiber, moteris» (≤ \**gēnāns*) (для балтийского акцентного типа ср. слав. \**ženā*, acc.sg. \**ženoq* > \**ženōq*, а.п. б). || [ТОПОРОВ 1979: 207–210]; [MAŽIULIS I: 351–352]; [ENDZELĪNS IV, 2: 219]; [ФАСМЕР II: 46].

2. прусс. *widdewū* nom.sg., III 97<sub>10</sub> «Widwe, našlè» (≤ \**widēwū*), *Widde-wūmans* dat.pl., III 97<sub>9</sub> «Widwen, našlēm̄s» (≤ \**widēwūmans*) (для балтийского акцентного типа ср. др.-инд. (RV) *vidhāvā* ‘вдова’; слав. \**vdovā*, acc.sg. \**vdovōq* > \**vdovōq*, а.п. б). || [MAŽIULIS 4: 234, 236–237]; [ENDZELĪNS IV, 2: 336]; [ФАСМЕР I: 281–282].

3. прусс. *ni is* [*supfai*] *iprefnā* gen.sg., III 45<sub>9</sub> «nicht aus eigener Vernunft, ne iš [nuosavo] proto» (≤ \**isprasnā*<sup>9</sup>); *fen* [*isprasnān*] (instr.) acc.sg.<sup>10</sup> III 93<sub>6</sub> «mit vernunft, su supratimu» (≤ \**isprasnān*; краткостный корень, образование того же типа, что и разобранные в предыдущем разделе под №№ 12–16, установление акцентного типа возможно лишь при принятии доминантности суффикса *-snā-*). || [ТОПОРОВ 1980: 83–86]; [MAŽIULIS 2: 46–47]; [ENDZELĪNS IV, 2: 229]; [FRAENK. I: 646–647; II: 658].

4. прусс. *femmē* nom.sg., III 105<sub>17</sub> «Erde, žemē» (≤ \**zēmē*); *Semmien* acc.sg., III 127<sub>4</sub> «Erden, žemē», *femmien* acc.sg., III 105<sub>27</sub> «erden, žemē» (≤ \**zēmīn*), *prei femman* acc.sg., III 105<sub>15</sub> «zur Erden, prie žemēs» (≤ \**zēm(i)ān*), *prei femmien* acc.sg., III 105<sub>17</sub> «zur Erden, prie žemēs»; *femmai* [*ēilai*] adv., III 121<sub>3</sub> «vntergehe, žemyn [eitu]», *Semmai* adv., III 127<sub>12</sub> «Nider[gefaren], žemyn» (≤ \**zēmāi*) || *nofemien* III 29<sub>19</sub> «im land, ant žemēs» (? ≤ \**nō zēmen*), *nofemien* III 107<sub>3</sub>, 123<sub>21</sub> «auff Erden, ant žemēs», *nofem|mien* III 95<sub>3–4</sub> «auff Erden, ant žemēs» (для балтийского акцентного типа ср. лит. литер. *žemė* (2), Śl. *žemė* (2); др.-лит. DP *žeme* 2-ой а.п., так же в памятниках Прусской Литвы и повсеместно по диалектам, см. [Иллич-Свитыч: 108]; указанное [FRAENK. 1299] диал. вост.-лит. *žemė* с ссылкой на [OTRĘBSKI NTwer I: 25] отмечено в этом диалекте лишь у детей: *žemė*, — и, вероятно, является инновацией по *žemėn*, ударение которого, как предположил Я. Отремьский, может быть связано с *žēmas*, -ā ‘niski’, обычная форма этого диалекта, приводимая им там же (не ясно, насколько употребительная): *žēme* ‘ziemia’). || [MAŽIULIS 4: 58–60]; [ENDZELĪNS IV, 2: 303]; [FRAENK. II: 1299, 1298].

5. прусс. *garrin* acc.sg., III 65<sub>27</sub> «Baum», *garrin* acc.sg., III 105<sub>8</sub> «Baum, medžio» (≤ \**gārjān*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *giriā* 2-ой а.п. ‘лес’, диал. жемайт. *girė*). || [ТОПОРОВ 1979: 163–165]; [MAŽIULIS I: 326–327]; [ENDZELĪNS IV, 2: 217]; [FRAENK. I: 153].

6. прусс. *Buttas* gen.sg., III 85<sub>16</sub> «Hauß[tafel], buto» (≤ \**būtās*), *Bnttas* gen.sg., III 95<sub>20</sub> «Hauß[frawen], buto» (опечатка, вместо: *Buttas* ≤ \**būtās*),

<sup>9</sup> Обычно раскрывается как *ispresnan*, но такая трактовка ничем не подтверждается, а передвижение акцента в подобного рода основах вполне регулярно.

<sup>10</sup> О дискуссии по поводу предположения, что в этой форме отразился реликт старого instr.sg. см. [2: 83–86].



*buttan* acc.sg., III 35<sub>7</sub> «Haus, buta», III 35<sub>12</sub> «Hauße, buto», III 87<sub>6</sub> «Hauße, butui», III 97<sub>21</sub> «bute», *buttan* III 41<sub>6-7</sub> «Haus, buta» (≤ \**bütān*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *būtas* 2-ой а.п. 'квартира') || [ТОПОРОВ 1975: 274–277]; [MAŽIULIS I: 167–168]; [ENDZELĪNS IV, 2: 192]; [FRAENK. I: 68].

7. прусс. *Peckan* acc.sg., III 35<sub>18</sub>, *peckan* acc.sg., III 37<sub>4</sub> «Viehe, pekū» (≤ \**pēkān*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. диал. *Šl. pēkus*, gen. sg. *pēkaus* 2 'bydlo', др.-инд. *pāsu-* п. 'мелкий домашний скот', др.-сакс. *fehū*, др.-англ. *feoh* 'Vieh, Besitz, Eigentum', др.-в.-нем. *fehō, fihu* 'Vieh', см. [6: 62–63]). || [MAŽIULIS 3: 245–246]; [ENDZELĪNS IV, 2: 273]; [FRAENK. I: 564–565].

8. прусс. *Labbas* gen.sg., III 53<sub>14</sub> «Gut, turtu», III 57<sub>8</sub> «Guts, turto» (≤ \**lābās*), *labban* acc.sg., III 33<sub>10</sub>, 33<sub>12</sub> «Gut, turta», *labban* III 83<sub>16</sub> «Güte, gerumo» (≤ \**lābān*), *labban* acc.pl., III 41<sub>8</sub> «Güter, turtus», *labban* acc.pl., III 117<sub>7</sub>, 131<sub>22</sub> «Güter, turtu» (≤ \**lābāns*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *lābas*, nom.pl. *lābai* 2-ой а.п. 'благо'). || [ТОПОРОВ 1984: 401–410]; [MAŽIULIS 3: 14–15]; [ENDZELĪNS IV, 2: 247–248]; [FRAENK. I: 327].

9. прусс. *labban* nom.sg. n., III 89<sub>14</sub>, 91<sub>18</sub>, 101<sub>9</sub> «gut, gēra», III 107<sub>5</sub> «Gut, gēra», acc.sg. n., III 95<sub>16</sub> «gutes, gēra» (≤ \**lābān*), *labbas* gen.sg. n., III 35<sub>3</sub> «guts, gero» (≤ \**lābās*), *labban* acc.sg. m., III 53<sub>14</sub> «frumb, tinkama», III 53<sub>16</sub>, acc.sg. f., III 53<sub>15</sub> «gut, gera», III 107<sub>7</sub> «guts, gera», *labban* acc.sg. n., III 55<sub>11</sub> «wol[thun], gera», III 37<sub>18</sub> «wol, gera», III 39<sub>6</sub> «Guts, gera», *fen labban* (instr.) acc.sg. m., III 95<sub>14</sub> «mit gutem, su gera» (≤ \**lābān*), *Labban* acc.pl. f., III 53<sub>17</sub> «gute, gerus», *labban* acc.pl. f., III 53<sub>14</sub> «fromme, šaunia», acc.pl. m., III 93<sub>2</sub> «fromen, geriems» (≤ \**lābāns*), *labbai* adv., III 49<sub>16</sub>, 51<sub>9</sub>, 55<sub>9</sub>, 73<sub>3</sub>, 77<sub>13</sub>, 87<sub>25</sub>, 97<sub>13</sub>, 97<sub>21</sub> «wol, gerai», *labbai* adv., III 87<sub>6-7</sub> «wol, gerai» (≤ \**lābāi*), *labban* adv., III 29<sub>18</sub> «gerai», III 93<sub>15</sub> «wol[thut], gēra», III 95<sub>3</sub> «wol[gehe], gerai» (≤ \**lābān*) (по-видимому, прилагательное имело ту же а.п., что и представленное выше существительное: остатки 2-ой а.п. сохранились еще в DP: *lābafis* nom.sg. m. чл.ф., 540<sub>27</sub>, *lābai* adv., 72<sub>38</sub>, *lābāi* adv. (с двумя знаками ударения) 36<sub>20</sub>, 97<sub>15</sub>, 468<sub>38</sub>, *lābāi* adv. 320<sub>39-40</sub>, — эта же парадигма отражена в акцентровке форм сравн. степени: *lābābefnis* nom.sg. m., 542<sub>3-4</sub>, *lābafne* nom.sg. f., 445<sub>30</sub>; хотя в целом переход в 4-ю а.п. уже совершился, см. большой набор форм этой а.п. в DP у [KUDZ. I: 403–405]). || [ТОПОРОВ 1984: 401–410]; [MAŽIULIS 3: 14–15]; [ENDZELĪNS IV, 2: 247–248]; [FRAENK. I: 327].

10. прусс. *wiffa* nom.sg. f., III 79<sub>16</sub> «alle, visā» (≤ \**uīsā*), *wiffas* gen.sg. f., III 115<sub>6</sub> «aller, visōs» (≤ \**uīsās*), *wiffan* nom.sg. n., III 107<sub>4</sub>, 121<sub>3</sub>, acc.sg. n., III 107<sub>3</sub> «alles, visa», III 57<sub>2</sub> «viso», *wiffan* acc.sg. f., III 91<sub>12</sub> «allen, visa», III 121<sub>17</sub> «alle, visa», *wiffan* acc.sg. m., III 125<sub>17</sub> «allem, visam», *en wiffan* acc.sg. m., III 59<sub>14</sub> «in alle, i visa», *en wiffan* acc.sg. f., III 91<sub>17</sub> «in aller, visame», III 131<sub>2</sub> «inn allen, visoje», *Per wiffan* acc.sg. f., III 91<sub>15</sub> «für alle, dēl visos», *fen wiffan* (instr.) acc.sg. f., III 87<sub>7-8</sub> «mit aller, su visu» (≤ \**uīsān*), *wiffai* nom.pl. m., III 97<sub>17</sub> «alle, visi» (≤ \**uīsāi*), *wiffemans* dat.pl. m., III 39<sub>6</sub> «allen, visiems» (≤ \**uīsēmans*), *wiffamans* dat.pl. m., III 45<sub>19</sub>, 53<sub>5</sub>, 61<sub>5</sub>, «allen, visiems», *fen wiffamans* dat.pl. m., III 45<sub>23</sub> «lambt allen, su visais», *fen wiffamans* dat.pl. m., III 121<sub>10</sub> «mit allen, su

visais», *fen wiffamans* dat.pl. m., III 63<sub>16-17</sub> «mit allen, su visomis» (≤ \**uīsāmans*), *wiffans* acc.pl., III 41<sub>4</sub>, 41<sub>5</sub>, 41<sub>8</sub>, 59<sub>14</sub>, 115<sub>17</sub>, 119<sub>23</sub> «alle, visus», III 129<sub>17</sub> «alle, visās», *wiffans* acc.pl., III 107<sub>2</sub> «alles, visu», *prei wiffans* acc.pl., III 97<sub>18</sub> «für alle, prie visu», *en wiffans* acc.pl., III 103<sub>26</sub> «in allen, visuose» (≤ \**uīsāns*), *pra wiffans* acc.pl., III 85<sub>17</sub> «für allerley, dēl visu», *per wiffans* acc.pl., III 91<sub>14</sub> «für alle, dēl visu», *fen wiffans* acc.pl. m., III 133<sub>8</sub> «mit allen, su visais» (≤ \**uīsāns*), *wiffai* adv., III 91<sub>23</sub> «aller, visokiam» (≤ \**uīsāi*) (для балто-славянского и балтийского акцентного типа ср. слав. \**věsb*, \**věšā*, \**věše* > \**věsé*, об акцентном типе этого местоименного прилагательного см. [9: 36], подробно изучен акцентный тип этого слова в моих работах по закону Васильева–Долобко, см. [10] и [11]). || [MAŽIULIS 4: 248–249]; [ENDZELĪNS IV, 2: 339]; [FRAENK. II: 1264].

11. прусс. *nacktin* acc.sg., III 81<sub>16</sub> «nacht, nakti», *nacktilen* acc.sg., III 97<sub>12-13</sub> «nacht, nakti» (≤ \**nāktjān*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *naktis*, gen.sg. *naktiēs*, acc.sg. *nāktī* 4-ой а.п. 'ночь', слав. \**nōkŭ*, а.п. с; однако в говорах Прусской Литвы в XVII–XVIII вв. эта основа еще сохраняла реликты баритонезы, баритонированная форма отмечена также в DP: *nāktiie* loc.sg., DP 558<sub>14</sub>, эта акцентровка поддерживается также др.-инд. (RV) *nāktīs* nom.pl. 'ночи', см. [6: 60]; так как в индоевропейском, по-видимому, баритонированный тип был и у атематических имен, см. [Дыбо 2003, 131–161], ни сам процесс перевода атематических основ в *-i*-основы, ни его время не имеют существенного значения) || [MAŽIULIS 3: 168–169]; [ENDZELĪNS IV, 2: 264]; [FRAENK. I: 481–482].

### А.п. 3

1. прусс. *gallū* nom.sg., III 103<sub>22</sub> «Heupt, galva», *gallu* nom.sg., III 103<sub>23</sub> «Heupt, galva» (≤ \**galvū*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *galvā*, gen.sg. *galvōs*, acc.sg. *galvą* 3-ей а.п. 'голова', лтш. *galva* 'голова' и слав. \**golvā*, acc.sg. \**golvq*, а.п. с). || [ТОПОРОВ 1979: 147–151]; [MAŽIULIS I: 321–323]; [ENDZELĪNS IV, 2: 216]; [FRAENK. I: 131–132].

2. прусс. *Sālin* acc.sg., III 105<sub>13</sub> «Kraut, žolę» (≤ \**zālīan*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *žolė*, acc.sg. *žolę* 4 'трава', *Šl. žolė* 4 'trava, ziele', то же в др.-лит., см. [KUDZ. II: 481]; лтш. *zāle* 'Gras, Kraut'; в лит. переход из 3-ей а.п. в 4-ю а.п.). || [MAŽIULIS 4: 139]; [ENDZELĪNS IV, 2: 297]; [FRAENK. II: 1322].

3. прусс. *fwīrins* acc.pl., III 107<sub>2</sub> «Thier, žvērių» (≤ \**zūfirins*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *žvėris* 3-ей а.п., лтш. *zvērs* и слав. \**zvěrb*, а.п. с). || [MAŽIULIS 4: 179–180]; [ENDZELĪNS IV, 2: 322]; [FRAENK. II: 1327].

4. прусс. *fīras* gen.sg., III 95<sub>10</sub> «hertzen, širdies» (≤ \**sīras*), *fīru* dat.sg., III 115<sub>9</sub> «Hertzen, širdies» (≤ \**sīru*), *esse fīran* acc.sg., III 95<sub>14</sub> «von hertzen, nuo širdies», *fīran* acc.sg., III 65<sub>23</sub> «hertzen, širdyje» (≤ \**sīran*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *širdis*, gen.sg. *širdiēs*, acc.sg. *širdį* 3-ей а.п. 'сердце'; лтш. *širds*) || [MAŽIULIS 4: 94–95]; [ENDZELĪNS IV, 2: 302–303]; [FRAENK. II: 986–987].

5. прусс. *ainan* acc.sg. m., III 127<sub>20</sub> «ein, vieną» (≤ \**ainān*), *ainā* nom.sg. f., III 61<sub>21</sub> «ein, vienas» (≤ \**ainā*), *nainā* nom.sg. f., III 61<sub>20</sub> «kein, nė vienas»,

*nīainā* nom.sg. f., III 89<sub>18-19</sub> «kein, nè vienā», *en ainaffēi* gen.sg., III 115<sub>27</sub> «an eines, vieno» (≅ \**nīainā*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *vienas* 3-ей а.п. 'один'; лтш. *viēns* 'eins'). || [ТОПОРОВ 1975: 62–64]; [MAŽIULIS I: 56–57]; [ENDZELĪNS IV, 2: 170–171]; [FRAENK. II: 1239–1240].

6. прусс. *geijwas* gen.sg. m., III 63<sub>1</sub> «lebens, gyvenimo» (≅ \**gīwas*), *gijwans* acc.pl. [m.], III 43<sub>7</sub> «Lebendigen, gyvus» (≅ \**gīwans*), *geļwans* acc.pl. [m.], III 126<sub>15-16</sub> «Lebendigen, gyvus» (≅ \**gīwans*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *gīvas* 3-ей а.п. 'живой'; лтш. *dzīvs* 'lebedig; frisch, heil, unverletzt'). || [ТОПОРОВ 1979: 251–253]; [MAŽIULIS I: 362, 375]; [ENDZELĪNS IV, 2: 221]; [FRAENK. I: 154–155].

7. прусс. *vremmans* dat.pl. m., III 115<sub>9</sub> «Alten, seniems» (по-видимому, ≅ \*(*v*)*ūrāmāns*), ср. также acc.pl. m этого слова: *vras* III 115<sub>12</sub> «Alten, senus» (по-видимому, ≅ \*(*v*)*ūrāns*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. диал. *vorūšis* '(nach Krankheit) geschwächt' [SKARDŽ. ŽD 318], для тонирования ср. *vōrupē* 'altes Bach-, Flußbett'; приводимое в [FRAENK. II: 1274] тонирование *vōras* вторично, см. [BŪGA RR II: 720, 724] и LKŽ [vōras, -ā adj. (4) FRNW, NdŽ, KŽ, vōras (3) NdŽ, R, R17, 68, R180, MŽ, MŽ22, 90, SUT, N, [K] psp. 'labai senas']). || [MAŽIULIS 4: 211]; [ENDZELĪNS IV, 2: 331]; [FRAENK. II: 1274].

8. прусс. *īdai* nom.pl. f., III 75<sub>23</sub> 'еда' (балто-славянская основа подвижной а.п., ср. лтш. *ēda* 'Essen, Speise'; слав. \**ědъ*, gen.sg. \**ěda* m. [прусск. диал. *естъ едмъ*; укр. *їдѣм їсти, їдмъ їсти*]; слав. \**ědā*, acc.sg. \**ědō* > \**ědō* [прусск. *edā*, acc.sg. *edū*; укр. диал. (Торунь) *jidā*, acc.sg. -ū 'еда' [НИКОЛАЕВ-ТОЛСТАЯ 2001: 97]<sup>11</sup>; польск. диал. *jéda* 'gardziel, przelyk' SW; кашуб. *jāda* 'posilek, pokarm, strawa'; словинц. *ioda* 'еда' (Slovinz. Wb. I: 322); болг. *јада* 'вкус' [DUVERNOIS II: 2613]; такая система соответствий указывает на праславянский перевод основы в а.п. b, посредством метатонии; укр. *їдний Ж*; ст.-чеш. *jedný* 'съедобный, годный в пищу' — лит. *ėda* l, по-видимому, вторично: выравнивание смешанной а.п., возникшей в результате действия закона Хирта). || [ТОПОРОВ 1980: 27–28]; [MAŽIULIS 2: 16–17, 51]; [ENDZELĪNS IV, 2: 226–227, 229–230]; [FRAENK. I: 124–125]; [Sł. prast. 6: 116, 124, 127, 129]; [ЭССЯ 6: 38, 45–47, 49]; [ЕСУМ 2: 325].

9. прусс. *īftai* subst. nom.pl. (ошибочно вместо gen.pl.), III 77<sub>4-5</sub> «[neben] dem...Effen, [šalia] to...valgio», 'еда'; для балтийского и балто-славянского акцентного типа ср. лтш. *ēsts* part.praet. pass. [«mān gūltas netaišītas, istaba nemēsta, bruðkastis neēstas» Ērg. I: 319], pl. *ēsti* 'nagender Schmerz' [MÜHL.-ENDZ. I: 577], лтш. *ēstu* sup.; слав. \**ěstъ*, f. \**ěstā*, n. \**ěsto* [прусск. *сьестнѣюй*, укр. *їстний Ж*, *їстивнїй*, *їстовнїй*]; слав. \**ěstvā*, acc.sg. \**ěstvō* > \**ěstvō* [прусск. диал. *єства*, gen.sg. *єствы* ~ *єствā*, gen.sg. *єствѣй*; прусск. диал. *єство* ~ укр. *їствѣ*, СРНГ 9: 41] || [ТОПОРОВ 1980: 89–90]; [MAŽIULIS 2: 51–52]; [ENDZELĪNS IV, 2: 230]; [FRAENK. I: 124–125]; [ЕСУМ 2: 325].

<sup>11</sup> В обширной лексикографической литературе акцентный тип укр. *їда* не определен и не документирован; к сожалению, эта праславянская основа пропущена и в работе В. Г. Скляренко *Історія українського наголосу*. Іменник. Київ, 2006.

10. прусс. *drūcktai* adv., III 65<sub>12</sub> «feste, drūtai, tvirtai», 'крепко', соответствует лит. *drūtas* 3, диал. *drūktas* 3 'dick, fest, stark'; лтш. *drūkts* «resns, stiprs, zaļuoksnis, plecīgs» (U s. v. *gedrungen, stammhaft*) [BŪGA RR III: 206]. 3-я а.п. здесь первоначальна. || [ТОПОРОВ 1975: 377–380]; [MAŽIULIS I: 229–230]; [ENDZELĪNS IV, 2: 202]; [FRAENK. I: 107].

#### А.п. 4

##### Долготные имена

1. прусс. *ālgas* gen.sg., III 87<sub>18</sub>, 89<sub>3</sub> «lohns, algos» (≅ \**ālgas*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *algā*, acc.sg. *algā* 'оклад, жалование', 4-я а.п.). || [ТОПОРОВ 1975: 72]; [MAŽIULIS I: 65]; [ENDZELĪNS IV, 2: 173]; [FRAENK. I: 7].

2. прусс. *Merigu* nom.sg., III 67<sub>20-21</sub> «Magd, merga» (≅ \**mergū*); *Mērgan* acc.sg., III 35<sub>18</sub> «Magt, merga» (≅ \**mergan*); *Merīgūmans* dat. pl., III 95<sub>5-6</sub> «Megden, mergoms» (≅ \**mergūmans*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *mergā*, gen.sg. *mergōs*, acc.sg. *mergā* 'дева, девица; девка', а.п. 4 и так же в др.-лит. по DP). || [MAŽIULIS 3: 133–134]; [ENDZELĪNS IV, 2: 260]; [FRAENK. I: 439–440].

3. прусс. *prei Mārtin* acc.sg., III 107<sub>19</sub> «Braut, (prie) marčiai», *mārtan* acc.sg., III 109<sub>10</sub> «Braut, marčiōs» (≅ \**marṭan*, для балтийского акцентного типа ср. лит. *marti*, gen. sg. *marčiōs* 'сноха, невестка'). || [MAŽIULIS 3: 111–112]; [ENDZELĪNS IV, 2: 258]; [FRAENK. I: 412].

4. прусс. *wīrds* nom.sg., III 61<sub>17</sub> «wort, žodis» (≅ \**wīrds*), *en|wirdemmans* dat.pl., III 33<sub>1-2</sub> «inn wortten, žodžiuose», *fen wirdemmans* III 67<sub>7</sub> «mit wortten, su žodžiais» (≅ \**wirdēmāns*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *vařdas* а.п. 4 'имя; название, наименование', ŠL. *vařdas* 4 'imię; nazwa' и так же в др.-лит. по DP: nom.pl. *wardāi* 271<sub>15</sub>, 542<sub>a9</sub>, *wardāi* 271<sub>14</sub>, acc.pl. *wardūs* 259<sub>46</sub>, 464<sub>30</sub>, 623<sub>5</sub>; при вторичном варианте: nom.pl. *wārdai* 621<sub>24</sub>, gen.pl. *wār=|dy* 532<sub>18-19</sub>) || [MAŽIULIS 4: 245–246]; [ENDZELĪNS IV, 2: 338]; [FRAENK. II: 1198].

5. прусс. *Waikammans* dat.pl., III 95<sub>5</sub> «Knechten, bernams» (≅ \**waikāmāns*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *vaikas*, nom. pl. *vaikai* 4-ой а.п. 'дитя, ребенок; мальчик', так же в др.-лит. по DP: *waikai* 67<sub>6</sub>, 141<sub>9</sub>, 191<sub>51</sub>, 306<sub>31</sub>, 413<sub>47</sub>, 474<sub>14</sub>, 549<sub>7</sub>, *wai=kai* 142<sub>3-4</sub>, *waikai* 9<sub>38</sub>, *waykai* 70<sub>20</sub>, gen.pl. *waikū* 65<sub>46</sub>, 125<sub>30</sub>, 192<sub>2</sub>, 374<sub>37</sub>, 396<sub>35</sub>, 410<sub>38</sub>, *waikū* 28<sub>1</sub>, dat.pl. *waykāmūs* 66<sub>43</sub>) || [MAŽIULIS 4: 213]; [ENDZELĪNS IV, 2: 332]; [FRAENK. II: 1180–1181].

6. прусс. *āufins* acc.pl., III 41<sub>4</sub> «Ohren, ausis» (≅ \**āūsins*, интонация корневого слога устанавливается по правилу Фортунатова; для интонации и для балтийского акцентного типа ср. лит. *ausis*, gen.sg. *ausiēs*, acc.sg. *āūsī* 4-ой а.п. 'ухо') || [MAŽIULIS I: 123]; [ENDZELĪNS IV, 2: 185]; [FRAENK. I: 26].

7. прусс. *Tīrt* nom.sg. m., III 29<sub>7</sub> «Dritte, trečias», III 45<sub>1</sub> «Dritte, trečia», *en|Tīrtfmu* dat.sg., III 63<sub>3-4</sub> «am Dritten, trečiame», *Prei Tīrtfmu* dat.sg., III 61<sub>13</sub>, 105<sub>18</sub> «Zum Dritten, prie trečio», *En|tīrtan* acc.sg., III 43<sub>2-3</sub> «Am dritten, trečioje», *en|tīrtin* acc.sg., III 37<sub>15-16</sub> «ins Dritte, į trečią», *tīrtian* acc.sg., *en tīrtian* acc.sg. f., III 127<sub>12</sub> «am dritten, trečioje» (≅ \**tīrtiṭan*) (для балтийского ак-

центного типа ср. лит. *trėčias* 4-ой а.п. 'третий', так же в др.-лит. по DP) || [MAŽIULIS 4: 194–195]; [ENDZELĪNS IV, 2: 327]; [FRAENK. II: 1114–1115].

8. прусс. *Antrā* nom.sg. f., III 49<sub>13</sub> «Ander, antras» (≤ \**antrā*), *ān|tran* acc.sg. m., III 87<sub>23–24</sub> «antra» (≤ \**añtran*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *añtras* 4-ой а.п. 'второй, другой'). || [MAŽIULIS I: 84]; [ENDZELĪNS IV, 2: 176]; [FRAENK. I: 12].

9. прусс. *Piēnctis* nom.sg. m., III 31<sub>7</sub> «Fünffte, penktas» (≤ \**peñkts*), *Pienctā* nom.sg. f., III 53<sub>19</sub> «Fünffte, penktas» (≤ \**penktā*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *peñktas* 4-ой а.п. 'пятый') || [MAŽIULIS 3: 254]; [ENDZELĪNS IV, 2: 274–275]; [FRAENK. I: 570].

10. прусс. *mensā* nom.sg., III 101<sub>19</sub> «Fleisch, kūnas» (≤ \**mensā*; для балтийского акцентного типа ср. слав. \**měso* а.п. с, др.-инд. *māmsām*, герм. \**mimzā* 'мясо', см. [6: 152]) || [MAŽIULIS 3: 130–131]; [ENDZELĪNS IV, 2: 259–260]; [FRAENK. I: 442].

11. прусс. *kērmens* nom.sg., III 73<sub>15</sub> «Leib, kūnas», III 75<sub>5</sub> «Leyb, kūnas» (≤ \**keřmens*), *kēř|menen* acc.sg., III 103<sub>15–16</sub> «Leibe, kūna», *Kēř|mmen* acc.sg., III 81<sub>17–18</sub> «Leib, kūna», *kēřmenan* acc.sg., III 41<sub>3</sub> «Leyb» (≤ \**keřm(e)nən*) (др.-инд. *cārma* n. 'Haut, Fell' не показательно акцентологически из-за генерализации баритонезы в именах ср. р. на *-man-*, пушту, где такой генерализации, по-видимому, не было, сохраняет окситонезу: афг. *carman* f. 'шкура, кожа', см. [18: специально 100–101]. А.п. с показывает и родственное слав. \**čěrvo*. О сохранении в балто-славянском двух акцентных типов имен ср. р. на *-men-* свидетельствуют славянские данные) || [MAŽIULIS 2: 168–171]; [ENDZELĪNS IV, 2: 237–238]; [ФАСМЕР IV: 337].

Конечноударный акцентный тип из краткостных имен 4-ой а.п.

1. прусс. *Ackis* nom.pl., III 83<sub>8</sub> «Augen, akys» (≤ \**ākis*), *ackins* acc.pl., III 41<sub>4</sub> «Augen, akis», III 95<sub>11</sub> «augen, akis» (≤ \**ākins*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *akis*, gen.sg. *akiės*, acc. sg. *ākį* 4-ой а.п. 'глаз, око') || [MAŽIULIS I: 49]; [ENDZELĪNS IV, 2: 172, 169–170]; [FRAENK. I: 5].

2. прусс. *gallan* acc.sg., III 43<sub>3</sub> «Todten, mirties», *gallan* acc.sg., III 115<sub>4</sub> «Todes, mirčiai», *Gallan* acc.sg., III 115<sub>13</sub> «Todt, mirties», *effe gallan* acc.sg., III 127<sub>13</sub> «von den Todten, nuo mirties» (≤ \**gālān*), *Gallans* acc.pl., III 65<sub>2</sub> «Todten, mirčių» (≤ \**gālāns*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *gālas* 4-ой а.п. 'конец', та же а.п. в др.-лит. по DP) || [MAŽIULIS I: 319–321]; [ENDZELĪNS IV, 2: 216]; [FRAENK. I: 130].

3. прусс. *abbai* nom.pl., III 99<sub>20</sub> «abu», *abbai* nom.pl., III 103<sub>1</sub> «beide, abu», (≤ \**ābāi*), *prei|abbans* acc.pl., III 101<sub>25–26</sub> «zu [jnen] beiden, abiejų» (≤ \**ābāns*), *abbaien* III 113<sub>19</sub> «beide, ābeja» (для балтийского акцентного типа ср. лит. *abū*, *abi* 'оба, обе', др.-лит. по DP: gen.m. *abieių* 270<sub>4</sub> и др., *abieių* 232<sub>44</sub>, gen. f. *abieių* 133<sub>27</sub>, dat.m. *abiēm* 269<sub>40</sub>, dat.f. *abiēm* 239<sub>17</sub> и др., см. [KUDZ. I: 2–3]; слав. nom.-acc.du. \**ōba*, \**ōbē*, gen.-loc. \**obojū*, dat.-instr. \**obēmā*, см. [9: 36]) || [MAŽIULIS I: 39]; [ENDZELĪNS IV, 2: 167]; [FRAENK. I: 1].

4. прусс. *Duckti* nom.sg., III 67<sub>4</sub> «Tochter, duktē», *duckti* nom.sg., III 93<sub>14</sub> «Töchter, duktē» (≤ \**dūkti*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *duktē*, gen.sg. *dukterš*, acc.sg. *dūkterį*, а.п. 3<sup>б</sup> 'дочь', та же а.п. в др.-лит. по DP, а.п. с в славянском) || [MAŽIULIS I: 235]; [ENDZELĪNS IV, 2: 203]; [FRAENK. I: 110].

5. прусс. *gillin* acc.sg., III 101<sub>12</sub> «tieffen, gilų» (≤ \**gīlān*) [для балтийского акцентного типа ср. лит. *gilūs* 4-ой а.п. 'глубокий', та же а.п. в др.-лит.: *gilūs* nom.sg. m., DP 76<sub>33</sub>, 342<sub>26</sub>, 601<sub>48</sub>, *gīlāus* gen.sg. m., DP 289<sub>14</sub>, *gilōs* gen.sg. f., DP 99<sub>34</sub>, чл.ф. *gilōfios* gen.sg. f., DP 28<sub>39</sub>, *gilą* acc.sg. f., DP 622<sub>32</sub>, *gilāfes* acc.pl. f., DP 517<sub>30</sub>, а также отражение подвижного акцентного типа в форме ср. степени: *gilēfnis* nom.sg. m., DP 146<sub>41</sub>] || [MAŽIULIS I: 363–364]; [ENDZELĪNS IV, 2: 220]; [FRAENK. I: 151].

6. прусс. *kittan* acc.sg., III 55<sub>21</sub> «ander, kitą» (≤ \**kītān*), *kittans* acc.pl., III 27<sub>6</sub> «andere, kitus» (≤ \**kītāns*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *kitas* 4-ой а.п. 'другой; иной; второй') || [MAŽIULIS 2: 205–207]; [ENDZELĪNS IV, 2: 240]; [FRAENK. I: 260–261].

7. прусс. *ginnis* nom.pl., III 113<sub>9</sub>, 123<sub>8</sub> «Freunde, draugai» (≤ \**gīnis*), *ginnins* acc.pl., III 53<sub>17</sub> «Freunde, draugus» (≤ \**gīnins*) (связывают с лит. *giminė*, а.п. 3<sup>б</sup> 'родня; родственник, -ица; род', см. однако сомнения В. Н. Топорова (с. 239); словообразовательные отношения в прусском как будто указывают на первичный подвижный акцентный тип этого слова, ср. *ginne-wīngiškan* adv. III 113<sub>10</sub> «freundtlich, draugiškai»; но ср. др.-лит. акцентовку глагола, с корнем которого связывают это имя: в DP praes. 3. sg. *vžgėma* 585<sub>31</sub>, *vžgėma* 520<sub>6</sub> 'narodzić się' [совр. лит. praes. 3.sg. *užgimsta*, inf. *užgimti* 'родиться'], т.е. неподвижный акц. тип, не навязанный морфологическим классом; производное от такого глагола скорее всего должно иметь неподвижную а.п.; поэтому этимология остается ненадежной) || [ТОПОРОВ 1979: 238–241]; [MAŽIULIS I: 364–366]; [ENDZELĪNS IV, 2: 220]; [FRAENK. I: 151].

*Примечание.* В предварительной публикации первой части этой работы мной рассматривалось прусс. *kifman* (acc.sg.) как относящееся к неподвижному акутированному типу:

9. прусс. *Stankifman* acc.sg., III 101<sub>1</sub> «Dieweil, tą metą (, kai)», III 115<sub>1</sub> «Dieweyl, tą metą (, kai)», *Stankifman kai* acc.sg., III 103<sub>1</sub> «Weil, tą metą, kai», *Stankifman kai* acc.sg., III 105<sub>6–7</sub> «Dieweil, tą metą, kai», *stan kifman* III 131<sub>6</sub> «ta metą», *stankifman* III 125<sub>1</sub> «dieweil, tą metą (, kai)», *stan kifman kai* III 123<sub>9</sub> «ta metą» (≤ \**kīfman*; акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ī*, слово связывается с южн.-слав. \**čāsъ*, а.п. a: схрв. *čas* 'мгновение' (*čacumu* 'weilen'), *časom* adv. словен. *čas*, gen. sg. *časq* 'время'; вост.-слав. \**čāsъ*, gen.sg. \**čāsa* > \**časā*, а.п. b: др.-русск. gen.sg.: до сѣ часа Чуд. 65, ѿ третьяго часа Чуд. 76, къ времени часа Чуд. 133, польз часа Чуд. 152, ѿ часа того Чуд. 161; dat.sg.: часѣ Чуд. 39, часѣ Чуд. 65; loc.sg.: О первѣ же на-г-часѣ Чуд. 11, о днѣ и чѣѣ Чуд. 16; такая ситуация встречается при метатонии «акут ⇒ циркумфлекс», когда первично акутированный корень рецессивен, а суффикс доминантен, при сохранении словообразовательных отношений возможно региональное восстановление первичной слоговой интонации || [ТОПОРОВ 1984: 33–37]; [MAŽIULIS 2: 200–204]; [ENDZELĪNS IV, 2: 240]; [FRAENK. I: 73]; [ФАСМЕР IV: 318].

Принятие рецессивности корня должно привести к реконструкции у основы *kīfman* 3-й а.п., о рецессивности суффикса *-man*, см. [НИКОЛАЕВ 1989: 62–70]. Однако просодический характер славянской основы остается не вполне ясным из-за отсутствия её надежной этимологии, поэтому основу *kīfman* приходится пока устранить из рассмотрения.

Таким образом, в настоящее время удастся распределить большую группу прусских словоформ по балтийским акцентным типам. Если отвлечься от прусского акцентного типа, который мы определили как конечноударный, то для представления о судьбе балтийских акцентных типов в прусском будут релевантны, в основном, формы ном.сг. ф. *ā*-основ и формы дат.п.л. м. и ф. *o*- и *ā*-основ, сопоставление этих форм с формами асс.сг. уточнит характер этих типов: подвижность ~ неподвижность или окситонеза ~ баритонеза, о позициях действия закона де Соссюра, возможно, дает информацию сопоставление форм ном.сг. ф. *ā*-основ и асс.п.л. Выпишем их здесь по парадигмам:

## А.п. 1

ном.сг. ф. *ā*-основ: прусс. *Salūbfna* (≤ \**salūbsna*), *Powackīfna* (≤ \**powakīfna*), *Enteikūfna* (≤ \**enteikūfna*) || лит. *diūona*, *jūra*, *liepa*, *plūnksna*, *mālksna*.

ном.сг. ф. атематических основ: прусс. *Mūti* (≤ \**mūti*) || лит. *môtė*.

ген.сг. *ā*-основ: прусс. *Tāwas* (≤ \**tāwas*), *mijlas* (≤ \**mīlas*), *dīlas* (≤ \**dīlas*), *grīkas* (≤ \**grīkas*) || лит. диал. *tėvo*, *mýlo*.

асс.сг. *ā*-основ: прусс. *gīdan* (≤ \**gīdan*) || лит. *gėdą*.

асс.сг. ф. *é/īā*-основ: прусс. *en iūrin* (≤ \**iūriān*) || лит. диал. *jūrę*.

асс.сг. м. *ā*-основ: прусс. *tāwan* (≤ \**tāwan*), *wijran* (≤ \**wīran*), *mīlan* (≤ \**mīlan*), *Dīlan*, *dijlan* (≤ \**dīlan*), *Salūban*, *Sa|lūbin* (≤ \**salūbān*) || лит. *tėvą*, *výrą*, диал. *mýlą*.

ном.п.л. *ā*-основ: прусс. *Wijrai* (≤ \**wīrai*), *grīkai* (≤ \**grīkai*) || лит. *výrai*.

дат.п.л. м. *ā*-основ: прусс. *wijrimans* (≤ \**wīrāmans*) || лит. *výrams*.

асс.п.л. м. *ā*-основ: прусс. *tāwans* (≤ \**tāwans*), *Wīrans* (≤ \**wīrans*), *dīlans*, *dīlins* (≤ \**dīlāns*), *grīkans*, *grijkans* (≤ \**grīkans*), *kaūlins* (≤ \**kāulāns*) || лит. *tėvus*, *výrus*, *kāulus*.

adv. от adj. *ā*-основ: прусс. *skīstai* (≤ \**skīstai*) || лит. *skystai* adv., из-за перехода в подвижный акцентный тип.

## А.п. 2

## Долгосложные

ном.сг. ф. *ā*-основ: прусс. *imtā* (≤ \**imiā*), *Maddla* (≤ \**mādlā*), *etwerpfnā* (≤ \**etwerpsnā*), *Spignā* (≤ \**spignā*), *Crixtifnā* (≤ \**krikstisnā*) || др.-лит. \**imtā*, \**maldā*; лит. *rankā*, *vištā*.

асс.сг. ф. *ā*-основ: прусс. *rānkan* (≤ \**rañkan*), *madlin* (≤ \**mādlān*), *fwāigfian* (≤ \**zūaigstan*), *kērdan* (≤ \**keřdan*), *Spīgsnan* (≤ \**spīgsnan*), *En prakāifnan* (≤ \**prakaifnan*) || лит. *rañką*, др.-лит. \**malīdą*, слав. \**zvézdq* > \**zvézdq̇*, слав. \**čeřdq* > \**čeřdq̇*.

асс.сг. м. *ā*-основ: прусс. *prātin* (≤ \**prātān*), *tārin* (≤ \**tārān*), *quāitan*, *quāitīn* (≤ \**quāitān*), ? *kērdan* (≤ \**keřdan*) || лит. *prōtą*, *rātą*, *piřstą*, *mētą*.

instr.сг. ф. *ā*-основ: прусс. *fen...rānkān* (≤ \**rañkān*), *fen... quāitīn* (≤ \**quāitān*), *fen biāfnan* (≤ \**bijāfnan* или \**bijāsnan*, если метатонии в этой форме не было) || лит. *rankā*, диал. *džiūsna*, *lūsna*.

instr.сг. ф. *u*-основ: прусс. *fen Wēisin* (≤ \**weīsiān*) || лит. *vaīsiumi*.

ном.п.л. *ā*-основ: прусс. adj. *kārtai* (≤ \**kařtai*) || лит. *rātai*, *piřstai*.

дат.п.л. м. Для поведения акцентовки долготных имен 2-ой а.п. в незавидительствованном дат.п.л. м., ср. прусс. *fwāimans* дат.п.л., III 87<sub>13</sub> 'jren', 'saviems' (≤ \**swāimans*, циркумфлекс устанавливается по правилу ФОРТУНАТОВА) || лит. *piřstams*.

асс.п.л. ф. *ā*-основ: прусс. *rānkans* (≤ \**rañkans*) || лит. *rankās*.

асс.п.л. м. *ā*-основ: прусс. \**prēipīrstans* (≤ \**piřstans*) || лит. *pirštūs*.

instr.п.л. ф. *ā*-основ: прусс. *fen [fenditans]* | *rānkans* (≤ \**rañkans*) || лит. *rañkomis*.

## Краткосложные

ном.сг. ф. *ā*-основ: прусс. *Genno* (≤ \**gēnō*), *widdewū* (≤ \**wīdewū*), *wiffa* (≤ \**uīšā*) || слав. \**ženā*, \**vъdovā*; лит. *balā*, *druskā*, *vištā*.

ном.сг. ф. *é/īā*-основ: прусс. *femmē* (≤ \**zēmē*) || лит. *žēmė*.

ген.сг. ф. *ā*-основ: прусс. *gennas* (≤ \**gēnās*), *Buttas* (≤ \**būtās*), *Labbas*, *labbas* (≤ \**lābās*), *wiffas* (≤ \**uīšās*) || лит. *bālos*, *druskos*, *vištos*, слав. \**ženq̇*.

ген.сг. м. *ā*-основ: ? прусс. *ifpřfnā* (≤ \**isprāsnā*), ? *Buttas* (≤ \**būtās*) || лит. (*prōto*, *būto*).

асс.сг. ф. *ā*-основ: прусс. *gennan*, *Gannan* (≤ \**gānān*) || лит. *bālq*, *vištq*, *druskq*, *pliksnq*.

асс.сг. ф. *é/īā*-основ: прусс. *femmiēn* (≤ \**zēmīān*), *garrin* (≤ \**gāriān*) || лит. *žēmė*.

асс.сг. м. *ā*-основ: прусс. *labban*, *labban* (≤ \**lābān*), *wiffan* (≤ \**uīšān*), *buttan* (≤ \**būtān*), *peckan* (≤ \**pēkān*) || лит. *lābq*, *vištq*, др.-лит. *pėkų* DP 365<sub>53</sub>.

асс.сг. ф. *i*-основ: прусс. *nacktin* (≤ \**nāktin*) || лит. *nāktī*.

instr.сг. ф. *ā*-основ: прусс. *fen ifpřfnān* (≤ \**isprāsnān*), *fen* | *wiffan* (≤ \**uīšān*) || лит. *balā*, *vištā*, *višā*.

instr.сг. м. *ā*-основ: прусс. *fen labban* (≤ \**lābān*) || лит. *labū*.

ном.п.л. ф. *ā*-основ: прусс. *Gennai*, *gannai* (≤ \**gānāi*), *wiffai* (≤ \**uīšāi*) || лит. *bālos*, *vištos*, *visos*.

дат.п.л. ф. *ā*-основ: прусс. *gennāmans* (≤ \**gēnāmans*), *Widdewūmans* (≤ \**uīdewūmans*) || лит. *bāloms*, *vištoms*.

дат.п.л. м. *ā*-основ: прусс. *wiffamans* (≤ \**uīšāmans*) || лит. *visiems* (переход в подвижный тип).

асс.п.л. ф. *ā*-основ: прусс. *gennans*, *gannans* (≤ \**gānāns*) || лит. *balās*, *vištās*.

асс.п.л. м. *ā*-основ: прусс. *labbans* (≤ \**lābāns*), *wiffans* (≤ \**uīšāns*) || лит. *labūs*, *visūs*.

## А.п. 3

ном.сг. ф. *ā*-основ: прусс. *gallū* (≤ \**gallū*), *ainā* (≤ \**ainā*), *niainā* (≤ \**niainā*) || лит. *galvā*, *vienā*.

gen.sg. корневых основ: прусс. *fīras* (≡ \**sīras*) || лит. *širdiės* (диал. *širdės*).  
gen.sg. m. ā-основ: ? прусс. *geijwas* (≡ \**gīwas*) || лит. *gývo* (морфемная перестройка).

acc.sg. f. *é/jā*-основ: прусс. *Sālin* (≡ \**zāliən*) || лит. *žolę*.

acc.sg. m. ā-основ: прусс. *aīnan* (≡ \**áinan*) || лит. *vieną*.

acc.sg. корневых основ: прусс. *fīran*, *fijran* (≡ \**sīran*) || лит. *širdį* (др.-лит. *širdį* DP 134<sub>41</sub>, 397<sub>35</sub>, 553<sub>28</sub> и др.).

nom.pl. f. ā-основ: прусс. *īdai* (≡ \**īdai*), *īftai* (≡ \**īstai*) || (лит. *žmonos, pėdos*).

dat.pl. m. ā-основ: прусс. *vremmans* (≡ \*(*u*)*ūrēmāns*) || лит. *vorąms* [*vōras*, -ā adj. (4) FRNW, NDŽ, KŽ, *vōras* (3) NDŽ, R, R 17, 68, R 180, MŽ, MŽ 22, 90, SUT, N, [K] psn. 'labai senas'], *bernąms*.

acc.pl. m. ā-основ: прусс. *geijwans*, *gijwans* (≡ \**gīwans*) || лит. *gývus, bėrnus*.

nom.pl. f. ā-основ: ? прусс. *īftai* (≡ \**īstai*) || лит. *bernai, rytai*.

adv. от adj. ā-основ: прусс. *drücktai* (≡ \**drücktai*) || лит. *drūtai* (диал. *drūktai*).

#### А.п. 4

##### Долгосложные

nom.sg. f. ā-основ: прусс. *Mer|gu* (≡ \**mergū*), *mensā* (≡ \**mensā*), *Antrā* (≡ \**antrā*), *Piencktā* (≡ \**penktā*) || лит. *mergà, antrà, penktà*, диал. (жемайт.) *mēsà* Salantai, *māsà* Klaipėda 'мясо'.

gen.sg. f. ā-основ: прусс. *ālgas* (≡ \**aīlgas*) || лит. *algōs*.

acc.sg. f. ā-основ: прусс. *Mērgan* (≡ \**meīrgan*) || лит. *meīgą*.

acc.sg. f. *é/jā*-основ: прусс. *tīrtan*, *tīrtin*, *tīrtian* (≡ \**tīrtiən*), *mārtan*, *Mārtin* (≡ \**maīrtiən*) || лит. *trėčią, maīčią*.

acc.sg. m. ā-основ: прусс. *ān|tran* (≡ \**aīntran*) || лит. *aīntrą*.

dat.pl. f. ā-основ: прусс. *Mer|gūmans* (≡ \**mergūmans*) || лит. *mergōms*.

dat.pl. m. ā-основ: прусс. *Waikammans* (≡ \**uāikēmāns*), *wirdeammans* (≡ \**uīrdēmāns*) || лит. *vaikąms, vardąms*.

acc.pl. f. ī-основ: прусс. *āufins* (≡ \**aūsins*) || лит. *ausis*.

##### Краткосложные

nom.sg. f. атематических основ: прусс. *duckti* (≡ \**dūkti*) || лит. *duktė*.

acc.sg. m. ā-основ: прусс. *gallan* (≡ \**gālān*), *kittan* (≡ \**kītān*) || лит. *gālą, kitą*.

nom.pl. ā-основ: прусс. *abbai* (≡ \**ābāi*) || ср. лит. *dū šimtai*, диал. *abūdai* Tršk. 'abudu'.

nom.pl. ī-основ: прусс. *Ackis* (≡ \**ākis*), *ginnis* (≡ \**gīnis*) || лит. *ākys*.

acc.pl. m. ā-основ: прусс. *Gallans* (≡ \**gālāns*), *kittans* (≡ \**kītāns*), *abbans* (≡ \**ābāns*) || лит. *galūs, kitūs*.

acc.pl. f. ī-основ: прусс. *ackins* (≡ \**ākins*), *ginnins* (≡ \**gīnins*) || лит. *akis*.

Исследованный материал крайне скуден, однако он позволяет сделать относительно прусского ударения ряд важных выводов. Очевидна разноместность ударения. В двусложных основах ударение в одних формах

ставится на начальный слог основы, в других формах — на окончание: *aīnan* ~ *ainā*, *ān|tran* ~ *Antrā*, *Mērgan* ~ *Mer|gu* (≡ \**mergū*), *Mer|gūmans*. Приведенные словоформы относятся к подвижному балтийскому акцентному типу, помимо них к этому же типу относится еще ряд словоформ, имеющих начальное ударение, но не имеющих парных форм с отмеченным конечным ударением, это означает, что в данном корпусе словоформ отражен акцентный тип с подвижным ударением как в литовском или праславянском языке, а не окситонированный акцентный тип, который мы наблюдаем в генетически связанной группе основ в греко-арийских языках. Наблюдается отличие этого подвижного акцентного типа от того подвижного акцентного типа, который мы имеем в литовском языке:

1. Ударение не оттягивается на конечный доминантный циркумфлекс:

1) Окончание: прусс. *-as* (gen.sg.) || лит. *-ōs* (gen.sg. f.).

gen.sg. m. прусс. *fīras* (≡ \**sīras*) || лит. *širdiės*.

gen.sg. f. прусс. *ālgas* (≡ \**ālgas*) || лит. *algōs*.

gen.sg. m. прусс. *geijwas* (≡ \**gīwas*) || генерализация *-ās* имен женского рода.

2) Окончание: прусс. *-ai* (nom.pl.) || лит. *-ai* (nom.pl. m.).

nom.pl. m. прусс. *īftai* (?) || лит. *bernai, rytai*.

nom.pl. f. прусс. *īdai* (≡ \**īdai*), *īftai* (≡ \**īstai*) || генерализация *-ai* имен мужского рода.

3) Окончание: прусс. *-ai* (adv.) || лит. *-ai* (adv.).

adv. прусс. *drücktai* (≡ \**drücktai*) || лит. *drūtai* (диал. *drūktai*).

Это явление можно рассматривать как результат фонетического процесса, связанного с преобразованием циркумфлекса в нисходящий тон, вызвавшего оттяжку акцента или преобразование словоформы в форму-энклиномен, однако оценка этого явления, осложняется тем, что все примеры его относятся к основам с акутом в корне.

Закон де Соссюра в прусском действовал, но с существенным ограничением: 1) ударение с циркумфлектированных слогов оттягивалось на доминантное акутированное окончание f. nom.sg. *-ā* и 2) не оттягивалось на рецессивные акутированные окончания f. instr.sg. *-ān* и acc.pl. f. *-āns*, acc.pl. m. *-ōns*, acc.pl. *-īns*:

1) Окончание f. nom.sg. *-ā*: *imtā* (≡ \**imtā*), *Maddla* (≡ \**mādlā*), *etwerpsnā* (≡ \**etwerpsnā*), *Spigsnā* (≡ \**spigsnā*), *Crixifsnā* (≡ \**krikstisnā*).

2) Окончание f. instr.sg. *-ān*: *fen...rānkān* (≡ \**rañkān*), *fen... quāitin* (≡ \**quītān*), *fen biāfnan* (≡ \**bijāsnan*).

Окончание acc.pl. f. ā-основ: *rānkans* (≡ \**rañkans*).

Окончание acc.pl. m. ā-основ: *prēipirstans* (≡ \**pīrstans*).

Окончание acc.pl. f. ī-основ: *āufins* (≡ \**aūsins*).

Таким образом, представленный материал указывает на сохранение в прусском прогивопоставления подвижного и неподвижного акцентных ти-



пов долготными акутированными и циркумфлектированными именами, которые, как и в литовском, были распределены на четыре акцентных парадигмы. Все краткостные двусложные имена совпали в одном конечноударном типе. Вероятно, ударение с конечных циркумфлектированных слогов было перенесено на предшествующий слог, что объясняет безударность окончания gen.sg. *-as* и, возможно, gen.pl. *-an* и nom.pl. *-ai* в подвижном акцентном типе. Если это верно и не было других, специфических, отяжек с конечных акутированных слогов, принятию которых препятствует ударение на окончании *-ā* в nom. sg. f. *ā*-основ 2, 3 и 4 акцентной парадигм, приходится считать, что прусский отражает то состояние балтийского, когда закон де Соссюра действовал исключительно в позиции перед доминантным акутом (то есть, в случае, если акцентуационная валентность ударного слога не была выше акцентуационной валентности акутированного слога), подробно об этой трактовке закона де Соссюра см. [12], [14], ср. [13].

### Ударение в именном словообразовании.

#### Суффикс *-išk-*

а) От долготных акутированных имён неподвижного акцентного типа (Образования от а.п. 1)

1. прусс. *Etnīwingiſku* adv., III 81<sub>13</sub>, *etnijwingiſku* adv., III 109<sub>15</sub>, *etnīwingiſkai* adv., III 119<sub>29</sub>, *etnijwingiſkai* adv., III 81<sub>16</sub> «*genediglich* (gnädiglich), *maloningai*», 'милостиво' ~ прусс. *etnīwings* adj. nom. sg. m., III 51<sub>8</sub>, III 131<sub>9</sub>, *etnijwings* adj. nom.sg. m., III 71<sub>9</sub>, *etnēwings* adj. nom.sg. m., III 51<sub>20</sub> 'милостивый' ~ прусс. *\*etnīvā-* subst. *\*'снисхождение'*, основа с доминантным акутированным корнем, акут устанавливается по дифтонгизации долгого *-i-* под ударением (в примерах без знака ударения) и по правилу Фортунатова (в примере с дифтонгом и проставленным знаком ударения), 1-я а.п. (ср. лтш. *niēva* 'Schmähung, Verachtung' ~ лтш. *niēvīgs* «презрительный, пренебрежительный» [Андронов 2002: 119]), вероятно, отглагольное образование от прусс. *\*etnī-vei* 'быть любезным, снисходительным' < *\*'смягчаться, ослабевать, спускаться'*, ср. подробный разбор корня в [Дыбо 2002: 373–374]. || [Топоров 1979: 109–110]; [МАЖИУЛИС 1: 300–301]; [ENDZELĪNS IV, 2: 214]; [FRAENK. I: 479–480, 503–504]; [Дыбо 2002: 373–374].

2. прусс. *fen wīngriſkan* subst. acc.sg. f, III 35<sub>11</sub> «*mit liſt, su suktybe*», 'хитрость' ~ прусс. *\*wīngru-* *\*'изворотливый, извилистый'* [случай, показывающий, что постановка знака ударения на дифтонгических сочетаниях не свидетельствует о характере слоговой интонации (на ударном слоге, по-видимому, доминантный акут<sup>12</sup>), ср. лтш. *viņgrs* 'elastisch, fest; frisch,

<sup>12</sup> Утверждение В. Мажюлиса, что в ударном слоге этого слова мы имеем дело с циркумфлексовой интонацией («*su cirkumfleksiniū \*-in-*» [МАЖИУЛИС 4: 242]), основано, по-видимому, исключительно на правиле Фортунатова и не может быть принято по причинам, изложенным мной во введении.

*hurtig'*, лит. диал. *vingrus* I BzF 198 (в остальных источниках *vingrūs* 4, что вторично) 'извилистый, изворотливый', лит. *vēngti* 'избегать, уклоняться, увиливать', акутированность по закону Винтера, см. [Дыбо 2002: 468–469]. Неподвижный акцентный тип производящего устанавливается по литовскому и латышскому соответствиям]. || [МАЖИУЛИС 4: 242]; [ENDZELĪNS IV, 2: 337]; [FRAENK. II: 1223, 1256–1257].

3. прусс. *Prūſiſkai* adv., III 17<sub>13</sub> «*Preußiſch, prūsiſkai*», *Prūſiſkai* adv., III 113–4 «*prūsiſkai*», *en Prūſiſkan* adj. acc.sg. f., III 17<sub>21</sub> 'prūsiſkame' ~ прусс. *\*prūss* (< *\*prūsas* 1-ой а.п., ср. лит. *prūsas* I 'пруссе'; лтш. *prūss* (Dunika), *prūsis* 'der Preusse'. || [МАЖИУЛИС 3: 360–361]; [ENDZELĪNS IV, 2: 292]; [FRAENK. II: 659].

4. прусс. *Deiſwūtiſkan* adj. acc.sg. f., III 41<sub>12–13</sub> «*Göttlicher, dieviško*; [*po*] *Deiſwūtiſkan* adj. acc.sg. f., III 99<sub>5</sub> «[*nach*] *Göttlicher, [pagal] dieviška*»; *Deiſwūtiſkan* adj. acc.sg. f., III 113<sub>13</sub> «*Göttlicher, dieviško*; [*prei*] *Deiſwūtiſkan* adj. acc.sg. f., III 117<sub>13</sub> «[*zum*] *feligen, [prie] palaimingos*»; [*prei*] *Deiſwūtiſkan* adj. acc.sg. f., III 119<sub>24</sub> «[*zur*] *feligen, [prie] palaimingos*»; *Deiſwūtiſkan* adj. acc.sg. f., III 57<sub>9–10</sub> «*feligs, palaiminga*», 'набожный, благочестивый, божественный' ~ прусс. *deiwuts* adj., III 61<sub>11</sub> 'набожный, благочестивый', *deiwūtai* adv., III 115<sub>14</sub> 'набожно, благочестиво', 1-я а.п. (ср. лит. *dievotas* adj. I 'набожный'). || [ТОПОРОВ 1975: 321–326]; [МАЖИУЛИС 1: 193, 190–192]; [ENDZELĪNS IV, 2: 196–197].

5. прусс. *Deiſwūtiſku* subst. nom.sg. f., III 75<sub>22</sub> «*seligkeyt, iſganymas*»; [*prei tenneifon*] *Deiſwūtiſkan* subst. acc.sg. f., III 17<sub>18</sub> «[*zu jhrer*] *Seligkeyt, [prie jū] palaimos*»; *deiwūtiſkan* subst. acc.sg. f., III 43<sub>22–23</sub> «[*in...*] *Seligkeyt, palaimoje*»; *Deiſwūtiſkan* subst. acc.sg. f., III 61<sub>5</sub> «*ſeligkeit, palaima*», 'набожность, благочестивость' ~ прусс. *deiwuts* adj., III 61<sub>11</sub> 'набожный, благочестивый', *deiwūtai* adv., III 115<sub>14</sub> 'набожно, благочестиво', 1-я а.п. (ср. лит. *dievotas* adj. I 'набожный'). || [ТОПОРОВ 1975: 321–326]; [МАЖИУЛИС 1: 193, 190–192]; [ENDZELĪNS IV, 2: 196–197].

6. прусс. *Salūbiſkan* adj. acc.sg. m., III 99<sub>9</sub> «*Ehelichen, santuokine*», *Sallūbiſkan* adj. acc.sg. f., III 107<sub>20</sub> «*Ehelichen, santuokine*», *prei fallūbiſkan* subst. acc.sg. f., III 109<sub>7</sub> «*zum Eheſtandt, prie santuokos*», *Salūbiſkai* adv., III 107<sub>24</sub> «*Ehelich, santuokiſkai*», 'брачный, супружеский' ~ прусс. *prei... Sa|lūbin* subst. acc.sg. f., III 99<sub>18–19</sub> «*zu...Gemahel (= Gemahlin), (prie)...santuoktine*», *fallūban* subst. acc.sg. f., III 33<sub>3</sub> «*gemahel (= Gemahlin), sutuoktine*»; *Sallūban [limtwei]* acc.sg. f., III 31<sub>17</sub> «*Ehe[brechen], santuoka [laužyti]*», *ſteife Salaū|ban* gen.pl., III 99<sub>6</sub> «*der Ehe, tos santuokos*», *ſteife Salūban* gen.pl., III 101<sub>2</sub> «*der Ehe, tos santuokos*», *ēnſtan Salaūbai* loc.sg., III 103<sub>2</sub> «*in den Eheſtandt, i tą santuokos*»; 1-я а.п. (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *-ū-* и в соответствие с правилом Фортунатова, неподвижный акцентный тип диктуется заимствованным характером слова, ср. лит. *šliūbas* 2 'Gelübde, Trauung, Eheverbindung', которое также заимствовано из польского). || [МАЖИУЛИС 4: 54, 51–54]; [ENDZELĪNS IV, 2: 298]; [FRAENK. II: 760].

7. прусс. *en tikrō|miſkan* adj. acc.sg. m., III 45<sub>13–14</sub> «*im rechten, teisingame*»; *en| tickrōmiſkan* adj. acc.sg. m., III 45<sub>17–18</sub> «*im rechten, teisingame*»; *ſieifei*



*tickrōmiskan* subst. acc.sg. f., III 35<sub>13</sub> «des Rechters, to teisingumo»; *en...tickrōmiskan* subst. acc.sg. f., III 43<sub>22</sub> «in...Gerechtigkeit, teisingume»; *en tickrōmiskan* subst. acc.sg. f., III 63<sub>19</sub> «in gerechtigkeit, teisingume» ~ прусс. *tickrōmai* adj. nom.pl. m., III 63<sub>8</sub> «gerecht, teisūs»; *ains Stūrintickrōms* nom.sg. m., III 37<sub>13</sub> «ein eueriger (eifriger), vienas rūščiai teisus»; *prei tickrōmien* subst. acc.sg. f., III 43<sub>4</sub> «zu der rechten, prie dešinės»; *prei tickrōmien* subst. acc.sg. f., III 127<sub>14</sub> «zu der Rechten, prie dešinės» (для интонации и акцентного типа ср. лит. диал. *tikruomenė* 'echte, nahe Verwandten' [SKARDŽ. ŽD 237]). || [MAŽIULIS 4: 193–194]; [ENDZELĪNS IV, 2: 326]; [FRAENK. II: 1091].

8. прусс. *dīfeitiskan* subst. acc.sg. f., III 87<sub>5</sub> «hantierung, užsiėnimą», 'занятие, работа' (опечатка, вместо: *\*dīlentiskan* или *\*dīlantiskan*) ~ прусс. *dīlants* subst. nom.sg. m., III 87<sub>18</sub>, III 89<sub>3</sub> 'Arbeiter', 'darbininkas', 'работник' — причастие глагола, образованного от прусс. *\*dīlan* (n.) [*dīlas* gen.sg., III 89<sub>8</sub> «wercks, darbo» (= *procies* VE 387 gen.sg.); *dīlan* acc.sg., III 79<sub>23</sub> «werck, darbas» (= *darbob* VE 346 all.sg.); *dijlan* gen.pl., III 125<sub>14</sub> «wercken, darbu» (= *darbu* VE 61<sub>5</sub> gen.pl.); *dīlans* acc.pl., III 33<sub>2</sub>, 69<sub>3</sub> «wercken, darbuose» (= *darbusu* VE 28<sub>14</sub> iness.pl.); *dīlins* acc.pl., III 67<sub>7</sub> «wercken, darbais» (= *darbais* VE 27<sub>17</sub>)]; слово, непосредственно генетически соответствующее слав. *\*dělo* || [ТОПОРОВ 1975: 351–352, 340]; [MAŽIULIS I: 200–201]; [ENDZELĪNS IV, 2: 200, 198]; [TRAUTMANN BSW 48]; [ФАСМЕР I: 496–497].

9. прусс. *en...škīftieliskan* subst. acc.sg. f., III 63<sub>19–20</sub> «in...reynigkeyt, skaistume» ~ прусс. *škīftian* acc.sg., III 127<sub>10</sub> «skaisčios» (≅ *\*skīstan*), *škīftian* adv., III 49<sub>5–6</sub> «rein, tyrai» (≅ *\*skīstan*), *skīstai* adv., III 33<sub>1</sub> «keufch, skaisčiai» (≅ *\*skīstai*) (аккутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *i*; для балтийского акцентного типа ср. лтш. *šķīsts*, слав. *\*čīstь*, f. *\*čīsta*, n. *\*čīsto*, при варианте лтш. *šķīsts* и при прерывистой интонации в формах с полной ступенью корня, что связывает балто-славянскую иммобилизацию акцента с законом Хирта – Иллич-Свитьма, см. выше; документацию по славянской реконструкции см. [9: 23]). || [MAŽIULIS 4: 122, 121–122]; [ENDZELĪNS IV, 2: 308]; [FRAENK. II: 808–809]; [ФАСМЕР IV, 366–367]; [ДЫБО 1981, 23].

b) От долготных циркумфлектированных имён  
неподвижного акцентного типа  
(Образования от имен а.п. 2):

1. прусс. *dēigiskan* adj. acc.sg. n., III 83<sub>6</sub> «milden (freigebig), dosnus», 'щедрый' ~ прусс. *\*dēiga-* subst. (2) *\*dēiga-* 'щедрость' (циркумфлексовая слоговая интонация устанавливается согласно правилу Ф. Ф. Фортунатова, принятие предположения В. Мажюлиса о связи этой основы с балтийским корнем *\*deig-/dīg-* 'smeigti, smaignyti': лит. *diegti* 'сажать; колоть', *dýgti* 'всходить; прорезаться'; лтш. *diēgt* 'stechen, schlagen', *dīgt* 'keimen', — предполагает метатонию с установлением неподвижной акцентной парадигмы || [ТОПОРОВ 1975: 314–215]; [MAŽIULIS I: 185–186]; [ENDZELĪNS IV, 2: 195].

2. прусс. *schlāitiskan* acc.sg., III 69<sub>10</sub> «sonderheyt, Ypatingume»; *schlāitiskan* acc.sg., III 69<sub>25</sub> «sonderheit, ypatingume»; *en schlāitiskai* dat.sg., III 66<sub>19</sub> «In sonderheyt, ypatingume (ypatingai)»; *schklāitewingiskan* adj. acc.sg. f., III 113<sub>16</sub> «sonderliche, ypatinga» ~ прусс. *schklāits* adj. nom.sg. m., III 59<sub>7</sub> «schlecht, ypatingas»; (РОК.: 'schlicht, einfach', adv. 'sonderlich, besonders; sonst'). Циркумфлекс устанавливается по правилу Фортунатова и подтверждается сравнением: ср. лит. диал. *skliēti*, praes. 3 *skliēja* 'skleisti'; *paskliēti*, praes. 3 *paskliēja* 'paskleisti' [LKŽ XII: 997], а также глаголы с расширением корня: лит. *skleīsti*, praes. 3 *skleīdžia*; *paskleīsti*, praes. 3 *paskleīdžia* и производные. Глаголы показывают неподвижную акцентную парадигму. В глаголах с расширением корня *-d-* неподвижный акцентный тип подтверждается и латышской плавной интонацией: лтш. *skliēst* 'ausbreiten', *sklaidīt* 'blättern; dünn ausbreiten, ausstreuen', рефлекс акута в латышском, по-видимому, отражение закона Винтера, варианты с акутовой интонацией наблюдаются и в литовских диалектах: *sklēisti*, praes. 3 *sklēidžia* [LKŽ XII: 974 (Š)]. Прилагательное на *-ta-* от глагола неподвижного акцентного типа имело в балтийском и балто-славянском а.п. неподвижного типа, в данном случае 2-ю а.п. || [РОК. 926–927]; [MAŽIULIS 4: 84–85, 83–84, 123–124]; [ENDZELĪNS IV, 2: 301]; [FRAENK. II: 809, 809–810, 811].

3. прусс. *kāupiskan* subst. acc.sg. f., III 33<sub>11</sub> «handel, prekyba», 'торговля' ~ прусс. *\*kāupa-* subst., 2. а.п.; циркумфлекс устанавливается согласно правилу Фортунатова, неподвижность акцента диктуется заимствованным характером основы. || [ТОПОРОВ 1980: 284–287]; [MAŽIULIS 2: 146]; [ENDZELĪNS IV, 2: 236].

4. прусс. *fen fūrnawiskan* subst. (instr.)acc.sg. f., III 117<sub>3</sub> «mit ernft, su rimtumu» ~ прусс. *fūrnawa-*, вероятно, adj. от *\*sturna-* или *\*sturnā-* (рассматривается как *-no-*adj. от глагола типа лит. *stirti*, praes. 1.sg. *styrū*, диал. *stirstu*, praet. 1.sg. *stirau* 'цепенеть, коченеть, мёрзнуть' (praes. *styrū* ≅ *stīru* < *\*stīn-rō* < *\*stīn-ō* < *\*stīn-ō*; имеется вариант с полной огласовкой: *stērti*, praes. *stērū*, *stērstu* и *stērti*, praes. *stērū* и *stērstu* 'цепенеть, коченеть'); единственное возможное соответствие в славянском слвц. *střnūt*<sup>13</sup> «закоченеть (о руках, ногах), замереть (от страха)', обычно рассматриваемое как вариант слвц. *střpnūt* (< *\*stř-tpn-ō-ti*); германские соответствия: гот. *and-staurran* (только praet. 3.pl. *and-staurraidedun* 'éveβpμōvto', 'sie bezeigten ihr Unwillen' («störtlich sein») < *\*sturnō-* < *\*střnā-*; швед. диал. *sturna* 'stutzen, erschrecken'; др.-в.-нем. *storrēn* '(vom Turm) hoch emporragen; stare (turtis ad auras), [eminere]' G 6, 711, 3.sg. praet. *storreta*, Gl-II, 657: 36 ([RAVEN II: 259]); ср.-в.-нем. *storren* 'start sein oder werden, steif hervorstehen'; др.-в.-нем. *stor-*

<sup>13</sup> Это слово = чеш. *střnouiti* 'онеметь (о руке, ноге), окаменеть, замереть, оцепенеть, остолбенеть, застыть', но его Нолуб – Корецнý едва ли правомерно сопоставляют с слвц. *střpnūt*, ошибочно опираясь на не относящееся сюда чеш. *střmý*, см. [НОЛУБ – КОРЕЦНÝ: 355].

*nēn* 'stutzen, erschrecken'<sup>14</sup>, «vrg. ahd. *stornēm* 'attonitum sum, inhio', das für \**stornōm* wegen des intrans. Sinnes eingetreten ist» [BRUGMANN II<sup>2</sup> 3: 302]; см. также [WISSMANN 146]; лат. *cōn-sternō* 'повергать в страх, приводить в ужас, в смущение, в замешательство, оглушать', *cōn-sternat* 'bringt aus der Fassung' < \**stř-nā-*; из отглагольных имен с суфф. *-n-* наиболее близкими будут: др.-в.-нем. *sturnī* 'das Staunen' ('оторопь') Gl-II, 525, 27 (stupor)<sup>15</sup>; праслав. \**stǫrni* > \**stǫrni* (а.п. *b*) \*'страда, жатва'<sup>16</sup>, отражается в виде двух основ: л. слав. \**stǫrnjā*, acc.sg. \**stǫrnjō* > \**stǫrnjō* 'Stoppelfeld' [русск. *стерня*, acc.sg. *стерню*, укр. *стерня*, acc.sg. *стерню* (BEZLAJ 3: 330), польск. диал. малопольск. *ścyrnia, ścyrnie* (KUCZAŁA 59)] и слав. \**stǫrnb*, gen.sg. \**stǫrni* > \**stǫrni* [а.п. *b* с переходом в а.п. *c* при отражении как *i*-основа f.: схрв. (Вук) *střn* f., gen.sg. *střni* (Šaprinovac: *střni, střni*), и с сохранением а.п. *b* при переходе в *o*-основы мужского рода: *střn* m., gen.sg. *střna* RJA XVI: 759; словен. *střn*, gen.sg. *střni*, др.-словен. XVIII в. *stěrn*, -e f. «Aemdzzeit, meßis» ([PONLIN]); польск. диал. малопольск. *ścyr, na ścyrni* (KUCZAŁA 59)]; если принять эти сближения прусской, германской и славянской основ, то прусской основе можно приписать 2-ю а.п., соответствующую славянской; так как глагольная основа по литовским данным была акутированной (слвц. *sturnūt* может отражать или корневой акут или а.п. *c* глагольной основы; появляющийся в литовском в презентных формах циркумфлекс является результатом расщепления корня инфиксом), то циркумфлекс корневого слога прусской и славянской основ можно приписать метатонии<sup>17</sup>, в этом случае прусская основа (как и славянская) была доминантной. || [MAŽIULIS 4: 164, 163–164]; [ENDZELĪNS IV, 2: 317–318]; [FRAENK. II: 910]; [POK. 1022]; [FEIST 50–51]; [FALK–TORP II: 1197]; [WH I: 265–266]; [BEZLAJ III: 330]; [SKOK III: 347]; [MAYRHOFFER I: 522]; [HEIDERMANNS 547, 567].

5. прусс. *stūrna=|wingiſku* adv., III 115<sub>18–19</sub> «ernſtlich, gimtai» ~ прусс. *stūrnowinga-* adj., образованный из прусс. *stūrnowa-*, вероятно, adj. от \**sturna-* или \**sturnā-* (2-я а.п.; анализ см. в предшествующем примере) ||

<sup>14</sup> Кроме ряда причастий praes.act. отмечены формы praet. 3.sg.: *stornetun*, Gl-I: 463, 59; *stornetun*, Gl-2: 463, 59 ([RAVEN II: 259]).

<sup>15</sup> Ср. также производные с этой же основой: *absturnīg* 'startsinnig, starköpfig' sD (obstinatus) и *stornunga* 'das Staunen' Gl-2: 641, 51 (stupor) [HEIDERMANNS 567].

<sup>16</sup> Первичное значение устанавливается по др.-словен. XVIII в. *stěrn*, -e f. «Aemdzzeit, meßis» ([PONLIN]).

<sup>17</sup> В. Мажюлис в *Словаре* также приписывает соответствующей прусской основе циркумфлекс, по-видимому, опираясь на правило Фортунатова, но, как было указано выше, в дифтонгических сочетаниях знак  $\tilde$  не встречается над сонорными и в ряде случаев дифтонгическому сочетанию, отмеченному этим знаком, исходя установленных соответствий, приходится приписывать акут, вопреки тому, что этот знак поставлен на начале дифтонгического сочетания. По-видимому, в дифтонгических сочетаниях этот знак отмечает лишь место ударения.

[MAŽIULIS 4: 164, 163–164]; [ENDZELĪNS IV, 2: 317–318]; [FRAENK. II: 910]; [POK. 1022]; [FEIST 50–51]; [BEZLAJ III: 330]; [SKOK III: 347]; [MAYRHOFFER I: 522]; [HEIDERMANNS 547, 567].

### b) От краткостных имён неподвижного акцентного типа

1. прусс. *labbiſku* subst. nom.sg. f., III 85<sub>2</sub> «gūte, gerumas» (≤ \**lābīsku*); *labbiſkan* acc.sg. f., III 41<sub>13</sub>, 109<sub>12</sub>, 117<sub>28</sub> (≤ \**lābīskan*) ~ прусс. *labban* nom.sg. n., III 89<sub>14</sub>, 91<sub>18</sub>, 101<sub>9</sub>, 107<sub>5</sub>, *labbas* gen.sg. n., III 35<sub>3</sub>, *labban* acc.sg. m., III 53<sub>14</sub>, 53<sub>16</sub>, 95<sub>14</sub>, *labban* acc.sg. n., III 37<sub>18</sub>, 55<sub>11</sub>, 93<sub>15</sub>, 95<sub>16</sub>, *labban* acc.sg. f., III 53<sub>15</sub>, 107<sub>7</sub>, *labbans* acc.pl. m., III 93<sub>2</sub>, *labbans* acc.pl. f., III 53<sub>14</sub>, 53<sub>17</sub>, *labbai* adv., III 49<sub>16</sub>, 51<sub>9</sub>, 55<sub>9</sub>, 71<sub>2</sub>, 73<sub>3</sub>, 77<sub>13</sub>, 87<sub>25</sub>, 97<sub>21</sub>, *labbai* adv., III 87<sub>6–7</sub>, *labban* adv., III 29<sub>18</sub>, 95<sub>3</sub> 'gerai'; в др.-лит. слово относилось к 2-й а.п., остатки сохранились в работах Н. Даукши, см. выше, естественно думать, что неподвижный акцентный тип характеризовал эту основу и в балто-славянском || [ТОПОРОВ 1984: 396–398, 399–400, 401–410]; [MAŽIULIS 3: 10–11, 14–15]; [ENDZELĪNS IV, 2: 248]; [FRAENK. II: 327].

2. прусс. *fen reddiſku* instr.sg. (ENDZ: dat.), III 33<sub>10</sub> «mit falscher, su argaulinga» (≤ \**rēdiſku*) ~ прусс. *reddau* (опечатка; надо: *reddan*) acc. sg., III 69<sub>16</sub> «falsche, argaulinga»; связывают обычно с лит. *rētas* 4 'редкий', лучше связывать непосредственно с слав. \**rědъкъ*, f. \**rědъka* > \**rědъкъ*, f. \**rědъka*, которое точно согласуется с прусским по консонантизму, долгота гласного в славянском явно не первоначальна, так как не согласуется с правилом порождения слоговых интонаций. Акцентный тип D славянского слова соответствует а.п. *b* производящего (см. Дыбо 1981: 94–107), этот же акц. тип, по-видимому, был и у прусского слова, т.е. 2-я а.п.; ср. лтш. (BW.) *rēds* «undicht» 'редкий' || [MAŽIULIS 4: 17–18, 18]; [ENDZELĪNS IV, 2: 294]; [FRAENK. II: 723–724]; [KARULIS 750].

### c) От акутированных имён подвижного акцентного типа (Образования от имен а.п. 3):

1. прусс. *auktimmiſkū* subst. nom.sg. f., III 89<sub>20</sub> «obrigkeyt, vyresnybė, valdžia», 'власть, начальство'; *Aucktimmiſkan* subst. acc.sg. f., III 89<sub>20</sub> 'Von ... Obrigkeit', Apie ... vyresnybė»; *stiefei Aucktimmiſkan* subst. acc.sg. f., III 89<sub>17–18</sub> «der Obrigkeit, vyresnybei» ~ прусс. \**auktima-* adj. \*'высокий, высший' (в прусс. *Aucktimmien* acc.sg., III 91<sub>25</sub> «den Obersten, vyriausiasjam», 'начальник (высший)', имя, образованное от прилагательного посредством доминантного суфф. *-iā-*), это прилагательное образовано от \**aukta-*, пассивного причастия прошедшего времени от балт. глагола, сохраненного в лит. *augti*, лтш. *augt* 'wachsen, größer werden' (на рецессивность корня указывает прерывистая интонация в латышском); суфф. *-im-* прилагательных рецессивен, ср. лит. *artimas* 3<sup>b</sup> 'близкий' (*arti* 'близко'), *tólimas* 3<sup>a</sup> 'далёкий' (*toli* 'далеко', ср. лтш. *iālu* 'weit, fern'), *svētimas* 3<sup>b</sup> 'чужой' (*svēčias*, f. *-iā* 4 'чужой; гость'), *pēnimas* 3<sup>b</sup> 'откармливаемый' (*penėti* 'кормить');

этот суффикс в существительных становится доминантным в результате балто-славянской метатонии: лит. *tolimas* 2 'отдаление', *vežimas* 2 'воз, повозка', *piešimas* 2 'рисование', *plonimas* 'висок' < \*'утонченность' (ср. лтш. *plāns* 'flach, eben, schwach'); слав. \**derьmo* > \**derьmò*, \**pišьmo* > \**pišьmò*, \**valьmo* > \**valьmò*<sup>18</sup>. || [ТОПОРОВ 1975: 152–154]; [MAŽIULIS I: 116, 113–116]; [ENDZELĪNS IV, 2: 183, 182]; [FRAENK. I: 24].

2. прусс. *fmūnenifku* adv., III 91<sub>23</sub> «menfchlicher, žmogiškam» (ср. др.-лит. *žmōniškās*, f. -à) ~ прусс. [fsteifon] *fmūni* gen.pl., III 95<sub>25</sub> «[der] Person, [tu] asmenų», 'человек, люди' 3-я а.п. (подвижный акцентный тип предполагается на основании др.-лит. соответствия: *žmōnes* pl., gen.pl. *žmōnių*, см. [ДЫБО 2006: 125]). || [MAŽIULIS 4: 134, 135–136]; [ENDZELĪNS IV, 2: 310–311]; [FRAENK. II: 1318–1320].

3. прусс. *širifku* adv., III 55<sub>11</sub> «hertzlich, širdingai» ~ прусс. *firas* gen.sg. m., III 95<sub>10</sub> «hertzen, širdies» (≤ \**sīras*) (= *schirdies* VE 41<sub>8</sub>), *prei širu* dat.sg. m., III 115<sub>19</sub> «zu Hertzen, prie širdies» (≤ \**sīru*), *esse firan* acc.sg. m., III 95<sub>14</sub> «von hertzen, nuo širdies», *fijran* acc.sg. m., III 65<sub>23</sub> «hertzen, širdyje» (≤ \**sīran*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *širdis*, gen.sg. *širdiės*, acc.sg. *širdį* 3-ей а.п. 'сердце'; лтш. *siřds*). || [MAŽIULIS 4: 114, 94–94]; [ENDZELĪNS IV, 2: 306, 302–303]; [FRAENK. II: 986–987].

4. прусс. *niteifingifkan* adj. acc.sg. f., III 87<sub>4</sub> «vnehrliche, negarbinga», 'бесчестный' ~ прусс. *teifingi* adv., \**teifings* 3. а.п. (первоначально, см. ниже). || [MAŽIULIS 3: 190]; [ENDZELĪNS IV, 2: 266, 325]; [FRAENK. II: 1073–1074, 1088–1090].

5. прусс. *drūcktawingifkan* adj. acc.sg., III 119<sub>11</sub> «gestrengen, griežta, kieta [teisma]» ~ прусс. \**drūcktawinga-* (прилагательное, образованное от прусс. \**drūcktawa-*, образованного от прусс. \**drūckta-*, подвижный акцентный тип подтверждается балтийскими соответствиями: лит. *drūtas* 3, диал. *drūktas* 3 'dick, fest, stark'; лтш. *drūktis* «resns, stiprs, zaļuoksnis, plecīgs» (U s. v. *gedrungen, stammhaft*) [BŪGA RR III: 206]. || [ТОПОРОВ 1975: 377–380]; [MAŽIULIS I: 230, 229–230]; [ENDZELĪNS IV, 2: 202]; [FRAENK. I: 107].

6. прусс. *Prābutfkas* adj. nom.sg. m., III 117<sub>16</sub> «ewiger, amžinas»; *Prābutfkas* adj. nom.sg. m., III 117<sub>28</sub> «ewiger, amžinas»; [fsteifon] *prābutfkan* adj. acc.sg. m., III 115<sub>4</sub> «[des] Ewigen, [tai] amžinai»; *prābutfkan* adj. acc.sg. n., III 45<sub>6-7</sub> «ewiges, amžina»; *prābutfkan* adj. acc.sg. n., III 45<sub>23</sub> «ewiges, amžina»; [fsteifei] *prābutfkan* adj. acc.sg. n., III 63<sub>9</sub> «[des] ewigen, [to] amžino»; *Prābutfkan* adj. acc.sg. n., III 127<sub>22</sub> «Ewigs, amžina»; [prei] *Prābutfkan* adj. acc.sg. n., III 129<sub>20</sub> «[zum] ewigen,

<sup>18</sup> Для реликтов парадигматического выбора ср. русск. диал. (Даль) *пряжмо* 'оладья, толстый блинок, лепешка, жареная в масле' (*пряжить* 'жарить в масле' < слав. \**prāžiti* а.п. а), *повѣс(ь)мо* 'пучок пряжи (вешаемой) для вычески' (слав. \**věsiti* а.п. а), слав. *vědьma* 'ведьма' (\**věděti* а.п. а). Реликты парадигматического выбора отмечаются и в литовском, но общая картина сильно затемнена инновациями.

[prie] amžino»; *prābutfkan* adj. acc.sg. f., III 61<sub>4-5</sub> «ewige, amžina»; *prābutfkan* adj. acc.sg. f., III 119<sub>2-3</sub> «ewigen, amžina»; *prābutfkai* adv., III 63<sub>20</sub> «ewiglich, amžinai» (< \**prābutiska-*) ~ прусс. \**prābuta-* adj. (part. praet.pass.) от глагола прусс. *boūt* inf., III 41<sub>16</sub> «zu sein, būti»; *boūt* inf., III 57<sub>15</sub>, 73<sub>6</sub>, 113<sub>23</sub>, 115<sub>5</sub> «fein, būti»; *boūt* inf., III 115<sub>25</sub> «būti») (акцентная интонация устанавливается по правилу Фортунатова, ср. лит. *būti* 'быть'; для балтийского акцентного типа ср. лтш. *būt* 'sein' и славянские глагольные категории с данным корнем: аор. I.sg. \**bŭxъ* ~ 2–3.sg. \**bŭstъ*; I-part. \**bŭlъ*, f. \**bŭlā*, n. \**bŭlo*, part. praet. act. \**bŭvъ*, pl. \**bŭvъšē*; см. [ДЫБО 2000: 500, 513, 516] || [ТОПОРОВ 1975: 271–274]; [MAŽIULIS 3: 340]; [ENDZELĪNS IV, 2: 288]; [FRAENK. I: 68]; [FRAENK. II: 657].

7. прусс. [en] *prābutfkan* subst. acc.sg. f., III 43<sub>11</sub> «[inn] ewigkeit, [i] amžinybę»; [en] *prābutfkan* subst. acc.sg. f., III 113<sub>22</sub> «[in] Ewigkeit, [i] amžinybę»; [en] *prābutfkan* subst. acc.sg. f., III 123<sub>4</sub> «[inn] Ewigkeit, [i] amžinybę»; *enprābutfkan* adv. (en + subst. acc.sg.), III 51<sub>3</sub> «ewiglich, amžinybęje» ~ прусс. \**prābuta-* adj. (part. praet.pass.) от глагола прусс. *boūt* inf., III 41<sub>16</sub> «zu sein, būti» и др. (подвижный акцентный тип, аргументация приводится в предшествующем примере) || [MAŽIULIS 3: 339–230]; [ENDZELĪNS IV, 2: 288]; [FRAENK. I: 68]; [FRAENK. II: 657].

8. прусс. *kīfmingifkai* adv., III 51<sub>2</sub> 'zeytlich', 'laikinai', 'временно' ~ прусс. *kīšman* acc.sg., III 101<sub>1</sub> и др., *kijfman* acc.sg., III 125<sub>1</sub> 'время'; акцентная интонация устанавливается по дифтонгизации долгого -i- под ударением (в примере без знака ударения) и по внешним данным (ср. южн.-слав. \**čāsъ* а.п. а [схрв. *čas* 'мгновение' (*čacumu* 'weilen'), *časom* adv. словен. *čas*, gen.sg. *časa* 'время']; однако характер акцентуационной валентности остается не ясным, так как в восточнославянских языках наблюдается а.п. b: вост.-слав. \**čāsъ*, gen.sg. \**čāsa* > \**časā*; такая ситуация встречается при метатонии «акут ⇒ циркумфлекс», когда первично акутированный корень рецессивен, а суффикс доминантен, при сохранении словообразовательных отношений возможно региональное восстановление первичной слоговой интонации. Принятие рецессивности корня должно привести к реконструкции у основы *kīfman* 3-й а.п., о рецессивности суффикса -man, см. [НИКОЛАЕВ 1989: 62–70]. || [ТОПОРОВ 1984: 33–37]; [MAŽIULIS 2: 204, 200–204]; [ENDZELĪNS IV, 2: 240]; [FRAENK. I: 73]; [ФАСМЕР IV: 318].

d) От долготных циркумфлектированных имён подвижного акцентного типа

(Образования от долготных имен а.п. 4):

1. прусс. *Kērmenifkai* adj. nom.pl.<sup>19</sup> f. III 75<sub>23</sub> «leiblich, kūniškās», [firfau] *stefmn* (опечатка, вместо *stefmu*) *kērmenifkan* [īftai] adj. gen.pl., III 77<sub>4-5</sub>

<sup>19</sup> В. Мажиулис рассматривает эту форму как nom.sg. f. членного прилагательного, что предполагает ряд сложностей: помимо чисто фонетического вопроса: почему не -i? -- который можно избежать из-за скудости зафиксированных форм,

«[neben] dem leiblichen, [šalia] to kūniško», *kērmeneiſkan* adv., III 77<sup>11</sup> «Leiblich, kūniškai» ~ *kērmens* nom.sg., III 73<sup>15</sup>, III 75<sup>5</sup> «leib, leyb, kūnas», *kērmenen* acc.sg., III 103<sup>15-16</sup> «Leibe, kūna», *kērmenen* acc.sg., III 81<sup>17-18</sup> «Leib, kūna», *kērmenan* acc.sg., III 41<sup>3</sup> «Leyb» (др.-инд. *cārma* n. 'Haut, Fell' акцентологически не показательно из-за генерализации в древнеиндийском баритонезы в именах ср. р. на *-man-*; пушту, где этой генерализации не отмечается, показывает в этой основе конечное ударение: афг. *carman* f. 'шкура, кожа', см. [18: специально 100–101]. А.п. с показывает и родственное слав. \**červo*. О сохранении в балто-славянском двух акцентных типов имен ср. р. на *-men-* свидетельствуют славянские данные, см. [19: 62–70]; ср. также лит. диал. *kermiõ* 3<sup>b</sup> 'bičių petai', 'детва, личинка, пчелиный выводок', что однако трудно связать с прусской основой. || [Топоров 1980: 325–331]; [MAŽIULIS 2: 166–171]; [ENDZELĪNS IV, 2: 237–238].

б) От краткостных имён подвижного акцентного типа

1. прусс. *ginniskan* subst.acc.sg.f., III 125<sup>2-3</sup> «freuntschafft, draugystę» (≅ \**gīniskan*) ~ прусс. *ginnis* subst. nom.pl. f., III 113<sup>9</sup>, III 123<sup>8</sup>, *ginnins* acc.pl. f., III 53<sup>7</sup>; принято рассматривать как морфонологическое преобразование основы, аналогичной лит. *giminė* 3<sup>b</sup> 'родня, родственник; род'; так как процесс \**-mn-* > *-n-* в прусском другими материалами не подтвержден, этимология не считается надежной; однако подвижный характер ее ударения подтверждается акцентовкой такого образования как *ginnewīngiſkan* adv., III 113<sup>10</sup> «freundtlich, draugiškai», см. ниже. || [MAŽIULIS 1: 364–366]; [Топоров 1979: 238–241]; [ENDZELĪNS IV, 2: 220]; [FRAENK. I: 151].

### Суффикс *-ing-*

#### А. Тип с накоренным ударением.

а) От долготных акутированных имён неподвижного акцентного типа (Образования от а.п. 1)

1. прусс. *ni gīdings* III 69<sup>3</sup> «ſchampar, negēdingas» (ср. лит. *gėdingas* 'постыдный, позорный') ~ от прусс. *gīdan* acc. sg. 'Schande' а.п. 1 (для балтийского акцентного типа ср. лит. *gėda* f. 1 'стыд, позор'). || [Топоров 1979:

возникает ряд вопросов морфонологического и акцентологического характера. Это слово согласовано с *īdai* 'еда', которое также приходится характеризовать как пот.sg. f. Окончание *-ai* пытаются объяснить по-разному, но одинаково неприемлемо. Также трудно принять и объяснение В. Мажюлиса, который возводит его также к окончанию членного прилагательного, но *īdai* — не прилагательное, т. е. речь идет об ошибке переводчика, которую надо исправлять. Имеется еще более сильное возражение: оба слова относятся к первоначально подвижному акцентному типу и должны были иметь ударение на окончании, в отличие от окончаний с доминантным циркумфлексом, с которых ударение в прусском сдвигалось к началу, с окончаний с доминантным акутом такой передвижки не происходило.

231–233]; [MAŽIULIS 1: 361–362]; [MAŽIULIS 3: 188]; [ENDZELĪNS IV, 2: 220, 266]; [FRAENK. I: 142].

2. прусс. *nirige|wings* adj. nom.sg. m., III 87<sup>5-6</sup> «nicht haderhaftig, nevaidingas», 'не сварливый' ~ прусс. \**rīgewa-* 'rėksmas', предполагая развитие 'vaidingas' < 'rėksmingas', В. Мажюлис объясняет производящую основу как результат нефонетического развития < \**rīkeva-* с фонетическим переходом *-ē-* > *-ī-*, связывая эту основу непосредственно с глагольным корнем в лит. *rėkti* 'кричать, орать'. Исходя из акцентных отношений в словообразовании от этого глагола я ожидал бы в прусском \**nirigewīngs*. Поэтому, оставаясь в пределах того же направления поиска, я предложил бы связывать прусское слово с образованием типа лит. *rėkauti* 'кричать, покрикивать, орать', лтш. диал. *rėkuōt* 'sich unterhalten, schwatzen; erzählen', на доминантный характер корня в этой группе основ указывает лит. *rėkavimas* 1 'крик, оранье' || [MAŽIULIS 3: 189–190]; [ENDZELĪNS IV, 2: 294–295]; [FRAENK. II: 716–717].

3. прусс. *etnīwings* III 51<sup>8</sup> «gnediger, maloninga», 'милостивый', [см. выше также *etnīwingiſkai* III 119<sup>29</sup> «genediglic (gnädiglic), maloningai»] ~ прусс. \**etnīvā-* subst.\*'снисхождение' (ср. лтш. *niēva* 'Schmähung, Verachtung' ~ лтш. *niēvīgs* 'презрительный, пренебрежительный' [Андронов 2002: 119]), вероятно, отглагольное образование от прусс. \**etnī-vei* 'быть любезным, снисходительным' < \*'смягчаться, ослабевать, спускаться', ср. подробный разбор корня в [Дыбо 2002: 373–374]. || [MAŽIULIS 1: 300–301]; [ENDZELĪNS IV, 2: 214]; [FRAENK. I: 479–480, 503–504].

с) От долготных акутированных имён подвижного акцентного типа (от имен 3-ей а.п.):

1. прусс. *ni grēnsings* adj. nom.sg. m., III 87<sup>4</sup> «nicht beyßlig, nekandus» ['не ворчливый, не сварливый, не язвительный'], считается опечаткой, предлагаются две конъектуры: \**grēusings* (по корню в лит. *gr(i)aužti* 'грызть, глодать; есть', лтш. *graužt* 'nagen, (wund)-reiben', слав. \**grǫzti*; ср. лтш. *graužīgs* 'nagend, vom Nagen herrührend') и \**grēvsings* (по корню в лит. *griēžti* 'обрезать, резать; скрежетать', лтш. *griēzt* 'schneiden, knirschen, geigen'; ср. лтш. *griēzīgs* 'schneidig, schneidend, scharf', *graužīgs* 'schneidend, beißend') || приведенные латышские соответствия указывают, как будто, на возможность непосредственного образования этого прилагательного от глагольной основы, но обычно предполагается именная основа: прусс. \**gr'auzā* 'graužimas', 'грызение' (так [MAŽIULIS 1: 407]), — подобная лит. *graužā* 4 'боль'; однако такое решение не устраняет проблемы прусского циркумфлекса, который механически восстанавливается при замене напечатанного *-n-* посредством *-u-* (в сочетании *-ēn-* знак ~ не несет тональной функции, так как над *n* знак ~ никогда не ставится): во-первых, 4-я а.п. лит. *graužā* явно не первоначальна, а является морфонологической заменой первичной 3-ей а.п., во-вторых, при

образовании от имени 4-й а.п. данное прилагательное должно было иметь ударение на суффиксе, т.е. выглядеть как \**greufings*, см. соответствующие примеры ниже. || [ТОПОРОВ 1979: 302–304]; [MAŽIULIS 1: 407–408]; [ENDZELĪNS IV, 2: 224]; [FRAENK. I: 164–165, 160].

2. прусс. \**drücktawings* (в *drücktawingiskan* adj. acc.sg., III 119<sub>11</sub> «gestrengen, griežta, kieta [teisma]», ‘грозный, суровый’) ~ прусс. \**drücktawa-3-я а.п.*, образовано от прусс. *drückta-* [прусс. *drukta* adv., III 51<sub>18</sub> «fest, drūtai, tvirtai», *drūtai* adv., III 65<sub>12</sub> «feste, drūtai, tvirtai», ‘крепко’], соответствующего лит. *drūtas* 3, диал. *drūktas* 3 ‘dick, fest, stark’; лтш. *drūktas* «resns, stiprs, zaļuošnis, plecīgs» (U s. v. *gedrungeņi, stamhasti*) [BŪGA RR III: 206]. 3-я а.п. здесь первоначальна. || [ТОПОРОВ 1975: 377–380]; [MAŽIULIS 1: 229]; [ENDZELĪNS IV, 2: 202]; [FRAENK. I: 107].

3. прусс. *kīfmingiskai* adv., III 51<sub>2</sub> «zeytlich, laikinai», ‘временно’ ~ прусск. *kīfman* acc.sg. ‘время’ [*stankīfman* III 115<sub>1</sub> «dieweyl, tuomet kai, tuokart kai»; III 101<sub>1</sub> «dieweil, tuomet kai, tuokart kai»; *stankīfman* III 125<sub>1</sub>; *stan kīfman* III 131<sub>6</sub>; *stankīfman kai* III 105<sub>6-7</sub>; *Stankīfman kai* III 103<sub>1</sub> «Weil, Tā meta, kai»; *stan kīfman* III 123<sub>8-9</sub>]; акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации долгого *-i-* под ударением (в примере без знака ударения) и по внешним данным (ср. южн.-слав. \**čāsъ* а.п. *a* [схрв. *čas* ‘мгновение’ (*časumi* ‘weilen’)], *časom* adv. словен. *čas*, gen.sg. *časa* ‘время’); однако характер акцентуационной валентности остается не ясным, так как в восточнославянских языках наблюдается а.п. *b*: вост.-слав. \**čāsъ*, gen.sg. \**čāsa* > \**časā*; такая ситуация встречается при метатонии «акут ⇒ циркумфлекс», когда первично акутированный корень рецессивен, а суффикс доминантен, при сохранении словообразовательных отношений возможно региональное восстановление первичной слоговой интонации. Принятие рецессивности корня должно привести к реконструкции у основы *kīfman* 3-ей а.п., о рецессивности суффикса *-man*, см. [НИКОЛАЕВ 1989: 62–70]. || [ТОПОРОВ 1984: 33–37]; [MAŽIULIS 2: 204, 200–204]; [ENDZELĪNS IV, 2: 240]; [FRAENK. I: 73].

b) От долготных циркумфлектированных имён  
неподвижного акцентного типа  
(от долготных имен 2-й а.п.):

1. прусс. *ni|quāitings* nom.sg. m., III 113<sub>1-2</sub> «vnwillig, nenoringas» ~ от прусс. *quāits* nom.sg. m., III 51<sub>5</sub>, 51<sub>8</sub>, 51<sub>17</sub>, 51<sub>20</sub> «wille, noras» (= *walia* VE 20<sub>4</sub>, 20<sub>7</sub>, 20<sub>14</sub>, 20<sub>18</sub>), *quāitan* acc.sg. m., III 51<sub>14</sub> «willen, valia» (= *wale* «valia» VE 20<sub>11</sub>), *quāitin* acc.sg. m., III 95<sub>13</sub> «willen, valia», *quāitin* acc.sg. m., III 95<sub>14</sub> «willen, valia» (= *wale* «valia» VE 41<sub>12</sub> instr.sg.<sup>20</sup>) ‘воля’. (Циркумфлексивная интонация ударного слога устанавливается согласно правилу ФОРТУНАТОВА, она подтверждается литовским соответствием: лит. *kviēsti*, praes. l.sg. *kvie-*

<sup>20</sup> Это сопоставление В. Мажюлиса относится, по-видимому, к данной словоформе, а не к предшествующей, как в его словаре, см. [MAŽIULIS 2: 324].

*čiū* ‘приглашать, звать, призывать, просить’; для балтийского акцентного типа ср. греч. κοίται γυναικῶν ἐπιθυμίας HES. ‘krankhaftes Gelüst schwangerer Frauen’; др.-инд. *kētaḥ* m. ‘Wille, Absicht, Verlangen, Aufforderung, Einladung’) || [ТОПОРОВ 1984: 366–374]; [MAŽIULIS 2: 324–325]; [MAŽIULIS 3: 189]; [ENDZELĪNS IV, 2: 247]; [FRAENK. I: 326]; [MAYRHOFER I: 265].

2. прусс. \**lāngiwings* (в *no vckalāngi|wingiskai* III 39<sub>13-14</sub> «auff das einfeltigelt, (ant) lengviausiai (patikliausiai)» (= *prascziausey* «*papasčiausiai*» VE 14<sub>16</sub>), *vcka lāngiwingiskai* III 47<sub>4</sub> «auff's einfeltiglt, lengviausiai» (= *prascziausei* «*papasčiausiai*» VE 18<sub>6-7</sub>), *vckalāngewingi|skān* III 73<sub>11-12</sub> «einfeltiglich, lengviausiai» (= *prascziausei* «*papasčiausiai*» VE 30<sub>15</sub>), *vckelāngewin|giskai* adv.superl., III 59<sub>4-5</sub> «einfeltiglich, lengviausiai» (= *prascziausey* «*papasčiausiai*» VE 23<sub>21</sub>) ~ прусс. *preitlāngus* nom.sg. m., III 87<sub>5</sub> «gelinde, švelnokas» (= *lengwas* VE 37<sub>5</sub>) [ср. др.-лит. *leñgvas*, *-ā* (2) ‘lekki; łagodny; ukladny; isz pocichu’ (gen.pl. m. *lėgwy* DP 549<sub>15</sub>; adv. *lėgwai* DP 403<sub>25</sub>, *lėgwai* DP 90<sub>9</sub>, 60<sub>49</sub>; формы с отражением циркумфлекса корневого слога: nom.sg. f. *lėgwá* DP 361<sub>48</sub>, 437<sub>25</sub>, *lėg=|wá* DP 346<sub>11-12</sub>, *lėgwá* DP 434<sub>2</sub>, instr.sg. f. *l[ø]gwá* DP 11<sub>26</sub>; не релевантны формы: nom.sg. m. *ne lėgwas* DP 398<sub>16</sub>; gen.sg. m. *lėgwo* DP 254<sub>29</sub>; acc.sg. m. *lėgwa* DP 540<sub>12</sub>; nom.pl. f. *lėgwos* DP 548<sub>38</sub>; отражена тенденция к переходу в 4. а.п.: nom.sg. m. *lėgwás Diewas* DP 396<sub>45</sub> — сдвигка акцента, обнаруживаемая в словосложениях, характерна для подвижного акцентного типа; instr.pl. m. *lėgwáis* DP 155<sub>33</sub>; adv. *lėngwái* DP 160<sub>30</sub>, *lėgwái* DP 5<sub>47</sub>, 284<sub>30</sub>, 285<sub>40</sub>, 440<sub>46</sub>]; слав. \**lbgъ* (а.п. *b*) ‘легкий’; афг. *rōy*, f. *rōya* ‘здоровый, целый, невредимый’ || [ТОПОРОВ 1990: 66–68]; [MAŽIULIS 3: 36]; [MAŽIULIS 3: 189]; [ENDZELĪNS IV, 2: 250, 330]; [FRAENK. I: 355–356]; [ДЫБО 1981b: 94–107 (специально: 99–100)]; [ДЫБО 1974c: 76–77].

3. прусс. *Aulāikings* nom.sg. m., III 87<sub>2</sub> «mellig, nuosaikus», ‘умеренный, воздержанный’ ~ балто-слав. основа \**-loiko-*, отраженная в глаголе \**loikī-tei-* [лит. *laikyti* ‘держатъ’; прусс. *laikūt* inf., III 107<sub>10</sub> «leisten, atlikti; laikyti»; *polaikūt* inf., III 35<sub>13</sub> «behalten, palaikyti»]; циркумфлекс устанавливается согласно правилу ФОРТУНАТОВА и переносом ударения по закону де СОССЮРА на форманты неличных форм, ср. также *laikūts* part.praet.pass. nom.sg. m., III 17<sub>21</sub> «gehalten, laikitas»]; доминантность основы, по-видимому, отражается накоренной акцентовкой личных форм: *lāiku* praes.3.sg., III 87<sub>9</sub> «halte, laiko»; *polāiku* praes. 3.sg., III 51<sub>18</sub> «behelt, palaiko»; *lāikumai* praes. l.pl., III 29<sub>14</sub>, 31<sub>5</sub>, 31<sub>6</sub> «halten, laikome»; *po=|lāikumai* praes. l.pl., III 55<sub>23-24</sub> «behalten, palaikome»; *lāiku=|tei* imp. 2.pl., III 87<sub>25-26</sub> «halte (haltet), laikykite»; *lāiku* praes. 3.pl., III 37<sub>18</sub>, 39<sub>7</sub> «halten, laiko»; || [ТОПОРОВ 1975: 154]; [ТОПОРОВ 1990: 21–24]; [MAŽIULIS 1: 116–117]; [ENDZELĪNS IV, 2: 183, 248]; [FRAENK. I: 372–373].

4. прусс. *Lāuſtingins* adj. acc.pl. m., III 97<sub>5</sub> «demütigen, nusižeminusius, nuolankius», ‘смиранный’; *lāuſtingiskan* subst. acc.sg. f., III 97<sub>3</sub> «demut, nusižeminimą, nuolankumą», ‘смирание’ (вторая основа — результат суб-



стантивации адъектива) ~ прусс. \**lāufta*- subst., 2-я а.п. 'Demut' (образование, с регулярной метатонией [рецессивный акут ⇒ доминантный циркумфлекс] и с переводом в неподвижный акцентный тип, от прусс. adj. \**lāufta*- 3-я а.п. 'demütig', первично, по-видимому, part. praet. pass. от глагола, соответствующего лит. *láužti* 'ломать'; лтш. *laužt* 'ломать'). Это предположенное В. Р. Шмальстигом направление этимологизации данных основ более удачно решает проблемы, на которые наталкивается традиционное сближение: лит. *liūdnas* 4 'печальный'; слав. \**ludъ* 'глупый'. || [OP 188]; ср. [Топоров 1990: 173–177]; [MAŽIULIS 3: 52–53]; [FRAENK. I: 378–379]; [ENDZELĪNS IV, 2: 251]; [POK. 584].

5. прусс. *weiffewingi* adv., III 105<sub>26</sub> «fruchtbar, vaisingai» (≤ \**wēifewingi*; хотя знак ударения здесь не поставлен, растяжение первого дифтонга явно свидетельствует о его ударенности) ~ прусс. *wēifin* acc.sg., III 109<sub>8</sub> «früchten, vaisių», для балтийского акцентного типа ср. лит. *vaisius* 2 'плод, фрукт' || [MAŽIULIS 4: 228–229]; [ENDZELĪNS IV, 2: 335]; [FRAENK. II: 1184].

6. прусс. \**fūr̄nawinga*- adj., (в прусс. *fūr̄nawingjku* adv., III 115<sub>18–19</sub> «ernstlich, rimtai») ~ прусс. *fūr̄nawa*-, вероятно, adj. от \**sturna*- или \**sturnā*- (2-я а.п.; анализ см. в разборе прусс. *fen fūr̄nawiskan*. Суффикс -*išk*-, б), № 4) || [MAŽIULIS 4: 163–164]; [ENDZELĪNS IV, 2: 317–318]; [FRAENK. II: 910]; [POK. 1022].

В. Тип с ударением на суффиксальном гласном.

а) От долготных циркумфлектированных имён подвижного акцентного типа (от долготных имен 4-ой а.п.):

1. прусс. *Wertings* nom.sg. m., III 67<sub>14</sub> «Wirdiger, vertingas»; *wertings* III 77<sub>13</sub> «wirdig, vertingas», *niwertings* nom.sg. m., III 77<sub>17</sub> «vnwirdig (unwürdig), newertingas», *wertingiskan* III 41<sub>14</sub> «Wirdigkeit, vertingumo» (ср. лит. *vertingas* 'ценный') (ср. лит. *veřtas* 4 'достойный'). || [MAŽIULIS 4: 231–232]; [ENDZELĪNS IV, 2: 336]; [FRAENK. II: 1229].

2. прусс. *teifingi* adv., III 31<sub>6</sub> «trew, pagarbiai»; *teifingi* adv., III 33<sub>1</sub> «zūchtig, pagarbiai» ['wert']; *niteifingiskan* acc.sg. III 87<sub>4</sub> «vnehrliche, negarbinga» (ср. лит. *teisingas* 'справедливый, правдивый; правильный, верный') ~ образовано от слова, соответствующего лит. *tiesa* 4 'правда, истина' || [MAŽIULIS 4: 190, 189–190]; [ENDZELĪNS IV, 2: 325, 266]; [FRAENK. II: 1088, 1088–1089].

3. прусс. *Druwīngin* acc.sg., III 119<sub>13</sub> «gleubigen, tikintj»; *nidruwīngin* nom.pl. m., III 101<sub>4</sub> «Vngleubigen, netikėliai»; *nidruwīngin* gen.pl., III 121<sub>5</sub> «Vnglaubigen, netikinčj»; *Druwīngimans* dat.pl., III 121<sub>10</sub> «Glaubigen, tikinčiais»; *druwīngins* acc.pl., III 45<sub>20</sub> «Glaubigen, tikintiems»; III 77<sub>19</sub> «Glaubige, tikinčias» ~ прусск. *drūwien* acc.sg., III 45<sub>18</sub>, 77<sub>14</sub>, 123<sub>23</sub>. Это слово относится к тому же рецессивному корню, что и прусс. \**drūckta*-, лит. *drūtas* 3, диал. *drūktas* 3 'dick, fest, stark'; лтш. *drūkts* «resns, stiprs, zaļuoksnis, plecīgs», и, естественно, имело подвижную акцентную парадигму. || [Топоров 1975: 381–385]; [MAŽIULIS 1: 232–235]; [ENDZELĪNS IV, 2: 202]; [FRAENK. I: 107].

4. прусс. *naunings* subst. nom.sg. m., III 87<sub>8</sub> «Newling, naujatikis» < adj. \**naunings* «naujas, visai naujas» (ср. также прусс. *ernaunifan* acc.sg. f., III 63<sub>5</sub> «ernewerung, atnajinimā», 'обновление') ~ прусс. *nauns* adj. nom.sg. m., III 63<sub>19</sub> «newer, naujas»; балто-славянские основы \**novo*- и \**novjo*- относятся к неподвижному акцентному типу, см. б: с. 57, 142; перевод в подвижный акцентный тип, по-видимому, в результате контаминации с основой *jauna*-, чем объясняется перестройка \**novo*- или \**novjo*- > \**nauna*-, ср. др.-лит. (D.) *jūnas* 3 'młody, nowy'; лтш. *jūns* 'jung, neu'. || [MAŽIULIS 3: 171]; [MAŽIULIS 1: 287]; [Топоров 1979: 82]; [ENDZELĪNS IV, 2: 264]; [FRAENK. I: 487–488, 190–191].

б) От краткостных имён подвижного акцентного типа

1. прусс. *ginnewīngiskan* adv., III 113<sub>10</sub> «freuntlich, draugiškai», 'дружески, дружественно' ~ прусс. \**ginewa*- adj., образованный посредством рецессивного суффикса \*-*av*- (ср. слав. -*ov*-, см. Дыбо 1981: 125–127) от прусс. \**ginē* «draugas», 4-ой а.п. (см. выше) и поэтому также относящийся к подвижному акцентному типу. || [Топоров 1979: 238–241]; [MAŽIULIS 1: 364–366]; [ENDZELĪNS IV, 2: 220]; [FRAENK. I: 151].

2. прусс. *Jffpretīngi* adv., III 75<sub>18</sub> «Nemlich, supratingai, suprantamai», *iffpretīngi* III 95<sub>2–3</sub> «Nemlich, suprañtama» (= *tatai esti* VE 32<sub>3</sub>, 42<sub>2</sub>) 'а именно, то есть' ~ прусс. *iffpreftun* sup., III 113<sub>13</sub> «zu uerfſtehen, supraſti», 'понимать', глагол, относящийся к подвижному акцентному типу, ср. прусс. *popreftemai* (≤ \**popreftēmai*); подробности в части, посвященной акцентным парадигмам глагола. || [Топоров 1980: 86, 83–86]; [MAŽIULIS 2: 50, 49–50]; [ENDZELĪNS IV, 2: 229]; [FRAENK. I: 645–647].

с) От краткостных основ неподвижного акцентного типа

1. прусс. *labbingis* adj. nom.sg. m. III 51<sub>8</sub> «guter, geras», 'благой, добрый' (≤ \**lābings*); но ср. *labbatīngins* adj. acc.pl. m., III 97<sub>4</sub> «hoffertigen, iſdidzius», 'гордый (гордец)' ~ прусс. *labs* adj. nom.sg. m., III 51<sub>20</sub> «guter, geras», *labban* nom.sg. n., III 89<sub>14</sub> «gut, gera»; в др.-лит. слово относилось к 2-й а.п., остатки сохранились в работах Н. Даушки, см. выше, естественно думать, что неподвижный акцентный тип характеризовал эту основу и в балто-славянском. || [Топоров 1984: 398–399, 396–398]; [MAŽIULIS 3: 14–15]; [ENDZELĪNS IV, 2: 248]; [FRAENK. I: 327].

2. прусс. *mufīngin* adv., III 71<sub>2</sub> «mōglich, galimai» ['möglich']; *wiffemufīngis* adj. nom.sg. m., III 117<sub>16</sub>, 119<sub>9</sub>, 129<sub>14</sub>, 131<sub>14</sub> «almechtiger, visagalis» (≤ \**muzingī*-) ~ прусс. *mufilai* opt. 3.sg., III 121<sub>2</sub> «mōge, (jis) galētc»; глагол неподвижного акцентного типа, ср. прусс. praes. 1.pl. *māsifimai* III 123<sub>24–15</sub> «mūgen, galime» (≤ \**māzīmāi*), тип с первично накоренным неподвижным ударением, сдвинутым с короткого слога на следующий слог (закон Кортланда). || [MAŽIULIS 3: 160, 160–161, 113–115]; [ENDZELĪNS IV, 2: 263]; [FRAENK. I: 395].

3. прусс. *reddewingi* adv., III 33<sub>20</sub> «felfchlichen, apgaulingai» (≤ \**rēdēwingi*) ~ прусс. *reddau* (опечатка; надо: *reddan*) acc.sg., III 69<sub>16</sub> «falfche, apgaulinga»;



связывают обычно с лит. *rėtas* 4 'редкий', лучше связывать непосредственно с слав. \**rědъкъ*, ф. \**rědъка* > \**rědъкъ*, ф. \**rědъка*, которое точно согласуется с прусским по консонантизму, долгота гласного в славянском явно не первоначальна, так как не согласуется с правилом порождения слоговых интонаций. Акцентный тип D славянского слова соответствует а.п. *b* производящего (см. [Дыбо 1981: 94–107]), этот же акц. тип, по-видимому, был и у прусского слова, т.е. 2-я а.п.; ср. лтш. (BW.) *rēds* «undicht». || [MAŽIULIS 4: 17–18, 18]; [ENDZELĪNS IV, 2: 294]; [FRAENK. II: 723–724]; [KARULIS 750].

### Суффикс *-(i)nīk-a-*

#### Вариант с ударением на корне

1. прусс. *Dīlnikans* acc.pl., III 95<sub>7</sub> «Arbeitern, darbininkus», 'работник' ~ *dīlas* gen.sg., III 89<sub>8</sub> «wercks, darbo», 'работа, дело'; *dīlan* acc.sg., III 79<sub>23</sub> «werck, darbas»; *dijlan* gen.pl., III 125<sub>14</sub> «wercken, darbu»; *dīlans* acc.pl., III 33<sub>2</sub>, 69<sub>3</sub> «wercken, darbus»; *dīlins* acc.pl., III 67<sub>7</sub> «wercken, darbus» || ср. слав. \**dělo* а.п. *a*; и прусское и славянское слово — производное от балто-славянского глагола \**dē-tei-* 'делать' неподвижного акцентного типа, см. [Дыбо 2000: 298–299, сн. 142]; [Дыбо 2008: 540–541]. || [ТОПОРОВ 1975: 341, 339–341]; [MAŽIULIS I: 202, 200–201]; [ENDZELĪNS IV, 2: 198]; [ФАСМЕР I: 496–497]; [FRAENK. I: 91–92].

2. прусс. *pogalbenix* (без ударения) nom.sg. m., III 103<sub>24</sub> «heiland, pagelbētojas (išganytojas)»; *pogālbenikan* acc.sg. m., III 91<sub>19</sub> «heylandt, pagelbētoja (išganytoja)» ~ прусс. *pogalban* acc.sg. f., III 101<sub>11</sub> «gehūlfen, pagalba» (для балтийского акцентного типа ср. лит. *pagalba* 1 'помощь, содействие') || [MAŽIULIS 3: 305]; [ENDZELĪNS IV, 2: 283]; [FRAENK. I: 144].

3. прусс. *Lūbeniks* nom.sg. m., III 99<sub>21</sub> «Priester, sutuokėjas», *Lūbeniks* nom.sg. m., III 109<sub>4</sub> «sutuokėjas», 'духовное лицо, совершающее обряд обручения', *Lūbnigs* nom.sg. m., III 107<sub>12</sub> «sutuokėjas» ~ прусс. [fian] *Lūbi* III 17<sub>19</sub> «[das] Trew, [ta] sutuoktuviu», 'брак, обручение, венчание'; слово заимствованное, и этим определяется его неподвижный акцентный тип (но ср. слав. \**lūbъnikъ* [др.-русск. (XIV в.) ЛЮБНИКЪ м. 'почитатель'; схрв. (XVIII в.) *lūbnik* м. 'возлюбленный, любовник'; словен. *ljubnik* м. 'возлюбленный, любовник'] ~ слав. \**lūby* > \**lūbŭ*, gen.sg. \**lūbŭve* а.п. *b* [др.-русск. (Чуд.) ЛЮБЪ nom.sg. I<sup>3</sup> и др., ѿ ЛЮБВЕ dat.sg. 138<sup>4</sup>; русск. диал. (в былинах) ЛЮБЫ СРНГ 17: 240; ср.-болг. ЛЮБЫ nom.sg. Зопр. Б34в, Соф.сл. 25б, ѿ ЛЮБЫ nom.sg. Соф.сл. 41б, ЛЮБВЕ gen.sg. Зопр. Б57а и др., къ ЛЮБВИ dat.sg. Зопр. Б55а и др., въ ЛЮБѢВѢ acc.sg. Соф.сл. 56а и др., въ ЛЮБВИ loc.sg. Соф.сл. 67б]; так что с акцентологической точки зрения эти основы могли быть и родственными) || [ТОПОРОВ 1990: 367–369]; [MAŽIULIS 3: 85]; [ENDZELĪNS IV, 2: 254].

4. прусс. *schlūfnikai* nom.sg. f., III 89<sub>26</sub> «Dienerin, tarnautoja»; [fchan twai]an] *schlu=fnikin* acc.sg. f., III 117<sub>18</sub><sup>21</sup> «[diefē deine] Dienerin, tarnautoja»,

[fian] twai]an] *schlūfnikan* acc.sg. m., III 117<sub>19</sub> «[diefen deinen] Diener, tarnautoja», *schlūfnikai* nom.pl. m., III 91<sub>7</sub> «Diener, tarnautojai» ~ прусс. *schlūfimai* praes. 1.pl., III 31<sub>5</sub> «diene, tarnaujame», *schlūfti* praes.2.pl., III 95<sub>16</sub> «dienet, tarnaujate», глагол неподвижного акцентного типа, так что ударение имен полностью подчиняется правилу выбора акцентных парадигм; в славянском то же соотношение акцентовки производного и производящего. || [MAŽIULIS 4: 86, 85–86]; [ENDZELĪNS IV, 2: 301]; [FRAENK. II: 836].

5. прусс. *grīkenix* subst. nom.sg. m., III 67<sub>18</sub> «sūnder, nusidėjėlis»; *grīkenikan* acc.sg. m., III 71<sub>9</sub> «nusidėjėlis», 'грешник' ~ прусс. *grijkan* acc.sg. m., III 45<sub>6</sub> и др. — заимствование из польского, этим, по-видимому, определяется неподвижность ударения в этом слове и его акутовая интонация; в славянском то же соотношение акцентовки производного и производящего. || [ТОПОРОВ 1979: 307–208]; [MAŽIULIS I: 409]; [ENDZELĪNS IV, 2: 224]; [Дыбо 2000: 147–150].

Более сложная ситуация в следующих исконно прусских основах:

6. прусс. \**wēldniks* (nom.sg. m.) ~ \**wēldnikai* (nom.pl. m.) (в прусс. [fendraugi]wēldnikai nom.pl. m., III 93<sub>8</sub> «Miterben, [bendra]veldėtojai», прусс. *sendraugi wēldnikai* nom.pl. m., III 93<sub>8</sub> «Miterben, [bendra]veldėtojai») ~ В древнелитовском по DP обнаруживаются реликты неподвижного акцентного типа в этом глаголе: part.praes. pass. gen.pl. *wēldamu* DP 484<sub>43</sub>, *wēldamu* DP 4<sub>9</sub> 'подданных', чл.ф. *wēldamui* DP 497<sub>36</sub>, acc.pl. *wēldamus* DP 85<sub>42</sub> || [MAŽIULIS 3: 99–100, 216–217, 229]; [ENDZELĪNS IV, 2: 304, 333, 335]; [FRAENK. II: 1188–1189, 1217–1218]; [KARULIS 1109, 1136].

7. прусс. *Wāldnikans* acc.pl. m., III 91<sub>15</sub> «Kdñige, valdovus»; [fte=]fmu] *Waldniku* (без знака ударения) dat.sg. m., III 91<sub>25</sub> «[dem] Kdñige, valdovui» ~ основа образована от глагола, соответствующего лит. *valdyti*, praes. 3. *valdo*, praet. 3. *valdė*; лтш. *vāldīt* 'herrschen, regieren, verwalten, bezähmen', так как различие двух а.п. в литовском языке в глаголах этого типа потеряно, связь акцентовки этого производного с первичной а.п. глагола установить не удастся, неясна и причина общебалтийской метатонии в этой основе. Ничего не дает нам и др.-лит. part.praes. act. nom.pl. *wāldq* DP 278<sub>37</sub>, так как по древнелитовскому материалу довольно надежно устанавливается распределение акцентных парадигм у *-ē/i-* и *-ē/ā-* глаголов, но не у *-ī/ā-* глаголов; но в славянском этот глагол по древним данным показывает систему парадигм, сходную с *-ē/ā-* группой: ст.-слав. part. praes. act. *владѣти*, dat.sg. *владѣштю* (СтСлС); др.-серб. part. praes. act. *владыи*, dat.sg. *владоуцоу*, part.praet. act. *владѣвь* (Даничиѣ); др.-русск. *володѣти*, *l*-part. *володѣль*, part.praes. act. *володѣи* (СРЕЗНЕВСКИЙ), а среднебогарские и древнесербские тексты дают материалы, позволяющие думать о доминантности глагольного корня \**vold-* в праславянском: ср.-болг. (ст.-тырн.) *владѣтъ* Зопр. Б49<sup>30</sup> а; др.-серб. *не владе|тъ* Апост. 183<sup>18–19</sup> а, *не вл|детъ* Апост. 183<sup>20</sup>.

<sup>21</sup> Точнее, это вставка к 18-ой строчке, напечатанная на полях.

<sup>21</sup>А; подробно о проблеме восстановления неподвижной акцентной парадигмы тематического презенса с циркумфлексовой интонацией корневого слога см. [Дыбо 2000: 353 и 368–376]). Если принять, что эти древние южнославянские факты отражают праславянскую систему, то прусское ударение можно считать отражением прабалтийского состояния. В этом случае прусс. *waldūns* nom.sg. m., III 131<sub>21</sub> «Erbe, veldētojas»; *weldūnai* nom.pl. m., III 63<sub>9</sub> «Erben, veldētojai» можно рассматривать как результат переноса ударения с циркумфлектированного (доминантного) слога на акутированный доминантный суффикс. || [MAŽIULIS 3: 99–100, 216–217, 229]; [ENDZELĪNS IV, 2: 304, 333, 335]; [FRAENK. II: 1188–1189, 1217–1218]; [KARULIS 109, 1136]; [ФАСМЕР I: 340–341, 344].

#### Вариант с ударением на суффиксе.

1. прусс. *malnijks* subst. nom.sg. m., III 131<sub>21</sub> «Kindt, vaikas», *mal*≠*neyks* subst. nom.sg. m., III 133<sub>2-3</sub> «Kindt, vaikas»; *malnijkas* gen.sg. m., III 115<sub>27</sub> «Kindes, vaiko», *malnijkas* gen.sg. m., III 121<sub>18</sub> «Kindes, vaiko»; *Malniku* dat.sg. f., III 131<sub>17</sub> «Kind, vaikui», *malnijkan* subst. acc.sg. m., III 133<sub>2</sub> «Kindt, vaika»; *malnijkai* subst. nom.pl. m., III 47<sub>10</sub>, 49<sub>7</sub> «Kin.,er, vaikai»; *Malnijkai* subst. nom.pl. m., III 93<sub>23</sub> «Kin.,er, vaikai»; *malnijkans* subst. acc.pl. m., III 69<sub>11</sub> «Kin.,t, vaikus», *malnijkans* subst. acc.pl. m., III 87<sub>7</sub> «Kin.,er, vaikus»; *Malneijkans* subst. acc.pl. m., III 93<sub>22</sub> «Kin.,em, vaikus» (≅ \**maldīnika*-; восстановление *-dī-* поддерживается формами в Словаре ГРУНАУ: 53. *malnicka, haltnyka, Haltnyka* 'Kindt', с явной опiskой в начале слова в двух последних формах; насуффиксная акцентовка документирована достаточно надежно: в одной форме на суффиксе *-ik-* поставлен знак ударения, в других формах знака нет, но об ударности суффикса, по-видимому, свидетельствует удлинение и дифтонгизация *\*-i-*) ~ *maldai* adj. nom.pl. m., III 97<sub>2</sub> «jungen, jauni»; *maldans* adj. acc.pl. m., III 85<sub>4</sub> «jungen, jaunus», обе формы без отмеченного ударения, но по славянским соответствиям ясно, что это прилагательное относилось к подвижному акцентному типу и зафиксированные формы, в соответствии с установленными выше закономерностями прусской акцентной системы должны были иметь начальное ударение; циркумфлекс корня \**mald-* отражен в самом прусском в переносе ударения на доминантный суффикс *-ūn-*: *Maldūnin* subst. acc.sg. f., III 17<sub>15</sub>, 97<sub>1</sub> «jugent, jaunīna» (относительно славянских материалов для подтверждения подвижного акцентного типа прилагательного \**maldas* ср. слав. \**mōldъ*, f. \**mōldā*, п. \**mōldo*: русск. *мóлод*, чл.ф. *молодóй*; укр. *молодóй*; др.-серб. *младá* nom.sg. f., Ев.-апр. 224б, схрв. *mlād*, f. *mláda*; словен. *mlād*, f. *mláda*; чеш. *mladý*, словц. *mladý*; польск. *młody*; в.-луж. *młody*). || [MAŽIULIS 4: 106–107, 100–105]; [ENDZELĪNS IV, 2: 257]; [Дыбо 2000: 221].

2. прусс. *au*≠*fchautenīkamans* subst. dat.pl. m., III 53<sub>21-22</sub> «Schuldigern, skolinīnkams», 'должникам' ~ прусс. *āu*≠*fchautins* subst. acc.pl. m., III 53<sub>20</sub> 21

«fchulde, skolas», 'долг, обязанность' (< \**au-si-jau-ti*<sup>22</sup>, существительное от возвратного глагола с корнем \**jau-*, см. [VALLANT BSL 44: 133]; ср. др.-инд. (AV) *yáuti* 'bindet, verbindet, spant an, macht fest', (RV) *yuvāti*, perf. *yuyuvé* 'hat gebunden', aor. (RV VIII, 5, 13) *yáviṣtam*, part. pass. (AV) *sám-yuta-* 'zusammengefügt'; лит. *jaūti*, praes. 3. *jaūna, jaūja*, praet. *jōvė* Rd, Kv, Rt, Als, Sln<sup>23</sup>, но LKŽ отмечает и вариант *jauti*, praes. 3. *jauna, jauja*, praet. *jovė* Š, BŽ и K.BŪG<sup>24</sup> 'мешать, перемешивать (всё, хорошее с ненужным), складывать как попало; вымешивать, готовить (корм для свиней, коров)'; лтш. *jaūt*, praes. 1.sg. *jaūmu* или *jaūju*, praet. 1.sg. *jāvu* или *javu* 'mischen, (Teig) einrühren', любопытно, что в пару с литовским акутированным вариантом обнаруживается и латышский акутированный вариант: лтш. *jaūt* Lis., Druw. [так как последняя основа отмечена на восточнолатышской территории: пункты — Lizums и Druviēna, её интонация свидетельствует о том же, о чем свидетельствует прерывистая интонация в диалектах с тремя интонациями, о рецессивном акуте и о первичной подвижности ударения в этом глагольном слове]. Индологи ([MAYRHOFER EWA] и [NARTEN]) склонны рассматривать данный корень как *aniṭ* и объяснять все долготные отклонения как вторичные изменения по аналогии; это, как будто, согласуется с восточнобалтийской циркумфлексной акцентовкой; однако имеется небольшая, но важная группа исключений, которая ставит под сомнение этот вывод: др.-инд. *yūtiḥ* f. 'Verbindung, Vereinigung': лтш. *jūtis* 'распутье; сочленение'; это идеальное соответствие [при объяснении расхождения в месте ударения законом Хирта] ясно указывает на «долготный корень» [*sef*-корень или корень с долгим дифтонгом], к этой же группе можно присоединить лит. *jaūtis* l 'вол, бык' при рассмотрении его значения как метонимии от 'упряжь'; тот факт, что здесь также отражен закон Хирта–Иллич-Свитьча, свидетельствует о том, что в этом корне был долгий дифтонг); подвижный акцентный тип первичного глагола довольно хорошо показан акцентовкой его каузатива: *aufschaudītwei* inf., III 27<sub>11</sub> «vertrawen, pasitikėti»; *aufschaudijt* inf., III 39<sub>8</sub> «vertrawen, pasitikėti», 'доверять, верить' ||

<sup>22</sup> Обычное объяснение этого имени, предложенное Я. Эндзелином, как производного от глагола \**šjauti*: лит. *š(i)auti*; лтш. *šaut* 'стрелять, совать', — не может быть принято уже из-за резкого отличия прусских основ от балто-славянской основы в акцентологическом отношении. Прусские основы (как имя, так и соответствующий каузатив) показывают явно подвижный акцентный тип, а балто-славянская основа относилась к акутированному неподвижному акцентному типу и сохраняла неподвижность акцента как в балтийском, так и в праславянском. К этому можно добавить, что предполагаемое развитие значения через значение имени «Vorgschüsse» 'задаток' крайне затрудняет объяснение значения каузатива 'доверять, верить'.

<sup>23</sup> Три последних пункта дает [BŪGA RR II: 430].

<sup>24</sup> Последняя помета — явное недоразумение, так как К. Буга в ряде работ регулярно отмечал, что вариант с акутовой интонацией отсутствует.

[ТОПОРОВ 1975: 163–165]; [MAŽIULIS I: 121–122]; [ENDZELĪNS IV, 2: 184]; [FRAENK. II: 969]; [FRAENK. I: 191]; [РОК. 508]; [MAYRHOFER III: 28–29, 25]; [MAYRHOFER EWA II: 402–403]; [NARTEN 212–213]; [KARULIS 353, 365].

3. прусс. *Retenikan* subst. acc.sg. m., III 637 «Heylandt, išganytoja», *Rettēnikan* subst. acc.sg. m., III 131<sub>20</sub> «Heylandt, išganytojuī», 'спаситель' ~ прусс. *ret-*, немецкое заимствование *retten*; в какой мере и в какой форме оно было усвоено прусским языком, не ясно; ударение второго примера — это ударение, передвинутое с первого краткостного слога на следующий по закону Кортландта, ударение первого примера — это, видимо, результат стремления акцентологически пруссизировать этот термин согласно основной массы слов с данным суффиксом и передвинутым с корневой морфемы ударением. || [MAŽIULIS 4: 20–21]; [ENDZELĪNS IV, 2: 294].

*Комментарии.* Для оценки первичной акцентной системы порождения акцентных типов производных имен особенно интересна акцентовка образований с рецессивными суффиксами<sup>25</sup> В тексте *Enchiridion*'а обнаруживается небольшой корпус словоформ с двумя такими суффиксами: *-išk-* и *-ing-*. По счастью один из этих суффиксов акурированный (*-ing-*). Это дает возможность проследить не только отражение «морфологической подвижности» ударения, но и отражение закона де Соссюра. Примеров, демонстрирующих «морфологическую подвижность» очень мало, но их и должно быть очень мало, как это показал анализ первичных (непроизводных) имен и имен с прикорневыми (первичными) суффиксами.

#### Суффикс *-išk-*

##### А. Тип с накоренным ударением.

###### Образования от имен а.п. I

1. *etnīwingiſku* adv. ~ *\*etnīwingiškū* adj. nom.sg. f.
2. *wīngriſkan* subst. acc.sg. f. ~ *\*wīngriškū* subst. nom.sg. f.
3. *Prūfiſkai* adv., *Prūfiſkan* adj. acc.sg. ~ *\*Prūfiškū* nom.sg. f.
4. *deiwūtiskan* subst. acc.sg. f. ~ *Deiwūtiskū* subst. nom.sg. f.
5. *ſalūbiſkai* adv., *ſalūbiſkan* subst. acc.sg. ~ *\*ſalūbiškū* subst. nom.sg. f.
6. *tikrōmiſkan* acc.sg. ~ *tikrōmiſkan* gen.pl., *\*tikrōmiškū* nom. sg. f.
7. *dīlantiſkan* acc.sg. f. ~ *\*dīlantiškū* nom.sg. f.
8. *ſkīſtieſkan* acc.sg. ~ *\*ſkīſtieškū* nom.sg. f.

###### Образования от долготных имен а.п. 2

9. *deīgiſkan* adj. acc.sg. n. ~ *\*deīgiškū* adj. nom.sg. f.
10. *šlaiſikan* acc.sg., *šlaiſikai* dat.sg. ~ *\*šklaitewingiſkan* adj. acc.sg. f. ~ *\*šlaiſiškū* nom.sg. f.
11. *kaūpiſkan* subst. acc.sg. f. ~ *\*kaūpiškū* subst. nom.sg. f.

###### Образования от краткостных имен а.п. 2

12. *lābiſkan* acc.sg. f. ~ *lābisku* subst. nom.sg. f.
13. *rēdiſku* instr.sg. ~ *\*rēdiſku* nom.sg. f.

<sup>25</sup> Именно на эту группу суффиксов обратил свое внимание в своем докладе на International Workshop on Balto-Slavic Accentology IV (Scheibbs, 2–4 July 2008) *Balto-Slavic weak (recessive) nominal suffixes in Old Prussian* Витаутас Ринкявичюс.

##### В. Тип с подвижным ударением.

###### Образования от имен а.п. 3.

1. *\*auktimiſkan* subst. acc.sg. f. ~ *auktimiškū* subst. nom.sg. f.
2. *ſmūneniſku* adv. ~ *\*ſmūneniškū* nom.sg. f.
3. *ſiriſku* adv. ~ *\*ſiriškū* nom.sg. f.
4. *niteiſingiſkan* acc.sg. ~ *\*niteiſingiškū* nom.sg. f.
5. *drūktawingiſkan* adj. acc.sg. ~ *\*drūktawingiškū* adj. nom.sg. f.
6. *prābutiſkan* adj. acc.sg. ~ *\*prābutiškū* adj. nom.sg. f.

###### Образования от имен а.п. 4

7. *keſmeneniſkan* adv. ~ *keſmeniskai* adj. nom.pl. f., *keſmeneniſkan* adj. gen.pl. ~ *\*kemeneniškū* adj. nom.sg. f.

###### Образования от краткостных имен а.п. 4

9. *gīniſkan* subst. acc.sg. f. ~ (?) *\*gīniškū* subst. nom.sg. f. (ср. *ginnewingiſkan* adv.).

Наличие противопоставления между группой А и группой В демонстрируют нам формы *Deiwūtiskū* (subst. nom.sg. f.) ~ *auktimiškū* (subst. nom.sg. f.); отсутствие передвижения на доминантные циркумфлексовые окончания в группе В, то есть в подвижном акцентном типе, продемонстрировали нам формы: *keſmeniskai* (adj. nom.pl. f.), *keſmeneniſkan* (adj. gen.pl.), выше мы видели это на примере форм первичных имен: gen.sg. *ſiras* (< *\*zirās*), *ālgas* (< *\*algās*), nom.pl. *iſtai* (< *\*iſtai*), adv. *drūktai* (< *\*drūktai*) и подобные.

#### Суффикс *-ing-*

##### А. Тип с накоренным ударением.

###### Образования от имен а.п. I.

1. *ni gīdings* ~ *\*ni gīdingū* nom.sg. f.
2. *\*kiſmings* (в *kiſmingiſkai* adv.) ~ *\*kiſmingū* nom.sg. f.
3. *nirīgewings* adj. nom.sg. m. ~ *\*nirīgewingū* adj. nom.sg. f.
4. *etnīwings* nom.sg. m. (ср. *etnīwingiſkai* adv.) ~ *\*etnīwingū* nom.sg. f.

###### Образования от долготных имен а.п. 2.

5. *niquaītings* nom.sg. m. ~ *\*niquaītingū* nom.sg. f.
6. *lañgiwings* nom.sg. m. (в *no vckalāngiwingiſkai*), *lañgiwingiſkai* adv. ~ *\*lañgiwingū* nom.sg. f.
7. *aulaīkings* nom.sg. m. ~ *\*aulaīkingū* nom.sg. f.
8. *lauſtingins* acc.pl. ~ *lauſtingū* nom.sg. f.

###### Образования от краткостных имен а.п. 2

9. *lābings* nom.sg. m. ~ *\*lābingū* nom.sg. f.
10. *mufingin* adv. ~ *\*mufingū* nom.sg. f.
11. *rēdēwingi* adv. ~ *\*rēdēwingū* nom.sg. f.

##### В. Тип с подвижным ударением.

###### Образования от имен а.п. 3.

1. *\*grēusings* или *\*grēysings* adj. nom.sg. m. (напечатано: *ni grēnſings*) ~ *\*grēusingū* или *\*grēysingū* adj. nom.sg. f. (ср. лтш. *griēzīgs* 'schneidig, schneidend, scharf', *grāizīgs* 'schneidend, beißend')

2. \**drūktawings* (в *drūktawingiskan* adj. acc.sg.) ~ \**drūktawingū* adj. nom.sg.f.

Образования от долготных имен а.п. 4

3. *wertings* nom.sg. m. ~ \**wertingū* nom.sg. f.

4. *teifingi* adv. ~ \**teifingū* nom.sg. f.

5. *naunings* nom. sg. m. ~ \**nauningū* nom.sg. f.

Образования от краткостных имен а.п. 4

6. \**ginnewings* (в *ginnewingiskan* adv.) ~ \**ginnewingū* nom.sg. f.

7. *īsprētingi* adv. ~ \**īsprētingū* nom.sg. f.

Особое место занимает прусс. \**druwīngis* 'верующий' (≤ \**druwīngis*, по-видимому, образование с йотацией и, естественно, с метатонией и с вторично доминантным суффиксом), эта лексема представлена следующими формами: *Druwīngin* acc.sg. ~ *nidruwīngi* nom.pl. m., *nidruwīngin* gen.pl.; *Druwīngimans* dat.pl.; *druwīngins* acc.pl. (Оставлена первичная маркировка; вторичной доминантностью суффикса объясняется акцентовка dat.pl. (при первичном тематическом образовании ожидалось бы \**Druwīngamāns*).

Важнейшим результатом рассмотрения этой группы суффиксальных имен является обнаружение достаточно четкого распределения поведения циркумфлектированных основ по отношению к закону де Соссюра. Передвижение ударения с циркумфлексового слога на суффикс с рецессивным акутом происходит лишь в том случае, если циркумфлекс был рецессивным, то есть если производящее относилось к подвижной акцентной парадигме (а.п. 4): 1. *wertings* (nom.sg. m.), 2. *teifingi* (adv.), 3. *naunings* (nom.sg. m.), и не происходит, если циркумфлекс производящего был доминантным, то есть если производящее относилось к неподвижной акцентной парадигме (а.п. 2): 1. *niquaītings* (nom.sg. m.), 2. *aulaīkings* (nom.sg. m.), 3. *lauītingins* (acc.pl.), *lauītingū* (nom.sg. f.). Эта особенность наблюдается и при склонении первичных имен: в неподвижной акцентной парадигме (а.п. 2) ударение переносится на акутированное доминантное окончание nom.sg. f. *-ā* и не переносится на рецессивные акутированные окончания: acc.pl. f. *-āns* (*rānkans*), acc.pl. m. *-ōns* (*prēipīrstans*), acc.pl. i-основ *-īns* (*āufīns*); instr.sg. f. *-ān* (*jen biāfnan*, *quāitīn*, *rānkān*). В последнем случае поставлено два знака ударения, что может указывать на колебания информатора в определении акцентологической валентности основы (о колебании акцентной парадигмы основы (*y*)*ronka-* в балто-славянском и германском см. [6: 23–24, 100–101]).

Выбор акцентных типов при доминантном суффиксе

А. Образования от основ неподвижного акцентного типа

1. *dīlniks* < \**dīlīnikas* < \**dēlīnikas* образовано от \**dēla(n)* (а.п. 1).

2. *pogālbeniks* < \**pogālbīnikas* образовано от \**pogālba* (а.п. 1).

3. *waldnīkas* < \**waldīnikas* образовано от \**waldā-* (а.п. 2; девербатив от глагола с доминантным корнем \**veld-/vold-*).

В. Образования от основ подвижного акцентного типа

1. *malnīks* < \**maldnīks* < \**maldīnikas* образовано от \**malđas*, f. \**maldā* (а.п. 4).

2. *aufchautenīks* < \**ausautīnikas* образовано от \**ausautīs*, acc.sg. *aūsautīn* f. (а.п. 3<sup>b</sup>).

Примеров с вторичными доминантными суффиксами тоже очень мало, но наиболее показательный суффикс *-inīk-* дает возможность убедиться, что система порождения акцентных типов производных была в прусском языке такой же, как и в других балто-славянских языках.

Подробный разбор акцентовки форм глагола я постараюсь дать в следующем выпуске БСИ.

## ССЫЛКИ

1. F. Fortunatov. Über Accent und Länge in den baltischen Sprachen. I: Der Accent im Preussischen // BB, XXII, 1897.
2. N. Van Wijk. Altpreussische Studien. Beiträge zur baltischen und zur vergleichenden indogermanischen Grammatik. Haag, 1918.
3. Chr. S. Stang. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo - Bergen - Tromsø, 1966.
4. N. Van Wijk. Die baltischen und slavischen Akzent- und Intonationssysteme. Ein Beitrag zur Erforschung der baltisch-slavischen Verwandtschaftsverhältnisse. 'S-Gravenhage, 1958 (1-е издание: Amsterdam, 1923).
5. Chr. S. Stang. Slavonic accentuation. Oslo, 1957.
6. В. М. Илич-Свитыч. Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба акцентуационных парадигм. М., 1963.
7. F. Kortlandt. Old Prussian accentuation. // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. Bd. 88.
8. Pirmoji prūsų knyga. Vilnius, 1995.
9. В. А. Дыбо. Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М., 1981.
10. В. А. Дыбо. Закон Васильева - Долово в древнерусском (на материале Чудовского Нового Завета). // International journal of Slavic linguistics and poetics. The Hague, 1975. Vol. XVIII, 1.
11. В. А. Дыбо. Именное ударение в среднеболгарском и закон Васильева - Долово. // СБЯ. Античная балканистика и сравнительная грамматика. М., 1977.
12. В. А. Дыбо. Новые данные по диалектологии среднеболгарских акцентных систем. // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию Андрея Анатольевича Зализняка. М., 1996; 356–382.
13. В. А. Дыбо, Г. И. Замятна, С. Л. Николаев. Основы славянской акцентологии. Словарь. Вып. 1. М., 1993; 7–18;
14. В. А. Дыбо. Из балто-славянской акцентологии. Проблема закона Фортунатова и поправка к закону Ф. де Соссюра // Балто-славянские исследования 1998–1999. М., 2001.
15. В. А. Дыбо. К вопросу о системе порождения акцентных типов производных имен в прабалтийском. // БСИ. 1980. М., 1981.
16. В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. А - D: 1975; Е - Н: 1979; I - K: 1980; K - L: 1984; L: 1990. М.
17. V. Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. T. 1 (A - H): Vilnius, 1988; t. 2 (I - K): Vilnius, 1993; t. 3 (L - P): Vilnius, 1996; t. 4 (R - Z). Vilnius, 1997.

18. В. А. Дыбо. Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии. // *Балто-славянские исследования*. М., 1974.
19. С. Л. Николаев. Балто-славянская акцентуационная система и ее индоевропейские истоки. // *Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод*. М., 1989.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- III — третий прусский Катехизис — Enchiridion, цитируется по изданию: *Mažiulis, V. Prūsų kalbos paminklai*. Т. I: 1966; II: 1981. Vilnius.
- Андронов 2002 — А. В. Андронов. Материалы для латышско-русского словаря ~ *Latviešu-krievu vārdnīcas materiāli*. Санкт-Петербург [http://www.genling.nw.ru/Staff/Andronov/publicat/mono/lvru.pdf].
- Ап. 1564 г. — Апостол. М. (Старопечатная московская книга; цит. по: [Васильев]).
- Апост. — Ст.-сербская рукопись начала XV в. «Апостол и въскресни евангелия». // *НБКМ № 889* (по Цоневу).
- Васильев — Л. Л. Васильев. О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI–XVII вв. К вопросу о произношении *o* в великорусском наречии. Л., 1929.
- Вук — Вук Стеф. Караџић. Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем рјечима. Биоград. 1898.
- Даль<sup>3</sup> — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I (А–З): 1903; Т. II (И–О): 1905; Т. III (П–Р): 1907; Т. IV (С–V): 1909. СПб. — М.
- Даничић — Ђ. Даничић. Рјечник из књижевних старина српских. Београд, 1863–1864.
- Дыбо 1974с — В. А. Дыбо. Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии // *Балто-славянские исследования*. М.
- Дыбо 1981 — В. А. Дыбо. Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М.
- Дыбо 1981b — Дыбо 1981
- Дыбо 2000 — В. А. Дыбо. Морфологизованные парадигматические акцентные системы. Типология и генезис. Том I. М.
- Дыбо 2003 — В. А. Дыбо. Балто-славянская акцентологическая реконструкция и индоевропейская акцентология. // *Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Люблина, 2003 г. Доклады российской делегации*. М.
- Дыбо 2006 — В. А. Дыбо. Порождение акцентных типов производных имен в балтийском. // *Балто-славянские исследования*. XVII. М.
- Дыбо 2008 — В. А. Дыбо. Германское сокращение индоевропейских долгот, германский «Verschärfung» (закон Хольцмана) и балто-славянская акцентология // *Аспекты компаративистики. 3 ~ Aspects of comparative linguistics. 3 (= Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности; Выпуск XIX ~ Papers of the Institute of Oriental and Classical Studies; Issue XIX)*; М.; РГГУ; стр. 537–608.
- Ев.-Ап. — Евангелие-Апракос (полный) [Сербская рукопись начала XV в. // РГБ, отдел рукописей, ф. 178, № 7364]

- ЕСУМ — *Етимологічний словник української мови*. Т. 1 (А–Г): 1982; т. 2 (Д–Копці): 1985; т. 3 (Корá–М): 1989; т. 4 (Н–П): 2004; т. 5 (Р–Т): 2006. Київ.
- Ж — *Євгеній Желехівський і Софрон Недільський*. Малорусько-німецький словар / Під зарядом Беднарського. Т. I–II. Львів, 1886.
- Зогр. — Сборник слов и житий [Восточноболгарская рукопись XIV в. // Б-ка Афонского Зографского монастыря, № 171 (по Ильинскому), ранее была известна как: Зогр. № 103; под данным номером ряд отрывков этой рукописи был издан в: Йорданъ Ивановъ. *Български старини изъ Македония*. София, 1931].
- Ис.Сир. — Поучения Исаака Сирина: западноболгарская рукопись 1381 г. (1-й почерк) ГБЛ, отдел рукописей, ф. 304, № 172.
- НИКОЛАЕВ–ТОЛСТАЯ 2001 — С. Л. Николаев, М. Н. Толстая. Словарь карпатоукраинского торуньского говора с грамматическим очерком и образцами текстов. М., 2001.
- Пс. № 62 — Список 1-й пол. XVII в. с перевода Псалтыри, сделанного Максимом Греком. // РГБ, отдел рукописей, ф. 304, № 62.
- Скляренко, В. Г. *Історія українського наголосу*. Іменник. Київ, 2006.
- Соф.сл. — Служебник: среднеболгарская рукопись XIV в. // *Народна библиотека «Кирил и Методи» (София)*, № 231. Факсимильное издание в кн.: Е. Коцева. *Евтимиев служебник*. София, 1985.
- СРЕЗНЕВСКИЙ — Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникамъ. Трудъ И. И. Срезневскаго. Т. I (А–К): 1893; Т. II (Л–П): 1902; Т. III (Р–С; Дополненія: А–Я): 1903. Санктпетсбургъ.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–41. М., 1965–2007 — [http://iling.spb.ru/vocabula/srng/srng.html].
- СтСлС — *Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой*. М., 1994.
- ТОПОРОВ — В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. А–D: 1975; E–H: 1979; I–K: 1980; K–L: 1984; L: 1990. М.
- ФАСМЕР<sup>1</sup> — М. Фасмер. *Этимологический словарь русского языка*. Т. I (А–Д): 1964; Т. II (E–муж): 1967; Т. III (мұза–сят): 1971; Т. IV (Т–ящур): 1973. М. [http://vasmer.narod.ru/, http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?flags=eygtmnl и др.].
- ФОРТУНАТОВЪ, Ф. Ѳ. *Объ удареніи и долготѣ въ балтійскихъ языкахъ*. I. Удареніе въ прусскомъ языкѣ // *Русскій филологическій Вѣстникъ*. Т. XXXIII, 1895.
- Чуд. — *Чудовскій Новый Завѣтъ*. XIV в. Цит. по фототипическому изд.: *Новый Завѣтъ господа нашего Іисуса Христа. Трудъ святителя Алексія, митрополита Московскаго и всея Руси (изданіе Леонтія, митрополита Московскаго)*. М., 1892.
- ЭССЯ — *Этимологический словарь славянских языков*. 1–33. М., 1974–2007 [http://essja.narod.ru/].
- ARU — *Litauische mundartliche Texte aus der Wilnaer Gegend. Mit grammatischen Anmerkungen von P. ARUMAA*. Dorpat, 1930. (Skaitmens rodo puslapius) [сокращение LKŽ].
- BEZLAJ — *Fr. Bezlaj. Etimološki slovar slovenskega jezika*. I: 1976; II: 1982; III: 1995. Ljubljana.
- BRUGMANN II<sup>2</sup> — K. Brugmann, B. Delbrück. *Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen*. 2. Aufl. Bd. II. Straßburg, 1913.



- BsMt — *J. Basanavicius*. Lietuviszkos pasakos. Medega lietuviszkai mytologijai. Shenandoah (Pa.). I dalis: 1898, II dalis: 1902. (Skaiimens rodo dalis ir puslapis.) [сокращение LKŽ].
- BŪGA RR — *K. Būga*. Rinkiniai raštai. I: 1958; II: 1959; III: 1961. Vilnius.
- BW. — *Barons un Visendorfs*. Latvju dainas. 1894–1915 [сокращение ME].
- BZF — Litauische Forschungen. Beiträge zur Kenntniss der Sprache und des Volkstumes der Litauer. Von Adalbert BEZZENBERGER. Göttingen 1882 [сокращение LKŽ].
- BŽ — *J. Baronas*. Rusų lietuvių žodynas. Antras naujai pataisytas kirčiūotas leidimas. Kaunas 1932. BŽ<sup>1</sup> = trečiasis (1967) žodyno leidimas. (Skaitmens rodo puslapius.) [сокращение LKŽ].
- DP — Postilla Catholica (Vilniuje 1599), цитируется по изданию: DAUKŠOS Postilė. Fotografuotinis leidimas. Kaunas, 1926.
- DUVERNOIS — *A. Дювернуа*. Словарь болгарского языка. Т. 1–3. М., 1889.
- DYBO 2002 — *V. A. Dybo*. Balto-Slavic Accentology and WINTER'S Law. // *Studia Linguarum*, 3/2. М., 2002.
- DŽ — Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1954, 1972 и др. [сокращение LKŽ; <http://www.autoinfa.lt/webdic>].
- Е. — Эльбингский словарь (*Georg H. F. Nesselmann*). Thesaurus Linguae Prussicae. Berlin: F. DÜMMLERS Verlag-Buchhandlung. 1873).
- ENDZ. — Эндзелин; толкования, даваемые Я. Эндзелином в указанной работе.
- ENDZELĪNS — *J. Endzelīns*. Darbu izlase. I–IV. Rīga, 1971–1982.
- Ērg. — *E. Kagaine, S. Rāge*. Ērgemes izloksnes vārdnīca. 1–3. Rīga, 1977–1983.
- EWD — Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, erarbeitet von einem Autorenkollektiv des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft unter der Leitung von W. PFEIFER. I–III. Berlin, 1989.
- FALK–TORP — *H. S. Falk, A. Torp*. Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch. I: 1910; II: 1911. Heidelberg.
- FEIST — *S. Feist*. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939.
- FRAENK. — *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I: 1962; II: 1965. Heidelberg.
- FRISK — *H. Frisk*. Griechisches Etymologisches Wörterbuch. 3 Bde., Heidelberg, 1960–1972.
- FRNW — *Ernst Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Band I–II. Göttingen, 1955–1965 (Jewi žodis ne antraštis, skaitmens rodo puslapius.) [сокращение LKŽ].
- G — *E. G. Graff*. Althochdeutscher Sprachschatz, 6 Bde. Berlin, 1834–1842.
- G1 — *Elias Steinmeyer, Eduard Sievers*. Die althochdeutschen Glossen. Band I (1879), II (1882), III (1895), IV (1898), V (1922). Berlin: WEIDMANNSCHE Buchhandlung.
- HEIDERMANN — *Frank Heidermanns*. Etymologisches Wörterbuch der germanischen Primäradjektive. Berlin–New York, 1993.
- HES. — *Hesyhii Alexandrini Lexicon* / Ed. min. cur. M. SCHMIDT. Ed. II. Jenae, 1867.
- HOLTHAUSEN AEEW — *F. Holthausen*. Altenglisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1934.
- HOLUB — KOPEČNÝ — *Dr Josef Holub–Doc. Dr František Kopečný*. Etymologický slovník jazyka českého. Státní nakladatelství učebnic v Praze, 1952.
- [K] — Littauisch-deutsches Wörterbuch von Friedrich KURCHAT. Halle a. S. 1883. (Žymimas tik K, o [K] dedamas prie žodžių, kurių tikrumu KURŠAITIS abejoja ir rašo juos laužtinuose skliausteliuose.) ~ Deutsch-littauisches Wörterbuch von Friedrich KURCHAT. 2 Theile. Halle a. S. I: 1870, II: 1874. (Skaitmens rodo dalis ir puslapius.) [сокращение LKŽ].

- KARULIS — *Konstantīns Karulis*. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Rīga, 2001.
- K.BŪG — *Kazimieras Būga* (1879–1924), jo raštai ir lapeliai iš nežinomų šaltinių.
- KUCAŁA — *Marian Kucala*. Pořównawczy słownik trzech wsi małopolskich. Wrocław, 1957.
- KUDZ. — *Cz. Kudziński*. Indeks-słownik do «Daukšos Postilė», T. I (A–N), T. II (O–Ž). Poznań, 1977.
- KŽ — *Aleksandras Kuršaitis*. Lietuviškai-vokiškas žodynas ... Göttingen. I: 1968, II: 1970, III: 1972, IV: 1973. (KŽ su tomo ir puslapio pažymėjimu reiškia žodžius, paimtus ne iš alfabetinės žodyno eilės.) [сокращение LKŽ].
- LD — *Z. Zinkevičius*. Lietuvių dialektologija. Vilnius, 1966. (Skaitmenys rodo puslapius.) [сокращение LKŽ].
- LKK II — Lietuvių kalbotyros klausimai. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas. Vilnius: LKI. 1957–. (Skaitmens rodo tomus ir puslapius) [сокращение LKŽ].
- LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. I–XX, Vilnius, 1941–2002 [<http://www.lkz.lt>].
- LORENTZ PW — *Fr. Lorentz*. Pomoranisches Wörterbuch. I–III. Berlin, 1958–1973.
- MAYRHOFFER — *M. Mayrhofer*. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, I–IV. Heidelberg, 1956–1980.
- MAYRHOFFER EWA — *M. Mayrhofer*. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, I–II. Heidelberg, 1992–1996.
- MAŽIULIS — *V. Mažiulis*. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. T. 1 (A–H): 1988; t. 2 (I–K): 1993; t. 3 (L–P): 1996; t. 4 (R–Z): 1997. Vilnius.
- MÜHL.–ENDZ. — *K. Mühlens*. Latviešu valodas vārdnīca / Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. ENDZELĪNS. Sēj. I–IV. ~ *K. Mühlens*. Lettisch-deutsches Wörterbuch / Redigiert, ergänzt und fortgesetzt von J. ENDZELIN. I–IV. Rīga, 1923–1932.
- MŽ — Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch, worinn das vom Pfarrer RUHIG zu Walterkehmen ehemals herausgegebene zwar zum Grunde gelegt, aber mit sehr vielen Wörtern, Redens-Arten und Sprüchwörtern zur Hälfte vermehrt und verbessert worden von Christian Gottlieb MIELCKE ... Königsberg, 1800. [MŽ = Littauisch-deutsches Wörter-Buch. MŽ su puslapio nurodymu = Deutsch-littauisches Wörter-Buch] [сокращение LKŽ].
- N — Wörterbuch der Littauischen Sprache von G. H. F. NESSELMANN. Königsberg, 1851. N su dainos numeriu = Litauische Volkslieder gesammelt, kritisch bearbeitet und metrisch übersetzt von G. H. F. NESSELMANN. Berlin, 1953. [сокращение LKŽ].
- NARTEN — *Johanna Narten*. Die sigmatischen Aoriste im Veda. Wiesbaden, 1964.
- NDŽ — Lietuvių rašomosios kalbos žodynas. Lietuviškai-vokiška dalis. I–IV tm. / Sudarė M. NIEDERMANN'as, A. SENN'as, F. BRENDER'is ir A. SALYS. Heidelberg, 1932–1963 [сокращение LKŽ].
- OP — *William R. Schmalstieg*. Old Prussian. The Pennsylvania Univ. Press. University Park and London, 1973.
- OTRĘBSKI Twer I — *Jan Otrębski*. Wschodniolitewskie narzecze twereckie, część I: Gramatyka. Kraków, 1934.
- POHLN — Tu malu besedishe treh jesikov. Das ist: das kleine Wörterbuch in dreyen Sprachen. Quod est: parvum dictionarium trilingue, quod conscripsit R. P. MARCUS a S. Antonio Paduano Augustinianus Discalceatus inter Academicos Operofus Labacenes dictus: Novus. 1781. Faksimile der ersten Ausgabe. München, 1972. Цит. по [BEZLAJ].
- POK. — *J. Pokorný*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern–München, 1953.



- R — Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon. Worinnen ein hinlänglicher Vorrath an Wörtern und Redensarten, welche sowol in der H. Schrift, als in allerley Handlungen und Verkehr der menschlichen Gesellschaften vorkommen, befindlich ist: Nebst einer historischen Betrachtung der Littauischen Sprache; Wie auch einer gründlichen und erweiterten Grammatick, mit möglichster Sorgfalt, vieljährigem Fleiß, und Beyhülfe der erfahrensten Kenner diser Sprache gesammelt von Philipp Ruhnig, Pfarrern und Seniore zu Walterkehmen, Insterburgischen. Hauptamtes, Königsberg, druckts und verlegt I. H. HARTUNG, 1747. [R = Littauisch-Deutsches Lexicon (su I dalies ir puslapio nuoroda, kai žodis paimtas ne iš abėcėlinės eilės). R su puslapio nurodymu = Deutsch-Littauisches Lexicon. R' = Betrachtung der Littauischen Sprache. R<sup>2</sup> = Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick.] [сокращение LKŽ].
- RAVEN — *Frithjof A. Raven*. Die schwachen Verben des Althochdeutschen. B. I–II. University of Alabama Press, Alabama, 1964–1967.
- RINKEVIČIUS 2008 — *Vytautas Rinkevičius*. Balto-Slavic weak (recessive) nominal suffixes in Old Prussian // International Workshop on Balto-Slavic Accentology IV. Scheibbs, 2–4 July 2008.
- RJA — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. T. I–XXIII. Zagreb, 1880–1976.
- RKr. — Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Komitejas rakstu krājums [сокращение ME].
- SCHMALSTIEG — *William R. Schmalstieg*. The Old Prussian Verb // *Baltic Linguistics* / Edited by Thomas F. MAGNER and William R. SCHMALSTIEG. University Park and London, 1970.
- sD — *Elis Wadstein*. (Hg.): Kleinere altsächsische sprachdenkmäler mit anmerkungen und glossar. Norden/Leipzig, 1899 (= Niederdeutsche Denkmäler VI) [enthält auch hochdeutsche Belege] [сокращение HEIDERMANN].
- SKARDŽ. ŽD — *Pr. Skardžius*. Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943.
- Slowinz. Wb. — *Fr. Lorentz*. Slovinzisches Wörterbuch. I–II. St.-Petersburg, 1908–1912.
- Sł.prast. — Słownik prasłowiański. T. I–II. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974–.
- SKOK — *P. Skok*. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. ~ Dictionnaire étymologique de la langue croate ou serbe. Knj. I (A–J): 1971; Knj. II (K–poni'): 1972; Knj. III (pöni<sup>2</sup> Ž): 1973; Knj. IV (Kazala ~ Les indexes): 1974. Zagreb.
- SUT — Žodininkas Letuwiszkay-Łotinizskay-Lenkiszkas ... Par Kuniga Dominika SUTKIEWICZE Dominikona tikra Letuwnika su didelė wargu Isztaysitas (1848). (*Rankraštis*) [сокращение LKŽ].
- SW — Słownik języka polskiego / ułożony pod red. Jana KARŁOWICZA, Adama KRYŃSKIEGO i Władysława NIEDŹWIEDZKIEGO. T. I (A–G): 1900; T. II (H–M): 1902; T. III (N–Ó): 1904; T. VI (P–Prozyszcze): 1908; T. V (Próba–R): 1912; T. VI (S–Ś): 1915; T. VII (T–Y): 1919; T. VIII (Z–Ż): 1927. Warszawa [= «Słownik Warszawski»; сокращение Sł.prast.]; <http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=254&tab=3>.
- Š — Lietuvių ir rusų kalbų žodynas. Sudarė D-ras J. ŠLAPELIS. Vilnius, 1921. Psl. 320 (*A–jūšė*). (Tuo pat ženklu žymimi žodžiai paimti iš kitų ŠLAPELIO žodynų, ir taip pat gauti iš jo lapeliuose užrašyti žodžiai, jei nenurodytas šaltinis.) [сокращение LKŽ].
- ŠL. — *J. Šlapelis*. Kirčiuotas lenkiškas lietuvių kalbos žodynas. Antroji laida. Vilnius, 1940.
- TRAUTMANN BSW — *R. Trautmann*. Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923.
- U (сокращение [BÜGA RR]), U. (сокращение [ME]) — *Carl Christian Ulmann*. Lettisches Wörterbuch. Ertser Th. (Lettisch-deutsches Wörterbuch): 1872; Zweiter Th. (Deutsch-lettisches Wörterbuch): 1880. Riga.

- VAILLANT BSL 44 — *A. Vaillant*. Рецензия на книгу *J. Endzelin*. Altpreussische Grammatik. Riga (Verlag „Latvju Grāmata“), in-12, 1944, 202 pages // Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, t. 44, 1947–1948, 2; pp. 128–134.
- VE — Enchiridion. Catechismas maszas ... per Baltramiejū Willentha ... Ischspaustas Karalauzui... 1579. (Цит. по [MAŽIULIS]).
- WH — *A. Walde, J. B. Hofmann*. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. I II. Heidelberg, 1930–1956.
- WISSMANN — *W. Wissmann*. Nomina postverbalia in den altgermanischen Sprachen nebst einer Voruntersuchung über deverbative *ō*-Verba. I. Teil: Deverbative *ō*-Verba. Göttingen, 1932.
- Zb.19 — Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Knj. 19. Zagreb, 1914 (Цит. по: *M. Lang*. Samobor. Narodni život i običaji).

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- а.п. — акцентная парадигма.  
 БСИ — Балто-славянские исследования.  
 ГБЛ = РГБ.  
 НБКМ — Народна библиотека «Кирил и Методи». София.  
 РГБ — Российская Государственная библиотека (бывш. ГБЛ). М.
- Als — (диал.) Alsėdžiai, Plūngės raj. (лит.) [сокращение К. Буги].  
 AP., A.-Peb. — (диал.) Alt-Pebalg (нем.) = Vęc-Piėbałga [совр. Vęcpiėbałga (pag. c., Cėšu raj.)] (лтш.) [сокращение ME].  
 C. — J. CĪRUĻA (no Drustiēm [pag. c., Cėšu raj.]) dotais vārdu saraksts ~ die von J. CĪRULIS aus Drostenhof gegebenen Wörter: [RKr., XV: 70–103] [сокращение ME].  
 Druw., Dr. — (диал.) Druweenen [совр. Druween] (нем.) = Druviena, pag. c., Gūlbēnes raj. (лтш.) [сокращение ME].  
 Dunika [pag. c., Liėpājas raj.] (лтш.) — диал. [= нем. Duppiken; источник ME].  
 Ermes, Erm. (нем.) — (диал.) Ērgeme, pag. c., Vālkas raj. (лтш.) [источник ME].  
 Gdl — (диал.) Gudēliai, Marijampolės (1955–1989: Kapsūko) raj. (лит.) [сокращение LKŽ].  
 Golg. — (диал.) Gologowsky (нем. < пол.) = Galgauska, pag. c., Gūlbēnes raj. (лтш.) [сокращение ME].  
 Grk — (диал.) Giřkalnis, Rasėinių raj. (лит.) [сокращение LKŽ].  
 KARLS. — vārdi, ko KARLSONS no Nauksēņicim [pag. c., Valmiēras raj.] iesniedzis K. MŪLENBACHAM ~ Wörter, die KARLSON aus Naukschen K. MŪHLENBACH eingereicht hat [сокращение ME].  
 KL. — Prof. J. KAULIŅŠ no Sausnējas [(pag. c., Madōnas raj.) = нем. Saussen; сокращение ME].  
 (Klp) — (диал.) Klāīpeda (raj. c.) (лит.) [сокращение LKŽ].  
 Kt — (диал.) Ketūvalakiai, Vilkaiviškio raj. (лит.) [сокращение LKŽ].  
 Kv — (диал.) Kvėdarna, Šilalės raj. (лит.) [сокращение LKŽ].  
 Lis. — (диал.) Lisohn [совр. Lysohn] (нем.) = Lizums, pag. c., Gūlbēnes raj. (лтш.) [сокращение ME].  
 Lubn. — (диал.) Lubahn [совр. Luban] (нем.) = Lubāna, Indrānu pag., Madōnas raj. (лтш.) [сокращение ME].  
 ME = MŪHL- ENDZ.

- Ms — (диал.) Mósėdis, Skiōdo raj. (лит.) [сокращение LKŽ].  
 pag.; pag. c. — pagasts; pagasta centrs (лтш.) [волость; волостной центр].  
 Plv — (диал.) Pīlviškiai, Vilkaviškio raj. (лит.) [сокращение LKŽ].  
 Prk — (диал.) Priekulė, Klaipėdos raj. (лит.) [сокращение LKŽ].  
 PS. — Prof. P. Šmits no Raūnas [совр. гж. Рōпа (pag. c., Cēsu raj.) = нем. Ronneburg; сокращение ME].  
 psn. — pasenės, nebevartojamas žodis, posakis ar sakinys (лит.) [устаревшее, неупотребительное слово, выражение или предложение] [сокращение LKŽ].  
 raj. — rajonas (лит.) ~ rajons (лтш.) [район].  
 raj. c. — rajono centras (лит.) ~ rajona centrs (лтш.) [районный центр].  
 Rd — (диал.) Radviliškis (raj. c.) (лит.) [сокращение LKŽ].  
 Ruj. — (диал.) Rujen (нем.) = Rūjiena, pag. c., Vałmiėgas raj. (лтш.) [сокращение ME].  
 Rt — (диал.) Rietāvas, Plūngės raj. (лит.) [сокращение К. Буги и LKŽ].  
 Saikava, Saik. [Prašlienas pag., Madōnas raj.] (лтш.) — диал. [= нем. Friedrichswald; источник ME].  
 Schwanb., Schwnb., Schwmbg., Schwaneb. — (диал.) Schwanenburg (нем.) = Gūlbene, raj. c. (лтш.) [сокращение ME].  
 Selsau, Sels. (нем.) — (диал.) Dzēlzava, pag. c., Madōnas raj. (лтш.) [источник ME].  
 Serbigal, Serbig. (нем.) — (диал.) Cirgaļi, Zvārtavas pag., Vālkas raj. (лтш.) [источник ME].  
 Slnt — (диал.) Salantaĩ, Kretingės raj. (daugausia P. SRAGIO žini̇os) (лит.) [сокращение К. Буги и LKŽ].  
 Tršk — (диал.) Troškūnai, Apykščiū raj. (лит.) [сокращение LKŽ].  
 Tw. — материал из диал. Тверечус (Tverėčius, Ignalinos raj.), цит. по: [OTRĘBSKI Twer I].  
 Up — (диал.) Urūna, Šilalės raj. (лит.) [сокращение LKŽ].  
 Vb — (диал.) Vabalniškas, Bīržų raj. (лит.) [сокращение LKŽ].  
 Wolm. — (диал.) Wolmar (нем.) = Vałmiėga, raj. c. (лтш.) [сокращение ME].  
 (Zl) — (диал.) Zietela (лит.) = Дзятлава (блр.) = Дятлово (рус.) = Zdzięcioł (пол.) = זעטל [Zetl] (идиш), рай. ц. Гродненской обл. (Белоруссия) [сокращение LKŽ].  
 Žvr — (диал.) Žvirgždaičiai, Šakių raj. (лит.) [сокращение LKŽ].

Б. СТУНДЖА

## Составные существительные в Эльбингском словаре

1. Прусские композиты, которым до сих пор уделялось мало внимания, в последние десятилетия стали систематично изучаться несколькими учеными: они проанализировали морфологическую структуру составных существительных и прилагательных с учетом частеречной принадлежности композита и характера соединительного элемента (см. [Serafini Amato 1992]), а также словообразование, семантику, отчасти и ударение всех именных композитов (включая и местоименные, и так называемые префиксальные производные) в общебалтийском и индоевропейском контексте (см. [Larsson 2003]; ср. [Larsson 2002a; 2002b]). Например, в работах Дж. Ларссон показано, какие из унаследованных от индоевропейского праязыка семантические типы композитов стали продуктивными в прусском и других балтийских языках, а какие, наоборот, стали очень редкими (ср. [Larsson 2002a; 2002b; 2003]). Хотя обе исследовательницы различают факты Эльбингского словарика (далее — *E*) и прусских катехизисов (далее — *K*), все-таки следовало бы больше акцентировать диалектные, хронологические и текстологические различия упомянутых памятников. Это особенно отмечает Б. Лашините [Lašinytė 2006; 2007], обращая внимание на то, что в Эльбингском словаре влияние немецкого языка на прусские композиты сравнительно небольшое (кальками с немецкого языка можно считать примерно половину прусских композитов), в то же время почти все прусские композиты III Катехизиса могут быть скопированы с немецкого языка [Lašinytė 2006: 63; 2007].

Как упомянутые лингвисты, так другие балтисты, исследовавшие ранее композиты прусского языка и словообразование вообще и констатировавшие в той или иной степени влияние немецкого языка, все же недостаточно систематически проанализировали факты немецкой части прусских памятников<sup>1</sup>, которые, без всякого сомнения, достойны

<sup>1</sup> Из публикаций более общего характера о языке немецкой части прусских письменных памятников прежде всего следует упомянуть работу В. Циземера [Ziesemer 1919–1920], на которую до сих пор опирался не один исследователь. В ней утверждается, что немецкие слова в *E* принадлежат диалекту *Ordensdeutsch*, смеси средне-восточного немецкого языка (*Ostmitteldeutsch*), содержащему элементы средне-верхне-немецкого и средне-нижне-немецкого диалектов (ср. [Marchand 1970:

специального внимания и интересны для изучения древних языковых контактов, особенно учитывая то, что кальки не являются продуктом только одного — чужого — языка, а представляют собой результат взаимовлияния словообразовательных систем двух языков: «Подражание производным другого языка или копирование их в условиях контакта возникает и становится возможным из-за того, что язык имеет такие ресурсы формирования словообразовательного, или структурного, значения, реализация которых может соответствовать структурному значению производных другого языка» (см. [Pažūsis 1989: 59] и лит.). Следовательно, выявляя взаимовлияние контактирующих языков, прежде всего обязательно следует сравнить соответствующие их системы или подсистемы (о необходимости обращать внимание на системы контактирующих языков вообще см. [Marchand 1970: 109 и сл. и лит.]), а при изучении конкретного двуязычного (многоязычного) памятника требуется сравнение и фактов различных языков этого памятника. Композиты для такого исследования очень подходят, поскольку мы довольно много знаем об их структуре в германских (ср. [Кубрякова 1963: 109–131; Erben 1993: 59–70; Fleischer 1992; Stepanova, Fleischer 1985] и др.) и в балтийских (ср. [Skardžius 1996: 393–442; Urbutis 1961: 65–121; 1965: 437–473; Larsson 2002a; 2002b; 2003 и лит.], и др.) языках.

Цель этой статьи — сравнить структуру прусских и немецких составных существительных, представленных в Эльбингском словаре<sup>2</sup> (в таком аспекте эту группу слов, кажется, никто пока детально не исследовал), и подробно проанализировать все прусские композиты в *E* и их немецкие соответствия, пытаясь выявить степень влияния немецкого языка на прусский до появления печатных памятников. Материал прусских катехизисов отложить для следующего исследования побуждает не только ограниченный объем статьи — последние памятники более поздние, написаны на основе другого диалекта (говоров) прус-

113 и сл.; Дини 2002: 273, сн. 63]). О том, как письменность *Ostmitteledeutsch* была приспособлена к прусскому языку *E* и других памятников, насколько она последовательна и отражает произношение этого языка, до сих пор идут дискуссии не без крайностей во мнениях. Поскольку они не так важны для данного исследования — не играют большой роли для интерпретации структуры композитов. — ограничусь только указанием на их обзор (см. [Дини 2002: 263–266]).

<sup>2</sup> Как предполагается, *E* был составлен на основании распространенных в средние века немецко-латинских словариков, в нем латинские слова были просто заменены на прусские, по большей части принадлежащие помезанскому диалекту (см. [Mažiulis 1966: 28 и лит.]). Найденная Ф. Нойманом в 1825 г. копия *E* датируется началом XV в. или концом XIV в. (оригинал мог датироваться началом XIV в. или даже концом XIII в., см. [Mažiulis 1966: 27 и сл. и лит.]).

ского языка и филологически (текстологически) различны, а следовательно, требуют немного другой методики исследования<sup>3</sup>.

Перед тем как начать анализ прусских и немецких композитов в *E*, необходимо хотя бы вскользь сравнить словообразовательные системы балтийских и германских языков, которые представляются довольно похожими. В обеих языковых группах (кстати, как и во многих других и.-е. языках) самыми продуктивными являются детерминативные композиты, представленные господствующей моделью *существительное + существительное*. Первый компонент композита, состоящий из прилагательного, глагола<sup>4</sup> или другой части речи, значительно (в несколько раз) более редок (насчет германских языков, особенно немецкого, см. [Кубрякова 1963: 114 и сл. и лит.; Erben 1993: 60 и сл.; Fleischer 1992: 95tt.; Stepanova, Fleischer 1985; Ronnenberger-Sibold 2004]; насчет балтийских языков см. [Skardžius 1996: 410 и сл.; MLLVG 1959: 198 и сл.; Urbutis 1961: 68 и сл.; 1965: 437 и сл.; Serafini Amato 1992: 199 и сл. и лит.; 1996: 286 и сл. и лит.; ср. Larsson 2002a; 2002b]). Посессивные композиты (наз. *bahuvrīhi*) более редки, а копулятивные (наз. *dvandva*), итеративные — очень редки и в балтийских, и в германских языках (см. [Там же]). В литовском языке около четверти составных существительных представляют собой производные со вторым глагольным компонентом, который управляет первым компонентом, чаще всего существительным (см. [Urbutis 1965: 463 и сл.]). Этот тип, известный и латышскому языку, славянским и некоторым другим языкам, в германских языках, по-видимому, не распространен. По форме первого компонента различаются композиты: 1) образованные от основы,

<sup>3</sup> Эльбингский словарь был составлен в то время, когда интерференция немецкого языка для прусского еще, видимо, не была сильной. Принцип составления словарика — поиск как своих, так и заимствованных соответствий немецким словам. Если соответствия не найдено, можно делать кальки, например поморфемно копировать композиты. Тем временем катехизисы — это печатные прусские памятники, написанные на самбийских диалектах, которые, как считается, испытали большее влияние немецкого языка. Не следует упускать из виду то, что *K* прежде всего являются *текстами*, переведенными с немецкого языка, в которых последовательно выдержана стратегия дословного перевода, сущность которого — передать немецкие предложения прусскими словами (см. [Inoue 1998], где приводится типологическая параллель — более чем тысячу лет назад в Японии сложилась техника дословного перевода древнекитайских текстов на японский язык). Надо думать, что переводчик, переводя на прусский язык немецкий композит, перенимал структуру оригинала, т. е. немецкого слова, иначе говоря, переводил поморфемно.

<sup>4</sup> Поскольку этот компонент обычно является отглагольным существительным, модель *глагол + существительное* с точки зрения происхождения тесно связана с моделью *существительное + существительное* (ср. [Кубрякова 1963: 119]).

2) образованные от падежной формы и 3) образованные от корня (отнесение слова к одному из этих типов не всегда представляется очевидным). В балтийских языках наиболее широко распространены первый и третий типы<sup>5</sup>, а в германских языках — второй и третий типы. Унаследованными считаются первый и второй или только первый тип (см. [Кубрякова 1963: 118 и сл. и лит.]; ср. [Skardžius 1966: 405 и сл.]). Это были бы едва ли не ярчайшие различия словообразовательных систем композитов в балтийских и германских языках. Совсем другое дело — место композитов во всей словообразовательной системе. В германских языках композиты являются наиболее распространенным способом словообразования<sup>6</sup>, а в балтийских языках<sup>7</sup> они занимают второе место после суффиксальных образований, которые встречаются в несколько раз чаще.

Анализируя композиты письменных памятников, рано или поздно приходится решать вопрос, являются ли описываемые факты композитами или вместе герм. раздельно написанными словосочетаниями (синтагмами). Такие сомнения возникают особенно в случае с композитами, образованными от падежных форм, которые более характерны для прусских катехизисов и считаются самыми нестабильными<sup>8</sup>. Поскольку основная цель этой статьи — установить, какие прусские составные существительные в *E* (иногда, возможно, и словосочетания) являются оригинальными, а какие — переводными (конвергентными), вопрос о различении композита и синтагмы не настолько актуален, тем более что не всегда он легко решаем<sup>9</sup>.

Опираясь на статистику, приведенную Л. Серафини Амато [Serafini Amato 1992: 199 и сл.], можно сказать, что всего в *E* зафиксировано

<sup>5</sup> Корневой тип нередко вторичен, появляется после исчезновения исторического конца основы, или так наз. соединительного гласного.

<sup>6</sup> Утверждается, что из современных западноевропейских языков больше всего использует композиты немецкий язык [Skardžius 1996: 395]. Композиты этого языка составляют наибольший процент из всех слов (7,49), например, в современном романе (см. [Mikkola 1967]; цит. по: [Urbutis 1978: 286]). Из современных германских языков частым использованием композитов, кроме немецкого языка, отличаются также английский, голландский и скандинавские языки (см. [Olsen 2000: 911]).

<sup>7</sup> Судя по литовскому языку (см. [Urbutis 1965: 252]).

<sup>8</sup> В литовском языке редки композиты этого типа, их распространение скорее всего обусловлено контактами с немецким языком, характерными и для латышского языка, ср. композиты современного языка с первым компонентом, образованным от родительного падежа, — они с точки зрения значения не отличаются от словосочетаний — *runasstundas* и *runas stundas* 'приемные часы' [MLLVG I: 202].

<sup>9</sup> Границу между композитами и определенными словосочетаниями зачастую трудно установить (см. [Olsen 2000: 899 и сл. и лит.]).

45 прусских составных существительных<sup>10</sup>. Если прибавить *noseproly* 'Naseloch, ноздря' E 86 и *stanulonx* 'Kellershals, волчник' E 623, которые не учитывались из-за неясности одного из компонентов, и исключить суффиксальные образования *karyago* и *woragowus*<sup>11</sup>, получилось бы тоже 45 слов (около 6% всей лексики *E*), из которых более-менее серьезные сомнения, кажется, не вызывают 40 случаев<sup>12</sup>. В то же время в немецкой части *E* найдено 170 возможных композитов (т. е. около 21% всей лексики *E*), из которых несколько исследователи склонны считать словосочетаниями<sup>13</sup>. Получается, что немецких составных существительных в *E* по крайней мере в три раза больше, чем соответствующих

<sup>10</sup> Префиксальные образования, или традиционно композиты с первым префиксальным компонентом, в это число не включены. Их найдено в *E* двенадцать, т. е.: *padaubis* E 30 'Tal, склон' (: *dambo* <испр. *daubo*> E 29), *pagrimis* <испр. *pagurnis*> E 442, *Vorbuege* 'ремень на груди (коня)' (: ?), *palasallis* <испр. *palasassis*> E 574 'Bore, фореель' (: *lalasso* <испр. *lasasso*> E 563), *papinipis* <испр. *papimpis*> E 444 'Polstir, седло' (: ср. лит. диал. *pimpis* 'прыщ; пенис', лтш. *pimpis* 'пенис' [Mažiulis 1996: 222]), *passons* E 181 'Stifson, пасынок' (: *sones* GrG 98), *pastagis* E 443 'Afterreife, ремень под хвостом (коня)' (: ?), *patowelis* E 179 'Stiffater, отчим' (: *towis* E 169), *pergalwis* E 78 'Genicke, затылок' (: *glawo* <испр. *galwo*> E 68), *perstlanstan* E 215 'Fenst'leit, ставня' (: *lanxto* E 213), *poducure* E 182 'Stiftact', падчерица' (: *duckti* K III 67), *pomatre* E 180 'Stifmut', мачеха' (: *mothe* E 170), *ponasse* E 90 'Obirlippe, ноздря' (: *nozu* E 85).

<sup>11</sup> Суффиксальное образование обоих слов обосновал В. Мажюлис [Mažiulis 1993: 121; 1997: 262 и сл.].

<sup>12</sup> Максимум пять примеров можно считать синтагмами, т. е.: *silkasdrüb* <=*silkas drimbis*> E 484 'Sydenslewir, шелковое покрывало' [Trautmann 1910: 426 <но 89: *silkasdrimbis*>; Endzelins 1943/1982: 247], *caltestisklok* <=*caltestis klokis*> E 656 'Czidelber, улейный медведь' ([Trautmann 1910: 91; Mažiulis 1981: 40; 1988 - 1997, II: 97 и сл.]; иначе --- [Endzelins 1943/1982: 188]), *paustocatto* <=*pausto catio*> E 665 'Wildeckatze, дикая кошка' [Trautmann 1910: 91; Mažiulis 1981: 41], *ructandadan* <=*ructan dadan*> E 690 'Suwermilch, скисшее молоко' [Trautmann 1910: 92, 416; Mažiulis 1981: 42] и *medenixtaurv* <=*medenix tatarvis*> E 766 'Beerhun, глухарь' [Trautmann 1910: 93; Mažiulis 1981: 44].

<sup>13</sup> Т. е.: *Dunreyn* E 51 <=*Dun reyn*> [Trautmann 1910: 83], *Irstebart* E 100 <=*Irste bart*> [Trautmann 1910: 83; Mažiulis 1981: 18], *Erinentop* E 349 <=*Erin top*> [Trautmann 1910: 87; Mažiulis 1981: 28], *Erdentop* E 350 <=*Erden top*> [Trautmann 1910: 87; Mažiulis 1981: 28], *Bosetop* E 351 <=*Bose top*> [Trautmann 1910: 87; Mažiulis 1981: 28], *Jägekobel* <=*Junge Kobel*> E 435 [Trautmann 1910: 88; Mažiulis 1981: 32], *Kleinetuech* E 759 <=*Kleine tuecher*> [Trautmann 1910: 93; Mažiulis 1981: 44], *Wildeckatze* E 665 <=*Wilde katze*> [Trautmann 1910: 91; Mažiulis 1981: 41], *Sußemilch* E 695 <=*Suße milch*> [Trautmann 1910: 92; Mažiulis 1981: 42], *Grunespecht* E 743 <=*Grune specht*> [Trautmann 1910: 93; Mažiulis 1981: 43], *Kleinespecht* E 745 <=*Kleine specht*> [Trautmann 1910: 93; Mažiulis 1981: 43], *Grosenepp* <=*Grose sneppe*> E 754 [Trautmann 1910: 93; Mažiulis 1981: 44]. Последние пять случаев, начиная с *Wildeckatze*, в качестве композитов зафиксированы в упоминаемых далее словарях.

прусских образований. Это не противоречит уже упомянутому различию продуктивности композитов в германских и балтийских языках.

Поскольку *E* — это немецко-прусский словарик, прежде всего проанализируем немецкую часть памятника. Следует обратить внимание, что не все композиты этого памятника удалось найти в различных доступных словарях немецкого языка<sup>14</sup>. Больше всего использовались электронные версии словаря братьев Grimm, составленные в университете Трира (Grimm)<sup>15</sup>, и трех лексикографических источников средне-верхне-немецкого языка (*Mittelhochdeutsche Wörterbuch von Benecke/Müller/Zarncke*, *Mittelhochdeutsche Handwörterbuch von Lexer* с дополнениями и *Findebuch zum mittelhochdeutschen Wortschatz*)<sup>16</sup>, а также словари средне-нижне-немецкого<sup>17</sup>, ранне-ново-верхне-немецкого<sup>18</sup>, восточно-прусско-немецкого<sup>19</sup> и этимологические словари<sup>20</sup>. Следуя намеченной цели, далее будут проанализированы и составные слова, и предположительно немногочисленные синтагмы. Кроме данных *E*, даются и соответствия, найденные в упомянутых словарях немецкого языка.

Композиты Эльбингского словарика являются детерминативными, за исключением *E* 131 *Manch-uel* ‘Tusawortes, книжка (желудок жвачных животных)’ [ср. *manecvalt* Lex., *manchfalt* Grimm, ‘(досл.) многослойный,

<sup>14</sup> Не обнаруженных в словарях немецкого языка композитов из *E* всего 23. Кроме упомянутых в 13 сноске первых семи примеров, не обнаружены следующие слова: *Keynflis* E 63, *Nasezule* E 87, *Czeballe* E 150, *Grosthor* E 211, *Barkenstul* E 217, *Mosebruch* E 288, *Quirnestab* E 318, *Molekaste* E 325, *Sybetop* E 353, *Vuerschene* E 361, *Sitevleysch* E 375, *Keynhegest* E 431, *Hosenled* E 501, *Eynholz* E 608, *Wirshenholz* E 614, *Beerhun* E 766. Это, конечно, не означает, что таких композитов привычной структуры не могло быть; вполне возможно, что их можно найти в каком-нибудь не использованном еще источнике.

<sup>15</sup> См.: <http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB>. В этом словаре в качестве лексического источника некоторых немецких слов иногда указывается и Эльбингский словарь, датируемый XV веком (Nesselmann *deutsch-preuss. voc.*).

<sup>16</sup> См.: <http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/WBB/bmz/wbgui>; <http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/WBB/bmz/WBB/lexer/wbgui>; <http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/WBB/bmz/WBB/nachtraege/wbgui>; <http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/WBB/bmz/WBB/findebuch/wbgui>.

Данные этих источников, объединенных одной поисковой системой, даются с пометой *Lex.*

<sup>17</sup> Просмотрено [Schiller, Lübben 1931].

<sup>18</sup> Просмотрено [Götze 1960] (Götze); *Frühneuhochdeutsches Wörterbuch*. Bd. 1–4.

<sup>19</sup> *Preussisches Wörterbuch. Deutsche Mundarten Ost- und Westpreußens*. Bd. 1–6.

<sup>20</sup> Просмотрено [Kluge 1975] (Kluge); *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen* [EWD].

многоскладчатый<sup>21</sup> (желудок жвачных животных)’, т. е. ‘книжка’, часть желудка], возможно, *E* 772 *Ysen-bart* ‘Arisogx, зимородок’ [ср. *isenbart* Lex., *eisenbart* Grimm ‘(дословно) железобородый (птица)’; видимо, появилось при смешении *îs* ‘Eis, лед’ и *îsen* ‘Eisen, железо’, ср. *îsvogel* ‘Eisvogel, Aurificeps, fredula’ и *îsenvogel* ‘Porfyrio’ Lex] и, возможно, еще пары слов. Второй компонент большей части композитов обоих языков представляет собой существительное: 162 немецких слов из 170 (96%), 36 прусских слов из 45 (80%). Второй глагольный компонент имеют 8 немецких и 9 прусских композитов (соответственно 5 и 20%).

Среди композитов со вторым компонентом-существительным преобладают слова, построенные по модели *существительное + существительное*: в немецком языке 105 композитов из 162, т. е. около 62%, а в прусском языке 29 слов из 36, то есть около 65% всех композитов). Второе место занимает модель *прилагательное + существительное*: в немецком языке 34 композита<sup>22</sup> (около 20%), в прусском — 6 слов (около 13%). Модель *глагол + существительное* еще более редка, особенно в прусском языке: в немецком языке 22 композита (около 13%), а в прусском — только один (около 2%).

Первым компонентом редких композитов со вторым глагольным компонентом обычно является существительное (в немецком языке таких 7 слов из 8, а в прусском — 6 из 9).

Первый компонент почти всех без исключения композитов представляет основу слова (составляются две основы<sup>23</sup>): составных существительных, первый компонент которых образован от падежных форм, в немецкой части *E* обнаружено 5 (около 3%, напр.: *kellers-hals* E 623, *tufels-kint* E 664), в прусской — 4<sup>24</sup> (около 9%: *caltestis-klok[is]* E 656, *medenix-taurw* E 766, *ructan-dadan* E 690, *silkas-dr[im]b[is]* E 484). Стык композитов, первый компонент которых образован от основ, в обоих языках существенно различается — в немецкой части он чаще всего нулевой (случаев с единственным соединительным гласным *-e*<sup>25</sup> най-

<sup>21</sup> Ср.: ‘то, что во много раз сложено’ [Maziulis 1988–1997, I: 205].

<sup>22</sup> Здесь учитываются и два случая с первым компонентом — числительным (E 6 *Seben-gest[ir]ne*, E 100 *Irste-bart*).

<sup>23</sup> Композиты, образованные от основы, не отличаются от композитов, образованных от корней, — это различие важно только при объяснении происхождения и развития композитов.

<sup>24</sup> По-видимому, все они должны считаться синтагмами, в таком случае прусских композитов, образованных от падежных форм, в *E* нет.

<sup>25</sup> Другой соединительный элемент найден в *hose-n-led[er]* ‘кожаный передник’ E 501 (< ср.-в.-нем. *hose* ‘штаны’ + *leder* ‘кожа’ Lex), *iwe-n-bom* ‘тис’ E 599 = ср.-н.-нем. *iwenbom* (Trautmann 1910: 349) (< *iwe* ‘тис’ + *bom* ‘дерево’ Lex), *syde-n-*



дено 23, т. е. около 14 %, напр.: *bade-lach* E 495, *hacke-mess[er]* E 369, *wede-wal* E 748), тем временем в прусской части преобладают композиты с различными соединительными гласными (32 случая, или 71 % примеров, см. [Serafini Amato 1992: 199 и сл.]). Обобщенный анализ структуры композитов в *E* представлен в табл. 1.

Таблица 1

## Структура композитов Эльбингского словарика

Пор. №	Структурные модели композитов	Немецкий язык		Прусский язык	
		в цифрах	в процентах	в цифрах	в процентах
1.	Сущ. + сущ.:	<b>105</b>	<b>62</b>	<b>29</b>	<b>65</b>
	1.1. I компонент образован от основы	98		28	
	1.1.1. без соединительного гласного	86		3	
	1.1.2. с соединительным гласным	12		25	
	1.2. I компонент образован от падежной формы	<b>5</b>		<b>1?</b>	
2.	Прил. (числ.) + прил.	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
	2.1. I компонент образован от основы	34		4	
	2.1.1. без соединительного гласного	27		1	
	2.1.2. с соединительным гласным	7		3	
	2.2. I компонент образован от падежной формы	–		2?	
3.	Глаг. + сущ.	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	3.1. I компонент образован от основы	22		1	
	3.1.1. без соединительного гласного	20		–	
	3.1.2. с соединительным гласным	2		1	
	3.2. I компонент образован от падежной формы	–		–	
4.	Сущ. + глаг.	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
	4.1. I компонент образован от основы	7		5	
	4.1.1. без соединительного гласного	5		1	
	4.1.2. с соединительным гласным	2		4	
	4.2. I компонент образован от падежной формы	–		1?	

*slewir* 'шелковая накидка, одеяние' E 484 (< ср.-в.-нем. *sīde* 'шелк' + *slewir*, ср. *sloier*, *sleier* Lex, *slower* E 483 'накидка').

Пор. №	Структурные модели композитов	Немецкий язык		Прусский язык	
		в цифрах	в процентах	в цифрах	в процентах
5.	Прил. (нареч., мест.) + глаг.	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
	5.1. I компонент образован от основы	2		3	
	5.1.1. без соединительного гласного	2		–	
	5.1.2. с соединительным гласным	–		3	
	5.2. I компонент образован от падежной формы	–		–	
Всего		<b>170</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

Сопоставительный анализ структуры немецких и прусских композитов Эльбингского словарика выявил несколько свойственных обоим языкам сходств и различий, важных для объяснения конкретных случаев исследуемого источника. Прежде всего, следует подчеркнуть, что данные *E* довольно хорошо отражают общие закономерности структуры композитов обоих языков — как сходства [например, детерминативный характер составных существительных и доминирование производных со вторым компонентом-существительным (особенно структурной модели *существительное + существительное*)], так и различия [например, а) преобладающий в немецкой части стык композитов, первый компонент которых образован от основы, нулевой, а в прусской части — представлен различными соединительными гласными; б) удельный вес композитов со вторым компонентом-глаголом в прусской части *E* в три раза больше, чем в немецкой части, в то же время модель *глагол + существительное* совершенно не характерна для прусской части *E*]. Несколько удивляет небольшой вес составных существительных, первый компонент которых образован от падежных форм, в немецкой части *E* (3 %) <sup>26</sup>, что позволяет считать, что немногочисленные прусские композиты такого типа скорее всего следует интерпретировать как словосочетания (редкий в немецком языке тип вряд ли мог повлиять на прусский язык).

Перед тем как обратиться к прусским составным существительным в *E*, следует отдельно рассмотреть структурные соответствия немецких композитов в *E* в прусской части словарика, иначе говоря, сосчитать, насколько немецким составным существительным в прусском языке

<sup>26</sup> Возможно, к этому типу следовало бы причислить и некоторые случаи с соединительным гласным *-e-*.

соответствуют композиты, а насколько дериваты или первичные слова<sup>27</sup>. Схематически это выглядит так. 105-ти немецким композитам модели *существительное + существительное* в прусской части *E* соответствуют 22 композита (21%), 34 суффиксальных образования (32%), 2 префиксальные образования (2%), 36 своих первичных слов или флективных (парадигматических) производных (34%) и 11 заимствований (11%). 34-ем немецким словам модели *прилагательное + существительное* соответствуют 7 композитов (21%), 9 суффиксальных образований (26%), 5 префиксальных образований (15%), 12 своих первичных слов или флективных производных (35%) и 1 заимствование (3%). Среди соответствий модели *глагол + существительное* преобладают прусские суффиксальные образования (55%). Вообще самыми многочисленными прусскими соответствиями немецким составным существительным в *E* являются суффиксальные образования (34%) и первичные слова и флективные образования (по 33,5%); композиты составляют пятую часть соответствий, заимствования — 9%, а суффиксальные образования — только 4% (см. табл. 2).

Таблица 2

## Прусские соответствия немецким композитам в Эльбингском словаре

Пор. №	Модели композитов в немецком языке	Соответствия в прусском языке				
		компози-ты	суффикс. образо-вания	префикс. образо-вания	первич-ные слова и флек-тивные обр.	заимство-вания
1.	Сущ. + сущ.	22 (21%)	34 (32%)	2 (2%)	36 (34%)	11 (11%)
2.	Прил. + сущ.	7 (21%)	9 (26%)	5 (15%)	12 (35%)	1 (3%)
3.	Глаг. + сущ.	3 (14%)	12 (54%)	—	4 (18%)	3 (14%)
4.	Сущ. + глаг.	1	2	—	4	—
5.	Прил. + глаг.	1	—	—	1	—
Всего		34 (20%)	57 (33.5%)	7 (4%)	57 (33.5%)	15 (9%)

То, что больше двух третей прусских соответствий композитам немецкой части *E* составляют не композиты и близкие им структурно и семантически префиксальные образования, а суффиксальные и флек-

<sup>27</sup> Словообразовательный анализ прусских слов производился на основании этимологического словаря В. Мажюлиса [Mažiulis 1988–1997].

тивные образования и первичные слова, позволяет выдвинуть гипотезу о сравнительно небольшом «механическом» влиянии немецкого языка на словообразовательную систему прусского языка в XIV–XV веках<sup>28</sup>. Это предположение подкрепляется и тем фактом, что 11-ти прусским композитам из 45-ти (каждому четвертому) в немецком языке соответствуют первичные слова или суффиксальные образования, которые вряд ли могли влиять на структуру слов прусского языка, а влияние на семантику хотя бы одного из компонентов композита, по-видимому, было минимальным. Нет никакого основания усматривать (ни структурную, ни семантическую) связь в следующих случаях:

(1) прус. *lituc-kekers* ‘чечевица’ Е 721 [испр. *licut-kekers*<sup>29</sup>], ‘(досл.) маленький горох’ (: *likuts* К III 17<sub>12</sub> ‘маленький’, *keckers* ‘горох’ Е 264 < ср.-н.-нем. *keker* ‘то же’, [Mažiulis 1988–1997, II: 153 и лит.]) : Е нем. *linsen* ‘чечевица’ (ср. ср.-в.-нем. *linse* ‘то же’ Lex, Grimm, возводимое к лат. *lens*);

(2) прус. *lapi-warto* ‘ворота’ Е 212, ‘(досл.) двери лисы’ (: *lape* ‘лиса’ Е 658, *warto* ‘двери’ Е 210) : Е нем. *phorte* ‘ворота’ (= ср.-в.-нем. *phorte* ‘то же’ Lex);

(3) прус. *gerto-anax* ‘ястреб-курятник’ Е 713 (\**gertā-vanags*: *gerto* ‘курица’ Е 764, (*spergla*)*wanag* ‘(птице)ястреб’ Е 714) : Е нем. *habich* ‘ястреб’ (= ср.-в.-нем. *habich* ‘то же’ Lex, суффиксальное производное от *heben* ‘поднять’ [EWD: 490]);

(4) прус. *kele-ranco* ‘боковая стойка повозки’ Е 303, ‘(досл.) рука колеса’ (: *kelan* ‘колесо’ Е 295, *rānkan* (acc.sg.) ‘рука’ К III 83<sub>10</sub> и др.). В качестве возможного источника структуры и семантики композита Топоров [Топоров 1975–1990, III: 307] указывает нем. *Rad-hand* (однако такого слова найти не удалось) : Е нем. *runge* ‘боковая стойка повозки’ (= ср.-в.-нем., ср.-н.-нем. *runge* ‘то же’);

(5) прус. *warnay-copo* ‘сорокопут’ Е 755 (наверное, следует исправить на <*warnya-copo*>, см. [Mažiulis 1988–1997, IV: 224]), ‘(досл.) клюющая ворон’ (хищный сорокопут) (: *warne* ‘ворона’ Е 722, насчет второго компонента см. [Mažiulis 1988–1997, I: 269 и сл.]. s.v. *enkopts*) : Е нем. *warkringel* ‘сорокопут’ (няснос слово, связываемое с нем. *Wargengel*,

<sup>28</sup> Это предположение носит очень предварительный характер, поскольку в конвергентном словообразовании немецким композитам очень развитому в германских языках словообразовательному типу — могут соответствовать, например, прусские суффиксальные образования — словообразовательный способ, наиболее характерный для балтийских и некоторых других языков (по поводу подобных случаев в конвергентном словообразовании в речи литовцев США см. [Pažūsis 1989: 65 и сл.]).

<sup>29</sup> В. Смочиньский [Smoczyński 2000: 49–52] считает первый компонент заимствованным из ср.-н.-нем. *lütke* ‘маленький’.

*Warkengel* 'сорокопуд, *Lanius excubitor* L., *Lanius collurio* L.', которые скорее всего являются производными с помощью составного суффикса *-ingel* из нем. *Warg* 'злодей, страшилище', ср. Grimm);

(6) прус. *col-warnis* 'грач' E 726 ('(досл.) кричащий ворон/грач-ворон/галко-ворон/черно-ворон' — в зависимости от того, как мы будем толковать происхождение первого компонента, см. [Топоров 1975–1990, IV: 117–122; Mažiulis 1988–1997, II: 240 и сл.]. Если мы примем первое объяснение (В. Мажюлиса), то основа номинации первого компонента прусского композита была бы такой же, как и нем. *Ruche* — специфический крик птицы, тьяканье): E нем. *ruche* 'грач' (= ново-в.-нем. *ruche* [Götze 1960: 180]; ср. нем. *ruch*, ср.-в.-нем. *ruoch*, *ruoche* 'то же' Grimm, Lex; связывается с глаголом, означающим 'петь, кричать', см. Grimm).

Я был бы склонен считать оригинальными композитами и эти слова (можно ли усмотреть влияние немецкого языка на семантику одного из компонентов композита, показали бы детальные исследования лексикологии средневекового немецкого языка):

(7) прус. *birga-karkis* 'ковш, черпак' E 358, '(досл.) ковш для варки, черпак' (: *(au)birgo* 'повар' E 347, насчет происхождения второго компонента *-karkis*, отдельно не засвидетельствованного, нет общего мнения, см. [Mažiulis 1988–1997, I: 143 и сл.]): E нем. *kelle* 'черпак' (= ср.-в.-нем. *kelle* 'то же' Lex, Grimm). Не представляется невозможным, что на первый компонент могло влиять нем. *koch-löffel* 'большая деревянная ложка, используемая поваром' (Grimm). Если бы прусское слово было копией упомянутого немецкого композита, во втором компоненте мы бы ожидали *lapinis* 'ложка' (E 359); если бы мы считали источником копии нем. *schöpf-kelle* или *schöpf-löffel* 'принадлежность для черпания, черпак' (Grimm), мы бы тоже ожидали другого результата (ср. прус. *kniēipe* K III 107, 'черпает');

(8) прус. *piwa-maltan* 'солод' E 384, '(досл.) пивной солод' (: *piwis* 'пиво' E 383, второй компонент отдельно не засвидетельствован) — оба компонента славизмы<sup>30</sup> (см. [Mažiulis 1988–1997, III: 289]): E нем. *malcz* 'солод' (= ср.-в.-нем. *malz* 'то же').

<sup>30</sup> То, что оба компонента заимствованы, не подразумевает, что композит не может быть оригинальным. Заимствованный композит перестает быть композитом и начинает функционировать как непродуцированное слово (ср. [Вайнрайх 1979: 83]). В *E* таких случаев два: один заимствован из немецкого языка (*stakamecczer[is]* 'кинжал, рубящий нож' E 428 < ср.-н.-нем. *steke-messer* 'то же', см. [Mažiulis 1988–1997, IV: 148; Smoczyński 2000: 42]), другой — из старопольского языка (*weloblundis* 'мул' E 437, ср. польск. *wiel-bład* 'то же', см. [Mažiulis 1988–1997, IV: 230 и лит.]).

Появление остальных трех композитов, характерных только для прусской части *E*, скорее всего, обусловлено интерференцией со стороны немецкого языка (влиянием на один из компонентов и на семантику композита), т. е.:

(9) прус. *nage-pristis* [испр. *nage-pirstis*] 'палец ноги' E 149 (ср. *nage* 'ступня ноги' E 145, *pirsten* 'палец' E 115); первый компонент и семантику композита могло определить E нем. *Czee* (= ср.-в.-нем. *zêhe*, стяженная форма *zê* Lex, совр. нем. *Zehe* 'то же') — отдельное слово для обозначения пальца ноги (ср. ср.-в.-нем. *vinger* Lex, совр. нем. *Finger* 'палец (руки)');

(10) прус. *crauya-wirps* E 551 'кровопускатель' (: *crauyo* E 160 'кровь', насчет второго компонента ср. *etwēript* 'отпустить (грехи)' K III 55<sub>11</sub> и др.; шире см. [Mažiulis 1988–1997, II: 262 и сл.; Топоров 1975–1990, IV: 158 и сл.]); на семантику второго глагольного компонента могло повлиять помен *agentis* E нем. *Loser* 'то же' (ср. ср.-в.-нем. *lâzer* 'пускатель (крови)', совр. нем. *Aderlasser*)<sup>31</sup>;

(11) прус. *spergla-wanag* 'птицеястреб' E 714 [его склонны исправлять на *spurgla-wanagis* (: *spurglis* 'воробей' E 739, ср. лит. *vānagas* 'ястреб', лтш. *vanags* 'то же'; см. [Mažiulis 1988–1997, IV: 145 и лит.]), '(досл.) воробьиный ястреб'<sup>32</sup>. Семантику первого компонента могло определить E нем. *sperwer* 'то же' (= ср.-в.-нем., ср.-н.-нем. *sperwer* Lex, [Kluge 1975: 723]), которое считается суффиксальным производным от, например, ср.-в.-нем. *spar*, *spare* 'воробей' [Ibid.]. Насчет композитов со вторым компонентом *vanagas* ср. уже упомянутое прус. *gerto-anax* (= лит. *višt-vanagis* 'ястреб-курятник', но лтш. *vistu vanags*), лит. *paũkšt-vanagis* 'ястреб-перепелятник', *maĩt-vanagis* 'ястреб-стервятник', *zũik-vanagis* 'ястреб, ловящий зайцев', *balañd-vanagis* 'голубятник'.

Следует отметить, что композиты 9–11 не являются копиями немецких составных существительных. Конвергенция скорее всего выразилась в «суфлировании» одного компонента композита и таким образом определилась семантика всего слова. Наиболее достоверным выглядит 9 случай, насчет 10 и 11 более твердое мнение можно было бы высказать на основе ареальных исследований (это, особенно 10, могут быть и параллельные образования).

<sup>31</sup> Нем. помен *agentis* в *E* здесь соответствует прус. составному существительному со вторым глагольным компонентом, семантически близкому наименованиям десятлэй (как было сказано, композиты со вторым глагольным компонентом германским языкам не свойственны).

<sup>32</sup> В латышском языке словосочетание *zvirbulu vanags* 'воробьиный ястреб', возможно, тоже появилось под влиянием немецкого языка.

Далее анализируются 34 прусских композита гесп. словосочетания из *E*, которым соответствуют в *E* немецкие составные существительные гесп. словосочетания. Часть их следует считать оригинальными образованиями гесп. словосочетаниями, не подвергшимися структурной или семантической конвергенции:

(12) прус. *medenix-taurw[is]* 'глухарь (*Tetrao urogallus*)' Е 766 [испр. на \**medenix-tatarwis*, скорее всего \**medenix tatarwis*: *median* 'лес' Е 586 + суффикс \*-*enik-*, *tatarwis* 'тетерев' Е 767], '(досл.) лесовод, т. е. лесник, тетерев' (см. [Mažiulis 1988–1997, III: 118 и сл.]): нем. *E beer-hun* 'фазаниха' (ср. ср.-н.-нем. *ber-hân* 'фазан' [Trautmann 1910: 376]), '(досл.) ягодная курица' (: ср.-в.-нем. *ber*, нем. *beere* 'ягода', ср.-в.-нем. *huon*, нем. *huhn* 'курица' Grimm);

(13) прус. *wosi-grabis* 'бересклет (*Evonymus*)' Е 611, '(досл.) граб козы / козла' (: *wosee* 'коза' Е 676, \**grabis* 'граб', реконструируется особенно на основании материала славянских языков, см. [Mažiulis 1988–1997, IV: 265]): Е нем. *spil-boem* (= ср.-в.-нем. *spil-boum* Lex, нем. *spill-baum* Grimm) '(досл.) веретенное дерево' (: ср.-в.-нем. *spinnel*, *spille* 'веретено, Spindel', ср.-в.-нем. *boum*, нем. *baum* 'дерево' Grimm);

(14) прус. *lat-tako* 'подкова' Е 543, т. е. \**lad-tako* (: *ladis* 'лед' Е 56, ср. лтш. *tecēt* 'бежать'), '(досл.) средство для бега по льду' (ср. лит. *lėd-žinga* 'подкова; коньки = средство для хождения по льду' [Mažiulis 1988–1997, III: 47 и сл.]): Е нем. *huf-ysen* (ср. ср.-в.-нем. *huof-îsen* Lex, нем. *huf-eisen* Grimm) '(досл.) железо копыта';

(15) прус. *larga-saytan* 'ремень стремени' Е 446 [испр. *linga-saytan*], '(досл.) привязь стремени (кожаная)' (: *lingo* 'стремя' Е 447, ср. лит. *saitas* 'веревка; выделанная кожа; цепь'): Е нем. *stick-ledd[er]* (= ср.-в.-нем. *stîc-leder*: *stîg* < *stîgen* 'лезть, взбираться', *leder* 'кожа') '(досл.) кожа для восхождения' [нем. *steig-riemen* '(досл.) ремень для взбирания' используется только с XVI в., см. Grimm];

(16) прус. *ker-berse* 'низкорослая береза' Е 614, т. е. 'кустовая береза' (: *berse* 'береза' Е 600, ср. лит. *kėras* 'куст'): Е нем. *wirsen-holz* — неясное слово, словообразовательное значение 'плохое, низкое дерево / дрова' (: ср.-в.-нем. *wirs* 'хуже; ниже', *holz* 'дерево' Lex);

(17) прус. *api-sorx* 'зимородок, *Alcedo atthis* L.' Е 772, '(досл.) сторож реки' (: *ape* 'река' Е 62, ср. *ab-serg-îsnan* 'охрана' К III 91<sub>8</sub>, лит. *sárgas* 'сторож', лтш. *sargs* 'то же'; ср. [Endzelins 1943/1982: 143; Топоров 1975–1990, II: 99]): Е нем. *ysen-bart* (= ср.-в.-нем. *îsen-bart* 'то же' Lex) '(досл.) железная борода' (для обозначения этой птицы широко используется нем. *Eis-vogel* (ср. ср.-в.-нем. *îs-vogel* Lex) '(досл.) птица льда'; скорее всего в первом компоненте композита смешались *îs* 'лед' и *îsen* 'железо', Grimm);

(18) прус. *pele-maygis* 'мышелов, *Falco tinnunculus* L.' Е 712, '(досл.) убийца, душитель мышей' (ср. лит. *pelė* 'мышь', лтш. *pele* 'то же', лит. диал. *miėgti* 'ударить, рубить', см. [Mažiulis 1996: 249 и сл.]): Е нем. *rotil-wye* (ср. ср.-в.-нем. *rätel-wîe* Lex) 'то же', '(досл.) красный лунь' (ср. ср.-в.-нем. *rätel* 'красный мел', *wîe* 'лунь');

(19) прус. *aclo-cordo* 'вожжи' Е 313 <испр. *atlo-cordo*>, '(досл.) веревка коня, коневверевка' (ср. лит. *árklas* 'соха', лтш. *arkls* 'плуг', лит. *kardà* 'лыко', см. [Mažiulis 1988–1997, I: 61 и сл.]): Е нем. *leit-seil* (= ср.-в.-нем. *leit-seil* 'веревка для охотничьей собаки' Lex, 'веревка для управления кем-то' Grimm) '(досл.) ведущая гесп. управляющая веревка, т. е. повод гесп. вожжи', несколько иначе [Ibid.]);

(20) прус. *Ayte-genis* 'маленький дятел' Е 745 (ср. лит. *eitena* 'некто быстрый', прус. *genix* Е 742 < \* 'зубрила, тот, кто бьет' [Mažiulis 1988–1997, I: 58 и сл., 349 и сл.]): Е нем. *kleine-specht* 'то же' (ср. *klein-specht* 'baumhacker' Grimm). Если мы примем толкование Мажюлиса [Ibid.], то это прусское слово является оригинальным композитом со вторым глагольным компонентом, т. е. 'быстро бьющий'.

Несколько прусских слов гесп. словосочетаний тоже могут быть оригинальными образованиями гесп. словосочетаниями, имеющими частичные немецкие параллели (обычно совпадает или почти совпадает семантика одного из компонентов). Появление этих композитов гесп. словосочетаний могло быть обусловлено и интерференцией со стороны немецкого языка (например, влиянием на один из компонентов и, конечно, на семантику композита гесп. словосочетания). Это:

(21) прус. *dago-augis* 'летний побег' Е 638 (: *dagis* 'лето' Е 13, ср. *aug(innons)* 'растущий' К III 69<sub>12</sub>): Е нем. *somir-latte* (ср. ср.-в.-нем. *sumerlatte* Lex, нем. *sommerlatte* Grimm) '(досл.) летний побег, ветка' (: нем. *sommer* 'лето', *latte* 'побег, ветка' Grimm);

(22) прус. *buca-warne* 'сойка, *garrulus glandarius*' Е 723, '(досл.) буковая ворона' (: *bucus* 'бук' Е 592, *warne* 'ворона' Е 722): Е нем. *holz-kro* (ср. нем. *holz-krähe* 'picus martius; coracias garrula; corvus cornix' Grimm), '(досл.) ворона дерева' (ср. *holz* 'дерево', *krâ* 'ворона' Lex);

(23) прус. *bucca-reisis* 'буковый орех' Е 593 (: прус. *bucus*, ср. лит. диал. *riešas* 'орех'): Е нем. *buch-ecker* (ср. нем. *buch-eckern* Grimm, ср.-в.-нем. *buoch-eckern* 'буковой желудь' Lex) 'буковый желудь' (: нем. *buche*, ср.-в.-нем. *buoche* 'бук', *ecker* '(буковый) желудь' Grimm);

(24) прус. *danti-max* 'десны' Е 93 '(досл.) зубной кошелек / мешок' (ср. *dantis* 'зуб' Е 92, лит. *mākas* 'мошна', лтш. *maks* 'кошелек, мешок'): Е нем. *Czan-fleysch* (= ср.-в.-нем. *zan-vleisch* Lex, совр. нем. *Zahnfleisch*)

‘(досл.) зубное мясо’ (ср. ср.-в.-нем. *zan(t)* ‘зуб’, *vleisch* ‘мясо’ Lex, Grimm);

(25) прус. *lauca-gerto* ‘куропатка’ Е 768 ‘(досл.) полевая (почвенная) курица’ (ср. *laucks* ‘поле’ К III 105<sub>10</sub>, *laukinikis* ‘землевладелец’ Е 407, *gerto* ‘куропатка’ Е 764) : Е нем. *rep-hun* (= *reb-huhn* ‘тетрао пердix’ Grimm, ср. ср.-в.-нем. *rep-huon* Lex) ‘(досл.) рябая курица’ (ср. рус. *рябой*, *huhn* ‘куропатка’ DTW 1094). По мнению Топорова [Топоров 1975–1990, V: 127], это прусское слово могло быть калькой с нем. *Feld-huhn* ‘(досл.) полевая курица’ — композита, значение которого в некоторых источниках не отличается от значения *Rebhuhn* (ср. Grimm s.v. *rebhuhn*);

(26) прус. *caltestis-klok[is]* ‘улейный медведь’ Е 656 (наверное, *caltestis klok[is]*, ср. *kalte* ‘монета’ GrG 80 < \*‘то, что отрублено; колода’ + суффикс *-isk-* = ‘колодный, т. е. улейный’, *clokis* ‘медведь’ Е 655) : Е нем. *czidel-ber* ‘(досл.) пчелиный медведь’ [ср. ср.-в.-нем. *zidelære* ‘пчеловод’, нем. *zeidel-bär* ‘ursus arcticus’ Grimm]. Значения ‘улейный медведь’ и ‘пчелиный медведь’ очень близки;

(27) прус. *kel-laxde* ‘древко копья’ Е 423, ‘(досл.) палка копья’ (: прус. *kelian* ‘кошье’ Е 422, *laxde* ‘орешник; палка (стебель орешника)’ Е 607, см. [Mažiulis 1988–1997, II: 161; III: 54 и сл.]) : Е нсм. *sper-schaft* (= ср.-в.-нем. *sper-schaft* Lex, нем. *speer-schaft* ‘деревянное древко копья’ Grimm: *spe(e)r* ‘копье’, *schaft* ‘древко копья; копье; палка’ Grimm, Lex).

Несколько прусских композитов гесп. словосочетаний имеют полные соответствия в немецком языке. Считать эти слова копиями, не выполнив детальных ареальных исследований, вряд ли можно, поскольку они, видимо, не связаны с инновациями:

(28) прус. *ructan-dadan* ‘простокваша’ Е 690 (= *ructan dadan* ‘кислое/скисшее молоко’, ср. лит. *rūgti* ‘киснуть’, лтш. *rūgt* ‘бродить’, прус. *raugus* ‘закваска’ Е 691, *dadan* ‘молоко’ Е 687, см. [Mažiulis 1981: 42; 1988–1997, V: 15 и сл., 33]) : Е нем. *suwer-milch* (= *suwer-milch*, ‘кислое молоко’ Grimm, ср. ср.-в.-нем. *suwer* ‘кислое; скисшее’, *milch* ‘молоко’ Lex);

(29) прус. *nose-proly* ‘ноздря’ Е 86 (: *nozy* ‘нос’ Е 85, относительно \**proly* ‘дыра’ см. [Mažiulis 1988–1997, III: 199]) : Е нем. *nase-loch* (= ср.-в.-нем. *nase-loch* Lex, Grimm: *nase* ‘нос’, *loch* ‘дыра’ Lex);

(30) прус. *pausto-catto* ‘дикая кошка’ Е 665 (= *pausto catto*) : Е нем. *wilde-katze* (= *wilde* ‘дикая’ *katze* ‘katé’ ‘кошка’), ср. *wildkatze* Grimm, совр. нем. *Wildkatze*;

(31) прус. *pausto-caicaln* ‘дикая лошадь’ Е 654 (ср. *pausto-catto*) : Е нем. *wilt-pfert* (= *wild-pferd*: *wild* ‘дикая’, *pferd* ‘лошадь’ Grimm);

(32) прус. *daga-gaydis* ‘летняя пшеница’ Е 260 (: прус. *dagis* ‘лето’ Е 13, *gaydis* ‘пшеница’ Е 259) : Е нем. *somm[er]-weyse* (ср. нем. *sommer-*

*weizen* ‘летняя пшеница’ Grimm : *sommer* ‘лето’, *weizen* ‘пшеница’ Grimm; ср. ср.-в.-нем. *weize*, *weise* ‘то же’ Lex).

Часть прусских составных существительных гесп. словосочетаний в Е довольно достоверно можно считать инновациями, творчески воссоздающими немецкие композиты гесп. словосочетания (немецкое слово дает общую идею, модель композита; семантика одного из компонентов обычно совпадает):

(33) прус. *wissa-seydis* ‘вторник’ Е 19 (: \**visa-* ‘все’ (ср. *wissa-weidin* ‘всячески’ К III 55<sub>9</sub> и др.), \**sēdis* ‘заседание’, т. е. ‘заседание всех’ > ‘собрание’ > ‘день собрания’ > ‘вторник’) : Е нем. *dins-tag* (= ср.-в.-нем. *dins-tac* Lex, ср. нем. *diens-tag* Grimm). Трактующий таким образом прусский композит (по интерпретации В. Пизани и В. Мажюлиса, см. [Mažiulis 1988–1997, IV: 251 и сл.]) скорее всего является творческой копией семантики нем. *dins-tag*, *dinges-tag* (см. Grimm s.v. *dienstag*) ‘день собрания’;

(34) прус. *caria-woytis* ‘смотр войска’ Е 416, ‘(досл.) разговор войска (воинов)’, т. е. ‘совет воинов; сходка’ (: прус. *kragis* <*kargis*> ‘войско’ Е 410, *waitiat* К III 35<sub>3</sub> ‘говорить’, см. [Mažiulis 1988–1997, II: 123 и сл.], ср. [Топоров 1975–1990, III: 228]) : Е нем. *her-schaw* (= нем. *heer-schau* Grimm, ср. ср.-в.-нем. *her-schouwe* Lex) ‘смотр войска, парад’ (: нем. *heer*, ср.-в.-нем. *her* ‘войско’, *schau* <*schauen* ‘смотреть, видеть’ Grimm). Немецкая реалья ‘смотр войска, воинов’ передается явлением, характерным для пруссов, — ‘сходка воинов’;

(35) прус. *silkas-drûb[is]* ‘шелковая накидка, одеяние’ Е 484 <испр. *silkas-drimbis*, вероятно *silkas drimbis*> ‘(досл.) спадающий шелк (ткань, платок, одеяние)’ (: gen.sg. *silkas* ‘шелка’, *drimbis* ‘спадающий (ткань, вуаль, платок)’ Е 483) : Е нем. *syden-slewir* (ср. *seiden-schleife* ‘шелковый бант’ Grimm) ‘(досл.) шелковый, -ая ткань, платок, вуаль, легкое одеяние’ (: ср.-в.-нем. *sîden*, ср. *sîdîn* ‘шелковый’ Lex, *slewer*, *slowir* etc. ‘легкая, тонкая прозрачная ткань, платок, одеяние из нее’ Lex, Grimm s.v. *schleier*). Следовательно, ‘шелковая легкая ткань и платок, вуаль, сшитые из нее etc.’ пруссами творчески передано как ‘спадающая шелковая ткань гесп. одеяние’. О новизне композитов гесп. сочетаний 33–35 свидетельствует и основа *-iio* второго компонента (ср. [Mažiulis 1988–1997, IV: 251 и сл.] s.v. *wissaseydis*);

(36) прус. *possi-sawaite* ‘среда’ Е 20 ‘(досл.) полунеделя’ (ср. лит. *pùsè* ‘половина’, лтш. *puse* ‘то же’, прус. *sawayte* ‘неделя’ Е 16) : Е нем. *mitte-woche* (= ср.-в.-нем. *mitte-woche* Lex, Grimm) ‘(досл.) середина недели’ (: ср.-в.-нем., нем. *mitte* ‘середина’, *woche* ‘неделя’ Lex, Grimm). Оригинальная калька при передаче значения первого компонента не-



мецкого слова 'середина' близким по значению 'половина' (сосуществование этих значений см. в лит. композитах *vidurnaktis* 'полночь' и *pusiáunaktis* 'то же' LKŽ);

(37) прус. *pette-gislo* 'плечевая жила' Е 108 (ср. *pette* 'плечо' Е 104, лит. *gýsla* = лтш. *dzisla* 'жила'); Е нем. *rucke-oder* (ср. *rücken-ader* Grimm) '(досл.) спинная жила, артерия' (ср. ср.-в.-нем. *rücke, rüch* 'спина', *âder* 'жила, артерия' Lex). Семантика немецкого композита передается творчески, заменой первого компонента 'спина' на 'плечо';

(38) прус. *ape-witwo* 'ива' Е 605, '(досл.) речная ива, верба' (: *ape* 'река' Е 62, *witwan* 'верба, ива' Е 603) : Е нем. *struch-wyde* (ср. нем. *strauch-weide* 'ива' Grimm) '(досл.) ива в виде куста' (: ср.-в.-нем. *strûch* 'куст', *wide* 'ива' Lex, Grimm);

(39) прус. *tusa-wortes* <испр. *tula-wortes*> 'книжка (желудок жвачных животных)' Е 131, '(досл.) многократно вывернутые, сложенные' (прус. *tûlan* 'много' К III 55<sub>8-9</sub>, ср. *wartint* 'искривлять, переворачивать' К III 35<sub>4</sub>) : Е нем. *manch-uel* (ср. ср.-в.-нем. *manec-valt* 'книжка' Lex, нем. *manch-falt* 'то же' Grimm) '(досл.) многослойный (желудок = книжка)' (ср. ср.-в.-нем. *manch* 'много', *valt* 'складка; морщина') — субстантивированное прилагательное *manecvalt, manchfalt* 'многослойный, -ая'. Без специальных исследований нельзя отбросить предположение, что последние три прусских слова, не имеющие связи с культурными или другими инновациями, могут быть и самостоятельными параллельными образованиями.

Из оставшихся 6-ти композитов 5 следует считать точными (механическими) копиями немецких составных существительных (собственно кальками, дословными переводами), и один — копией старо-польского композита. Эти слова, за исключением одного, являются названиями технических или бытовых новшеств:

(40) прус. *maluna-stab[is]* 'камень мельницы (жернова)' Е 319 (: *malunis* 'мельница' Е 316, *stabis* 'камень' Е 32) : Е нем. *moel-stein* (ср. ср.-в.-нем. *mûl-stein: mûl(e)* 'мельница', *stein* 'камень', Grimm, Lex);

(41) прус. *malu[n]a-kela[n]* 'колесо мельницы' Е 321 (: *malunis* 'мельница' Е 316, *kelan* 'колесо' Е 295) : Е нем. *moel-rat* (ср. ср.-в.-нем. *mûl-rat: mûl(e)* 'мельница', *rat* 'колесо' Lex);

(42) прус. *kalo-peilis* 'рубящий нож' Е 369 (: прус. \**kalā*<sup>33</sup> 'колотье, рубание', ср. *preitalis* <*preicalis*> 'наковальня' Е 517, *peile* 'нож' GrA 27, см. [Топоров 1975—1990, III: 175 и сл.; Mažiulis 1988—1997, II: 91

<sup>33</sup> В. Смочиньский [Smoczyński 2000: 42] читает первый компонент как <*kaco*-> и считает заимствованием из ср.-в.-нем. *hacke*.

и сл.]) : Е нем. *hacke-mess[er]* (= нем. *hacke-messer* Grimm, ср. ср.-в.-нем. *hack-mezzer* Lex) 'то же' (: *hacke* < *hacken* 'рубить; колоть', *messer* 'нож' Grimm);

(43) прус. *sasin-tinklo* <*sasni-tinklo*> 'сеть кроликов (ловушка)' Е 697 (: прус. *sasnis* 'кролик' Е 659, ср. лит. *tiñklas* 'сеть', лтш. *tikls* 'то же') : Е нем. *hasen-garn* 'то же' (= нем. *hasen-garn*, ср. *hase* 'кролик', *garn* 'сенок, сеть' Grimm);

(44) прус. *panu-staclan* 'огниво' Е 370, '(досл.) огненная сталь' (прус. *panno* 'огонь' Е 33, \**staklan* < ср.-в.-нем. *stahel* 'то же' Grimm, Lex; см. [Mažiulis 1988—1997, III: 220 и сл. и лит.]; ср. нем. *feuer-stahl* 'то же' Grimm) : Е нем. *vuer-yser* (ср. ср.-н.-нем. *vûr-îsere* [Trautmann 1910: 389]; ср.-в.-нем. *viur-îsen* Lex '(досл.) огненное железо' : ср.-в.-нем. *viur* 'огонь', *îsen* 'железо'); полное структурное и семантическое соответствие прусскому слову — нем. (Grimm) *feuer-stahl* '(досл.) огненная сталь';

(45) прус. *stanu-lonx* 'волчник, *Dafhne mezereum* L.' Е 623. Если мы примем прочтение Мажюлиса [Mažiulis 1988—1997, IV: 151] /*skanu-lunks/* и интерпретацию 'лыко волчонка (шенка)', то это может быть калькой (или полукалькой, ср. лит. *žalčia-lunkis* 'волчник') из польск. *wilcze łyko* 'то же' : Е нем. *kellers-hals* (= *kellers-hals*, более позднее *keller-hals* Grimm) '(досл.) шея/горло подвала' (означает и вход в подвал, лестницу в подвал, и волчник; история слова неясна).

Обобщая результаты этого исследования, следует отметить некоторые важные пункты.

1. Составные существительные немецкой части *E* (resp. редкие словосочетания) более чем в три раза более многочисленны, чем составные существительные (resp. редкие словосочетания) прусской части: соответствия четверти прусских композитов в немецкой части *E* — не составные существительные.

2. Структура композитов в *E* по существу соответствует закономерностям, свойственным системам именных композитов германских и балтийских языков, из которых следует отметить: а) преобладание детерминативных композитов со вторым компонентом-существительным (особенно по модели *существительное + существительное*); б) редкость существительных со вторым компонентом-глаголом в немецком языке.

3. Небольшое количество композитов, первые компоненты которых образованы от падежных форм, и отсутствие многообразия соединительных элементов (в большинстве случаев встречается только соединительный гласный *-e-*) в *E* выделяет немецкий язык из общего немецкого (германского) контекста.

4. Немного более трети (17 из 45) прусских композитов (resp. словосочетаний) в *E* довольно надежно можно считать оригинальными, не подвергшимися ни структурной, ни семантической конвергенции немецкого языка (1–8 и 12–20).

5. Двенадцать случаев (21–32), которые не связаны с культурными или какими-либо другими инновациями, тоже могут быть самостоятельными параллельными образованиями (resp. словосочетаниями), хотя один или оба компонента имеют соответствия в немецком языке (для более веской аргументации требуются дополнительные исследования).

6. Девять случаев следует считать творческими интерпретациями (кальками-толкованиями, англ. *loan renditions*) немецких композитов (33–39) или суффиксальных образований (10–11), а прус. *nage-pirstis* ‘палец ноги’ (9) составлено с целью передачи различия между нем. *zehe* ‘палец ноги’ и *finger* ‘палец (руки)’ — двумя простыми (первичными) словами.

7. Точными (механическими) кальками, собственно кальками (англ. *loan translations*), являются шесть прусских композитов (40–45).

Конечно, это предварительные выводы, которые могут быть уточнены после дальнейших исследований, однако на их основании можно констатировать сравнительно небольшое «механическое» конвергентное влияние немецкого языка на словообразование прусского языка до появления его письменных памятников.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вайнрайх 1979 — *У. Вайнрайх*. Языковые контакты. Киев, 1979.  
 Дини 2002 — *П. У. Дини*. Балтийские языки. М., 2002.  
 Кубрякова 1963 — *Е. С. Кубрякова*. Словосложение // Сравнительная грамматика германских языков. Т. 3. Морфология / Отв. ред. М. М. Гухман. М., 1963.  
 Топоров 1975–1990 — *В. Н. Топоров*. Прусский язык: Словарь. М., 1975. Т. I: A–D; Т. II: E–H. 1979; Т. III: I–K. 1980; Т. IV: K–L. 1984; Т. V: L. 1990.  
 Endzelin 1944 — *J. Endzelin*. Altpreussische Grammatik. Riga, 1944.  
 Endzelin 1943/1982 — *J. Endzelins*. Senprūšu valoda. Ievads, gramatika un leksika // Darbu izlase. IV. 2. Riga, 1982 [1943].  
 Erben 1993 — *J. Erben*. Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. 3. neubearbeitete Auflage. Berlin, 1993.  
 EWD — Etymologisches Wörterbuch des Deutschen / Hrsg. von W. Braun, G. Ginschel, G. Hagen, A. Huber, K. Müller, H. Petermann, G. Pfeifer, D. Schröter, U. Schröter. 6. Auflage. München, 2003.  
 Fleischer 1992 — *W. Fleischer*. Komposition // W. Fleischer, I. Barz. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / Unter Mitarb. von M. Schröder. Tübingen, 1992.  
 Götze 1960 — *A. Götze*. Frühneuhochdeutsches Glossar. 6. Auflage. Berlin, 1960.  
 Grimm — *J. und W. Grimm*. Deutsches Wörterbuch. Leipzig, 1854–1961.

- (<http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/wbgui?lemid=GA00001>).
- Inoue 1998 — *Inoue Toshikazu*. К вопросу о языке перевода прусского Энхиридиона // W. Smoczynski (ed.). Colloquium Pruthenicum secundum. Kraków, 1998.  
 Kluge 1975 — *F. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 21. Aufl. Berlin; New York, 1975.  
 Larsson 2002a — *J. H. Larsson*. Nominal compounds in Old Lithuanian texts: the original distribution of the composition vowel // Linguistica Baltica. 10. 2002.  
 Larsson 2002b — *J. H. Larsson*. Nominal compounds in the Baltic languages // Transactions of the Philological Society. 100 (2). 2002.  
 Larsson 2003 — *J. H. Larsson*. Nominal Compounds in Old Prussian // *Idem*. Studies in Baltic Word Formation. Københavns universitet, 2003.  
 Lašinytė 2006 — *B. Lašinytė*. Prūsų kalbos sudurtinių daiktavardžių daryba. Vilnius, 2006 (магистерская работа).  
 Lašinytė 2007 — *B. Lašinytė*. Prūsų kalbos sudurtinių daiktavardžių kilmės klausimu // Baltistica. 42. 2007. № 2.  
 Lex — *M. Lexer M.* Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch // Zugleich als Supplement und alphabetischer Index zum Mittelhochdeutschen Wörterbuche von Benecke-Müller-Zarncke. Nachdruck der Ausg. Leipzig 1872–1878 mit einer Einleitung von Kurt Gärtner. 3 Bde. Stuttgart, 1992  
 (<http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/WBB/lexer/wbgui>).
- LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas ([www.lkz.lt/startas.htm](http://www.lkz.lt/startas.htm)).
- Marchand 1970 — *J. W. Marchand*. Some remarks on the German side of the Elbing Vocabulary // T. F. Magner, W. R. Schmalstieg (eds.). Baltic Linguistics. University Park and London, 1970.  
 Mažiulis 1966 — *V. Mažiulis*. Prūsų kalbos paminklai. T. I. Vilnius, 1966.  
 Mažiulis 1981 — *V. Mažiulis*. Prūsų kalbos paminklai. T. II. Vilnius, 1981.  
 Mažiulis 1988–1997 — *V. Mažiulis*. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. T. I: A–H. Vilnius, 1988; T. II: I–K. 1993; T. III: L–P. 1996; T. IV: R–Z. 1997.  
 Mikkola 1967 — *E. Mikkola*. Das Kompositum. Eine vergleichende Studie über die Wortzusammensetzung im Finnischen und in den indogermanischen Sprachen. 1. Der Anteil der Komposita an der Sprache des modernen Romans. Helsinki, 1967.  
 MLLVG — Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I. Rīgā, 1959.  
 Olsen 2000 — *S. Olsen*. Composition // Morphologie / Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wordbildung / An International Handbook on Inflection and Word-Formation / Hrsg. von / Ed. by G. Booij, Ch. Lehmann, J. Mugdan, S. Skopeteas in collaboration with W. Kesselheim. Vol. 1. Berlin; New York, 2000.  
 Pažūsis 1989 — *L. Pažūsis*. Konvergencinė žodžių daryba // Kalbotyra. XL (1). 1989.  
 Ronnenberger-Sibold 2004 — *E. Ronnenberger-Sibold*. Deutsch (Indogermanisch: Germanisch) // Morphologie / Morphology. Ein internationale Handbuch zur Flexion und Wordbildung / An International Handbook on Inflection and Word-Formation / Hrsg. von / Ed. by G. Booij, Ch. Lehmann, J. Mugdan, S. Skopeteas in collaboration with W. Kesselheim. Vol. 2. Berlin; New York, 2004.  
 Schiller, Lübhen 1931 — *K. Schiller, A. Lübhen*. Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Bd. 1–6. Münster. 1931.  
 Serafini Amato 1992 — *L. Serafini Amato*. Morfologia dei composti nominali del prussiano antico // Europa orientalis. 11 (1). 1992.  
 Skardžius 1996 — *P. Skardžius*. Rinktiniai raštai. I. Vilnius, 1996.

- Smoczyński 2000 — *W. Smoczyński*. Untersuchungen zum deutschen Lehngut im Alt-preussischen. Kraków, 2000.
- Stepanova, Fleischer 1985 — *M. Stepanova, W. Fleischer*. Grundzüge der deutschen Wortbildung. Leipzig, 1985.
- Trautmann 1910 — *R. Trautmann*. Die altpreussischen Sprachdenkmäler: Einleitung, Texte, Grammatik, Wörterbuch. Göttingen, 1910.
- Urbutis 1961 — *V. Urbutis*. Dabartinės lietuvių kalbos sudurtinių daiktavardžių daryba // Dabartinė lietuvių kalba. Vilnius, 1961.
- Urbutis 1965 — *V. Urbutis*. Daiktavardžių daryba // Lietuvių kalbos gramatika. I. Vilnius, 1965.
- Urbutis 1978 — *V. Urbutis*. Žodžių darybos teorija. Vilnius, 1978.
- Ziesemer 1919–1920 — *W. Ziesemer*. Zum deutschen Text des Elbinger Vocabulars // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 44. 1919–1920.

*Перевод с литовского языка М. В. Завьяловой*

P.S.

Пока настоящая статья готовилась к печати, появилась еще одна публикация автора, посвященная составным существительным прусского языка, см.: *B. Stundžia*. Keliakalbių senųjų žodžių tyrimo metodologijos klausimu: Elbingo žodynėlio sudurtiniai daiktavardžiai // Baltiskė jazyky v proměnah metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltické konference. Brno, 2008. В этой статье больше внимания уделяется анализу немецких составных существительных Эльбингского словарика.

А. В. АНДРОНОВ

## О петербургском экземпляре II прусского катехизиса\*

Второй прусский Катехизис является исправленным изданием первой книги на древнепрусском языке (изданной также в Кёнигсберге в том же 1545 году). Он был опубликован тиражом 192 экземпляра, из которых сохранившимися до настоящего времени считалось восемь [Bibliografija 1969: 484; Kiparsky 1970], петербургский экземпляр оказывается девятым (шифр в Российской национальной библиотеке: Рш- $\frac{q}{73}$ )<sup>1</sup>.

Петербургский экземпляр Катехизиса описывается С. Балтрамай-тисом [Балтрамайтис 1904: № 3; ср. Балтрамайтис 1892: № 2a]: «**3. Catechismus** in preußnischer sprach, gecorrigiret und dagegen das deüdsche. 1545. 4°. 15 стр. нумер. Gedruckt zu Königsberg inn Preussen durch Hans Weinreich. M.D.Xlv.»

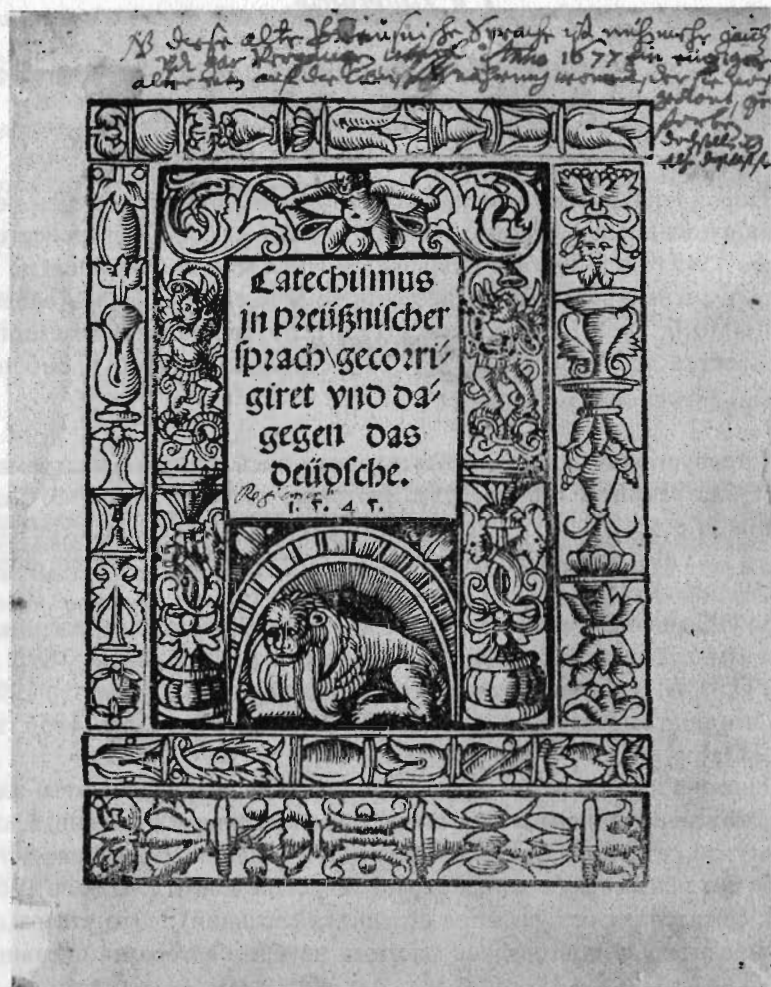
По указанию С. Балтрамайтиса, Катехизис хранился в отделе инкунабул Императорской публичной библиотеки [Балтрамайтис 1892: 3; 1904: 1]; Э. А. Вольтер отмечает, что он был в витринах [Вольтер 1903: 192], что подтверждается записью в каталоге витрин [Bibles 1856: запись 113a].

Однако в классическом издании памятников древнепрусского языка В. Мажюлис, описывая известные ему экземпляры этой книги, отмечает, что петербургского экземпляра в Публичной библиотеке нет и судьба его неизвестна с конца первой мировой войны [Mažiulis 1966: 36] (к сожалению, без указания источника сведений)<sup>2</sup>. Это утверждение впоследствии повторялось многими другими авторами, писавши-

\* Поиски Катехизиса оказались успешными благодаря главному хранителю фонда России Российской национальной библиотеки Ии Гавриловны Яковлевой, с удивительной компетентностью и неизменной заинтересованностью приходящей на помощь увлеченным читателям.

<sup>1</sup> Шифр читается следующим образом: Р — Отдел редкой книги, ш — шестнадцатый век, q — размер «малая кварта», 73 — порядковый номер по инвентарной книге изданий XVI в. Отдела редкой книги.

<sup>2</sup> В. Н. Топоров сообщил мне (письмо 10 мая 2004 года), что летом 1954 года по его просьбе сотрудники Публичной библиотеки искали экземпляр II Катехизиса, но не нашли и высказали предположение, что при возвращении книг по Рижскому договору 1921 года (см. [Моричева 2001]) он был передан Польше. В. Н. Топоров рассказывал В. Мажюлису о своих неудачных поисках.



Титульная страница петербургского экземпляра II прусского Катехизиса  
(размер оригинала 15,3 × 19,4 см)

ми о прусском языке, например [Kiparsky 1968: 107; Kabelka 1982: 50], ср. также [Bibliografija 1969: 484], где не упоминается петербургский экземпляр.

Считается, что в Императорскую публичную библиотеку Катехизис попал из библиотеки Залуских — см. [Sitzungsberichte 1896: 90] со ссылкой на сообщение А. А. Куника, — однако в каталоге библиотеки Залуских, составленном Я. Д. Яноцким [Janocki 1747–1753], он не от-

мечен, и при поиске книг из библиотеки Залуских для возвращения их Польше в 20–30-е гг. прошлого века к нему, кажется, не было проявлено интереса.

Старейшим шифром Катехизиса является шифр 17 зала, указанный на обороте обложки: 17.XV.6.39 (к сожалению, старая опись 15-го шкафа не сохранилась). Отсюда Р. И. Минцлов переместил Катехизис в собрание инкунабулов; в каталоге экспозиции библий в VII зале [Bibles 1856] Катехизис указан в дополнении к разделу литовских библий, состоящему из одной позиции, под номером 113а (этот номер сохранился и на обороте обложки Катехизиса). В этом же каталоге имеется акт от 17 апреля 1941 г. о передаче из I-го Филиала Государственной публичной библиотеки в подотдел инкунабул книг из состава бывшей коллекции «Собрания библий» (так называемые «витринные экземпляры»). Согласно пояснению на форзаце каталога, книги, полученные из первого отделения, обведены синими кружками. Таким кружком обведен и Катехизис (рядом написаны цифры 15.3 — фрагмент шифра?), что свидетельствует о том, что Катехизис некоторое время находился вне собрания инкунабулов (может быть, это помешало сотрудникам библиотеки в 1954 году проследить его судьбу по просьбе В. Н. Топорова). В акте указывается также, что передача книг производилась согласно резолюции заместителя директора библиотеки Б. Р. Зельцле от 5 апреля 1941 г. и что собранию библий соответствует паспорт фонда за № 135, составленный 25 ноября 1940 г.

Новый (современный) шифр и инвентарный номер м-2054 был присвоен Катехизису 31 октября 1963 года, судя по отметке в том же каталоге экспозиции библий и записи в «Инвентаре „Рм“ № 2» Отдела редкой книги, л. 86 об. – 87 (ср. также запись в «Инвентаре „Рш“ № 1», л. 5 об. – 6, сделанную 26 февраля 1968 г.).

Для баллистики петербургский экземпляр особенно важен благодаря анонимному свидетельству о смерти в 1677 году последнего носителя древнепрусского языка, написанному на титульном листе около 1700 года (по указанию А. А. Куника) [Trautmann 1910: VIII]: «Diese alte Preusnische Sprache ist nuhmehr gantz und gar vergangen worden. Anno 1677 ein einziger alter Mann auf der Curischen Nürung wonend, der sie noch gekont, gestorben, doch sollen noch solche daselbst sein» (факсимиле опубликовано в [Andronovas 2003]).

Упомянутое Р. Траутманном сообщение А. А. Куника, вероятно, было принято к печати в Известиях АН: при характеристике истории прусского языка и описании сохранившихся экземпляров Катехизиса Р. Траутманн ссылается на публикацию в Известиях Санкт-Петербургской Императорской АН: Bulletin de l'Academie Impériale des Sciences

de St.-Petersbourg. Nouvelle Série IV, 36 (1895), с. 505 [Trautmann 1910: VIII, XXVII]. Однако такого выпуска не существует. По данным Каталога изданий Императорской Академии наук [Каталог АН 1912: 24], было опубликовано только два первых номера этого IV (XXXVI) тома IV (новой) серии (№ 1, с. 1–161, декабрь 1893 г.; № 2, с. 163–338, март 1894 г.), номера же 3-й и 4-й должны были «появиться в скором времени» («№ 3 et 4 vont paraître sous peu»)³. А. С. Лаппо-Данилевский [1900: <3>], исследовавший научное наследие А. А. Куника, упоминает его работу «Düna und Neva...», набранную в гранках XXXVI тома Бюллетеня (Известий) АН (на с. 509 и сл.): «(8) *Düna und Neva: Beiträge zur historischen Ethnographie Russlands und zur russisch-byzantinischen Chronologie* в Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences, XXXVI, pp. 509 — suiv. (со включением небольшой статьи Dr. J. Hurt'a. Zur estnischen Phontek). — В 1893–1894 годах А. А. Куник представил в Отделение несколько статей, вслед затем напечатанных в Бюллетене под вышеприведённым заглавием (Прот. (околы заседаний Историко-Филологического отделения Императорской Академии наук) 1893 г., № 80 (19 мая), 1894 г., № 96 (17 августа) и др.). Текст сочинения, по-видимому, в гранках весь набран; примечаний не достаёт, хотя на них имеются ссылки». Вариант гранок этой статьи без номеров страниц хранится в Санкт-Петербургском филиале архива РАН (разряд VI, опись 5, № 8), однако найти гранки предшествующих страниц не удалось. Таким образом, конкретное содержание сообщения А. А. Куника о Катехизисе остается пока неизвестным.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Балтрамайтис 1892 — С. И. Балтрамайтис. Список литовских и древне-прусских книг, изданиях с 1553 по 1891 год. СПб., 1892.
- Балтрамайтис 1904 — С. Балтрамайтис. Список литовских и древне-прусских книг, изданиях с 1553 по 1903 год. СПб., 1904.
- Вольтер 1903 — Э. А. Вольтер. Литовская печать в XVI в. // Печатное искусство. СПб., 1903, март.
- Каталог АН 1912 — Каталог изданий Императорской Академии наук. Ч. I. Периодические издания, сборники, отчеты и серии. На русском и иностранных языках. С 1726 года по 1-е июня 1912 года / Сост. И. А. Кубасов. СПб., 1912.
- Лаппо-Данилевский 1900 — А. С. Лаппо-Данилевский. Записка о трудах А. А. Куника и о состоявших под его наблюдением изданиях, начатых печатанием в

³ Ср. нумерацию частей III (XXXV) тома Известий АН:  
 № 1, с. 1–166, сентябрь 1892;  
 № 2, с. 167–352, октябрь 1892;  
 № 3, с. 353–505, март 1893;  
 № 4 и последний, с. 507–614, август 1894.

- Академической типографии // Приложение к протоколам Историко-филологич. отд. АН. 1900. № 3 (6).
- Моричева 2001 — М. Д. Моричева. Библиотека Залуских и Российская национальная библиотека. СПб., 2001.
- Andronovas 2003 — А. Andronovas. Dėl prūsų II katekizmo Peterburgo egzempliaus // Baltistica. XXXVII (2). 2002. Vilnius, 2003.
- Bibles 1856 — Catalogue des collections spéciales de la Bibliothèque Imp. Publiq. 3<sup>e</sup> partie contenant la description détaillée de l'exposition de Bibles... / Ch.-R. Minzloff. 1856 (хранится в служебном фонде Отдела редких книг Российской национальной библиотеки).
- Bibliografija 1969 — Lietuvos TSR bibliografija Serija. A: Knygos lietuvių kalba. T. 1. 1547–1861. Vilnius, 1969.
- Janocki 1747–1753 — J. D. Janocki. Nachricht von denen in der Hochgräflich Zaluskschen Bibliothek sich befindenden raren polnischen Büchern. Dresden; Breslau, 1747–1753 (Тл. 1–3/5).
- Kabelka 1982 — J. Kabelka. Baltų filologijos įvadas. Vilnius, 1982.
- Kiparsky 1968 — V. Kiparsky. Das Schicksal eines altpreußischen Katechismus // Baltistica. IV (1). 1968.
- Kiparsky 1970 — V. Kiparsky. Das Schicksal eines altpreußischen Katechismus. II // Baltistica. VI (2). 1970.
- Mažiulis 1966 — V. Mažiulis. Prūsų kalbos paminkai. Vilnius, 1966.
- Sitzungsberichte 1896 — Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia. 20. Heft / Hrg. von Dr. Adalbert Bezzenberger. Königsberg, 1896.
- Trautmann 1910 — R. Trautmann. Die Altpreussischen Sprachdenkmäler. Göttingen, 1910.



P. U. DINI

## Zur vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen Fassungen von Luthers «Kleinem Katechismus»: Dt. «leyder» und seine Entsprechungen\*

### 0. Vorbemerkungen

Im frühen baltischen Schrifttum hat kein anderer Text eine so große Bedeutung und Verbreitung erfahren wie der «Kleine Katechismus» von Martin Luther (vgl. [Eckert 1987]). In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts stellt dieses Werk im baltischen Sprachraum einen einzigartigen Fall von «Paralleltext» dar.

Wie bereits an anderer Stelle (vgl. [Verf. 2007]) ausgeführt worden ist, gehe ich davon aus, daß ein kontrastiver Vergleich der frühesten baltischen Fassungen des «Kleinen Katechismus» von Nutzen ist, um sowohl philologische als auch sprachliche Einzelfragen der Zielsprachen erklären zu können.

Die Nützlichkeit einer vergleichend-kontrastiven Untersuchung aller drei baltischen Textüberlieferungen in bezug auf die entsprechenden Grundlagen und auch untereinander wurde bereits von Adalbert Bezzenberger am Ende des 19. Jahrhunderts betont: «Um den wert der [altpreußischen] übersetzung wirklich objektiv zu würdigen, muss man übrigens die ältesten litauischen und lettischen texte mit ihr vergleichen» [Bezzenberger 1897: 293].

Im Fall von dt. «leyder» läßt sich bei einem solchen Vergleich in mindestens zwei der baltischen Katechismen eine sehr ähnliche Wendung mit gemeinsamer Semasiologie und Herkunft beobachten wie auch eine besondere Art des deutschen Einflusses eruieren.

### 1. Texte

In der deutschen Vorlage des «Kleinen Katechismus» von Martin Luther tritt das Adverb «leyder» einmal auf, und zwar in dem Teil über die *Beichte*. Die Entsprechung zwischen dem deutschen Text und der baltischen Fassungen sieht wie folgt aus:

Dt. <i>Wie man die einfel=tigen soll leren Beichten</i>		
Altpreußisch Will-Megott (1561)	Altlitauisch Vilentas (1579)	Altlettisch Rivius (1586)
<i>Käigi Stans Längißeilingins    turri mukint Grikaut</i>	<i>Kaipo prašti įzmones tur buti mo=   kiti ghriekautieši</i>	<i>Folget eine kurzge Formā zu   beichten für die Ein- feltigen aus   dem Cate- chijmo M. Lutheri D.</i>

In dem vorliegenden Beitrag werde ich mich auf die Entsprechungen des deutschen «leyder» und seiner Wiedergaben in den baltischen Fassungen des «Kleinen Katechismus» konzentrieren.

Zunächst der Fall von apreuß. hapax «Deiwa engraudis», das in diesem Zusammenhang auftaucht: «As gurins Grikenix/ pojinna mien pirfdau Dei | wan/ wiřfans grikans škellants en šchlaitiškai po= | jinna as pirfdau Joūmas/ kai as ains Waix/ Mer= | gu/ etc. afmai/ Adder/ Deiwa engraudis as schlūfi= | ni iřarwi maiāřmu Rikijan/ Beggi šchan bhe řtwen | afmu as ni řeggjuns/ ka řtai mennei laipinnons/ ...» (Vgl. [Mažiulis 1966: 179] = [Mažiulis 1981: 151]).

Die Entsprechung in dem deutschen Begleittext lautet wie folgt: «Jch armer Sünder/ bekenne mich für Gott al= | ler řünden řchuldig/ Jnřonderheyt bekenne ich für | euch/ Das ich ein Knecht/ Magdt/ etc. bin/ Aber | ich diene leyder vntrewlich meinem Herrn. Denn da | vnd da/ hab ich nicht gethan/ was řie mich hieřfen/ | ...» (Vgl. [Mažiulis 1966: 178] = [Mažiulis 1981: 151]).

Außer dem deutschen Begleittext sind auch folgende — deutsche oder lateinische — Fassungen des «Kleinen Katechismus» als mögliche Quelle für Will-Megott zu betrachten (vgl. [Knoke Karl 1904: 94]):

Texte <sup>1</sup> :	Zitate:
Luther, Magdeburg (Niederdeutsch)	<i>In řunderheit bekenne ick vor juw dat ick ein Knecht maget etc. bin / Ouer řt ick dene leider vntruwlick mynem heren /...</i>
Luther, Magdeburg (Lateinisch)	<i>praecipue autem coram uobis confiteor, me esse discipulum, seruum, ancillam, Sed Ø minus deligenter meum officium facere, Neque enim ubique...</i>
Luther, Leipzig 1543 (Hochdeutsch)	<i>In řonderheit    bekenne ich für euch / Das ich    ein Knecht / Magd etc. bin /    Aber ich diene leider vntrew=    kich meinem Herrn.</i>

\* Für die Revision des deutschen Textes bin ich Herrn Prof. Dr. Werner Lehfeldt (Göttingen) und Frau Dr. Grasilda Blažienė (Vilnius) dankbar.

<sup>1</sup> Über die Ausgabe vgl. [Knoke Karl 1904: 23 ff. und 49 ff.].

Schon von Trautmann [1909: 230] wurde festgestellt, daß der deutsche Begleittext das *Enchiridion* von Luther 1543 (und nicht das von Luther 1542 wie [Bechtel 1881] meinte) mit einem starken Einfluß der Nürnberger Kinderpredigten zur Grundlage hatte.

## 2. Топоров 1979 als Ausgangspunkt

Die Erforscher der altpreußischen Sprache haben schon am Anfang des vorigen Jahrhunderts versucht, die Wendung *Deiwa engraudis* zu erklären.

Bezenberger konstatierte eine Ähnlichkeit mit der litauischen Konstruktion *žėlėk dieve!* (Imperativ aus *žėlėk* 'erbarmen' und Vokativ aus *dievas* 'Gott'). Eine Verbindung mit dem Deutschen wurde erstmals von Endzelins vermutet (jedoch mit dem Ausdruck *Gott, erbarme dich!*). Erst seit Toporov wird die deutsche Parallele in einer adäquateren Form angeführt, und zwar als *Gott, erbarme!* Späteren Pruthenisten (Mažiulis, Schmalstieg, Smoczyński) haben sich mit Toporov geeinigt, dessen Erklärung deshalb als Ausgangspunkt meiner folgenden Erwägungen gelten soll.

Autoren:	Zitate:
Nesselmann 1873. Berneker 1896.	∅ ∅
Bezenberger 1907: 113, Fußn. 3.	<i>deiwa engraudis</i> als Übersetzung von «leider», wie <i>žėlėk dėwė</i> [sic].
Trautmann 1910: 328.	<i>engraudis</i> 2. Sg. Imper. 45,11 'erbarme dich' in <i>deiwa engr.</i> 'leider'...
Endzelins 1943: 168.	<i>deiwa, engraudis</i> 45,11 «leider» (isti: Gott, erbarme dich!)
Toporov 1979, II: 42.	<i>Deiwa engraudis</i> соответствует обычному в таких случаях нем. <i>Gott erbarm!</i>
Schmalstieg 1974: 154, 203.	2nd sg. imp. /en-graudis/ engraudis 'have mercy'.
Mažiulis 1988: 265–266.	...pasakyme <i>deiwa engraudis</i> «leyder (leider) — deja» III 67,21 [45,11], iš tikrujų reiškiančiam «dieve, pagailėk, Gott erbarm».
Smoczyński 2000: 158.	<i>Deiwa engraudis</i> «leyder» ['Gott, erbarme!']

Nach Meinung von Vladimir N. Toporov handelt es sich in diesem Fall um ein «любопытный пример обогащения (с лексической точки зрения) при переводе» [Топоров 1979, II: 42–43]. Und tatsächlich kann der Fall

любопытный (d.h. interessant, eigenartig) sein. Aber warum? Weil das Adverb *leyder* im Altpreußischen durch eine aus zwei Wörtern *Deiwa engraudis* (Vokativ<sup>2</sup> und Imperativ) bestehende Wendung wiedergegeben wird. Ich möchte der Frage nachgehen, ob diese Wendung im baltischen Sprachraum wirklich so eigenartig (любопытный) gewesen ist.

## 3. Paralleltexte und Übersetzungsverfahren

Das apreuß. *hapax* 'Deiwa engraudis' stellt sich im baltischen Sprachraum als viel weniger ungewöhnlich und isoliert dar, wenn man auch die entsprechenden Passagen in den Paralleltexten (d.h. in den anderen baltischen Fassungen von Luthers «Kleinem Katechismus») in den Vergleich miteinbezieht.

Die altlitauische Fassung von Willent weicht an dieser Stelle ab und hilft daher bei der Analyse nicht weiter. Tatsächlich weist der Passus bei Willent keine richtige Entsprechung auf; vgl.: «Ešch biednas ghriefchnas Bmogus paffji= l Biftu poakimis Diewa/ iog wiffjokiū ghrieku kal= l tas efmi. A ipaczei paffjiBiftu poakimis tawá / l iog tarnu alba tarneite etc. efmi / bet newiernai l Blußiju Ponui mana /...»<sup>3</sup> (vgl. [Ford 1969: 216] [30, Facsimile]).

Anders ist die Lage in der altlettischen (der sogenannten von Rivius) Übersetzung, weil dort das deutsche Adverb *leyder* wie auch im Altpreußischen wiedergegeben ist, vgl.: «Es Nabbax Greetczenex adBiftos man pre= l xan Dewe wueffes Greekes parradan / Sza= l wifte adBifto es prexan thōw / ka es Kalps ieb l Kalpune etc. efme / Beth es kalpo / dewš Bēe= l lo nee petitczięe mannam kungam /...» (vgl. [Inoue 2002: 65]).

Die drei baltischen Paralleltexte können folgenderweise schematisch dargestellt werden:

Dt. III: 44, 10	<i>Aber ich diene leyder untrewlich meinem Herrn</i>
Apreuß. Will: 45, 11	<i>Adder Deiwa engraudis as [schlu]ini i[sarwi maiā]mu Rikijan</i>
Alit. Willent: D vj. 9–10	<i>bet newiernai ∅ Blußiju Ponui mana.</i>
Alett. Rivius I: 25, 15–16	<i>Beth es kalpo dewš Bēelo nee petitczięe mannam kungam</i>

<sup>2</sup> Im Altpreußischen ist von insgesamt acht Belege *Deiwa* zweimal belegt genauso wie *deiwe*, ansonst ist der Vokativ durch den Nominativ *dewš* viermal ausgedrückt.

<sup>3</sup> Ein unterschiedlicher Text ist in dem *Paspalitus budas Spawedies* belegt, S. 257 [71, Facsimile]: «ASch vbagas / pawargi]is Bmogus / paffjiBiftu / iog afch efmi biednas didis ghriefchnikas / nęša afch netiektai mana mielaghy Diewa tulimais ghriekais jnartines efmi / bet taipaeig ghriekūfu paffjideigš ir vBgimes».

Bei einer vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen Fassungen von Luthers «Kleinem Katechismus» darf man einen wichtigen textinternen bedingten Aspekt nie außer acht lassen: Die Fassungen des «Kleinen Katechismus» sind das Ergebnis eines Übersetzungsverfahrens. Diese einfache und fast banale Feststellung birgt aber viele Implikationen. Man hat z. B. viel darüber überlegt, ob die Wort-für-Wort-Übertragung die von allen Verfassern bevorzugte Übersetzungstechnik gewesen ist (vgl. [Verf. 2007]). Wie immer es sich auch verhalten mag, man steht im vorliegenden Fall vor einer beträchtlichen Abweichung von diesem Hauptverfahren, weil das Adverb des deutschen Begleittextes entweder weggelassen (wie im Altlitauischen) oder durch eine zweigliedrige Wendung (wie im Altpreußischen und im Altlettischen) übersetzt worden ist.

#### 4. Eine deutsche Formel als Muster

Die aufgrund der Entsprechungen in den baltischen Fassungen von Luthers «Kleinem Katechismus» oben dargestellte Lage hilft uns, den Status von dt. *leyder* endlich besser zu begreifen. Die Einbeziehung in die Analyse der altlettischen Daten bestätigt die Annahme, daß die deutsche Formel: *Gott, erbarme!* (und/oder ihre Varianten) das Muster für die Übersetzer gewesen ist. Dadurch stellt man auch fest, daß dasselbe Muster dem Übersetzer ins Altpreußische und ins Altlettische geholfen hat<sup>4</sup>. Sowohl in der altpreußischen als auch in der altlettischen Übersetzung dürfte nicht das einfache Adverb, sondern müßte eine Formel aus zwei Elementen als Muster dienen. (Anders ist die Lage in der altlitauischen Überlieferung, aber darüber a.a.O.)

Aufgrund der angeführten Erwägungen kann man auf diesem Weg eine schon seit langem und besonders von V. N. Toporov hervorgehobene Hypothese nun endlich begründen.

In der deutschen Überlieferung findet man oft formelhafte und erstarrte Zeugnisse eines parenthetischen Gebrauches des erörterten Ausdruckes innerhalb eines Satzganzen in der klagenden oder bedauernden Wendung. Die Formel taucht in der «analytischen» Form älter als *Gott erbarm!* (vgl. [GrWb 8: 1101]) jünger als [*Dasz*] *Gott, erbarme [es]!* (vgl. [GrWb 3: 702; 8: 1101])<sup>5</sup> und vereinzelt auch in der «synthetischen» Form *Gotterbarm* (vgl. [GrWb 8: 1152]) auf.

<sup>4</sup> Nun, es fehlen in der deutschen Überlieferung nicht Beispiele, in denen das Adverb nebeneinander mit einer solchen Formel vorhanden ist, wie z. B. bei *Der bilger mit seinen eygenschaften auch figuren* (1494) von Joh. Geiler Keisersberg (1445–1510): «aber nun leider gont alle ding ab miteinander, got erbarm!».

<sup>5</sup> Ein Beispiel von Luther, 1539, br. 8, 494 W: «nachdem (got erbarm) ein jung khindt jm flissenden wasser todt gefundenn ... habe ich nach dem burgermaister geschickt».

Von seiner Herkunft her (vgl. [Kluge 1995: 227; Duden 1963: 140]) stammt das Verb *erbarmen* (ahd. *irbarmēn* neben ahd. *armēn*, asächs. *armon*)<sup>6</sup> bekanntlich aus der gotischen Kirchensprache; vgl. got. [*ga*] *arman* 'sich erbarmen', das eine Lehnübersetzung von lat. *miserēri* (vgl. lat. *miser* 'arm, elend') darstellt. Da dieses Muster auf der entsprechenden lateinischen Formel *Miserere Domine!* (eventuell auf der griechischen *Kyrie eleison!*)<sup>7</sup> beruht, könnte man auch für die baltischen Fassungen einen direkten Einfluß aus dem liturgischen formularen Stil auf die Sprache der Übersetzer annehmen.

#### 5. Die altlettische Überlieferung

Es wäre pure Spekulation, sagen zu wollen, welche Entwicklung wohl die altpreußische Wendung *Deiwa engraudis* erleben haben kann. Man sieht aber, daß im Lettischen (anders als im Litauischen) eine gleichbedeutende Konstruktion noch bis heute nachvollziehbar ist.

Aus den angegebenen Daten wird klar, daß der Übersetzer ins Lettische eine ähnliche Wendung wie die altpreußische bevorzugt hat. Tatsächlich besteht 'dews beelo' aus *dievs* (Vokativ) 'Gott' und der 3 Person von *žēlot* 'erbarmen' (wobei das zweite Glied ein denominales Verb aus *жель* [heute *жалъ*] ist, einem alten Lehnwort aus dem Altrussischen.).

Man merkt, daß in den Katechismen sowohl die lettische als auch die altpreußische Wendung eine Phase widerspiegeln, als diese zwei Wörter noch nicht aufgelöst und verschmolzen waren, sondern noch getrennt existierten.

Die altlettische Formel ist im Laufe der Zeit einem Grammatikalisierungs-, noch präziser einem Univerbierungsprozess unterworfen gewesen, und zwar in Richtung eines Adverbs; vgl. das heutige *diemžēl* gerade mit der Bedeutung «leider».

##### 5.1. Über die Entstehung von lett. *diemžēl*

Nach der üblichen Erklärung (vgl. [LVEV s.v.; ME s.v. I: 481]) ist das heutige lett. *diemžēl* als Ergebnis des folgenden Univerbierungsprozesses zu

<sup>6</sup> Die dt. Formen mit anlautenden *b-* beruhen auf eine Präfigierung mit *ab-* 'weg' (vgl. aengl. *ofearmian* 'sich erbarmen'). Durch Verschiebung der Silbergrenze fiel *a* ab (das Simplex *barmen* ist auch erhalten) und trat *er-* als neue Vorsilbe an (vgl. [Kluge 1995; Duden 1963] *op. cit.*).

<sup>7</sup> Tatsächlich, reichen die ältesten Zeuge einer liturgischen Benutzung dieser Formel zum IV. Jahrhundert in der Kirche von Jerusalem und zum V. Jahrhundert als *Litanei* in dem Gottesdienst der römischen Kirche zurück. Später wurde das *Kyrie eleison* nach dem Ritus Tridentinum während der Beichte ausgesprochen und nach dem Ambrosianer Ritus dreimal am Ende des Gottesdienstes und vor der Erteilung des endlichen Segens wiederholt.

betrachten: lett. *diemžēl* ← *dievam* (Dat., vgl. *dievs* ‘Gott’) + *žēl(o)* ‘erbarme’ (vgl. altruss. жель). Die o.g. etymologischen Wörterbücher beruhen auf dem Zeugnis von Georg Mancelis und zeigen als Quelle die lettische Wendung *dievam žēlo*, d.h. mit Dativ. Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß man bei Rivius aber nur den Typ mit dem Vokativ (*dews žēlo*) findet, der in dem altlettischen Schriftum der älteste Beleg zu sein scheint.

Zieht man in Betrachtung auch die altlettischen Werke von Mancelis ein, dann findet man folgende Passagen; vgl. Catechismus 1631, 491: «(Kallpone) āšmu / bett / *Deews [schāhlo]* / es Kallpoyu [a= | wam Kungam nhepeetizige / ...]»<sup>8</sup>.

In demselben Buch von Mancelis ist aber auch eine Variante zu finden; vgl. Lettische Geistliche Lieder 1631, 365: «Pilla blehdibas / *Deewam [schāhl]* / gir [chi Semme / Teems Ghrākeems wi[kim pa]adāwuffees: ...»<sup>9</sup>.

So findet man im altlettischen Schriftum des 16. und des 17. Jahrhunderts zweierlei Varianten desselben Ausdrucks, und zwar ‘Vokativ und Imperativ’ und ‘Dativ und Imperativ’. Chronologisch dargestellt, sieht die Lage so aus:

Texte:	Zitate:
Rivius (1586)	<i>dews beelo</i> [S. 25] ≈ ∅
Mancelis (1615=1631)	<i>Deews [schāhlo]</i> [S. 491] ≈ <i>Deewam [schāhl]</i> [S. 365]

Wie läßt sich nun das *m* in dem heutigen *diemžēl* erklären? Bei der Suche nach einer Erklärung muß man wahrscheinlich der Hypothese einer Kontamination zwischen den schon im Altlettischen konkurrierenden Formen *dievs* ≈ *dievam žēl(o)* den Vorzug geben<sup>10</sup>. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle auch einen anderen Erklärungsversuch unternehmen.

Tatsächlich ermöglichen die angeführten Daten eine weitere Überlegung, deren *pars destruens* aber ohne wirkliche *pars construens* bleibt. (Leider!)

a) Die allgemein akzeptierte Herkunft von lett. *diemžēl* ist schon wegen der im Lettischen sehr seltenen Lautfolge *-mž-*<sup>11</sup> wohl nicht unanfechtbar.

<sup>8</sup> Wörtlich übersetzt: «... (Dienerin) bin, aber, Gott erbarme, ich diene meinem Herrn untreulich».

<sup>9</sup> Wörtlich übersetzt: «... Volle Betrugerei, Gott erbarme, ist diese Erde, den Sünden gänzlich erliegen».

<sup>10</sup> Ich bedanke mich bei Herrn Bonifacas Stundžia mit wem diese Frage diskutiert habe.

<sup>11</sup> Es lohnt sich an dieser Stelle hervorzuheben, daß im Lettischen die Lautfolge *mž* [mʒ] sehr selten belegt ist. Aufgrund der Daten von LVIV und LVV nur das Wort der Umgangssprache *gremža* «ein Nager» zeigt diese Lautfolge in allen Fällen der Deklination (vgl. ME I, 649 mit Ableitungen: *gremžāt*, *gremži*, *gremžīgs* u.a.). Bei wenigen anderen

Eine solche Erklärung impliziert die Kürzung und den Schwund des Segmentes *-va-* (vgl. *die*[va]mžēl), aber zugleich auch die ungewöhnliche Erhaltung des einzigen auslautenden *m* der dativischen Endung (*-am*).

b) Außerdem möchte ich hervorheben, daß ähnliche Bildungen im Lettischen wie z.B. *diez*, *diezins* < *dievs zin* ‘Gott weiss’, *diezcik* < *dievs zin cik* ‘Gott weiss wie’ oder *diezgan* < *dievs gan* (und auch *dievszingan*) nie eine Form des Dativs (wie *dievam*) voraussetzen. Auch im Litauischen hat man aus z. B. *dievas* [Nom. sg.] *žino* ‘Gott weiss’ entweder *diežin* (mit völligem Verschwinden der Termination von *die*[v-as]) oder *dievažin* (als Ergebnis der Assimilierung von auslautendem *s* und anlautendem *ž*).

c) Außerdem scheint *v* vor *m* nicht nur im Lettischen, sondern auch im Litauischen (vgl. *diemedis* < *dievmedis* ‘Artemisia’) besonders instabil zu sein.

Es ergibt sich die Frage, ob eine rein phonetische Entwicklung (lett. *diemžēl* < \**dieužēl* [diev·ʒæ:l] < \**diev(s)žēl* ← *dievs* Vok., vgl. *dievs* ‘Gott’ + *žēl(o)* ‘erbarme’) und der damit verknüpfte Wechsel [w (~ v) > β > m] als plausibel angesehen werden dürfen.

Solange Parallelfälle nicht belegt werden können, muß diese Mutmaßung von mir als (noch) zu schwach (bzw. zu kühn) aussehen<sup>12</sup> und als unbegründet betrachtet werden. Dennoch möchte ich an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, daß von Ohala und Lorentz [1977] schon vor längerer Zeit eine Entwicklungstendenz beobachtet worden ist, wonach Labiovelarlate in Labiallaute (eher als in Velarlate) übergehen.

## 6. Die altlitauische Überlieferung

An dieser Stelle soll nun das altlitauische protestantische Schriftum betrachtet werden<sup>13</sup>. Hierbei stellt man fest, daß in den Fassungen des «Kleinen Katechismus» von Martin Luther eine Entsprechung zu deutsch

Worten *mž* taucht als Wandlung von *mz* [mʒ] in einigen Fällen auf so wie bei *bremze* ‘Bremse’ (im Gen. pl.), *vamžis* ‘Kamisol’ (Gen. sg. und alle Fälle des Pl.); eventuell kann man auch die mundartlichen Parallelförmern: *vamžīgs* ≈ *vamžīgs*, *vamžēt* ≈ *vamžot* erwähnen. Für diese Daten ist der Verfasser Frau Dr. Sarma Kļaviņa (Univ. Rīga) sehr dankbar.

<sup>12</sup> Übrigens ist im Auslaut der Wandel *v* > *u* [ > ∅] sowohl im Lettischen (vgl. *iev* ‘Du’ Dat. Sg.; *nav* ‘ist nicht’ III P. Prasens, usw.) als auch im Litauischen (*sudie* < *sudiev* ‘lebe wohl’, *padēkdie* ~ *diepadēk* < *padēkdie*[ve] ~ *die*[ve]padēk ‘Danke Gott’) gut bekannt. Darüber vgl. [Endzelīns 1922: 151–152; Mathiassen 1996: 35].

<sup>13</sup> Zur Erläuterung dieser Frage helfen die deutsch-litauischen Wörterbücher des 17. Jahrhunderts kaum. Das handschriftliche Lexicon Lithuanicum enthält *Leider* weder als Adverb noch als Substantiv. Die Clavis Germanico-Lithvana (II, 658) kennt *Leider* (mit der Entsprechung *šalla* v. *Unglück*) nur als Substantiv.

leyder erst sehr spät auftaucht. Die Lage kann folgendermaßen dargestellt werden<sup>14</sup>:

Texte:	Zitate:
[Mažvydas. Catechi]mvsa praftj zadei. 1547.	Ø
Vilentas. Enchiridion. 1579.	Ø (s.o.)
Petkevičius. Polski z litewskim Katechizm, 1598.	Ø
Zengštocas. Enchiridion. 1612.	Ø
Minvydas-Božimovskis. Katekizmas, 1653.	Ø
Catechismus minor. Germanico-Polonico-Lithuanico-Latinus, 1670.	Ø
Lysius. Mąžas Katgismas (ms), 1719.	leyder Gottes! Pagailėk Dieve!
Engelis. Mąžas katgismas, 1722.	Ø

Eine Entsprechung zu deutsch *leyder* findet man nur in einer späteren Überlieferung des «Kleinen Katechismus», und zwar in der handschriftlichen *Mąžas Katgismas* von Henrich Johann Lysius (1719). Es lohnt sich, festzustellen, daß die korrigierte und gedruckte Ausgabe desselben Werkes, herausgegeben von Gabriel Engelis (1722)<sup>15</sup>, den Ausdruck schon nicht mehr bezeugt. Der handschriftliche deutsche Begleittext von Lysius lautet folgendermaßen: «Die Beicht. | Ich armer elender Mensch bekenne vor Gott | und vor Euch, daß ich nicht allein in Sünden | empfangen und gebohren, sondern auch die H. | Zehen Geboten meines Gottes mannigfaltig | übertreten, damit ich, leyder Gottes! Zorn undt | Straffe zeitlichen und ewigen Todt wolverdie= | net habe...».

Die entsprechende Übersetzung ins Alllitauische lautet: «SPAWEDE. | Aß bėdnas griešnas žmogus pašižyftu po akim | Diewo ir tawęs, ne tiktay Griekūse prašidė= | jęs ir užgimmęs, bet ir dešimtis Diewo Pri= | jākimus wiffaip pėržengęs. Jrgi, Pagailėk | Dieve! tais Jo Papikį ir Korawonę, czė= | sišką ir amžiną Smertį wertay nupelnęs | ...»<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Für den Katechismus von Lysius (vgl. [Lysius Henrich Johann 1993a; 1993b]). Die Existenz eines Katechismus von Risinskis (1624) ist nur vermutet (vgl. LB s.v.). Der Katechismus von Minvydas-Božimovskis (1653) ist in der *Knyga Nobaznystes* enthalten (vgl. LB s.v.). Endlich ist auch ein *Mažas katgismas* (1741) von Rambachas (Rambak) bekannt (vgl. LB s.v.) aber ich konnte es nicht einsehen.

<sup>15</sup> Über die Beziehungen zwischen den zwei Katechismen vgl. [Verf. 2005].

<sup>16</sup> An dieser Stelle unterscheidet sich dagegen die gedruckte Fassung von G. Engelis (1722) stark, weil sie den parenthetischen Ausdruck völlig wegläßt.

An dieser Stelle unterscheiden sich die zwei Texte des lysiuschen «Kleinen Katechismus» von H. Lysius. Der deutsche Begleittext zeigt die Formel: *leider gottes!*, bayrisch *laider gott!* (im [GrWb 12: 674] durch *proh dolor!* glossiert). Bekanntlich ist diese Formel aus der Beteuerung [*Beim Leiden Gottes*] entstanden (so [Duden 1963: 397; Kluge 1995: 513]) und ist heute umgangssprachlich noch lebendig. In dem alllitauischen Text finden wir an dieser Stelle die Wendung *Pagailėk Dieve!*, die eher an die schon bekannte deutsche Formel *Gott erbarme!* erinnert. Durch diesen Vergleich wird nun auch in der alllitauischen Überlieferung des «Kleinen Katechismus» ein Ausdruck beobachtet, dessen Semasiologie den oben untersuchten alt-preußischen und alltlettischen Wendungen sehr ähnlich ist<sup>17</sup>.

## 7. Schlußfolgerung

Mit dem Obenstehenden ist hoffentlich das Wesentliche zu der Frage von *leyder* in der deutschen Fassung des «Kleinen Katechismus» und seinen baltischen Entsprechungen dargelegt:

Dt. *leyder* [eigentlich *Gott erbarme!*] ≈ {  
Apreuß. *Deiwa engraudis*  
Alett. *dews beelo*  
Alit. *Pagailėk Dieve!*

Durch die bis hierher ausgeführten Vergleiche und Gedanken habe ich versucht, eine tiefere Erklärungsschicht zu erreichen. Ich vermute, daß das ursprüngliche Muster für alle drei alten baltischen Übersetzungen eine und dieselbe deutsche Formel gewesen ist. Tatsächlich läßt sich nicht nur eine sehr ähnliche Wendung mit gemeinsamer Semasiologie in den baltischen Fassungen des «Kleinen Katechismus» beobachten, sondern auch eine besondere Art deutschen Einflusses auf alle drei Sprachen. Außerdem wurde hoffentlich auch auf die *ratio* des Übersetzungsverfahrens ein Lichtstrahl geworfen.

## KATECHISMEN:

Der kleine | Catechismus | D. MARTINI LUTHERI, | Seliger gedächtnis. | Von newen  
überjehen | durch | GEORGIVM MANCELIVM | Semgallum P. | ... Gedruckt in der  
Königlichen Häupt vnd Sec= | Statt Riga in Lieffland / durch vnd in Verle= | gung  
Gerhard Schröders. [1631].  
ENCHIRIDION | Der Kleine | Catechismus | Doctor Martin Lu=thers / | Teutfch vnd  
Preuffisch. | Gedruckt zu Konigsperg in Preuffen | durch Johann Daubman. | M. D.  
LXI.

<sup>17</sup> Eine gleichbedeutende Konstruktion ist bis heute noch getrennt geblieben ist und zwar mit einigen Varianten [LKŽ 20: 274]: *pažėlėk Diėve! žėlėk Diėve! žėlėkis Diėvai!* Dagegen ist der Ausdruck *deja* nicht alt bezeugt (erst ab Ruhig, LKŽ s.v.).



ENCHIRIDION | Der kleine Ca= | techismus: Oder Christ= | liche zucht für die gemeinen Pfar= | herr vnd Prediger auch Hausueter etc. | Durch D. Martin. Luther. | Nun aber aus dem Deud= | schen ins vndeutsche gebracht / vnd vonwort zu wort / wie es von D. | M. Luthero gefetzt / gefasf= | fet worden. | Gedruckt zu Königsperg bey George Ofjerbergern | Anno M.D. LXXXVI. ||

ENCHIRIDION | Catechifmas | mafzas / dæl paʃpalitu | Plebonu ir Koznadiju | Wokifchku liebuwiu para= | |schits per Daktara Mar= | tina Luthera. | O ijch Wokifchka liebuwia ant | Lietuwifchka pilnai ir wiernai pergul= | ditas / per Baltramieju Willentha | Plebona Karalauczuie ant | Scheindama. | Ijchspauftas Karalau= | czui per Iurgi Ofjerber= | gera / Metu Diewa M. D. LXXIX.

*Enchiridions. Martina Luthera Mazais Katkisms no vācu valodas tulkois. Ķensberga 1586. Rīgā, 1924. Faksimile/Ausgabe.*

Inoue 2002 — *T. Inoue. Латышский перевод лютеранского Малого Катехизиса 1586 года. Критическое издание текста и Глоссарий / Hrsg. Toshikadzu Inoue. Kobe Universität, 2002.*

#### ANDERE QUELLEN:

*Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodynas keturios dalys. I-IV. Vilnius, 1995.*

Knöke Karl 1904 — *D. Martin Luthers Kleiner Katechismus nach den ältesten Ausgaben in hochdeutscher, niederdeutscher und lateinischer Sprache herausgegeben und mit kritischen und sprachlichen Anmerkungen versehen. Halle a.S., 1904.*

*Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius, 1987.*

Lysius Henrich Johann 1993a — *Mažasis Katechizmas / Pagal Berlyno rankraštį parengė P. U. Dini. Vilnius, 1993.*

Lysius Henrich Johann 1993b — *Der Kleine Katechismus D. M. Lutheri Mážas Katgismas D. Mertino Lutteraus. Besorgt von D. Henrich Lysius Tillsitt 1719 / Hrsg. Baldur Panzer. München, 1993.*

Mancelis Georg 1631 — <http://www.aialab.lv/SENIE>. Lettische Geistliche Lieder. [1631.]

#### BIBLIOGRAPHISCHE HINWEISE:

Bechtel 1881 — *F. Bechtel. Zum Altpreußischen Enchiridion // Altpreußische Monatschrift. 18. 1881.*

Berneker 1896 — *E. Berneker. Die preussische Sprache. Texte, Grammatik, etymologisches Wörterbuch. Strassburg, 1896.*

Bezzenger 1897 — *A. Bezzenger. [Rez. zu] E. Berneker. Die preussische Sprache. Texte, Grammatik, etymologisches Wörterbuch. Strassburg, 1896 // Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. 1897.*

Bezzenger 1907 — *A. Bezzenger. Studien zur Sprache des preussischen Enchiridions // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 41. 1907.*

Duden 1963 — *K. Duden. Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache / Bearbeitet von G. Drosdowski, P. Grebe und weiteren Mitarbeitern der Dudenredaktion. Bibliographisches Institut, Mannheim; Wien; Zürich, 1963.*

Eckert 1987 — *R. Eckert. Martin Luther und das frühe baltische Schrifttum // Polata Knigopisnaja. 16. 1987.*

Endzelins 1922 — *J. Endzelins. Lettische Grammatik. Riga, 1922.*

Endzelins 1943 — *J. Endzelins. Senprūšu valoda. Riga, 1943.*

Ford 1969 — *G. Ford. The Old Lithuanian Catechism of Baltramiejus Vilentas (1579). A phonological, morphological and syntactical investigation. The Hague; Paris, 1969.*

GrWb — *Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm / Bearbeitet von T. Kochs, J. Bahr und anderen Mitarbeitern in den Arbeitsstellen des Deutschen Wörterbuches zu Berlin und Göttingen. Bd. 33. 1854–1954.*

Kluge 1995 — *F. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache / Bearbeitet von E. Seebold. Berlin, 1995.*

LB — *Lietuvos TSR Bibliografija. T. 1. 1547–1861. Vilnius, 1969.*

LKŽ — *Lietuvių kalbos žodynas. 20 Bd. Vilnius, 1941–2002.*

LVEV — *K. Karulis. Latviešu valodas etimoloģiskā vārdnīca. 2 Bd. Riga, 1992.*

LVIV — *E. Soida, S. Kļaviņa. Latviešu valodas inversā vārdnīca / Otrais, papildinātais un labotais izdevums. Rīga, 2000.*

LVV — *Latviešu valodas vārdnīca. Riga, 1987.*

Mathiassen 1996 — *T. Mathiassen. A short Grammar of Lithuanian. Columbus, 1996.*

Mažiulis 1966 — *V. Mažiulis. Prūsų kalbos paminklai I. Vilnius, 1966.*

Mažiulis 1981 — *V. Mažiulis. Prūsų kalbos paminklai. II. Vilnius, 1981.*

Mažiulis 1988 — *V. Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. Vilnius, 1988.*

ME — *K. Mülenbach, J. Endzelins. Latviešu valodas vārdnīca. 6 Bd. Riga, 1923–1932.*

Nesselmann 1873 — *G. F. Nesselmann. Thesaurus linguae Prussicae. Der preussische Vocabellvorrath, soweit derselbe bis jetzt ermittelt worden ist, nebst Zugabe einer Sammlung urkundlich beglaubigter Localnamen. Berlin, 1873.*

Ohala, Lorentz 1977 — *J. J. Ohala, J. Lorentz. The story of [w]: an exercise in the phonetic explanation of sound patterns // Proceedings of the third annual meeting of the Berkeley linguistics society. Berkeley, 1977.*

Schmalstieg 1974 — *W. R. Schmalstieg. An Old Prussian grammar. The phonology and morphology of the three catechisms. University Park; London, 1974.*

Smoczyński 2000 — *W. Smoczyński. Untersuchungen zum deutschen Lehngut im Altpreußischen. Kraków, 2000.*

Trautmann 1909 — *R. Trautmann. Die Quellen der drei altpreußischen Katechismen und des Enchiridions von Bartholomaeus Willent // Altpreußische Monatschrift. 46. 1909.*

Trautmann 1910 — *R. Trautmann. Die altpreußischen Sprachdenkmäler. Göttingen, 1910.*

Verf. 2005 — *Engelis als Herausgeber von Lysius. Ein Beitrag zur Ausgabe des litauischen Katechismus von 1722 // J. Gelumbeckaitė, J. Gippert. Das Baltikum im sprachgeschichtlichen Kontext der europäischen Reformation. Internationales Arbeitsgespräch. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 21.–23. Mai 2003.*

Verf. 2007 — *Allgemeine Ansätze zur vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen Fassungen des lutherschen «Kleinen Katechismus» // Baltistica. 42–1.*

Топоров 1979 — *В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. II. Е—Н. М., 1979.*

Р. ЭККЕРТ

## Что нам говорят имена собственные о жизни древних пруссов?\*

Светлой памяти незабываемого  
Владимира Николаевича Топорова

### I. Предварительные замечания

#### 1. Историко-лингвистическая ситуация

Известно, что древнепрусский, или язык пруссов, является языком, носители которого в XIII веке были побеждены Тевтонским Орденом после длительных военных действий, стали политически и экономически зависимыми, были угнетены и подавлены. Численность прусско-го населения значительно сократилась. Так как пруссы в своем общественном развитии еще не успели объединиться в устойчивые, сильные племенные союзы (как их соседи литовцы), они, несмотря на мужественное сопротивление (ср. многократные восстания пруссов), потеряли господство над своими территориями. Одновременно с этим их духовная культура (язык, обрядовость, религиозные представления, устное народное творчество) была обречена на уничтожение. Древнепрусский язык и его диалекты — существенное выражение идентичности и духовной культуры пруссов — подвергались притеснению, гонению, дискриминации и, наконец, запретам. Перевод важнейших христианских памятников письменности (катехизисов) в 1545 и 1561 годах был только кратковременным эпизодом и производился, как известно, по приказу герцога Альбрехта с целью быстрого распространения новой веры. В этом смысле и только в этом смысле можно утверждать, что благодаря реформации сохранились немногочисленные древнепрусские памятники письменности<sup>1</sup>. После 1561 года власти в Прусском

\* Настоящая статья представляет собой расширенный русский вариант доклада «Was besagt der Namenschatz über das Leben der alten Prußen?», прочитанного автором на семинаре по истории «Die Prußen» 7 октября 2006 г. в доме Ostheim, город Бад Пирмонт.

<sup>1</sup> Ср. наш доклад «Martin Luther und das frühe baltische Schrifttum», прочитанный на конференции «Early Protestantism in Eastern Europe» в 1984 г. в Джизус Колледже (Jesus College) в Кембриджском университете и опубликованный в журнале «Полата књиги-письна», № 16, Nijmegen, 1987. S. 6–25.

герцогстве уже не считали нужными переводы христианских текстов на древнепрусский язык. Эта ситуация имела роковые последствия для судьбы древнепрусского языка, который на пороге XVII–XVIII веков окончательно вымер. В силу всех этих обстоятельств язык пруссов отличается своеобразным набором характерных только для него черт.

#### 2. Древнепрусский как периферийный балтийский язык

Традиционному мнению о принадлежности древнепрусского к западнобалтийским, а литовского и латышского к восточнобалтийским языкам В. Мажюлис и В. Н. Топоров противопоставили более обоснованную гипотезу о периферийных балтийских языках или идиомах, к которым относятся древнепрусский, ятвяжский, галиндский (голядский) и древнекуршский, и о центральных балтийских языках (литовский, латышский, латгальский, земгальский и селонский, причем последний тяготеет по некоторым признакам к периферийной группе). Древнепрусский имеет особое значение как представитель периферийной группы балтийских языков, так как дошел до нас (помимо ономастического материала) и в виде немногих письменных памятников. Нужно, однако, считаться и с тем, что на большой территории с востока и юга от теперешних областей бытования балтов локализовались, исходя из наших сведений о древнем распространении гидронимии балтийского типа, еще и другие балтийские языки или диалекты, которые остались для нас неизвестными (ср. [Топоров 2006: 33 и сл.]).

#### 3. Древнепрусский как «малокорпусный» язык

По терминологии австрийского лингвиста Манфреда Майрхофера, языки можно разделить на *Großkorpus-Sprachen* и на *Kleinkorpus-Sprachen*. Последние отличаются тем, что обладают небольшим количеством текстов (часто даже небольшими по объему), что позволяет описать их исчерпывающим образом. К ним относятся, например, такие языки, как полабский, готский, этрусский и т. д.

В то же время языки с большим корпусом (*Großkorpus-Sprachen*) представлены огромным, необозримым количеством текстов, которые к тому же отличаются большим разнообразием. К ним нужно отнести, например, литовский, латышский, немецкий, русский, английский и т. д. На древнепрусском сохранились, как известно, только два словаря и три катехизиса, да еще несколько кратких текстовых фрагментов. В. Н. Топоров говорит во Введении к труду «Прусский язык» о «закры-

тости текста» в отношении древнепрусского языка, имея в виду законченный или почти законченный корпус этого языка.

#### 4. Древнепрусский как «язык слов»

Эта характеристика также принадлежит В. Н. Топорову, который называл древнепрусский «языком с гипертрофированным лексиконом». Он справедливо считал, что имеющиеся в нашем распоряжении источники древнепрусского языка ориентированы прежде всего на лексику, т. е. на слова. Он пишет в этой связи: «Слово, его значение (семантика) и за этими словами стоящие реалии образуют самое надежное звено в цепи наших знаний о древнепрусских словах и вещах» (см. [ПЯ 3: 3]).

Он совершенно прав в том, что фонетика и фонология только с большим трудом и с большими лакунами реконструируется из древнепрусского языкового наследия. Это в значительной степени относится и к грамматике. При этом нужно еще учесть, что в середине XVI века заметно ощущается процесс разложения грамматической системы древнепрусского языка, и лица, занимающиеся переводами на древнепрусский язык, видимо, довольно плохо знали язык.

#### 5. Древнепрусский как «язык имен»

Эта характеристика, правда, уже содержится в определении древнепрусского языка как «языка слов», но мне кажется не лишним указать на то, что область имен собственных (*nomina propria*) имеет первостепенное значение для изучения языка пруссов хотя бы по трем причинам. Во-первых, имена собственные могут заполнить лакуны в апеллятивной лексике очень фрагментарно унаследованного древнепрусского языка. Ср., например: древнепрусский топоним *Poparthen* 1450 [Gerullis 1922: 114–115; Blažienė 2000: 119–120] содержит название папоротника, которое в апеллятивном лексиконе древнепрусского языка не сохранилось, но по этим топонимическим данным совершенно точно восстанавливается (см. [Mažiulis 1996: 221–222; Eckert 1983: 68–69], где, помимо *-io-* основы, для центрально-балтийских языков реконструируется старая *-i-* основа, засвидетельствованная еще в ирландск. *raith* ‘папоротник’ < \**prati-*, см. [Pedersen 1908–1909, I: 91]). Во-вторых, ономастический материал в количественном отношении превосходит лексику имен нарицательных. В-третьих, древнепрусский ономастикон, очевидно, единственная область, из которой до настоящего времени постоянно черпаются новые материалы о древнепрусском языке. Вероятность найти новые древнепрусские тексты очень невелика,

хотя, конечно, не совсем исключена. Но из разных исторических источников, имеющих отношение к древнепрусским территориям, постоянно можно извлекать ономастический материал, главным образом топонимы, гидронимы и имена лиц, которые обогащают и уточняют наши знания о древнепрусском языке. Этот момент прироста древнепрусского языкового материала имеет исключительное значение для перспективного развития пруссистики. В. Н. Топоров своим тезаурусом древнепрусского языка (оставшимся, к сожалению, огромным незаконченным трудом), дал блестящий пример именно широкого изучения как нарицательной, так и проприальной лексики языка пруссов<sup>2</sup>.

О значительном приросте наших знаний по древнепрусской ономастике, в частности о топонимике, в самое последнее время убедительно свидетельствуют две книги литовской исследовательницы Грасильды Блажене. В монографии «Die baltischen Ortsnamen im Samland» [Blažienė 2000] автор исследует 215 древнепрусских топонимов, которые у Г. Геруллуса [Gerullis 1922] не упоминаются, т. е. они являются новыми находками. Общее количество исследованных в этой книге топонимов насчитывает 821 единицу. Вторая книга, вышедшая в обработке Г. Блажене, «Baltische Ortsnamen in Ostpreußen» [Schmid 2005], в своем основном разделе содержит топонимы части территории Надровии, северных частей Натангии, Барты и Вармии. Здесь Блажене нашла 329 топонимов, отсутствующих у Геруллуса и у других исследователей, т. е. ею опять-таки были обнаружены новые древнепрусские топонимы. Общее количество топонимов, рассмотренных в этом разделе, достигает 746 единиц. Кроме того, в данной книге имеются два приложения: во-первых, раздел о древнепрусских топонимах южной части Восточной Пруссии, которые не обрабатывались в «Sonderband I Hydronymia Europaеа» д-ром Розалией Пржыбытек (т. е. это тоже новые материалы, которые в большинстве случаев представляют собой названия селений, покинутых жителями); во-вторых, раздел о древнепрусских местных названиях в Помезании. И здесь обнаруживается немало нового материала. Таким образом, самые последние исследования в области древнепрусских названий местностей, в изучение которых внесла большой вклад проф. Г. Блажене, документируют огромный прирост древнепрусского ономастического материала, который еще ждет своего дальнейшего исторического изучения и обобщения.

Наконец, я хотел бы сказать еще несколько слов об одном аспекте изучения древнепрусской лексики, привлекающем к себе внимание толь-

<sup>2</sup> О выдающемся значении древнепрусского словаря В. Н. Топорова см. нашу статью [Eckert 2001a].

ко в самое последнее время, а именно о синтагматическом аспекте. И в этой области Владимир Николаевич является новатором. Он одним из первых обратил внимание на древнепрусскую фразеологию, обнаруживаемую не так легко ввиду скудности материала. Единственные работы, на которые я мог опираться в своей заметке о древнепрусской фразеологии [Eckert 1992: 7–11; 2001b: 21–26], принадлежали перу Владимира Николаевича. Но мало того. В своем непревзойденном древнепрусском словаре он пристально изучает сочетание основ в ономастических сложениях, применяя при этом точную запись этих явлений: ср., например, \**lauk-* & \**med-* в *Laukemedien* 1326 и \**med-* & \**lauk-* в *Medelauke* 1371 [ПЯ 5: 130]. Сложные слова, как известно, занимают промежуточное положение между несложными словами и разного рода словосочетаниями<sup>3</sup>.

## II. Имена собственные и их значение для (хотя бы частичного) воссоздания сведений о жизни древних пруссов

В немецком языке бытует пословица *Namen sind Schall und Rauch* 'Имена суть пустой звон и дым'. Хотя в некоторых очень специфических условиях эта паронимия может быть применена, но как утверждение более общего порядка она не годится. Имена (собственные) вовсе не пустой звон и дым, а представляют собой большую ценность в тех случаях, когда имена нарицательные данного языка, как в случае с древнепрусским, известны лишь в очень ограниченном объеме, что характерно для всех языков с «малым корпусом». Они не только во многих случаях в состоянии восполнять лакуны в лексической системе нарицательных имен, но и несут в себе ценную информацию о лексико-фразеологической системе данного языка в целом. Постараюсь это проиллюстрировать на нескольких примерах:

### 1. Об одном «контексте имен»

К сожалению, один очень ценный вид памятников с древнепрусскими материалами, так называемые «книги убытков» (*Schadenbücher*) Тевтонского Ордена [OF 5a: 1411–1414; 5b: 1411–1419; 11a: 1420–1421] можно считать утраченными после Второй мировой войны. По счастливой случайности я получил из частной библиотеки немецкого слависта д-ра Германна Шалля небольшую местную публикацию «Geschichts-

<sup>3</sup> Ср. [Эккерт 1977]; кстати, в этих топонимах нашла свое отражение семиотическая оппозиция «поле»: «лес».

tabelle der Stadt Insterburg (Ritterzeit)» von Regierungsbaurat Ahleemann, Buchdruckerei und Verlagsanstalt Ostpreußisches Tagesblatt G.m.b.H. Insterburg, 1926 (объемом 18 страниц), в которой автор приводит небольшой отрывок из «книги убытков» после поражения Тевтонского Ордена около Танненберга в 1410 году. Там вначале перечисляются убытки, нанесенные войной немецким крестьянам области Инстербурга в мае 1414 года, а потом — что для нас особенно важно — следуют два абзаца, в которых говорится об убытках, которые понесли прусские крестьяне (*der Prussen schade vor dem huwse Instirburg*). Для краткости привожу только второй абзац в оригинале и с моим переводом на русский язык:

...item Heinrich Senkythen 2 pferde vnde einen kessel, alles sampt als gut als 2 undeinhalb marc. item Michel Samaythe 1 pferd vnde czwu kwe als 5 marc gut. item Wytten 2 pferd als gut als 4 marc. item Samayten 4 pferde als gut als 10 marc. item Dirsunen son eyn hengist vnde 2 sweyken als 21 marc. item Wessele 2 kessel vnde eine sense als 1 undeinhalb marc gut. item Sangloben 2 kessil eine sense als 2 marc gut

...равным образом Гейнриху Сенките 2 лошади и один котел, все вместе (взято) 2 с половиной марки. а также Михелю Самаите 1 лошадь и две коровы 5 марок хороших (денег). а также Вутте 2 лошади стоимостью 4 марки. а также Самаите 4 лошади стоимостью 10 марок. а также Дирсуне один жеребец и 2 рабочих лошади стоимостью 21 марок. а также Весселе 2 котла и одна коса стоимостью 1 с половиной марки. равным образом Санглобе 2 котла и одна коса стоимостью 2 марки'.

Имена лиц выделены нами курсивом. Следует сказать, что точнее надо было бы перевести: '...крестьянину Гейнриху Сенките... крестьянину Михелю Самаите... крестьянину Вутте...' и т. д. В данном отрывке встречаются двусоставные имена лиц, состоящие из имени и фамилии (*Heinrich Senkythe*, *Michel Samaythe*) наряду с простыми односоставными личными именами, отражающими более старую традицию (*Samayte*, *Dirsunen*, *Wessele*, *Sanglobe*). Последние являются исключительно прусскими, в то время как в качестве *Vornamen* выступают немецкие имена. Еще Р. Траутманн в своей работе [Trautmann 1925] приводит сочетания, состоящие из имени и фамилии, типа *Peter Dargande*.

Замечательно, что в небольшом контексте встречается еще известное имя нарицательное *sweyke*. Р. Траутманн [Trautmann 1910: 443] дает *sweykis* (Elbinger Vocabular 432 'pflugpfer') с указанием, что в документах Тевтонского Ордена встречаются формы *sweyke*, *sweike*, *sweke* ж. р. для обозначения низкорослой местной прусской породы лошади, используемой для полевых работ. Это хорошо согласуется с особым значением коней и коневодства для пруссов, о чем неоднократно писал

Владимир Николаевич. О богатой номенклатуре лошадей у древних пруссов смотрите нашу статью о телеге и лошади у пруссов [Eckert 1995].

Что касается древнепрусских личных имен, содержащихся в приведенном абзаце, то наиболее ясным является *Dirsune*. Его возводят к \**dirsi-* или \**dirz-*, засвидетельствованном в др.-прус. *dirstlan* 'статный' и *dyrsos gyntos* [Grunau 1966: 80] 'способные, мужественные мужчины'. Эти слова сравнивают с лит. *diržti* 'покрываться твердой пленкой, стать зрым, крепким'; ст.-сл. *drъзь* 'смелый' и рус. *дерзкий*; рус. диал. *дерзун* 'бесцеремонный, дерзкий человек' [Trautmann 1910: 321; ПЯ, I: 349]. Суффикс *-ūn-* в этом имени лица сравнивается с местными названиями др.-прус. *Dirsunikaym* 1396; *Dirsinikaym* 1396; *Dirsunekym* 1405; позже *Dirschkeim* [Gerullis 1922: 28] и с лит. *Diršūnas*, в котором усматривают из-за *-rs-* древнекуршское или древнепрусское имя. Р. Траутманн относит *Dirse*, *Dirsune* к группе имен, которыми первоначально характеризовали духовную сущность носителя имени. В качестве типологической параллели укажу на нем. *kühn* 'мужественный' и на фамилию *Kühn*.

Имя лица *Samayte*. по-моему, относится к др.-прус. *same* 'земля' и прежде всего к наречию *semmai*, *sammay* 'низко', ср. лит. *Žemaitis*, *Žemaitė* и как типологическую параллель немецкие фамилии *Oberländer*, *Niederländer*.

Имя лица *Wessele* еще Траутманн [Trautmann 1925: 117] в свое время взял из *Insterburger Schadenbuch*. Он сравнивает его с именем лица *Wesselinne* (1360 sartor = *Pfleger* in Braunsberg) и с топонимом др.-прус. *Wessel-karten*. По-видимому, все эти имена можно связать с др.-прус. *wessals* 'радостный', *wesselingi* 'радостно' и с *wesliskan* 'радость'. Как типологическая параллель выступает нем. *fröhlich* 'веселый' и фамилия *Fröhlich*.

Наконец, имя лица *Sanglobe* (с вариантом *Sanglowbe*) было уже известно, когда Траутманн в 20-х годах прошлого века изучал «книги убытков». Он приводит в своем труде [Trautmann 1925] большое количество соответствий из разных источников: *Sanglob* 1419, *Sanglop* 1398, *Sanlobe* 1374, *Jacob Sanglops*, *Sanglavbe*, *Sanglaube*, *Sanglawe*, *Sanglaw* 1346. В качестве второго элемента этих имен он предполагает *glaub-*, ссылаясь на *San-glavbe*, а также на сокращенные имена типа *Glauboth* и на топоним *Glaubothen*. Но, кроме того, существует побочная форма с *glab-/glob-*, представленная в *San-globe*, *Glabot*, *Glabune*, *Globune*, *Glabute*, *Globis*, *Globe*, *Globicke*, *Glopse* и в топонимах др.-прус. *Glabunen*, *Globite* и лит. *Globys* и *Globiai*. Однако мне кажется неубедительным, если он сюда еще относит имена с *glaud-*. В. Н. Топоров [ПЯ 2: 265–266] реконструирует \**san-* & \**glob-* и сравнивает второй элемент с лтш. *glabāt*. лит. *glaróti* 'обниматься'. Далее приводится еще др.-прус. *po-glabū*.

*hertzte* = 'прижимал, миловал, обнимал'. Первый элемент *san-* представляет собой приставку, которая еще сохранилась в др.-прус. *saninsle* 'пояс' (= 'Zusammen-bund') и в др.-прус. *sanday* [Grunau 1966: 69] 'иди прочь!', что, по мнению Ф. Ф. Фортунатова [Bezenberger 1877–1906: XXII, 172], произошло от \**sen-* + *deiwas* 'mit Gott!', ср. лит. *ar dievu*, рус. с богом! Имена *Sanglobe*, *Sanglowbe*, таким образом, скорее всего связаны с \**san-* & \**glob-* 'Zusammen-Umarmen', ср. лит. *suglóbti* 'взять под свою опеку, поддержать' с тем же сочетанием элементов.

Что дает этот своеобразный «контекст имен»? Во-первых, он убедительно свидетельствует о значительном прусском элементе в начале XV века в области Инстербурга. Нужно, по-видимому, исходить из факта продолжительного периода совместного проживания прусских и немецких крестьян в данном районе. Постепенно, правда, туда проникают немецкие имена, и прусские имена превращаются в фамилии, т. е. процесс германизации на лицо. Одновременно сохраняется старая традиция употребления простых прусских имен. Во-вторых, обращает на себя внимание то, что имущественное положение немецких и прусских крестьян, судя по убыткам, которые они понесли от военных действий, принципиально не отличается. Видимо, и те и другие были средними крестьянами. И в-третьих, в таком минимальном, как приведенный, контексте наряду с устойчивым употреблением древнепрусских личных имен встречаются вкрапления апеллятивной древнепрусской лексики (ср. *sweike*). Все это позволяет восстановить элементы социолингвистической и конкретно-исторической ситуации пруссов в начале XV века в определенной области Пруссии.

## 2. Об отражении действительности в форматах имен собственных

Если в предыдущем разделе некоторая информация о древнепрусском обществе черпалась из ономастикона исходя из контекста употребления имен<sup>4</sup>, то в данном разделе эта информация извлекается из самих имен, из их структуры, сравнения с древнепрусской апеллятивной лексикой и с именами родственных языков и диалектов.

Классическим примером того, что ономастический материал может отражать большие фрагменты из жизни древних пруссов (социальные,

<sup>4</sup> Этот путь анализа блестяще развил В. Н. Топоров, например, при изучении названий древнепрусских богов путем детального анализа списков древнепрусских теонимов (их порядка следования в источниках, учета их совместного употребления и т. д.). Ср. его работу [Топоров 1972].



правовые, религиозно-мифологические и бытовые аспекты прусского общества), является глубокий анализ имен с *\*lauk-*, проведенный В. Н. Топоровым на 14-ти страницах тезауруса (ср. [ПЯ 5: 127–141]). Топонимы с элементом *\*lauk-* ‘поле’ и *\*kaim-* ‘деревня’, по его мнению, являются самыми распространенными в прусской ономастике. Он указывает на 180 разных моделей наименований населенных пунктов и/или урочищ [из которых, как известно, последние наиболее близки к нарицательным именам. — Р. Э.], причем на самом деле, по мнению Владимира Николаевича, их еще больше.

В топонимах со вторым компонентом *\*lauk-* ярко отражается природа, окружающая пруссов, причем не только ландшафт и его рельеф: *\*bal-* ‘болото’ & *\*lauk-*; *\*lind-* ‘долина, ложбина’ & *\*lauk-*; *\*daub-* ‘котловина, овраг’ & *\*lauk-*; но и фауна: *\*bebr-* ‘бобр’ & *\*lauk-*; *\*lus-*; *\*luis-* ‘рысь’ & *\*lauk-*; *\*sas(in)-* ‘заяц’ & *\*lauk-*; а также флора: *\*berz-*, *\*barz-*, *\*bars-* ‘береза’ & *\*lauk-*; *\*peus-* ‘сосна’ & *\*lauk-*; *\*plus-* ‘камыш, тростник’ & *\*lauk-*. Далее нашла отражение освоенная природа (садоводство, постройки, животноводство): *\*sod-*, *\*sad-* ‘огород, сад’ & *\*lauk-*; *\*kaim-* ‘деревня’ & *\*lauk-*; *\*pil-* ‘крепость, замок’ & *\*lauk-*; *\*sard-* ‘загон для лошадей’ & *\*lauk-*; *\*sirg-*, *\*zirk-* ‘жеребец’ & *\*lauk-*; *\*parst-* ‘поросенок’ & *\*lauk-*; *\*kury-*, *\*karv-* ‘бык’ & *\*lauk-*; *\*gert-* ‘курица’ & *\*lauk-*; отношения собственности («владельческий» статус), например, в сложных топонимах с личным именем в первой части: *\*Jurg-* & *\*lauk-*: *Jorgelauke* 1419; ср. лит. *Jūrgiškiiai*, *Jūrgiškės*; *\*Jaku(n)* & *\*lauk-*; *\*Rim-* & *\*lauk-*: правовые отношения, которые В. Н. сравнивает очень удачно с пассажами из «Помезанской Правды»: *\*az-* ‘межа’ & *\*lauk-*: *Aselawken* 1495, а также приводимый Ласицким теоним *Ezagulis* ‘на меже лежащий’ и соответствующие статьи из «Помезанской Правды» об убытках (*Schaden*) в поле и о злодеяниях (*vom frevel*). В. Н. Топоров в связи с этим говорит о том, что свободные пруссы являлись именно владельцами полей (*\*lauk-*). Отзвуки религиозно-мифологических взглядов пруссов сохранились не только в упомянутом *Ezagulis*, но и в приведенном Мажвидасом *Laucasargus*, а также в топонимах типа др.-прус. *Dewslauks* 1388 ‘божье поле’ (< *\*deiv-* & *\*lauk-*) и в *Kurkelauke* 1342 < *\*kurk-* (др.-прус. *curche* ‘житный дух’) & *\*lauk-*.

Исходя из огромного ономастического материала, В. Н. Топоров предпринял попытку определить значение поля для древних пруссов, которое, по его мнению, зиждется на четырех кардинальных понятиях: «дом» (жилище, постройки, семья); «земледелие» (основное занятие пруссов); «поле» (пахотная земля, единоличное присваивание урожая, в то время как луга-пастбища и лес входили в общинную собственность) и «зерно-хлеб» (главный продукт, обеспечивающий жизнь пруссов).

Наконец, В. Н. трактует дважды цитируемое Мажвидасом *Laucosargus* как ‘духи-хранители поля’ (*Wächter des Feldes*) и устанавливает в высшей степени интересные общие и отличительные черты в этих понятиях между пруссами и центральнобалтийскими народами. На основе анализа топонимов (и частично других разрядов имен) в тезаурусе Топорова разворачивается величественная картина реконструкции материальной и духовной культуры пруссов с такой детальностью и точностью, каких до сих пор не достигал никто. Это описание разрывает все границы, наложенные жанром словаря, в том числе тезауруса. Этот пассаж можно, на наш взгляд, сравнить с замечательной разработкой леммы — *lai-* [ПЯ 4: 418–436], переросшей в историко-этимологическую монографию балтийского *\*-lai-* на широком фоне родственных славянских и других индоевропейских языков. Что касается дальновидности и перспективности такого глубокого синопсиса, пронизывающего весь *opus magnum* Владимира Николаевича, то мы, по-видимому, только постепенно и небольшими отрывками в состоянии постигать всю широту научного исследования языка и быта древних пруссов в частности и древних балтов вообще.

### Эпилог

В статье и в издании, посвященном памяти Владимира Николаевича Топорова, не могу не высказаться по одному очень важному, волнующему всех пруссистов и балтистов, а также сочувствующих им, вопросу, а именно: почему В. Н. прекратил свою работу над древнепрусским тезаурусом в 90-е годы.

В 1999-м году Виллям Р. Шмальстиг написал пророческие слова: «This last volume [он имеет в виду 4-й и последний том «Древнепрусского этимологического словаря» Витаутаса Мажюлиса. — Р. Э.] is particularly important, because this is now the only complete modern etymological dictionary of Old Prussian. Naturally one regrets that V. N. Toporov has not seen fit to finish his *Prusskij jazyk*, the fifth and last volume of which reaches the letter L. Toporov's work will apparently find his place among many other great unfinished linguistic works...» (см. [Schmalstieg 1999: 109]).

В своих «*Altpreussische Studien*» (опубликованных в 2001, с. 17, но, естественно, подготовленных в конце 90-х годов, т. е. до получения ниже приведенных писем В. Н.) я высказал следующие мысли: «...я могу себе представить, что у Владимира Николаевича было сразу несколько причин, приведших к тому, что он не закончил свой *opus magnum*: огромные трудности при печатании работы с очень сложным набором в условиях Советского Союза в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого

века; растущее из тома в том невероятное углубление изложения, которое привело к значительному увеличению объема труда, принесшее, конечно, науке больше знаний, но которое, несомненно, таило в себе опасность перейти все границы, поставленные одним человеком при выполнении такой исполинской задачи; наконец, мне кажется, что очень разносторонние интересы автора могли приковывать его внимание ко многим другим областям гуманитарных наук до такой степени, что он принял именно такое решение. Мы можем высказать только предположения, ответ на этот вопрос может, наконец, дать лишь сам автор» [Перевод мой. — Р. Э.].

К большому счастью, из моей переписки с Владимиром Николаевичем у меня сохранилось два письма, в которых он с большой открытостью изложил все причины, побудившие его приостановить работу над «Прусским языком». Ниже привожу соответствующие выдержки из этих писем:

1. В письме от 15-го декабря 2000 г. он писал мне: «...Нахожусь уже годы в состоянии перманентного цейтнота. Он отчасти объясняет и то, что я вынужден был 10 лет назад отказаться от продолжения „Прусского словаря“. Этот отказ был вынужденным. Дело в том, что из-за моей неблагонадежности мне всячески препятствовали и в Институте славяноведения, и в Издательстве Академии наук. Имеющиеся пять томов я мог выпустить в течение пяти лет, и, следовательно, весь словарь был бы написан за 10 лет, но из-за препятствий выпуск первых пяти томов растянулся на 15 лет. В начале 90-х годов мне объявили, что Издательство теперь не может издавать столь сложный для набора текст; к тому же, словарь не приносит Издательству дохода. Я понял, что мне, особенно учитывая и возраст, не удастся довести словарь до конца. К тому же, этот труд требует непрерывности. Наконец, и еще одно затруднение — московские библиотеки перестали выписывать многое из зарубежной периодики, не говоря уже о монографиях. Я в курсе дел только потому, что многие балтисты присылают мне свои книги и отписки, но все-таки всего этого недостаточно...»

2. Получив мои «Altpreussische Studien», Владимир Николаевич откликнулся на мои выше приведенные предположения в письме ко мне от 27 января 2002 года: «...Мне самому было и горестно и стыдно расставаться с продолжением „Прусского словаря“. Надо сказать, что и то, что успело выйти из печати, было связано с большими трудностями из-за моей „неблагонадежности“. На один том у меня уходило 5–6 месяцев (написание) и 3–4 месяца (корректурa), т. е. меньше полугодa [? — Здесь, видимо, что-то пропущено. — Р. Э.]. Сопrotивление моему начинанию исходило и от институтского начальства, по 2–3 года не вклю-

чавшего готовый том в план издания, и от издательства „Наука“, которому было невыгодно набирать такой трудный текст (кроме того, во время польской „Солидарности“ Издат-во потребовало, чтобы в томе не было сделано ни одной ссылки на польских ученых; я отказался, а соответствующий том пролежал без движения еще два года). На рубеже 80–90-х гг. стало понятно, что продолжения быть не может. Вернуться же позднее было бы можно, но к этому времени практически прекратилось поступление зарубежной литературы в библиотеки. Вообще это горестная для меня история. Утешаюсь тем, что сам тип Thesaurus'a в принципе состоялся, и, может быть, кто-нибудь когда-нибудь использует то, что мной сделано и создаст такой Thesaurus во всей полноте...»

Сколько труда и энергии было вложено Владимиром Николаевичем в древнепрусский тезаурус, который и в своем незаконченном виде является непревзойденным научным подвигом! Сколько мытарств и горестных часов вынес его автор! Можно только пожелать, чтобы исполнились чаяния, выраженные в последней строке второго приведенного выше письма незабвенного Владимира Николаевича Топорова!

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ПЯ — В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. М., 1975–1990: Т. 1: А–D; Т. 2: E–H; Т. 3: I–K; Т. 4: \*kirk- — \*laid-ik; Т. 5: \*laydis — \*lut- & \*mot-.
- Топоров 1972 — В. Н. Топоров. Заметки по балтийской мифологии // Балто-славянские исследования. М., 1972.
- Топоров 2006 — В. Н. Топоров. Балтийские языки // Языки мира. Балтийские языки. М., 2006.
- Эккерт 1977 — Р. Эккерт. О роли сложных слов и соотносительных с ними сочетаний при определении семантики древнеславянского слова // Советское славяноведение. № 6. 1977.
- Bezzenberger 1877—1906 — Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen / Hrsg. von A. Bezzenberger. Göttingen, 1877—1906.
- Blažienė 2000 — Die baltischen Ortsnamen im Samland (Sonderband II. Hydronymia Europaea / Hrsg. von Wolfgang P. Schmid; Bearbeitet von Grāsilāda Blažienė. Stuttgart, 2000.
- Eckert 1983 — R. Eckert. Die Nominalstämme auf -i im Baltischen unter besonderer Berücksichtigung des Slawischen. Berlin, 1983.
- Eckert 1992 — R. Eckert. Gibt es eine altpreußische Phraseologie? // Colloquium Pruthenicum Primum. Papers from the First International Conference on Old Prussian held in Warsaw, September 30th - October 1st, 1991 / Ed. by W. Smoczyński, A. Holvoet. Warszawa, 1992.
- Eckert 1995 — R. Eckert. Wagen und Pferd in Sprache und Kultur der alten Preußen // Baltistica. XXX (1). Vilnius, 1995.
- Eckert 2001a — R. Eckert. Die Bedeutung des Thesaurus «Die prussische Sprache von V. N. Toporov für die heutige Sprachwissenschaft» // R. Eckert. Altpreussische Studien. Dieburg, 2001. S. 3–17.

- Eckert 2001b — R. Eckert. Ein altpreußisches Phrasem und seine Entsprechungen im Litauischen, Lettischen und Deutschen // R. Eckert. *Altpreussische Studien*. Dieburg, 2001. S. 21–26.
- Gerullis 1922 — G. Gerullis. Die altpreußischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922.
- Grunau 1966 — Preußisches Vokabular Simon Grunaus (nach dem Exemplar der Göttinger Universitätsbibliothek) // V. Mažiulis. *Prūsų kalbos paminklai*. Vilnius, 1966.
- Mažiulis 1996 — V. Mažiulis. *Prūsų kalbos etimologijos žodynas*. 3 (L–P). Vilnius, 1996. OF — Ordensfoliant.
- Pedersen 1908–09 — H. Pedersen. Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. Göttingen, 1908–1909.
- Schmalstieg 1999 — W. Schmalstieg. [Рец. на:] V. Mažiulis. *Prūsų kalbos etimologijos žodynas*. IV: R–Z. Vilnius, 1997 // *Baltistica*. XXXIV (1). Vilnius, 1999.
- Schmid 2005 — *Hydronymia Europaea* / Hrsg. von W. P. Schmid. Stuttgart, 2005.
- Trautmann 1910 — R. Trautmann. Die altpreußischen Sprachdenkmäler. Göttingen, 1910.
- Trautmann 1925 — R. Trautmann. Die altpreußischen Personennamen. Göttingen, 1925.

Р. А. АГЕЕВА

## Топонимические работы В. Н. Топорова. I.

Научное наследие выдающегося отечественного ученого Владимира Николаевича Топорова столь велико и многопланово, что в небольшой обзорной статье невозможно охватить целиком даже одну область его исследовательской деятельности, а именно ономастику, представляющую собой сравнительно частный раздел языкознания. По этой причине в настоящей статье рассматриваются только работы В. Н. Топорова, посвященные подразделу ономастики — топонимике, в изучение которой — как в теоретическом, так и в конкретно-языковом аспектах — ученый внес значительный вклад.

Владимир Николаевич Топоров с самого начала своей научной деятельности проявил большой интерес к вопросам топонимики. В 50–70-х годах прошлого столетия он публикует ряд работ, посвященных топонимике как таковой, а также топонимике как вспомогательной дисциплине при изучении этнической истории. Уже тогда обозначилась широкая научная парадигма исследований Владимира Николаевича, который прежде всего серьезно подошел к самому построению теоретической топонимики — в его терминологии «топономастики» [Топоров 1964а; 1962а; 1963]. Так, он отметил, что без топонимической теории не могут быть решены вполне практические задачи, включая классификационные. В. Н. Топоров поставил вопрос о существовании и определении топонимической системы и о целесообразности рассмотрения ее как системы отличной от общезыковой; о месте собственного имени в тексте; о проблеме топонимического тождества и связанном с ней вопросе об омонимии и синонимии; о необходимости уточнения понятия системы с помощью введения количественных показателей и т. д. В 60-е годы эти публикации вызвали большой интерес со стороны топонимистов, среди которых изначально были не только лингвисты, но и географы, историки, краеведы. Мнение авторитетного ученого повлияло на организацию научных дискуссий и издание сборников статей по теоретическим вопросам топонимики.

Главным объектом топонимических исследований для Владимира Николаевича стала топонимия древних балтов (настоящий обзор посвящен именно работам В. Н. Топорова по этой тематике, см. ниже). Балтийские географические названия рассматривались ученым на широком фоне индоевропейской топонимии, что стало возможным ис-

ключительно благодаря необычайной эрудиции и фундаментальной подготовке В. Н. Топорова в области индоевропейского языкознания.

Так, например, известны его работы по индоиранским языкам, где изучение древних письменных памятников сопровождалось и топонимическими штудиями [Топоров 1962в; 1969]. Им разрабатывался и целый ряд других вопросов индоевропейского языкознания, для решения которых топонимические данные играют существенную роль (см., в частности, [Топоров 1964б; 1966б; 1973б; 1972б; 1959а; 1959б; 1966а; 1962б; 1977; 1981; 1988б; Топоров, Трубочев 1961]).

Работая в других областях гуманитарного знания (их можно обобщенно обозначить как историю культуры), В. Н. Топоров также широко привлекал топонимический материал. Это касается его трудов по этнологии, мифологии, фольклору, теории текста, литературоведению, семиотике, философии, религии и т. д. (см., например, [Топоров 1980а; 1984; 1987; Топоров 1989б; Иванов, Топоров 1976; МНМ]).

Следует отметить, что В. Н. Топорову не были чужды и острые злободневные проблемы современной прикладной топонимики. Так, когда в 90-е годы Советский фонд культуры совместно с Академией наук СССР занимался восстановлением исторических географических названий по всей стране, Владимир Николаевич принял участие во Второй Всесоюзной научно-практической конференции «Исторические названия — памятники культуры». Его статья в материалах этой конференции была посвящена топонимии Калининградской области [Топоров 1991]. В статье говорилось об исконных литовских, прусских и немецких названиях этой области, после Второй мировой войны наспех и топонимически безграмотно замененных на русские. Такую полную и примитивную русификацию ученый назвал не только безусловной ошибкой, но и актом «этно-топоцида» [Там же: 9].

В целом, если выделять топонимику как особую отрасль научного знания (а это вполне правомерно, учитывая ее комплексный и пограничный характер, а также важную роль для смежных гуманитарных и естественнонаучных дисциплин), можно сказать, что работы В. Н. Топорова оказали большое влияние не на одно поколение топонимистов. Топонимическое наследие ученого еще предстоит в должной мере осмыслить, и данный обзор — лишь одна из первых попыток в этом направлении.

\* \* \*

Ранние труды В. Н. Топорова в области балтийской топонимики относятся к тому времени, когда ученые многих стран особенно активно разрабатывали вопросы этногенеза, этнической истории и археоло-

гии индоевропейских племен, в том числе балтов и славян, а параллельно тесно связанные с этим вопросы индоевропейского языкознания, среди которых важную роль играла ономастика. В. Н. Топоров был хорошо знаком с работами советских археологов, антропологов, лингвистов, занимавшихся балтами и балтийскими языками (Х. А. Моора, П. Н. Третьяков, В. В. Седов, Н. Н. Чебоксаров, В. В. Мартынов, В. Мажюлис, С. Б. Бернштейн, Б. В. Горнунг, А. П. Ванагас, Б. Савукинас и др.), а также зарубежных ученых (М. Гимбутене, Х. Крае, Х. Кун, Т. Лер-Сплавинский, В. П. Шмид, В. Руке-Дравиня и др.). В течение десятилетий ученые выдвигали различные гипотезы о диалектной дифференциации индоевропейской этноязыковой общности, о локализации прабалтов, о существовании балто-славянского праязыка либо балто-славянской «сообщности», об этногенезе славян и т. п. Гипотезы эти нередко противоречили друг другу, некоторые из них были абсолютно неприемлемы, иные оказывались достаточно аргументированными и их можно было брать на вооружение и развивать, либо в итоге опровергать. Во всем этом было очень непросто разобраться, — при том, что лингвисты опирались на работы археологов и наоборот, археологи исходили из результатов, полученных лингвистами, — порочная практика, так как каждая из этих дисциплин должна была пользоваться своими собственными методами и независимо приходиться к общим выводам.

Нетрудно заметить, что В. Н. Топоров отдал дань всему широкому кругу вопросов, составлявших проблематику публикаций ученых относительно балтов и балтийской топонимии. Необходимо было определить отношение собственно балтийской (ранней) топонимии к так называемой «древнеевропейской» (Х. Крае) или «древнеиндоевропейской» (В. П. Шмид) топонимии, а также найти возможные параллели балтийских топонимов с топонимами территорий соседствующих индоевропейских племен — иллирийцев, фракийцев, германцев, иранцев. Так, например, изучая иллирийско-балтийские топонимические параллели, В. Н. Топоров сопоставляет название реки *Margus* (греч. Μάργος) в Мезии с гидронимами прусск. *Margis*, лит. *Mārgis*, р. *Морожа* в басс. Припяти, оз. *Мороги* в Борисов. у. и др.; название ряда мест на Балканах *Salona* с прусск. *Salonithen* < \**Salone* и другими балтийскими ойконимами с корнем \**Sal-*, *Sal-ōn-* и т. д. [Топоров 1964б]. При этом наличие параллелей не означало тождества этих названий и принадлежности к наиболее древнему индоевропейскому слою топонимии. Работы Владимира Николаевича позволили выявить дополнительные параллели такого рода и уточнить локализацию балтийской этноязыковой общности по отношению к ее окружению.

Все последующие исследования В. Н. Топорова были так или иначе направлены на уточнение балтийского ареала и его границ. Это было крайне необходимо не только для собственно лингвистических целей (диалектное членение балтийских языков, балто-славянские языковые отношения, связи балтийских языков с другими индоевропейскими и неиндоевропейскими языками и т. п.), но и для подтверждения выводов археологов о принадлежности тех или иных культур балтам и о выявляемых ареалах балтийских археологических культур: западнобалтийском, восточнобалтийском и верхнеднепровском.

Восточнобалтийские археологические и топонимические ареалы интенсивно исследовались литовскими и латышскими учеными. В. Н. Топоров, прекрасно знакомый с этим материалом, сосредоточил основное внимание на двух направлениях: западнобалтийская языковая область и верхнеднепровский ареал (впоследствии Владимир Николаевич расширил территорию своих изысканий на бассейны Оки и Верхнего Дона).

Важное место в концепции В. Н. Топорова о генезисе балтов и балтийских языков занимал установленный факт, что балтийская гидронимия наиболее полно и точно воспроизводит «центральноевропейскую» гидронимию и что балтийский языковой тип в целом архаичен и близок к исходному реконструируемому индоевропейскому состоянию (около II – начало I тыс. до н. э.) [Топоров 2006а: 15–16]. Гидронимия балтийского типа занимает огромное пространство по сравнению с малочисленностью балтов в историческое время. На западе этого ареала она доходит до Шлезвига и Гольштейна. Владимир Николаевич опубликовал ряд работ по гидронимии древних балтийских языков — прусского, ятвяжского и др. (в древности диалектное членение балтийских языков было иным, чем позднейшее деление на восточнобалтийские и западнобалтийские (пруссский) языки).

Из трудов В. Н. Топорова, посвященных западнобалтийским языкам, следует, прежде всего, отметить его фундаментальные работы о прусском языке и топонимии пруссов. В большой статье «Прусский язык» [Топоров 2006б], вышедшей в рамках издания «Языки мира» (там же и статья «Балтийские языки») и представляющей собой квинтэссенцию исследований ученого в этой области, имеются этимологии этнонима *прусы* и названия *Пруссия* (корень *prūs-*) [Там же: 50–52], названия прусских земель, примеры топонимов прусского типа: *Gdańsk*, *Powalken*, *Kawle* и др. [Там же: 54]. Но самое подробное исследование прусской лексики, в том числе топонимии, содержится в пятитомном словаре «Прусский язык» [Топоров 1975–1990]. В нем представлен значительный массив топонимов, по большей части включенный в статьи

о нарицательной лексике прусского языка (заголовки статей отражают как зафиксированные в источниках лексемы, так и реконструируемые основы). Примеры:

1) В статье *agins* (Т. 1: 57–58) ‘глаз’ (следует читать — *akins*, так как известна мена звонких и глухих в прусских текстах) указаны наиболее близкие параллели: лит. *akis*, лтш. *acs*, слав. *oko* и др. Обращается внимание на метафорическое употребление балтийских и славянских слов в значении ‘бочажина с водой’. Здесь же приводятся соответствующие топонимы: прусск. *Akicz*, лит. *Akis*, *Akÿs*, *Akėlė* и др., лтш. *Aca*, *Ace*, *Acupe* и др., куршск. *Akite*, *Ackete* и др., верхнеднепр. *Ачасы*, *Иночь* и др.

2) В статье *\*kaim-* (Т. 3: 143–147) приводится большое число топонимов типа *Кауме* (местность и деревня), *Кауменар* (ручей), *Reytekaum* (поселение) и др., в которых присутствует компонент *каум-* из прусск. *caumus*, *caume* ‘деревня’. Отмечается, что данные «о распространении названий с корнем *\*kaim-* в старых орденских документах — неоценимый источник по истории расселения пруссов (правда, изредка встречаются формы, которые могли бы быть и литовскими) в период немецкой колонизации. Наличие не менее полтора десятка таких поселений дает основания для заключений географического, этнографического, демографического и социально-экономического порядка» [Там же: 146].

Следует подчеркнуть, что словарь «Прусский язык» не просто дополняет сугубо топонимические работы предшественников В. Н. Топорова (И. Я. Спрогис, Г. Геруллис, Я. Эндзелин и др.), но и может считаться самостоятельным топонимическим источником, так как в нем использованы топонимические данные по всему балтоязычному ареалу, включая Верхнее Поднепровье и другие области Русской равнины.

Если вымерший прусский язык и прусская топонимия имеют свою, хотя и довольно скудную, историографию, то другие вымершие (бесписьменные) балтийские языки приходится изучать по косвенным данным. Чуть ли не единственным источником при этом является топонимия. В. Н. Топоров уделил большое внимание изучению топонимии ятвягов и галиндов, что позволило ему значительно расширить территорию распространения западных балтов в древности. Так, например, в работе [Топоров 1966г] исследуются около 40 названий предположительно балтийского происхождения на старых ятвяжских территориях в верховьях Нарева. Среди них такие гидронимы, как *Šloja*, *Šlōjka* (ср. лит. *Slajà*), *Derazina* (ср. в верховьях Днепра *Деражня*, лит. *Derežna* < *\*derg-*; корень *\*darg-* широко представлен в балтийской гидронимии), *Undega* (суффикс из ряда *-ega/aga/uga*; корень — название воды *und-*



в ятвяжской форме) и др. В другой работе [Топоров 1959а] Владимир Николаевич анализировал ятвяжские названия рек с суффиксом *-da* (ср. прусск. *unds* 'вода') типа *Ясельда, Голда, Гривда, Соколда*. В XII–XIII вв. ятвяжские поселения ограничивались на юге течением Нарева на участке от устья Бебжи до истоков Свислочи. Однако, как считал В. Н. Топоров, есть основания предположить, что в более ранний период эта граница проходила значительно южнее. Следы западнобалтийского (пруско-ятвяжского) гидронимического типа тянутся от Нарева на юг вплоть до притоков Днестра. Гидронимический ареал, установленный В. Н. Топоровым, объясняет контакты балтийских языков с фракийским, иллирийским, германскими и иранскими языками, а также совпадает в общих чертах с ареалами археологических культур, прямо связываемых с западными балтами или имеющих балтийские элементы, — это поморская культура середины I тыс. до н. э. (см. [Седов 1979: 50–51]) и частично зарубинецкая культура конца II в. до н. э. — до начала II в. н. э. [Там же: 74 и сл.].

Тесно связаны с ятвягами (судинами) были, по-видимому, галинды — во всяком случае, оба племени упоминаются у Птолемея (II в. н. э.) вместе. Этноним *галинды* и этнотопонимы, отражающие название этого племени, фигурируют во многих работах Владимира Николаевича. Его взгляды на значение этого этнонима и на территорию распространения галиндов по топонимическим данным впервые были развернуто изложены в большой статье «Γαλίνδαи — *Galindite* — *голядь* (балт. \**Galind-* в этнолингвистической и ареальной перспективе)» [Топоров 1980б] (в более сжатом виде эта информация повторена в словаре «Прусский язык» и в нескольких статьях и тезисах докладов). Изучая древние источники, Владимир Николаевич пришел к выводу, что галинды (и судины) «обитали существенно восточнее южной и юго-восточной Пруссии. Если обратиться к этнической карте Восточной Европы за первые двести лет нашей эры, то единственное место для галиндов и судинов, отвечающее описанию Птолемея, — пространство между Верхним Сожем на востоке и Окой до ее поворота к востоку около Калуги на западе (полоса в полтораста — двести километров длиной)» [Там же: 125].

Критически разбирая различные гипотезы, автор на основе гидронимических и ойконимических данных уточняет границы как прусской Галиндии, так и других «галиндских» территорий. Топонимы типа *Гольдин*, *Гольда* встречаются к югу от Припяти; племя *голядь* упоминается в русских летописях с самого начала II тыс. н. э. на Протве. В Московской и прилегающих к ней областях многочисленны географические названия с этой основой, ср. дер. *Гольди* в Тверской губ., речки *Гольдь*,

*Гольдинка* и др. в бассейне Оки и ее притока Москвы, дер. *Гольяжье* в Орловской губ. и т. д. С основой *Гольд-* нередко соседствует основа *Суд-* в топонимах (вероятно, связанная с другим западнобалтийским этнонимом *судины*: отнесение в древних источниках названий *судины* и *ятвяги* к одному и тому же племени В. Н. Топоров считает несомненно доказанным), ср. сгущение названий с элементом *Суд-* в юго-восточной части Верхнего Поднепровья (бассейны Сожа и Десны) — *Судинка, Судка, Судость*. [Следует, однако, заметить, что гидронимы с основой *Суд-* еще недостаточно изучены. Существует вероятность объяснения этой основы из финно-угорских языков (теоретически это возможно и для Верхнего Поднепровья), ср. названия рек *Суда* Вологод. обл., пр. Волги, *Судогда* Владимир. обл., пр. Клязьмы. Славянская версия тоже требует дополнительного изучения. — Р. А.]

Исследования археологов подтвердили возможность принадлежности некоторых культур указанных регионов западным балтам. В. Н. Топоров отмечает, что, хотя причины миграции западнобалтийского населения в бассейн Припяти и далее к востоку в верховья Днепра и его левых притоков, а также в бассейн Оки остаются неясными, в этих областях действительно обнаруживаются следы западнобалтийского типа.

При изучении балтийской топонимии (как западных областей, так и территории Русской равнины) большое значение имеет проблема балто-славянских языковых отношений. Этому дискуссионному вопросу В. Н. Топоров уделил самое пристальное внимание. Он даже ввел понятие балто-славянской топонимии (условно — топонимии периода балто-славянской общности), — когда названия рек одинаково хорошо объясняются и на балтийской, и на славянской почве [Топоров 1966в]. Теоретическое обоснование этого явления восходит к сформулированной Владимиром Николаевичем общей концепции происхождения протославянского языка из южных, периферийных диалектов первоначального балтийского (западнобалтийского) ареала (отсюда особая близость праславянского к западнобалтийским, прусско-ятвяжским диалектам). Поэтому, по мнению ученого, выявление многочисленных «балтийских» элементов на территориях, где балтийский этнический слой давно исчез или даже вовсе не засвидетельствован исторически (обширные восточнославянские территории, земли к западу от Вислы и т. д.), позволяет утверждать, что применительно к этим территориям термины «балтийский» и «славянский» не противопоставляются ни этнически, ни лингвистически. Тем не менее, отношение этих терминов не лишается своего смысла: оно реализуется в иной перспективе — исторической и стадиально-типологической [Топоров 1973а: 94]. В. Н. Топоров рассматривает лингвистическую ситуацию в бассейнах

Верхнего Днепра, в Подмосковье и в смежных частях бассейна Оки (существовавшую еще во второй половине I тыс. н. э., а в отдельных местах и позже) как ситуацию постепенного перерастания балтийского элемента в восточнославянский (конкретно — великорусский). Фактически это был локальный вариант балто-славянского языкового единства, в котором уже ощущались тенденции к лингвистической и этнической дифференциации.

С этой точки зрения следует рассматривать и выводы, к которым В. Н. Топоров пришел в результате изучения верхнеднепровского и смежных с ним «балтоидных» гидронимических ареалов на Русской равнине. Особое место среди работ Владимира Николаевича занимает написанная в соавторстве с О. Н. Трубачевым книга «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья» [Топоров, Трубачев 1962].

Монография двух известных ученых, изданная в 1962 г., не устарела и не утратила до сих пор своей научной ценности. Это книга, ставшая классическим образцом топонимического исследования. Прежде всего, авторы досконально знали и существенно пересмотрели труды своих предшественников, изучавших гидронимию региона Верхнего Поднепровья: А. Л. Погодина, А. А. Кочубинского, К. Буги, А. И. Соболевского, М. Фасмера, А. А. Шахматова, Я. Эндзелена и др. Гидронимия в монографии рассматривается во всей совокупности названий, собранных по самым полным известным источникам. Совершенно новой стала методика лингвистического анализа: формальный анализ названий по финалям предшествует вычленению формантов — суффиксов *sui generis*, после чего идет подробный словообразовательный анализ гидронимического массива. На этой твердой базе уже строится этимологический анализ с последующими выводами о языковой принадлежности гидронимов, а также формулируется концепция этнической и диалектной дифференциации Верхнего Поднепровья на материале гидронимии.

В работе сделаны выводы, имеющие большое значение для языковедов и историков. Так, например, уточняется северная граница иранцев и, соответственно, южная граница балтов: балто-иранские этноязыковые контакты происходили на юго-восточной окраине Верхнего Поднепровья, на территории бассейна р. Сейм. Если следы иранцев в бассейне Сейма никем не оспаривались, то прежде никто не предполагал, что следы балтов заходили так далеко на юго-восток. Гипотеза авторов подкрепляется скоплением балтийских гидронимов в указанном регионе (*Обеста, Кубрь, Вабля, Турейка* и др.). Другис большие скопления балтийских гидронимов обнаружены в бассейнах Десны, Сожа, Березины, Припяти. При этом найдены балтийские названия не только

к северу, но и к югу от Припяти, в результате пересмотрена старая точка зрения на р. Припять как на естественную границу, отделявшую балтов от славян, и одновременно уточнен характер этой южной периферии балтийского гидронимического ареала по Днепру. Намечены направления, в которых продолжается, хотя и в меньших количествах, балтийская гидронимия: к востоку верховья Оки и Москвы, к северо-востоку правобережье Верхней Волги, к северу — уже переход балтийской гидронимии в бассейн Западной Двины. Впервые сделан однозначный и неоспоримый вывод о том, что территория Верхнего Поднепровья в I тыс. — первых всках II тыс. н. э. была заселена племенами балтийского происхождения. Впервые поставлен вопрос о диалектной дифференциации субстратных балтийских названий этого региона и показаны трудности и пути решения этой проблемы.

Помимо иранского и балтийского этнических компонентов, по данным гидронимии в Верхнем Поднепровье выявлены следы финно-угорского компонента — как западнофинского, так и волжско-финского. Для хронологически более позднего славянского элемента материал гидронимии не имеет такого определяющего значения, как для более ранних и ассимилированных славянами этносов, однако он позволяет уточнить и подтвердить пути расселения славян в регионе, хронологию освоения славянами иноязычных названий, хронологию и особенности славяно-финского и славяно-иранского языкового взаимодействия. После этой работы уже стало невозможно говорить о том, что восточные славяне вступили в контакт с финнами раньше, чем с балтами (точка зрения В. Кипарского и Ф. Ойнаса).

В. Н. Топоров стал первым ученым, систематизировавшим и изучившим большой массив названий бассейна верховьев Оки и Москвы, продолжающий верхнеднепровский ареал древней балтийской гидронимии. В статье «*Baltica Подмосковья*» [Топоров 1972a] рассмотрены более 300 гидронимов Подмосковья (Московской и прилегающих к ней областей), которые с большей или меньшей степенью достоверности могут считаться балтийскими по происхождению, причем термин «балтийский», в согласии с общей концепцией автора (см. выше), не противопоставляется термину «славянский». На основании анализа всей совокупности примеров предлагается вариант восточной границы балтийского элемента в Подмосковье. К северу от р. Москвы балтийские названия с несомненностью отмечаются в бассейнах ее крупнейших левых притоков Рузы и Истры и в непосредственном соседстве с ними (*Иночь, Яуза, Ичка* и др.). В бассейне Клязьмы балтийских названий гораздо меньше, и многие из них подверглись финской адаптации. К югу от Москвы балтийские названия достаточно многочисленны и, как пра-

вило, вполне достоверны (*Лусянка, Сетунь, Лоша, Руть, Нара, Таруса, Вилейка* и др.). В целом надежность балтийского происхождения названий выше на юго-западе Подмосковья и существенно снижается по мере продвижения на восток. Словообразовательный анализ гидронимов показывает, что набор их формантов может быть сопоставлен с таким же набором в балтийских гидронимах Верхнего Поднепровья, но в Подмосковье эти форманты в большей степени затемнены более поздними суффиксами славянского типа.

В статье «Древняя Москва в балтийской перспективе» [Топоров 1982], опубликованной через десять лет после предыдущей, В. Н. Топоров продолжает и развивает тему балтийской гидронимии Подмосковья, при этом устраняет некоторые прежние ошибочные объяснения и неточности. В любом случае территория Москвы оказывается внутри балтийского ареала, даже если она граничит с начинающимся к востоку другим ареалом (финно-угорским). Автор учитывает тот факт, что в районе Москвы соприкоснулись два крупных восточнославянских племени (кривичи пришли с северо-запада, вятичи — с юго-запада), которые не впервые встретились здесь с балтийскими племенами, а уже раньше контактировали с ними в верховьях Западной Двины и Волги и в северной части Верхнего Поднепровья (кривичи), и в Поочье и Подесенье (вятичи). Существенным для этнолингвистической ситуации в Подмосковье В. Н. Топоров считает следующее: «если граница между гидронимией балтийского и финноязычного типа вполне реальна, то между балтийской и славянской гидронимией никакой границы установить не удастся» [Там же: 7]. Эта особенность говорит о сосуществовании на данной территории в определенный период (начиная со второй половины I тыс. н. э.) двух разных этноязыковых комплексов (балтийского и славянского), а также о хронологических различиях между ними: «балтийский элемент предшествовал здесь славянскому, который внедрялся в уже готовую гидронимическую номенклатуру, занимая свободные ячейки и частично трансформируя, “осваивая” уже имевшийся инвентарь названий» [Там же].

В статье приводится также обширный археологический, исторический, фольклорный, диалектный и др. материал, свидетельствующий о балтийском аспекте ранней истории Москвы. Диалектная принадлежность ряда балтийских гидронимов Москвы определяется как западнобалтийская (голядская).

Три части работы «Балтийский элемент в гидронимии Поочья» [Топоров 1988а; 1989а; 1997б] представляют собой этимологический словарь гидронимов Поочья, отнесенных В. Н. Топоровым к предположительно балтийским. В словарных статьях приводятся восточнобалтий-

ские и западнобалтийские параллели к гидронимам данного региона. Пример [Топоров 1997б: 301–302]:

**Осма**, река в бассейне Сежи. По мнению автора, несомненный гидронимический балтизм, отмеченный ранее и для Верхнего Поднепровья (*Осьма, Восьма*), и для Подмосковья (*Восма*), и для бассейна р. Великой (*Осмоуха*). Ср. лит. *Ašmenà*, лтш. *Asmenų-ežers* и др. — от основ \**Asma*, \**Asmen-*, \**Asman-*.

В одной из своих ранних работ [Топоров 1959а] В. Н. Топоров предположил, что гидронимы типа лит. *Ašmenà* (основа, представленная в лит. *ašmiõ*, лтш. *asmens* ‘острие, лезвие ножа’; авест., др.-перс. *asman* ‘камень’) и лит. *Akmenà* (из лит. *akmiõ*, *ākmenas* ‘камень’) отражают дублеты и.-е. \**akmen-* и \**akmen-* ‘камень’. Характерно, что в самом ближайшем соседстве с Осмой находится *Каменка* и что именно в этом «микроареале» наблюдается особое сгущение «каменных» рек (ситуация, схожая с той, что наблюдается в Верхнем Поднепровье и в восточной части Литвы).

Продолжая поиски балтийских названий к востоку от бассейна р. Оки, Владимир Николаевич публикует статью «Балтийские следы на Верхнем Дону» [Топоров 1997а]. Стимулом для исследования гидронимии Верхнего Дона В. Н. Топорову послужило, с одной стороны, желание уточнить восточную границу балтийского этнолингвистического ареала, определенного в ходе предыдущих изысканий, а с другой стороны — наличие некоего «провального» пространства в балтийском гидронимическом массиве, что потребовало особого учета и соответствующего объяснения. Это пространство, считавшееся «пустым» от гидронимических балтизмов, находится приблизительно между Новосилем и Тамбовом, т. е. между восточной границей Окского бассейна на западе (Неручь, Зуша, Плава на правом берегу Оки) и течением Цны на востоке.

Учитывая археологические данные (соседняя с этим регионом фатьяновская культура II тыс. до н. э., отождествляемая с протобалтами) и более поздние языковые данные II–VII вв. н. э. (присутствие балтийского элемента в гидронимии и говорах окско-рязанского локуса — между устьем Москвы и устьем Цны), автор предполагает, что на вопрос о присутствии в Подонье балтийского гидронимического слоя может быть дан положительный ответ. Исследование носит предварительный характер и основано на двух-трех десятках примеров, из которых часть может быть достаточно убедительной, другая — в разной степени вероятной. Пример [Там же: 321]:

**Лопайка**, река. Название в точности совпадает с лит. *Lapaika*. Этимология основы: либо от названия лисы (ср. лит. *Lapainis*, лтш. *Lapaine*, прусск.

*Lapaunen* и др., либо от названия листа (ср. лтш. *Lapas-egzers*, *Lapu-plava* и др.). Ср. также днепровское (басс. Десны) *Лопанка* на стыке балтийского и иранского ареалов, где есть по соседству р. *Ропша* (от иранского названия лисицы) и калькирующее ее русское название *Лисичка*.

В небольшой, но очень важной для истории и лингвистики статье «К вопросу о древнейших балто-финноугорских контактах по материалам гидронимии» [Топоров 1997в] В. Н. Топоров ставит вопрос о языковых контактах на территории Верхнего и Среднего Поочья и Верхнего Дона. Именно здесь «произошла встреча балтийского и финноязычного элементов, а позже, с конца I тыс. н. э. и встреча славянского (“вятичского”) элемента как с балтийским, так и с финноязычным. Более того, характер этих встреч позволяет говорить о динамической ситуации: при наличии границ, с одной стороны, нужно предполагать, с другой, их подвижность и легкую проницаемость. Балтийские элементы обнаруживаются и по другую сторону, в глубине финноязычного ареала, и финноязычные элементы появляются то там, то тут в пределах балтийского ареала» [Там же: 325].

На основании гидронимических данных В. Н. Топоров формулирует совершенно новую, нетрадиционную гипотезу о соотношении балтийского и финно-угорского этноязыковых элементов в целом в Восточной Европе. Высказывается, в частности, предположение, что между III и I тысячелетиями до н. э. (для некоторых мест и позже) балты и финноязычные народы были не только соседями, но во многих случаях жили попеременно на одной и той же территории, что приводило к их активным контактам, вплоть до смешений.

Итогом исследований восточноевропейских периферийных зон древнего балтийского гидронимического ареала и результатом анализа отдельных частей этого ареала стали выводы В. Н. Топорова о максимальных границах балтийского ареала, определяемых линией: граница Эстонии и Латвии — Псков — южное Приильменье — Торопец — Тверь — Москва — Коломна — верховья Дона — Тула — Орёл — Курск — Чернигов — Киев — Житомир — Ровно — Варшава — Быдгощ — Колобжег [Топоров 2006а: 18]. Отдельные балтизмы встречаются в виде островков и за пределами этой линии. В целом балтийская гидронимия этого максимального ареала отличается высокой степенью единства как по инвентарю, так и по хронологическим характеристикам. «Эта “изохронность” балтийской гидронимии предполагает или древнее языковое единство данной обширной территории, или некий этнодемографический “взрыв”, приведший к распространению гидронимии единого типа на больших пространствах, видимо, в довольно сжатые сроки. Обе эти возможности имеют непосредственное отно-

шение к генезису балтов и архаичного балтийского языкового типа» [Там же].

\* \* \*

Перечисленными в этом кратком обзоре работами В. Н. Топорова далеко не исчерпывается его вклад в изучение топонимии балтийского происхождения. Здесь были рассмотрены лишь труды фундаментального и новаторского характера, составляющие, как представляется автору обзора, основные вехи творческой деятельности Владимира Николаевича в указанной области (полный список топонимических трудов В. Н. Топорова см. в его библиографии — [Библиография 2006]).

Остается добавить, что Владимиру Николаевичу Топорову, как всякому большому ученому, было свойственно постоянное движение вперед, постоянное развитие творческой мысли. Владимир Николаевич всегда был готов пересмотреть свои прежние выводы, если они уже не соответствовали новым фактам, обнаруженным им самим или другими исследователями. Наглядным примером тому служит динамика его многолетних исследований балтийских языков и балтийской топонимии. Стремление В. Н. Топорова уточнить границы древнего ареала балтов нашло воплощение в ходе все более углубленного изучения конкретных языковых фактов, подтверждавших основную концепцию ученого.

К сожалению, Владимир Николаевич не успел окончить некоторые начатые интересные работы в области топонимики, и многие его замыслы остались нереализованными.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Библиография 2006 — Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) / Сост. Г. Г. Грачева, авторы вступит. статей Вяч. Вс. Иванов, Н. Н. Казанский. М., 2006.
- Иванов, Топоров 1976 — Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров. Мифологические географические названия как источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории славян // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976.
- МНМ — Мифы народов мира. Т. 1–2. М., 1987–1988.
- Седов 1979 — В. В. Седов. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
- Топоров 1959а — В. Н. Топоров. Две заметки из области балтийской топонимики // *Rakstu krājums veltījums akad. Jānim Endzelinam*. Rīga, 1959.
- Топоров 1959б — В. Н. Топоров. О балтийских следах в топонимике русских территорий // *Lietuvių kalbotyros klausimai*. 1959. Т. 2.
- Топоров 1962а — В. Н. Топоров. Из области теоретической топониматики // *Вопр. языкознания*. 1962. № 6.

- Топоров 1962б — В. Н. Топоров. Некоторые задачи изучения балтийской топонимии русских территорий // Вопр. географии. Сб. 58. Географические названия. М., 1962.
- Топоров 1962в — В. Н. Топоров. О некоторых проблемах изучения древнеиндийской топонимики // Топонимика Востока. М., 1962.
- Топоров 1963 — В. Н. Топоров. К проблеме классификации в топонимии // Исследования по структурной типологии. М., 1963.
- Топоров 1964а — В. Н. Топоров. Некоторые соображения в связи с построением теоретической топонимии // Принципы топонимики. М., 1964.
- Топоров 1964б — В. Н. Топоров. Несколько иллирийско-балтийских параллелей из области топонимии // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.
- Топоров 1966а — В. Н. Топоров. Из наблюдений над ареальной дифференциацией балтийской гидронимии // Конф. по топонимике Северо-Западной зоны СССР: Тезисы докл. и сообщ. Рига, 1966.
- Топоров 1966б — В. Н. Топоров. К вопросу о топонимических соответствиях на балтийских территориях и к западу от Вислы // Baltistica. Vilnius, 1966. I (2).
- Топоров 1966в — В. Н. Топоров. О балтийских элементах в гидронимии и топонимии к западу от Вислы // Slavica Pragensia. VIII. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. 1966. 1—3.
- Топоров 1966г — В. Н. Топоров. О балтийском элементе в гидронимии Верхнего Нарва // Studia linguistica slavica baltica Canuto-Olavo Falk. Lundae, 1966.
- Топоров 1969 — В. Н. Топоров. О палийской топонимии // Топонимика Востока: Исслед. и мат-лы. М., 1969.
- Топоров 1972а — В. Н. Топоров. «Baltica» Подмосквья // Балто-славянский сборник. М., 1972.
- Топоров 1972б — В. Н. Топоров. О балтийском элементе в Подмосквье // Baltistica. Vilnius, 1972. № 1.
- Топоров 1973а — В. Н. Топоров. К вопросу о балтизмах в славянских языках. (Теоретический взгляд) // Известия АН Латвийской ССР. 1973. № 2.
- Топоров 1973б — В. Н. Топоров. К фракийско-балтийским языковым параллелям // Балканское языкознание. М., 1973.
- Топоров 1975—1990 — В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. Т. 1—5. М., 1975—1990.
- Топоров 1977 — В. Н. Топоров. Балт. \*Galind- в этно-лингвистической и ареальной перспективе // Проблемы этнической истории балтов: Тезисы докл. Рига, 1977.
- Топоров 1980а — В. Н. Топоров. Vilnius, Wilno, Вильна: город и миф // Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980.
- Топоров 1980б — В. Н. Топоров. Galindai — Galindite — голядь (балт. \*Galind- в этнолингвистической и ареальной перспективе) // Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. Рига, 1980.
- Топоров 1981 — В. Н. Топоров. Категории времени и пространства и балтийское языкознание // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981.
- Топоров 1982 — В. Н. Топоров. Древняя Москва в балтийской перспективе // Балто-славянские исследования. 1981. М., 1982.
- Топоров 1984 — В. Н. Топоров. Oium Иордана (Getica, 27—28) и готско-славянские связи в Северо-Западном Причерноморье // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья: Лингвистика, история, археология. М., 1984.

- Топоров 1987 — В. Н. Топоров. Об одном архаичном индоевропейском элементе в древнерусской духовной культуре — \*svet- // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.
- Топоров 1988а — В. Н. Топоров. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. I // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988.
- Топоров 1988б — В. Н. Топоров. К реконструкции древнейшего состояния праславянского // Славянское языкознание. X Междунар. съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1988.
- Топоров 1989а — В. Н. Топоров. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. II // Балто-славянские исследования. 1987. М., 1989.
- Топоров 1989б — В. Н. Топоров. Об иранском элементе в русской духовной культуре // Славянский и балканский фольклор. М., 1989.
- Топоров 1991 — В. Н. Топоров. Об одной топонимической катастрофе // Вторая Всесоюз. научно-практич. конф. «Исторические названия — памятники культуры». 3-5 июня 1991 г.: Сб. мат-лов. Вып. 1. М., 1991.
- Топоров 1997а — В. Н. Топоров. Балтийские следы на Верхнем Дону // Балто-славянские исследования. 1988—1996. М., 1997.
- Топоров 1997б — В. Н. Топоров. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. III // Балто-славянские исследования. 1988—1996. М., 1997.
- Топоров 1997в — В. Н. Топоров. К вопросу о древнейших балто-финноугорских контактах по материалам гидронимии // Балто-славянские исследования. 1988—1996. М., 1997.
- Топоров 2006а — В. Н. Топоров. Балтийские языки // Языки мира: Балтийские языки. М., 2006.
- Топоров 2006б — В. Н. Топоров. Прусский язык // Языки мира: Балтийские языки. М., 2006.
- Топоров, Трубачев 1961 — В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Балтийская гидронимия Верхнего Поднепровья // Lietuvių kalbotyros klausimai. 1961. Т. 4.
- Топоров, Трубачев 1962 — В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.



Ж. Ж. ВАРБОТ

## О возможности альтернативного истолкования одного гидронимического гнезда

Одним из перманентных и продуктивнейших направлений балто-славянских исследований В. Н. Топорова был анализ происхождения гидронимов на территории России с акцентом на выявление балтизмов. Его труды в этой области являются мощным основанием для реконструкции древнейших языковых, этнических, культурных контактов балтов и славян. Одна из первых фундаментальных работ этого цикла — совместное исследование В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья» (М., 1962). На основе словообразовательного и этимологического анализа авторами были выделены обширные массивы гидронимов собственно славянского происхождения и балтизмов. Представляется, что для одной группы (точнее — гнезда) предполагаемых балтизмов допустимо альтернативное истолкование — на почве славянского лексического фонда.

Речь идет о гидронимах *Стрена*, *Стряна* — названиях правого притока Десны, и *Стрячи* — названии правого притока Черницы, левого притока Колпенки, левого притока Остра и левого притока Сожи. Для двух первых авторы книги предположили заимствование лит. *Stirna*, *Stirne* (река), а в отношении *Стрячи* согласились с предположением К. Буги о заимствовании лит. *Sirinčia* [Топоров, Трубачев 1962: 209]. Судя по материалам собрания русских гидронимов М. Фасмера, однокоренные с данными названиями гидронимы имеют весьма широкое распространение: см. *Стречь* (с вариантом *Остречь*) — левый приток Свири (олонец.), *Стречка* — река близ Гобзы (смол.), *Стречно* — источник Черной (петерб.), *Стречное* — озеро в районе Сенное (могилев.), *Стреченка* — озеро в районе Лепеля (витебск.), *Стретенка* — правый приток Перевесенки (сарат.), правый приток Хопра (сарат.), *Сречинка* — правый приток Снови (Чернигов.) [Vasmer 1961–1969: 11, 379, 411]. Связь с этой группой возможна, далее, для названия села *Страчи* (*Страци*) на реке Волчанка (на Алтае) [Дмитрисва 2001: 177]. Уже сам ареальный разброс этих названий позволяет, кажется, подозревать их славянское происхождение. Существенна, далее, вариантность корневых гласных и согласных. Вариантность *e/a* (ср. *Стрена*, *Стречка* — *Стрячи*) свидетельствует о вероятности корневого чередования \**e* (или \**ě*) с \**ę* (даже если считать *e* в олонец. *Стречь*, *Остречь*

следствием изменения первичного \**a*). Чередование *m/ч* (*Стретенка* — *Стреченка*) говорит о первичности корневого \**tj* и существовании варианта корня (основы) с \**tj*, а вариантность основ *Стрен-/Стрет-* обнаруживает первичность для конца основы сочетания \**tn*, что нередко в именах, производных от глагольных *-nu-* (\**-nq-*)-основ, как и в самих этих глаголах (ср. \**kydati* — \**kynoti* — русск. диал. *кинуть* ‘бросать’, укр. *перекинчик* ‘перебежчик’). Наконец, вариантность начальных сочетаний *sr-/str-* (*Сречинка* — *Стретенка*) — явное свидетельство корня *e* начальным первичным русским *sr-* (при вероятности как праслав. \**sr-*, так и \**sъr-*). Таким образом, анализ вариантов этой группы структурно близких гидронимов подводит к реконструкции вариантов глагольных по происхождению основ \**s(ъ)re/ě/ęt-/s(ъ)re/ě/ętj-/s(ъ)re/ě/ęm-*, которые могут быть отождествлены с известными глагольными праслав. \**sъrět-/sъręj-/sъrěm-* ‘найти, обрести, встретить’ > др.-русск. *сърѣсти*, *сърачѣ* (наст. вр.), позднее *стрѣтити*, *стрѣчѣ* и русск. просторечн. *стренуть*. От этих основ в славянских языках образованы существительные ц.-слав. *сърѣтъ* ‘встреча’ (Гр. Наз.), русск. *встреча*, ст.-слав. *сърѣща*, русск. диал. арханг. *встрѣна* ‘встреча’ (СРНГ 5, 215), словен. *srenja* ‘община’ и подобные. Очевидно, эти производные структурно соответствуют рассматриваемой группе гидронимов, что свидетельствует о формальной возможности истолкования гидронимов на базе данного глагольного гнезда. Существенным аргументом в ее поддержку является фиксация на Русском Севере вариантных (хотя и относящихся к разным природным объектам) названий *Стрѣчное* — урочище в устье реки Колочь (впадающей в реку Суда) и *Встрѣчный* — ручей (Онежский р-н Архангельской обл.) (ТЭУрГУ), вариантность которых делает явной производность от *встреча* или *встретить/встречу*.

Обратимся к семантической стороне предлагаемой реконструкции, то есть к мотивации ‘встреча’ → ‘гидроним’. Близкое к рассматриваемым гидронимам по мотивационной модели диалектное *здравствуй* ‘расстояние между двумя изгибами реки’ (север.) и топоним *Здравствуй*. мыс (карог.) Е. Л. Березович сопоставила с названием «ручья *Прости-Здорово-Ёль* (коми), который пересекает дорогу на равном расстоянии от двух населенных пунктов, что дало А. К. Матвееву основание для следующей реконструкции семантики этого топонима — ‘Ручей, где встречаются и расстаются» [Березович 2000: 397], — то есть подразумевается мотивация по встрече людей. Представляется, однако, что случай *Прости-Здорово-Ёль* может быть мотивационно отличен от *здравствуй* ‘расстояние между двумя изгибами реки’ и рассматриваемого гнезда гидронимов: в последнем названия относятся по преимуществу



к притокам — водным потокам, «встречающимся» с главной рекой, к урочищам и озерам — месту «встречи» нескольких потоков (см. выше *Стрѣчное, Стреченка*), и расстояние между двумя изгибами реки (точнее, может быть, место, пространство их сближения?) также может толковаться как их «встреча». Эта модель обозначения места стыка, соединения топонимических объектов как их встречи подтверждается употреблением словацкого глагола *stretat' sa* в значении 'сходиться, сближаться' по отношению к дорогам [SSJ IV: 288] и хорв. диал. *kade se srēte čēsī* 'где пересекаются дороги' [Kalsbeek 1998: 551]. Как косвенный аргумент может рассматриваться и реализация в семантическом поле 'перекресток' антонимичной мотивационной модели — на базе семантики 'расставание': русск. диал. *рѳсстáнь* 'перекресток или разветвление дорог' (арханг., олон., пск., казан., сарат., калуж. и др.), *рѳсстáнье* 'развилка дорог' (арханг., казан., краснояр. и др.), *рѳсстано* 'перекресток дорог' (тобол.) [СРНГ 35: 192–193].

Известно, что имена собственные, особенно топонимы, гидронимы, очень часто подвергаются народноэтимологическим преобразованиям. Поэтому, предлагая то или иное этимологическое толкование для гидронима, следует помнить предостережение В. Н. Топорова о том, что научная этимология «нередко соскальзывает к народной этимологии (не всегда отдавая себе в этом отчет)» [Топоров 1986: 206]. Вполне возможно, что среди гидронимов рассмотренной группы есть лексемы неславянского происхождения, лишь вторичными преобразованиями вовлеченные в этимологическое гнездо глагола *встретить*. Однако артельная широта материала, семантическая реальность мотивационной модели и соответствие структуры гидронимов славянским словообразовательным моделям могут, кажется, служить оправданием для предложения этой гипотезы.

На фоне рассмотренных гидронимов и при учете изложенной гипотезы об их происхождении из славянского этимологического гнезда глагола \* (*сь*)*rěsti, s(ь)**rětjъ* > русск. *встретить*, просторечн. (*в*)*стренуть*, родство с этим глаголом можно предполагать также для русского *стрелка* как обозначения места слияния рек, ручьев, оврагов. Акцентирование в семантике этого слова семы рельефа — суженности, остроугольности (см. определение в словаре Даля: *стрелка* 'острый и долгий мыс, коса <...> особн. при сливе двух рек [Даль IV: 345]) является, вероятно, следствием вторичного сближения со словом *стрела*. В пользу этого толкования свидетельствуют русск. диал. *стрелка* 'перекресток дорог' [СлПерм 2: 408; СлСрУр VI: 67–68], 'развилка дорог' [СлКарел 6: 362]. Непосредственной производящей основой для *стрелка* 'место встречи' > 'перекресток' было причастие прошедшего времени (*в*)*стрел.*

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Березович 2000 — *Е. Л. Березович*. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург, 2000.
- Дмитриева 2001 — *Л. М. Дмитриева*. Ойконимический словарь Алтая. Барнаул, 2001.
- Даль — *В. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. М., 1955 (= 1882). Т. I–IV.
- СлКарел — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. СПб., 1994–2005. Вып. 1–6.
- СлПерм — Словарь пермских говоров / Сост. Г. В. Бажутина, А. Н. Борисова и др. Пермь, 2000–2002. Вып. 1–2.
- СлСрУр — Словарь русских говоров Среднего Урала / Гл. ред. П. А. Вовчок (Т. I), Н. П. Костина (Т. II), А. К. Матвеев (Т. III–VII). Свердловск, 1964–1988.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин (Вып. 1–23), Ф. П. Сороколетов (Вып. 24–41). Вып. 1–41. Л.; СПб., 1966–2007–.
- Топоров 1986 — *В. Н. Топоров*. О некоторых теоретических аспектах этимологии // Этимология. 1984. М., 1986.
- Топоров, Трубачев 1962 — *В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев*. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
- ТЭУрГУ — Лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского государственного университета / Кафедра рус. яз. и общего языкознания филологич. фак-та Уральского гос. ун-та. Екатеринбург.
- Kalsbeek 1998 — *J. Kalsbeek*. The Čakavian Dialekt of Orbanici near Žminy in Istria (= Studies in Slavic and General Linguistics. V. 25). Amsterdam; Atlanta, 1998.
- SSJ — *Slovník slovenského jazyka / Vedecký redaktor dr. Št. Peciar*. D. I–VI. Bratislava, 1959–1968.
- Vasmer 1961–1969 — *M. Vasmer*. Wörterbuch der russischen Gewässernamen. Bd. I–V. Berlin; Wiesbaden, 1961–1969.

G. BLAŽIENĖ

## Zu den altpreussischen dehydronymischen Oikonymen (2)

2006 erschien in *Indogermanischen Forschungen* Bd. 111 der Beitrag von der Autorin, in dem die dehydronymischen Oikonymen im Samland behandelt worden sind<sup>1</sup>. Der vorliegende Beitrag umfasst die altpreussischen dehydronymischen Oikonyme, die sich im UG<sup>2</sup>, das die Autorin im Sonderband III der Reihe *Hydronymia Europaea* bearbeitet hat, befinden. Die Gewässer bekanntlich spielten eine große Rolle im Leben der alten Preußen. An ihnen gegründete Siedlungen bekamen meisten den Namen des Gewässers<sup>3</sup>. Die Arbeiten von altpreussischen Gewässernamenforschern wie V. Pėteraitis und M. Biolik sprechen das Verhältnis von Orts- und Gewässernamen an. V. Toporov führt in seinem sehr wertvollen thesaurusartigen Werk *Prusskij jazyk. Slovar'* fast alle altpreussischen Gewässernamen und Oikonyme bis zum Buchstaben *M* an, erschließt aber die Wechselbeziehungen zwischen den Gewässernamen und Siedlungsnamen nicht. V. Toporov hat in seinem Wörterbuch der altpreussischen Sprache andere Ziele verfolgt. Dem Forscher ging es darum, die gemeinsame Wurzel der altpreussischen Eigennamen hervorzuheben. z. B. unter **\*blud-** werden der Flußname *Bludow*, der Dorfname *Blodewe*, die Personennamen *Kuncz Blode*, *Bludit* aufgeführt<sup>4</sup>.

Nun folgt eine Auflistung der dehydronymischen Oikonyme im UG des Sonderbandes III der Reihe HE.

**Allenau**, Kr. Friedland, 1370 *Alnow* OF 105 57<sup>r</sup>, 1397 *das dorf Alnow* OF 105 129<sup>r</sup> um 1400, 40 1400 *Alnow* OF 109 147, OF 111 86, 1437/ 38 *Alnow hat 59 huben* OF 131 193, 1469 *im dorffe Alnow im gebitte Konigsberg im camerampte Tapiau gelegen* XXXV 67, 1480 *im dorffe Alnow im gebite Tapiau gelegen* XXXV 70, 1480 *im dorfe Alnow im Tapiauschen gelegen* OF 99 88, [1489] ... *dem dorff Alnow 20 huben...* OBA 17461, 1508/1509 *Alnow* OF 135 87, 1524 *Alnow das dorff* Ostpr. Fol. 10766 13, 1540 *Alnow* Ostpr. Fol. 911a 34 I 17, 40, *Alnow* Ostpr. Fol. 911a 34 II 7, 1623 *Allenaw hat 65 huben* Ostpr. Fol. 2136 34, 1785 *Allenau* [Goldbeck 1875: 5], 1804 *Allenau* [Schroetter 1802: XI], [1893] *Allenau* OV 8. Die Siedlung hat ihren

Namen von dem Fluss *Alna* bekommen, der 1251 als *Alna* belegt ist [Gerullis 1922: 9], vgl. noch 1483 *des dorfes zur Alno* OF 92 81. Den Fluß nannten die Deutschen seit dem 16. Jh. *Alle*. Die Polen nannten ihn *Łana*, seit dem Ende des 16. Jh. *Łyna* [Biolik 1996: 113–115]. Der FIN hat vielen Siedlungen den Namen gegeben, z. B. den Städten *Allenburg* [Froelich 1930: 56] und *Allenstein* poln. *Olsztyn* [Przybytek 1993: 196–197; Gerullis 1922: 9; Froelich 1930: 56] und V. Toporov [Топоров 1975–1990, I: 77–78] besprechen den Zusammenhang des ON mit dem FIN nicht und führen beide Namen auf apreuss. *alne* 'Tier' zurück, vgl. lit. *álnis*, *ėlnias* 'Hirsch', lett. *álnis*. G. Froelich [Ibid.] betont, dass *Allenau* an der *Alle* liegt. 1933 veröffentlichte G. Gerullis einen kleinen Beitrag *Der blosse Tiername als Gewässerbezeichnung im Baltischen*, wo er meint (S. 37), dass dem apreuss. FIN *Alna* so wie dem lit. FIN *Alnà* eine baltische Wurzel *-al-* (*-el-*) zugrunde liegt und der man die Bedeutung von 'fließen' zuschreiben kann. Diesen Beitrag von G. Gerullis übergehen die anderen Forscher. V. Toporov [Там же] verbindet den FIN mit dem ON nicht, er führt beide Namen auf apreuss. *alne* 'Hindin' zurück. Andere Forscher sehen darin die idg. Wurzel *\*el-/\*-ol-* 'fließen, strömen' [Krahe 1964: 36; Pėteraitis 1992: 63; Biolik 1996: 113–115]. V. Mažiulis [1988–1997, I: 68] meint, dass der FIN mit dem Suff. *\*-nā-* aus dem (balt =) idg. *\*el-/\*-ol-* 'beugen, biegen' abgeleitet wurde. Schon bei C. Hennenberger [1595: 6] gibt es Hinweise darauf, dass der Fluss windig war: «soll den Namen vom Ael (= Aal) haben, denn sie sich sehr krumb herumher windet». M. Praetorius [Praetorius 2004: 426] unterstreicht auch, dass 'Alla ein windiger Fluß' war. Zu dem lit. FIN *Alnà* s. Vanagas [1981: 40]. Die Belegreihe des ON ist ziemlich einheitlich, bis zur Mitte des 16. Jh. hat man in den handschriftlichen Quellen *Alnow*, *Alnow*. Der ON wurde mit dem Suff. *\*-av-/\*-ōv-* von dem FIN abgeleitet. Diesen Zusammenhang hat V. Pėteraitis [1997: 50] erkannt.

**Bahnau**, Kr. Heiligenbeil, 1437/38 *Banaw item die mol* OF 131 150, 1503 *Banauische Mühl* Ostpr. Fol. 1408 47, 1785 *Bahnauische Mühle* [Goldbeck 1875: 12], um 1790 *Bannausche M.* [Schroetter 1802: X], [1893] *Bahnau* OV 24. **Preußisch Bahnau**, Kr. Heiligenbeil, 1326 *sechs hufen im Felde Banaw* PUB II 375, 1466 *zu der Preuschen Bonaw im gebiete und camerampte Balge gelegen* OF 94 227–288, 1503 *Preuschbano hatt 10 huben* Ostpr. Fol. 1408 80, 1539 *Preusch banaw* Ostpr. Fol. 911a 2 32, 70<sup>r</sup>, 1540 *Preisch banaw* Ostpr. Fol. 911a III 26, 1540 *Prusch banaw* Ostpr. Fol. 911a 2 III 33, 1630 *Preusch bahmaw 7 1/2 huben* Ostpr. Fol. 1430 2, 1630 *Preusch Bahmaw* Ostpr. Fol. 1430 67<sup>r</sup>, 1785 *Preuß. Bahnau* [Goldbeck 1875: 12], um 1790 *Preuß. Bahnau* [Schroetter 1802: X], [1893] *Bahnau*, Pr. OV 26. **Deutsch Bahnau** Kr. Heiligenbeil, 1495 *bey der polnischen Banaw zum Heiligenbeyl, daß an dem Fluß neben der Karben wesen begrenzt* XXVI 67.

<sup>1</sup> Siehe [Blažienė 2006: 305–319].

<sup>2</sup> Nadrauen bis zum Auer-Fluß, im Norden bis nach Szargillen, die nördlichen Teile von Natangen, Barten und Ermland.

<sup>3</sup> Vgl. [Greule 2004: 43; Blažienė 2006: 305–308].

<sup>4</sup> [Топоров 1975–1990, I: 236].

1503 *Polnisch Bano* Ostpr. Fol. 1408 110, 1630 *Polnisch Bahnaw* Ostpr. Fol. 1430 156, 1785 *Polnisch Bahnau* [Goldbeck 1875: 12], [1893] *Bahnau Poln.* OV 24, seit 1933 *Deutsch Bahnau* (s. [Blažienė 2005: 48]). Drei Siedlungen haben am Fluss *Banow*, 1334 zum ersten Mal als *Banow* belegt (s. [Gerullis 1922: 16; Froelich 1930: 57; Biolik 1989: 2; Pėteraitis 1997: 69]) gelegen. G. Gerullis [1922: 16] stellt unsicher den FIN zu lit. *bangstas* 'Morast im Walde', V. Toporov [Топоров 1975–1990, 1: 191] bezweifelt den Zusammenhang mit lit. *bangstas*, weil dieses Wort zu anderen Wörtern mit *\*bang-* gehört, vgl. apreuss. *pobanginnons* 'bewegt', lit. *bangà* 'Welle'. Zugrunde liegt balt. *\*ban-*, vgl. den apreuss. SN *Banetin* [Gerullis 1922: 16], den lit. FIN *Bónė* [LUEV: 21]. Der kur. ON *Bane* [Kiparsky 1939: 84] wäre entgegen Biolik [1989: 2] auf den kur. PN *Bane* zurückzuführen und käme als Parallele nicht in Betracht. Die lett. Namen *Banīte*, Wiese, *Banīts*, Wald stellt J. Endzelins [1956: 83] fragend zu dem lit. FIN *Banė* und dem apreuss. FIN *Banow*. A. Vanagas [1981: 69] geht bei der Besprechung des lit. FIN *Bónė* vorsichtig von dem Zusammenhang mit aind. *bhāna-m* 'strahlen', *bhānū-h* 'Licht, Strahl, Sonne' aus. Er erwägt auch die Möglichkeit des Zusammenhanges mit dt. *Bahn*. V. Pėteraitis [1992: 73] verbindet *\*ban-* mit idg. *\*bha-*, *\*bho-* 'leuchten, strahlen'. W. Smoczyński, dessen Meinung bei Biolik [1993: 7] angeführt wird, fragt, ob der Name des Sees *Banetin* nicht zu mnd. *bane* 'Bahn, freier ebener Platz' gehört. Der FIN hat drei erwähnten Siedlungen den Namen gegeben, zwei Siedlungen haben die dt. Zusätze *Preußisch* und *Polnisch* später *Deutsch*, die in den ersten Belegen erscheinen.

**Ilischken.** Kr. Wehlau, um 1400 *Ilischken* OF 109 192, 1427 zu *Ilischken* Ostpr. Fol. 118 525<sup>5</sup>–526, 1564 *Ilischken* Ostpr. Fol. 911a 34 III 10<sup>6</sup>, 1589–1590 *Illischken* Ostpr. Fol. 11231 22, 1785 *Ilischken* [Goldbeck 1875: 22] 1803 *Ilischken* [Schroetter 1802: VI], [1893] *Ilischken Alt*, *Ilischken Neu* OV 190. Das Dorf lag am Fluß *Ilie*, das dem Dorf den Namen gegeben hatte. Der ON *\*Īl-isk-*, ist mit dem Suff. *\*-isk-* erweitert. Die Wurzel *\*-il-* begegnet man auch in den apreuss. GN *Ilantz*, *Ilauia* [Gerullis 1922: 48, 49]. Vgl. die lit. GN *Ylėlis*, *Ylyčią*, *Ylupis* [LUEV: 37], die mit lett. *ils* 'stockfinster' oder sl. *ilь* 'Schlamm' in Verbindung gesetzt werden [Gerullis 1922: 48–49; Vanagas 1981: 929; Biolik 1996: 73–74]. K. Būga [1958: 503] meint, dass der baltische FIN *\*Īlijā* mit sl. *ilь* 'Schlamm' verwandt sein kann. K. Būga [1961: 504, 883] stellt den Namen des linken Nebenflusses von der Neris *Илья* zu dem apreuss. FIN *Ilie*. V. Toporov [Топоров 1975–1990, 3: 38–39] bespricht sorgfältig alle Hypothesen und ist der Meinung, dass man von einer gemeinsamen balto-slavischen Quelle *\*il-u-* oder *\*il-o* ausgehen kann. V. Pėteraitis [1992: 96] führt die Wurzel *\*il-* auf idg. Wurzel *\*il-/el-/ol-*

'fließen, strömen' zurück, zu denen auch lett. *ils*, sl. *ilь*, gr. *ιλις* 'Schlamm' gehören. M. E. verdient die Meinung von V. Toporov große Aufmerksamkeit.

**Kirschnabeck.** Kr. Labiau, 1785 *Kirschelbeck oder Pakirsnen* zu *Laukischken* [Goldbeck 1875: 95], 1802 *Kirschelbeck* [Schroetter 1802: VI], [1893] *Kirschnabeck*, Alt, Dorf, Abbau OV. 224. Im 20. Jh. erscheint noch der dt. Zusatz *Neu* [Blažienė 2005: 84]. Der Name des Dorfes ist spät belegt. J. Gerullis hat diesen ON nicht. J. F. Goldbeck führt 1785 zwei Namen an, die mit dem apreuss. FIN *\*Kirsna* in Zusammenhang gebracht werden können. *\*Pa-kirsn-* ist mit dem Präf. *\*pa-* 'unter, bei, an' von dem FIN *\*Kirsna* abgeleitet. Der Flußname ist als *Kirschna Graben* im 20. Jh. belegt [Biolik 1996: 93–94]. *Kirschnabeck* hat im Grundwort ndt. *beek(e)* 'Bach' und im Bestimmungswort den FIN *\*Kirsna* (s. [Pėteraitis 1992: 106; 1997: 186; Biolik 1996: 93–94]). Der Beleg von 1785 *Kirschelbeck* hat im Bestimmungswort apreuss. *\*Kirs-el-*, zu apreuss. *kirsnan* 'schwarz'.

**Kirschnakeim.** Kr. Labiau, 1420 *an des dorffs grenzen zu Kirsnekaymen* Ostpr. Fol. 209 166<sup>7</sup>, 1540 *Kirschnekaym* Ostpr. Fol. 911a 13 36<sup>8</sup>, 1552 *Kirsnekaÿmen* Ostpr. Fol. 5255 248, 1573–1574 *Kirschenkaimen*, *Kirschnikaimen* Ostpr. Fol. 5266 57, 61, 1724–1725 *Kirschkeim* Ostpr. Fol. 5711 30, 48, 280, 1785 *Groß Kirschenkeim* zu *Laukischken*, *Kirschenkeimische*, *Klein Kirschenkeim* zu *Laukischken* [Goldbeck 1875: 95], 1802 *Gr.*, *Kl. Kirscheniekeim* [Schroetter 1802: VI], [1893], *Kirschnakeim Gr.*, *Kirschnakeim*, *Kl.* OV 224. Das Dorf lag am Fluß *Kirschna Graben*. Der Hydronym *\*Kirsna* wurde in eine andere Namenkategorie durch die Komposition mit dem Grundwort apreuss. *caymis* 'Dorf' übergeführt<sup>5</sup>. Zum Bestimmungswort vgl. die apreuss. GN *Kirsna*, See, *Kirsnappe*. Fluß [Gerullis 1922: 64], die auf apreuss. *kirsnan* 'schwarz' zurückgeführt werden, den lit. (jatv.) FIN *Kirsna* [LUEV: 75] und den lett. (seing.) FIN *Cersna* [Endzelins 1956: 164], den Endzelins zu apreuss. *kirsnan* stellt. S. [Pėteraitis 1997: 186]. Zu apreuss. *kirsnan* s. [Топоров 1975–1990, 4: 26ff; Mažiulis 1988–1997, 2: 198–199]. Im 18. Jh. erhält der ON die deutschen Zusätze *Groß* und *Klein*.

**Lauth.** Kr. Pr. Eylau, 1249 *Illi vero de Natania promiserunt quod infra eundem terminum edificabunt ecclessias unam in Labegow* PUB I, 1 163, 158–165, [1326–1329] ... *quod nostri homines circa villam, que vocatur Lauten* PUB II 446–447, 1349 *und geben von graden Niclaus von der Laute* (*Gr. Lauth*) PUB IV 356–356, [1339–1349] *kinder von der Laute* (*Gr. Lauth*) XXVI 140, 1425 *Lauthe* OF 164 40<sup>9</sup>, 1473 *und vier hubenn zcu Lawthenn, mit allen gerechtigkeiten vier hubenn zcur Lauthe im Brandenburgischen gebietten* gelegen OF 92 28<sup>10</sup>, 1785 *Groß Lauth*, *Klein Lauth* [Goldbeck 1875: 98], 1802 *Gr. Lauth*, *Kl. Lauth* [Schroetter 1802: VI], [1893] *Lauth*, *Gr. Lauth*,

<sup>5</sup> Vgl. [Greule 2004: 44].

Kl. OV 266. Im PUB I wird *Labegowe* mit *Lauth* identifiziert. Zunächst haben wir einen apreuss. Namen \**Labjov* [Mažiulis 1988–1997, 3: 13–14], der seinen Namen von dem FIN \**Labjavā* bekommen haben könnte [Blažienė 2000: 75; 2005: 104–106]. M. E. könnte später der Fluß den Namen \**Lautē* bekommen haben, vgl. den samländischen FIN 1322 *circa flurium Lauthen* SUB 148–149. Der Name \**Lautē*/\**Lautā* wird zu lit. *liūtinās* ‘schmutzig, unsauber’, ferner zu lit. *liūnas* ‘Pfützte, Lache, Tümpel, Morast, Moor’ und zu lat. *lutum* ‘Dreck, Kot; feuchte Erde, Lehm, Ton’ gestellt [Péteraitis 1992: 116]. S. [Udolph 1990: 145–152; Péteraitis 1997: 220; Blažienė 2006: 312–313].

**Nehne**, Kr. Wehlau, 1376 *Nene uff der Nene gelegen* OF 105 202, 1785 *Nehn oder Nehne* [Goldbeck 1875: 121], 1802 *Nehne* [Schroetter 1802: VI], 1893 *Nehne* OV 326. Der Ort lag am Fluß *Nehne*, 1352 als *Nene*, *Nerie*, 1406 als *Nyne* belegt [Gerullis 1922: 107]. G. Gerullis [Ibid.] erklärt den Namen des Flußes nicht, er führt als Parallele den lit. FIN. *Nin-upe* an, dessen Bestimmungswort wohl anthroponymischer Herkunft ist und auf lit. PN *Nēnius*, *Nēnius* zurückgeführt werden kann [Vanagas 1981: 227]. Den apreuss. FIN \**Nēnē*/\**Ninē* bespricht G. Froelich [1930: 65] und ist der Meinung, dass die Bedeutung nicht zu ermitteln ist. M. Biolik [1996: 128–129] ist auch der Meinung, dass die Bedeutung nicht klar ist. Sie erklärt, sich auf A. Vanagas stützend, die lit. FIN, mit denen G. Gerullis den apreuss. FIN verband. V. Péteraitis [1992: 131] ist der Meinung, dass der FIN am ehesten anthroponymischer Herkunft ist. M. E. bedarf der FIN noch der genaueren Erklärung, die ohne zuverlässige ostbaltische Parallelen erschwert ist. Dem Ort *Nehne* hat der FIN *Nehne* zweifellos dem Namen gegeben und die hydronymische Herkunft ist entgegen V. Péteraitis [1997: 265] nicht zu bezweifeln.

**Paddeim**, Kr. Labiau, 1336 *im felde Padeim im lande Laukisk* OF 112 13, 1396 *vier hocken im velde Paddeymen gelegen* Ostpr. Fol. 118 199–199, 1446 *VIII hocken im felde zu Paddeim gelegen* Ostpr. Fol. 118 27, 1540 *Paddeim* Ostpr. Fol. 911a 14 32, 1573–1574 *Paddemen* Ostpr. Fol. 5266 67, 1674 *Paddeim* EM 102 d, 597, 1685 *Paddeimen* Ostpr. Fol. 5355 35, 1785 *Paddeim* [Goldbeck 1875: 188], 1802 *Paddeim* [Schroetter 1802: VI], [1893] *Paddeim* OV 346. Die Siedlung lag an der Deime. Der FIN wurde durch die Präfixableitung in eine andere Namenkategorie, in diesem Fall, in einen ON, übergeführt, d. h. der ON wurde mit dem apreuss. Präf. \**pa-* ‘an, bei, unter’ von dem FIN *Deyme*, *Deim* abgeleitet. Der apreuss. FIN. \**Deimē* setzt V. Mažiulis [1988–1997, 1: 187] mit balt. \**dei-* ‘scheinen, leuchten’ = idg. \**dei* ‘dass.’ in Verbindung. Für G. Gerullis ist der FIN die Kurzform von \**Deimena* < \**Dei-mena*, mit dem Suff. *-men-* von apreuss. *deywis* ‘Gott’ abgeleitet. M. Biolik [1996: 40–41] führt bei der Besprechung des FIN. *Deime* die Meinung von W. P. Schmid an. W. P. Schmid sieht den Zusammenhang

des apreuss. FIN. mit der idg. Wurzel \**dei-* ‘hell glänzen, schimmern, scheinen’. Dieselbe Meinung vertritt V. Péteraitis [1992: 81]. Für V. Toporov [Топоров 1975–1990, 1: 317] bleibt der Name des Flußes unklar. Anders Būga [1961: 143–144; Vanagas 1981: 83].

**Parnehenen**, Kr. Wehlau, 1357 *obir das dorff zu Pernyn ... huben zu Pernen* OF 105 137', um 1400 *zu Pernyn* OF 111 163, 1428 *zu Parnynen gelegen* Ostpr. Fol. 118 144 1437 *uf der von Pernen grenze* OF 95 151, 1564 *Pernen, Krüger zu Pern* Ostpr. Fol. 911a 34 III 11, 12', 1569 *Pernen* EM 137 69, 1571 *Parnyn* EM 137d 220 1, 1785 *Parnehenen* [Goldbeck 1875: 130], 1802 *Parnehenen* [Schroetter 1802: VI], [1893] *Parnehenen* OV 350. Das Dorf lag an der Nehne. Der Name ist mit dem apreuss. Präf. \**per-* ‘durch, hinter, jenseits’ von dem FIN *Nene* abgeleitet. S. [Péteraitis 1997: 287; Biolik 1996: 129–129; Blažienė 2005: 136].

**Wickerau**, Kr. Gerdauen, um 1400 *Wickeraw* OF 9616, 1433 *im felde Wickeraw im gebiete Girdawen gelegen* XXVII 5; OF 97 13', 1437/38 *Wickeraw* OF 131 208, 1785 *Wickerau* [Goldbeck 1875: 204], 1804 *Wickerau* [Schroetter 1802: XV], [1893] *Wickerau, Wickeraw*, Kl. OV 540. Das Dorf lag laut der Schroetterschen Karte am Fluß *Wickerau*, der dem Dorf den Namen gegeben hatte. Der FIN wurde in eine andere Namenkategorie ohne spezifische Markierung übernommen. Der FIN \**Vikrava* wie der apreuss. FIN *Wykara* dt. *Wicker*, der mehrfach vorkommt, wird auf lit. *vikrūs* ‘munter’ zurückgeführt [Gerullis 1922: 200]. S. [Froelich 1930: 70; Péteraitis 1992: 180; Biolik 1996: 212–213]. M. Biolik hat auch den ON *Wickerau*, dessen Belegreihe erst im 16. Jh. anhängt. Die ältesten Belege wurden von M. Biolik nicht berücksichtigt. J. Udolph [1990: 311 ff] spricht sich gegen die baltische Herkunft des FIN *Wykara* aus. Er unterstreicht die alteuropäische Herkunft des apreuss. FIN *Wykara*, dt. *Wicker*, poln. *Wikra* und geht von einer idg. Wurzel \**ueik-* ‘biegen’ aus. M. Biolik [1996: 212–213] betont, dass der Name des apreuss. Flußes wegen der durchgehenden Kürze des *-i-* in der Belegreihe nur auf lit. *vikrūs* zurückzuführen sei. Die Belegreihe, die von M. Biolik angeführt wird, ist kurz. Es gibt keine älteren Belege, die die Kürze des *-i-* bezeugen können. Vgl. [Greule 2004: 44].

**Wolitta**, Kr. Heiligenbeil, 1339 *Woliten* OF 105 243', 1414/21 *Wolithen* OF 131 24, 1474 *in der Wolitte* OF 92 5, 1503 *Wollitta* Ostpr. Fol. 1408 105, 1540 *Wollitta* Ostpr. Fol. 911a 2 III 24, 1630 *Wollitta I hube* Ostpr. Fol. 1430 5, 1785 *Wolitta* [Goldbeck 1875: 208], 1803 *Wolitta* [Schroetter 1802: V], [1893] *Wolitta* OV 554. M. E. liegt der apreuss. FIN *Wolitte* dem ON zugrunde und nicht der apreuss. PN *Wolo*, wie G. Gerullis [1922: 206] und V. Péteraitis [1997: 454–455] annehmen. Nach der geographischen Lage des Dorfes ist es recht sicher, dass man von dem FIN \*(V)*ōlīt-* ausgehen kann, der auch ohne spezifische Markierung in eine andere Namenkategorie übertragen wurde.

Der FIN *Wolitte*, der spät bezeugt ist, erst im Jahre 1479 [Gerullis 1922: 206], geht am ehesten auf lit. *uolà* 'Fels', lett. *uōla* 'kleiner, runder Stein; Kiesel, Fels' zurück, d. h. er wurde von einem Appellativ mit dem Suff. \*-īt- abgeleitet. V. Pēteraitis [1992: 184] sieht den Zusammenhang mit lit. *volē* 'ausgehauenes Loch im Eis, Zapfen', *vōlas* 'Walze; große Welle'. S. [Biolik 1989: 55–56].

**Wolittnick**, Kr. Heiligenbeil, 1503 *Wallittnick* hat 4 huben 10 morgen Ostpr. Fol. 1408 70, 1539 *Pamern* (*Wollittnick*) Ostpr. Fol. 911a 2 I 42, 1539 *Wollimicken* Ostpr. Fol. 911a 2 13, 37<sup>r</sup> 79, 1540 *Wollitnick* Ostpr. Fol. 911a 2 III 39, 1630 *Wollittnick* 7 huben 10 Morgen Ostpr. Fol. 1430 6<sup>r</sup>, 1785 *Wolittnick* [Goldbeck 1875: 209], 1803 *Wolittnick* [Schroetter 1802: V], [1893] *Wolittnick* OV 554. Der Name fehlt bei G. Gerullis. Der ON basiert auf dem FIN 1479 *Wolitte*. Zu dem FIN, s. *Wolitta*. Der ON wurde mit dem Suff. \*-enik- von dem apreuss. FIN gebildet, d. h. der Hydronym ist in eine andere Kategorie durch die Derivation übergeführt. Der Fluss mündete bei Wolittnick ins Frische Haff. S. [Biolik 1989: 55–56; Blažienė 2005: 228]. Die Siedlung hatte nach dem Ostpr. Fol. 911a 2 auch den zweiten Namen *Pamern*, der nur einmal belegt ist. Zu dieser Variante s. [Blažienė 2005: 228].

Die Zahl der dehydronymischen Oikonyme ist auf dem großem Territorium erstaunlich gering. Die angeführten Oikonyme sind von den FIN nicht zu trennen, die FIN waren bei der Namengebung entscheidend, obwohl nicht alle Forscher den Zusammenhang zwischen dem Oikonym und dem Flußnamen erkannt haben. Die FIN sind in eine andere Namenkategorie mit Hilfe von Suffixen und Präfixen übertragen worden. Manche FIN sind 'ohne spezifische Markierung'<sup>6</sup> in ein anderes Namenssystem übernommen.

#### LITERATUR

- Топоров 1975–1990 — *B.H. Топоров*. Прусский язык: Словарь. Т. 1–5. М., 1975–1990. (Т. 1: 1975; Т. 2: 1979; Т. 3: 1980; Т. 4: 1984; Т. 5: 1990.)
- Biolik 1989 — *M. Biolik*. Zuflüsse zur Ostsee zwischen unterer Weichsel und Pregel // *Hydronymia Europaea*. Lfg. 5. Stuttgart, 1989.
- Biolik 1993 — *M. Biolik*. Die Namen der stehenden Gewässer im Zuflußgebiet des Pregel und im Einzugsbereich der Zuflüsse zur Ostsee zwischen Pregel und Memel // *Hydronymia Europaea*. Lfg. 8. Stuttgart, 1993.
- Biolik 1996 — *M. Biolik*. Die Namen der fließenden Gewässer im Flußgebiet des Pregel // *Hydronymia Europaea*. Lfg. 8. Stuttgart, 1996.
- Blažienė 2000 — *G. Blažienė*. Die baltischen Ortsnamen im Samland // *Hydronymia Europaea*. Sonderband II. Stuttgart, 2000.
- Blažienė 2005 — *G. Blažienė*. Baltische Ortsnamen in Ostpreußen // *Hydronymia Europaea*. Sonderband III. Stuttgart, 2005.

- Blažienė 2006 — *G. Blažienė*. Zu den altpreussischen dehydronymischen Oikonymen // *Indogermanische Forschungen*. Bd. 111. Berlin; New York, 2006.
- Būga 1958 — *K. Būga*. Rinktiniai raštai. Bd. 1. Vilnius, 1958.
- Būga 1961 — *K. Būga*. Rinktiniai raštai. Bd. 3. Vilnius, 1961.
- EM — Etatsministerium, Dokumente im Geheimen Staatsarchiv 'Preußischer Kulturbesitz'.
- Endzelins 1956 — *J. Endzelins*. Latvijas PSR vietvārdi D 1. Sēj. 1. Rīgā, 1956.
- Froelich 1930 — *G. Froelich*. Flußnamen in Ostpreußen. Ein Beitrag zur Namenforschung und Siedlungsgeschichte des preußischen Ostens // *Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Alturmungsgesellschaft Insterburg*. Hft. 19. 1930.
- Gerullis 1922 — *G. Gerullis*. Die altpreussischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922.
- Gerullis 1933 — *G. Gerullis*. Der bloße Tiername als Gewässerbezeichnung im Baltischen // *Studii Baltici*. Vol. III. Roma, 1933.
- Goldbeck 1875 — *J. F. Goldbeck*. Vollständige Topographie des Königreichs Preußen. Bd. 1. Königsberg; Leipzig, 1875.
- Greule 2004 — *A. Greule*. Flussnamen als Gebiets- und als Personengruppenamen // *Völkernamen-Ländernamen-Landschaftsnamen*. Protokoll der gleichnamigen Tagung im Herbst 2003 in Leipzig / Hrsg. von E. Eichler, H. Tiefenbach, J. Udolph. Leipzig, 2004.
- Hennenberger 1595 — *C. Hennenberger*. Erclerung der preussischen grösseren Landtaffel oder Mappen. Königsberg, 1595.
- Kiparsky 1939 — *V. Kiparsky*. Die Kurenfrage. Helsinki, 1939.
- Krahe 1964 — *H. Krahe*. Unsere ältesten Flussnamen. Wiesbaden, 1964.
- LUEV — Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas. Vilnius, 1963.
- Mažiulis 1988–1997 — *V. Mažiulis*. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. Bd. 1–4. Vilnius, 1988–1997. (T. 1: 1988; T. 2: 1993; T. 3: 1996; T. 4: 1997.)
- OBA — Ordensbriefarchiv aus dem GStA PK.
- OF — Ordensfolianten aus dem GStA PK.
- Ostpr. Fol. — Ostpreussische Folianten aus dem GStA PK.
- OV — Orts-Verzeichnis nebst Entfernungstabelle der Provinz Ostpreußen. Bonn, 1893.
- Pēteraitis 1992 — *V. Pēteraitis*. Mažoji Lietuva ir Tvanksta. Vilnius, 1992.
- Pēteraitis 1997 — *V. Pēteraitis*. Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai. Vilnius, 1997.
- Pretorijus 2004 — *M. Pretorijus*. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla / Hrsg. von I. Lukšaitė. Bd. 2. Vilnius, 2004.
- Przybytek 1993 — *R. Przybytek*. Ortsnamen baltischer Herkunft im südlichen Teil Ostpreußens // *Hydronymia Europaea*. Sonderband I. Stuttgart, 1993.
- PUB — Preußisches Urkundenbuch. Bd. 1–6. Königsberg; Marburg, 1882–1986.
- Schroetter 1802 — *F. Schroetter*. Karte von Ostpreußen nebst Preussisch-Litauen. Maßstab 1:150000. Blatt VI. Berlin, 1802.
- SUB — Urkundenbuch des Bisthums Samland / Hrsg. von C. P. Woelky, H. Mendhal. Leipzig, 1891.
- Udolph 1990 — *J. Udolph*. Die Stellung der Gewässernamen Polens innerhalb der alt-europäischen Hydronymie. Heidelberg, 1990.
- Vanagas 1981 — *A. Vanagas*. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981. XXVI 67, XXVII 5, XXXV 70, XXXV 67, XXVI 140 — Dokumente aus der Urkunden — Schiebblende im GStA PK.

<sup>6</sup> Siehe [Greule 2004: 44].

В. Л. ВАСИЛЬЕВ

## Древнеевропейская гидронимия на Русском Северо-Западе\*

Топономастическое изучение новгородско-псковских земель показывает наличие целого ряда древнейших гидронимических изоглосс, объединяющих этот регион со всей остальной Европой. Новгородско-псковскую гидронимию, находящую отчетливые общеевропейские параллели, соответственно, можно было бы назвать «общеевропейской». Но данный термин не совсем удачен, поскольку подчеркивает только ареальный аспект, и его предпочтительнее заменить термином «древнеевропейская гидронимия», традиционно употребительным среди зарубежных ученых. Теория «древнеевропейской гидронимии» (нем. *alteuropäische Gewässernamen, alteuropäische Hydronymie*) была разработана в 1950–60-е гг. немецким исследователем-индоевропеистом Х. Краэ [Krahe 1954; 1963; 1964] и получила продолжение в трудах [Nicolaisen 1957; Rohlf 1960; Udolph 1979; 1990; Schmid 1994] и др. Согласно учению Х. Краэ, во II тыс. до н. э. в Европе сложилась особая праязыковая общность «древнеевропейцев», охватывавшая языковых предков италийцев, кельтов, германцев, балтов и славян и не включавшая предков анатолийцев, армян, индоиранцев и греков, которые к этому времени уже выделились из индоевропейского массива и начали собственный этногенез. Следами расселения данной праязыковой общности по просторам Европы являются древнеевропейские гидронимы, появление которых возводится ко второй половине II тыс. до н. э. Зарубежные ученые выделили древнеевропейский гидронимический слой на материале Центральной и Северной Европы, дали словообразовательные, этимологические характеристики соответствующим гидронимам, выявили фонд древнейших типовых гидрооснов. Немногочисленные и семантически однородные древнеевропейские гидроосновы объединяют большое количество глубоко архаических названий не только крупных, но и малых рек (реже — озер) на обширных пространствах от Пиренейского полуострова до Восточной Прибалтики.

Позднее, преимущественно в работах В. П. Шмида, теория древнеевропейской гидронимии получила дальнейшее развитие главным образом в двух основных направлениях. Во-первых, выяснилось, что по-

нятие древнеевропейской гидронимии следует свести к более общему понятию древнеиндоевропейской: этому способствовало расширение исследуемой гидронимической базы (в значительной мере за счет славянского материала, см. [Udolph 1979: 632–636; 1990; Ванагас 1983]), показавшее ряд лексико-грамматических соответствий между собственно древнеевропейской (в понимании Краэ) и индо-иранской гидронимией. Во-вторых, обнаружилась выразительная кучность и непрерывность древнеевропейских (= древнеиндоевропейских) гидронимов именно в балтийском этноисторическом ареале, что дало основания говорить не только о «балтоцентризме» таких названий, но даже выдвинуть «балтоцентрическую модель» всего индоевропейского [Schmid 1976; 1994: 175–192, 226–247]. Иначе думает О. Н. Трубачев, который считает балтов не столько создателями, сколько разносчиками древнеевропейской гидронимии, подчеркивая ее наддиалектный статус (выработка различными контактирующими диалектами общего гидронимического фонда). По мнению исследователя, кучность таких названий в балтийском ареале объяснима как «фиксированная вспышка в зоне экспансии балтов на восток, куда они распространялись, унося с собой и размноженные древнеевропейские гидронимы» [Трубачев 2002: 31, 36].

Для территории Русского Северо-Запада тезис о «балтоцентризме» древнеевропейской гидронимии имеет определяющее значение. Исследования показывают, что все новгородско-псковские водные названия с широкими, «транс-европейскими» соответствиями (лингвистически — древнеиндоевропейскими) находят большинство параллелей именно в балтийском ареале, имеют балтийскую окраску в фонетике и словообразовании и так или иначе должны рассматриваться в балтийской этноисторической перспективе. Существенный вопрос, возникающий при этом, — это вопрос подразделения сугубо архаической древнеевропейской и более поздней собственно балтийской гидронимии, которая в данном регионе весьма многочисленна. Вопрос этот решается непросто, во многих случаях ненадежно. Так, гидроним *Сороть* р. басс. Великой, на первый взгляд, имеет надежные древнеевропейские соответствия в *Sarthe* (< \**Sarta*), *Hathren* (< \**Sartina*), *Saire* (< *Sara*) — реки во Франции, *Sarine* р. в Швейцарии, возводимые к и.-е. \**sar-* ‘плыть, течь’ [Krahe 1963: 335–336]; тем не менее, больше оснований сблизить пск. *Сороть* с лит. *Sartė* р., *Sartà* р., *Sartis*, лтш. *Särt-upe*, *Särte* р., которые соотносят с собственно балтийскими цветовыми обозначениями: лит. *sartas* ‘красноватый, каштановый’, лтш. *sārts* ‘красный, яркий’ [Vanagas 1981: 291; Endzelins 1934: 126]. Гидроним *Сола* р. басс. Волхова подобен наименованиям многих европейских рек: нсм. *Saale* (триж-

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 05-04-04120а и 08-04-00283а).



ды), *Sala, Saalach*, франц. *Saale* (все из \**Sala*). *Sala* р. в Норвегии, *Szala* (< *Sala*) р. в Венгрии и др., которые производят от и.-е. \**sal-* ‘ручей, поток, течение’ [Krahe 1963: 333]; однако, кажется, больше шансов связывать новг. *Сола* с собственно лит. *Salė* р., *Salinė* р., *Salà* оз., к лит. *salà* ‘остров’ [Vanagas 1981: 287].

Существующие конкретные дефиниции термина «древнеевропейский гидроним» включают несколько признаков. В частности, по одной из обобщающих формулировок, «древнеевропейский гидроним — это название водного объекта в Европе, а) которое нельзя объяснить, исходя только из того языка/языков, на которых говорят/говорили в историческое время на данной территории, б) которое восходит к индоевропейскому корню и имеет соответствующую морфологическую структуру, в) значение которого относится к семантическому полю воды и ее свойств и г) которое должно иметь хотя бы одно соответствие на территории Европы в виде другого древнего названия с соответствующей структурой» [Васильева 2001: 107]. Данным определением вполне можно пользоваться при выявлении древнеевропейской гидронимии на Русском Северо-Западе, но с поправкой на значительную архаичность балтийских языков вообще (особенно литовского) в кругу других индоевропейских. Балтийские языки сохранили, пожалуй, лучше остальных апеллятивную архаику: т. н. «Wasserwörter» — слова, лежащие в основе древнеевропейских гидронимов; следовательно, первый признак приведенной выше дефиниции (невыводимость гидронима из апеллятивного материала конкретных языков, употребительных в историческое время) приобретает на балтийском фоне еще большую субъективность и зыбкость. Многие из гидронимических основ, традиционно относимых к древнеевропейскому фонду, скорее объяснимы на балтийской почве (\**al-*, \**alm-*, \**mar-*, \**pal-* и др.). Более значим для древнеевропейской гидронимии Русского Северо-Запада последний из приведенных признаков («хотя бы одно соответствие на территории Европы в виде другого древнего названия с соответствующей структурой»), который, с учетом фактического материала, лучше переформулировать в следующем виде: наличие хотя бы одного точного архаического структурного соответствия балтийскому гидрониму за пределами балтийских и славянских языков (преимущественно в германском, кельтском, итальянском ареалах).

Далее рассматриваются отдельные конкретные гидронимы древнеевропейского (далее также — др.-евр.) типа в новгородско-псковских землях. Для сопоставлений использованы материалы Х. Краэ, В. Шмида, Я. Розвадовского, В. Н. Топорова, Р. А. Агеевой, О. Н. Трубочева, А. П. Ванагаса и др. Нужно отметить, что в целом на славянской языко-

вой территории, особенно у восточных славян, поиск таких гидронимов проводился весьма ограниченно. Поэтому факты с территории Восточной Европы имеют повышенное значение хотя бы в контексте установления восточных границ древнеевропейской гидронимии.

**Але (Оля)** оз. Великолуцкого уезда + **Але** оз. Новоржевского уезда Псковской губ., из этого озера течет **Олица** рч. басс. р. Великой [Шкапский 1912: 96, 99–100; Шанько 1929: 526]<sup>1</sup>. Близкие параллели в Балтии: лит. *Āliai* болото, *Alys* оз., *Al-trakas* р., дважды *Al-ūpē*, лтш. *Ala* р., не считая многочисленных суффиксальных образований *Alantā*, *Aluošīā*, *Alēja* и др. [Vanagas 1981: 38; Endzelins 1956: 18], **Ола** лев. пр. Березины в Белоруссии [Топоров, Трубочев 1962: 199], **Олава** (*Ohlau*, *Ohle*) лев. пр. Одера под Вроцлавом в Польше, **Алау** р. в Курляндии, **Оллоф** оз. в Пруссии [Rozwadowski 1948: 150]. Среди гидронимических соответствий за пределами древней и современной Балтии указывались укр. **Олава** пр. пр. Сулы [Трубочев 1968: 53], **Алиа** или **Аллиа**, р. в древнем Лациуме (сейчас *Fosso della Bettina*), помимо суффиксальных **Аленза** р. в Испании, **Алст** р. в Германии и др. [Krahe 1963: 310]. К и.-е. корню \**al-* ‘плыть, течь’, который проявляется в лит. *alėti* ‘течь, сочиться’ [Vanagas 1981: 38 (с обширной литературой)].

Пск. **Алоль (Алоля)** р., приток Великой, со смежным оз. **Алоль** [Шанько 1929: 586] содержит этот же и.-е. корень, дополненный характерным балтийским суффиксом: \**Al-al-*, ср. тождественно оформленные лит. *Bėrštalis*, лтш. *Svirkale*, *Imaļa* и т. п. [Endzelins 1934: 135]. И.-е. \**al-* в сочетании с разными суффиксами-детерминантами (\**al-š-*, \**al-s-*, \**al-m-*, \**el-m-*, \**al-t-*), возможно, отражают и некоторые другие гидронимы древнеевропейского типа на Русском Северо-Западе, приведенные ниже.

**Вишера** (в XIV–XV вв. также **Вешера** [ГВНП: 148, 172, 173, 175–177, 180]) р., 64 км, пр. пр. Волхова неподалеку от Новгорода, и **Вешара (Вешарка)** лев. пр. Колпи возле Бабаево, районного центра на западе Вологодской обл. [Шанько 1929: 408]. Если не из финно-угорской основы, то скорее всего к и.-е. \**vis-/veis-* ‘течь, литься, разливаться’, расширенному суф. *-er-*: \**Vis-er-*, \**Veis-er-*. К структурным параллелям (с древним суф. *-er-*) можно отнести такие древнеевропейские гидронимы, как **Wyre** (< \**Visera*) р. в Англии, **La Vis** (< *Viser*) р., **Vézère** (< *Visera*) реки во Франции (дважды), **Vesdre** или **Weser** (< *Visera*) р. басс. Мааса в Бельгии, **Weser** (исторически также *Visurgis*, *Visera*, *Visara*, *Visura*) р. в Германии, приток Северного моря; в ином словообразовательном

<sup>1</sup> Ссылки на современные топографические карты и современные справочники, посвященные описанию новгородских и псковских водоемов, не приводятся.

оформлении к данной группе примыкают речные названия *Vesonez* (< \**Visontia*), *Bisenzo* (< \**Visentios*), *Visance* (< \**Visantia*) во Франции, нем. *Wiesaz* (< \**Visantia*) в Бюртемберге, *Viša* в Норвегии (= др.-швед. *Visa*), *Висла* (< *Vistla*, *Vistula*) в Польше, а также гидронимы в Балтии: *Viešā*, *Viešā*, *Viešētē*, *Viešintā*, *Viešintū-ežeras* в Литве, *Viēsite* р., *Viesītis* оз. в Латвии, прус. *Weyssen* оз., *Weis-pelke* р. и др. материал по: [Gerullis 1922: 198; Nicolaisen 1957: 236; Lehr-Splawiński 1946: 57; Rozwadowski 1948: 270–273; Krahe 1954: 51; 1963: 56–57; Otrębski 1960: 257–258; Trost 1970: 281; Duridanov 1975: 114; Vanagas 1981: 378–379]. Как явствует из перечисленных работ, и.-е. корень \**vis-/veis-* отражен в др.-инд. *viṣām*, *vēṣām*, *vēṣāh* ‘вода’, *vēṣati* ‘расплывается, наполняется водой’, лат. *virus* ‘яд, слизь, мокрота; сок, жидкость’, греч. *ἰός* ‘яд’, кимр. *gwuar* ‘кровь’, лит. *viešmiū* ‘ручей, речка’ и т. п.

Индоевропейская трактовка поволховского гидронима *Вишера* существенно осложняется благодаря полному тождеству его с названиями рек *Вишера*, пр. пр. Вычегды, *Вишера*, лев. пр. Камы, находящихся далеко на северо-востоке, где следов древних индоевропейцев ожидать вряд ли стоит. Однако даже те исследователи, которые разрабатывают финно-угорские трактовки этого гидронима<sup>2</sup>, обычно исходят либо из гетерогенности *Вишера* в Поволжье и *Вишера* в Предуралье, выдвигая тезис о случайном совпадении этих названий (А. К. Матвеев), либо выдвигают гипотезу о переносе поволховского гидронима *Вишера* в Предуралье при новгородской колонизации Севера (А. С. Кривошекова-Гантман); эта, вторая, гипотеза нашла дополнительную поддержку благодаря обнаружению промежуточного *Вешарка* р., пр. пр. Колпи, на путях новгородского продвижения на восток.

*Волхов* (др.-новг. *Волхово* [НПЛ: 598], вариант, еще встречающийся в говорах Новг. и Чуд. р-нов Новгородской обл. [НОС 1: 135]) р., 224 км, течет из оз. Ильмень в оз. Ладожское. Не исключено, что к \**Al-š-ava*, из корня \**al-* ‘плыть, течь’ (см. выше *Але*), осложненного детерминантом *š* и специализированным «речным» суф. *-ava*. Элемент *š* (из и.-е. *k*) и суффиксальное оформление подразумевают праформу балтийского типа. Данная предполагаемая основа (\**Al-š-*) находит подтверждение в лтш. *Alšu-valks* ‘болото’, *Alš-liekna* ‘влажное место’ [Endzelins 1956: 23], в лит. *Alšia*, *Alšėna*, последние трактуются как обозначения сырых, болотистых мест, часто заросших ольхой [Vanagas 1981: 40–41]. Что касается апеллятивной поддержки, сопоставляется с лит. *alėi* ‘течь’, лтш. *aliūts* ‘источник, родник’. Ход дальнейших преобразований видится таким: \**Alšava* через закономерную адаптацию *š > h* в приоб.-фин.

языковой среде приобретает вид *Olhava* (известное финское название Волхова), а затем от прибалтийских финнов заимствуется в древнерусские диалекты с известным замещением приоб.-фин. *a* > др.-рус. *o*: *Olhava* > *Волхово* > *Волхов*. На базе данного и.-е. корня, но с иным детерминантом, трактует *Волхов* К. Хенгст (вслед за В. Шмидом): др.-евр. \**Ol-s-* > балт. \**Alšava* [Хенгст 2001: 103], однако переход *s > š* в таком случае труднее обосновать фонетически.

Иная возможность объяснения *Волхов* — возведение к и.-е. или др.-балт. обозначению ольхи. Если и.-е. диал. \**alis-*, др.-балт. диал. \**alis-* (и \**als-* с синкопированным *i*) ‘ольха’ [Фасмер III: 137–138; Аникин 2005: 85–86], то допустима реконструкция суффиксально оформленной праформы \**Al(i)sava*; ср. гидроним *Alsava* р. в Латвии, в котором видят связь с ольхой [Endzelins 1934: 127]. Появление фин. *Olhava* (> рус. *Волхов*) из данной праформы допустимо обусловить приоб.-фин. изменением *s (> z) > h*, происходившим в интервокальном положении, см. [ОФУЯ: 32–33]. В таком случае *Волхов* подключается к ряду древнеевропейских «ольховых» гидронимов *Elsbach*, *Elisa*, *Alsanz*, *Alisontia*, *Elze*, *Alsanse*, *Anzance* и др. в Германии и Франции [Krahe 1954: 52].

Существует гипотеза, объясняющая название *Волхов* также из собственно славянского обозначения ольхи [Попов 1981: 56–57].

*Лименец* (*Лимно*) оз. в Псковской губ., недалеко от Опочки [Шкапский 1912: 96], и *Лиминь* (*Лимень*, *Лемань*) р. в Лужском уезде Петербургской губ. [Агеева 1989: 192]. К \**Lim-in-*, \**Lim-en-* ‘стоячая вода’. Гидронимические соответствия весьма многочисленны в балтийском этноязыковом ареале: *Liminas*, *Liminelis* нередки в Литве как названия озер, далее лит. *Liminė*, *Limenė* реки [Vanagas 1981: 191], лтш. *Līmeņi* — усадьба [Endzelins 1956: 236], прус. *Lymaio* оз., *Lima* луг, *Limange* [Gerullis 1922: 88]. Из небалтийских гидронимов ср. *Лимен* залив около Корсуни (= Херсонеса) в Крыму [НПЛ: 150, 443, 544]. При всей «балтийскости» перечисленных имен они имеют параллельные апеллятивы за пределами балтийских языков; греч. *λίμνη* ‘озеро’ (> др.-рус. *лимень*, рус. *лиман*, заимств.), греч. *λειμών* ‘болотистый луг’, тох. В *lyam*, тох. А *lyäm* ‘озеро’, лат. *limus* ‘тина, ил; грязь’. Основа \**Lim-in-* отнесена к древнеевропейскому гидронимическому фонду [Schmid 1972: 9; Vanagas 1983: 21], ранее о ней также [Büga 1958: 505; Gerullis 1922: 88], о балт. связях указанных новгородских и псковских гидронимов [Агеева 1989: 192].

*Маревка* р., 43 км, пр. пр. Пола в верхнем течении; восходит к более древней, зафиксированной в новгородской грамоте первой половины XII в. форме *Морея*: «Отъ Морее съ върхъ Глистьне на върхъ Робьи Ильмны» [ГВНП: 140]. К и.-е. \**mar-* ‘стоячая вода’, осложненному суф.

<sup>2</sup> Подробнее о финно-угорских объяснениях *Вишера* см. [Игнатов 1992].

-ежа. Два обстоятельства делают данную трактовку наиболее убедительной: во-первых, наличие поблизости смежного гидронима-кальки *Озерешня* (к диал. *озеро* (= 'стоячая вода')), относящегося к пр. пр. *Маревки*, во-вторых, характер местного гидрографического ландшафта: и *Марёвка*, и *Озерешня* действительно озерные реки, так как вытекают из озер; подр. см. [Васильев 2001: 10—11]. Относится к гидронимическому ряду *Μαρισος* р. в Дакии (известная по сочинениям Страбона), *Марица* (< *Meritus*) р. в Болгарии, Греции, Турции, р. *Morava* (истор. *Marus*, *Maraha*, *March*), от которой идет название др.-слав. племени *моравы* и государства *Моравия*; р. *Морава* (иллир., фрак. *Margos*, *Margus*) пр. пр. Дуная в Югославии, *Maros* (к истор. *Maris* у Геродота V в. до н. э., *Marus* у Иллиния I в. н. э.) лев. пр. Тисы басс. Дуная в Венгрии и Румынии (по-румынски *Mureş*) [Krahe 1963: 329], балт. *Marà*, *Marasupe*. *Mariņa* и, может быть, *Māra*, *Mār-upe*, а также *Merà* (*Merià*) — реки Литвы и Латвии, *Marelė*, *Marės* — болота в Литве [Vanagas 1981: 204 (с литературой по \**mar-*)]. На апеллятивном уровне сюда относятся др.-ирл. *muir*, гот. *marei*, англосакс. *merisc* 'болото', лат. *mare* 'море', др.-верх.-нем. *tuor* 'болото, трясина, зыбун', рус. диал. *море* 'море; болото; озеро', блр. диал. *морэ* 'залитый водой луг' [Фасмер II: 654].

**Неденка** р., 16 км, пр. пр. Маяты на восточном побережье Ильменя. К и.-е. \**ned-* 'течь, плыть, устремляться', осложненному суффиксом: \**Ned-en-*, \**Ned-in-*. Архаический гидроним с широкими апеллятивными и проприальными соответствиями; последние особенно широко представлены в ареале древнего и современного проживания балтов. Следует включить в большой онимный ряд прежде всего с балт. рр. *Nedienne*, *Nediena* в Латвии, *Neden* в Польше, *Недна* (дважды) в верхнем Поднепровье, рр. *Недно*, *Недна*, *Недвинка* в верхнем левобережном Поочье; в ином оформлении сюда же войдут *Nedējā*, *Nedīngis* рр., *Nedīngis* оз. в Литве, курш. *Nedinge*, *Medingen*. *Nedinghen*; в Повисленье (Польша) — *Nede* и др., в верхнем Поочье — *Неделка* (*Неделька*). Другой вокалический вариант этого же корня (\**neid-/nid-*) представлен в лит. рр. *Niedà*, *Niedulė*, оз. *Niedūs*, *Niedis*, *Niedulis*; лтш. *Niedņ-ezērs*. *Niedenis-driksna*; курш. *Nidden*, *Nidaw*; прус. *Neydowe*, *Nedwe*; в верхнем Поднепровье рр. *Нидалька*, *Ниделька*: в басс. Вислы и Одера — *Nidy*, *Niedenfluss*, *Nidzkie*, оз., *Nieder See*, *Nidzka Struga*, рр. *Nida*, *Czarna Nida*, *Nidzica*, *Nidka*, *Niede*, *Neide* и прочие параллели из [Rozwadowski 1948: 295; Топоров, Трубачев 1962: 198, 199; Vanagas 1981: 226, 230; Ванас 1983: 21; Орел 1997: 345]; особенно [Топоров 1988: 161–162; 1997: 283–284]. Среди европейских параллелей за пределами Балтии отмечены (с вариантом корня \**ned-*): *Neta* (< \**Neda*) р. в Норвегии, *Nette* (< \**Neda*) р., приток Рейна в Германии, *Νεδα* горный ручей в Греции

(упомянут еще Страбоном); с вариантом корня \**neid-/nid-*: рр. *Nida* (теперь *Strat*), *Nēdd*, *Neath* (< \**Nida*), *Nidd* (< \**Nida*) на Британских островах (Корнуэлл, Уэльс, Йоркшир), *Nethe* (< \**Nida*) р. в Бельгии, рр. *Nied* (< \**Nida*) пр. Саара, *Nidda* (< *Nida*) пр. Майнца, *Nethe* (< \**Nida*) пр. Везера в Германии [Krahe 1963: 330–332; 1964: 48]. Из соответственных апеллятивов обычно указывают др.-инд. *nēdati* 'струя, течение'. Многочисленная, особенно у балтов, перечисленная гидронимия не объяснима как будто на апеллятивном материале балтийских языков и репрезентирует более глубокий, протобалтийский уровень. Как представляется, есть гипотетическая возможность конкретизировать древнейшее смысловое наполнение некоторых из подобных образований. Обращает на себя внимание, что рч. *Неденка* течет среди Приильменской поймы, заросшей тростником, ситником, осокой, что эта речка находится в узком гидрографическом контексте с гидронимами *Хвошценка* р., *Сытинка* р., *Ситно* оз. и названием озерного мыса *Сытский Нос*, указывающими на водную растительность, а по соседству с *Неденкой* протекает речка с родственным названием *Понеделька* (см. ниже). В связи с характерными особенностями местоположения и гидронимического окружения не лежит ли в основе гидронима *Неденка* др.-евр. апеллятив, обозначавший заросли водных растений, производный от глагольной основы \**ned-* 'течь, плыть'? Апеллятивы с подобной «флористической» семантикой активно участвуют в сложении гидронимии, ср. многочисленные реки и озера с названиями *Тресно*, *Ситница*, *Хвошно* и т. п. В семантико-деривационном плане вероятный апеллятив — индикатор водной растительности видится подобием рус. *плавни*, определяющего «своеобразный ландшафт устьевых участков крупных рек, заливаемых полыми водами, где нет лесов и вообще древесных пород, а господствуют заболоченные тростниковые заросли с рогозом и камышом», или диал. блр., укр. *поплава* 'болотистая низина, заросшая высокотравьем', укр. *плавля* 'болотистый луг' [Мурзаев 1999: 124], производных от *плыть*. Показательно, что на базе и.-е. корня \**ned-* сложились балтийские наименования водных растений: лтш. *niēdre*, лит. *nėndrė* 'тростник; заросли тростника', лтш. *našji* (< \**nad-slis*), гидронимия от которых является уже собственно литовской или латышской (р. *Nėndrė*, оз. *Nendrinėlis* в Литве и др.).

**Оломна** лев. пр. Волхова в среднем течении. Допустима следующая трактовка: \**Оломьна* < \**Ольмна* (со «вставочным» гласным) < \**Almina*, \**Almena*: к и.-е. корню \**al-/el-* 'течь' с детерминантом *-m-* и суф. *-inal-ena*. Сюда же *Ельма* р., приток Плюссы в Гдовском уезде Псковской губ.: < \**El-m-*. Ср. лит. *Almenas* оз., *Almuonė* р., также *Almė*, *Almajà* реки, *Elmė* р., *Almajas* оз. [Vanagas 1981: 39], лтш. *Almji*, *Elmji*

[Endzelins 1956: 22, 271], прус. *Ilmena, Elmone, Elm, Elme, Ilme, Ilmune* [Gerullis 1922: 33]. Многочисленны западноевропейские гидронимические соответствия, особенно в Германии: *Alme* (< *Almina / Almena*) р., *Alme* (< *Almana / Almina*) р., а также трижды нем. *Ilm* (< \**Elmina*) — реки бассейнов Заале, Дуная и Везера, еще *Elmenau, Ilmenau* (< \**Elmana*) пр. Эльбы, *Alm* (< \**Alma*) р.; кроме немецких гидронимов, есть *Alma* р. в Этрурии, *Alma* р. в Норвегии, *Лом* (< *Almos*) р. в Болгарии и др. [Krahe 1963: 310, 325]. Апеллятив сохранен в лит. *almėti, elmėti* ‘медленно течь, струиться, сочиться; загнивать’ [Vanagas 1981: 39–40 (с указанием на литературу вопроса)]<sup>3</sup>.

**Ольтечко (Ольтинское** [Шанько 1929: 615]) оз., 64 га, в Демянском р-не Новгородской обл. К и.-с. \**al-* ‘течь’ с детерминантом *-t-*: \**Al-t-*. Относится к большому ряду названий *Altis* р., *Aluotis* р. в Литве [Vanagas 1981: 38, 41], *Altenes-mežs* лес, *Altenes-purvs* болото, *Altene, Altiņi* в Латвии [Endzelins 1956: 24], *Альтуне* сеножать Видуклевской волости Жомойтской земли [Спрогис 1888: 418], далее *Алтынист* р. в Подмоскowie [Топоров 1972: 249], *Альта* (исторические варианты *Ильтица, Лтьица, Иртыца*) пр. пр. Трубежа в басс. Днепра и *Льто (Алто, Олто)* болото у истоков р. Альты, античное название р. *Ἀλουτας* в сочинениях Птолемея, *Olt* (< \**Alutus*) приток Дуная в Румынии, *Ἀλτος* в Македонии, *Alto* в Иллирии, *Altina* в Паннонии и Нижней Мизии, *Altinum* в Венеции (параллели по [Трубачев 1968: 167 с соответствующей литературой]), далее *Голтва* р. на Украине, *Alta* на Скандинавском полуострове [Железняк и др. 1985: 17], *Ἀλτινα* место в Дакии [Dugidanov 1969: 16, 92].

**Омитица** р., вытекающая из оз. **Омичко**, 85,6 га (< *Омицко* < \**Омитско*) + **Омичко** оз., 7 га, оба в Боровичском р-не Новгородской обл. Можно соотнести с и.-е. \**am-* ‘русло реки’ с суф. *-it-*: \**Am-it-*; без этого древнего суффикса известны еще **Омо** оз. в Великолукском уезде и **Омуга (Омуха)** р. басс. Плюссы Ленинградской обл. [Шанько 1929: 616]. На уровне гидронимов ср. прежде всего *Amitās* р. в Италии, *Ἀμιτίτης* р. в Македонии и Греции (обе основы расширены тем же суффиксом, что и *Омитица, Омичко*); далее *Amance* (< *Amantia*) р. во Франции, *Ems* (< *Amistia*). *Ohm* (< *Amana*) реки в Германии; сюда же названия мест *Amantia* в Иллирии и *Amantini* в Паннонии. Далее сюда же **Амонь** пр. пр.

<sup>3</sup> Учитывая нем. *Ilm, Ilmenau*, лит. *Ilmenis*, в данный ряд древнеевропейских гидронимов иногда пытаются включить и название крупнейшего новгородского оз. *Ильмень* (др.-рус. *Илмер*), хотя этот лимоним находит значительно больше однозначных соответствий и более убедительные трактовки на прибалтийско-финской почве (обзор основных этимологий см. в [Никонов 1966: 155; Понов 1981: 46–48; Агеева 1989: 216–217; Фасмер II: 128]).

**Сейма** в Поднепровье [Хенгст 2001: 101] (по [Топоров, Трубачев 1962: 122], **Амонь** — «возможно, из иранского»), а также, очевидно, лит. *Amatà, Amālė*, лтш. *Amalka, Amule*, прус. *Amelung, Ammelung* [Vanagas 1981: 41; Endzelins 1956: 25; Endzelin 1934: 136; Gerullis 1922: 9]. Апеллятивные континуанты — албан. *amë* ‘ложе реки’, греч. *ἀμᾶρα* ‘ров, канава, борозда’, хетт. *amijara* ‘то же’ [Krahe 1964: 42], сюда же праслав. \**jama*, рус. *яма* [Фасмер IV: 555].

Вторая возможность интерпретации новгородских гидронимов предусматривает приб.-фин. истоки; ср. фин. *uoma* ‘глубина; небольшая долина’.

**Пола** р., 268 км, впадает с юго-востока в оз. Ильмень. К \**Pal-*: и.-е. \**pal-* ‘болото, топь, трясина; болотный’. Ср. в Балтии *Palà* р., *Palaikis* оз., *Palandà* р., *Palēja* р., *Paliūte* р., *Palōnas* р., *Palónis* р. в Литве и Латвии [Vanagas 1981: 241] и в западной Европе *Paglia* (< \**Palia*) приток Тибра в Италии, *Palo* р., известная по сочинениям Плиния, трак. *Palae*, дак. \**Ραλα-δείνα*, далее *Paglione* р. близ Ниццы, *Vendu-palus* руч. близ Генуи, *Palomnos* р. в Иллирии, *Palancia* (< *Palañtia*) р. в Испании [Krahe 1954: 52; 1963: 332–333; Dugidanov 1969: 53; Schmid 1972: 10]. К перечисленной гидронимии приводят немало апеллятивов: лат. *palus* ‘болото’, греч. *παλός* ‘трясина’, др.-инд. *palvalám* ‘пруд, лужа’, лит. *pālios* ‘большое болото на месте заросшего озера’, лтш. *paļas, paļi* ‘обмслевшее озеро’, ‘обширные болотные пространства’, ‘болотистый берег’ и др. [Krahe 1954: 49, 52; Невская 1972: 354].

Новгородский гидроним **Полисть** р., 176 км, лев. пр. Ловати, со смежным оз. **Полисто**. и **Полисть**, 49 км, лев. пр. Волхова, отражает этот же корень, но в балтийской суффиксации *-ist-* (ср. хотя бы лит. *Abistà, Savistas*, лтш. *Ļubēsta*).

**Полометь** (по исторической документации **Поломет, Поломедь, Поломять, Польшьять, Поломода**) р., 150 км, пр. пр. Полю. Вслед за Р. А. Агеевой [Агеева 1981: 148–149; 1989: 206–207], предпочтительно считать этот гидроним сложением двух корней, в первом из которых отражено название реки **Полю**. Показательны обстоятельства гидрографии: **Полометь** — крупнейший приток **Полю**, впадающий в нее в среднем течении; не исключено, что когда-то **Полометь** считали не притоком, а продолжением **Полю** (гидрографические представления об иерархии «приток < главная река» исторически изменчивы). Наиболее вероятно реконструкция архаического композита \**Pala-med(h)-* (на первичность *d-* может указывать его позиция перед гласным; ср. **Поломедь, Поломода**), в которой второй компонент относится к и.-е. корню, означавшему середину, ср. лат. *medius*, др.-инд. *mādhyas*, греч. *μέσσος, μέσος*, гот. *midjis* ‘средний, расположенный посредине’, рус. *между, межа*

(< праслав. \**medjā*), греч. μέτα и т.п. [Фасмер II: 591–592]. Следовательно, по исходно-этимологическому смыслу *Полометь* — нечто вроде ‘Средняя Пола’. И.-е. \**med-* < \**medh-* со значениями ‘средний; между’ отражен в архаической гидронимии Европы; ср. иллир. *Metapa*, *Metaurus*, *Medma*, *Meduacus*, *Meduna* [Krahe 1955: 94; Mayer 1957: 225], лит. *Med-upis* и др. [Vanagas 1981: 208].

Вторая версия, менее предпочтительная, исходит из реконструкции сходной праформы гидронома *Полометь*: \**Pala-med-*, но предполагает более поздний, собственно балтийский уровень ее осмысления в связи с лесом, ср. лит. *medis* ‘дерево’, а также ‘лес’, ‘роща’, вост.-лит. диал. *medžias*, жем. *medē* ‘лес’, лтш. *mežs* ‘лес’, прус. *median* ‘дерево’ и лит. *Medelis*, *Medės*, *Medžiotė*, *Medėrva* — наименования рек [Vanagas 1981: 208]. Данная версия ослабляется прежде всего тем обстоятельством, что указание на лес (‘Лесная Пола’?) в лесной местности является, вообще говоря, топонимически невыразительным и поэтому его трудно предполагать в роли атрибутива, дифференцирующего гидронимы.

**Понеделька** (в старой документации с буквой «ять» в третьем слогe) рч., 18 км, лев. пр. Ниши на восточном побережье оз. Ильмень. Гидроним произведен при помощи суф. -ка от *Понеделье*, названия приречной деревни [НПК II: 467] (здесь же были известные по НПК и другим источникам средневековые *Понедельский* монастырь, *Понедельский* погост Деревской пятины). В свою очередь ойконим *Понеделье* (: *Понедель-ье*) на более раннем этапе образован с префиксом *по-* от былого названия смежной речки; ср. подобную структуру в сопредельных новг. *Похоловье*, средневековая деревня на р. *Холова* в Хрестцовичском погосте Деревской пятины [НПК II: стб. 435], или *Посторонье*, село на берегу рч. *Стороньки* в Батецком р-не Новгородской обл. Исходная гидронимическая форма скорее всего имела основу \**Ned-el-*, \**Nid-el-* (написание с «ять» — вторичное сближение со словами *неделя*, *понедельник*), восходящую к и.-е. корню \**ned-* ‘течь, плыть, устремляться’ с балтийским суффиксальным (деминутивным) оформлением и предполагающую в первую очередь сравнение с лит. рр. *Niedulė*, *Niedulis*, лтш. *Niēdali*, *Niedel-pļava*, *Niēduols*, *Нидалька* пр. пр. Березины и *Ниделька* (*Неделька*) р. басс. Сожа [Vanagas 1981: 230; Топоров 1988: 161–162; Топоров, Трубачев 1962: 199]. По поводу дальнейших корневых соответствий см. выше *Неденка*.

**Серемо** оз. и **Серемуха** р. в Приселигерье к югу от г. Валдай. К и.-е. \**ser-* ‘течь, плыть’ с расширением -m-: \**Ser-m-*. Входит в гидронимический ряд с *Sérmas* (*Sérma*) р. в Литве [Vanagas 1981: 296], *Sermenza* (< \**Sérmentia*) р. в Верхней Италии, *Sermane* (< \**Sermanna*) р. в южной Франции, *Strjama* (< \**Serma*) р. в Болгарии [Krahe 1954: 52; 1963: 336–

337], *Церем* р. басс. Горыни, *Церемский* пр. *Церема*, *Саремский* р. в басс. Припяти на Украине [Трубачев 1968: 193–194, 206], далее на Балканах Σέρμη, Σέρμιος р. в Тракии, дак. *Sirmium* р. [Krahe 1963: 337; Duridanov 1969: 62, 93], *Срем* — иллир. название местности в Придунайской области. На апеллятивном уровне известно др.-инд. *sármah* ‘течение’. О гидронимии от \**ser-m-* см. также [Агеева 1989: 195; Vanagas 1981: 296 (с обширной литературой)].

**Сово** оз. и связанная с ним **Совка** рч. неподалеку от **Сево** (**Севское**, **Сево-Виц**) оз. и **Севка** р. в Островском уезде Псковской губ. [Шкапский 1912: 76; Агеева 1989: 208]. К и.-е. \**sou-/seu-* ‘сырость; влажность; течь, сочиться’. Наличие вариантов *Сов-/Сев-*, территориально смежных, показательно для индоевропейской идентификации корня [Агеева 1989: 208]. Параллели в Балтии: лтш. *Sava* р., *Savīte* р., лит. *Savenė*, *Savistas*, ятвяж. *Sowik* оз., *Sowiejek* [Vanagas 1981: 292–293], прус. *Sowicz* оз., *Sawange* оз. [Gerullis 1922: 153]. В центральной Европе перечисленную гидронимию дополняют *Save* (< \**Sava*) р. басс. Изера во Франции, *Save* (< \**Sava*) пр. Гаронны во Франции, *Sava* или *Save* (исторические варианты *Savos*, *Saus*, *Savus*) р. басс. Дуная в Паннонии, упоминаемая еще Страбоном, Плинием, Птоломеем; далее *Seve* (< \**Savina*) пр. Эльбы, Германия; *Sèvre* (< *Savara*) — две реки во Франции, *Zeyer* (< \**Savira*) р. в Австрии [Krahe 1963: 336]. Корень \**sou-/seu-* этимологически проявляется в греч. ύει ‘идет дождь’, тох. В *swese*, албан. *shi* ‘дождь’, др.-в.-нем. *sou*, англ.-сакс. *seaw*, др.-ирл. *suth* ‘сок’ [Krahe 1963: 291; Vanagas 1981: 293 (со ссылкой на словарь Покорного)].

**Тулебля** (**Тулебель**, **Тулеба** [Шанько 1929: 630]) р., 43 км, южный приток оз. Ильмень. Спорное название, дославянский характер которого очевиден. В. Н. Топоров возводит к балтийскому композиту \**Tul-up(e)*, сравнивая с прус. *Tulen*, лит. *Tùlė*, *Tùlio upelis*, лтш. *Tuleja*, *Tulija* и др. [Топоров 1995: 34]. Можно предложить и другое решение, сближающее новг. *Тулебля* с лит. *Dulbis* оз., *Dulbė*. *Dulbis* ямы с водой, *Dulbė* луг, лтш. *Dulbis*, *Dulbji* селения (все эти названия трактуются по связи с лит. *dulbti* ‘делать медленную, кропотливую работу; возиться, копаться, рыться’, *dulbis* ‘увалень, лентяй’, лтш. *dulbs* ‘глупый, дурацкий’) [Vanagas 1981: 95; Endzelins 1956: 236], а также с герм. *Thulba/Dulba*, гидронимом, отражающим др.-герм. \**dulbi* ‘копать, рыть’ из и.-е. \**dhelbh-* ‘копать, выдалбливать, прорыть (о воде)’ [Krahe 1964: 26]. Модификация \**Dulb-* > *Тулеб-* могла быть связана с обработкой др.-евр. гидронима в языке прибалтийских финнов: это объясняет и передачу инициального звонкого *d* глухим *t* (ср. подобное в *Tulba-järv*, озерко в Выруском районе Эстонии [Kask 1964: 180], показывающем эстонскую передачу латышского гидронима типа *Dulba*) и стабилизацию ударения



в *Тулбля* на начальном слоге. От финнов же этот гидроним, в свою очередь, был воспринят славянами, которые оформили его по архаической модели с суф. *-ля*, легко присоединившись к основам на губные. Развитие эпентезы *e*, разбившей консонантное сочетание *lb*, могло произойти как на прибалтийско-финской, так и на славянской почве. На посредничество прибалтийско-фин. субстрата при передаче славянам данного названия как будто намекает и сохранение исконной огласовки и.-е. основы (в виде *u*). В силу регулярных фонетико-фонологических соответствий балто-славянская основа *\*Dulb-* при восприятии ее славянами прямо от балтов скорее изменила бы характер огласовки: *\*Dulb > \*Dьlb > \*Dolb-*, откуда теоретически следовала бы *\*Долбля*, а не *Тулбля*. Но после субстратной прибалтийско-финской обработки гидроним мог перестать восприниматься славянами как «прозрачная» структура от родственной основы, подверженной закономерным фонетическим преобразованиям.

**Уда (Удая)** пр. Сороти басс. р. Великой и **Удое** (Бол. и Мал.), смежные озера Новоржевского уезда Псковской губ. [Шкапский 1912: 140], **Удоха** лев. пр. Шелони неподалеку от Порхова Псковской обл. + **Удина** р. басс. Мсты неподалеку от г. Боровичи Новгородской обл. Возможны два этимологических решения. Во-первых, эти названия могут содержать балтийский гидронимический элемент *\*uda* ‘вода’ (ср. лтш. *ûdens* ‘вода’), наряду с набором гидронимов в балтийском этноисторическом пространстве: лтш. *Uda*, лтг. *Uda, Udze*, курш. *Udenpe*, прус. *Wuden* и др. [Топоров 1995: 35–36]. Во-вторых, не исключено, что в *Уд*-основе новг. и пск. гидронимов отражен и.-е. корень *\*audh-* ‘обильный, изобильный’, который видят в названиях как балтийского ареала: *Âud-upė* р., *Âud-upis* р., *Audenis* оз. в Литве, *Aũda, Audas-purvs* в Латвии, *Aude* р. в Эстонии (< лтш.), ятвяж. *Owdejec (Awdzienec)* [Vanagas 1981: 51; Endzelins 1956: 49], прус. *Awde, Auda* [Gerullis 1922: 13], *Уда* р. басс. Оки [Смолицкая 1976: 187], так и за пределами доисторической и исторически известной Балтии; ср. укр. гидронимы *Уда (Удай)* в басс. Сулы, *Удава, Удав* в басс. Псла в Днепровском левобережье (О. Н. Трубачев считает их иранскими [Трубачев 1968: 52, 80, 267]), *Auda* р., приток Средиземного моря, в южной Франции, *Audena* р. в северной Италии [Krahe 1963: 319]. Гидронимию от *\*audh-* обычно считают первоначальными наименованиями бурных полноводных ручьев (о ней еще см. [Rozwadowski 1948: 276–277; Krahe 1964: 57; Schmid 1969: 132–136; Vanagas 1981: 51; Агеева 1989: 203]); в апеллятивной лексике данный корневой элемент продолжают лит. *audinis* ‘северо-восточный ветер’, *audrùs* ‘бурный, бурливый’, рус. *удить, удеть* ‘набухать’, др.-инд. *ūdhar*, лат. *uber* ‘обильный, плодородный’ и др. [Фасмер I: 368–369].

Рассмотренная гидронимия новгородско-псковских земель, приведенная явно не в полном объеме<sup>4</sup>, связана, хотя бы отчасти, со временем первого появления носителей индоевропейской речи на Русском Северо-Западе. Согласно археологическим материалам, в эпоху бронзы (II тыс. до н. э.) на огромных пространствах восточной Европы — до юго-западной Финляндии на севере и оттуда к юго-востоку до среднего Поволжья — распространились культуры шнуровой керамики, обычно связываемые исследователями с быстрым и широкомасштабным расселением индоевропейцев (т. н. «индоевропейский импульс»). Территория Приильменя — центральных районов Новгородской земли — в широких рамках «индоевропейского импульса» II тыс. до н. э. преимущественно соотносится с фатьяновской культурой, фиксируемой к востоку от линии Ловать — Ильмень — Волхов, на севере доходящей почти до Ладожского озера и от Ладоги по бассейнам рек Сясь, Чагода, Чагодоща уходящей в Костромское Заволжье [Крайнов 1987]. Немного западнее, в бассейне р. Великой и в Прибалтике, для этой же эпохи отмечается культура ладьевидных боевых топоров (прибалтийская, или поморская), по основным показателям близкая фатьяновской, отделенная от нее узкой полосой «ничейной» земли [Основания: 268–271, рис. 29, с. 269; рис. 31, с. 276–277]. Обе эти культуры исследователи в целом единодушно связывают с протобалтами [Дини 2002: 39]. Считается, что далеко зашедшие на север протобалтийские племена со временем были ассимилированы более многочисленным местным прибалтийско-финским населением, с которым соотносят ареал культур «текстильной керамики», покрывающий весь Северо-Запад.

Таким образом, допустимо считать, что некоторые гидронимы на Русском Северо-Западе с отдаленными «транс-европейскими» структурными соответствиями были оставлены населением фатьяновской и прибалтийской культур II тыс. до н. э. При таком понимании эти гидронимы, в целом плохо трактуемые на апеллятивном материале известных балтийских языков, маркируют древнейшие языковые следы пребывания здесь индоевропейского населения и должны считаться протобалтийскими.

<sup>4</sup> Так, к древнеевропейским иногда относят ненадежно этимологизируемые названия крупных водоемов на Северо-Западе, в частности *Пейнус*, или *Пейнси* (эстонское название Чудского оз.), р. *Нарва*, вытекающей из Чудского оз., подробнее об этом см. [Агеева 1981: 142; 1989: 194, 204]. Однако позднее были найдены неединичные и достаточно убедительные соответствия данным гидронимам в Финляндии, в восточной и северной Карелии, где трудно ожидать следы древнеевропейского населения, см. [Шилов 1999: 63–66; 2001: 25–26].



Вместе с тем, представляется, что даже наличие «транс-европейских» параллелей и принадлежность к кругу древнеевропейских гидронимов недостаточно диагностирует столь раннее появление на Русском Северо-Западе таких названий, которые, как правило, прикреплены здесь к незначительным водным объектам. Неясно, кто был «хранителем» этих водных имен, малоизвестных и узкофункциональных в слабозаселенном регионе, на протяжении 3–4 тысячелетий. Если исходить из того, что в данном периферийном регионе некогда произошла «финнизация» протобалтийского населения, то по отношению к современному региональному топонимическому ландшафту такие названия должны считаться субсубстратными, воспринятыми славянами от финнов. В некоторых случаях, возможно, так и есть (см. *Волхов, Тулебля*), но в целом, безусловно, разреженное прибалтийско-финское население не могло обеспечить их сохранности. Поэтому, надо полагать, основная часть рассмотренных выше новгородско-псковских гидронимов древнеевропейского слоя все же была перенесена балтами в более позднее время из юго-западных регионов, сохраняема ими же и затем передана славянам вместе со множеством других балтийских названий. Таким образом, ситуация, представленная на Русском Северо-Западе, способствует тезису О. Н. Трубачева о роли балтов как «разносчиков» наддиалектных древнеевропейских гидронимов. Некоторые из таких названий на территории Русского Северо-Запада неоднократно повторяются (*Вишера, Полисть, Сого/Сево*, имена с основами *Лимен-, Ом-, Уд-*), что дает основания подозревать в их внутрорегиональном распространении уже не столько балтов, сколько славян, расселявшихся в более позднее время.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агеева 1981 — *Р. А. Агеева*. Проблемы межрегионального исследования топонимии балтийского происхождения на восточнославянской территории // Балто-славянские исследования 1980. М., 1981.
- Агеева 1989 — *Р. А. Агеева*. Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации. М., 1989.
- Аникин 2005 — *А. Е. Аникин*. Опыт словаря лексических балтизмов в русском языке. Новосибирск, 2005.
- Ванагас 1983 — *А. П. Ванагас*. Проблема древнейших балто-славянских языковых отношений в свете балтийских гидронимических лексем. Вильнюс, 1983.
- Васильев 2001 — *В. Л. Васильев*. Метонимическое калькирование архаических гидронимов в Приильмень // Топонимика и диалектная лексика Новгородской земли. Великий Новгород, 2001.
- Васильева 2001 — *Н. В. Васильева*. О термине и понятии «древнеевропейские гидронимы» // Ономастика Поволжья. М., 2001.

- ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Л., 1949.
- Дини 2002 — *П. У. Дини*. Балтийские языки / Пер. с итал. М., 2002.
- Железняк и др. 1985 — *И. М. Железняк, А. П. Корепанова, Л. Т. Масенко, О. С. Стрижак*. Этимологичний словник літописних географічних назв Південної Русі. Київ, 1985.
- Игнатов 1992 — *М. Д. Игнатов*. Этимология гидронима Вишера // *Linguistica Uralica*. Таллин, 1992.
- Крайнов 1987 — *Д. А. Крайнов*. Фатьяновская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР / Археология СССР. М., 1987.
- Мурзаев 1999 — *Э. М. Мурзаев*. Словарь народных географических терминов. М., 1999. Т. 1–2.
- Невская 1972 — *Л. Г. Невская*. Словарь балтийских географических апеллятивов // Балто-славянский сборник. М., 1972.
- Никонов 1966 — *В. А. Никонов*. Краткий топонимический словарь М., 1966.
- НОС — Новгородский областной словарь / Отв. ред. В. П. Строгова. Новгород, 1992–2000. Вып. 1–13.
- НПК — Новгородские писцовые книги, изданные императорской Археологической комиссией. Т. 2. СПб., 1862.
- НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
- Орел 1997 — *В. Э. Орел*. Неславянская гидронимия бассейнов Вислы и Одера // Балто-славянские исследования. 1988–1996. М., 1997.
- Основания — Основания регионалистики. Формирование и эволюция историко-культурных зон. СПб., 1999.
- ОФУЯ — Основы финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки. М., 1975.
- Попов 1981 — *А. И. Попов*. Следы времен минувших. Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Л., 1981.
- Смолицкая 1976 — *Г. П. Смолицкая*. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976.
- Спрогис 1888 — *И. Я. Спрогис*. Географический словарь древней Жомойтской земли XVI ст. Вильна, 1888.
- Топоров 1972 — *В. Н. Топоров*. «Baltica» Подмосковья // Балто-славянский сборник. М., 1972.
- Топоров 1988 — *В. Н. Топоров*. Балтийский элемент в гидронимии Поочья: I // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988.
- Топоров 1995 — *В. Н. Топоров*. О северо-западнорусском локусе балтийской гидронимии (из цикла «По окраинам древней Балтии») // *Res Balticae*. Pisa, 1995.
- Топоров 1997 — *В. Н. Топоров*. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. III // Балто-славянские исследования 1988–1996. М., 1997.
- Топоров, Трубачев 1962 — *В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев*. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Полднепровья. М., 1962.
- Трубачев 1968 — *О. Н. Трубачев*. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968.
- Трубачев 2002 — *О. Н. Трубачев*. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 2002.
- Фасмер — *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачев. М., 1986–1987. Т. I–IV.
- Хенгст 2001 — *К. Хенгст*. Древнеевропейские гидронимы у восточных славян // Ономастика Поволжья. М., 2001.
- Шанько 1929 — *Д. Ф. Шанько*. Рски и леса Ленинградской области. Л., 1929.

- Шилов 1999 — А. Л. Шилов. Заметки по исторической топонимике Русского Севера. М., 1999.
- Шилов 2001 — А. Л. Шилов. О языковой принадлежности некоторых топонимов древней Новгородской земли // Топонимия и диалектная лексика Новгородской земли. Великий Новгород, 2001.
- Шкапский 1912 — О. А. Шкапский. Озера Псковской губернии (их естественно-историческая характеристика и экономическое значение). С картографией озерных районов. Псков, 1912.
- Būga 1958 — K. Būga. Rinkiniai raštai. T. 1. Vilnius, 1958.
- Duridanov 1969 — I. Duridanov. Thrakisch-dakische Studien. Ersten Teil. Die Thrakisch und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969.
- Duridanov 1975 — I. Duridanov. Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle. Köln, 1975.
- Endzelins 1934 — J. Endzelins. Die lettländischen Gewässernamen // Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. XI. Berlin, 1934.
- Endzelins 1956 — J. Endzelins. Latvīgas PSR vietvārdi. D.1, sējumi 1–2. Rīga, 1956–1961.
- Gerullis 1922 — G. Gerullis. Die altpreussischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922.
- Kask 1964 — I. Kask. Eesti NSV järvede nimestik. Tallinn, 1964.
- Krahe 1954 — H. Krahe. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954.
- Krahe 1955 — H. Krahe. Sprache der Illyrier. Wiesbaden, 1955.
- Krahe 1963 — H. Krahe. Die Struktur der alteuropäischen Hydronymie. Wiesbaden, 1963.
- Krahe 1964 — H. Krahe. Unsere ältesten Flussnamen. Wiesbaden, 1964.
- Lehr-Splawiński 1946 — T. Lehr-Splawiński. O pochodzeniu i praojczyźnie słowian. Poznań, 1946.
- Mayer 1957 — A. Mayer. Die Sprache der alten Illyrier. Bd. I. Wien, 1957.
- Nicolaisen 1957 — W. Nicolaisen. Die alteuropäischen Gewässernamen der Britischen Hauptinsel // Beiträge zur Namenforschung. Heidelberg, 1957. H. 3.
- Otrębski 1960 — J. Otrębski. Wisła «Vistula» // Lingua Posnaniensis. Poznań, 1960. T. 8.
- Rohlf 1960 — G. Rohlf. Europäische Flussnamen und ihre historischen Probleme // VI Internationaler Kongress für Namenforschung. München, 1960. Bd. 1.
- Rozwadowski 1948 — J. Rozwadowski. Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków, 1948.
- Schmid 1969 — W. P. Schmid. Zur Geschichte des Formans \*-āuon-/ -āuo-/ -ā // Indogermanische Forschungen. 1969. Bd. 74.
- Schmid 1972 — W. P. Schmid. Baltische Gewässernamen und das vorgeschichtliche Europa // Indogermanische Forschungen. 77. Berlin, 1972.
- Schmid 1976 — W. P. Schmid. Baltisch und Indogermanisch // Baltistica. 1976. T. 12 (2).
- Schmid 1994 — W. P. Schmid. Linguisticae Scientiae Collectanea. Ausgewählte Schriften. Berlin; New York, 1994.
- Trost 1970 — P. Trost. K tzv. staroevropské hydronymii // Onomastické práce. Praha, 1970.
- Udolph 1979 — J. Udolph. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979.
- Udolph 1990 — J. Udolph. Die Stellung der Gewässernamen Polens innerhalb der alteuropäischen Hydronymie. Heidelberg, 1990.
- Vanagas 1981 — A. Vanagas. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.

L. BALODE, DZ. HIRŠA

## On several names of Latvian inhabited places

There are two purposes for this article: firstly — to enter some maybe less known names of Latvian inhabited places into the Baltic toponymic studies, and secondly, to offer a new view on a few place-names, which can already exist in the linguistic circulation.

However, we would like to start the analysis of the names of the inhabited places of Latvia with a review on etymology of the capital name of Latvia, which could be dated back to the 13<sup>th</sup> (or even 12<sup>th</sup>) century, in order to draw a conclusion, what is the linguistic point of view on the origin of this name now. Several hypotheses have been raised regarding the name of **Rīga** (Latv. **Rīga**) in different times, but almost all of them have been offered by a Latvian linguist Vallija Dambe<sup>1</sup>. The name of Riga in various written sources has been linked both with Latin *rigata* 'sprayed', and Baltic German *Riege*, Russian *puza*, Livonian *rī* 'threshing barn', and German dialect word *riega* 'old riverbed, inlet', Middle Low German lexeme with the meaning 'brook, ditch with water', and personal name *Riga*. One cannot leave unmentioned also the remark by the most prominent Latvian academician and linguist Jānis Endzelins provided in the manuscript of the Dictionary of Latvian Place-names, that the origin of a few similar toponyms of Latvia could be related with the names of Estonian villages *Riigi* and *Rüüga*, however Estonian linguist professor Paul Ariste and toponymist M. Norvik object to that. At the same time the Livonian roots of the word can certainly be sufficiently seriously grounded in the history. And probably there is certain future for this research.

Nowadays the name *Rīga* by Latvian onomastic specialists is considered to be of Baltic origin. One of the most serious arguments is that in ancient German documents of the 13<sup>th</sup> century there was written «*de stat to Riga*», which can be explained as 'city at the Riga river'. Hereby the origin of the city-name is linked with the name of a small river *Rīga* // *Ridziņa* which dried out, disappeared, and the name of which could be of Baltic origin: Baltic root *ring-* 'to wind, to bend, to flow zigzag' [Dambe 1990: 5–20], which can be found in many water-names both in Latvia and Lithuania (see [Vanagas 1981: 278]). Moreover there is also an appellative *ridziņa* 'small river' in Latvian [ME III: 536], the root of which is related to the previously mentioned.

<sup>1</sup> [Dambe, Zeids 1980; Dambe 1964; Дамбе 1966]; a large summarizing research: [Dambe 1990].

Formally one could imagine that this root has cognation also with German *Ring* ‘ring, circle’, but it has another origin. It is more credible that Curonians — indigenous inhabitants of that place — and not Germans gave name to the city (river or place at the river) [Dambe, Zeids 1980: 8; Dambe 1990: 5–20].

Speaking about other names of inhabited places of Latvia regardless of their localization and size they are arranged in alphabetical order.

**Ainaži** — harbour town in Latvia, near the Estonian border, on the coast of the Gulf of Riga. It was the first inhabited place on the coast of Vidzeme, founded in the place of ancient Livonian fishing village. It has been mentioned in German written sources in 1638 as *Dorf Haynisch*, later as *Haynasch*, in other written sources both as *Ainaži*, and sometimes also *Ainiži*. J. Endzelins links the name of the town with Livonian *āina*, Est. *hain* ‘hay’ and compares with Estonian place-name *Hainasoo* ‘hay + swamp’ [Lvv I: 6]. Border river of this region *Haynejecke* mentioned in a document of 1276, the second component of which comprises name with the meaning ‘rivulet’ and reflects Livonian of Salaca appellative *joug*, *jouk*, as well as *jōk* ‘river, brooklet’ or Est. *jōgi* ‘id.’, and indirectly indicates a relation to the above mentioned Livonian *āina*, Est. *hain*. In this case name *Ainaži* would be linked with the name of the river, which was called by Estonians and Livonians as ‘hay river’ [Konv. I: 126; Laumane 1996: 22–23]. One can also find in the written sources a relation with Livonian word *ainagi* ‘lonely’ [Konv. 1910: 36], or more precisely — ‘einzig (only, single)’ [Mägiste 1883: 43].

The termination of this word is one of the components indicating to the origin of the name from the Finns of the Baltic Sea, since ending *-āži/-iži* in Latvian place-names is considered to be a reproduction of case in Latvian of some, probably, Livonian name with the component *-sile* or *-sele* [Endzelins III-2: 93].

There are similar names in Latvia also in Sinole (Vidzeme), where name of the forest *Ainasi* and name of the swamp *Ainasa purvs* have been mentioned [Lvv I: 6].

**Aizkraukle** — a new town in Latvia, founded in 1967 on the right bank of river Daugava. The town used to be called *Stučka* in Soviet times (in honour of the leader of Latvian Communist Party Pēteris Stučka (1865–1932), however, as a matter of fact such coinage of place-names from personal names is not typical to Latvia, therefore the city was given a new name *Aizkraukle* in 1991). However, the name itself — *Aizkraukle* — is quite old — in 1206 German crusaders burned a Livonian castle, which was mentioned in some written sources as *Ascrate* (in Russian chronicles as *Скровень*) [Konv. 1910: 38]. There are also various forms of the name *Aizkraukle* mentioned in ancient chronicles: *Asscrade*, *Ascrade*, *Ascrath*, *Aschrade*, but inhabitants of it have

been called *Ascradenses* [Indriķa hronika: 434]. It is said that Mancelius used *Aizkraukne* instead of *Aizkraukle*, Germans used to call this place *Ascheraden*, which comes from Middle Low German *Ascrath*, which on its turn may have originated from a more older Latvian name *Azkrāte*. The German forms of the toponym allowed Ernest Frenkel to think that the name has derived from Latvian verb *aizkrāt* [Lvv I: 9]. However, the word *aizkrāt* ‘ersparen (save up, economize)’ [ME I: 33] does not seem to be credible derivative element of the name due to its semantics. Therefore, if for Mancelius this name has been fixed more precisely, then derivation from word *aizkrāut* could serve as a basis for the name or it could be explained as a place behind river *Kraukle* (with «?» [Lvv I: 9]). Therefore the form recorded in Russian — *Скровень* deserves the utmost attention, which due to *-v-* sound allows us to think of the possible origin of this place-name from the Latvian verb *aizkrāut* ‘to barricade, to block up’ [Blese 1938: 132]. Ernests Blese has offered a wide discussion about this name and criticized Augusts Bilenšteins for his attempt to link the name *Aizkraukle* with the tributary of river Daugava — *Āzķere* (by the way, this hypothesis has been repeated several times in many recent publications). E. Blese [Blese 1938: 132] and later Konstantins Karulis considered that *Aizkraukle* and *Ascrad* could be two separate names for closely located geographical objects. Ancient German forms also testify about a possibility of old Latvian (Eastern Latvian or Selonian) prefix *az-*. Thus one of possible hypothesis could be that *Aizkraukle* is a prefixal derivative from the name of the river *Kraukle* (*/Krauklupīte* — right tributary of Daugava), the name of which — on its turn — supposedly originated from Latvian verbs *kraukāt*, *kraukt*; in such case semantically it could be ‘a river that roars, makes noises’ [Baluodē 1994: 208]. Maybe this connection with river name *Kraukle* — is a phenomenon of later centuries? One thing is clear — it is a name of Baltic origin. But still there are more questions than correct answers on the etymology of the Latvian town-name *Aizkraukle*.

**Aizpute** (in German *Hasenpoth*) — nowadays it is a small town in the western part of Latvia, one of the earliest inhabited places in Latvia. Once it used to be an active port town. In the agreement of 1231 such forms of Aizpute have been mentioned: *Asimpute* and *Asenput* [Kiparsky 1939: 80], in other written sources it was called *Asseboten*, *Asimpute*, *Assenputte*, *Hasenputten* [Latvijas pilsētas 1999: 42]. Linguists suppose that the origin of this name most credibly is Baltic. Firstly, the first part — Latv. prefix *aiz-*, the second part of the place-name could be explained with Latvian word *putas* ‘foam’, Lithuanian verb *pūsti* (past tense *putaũ*) ‘swell, tumefy’, and this name could mean ‘place behind upland, behind the mountain’ (with «?» [Lvv I: 11]). Secondly, since Aizpute is located in the north-western side of the Western

Curonia on the high banks of the river Tebra, such explanation is most probable despite that Endzelins has added a question mark to his etymology. Thirdly, a similar place-name can be found also in Lithuania (in Kretinga region) — *Ōzputē*. Kazimieras Būga has written about the Curonian prefix in this name of the inhabited place [Būga III: 204]. It is a territory, which once was inhabited by the Curonians. Therefore the Curonian prefix *az-*, *āz-*, respectively the form, in which the local inhabitants speak, and not *aiz-* appears in the ancient sources. Fourthly, the form *Asseboten* — German writing of *Aizpute* — allows us to think, that maybe the oldest form of the name was *Āzputene*. Such point of view was expressed also by Vallija Dambe [Дамбе 1967: 1099–1103]. When analyzing the names mentioned in chronicles, she leads up to remember that «Despite toponyms and hydronyms are the most stable layer of wordstock, however, when comparing them to the documents of 13<sup>th</sup> century or German derivations of these toponyms (or hydronyms) that do not reflect the Latvian pronunciation clearly, but reflect a lot older forms of toponyms, it can be seen that some word-formation changes have taken place, despite that the lexemes have basically been preserved, respectively, the derivative model of toponyms has nevertheless been changed at least partly» [Ibid.: 1102]. It seems that it has happened also in this case. The irregular consonant *-n-* in the second part of the word could testify about the time, when place-name *Āzputene* still existed, but was already used alongside with the shorter form of the toponym *Āzpute*. Thus the first recordings of *Aizpute* in the written sources reflect not only the older forms of the name, but maybe also the possible parallel forms. Similar change of topoderivative model took place in Latvian names *Terwetene* : *Tērvete*, *Dorben* : *Durbe* (pronounced: *Duorbe*), *Bartowe* : *Bārta*. Since these place-name recordings belong mainly to the 13<sup>th</sup> century, one can consider that this is a time when readjustment of the word-formation models gradually took place in the Latvian language. One has to add only that according to observations of V. Dambe, the most frequent change is the loss of suffix *-en-* [Ibid.: 1103], but sometimes this *-en* is added only in German documents.

*Alsunga* < *\*Alsunga* < *\*Alsunga* — inhabited place in the western part of Latvia. Several hypotheses have been offered regarding the origin of this place-name. According to J. Endzelins, a Curonian word for alder can be found in the first part *\*alisā* or *\*aliskā* [Lv̄v I: 23; Būga I: 421; III: 374, 420]. F. Blese tried to link the first part of the toponym with Russian word *лось* 'deer' [Blese 1938: 137], however, the oldest recording of this toponym *Aliswangis* (in 1230) contradicts to it. Latvian linguist Ojārs Bušs on his turn compared it with Lithuanian verb *alsuoti* 'breath' and made a guess that may be toponym's *Alsunga* basis is 'breathing swamp' [Bušs 1987: 98]. The second

part of the place-name obviously has to be related with Lithuanian *vanga* 'field', Old Prussian *vangus* 'oak-wood'.

*Alsviķis* (in German *Alswig*) — inhabited place in the northern part of Vidzeme, the name of which supposedly has originated from German personal name [Lv̄v, I: 23], cf. German surname *Halswik* (?): «...in the times of the Order used to be in the use of Alsviķi family, wherefrom got its name» [Konv. 1910: 89].

*Alūksne* — town in the north-eastern part of Latvia — mentioned for the first time in historical documents in 1284. Name of the city has arisen from the river name *Alūksne*, the origin of which goes back to Latvian dialectal lexeme *aluogs* // *aluots* 'spring, brooklet' [Dambe 1987: 39], as well as *aluksna* 'swampy place'. J. Endzelins, when writing about *Alūksne*, reminds that Mancelius has recorded a form *Aluoksne*, while A. Bilenšteins has found a form *Alūkste* recorded back in the 13<sup>th</sup> century, which practically is grounded by a relevant Old Russian name *Алуистъ* [Bielenstein 1892: 98] and *Олуиста* mentioned in Pskov Chronicles [Būga II: 108]. These Old Russian names show that the older name of *Alūksne* was *Alūkste* or *Alūksta*, as even in the written sources of the 13<sup>th</sup> century form *Aluiste* is recorded [Bielenstein 1892: 98]. Meanwhile K. Būga the name *Alūksta* refers already back to the 7<sup>th</sup> and 8<sup>th</sup> century [Būga III: 535].

*Ance* — small inhabited place in Kurzeme (Courland) — probably related with personal name *Ancis*, which on its turn has arisen from German personal name *Hans*. But it is possible also to draw parallels with Lithuanian lakename *Ančia* which is derived from Lithuanian lexeme *antis* 'duck' [Lv̄v I: 27; Vanagas 1981: 42]. K. Būga considered this name as Curonism in Latvian territory due to *-an-* [Būga III: 174].

*Ape* — small town (which got its town rights in 1928) in the northern part of Latvia near Estonian border. Pronounced as *Opa* or *Ope* by the local people. The town originated on the basis of the former estate, which in German was called *Hoppenhof*. It has originated from German surname *Hoppe*: nobleman Gerhard Hoppe and his descendants used to reign over this region for many years.

*Āraiši* — inhabited place in Vidzeme. This toponym is related with Latvian lexemes *āra*, *āre*, *ārs* 'spaciousness, wide field'. V. Dambe wrote about the suffix *-aiši*: it could be a feature of Semigallian language, indicating that place-names of such type can be found also in the upcountry of Western Vidzeme and around Gauja river [Dambe 1985: 95].

*Ārlava* (in German *Erwahlen*) — village in northwestern part of Latvia. In historical sources it is recorded as *Arowelle*, *Erwahlen*, *Arwalen*, *Arwal*, *Arevale*, *Arwallen* etc. J. Endzelins compares this place-name with the name of Estonian village *Arovalla* (with «?» [Lv̄v I: 70]), *Aruvälja* (< (?) Est. *aru*

'fertile, dry place'). V. Dambe relates the name of this village with Finnish *aro*, Est. *aru* 'dry meadow' + Liv. *vell* 'field, home-stead place' [Dambe 1985: 92]. The older recordings *Arowelle* (1230), *Arevale* (1253) maybe testify that Latvians modified the ancient \**Arvali* to *Ārlava* according to the pattern of many Latvian place-names ending with *-ava*.

**Balvi** — small town in the northeastern part of Latvia. It appears as a name of inhabited place for the first time in the written documents dated 1224 (in German *Bolwen*). The origin of the place-name is rather clear. Hydronyms *Bolupīte* (river) and *Balvu ezers* (lake) between which the town is located have probably given the name for Balvi. The most credible seem to be hypotheses, which find root *balī-* in these place-names with meaning 'moist, wet place' or 'pale' [Dambe 1972: 126; Schmid 1970: 472; Breidaks 1977: 89].

There is an interesting fact that there are quite few place-names in Latvia with the root *Balv-*. In J. Endzelins' Dictionary of Latvian Place-names similar place-names have been mentioned only in Saikava [Lvv I: 83], which seems a little bit strange due to a reason that unextended root *Bal-* with the same meaning of 'wet place' in place-names is recorded much more often, therefore one might think that there could be a lot of toponyms with root *Balv-* due to the flat terrain of Latvia. Also V. Dambe, who has written about these place-names, admits that there are «quite few [toponyms] with [suffix] *-v-*» [Dambe 1972: 126]. Apparently this suffix in place-names belongs to the suffixes, for which one can say: «There are a lot of suffixes among other consonant suffixes of Latvian language, which can be established in nouns in result of analysis, however, their percentage of usage in formation of nouns is insignificant and actually they are used very rarely in the literary language stage, because in the consciousness of a language user they can not already be divided from the root of the word, respectively, they are not perceived as derivative elements» [Latv. lit. val. 2002: 137].

The relation of this place-name with Latvian contemporary lexeme *balva* 'present, gift, award' has to be considered as folk etymology.

**Bauska** — town in the southern part of Latvia (in Zemgale /Semigallia/ region), located in the junction of two rivers — Mūsa and Mēmele. The old town of *Bauska* have originated in the valley of Mēmele, and there is a Bauska castle mound located at its western part at the meeting of the rivers. Bauska has first been recorded in the documents in 1443 (German form *Bauske*), when Bauska castle has been started to build, which used to be called *Bowsenborch* in the first historical sources. Small settlement of craftsmen and fishermen appeared on *Kirbaka* peninsula near the castle, which later was called *Bauska* and which was called for some period also *Vairogmiests* (German *Schildburg*). Around 1584 Bauska started to grow in the present location.

There used to be a fortified settlement in the place of the castle back in 1st century A.D. [Latvijas pilsētas 1999: 86–95]. Similar place-names in the territory of Latvia can be found almost in all regions. J. Endzelins relates these names with Latvian dialectal appellative *bauska*, the first meaning of which is 'eine schlechte Wiese (bad meadow)', and second meaning — 'ein baufälliges, schlechtes Häuschen (trumbledown, bad house)' [ME I: 268; Lvv I: 89].

Georg Gerullis relates the name of *Bauska* with Prussian swamp name *Bawsiske* and personal name *Bawse*, as well as Lithuanian personal name *Baužà* [Gerullis 1922: 18]. However, he has doubts, whether *Bauska* originated from the oldest form *Bauziska*. J. Endzelins does admit as possible the origin of name of *Bauska* from the form *Bausiska*, but not from *Bauziska* as offered by G. Gerullis, because there is *Bausiškių kaimas* — village name recorded in Lithuania, however there are also such Lithuanian place-names as *Bauskà* and *Bauskis* — both names of villages, thus not every *bauska* has originated from *bausiska* [Lvv I: 89]. The idea of G. Gerullis is continued also by Vladimir Toporov, who concedes the relation of Prussian proper noun with place-names with a root *Bauz-*, with a remark though that their origination from the root *Baus-* is also possible [Tonopov 1975: 202, 203]. However, when thinking about the origin of this town of Zemgale, special attention should be paid to their first recordings in the written sources, respectively, to forms *Bowsenborch* and *Schildburg*. As we can see in the first recordings of the name of the castle, the name of *Bauska* appears without suffix *-k-*, which on its turn means, that we may allow a thought that the name with suffix *-k-* appeared later influenced by common noun *bauska*. Taking into account that the first settlement was located near the castle, in the meeting of rivers, its name could be related with common name *bauska* 'bad meadow', and the name of the castle maybe was related to another Latvian common name — *hauze*, the meaning of which could be 'der Kopf, der Gipfel (head; head of a mountain, hill)'; special attention from the point of view of semantics has to be paid also to the phrase recorded in western part of Latvia — *Kandava baužefna kalns* 'ein unfruchtbarer Hügel (unfertile hill)' [ME I: 268], as well as to such place-names as *Baiškalns* or *Baižes kalns* (hill) and *Baišķele* (meadow name from *Matkule*) [Lvv I: 89], which allows to keep such hypothesis.

It is an interesting fact that names with the root *Bausk-* seem not to be included in the book «Die Kurenfrage» (Helsinki, 1939) by the Finnish linguist Valentin Kiparsky, where proper names from various ancient written sources are summarized, but nevertheless there are some proper names with the root *Baus-*, where letter *s* due to its position in the word in German orthography may correspond both to Latvian letter *s*, and *z*. For com-



parison with the first recorded form of the name of Bauska — *Bowsenborch* — one can give as an example Curonian personal names *Bausen* from the registers of year 1565 and *Bause* from the registers of year 1582 [Kiparsky 1939: 265].

**Carnikava** — inhabited place at the lower reaches of river Gauja, in Vidzeme seaside. Name of *Carnikava* as it is used nowadays appears for the first time in the written sources in 1566 in such forms: *Sarnikau*, *Zarnikau*, *Zernigost*, but in the maps of 17<sup>th</sup> century there are also forms with Cz-, which indicate to Ć- in the beginning of a word, e.g., *Czernekaw* in 1627, *Czernekow* at the end of 17<sup>th</sup> century, as well in year 1714. There are no other toponyms with such root in Latvia. There are similar names known only in Northern Germany and Northern Poland: *Sarnekaw*, *Zarnekau* in Germany, *Czernica* river etc. in Poland. Therefore Latvian *Carnikava* is most credibly germanised form of a Slavic proper name, which testifies about the incomers from Poland, which somewhat is confirmed also by the materials of the revision register of year 1638. It is interesting that in 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> century *Carnikava* was called *Sānkaule*: Latv. *sānkauls* = *riba* 'rib', which very likely was referred to a branch of river Gauja. Toponym *Carnikava* in Latvian language phonetically sounds as a foreign body, and probably the Latvian name — *Sānkaule*, which has been used for certain period, specifies that inhabitants perceive its origin as not Latvian (see more details on the origin of the name *Carnikava* [Laumane 1996: 47–49]).

**Cēsis** — old settlement in Vidzeme, located in the northern part of the Vidzeme Central Upland. Building of a castle was started in 1207–1209, and developed into a town already in 1224. Germans called it *Wenden*, old Livonians *Wendeculla* [Indriķa hronika XV: 3], in Russian Novgorod Chronicles it has been registered as *къ Кесу. На замъку Кесу* [Būga II: 296]. The origin of the toponym is not clear. K. Būga considered it to be a possible Finno-Ugrism, because there is no such a root neither in toponymy of Lithuania, nor Old-Prussia. J. Endzelins opposes Būga and raises other hypotheses. He reconstructs a form *\*Cēses*, Gen. *\*Ces-uon* (with a short root vowel) [Endzelins III-1: 559] and relates it with place-names in Lithuania (*Kesių kaimas*, *Kesinė*) and Prussia (*Kessiten*), however, it is not quite clear, what this root meant in Baltic languages. The name of another place-name — *Cesvaine* — cognate to name of Cēsis, but it is also of unclear origin [Endzelins III-1: 559–562; FBR XI: 198]. It seems that V. Dambe agrees with J. Endzelins about the Baltic origin of the name *Cēsis* [Dambe 1985: 95]. However, maybe in the search of the etymology of the name of Cēsis the most interesting and most meaningful hypothesis is mentioned by K. Būga in his letter to J. Endzelins: *k-* in this name could be also a feature of ancient language of the tribe *Ventini* [Būga III: 856], since it used to be a settlement of *Ventiņi* who have

been expelled from Kurzeme, wherefrom the German form of the name of Cēsis — *Wenden* — have originated.

**Daugavpils** — the biggest city of Latgale — eastern part of Latvia, the second largest city in Latvia, on the banks of the Daugava River. The history of Daugavpils began in 1275, when a stone castle *Dinaburg* was built by the Livonian Order. In German documents it has been recorded as *Dünaburg*, in Russian — *Двинск*, for some time (1656–1667) — *Борисоглебск*. When Latvia declared its independence in 1918, it became *Daugavpils* (since 1920). The Latvian city-name undoubtedly originated from the river name *Daugava*<sup>2</sup> + Latv. *pils* 'castle'.

**Ērgeme** — both inhabited place, and river in the northern part of Latvia, near Estonian border. It is a clear Finno-Ugrism: Est. form of this toponym *Härgmäe*: *härg*, Gen. *härja* 'ox' + *mägi*, Gen. *mäe* 'hill' [Lv I: 283; Rudzīte 1968: 180].

**Gulbene** — town in the eastern part of Vidzeme. Latgalian castle used to stand here in Middle Ages. It is mentioned in German documents for the first time in 1224 as *Gulbana*. In the 15<sup>th</sup> century the name was germanised and *Gulbene* was translated as *Schwanenburg*. Probably it is toponym of clear Latvian origin: < *gulbis* with the meaning 'swan' [Lv I: 338].

**Iēcava** — both river (in German *Ekau*, tributary of river Lielupe, also *Iēcave* and *Iēcuve*, in riverhead: *Ieķeve*, *Ieķava*, *Ieķave*) and inhabited place in Zemgale — maybe originated from Latvian dialectal word *iecava* = *aizguore* 'der Raum hinter dem Ofen, der Raum zwischen der Wand und dem Ofen od. Auch der Ofenbank' (ME I: 29) [Lv I: 372; Būga II: 107]. Linguists consider the forms *Ieķeve*, *Ieķava*, *Ieķave* to be names of Semigallian tribe language due to *k > ķ* [Dambe 1985: 95], as well as suffix *-uve* [Būga III: 257]. One can only add that there are very few similar place-names — approximately 5 names and all of them are located in Zemgale, closer to the Lithuanian border.

**Jelgava** — the largest city of Zemgale (Semigallia) in central part Latvia. Jelgava is often mentioned as the former capital of the Duchy of Courland. It has grown from Semigallian port and merchants' settlement. Jelgava has been recorded in the historical documents in 1265, when the Master of Livonian Order started to build a wooden castle on the present Castle island — left bank of river Lielupe; the castle which was called *Mithow* (later used German name *Mitau* for Jelgava has originate from this word) [Latvijas pilsētas 1999: 191].

<sup>2</sup> Regarding origin of name *Daugava* see [Bielenstein 1892: 193, 201; Būga III: 503; Endzelin 1934: 128; ME I: 443; Lv I: 198; Schmid 1972: 1–18; Schmid 1985; Dambe 1987: 37; Karulis 1991; Karulis I: 203–204; Karulis 2004: 27–32; Karma 1994: 151] etc.

There are many opinions of the origin related with name *Jelgava*. One of the oldest etymologies links this place-name with Liv. *jālgab* 'city', but termination is supposed to be adjusted to many Latvian toponyms with *-ava*. J. Endzelīns considered that in the beginning it was not a proper name, but common word. W. Thomsen derives Liv. *jālgab* from Liv. *jālga* 'leg', and thinks that derivations has originally meant the same as the respective Finnish form *jalkava*, however Endzelīns had doubts about such hypothesis. J. Zakrānovičs draws conclusion that *jālgapā* > *jālgapa* > *jālgawa* have the meaning 'settlement at the foot of castle mound'. While Konstantīns Karulis on his hand offers hypothesis that name *Jelgava* has to be related with Latvian dialectal lexemes *jelgs* 'flach, wässerig (flat, shallow, watery)', *jelga* 'eine sumpfige Stelle (swampy, boggy place)'. As it is known, Jelgava really is located on the banks of low, swampy river. Another hypothesis links Jelgava with the semantics of 'place of religious cult': cf. Latv. *elks I* 'der Gotze, der Abgott, ein Abgott (idol, fetish, god)'; *elks II* 'die Biegung, der Winkel (wind, curve, bend; angle)'. One cannot exclude the possibility to see Ide. root *\*el* 'bend' in the name of *Jelgava*, extended variant of this root *el(e)k-/ \*el(e)g-* or *\*elg-* 'bend, lean'; thus the city name could be linked also with the river curve (see more details on etymological hypothesis of *Jelgava* in [Endzelīns III-2: 46–48; Kettunen 1955: 85; Карулис 1983: 125–128; Karulis II: 51–52] etc.).

Earlier *Jelgava* used to be called also in other names — *Nitauja*, *Nitava*, also *Mitava* (German *Mitau*), which is related with Latvian verb *mit* 'change', although there are other hypotheses [Endzelīns III-2: 46–50; Hirša 1988: 3]. An alternative explanation is that *Mitau* came from *Mitte in der Aue*, or 'the middle of the Aa'. K. Būga considered that the Zhemaitian form of this city *Mintauja* = ancient Latvian *Mytowe* [Bielenstein 1892: 133], which is from *Mint-*; so Lithuanians (resp. Zhemaitians) have preserved the ancient tautosyllabic *-in-* [Būga III: 843].

**Jēkabpils** — city in the middle part of Latvia, on both banks of the river Daugava. Earlier there used to be two separate cities — *Jēkabpils* (German *Jakobstadt*) on the left bank of Daugava and *Krustpils* on the right bank of Daugava, which has been already mentioned in historical documents back in 1237 (a stone cross-castle — *Cruczeborch* (German *Kreutzburg*) — was built by the crusading Livonian Brothers of the Sword). These two towns were united in one city in 1962. *Jēkabpils* is one of the few names of cities and towns of Latvia with anthroponymic origin: it is coined from the name of Courland's duke Jacob (1642–1682) = Latv. *Jēkabs* + Latv. *pils* 'castle', but *Krustpils* < Latv. *krusts* 'cross' resp. *ceļu krustojums* 'cross of roads' + *pils* 'castle'.

**Jūrmala** — resort town in Latvia, not far from Riga, stretching 32 kilometers along the sea, consists of a string of small resorts, including *Ķemeri*, *Jaunķemeri*, *Sloka*, *Kauguri*, *Vaivari*, *Asari*, *Melluži*, *Pumpuri*, *Jaundubulti*, *Dubulti*, *Majori*, *Dzintari*, *Bulduri* and *Lielupe*. For a long time this place was called Latv. *Rīgas jūrmala*, in German *Riga-Strand* 'beach of Riga'. As a separate town known from 1957. It is a new toponym of clear Latvian origin — compound name: *jūra* 'sea' + *mala* 'coast', also *jūrmala* 'seaside, beach'.

**Kandava** — town in western part of the country — in Kurzeme. For the first time it is mentioned in the written sources in 1230 as *Candowe*, later German form *Kandau*. Etymology of the name is not completely clear. May be from Latv. dialectal word *kandava* I 'eine grosse Pfütze' [ME II: 154]. However, the root resembles Liv. and Est. *kand* 'stump', but *-ava* is a characteristic ending of Baltic place-names [Lv II: 36; Endzelīns III-2: 235; Būga III: 615, 843–844]. Local inhabitants explain it also with verb *kandavāt* 'whip, hit horses', *kandavnieks* 'horse butcher'.

Non-Livonian factor has been respected also in etymological research. For example, K. Būga relates *Kandava* with Old-Prussian homestead name *Canden* and with a question mark links also to Lithuanian verb *kāndu* = Latv. *kuodu* 'I gnaw, bite' [Būga, III: 843–844]. Also V. Toporov relates this Latvian toponym with Prussian names, indicating at the same time to possible Livonian parallels; however, similar place-names can be found also in toponymy of Mazuria and the Vistula [Топоров 1980: 204, 205], resp. it means that Latvian place-name may be of Finno-Ugric as well as Indo-European origin.

**Kolka** and **Kolkas rags** are located at the western part of Latvia — in Kurzeme, where the Great Sea (or the Baltic Sea) meets the Small Sea (or the Gulf of Riga). Recording of the village-name *Kolkes zeema* has been known from 1741. People relate this name with Livonian imperative exclamation *kuolka!* 'die!', but usually place-names do not origin from the imperative forms of the verbs, therefore it is more credible to relate it with another Fino-Ugrism — Est. *kolk* 'Winkel, Ecke, Meerbusen', Finnish *kolkka* 'idem'. There is an appellative recorded with the meaning 'sandy horn in sea', but in Latv. *kolka*, *kulka* with the meaning 'depth; pothole' is widely distributed in Kurzeme and Zemgale [Laumane 1987: 71; 1996: 193], borrowed from Middle Low German *kolk* 'depth' [ME II: 254, 306; EH I: 671]. The most strangest part in explanation of this name is that *kolka* has not been mentioned as probable Livonian appellative in Livonian dictionary by L. Kettunen, although it should have been there, taking into account the historical situation; but the toponym *Kuolkka* has been recorded there [Dambe 1985: 96].

**Kuldīga** — a picturesque town in western Latvia, on the bank of the river Venta in Kurzeme. For the first time mentioned in historical documents in 1242, town from 1378. It has been recorded in the old documents in various ways: *Goldingen* (1245), *Guldīga* (1413), *Kuldīga*, *Guldīga* [EH I: 670]. One hypothesis relates it with Finno-Ugric languages, cf. *kuld* 'gold'. The first recording of this name contains *Gold-* in the root, which means 'gold' in German. It supports this hypothesis to a certain extent, although this German form is only a transformation of *Kuld-*. J. Endzelins compares *Kuldīga* with Latvian adjective *kuldaîns* 'Einsenkungen aufweisend' [ME II: 305] and Lithuanian meadow name *Kuldīgà*. Supposedly it can be related to other Latvian lexemes: *kuldīgs* 'hin- und hersclenkernd, flattering', *kuldurēt* 'schütteln, hin- und herschwenken', *kuldurīgs* 'wackelig; los; klappernd' [ME II: 305, 306]. Place-name *Kuldīga* originally could have meant 'very uneven, even hilly place' [Lv II: 168; Hirša 1989], thus it would only reflect the terrain of *Kuldīga*.

**Liepāja** — the third largest city in Latvia, the biggest city of the western region of Kurzeme on the Baltic Sea, an ice-free harbour. It has been mentioned for the first time in the written documents in 1253 as *Lyva*. The Livonian Order established the settlement as the town of *Libau* in 1263. The name *Liepāja* began to increase in usage after 1560. In 1625 Duke of Courland Friedrich Kettler granted the town city rights. Its name traditionally has been considered to be of Baltic origin, originated from the Baltic name of tree *liepa* 'linden' [Endzelins III-2: 117]. Vallija Dambe defines more accurately — from Curonian name of linden *lipa* or *lipa* [Dambe 1985: 89]. The oldest recordings of the name: *Lyva* (1253) 'Livonian village' > *Liiv* > *Liva* > *Liba* > *Libow* (16<sup>th</sup> cent.), German form *Libau*, Polish *Lipawa* indicates that probably «villa, quae dicitur *Lyva*...» = *Liepāja*?, if instead of *p* (as presumably in place-name *Libben*) there would appear *b*, which may appear as *v* in Middle Low German orthography...» [Ibid.]. There exist also other hypotheses, which link this toponym with Livonian ethnonym and not with the name of a tree. There is also Finno-Ugric explanation, because in Livonian *liiv* means 'sand'. However, it seems that any of the hypotheses requires additional evidence.

**Limbaži** — town in northwestern part of Latvia. It has been mentioned for the first time in 1223, when German bishop built his castle near Livonian castle mound *Lemisele* (in other sources also *Lemesele*, German *Lemsal*) [Latvijas pilsētas 1999: 285]. This name is considered to be of Finno-Ugric origin (cf. Estonian village name *Limmu* (*Limbus*) < *limp* (*limba*) 'Hinken (hobble)') [Būga III: 621], also *-sele* is a formant of a Livonian case [Endzelins III-2: 93] etc., however, semantics of the name is not completely clear. Folk etymology explains it as 'extensive island in the middle of swamp'.

**Ludza** — town in the eastern part of Latvia — in Latgale region. One of the oldest towns in Latvia. It has already been mentioned in Russian Chronicles in 1173 (or 1177). The Teutonic Order built a stone fortress in 1399, German form is *Ludsen*. Several opinions have been offered regarding the etymology of this place-name: J. Endzelins both the name of the town, the lake-name *Ludza*, and river-name *Ludze* compares with Latvian dialectal appellative *lucka* 1. 'die Jauch-, Schmutzgrube', although this relation seems to be almost incredible. Linguists compare it with Illirian *luga-* 'swamp'. Russian river-name *Лужа*, nomenclature words *лужа* 'puddle', *лужа* 'puddle, pond', Latv. *luga* 'quebbige Morastmasse an zuwachsenden Seen', Lith. *lūgas* 'low place flooded by river; swampy river branch; slough, moor, marsh, pond; pit in the bottom of river, depth, whirlpool', Lith. *liūgas* 'small puddle; thick mud, marshland, mire' etc. All appellatives mentioned here obviously form one etymologic nest [Lv II: 343–344; Endzelin 1934: 112–150; Semyonova 1969: 26–34; Breidaks 1977: 88–98] etc.

**Madona** — town in the middle part of Latvia, which has been mentioned for the first time in 1461. German form *Madohn*. It seems that this name still does not have clear etymology. Local people believe that it has originated from dialectal word — adjective *maduons* 'early, brisk, vigilant, merry'; another legendary explanations relates it with personal name *Made*, who is said to be drowned in this lake + *duona* with the meaning 'valley' [Lv II: 365]. The most credible version is that the town borrowed its name from the name of manor house *Modohn* (later *Birži* manor house), the origin of which is not quite clear.

**Matkule** — inhabited place in western Latvia. It has been recorded for the first time in written documents as *Matekule* in 1230. It is a place-name of Finno-Ugric origin — compound name, the first part of which probably is related to Livonian *mat'tâ* 'to bury, entomb', Estonian *mate* 'burial' or Livonian adjective *madal* 'niedrig, klein (low, small)' [Kiparsky 1939: 222], and the second part Livonian *kūla* 'village' (also Est. *kūla* 'idem'). One can compare it also with Estonian place-name *Matakūla* [Lv II: 383; Endzelins III-2: 255].

**Mazsalaca** — town in the northern part of Latvia, on the river *Salaca*. The present town began to develop in 1864, when a bridge over the *Salaca* river was built. The name is made as composite: Latvian *mazs* 'small' + river name *Salaca*. Origin of the name of river *Salaca* is not clear (it is the 5<sup>th</sup> biggest river of Latvia, located on the Latvian — Estonian borderland): Kazimieras Būga, Jānis Endzelins and Marta Rudzīte considered it to be a Finno-Ugrism — name of Livonian origin without interpreting any details. It has been mentioned in the Chronicle of Henry as *Saletsa*, in later documents — *Salis*. Benita Laumane relates it with Est. *salu*, Finnish *salo* 'grove,

swamp, island, hill'. Vilnis Purēns relates it with Livonian *saletsa* 'salty river', because there used to be salty springs. Meanwhile two inhabited places have got their names from the name of the river *Salaca*: *Mazsalaca* (German *Salisburg*) and *Salacgrīva* (*Salaca* + *grīva* 'mouth') [Endzelin 1934: 149; Rudzite 1968: 191; Laumane 1996: 25–26].

**Nīca** (also *Nīcava*) — inhabited place in southwestern Latvia, in Kurzeme. It got its name from Latvian (most credibly — Curonian) common noun *nīca* 'bottom, low place; lower reaches of the river'. Nīca is located in the lower reaches of river *Bārta*, at the Baltic Sea. The old German name *Nieder-Bartau* (Latv. *Lejas Bārtava*) is coined directly from the name of the river *Bārta* [Lvv II: 480–481; Hirša 1988a: 15; Laumane 1996: 104–105].

**Nurmuiža** is an inhabited place in western Latvia, Kurzeme. This toponym is a compound word, the first part of which contains Livonian noun *nurm* 'field' (cf. also Est. *nuim* 'idem') + Latv. *muiža* 'manor house', which also is a borrowing from Finno-Ugric languages (Livonian *moiz*, Estonian *mõiz*), cf. also Estonian place-name *Nurme-mõiz* [Būga III: 615; Lvv II: 485].

**Ogre** — this is both a name of one of the most rapid rivers of Latvia, and a town near it. Inhabited place *Ogre* has been mentioned already in 1206. One of the most credible hypothesis links this place-name with a reconstructed form *\*Vangrē*, which is related to the Lithuanian adjective *vingrūs* 'meandering, curly', Latvian *vingrs* 'nimble', thus it would be 'the meandering river' (this root is widely known both in Lithuania and Old Prussia; also Latvian place-name *Engure* is related to it) [Balode 1980: 26]. However, there exists also another hypothesis which offers the etymology, connecting with Finno-Ugric languages: a form *fluvius Wogene* has been recorded in the Chronicle of Henry in the 13<sup>th</sup> century, and it provides a basis to relate it with Estonian *voog*, Gen. *voo* 'stream', Est. *voogamaa* 'flow' [Alvre 1985: 32–34; Karma 1994: 150–154].

**Pāvilosta** — village and port in the western part of Kurzeme. Curonian inhabited place *Saceze* or *Sacese* mentioned already in documents of 1230 is located 6 km from the mouth of river *Saka*, where rivers *Tebra* and *Durbe* flow together and river *Saka* begins. In a document of 1386 the stone castle of *Saka* is mentioned (1290), not far from which used to be a port with a lighthouse and inhabited place. In the second half of the 19<sup>th</sup> century the governor of Kurzeme was *Paul von Lilienfeld* (*Павел Федорович Лилиенфельд*), in the name of which this inhabited place was named — in Latvian *Pāvilosta*, in German — *Paulshafen* [Latvijas pilsētas 1999: 336]. Before that it used to be called also as *Sakaleja* [Laumane 1996: 95].

**Pilda** — inhabited place in eastern part of Latvia. There are also hydronyms *Pildas ezers* and *Pildas upe* at the same place. The name of the inhabited place was recorded for the first time in church chronicles in 1766 [FBR XIII:

38]. The folk etymology relates it with similar sounding Latvian verb *pildīt* 'füllen, voll machen (to fill, to stuff)', however, this place-name has a clear Finno-Ugric origin: < Est. *põld* 'field'. The name *Pildas muiža* on its turn has complete reference in Estonian language, cf. *Pildamuiža* < *Põldemõis* [Rudzite 1968: 189; Брейдак 1970: 162; 1973: 100; Zeps 1977: 432–433; Lvv IV: 2–3]. As it is known, so-called Estonians of Ludza used to live in this region at the 17<sup>th</sup> cent., who apparently gave this name to the inhabited place.

**Ļaviņas** — town on the right bank of Daugava river, in the middle part of the country. There used to be a crossing over Daugava already in 18<sup>th</sup> century. The town has appeared by uniting 2 inhabited places: *Ļaviņas* and *Gostiņi*. *Ļaviņas* — name of one homestead, originated from Latvian lexeme *ļava* 'meadow' + suffix *-iņ-*.

**Pope** — inhabited place in Kurzeme. Its name has originated from Latvian dialectal word *puopis*, *puope* 'ein Hümpel, ein moosigter Hügel in Morast und feuchten Wiesen; ein Morast mit Hümpeln; eine Wiese ohne festen Untergrund über Seerändern' [ME III: 457], cf. Latv. *puopa zeme* means 'boggy, marshy land' [Хирша 1988: 62].

**Salaspils** — one of the oldest settlements in Latvia, situated on the right bank of the largest river Daugava. Known as *Kirchholm* until 1917. The first stone castle in the Baltic region was built by Catholic missionaries nearby Ikšķile in 1185, but the second on the small island in Daugava (island was called *Kirchholm* from the middle of 13<sup>th</sup> century, later *Mārtiņsala* < Latv. personal name *Mārtiņš* + *sala* 'island'). St. Martin's church existed on this island until 18<sup>th</sup> century. In the 60-ies and 70-ies of the 14<sup>th</sup> century the Livonian Order built a new stone castle of convent *Neu-Kirchholm* and St. Georg church on the right bank of Daugava. Town was established nearby this new castle [Latvijas pilsētas 1999: 428]. The toponym *Salaspils* originated as a compound name from Latv. *sala* 'island + *pils* castle'. The Latvian name of the *Salaspils* comes from the Mārtiņsala Island castle, but the Germanized name *Kirchholm* — from the Mārtiņsala Island church. Both names were referred to the territory on the right bank of the Daugava ruled by the Livonian Order.

**Secē** — inhabited place in the middle part of Latvia (Jēkabpils region). Hypothetically it is related to rivername *Saka*, which has originated from Latv. appellative *saka* 'river branch'. It is possible that there used to be a Latvian word *\*sece* with the meaning 'bough, twig' (cf. Lith. *šakà* 'bough, twig') [FBR XI: 165].

**Smiltene** — town in Vidzeme with clear Latvian origin: < *smiltis* 'sand'. Its name appears for the first time in historical documents in 1427 as *Smilte-sele*, later German form *Smilten*.

**Stende** — town and river with the same name in the northwestern part of Latvia. In a document of 1288 Stende river was recorded as *Testenden*, on the bank of which there was an inhabited place *Pastende* [Latvijas pilsētas 1999: 479]. Later there is only *Stende*. Kazimieras Būga considers this name to be a Curonism due to the preserved *-en-* [Būga III: 176], while other linguists try to relate it with Finno-Ugric languages, respectively, with Estonian *tosta* resp. *tostma* ‘bring up, raise, lift’ [Endzelīns III-2: 258–259; Kiparsky 1939: 236–237; Rudzīte 1968: 191]. However, Vallija Dambe explains this place-name (*Testenden*) as a compound name of Baltic origin, where the first part *tes-* (which could be read as *ties-*) (cf. Lithuanian adjective *tiesūs* ‘straight, direct’), and alternation of *-d-* and *-g-* in the second part < *stingti* ‘to curdle, to stiffen, to freeze’, Latv. *stingt*, adjective *stengs* = *stengrs* (V. Dambe, manuscript of Place-name Dictionary of Latvia).

**Talsi** — town in Latvia, in the western part — in Kurzeme region. Town stands on 9 hills with an old history. Known as ‘The Pearl of Kurzeme’ and ‘The Town of Nine Hills’. Its name has been mentioned for the first time in the agreement with Curonians dated by the year of 1231; state of *Vanema* (*Waneman*) was mentioned at the same time. Origin of the place-name *Talsi* is not completely clear. It could be a toponym of Curonian origin, comparable also with Lithuanian place-names — town *Telšiai*, river *Telšė*, which hypothetically may be related with Lith. verb *telkšnōti* ‘to be covered with water, to be flooded’, *telžti* ‘to rain hard, to pour, to slash, to teem’ [Vanagas 1981: 343]. It is possible that there used to be words of similar meaning in Curonian language, which gave name first to the lake or river and later to the inhabited place [Bušs 1989].

**Tukums** — town in Kurzeme, for the first time mentioned in historical sources in 1253. The name supposedly derived from Latv. verb *tukt* ‘fett werden, schwellen /to get fat/’ [ME IV: 358]. The approximate meaning of this place-name could be ‘swelling, bump’ — these could be the names of hills located nearby Tukums [FBR X: 115]. However, there are also hypotheses of Finno-Ugric origin, relating it with Est. *tukkuma* ‘to snooze, to sleep’ or also with Livonian lexemes *tukku* ‘heap, pile’ + *māgi* ‘hill’, or *tukam* ‘end’ + *maa* ‘land’, with the meaning ‘hilly land’ or ‘land (place), where is the border of Zemgale and Kurzeme regions’ [Latvijas pilsētas 1999: 502]. Livonians themselves call Tukums as *Tukka-mō* < Liv. *tutka* ‘end’ + *mō* [Dambe 1985: 99].

**Valka** — town located in northern Latvia, on the border with Estonia, near the river *Pedele*. The inhabited place has been recorded for the first time as *Pedele* in the Debtor’s book of Riga in 1286, but in the Chronicles of Novgorod it has been recorded already as *Walk*. Later in other documents both names — *Pedele*, as well as *Walko* — have been mentioned [Latvijas

pilsētas 1999: 517]. City rights since 1584. According to archeological data there used to live both Finno-Ugric and Latgallian tribes in the region of Valka in the 13<sup>th</sup> and 14<sup>th</sup> century. Maybe therefore the origin of name *Valka* (Estonian *Valga*) has always aroused discussions. It may be related to Est. adjective *valge* ‘white’ (there are many place-names with such root in Estonia, as well as place-names of respective semantics with the root *Balt-* ‘white’ in Latvia and Lithuania). Another very credible hypothesis related this toponym with Latvian lexeme *valks* ‘brook’ (however, it is spread mainly in Kurzeme). But it is possible also to link the name of the town *Valka/Valga* with Latvian adjective *valgs, valgans* ‘moist, humid’. It is very difficult to give priority to any of these alternatives. Less credible is relation with Latv. verb *vilkt* ‘to pull, to draw, to drag’, although it cannot be abandoned categorically. Thus according to the sound composition one can easily concede its relation both with Baltic and Finno-Ugric languages [Bušs 1985: 4].

Special attention to Indo-European roots *\*uelq-* and *\*uelg-* in the area of Baltic languages has been paid by A. Nepokupnij [Непокупный 1976: 29–34], although he does not explain the origin issue of this place-name concretely. And it seems to be so, as O. Buss has said, that the older this place-name would be, the more credible the Finno-Ugric hypothesis would be, however, it is not possible to give unambiguous answer in this case [Bušs 1985: 4]. The only thing worth paying attention to is the older name of Valka — *Pedele*, which also supposedly is related with Estonian language, cf. Est. *pedajas* ‘pine-tree’. At least V. Dambe thinks so, mentioning also Latvian toponyms of the same root *Pededze* and *Pedemurds*, although with a question mark [Lvv III: 246]. If it is so, then it is interesting, why one Finno-Ugrism has changed another? Somehow it makes us to think that the presence of the Baltic component in this case cannot be excluded. Latv. dial. lexeme *pedele* with the meaning ‘last girl’ has been recorded in Vidzeme, Madona region, also *pedelis* ‘last boy in the family’ [‘last child in the family’] in Kalupe [Reķēna II: 198]; so river *Pedele* at least in the semantic aspect could be ‘last river’ or ‘utmost river’. There are quite many toponyms with the root *Pedēj-* (cf. Latv. *pēdējais* ‘last’) in Latgale, also in Alūksne, Vaiņode etc. [Lvv III: 322].

**Valmiera** — city in the northern part of Vidzeme, which was a part of Tālava region populated by Latgallians. Valmiera was first mentioned as a town in a chronicle dating back to 1323. In the chronicles of the 13<sup>th</sup> and 14<sup>th</sup> centuries it was recorded as *Wolmahr*, *Waldemer*, *Wolmar*, *Woldemar*, *Woldemer*, *Voldemarsburg* in German, *Voldemaria*, *Wolmaria* in Latin and *Воллдумипеу* in Russian, which allows us to think that sound *-d-* has disappeared in the course of time, and that the name of the town has been derived from personal name *Voldemārs* or even Russian *Vladimir*. J. Endzelīns had



a thought that the ruler of the old castle was *Valdmiers* or *Valdimiers*. It is not easy to explain, in honour of which person the name had been given, however, most credibly it is toponym of anthroponymic origin [Bušs 1988: 9]. There are two most popular versions. First — related with grand duke *Vladimir* of Pskov, who was banished from Pskov and assigned to a judge of Idumcja region. Second — name is related with the King of Denmark — *Valdemar II* [Latvijas pilsētas 1999: 547, 548].

**Vecāki** — registered as an inhabited place already in 17<sup>th</sup> century on the maps of Riga patrimonial region [Laumane 1996: 50–51]. Name of the favorite recreation place in Vidzeme seashore only at a glance reminds Latvian common noun *vecāki* ‘parents’. Actually it is a compound toponym, the first part of which contains Latvian adjective *vecs* ‘old, ancient’, and the second part *āķis* ‘hook, cape, ford, sandbank’, borrowed from German *Hake, Haken*. It has been recorded as *Wezze-hake* in the map of Vidzeme of 1798 [Laumane 1987: 51, 109; 1996: 312].

**Ventspils** — one of the five largest cities in Latvia, one of the biggest ice-free harbour in the northwestern Latvia, seacoast of Kurzeme. It is named after the *Venta* river, which passes through the city. German form — *Windau*. Initially the harbour was called *Vindas osta*. But the word *Vinda* itself has been recorded for the first time in the name of river *Uindau* in the runic stone inscription in Gotland around 1100. However, the place of the present city was not inhabited until 13<sup>th</sup> century. And only in 1290 the Order castle in Ventspils has been mentioned in a document [Laumane 1996: 50–51]. There are many hypotheses regarding river *Venta*<sup>3</sup>, although the origin of the city name is clear: river name *Venta* + *pils* ‘castle’.

**Zentene** — place-name — in western part of the country — of unclear origin. J. Endzelins considers that it has relationship with (Curonian?) surname *Zentelis* and Lithuanian appellative *žentas* ‘son-in-law’ [Endzelins I–IV]; *-ene* is characteristic toposuffix of Latvian place-names.

**Zilupe** — rather new town (1931) in the eastern part of Latvia, several kilometers from the border with Russia. There is also river *Zilupe* near this inhabited place. The name of the river appeared as a misunderstanding. Initially it used to be *Sienupe* (< Latvian *siens* ‘hay’ or Lithuanian *siena* ‘border’ + *upe* ‘river’), which is pronounced in local High Latvian dialect as *Sīnupe*. This dialectal form was perceived in Russian and modified to *Синья* (Russian *синья* ‘blue’) according to sound similarities. Later this Russian name was translated back as a calque in Latvian — *Zilupe* (Latv. *zils* ‘blue’) [Dambe 1987: 38–39]. The river gave the name to the town.

<sup>3</sup> See some of them [Endzelin 1934: 126; Būga III: 244; Vanagas 1981: 372; Bušs 1994: 22–28] etc.

Here are only some of Latvian largest inhabited place-names which arise interest from the etymological or semantical point of view mentioned in this article.

#### LIST OF ABBREVIATIONS AND REFERENCES

- Alvre 1985 — *P. Alvre*. Eesti ja liivi keeleaines Henriku Liivimaa kroonikas // Keel ja Kirjandus. Tallinn, 1985. № 1.
- Balode 1980 — *L. Balode*. Aiviekste, Ogre // Draugs. 1980. № 1.
- Baluodē 1994 — *L. Baluodē*. Dauguvos intakū hidroniminē analizē potamonimū stratifikācijas aspektu // Baltistica. XXIX (2). 1994.
- Bielenstein 1892 — *A. Bielenstein*. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. St.-Petersburg, 1892.
- Blese 1938 — *E. Blese*. Valodnieka piezīmes par dažiem Latvijas vietu vārdiem // Tautas vēsture. Rīga, 1938.
- Breidaks 1977 — *A. Breidaks*. Par baltu un seno Balkānu valodu paralēlēm // LPSR ZA Vēstis. 1977. № 3.
- Būga I–III — *K. Būga*. Rinkiniai Raštai. I–III. Vilnius, 1958–1961.
- Bušs 1985 — *O. Bušs*. Piebilde par Valkas-Valgas vārdu // Darba Karogs. 1985. № 30.
- Bušs 1987 — *O. Bušs*. Onomastika kuršej // Lietuvių kalbos sandaros tyrinėjimai (LKK XXVI). Vilnius, 1987.
- Bušs 1988 — *O. Bušs*. Vietvārdi stāsta. Valmiera // Draugs. 1988. № 5.
- Bušs 1989 — *O. Bušs*. Talsi // Draugs. 1989. № 3.
- Bušs 1994 — *O. Bušs*. Latvijas potamonīmi ar tautosillabiskajiem savienojumiem. Somugrismu problēma // Baltistica. IV priedas. Vilnius, 1994.
- Dambe 1964 — *V. Dambe*. Par vārdu Rīga // LPSR ZA Latvijas dabas un vēstures biedrības Rīgas nodaļas konferences tēzes. Rīga, 1964.
- Dambe 1972 — *V. Dambe*. Saknes *balī-*, *palī-* (skaņu mijā) ar slapjas vietas nozīmi vietvārdos // Veltījums akadēmiķim Jānim Endzelīnam. Rīga, 1972.
- Dambe 1985 — *V. Dambe*. Valodu kontakti Latvijas PSR toponīmijā // Baltu valodas senāk un tagad. Rīga, 1985.
- Dambe 1987 — *V. Dambe*. Ieskats Latvijas PSR hidronīmu semantikā // Onomastikas apcerējumi. Rīga, 1987.
- Dambe 1990 — *V. Dambe*. Par Rīgas vārda izcelsmi // Onomastica Lettica. Rīga, 1990.
- Dambe, Zeids 1980 — *V. Dambe, T. Zeids*. Vēlreiz par Rīgu // Zvaigzne. 1980. № 6.
- EH — *J. Endzelins, E. Hauzenberga*. Papildinājumi un labojumi K. Mühlenbacha Latviešu valodas vārdnīcai. I–II. Rīga, 1934–1946.
- Endzelin 1934 — *J. Endzelin*. Die lettländischen Gewässernamen // Zeitschrift für slavische Philologie. Wiesbaden, 1934. Bd. 2. H. 1/2.
- Endzelins I–IV — *J. Endzelins*. Darbu Izlase. I–IV. Rīga, 1971–1982.
- FBR — Filologu Biedrības Raksti. 1.–20. Rīga, 1921–1940.
- Gerullis 1922 — *G. Gerullis*. Die altpreussischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922.
- Hirša 1988 — *Dz. Hirša*. Jelgava // Draugs. 1988. № 8.
- Hirša 1988a — *Dz. Hirša*. Nīca // Draugs. 1988. № 12.
- Hirša 1989 — *Dz. Hirša*. Vietvārdi stāsta. Kuldīga // Draugs. 1989. № 1.
- Indriķa hronika — Indriķa hronika. Bibliotheca Baltica / Ā. Feldhūna tulkojums. Ē. Muģurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga, 1993.

- Karma 1994 — *T. Karma*. Septiņi lībiski vietvārdi Daugavas krastos // Daugavas raksti. No Rīgas līdz jūrai. Rīga, 1994.
- Karulis 1991 — *K. Karulis*. Daugavas un Piedaugavas vietvārdi. Nosaukumu cilme // Daugavas Raksti. No Aizkraukles līdz Rīgai. Rīga, 1991.
- Karulis 2004 — *K. Karulis*. No kurienes šis Daugavas vārds? // Onomastika Lettīca 2. Rīga, 2004.
- Karulis I–II — *K. Karulis*. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. I–II. Rīga, 1992.
- Kettunen 1955 — *L. Kettunen*. Etymologische Untersuchung über estnische Ortsnamen. Helsinki, 1955.
- Kiparsky 1939 — *V. Kiparsky*. Die Kurenfrage. Helsinki, 1939.
- Konv. — Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, 1927–1940.
- Konv. 1910 — Konversācijas vārdnīca (burtnīcās). 2. izdevums. Rīga, 1910.
- Latv. lit. val. 2002 — Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība. Rīga, 2002.
- Latvijas pilsētas 1999 — Latvijas pilsētas. Enciklopēdija. Rīga, 1999.
- Laumane 1987 — *B. Laumane*. Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē. Rīga, 1987.
- Laumane 1996 — *B. Laumane*. Zeme, jūra, zvejvietas. Rīga, 1996.
- Lvv I — *J. Endzelīns*. Latvijas PSR vietvārdi. I d. 1. sēj. A–J. Rīga, 1956.
- Lvv II — *J. Endzelīns*. Latvijas PSR vietvārdi. I d. 2. sēj. K–Ū. Rīga, 1961.
- Lvv III — Latvijas vietvārdu vārdnīca (Paaglis – Piķu-). Rīga, 2003.
- Lvv IV — Latvijas vietvārdu vārdnīca (Pilaci – Pracapole). Rīga, 2006.
- ME — *K. Mülenbachs*. Latviešu valodas vārdnīca. 1.–4. sēj / Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, 1923–1932.
- Mägiste 1883 — *J. Mägiste*. Estnisches etymologisches Wörterbuch. I. Helsinki, 1883.
- Reķēna I–II — *A. Reķēna*. Kalupes izloksnes vārdnīca. I–II. Rīga, 1998.
- Rudzīte 1968 — *M. Rudzīte*. Somugriskie hidronimi Latvijas PSR teritorijā // Latviešu leksikas attīstība. Rīga, 1968.
- Schmid 1970 — *W.-P. Schmid*. Zur primären -u- Ableitung in einigen baltischen Gewässernamen // Donum Balticum. Stockholm, 1970.
- Schmid 1985 — *W.-P. Schmid*. Dūna // Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 6. Lief. 3/4. 1985.
- Semyonova 1969 — *M. F. Semyonova*. On Russian-Latvian Contacts as Seen from Geographical Terms and the Toponymy of the Latvian SSR // Acta Baltico-Slavica. Białystok, 1969. Vol. 6.
- Vanagas 1981 — *A. Vanagas*. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.
- Zeps 1977 — *V. Zeps*. A Critique of Proposed Finnic Hydronyms in Latgola // Studies in Finno-Ugric Linguistics. In Honor of Alo Raun / Ed. by Denis Sinor. Bloomington, 1977.
- Брейдак 1970 — *А. Брейдак*. Влияние прибалтийско-финских языков на латгальские говоры Лудзенского района Латвийской ССР // Взаимосвязи балтов и прибалтийских финнов. Рига, 1970.
- Брейдак 1973 — *А. Брейдак*. Прибалтийско-финские названия рек в Латгалии // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. № 2. Rīga, 1973.
- Дамбе 1966 — *В. Дамбе*. Название города Рига (Rīga) // Вопросы географии: Изучение географических названий. М., 1966.
- Дамбе 1967 — *В. Дамбе*. Характерные словообразовательные типы топонимии Латвийской ССР // Actes du x<sup>e</sup> congrès international des linguistes. Bucarest, 28

- août – 2 septembre 1967. IV. Bucarest: Éditions de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie, 1967.
- Карулис 1983 — *К. Карулис*. Лтш. Jelgava 'Елгава' // Балто-славянские исследования. 1982. М., 1983.
- Непокупный 1976 — *А. П. Непокупный*. Балто-севернославянские языковые связи. Киев, 1976.
- Топоров 1975 — *В. Н. Топоров*. Прусский язык: Словарь. А–Д. М., 1975.
- Топоров 1980 — *В. Н. Топоров*. Прусский язык: Словарь. I–К. М., 1980.
- Хирша 1988 — *Дз. Хирша*. Топонимы северо-западной Курземе (ареально-исторический аспект): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Рига, 1988.

Ю. С. ЛАУЧЮТЕ

## Этноязыковые контакты во времени и в пространстве (на материале балтийских и славянских языков)

Контакты между балтийскими и славянскими племенами и народами отличаются исключительной длительностью, и продолжительность контактов во времени неизбежно должна была оказать специфическое влияние на языки контактировавших народов. А priori можно предположить, что наиболее сильное влияние фактор времени оказал на степень освоения или интерференцию взаимных заимствований — лексем, фонем, морфем или синтаксических конструкций. Данное предположение уже давно получило подтверждение в виде многочисленных и неоднозначных гипотез о характере и причинах особой близости балтийских и славянских языков. Неоднозначными эти гипотезы являются потому, что нередко одни и те же общие балто-славянские явления интерпретируются то как исконно родственные изоглоссы, то как результат независимого, параллельного развития, то как заимствования — взаимные либо из общего третьего источника. Например, в число фактов, свидетельствующих об особом родстве балтийских и славянских языков, П. Дини включает суффикс \*-ik- [Дини 2002: 149], а в книге С. Амбразаса читаем: «<...> поскольку названия деятелей с суффиксом -ikas больше всего распространены в западно-аукштайтских говорах литовского языка и в прусском языке <...>, то думается, что этот суффикс в парадигму образований имен деятелей был включен первоначально в западных диалектах балтийских языков. Позднее эта инновация распространилась в другие диалекты балтийских языков и в славянские языки» [Ambrzas 1993: 167].

Языковое взаимодействие, сопровождающееся определенными изменениями в воспринимающем языке, в конечном итоге являет собой проблему, в которой история языка наглядно переплетается с историей народа и предшествовавших ему племен. Поэтому пространство, на котором происходило взаимодействие, тоже оказывает определенное воздействие и на материальную, и на духовную жизнь народа / племени, и на его язык. Время и пространство, вплетаясь в процесс языковых контактов, способствует образованию зон либо ареалов пограничных контактов и зоны действия субстратно-адстратных процессов.

Термином «контакт (языковой)» в более узком смысле обычно обозначают маргинальное (пограничное) контактирование, в результате

которого не происходит этнического смещения, а из одного места в другое могут передвигаться элементы языка. Поскольку наиболее проникаемой областью языка является лексика, именно в лексике исследователя подстерегает опасность неразличения результатов маргинальных контактов и субстратного воздействия, которое, как правило, приводит к изменениям на этническом уровне. С этим на своем материале уже столкнулись историки и археологи, стремясь определить этническую — балтийскую либо славянскую — принадлежность некоторых археологических культур Восточной и Средней Европы южной лесной и лесостепной зоны в сравнительно позднюю эпоху начала и/или середины первого тысячелетия нашей эры.

Подводные рифы субстратно-адстратных процессов подстерегают и лингвистов, которые пытаются определить языковую принадлежность и ареал возникновения целого ряда фактов фонетики, морфологии, синтаксиса и особенно лексики балтийских и славянских языков. Сторонники существования общего балто-славянского праязыка склонны переоценивать количество и роль эксклюзивных лексических изоглосс, расширяя их число либо за счет древнего праиндоевропейского наследия (например, в качестве балто-славянской эксклюзивной изоглоссы из работы в работу все еще кочует якобы эксклюзивная балто-славянская изоглосса лит. *liepa* — рус. *липа*, несмотря на наличие родственного слова в германских языках, ср. [Urbutis 1981: 14]), либо игнорируя явления субстрата, в результате чего к общей родственной лексике относят древние заимствования. Правда, применительно к обсуждаемым языкам речь может идти только о явлениях балтийского субстрата в языке и материальной культуре славян, поскольку славянские элементы в балтийский мир, как правило, проникали в качестве маргинальных, хотя иногда и весьма ранних, контактов. Тем не менее, от этого проблема разграничения исконных слов от древних заимствований не становится прозрачнее, а происхождение таких славянских слов, как **голова** или **рука**, все еще стоит под большим вопросительным знаком.

Данные археологии, ономастики, а в редких случаях — и данные исторических памятников достаточно аргументировано фиксируют наличие балтийского субстрата на большом ареале западных и восточных славян. По этим данным можно реконструировать условных днепровских балтов (о них — в работах В. Н. Топорова, О. Н. Трубачева, В. В. Седова), а также окских балтов — тех балтов, которые в доисторические времена в бассейнах Верхнего Днепра и Оки оставили мощный слой ономастики балтийского происхождения, а также ряд балтизм в апеллятивной лексике и в материальной культуре. Подобного рода свидетельства о присутствии балтского субстрата (но в меньшем коли-

честве) обнаружены в северо-западных областях России (между верховьями Западной Двины и Москвы-реки, см. [Агеева 1989; Топоров 1959; 1972; 1983; 1983а] и др.), а также в Польше, северо-восточной Чехии и Словакии. Однако лингвисты, особенно слависты-лексикологи, о наличии на этой территории балтийского субстрата вспоминают крайне редко, а родственные балтийским славянские слова, засвидетельствованные только в зоне действия балтского субстрата, как правило, относят к праславянским диалектизмам.

При определении эксклюзивных балто-славянских изоглосс роль основного аргумента нередко отводится *argumento ex silentio*, т. е. предполагается, что исследуемый языковой факт (корень, лексема, суффикс и др.) отсутствовал в других и.-е. языках. О ненадежности такого «аргумента» свидетельствуют все новые и новые факты, обнаруживаемые в памятниках тохарских, кельтских, фракийского или иллирийского языков и раздвигающие узкие границы эксклюзивных балто-славянских изоглосс. Аргумент «отсутствия» приобретает доказательную силу только в том случае, если можно указать, например, какое именно слово или аффикс имелся в привлекаемом для сравнения другом и.-е. языке вместо обсуждаемого балто-славянского, однако это, по понятным причинам, не всегда возможно.

Недостаточное внимание к факторам времени и пространства в балто-славянских исследованиях приводит к тому, что на одной временной плоскости иногда выстраиваются и архаизмы, и новообразования разных эпох. Тот факт, что некоторые языковые особенности, общие для славянских и балтийских языков, первоначально возникли в **одном диалекте** какой-либо из этих языковых групп и лишь постепенно, в течение некоторого времени, путем заимствования (в результате пограничных контактов или субстратно-адстратных отношений), распространились в другие диалекты и языки, наглядно раскрыт в уже упомянутой монографии С. Амбразаса на материале словообразовательных аффиксов имен существительных. Поскольку суффиксы (как и другие аффиксы) не гуляют по диалектам и языкам сами по себе, а распространяются вместе с лексемами, которые содержат данные суффиксы, то более реальным и логичным представляется механизм распространения новообразований из одного центра их возникновения, локализованного во времени и в пространстве, путем заимствования, а не одновременное, но независимое их «прорастание» на большом ареале разных диалектов и языков — хотя такое явление полностью исключать тоже не следует. А если основным способом возникновения так называемых общих балто-славянских лексических или словообразовательных изоглосс мы признаем их распространение из диалекта в диалект путем

пограничных контактов или под воздействием субстрата, то это поставит под сомнение правдоподобность многих «исконно родственных» балто-славянских изоглосс и сделает гипотезу о существовании в прошлом эпохи активных взаимных контактов между балтами и славянами более убедительной, чем гипотезу об особо родственной их близости.

Ареал действия балтийского субстрата определяется, кроме всего прочего, при помощи «наложения» результатов лингвистических исследований на факты, обнаруженные археологами. При этом наиболее интересные и убедительные выводы извлекаются при стыковке археологических фактов с данными ономастики.

Каждое название, засвидетельствованное в языке, является своего рода историческим документом или памятником, «своеобразие которого состоит в том, что он узнается нами сквозь призму языка» [Жучкевич 1974: 56]. Имена озер, рек, древних поселений могут многое рассказать об этническом составе населения, давшего эти имена, о территориях, на которых проживали определенные племена, о путях миграций этих племен или о смене населения на одной и той же территории. В частности, от гидронимов произошли многие названия древних племен — этнонимы, которые, в свою очередь, возвращались обратно в среду «языка земли», т. е. в гидронимию, топонимию, а нередко становились основой многих антропонимов (ср. [Агеева 1985; 1989; Смолицкая 1987] и др.).

Всю эту сложную картину взаимодействия человека и окружающей его среды, одних племен с другими можно наблюдать, изучая балтийскую (или — «балтскую») этнонимию и ее следы в ономастике славянских народов, ближайших соседей балтов.

В ономастике Славии (т. е. на территориях, на которых в настоящее время проживают славянские народы) сохранились основы названий как самых древних балтских племен, таких как **голядь** — *galindai*, **судавы** — *sūduviai/sūdinai* и др., так и современных народов, а также этнических регионов, например, **латыши**, **жемайтийцы / жмудь** (*žemaičiai* — носители западного литовского наречия) и др.

Следы балтийской этнонимии и антропонимии в северно-славянских (русском, белорусском, польском и северно-украинском) языках изучал А. П. Непокупный [Непокупный 1976: 146–161 и сл.], хотя основное внимание он уделял материалу, который локализовался на территории Украины. Однако не менее интересный материал содержится в ономастике Белоруссии и России.

В данной статье внимание сосредоточено на ономастике Белоруссии, поскольку именно в ней отражены практически все — с небольшими исключениями — этнонимы как уже исчезнувших, так и ныне

здравствующих балтских племен и народов. Эпизодически привлекаются и ономастические данные других регионов Славии.

Целью предпринятого исследования является выявление ареальных особенностей белорусских гидронимов и топонимов, образованных от названий как исторических (т. е. к сегодняшнему дню уже исчезнувших), так и современных балтских племен и народов. Основным источником используемого материала являются словари топонимов и микротопонимов Белоруссии, составленные известным белорусским ономастом В. А. Жучкевичем, а также труды В. Н. Топорова, О. Н. Трубачева, Ю. В. Откупщикова, А. П. Непокупного, В. В. Седова, Г. П. Смолицкой и других ученых, которые исследовали ономастику разных регионов Славии.

Предварительный анализ показал, что на территории Белоруссии содержатся следы следующих балтийских этнонимов:

## 1. Названия западных балтских племен

### 1.1. *Prūs-*

Долгое время считалось, что на территории Белоруссии не засвидетельствованы названия от основы *prūs-*, а те, которые засвидетельствованы, относятся не к древнему балтскому племени *prūsai*, а к поздним уже германизированным пруссам — немецкоязычным жителям Пруссии. Более того, учитывая то обстоятельство, что в известных источниках того времени встречались лишь формы, содержащие корневой *-у-*, К. Буга, а вслед за ним и З. Зинкявичюс предполагали, что само имя пруссов возникло поздно, уже после того, как в славянских языках (в языке) состоялся переход *-ū-* долгого в *-ы-* [Būga III: 121]. Хронологию имени *prūsai* пришлось пересмотреть, когда были обнаружены гидронимы Окского бассейна, которые содержат рефлекс долгого *-ū-*, давшего восточнославянские формы с *прис-*: в правобережье Оки: *Прыс/Прыся*, *Прысинской* [Смолицкая 1976: 170]. Сегодня к этим материалам можно добавить и данные микротопонимии Белоруссии. Наряду с названиями, содержащими основу *прус-*, отмечены и микротопонимы, корень которых содержит *-ы-* из *\*-ū-*: сенокос *Прысы* (Брестская обл.) и урочище *Прысыпки* (Гомельская обл., оба примера из [МБ: 201]). Микротопонимы, содержащие основу *прус-*, более многочисленны и расположены по всей Белоруссии, например: названия лесов *Прусави гара* (Гомельская обл.), *Прусинак*, *Запруссі* (Брестская обл.), названия сел *Пруска* (Брестская обл.), *Прұсы*, *Прұсы*, *Прұсиново* (Минская обл.) и др. [МБ: 95, 201, 311].

На территории Польши (Гданьское Поморье) в документах конца X в. отмечен гидроним *Prusina*, а на Украине течет река *Пруска* (бас-

сейн Днестра). Следует особо отметить тот факт, что древнейшие формы данного этнонима, содержащие в корне гласный *-ы-*, отмечены именно в Белорусском Полесье и на крайнем востоке ареала древних балтов — в бассейне Оки.

### 1.2. *Sūd-av-/Sūd-in-*

Основу *Sūd-*, по всей вероятности, содержат следующие украинские названия: река *Судость* (правый приток Десны), *Судинка* (яр в басс. Северского Донца), ср. лит. гидрон. *Sūduonia*, *Sūduonė*, *Sūdelis*, к лит. *sūduvā* 'топь в болоте' [Топоров, Трубачев 1962: 209–210; Vanagas 1981: 319]. Названия от этой основы не отмечены в бассейне Оки, а на территории Белоруссии от этнонимичным считаются названия озера *Судoble* и села *Судобовка* (оба в Минской обл., [Жучкевич 1974: 366]). Обосновывая происхождение данных топонимов от балтийского этнонима, В. Жучкевич подчеркивает, что эти названия находятся в «балтийском очаге» — в районе г. Жодино [Там же: 366]. В то же время название села *Судовица* (Гомельская обл.) этот автор возводит к апеллятиву *судно* [Там же: 366–367], что кажется сомнительным. Связь этого названия с балтским этнонимом в виду наличия суффикса *-ов-* даже более очевидна, чем у названия озера *Судoble* и т. п.

Имеющийся материал дает основание предполагать, что названия, содержащие основу *Sūd-(in)-*, тяготеют к западу обследованного ареала Славии, а основа *Sūd-av-* более распространена в восточных областях. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть данное предположение, необходимо более подробно проанализировать данные польской ономастики.

### 1.3. *Kurs̄-*

С этим балтийским этнонимом связывается ряд белорусских названий сел: *Куршійновичи* (Ляховичский р.), *Курчи*, вар. *Куршы* (Витебская обл.), *Курчэвцы* (Гродненская обл., [Жучкевич 1974: 191]). Фонетика белорусских топонимов свидетельствует об их литовском (а не латышском или западно-балтийском) происхождении. При этом все известные названия сосредоточены на северо-западе Белоруссии. С другой стороны, стоит присмотреться к названию луга *Курсá* (Минская обл.), фонетика которого отражает особенности латышского языка и созвучна с украинским (левобережье Днепра) гидронимом *Корса*, который тоже считается однокоренным с названием западно-балтского племени *Kuršiai* (в литовском произношении) или *Kursi* (по-латышски, ср. также русскую летописную *Кърсь*, *Корсь*) и сравнивается с древнепрусскими названиями *Cors-lauken*, *Corseen* [Топоров, Трубачев 1962: 191; Седов 1965: 289].



В бассейне левобережной Оки текут речки *Курша* и *Куршинской* [Смолицкая 1976: 41, 190]. Может быть, тот же этнонимичный корень, но с некоторыми фонетическими изменениями, лежит и в основе таких гидронимов Поочья, как *Коршевское* или *Курское* [Смолицкая 1976: 228, 273]?

#### 1.4. *Dainav-*, *Jotv-ing-*

А. П. Непокупный отметил топонимы типа *Дайнава* (= лит. *Dainava*) в северо-западной Белоруссии, наряду с топонимами *Ятвяги*, *Ятвязь* (к лит. *Jotvingiai* [Непокупный 1976: карта 4]). Этим названиям соответствует ряд топонимов северо-восточной Польши. По наблюдениям А. П. Непокупного, основа *Dainav-* чаще встречается в Белоруссии, а основа *Jotv-ing-* — в Польше. При этом «ятвяжские» названия Белоруссии тяготеют к западным и северо-западным ее областям: *Ятвезь* одно село в Брестской обл. и два села в Гродненской обл. Кстати, в Гродненской обл. имеется и село *Ятвеск*, вар. *Ятвязь* [Жучкевич 1974: 420].

## 2. Названия восточных балтских племен

### 2.1. *Liet-(u)v-*

«Литовские» (как, соответственно, и «латышские») топонимы весьма многочисленны на территории Белоруссии, где они представлены двумя вариантами: *Литов-* и *Литвин-*, без какой-либо видимой закономерности. Например, в Полесье соседствуют обе основы: село *Литвінка*, урочище *Литвінуўка* (Брестская обл. [Жучкевич 1974: 204; МБ: 141]), села *Ліцвіно́вічы*, *Ліцвіна́вічы* (Гомельская обл. [Жучкевич 1974: 205]), а также села *Літовка*, *Літовск* (Брестская обл. [Там же: 204]), пашня *Літовскэ моглыцэ* (Брестская обл. [МБ: 141]). Подобную «бессистемность» можно увидеть и в других областях Белоруссии, ср.: в Витебской обл. села *Литовщина*, *Литовцы* [Жучкевич 1974: 204], *Литвіново* [Там же: 205], *Ліцвінаўскае поле* [МБ: 141], в Минской обл. поле *Літаўкі*, лес *Літоўшчына* и лес *Ліцвінаўка* [Там же].

Несколько иная картина наблюдается в Украине. По материалам А. П. Непокупного, гидронимы, содержащие корень *литвин-*, сосредоточены преимущественно на левобережье Днепра: *Литвинів*, *Литвинова*, *Литвиньска* и др., и только редкие вкрапления отмечены на правобережье: *Литвиновка* (Черниговская обл.), *Литвинка* (басс. Южного Буга). Правобережье Днепра насыщено гидронимами с основой *литов-*: *Литовец*, *Литовіж*/*Литовеж*, *Літова* (басс. Днестра), *Літовиський* (там же), но они очень редки в левобережной Украине: *Литовка*, *Ли-*

*товщина*. По-другому распределены однокоренные антропонимы: «... в антропонимии Украины середины XVII в. прослеживаются две тенденции в передаче восточно-балтийских этнонимов: право- и левобережная. Первая из них (*литвинь*, *лотвин/-енко*, *лотыш*) в количественном отношении значительно преобладает над второй (*латыш/-инь*, *-ко*, *литовець*), распространяясь и на территорию последней. Однако будущее остается именно за этими одиночными левобережными формами, которые впоследствии станут нормативными в украинском литературном языке» [Непокупный 1976: 160].

Среди гидронимов Окского бассейна не отмечены названия, содержащие корень *Лат-* или *Лот-*, но есть *Литвин* (левобережье Оки [Смолицкая 1976: 99]). Речка *Литовка*, по мнению В. Н. Топорова, скорее всего, является фонетическим вариантом гидронима *Алитовка*, ср. также *Алитовской* [Топоров 1983: 49–50].

### 2.2. *Lat-(v)-*

«Латышских» топонимов в Белоруссии меньше, чем «литовских», что легко объясняется историческим прошлым основного массива белорусских земель, которые несколько столетий находились в составе Великого княжества Литовского. Сосредоточены эти топонимы преимущественно в восточной части Белоруссии: несколько сел *Латышій* в Витебской обл., там еще и село *Латы́щина*, вар. *Латы́шево* [Жучкевич 1974: 196], в Минской обл. урочище *Латышобу́ска* и лес *Латы́ское* [МБ: 138]. Названия от основы *latv-* (блр. *латв-/лотв-*) весьма редки, и тяготеют они к западным регионам: село *Лотвичи* в Брестской обл. и село *Лотвины* в Минской обл. [Жучкевич 1974: 210].

Гидронимы, содержащие основу «латышского» этнонима, отмечены еще и в Украине, но, как уже упоминалось, отсутствуют в бассейне Оки. На гидронимы правобережной Припяти *Латовня*, *Лотовня* в свое время обратил внимание О. Н. Трубачев, отнеся их к слою неславянских названий [Трубачев 1968: 244–245]. В словарях гидронимов Украины засвидетельствованы также гидронимы *Лотава* (Черниговская обл.) и *Лотова*. Бросается в глаза фонетическое и словообразовательное сходство с такими литовскими гидронимами, как *Latava*, *Latuva*, а корень *lat-* просматривается в литовских гидронимах *Lat-ežeris*, *Lat-upis*, а также лтш. *Lat-upe* [Vanagas 1981: 182].

### 2.3. *Sel-*

Этот корень лежит в основе балтийского этнонима *Sēliai* (латинская форма *Selonen*), а также гидронимов лит. *Sėl-iupis*, *Sėl-iupys* и др.

Довольно большая группа гидронимов, содержащая данный корень, отмечена в Украине: *Селина* (басс. Сейма), *Сельна* (басс. Тетерева, правобер. Днепра), *Селинка* (правобер. Припяти), *Селиський* (2 гидр. в басс. Тиссы [Топоров, Трубачев 1962: 219]). Параллели приднепровским гидронимам находим далеко на востоке, в бассейне Оки: р. *Села*, *Селеевка*, *Селейка*, *Селка*, *Селин(а)*, *Селинка*, *Селинское*, *Селитина*, *Селка*, *Сельна*, *Селна*, *Селонинка* [Смолицкая 1976: 129, 256, 263, 160, 155]. Может быть, не все перечисленные гидронимы восходят к тому корню *сел-*, от которого образован балтийский этноним *Sēliai*, но и вовсе пренебрегать возможной этимологической связью с балтийской ономастикой тоже было бы неверно, тем более учитывая параллели с приднепровской ономастикой. В этом контексте внимания заслуживают и некоторые белорусские топонимы, которые до сих пор не рассматривались в ряду этнонимических названий балтийского происхождения: *Селаво́е* поле и *Селя́ва* оз. (Минская обл. [МБ: 219]). Эти названия, как и названия двух сел *Селя́вица* (в Минской и Витебской обл.), В. Жучкевич связывает с названием рыбы *селява* [Жучкевич 1974: 340], а название села *Селю́тичи* (Гомельская обл.) выводит из фамилии *Селютич* [Там же]. С точки зрения **образования** топонима такое объяснение не вызывает возражений, но оно не проясняет **происхождения** самой ономастической основы *Сел-(ют-)*, которая хорошо вписывается в выше приведенный ряд гидронимов в бассейнах Днепра и Оки, образованных от балтийского этнонима *sēliai*.

Если признать, что перечисленные топонимы восходят к балтийскому этнонимическому корню *сел-*, нельзя не заметить, что по своей словообразовательной структуре белорусские топонимы отличаются от украинских и русских, подавляющее большинство которых содержит суффикс *-н-* (*-ин-*, *-он-*), но данный суффикс очень редок в белорусских топонимах. Связано ли это с тем, что в Белоруссии мы имеем дело с ойконимами и микропонимами, а в остальных регионах Славии — с гидронимами, пока трудно определить.

#### 2.4. *Latgal-*

В северо-западной Белоруссии отмечено несколько названий сел от этнонима *Латы́голь* — «латгальцы»: *Латы́гово* (Витебская и Гродненская обл.), *Латы́голь* (Витебская и Минская обл.), *Латы́го́лово* (Гродненская обл.), *Латы́го́личи* (Витебская обл., все в [Жучкевич 1974: 196]). Все они явно тяготеют к белорусско-латышскому пограничью.

#### 2.5. *Žemai-t-/č-*

Нашли место в Белорусской топонимии и названия от этнонима *Žemaičiai* — *Žemaitija*, например: село *Жо́мойдзі* (в белорусской фонетике *Жамо́йдзі*, Гродненская обл.) и два села *Жамо́йдзь* в Минской обл. [Там же: 125], село *Жамо́йск* (Витебская обл.). Даже в Полесье есть село *Жмо́йдзя́кі* (Брестская обл. [Там же: 122]).

В микропонимии эта основа встречается реже. Известно поле *Жамо́йтава* — «поле, принадлежащее Жамойту» (Гродненская обл. [МБ: 82]).

Соответственно имеющемуся материалу, все названия сосредоточены в западной части Белоруссии.

### 3. Группа редких названий

В Витебской области засвидетельствовано название урочища *Лей́таўшчы́на* [МБ: 138], в основу которого, по-видимому, легло лтш. *leitis* — этим именем латыши иногда называют литовцев. От этого же этнонимического имени-прозвища, скорее всего, образовано и название села *Лей́цы* Минской обл. [Жучкевич 1974: 198].

Особого внимания заслуживает название села *Наўры* (Минская обл.). В. А. Жучкевич, вслед за А. Бирылой, связывает его с названием племенной группы балтского населения, которое проживало в Белоруссии по средней Березине [Там же: 250], название это отражается также в фамилиях *Наврос*, *Наврот*, *Навроцкий* [Бирьла 1965: 298]. Имеем ли мы здесь дело со следами античного племени **невров**? Это еще предстоит выяснить, но само предположение будоражит воображение.

На этом список белорусских онимов, в которых предположительно содержатся корни (или основы) балтских этнонимов, можно завершить, если будем считать, что топонимы от основы *Мазур-/Мазыр-*, несмотря на ее балтийское происхождение, отражают название уже не балтского, а славянского племени. Кстати, любопытно, что географические названия от этого корня, широко представленные в Полесье, Витебской и Минской областях, не засвидетельствованы на северо-западе республики (в Гродненской обл.) и на крайнем востоке — Могилевской области.

Даже учитывая неполноту собранного материала, можно говорить о тенденции отражения в ареале этнонимических ойконимов, гидронимов и прочих онимов реальных исторических процессов. Именно — о тенденции, а не о закономерности, ибо вряд ли можно исторически — социальными или политическими — процессами объяснить, например, появление в Гродненской области названия села *Кашубинцы*, производного от этнонима **кашубы** [Жучкевич 1974: 157].

4. *Galind-*

Данная основа в составе гидронимов или ойконимов засвидетельствована и в Польше, и в Украине, и в России. Странным образом зоны фиксации следов одного из древнейших балтийских этнонимов — **галинды** (= рус. **голядь**) — в принципе совпадают с общепризнанной зоной действия балтийского субстрата на территории современной Славии, и, что самое интересное, названия, содержащие эту основу, пока не обнаружены на территории Белоруссии.

На территории **Польши** засвидетельствованы топонимы: *Golendzin* (окр. Радома), *Gołędzinów* (окр. Варшавы), *Galinde* (правый берег Нарева) и др., а также антропонимы, содержащиеся преимущественно в документах Сандомирского воеводства и Мазовии XIII, XVI, XV веков, реже XI века: *Golandin*, *Gołęda*, польский род *Gołędy* (наряду с известнейшим польским родом *Прусы!*) и др. (здесь и далее примеры «галиндской» ономастики приведены по [Топоров 1980: 247–252]).

В средневековых документах **Чехии** и **Моравии** засвидетельствовано имя племени *Holasici/Halasics*, связываемое с племенем *Golensizi*, упоминаемым Географом Баварским. Среди топонимов в памятниках XIII–XIV вв. встречаются *Holedeč* (\**Gołęd-icъ-jь*), *Holešiče*, *Holadits* и т. д.

В **Украине** отмечены следующие топонимы: *Голяда* (урочище в Ровенской обл.), *Голядин* (село в Волинской обл.), *Голяд-берво* (урочище в бывшем Ковельском повете) и др.

Особенно богата «голядской» ономастикой **Россия**. Здесь имеются уже отмеченные В. Н. Топоровым гидронимы *Голядянка*, *Голядь*, *Голядинка* (реки в Московском районе), топонимы *Голяжье* (село Брянского уезда), *Голяди* (деревни в Дмитровском и Клинском р-нах, урочища в Подмосковье и в Тверской обл.), *Голядь* (деревня в Ливенском р-не) и т. д. Кроме того, в словаре «Гидронимия бассейна Оки» Г. П. Смолицкой приведены следующие названия рек: *Голединыя*, *Голеданка/Голоданка* (притоки Яузы), *Голоденка/Голодня* [Смолицкая 1976: 109, 91, 276]. И хотя в некоторых случаях не исключено семантическое переосмысление под влиянием рус. *голод*, *голодный*, связь большинства гидронимов с названием этнонима *голядь* представляется бесспорной.

Отсутствие родственных топонимов или гидронимов на территории Белоруссии может быть объяснено либо недостаточной изученностью ономастики Белоруссии, либо — и это более вероятно — историей миграций древних балтских и славянских племен. Предварительный анализ показывает, что зоны «голядской» ономастики почти полностью совпадают с границей проживания балтских и славянских племен в первой половине первого тысячелетия н. э., когда граница между

балтами и славянами проходила южнее границы современной Белоруссии. Это, в свою очередь, неплохо увязывается с этимологией названия *голяди* — *галиндов* как «окраинного» племени, ср. лит. *gālas* ‘конец’, *galinis* ‘конечный’ [Viņa III: 117; Топоров 1980; 1983: 129–140]. Следовательно, отсутствие на территории Белоруссии онимов, содержащих основу *galind-*, скорее всего, объясняется тем, что в те времена, когда вдоль границ балтского этноса проживало племя *голяди* — *galindai*, земли современной Белоруссии находились вдали от этих границ, практически занимая центральную часть той территории, на которой тогда проживали балтские племена.

Отэтнонимическая ономастика Белоруссии с точки зрения присутствия в ней балтских этнонимических основ свидетельствует о том, что такого рода ономастика появляется, прежде всего, в зоне, которую относительно доисторической и раннеисторической эпохи целесообразно называть балто-славянским пограничьем. А поскольку славянизация теперешней белорусской территории растянулась почти на тысячелетие (напомним, что этот процесс не завершился и в наши дни, уже в третьем тысячелетии новой эры), здесь сохранились следы самых различных по лексическому составу и самых разнообразных по хронологии и словообразовательной структуре балтийских этнонимов. Тем самым материалы Белоруссии, как и ономастика Украины, свидетельствуют о том, что «восточно-балтийская этнонимия в составе северно-славянских языков, несмотря на свой, казалось бы, терминологический характер, представляет собой не раз и навсегда данный реестр, а в известной мере развивающуюся группу лексики. Ограниченное число исходных лексем, проходя через различные языки-посредники, получало ту или иную фонетическую редакцию, чем и объясняется разнообразие корневых вариантов одних и тех же восточно-балтийских этнонимов [применительно к белорусскому материалу можно говорить о балтской этнонимии в целом. — Ю. Л.] в северно-славянских языках» [Непокупный 1976: 160].

Наличие обсуждаемой ономастики может служить сигналом, побуждающим исследователя обратить внимание на весь лингвистический и культурный (и/или археологический) контекст данной зоны с целью поиска в ней иноязычных — иноэтничных элементов.

Кроме того, при обращении к реликтам балтийских языков и диалектов в славянских языках вполне уместен вывод, сделанный литовским ономастом А. Ванагасом относительно реликтов разных балтийских диалектов в самом литовском языке: «...поиски языковых реликтов исчезнувших балтийских диалектов обещают наибольшие результаты в области исторической ономастики и особенно — в диалектологии» ([Ванагас 1985: 200], ср. еще [Balode 1980: 20]).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агеева 1985 -- П. А. Агеева. Ономастика и этническая история // Язык: история и реконструкция. М., 1985.
- Агеева 1989 -- П. А. Агеева. Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации. М., 1989.
- Бірыла 1965 -- М. В. Бірыла. Беларуская антрапаніміка. Мінск, 1965.
- Ванагас 1985 -- А. Ванагас. Вклад родственных балтийских диалектов в литовский язык (по топонимическим данным) // Проблема этногенеза и этнической истории балтов. Вильнюс, 1985.
- Дини 2002 -- П. У. Дини. Балтийские языки. М., 2002.
- Жучкевич 1974 -- В. А. Жучкевич. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974.
- МБ -- Мікратапанімія Беларусі. Мінск, 1974.
- Непокупный 1976 -- А. П. Непокупный. Балто-севернославянские языковые связи. Киев, 1976.
- Седов 1965 -- В. В. Седов. Из гидронимии Волго-Окского междуречья // Питання ономастики (Матеріали Республіканської наради з питань ономастики). Київ, 1965.
- Смолицкая 1976 -- Г. П. Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976.
- Смолицкая 1987 -- Г. П. Смолицкая. Об одном этническом аспекте топонимики // Этническая топонимика. М., 1987.
- Топоров 1959 -- В. Н. Топоров. О балтийских следах в топонимике русских территорий // Вопросы литовского языкознания. Вильнюс, 1959. Вып. 2.
- Топоров 1972 -- В. Н. Топоров. «Baltica» Подмосковья // Балто-славянский сборник. М., 1972.
- Топоров 1980 -- В. Н. Топоров. Балтийский элемент к северу от Карпат: этнонимическая основа \*GALIND — это знак балтийской периферии // Slavia Orientalis. Roczn. 29. № 1/2. 1980.
- Топоров 1983 -- В. Н. Топоров. Галинды в Западной Европе // Балто-славянские исследования. 1982. М., 1983.
- Топоров 1983а -- В. Н. Топоров. О балтийских следах в гидронимии Поочья // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане: Тезисы докл. второй балто-славянской конф. М., 1983.
- Трубачев 1968 -- О. Н. Трубачев. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968.
- Топоров, Трубачев 1962 -- В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
- Ambrazas 1993 -- S. Ambrazas. Daiktavardžių darybos raida. T. I. Vilnius, 1993.
- Balode 1980 -- L. Balode. Dažu hipotētisku etnonīmu izplatība Latvijas PSR teritorijā (zemgāļi, sudāvi, sembi) // IV visāvienības konference. Referātu tezes. Rīga, 1980.
- Būga III -- K. Būga. Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai // Rinktiniai raštai. T. III. Vilnius, 1961.
- Urbutis 1981 -- V. Urbutis. Baltų etimologijos etiudai. Vilnius, 1981.
- Vanagas 1981 -- A. Vanagas. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.

Е. А. ХЕЛИМСКИЙ

**Аист и его возможные этимологические  
свойственники (клѣст, глѣст)**

Этимологическая идея, лежащая в основе этой заметки, крайне проста: *аист* (слово известно только русскому языку и ранее не нашло удовлетворительного объяснения) представляет собой субстантивированную нечленную форму прилагательного избыточного обладания от слав. \**aje* 'яйцо', т. е. означает, собственно говоря, 'яйцастая птица'.

Такая номинационная мотивация вполне согласуется с поверьями, связанными с этой птицей: «В Галиции в гнездо а[иста] бросают куриное яйцо, чтобы куры несли крупные яйца, как у а[иста]» [Гура, Страхов 1995: 99], ср. также традиционное соотнесение аиста с деторождением, плодородием.

С формальной стороны предлагаемая этимология также не встречает трудностей. Слав. \**aje* и непосредственные образования от этой основы (без прејотации) распространены на восточнославянской территории меньше, чем производные \**ajъse* > \**ajъce* и \**ajъko* > \**ajъko*, однако убедительным свидетельством их прежнего бытования может теперь служить, наряду с укр. (диал., детск.) *айо*. др.-новг. (в берестяной грамоте XII в. из Старой Руссы) *аесоко* (зв. ед. к \**aje-sova* букв. 'сователь яйца'). Учитывая высокую степень параллелизма между славянскими адъективными образованиями с суффиксами *-(a/i)t-* и *-(a/i)st-*, весьма показательны реконструируемые в ЭССЯ слав. \**ajitъ(jъ)* (> слвц. диал. *vajitý* 'овальный') и \**ajatъ(jъ)* (> схрв. XVIII в. *jàjat* 'cum testiculis'), параллельное лат. *ovātus* 'яйцевидный'. См. [ЭССЯ 1: 61–64; Зализняк 2004: 54, 335]. Соответственно, интересующая нас праформа может быть реконструирована как слав. \**ajistъ(jъ)* (разумеется, праславянская форма условна: засвидетельствованное только в русском языке слово вполне может быть более поздним образованием по продуктивной модели).

Отметим, что господствовавшее в XVIII в. и, по-видимому, исходное ударение *а́ист*<sup>1</sup> хорошо согласуется с вероятной баритонезой в \**ajé* (схрв. *jáje* с новым акцентом долготы) и акцентологическими свойствами суффикса *-ист-*, предполагающими сохранение места ударения про-

<sup>1</sup> П. Я. Черных [1993: 31] отмечает *аист* в «Лексиконе» В. Н. Татищева и цитирует басню В. И. Майкова «Лягушки» (1766): «послал аиста к ним, и стал аист их царь».

изводящей основы (др.-рус. *каменисть, плечисть*), см. [Зализняк 1985: особенно 76, 146–147].

Возможность бессуффиксальной субстантивации нечленных форм прилагательных обладания с приобретением переносного значения иллюстрируется такими лексемами, как *ушат* ('лохань с ушами'), ст.-сл. *мжжата* 'mulier, ухог', возможно, также др.-рус. *погата* (если это название денежной единицы восходит к обозначению полной звериной шкурки с четырьмя ногами, а не является ориентализмом — тюрк. *nakt*, араб. *naḳd*, см. [ЭСРЯ III: 79]), а из особенно древних образований *сват* (к *сue-*, *сuo-* 'свой', см. [Vondrák 1924: 593]); Вондрак и Кипарский причисляют к этой же группе образований др.-рус. *ворожьбить* 'враг', *вньчить* 'венценосец', *домовить* 'хозяин', *дължьбить* 'должник', *кърчьмить* 'корчмарь', *подобить* 'подражатель', *наймить*, *рыбить* 'рыбак' [Vondrák 1924: 596, Kiparsky 1975: 220]. Упомянутый выше и общепризнанный параллелизм между *-(a/i)t-* и *-(a/i)st-*<sup>2</sup> позволяет считать, что и нечленные формы прилагательных избыточного обладания, в их числе *\*ajistь*, могли подвергаться бессуффиксальной субстантивации. Их близким аналогом являются существительные с суффиксальным комплексом *-(c)st-ик* (*головастик, зубастик, лобастик, волосатик, пузатик*).

После утраты словом *аист* этимологической прозрачности необычное внутри морфемы сочетание *ai*, хотя и дожило до наших дней в своем исходном виде, дало толчок нерегулярным преобразованиям, породившим, в частности, др.-рус. *агисть*, диал. (псков.) *алист, арист* и др.

Нет необходимости подробно анализировать предшествующие попытки этимологизации рассматриваемого орнитонима (см. [ЭСРЯ I: 64; Черных 1993: 31]), поскольку их итоги вполне охватываются утверждением «этимология неясна» [Гура, Страхов 1995: 96]. Подчеркнем невозможность прямого сближения *аист* с пол. *hajster* 'серая цапля' (если оно действительно из нижненем. *Heister* 'сорока'), укр. *га́йстер, а́стер, гáрист, гáстip*, блр. *га́йсцёр* 'аист-черногуз' (< пол., см. [ЕСУМ I: 454]). С другой стороны, частичное созвучие могло способствовать контаминации, которая несомненна в случае укр. (Полесье) *гáрист = гáйстер, гáстip* << др.-рус. *агисть*, псков. *арист* (< *аист*). Более того, нельзя, пожалуй, полностью исключить и контаминационное происхождение пол. *hajster*. укр. *га́йстер* из комбинации семантики (и отчасти фонетики) *аист, а́йст*<sup>3</sup> с семантикой нижненем. *Heister*.

<sup>2</sup> См. специально об этом [Vaillant 1974: 469–470; Балалыкина 1980: 63–76].

<sup>3</sup> Довольно обычный в русском языке фонетический вариант, знакомый, по-видимому, и украинскому Полесью [Белова 2004: 420, 423].

\* \* \*

Значительный архаизм ряда дериватов (ср. слав. *\*bordatь* = прусск. *\*bardāt-s*<sup>4</sup>, лит. *barzdót-as*, лат. *barbāt-us*) и случаи типа *\*sьrditь* (непосредственно от *\*sьrd-*, а не от его производного *\*sьrdь-ko* 'сердце') подсказывают, что в основе адъективных образований (и вторичных субстантивов) могут лежать основы, в чистом виде — без суффикса *-(s)t-* — в славянских языках не сохранные.

Два дальнейших слова, в которых можно заподозрить бессуффиксальные субстантивированные прилагательные с суффиксом *-st-*, названы в заглавии заметки<sup>5</sup>. В обоих случаях речь идет, как и в случае с аистом, о зоонимах, не получивших убедительного (или достаточно полного) этимологического объяснения. Сложность состоит в том, что если для слова *аист* находится непосредственно (хотя и слабо) засвидетельствованная производящая основа, то для *клѣст* и *глист* приходится предполагать деривацию от основ, утраченных (в чистом виде) еще в дославянскую эпоху — впрочем, сохранных параллельными славянскими производными и имеющих индоевропейские соответствия. Что касается утраты предполагаемых исходных основ (типа *\*kIV(s)* и *\*glei(s)*), то они не только не должны были, но и не могли сохраниться в славянском, где все индоевропейские именные «основы корневого нетематического типа были или утрачены <...>, или перешли в иной тип склонения, или же, наконец, были заменены производными» [Мейе 1951: 272].

Орнитоним *клѣст* 'Loxia curvirostra' (тж. укр. *клетст*, диал. *кляс, клищ*, см. [ЕСУМ, 2: 459]; чеш. *klest*. в котором, однако, можно предполагать ученое русское заимствование) обычно сравнивается со слн. *klesk* 'ореховка, кедровка, Nucifraga (Corvus) caryocatactes' и производится от звукоподражательного глагола *\*kleskatil/\*klestati* 'хлопать, щелкать' [ЭСРЯ II: 248; ЭССЯ 10: 13], правильнее, вероятно, *\*tleskatil/\*tlestati* [Зализняк 1986: 121].

Характерным признаком клеста являются, однако, не столько издаваемые им звуки (хотя он действительно щелкает шишки), а уникальный вид его клюва: концы челюстей перекрещены, что позволяет птице отгибать у шишек чешуйки и извлекать из них семена (ср. также латинское обозначение клеста). Именно это обстоятельство заставляет предположить номинационную мотивацию 'клюваст(ая птица)' — от несохранившейся дославянской именной основы типа *\*kIV-* со значе-

<sup>4</sup> [Топоров 1975: 196].

<sup>5</sup> Я позволил себе обозначить их как слова-свойственники, в отличие от родственных (по корню) слов.



нием 'клюв' (и.-е. \*kleu-, \*klēu- 'Haken, krummes Holz usw.', см. [IEW I: 604–605]), другими дериватами от которой являются \*klъvati 'клевать' и далее \*kljuntь 'клюв', \*kljuvъ. Можно заметить, что эта именная основа оказывается тем звеном, которого недостает предположению о связи \*klъvati с и.-е. \*kleu- (см. это предположение — без убедительного обоснования — в [ЭССЯ 10: 83 с дальнейшей литературой]).

Словообразовательно аналогично и фонетически отчасти сходно пол. *klusty* 'кlyкастый' (от *kieł, kła* 'клык', слав. \*кълъ).

Любопытно и весьма существенно рус. диал. (псков., печор.) *клект*, *клѣст* 'аист'(!). Сами птицы настолько различны, что путаница или перенос названия немислимы. Но, поскольку аист отличается не только величиной яиц, но и очень длинным клювом<sup>6</sup>, речь может идти о параллельной и независимой семантической специализации 'клюваст(ая птица)' > 1. 'клект', 2. 'аист'. Ср. далее также диал. (калуж.) *клѣст* как прозвище человека с большим носом (разумеется, эти диалектные данные служат дополнительными аргументами против версии о звукоподражательном происхождении слова *клѣст*)<sup>7</sup>.

Отметим также рус. диал. (псков., петерб.) *калицт*, *калицт* 'аист' — возможно, продукт контаминация *аист*, *алист* >> *клѣст* (ср. выше о других контаминационных процессах с участием слова *аист*).

Трудно однозначно решить вопрос о наличии или отсутствии связи слова *клѣст* с такими орнитонимами, как слн. *klesk* (см. выше), а также чеш. *dlask, dlesk* 'дубонос, Coccothraustes', слов. *dlask, glask, glazg, dlezd*, в.-луж. *dlusk*, пол. *klešk, klesk*, слн. *dlësk*, схрв. *dlësk* ([ЭСРЯ, II: 248; Зализняк 1986: 121] и — без соотнесения с *клѣст* — [Berneker 1924: 203; ЭССЯ 5: 37]). В них можно усмотреть и не вполне регулярные модификации исходного (вероятно, оноματοпоэтического) названия типа \*tleskь<sup>8</sup>, и — если принять предложенную выше этимологию — экспрессивные модификации слав. \*klesь 'клюваст(ая птица)'<sup>9</sup> (не без

<sup>6</sup> Что тоже находит отражение в фольклоре, особенно в сюжете о человеке, который развязал мешок с гадами и которого Бог превратил за это в аиста, велел постоянно гадов собирать («И тогда Бог дал ему длинные ноги и красный клюв и говорит: «Будешь всю жизнь свою ходить и клевать»», см. [Белова 2004: 428]).

<sup>7</sup> Вопреки ЭССЯ, к данному этимологическому гнезду не может иметь отношения рус. диал. (сев.-зап., сев., сиб.) *клѣск, клѣска, клеска́, клѣст, клестá, клѣс* 'рыбья чешуя'; связаны ли эти слова со звукоподражательным \*tleskatil/\*tlesati — другой вопрос.

<sup>8</sup> Однако в этом случае изложенные выше соображения (в частности, реальность укр. *клект* и наличие *клѣст* 'аист') мешают принять предположение А. А. Зализняка о том, что великорусская форма *клѣст* — новгородского (в широком смысле) происхождения и содержит \*tl-.

<sup>9</sup> Само по себе *клѣст* допускает и реконструкцию \*klyсь.

влияния звукоподражательных глаголов с \*tl-, \*dl-), что особенно вероятно для обозначений дубоноса — птицы того же семейства вьюрковых, что и клест, и к тому же — откуда и ее русское название — отличающейся мощным, массивным клювом.

Третья этимология этой серии, касающаяся слав. \*glistь, \*glista, по существу полностью подготовлена имеющейся этимологической литературой, см. в особенности [ЭССЯ 6: 128–129; SP 7: 109–111. Аникин 1998: 409–410] (это позволяет опустить изложение релевантного материала; рефлексы засвидетельствованы на всех славянских территориях). Исторически оправдано морфемное членение \*gli-st-, где корневой компонент связан с и.-е. \*glei- 'kleben, schmieren' (см. [IEW I: 362–364]) и обнаруживается также в славянских названиях слизи, глины, вязкой и влажной массы (\*glěнь, \*glěvъ, \*glina, \*glъjъ и др.). Единственное предлагаемое дополнение этой этимологии состоит в принятии дославянской именной основы \*glei(s) 'слизь', непосредственное сохранение которой в виде слав. \*gli было невозможно по фонотактическим причинам, но которая в комбинации с суффиксом -st- дала \*glistь 'слизист[ый червь]'. Ближайшим соответствием — с отличием в суффиксе, -t- вместо -st-<sup>10</sup> — оказывается, как это и отмечается в названной выше литературе, лит. *glitùs, glytùs* 'слизистый'.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аникин 1998 — А. Е. Аникин. Этимология и балто-славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии. Новосибирск, 1998.
- Балалыкина 1980 — Э. А. Балалыкина. Словообразовательная структура прилагательных в славянских и балтийских языках (Именные образования с и.-е. формантами \*-по-, \*-го-, \*-то-, \*-ло-). Казань, 1980.
- Белова 2004 — «Народная Библия»: Восточнославянские этимологические легенды / Сост. и коммент. О. В. Белова. М., 2004.
- Гура, Страхов 1995 — А. В. Гура, А. Б. Страхов. Аист // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1995.
- ЕСУМ — Этимологічний словник української мови. Т. 1. Київ, 1982.
- Зализняк 1985 — А. А. Зализняк. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Зализняк 1986 — А. А. Зализняк. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.
- Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.

<sup>10</sup> Полного соответствия трудно было бы ожидать с учетом ограниченного распространения суффикса -st- в балтийском, см. [Балалыкина 1980: 73–74].

- Мейе 1951 — *A. Meije*. Общеславянский язык / Пер. и примеч. П. С. Кузнецова. М., 1951.
- Топоров 1975 — *B. H. Топоров*. Прусский язык: Словарь. А.-Д. М., 1975.
- Черных 1993 — *П. Я. Черных*. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I. М., 1993.
- ЭСРЯ — *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. I–IV / Пер. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1964–1973.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1—. М., 1974—.
- Berneker 1924 — *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Heidelberg, 1924.
- IEW — *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I–II. 2. Aufl. Bern; Stuttgart, 1989.
- Kiparsky 1975 — *P. Kiparsky*. Russische historische Grammatik. Bd. III: Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg, 1975.
- SP — *Słownik prasłowiański*. T. I—. Kraków c. a. 1974—.
- Vaillant 1974 — *A. Vaillant*. Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. La formation des noms. Paris, 1974.
- Vondrák 1924 — *W. Vondrák*. Vergleichende slavische Grammatik. 2. Aufl. Bd. I: Lautlehre und Stammbildungslehre. Göttingen, 1924.

Н. П. АНТРОПОВ

## По следам одной «птичьей» этимологии

Слушая в весеннем варыкинском саду соловьев, Юрий Живаго описывает в дневнике возникающие у него при этом слуховые образы: «Сколько разнообразия в смене колен и какая сила отчетливого, далеко разносящегося звука! У Тургенева описаны где-то<sup>1</sup> эти высвисты, дудка лешего, юлиная дробь. Особенно выделялись два оборота. Учащено-жадное и роскошное „тэх-тэх-тэх“, иногда трёхдольное, иногда без счета, в ответ на которые заросль, вся в росе, отряхивалась и охорашивалась, вздрагивая как от щекотки. И другое, распадающееся на два слога, зовущее, проникновенное, умоляющее, похожее на просьбу или увещание: „Оч-нись! Оч-нись! Оч-нись!“» [Пастернак 1990: 309]. Таким образом, герой романа семантизирует, лексикализуя, соловьиную трель в соответствии с настроением, состоянием души.

Пастернаковская реминисценция возникла, разумеется, не на пустом месте: такая семантизация звуков природы хорошо отражена в акустическом коде традиционной народной культуры — птицы (но также другие живые существа — голосами, стрекотом, шипеньем и под., деревья — скрипом, простые механизмы — стуком, свистом и т. п.), как известно, могут что-то «говорить» человеку. Количество подобных мини-текстов хотя и ограничено, но отнюдь не мало, что дает справедливые основания исследователям выделять их в качестве своеобразного малого фольклорного жанра (см., например, [Гура 1993; 1998; 1999; Новик 1999]). В этом ряду находятся тексты — преимущественно полесские, — привлечшие наше внимание тем, что входящие в их состав ключевые фоно-лексические комплексы, ниже выделенные курсивом, известны и как наименования некоторых мелких птиц, см. в обобщенном варианте текста: «*Тиливоз. тиливоз (тиливиз, циливуз, тилигуз, теле-*

<sup>1</sup> «Где-то» — в ценимой, судя по ее прижизненным публикациям, самим писателем статье «О соловьях», написанной для задуманного, однако не осуществленного С. Т. Аксаковым еженедельника «Охотничий сборник» и опубликованной впервые в книге «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах С. Аксакова. С прибавлением статьи о соловьях И. С. Тургенева» (М., 1855). Тургенев приводит 10 соловьиных колен: *пушкание, клыкание, дробь, раскат, пленкание, лешева дудка, кукушкин перелет, гусачок, юлиная стукотня, почин*; см.: [Тургенев 1983: 152–156, 403–405]. Известно, однако, что у лучших экземпляров число колен может доходить даже до 25.

гуз, тылилизж<sup>2</sup>), кидай (ховай, покинь) сани, бэри (возьми) воз (вуз, виз)» [Гура 1993: 140].

Безусловно родственное представленным блр. *целягуз* как народное наименование черныша '*Tingia ochropus* L.', широко распространенного небольшого куличка, который напоминает бекаса, отмечено в классической для белорусской орнитологии монографии «Птицы Белоруссии» [Федюшин, Долбик 1967: 116]. К сожалению, как раз при этом названии авторы не обозначили местность, где его зафиксировали, хотя при иных такая территориальная привязка обычно есть. Впрочем, в более ранней работе А. В. Федюшина о зоологической экспедиции в восточную Гомельщину находим наименование *целегуз* (*кулік-целегуз*) [Фядзюшын 1932а: 19; 1932б: 51<sup>3</sup>], которое используется в том числе как таксономическое, т. е. предлагается в качестве термина. Есть основания считать, что интересный орнитоним записан во время гомельской экспедиции биологов тогдашней Белорусской Академии наук в районе д. Вылево<sup>4</sup> (ныне Добрушского района), где была организована одна из стационарных баз [Фядзюшын 1932а: 32–33]. Следующие фиксации также с Гомельщины, только на юго-запад от областного центра, именно из Речицкого района (дд. Холмеч и Малодуша): в белорусском диалектном лексическом атласе отмечаются фонетически близкие наименования, но для жаворонка — *целевóз* [ЛІАБ 1: 64. Карта № 117]. В Холмече же отмечена и форма *цілівóз* в составе словосочетания *верабейка-цілівóз* 'всякая мелкая птичка': «Есьць такі *верабейка-цілівóз*. Пяе так: цілі-воз, кідай сани, бяры воз» [Народнае слова 1976: 158]; огласовку той же лексемы в соответствии с нормами белорусского литературного языка (*целявóз*) предлагает Е. М. Романович [Лексічныя ландшафты 1995: 87]<sup>5</sup>.

Подобные наименования, которые информанты обычно связывают с весенней песенкой той или иной птицы, распространены шире, но все они ориентированы как будто на центральную и восточную части Полесья, ср. укр. диал. с финалью *-гуз/-гіз*: *телегуз* 'черныш' [Шарлемань 1927: 32], 'овсянка обыкновенная' (киевск., [Лисенко 1974: 211]), *телегуз*, *телегузік* 'птица из породы куликов' [Шило 1975: 235], *тілігуз* 'синица большая', 'поползень' (житом., [Никончук 1979: 11, 147]), *те-*

<sup>2</sup> На Волины зафиксировано также *тіліліж* (И. Коперницкий по материалам Зофьи Рокоссовской; цит. по [Гура 1997: 639]).

<sup>3</sup> Там же, на с. 56, приводится еще вариант *целагуз* — возможно, результат корректорской ошибки.

<sup>4</sup> После Чернобыльской катастрофы деревня остается нежилой.

<sup>5</sup> Колебания в передаче предударных, которые к тому же сочетаются с мягкими согласными, представляются вполне естественными.

*легіз* 'овсянка' (черниг., [Гура 1997: 738]: «Вон співає *телегіз*, покінь сани, бери віз»). Что же касается специальных мини-текстов, в составе которых отмечаются эти лексемы и/или их многочисленные варианты и в которых хозяину предлагается менять зимние сани на летнюю телегу, то они фиксируются на более обширной территории: исследователь славянской фаунистической символики А. В. Гура отмечает их на Житомирщине, частично на Черниговщине, Киевщине, Гомельщине и Брянщине [Гура 1993: 140]; по данным рукописных материалов архива «Белорусского этнолингвистического атласа»<sup>6</sup>, соответствующие тексты известны и в Брестской области (записи из дд. Засимы Пружанского, Туховичи Ляховичского и Дубины Кобринского районов, но в последней без ключевого наименования).

И высокая вариативность отмеченных форм, и объединение весьма разных значений (черныш, птица-кулик, жаворонок, овсянка, синица, поползень, вообще мелкая пташка) не могут не привести к мысли о звукоподражательном характере наименований. Именно так объясняются житом. *тілігуз* 'синица; поползень' [Никончук 1979: 11], речич. *целявóз* [Лексічныя ландшафты 1995: 87]; ономотопеическими образованиями, возникшими в результате народно-этимологической интерпретации голосов птиц, считает подобные вербальные структуры А. В. Гура ([Гура 1993: 132, 140]; см. также: [Гура 1997: 81–82, 95, 639, 738; 1998: 95–97; 1999: 675–677]). Безусловно, номинационная модель 'ономотопея → орнитоним' является одной из наиболее частотных в названиях птиц: по сделанным нами в свое время подсчетам, более трети белорусских наименований, мотивированных свойствами птиц, связаны со звукоподражанием [Антропов 1982: 145–158]. А в данном случае лексикализации ономотопеи могли бы способствовать еще своеобразные формы «диалога» человека с птицей, ср. текст, записанный в Грабовке Гомельского района: «*жаворонок*: Тиливóз, тиливóз, кидай сани, бери воз!; *человек*: Тиливóз, тиливóз, весну нам привóз» [Гура 1993: 143].

Возникают, однако, и некоторые вопросы относительно наименования, нас интересующего, в составе именно клишированных форм. Во-первых, как правило, результатом переосмысления, семантизации звукоподражания являются в с е без исключения лексемы мини-текста, особенно ключевые, которые как раз и передают основной голос птицы, ср. в этом смысле широко распространенные бел. *кроў!*, рус. *украл!*, укр. *харч!*, болг. *гро!* (< *гроб*), бел. *Якуб!*, укр. *купи!*, хорв. *кириј!* для голосов вороны и кукушки. Во-вторых, *целягуз* и под. вызывают

<sup>6</sup> Хранится у автора.

небезосновательное впечатление о композитном строении слова<sup>7</sup>, и если первая часть сводится к семантически размытой ономотопее *ци/ми-ли*<sup>8</sup>, то вторая может, вероятно, соотноситься с *гуз* 'хвост' или зависимым от него и явно вторичным *воз* с вариантами<sup>9</sup>, обусловленными фонетическим строением лексемы, с которой она рифмуется в тексте. Если же это осмысление принять, то невозможно далее без фантастических объяснений семантики представить сложное слово, где первая часть является звукоподражанием, а вторая — названием хвоста (транспортного средства).

Представляется, что выявленная дилемма может быть решена, только если допустить за звукоподражанием *ци/ми-ли* какую-то первичную, «спрятанную» за ономотопеей семантику. Не исключено, что таким вербальным первоисточником может быть гипотетическое *\*cily/\*cilyb*, реликтовые и территориально ограниченные варианты хорошо известного прасл. *\*čilyb(jb)* с исходным значением 'подвижный', ср. его как прямые, так и с дальнейшим развитием семантики континуанты: с.-хорв. *čыл, čило* 'крепкий; сильный', словен. *čil, čila* 'бодрый; здоровый; крепкий', др.-чеш. *čily* 'свежий; бодрый; оживленный', моравск. *čily*, словац. *čily* 'живой; подвижный', 'быстрый', в.-луж. *čily* 'целый; бодрый; крепкий', 'невредимый', укр. *чилий* 'здоровый; сильный' (см. [ЭССЯ 4: 112; SP 2: 199; Топоров 1980: 363]). Праслав. *\*čilyb*, являющееся, судя по всему, отглагольным прилагательным (ранее — причастием) на -l- от утраченного *\*čiti* (как *\*čulb: \*čuti, \*bilb: \*biti* и под.) и продолжающее и.-е. *\*kēi- (\*kēi-/ki-)* 'сдвигать; быть в движении', 'приводить в движение' [Pokorny 1949: 538–539; Топоров 1980: 363], В. Н. Топоров связывает с прус. *kylo* 'трясогузка', 'Motacilla', которое, по его мнению, лишь в вост.-балт. имеет вполне достоверные и надежные параллели: лит. *kylė, kiėlė, kielė, kiela*, лтш. *ciēlava* 'тс' и след. (см. [Топоров 1980: 361]). Прусский и восточнобалтийские орнитонимы реконструируются — «с известным вероятием» — в виде сложного слова со структурой *\*kil- (\*keil-)* 'подвижный' + 'хвост', подвергшегося далее «стяжению»

<sup>7</sup> Ср., кстати, структурно тождественное *пэтэльгуз* 'бекас', зафиксированное в Малых Автюках Калининского р-на Гомельской обл. [ЛАБ 1: 68, Карта № 130].

<sup>8</sup> Другое дело, что к ней одной сводятся голоса таких разных представителей орнитофауны, как черныш, жаворонок, овсянка, синица, поползень и вообще любой мелкой птицы.

<sup>9</sup> Здесь уместно привести подобную пару *чорногуз/чорногуз* 'белый аист' с заменой такого же рода [АУМ 1: Карта № 324], причем показательно, что последнее наименование занимает выразительный компактный ареал в Винницкой обл. Украины.

в простое слово, в котором воспроизводится корень первого члена [Там же: 363–364<sup>10</sup>].

В связи с этимологической проблематикой балтийских наименований *Motacilla*, на периферии которой находятся славянские отражения *\*čilyb*. В. Н. Топоров пишет: «Поскольку непосредственных данных для проверки возможности существования в слав. названий трясогузки с корнем *\*čil-* нет, уместно ограничиться ответом на более скромный, но с семантической точки зрения не менее важный вопрос: были ли в слав. *composita*, первый элемент которых *\*čil-*, а второй — слово для хвоста?» [Там же: 363]. Ответ на поставленный вопрос он видит в ряде («но не более!») значений рус. *шилохвост, шилохвостка* 'юла; егоза; непоседа; тот, кто много бегает по чужим домам' (по Далю), которые «могли быть обязаны своим происхождением форме вроде *\*čiloxvostb* 'обладающий подвижным хвостом' (ср. также блр. *шылыхваст*, укр. *шелухвіст* и т. п.)» [Там же].

Не исключено, что искомому может также соответствовать предполагаемые нами *\*cilygqzь/\*cilegqzь/\*ciligqzь* 'с подвижным хвостом', которые продолжают полесские орнитонимы типа блр. *целягуз*. Представляется важным и то, что эта в определенной степени широкая семантика, которая к тому же способна развиваться в сторону абстрагирования (→ 'подвижный; оживленный; деятельный'; здесь достаточно вспомнить впечатления от ежевесенних птичьих хлопот), удовлетворительно объясняет многочисленность их значений. Вместе с тем не должно особенно удивлять отсутствие в этом ряду значения '*Motacilla*' — прежде всего, потому, что эндемичное, быстро утратившее внутреннюю форму под мощным ономотопеейским давлением *\*cilegqzь* рано (не сразу ли?) попало под влияние народной этимологии, связавшей первую часть со звукоподражанием *ци/ми-ли*, к которому при наличии некоторой фантазии можно свести голоса очень многих птиц<sup>11</sup>; ср., между прочим, блр. *цилечка* ласк. 'пташечка' ([Носович 1983: 689]; с пометой «звукоподражательное, от чирикания птицы»), *циликанне* 'чирикание' [Там же]. Не является, на наш взгляд, непреодолимой также фонетическая коллизия

<sup>10</sup> Здесь по понятным причинам опускается логическая цепь рассуждений Владимира Николаевича, сопровождаемая, как обычно, привлечением значительного языкового и научного материала.

<sup>11</sup> Более того, по мысли одного из пионеров в изучении славянской орнитонимии Л. А. Булаховского, звукоподражание «не достигает той степени объективности, которая обеспечивала бы распознавание характерного для птицы крика, напева и под. людьми разных языков и даже диалектов» [Булаховский 1948: 154].

начала слова<sup>12</sup>, и не только из-за органичности чередования *č'-/c'*-, но вновь же в связи с ономотопеей, которая, таким образом, с одной стороны, прямо содействовала разрушению первичной семантики, а с другой — сохранила отдаленное звуковое «воспоминание» о ней.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Антропов 1982 — Н. П. Антропов. Названия птиц в белорусском языке на общеславянском фоне: Дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1982.
- АУМ — Атлас української мови. Т. 1. Київ, 1984; Т. 3. Київ, 2001.
- Булаховский 1948 — Л. А. Булаховский. Семасиологические этюды: Славянские наименования птиц // Учен. зап. Львовского гос. ун-та им. Ив. Франко. Т. VII. Вып. 3: Вопросы славянского языкознания. Кн. 1. Львов, 1948.
- Гура 1993 — А. В. Гура. Вербальная имитация голосов животных в славянском фольклоре // Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольклорных текстов. М., 1993.
- Гура 1997 — А. В. Гура. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
- Гура 1998 — А. В. Гура. Звуки и голоса животных в традиционных народных представлениях // Слово и культура: Памяти Н. И. Толстого. Т. II. М., 1998.
- Гура 1999 — А. В. Гура. Крики животных и птиц // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2 [Д–К (Крошки)]. М., 1999.
- ЛАБ 1 — Лексичны атлас беларускіх народных гаворак у пяці тамах. Т. 1: Раслінны і жывёльны свет. Минск, 1993.
- Лексичныя ландшафты 1995 — Лексичныя ландшафты Беларусі. Минск, 1995.
- Лисенко 1974 — П. С. Лисенко. Словник поліських говорів. Київ, 1974.
- Народнае слова 1976 — Народнае слова. Минск, 1976.
- Никончук 1979 — М. В. Никончук. Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся). Київ, 1979.
- Новик 1999 — Е. С. Новик. Семиотические функции голоса в фольклоре и верованиях народов Сибири // Фольклор и мифология Востока в сравнительно-типологическом освещении. М., 1999.
- Носович 1983 — И. И. Носович. Словарь белорусского наречия. Минск, 1983 (репринт издания 1870 г.).
- Пастернак 1990 — Б. Л. Пастернак. Доктор Живаго. Минск, 1990.
- Топоров 1980 — В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. Т. 3: 1–К. М., 1980.
- Тургенев 1983 — И. С. Тургенев. О соловьях // Сочинения в двенадцати томах. Т. 11. М., 1983.

<sup>12</sup> Не следует ли сюда отнести (с понятной осторожностью, конечно) отмеченное в [АУМ 3: 117 (раздел «Некартографированные материалы»)] изолированное и семантически невразумительное *чаплягыз* 'белый аист'? К сожалению, территориальную привязку этой лексемы определить не представилось возможным: в комментариях к соответствующей карте [АУМ 1: Карта № 324] наименование отсутствует.

- Федюшин, Долбик 1967 — А. В. Федюшин, М. С. Долбик. Птицы Белоруссии. Минск, 1967.
- Фядзюшын 1932a — А. У. Фядзюшын. Матэрыялы да вывучэння сысуноў (Mammalia), птушак (Aves) і гадаў (Reptilia, Amphibia) БССР: Вынікі заалягічных даследаванняў ва ўсходняй Гомельшчыне летам 1929 г. // Матэрыялы да вывучэння флоры і фауны Беларусі. Т. VII. Минск, 1932.
- Фядзюшын 1932b — А. У. Фядзюшын. Аб фаўністычных даследаваннях у Аршаншчыне летам 1929 г. // Матэрыялы да вывучэння флоры і фауны Беларусі. Т. VII. Минск, 1932.
- Шарлемань 1927 — М. В. Шарлемань. Словник зоологічнай номенклатуры. Ч. I: Назви птахів (Проект). Харків; Київ, 1927.
- Шило 1975 — Г. Ф. Шило. Полесские названия птиц // Совещание по ОЛА: Тезисы докл. (Гомель, 9–12 сентября 1975 г.). Гомель, 1975.
- ЭССЯ 4 — Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 4. М., 1977.
- Pokorny 1949 — J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Bern; München, 1949.
- SP 2 — Słownik prasłowiański. T. II / Pod red. F. Sławskiego. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1976.



С. Ю. ТЕМЧИН

## О семантической эволюции лит. *laikas*, лтш. *laiks* 'время'

Считается, что общепольского названия времени не существовало. Западнобалтийская группа, по всей видимости, располагала двумя относительно синонимическими обозначениями, ср. др.-прус. *kērdan* (вин. пад. ед. ч.) 'время', этимологически родственное слав. \**čerda* 'стадо; отряд, разряд; смена, очередь; вереница; пора, время' [Топоров 1980: 315–323; Mažiulis 1993: 163–165], и др.-прус. *kisman* (← *kēsman*) (вин. пад. ед. ч.) 'время (временной момент)', однокоренное со слав. \**časъ* '(ограниченный) отрезок времени' [Топоров 1984: 33–37; Mažiulis 1993: 163–165]. Восточнобалтийские обозначения времени, вынесенные в заглавие статьи, представляют собой совершенно иные образования. А. Сабалаяускас отнес их к числу лексем, характерных только для балтийских языков [Sabaliauskas 1990: 179]<sup>1</sup>.

Форма лит. *laikas* 'время' и лтш. *laiks* 'время; погода' совершенно прозрачна: эти слова производны от общепольской глагольной основы, представленной лит. *likti, liška, liko* '(неперех.) остаться; (перех.) оставить', лтш. *likt, lieku, liku* '(перех.) класть, ставить', др.-прус. *polinka* 'остаётся' [Fraenkel 1962: 331; Karulis 1992: 487–490]. Очевидно, что интересующие нас существительные образования от основы настоящего времени (отличающейся дифтонгическим вокализмом) в ту пору, когда ее корневой дифтонг звучал как \**ei*, т. е. еще до восточнобалтийского фонетического изменения \**ei* → *ē* → *ie*, происходившего нерегулярно — в позициях, которые до конца не ясны<sup>2</sup>. Таким образом, мы имеем дело со словообразовательной моделью \**leika* 'остаётся/оставляет': \**laikas* 'время', существовавшей уже в восточнобалтийском диалектном континууме, который начал формироваться незадолго до V в. до н. э. и распался в течение VII–XIII вв. нашей эры<sup>3</sup>.

Основная проблема заключается в семантическом переходе 'остаётся/оставляет' → 'время', механизм которого до сих пор не выяснен. Существуют три объяснения (два из них обобщены К. Карулисом в цитированном «Этимологическом словаре латышского языка»). Напомним их суть.

Согласно традиционной точке зрения, восходящей к Я. Эндзелину, первоначально вост.-балт. \**laikas* было прилагательным, которое представляло собой формальный и семантический дублет к \**leikas* (лит. *liðkas*, лтш. *lieks* 'лишний') и было идентичным греч. *λοιπός* 'оставшийся, остающийся, остальной'. Позже на основе этого основного (предметного) значения развилось новое (темпоральное) переносное значение по схеме лтш. *Man vēl ir laiks* 'У меня еще есть остаток (запас) каких-либо вещей' > 'У меня еще есть остаток (резерв) времени'. Возникновение у \**laikas* нового значения 'пора, срок' объясняется влиянием употреблений типа лтш. *Svarki man ir laikā* 'Пиджак мне впору' (< 'Пиджак мне подходит с резервом объема').

Альтернативная интерпретация семантического развития такова: \**likti* '(неперех.) остаться' → '(перех.) оставить', итер.-дур. \**laikiti* 'держат; хранить, беречь, экономить; считать (кого кем), решать, задумывать'. Отсюда \**laikas* 'заранее установленный, определенный' и 'заранее установленный срок; традиционно установленный (праздничный) день' и мн. *laiki* 'праздник'. Впоследствии это значение, первоначально связанное с конкретным днем или сроком, постепенно расширялось, связываясь с каким-либо событием или состоянием (*kāzu laiks* 'время свадьбы'; *slimības laiks* 'время болезни') либо периодом (*vasaras laiks* 'летняя пора', *kara laiks* 'военное время', *dzīves laiks* 'время жизни') и, наконец, достигая высшей степени абстракции в значении 'время (вообще)'. Подобное семантическое развитие наблюдается у слав. \**godъ* 'время; год; праздник'.

Третье, не ученное К. Карулисом, объяснение семантического развития было предложено П. Скардژیусом: лит. *laikas* первоначально означало 'судьба', затем 'остающееся, свободное время' и, наконец, 'время (вообще)' [Skardžius 1996: 578–579]. В общем это объяснение близко предыдущему.

Употребление лтш. *laiks* в значении 'погода' представляет собой позднюю инновацию (XVII в.), первоначально характерную лишь для Видземе. Прилагательное *laicīgs* (в старолатышских текстах также *laikīgs*) 'бренный, преходящий', противопоставленное прилагательному *mūžīgs* 'вечный', было образовано по примеру нем. *zeitlich* первыми латышскими толкователями христианских текстов.

К. Карулис считает, что семантика слова \**laikas* могла развиваться сразу в нескольких направлениях, но в любом случае в ее основе лежит не понятие времени, а бытовое отношение человека к предметам и явлениям. В качестве доказательства им приводятся данные иных индоевропейских языков, в которых названия времени образованы от глаго-

<sup>1</sup> Ср. [Buck 1949: 953–955].<sup>2</sup> См. обзор мнений по этому поводу: [Дини 2002: 64–65].<sup>3</sup> О датировке см. [Там же: 65–66].

лов со значениями 'надрезать' (др.-прус., слав.), 'делить, нарезать' (герм.), 'резать, рубить' (лат.).

Изложенные выводы следует считать предварительными. Во-первых, в обоих случаях значение 'время' представляется поздней инновацией, появившейся в результате сложной и продолжительной семантической эволюции, тогда как тождественность этого значения в литовском и латышском, напротив, свидетельствует о его значительной древности, восходящей, как и само образование, по крайней мере к эпохе восточнобалтийского диалектного континуума. Во-вторых, в предыдущих исследованиях данной проблемы активно использовались методы внутренней реконструкции (на основе балтийских данных) и типологического анализа (этимологически неродственных образований), тогда как сравнительно-исторический метод, предполагающий использование в целях исторической реконструкции *родственных индоевропейских форм*, в связи с нашей темой впервые примененный Я. Эндзелином, впоследствии практически не применялся. А между тем известно, что по сравнению с типологией сравнительно-исторический метод позволяет достичь гораздо большей доказательности производимой реконструкции. В-третьих, недостаточное внимание обращалось на относительную лингвистическую хронологию восстанавливаемых языковых процессов.

Ниже будут рассмотрены индоевропейские образования, этимологически родственные вост.-балт. *\*laikas*, — не только др.-греч. *λοιπός*, но и слав. *\*lěkь*, на которое, вслед за Р. Траутманном, обратил особое внимание В. Н. Топоров [Топоров 1990: 22–23]<sup>4</sup>. Результаты проведенного исследования, ограниченного греческим и балто-славянским ареалом<sup>5</sup>, излагаются в виде последовательно пронумерованных тезисов. Литовские лексемы и их значения приводятся по двадцатитомному «Словарю литовского языка» [LKŽ], латышские — по Словарю Мюленбах-Эндзелина [Mülenbachs 1923–1932].

1. Идея Я. Эндзелина о том, что первоначально вост.-балт. *\*laikas* было прилагательным, приемлемо типологически<sup>6</sup> и надежно аргументируется родовой вариативностью не только балтийских форм (ср. лит. 1 *laikas* и *laikà* 'время'), но также их греческих и славянских соответ-

<sup>4</sup> Ср. [Trautmann 1923: 154–155].

<sup>5</sup> Это ограничение имеет лингвистический смысл, поскольку именно в указанных группах и.-е. языков наблюдается значительная общность морфологической структуры и словообразовательных связей рассматриваемой и.-е. основы, ср. [Frisk 1973: 99–100].

<sup>6</sup> Вероятно, что славянское существительное *\*godь* '(подходящее) время; год' первоначально также было прилагательным, см. [Wojtyła-Świerzowska 1994: 18].

ствий (ср.: др.-греч. *λοιπόν* 'оставшаяся или остающаяся часть, остальное, остаток' и *λοιπός* 'будущее, предстоящая часть; потомки, потомство'; слав. *\*lěkallěkь* 'игральная кость; счет')<sup>7</sup>. Это означает, что исходной следует считать словообразовательную модель типа др.-греч. *λείπω* 'оставлять, покидать; med.-pass. оставаться': *λοιπός* 'оставшийся, остающийся, остальной; предстоящий, будущий' (в результате субстантивации родовых форм данного прилагательного появились существительные *λοιπός* и *λοιπόν*). Аналогичным образом следует считать, что лит. 1 *laikas* и *laikà* 'время' являются субстантивированными родовыми формами несохранившегося прилагательного *\*laikas*, *-ā*, предполагаемая семантика которого ('оставшийся, остающийся; будущий') совпадала со значениями соответствующего древнегреческого прилагательного. Возможность совмещения предметного и темпорального значений наглядно демонстрируют однокоренные существительные, ср. лит. *likimas* '1. оставление; наследство; 4. судьба; будущее'; 1 *ātlaikas* '1. остаток; 3. оставшаяся часть (времени)'; *nūolaika* '1. свободное время; 2. остаток'.

2. Субстантивация балтийского прилагательного *\*laikas* сопровождалась метатонией, результаты которой до сих пор сохраняются в лтш. *laiks*, акцентологически противопоставленном глаголу *likt, lieku* (в литовском они были вторично устранены: *\*lāikas* → *laikas*, о чем ниже) [Būga 1959: 387].

3. Еще П. Скарджюс отметил, что на существование в прошлом прилагательного *\*laikas*, *-ā* указывает также наличие в балтийском однокоренных приставочных образований<sup>8</sup>, ср. лит. 2 *ātlaikas*, *-ā* 'лишний, свободный, избыточный'; *nūolaikas*, *-ā* 'свободный от работы'; 3 *pālaikas*, *-ā* 'негодный, плохой (первоначально: лишний)'. Таким образом, реконструкция прилагательного *\*laikas* возможна как на внутренней, так и внешней основе.

4. Несомненное происхождение двух древнегреческих существительных с различными значениями *λοιπόν* 'остаток' и *λοιπός* 'будущее; потомство' от одного прилагательного *λοιπός* 'оставшийся, остающийся; будущий' позволяет предполагать подобную взаимосвязь несинонимических литовских существительных 1 *laikas* 'время' и 2 *laikas* 'остаток', которые также должны быть признаны семантически разошедшимися омонимами, а именно — субстантивированными формами прилагательного *\*laikas*, обладавшего предметно-темпоральной семантикой.

<sup>7</sup> Относительно реконструкции праславянских форм см. [ЭССЯ 14: 191–192].

<sup>8</sup> См. [Skardžius 1996: 35].

5. Реальность предполагаемой субстантивации *\*laikas*, *-ā* → 1 *laikas* ‘время’ и 2 *laikas* ‘остаток’ доказывается хорошо документированным параллельным развитием приставочных образований, некоторые из которых даже после субстантивации сохраняют синкретическую предметно-темпоральную семантику, ср. 2 *ātlaikas*, *-ā* ‘лишний, свободный, избыточный’ → 1 *ātlaikas* ‘1. остаток; 3. оставшаяся часть (времени)’ и *atlaikā* ‘1. остаток; 2. свободное время’; *nūolaikas*, *-ā* ‘свободный от работы’ → *nūolaika* ‘1. свободное время; 2. остаток’; 3 *pālaikas*, *-ā* ‘негодный, плохой’ → 1 *pālaikas* ‘1. остаток; 5. негодная, ненужная вещь’ и *palaikā* ‘1. остаток; 5. хранение’.

6. Субстантивация *\*laikas*, *-ā* → 1 *laikas* ‘время’ и 2 *laikas* ‘остаток’ имеет точную параллель с иным корневым вокализмом, ср. 3 *liēkas*, *-ā* ‘1. нечетный; 2. лишний’ (его более новый вариант: *liekūs*, *-ī* ‘то же’) → 1 *liēkas* ‘остаток’ и 1 *liekā* ‘1. остаток; 2. нечетное число’, причем здесь также наблюдается субстантивация разных родовых форм. Единственное различие заключается в том, что во втором случае из двух значений — предметного и темпорального — представлено лишь первое. Подобная вариативность корневого вокализма наблюдается также у однокоренных приставочных прилагательных (и их вторичных субстантивированных форм, которые ниже ради экономии места не приводятся), ср. 2 *ātlaikas*, *-ā* ‘лишний, свободный, избыточный’ и 2 *ātliekas*, *-ā* ‘то же’; *nūolaikas*, *-ā* ‘свободный от работы’ (вариант: *nuolaikūs*) и *nuoliekūs*, *-ī* ‘то же’.

7. Указанная вариативность корневого вокализма (*\*laikas* и *\*leikas*) восходит к глубокой древности, поскольку имеет прямые аналогии в праславянском, ср. *\*lěkallěkь* I ‘игральная кость; счет’ и *\*likь* II ‘счет, число, количество; игра в кости’<sup>9</sup>.

8. Семантика балтийских соответствий позволяет считать, что праславянские образования *\*lěkallěkь* I ‘игральная кость; счет’ и *\*lěkallěkь* II ‘лекарство; малое количество’ являются этимологически тождественными, но семантически разошедшимися омонимами, ср. семантику ‘9. хранить, не дать пропасть’ у лит. *laikyti*, *laiko*, *laikė* (итер.-дур. образования от *likti* ‘I 1. остаться; 3. остаться в живых; II 1. оставить’)<sup>10</sup>, которое следует считать родственным слав. *\*lěčiti* ‘лечить’ (см. [Смо-

<sup>9</sup> Семантическая идентичность слав. *\*lekь* и *\*likь* II, а также наличие вполне точных формальных и семантических параллелей в балтийском заставляет отклонить идею о том, что последнее образование восходит к *\*likь* I ‘лицо’, которое якобы прodelало семантическую эволюцию ‘товар лицом’ > ‘оглашение’ > ‘счет’, о чем см. [ЭССЯ 15: 82–83 (статья *\*liciti* II), 106–107 (статья *\*likь* II)].

<sup>10</sup> Ср. также следующие значения приставочных форм: *atlaikyti* ‘7. сохранить, спасти’, *palaikyti* ‘6. разрешить еще пожить’.

*czyński* 1987: 355–362; 1989: 18–22; Топоров 1990: 23]). Значение ‘малое количество’ у слав. *\*lěkallěkь* легко объясняется семантикой лит. 1 *liēkas* и 1 *liekā* ‘остаток’. Изложенная выше трактовка исключает возможность заимствования слав. *\*lěkallěkь* II и *\*lěčiti* из германского, предполагаемую некоторыми исследователями (см. [ЭССЯ 14: 175–176 (статья *\*lěčiti*), 192–193 (статья *\*lěkallěkь* II)]).

9. Темпоральная семантика отсутствует у слав. *\*lěkallěkь* I ‘игральная кость; счет’ и *\*lěkallěkь* II ‘лекарство; малое количество’, но ее следы фиксируются у с.-х. диал. *lek* (*lijek*), которое в функции прилагательного может употребляться не только в смысле ‘малое количество’, но и во временном значении ‘на минуту’ [Вогуś 1987: 73], а также у параллельного приставочного образования *\*otlěkь* (что вполне естественно ввиду более тесной связи приставочных образований с исходными глагольными основами), ср. блр. диал. *amalék* ‘покой, отбой’ [ЭСБМ 1: 192], а также различные по форме рефлексии *\*otlěkь* в старохорватских текстах чакавской традиции, обладающие значением ‘потомство, потомок, наследник’ (см. [Вогуś 1987]), производным от исходного значения ‘будущее’, ср. *λοιπός* ‘будущее, предстоящая часть; потомки, потомство’. Подобная семантика фиксируется и у литовских образований от приставочного глагола лит. *atlikti*, *liēka*, *liko* ‘(неперех.) остаться; (перех.) исполнить, совершить’, ср. лит. *ātlaikos* ‘1. остатки; 3. отпуск’, 2 *atlaikūnas* ‘оставшийся в живых человек (после смерти других)’.

10. Аналогичным образом слав. *\*likь* II ‘счет, число, количество; игра в кости’ и *\*liciti* II ‘вычислять; объявлять; громко заявлять о продаже, назначать цену, платить; ценить; считать, полагать; придерживаться определенной мысли’ также следует считать этимологически родственным лит. *laikyti*, *laiko*, *laikė* ввиду следующих его значений: ‘19. придерживаться определенных убеждений, взглядов, традиций; 20. считать (кого кем), считать равным чему-либо, полагать; 31. назначать цену (при продаже)’. Различие в корневом вокализме не препятствует такому соотношению (см. выше позиции № 3 и 4). Подобное решение исключает возможность этимологического отождествления *\*likь* II (и *\*liciti* II) с *\*likь* I ‘лицо’ (и *\*liciti* I ‘приличествовать’) (см. выше прим. 9).

11. Семантика лит. *likti* ‘(неперех.) остаться; (перех.) оставить’, сочетающая в себе транзитивные и интранзитивные значения, имеет аналогию в др.-греч. *λείπω* ‘оставлять, покидать; med.-pass. оставаться’. Вероятно, что наблюдаемое в литовском совмещение переходных и непереходных значений у одних и тех же форм произошло вследствие утраты в балтийском медио-пассивного спряжения. Следующий этап

семантического развития представлен в латышском, где транзитивные и интранзитивные значения совмещаются лишь у приставочных образований (ср. лтш. *palikt* '(перех.) положить, поставить' и этимологически тождественный омоним *palikt* '(неперех.) остаться'), тогда как бесприставочный глагол практически уже утратил непереходные значения, ср. лтш. *likt* 'класть, ставить'.

12. Словообразовательные отношения вост.-балт. глагола *\*likti, leika* '(неперех.) остаться; (перех.) оставить' с производными от него именами *\*laikas* 'время' и *\*leikas* 'остаток', с одной стороны, и производным (итер.-дур.) глаголом *\*laikīti* 'держат; хранить, беречь, экономить; считать (кого кем), решать, задумывать' по-разному отражены в древнегреческом и праславянском.

Древнегреческий отражает лишь именные производные (др.-греч. *λείπω* 'оставлять; med.-pass. оставаться' : *λοιπόν* 'остаток' и *λοιπός* 'будущее; потомки'), что заставляет считать их наиболее старой частью словообразовательного гнезда.

Славянский отражает как именныи (\**lěkъ* 'игральная кость; счет' и *\*likъ* II 'счет, число, количество; игра в кости'), так и глагольные дериваты (\**lěčiti* 'лечить' и *\*ličiti* II 'считать'), но зато не сохраняет производящей основы типа др.-греч. *λείπω* и балт. *\*likti*. Для праславянского вообще характерна утрата корневых глагольных основ.

Из приведенных выше данных видно, что по количеству вторичных модификаций рассмотренного словообразовательного гнезда балтийские языки занимают срединное положение между архаичным древнегреческим и наиболее инновационным праславянским.

Происхождение и семантическая эволюция восточнобалтийского названия времени может быть представлена в виде нескольких хронологических этапов.

Первый этап. В части индоевропейских диалектов позднего периода, на основе которых развились, в частности, греческая, славянская и балтийская языковые группы, возникла общая словообразовательная модель, по которой от формы настоящего времени корневого глагола со значением 'оставлять; оставаться' бессуффиксальным способом, но с использованием корневого чередования гласных было образовано прилагательное со значением 'оставшийся, остающийся, остальной; предстоящий, будущий', в котором предметный аспект сочетался с темпоральным<sup>11</sup>. В своем исходном виде данная модель представлена в др.-греч. *λείπω* : *λοιπός*. Со временем балтийский утратил производную

<sup>11</sup> О родственных образованиях в иных группах и.-е. языков см. [Pokorny 1959: 669–670].

(адъективную бесприставочную), а славянский — также и производящую (глагольную) основу.

Вследствие утраты в балтийском медио-пассивного спряжения все словоформы производящей глагольной основы сочетали в себе транзитивные и интранзитивные значения. Это состояние отражено в лит. *likti* '(неперех.) остаться; (перех.) оставить', тогда как соответствующий бесприставочный глагол лтш. *likt* 'класть, ставить' практически уже утратил непереходные значения (однако реликты предыдущего семантического состояния сохраняются у приставочных образований, ср. лтш. *palikt* '(перех.) положить, поставить' и этимологически тождественный омоним *palikt* '(неперех.) остаться').

Второй этап. Различные родовые формы отглагольного прилагательного в дальнейшем подвергались субстантивации, которая сопровождалась дифференциацией предметного и темпорального значений, ср. др.-греч. *λοιπός* 'оставшийся, остающийся, остальной; предстоящий, будущий' → *λοιπόν* 'оставшаяся или остающаяся часть, остальное, остаток' и *λοιπός* 'будущее, предстоящая часть; потомки, потомство'. Аналогичным образом, с дифференциацией значений, субстантивировались родовые формы соответствующего балтийского прилагательного, дав начало существительным вост.-балт. 1 *\*laikas* и *\*laikā* '(будущее) время', с одной стороны, и 2 *\*laikas* 'остаток' — с другой. В результате подобной субстантивации родовых форм отглагольного прилагательного возникли также славянские существительные *\*lěkallěkъ* I 'игральная кость; счет' и семантически отличное, но этимологически тождественное предыдущему *\*lěkallěkъ* II 'лекарство; малое количество'. Реликты темпорального значения у указанных славянских образований уже почти не просматриваются. Данный семантический аспект был, вероятно, в основном утрачен уже у того праславянского прилагательного, которое впоследствии субстантивировалось. Однако реликты темпоральной семантики прослеживаются у праславянского приставочно-го образования *\*otlěkъ*.

В балтийском после утраты бесприставочного девербативного прилагательного производящая глагольная основа вошла во вторичные словообразовательные отношения с его субстантивированными образованиями, т. е. вост.-балт. *\*likti, leika* 'оставаться; оставить' : 1 *\*laikas* (вариант: *\*laikā*) '(будущее) время' и 2 *\*laikas* 'остаток'. Именно в результате вторичной связи с глагольной основой у литовского существительного *laikas* был устранен результат метатонии (сопровождавшей субстантивацию исходного отглагольного прилагательного): на существительное была перенесена акцентная характеристика глагольной основы, т. е. лит. *\*lāikas* → *laikas* под влиянием *likti, liēka* 'оставаться; оста-

вить' (эта анцентологическая новация не затронула латышский, до сих пор сохраняющий результаты былой метатонии)<sup>12</sup>.

Третий этап. В балтийском и славянском от той же производящей основы и по той же модели было образовано новое прилагательное, но уже без корневого чередования гласных, родовые формы которого впоследствии также субстантивировались. В отличие от предыдущего, новое образование имело лишь предметное (но не темпоральное) значение, ср. лит. *3 liėkas*, -à 'нечетный; лишний' → *1 liėkas* 'остаток' и *1 liekà* '1. остаток; 2. нечетное число'<sup>13</sup>. В славянском сохранилась одна лишь субстантивированная форма новообразованного прилагательного \**likъ* II 'счет, число, количество; игра в кости'.

Одновременно в балтийском и славянском от той же производящей глагольной основы было образован итер.-дур. дериват, ср. лит. *laikyti* 'держатъ', слав. \**lěčiti* 'лечить'. После утраты в славянском производящей глагольной основы последнее образование было реинтерпретировано как производное от существительного \**lěkallěkъ* II 'лекарство; малое количество', что позволило аналогичным образом образовать \**ličiti* II 'считать' от более молодого параллельного существительного \**likъ* II 'счет, число, количество; игра в кости'.

Четвертый, заключительный, этап представлен в славянском. После образования нового отглагольного прилагательного без корневого чередования гласных (\**likъ* II 'счет, число, количество; игра в кости') его производный характер утратил свое формальное выражение. Для его прояснения к данной адъективной основе был присоединен дополнительный суффикс -s-, призванный поддержать словообразовательное значение, лишившись своего формального носителя (в данном случае — корневого чередования гласных)<sup>14</sup>. Расширенное таким образом прилагательное \**lixъ(jь)* 'остаточный, лишний; нечетный; плохой' (из \**lik-xъ*, где *x* ← *s* после *k* по правилу Педерсена) получило широкое распространение и субстантивировалось во всех родовых формах: \**lixъ*, \**lixa*, \**lixo* (от которых образован глагол \**lišiti* 'лишить; оставить') (см.

<sup>12</sup> К. Буга считал, что в литовском *laikas* метатония была устранена под влиянием исходного прилагательного, однако это объяснение неприемлемо, так как дает нам логический круг: метатония происходила с целью разграничения исходного прилагательного и его субстантивированного варианта, в котором она затем устранялась под влиянием того же исходного прилагательного, см. [Büga 1959: 387].

<sup>13</sup> Об относительной инновационности этого и ему подобных образований подробнее см. [Skardžius 1935: 59–65].

<sup>14</sup> О присоединении новых аффиксов для поддержания словообразовательного значения, по каким-либо причинам лишившегося своего формального выражения, см. [Темчин 1986: 29–34; Temčinas 1995: 443–447].

[ЭССЯ 15: 89–91 (статья \**lixo*), 155–156 (статья \**lišiti(se)*)]. Негативные значения, характерные для этих образований (в том числе 'зло, несчастье, беда, черт, дьявол'), имеют соответствия в балтийском материале, ср. лит. *laikas* '10. эвф. несчастье, бедствие; черт'. Только на восточнославянских территориях, некогда входивших в Великое княжество Литовское (укр., бел.), у праславянского глагола \**lišiti* сохранилось значение 'оставить', близкое к лит. *laikyti* 'беречь, экономить, оставлять'.

Слав. \**lixъ(jь)* 'остаточный, лишний; нечетный; плохой' (← и.-е. \**leik<sup>u</sup>-so-*) имеет некоторую аналогию в греческом, ср. др.-греч. *λείφανον* 'остаток; (мн.) останки' (← и.-е. \**leik<sup>u</sup>-s-n-*). При этом в балтийском аналогии отсутствуют: сюда не относится лит. *nelaikšis* '1. недоношенный ребенок; 2. душа безвременно умершего (убитого либо покончившего самоубийством) человека; привидение', которое Я. Отрембский считал странным образованием («dziwotworem») от сочетания *ne laikù* 'несвоевременно' [Otrębski 1965: 225], но в действительности являющееся дериватом с факультативным пейоративным суффиксом -šis от существительного *1 nelaikis* '1. душа безвременно умершего (убитого либо покончившего самоубийством) человека; привидение; 2. покойник'<sup>15</sup>, которое образовано (бессуффиксальным способом) от сочетания *ne laikù* и соответствует лтш. *nelaikis* 'покойник, умерший, покойный, усопший' (жен. род. — *nelaiķe*).

Можно уверенно утверждать, что, вопреки мнению предыдущих исследователей, значение 'время' у лит. *laikas*, лтш. *laiks* является не только основным, но и наиболее старым по сравнению с иными реально засвидетельствованными значениями, которые *развились позже на базе основного*, что доказывается типологически сходным семантическим развитием других индоевропейских обозначений времени<sup>16</sup> совершенно иного происхождения, ср.:

лит. *1 laikas* '2. время (мера длительности)', то же у англ. *time*

лит. *1 laikas* '3. период времени, эпоха', то же у англ. *time*, нем. *Zeit*

лит. *1 laikas* '4. возраст человека', то же у др.-греч. *χρόνος*, англ. *time*

лит. *1 laikas* '5. срок', то же у нем. *Zeit*

лит. *1 laikas* '6. пора', то же у др.-греч. *χρόνος*, англ. *time*

<sup>15</sup> Это образование, почти синонимичное лит. *nelaikšis*, было известно уже Э. Френкелю, см. [Fraenkel 1962: 332].

<sup>16</sup> В целях экономии места ниже не приводятся источники сведений о цитируемых словах и выражениях литературных европейских языков: многие из них очевидны; остальные легко проверить по различным толковым или даже двуязычным словарям. Русские диалектные слова и их значения цитируются по изданию [СРНГ].



- лит. 1 *laikas* '7. ранняя пора', ср.: нем. *zeitig* '(adj.) ранний; (adv.) рано'
- лит. 1 *laikas* '8. свободное от работы время, досуг', то же у русск. *время*, в.-луж. *čas*, англ. *time*
- лит. 1 *laikas* '9. грам. время', то же у др.-греч. *χρόνος*, лат. *tempus* и т. д.
- лит. 1 *laikas* '10. эвф. несчастье, бедствие; черт', ср.: лат. *tempus* '(одно из переносных значений) тяжелые обстоятельства, бедственное положение, опасность'
- лит. 1 *laikas* '11. кончина, смерть', ср.: нем. *Ihre Zeit ist gekommen* 'ей пришло время умирать, ее час пробил', польск. *przyszła [na kogo] godzina* 'то же'<sup>17</sup>
- лит. мн. *laikai* 'менструация', то же у русск. диал. *время*
- лтш. *laiks* 'погода', ср.: лат. *tempus* 'время; (очень редко) погода', болг. *време* 'время; погода', нов.-греч. *καιρός* 'время; погода'
- лтш. мн. *laiki* 'праздник', ср.: нем. *Hochzeit* 'праздник, торжество; свадьба', слав. \**godъ* 'время; праздник'
- лит. *laikais* 'иногда', лтш. *laikiet* 'то же', ср.: русск. *временами* 'иногда', русск. диал. *времем* 'то же'
- лтш. *laikā* 'внору, как раз', то же у русск. *впору*
- лтш. *laikam* 'навсрное, должно быть, по-видимому'; диал. 'обычно', ср.: русск. диал. *порá* '6. (вводное слово) вероятно, может быть'
- лтш. *laikus* 'своевременно; заблаговременно, заранее; вовремя', ср.: нем. *zeitig* '(adj.) заблаговременный; своевременный; (adv.) заблаговременно; вовремя'
- лит. *nelaikas* '1. неподходящее время; 2. черт', лтш. *nelaiks* 'неподходящее время; непогода', ср.: русск. диал. *нэвремя* 'трудная пора, тяжелые обстоятельства, неблагоприятный период, безвременье', *невремище* '1. (в знач. сказ.) не пришла пора; не теперь; 2. неприятность', а также слав. \**negodъ* и \**negoda* 'неблагоприятное время; плохая погода, гроза; неприятность, неудача, беда, несчастье; больной человек; неурожай'
- лтш. *nelaiki* 'однажды, когда-то, некогда, прежде', ср. слав. \**nekъgъda* 'однажды, когда-то, некогда; иногда, когда-нибудь; давно; никогда'

Следует специально уточнить, какое именно исконное значение имело вост.-балт. \**laikas* 'время', поскольку его первоначальная семантическая соотнесенность с глагольной основой \**leika* 'оставляет; остается' может быть двойкой: а) 'остающееся (свободное от работы) время, досуг' (предположение Я. Отрембского) [Otrębski 1965: 31; Smoczyński 2007: 333]; б) 'остающееся (еще не прожитое, т. е. будущее, предстоя-

<sup>17</sup> Об этом эвфемизме см. [Wojtyła-Świerzowska 1994: 19].

щее) время' (мнение Я. Эндзеллина). Этот вопрос принципиален: у лит. *laikas* реально зафиксировано лишь значение 'досуг', но не 'будущее', поэтому принятие точки зрения Я. Отрембского равносильно признанию простого увеличения количества значений у данного слова, тогда как согласие с Я. Эндзелином означает постулирование определенного семантического перехода, т. е. смены значений.

Есть два способа решения данного вопроса: сравнительно-исторический и типологический. Первый способен выявить первичное значение путем сравнения с родственными индоевропейскими образованиями, тогда как второй помогает идентифицировать вторичные значения, которые могут возникать у этимологически неродственных образований на базе основной семантики 'время'.

Сравнение показывает, что семантика 'свободное от работы время, досуг' довольно регулярно развивается на базе основного 'время' у существительных разного происхождения и, следовательно, различной исходной (этимологической) внутренней формы (см. приведенные выше данные). Напротив, значение 'будущее, предстоящее время' не фиксируется в качестве переносного при основном значении 'время', но зато именно оно представлено у др.-греч. *λοιπός* 'будущее; потомство', этимологически родственном лит. *laikas*. Это значит, что прав Я. Эндзеллин: в истории вост.-балт. \**laikas* следует предполагать семантический переход '\*будущее, предстоящее время' → 'время вообще'.

Семантическая дифференциация лит. *laikas* и литовского славизма *čėsas* 'время', зафиксированная П. Скарджюсом [Skardžius 1996: 578], несомненно, является вторичным явлением, спровоцированным самим фактом заимствования синонимичного слова из славянского.

В результате приходится констатировать, что восточнобалтийское название времени восходит своими корнями к позднему индоевропейскому состоянию и, вопреки А. Сабалюскасу, не относится к лексике, характерной лишь для балтийских языков. Прделанная этим названием формальная и семантическая эволюция (субстантивация исходного прилагательного и развитие значения '\*будущее, предстоящее время' > 'время вообще') в целом незначительна и завершилась еще до выделения самостоятельных балтийских языков.

Архаичность вост.-балт. \**laikas* и наличие этимологических соответствий в древнегреческом и праславянском порождает вопрос о причинах отсутствия общепалтийского названия времени. Можно предположить, что некогда аналогичное образование имелось также и в древнепрусском — тем более что в последнем соответствующее словообразовательное гнездо довольно развито, ср. др.-прус. *polinka* 'остаётся', *polijeki* 'одаривает', *polaikti* 'оставаться', *laikūt* 'исполнять; совершить;



(режс) держать; соблюдать' и, возможно, *likuts* 'малый'<sup>18</sup>. Действительно, невозможно себе представить, что лексема, хорошо засвидетельствованная, с одной стороны, в восточнобалтийских языках, а с другой стороны — в праславянском (который, согласно наиболее аргументированной гипотезе, формировался на основе периферийных юго-западных протобалтийских диалектов) исконно отсутствовала бы в древнепрусском, являющемся историческим продолжением тех южнобалтийских диалектов, которые не были втянуты в орбиту вновь возникшего праславянского языка. Отсутствие письменной фиксации *\*laikas* в древнепрусском следует объяснять не исключительно восточнобалтийским его распространением, а тем, что в западнобалтийском данное образование продолжало функционировать (по крайней мере еще некоторое время) на периферии лексической системы языка (т. е. так же, как функционировало древнегреческое прилагательное *λοιπός* и его субстантивированные формы) и именно потому не было зафиксировано в многочисленных древнепрусских письменных памятниках.

При всей своей архаичности вост.-балт. *\*laikas* не является исходным восточнобалтийским обозначением времени, а заменило собой иное, еще более древнее (общевалтийское) образование. Действительно, если указанное название было когда-то прилагательным, то следует определить, к какому именно существительному оно прилагалось. Древнегреческое выражение *ὁ λοιπὸς χρόνος* (после субстантивизации: *ὁ λοιπὸς τοῦ χρόνου*) показывает, что это искомое существительное и было древнейшим общевалтийским обозначением времени.

На общевалтийский статус могут претендовать лишь названия времени, реально засвидетельствованные в древнепрусском. При этом следует сразу отклонить др.-прус. *kisman*, которое, по определению В. Н. Топорова, означало не столько время как таковое, сколько отдельный временной момент, и практически не имеет архаичных восточнобалтийских соответствий (приводятся лишь лтш. *kasme* 'несчастный случай' и лит. *kasmena* 'нечто выкопанное, выкапываемое', являющееся неологизмом) [Топоров 1984: 33–37]<sup>19</sup>. Для др.-прус. *kērdan* (вин. пад. ед. ч.) 'время', напротив, можно уверенно предполагать общевалтийское распространение в прошлом: по данным В. Н. Топорова, это образование, обладающее солидной индоевропейской базой и подходящей временной семантикой, было заимствовано во многие прибалтийско-финские языки, послужило (в ином своем значении — 'стадо') производящей

<sup>18</sup> См. интерпретацию последнего слова [Топоров 1990: 248–251]; ср. иное объяснение [Mažiulis 1996: 60–62].

<sup>19</sup> Ср. [Mažiulis 1993: 200–204].

основой для лит. *(s)keĩdžius* 'старший пастух' и оставило некоторые следы своего существования в латышском.

Постепенное ослабление рефлексов общевалтийской именной основы *\*kerd-* при продвижении с юга на север по исторической балтийской территории позволяет предполагать, что новое название времени *\*laikas* первоначально возникло на севере восточнобалтийского диалектного континуума. При этом нет оснований считать, что последнее образование вытесняло собой первое, поскольку в восточнобалтийских языках именная основа *\*kerd-* исчезала не только в темпоральном, но и в иных (предметных) значениях, в частности 'стадо'. Причинно-следственные отношения могут быть лишь обратными: субстантивированное вост.-балт. *\*laikas* в значении 'время' распространялось именно вследствие утраты исконной основы *\*kerd-*, обладавшей тем же значением.

Причины утраты в восточнобалтийском именной основы *\*kerd-* остаются неясными, однако можно считать, что именно уход из языка данного обозначения времени вызвал потребность в новом наименовании, которая и стимулировала расширение значения вост.-балт. *\*laikas* 'будущее, предстоящее время' → 'время вообще'. В результате этого семантического изменения указанное образование перешло из периферии лексической системы в ее центр, что контрастировало с западнобалтийским языковым состоянием, сохранявшим, по всей видимости, первоначальный *status quo*.

Указанное семантическое изменение имело и иные последствия: расширив свое значение, вост.-балт. *\*laikas* утратило сему 'остаток', бывшую до тех пор основной в структуре темпорального значения данного слова, что в свою очередь стимулировало распад единого образования *\*laikas* 'остаток; будущее' на два омонима (ср. лит. 1 *laikas* 'время' и 2 *laikas* 'остаток').

В заключение приведем текст этимологической статьи, обобщающей результаты проведенного исследования.

Лит. 1 *laikas* (вар.: *laikà*) 'время', лтш. *laiks* 'время; погода' первоначально обозначали '\*будущее, предстоящее время' и вместе с лит. 2 *laikas* 'остаток' представляют собой субстантивированные формы незасвидетельствованного в чистом виде, но сохранившегося в ряде приставочных образований общевалтийского прилагательного *\*laikas*, *-ā*, *-a*, образованного (бессуффиксальным способом, но с использованием корневого чередования гласных) еще в поздний праиндоевропейский период от презентной основы (*\*leika*) глагола со значением 'остаться; оставить' (лит. *likti, liẽka*, лтш. *likt, lieku*) и аналогичного др.-греч. *λοιπός* 'оставшийся, остающийся, остальной; предстоящий, будущий' (: *λείπω*, 'оставлять; *med.-pass.* оставаться' ← и.-е. *\*leikʷ-*). Балтийское прилага-

тельное, обладавшее основным значением 'оставшийся, остающийся, остальной', приобретало временную семантику ('предстоящий, будущий') в сочетании с существительным \*kerd-, которое в своем темпоральном значении являлось исконным общеславянским обозначением времени (сохраняется в др.-прус. *kērdan* 'время'). Субстантивация балт. \*laikas, -ā, -a сопровождалась метатонией и происходила независимо от конкретного контекста, и потому ей были подвержены различные родовые формы прилагательного (подобные субстантивированные формы представлены также др.-греч. λοιπός 'будущее; потомство', λοιπόν 'остаток' и слав. \*lěkal/lěky I 'игральная кость; счет', \*lěkal/lěky II 'лекарство; малое количество'). Вследствие утраты в восточнобалтийском ареале существительного \*kerd- в качестве нового обозначения времени здесь стали употребляться субстантивированные формы прилагательного \*laikas, -ā, расширившие свое темпоральное значение '\*будущее, предстоящее время' → 'время вообще'. Позже в балтийском и славянском от той же производящей глагольной основы аналогичным образом, но уже без корневого чередования гласных, было образовано новое прилагательное, лишенное темпорального значения (сохраняется в лит. 3 *liėkas*, -ā 'нечетный; лишний'), которое впоследствии также субстантивировалось (лит. 1 *liėkas* 'остаток', *liėkà* 'остаток; нечетное число'; слав. \*likъ II 'счет, число, количество; игра в кости'). Еще более инновационны родственные суффиксальные образования: славянское прилагательное \*lixъ(jь) 'остаточный, лишний; нечетный; плохой' (из \*lik-хъ ← и.-е. \*leik<sup>h</sup>-so-), родовые формы которого субстантивировались в \*lixъ, \*lixà, \*lixo, а также древнегреческое существительное λείφανον 'остаток; (мн.) останки' (< и.-е. \*leik<sup>h</sup>-s-n-).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дини 2002 — П. У. Дини. Балтийские языки. М., 2002.  
 СРНГ — Словарь русских народных говоров / Ред. Ф. П. Филин. Вып. 1—11. Л., 1970.  
 Темчин 1986 — С. Ю. Темчин. Славянские глаголы на -nati и основы с -n- и -sta- балтийских языков // Baltistica. № 22 (2). 1986.  
 Топоров 1980 — В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. I. К. М., 1980.  
 Топоров 1984 — В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. К-Л. М., 1984.  
 Топоров 1990 — В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. Л. М., 1990.  
 ЭСБМ 1 — Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Рэд. В. У. Мартынаў. Т. 1. Мінск, 1978.  
 ЭССЯ 14 — Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / Отв. ред. О. Н. Трубачев. Вып. 14. М., 1987.  
 ЭССЯ 15 — Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / Отв. ред. О. Н. Трубачев. Вып. 15. М., 1988.

- Boryś 1987 — W. Boryś. Stare czakawskie odlek 'potomstwo, potomek, spadkobierca' // Sławistyczne studia językoznawcze: Księga ku czci prof. Franciszka Sławskiego / Red. M. Basaj et al. Wrocław etc., 1987.  
 Buck 1949 — C. D. Buck. A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages: A Contribution to the History of Ideas. Chicago, 1949.  
 Būga 1959 — K. Būga. Rinktiniai raštai. T. 2. Vilnius, 1959.  
 Fraenkel 1962 — E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Heidelberg: Göttingen, 1962.  
 Frisk 1973 — H. Frisk. Griechisches etymologisches Wörterbuch, zweite, unveränderte Auflage. Bd. 2. Heidelberg, 1973.  
 Karulis 1992 — K. Karulis. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. S. 1: A. O. Rīga, 1992.  
 LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. T. 1–20. Vilnius, 1956–2002.  
 Mažiulis 1993 — V. Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. T. 2: 1. K. Vilnius, 1993.  
 Mažiulis 1996 — V. Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. T. 3: L-P. Vilnius, 1996.  
 Mülenbachs 1923–1932 — K. Mülenbachs. Latviešu valodas vārdnīca / Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Sēj. 1–4. Rīgā, 1923–1932.  
 Otrębski 1965 — J. Otrębski. Gramatyka języka litewskiego. T. 2: Nauka o budowie wyrazów. Warszawa, 1965.  
 Pokorny 1959 — J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Bern: München, 1959.  
 Sabaliauskas 1990 — A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos leksika. Vilnius, 1990.  
 Skardžius 1935 — P. Skardžius. Analoginė balsių kaita // Archivus Philologicum. Kn. 5. Kaunas, 1935.  
 Skardžius 1996 — P. Skardžius. Rinktiniai raštai. T. 1: Lietuvių kalbos žodžių daryba. Fotografuotinis leidinys. Vilnius, 1996.  
 Smoczyński 1987 — W. Smoczyński. Porównania słowiańsko-litewskie a rekonstrukcje bałto-słowiańskie // Sławistyczne studia językoznawcze: Księga ku czci prof. Fr. Sławskiego. Wrocław etc., 1987 (= W. Smoczyński. Studia bałto-słowiańskie. Cz. 2. Kraków, 2003).  
 Smoczyński 1989 — W. Smoczyński. Studia bałto-słowiańskie. Cz. 1. Wrocław etc., 1989.  
 Smoczyński 2007 — W. Smoczyński. Słownik etymologiczny języka litewskiego. Wilno, 2007.  
 Temčinas 1995 — S. Temčinas. Typological parallelism of \*u-stem adjective transformation in Lithuanian and Slavic // Analecta Indoeuropaea Cracoviensia: Ioannis Safarewicz memoriae dicata / Ed. W. Smoczyński. Kraków, 1995.  
 Trautmann 1923 — R. Trautmann. Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923.  
 Wojtyła-Świerzowska 1994 — M. Wojtyła-Świerzowska. O niektórych nazwach czasu w językach słowiańskich // Rocznik Sławistyczny. T. 49. Cz. 1. 1994.

Д. КИСЕЛЮНАЙТЕ

## Исследование языка курсениеков Куршской косы: язык информантки Эрики Кальвис

Язык курсениеков считается исчезающим балтийским диалектом, сформировавшимся в XV–XVIII вв., когда жители Курши переселились на косу и смешались с жившими на полуострове и в его окрестностях литовцами, немцами и, возможно, потомками древних куршей и пруссов. По причине интенсивных языковых контактов, особого социального статуса этого диалекта и исторических обстоятельств он постоянно менялся. В конце войны и в шестидесятых годах прошлого столетия, когда курсениеки оставили родные места, этот язык перестал функционировать. Из-за возможных архаичных реликтов западно-балтийских языков и ценной социолингвистической информации язык курсениеков достоин всестороннего изучения.

### Введение

Язык курсениеков Куршской косы по причине неопределенности терминологии и социолингвистического статуса попал в список «экзотических» объектов. Журналисты и вообще любопытные часто спрашивают меня, правда ли, что еще остались живые курши, что я знаю их язык и знакома с говорящими на нем людьми. На этот вопрос приходится отвечать вопросом: кого мы считаем к у р ш а м и ?

К у р ш а м и называют себя старые жители Куршской косы и их потомки, говорящие по-латышски жители окрестностей Швентойи, и их потомки, жители Курземе, часть жителей клайпедского края, наконец, жители Северной Жемайтии. Всю эту большую группу объединяют исторические корни их предков, т. е. они знают, что хотя бы один из их родителей родом из мест, в которых когда-то жили курши. Часть из них свою принадлежность к куршам могут проследить и по фамилиям: *Dargis, Spruogis, Pinkis, Purvin(a)s* и др.

Лингвисты употребляют понятия к у р ш и к у р ш с к и й я з ы к в более узком значении: так называется исчезнувшее (утратившее свой язык) племя балтов и его реконструируемый язык. Диалект курсениеков Куршской косы считается диалектом л а т ы ш с к о г о языка по признакам, которые относятся к диалектам Курземе XIX–XX вв. и отличают его от древнего куршского языка, реликты которого фиксируются в западных литовских и латышских диалектах и в топо-

нимах этих мест. Одним из ярчайших дифференциальных признаков считается судьба дифтонгов с *n*. Принято считать, что в древнем куршском языке они сохранились без изменений (ср. топонимы *Palanga, Alsunga, Gandinga* и др.), а их превращение в дифтонги, состоящие из гласных, или в долгие гласные считается исчезновением куршских отличительных черт, в языковом аспекте — ассимиляцией со стороны латышского. Таким образом, по тому, что курсениеки Куршской косы произносят *ruoka* ‘рука’, *miksts* ‘мягкий’, *pieci* ‘пять’, судят, что их язык называть куршским с научной точки зрения некорректно, но при желании указать на их региональную принадлежность и общность с другими диалектами Курземе используются термины к у р с е н и е к и и я з ы к к у р с е н и е к о в. Упомянутое изменение дифтонгов, без сомнения, показывает, что массовое переселение жителей из Курземе началось уже в последний период существования древнего куршского языка и куршей как единой этнической общности. Переселенцы принесли с собой такие заимствованные, хорошо известные латышам слова, как *baznīca* ‘костел’, *krusts* ‘крест’, *krustibas* ‘крестины’, *kruogs* ‘корчма’ и другие понятия, обозначающие средневековые нововведения, которые не являются признаками ни древнего куршского языка, ни литовского, ни более поздней германизации диалектов Клайпедского края.

Иначе жителей Куршской косы называли бы и с т о р и к и. Исторические документы показывают, а факты развития языка подтверждают постоянное и интенсивное перемешивание жителей Куршской косы. Наряду с уже упоминавшимися переселенцами из Курши, в различные периоды на косе селились сембы, скальвы, литовцы, немцы, есть основания предполагать, что здесь оставили следы и скандинавы. Поэтому такие этнические понятия следует употреблять осторожно, заранее оговорив критерии и временной период. Ведь историки, говоря о жителях Куршской косы, имеют все основания отрицать и понятия л а т ы ш с к и й я з ы к, и л а т ы ш, учитывая, что исторические источники начинают их употреблять довольно поздно и сами курсениеки их в отношении себя не используют, а Латвию и ее жителей называют по-немецки (*Lette, Lettland*).

Также иначе эти понятия должны употреблять э т н о г р а ф ы. Для них понятие «куршский» чаще всего означает «Курземский» (в отличие от жемайтов), поскольку объектом их исследования чаще всего являются признаки региональной этнической культуры XVIII–XX вв., традиции со всеми трансформациями, произошедшими в течение столетий. Скажем, куршская усадьба, покрывало или украшение могут иметь не только черты культуры древних куршей, но и свойственные этому региону инновации, появившиеся вследствие различных культурных изме-

нений, происходивших в этом регионе, в традициях заметны явления, распространившиеся путем различных культурных контактов, признаки поздней адаптации. Следовательно, этнографу использовать понятие «курш», говоря о культуре Куршской косы, было бы еще сложнее, поскольку сохранившиеся здесь элементы материальной и духовной культуры имеют больше сходств с живущими по ту сторону залива литовцами, чем с сохранившимися курземскими реликтами, не говоря уж об очевидном германском слое, который здесь несколько иной, чем в Курземе.

Являясь подданными Прусского государства, позднее Германии, наконец, Литвы, курсениеки оторвались от своих соплеменников в Курземе и переняли особенности упомянутых этнических культур и языков.

История исследований диалекта курсениеков началась с А. Бецценбергера [Bezzenberger 1887; 1888] и продолжается до наших дней [Plāķis 1927; Endzelīns 1931/1979; Schmid 1989–1995; Graudiņa 2004]. Наиболее полно этот диалект описал Ю. Плакис в большой статье, в которую входят разделы о фонетике и грамматике, словарь, несколько текстов. Книги курсениека Р. Пича [Kwauka, Pietsch 1987; Pietsch 1982; 1991] не являются академическими работами, однако они ценны как материал, которым нужно уметь пользоваться. Работы В. Шмида [Schmid 1989–1995] написаны по другому принципу — это лингвистические комментарии к транскрибированным текстам (тексты записал и расшифровал латыш И. Берновскис), комментариями лингвиста удобно пользоваться читая тексты, однако это не системное описание диалекта. Получается вроде бы и немало, но можно сделать и больше.

Исследовать диалект курсениеков стоит не только для того, чтобы дополнить синхронные диалектологические исследования, но еще важнее это делать на благо истории латышского языка, особенно его западных диалектов. Сильно не вдаваясь в детали, можно сказать, что в большинстве случаев последовательно «расчистив» его литовский и немецкий слои, мы могли бы, по крайней мере, отчасти реконструировать облик курземских диалектов до XVIII в. В них можно обнаружить следы хронологически различных этапов развития языка и свидетельства разнообразных языковых контактов: реликты древнего куршского языка, ливские примеси, древнейшие германизмы западно-латышских диалектов, признаки интерференции курземских диалектов. Кроме того, мы можем выявить и некоторые инновации курземских диалектов, которые не испытали в следствие изоляции курсениеки на косе (не только в лексике, например *liels* 'большой', *ļoti* 'очень', *vairs* 'больше', *vajag* 'надо, нужно', *brīvs* 'свободный' и др., но и в грамматике — другие формы наклонений, образование степеней, окончания некоторых паде-

жей, конструкции с глаголом *turēt* 'иметь' и др.). Однако не всегда особенности, отличающиеся от современных западных латышских диалектов, можно считать архаизмами. И не всё можно объяснить двуязычием или трехязычием. Язык, используемый только для потребностей семейной и рыболовецкой коммуникации, замыкался во все более узком круге носителей и менялся по своим внутренним законам, в зависимости от интенсивности его использования, потребности, престижа и многих других обстоятельств. Учитывая неблагоприятные условия, которые сложились для латышского диалекта на Куршской косе в середине XX в., неудивительно, что в некоторых случаях язык информантов одного поколения отличается больше, чем язык отцов и детей.

Здесь предпринимается попытка показать фонетические изменения языка курсениеков со времен Ю. Плакиса (1927) на основе аудиозаписей одной из лучших информанток последнего поколения. Запись была сделана в 1996 г. в Германии, расшифрована в 2003–2004 гг. в Клайпедском университете. Для исследования была использована программа WaveLab.

### Об информантке

Последнее поколение курсениеков — дети рыбаков, родившиеся перед Второй мировой войной, большинство которых эмигрировали с военными беженцами осенью 1944 г., а репатриированные уехали в 1958–1960 гг. Их дети родились на чужбине и не выучили языка родителей. Представители этого поколения выросли на косе, пользуясь одновременно тремя языками, кроме того, те, кто вернулся в советскую Литву, выучили и русский. К последним принадлежит и информантка, давшая материал для этой работы, Эрика Кальвис (Erika Kalwies-Friese), родившаяся в 1934 г. в Ниде.

Эрика Кальвис — уникальная информантка по нескольким причинам: 1) язык курсениеков для нее родной (оба родители на нем говорили дома), 2) она уехала с косы с последними эмигрантами в 1958 г., 3) живя в Германии недалеко от своего брата, постоянно говорила с ним «по-куршски», 4) в детстве на косе выучила немецкий (ходила в немецкую школу), литовский (после войны на косе с литовцами и в литовской школе) и русский (коса некоторое время была пограничной зоной, охраняемой советскими военными), 5) она темпераментна и разговорчива, ее тексты — плавные монологи.

**Происхождение.** Дедушка Эрики со стороны отца Хайнц Кальвис (Heinz Kalwies) родился в Прекуле, так что скорее всего литовец, мать — Фёге (Fөгe) из Пурвине, отец матери Фёге из Ниды, мать матери

Курпейкис (Kurpeikis) из Кинтай (скорее всего литовка). Как мы видим, по крайней мере два поколения говорящих на курсениекском, гесп. латышском, диалекте в своем происхождении и именах не содержат каких-либо курземских следов.

**Многоязычие.** Родной курсениекский язык Эрики Кальвис испытал влияние литовского языка не более, чем язык поколения ее родителей, т. е., за исключением нескольких советских реалий, таких как *pirmininkas* ‘председатель’, большего влияния литовского языка не замечено: все лексические или грамматические литуанизмы встречаются в речи информантов более старшего поколения и зафиксированы Ю. Плакисом. Иногда можно заметить даже большее сопротивление Эрики влиянию литовского языка, чем у тех, кто не знает литовского, например, Р. Пич и многие другие курсеники употребляют местоимение *kāžns* ‘каждый’, которое было заимствовано через литовское посредничество у славян, однако в тексте Эрики оно не встречается, только *katrs: katrnakt, katrnakt mes turijam<sup>1</sup> baimes* ‘каждую ночь, каждую ночь мы боялись’. Влияние немецкого языка на язык Эрики проявляется двояко: это прижившиеся в диалекте лексические германизмы различной давности и синтаксические конструкции (*oma ir dzimusi Kurpeikis* ‘бабушка урожденная Курпейкис’, *kas ir ļuoss* ‘что случилось’), но ей почти не свойственно употребление местоимения *tas, ta* ‘тот, та’ в функции детерминатора, как это заметно в языке других информантов<sup>2</sup>; чаще всего она обращается к немецкому языку, зная, что что-то забыла, или когда для описания какой-то реалии не хватает слов родного языка: *štachadrats, es nezīn ka sacēt* (*štachadrats*, не знаю, как сказать). Интересно, что в языке информантов, которые старше ее на 20 лет, часто намного больше чувствуется влияние немецкого синтаксиса: в тексте Эрики только один раз встретилось немецкое употребление слова *duot*, и то она это сделала, цитируя не «по-куршски», а по-литовски: *Dievo neduoda* букв. ‘Бога не дают’ (хотела процитировать мысль литовской учительницы «Бога нет»). Почти не встречаются свойственные другим информантам (например, Р. Пичу) немецкие синтаксические шаблоны при присоединении придаточных предложений (т. е. сохраняется свободный порядок слов), употребление вспомогательного глагола *turēt*

<sup>1</sup> Суффиксы глаголов во многих случаях имеют краткий гласный, кроме того, редуцируются и долгие окончания, здесь примеры даются в частичной транскрипции.

<sup>2</sup> По существу, надо согласиться с А. Росинасом, который считает такое употребление влиянием немецкого языка [Rosinas 2005: 115, 136–138] — информанты Куршской косы особенно часто используют местоимения *tas, ta* в функции артикля при переводе с немецкого языка или когда с ними разговаривают по-немецки.

‘иметь’ в сложных формах (как, например, *turij atrakstijs* ‘написал (в ответ)’, см. еще [Kiseliūnaitė 1998]). Исследование языка Эрики Кальвис позволяет уточнить более ранние выводы автора этой статьи о германизации последнего поколения курсениеков: многие случаи проявления типично немецкого синтаксиса можно считать почти без исключения влиянием школы. Такие люди, как Эрика, остаются устойчивыми к нему, поскольку в раннем возрасте недолго ходили в немецкую школу, после войны ходили в литовскую, а живя в эмиграции, она разграничила языки и почти не переводит (т. е., говоря «по-куршски», не переводит с немецкого, как это делают многие информанты ее поколения, а конструирует мысль на родном языке). Довольно длинные цитаты не только немецкого, но и литовского текста она передает на языке других действующих лиц рассказа: русских военных, соседей, литовской учительницы и под. По-литовски она говорит с сильным акцентом, но почти без грамматических ошибок, по-русски немного хуже, но видно, что для простейшей коммуникации она этот язык выучила.

### Особенности ударения

Некоторые особенности ударения информантки Эрики Кальвис позволяют уточнить ранее описанные диалектные черты и заметить некоторые признаки интерференции со стороны диалектов Курземе.

- Место ударения чаще всего, как и в современном латышском языке, на первом слоге, попадающиеся исключения в большинстве случаев совпадают с обычными для латышского языка правилами (некоторые наречия, местоимения имеют ударение на втором слоге: *niviens* ‘ни один’, *pusuotra* ‘полтора’, *papriekš* ‘прежде’). При увеличении количества литуанизмов они все меньше адаптируются в диалекте, поэтому в литуанизмах (и в славизмах, полученных посредством литовского языка), а также в личных именах часто ударение не на первом слоге (*pakajings* ‘довольный, спокойный’, *babīte* ‘бабушка’, *Puģelis, Kalvelene*). Более новыми можно было бы считать довольно частые в речи информантки случаи варьирования ударения префиксальных глаголов, особенно с *ne-* и *be-*, как *nizīnu / nizīnu* ‘не знаю’, *nibizīnu* ‘больше не знаю’, *nibivarejam* ‘больше не могли’).

- По существу не изменилась система интонаций: сохраняется описанная Ю. Плакисом двухинтонационная система, в которой вместо нисходящей и прерывистой интонации латышского литературного языка произносится резкая (Ю. Плакис называет ее *grūstā*)<sup>3</sup>, хорошо раз-

<sup>3</sup> В тех случаях, когда слог исторически имеет нисходящую интонацию, которая в диалекте совпала с прерывистой, она обозначается знаком <sup>1</sup>.



личимая между паузами, например *ak, diēs<sup>2</sup>* (лтш. литер. *dievs* ‘бог’). Дифтонги с этой интонацией произносятся с большим нажимом на первом, а не на втором компоненте. От них отличается восходящая интонация (*kāpjošā*), артикуляция которой не всегда четко отличается от длительной (*ġst* ‘есть’). В речи информантки дифференциальные признаки восходящей интонации более четкие, например, *brālis* ‘брат’, *gāju* ‘я шел’. Ее нетрудно различить по звучанию в тех случаях, когда, в отличие от латышского литературного языка, она произносится в словах *duōt, ūdins* (лтш. литер. *duōt* ‘дать’, *ūdens* ‘вода’). Иногда интонация предложения вызывает вариации: например, *nāku* ‘я прихожу’ почти регулярно произносится с восходящей интонацией, но между паузами можно услышать похожую на прерывистую (*viņi nāks* ‘они придут’, *rauguos — nāk* ‘смотрю — иду’, *turij iēt nūost* ‘должны были уходить’). Почти регулярно произносятся интонации безударных слогов в многосложных словах, если слог не сокращен (*niūdrāun* ‘срывает’), восходящая чаще сохраняется (*atsiduōmaties* ‘вспомнить’), но вместо резкой интонации часто слышится прерывистая (*uōžāudzās* ‘взрослый’). В потоке речи встречаются и более частые случаи прерывистой интонации. Если мы не будем считать это архаичной особенностью, то следовало бы предполагать влияние двуязычия. Очень возможно, что влияние литовского языка на произношение интонаций проявляется двояко: во-первых, перенимается от говорящего по-литовски члена семьи, чаще всего от матери, во-вторых, чаще всего интонации колеблются в тех словах, которые являются общими для литовского и латышского языков (*jūra* ‘море’, *varna* ‘ворона’ и под.).

• Произношение дифтонгов *ar/ār, er/ēr*. Это один из важнейших дифференциальных признаков, отличающих куршские диалекты. В латышском литературном языке *ar, er* с длительной интонацией произносятся с удлинением первого компонента (*vārna* ‘ворона’, *bērzs* ‘береза’). По мнению Ю. Плакиса, курсениеки произносят дифтонги этого типа чаще всего с нажимом на втором компоненте (*beŗzs, vaŗna*) [Plāķis 1927: 50, 89]. Оба компонента ударных слогов с исторической нисходящей интонацией курсениеки произносят кратко (*vārds* ‘имя’). Произношение соответствий нисходящей интонации литературного языка в языке Э. Кальвис такое, каким его описал Ю. Плакис: оба компонента дифтонга краткие (*vārds* ‘имя’, *bērni* ‘дети’) и почти регулярные, но встречаются и с резкой интонацией и продлением первого компонента (*bērns<sup>2</sup>* ‘ребенок’, *kas tie vārdi<sup>2</sup> bijis* ‘какие были их имена’). Дифтонги *aŗ, eŗ* с интонацией, соответствующей прерывистой в литературном языке, курсениеки произносят так же, чаще всего без признаков интонации, сокращая оба компонента (*gribij dzēŗt* ‘хотел пить’), но встречаются

ся и с продлением, как это характерно для куршских диалектов латышского языка (*turij dāiģ dā-rba* ‘имел много работы’). Таким образом, с точки зрения произношения этих дифтонгов диалект курсениеков отличается от современных куршских диалектов Курземе, в которых первый компонент продлевается независимо от интонации [Rudzīte 1964: 63, 80]. Однако уже Ю. Плакис заметил, что упомянутые закономерности нерегулярны, хотя произношение некоторых лексем установилось [Plāķis 1927: 15]. В языке Э. Кальвис такие колебания часто встречаются даже в одном и том же слове, например, есть три варианта произношения слова *vārna*: *vā-rna* (с удлинением *a*), с обоими краткими компонентами дифтонга (*tas vis gaj vārns raut* ‘он все шел ворон ловить’) и с прерывистой интонацией *vārna*, похожей на лит. жем. *vārna*. Упомянутую А. Беценбергером земгальскую анаптиксу [Bezenberger 1888: 26–30] в речи Э. Кальвис заметить не удалось, хотя участники экспедиции 1955 г. зафиксировали ее в речи других жителей Ниды [Graudiņa 2004: 173]. В 90-е гг. ее удалось зафиксировать в речи других сверстников Э. Кальвис, например *tur’gs* ‘рынок’ [Mažeikaitē 2007: 19–20].

• Жаль, что В. Шмид [Schmid 1989–1995], опиравшийся на записи, сделанные И. Берновским, не помечал интонации, а записи И. Берновского пока недоступны. Вообще, курсениекское ударение является одним из самых сложных вопросов баллистики и достойно отдельного исследования. Пора проанализировать качественные записи с помощью техники и проследить развитие системы ударений и признаки взаимодействия языков<sup>4</sup>. По-видимому, именно здесь мы можем попытаться найти признаки интерференции более ранних диалектов Курземе.

### Произношение гласных *e* и *ē*

Произношение гласных *e* и *ē* во многих случаях соответствует описанию Ю. Плакиса [Plāķis 1927: 16]: от литературного латышского языка в диалекте курсениеков отличаются формы, находящиеся под давлением системы, такие как 2. *graes. ġ:d* вместо *ēd* и под. Глагольный суффикс *-ēt* произносится с широким *ē* (гласный сокращается до краткого или полудолгого), как в тамническом диалекте. Соответственно регулируется и широта гласного предыдущего слога: *reŗzēt* (*peŗ:das nivar reŗzēt* ‘следов не может видеть’). Префикс *ne-* в глаголах чаще всего произносится как *ni-*. В литуанизмах и в некоторых соответствиях в отдельных лексемах *ē* становится дифтонгом (*kadiel’* ‘почему’, *dieku* ‘благодарю’).

<sup>4</sup> Первые попытки предпринимались в Клайпедском университете [Dvarionaitē 2000].

### Редукция конца слова

Это самая яркая черта фонетики курсениек, вызвавшая распадение системы склонения и нивелиацию форм. Уже Ю. Плакис упоминал о редукции кратких гласных в конце слова, но предложенная им парадигма склонения еще позволяет различать падежные формы. В языке последних курсениек она сильно изменена. Вместо редуцированных конечных гласных чаще всего оказывается одинаковый почти для всех типов склонения слабый *ə* (*deviņ bernəs o:ma turij* 'девять детей бабушка имела'), но довольно часто краткие окончания редуцируются до нулевого гласного (*apsta: dīnāj mūsə nam* 'окружили (солдаты) наш дом'). По существу, без контекста можно узнать только формы именительного, дательного и творительного падежей некоторых типов склонения (*ar rūokams<sup>2</sup>* 'руками'), на форму множественного числа указывает чаще всего сохраняющийся *s* (N. pl. *vārnəs* 'вороны', Ac. pl. *šķīvəs* 'тарелки'). Долгие окончания и сократившиеся до полудолгих сохраняют локативы (*kukna:* 'на кухне', *mā:jas* 'дома'), которые употребляются вперемешку с предложными конструкциями с *is*. Особенно путаются падежные формы, если они идут после числительных (*turijam tri:s veči lāuži mā:jas* 'у нас было три старых человека в доме'). Окончания глаголов также сокращаются, однако признаки, отличающие парадигму спряжения, еще сохраняются: долгие окончания часто редуцируются не до краткого, а до полудолгого гласного (*bāimes turija:m* 'боялись', *nuōka:va:m* 'зарезали (о животном)').

В следующей таблице заметно значительное прогрессирование редукции окончаний в диалекте курсениек.

Таблица 1

#### Редукция окончаний диалекта курсениек

Падежи	J. Plāķis. Kursenieku valoda. Rīga, 1927.		Erika Kalvis 1996	
Nom.	ciems	ciemi	tē(v)s	ļauži/ļaužə
Gen.	ciema	ciemu	tēvə, darbə, sən	ļaužə
Dat.	ciemam	ciemams/-ims	tēvam	ļaužəms
Acc.	ciemu	ciemus	nam(ə)	bērn(ə)s
Instr.	ar ciemu	ar ciemis	ar tēv(ə)	ar vīr(ə)s
Lok.	ciemā/is ciema	is ciemu	is nam/namā, is mež	is cieməs

### Вставка гласных

В современном диалекте курсениек перед редуцированными окончаниями регулярно вставляются гласные. Во времена Ю. Плакиса эта особенность была почти незаметной, а в речи современных курсениек она очень четкая. При редуцировании окончаний именных частей речи в конце возникает трудно произносимое сочетание согласных, в которое вставляются гласные между взрывным и сонорным (*TR*) и между щелевыми и сонорными (*SR*) (*trek'n* 'жирный', *krā:s'n* 'печь'). Гласные вставляются и тогда, когда в падежных формах редуцируются окончания (*is krā:s'n* 'в печи'). Это явление, по мнению автора, следует отнести к типологическим, т. е. оно фонологически может появиться в различных регионах, не связанных между собой генетически (шире см. [Kiseliūnaitė 2005]).

Таблица 2

#### Вставка гласных

позиция	лтш. литер.	диалект курсениек
-kls	<i>tīkls</i>	<i>tīk'ls</i>
-kns	<i>trekns</i>	<i>trek'ns</i>
-sn(s), sn <sup>o</sup>	<i>krāsns</i>	<i>krās'n &lt; krāsne</i>

### Консонантизм

В языке информантки Э. Кальвис проявляются почти все описанные Ю. Плакисом особенности консонантизма [Plāķis 1927: 17–19]:

- *l* средней мягкости перед гласными (*l'ūogs* 'окно', *l'aiks* 'время, погода', *l'eds* 'лед');
- выпадение полугласных *v*, *n* после дифтонгов и долгих гласных (*cil(v)g:ks* 'человек', *cir(v)is* 'топор', *tē:(v)s* 'отец', *pil(n)a* 'полная', *vɣl(n)s* 'черт', *die(v)s* 'бог');
- выпадение *j* в конечных слогах глаголов (*gā:jə/gā:* 'шел', *turi- < turija* 'имел');
- *tj* и *dj* редко, но чаще всего в устоявшихся формах произносятся как *č*, *dž* (*brāuču<sup>2</sup>* 'еду', *nā:ču* 'прихожу') (см. еще [Graudiņa 2004: 176]);
- *mačs* и *maģa* 'маленький, -ая', лтш. *mazs*, -a, лит. *maž-as*, -a.

Следует добавить, что в языке Э. Кальвис почти все согласные палатализируются перед гласными переднего ряда, как и в литовском языке: *vīrv'e* 'веревка', *b'ij* 'был', *z'irgs* 'конь', *d'ikti* 'очень'. Кроме того,

нередко слышны и аспирированные взрывные: *tʰuram* 'имеем', *kʰailis* 'персть', хотя в языке информантки эта особенность проявляется не так регулярно, как у других ее сверстников. Скорее всего это зависит от сопротивления информанта влиянию немецкого языка.

\* \* \*

Здесь описаны далеко не все фонетические особенности диалекта курсеников, а только те, которые стоит сравнивать с уже описанными ранее, чтобы отметить не только стабильность системы, но и ее изменчивость. Пока ярче всего проявляются две тесно связанные между собой тенденции: вызванная фонетической системой нивеляция морфологических форм в парадигмах склонения (несколько меньше в парадигмах спряжения) и влияние фонетики немецкого и литовского языка, проявляющееся в условиях постоянного двуязычия. Делая выводы о ливских диалектах Курземе, в которых редукция окончаний вызвала «лавину» морфологических изменений. А. Росинас, хотя и не опирается на материал Куршской косы, предлагает искать ответ не столько в генетических связях или языковых контактах, сколько во внутреннем развитии диалекта [Rosinas 2005: 270]. Однако и в этом случае мы не можем быть категоричными — возможно, как раз разрушение грамматики, определенная неуверенность при подборе форм, подсознательный «перевод», влияние немецкой грамматики (например, увеличение предложных конструкций, более строгий порядок слов) могли вызвать ослабление функций окончаний. Гласные окончаний в таком случае становятся балластом.

Третий признак — нестабильность интонационной системы. Как уже было отмечено, детальный анализ интонационной системы с использованием современных средств и методик стал бы едва ли не самой интересной и ценной частью исследования диалекта курсеников.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Bezenberger 1887 — A. Bezenberger. Die Kurische Nehrung und ihre Bewohner. Leipzig, 1887.  
 Bezenberger 1888 — A. Bezenberger. Über die Sprache der preußischen Letten. Göttingen, 1888.  
 Dvarionaitė 2000 — N. Dvarionaitė. Kuršininkų tarmės priegaidės (Magistro darbas. Rankraštis). Klaipėda, 2000.  
 Endzelīns 1931/1979 — J. Endzelīns. Par kurseniekiem un viņu valodu. 1931 // Darbu izlase III (1). Rīga, 1979.  
 Graudiņa 2004 — M. Graudiņa. Dažas Kuršu kāpu iedzīvotāju valodas īpatnības // Linguistica lettica. T. 13. Rīga, 2004.

- Kiseliūnaitė 1998 — D. Kiseliūnaitė. Kai kurie kuršininkų tarmės veiksmažodžių bruožai nuo A. Bezenbergerio laikų iki šių dienų // Baltistica. V priedas. Vilnius, 1998.  
 Kiseliūnaitė 2005 — D. Kiseliūnaitė. Balsių įterpimas Vakarų Lietuvos lietuvių ir latvių (kuršininkų) tarmėse // Baltai ir jų giminaičiai. Tiltai. Priedas: mokslo darbai. № 26. Klaipėda, 2005.  
 Kwauka, Pietsch 1987 — P. Kwauka, R. Pietsch. Kurisches Wörterbuch. Lüneburg, 1987.  
 Mažeikaitė 2007 — D. Mažeikaitė. Kuršių nerijos tarmė: 1984 m. ekspedicijos medžiagos lingvistinė analizė. (Baigiamasis bakalauro darbas, Rankraštis). Klaipėda, 2007.  
 Pietsch 1982 — R. Pietsch. Fischerleben auf der Kurischen Nehrung. Berlin, 1982.  
 Pietsch 1991 — R. Pietsch. Deutsch-kurisches Wörterbuch. Lüneburg, 1991.  
 Plāķis 1927 — J. Plāķis. Kursenieku valoda. Rīga, 1927.  
 Rosinas 2005 — A. Rosinas. Latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistema. Sinchronija ir diachronija. Vilnius, 2005.  
 Rudzīte 1964 — M. Rudzīte. Latviešu dialektoloģija. Rīga, 1964.  
 Schmid 1989–1995 — W. P. Schmid. Nehrungskurisch. Sprachhistorische und instrumental-phonetische Studien zu einem aussterbenden Dialekt / Hrsg. von Wolfgang P. Schmid. I. Stuttgart, 1989; II. Stuttgart, 1995.

Перевод с литовского языка М. В. Завьяловой

Ю. И. СМЕРНОВ

## Перебрасывание единственного топора

В Институте славяноведения, к которому много позже добавили балканистику, интереснее и значимее заседаний были разговоры в коридорах. Так однажды мне случилось разговаривать с В. Н. Топоровым. Наши коридорные встречи были редкими, но продолжительными. Каюсь, я всегда первым начинал разговор, предлагая некую тему. Когда тема исчерпывалась, предлагалась другая, третья. Тематика непременно затрагивала содержание каких-то работ Владимира Николаевича, что, естественно, и побуждало его откликаться на мои вопросы и размышления вслух. Каждый раз тематика разговоров была достаточно обширной. Владимир Николаевич видел серьезные, мягко говоря, различия в наших взглядах на предмет исследования и сам не единожды четко определял суть наших различий, что отнюдь не мешало ему снова и снова вступать в беседу со мной. Он никогда не пытался, так сказать, обратиться ко мне в мою веру и, по-видимому, вовсе не испытывал потребности в этом, — я же, со своей стороны, тем более не помышлял о чем-либо подобном. Очень скоро и непроизвольно получилось так, что для нас обоих было важно спокойно и трезво сопоставить какие-то факты и суждения, посмотреть, как они работают на перспективу исследования или на глубину минувшего времени. Увы, я не записывал содержание наших бесед. Владимир Николаевич уже не может подтвердить или, напротив, опровергнуть мою передачу его высказываний, и это удерживает меня перелагать его суждения из опасения хотя бы на чуточку что-либо изменить в них. Позволю себе только утверждать, что Владимир Николаевич неизменно как-то дополнял или развивал высказанное им в уже опубликованных работах, что не могло не привлекать.

Следствием одной из наших бесед явилось предложение Владимира Николаевича дать в «Балто-славянские исследования» какую-нибудь работу. Выбор был. Перебирая свои архивы, я колебался до тех пор, пока меня не осенила мысль связать тему работы с фамилией Владимира Николаевича и, стало быть, скрытно посвятить работу именно этому собеседнику. Так возникла статья о первооткрывателях [Смирнов 1998]. Года два спустя после выхода статьи, во время новой и, как и раньше, неожиданной встречи Владимир Николаевич вдруг вспомнил о моей статье и укорил за то, что там не учтено калужское сообщение, связывающее предание с таинственной голядью. В ответ я сказал, что знаю об этом сообщении, но не включил его в свою статью из-за сомнений в

подлинности. На это Владимир Николаевич заметил, что вот и следовало бы высказать публично свои сомнения. И тут он довольно горячо произнес несколько фраз о том, как важно определить местоположение голяди по каким-то достоверным фактам, — я сразу почувствовал совпадение: точно так же страстно я сам искал фольклорные следы чуди белоглазого. Тогда Владимир Николаевич прямо пожелал, чтобы я поведал миру о калужском сообщении. Исполнить пожелание Владимира Николаевича не удавалось. Писать об одном сомнительном сообщении не хотелось. Его нужно было бы оттенить новыми и вызывающими доверие записями, а они почти не шли в руки. Их почти не прибавилось и теперь, спустя несколько лет после памятного разговора с Владимиром Николаевичем. Я и теперь продолжал бы ожидать новых поступлений, когда бы не возник повод почтить память доброго человека и великого труженика науки, каким был Владимир Николаевич. Исполнение его давнего пожелания уже следует принимать за долг.

Итак, обратимся к калужскому сообщению [Кашкаров 1901: 13]<sup>1</sup>. Член-учредитель местного историко-археологического общества В. М. Кашкаров в начале XX века поместил статью с намерением доказать, будто в народе еще сохранилась память о племени голядь, упоминание о котором очень редко встречается в письменных источниках. Впрочем, Кашкаров, похоже, не обращался к самим летописям, а следовал за историком<sup>2</sup>. Выдавая свою ученую начитанность, автор уверенно написал название текста «О голяди», при том, что он не удосужился узнать, бытовал ли этноним *голядь* в среде простонародья, как это было характерно в отношении этнонима *чудь*. Сам текст Кашкарова гласит: «В Мещовском уезде в углу, образуемом впадением реки Угры в Оку, память о голяди (древнее название, одно из литовских племён) живёт до сих пор. Так, возле деревни Мещовского уезда Чёртовой указывают гору, на которой по преданию в очень стародавние времена жил разбойник Голяга, по другим Голяда. Обладал этот разбойник силою непомерною, на тридцать вёрст бросал свой топор. Возле селения того же уезда Свинуховой и Сабельниковой указывали мне две горы — Улитову и Мордасову. По преданию, на этих горах также жили два разбойника, два брата Голяги, и на тридцать вёрст перекидывали друг другу топор».

Совершенно очевидно, что этот текст слепок из разного материала и, значит, сочинен самим Кашкаровым. Текст начинается с утвер-

<sup>1</sup> Без контекста Кашкарова и без каких-либо комментариев текст воспроизведён в недавнем издании: [ФКГ: 110].

<sup>2</sup> См. о голяди: [Соловьев 1959: 119-120, 368, 448].

ждения о том, что близ впадения Угры в Оку по деревням сохранилась память о голяди, именно о голяди, надо думать, как о народе. Тут очень важной опорой могли бы быть сведения о времени заселения и об устойчивости населения названных Кашкаровым деревень. Этих сведений он, конечно же, не даст. Между тем сомнительно, чтобы эти деревни были ранними по времени заселения. Достаточно вспомнить стояние хана Ахмата на Угре в 1480 г. Пожалуй, еще более страшным для этих мест было правление Годунова и Смутное время. Эти события не могли не приводить к смене населения. Если выяснится, что названные Кашкаровым деревни — поздние по времени заселения, то утверждения о бытовании там этнонима *голядь* отпадут как беспочвенные. Вместо сведений о населении Кашкаров привел в доказательство элементы преданий, по-видимому, действительно им слышанных, причем из элементов ему доказательнее всего видятся имена персонажей, созвучные с этнонимом *голядь*.

Этот этноним — возможно, славянская / русская форма самоназвания народа — балтийского происхождения, как уже давно полагали языковеды и в их числе В. Н. Топоров, отмечавший сохранение этнонима на современной территории Москвы и Подмосковья в виде названий речушек и даже деревень, типа Голядь / Голяди и Голядинка / Голедянка [Топоров 1962: 270]<sup>3</sup>. Использование иных этнонимов в качестве названий каких-то мест (ср. Малые Корелы под Архангельском, Галич Мерьский по письменным источникам, Чудское озеро и т. п.) было достаточно распространенным приемом именованья, и в этом отношении названия типа Голядь лишь подтверждают обычность или, если угодно, традиционность такого приема.

Иначе выглядит судьба этнонимов в фольклорных текстах, прежде всего в преданиях. Много ниже Калуги по Оке жил народ мурома — его название в подлинных русских преданиях не замечено. К северу от Москвы обширные земли занимал народ меря — от него сохранилось разве что устойчивое словосочетание «сивый мерин» (ср. угрин, гречин, мордвин, чудин и пр.), который почему-то не ржёт, а лжёт. От Обонежья до Печоры обитали небольшие этнические сообщества, родственные нынешним саамам, карелам, вепсам, зырянам и пермякам, — надо думать, что они обладали какими-то самоназваниями, однако ни одно из них не уцелело, все они были вытеснены этнонимом *чудь*, принесенным славянами / русскими со Псковщины и Новгородчины. Зная об исчезновении самоназваний славянских / русских предшественников,

<sup>3</sup> В несколько сжатом виде эта работа была воспроизведена десять лет спустя в Литве: [Топоров 1972] — см. там об этом с. 217.

можно только удивляться тому, что всего лишь в нескольких километрах юго-западнее Калуги вдруг сохранился этноним *голядь*, пусть и в качестве измененного имени фольклорного персонажа, — это побуждает подозревать Кашкарова в очень сильном желании приписать фольклорной памяти сохранение названия народа, давно растворившегося в славянской / русской среде.

В русском фольклоре, главным образом в преданиях и в эпических песнях, хорошо просматривается стремление довольствоваться очень ограниченным составом этнонимов, с помощью которых обозначаются этнические предшественники, соседи и враги. С XIII в. и на протяжении нескольких столетий русские центральных областей расселения постоянно и остро ощущали себя зажатыми между литвой и татарами, как они сами называли ближайших соседей и этнических противников. Вплоть до последнего времени в русском фольклоре определенно сохранялось предпочтение к унификации соседей и противников, что сопровождалось вытеснением из фольклорной памяти какого-либо множества этнонимов. Само положение становящегося Московского государства на протяжении нескольких столетий обуславливало фольклорное превращение литвы и татар в нарицательных соседей и врагов, извечно существовавших и остающихся таковыми до скончания века.

В западных областях таким нарицательным соседом и противником народная традиция считала, естественно, литву — это было замечено и В. Н. Топоровым на основании, правда, очень немногих источников [Топоров 1962: 271; 1972: 217]. С течением времени и через несколько поколений у русских жителей этих мест вполне могло развиться желание видеть в литве и предшествующих обитателей, как это сделали выходцы из Псковщины и Новгородчины, принявшись называть чужью одно за другим этнические сообщества, жившие от Обонежья до Печоры. Анахроничное перенесение этнонима *литва*, произведенное русскими крестьянами близ Воротынского и Калуги, было вполне естественным по сравнению с удивительной устойчивостью летописного этнонима *голядь*, о которой читателям поведал калужанин Кашкаров.

Форму *Голяда*, если она действительно звучала близ Калуги, можно также объяснить озвончением начального звука в слове *коляда*. Такое явление наблюдалось далеко к северу в бассейне р. Кокшеньги (ныне Тотемский р-н Вологодской обл.). В разных деревнях, даже удаленных друг от друга, люди пропевали начальный стих винограда (обходной рождественской песни, превращенной там в свадебную песню или даже в причёт):



*Ишчо ходит голеда (!)*

*Да по святым вецёрам...*

[Балашов, Марченко, Калмыкова 1985: 260–261, 262, 263, 265].

Продолжая петь тот же текст, кокшары далее преспокойно произносили «коледа / коляда». Чуткие уши музыковедов уловили колебания в произнесении начального звука, и это их восприятие нельзя считать недостоверным. Те же колебания в произнесении слова *коляда* могли быть слышимы и под Калугой, а желание слушателя открыть *голядь* при этом усиливало нужное звучание. Кроме Кашкарова, форму *Голяда* в качестве имени героя предания никто не находил, а единственный факт, сколь искусительно он бы ни выглядел, нельзя считать доказательным.

Опираясь на изложенные здесь соображения, следует отвести мысль о связи с этнонимом *голядь* имени *Голяда* в сообщении Кашкарова.

В формах *Голяда* и *Голега* у Кашкарова, разумеется, не проставлены ударения. Вот отсутствие ударения и не позволяет раскрыть происхождение этих форм. Ниточки могут потянуться в разные стороны в зависимости от того, с каким ударением произносилась, например, форма *Голега* (ср., кстати, и — Калуга). Но в любом из направлений в истолковании этого слова, полагаем, связь с этнонимом *голядь* не просматривается.

Судя по грубо извлеченным кусочкам с упоминанием имен, Кашкаров, наверное, слышал предания, и притом с каким-то раскрытием сюжета. В одном случае он сумел лишь заметить, что разбойник — без всякой на то причины — бросил свой топор за тридцать верст. В этой детали можно усмотреть разве что намек на вероятное бытование эволюционной производной от того предания, какое Кашкаров услышал в других деревнях, предания о двух братьях, тоже за тридцать верст и беспричинно перебрасывавших друг другу топор, — здесь нетрудно увидеть переключку калужского предания со смоленскими [Смирнов 1998: 361–362] и рязанскими [Там же: 360–361] версиями.

На протяжении XX в. калужские края посещали многие собиратели. Здесь много лет подряд проводили фольклорную практику студентов филологического факультета МГУ. Осознанного поиска этого предания, конечно же, не проводилось, а случайные фиксации, судя по отсутствию сведений в печати, видимо, не происходили. Небрежная фиксация Кашкарова все еще нуждается в подтверждении на калужской почве. Предание, наверное, было хорошо известно старожилкам-калужанам. Его поиск, возможно, и теперь привел бы к успеху. Пока же его подтверждают записи, сделанные за пределами Калужской земли.

В отличие от фольклористов, этим преданием однажды заинтересовались московские археологи в связи с названием места и местоположением его фиксации. Имеется в виду Валдиево, в прошлом небольшой куст деревень, некогда входивший в состав Каргопольского уезда. Для современной ориентировки достаточно сказать, что это место находится примерно в одном дневном переходе к востоку от Коноши, нынешнего районного центра и крупной железнодорожной станции.

Большинство северно-русских названий мест и водоемов произносится с ударением на первый слог, что несомненно относится к числу субстратных языковых проявлений. Название Валдиево, наверное, не принадлежит к исключениям. Характер корня определенно говорит о происхождении из языка «чуди белоглазой», а это значит, что первоначально тут была именно *чудь*. Стоящее на озере Валдиево позволяло контролировать волок между водными путями из бассейна р. Онеги в бассейн р. Ваги, с последующим выходом на Северную Двину. Поскольку реки и озера были главными, а часто и единственными путями сообщения в северных лесах, можно уверенно полагать, что *чудь* пользовалась водными путями между Онегой и Вагой и что — по меньшей мере в какой-то степени — ее примеру следовали и русские люди.

Заинтересовавшись Валдиевским волоковым путем, археологи также обратили внимание на созвучие названий Валдиево и Волдутов погост в новгородской уставной грамоте 1137 г. В самом деле, если признавать замену оканья аканьем, оба названия можно было бы отождествить, хотя сходство или даже тождество названий отнюдь не означает, что и места с этими названиями — одни и те же.

Наряду с этим, археологам стало доступно валдиевское предание о двух братьях, перебрасывавших единственный топор [Там же: 353–354].

Вооруженные такого рода первичными знаниями о Валдиеве, археологи отправились туда в 1990 г. Там они обнаружили, что древние захоронения совершенно разрушены и уничтожены карьером. Они нашли керамику лишь XVI–XVII вв., что, как представляется, можно принять за признак по меньшей мере частичной смены населения, о чем археологи отчего-то не упомянули. Им рассказывали предание о двух братьях, перебрасывавших топор, но признание его записи отсутствует. Вместо признания звучит лишь свидетельство о бытовании предания, сопровождаемое итогами археологических поисков его подтверждения: «...[предание о братьях, перебрасывавших топор] и сегодня сохранилось в памяти местных жителей старшего поколения. Однако в тех урочищах, где, согласно преданиям, жили братья, не удалось выявить никаких следов средневековых памятников, как и в урочище Городище, название которого [жители] связывают с огораживанием участков луга

для выпаса скота. Никаких преданий о волоке в районе Валдиевского озера не зафиксировано» [Макаров 1997: 97].

Предпринятая археологами проверка достоверности валдиевского предания безусловно заслуживает одобрения. Каким бы ни был предмет исследования прошлого и какой бы ни была сугубая цель изучения, одним из важных результатов — не всегда явным, чаще подспудным — оказывается выяснение того, сколь адекватны представления местных жителей о прошлом, в частности, о своих предках или об этнических предшественниках. В Валдиеве археологи обнаружили, что предания и иные свидетельства местных жителей не подтверждаются поисками и раскопками. С точки зрения фольклориста это означает, что сюжеты преданий были принесены, что свое правдоподобие они приобрели благодаря прикреплению к местности, путем включения в текст каких-то собственных имен и иных местных деталей. Прикрепляясь к местности, предание осовременивалось, наливалось кровью и обрастало плотью местного бытия. И чем насыщеннее это происходило, тем крепче предание сохранялось в памяти и тем продолжительнее становилось его бытование. Сюжеты преданий о самопогребении чуди<sup>4</sup> и о первожителях с единственным топором были, конечно же, принесены в Валдиево и, вероятнее всего, в головах отнюдь не первых русских поселенцев, ибо те просто не могли опираться на такие предания и обосновывать с их помощью свое право на поселение.

Моя статья о первожителях уже вышла в составе очень долго лежавшего сборника, мне еще не довелось узнать о поездке археологов в Валдиево, когда архангельская фольклористка Н. В. Дранникова вручила мне свой скромный сборничек, в котором я с радостным удивлением тотчас обнаружил текст с нареченным названием «Основание деревни Валдеево»: «Деревню Валдеево бывшего Каргопольского уезда основали два брата Исаак и Конура. Был у них всего один топор, и когда они рубили лес для дома, то перебрасывали топор с одного берега на другой. Как-то Конура бросил топор и уронил его в реку. Рассердился Исаак и все камни со своего берега перебросил к Конуре. С тех пор берег, где был Конура, каменистый, а место называют Конурёво. А место, где был Исаак, — без камней, и называют его Исачка» [Дранникова 1998: 29]<sup>5</sup>.

Довольно быстро к радости восприятия стала примешиваться горечь сожаления: так не рассказывают, так пишут! Текст был явно услы-

<sup>4</sup> О валдиевском варианте на фоне других текстов: [Смирнов 2002: 59].

<sup>5</sup> Записала Н. В. Дранникова в 1994 г. от Е. Е. Козенковой 1921 г. рожд. в д. Валдеево Коношского р-на Архангельской обл.

шан, как-то, не в точности был записан, а затем начисто переписан для последующей публикации. Тональность рассказа, непременно сбивчивого, сменилась тональностью письменного изложения, с завершёнными словесными оборотами, о чем свидетельствует уже первая фраза текста. Досадно также, что собирательница удовлетворилась фиксацией всего одного рассказа.

Н. В. Дранникова не знала о публикации 1892 г. и о моей статье о первожителях<sup>6</sup>, да и сам ее текст ничем не выдает их влияния. Она упорно произносила название деревни как Валдеево, уверяя, что так произносят и сами жители, — в этом обнаруживается дальнейшее обрусения названия. По сравнению с публикацией 1892 г. ее текст не связан с преданием о самопогребении чуди. В нем нет даже упоминания о чуди, а его персонажи определенно считаются этнически своими, т. е. русскими.

В публикации 1892 г. по именам названы целых четыре первожителя: Коныря; два брата Залазных, Тарай и Залаза; Назаря, — по меньшей мере первые три имени похожи на русифицированные формы каких-то нерусских, вероятно «чудских», имен или прозвищ. В тексте же 1994 г. очевидно превращение Коныри в Конуру, а вместо Назари и братьев Залазных фигурирует один Исаак.

В публикации 1892 г. Коныря никак не связан с другими персонажами, он представлен всего лишь как человек, живший «на противоположном берегу озера», вдали от Назари и братьев Залазных, обладавших единственным топором, — по сути, Коныря оказывается избыточным персонажем, если только о нем не существовало еще какого-то сюжета, все же связывавшего Коныря с другими персонажами, но почему-то не услышанного или опущенного публикатором. В тексте же 1994 г. Конура показан одним из двух обладателей топора, в связи с чем, по-видимому, и местом действия оказываются берега реки, где затем возникают целые деревни, будто бы нареченные по именам персонажей предания.

В публикации 1892 г. обладатели перебрасываются топором «по мере надобности», без раскрытия каких-либо подробностей. В тексте 1994 г. топор нужен обладателям для строительства жилищ, а сам мотив перебрасывания служит завязкой рассказа, отсутствующего в публикации 1892 г. Рассказ выстроен вполне последовательно: Конура нечаянно утопил топор, что разгневало Исаака и побудило его швырять камни в сторону Конуры, чем и объясняется каменистость одного речного бере-

<sup>6</sup> Разбор валдиевского предания в публикации 1892 г.: [Смирнов 1998: 353-354].

га и отсутствие камней на другом берегу. Собирательнице следовало бы самой дополнить рассказ подробностями, позволяющими его прояснить. Для тех, кто прочтет ее текст, остается неизвестным, сколь далеки друг от друга деревни Конурёво и Исачка, сколь широка неназванная река, сколь велики камни на ее берегу и т. п. Все эти подробности, разумеется, были известны местным жителям, включая рассказчицу, которая, естественно, держала их в уме и зрительно представляла себе события предания именно в таких подробностях. Носители традиций очень часто зрительно представляют себе фольклорные события, поэтому важно выявить, действительно ли они видят эти события.

По сравнению с публикацией 1892 г. текст 1994 г. содержит иную, развернутую версию. Отсутствие вариантов исключает возможность решить, бытовали ли обе версии одновременно, более века назад, и продолжают ли они свое бытование поныне среди местных жителей. Вместе с тем, в тексте 1994 г. имеются незначительные на первый взгляд детали, которыми он перекликается с формами, замеченными довольно далеко от Валдиева. Нечаянное утопление топора порою встречалось в литовских вариантах [Смирнов 1998: 370]. Перебрасывание камней или забрасывание ими противника широко бытовало и в виде отдельных преданий о великанах — их находили среди славян, балтов, скандинавов. Такого рода перекличка, похоже, указывает на совместное бытование разных преданий, благодаря чему отдельные элементы и мотивы могли переноситься из одного предания в другое. Отсутствие каких-либо иных записей в Валдиеве исключает твердую определенность решения.

Еще одно место бытования текста о перебрасывании топора открылось, как всегда, случайно. Его обнаружила Т. М. Судник в книге рассказов Ф. Абрамова и — за что я ей глубоко благодарен — сообщила мне об искомом тексте:

#### Авагор и Шавагор

Мелкий пошёл народишко. Морошка. Война подкосила людей-то. Голд-то этот затяжной. После войны ребят в армию надо брать — слёзы: не вытягивают ростом. Специально на откормку ставили.

А какие раньше-то богатыри на Пинеге жили. Слышал про Авагора-то да Шавагора? Два брата были. Один на Авой горе жил — километра два повыше Верколы. Там и доселе борозды от полей видать. А другой — у Шавой [горы] — ниже деревни два километра.

И вот Авагор всё к брату на лодке ездил в бане мыться. Раз шестом толкнётся — лодка на сто метров вперёд летит. А то опять хватится который — топора под рукой нету:

— Брат, кинь-ко мне топорик!

И кидали. С горы на гору кидали. За четыре версты. Вот какие на нашей земле люди-то в старину жили [Абрамов 1993: 33–34].

Писатели обычно скрывают источники, которыми они пользуются. Они легко переносят фольклорные тексты и, вкладывая их в уста своих персонажей, убеждают читателей в том, что эти тексты бытовали и там, где их не записывали, и, больше того, их не могли и знать в какой-либо определенной среде. Однако в данном случае, наверное, можно довериться Ф. Абрамову и принять вторую часть его текста, с фразы «Два брата были», за воспроизведение того предания, какое он слышал в родной Верколе, деревне на верхней Пинеге. Поскольку писатель — местный уроженец, эту часть его текста или даже весь текст можно признать и как самозапись<sup>7</sup>.

Правобережье Пинеге, по преимуществу в среднем течении, состоит из почти непрерывной череды горушек и гор, что отразилось и в названиях ряда деревень: Айнова Гора, Карпова Гора, Марьина Гора, Шотова Гора и др. В этой связи здесь вполне естественным было бы прикрепление предания о перебрасывании топора во многих деревнях. Однако только Ф. Абрамову случилось услышать это предание. В его тексте примечательнее всего образование имен братьев-богатырей от названий гор. Примером для подражания здесь, возможно, послужило имя билинного Святогора, которое образовано с помощью такого же приема. Применяв этот прием, жители Верколы прикрепили к себе это предание и обеспечили ему бытование на местной почве.

Текст Абрамова, разумеется, нуждается в подтверждении. Уверенности в фиксации независимых от этого текста записей, правда, не существует, ибо и на Пинеге книгу Абрамова, наверное, держат и читают. В последние годы мне случилось побывать в нескольких деревнях на средней Пинеге — благодаря усилиям Н. В. Дранниковой, за что я ей искренне признателен. Последний раз я был на Пинеге в 2004 г. Одной из деревень оказалось Кеврола, чье название впервые упоминается в новгородской уставной грамоте 1137 г. Кеврола находится от Верколы недалеко, несколько ниже по течению Пинеге. В ней я спрашивал, в частности, и об этом предании, но не услышал признаний в том, что это предание известно. Опрос нескольких человек в нынешней Кевроле, насчитывающей до 300 дворов, конечно, нельзя считать решительным

<sup>7</sup> В цикле коротких рассказов Ф. Абрамова «Трава-мурава» публикуемому здесь тексту «Авагор и Шавагор» предшествует (несколькими строками выше) миниатюра «Сколько на Пинеге сказок», которая начинается словами: «Еще до войны, студентом, записывал я сказки на своем Пинежье...» (Примеч. ред.).

доказательством за или против бытования текста. Поиск подтверждения тексту Абрамова нужно продолжать.

Если веркольцы произвели имена обладателей единственного топора от названия местных гор, то кое-кто из тотемцев опознать таковых предпочел в названиях деревень. В конце XIX в. жители деревень на р. Вожбал, что несколько западнее Тотьмы, уверяли краеведа В. Т. Попова в том, что родина прославленного сибирского героя Ермака Тимофеевича находится еще чуть западнее, на соседней речке: там будто бы его отец Тимофей основал починок Тимошкино, а позже сам Ермак основал неподалеку, в двух верстах, слободку, названную затем Ермаковой деревней. Поведав об этом в 1898 г. в губернской газете, В. Т. Попов небрежно добавил: «...отец и сын имели один топор и в случае надобности передавали его один другому» [Кузнецов 2005: 109].

На современной карте Вологодской области отмечено существование по меньшей мере полутора десятка деревень с названиями типа Тимошинская / Тимошкинская и десятка деревень с названиями типа Ермаково / Ермаковская — надо думать, раньше таких деревень было еще больше. Все они находятся за пределами Тотемского района и располагаются отнюдь не парами по соседству, как это случилось западнее р. Вожбал. Близость деревень Тимошкино и Ермаково, очевидно, надумила кого-то из местных жителей открыть для себя родину сибирского героя, сложить небольшой текст о том, как поселялись отец и сын, и для вящей убедительности подчеркнуть их могучую силу, для чего и понадобился мотив передачи единственного топора, уместно перенесенный из какого-то иного предания о первожителях. Краевед Попов не придал значения этому мотиву. Он не удосужился вызнать какие-либо подробности, превращающие мотив в целый сюжет. Подобно прочим любителям, он не сделал настоящей записи текста и не помышлял о необходимости нескольких фиксаций (вариантов) от разных рассказчиков. Его фиксация передачи топора первожителями друг другу остается единственной в пределах Вологодчины.

До последнего времени распространение предания обрисовывалось двумя широтными полосами. На Русском Севере его бытование в разных эволюционных формах отмечено точечными фиксациями от Обонежья до Перми и Вятки. Такими же точечными фиксациями предание замечалось в средней полосе России, от Смоленщины до Нижегородчины, притом чаще в местах к югу от Москвы. Видя эту картину распространения, нетрудно было бы заключить, что на Русский Север предание было занесено из средней полосы. При этом исключением показала бы только фиксация в районе Себежа, ныне Псковской обл., на пограничье с северной Белоруссией [Смирнов 1998: 362–363], но и ее

при желании можно было бы объяснить влиянием, идущим из средней полосы.

Нечаянным опровержением такого объяснения служит запись предания в 1990 г., сделанная музыковедами в деревне к северу от Пскова. В этом тексте имеется привязка к урочищу, носящему название Богатыри:

Папа говорил, что Богатыри — могила богатырей. Если идти по дороге, не по этой, через Ерѣхново, а другой. Так налево — там и правда, как человек, — возвышенность — как грудь будто, ноги... Такая могила, но форма как бы такая, знаешь, видно. И такие были богатыри, что топором (вог там лес такой) бросались, десять километров примерно — через лес бросались, топоры друг другу передавали. Такие большие богатыри были. Ну вот это я ня знаю — правда или неправда. В это не уверяю. А то, что Исус Христос по земле ходил, и был дом проваливши — это правда. А про богатырей — может не богатыри были. Такие большие, что через лес топора передавали. В каждой сказке есть часть правды [НТКПО: 397]<sup>8</sup>.

Из представленных здесь фиксаций предания о перебрасывании топора эта — единственная подлинная запись. В ней сначала говорится о местности, к которой привязано предание, без чего оно не смогло бы бытовать, а далее трижды, и притом каждый раз иначе, рассказчица старалась донести до слушателей суть мотива: богатыри «топором... бросались»; «топоры друг другу предавали»; «через лес топора предавали». Видимо, только в последний раз рассказчица вспомнила, что топор-то был единственным.

Что касается ее первого выражения «топором... бросались», то оно идет от вопроса-подсказки собирателей, знавших только слышанный накануне и более сбивчивый рассказ шофера попутной машины (сведения о нем не записаны). Это шофер — очевидно, сквозь фильтры своей просвещенности — воспринял предание о передаче или перебрасывании топора как бой непримиримых противников и на разные лады повторял:

<sup>8</sup> Записали 3 февраля 1990 г. А. М. и А. А. Мехнецовы, отец и сын, от П. И. Васильевой 1923 г. рожд. в д. Заборовка Псковского р-на и обл. Деревня находится примерно в одном дневном переходе к северу от Пскова, немного правее дороги, идущей на Ям. Упомянутая в начале текста д. Ерѣхново, напротив, находится несколько левее дороги на Ям, почти на одной широте с Заборовкой и близ восточного побережья Псковского озера. Музыковеды не последовательно выделили аканье и другие признаки речи рассказчицы, за исключением формы «ня знаю», совпадающие с нормами литературного произношения. При воспроизведении этого и следующего текстов эти мнимые отличия тут сняты.

<...> Да, говорят, что князья дрались с богатырями. Они дрались ещё в топорный век (!) — топорам(и) кидались. Топорам(и) кидались друг на друга (!). Вот наступали друг на друга и топорам(и) кидали. Вот эта легенда идёт! <...> А ведь это когда — каменный век! Ещё топоры. Или какой там век-то был? Топоры, топорам(и)-то дрались — никак топоры-то были уже железные [Там же]<sup>9</sup>.

Вслед за шофером собиратели поняли мотив как бой топорами и в силу этого на другой день задали свой вопрос рассказчице. Та, как и другие носители во время опроса, сначала повторила выражение из вопроса-подсказки, а затем стала поправляться и говорить о простой передаче топора через лес, явно великанами, чего собиратели определенно не поняли. Они, надо думать, желали открыть текст о героическом бое топорами и тому подобным оружием, а им рассказывали о нелепой передаче топора через лес. И музыковеды, судя по отсутствию иных записей, отказались от дальнейших поисков предания. А между тем там должны были рассказывать не только предание о передаче топора.

Шофер иначе и, видимо, точнее передал рассказ об урочище Богатыри: «Вот сделали картофелехранилище. И когда раскапывали, так вот выкапывали — там черепа, так они как будто бы, — Бог его знает, какого богатыря. В два раза больше современной головы! Такие черепа большие! <...> А это находили в Ерѣхнове, туда — за Елизарово, километров пять» [Там же]. Совершенно очевидно, что это уже другой сюжет, а где два сюжета, там можно было бы услышать еще несколько сюжетов, ибо местные жители не могли не иметь представлений о богатырях и объяснений своему нечаянному открытию неких огромных черепов. Музыковеды ничего не сообщают о посещении ближайших к урочищу деревень и о расспросах тамошних жителей. Этого, наверное, не произошло.

А ведь собиратели действительно сделали открытие, правда, совсем не то, какое им хотелось. Ныне, когда традиционная народная культура стремительно уходит в небытие вместе с последними ее носителями, очень редко можно открыть неизвестное ранее место бытования какого-нибудь традиционного и старинного по происхождению текста. Значение записи музыковедов возрастает с учетом того, что она — первая, быть может пока что первая, фиксация предания о топоре среди потомков псковских кривичей. Заметив, что район Себежа и деревни севернее Пскова представляют собой крайние точки фиксации предания, между которыми предание еще не находили, вправе предполагать, что оно широко бытовало среди псковских кривичей, в частности в бассейне

р. Великой. Это предположение в свою очередь позволяет думать, что на север европейской части нашей страны предание уносили не только из средней полосы, но и со Псковщины. К таким заключениям приводит нечаянная запись музыковедов.

В представлении о том, что богатыри через лес передавали топор друг другу, отразилась местная версия ранней эволюционной формы, которую знали литовцы и славяне, жители мест, настолько удаленных друг от друга, что о заимствовании говорить не приходится. Именование же участников действия богатырями, напротив, — в эволюционном отношении позднее, скорее всего много позднее. Здесь уместнее было бы звучание термина «осилки»<sup>10</sup>, употребленного в изложении себежского предания о перебрасывании топора. Персонажей могли бы назвать и великанами, как это делали в ряде мест литовцы и славяне. Нечаянное открытие крупных костей и черепов на месте желанного хранилища картофеля несомненно убеждало жителей в былом существовании именно великанов, которых они уже принялись именовать богатырями.

Подобно многим другим, мотив / сюжет о первожителях с единственным топором находили по случаю и фиксировали небрежно. В отличие от литовцев, среди славян его обнаруживали чаще в виде мотива в составе некоего сюжета, призванного дополнять или усиливать свойства персонажей. Самыми ранними эволюционными формами выглядят рассказы, где в роли первожителей выступают великаны, передающие друг другу единственный топор через лес / гору, с горы на гору или через реку / озеро, — эти формы чаще замечали среди литовцев, что по крайней мере отчасти можно объяснить отсутствием целенаправленного поиска таких форм среди славян.

Независимые друг от друга литовские и славянские формы дают основание утверждать, что мотив / сюжет о великанах с единственным топором бытовал еще в пределах балто-славянской общности, до расщепления на балтов и славян или, если угодно, до кристаллизации балтов и славян. Пока что он остается очень редким примером былой балто-славянской фольклорной общности. Он принадлежал к кругу представлений о предшественниках обычных людей и, наверное, выступал в разных повествовательных формах. Этим предшественников людей и в те времена, разумеется, никто не видел воочию, что и позволяло наделять их огромными размерами и чудовищной силой: воображение без труда делало зримыми великанов и решительно связывало с ними подходящие природные объекты.

<sup>9</sup> Здесь и далее тоже сняты аканье и другие мнимые признаки говора.

<sup>10</sup> О русских осилках: [Смирнов 1997].



Стоило лишь усомниться в непомерной величине этих предшественников обычных людей, как начинали изменяться и детали мотива/сюжета. За великанами принимались оставлять нечеловеческую силу, но уже меньшую, нежели ранее, и вместе с тем им позволяли уже не передавать, а всего лишь перебрасывать топор на расстояние, какое был способен вообразить рассказчик: именно такими существами их обнаруживали в русской среде. Позже, когда по сравнению с обычными людьми требовалось преувеличить достоинства эпических героев или, напротив, изобразить их страхолюдными (ср. Святогора и поганое Идолице), им могли присвоить какие-нибудь качества, традиционные в описаниях великанов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абрамов 1993 — Ф. Абрамов. Трава-мурава. Были-небыли. СПб., 1993.  
 Балашов, Марченко, Калмыкова 1985 — Д. М. Балашов, Ю. И. Марченко, Н. И. Калмыкова. Русская свадьба. М., 1985.  
 Дранникова 1998 — Н. В. Дранникова. Фольклор Архангельского края. Архангельск, 1998.  
 Капкарлов 1901 — В. М. Капкарлов. К вопросу о древнем населении Калужской губ. // Калужская старина. Т. 1, кн. 2. Калуга, 1901.  
 Кузнецов 2005 — А. В. Кузнецов. Легенды, предания и были Тотемского уезда. Вологда, 2005.  
 Макаров 1997 — Н. А. Макаров. Колонизация северных окраин Древней Руси в XI–XIII вв. М., 1997.  
 НТКПО — Народная традиционная культура Псковской области. Обзор этнографических материалов научных фондов Фольклорно-этнографического центра / Автор проекта, сост., науч. ред. А. М. Мехнецов; Отв. ред. Г. В. Лобкова и Е. А. Валевская. В 2 т. Т. 1. СПб.; Псков, 2002.  
 Смирнов 1997 — Ю. И. Смирнов. Индигирский осилок и его эволюционные родичи // Славянская культура. Традиция и современность. Чита, 1997.  
 Смирнов 1998 — Ю. И. Смирнов. Первожители с единственным топором // Балто-славянские исследования 1997. М., 1998.  
 Смирнов 2002 — Ю. И. Смирнов. Самопогребение чуди // Народная культура Русского Севера. Архангельск, 2002.  
 Соловьев 1959 — С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. I. Т. 1. 2. М., 1959.  
 Топоров 1962 — В. Н. Топоров. «Baltica» Подмосковья // Балто-славянский сборник. М., 1962.  
 Топоров 1972 — В. Н. Топоров. О балтийском элементе в Подмосковье // Baltistica. 1 priedas. Vilnius, 1972.  
 ФКГ — Фольклор Калужской губернии в записях и публикациях XIX – начала XX вв. Вып. 2. Необрядовая поэзия / Сост. Н. М. Ведерникова // Русская традиционная культура: Альманах. № 3–4. М., 1998.

V. BLAŽEK

## All Indo-European «smiths»\*

The purpose of the present study is to map the terms designating the craft of 'smith' in Indo-European languages, including the divine smiths, to analyze their etymologies and finally to try to classify them according to semantic typology.

## INDO-ARYAN

1. Old Indic *karmāra*- m. 'blacksmith; artisan, mechanic, artificer' is attested already in RV X, 72.2: *brāhmaṇas pātir etā sāmī karmāra ivādhamat | devānām pūrvyē yugē 'sataḥ sād ajāyata* 'These Brahmanaspati produced with blast and smelting, like a smith, existence, in an earlier age of Gods, from Non-existence sprang' (translation [Griffith II: 524]); further in AV III: 5.6; Mn IV: 215 etc. (see [Monier-Williams 1899/1993: 259]). The following continuants are attested: Pali *kammāra*- 'worker in metal', Prakrit *kammāra*- 'blacksmith', Assamese, Oriya *kaṁār*, Bengalese *kāmār* 'blacksmith, caste of non-Aryans, caste of fishermen', Marathi *kaṁār* 'blacksmith', Sinhalese *kamburā*, Maldivian *kaburu* [Turner 1966: ##2898, 14370].

The *vṛddhi* variant, Vedic *kārmārá*- m. 'mechanic, smith' appears in [RV IX: 112.2]:

*jāratibhir ośadhībhiḥ parṇēbhiḥ śakunānām |  
 kārāro āśmabhir dyūbhir hiraṇyavantam ichatīndrāyendo pāri srava*

'The smith with ripe and seasoned plants, with feathers of the birds of air, with stones, and with enkindled flames, seeks him who hath a store of gold. Flow, Indu, flow for Indra's sake' (translation [Griffith II: 409]).

The following etymologies can be proposed:

1.1. The most usual is the comparison with *kārman*- 'work, deed', the derivative of *kr-* 'to do, make' ([Buck 1949: 606; KEWA I: 176; EWAI I: 318; Thieme 1985: 255, fn. 21]: *\*karma-ará*- 'durch [[harte]] Arbeit zusammenfügend / zusammenschweissend').

\* This study originated in discussions with many scholars, beginning of 2003, namely A. Lubotsky, F. Kortlandt, L. Kulikov, V. Chirikba (all Leiden), M. Janda (Munster), K. Stuber (Zurich/Wien), V. Napol'skix (Izevsk) and others. I would like to express my gratitude to all of them. Very important was the mansided help of the Centre for the Interdisciplinary Research of Ancient Languages and Older Stages of Modern Languages (MSM 0021622435).



1.2. Regarding the forms as *kalmalīkī* ‘flaming, burning’ [RV II: 33.8], *kalmalī-* m. ‘splendour, brightness, sparkling’ [AV XV: 2.1], it is attractive to add Young Avestan *kərəma-*, together with *star-* forming the idiom ‘Sternschuppe’: *pairikā.. yā stārō kərəmā patanti antarā zaṃ asmanəmca* ‘die Pairika, .. die als Sternschuppen zwischen Erde und Himmel stürzen’ ([Yt. VIII: 8]; see [Bartholomae 1904: 469]). Outside of Indo-Iranian Bezenberger ([1890: 251]; see [KEWA I: 184]) proposed the comparison with Latin *cremāre* ‘to burn’. But the Avestan example indicates as a more preferable the comparison with Hittite *kalmisana-* & *kalmesna-* c. ‘Meteor, Himmelserscheinung’, cf. also *kalmara-* c. ‘Strahl, Sonnenstrahl’ [Scherer 1953: 24. fn. 1; Tischler 2001: 70]. This semantic motivation has exact parallels in Ossetic Digor *Kurd-Alæ-Wærgon*, derivable from *\*kurta-* *\*ārya-* *\*Varkāna-*, i.e. the ‘Aryan smith Varkāna’ [Абаев 1949: 592–594; Абаев I: 610; IV: 93–94]; cf. also [Meid 1961a: 127–131] and the Roman fire-god *Volcānus*, vs. Old Indic *ulkā* ‘fire falling from heaven, meteor, firebrand’, in [RV IV: 4.2] used about the flames of the fire-god Agni ([Meid 1961a: 131; Eisenhut W., RE, Suppl. XIV, 1974: 949]. Cf. also Old Norse *olgr* & *qlgr* ‘Odin’s name: hawk, ox’, poet. ‘fire’ (*\*wulgaz* << *\*ulko-*); see [de Vries 1962/1977: 418].

1.3. If *-l-* is original (cf. the later *l-* variant *kalman-* ‘bad, wrong work’), the alternative etymology of Burrow ([1960: 286f]; see also [KEWA III: 667]), who reconstructed the starting point *\*karmar-*, connecting it with Lithuanian *kālvīs* ‘smith’, should have been taken in account.

1.4. Another *l-* etymology should be based on comparison with Brythonic *\*kalmiyo-* > Old Welsh *celmed*, Welsh *celfydd* ‘skilful’, *celfyddyd* ‘art’, Old Breton *celmed* gl. ‘efficax’, Middle Breton *caluez* ‘carpenter’, pl. *quiluizien*, Modern Breton *kalvez* id., related to Old Irish *calma* ‘strong, brave, valiant’ [Pedersen I: 168; Fleuriot 1964: 100; LEIA: C-27; DIL: C<sub>1</sub>, 61].

1.5. Tamil *karumā* ‘smith, smelter’ could indicate the Dravidian origin, but the opposite direction of borrowing is also not excluded.

2. Vedic *ṛbhū-* m. ‘artist, one who works in iron, smith, builder (of carriages etc.); name of three semi-divine beings: Ṛbhū, Vāja, Vibhvan’. The corresponding adjective means ‘clever, skilful, inventive, prudent’ [Monier-Williams 1899/1993: 226]. The semi-god together with his colleagues are well characterized in [RV IV: 33.8–9]:

*Rātham yé cakrīḥ suvṛtam nareṣṭhām yé dhenūm viśvajuvam viśvarūpām*  
*tā ā takṣantu Ṛbhāvo ravim naḥ svāvasaḥ svāpasāḥ suhāstāḥ*  
*Āpo hí eṣām ājuṣanta devā abhī krātva mánasa dīdhyānāḥ*  
*Vājo devānā bhavāt sukārmā Indrasya Ṛbhukṣā Vāruṇasya Vibhva*

‘May they who formed the swift car, bearing Heroes, and the Cow omniform and all-impelling, even may the form wealth for us, — the Ṛbhū, dexterous-handed, deft in work and gracious.

So in their work the Gods had satisfaction, pondering it with thought and mental insight.

The God’s expert artificer was Vāja, Indra’s Ṛbhukṣan, Varuṇa’s was Vibhvan’ [Griffith I: 467].

Open remains the etymology of this term & divine name.

2.1. In spite of many critical reactions (see [EWAI I: 259–260]), the old comparison with Germanic *\*albiz* & *\*albaz* ‘elf’ should be taken in account (see [Kuhn 1855: 110; Kuhn 1973: 132]), cf. Old English *elf*, Wessex *\*ielf*, pl. *ylfe* m. ‘dwarf supernatural being’, *ielfen* f., Middle Dutch *elf*, Middle High Germanic *elbe* f. reflect pGermanic *\*albiz*, while Old English *ælf*, Middle English pl. *alven*, Old Saxon., Middle Low German *alf*, Middle High German *alp*, Germanic *Alp* ‘elf, nightmare’ a Old Nordic *alfr* ‘Albe, Elf’, originate from *\*albaz* [Hoed 1986: 144; Holthausen 1963: 10, 186; Kluge, Seebold 1999: 24–25; de Vries 1962/1977: 5–6]. Interesting are some personal or divine names: e.g. Old Nordic *Pórelfr*, i.e. ‘Elf of Thor’, Middle High German *Alberich*, king of dwarfs, who guards the treasure of Nibelungs (> Old French *Auberion* > English *Oberon*). In Gothic there are no elves known. Buth the man’s names acc. \*Ἀλβιν & \*Ἀλβίλας (Procopius of Caesarea, De Bellis I, 20.7 & II, 11.1; 6th cent.) indicate the same origin. The name of the well-known king of Langobards *Alboin* (Ἀλβούινος) and Old English *Ælfwine* represent the compound *\*Alb-winiz*, i.e. ‘friend of elves’ [Schönfeld 1911: 12]. The comparison of Vedic *ṛbhū-* and Germanic *\*albaz* & *\*albiz* is supported by at least an indirect witness that elves were also interested in smithery, namely the titles *vīsi álfa* ‘leader of elves’ (Vḷundarkviða 13, 4; 32, 2 (see [Neckel 1936]) or *álfa lióði* ‘prince of elves’ (ibid. 10, 3), belonging to *Vḷundr*, the mythical smith *par excellence* (see below, § 40). This etymology is in principle in agreement with the traditional derivation of *ṛbhū-* from the verb *rābhate* ‘takes hold of, grasp’, *lābhate* ‘catches, takes’. Cf. also the Baltic parallels: Lithuanian *lōbis* ‘Gut, Besitz, Reichtum’, *lābas* ‘Gut; gut’, Latvian & Prussian *lābs* ‘gut’ [Pokorny 1959: 652]. The old comparison of Latin *labor*, older *lābos*, ‘work’ (so e.g. [Lewis, Short 1896: 1024; Monier-Williams 1899/1993: 226]) should not be *a priori* excluded.

2.2. Comparably beloved is the comparison of *Ṛbhū-* and the Greek mythical singer Ὀρφεύς (accepted e.g. by F. de Saussure, M. Müller and many others). In recent time Estell [1999: 327–333] discusses two aspects connecting both mythological traditions: (i) fathers, who were known or whose names are interpreted as ‘archer’ (Rbhū were called *Saudhanvanāḥ* ‘sons of Sudhanvan’, i.e. ‘he who has a good bow’: the divine father of Ὀρφεύς

was 'Ἀπόλλων, the archer *par excellence*) and 'cudgel-bearer' (Rbhus were called sons of Indra, i.e. the god with a cudgel; Orpheus' father was 'Οἰσάγρος, whose name was interpreted by [Estell 1999: 329] as 'he who bears the cudgel'); (ii) use of the root \**teks-* for both a handicraft and a poetry. Naturally, the singer Orpheus has nothing common with the smithery.

3. Sanskrit *loha-kāra-* m. 'worker in iron, smith, blacksmith' (Rāmāyaṇa, Hitōpadeśa), Pali *lohakāra-* 'copper-smith, iron-smith', Prakrit *lohakāra-* 'blacksmith', Sindhi *luhāru*, Lahnda *lohār*, Panjabi, West Pahari *luhār*, Kumaoni *lwār*, Nepali, Bengali *lohār*, Oriya *lohaḷa*, Bihari. Awadhi *lohār*, Hindi *lohār & luhār*, Gujarati *lavār*, Marathi *lohār*, Sinhalese *lōvaru* 'coppersmith' [Turner 1966: #11159], consisting of *lohā-* adj. 'red, of copper-colour' (Śrauta Sūtra); 'made of a copper' (Śatapatha Brāhmaṇa), m./ntr. 'copper' (Vājasaneyi Saṃhitā), 'iron' (MBh), plus the corresponding component *kāra-* 'making, doing; producer' from the Old Indic verb *kar-* 'to do, make' [Turner 1966: ## 11158–11159, 3053]. The parallel formation appears in Persian *roygar* 'coppersmith, brazier' [Steingass 1892: 598].

4. Sanskrit *cīmara-kāra-* m. 'coppersmith' (Saṃghāṭa-sūtra), continues in Ashkun *čimākāra* 'blacksmith' vs. *čimā*, *čimə* 'iron', Kati *čimě*, Waigali *čümār*, Prasun *zime*, Dameli *čimār(r)*, Pashai *čimār*, Shumashti *čimar*, Wotapuri, Gawar *čimār*, Kalash *čimbar*, Khowar *čumur*, Bashkarik *čimer*, Torwali *čimu*, Maiya *sēwar*, Phalura *čimar*, Shina *čimēr*, Kashmiri *č'mur'* 'iron'. This metal-word represents a specific *Wanderwort*. cf. also Burushaski *čhomār*, *čhumər* and Turkic *timur* 'iron' [Turner 1966: # 14496].

5. Sanskrit *dhamaka-* m. 'blacksmith' (Uṇādi-sūtra II: 35), lit. 'blower', *dhmātar-* m. 'smelter, melter', originally 'blower' [RV V: 9.5], are derivatives of the verb *dhami* ~ *dhmā-* 'to blow, breathe, kindle a fire by blowing; melt or manufacture (metal) by blowing', Kashmiri *damun* 'to blow up a fire' [Turner 1966: # 6731], related to Young Avestan *dāδmainiia-* 'der sich immer wieder Aufblasende' (Videvdat XIV. 5: XVIII, 73; see [Bartholomae 1904: 731–732]), Khotanese *dam-* 'to blow, breathe', Sogdian *δm-* 'to swell', Zoroastrian Pahlavi *damītan*, Persian *damīdan* 'to breathe', Ossetic *dymyn/dumun* 'to blow' [EWAI I: 775; Bailey 1979: 152; Абаев I: 383], further Lithuanian *dūmti* 'to blow'; Old Church Slavonic *дъиѡ* 'I blow' [Pokorny 1959: 247–248; LIV: 153].

6. Maithili *thākur* 'blacksmith' corresponds to Hindi *thākur* 'master, landlord, god, idol', Panjabi *thākar* 'landholder', Oriya *thākura* 'term of address to a Brahman, god, idol'. Marathi *thākur* 'jungle tribe in North Konkan; family priest, god, idol' etc., Prakrit *thakkura-* 'Rajput; chief man

of a village', Sanskrit *thakkura-* m. 'idol, deity, man of rank, chief' (Dhūrta-samāgama) [Turner 1966: #5488]. Turner's idea about original tribal name seems most probable (cf. also [EWAI III: 226]).

7. In Rgved I, 121.12, ṛṣi *Uśanā Kāvya*, son of *Kavi*, fabricated the thunderbolt and gave it to *Indra*:

*tvām Indra nāryo yām āvo nṛṇ tīṣṭhā vātasya suyūjo vāhiṣṭān*  
*yām te Kāvya? Uśāna mandīnam dād vṛtrahānam pāryam tatakṣa vājram*

'Mount Indra, lover of the men thou guardest, the well-yoked horses of the wind, best bearers.

The bolt which Kāvya Uśanā erst gave thee, strong, gladdening Vṛtra-slaying, hath he fashioned' [Griffith I: 176].

In RV I, 81.4 the Indra's thunderbolt is characterized as *āyasa-*, i.e. 'of metal', originally 'of copper/bronze', later 'of iron':

*krātva mahām anuṣvadhām bhimā ā vāvṛdhe śavah*  
*śriyā ṛṣvā upakāyor ni śiprī hāriyan dadhe hāstayor vājram ayasām*

'Mighty through wisdom, as he lists, terrible, he hath waxed in strength.

Lord of Bay Steeds, strong-jawed, sublime, he is joined hands for glory's sake hath grasped his iron thunderbolt' [Griffith I: 112].

From these two passages it is possible to deduce that Kāvya Uśanā was a divine smith.

7a. The form *Uśāna* probably represents the instr. sg. *uśāna* 'with desire or haste, zealously', derived from *vaś-* 'to desire, wish, long for, be fond of, like'. The closest cognate appears in Young Avestan *Usa*, stem *Usan-*, name of one of kings from the *kauui-*dynasty [EWAI I: 234; Bartholomae 1904: 406]:

*tqm yazata auruuō aš.varəcō kauua Usa ərəzifiāt paiti garōit* [Yt.: 5.45: 14.39]  
'Ihr opferte der tapfere tatkräftige Kauui Usan auf dem Berg Ərəzifiia..' [Wolff 1910: 171]  
*aš.varəcā yaua kauua Usa* (Az. 2).

In Gatha & Young Avestan the corresponding appellative is *usan-* n. 'Wille, Wunsch' (cf. [Bartholomae 1904: 405]).

7b. The form *Kāvya-* is the vṛddhi-formation from *kavyā-* 'wise', from the primary noun *kavi-* m. 'seer, prophet, wise man', cf. also *kāvya-* n. 'wisdom, intelligence, prophetic inspiration, high power and art', further Pali, Prakrit *kavi-* 'wise man, poet', Prakrit also *kai-*, Sinhalese *kivi* [Turner 1966: #2964], with exact correspondent in Gatha & Young Avestan *kauui-*, nom. sg. *kauuā* 'Bezeichnung von Fürsten (den Abkömmlingen der Kauuāta-Dynastie

bzw. daēuua-verehrender Fürsten) — see [EWAI I: 328]. Further cf. Sogdian *qwy, kw'y*, pl. *kwyšt* 'giant', Middle Persian & Middle Parthian of Tumshuq *k'w, k'w'n* for γίγαντες, Khotanese *kai* 'heroic; *ārya*-monk', Later Zoroastrian Pahlavi *kai* 'title of king', *kayān*, Persian *kai, kayān(i)*, and dial. *kav* 'hero' [Bailey 1979: 64–65]. Outside of Indo-Iranian there are Lydian *kaveš* 'priest'; Greek *κόης, κοίης* id., acc. *καύειν* 'priest to Artemis and other deities', all from the verb attested in Old Indic *ākúvate* 'intends', Greek *κοίω* 'I notice, hear', Latin *caveō* 'I heed, advise', Old English *hāwian* 'to look', Old Norse *heyja* 'to superwise', Latvian *kavēju*: *kavēt* 'to hesitate', Old Church Slavonic *човѣкъ*: *човѣти* 'fühlen, merken' ([Pokorny 1959: 587–88; Hamp 1961: 21–22] mentions that \**k-* in Indo-Iranian \**kau-* indicates \**-o-*, which is short in agreement with Brugmann's law, i.e. only in the protoform with closed syllable, reconstructible as \**kouHi-*: [Mann 1984–1987: 483; LIV: 561]: \*(*s*)*keuH-*).

8. The most important craftsman of the Vedic heaven was *Tvaṣṭar-*, the divine creator; he is also mentioned as that who forged Indra's thunderbolt [RV X: 48.3]:

*māhyam tvaṣṭā vājram atakṣad āyasām*

'For me (= Indra) hath Tvaṣṭar forged the iron thunderbolt' (translation [Griffith II: 485]).

The closest relative appears in Gatha & Young Avestan *θβōrəštār-* m. 'Bildner, Schöpfer':

*yazata pāiū θβōrəštāra yā viṣpa θβərəsato dāmañ* (Yasna 57.2; see Yasna)

'das Gebet an den Hüter und den Schöpfer sprach, die beide alle Wesen schufen.' (translation [Wolff 1910: 75]).

Both theonyms are inherited from Indo-Iranian \**tuarə-tar-* 'cutter', derivable from the verbal root attested in Avestan *θβarəs-* 'schneiden' < IE \**tuerk-* 'to cut', cf. Greek *σάξ* 'Fleisch', pl. Aeolic *σύρρες* [EWAI I: 685–686; Bartholomae 1904: 795–796, 798; LIV: 656]. An attractive addition may be identified in Tocharian B *tarkātsa* 'carpenter', which is explained as the nomen agentis in analogy *wapātsa* 'weaver' from *wāp-* 'to weave' with the *ā*-umlaut, changing the expected root vowel \**o* > B *e* into really attested *a* ([Adams 1999: 281, 586]; the primary verb remains unknown in Tocharian, the derivation from the verb *türk-* 'to twist' is rather vague from the point of view of semantics). Alternatively, the B root *tark<sup>o</sup>* can reflect the zero-grade \**turK-*, cf. B *starte* 'fourth' < \**k<sup>h</sup>eturto-*.

9. Already in RV appears another divine architect or artist, *Viśvakarman-*, lit. 'all-doer, all-maker, all-creator' [Monier-Williams 1899: 994]:

*yáto bhúmiṃ janáyam Viśvakarma ví dyām aúrṇon mahinā viśvacakṣāḥ* [RV X: 81.2]

'Whence Viśvakarman, seeing all, producing the earth, withmighty power disclosed the heavens'

*Viśvakarma vímana ád víhayā dhātā vidhātā paramótá saṃdṛk* [RV X: 82.2]

'Mighty in mind and power is Viśvakarman, Maker, Disposer, and most lofty Presence'

*yó naḥ pitá janitá yó vidhātā dhāmāni véda bhívanāni vísvā* [RV X: 82.3]

'Father who made us, he who, as Disposer, knoweth all races and all things existing' (translation [Griffith II: 536–537]).

In the Vedic mythology Viśvakarman was identified with Prajāpati, another creator of all things and architect of the universe [Monier-Williams 1899: 994]. In later texts Viśvakarman is described as 'the author of a thousand arts, the mechanist of the gods, the fabricator of ornaments, the chief of artists, the constructor of the self-moving chariots of the deities, by whose skill men obtain subsistence' [Wilkins 1882/1991: 77]. In Viṣṇu Purāna he replaced Tvaṣṭar in his functions, e.g. I, 9:

'The sea of milk in person presented her with a wreath of never-fading flowers; and the artist of the gods Viśvakarma decorated her person with heavenly ornaments' (translation H. H. Wilson: see [Vishnu Purana 1840]).

In Brahma Vaivarta Purāna he is a fabricator of *vajra* 'thunderbolt' (9.27):

'Dadhichi died and the gods requested Viśvakarman to make weapons for them out of Dadhichi's bones.

Viśvakarman complied and the weapon name *vajra* that he made was truly remarkable' [Vaivarta Purana].

The Vedic theonym *Viśvakarman-*, originally probably only an epithet, continues in Pali *Vissakamma-*, Prakrit *Vissayamma-*, Sinhalese *Vissam* [Turner 1966: #11963]. In *Mahāvamsa*, 'Great Chronicle', where the history of the island of Lanka was described from the 6th cent BC. to 4th cent. AD, *Vissakamma* is explicitly characterized as the 'blacksmith':

(Chapter XVIII)

'Vissakamma, who appeared in the semblance of a goldsmith, asked: 'How large shall I make the vase?'' (English translation M. Haynes Bode after the German translation of W. Geiger, see [Geiger 1912]).

## NURISTANI

10. Ashkun *barī* 'blacksmith, artisan, slave, servant', Waigali *barī*, Kati *barī*, Prasun *bārī* id. [Morgenstierne 1954: 238]; developed from the source of the type of Sanskrit *bhārika-* m. 'porter, carrier' (Kathāsaritsāgara; Rājatarāṅgī), Pali *bhārika-* 'loaded', Prakrit *bhāria-*, Nepali *bhariyā*, Assami, Bengali *bhāri*, Kumaoni *bhārī*, Maithili *bhariā*, Sinhali *bariyā* 'porter', all from the verb *bhar-* 'to bear, bring, keep' [Turner 1966: #539].

## IRANIAN

11. There is no known word for the 'smith' in the Avesta and Old Persian lexicon. In the Middle Iranian languages Sogdian SPNYQRY */spanēkarē/* 'smith' [Gharib 1995: 359, #8900] represents a compound consisting of SPYN- */spen, span, spən/* 'iron' (*\*aspanya-*) and the base *\*kar-* forming designations of various professions. Sarykoli *s(i)pinči* 'smith' [Пахалина 1971] is derived from the same word for 'iron'. Middle Persian *'h(y)nkl /āhan-gar/* 'blacksmith' [MacKenzie 1971: 6] and Persian *āhangar* 'blacksmith' [Steingass 1892: 126] have a parallel internal structure, where the first component is Middle Persian *'h(y)n /āhan/*, Persian *āhan* 'iron', plus the suffix *-gar* forming actor nouns [MacKenzie 1971: 35]. In Persian there are structurally corresponding compounds: *roygar* 'coppersmith, brazier', *sīmgar* 'silversmith', *zarkār & zargār* 'goldsmith' [Steingass 1892: 598, 718, 615]. Kurdish *āhangar* 'smith' ([Цаболов 2001: 69]; the Kurdish word for iron is *hasin*), Pashto *āhangār* 'smith' [PAC] and Shughni *ō(h)angār* id. [Зарубин 1960], are borrowed from Persian.

12. The witness of the lost Iranian/Indo-Iranian word for 'smith' can be sought in Fenno-Ugric languages, where a lot of Iranian/Indo-Iranian borrowings were identified (see [Blažek 2003 (04)]). A good candidate may be found in Finnish *seppä* 'smith, artisan, master', Karelian *seppä & šepä*, Olonets *seppi*, gen. *seppän* 'smith, master', Lüde *šep, seppe, šeppe*, Vepsian *šep, šep̄*. Votic *seppä, sepp* 'smith', Estonian *sepp*, gen. *sepa* 'smith, craftsman', Livonian *šēppā* 'smith, master; lever' [SKES: 999–1000]. The closest cognates occur in all Lappic dialects: South *tjeppie*, Umea *tjuhpee*, Lule *tjehppē*, North *čəp'pe*, Inari *čep̄pi*, Kolta *čəä'pp*, Kildin *čie'pp*, all from proto-Lappic *\*čēppē* 'clever, efficient', in compounds '-smith, one who makes something' [Lehtiranta 1989: 22]. The comparison with Hungarian *szép* 'schön, machtig' is rather problematic from the semantic point of view [SKES: 1000; UEW: 474–475]. Chuvash *šep* 'beautiful(ly), charming, good' could indicate a borrowing from a source of the type Old Bulgarian. The parallels in other Turkic languages confirm the Turkic priority: Tatar *šəp* 'quickly,

much, excellently', Mišar dial. *šəp* 'well', Altaic *sep* 'decoration' [Еропов 1964: 337]. It remains a safe Fenno-Saamic etymon *\*šēppä* 'smith, craftsman'.

In other branches of Fenno-Ugric languages there are apparent borrowings (a, b, c) or metaphoric denotations (d, e, f):

a. East Mari *apšat ~ äpšät* [Paasonen 1948: 4; PМaC: 287] is probably borrowed from some Middle Iranian source [Гордеев 1985: 99]. cf. Khwarezmian *ispanī*, Sogdian *\*spn- /aspan-/*, archaic Ossetic Digor *æfsæn* 'iron' etc. [Абаев I: 480–481]. The substitution of the final *\*-n(V)* by *-t(V)* in Mari is not exceptional, cf. Mari *šiste* 'Specht' vs. Lappic N *čai' hne*, Finnish *hähnä* 'Buntspecht' < *\*šäšnä ~ \*šäčnä*; Mari *wište* 'Spelt, Dinkel' vs. Finnish *vehnä* 'Weizen' < *\*wešnä*; Mari *šüštö* 'Riemen' vs. Mordvinian Erzya *kšna*, Finnish *hihna* 'Riemen, Band' < Baltic, attested e.g. in Lithuanian *šikšna* 'Leder, Riemen' [Bereczki 1992: 63, 86, 94].

b. In most Fenno-Ugric branches the borrowing of Russian *кузнец* is attested:

Mordvin Mokša *kuznec*, Erzya *kuzneć* [PМoC: 235; ЭPC: 114]; Komi Zyryan *kuzneć* [KPC: 330]; Khanty of Konda & Yugan *küş' 'es* [Paasonen 1926: 94]; Mansi N *kuš'ēs/s*, LM *kuš'niš/küş'niš*, LU *kuš'nes*, K *kōš'neš* [Munkácsi 1986: 227].

c. Hungarian *kovács* is borrowed from Slovak *kováč* or Serbo-Croatian *kòvāč*.

There are also several metaphoric denotations for 'smith' in some of Fenno-Ugric languages:

d. Early Mordvinian (1785) *kšniň čavi*, lit. 'forging the iron' [Феоктистов 1971: 129].

e. Komi *dorččis* [PKC: 235], Udmurt *duriš(kiš)*, nomen agentis from *duriškinj* 'to be permanently engaged in forging' [Napolskix, p.c.], derived from *duriňj* 'to forge' [Wichmann 1987: 40], corresponding with Komi *dornj* 'to forge' [Лыткин, Гуляев 1970: 95]. The further relatives are uncertain, maybe Komi *dor* 'border, hem, edge, blade', Udmurt *dur* 'border, edge', related to Mari *tür* 'border, edge' and Finnish *terä* 'edge, blade (of the knife)' (cf. [Лыткин, Гуляев 1970: 95]), if 'forging' was the activity forming the blades of knives.

f. Mansi LM *kēr-vōxpä-khum*, lit. 'man of the iron hammer', similarly T *kēr-vāṅṅā-ntēp* [Munkácsi 1986: 123, 209].

Regarding these results, it would not be any surprise if Fenno-Lappic isogloss was also a borrowing. From the point of view of geography, there are at least four candidates for a donor-language, in the chronological order East Slavic, Scandinavian or earlier Germanic, Baltic, Iranian or Indo-Iranian. Seeking the donor-language, it is necessary to determine, which sounds of

which language are transformed in Balto-Fennic *\*s-* ~ Lappic *\*č-*. Let us demonstrate, how the original sibilants are substituted:

6. Slavic *\*s-* > Balto-Fennic *\*s-* > Lappic *\*s-* (there are not old loans borrowed before the differentiation of the Balto-Fennic and Lappic branches): Finnish, Votic *sirppi*, Veps *sirp*, Old Estonian *sirp* 'sickle'; Finnish > Lappic North *sir'pi*, Lule *sir'łpi* id. : Old Russian *сѣрпъ* id. [SKES: 1041].

b. Scandinavian *\*s-* > Balto-Fennic & Lappic *\*s-* (in the independent loans): Old Nordic *saumr* 'hem, border' > Finnish *sauma* id., Estonian *saum*; Lappic North *saw'dnje*, Inari *sävñi* id. [Thomsen 1870: 169; SKES: 982–983].

г. Early Germanic *\*s-* > Balto-Fennic & Lappic *\*s-* (in the independent loans): Gothic *sair* 'pain', Old Nordic *sár* 'wound', Old Runic man's name *Saira-widaz*; *\*sairaz* > Finnish *sairas* 'sick'; Lappic South Vefsenin *sä'jrie* 'wound' [Thomsen 1870: 168; SKES: 947].

д. Baltic *\*s-* > Balto-Fennic & Lappic *\*s-*: Lithuanian *sėmens* 'Saat', Prussian *semen* 'Samen' > Finnish *siemen*, Veps *šemen*, Estonian *seme(n)* 'Saat, Same, Aussaat'; Lappic North *siebmân* id. [Thomsen 1890: 216; SKES: 1008].

e. Baltic *\*š-* > Balto-Fennic *\*h-* & Lappic *\*s-*:

e.1. Lithuanian *šiėnas*, Latvian *siens* 'Heu' > Finnish, Karelian *heinä*, Vepsian, Estonian *hein* 'Heu, Gras, Kraut'; Lappic North *suoid"ne*, Lule *suoi'nē* id. [Thomsen 1890: 223; SKES: 64–65].

e.2. Prussian *sirwis* 'Reh' > Finnish *hirvas* & *hirvi* 'Hirsch', Estonian *hiv* id.; Lappic North *sârves* & *sârva*, Lule *sarvės* & *sar'va* 'cervus, alces' [Thomsen 1890: 224–225; SKES: 77–78].

ж. Baltic *\*ž-* > Balto-Fennic *\*h-* & Lappic *\*s-*: Lithuanian *žėmė*, Latvian *zeme*, Prussian *same*, *semme* 'earth' > Finnish *Häme* 'a country in Finland'; Lappic North *sabme*, Lule *sāpmē*, Inari *sām̄i* 'Lappish' [SKES: 97].

3. Indo-Iranian *\*č-* > Indo-Aryan *\*ś-* & Iranian *\*s-* > Balto-Fennic *\*s-*; Lappic *\*č-*:

3.1. Vedic *śatam*; Avestan *satəm* '100' < Indo-Iranian *\*čatam* > Finnish, Votic *sata*, Lüde, Estonian *sada* '100' [SKES: 979]; Lappic *\*čōtē* id. [Lehtiranta 1989: 30].

3.2. Avestan *srū-*, *sruua-* 'horn', Pahlavi *slwb/srūw*, Persian *surū*, Baluchi *srō*, Khotanese *šū*, Ossetic Digor *siwæ* etc. id. < Indo-Iranian *\*čru-* > Finnish *sarvi* 'horn', Veps, Estonian *sarv*; Lappic *\*čōrvē* id. [SKES: 977–978; Lehtiranta 1989: 26].

It is apparent, only the loans from Indo-Iranian indicate the correspondence of Balto-Fennic *\*s-* ~ Lappic *\*č-*.

There are at least two alternative candidates in Avestan:

12.1. Young Avestan *saēpa-* m. 'Schweissen, Schmelzen (von Metallen)' [Bartholomae 1904: 1547, 1737, 907]:

*pisraṭ haca zaraniiō.saēpāt*

'Wenn einer aus der Schweisse, (worin) Gold geschweisst wird'

*pisraṭ haca arəzatō.saēpāt*

'Wenn einer aus der Schweisse, (worin) Silver geschweisst wird'

*pisraṭ haca aiiō.saēpāt*

'Wenn einer aus der Schweisse, (worin) Eisen geschweisst wird'

*pisraṭ haca haosafnaēnō.saēpāt*

'Wenn einer aus der Schweisse, (worin) Stahl geschweisst wird'

(Videvdat VIII: 87–90; translation [Wolff 1910: 377–378]).

Regarding the distinction of the type τόμος 'a cut' vs. τομός 'cutting, sharp', i.e. nomen actionis *\*tómH<sub>1</sub>os* vs. nomen agentis *\*tomH<sub>1</sub>ós*, both from the verb *\*temH<sub>1</sub>-* 'to cut' (cf. [Rasmussen 1989: 156–157]), it is natural to expect the existence of the pre-Iranian opposition *\*śāiṣpa-* 'Schmelze' vs. *\*śāiṣpā-* 'Schmelzer'. The primary verb could perhaps be identified in *aiβi/auui-saeḥ-* 'über — hin (acc.) streichen', attested in the present-stem *sifa-* [Bartholomae 1904: 1547–1548]:

*auui dim sifaṭ aštraia* 'er strich über sie (= die Erde) hin mit der Peitsche' (Videvdat II, 10)

*ana parəna tanūm aiβi.sifōiš* 'mit dieser Feder sollst du über (deinen) Leib streichen' [Yt. XIV: 35].

The semantic development 'to beat' → 'to forge' → 'smith & melter' is plausible, cf. Slavic *\*kovarь* 'smith' from *\*kovati* 'to forge', related to Lithuanian *káuti* 'to beat' and Germanic *\*hawwan* 'to strike, beat, cut'. It remains to verify the adaptation of (Indo-)Iranian *\*ai* → Fenno-Lappic *\*e*. The number of borrowings in Balto-Fennic indicating (Indo-)Iranian *\*ai* is not big and they are not uniform:

(i) Finnish arch. *aiva* 'nur, ganz; lauter, bloss, bar', Estonian *aiva*, *aeva* 'nur, bloss; ganz, sehr, überaus' < Balto-Fennic *\*aiva* < Indo-Iranian *\*aiua-*: Avestan *aēuua-* 'ein; einzig, allein; irgendein', *aēuuā* 'so', Old Persian *aiva* 'eins'; Old Indic *evá* 'so, gerade so, gerade, eben, nur' [Joki 1973: 247].

(ii) Finnish *sini* 'blaue Farbe'; Mordvin Erzya *señ*, *sāñ*, Mokša *señ* 'id., blau' < Fenno-Mordvin *\*sinz* < Iranian *axšaina-*: Avestan *axšaina-*, Old Persian *aḥšaina-* 'dunkelfarbig', Middle Persian *xašēn* '(dunkel)blau', Persian *xašīn* 'bläulich, blauschwarz', Kurdish *šīn* '(himmels)blau', Yidgha *axšīn*



'blau', Ossetic *æxsīn* 'dunkelgrau', Pašto *šīn* 'grün, blau', Ormuri *šīn* 'grün' [Joki 1973: 314].

(iii) Finnish *ahtera*; Mordvin Erzya *ekšt'erē*, Mokša *āšt'erē* 'gelt, güst, unfruchtbar' < Fenno-Mordvin *\*akšterz* < *\*akšetrz-* (the cluster *\*-tr-* is excluded in Fenno-Ugric; see [Sammallahti 1988: 492]) < Indo-Iranian *akṣāitra-*: Old Indic *ākṣetra-* 'destitute of fields, uncultivated' (Śatapatha-Brāhmaṇa), 'bad field' (Manu), cf. *kṣetra-* 'landed property, land, soil, field', Avestan *šōiθrəm* 'Wohnplatz, Heimstätte' [Blažek 1990: 40].

The last example supports the substitution *\*aj* → *\*e* in the studied etymology.

In sum, the hypothetical nomen agentis *\*sajpá-* 'melter (& smith?)' could be borrowed into Fenno-Lappic *\*šéppä* 'smith'.

12.2. Avestan *\*safna-* 'iron', reconstructed on the basis of the compound *hao-safnaēna-* 'of steel' (e.g. [Yt. X: 130]), indicating *\*hu-safna-* 'steel', lit. 'good iron' [Bartholomae 1904: 1737]. Although the word for 'smith' is not known in Avestan, it is possible to speculate about a compound *\*safna-kara-* 'iron-maker', analogously to Sogdian SPNYQRY /*spanēkarē*/ 'smith' [Gharib 1995: 359, #8900] which represents a compound consisting of SPYN- /*spen, span, spən*/ 'iron' (*\*aspanya-*) and the base *\*kar-* forming designations of various professions. Middle Persian *'h(y)nkī lāhan-gar*/ 'blacksmith' [MacKenzie 1971: 6] and Persian *āhangar* 'smith' [Steingass 1892: 126] have a parallel internal structure, where the first component is Middle Persian *'h(y)n lāhan*/, Persian *āhan* 'iron', plus the suffix *-gar* forming actor nouns [MacKenzie 1971: 35], see #4. Similarly Sanskrit *lohakāra-* m. 'smith', consisting of *lohā-* adj. 'red, of copper-colour; (made of a) copper', from Mbh. 'iron', plus the corresponding component *kāra-* 'making, doing; producer' from the Old Indic verb *kar-* 'to do, make' (see #3). Semantically is this solution quite transparent. The difference of Fenno-Lappic *\*e* vs. Indo-Iranian *\*a* is not unique, cf. already quoted Fenno-Ugric *\*mekše* < Indo-Iranian *\*makš-* [Joki 1973: 281; EWAI II: 287]. It is also possible to imagine the transformation of the donor-language cluster *\*-pn-* into Fenno-Lappic *\*-pp-*. For the Fenno-Ugric proto-language the clusters *\*pN, kN, tN, sN* (*N* = nasal), etc., are excluded [Sammallahti 1998: 492]. The main objection consists in the internal Iranian phonetic development. It is generally accepted that the hypothetical Avestan word *\*safna-* represents a metathesized variant of the expected form *\*spana-*, reflecting pre-Iranian *\*šyana-* > cf. Sogdian *\*aspan-* (Buddhistic adj. m. *'spn'yn'y*, f. *'spn'ynēh*, Manichean *'spnyn(y)*. Christian *'spnynē, sfnyq*), Chwarezmian *aspanī*, Middle Parthian of Tumshuq *'swn / \*aspanya-*, Khotanese *hiśšana-* < *\*hu-šyanya-* = Wakhi *yišn*, Munjan *yūspən* Pašto *ōspan, ōspīna*, Waziri *yēspana*, further Shughni *sipin*, Sarykoli *s(i)pin*, Ishkashim *špin*, Sanglechi *špōn*, Khufi *sipun*, Ossetic *αfsæn*, all

'iron', in later Ossetic 'plowshare'; Zoroastrian Pahlavi *'syn /āsen/*, Baluchi *āsin*, Kurdish *hāsin*, Talyš *ōsən* 'iron' with the simplification *\*-šy- > -s-* characteristic for the descendants of Old Persian [Абаев I: 480–481; Bailey 1979: 486–487]. The external comparison with Greek κίβανος 'lapis lazuli; copper sulfate, copperas; dark-blue enamel, blue glass'; Hittite *kuwana-(n-)* 'copper, a precious stone', allows to reconstruct the Indo-European starting point *\*kuyHo-* [Danka, Witczak 1997: 362–363]. Summing up, the borrowing is thinkable only from a donor-language where the metathesis of the type Avestan was realized. The Avestan language itself is not too probable from both chronological and geographical reasons.

13. Rushan & Khuf *wistō(δ), wustō(δ)* 'smith' correspond with Tajik *ustō* 'master, foreman; smith' and Persian *ustād/δ* 'master, foreman', which is a source of Kurdish *ustā*, Baluchi *vastād*, Pashto *ustād*, further cf. Middle Persian *ōstāt*, which is a source of Armenian *ostat*, all from Iranian *\*avastāta-* 'Vorsteher' [Соколова 1959: 278; Horn 1893: 20].

14. Pashto *pəx* 'smith' [PAC] probably represents a borrowing of Persian *pēša* 'profession, handicraft' [NEVP: 67].

15. Ossetic 'smith' is attested in Iron *k"yrd*, Digor *kurd*. 'smithy' is called *k"yrdaž & kurdbažæ* respectively, lit. 'place (*bažæ*) of a smith'. The metal-names determine the specialists: *zæring"yrd / zæringurd* 'goldsmith', *ærx"yg"yrd / ærxugurd* 'coppersmith', *fsæng"yrd / αfsængurd* 'blacksmith' [Абаев I: 610]. Georgian *kwrdeṃli* 'anvil' looks as an Ossetic (Alanic?) loan [Абаев V: 17].

15.1. Abaev (l.c.) interprets it as the nomen agentis *\*kur-ta(r)-* from the root attested in Gothic *hauri* 'coal', Old Norse *hyrr* 'fire' (*\*hurja-*, derivable from both *\*kurjo-* and *\*krjo-*), Slavic *\*kuriti* 'to smoke' (*\*kour-je/o-*). He also add Church Slavonic (Russian redaction) *крьчи(у), кьрчи(у) 'χαλκεύς'*, Old Russian *корчуи* 'smith', if it reflects *\*kur-tjo-* (so Абаев, l.c.), but Knutsson's etymology based on East Turkish *kurč* 'steel' (in other Turkic languages 'sharp') must seriously be taken in account (see [Фасмер, Трубачев II: 340–341; Трубачев 1966: 336]). Still more problematic is Abaev's comparison with Old Indic *kūḍ-* 'to burn, scorch' [RV VIII: 26.10], *akūlayat* (Aitareya Brāhmaṇa IV: 9), *kūṇḍate* 'burns' (Dhātupāṭha), continuing in Pali *kuṇḍati* 'burns', Prakrit *kulukkiya-* 'burnt', *kullaḍa-* m. 'stove', Marathi *koḷapṇē* 'to be scorched', *koḷāgā* 'live coal' [Turner 1966: #3399]. The root *kūḍ-* is derivable from *\*kūRd-* (the *-r-* in *krūḍay°* (Kāṭhaka), has to be secondary — see [Kuiper 1991: 75]), which could also reflect *\*kRHd-*, but also *\*kūzḍ-*. Vine speculated about a starting point without cerebralization *\*kūḍ-* (quoted after [EWAI I: 385]). From these protoforms only *\*kūRd-* is



compatible with the Ossetic form. The sequention \*CRHC continues in Old Indic CīRC ~ CūRC, Avestan CarəC and Ossetic CarC & CærC, cf. Vedic *bhūrjā-* ‘sp. birch/Betula Bhojpatra’ vs. Ossetic Digor *bærzæ*, Iron *bærz* ‘birch’ [Абаев I: 253; KEWA I: 514–515], Old Indic *dīrgha-* ‘long’ vs. Avestan *darəya-*, Ossetic *darǰ* id., *dərǰ* ‘length’ [Абаев I: 344–345]. And so it is possible to accept the following series of cognates: Ossetic \*kurd-, Indo-Aryan *kūḍ-*, if from \*kūrd-, both with the dental extension (*d*-present? — see [LIV: 19–20]); without the dental extension Slavic *kuriti* (\*kour-), maybe Germanic \*hurja-, if from \*kurjo- and not \*krjo-. But regarding Germanic \*herpa- ‘hearth’ and Latvian *ceri* ‘Glutsteine’ [Kluge, Seebold 1999: 370], the latter protoform is more favorable (cf. e.g. [Lehmann 1986: H50]). Finally, for Kuiper [1991: 74–75] the specific vacillation of this Old Indic root indicates its foreign origin. He mentioned Kurukh *kurnā* ‘to grow warm, be heated’, Malto *kuṛe* ‘to burn, roast, sear’, isolated in Dravidian, as borrowings from the same source.

15.2. Alternatively, it is possible to seek a connection with Old Indic *kūṭa-* n. ‘hammer, mallet’ [RV X: 102.4; MBh XVI: 4.6], also m., if it reflects \*kūrta-. The word continues in Pali *kūṭa-* ‘sledgehammer’, Prakrit *kūḍa-* ‘a kind of stone hammer’, Sinhalese *kuḷu-gediya* ‘sledgehammer’ [Turner 1966: #3391]. In the modern Indo-Aryan languages the interesting compounds appears: \*ayaskūṭa- > Pali *ayōkūṭa-*, Sinhalese *yakuḷa* ‘sledge-hammer’, lit. ‘iron hammer’, \*hastakūṭa- lit. ‘hand hammer’ > Dameli *ašteṛā* ‘hammer’, Pashai *astərō*, Lahnda *hathōrā*, Panjabi *hathaurā*, Kumaoni *hathaurō*, Nepali *hothro*, Assamese *hāthuri*, Bengali *hātuṛi*, Oriya *hātuṛā*, Bihari *hathaurā*, Hindi *hathaurā*, Gujarati *hathərō*, Marathi *hatodā* etc. [Turner 1966: ##592, 14028]. Remarkable is the Sanskrit place-name *vajrakūṭa-*, designating ‘a mountain’ (Bhāgavata Purāṇa), or ‘a mythical town in Himalaya’ (Kathāsaritsāgara), and continuing in Waigali *baǰūr* ‘name of a village in Waigali’, which represent the compound of *vāja-* ‘thunderbolt’ & *kūṭa-* ‘hammer’ [Turner 1966: #11205]. The protoform \*kūrta- and Ossetic \*kurd- are derivable from \*kūrto-, but Indo-Aryan can be further reflect \*kṛhto- compatible with Lithuanian *kālti* ‘to beat’ etc., in contrary to Ossetic (discussion see § 12.1.). Let us mention that later Burrow ([BSOAS 34, 1971: 550]; quoted after [EWAI I: 384]) assumed a spontaneous cerebralization in *kūṭa-* ‘hammer’ and reconstructed the starting point \*kū-to-, the derivative of the verb \*keH<sub>2</sub>y- ‘to beat’ > Lithuanian *kāuti* id., Old Church Slavonic *kovamu* ‘to forge’ [LIV: 345–346]. On the other hand, Kuiper [1991: 14, 27] admits only foreign origin of this word.

16. In their pantheon the pagan Ossets (Digors) had a divine smith and lord of fire called *Kurd-Alə-Wærgon* (besides the simplified variants *Kurd-*

*Aləwgon* and *Kurd-Aləwgon*). It was he who tempered *Soslan*, the hero of the Nart epic: *Soslan Kurd-Alə-Wærgon əj isard əj* ‘Soslan was tempered by Smith-Alə-Wærgon’ [Абаев IV: 94].

16.1. Abaev [Абаев 1949: 592–594; Абаев I: 610; IV: 93–94]; cf. also [Meid 1961a: 127–131] derives his name from Iranian \*kurta- \*ārya- \*Var-kāna-, i.e. the ‘Aryan smith Varkāna’, comparing the theonym \*Varkāna- with the name of the Roman fire-god *Volcānus*. Beginning from Schlegel this theonym has been connected with Old Indic *ulkā* ‘fire falling from heaven, meteor, firebrand’, in [RV IV: 4.2] used about the flames of the fire-god Agni [Meid 1961a: 131]; W. Eisenhut, [RE, Suppl. XIV, 1974: 949], cf. also Old Norse *olgr & glgr* ‘Odin’s name; hawk, ox’, poet. ‘fire’ (\*wulgaz < \*ulko-); see [de Vries 1962/1977: 418]. Let us mention, that it was Odinn, who... *smiðaði himin ok iǰrð ok lopt* ‘...forged heavens and earth and air’ (Edda of Snorri Sturluson, 2; see [Sturluson 1982]). Another related form could be found in the name of the hospitable druid-smith *Olc Aiche* from the early Irish stories «Cath Maige Mucrama» (1.218: *goba*), «Scéla Éogain» (1.447: *druí-goba*; 11.405-06: *druí*), «Geneamuin Chormaic» (11.4–5: *goba*), see [O Daly 1975: 52–53, 64–68; Hull 1952: 82; McCone 1984: 5–6]. It is also tempting to think about the name of the Germanic divine smith known in two variants, \*Walundaz (Old Icelandic *Vǫlundr*, Old High German *Walant*) and \*Wēlandaz (Old English *Wēland*, Middle High German *Wielant*, Old Icelandic *Velent*), see [Тонорова 1989: 442–443]. But it remains to explain the lack of expected \*-h- / \*-g- in this position, regular only for Old Norse.

16.2. An alternative, assuming the equation ‘smith’ = ‘skilful’, can be found in Hittite *walkissara-* & *ulkissara-* ‘kundig, erfahren’ [Tischler 2001: 185, 194].

17. In the classical Persian epic Šāhnāme (‘Book of Kings’) the hero Kāwe, ‘the famous smith of Ispahān who defeated the usurper Zakhāk, and established Faridūn on the throne of Persia’ (the definition after [Steingass 1892: 1010]), is characterized by Firdausī as

*zi āhangarān Kāwe pur hunar* (VI, 769)

‘among smiths Kāwe, the skilled’

([Warners 1905: 214] translated it: ‘there Kāwe stood, the skilled among the smiths’). The name *Kāwe* has been etymologized together with Avestan *kauui-* ‘Bezeichnung von Fürsten (den Abkömmlingen der *Kauuāta*-Dynastie bzw. *daēuua*-verehrender Fürsten)’, Sogdian *qwy*, *kw’y*, pl. *kwyšt* ‘giant’, Middle Persian & Middle Parthian of Tumshuq *k’w*, *k’w’n* for γίγαντες, Khotanese *kai* ‘heroic; ārya-monk’. Later Zoroastrian Pahlavi *kai* ‘title of king’, *kayān*,

Persian *kai*, *kayān(i)*, and dial. *kav* ‘hero’; Old Indic *kavi-* ‘seer, prophet’ etc. (see § 7b above).

18. Hōšang was the second king ruling the world according to Šāhnāme. Firdausī’s Hōšang was a real cultural hero *par excellence*. Son of Siyāmak and grandson of Keyumarθ (= Middle Persian Gayōmart), after the death of his grandfather the king of the mankind. To avenge the death of his father, he led the army against the son of Ahriman. Thanks to Hōšang, many discoveries important for the human race were realized: regulation of rivers, agriculture, domestication of beasts, clothing from furs. He also introduced a fire (‘Hōšang first showed the fire within the stone’ (this and following passages were translated by [Warners 1905: 123], if other translations are not indicated)), metallurgy and forging:

*nuxustīn yakē gōhar āmad ba čang bā taš zi āhan jūdā kard sang  
sarīmāye kard āhan ābgun kaz-ān sang xārā kašīdaš bērūn* (II, 7–8)

‘He was the first to deal with minerals and win the iron from the rock by craft, the bright metal he took for a main material, reached from stones of that rock’ (edition [Бертельс 1960]; translation [Warners 1905: 123; Borecky 1910: 31; Шахнаме: 28]).

Further Firdausī informs us that

‘He gained more knowledge and, inventing smithing, made axes, saws, and mattocks. Next he turned to irrigation by canals and ducts’.

In the name Hōšang from Šāhnāme Middle Persian *Hōšang* continues, whose bearer was a son of Fravāk, son of Syāmak, son of Mašya, son of Gayōmart (Bundahisn XXXI, 1 in translation of E.W. West — see [West 1880] = Indian Bundahisn XXVII, 29 — see [Bundahisn]), and Avestan *Haošiiāgha-* (Yašt 5.21; 15.7; 17.26; Yašt 19.26; see [Bartholomae 1904: 1738–1739]). The name is derivable from *\*hu-šiiāh-* ‘good (religious) choice’, cf. *vī-šiiātā* ‘they divide, chose’, from *čaii-* ‘to decide, chose’ [Mayrhofer 1977: 50, #168].

## ARMENIAN

19. In Armenian the ‘smith, blacksmith’ is designated by the word *darbin* [Olsen 1999: 471]. The final extension in *-in* has been derived from *\*-ino-* [Pokorny 1959: 233] or *\*-īno-* [Schrijver 1991: 102], *\*-ini-* [Solta 1960: 146] or *\*-inaH<sub>2</sub>* with the collective termination [Olsen 1999: 471].

19.1. It has usually been connected with Latin *faber* ‘smith’ etc. (first so [Meillet 1894: 165]). Old Church Slavonic *добръ* ‘good’, Lithuanian *dabà*

‘nature, character’, Gothic *ga-daban*, pret. *ga-dob* ‘to happen, be suitable’, Old Norse *dafna* ‘to become strong’ [Pokorny 1959: 233–234; LIV: 135–36]. P. Schrijver [1991: 102] is right concluding that from the quoted parallels Latin *faber* agrees only with Armenian *darbin*, if it is derivable from *\*d<sup>h</sup>₂b<sup>h</sup>-r-īno-*. The other comparisons are rather vague in semantics; he also rejects the reconstruction of the laryngeal for them.

19.2. On the other hand, the Armenian form can alternatively reflect *\*d<sup>h</sup>₂b<sup>h</sup>-īno-* ‘worker’, compatible with Lithuanian *dirbu* : *dirbti* ‘arbeiten, anfertigen’ < present-stem *\*d<sup>h</sup>₂b<sup>h</sup>-é-* (unclear accentuation), *dárbas* ‘Arbeit’, Old English *deorfan* ‘arbeiten; umkommen’, *gedeorf* ‘Arbeit, Mühsal’, cf. also Armenian *derbuk* ‘rough’ and Irish *doirbh* ‘morose, grievous, hard’ [Pokorny 1959: 257; Mann 1984–1987: 211].

19.3. Ilya Yakubovich drew my attention to possibility to seek origin of Armenian *darbin* in Hurrian *tabira*, borrowed into Sumerian *tabira* & *tibira* ‘metal-worker’, esp. ‘copper-worker’ (cf. [Wilhelm 1988: 50–52]).

## ANATOLIAN

In Hittite the designation of ‘smith’ is not known, only the ideograms with their Sumerian readings.

20. <sup>LÚ</sup>SIMUG(.A) ‘Schmied’, earlier read as <sup>LÚ</sup>E.DÉ(.A) [Tischler 2001: 257]. In Hattic this ideogram glosses the term *huzzaššai* [Soysal 2004: 282]. In this situation at least phonetic complements are valuable: nom. sg. <sup>LÚ</sup>SIMUG.A-*iš*, gen./dat. pl. <sup>LÚ.MEŠ</sup>SIMUG.A-*aš*, cf. also the acc. sg. UGULA <sup>LÚ.MEŠ</sup>SIMUG.A-*in* ‘Schmiedemeister’ (KUB XXXV 14 I 12’, XXIV 56 I 7’, KUB XX 4 I 21’ respectively — see [Pecchioli Daddi 1982: 38, 40; Friedrich 1952: 298]).

Interesting is the explicite definition of wages for smith in the Hittite laws (KBo 6.26):

- (13) *ták-ku* <sup>LÚ</sup>SIMUG.A Š(A 1 ME) MA.NA <sup>URUDU</sup>ŠEN *a-ni-ia-zi*  
(14) 1 ME PA. ŠE *ku-uš-š(a-n)i-iš-ši-it ŠA URUDU a-te-eš*  
(15) ŠA 2 MA.NA KI.LÁ.BI *a-ni-ia-zi* 1 PA.ZÍZ *ku-uš-ša-ni-iš-it*

‘If a smith makes a copper box weighing 100 minas, his wages shall be 5.000 litres of barley.

If he makes a bronze axe weighing 2 mines, his wages shall be 50 liters of wheat.’ [Hoffner 1997: 128, § 160].

Still more remarkable is the institution of education of future craftsmen in the Hittite society, also described in the Hittite laws (KUB 13.14 + KUB 13.16):

- (4) (*ták-ku* DUMU-) *an-na-nu-ma-an-zi ku-iš-ki pa(-a-i)*

- (5) (*na-aš-š*)*u* <sup>LÚ</sup>NAGAR *na-aš-ma* <sup>LÚ</sup>SIMUG.A *n(a-aš-ma* <sup>LÚ</sup>UŠ.BAR)  
 (6) (*na-aš-m*)*a* <sup>LÚ</sup>AZLAG *nu an-na-nu-u(m-m)a-aš* 6 GÍN (KÙ.BABBAR)  
 (7) (*pa*)-*a-i ták-ku-an wa-al-ki-(iš-ša-r)a-ah-hi (nu-uš-ši)*  
 (8) (1 S)AG.DU *pa-a-(i)*

'If anyone gives (his) son for training either (as) a carpenter or a smith, a weaver or a leather worker or a fuller, he shall pay 6 shekels of silver as (the fee) for the training. If the teacher makes him an expert, (the student's parent) shall give to him (i.e. to his teacher) one person.' [Hoffner 1997: 159, § 200.b].

There are several designations of specialized metal-workers motivated by the metal-names (see [Гиорградзе 1988: 242; Tischler 2001: 213, 265]):

21a. <sup>LÚ</sup>AN.BAR.DÍM.DÍM 'iron-smith', lit. 'iron-maker', cf. AN.BAR 'iron' = Hittite *hapalki-* (see § 24.2).  
 (ME-EL-K)I-IT <sup>LÚ.MEŠ</sup>AN.BAR.DÍM.DÍM 2 MÁŠ.TUR  
 1NINDA.KUR<sub>4</sub>.RA-aš 1 *ta-ha-ši-iš*

(KBo XVI 68 III 8)

'Due MELKET iron-smiths take 2 kids, 1 thick bread, 1 jug.'

The same profession could be expressed simply as <sup>LÚ</sup>AN.BAR (XVII 46 Ro 26'), lit. 'man of iron' [Pecchioli Daddi 1982: 42].

Similarly are formed the designations of other metal-workers [Pecchioli Daddi 1982: 42–44]:

21b. <sup>LÚ.MEŠ</sup>URUDU.DÍM.DÍM 'copper-smiths' (KBo XVI 68 III 14'; XVII 46 Ro 28');

21c. <sup>LÚ.MEŠ</sup>KÙ.BABBAR.DÍM.DÍM 'silver-smiths' (KBo XVI 68 III 14');  
<sup>LÚ.MEŠ</sup>KÙ.BABBAR id. (XVII 46 Ro 28');

21d. <sup>LÚ.MEŠ</sup>GUŠKIN.DÍM.DÍM 'gold-smiths' (KBo XVII 46 Ro 28');  
<sup>LÚ</sup>EPIŠ GUŠKIN (IBoT II 131 Ro 32); <sup>LÚ</sup>KÙ.DÍM, with phonetic complement in the gen./dat. pl. <sup>LÚ.MEŠ</sup>KÙ.DÍM-aš (KBo IX 91 Vo 7'; XXIV 56 A I 8', etc. — see [Pecchioli Daddi 1982: 43], although KÙ designated 'silver').

21e. <sup>LÚ</sup>A.BÁR (KBo XXII 42 Vo? 8') 'lead-smith', lit. 'man of lead'

21f. <sup>LÚ</sup>URUDU.NAGAR designates 'copper-smith' ((KBo VI 2 III 21; XIV 27 Vo 4'; XXIV 56 A I 8'; KUB XXXI 86 II 19') — see [Pecchioli Daddi 1982: 44, 47; Гиорградзе 1988: 250]), although literally it means 'copper-carpenter'.

The Hittite smiths payed a specific 'smith-tax', called *MANTATUM* <sup>LÚ.MEŠ</sup>SIMUG.A. It consisted in production of various objects from various metals. Interesting is that the public duty called *luzzi-* was obligatory only for coppersmiths. The other metal specialists were probably more privileged in the Hittite society [Гиорградзе 1988: 250–251].

22. In the Hittite & Palaic traditions the divine smith *Hasamili-* is known, adopted from the Hattic pantheon (although [Goetze 1962: 49] was convinced of Indo-European origin of this theonym). E.g. in the Hittite myth on 'Disappearance of the Sun God' he is mentioned as a relative of 'Frost' (VBoT 58 I 32–41):

- (32) (*i-it-ten*)-*wa* <sup>D</sup>GUL-aš-ša-an <sup>D</sup>MAḪ *ḫal-zi-iš-ten ták-ku-wa a-pé-e a-ki-i(r)*  
 (33) (*nu-wa ke*)-*e-ya im-ma a-ki-ir nu-wa a-pé-e-el-la KÁ-aš? ḫa-aḫ-ḫi-m(a-aš)*  
 (34) (*ú-it*) *ḫa-aḫ-ḫi-ma-aš* <sup>D</sup>IM-ni *te-ez-zi ku-u-ši-wa pí-iš-ša-at-ti*  
 (35) (x x x) *nu-wa ḫu-u-ma-an-te-eš a-ki-ir nu-wa ki-i-pít!* GAL-ri  
 (36) (Ú-UL na)m-ma *ḫar-ši nu-wa* <sup>D</sup>ḫa-ša-am-mi-li-aš <sup>ŠEŠ</sup>MEŠ-ŠU  
 (37) (*pa-ap-pa*)-*an-ni-ik-ni-eš nu-wa a-pu-u-uš ḫa-aḫ-ḫi-ma-aš Ú-UL Iṣ-BAT*  
 (38) (x x x x) *a-pu-u-uš ḫal-za-iš* <sup>D</sup>IM-aš *ḫa-aḫ-ḫi-im-mi*  
 (39) (*tar-aš-ki-iz*)-*zi ki-iš-ši-ra-aš-mi-iš-wa GAL-ri-ya an-da da-me-in-(kán-za)*  
 (40) (ŠU<sup>MEŠ</sup>-YA-wa GİR<sup>MEŠ</sup>)-YA *da-me-in-kir ták-ku-wa ku-u-uš-ša GİR<sup>MEŠ</sup>-uš*  
 ŠU<sup>bi-a</sup>-u(š)  
 (41) (*an-da e-ep-ši?*) IGI<sup>bi-a</sup>-*mi-ta-wa le-e e-ep-ši*  
 [Laroche 1965: 24]

'(Then the Storm God says:) '(Go) call Gulsa and Hannahanna. If those have died, (then) these too may have died (i.e., the unborn, which constitute the future of the land). (Did) Frost (come) to their gate too?' Frost says to the Storm God: '(Because?) you kill and cast away, all have died. And you no longer hold this same cup.' Hasamili's (full) brothers are (Frost's half) brothers. So Frost did not seiyé them. (Therefore the Storm God?) called them. The Storm God speaks? to Frost: 'My hand is stuck to the cup: (my feet) too they have caused to get stuck. (Even) if (you seize) these feet and hands, do not seize my eyes too'. ' (translated by [Hoffner 1998: 28]).

The Hattic theonym *Hašammil* probably reflects original \**Hašmil*, judging upon the form <sup>D</sup>ḫa-aš-mi-li-iš attested in the treaty between the Hittite king Suppiluliuma I. and the Mitanni ruler Sattiwaza, where the god appeared in the role of the witness (KBo I, 2, Rs. 25; see [Ардзинба 1988: 282]). Interesting is the characterization of this divine smith, expressed by the Hattic goddess *Katah-zipuri* in the building ritual, recorded in one of the Hattic-Hittite bilinguals (412/B+; see [Kammenhuber 1969: 436, 452]):

Hattic: *pala a-an-zaraš=ma ureš huzzaššai-šu*

'Und/dann-sich (er/sie-)rief Schmied hoheitsmächtigen...'

Hittite: *nu=za halzais* <sup>LÚ</sup>SIMUG.A *innarauwandan*

'Und sie rief sich den hoheitsmächtigen Schmied...'

The goddess asks the smith-god to bring the iron nails, copper hammer, and other things:

Hattic: *a-na-a-mi-ša hapalkiy-an kurkupal šiniti(-en) iškinawar muwakkupakku*  
 ‘... -nehmen (*miš(a)*) Eisens nagel, Kupfers *i*-Hammer (und) *m.*-Hammer...’

Hittite: ŠA AN.BAR <sup>GIS</sup>KAK<sup>HIA</sup> URUDU-*aš* <sup>GIS</sup>NÍG.GUL  
 ‘Komm, nimm sie sich/dir von Eisen (die) Nagel, von Kupfer den Hammer...’  
 [Kammenhuber 1969: 478].

After it the smith-god splits the earth and entries inside:

Hattic: *ka-a-mar ištarrazil ha-nuwa=pa* <sup>D</sup>Hašammil  
 ‘... ? ... Erde. Hinein-gehen Hasammil.’

Hittite: *nu iskali daganzi(pan) anda=ma=as=kan pait* <sup>D</sup>Hasam(milis)  
 ‘Dann schlitze er auf die Erde. Hinein=aber=er + (Ortspartikel) ging, Hasam(mili)’  
 [Kammenhuber 1969: 472].

It is not clear, which tool was used by Hasammil to split the earth. Ardzinba [Ардзинба 1988: 282] mentions a similar motive in the Hittite version of the myth on the god Telepinu, who broke through the black earth by the thunder and lightning:

*dankui tekan zahhiskizzi* (KUB XVII, 10, II, 33–34).

23. In the Hieroglyphic Luwian text from Karkamiš (A2+3, § 16) there are mentioned specific craftsmen, probably artisans:

(*za-ti-pa-wa/i*) | *kar-ka-mi-si-za*(URBS) (DEUS) TONITRUS-*ti-i ka-tu-wa/i-sa* |  
 REGIO-*ni-ia-si* | DOMINUS-*ia-sa* | REL-*i-zi* | (\*273) *wa/i+ra/i-pa-si* |  
 DOMINUS-*ia-zi-i pi-ia-tá*

‘The masters of the WARPI- whom Katuwas the Country-Lord gave to this Karkamišean Tarhunzas’ [Hawkins 2000: 109–111].

In the inscription Maraš 14, §3, Astiwasus, chief eunuch of the Ruler, presents:

*wa/i-mu-ṛ(C)* | *za-ia* | (\*273) *wa/i+ra/i-pa-sa-li-ia* | || DOMUS-*na*  
 AEDIFICARE+*MI-ha*

‘and I myself built these *craft*-houses’ [Hawkins 2000: 266].

Similarly the dedicatory inscription of the ruler Kazupis from Kōrkūn, § 4:

| *wa/i-ti ku-ma-na á-sa-ti-ru-sá* REX-*ti-sá wa/i+ra/i-pa-si* DOMUS-*na*  
 “AEDIFICARE”

‘When King Astirus built himself *craft*-houses’ [Hawkins 2000: 172].

The term *warpi*- designating this specific craft (art?), is apparently related to the word *warpi*- ‘skill, courage, virtue’, frequently accompanied by the

logogram #273 according to Laroche’s numeration; cf. also the adj. *warpali*- ‘brave’ = Hittite *warpalli*- [Hawkins 2000: 114, 132, 263, 456, 468, 631, 635]. The primary meaning ‘skilful’ or ‘brave’ could indicate that the ‘smith’ was one of the artisans. Outside of Anatolian, the Tocharian B isolate *yarpo* ‘(religious) service; good deed’ [Adams 1999: 484] looks as a good cognate. The other relatives are more problematic, perhaps Tocharian B *yärp*- ‘to oversee, observe, take care of’, Old Prussian *warbo* in the phrase *warbo thi Dewes* ‘Behut dich Gott’, i.e. ‘may God protect thee’ [Adams 1999: 499], all from IE \**werb*<sup>(h)</sup>-.

## GREEK

24. Mycenaean *ka-ke-u* (KN V 958.3a; PY An 607.6.7), dat. sg. *ka-ke-we* (KN Fh 386) & *ka-ke-wi* (MY Oe 121.2), nom. pl. *ka-ke-we* (PY Jn), dat. pl. *ka-ke-u-si* (PY An 129.7 — see Aura Jorro I, 307), and the classical continuant *χαλκεύς* ‘coppersmith, brasier; worker in metal, goldsmith’ (from [Homer 1935], cf. Ilias XII, 295; XV, 309–310: *χαλκεύς ἠφαιστος*; IV, 187: *χαλκῆες ἄνδρες* ‘smith’s men’), and such compounds as *χαλκο-υργός* (cf. Cypriote syllabic *kalakowo(ro)ko* = gen. *χαλκοφο(ρ)γῶ*) or *χαλκο-τύπος*, both ‘coppersmith’, are transparent derivatives of Greek *χαλκός* ‘ore, copper, bronz’ [Frisk II: 1068–1069; Chantraine I: 1243–1244], attested also in Mycenaean *ka-ko* (PY Jn 320.11; 389.7.8.9; 413.7 etc. — see [Aura Jorro I: 308–309]). If the craftsman term is transparent, the Greek term ‘copper, bronze’ remains without any convincing etymology. The best survey of etymological attempts is summarized in [Chantraine I: 1243–1244] and [Tremblay 2004: 238–248]:

24.1. Mycenaean *ka-ko* and Classical Greek *χαλκός* ‘ore, copper, bronz’, reflect pre-Greek \**g<sup>h</sup>/g<sup>h</sup>lk/ko-*. But there are the variants with the opposite order of velars: Cretan *καυχός, καυχοι* (inscriptions from Gortyne, 3rd cent. BC), the place names as *Κάλχας, Καλχηδών, Καλχηδόνιοι*, reflecting the protoform \**καλχ<sup>o</sup>*. The personal name *Χαυχανς*, corresponding to *Κάλχας*, or the compound *χαλχο-τύπος* ‘coppersmith’, known from Rhodus (6th cent. BC), indicate the proform \**χαλχ<sup>o</sup>* with two aspirates [Chantraine I: 1243; Lejeune 1972: 60, 142; Tremblay 2004: 238]. The starting point \**kalk<sup>h</sup>os* is derivable from \**k/k<sup>h</sup>lg<sup>h</sup>/g<sup>h</sup>o-*, but also from \**g<sup>h</sup>/g<sup>h</sup>lg<sup>h</sup>/g<sup>h</sup>o-* (due Lex Grassmann), which is directly reflected in the undissimiled forms in \**χαλχ<sup>o</sup>*. The Mycenaean adj. *ka-za* has been interpreted as the nom. sg. f. *k<sup>h</sup>alkiā* [Aura Jorro I: 334; Bartoněk 2003: 142]; cf. Aeolic *χαλκία*, but e.g. Lejeune [1972: 246, fn. 5] derived -z- from \**-χι-* here. Beginning of Schleicher [1852], Greek *χαλκός* ‘ore, copper, bronz’ is compared with the Balto-Slavic designation of ‘iron’. And just the variant \**g<sup>h</sup>lg<sup>h</sup>o-* corresponds in all

consonants with the Balto-Slavic isogloss *\*g<sup>(h)</sup>elǵg<sup>(h)</sup>*- ‘iron’ > Lithuanian *geležis*, Žemaitic *gelžis*, Latvian *dzelz(i)s*, East Latvian *dzelezs*; Prussian *gelso* < *\*gelzā* [Fraenkel 1962–1965: 144; Топоров II: 200–2003]; Old Church Slavonic *желѣзнь* ‘of iron’, Church Slavonic *желѣзо* ‘iron’, Bulgar *желязо*, Serbo-Croatian *жельезо*, Slovenian *železo*, Slovak *železo*, Czech *železo*, Upper Sorbian *železo*, Lower Sorbian *zelezo*, Polabian *zil’ozü*, Kashubian *želaz(l)o*, Polish *żelazo*, Belorussian *залезо*, Ukrainian *желізо*, Russian *железо*, dial. *зелезо*, *зялезо* [Schuster-Šewc IV: 1787–1788]. It is necessary to mention the agreement of Greek *χαλκεύς* ‘coppersmith, brasier; worker in metal, goldsmith’ with Lithuanian *gelėžius* ‘Eisen(waren)händler’ or in word formation; similarly *žydžius* ‘gold-smith, ring-maker’. It seems attractive to add the own Hittite designation of ‘iron’, reconstructed as *\*kiklu-* on the basis of the participle *\*kiklimai-* ‘mit Eisen belegen’ (nom. pl. c. *kiklimaimenzi*) and the compound *kikumassari-* ‘iron-ring’ [Tischler 2001: 78]. It can reflect *\*KeKlu-*. Naturally, it remains to explain the opposite order of the second and third consonants. Finally, Tremblay [2004: 243–244] tries to find a hypothetical Iranian counterpart in designation of ‘lead’ in some Turkic languages, which look as apparent borrowings: Qypchak *k<sup>u</sup>rg<sup>u</sup>š<sup>u</sup>n*, Cumanic *corgasin*, Osman Turkish *qursun*, Middle Turkic of al-Kāšgarī *q<sup>u</sup>rš<sup>u</sup>n* (Oghuz) and *q<sup>u</sup>r<sup>u</sup>z<sup>u</sup>n*. Just the latest form should be most archaic. Tremblay reconstructs the Turkic starting point as *\*xary-zern*, which could reflect a virtual Iranian/Indo-Iranian compound *\*g<sup>h</sup>arga-z<sup>h</sup>aranya-* ‘iron’-‘gold’, where the first component has to correspond to Greek and Balto-Slavic. A structurally similar compound is Latin *aurichalcum*, *orichalcum* ‘Legierung von Kupfer und Zink, Messing’, which seemingly connects Latin *aurum* ‘gold’ and latinized Greek word for ‘copper’. In reality it reflects an adaptation of Greek *ορείχαλκος* ‘mountain-copper’, used for ‘yellow copper ore, copper or brass made from it’ [Walde, Hofmann I: 35]. In the root level, it is possible to think about a derivation from IE *\*g<sup>h</sup>el-* ‘yellow, green’, attested e.g. in Brittonic *\*gelno-* > Breton *gell* ‘brown’, Welsh *gell* ‘yellow’; Old Nordic *gulr*; West Germanic *\*gelwa-* ‘yellow’ > Old English *geolo*, Old High German *gelo*, gen. *gelwes*; Lithuanian *geltas*, Latvian *dzelts*, and Slavic *\*žl<sup>o</sup>tr<sup>o</sup>* id. [Pokorny 1959: 429–430]. It is necessary to stress that the designation ‘yellow metal’ is natural for ‘copper’, while for ‘iron’ should be transferred.

24.2. According to Pisani [1966: 46f], Frisk [II: 1071], Ivanov [Иванов 1977: 27–28, fn. 76], Gamkrelidze & Ivanov [Гамкrelидзе, Иванов 1984: 710, fn. 1], the source of Greek *χαλκός* ‘ore, copper, bronz’ could originate from Asia Minor, where the most archaic term is preserved in Hittite *hapalki*=AN.BAR ‘Eisen’ [Soysal 2004: 278]; further cf. the city name <sup>URU</sup>*Hawalkina* ‘Iron city’, Hurrian *hapalki* & *apalki*, Mitanni-Akkadian of Amarna *hapalkimmu*, Neo-Babylonian *habalgimnu*, Akkadogram *HAPALKINI*, all with the

Hurrian extension in *-in(n<sup>o</sup>)*; Hittite *hapalki-* ‘iron’: *hapalki lipi[r* ‘they licked the iron’ (KBo XXIV 52.6), gen. sg. *hapalkiyas*: *mān-za-kan* <sup>DU</sup>URU.KÜ.BABBAR-*ti* <sup>D</sup>LAMA <sup>URU</sup>KÜ.BABBAR-*ti* DINGIR.MEŠ *hapalkiyas* (ŠÀ) É.MEŠ DINGIR.MEŠ *ÜL kuezqa marsanuantes* ‘if you, storm-god of Hatti, tutelary deity of Hatti, deities of iron in the shrines (arc) not desecrated in any way’ (KUB XVI 34 I 1–2), see [Puhvel 1991: 116–118]. Difficult are answers to two questions: (i) The semantic development from ‘iron’ to ‘copper, bronze’ is rather strange. (ii) Which phonetic changes and substitutions did cause the transformation from *\*hapalki-/hawalki-* to *\*kalk<sup>h</sup>-/\*k<sup>h</sup>alk-?* It is necessary to suppose the starting point of the type *\*k<sup>(h)</sup>awalk<sup>(h)</sup>-*, but the intervocal *\*-w-* has been preserved in Mycenaean [Lejeune 1972: 179–180]. And in the case of contraction the sequence *a-a* should be transformed into long *ā*, cf. *\*κά(φ)αλον* > *κάλον* ‘wood’ [Lejeune 1972: 263]. And so this solution is not acceptable. On the other hand, a cultural loan from ancient Anatolia seems to be Greek *χάλυψ*, gen. *χάλυβος* ‘hardened iron, steel’ (Aeschylus, Prometheus, 133; Sophocles, Trachiniae, 1260; cf. also nom. *χάλυβος* in Aeschylus, Seven against Thebes, 729; *χάλυβος Σκυθῶν ἄποικος* and Euripides, Alcestis, 983: *τὸν ἐν Χαλύβοις σίδαρον*), and the eponymous steelworkers *σιδηροτέκτονες Χάλυβες* (Aeschylus, Prometheus, 715), located in the Pontus area [Puhvel 1991: 118]. Starostin [Старостин 1985: 84–85] connected the Hittite word *hapalki-/hawalki-* ‘iron’ with the North Caucasian designation of ‘iron’ or ‘horseshoe’, where he also saw origin of Greek *χαλκός* ‘ore, copper, bronz’. His reconstruction was rather modified in time. In 1985 (p. 84) he proposed the reconstruction of North Caucasian *\*Hōk<sup>h</sup>k<sup>h</sup>wV*, which was later changed in *\*nHā<sup>h</sup>’wV* [Nikolayev, Starostin 1994: 851–852], based on the following data: Nakh *\*hā<sup>h</sup>’i* ‘iron’ > Chechen *ēčig*, Ingush *äšk*, Bats *’ajhk<sup>h</sup>’i*; pTsez *\*he<sup>h</sup>(u)* ‘horseshoe’ > Tsez, Ginukh *hi<sup>h</sup>u*, Gunzib, Bezhtin *he<sup>h</sup>*; pLak *\*Hā<sup>h</sup>’V* > Rutul *äg* id. || West Caucasian *\*b<sup>h</sup>’r<sup>h</sup>’-š<sup>h</sup>’wV* ‘iron’ > Adyghean *b<sup>h</sup>’əč<sup>h</sup>*, Kabardinian *b<sup>h</sup>’əs<sup>h</sup>*, Ubykh *wəč<sup>h</sup>’ā*, where the first component means ‘copper’ or ‘metal’ in general. The initial *\*n-* was reconstructed on the basis of such forms as Tsez *niga* ‘blue, grey’, Ginukh *nik-diju* ‘id., green’, Lak *nalk* ‘blue’; Archi *nall-du-* ‘blue’.

24.3. Already Benfey [1842] and Curtius [1879] compared Greek *χαλκός* ‘ore, copper, bronz’ with Sanskrit *hriku-*, *hlīku-* ‘tin’, but there is a convincing internal etymology based on *hriku-* ‘timid’, cf. another designation of ‘tin’. *trāpu-*, which is derived from *trap-* ‘to be timid’, apparently after the weakness of the tin [Tremblay 2004: 238–239; EWAI III: 548].

24.4. Kretschmer [1896: 167–168, fn. 3] saw a connection of *χαλκός* ‘ore, copper, bronz’ with *χάλκη*, *κάλλη*, *χάλχη* ‘murex, purple limet; purple dye; purple colour’, seeking a support by Homer, who used explicitly *χρυσόν*



καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν on the 'gold and red copper/metal' (Il. IX, 365). But *χάλκη*, *κάλλη*, *χάλλη* is a cultural term, apparently of non-Greek origin. And so it is possible to think about independent borrowings for both the metal and the purple colour from the same source, but in various times (cf. [Tremblay 2004: 242]).

24.5. Attractive is the comparison of *χαλκός* 'ore, copper, bronz' with the place name *Κόλχης* 'Colchis', adj. *Κόλχος*, maybe also attested in the Urarteian annals as *Qulha*. But the country of the 'golden fleece' was famous for its gold, not for copper or iron (discussion see [Tremblay 2004: 245]).

24.6. Origin of Greek *χαλκός* 'ore, copper, bronz' was also sought in Sumerian *KAL.ga*, according to Dossin [1971: 9] 'hard copper', in reality only 'hard', while the Sumerian word for 'copper' is *urud* [Tremblay 2004: 244]. But in principle, it is possible to accept the ellipsis of the syntagm *urud KAL.ga* 'hard copper'. In this case, the remaining question is the way, how this Sumerian word could penetrate into Greek.

24.7. Still more distant in space is 'Sino-Tibetan \**qhleks* "iron"' (so [Kun Chang 1972: 436–446; Toporov II: 202] and [Иванов 1983: 101]; Balto-Slavic & Greek + Sino-Tibetan). The Chinese word for 'iron' is transcribed as *tiě* in Early Mandarin and reconstructed in Early Middle Chinese as \**tʰet* [Pulleyblank 1991: 308]. Starostin [Старостин 1985: 85] reconstructed Old Chinese \**thlēr*, which derived from \**thlĕk*. The final \*-*k* is still preserved in the common Tai borrowing \**hle*k, cf. also the loan in Yao *lhiak*, besides Miao *lhɔu*. Later Starostin modified his Old Chinese reconstruction in \**ĉ(h)it* < \**ĉ(h)ik* [Старостин 1989: 233], and using another transcription, \**ħit* (CVST III, 68). The cognates in Classical Tibetan *lčags* 'iron; lock' and Burmese *khjak* 'latch' allow to reconstruct proto-Sino-Tibetan \**ħ(ia)k* [CVST III: 68]. Coblin [1986: 98] derived Old Chinese \**thit* from \**hlit* < \**hlik* and together with its Tibetan counterpart from Sino-Tibetan \*\**hliek*.

25. Greek Ἥφαιστος (Il. XVIII, 397; VIII, 195; Od. IV, 617 etc.), Doric Ἄφαιστος, Aeolic Ἄφαιστος [Frisk I: 646]. The theonym is attested already in Mycenaean *a-pa-i-ti-jo* [KN I: 588.1], which reflects \*Ἄφαιστίος or \*Ἄφαιστίων [Aura Jorro I: 73]. Interesting is the variant *Ἠέφαιστος*, attested on the Attic vases [Furnée 1972: 336; Chantraine I: 418].

25.1. There is perhaps the only semantically acceptable internal etymology of the theonym, viz. based on ἀφή 'lightning, kindling' (see Herodotus VII, 215 about the lamp-lightning time: Ὀρμέατο δὲ περὶ λύχων ἀφὰς ἐκ τοῦ στρατοπέδου 'and they set forth from the camp about the time when the lamps are lit'): ἄπτω πῦρ 'I kindle fire', ἀφάω 'I handle' (see [Liddell, Scott 1901: 657; Schrader, Nehring II: 239, 330; Frisk I: 126]). The relation

of the divine smith to fire is apparent, e.g. in the metonymic use of the name of Ἥφαιστος instead of πῦρ by Homer: καὶ τὰ μὲν ἄρ σείζησιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον, σπλάγχνα δ' ἄρ' ἀμπεύρατες ὑπείρεχον Ἥφαιστοιο 'These the burned upon the split logs of firewood, but they spitted the inward meats, and held them in the flames to cook' (Il. II, 425–426; translated by S. Butler), cf. also φλόξ Ἥφαιστοιο (Il. XVII, 88) for 'fire', ἀνήφαιστος 'fire that is no real fire' (Euripides, *Orestes*, 621). Concerning the hypothetical second component \**aistos*, it seems possible to accept the idea of Carnoy [1957: 69] to see here a derivative of the type of \**aitʰitos* from Greek αἴθω 'I light up, kindle', cf. αἴθος 'burning heat, fire'.

25.2. In his *Histories* Herodotus (5th cent. BC) mentioned several times the Temple of Hephaestus in the Egyptian city of Memphis, the capital of the Old Kingdom:

(II, 3.1) .. ἤκουσα δὲ καὶ ἄλλα ἐν Μέμφι, ἐλθὼν ἐς λόγους τοῖσι ἱεῦσι τοῦ Ἥφαιστου

'I also heard other things at Memphis in conversation with the priests of Hephaestus'

(II, 99.4) ὡς δὲ τῷ Μίνι τούτῳ τῷ πρώτῳ γενομένῳ βασιλεῖ χέρσον γεγενῆσθαι τὸ ἀπεργμένον, τοῦτο μὲν ἐν αὐτῷ πόλιν κτίσαι ταύτην ἦτις νῦν Μέμφις καλεῖται, ... τοῦτο δὲ τοῦ Ἥφαιστου τὸ ἰδὸν ἰδρύσασθαι ἐν αὐτῇ, ἐὸν μέγα τε καὶ ἀξιαπληγῆτοτατον

'Then, when this first king Min had made dry land of what he thus cut off, he first founded in it that city which is now called Memphis, ... and secondly, he built in it the great and most noteworthy temple of Hephaestus'.

Apparently, Herodotus' Hephaestus from Egyptian Memphis was the Egyptian god Ptah, because just this god is the main patron of the city and had a big temple here. It was Cicero in his «*De Natura Deorum*» (III, 22.55f), who unambiguously identified Vulcan, the Roman correspondent of Hephaestus, with the Egyptian god Ptah:

*Volcani item complures: primus Caelo natus, ex quo et Minerva Apollinem eum cuius in tutela Athenas antiqui historici esse voluerunt, secundus Nilo natus, Phthas ut Aegyptii appellant, quem custodem esse Aegypti volunt, tertius ex tertio Iove et Iunone, qui Lemni fabricae traditur praeuisse, quartus Memalio natus, qui tenuit insulas propter Siciliam quae Volcaniae nominabantur*

'There are also several Vulcans; the first, the son of the Sky, was reputed the father by Minerva of the Apollo said by the ancient historians to be the tutelary deity of Athens; the second, the son of Nile, is named by the Egyptians Phthas, and is deemed the guardian of Egypt; the third is the son of the third Jupiter and Juno, and is fabled to have been the master of a smithy at Lemnos; the fourth is

the son of Memalius, and lord of the islands near Sicily which used to be named the Isles of Vulcan’.

Interesting is the notice of Herodotus (III, 37.2–3) about the Phoenician god Pataikos, corresponding with Greek Hephaestus:

ὦς δὲ δὴ καὶ ἐς τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἱρὸν ἦλθε καὶ πολλὰ τῷ ἀγάλματι κατεγέλασε· ἔστι γὰρ τοῦ Ἡφαίστου τῶγαλμα τοῖσι Φοινικηίοισι Παταϊκοῖσι ἐμπερέστατον, τοὺς οἱ Φοῖνικες ἐν τῆσι πρῶρησι τῶν τριηρέων περι-ἀγουσι. ὃς δὲ τούτους μὴ ὄπωπε, ἐγὼ δὲ σημαίνω· πυγμαίου ἀνδρὸς μίμησις ἔστι. ἐσηλθε δὲ καὶ ἐς τῶν Καβείρων τὸ ἱρὸν, ἐς τὸ οὐ θεμιτὸν ἔστι ἐσιέναι ἄλλον γε ἢ τὸν ἱρέα· ταῦτα δὲ τὰ ἀγάλματα καὶ ἐνέπρησε πολλὰ κατα-σκώψας

‘He (= Cambyses) likewise went into the temple of Hephaestus, and made great sport of the image. For the image of Hephaestus is very like the Pataeci of the Phoenicians, wherewith they ornament the prows of their ships of war. Of persons have not seen these, I will explain in a different way — it is a figure resembling that of a pigmy. He went also into the temple of the Cabiri, which it is unlawful for any one to enter except the priests, and not only made sport of the images, but even burnt them’ (translated by George Rawlinson).

The Phoenician theonym has no parallels in other Semitic and so it is more than probable that it represents an adaptation of the name one of the most important Egyptian gods, *Pth*, patron of artisans, who was worshipped especially in Memphis [Wb. I: 565], Demotic *Pth*, Coptic *Ptah*. Interesting are the cuneiform transcriptions of this divine name: Middle Babylonian <sup>m</sup>*Si-ip-ta-ḫu* = *Z3 Pth* ‘son of Ptah’ and <sup>blu</sup>*Hi-ku-up-ta-ah* = *H.t k3 Pth* ‘house of the spirit of Ptah’, i.e. the sacred name of Memphis; from the Bopazkiy archive the name of the king Merneptah <sup>m</sup>*Mar-ni-ip-tah* = *Mry ny Pth* ‘beloved by Ptah’; latest one, from the Assyrian epoch, is <sup>m</sup>*Ip-ti-ḫar-ti-e-šu* = *Pth i-ir dy-sw* ‘it is Ptah who gave it’ [Vycichl 1983: 166, 517; 1990: 80–81, 179–180, 191]. It is apparent, the transcriptions from the 2nd mill. BC reflect the vocalization *\*Pth*, but the Assyrian record from the 1st mill. *\*Ptiḫ* is closer to Herodotus’ Πάταικος not only in form, but also in time. The name of the Greek god could ultimately represent an adaptation of the idiom of the type Egyptian *h.t Pth* ‘house/temple of Ptah’, which may be vocalized as *\*Hāt-Ptah-i* (*\*-i* is the genitive ending), cf. the name of the goddess Hathor. Egyptian (from the Pyramid Texts) *H.t Hr*, lit. ‘house/temple of Horus’, in the New Kingdom the fest, continuing in Coptic Sahidic *ḫaḥ<sup>h</sup>ōr* ‘third month of the Coptic year’, Greek Ἀθῶρ, Arabic *Hātūr* [Vycichl 1983: 317]. The following development is difficult to reconstruct, perhaps *\*Hāt-Ptah-i* > *\*Hāpsta(h)i<sup>o</sup>* > *\*Hāp<sup>h</sup>stai<sup>o</sup>* > *\*Hāp<sup>h</sup>aist<sup>o</sup>*.

25.3. The theonym could be of local origin, representing a borrowing from some of the pre-Greek idioms. It is tempting to speculate about any connection with the Cretan place name, attested already in Mycenaean *pa-i-to* [Aura Jorro II: 68] = Homeric Φαιστός [II. II: 648].

25.4. Ardzinba [Ардзинба 1985: 151; 1988: 282] speculated about adaptation of the name of the West Caucasian smith-god, attested in Kabardinian *Ḳarḡ*, Adyghean *Ḳarḡ*, Abxaz *ḡaḡ<sup>h</sup>*, reconstructed by Starostin as *\*ḡarḡ<sup>h</sup>*. But the sound *\*ḡ-* designates a lateral sound, cf. the reconstruction of Chirikba [1996: 273, 400] who proposes the starting point *\*ḡaḡ<sup>h</sup>* ‘god of the smithy’ on the basis of proto-Circassian *\*ḡarḡ<sup>h</sup>*; pAbxaz *\*ḡaḡ<sup>h</sup>*. And so it is difficult to imagine the transformation of the initial lateral in Greek *h-/φ-*. Ardzinba [Ардзинба 1988: 282–283] thought also about relation of the name of the West Caucasian divine smith *\*ḡaḡ<sup>h</sup>* / *\*ḡarḡ<sup>h</sup>* and his Hattic counterpart *Hašammil*, originally perhaps *\*Hašmil*, judging upon the form <sup>d</sup>*Ha-aš-mi-li-iš* attested in the treaty between the Hittite king Suppiluliuma I. and the Mitanni ruler Sattiwaza, where the god appeared in the role of the witness (KBo I: 2, Rs. 25; see [Ардзинба 1988: 282]). The theonym was adopted in the Hittite and Palaic pantheons in the form *Hasamili-* (see § 22). The substitution of the West Caucasian initial lateral by the laryngeal in Hattic is rather problematic.

26. Greek Τελχίν (Scholia to Aeschylus, Persians, 353; Choreoboscus, 69), Τελχίς (Arcadius 10; Theognostus, Canones 192) designate ‘one of *Telchines*’ [Liddell, Scott 1901: 1539], mythical smiths from Eastern Mediterranean islands. The best descriptions of *Telchines* appears in the ‘Geography’ of Strabo (Strabonis, XIV, 2.7):

Ἐκαλεῖτο δ’ ἡ Ῥόδος πρότερον Ὀφιοῦσσα καὶ Σταδία, εἶτα Τελχινίς ἀπὸ τῶν οἰκησάντων Τελχίνων τὴν νῆσον, οὗς οἱ μὲν βασκάνους φασὶ καὶ γόητας θεῖω καταρρέοντες τὸ τῆς Στυγὸς ὕδωρ ζῶων τε καὶ φυτῶν ὀλέθρον χάριν, οἱ δὲ τέχναις διαφέροντας τοῦναντίον ὑπὸ τῶν ἀντιτέχνων βασκανθῆναι καὶ τῆς δυσφημίας τυχεῖν ταύτης, ἐλθεῖν δ’ ἐκ Κρήτης εἰς Κύπρον πρῶτον, εἶτ’ εἰς Ῥόδον, πρῶτους δ’ ἐργάσασθαι σίδηρόν τε καὶ χαλκόν, καὶ δὴ καὶ τὴν ἄρπην τῷ Κρόνῳ δημιουργῆσαι

‘Rhodes was formerly called Ophiussa and Stadia, then Telchinis, from the Telchines, who inhabited the island. These Telchines are called by some writers charmers and enchanters, who besprinkle animals and plants, with a view to destroy them, with the water of the Styx, winged with sulphur. Others on the contrary say, that they were persons who excelled in certain mechanical arts, and that they were calumniated by jealous rivals, and thus acquired a bad reputation; that they came from Crete, and first landed at Cyprus, and then removed to Rhodes. They were the first workers in iron and brass, and were the

makers of Cronus' scythe' (translated by H. C. Hamilton & W. Falconer, see [Hamilton, Falconer]).

Hesychius had also recorded the variant  $\Theta\epsilon\lambda\gamma\acute{\iota}\nu\epsilon\varsigma$ : οἱ  $\text{Τελχῖνες}$ , γόητες, πανοῦργοι φαρμακευταί. Etymology of this proper name remains obscure. Beginning from Prellwitz [1889: 148–154], the name of  $\text{Τελχῖνες}$  has been connected with  $\chi\alpha\lambda\acute{\kappa}\acute{o}\varsigma$ . The connection of both forms is not trivial. If  $\text{Τελχῖν}/\text{Τελχῖνες}$  &  $\Theta\epsilon\lambda\gamma\acute{\iota}\nu\epsilon\varsigma$  would be derived from  $*k^{wh}elk^{h}in-$  (in agreement with Grassmann's law), it is necessary to expect the labiovelar in anlaut of  $\chi\alpha\lambda\acute{\kappa}\acute{o}\varsigma$ . For this reason Tremblay [2004: 243] speculates about the variant  $\chi\lambda\epsilon\kappa^{\circ}$ , allowing to propose the delabialization of the hypothetical initial labiovelar. Ivanov [Иванов 1983: 101] sees here another variant of the cultural term, developing from Hattian *hapalki-/hawalki-* to Greek  $\chi\alpha\lambda\acute{\kappa}\acute{o}\varsigma$ . He also proposes the alternative comparison, namely with the name of the god  $\chi\alpha\lambda\acute{\kappa}\acute{o}\varsigma$ , patron of blacksmiths and forge in the Circassian versions of the Nart Epic (cf. [Colarusso 2002: 96–98, 107 and § 25.4.]).

## ALBANIAN

In Albanian the terms connected with a smithery are borrowed:

a) Albanian *farkë* 'smithy' < Latin *fabrica* 'smithy, workshop' [Meyer 1891: 99; Orel 1998: 94].

b) Albanian *maj* 'hammer' < Latin *malleus* id.; cf. also Rumanian *maiu* 'Schlägel' [Meyer 1891: 241; Orel 1998: 241].

c) Albanian *vigan* 'giant' < Serbo-Croatian *вѣганъ* m. 'smithy, furnace', cf. further Slovenian *vigenj* m., Slovak *vyhňa* f., Czech *výheň* f. 'furnace', in dial. 'smithy', Upper Sorbian *wuheň*, all from pre-Slavic  $*\tilde{u}gnj\acute{o}/\text{-}/*\tilde{u}gnj\acute{a}$ ; cf. also loans in Hungarian *vihnye* 'smithy' and Gypsy *vigna* 'fireplace', *vignja* 'smithy' [Meyer 1891: 472; Orel 1998: 507; Machek 1968: 704; Snoj 2003: 819].

27. Albanian *kovaç* 'smith' < South Slavic  $*kovačb$  'smith', attested in Church Slavonic  $\text{ковачь}$  'smith' > Rumanian *covaciū*, Bulgarian *ковач*, Serbo-Croatian *ковач*, Slovenian, Slovak & Czech dial. *kováč*, also Polish dial. *kowacz*, Russian dial., Ukrainian *ковач* 'smith', Old Belorussian *ковач* 'smith; master' [Meyer 1891: 203; Orel 1998: 193; ESJS 6: 349; ЭССЯ 12: 5].

## ITALIC

28. Latin *faber* 'smith; artisan, craftsman' was already used by Plautus:

*Tace sis, faber, qui cudere soles plumbeos nummos*

'Hold your tongue, will you, you clever workman, who are in the habit of coining money out of lead' (Mostellaria 892; translated by H. T. Riley (<http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.02.0104:tin%20line=1>);

*Ut fortunati sunt fabri ferrarii, qui apud carbones adsident semper calent*

'How lucky are the blacksmiths who are always sitting among hot coals: they are always warm' (Rudens 531; translated by H. T. Riley <http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0046>).

In Italic languages there is the Paelignian equivalent *faber*:

*pes.pros.ecuf.incubat | casnar.oisa.aetate | c.anaes.solois.des.forte | faber*

'pius probus hic incubat, senex usa aetate, C. Annaeus, omnibus dives, fortunate faber' [Vetter 1953: 149–150, #214].

Untermann [2000: 254] judges that not only *faber* itself, but whole formula *forte faber* is borrowed, confronting it with the Latin formulation *suae quisque fortunae faber* by Sallustius (Epist. for Ap. Claudius I, 2).

The Latin word continues in the Romance languages: Rumanian *faur*; Italian *fabbro*, Sardinian: Logudor *frau*; Raeto-Roman: Lower Engadin *fáver*, Furlan *fari*; Old French *fevre*, Provençal *faure* 'smith'; hence *fabrica* 'smithy' > Furlan *fárie*, French *forge*, Provençal, Catalan *farga*, *fraga*, Spanish *fragua*, *fraga*, Portugal *fragoa* etc. [Meyer-Lübke 1935: ##3120, 3121].

28.1. Latin *faber* 'smith' etc. has usually been connected with Armenian *darbin* 'smith' (first so [Meillet 1894: 165]), Old Church Slavonic  $\text{добръ}$  'good', Lithuanian *dabà* 'nature, character', Gothic *ga-daban*, pret. *ga-dob* 'to happen, be suitable', Old Norse *dafna* 'to become strong' [Pokorny 1959: 233–234; LIV: 135–136]. P. Schrijver [1991: 102] judges that from the quoted parallels Latin *faber* agrees only with Armenian *darbin*, if it is derivable from  $*d^{h}z_{2}b^{h}-r-\tilde{i}no-$ . The other comparisons are rather vague in semantics; Schrijver also rejects the reconstruction of the laryngeal for them.

28.2. An alternative starting point can be  $*d^{h}rb^{h}-\tilde{i}no-$ , compatible with Lithuanian *dirbu*: *dirbti* 'arbeiten, anfertigen' < present-stem  $*d_{r}b^{h}-\acute{e}$ - (unclear accentuation), *dárbas* 'Arbeit', Old English *deorfan* 'arbeiten; umkommen', *gedeorf* 'Arbeit, Mühsal', cf. also Armenian *derbuk* 'rough' and Irish *doirbh* 'morose, grievous, hard' [Pokorny 1959: 257; Mann 1984–1987: 211]. The semantic development is comparable with Old Indic *karmāra-* ~ *vṛddhi karmārá-* 'blacksmith', if it is related to *kárman-* 'work, deed', the derivative of *kṛ-* 'to do, make' [Buck 1949: 606; EWAI I: 318; Thieme 1985: 255, fn. 21]:  $*karma-ará-$  'durch [harte] Arbeit zusammenfügend / zusammenschweissend' — see § 1 above.

28.3. It was MacBain [1911: 200] who first proposed a possibility to connect Latin *faber* and the Celtic designation of 'smith', reconstructible as *\*gob-nt-s/-ent-(n-)* [Hamp 1988: 54] or *\*gob-ns/-ens-(n-)* [Blažek 2006: 39]. This idea was in details discussed in [Blažek 2006]. Let us repeat the most important points: (i) Correspondence of Latin *f-* vs. Celtic *\*g-*; (ii) Correspondence of Latin *\*a* vs. Celtic *\*o*; (iii) Correspondence of Latin & Paelignian *-b-* vs. Celtic *-b-*.

(i) Latin (& Italic) *f-*, Old Irish *g-* and Brythonic *\*g-* are derivable from IE *\*g<sup>h</sup>-*, cf. Irish *gor* 'heat', Breton *gor* '(feu) ardent': Latin *formus* 'warm' [Pedersen I: 108; Pokorny 1959: 494]. In the recent time the problem of regular continuants of the IE voiced labiovelar in Celtic was intensively discussed, see Koch [1995], Sims-Williams [1995], Schmidt [2001]. The conclusions of this fruitful dialogue can be summarized as follows:

Indo-European	<i>*k<sup>h</sup></i>	<i>*g<sup>h</sup></i>	<i>*g<sup>h</sup></i>
Celtic	<i>*k<sup>h</sup></i>	<i>*b</i>	<i>*g<sup>h</sup></i>
Celtiberian	<i>ku</i>	<i>b</i>	<i>ku</i> [ <i>gu</i> ]
Goidelic	<i>*k<sup>h</sup></i>	<i>b</i>	<i>*g<sup>h</sup></i>
Ogam-Irish	<i>q</i>	<i>b</i>	<i>g<sup>h</sup></i>
Old Irish	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>g</i>
Brythonic	<i>*p</i>	<i>*b</i>	<i>*g<sup>h</sup>- / *<i>u-</i></i>
Gaulish	<i>p</i>	<i>b</i>	<i>g- / -<i>u-</i>?</i>
Lepontic	<i>p</i>	<i>p</i> [ <i>{b}</i> ]	?

A regular Gaulish correspondent of IE *\*g<sup>h</sup>-* is not firmly established. Some scholars derive the verb *uediūmī* attested in the inscription from Chamalières from *\*g<sup>h</sup>ed<sup>h</sup>iō + mi* [Lejeune, Marichal 1976–1977: 166; Cowgill 1980: 59], comparing it with Old Irish *guidiu* 'I prayer' and Welsh *gweddi* 'to prayer'. Other reconstruct the root *\*ued<sup>h</sup>-* or *\*ueid-* with various interpretations (e.g. [Fleuriot 1976–1977: 178]: a confusion of two homonymous roots *\*ued<sup>h</sup>-* 'to lead' and 'to join'; [Lambert 1979: 141, 144]: *\*ued<sup>h</sup>-*, translating the verbal form 'je lie = soumets'; [Schmidt 1981: 267]; similarly [Henry 1984: 143–144] and [de Bernardo Stempel 1990: 32; 2001: 164–170]: *\*ueidiō << \*ueidiō*, cf. Old/Middle Irish *fiad* 'honor, respect', *fiadu* 'witness'). Schmidt [2001: 175–179] adds Celtiberian *ueidos* 'witness' as a counterpart of Old Irish *fiadu* and Gaulish *uediūmī*, while the Celtiberian family name *kueđontikum* (gen. pl.) should correspond to Old Irish *guidiu* and Welsh *gweddi* 'to prayer'. It is attractive to add some of the Gaulish personal names, *Geddius* attested in CIL 1780: D(is) M(anibus) CACIRO T.

F. GEĐDI ET BILLICEDDNI PATRIBUS MAGISSA FILIUS F.C., and *Gedemo(n)*: [Holder I: 1992–1993]. Another argument for the change *\*g<sup>h</sup> > Gaulish & Brythonic u* should have been the Gaulish personal name *Tascouanus* (Rhineland) and its Brythonic counterpart *Tascio-uano*s, a father of *Cunobelinos* (CVNOBELINVS REX TASCIOVANVS F., see [Holder II: 1744–1745]), interpreted as *\*task(i)o-g<sup>h</sup>onos* 'badger-killer' [Koch 1987: 266–269; 1995: 82]; serious contra-arguments see [de Bernardo Stempel 1991: 42]. This solution is acceptable, but only for the medial (intervocal?) position. On the other hand, there is an inner Celtic witness for the development *\*g<sup>h</sup> > Gaulish g-*. In agreement with the rules formulated by Koch, Sims-Williams, Schmidt and others, the Brythonic forms as Middle Welsh *gwystl* 'pledge, surety, hostage'. Old Cornish *guistel* gl. 'obses, pignus', Old Breton *guistl* gl. 'obses', Breton *gouestl* 'pledge, hostage', together with Old Irish *giáll* 'hostage', indicate Celtic *\*g<sup>h</sup>eisslo-* and further probably *\*g<sup>h</sup>eidd<sup>h</sup>-tlo-* (cf. [Schrijver 1995: 405]). It is generally accepted that Gaulish personal name *\*Congestlos*, attested in the gen. sg. as CONGEISTLI and in the nom. sg. as a coin-legend COCESTLUS, correspond to Welsh *cyngwystl*, *cywystl* 'gage mutuel' [Holder I: 1993; Delamarre 2001: 104]. To sum, it seems, the Gaulish reflexes of IE *\*g<sup>h</sup>* could be parallel to Brythonic: *g-* & *-u-*.

(ii) What can be said about Latin *-a-* vs. Celtic *\*-o-*? Their difference is very probably explainable. Schrijver [1991: 460–461] has convincingly demonstrated the Latin tendency to change IE *\*o* after *\*u*, *\*ku/k<sup>h</sup>*, *\*g<sup>h</sup>u/g<sup>h</sup>* & *\*g<sup>h</sup>u/g<sup>h</sup>* into *a*, e.g. Latin *fax* 'torch' vs. Lithuanian *žvakė* 'candle' < *\*g<sup>h</sup>uok<sup>h</sup>*-. With respect to this rule, the Latin form is derivable from *\*g<sup>h</sup>ob<sup>(h)</sup>ro-/\*g<sup>h</sup>uob<sup>(h)</sup>ro-*. The vacillation in reconstruction can be determined thanks to other cognates.

(iii) A common denominator for *b* in both Latin (Italic) and Celtic is the rare IE sound *\*b*. In the case of the (probable) borrowing of the word *faber* from Latin into Paelignian, one may also reconstruct *\*b<sup>h</sup>*. In the case of the quite hypothetical opposite direction of borrowing, i.e. from Osco-Umbrian into Latin, the labiovelar *\*-g<sup>h</sup>-* should also be taken in account. Summing up, the root-consonants are compatible, implying the starting point *\*g<sup>h</sup>/g<sup>h</sup>uob<sup>(h)</sup>/g<sup>h</sup>*.

A promising cognate may be identified in the Lithuanian pagan deity of fire called *Gabie* by Jan Łasicki (Lasicius) in his 'De Diis Samagitarum Caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum. Item de Religione Armeniorum', first published in Basel 1615 (see [Mannhardt 1936: 357, 359, 372, 389]). He recorded: (p. 49) *Polengabia* *diva est, cui foci lucentis administratio creditur* (Lithuanian *pėlenas* 'fire-place') and (p. 51) *Cum autem nimia aestatis brevitās fruges demessas plane siccare non sinat, fit*

*hoc sub tectis ad ignem. Tum vero precandus est illis hisce verbis Gabie deus: Gabie deuaite pokielki garunuleiski kirbixtu. Flamman, inquit, eleva, at ne demittas scintillas.* Mannhardt [1936: 372] refers to Akielewicz, who had recorded: *Ogien w mowie uroczystej nazywa się po litewsku gabija albo szwenta gabija* 'In a solemn speech the fire is called gabija or holy gabija in Lithuanian', and *Ogien w pospolitej mowie zowie się ugnis, a w uroczystej gabija* 'Fire is called ugnis in a current language and in a solemn speech gabija'. Mierzyński mentioned a prayer of a housewife from Žemaitia addressed to the fireplace of her house: *Šventa Gabieta, givenk su mumis linksmaj* 'Holy Gabėta, live with us cheerfully.' The word *gabietta* represents a substantivized feminine adj. 'die Feurige', cf. *dulkėtas* 'staubig': *dūlkes* 'Staub', etc. Besides *gabija* (*gabė* in modern orthography) there is also the variant *gubija* which should be a Žemaitic dialectism according to Schleicher (see [Mannhardt 1936: 372]), cf. *namiai* vs. *numiai* 'houses'. It is tempting to think about the vacillation caused by the ablaut \*gub- : \*gvab- > \*gab- (cf. [Fraenkel 1962–1965: 143] about gv- ~ g- in Lithuanian). The solution based on the assumed ablaut would exclude the identification of the analyzed theonyms with another, as the goddess of wealth *Gabiáuja* [Falk, Torp 1909: 126] or *Matergabie* characterized as *deae offertur a foemina ea placenta, quae prima e mactra sumta digitoque notata, in furno coquitur.* ([Lasicki 1544: 49]; see [Mannhardt 1936: 373], quoting Grienberger's comparison with the Latin-Germanic inscription *matronis Gabiabus* from the lower Rhine, interpreted as 'Mutter-Geberin'). If the Baltic comparison is correct, it excludes the variant with \*-gʰ- in the position of the second consonant.

Note: In regard of the conclusion determining the Italo-Celtic isogloss \*gʰ/gʰuob<sup>(h)</sup>- 'smith' = 'fire-ruler' or sim., it is tempting to etymologize Latin *febris* 'fever' on the basis of the same root in the *e*-grade (\*gʰ/gʰueb<sup>(h)</sup>-ri-) and not from \*dʰegʰ-ri- vs. *foueō* or from \*dʰe-dʰri- vs. Greek *πανθαρόζω·τρέμω* [Ernout, Meillet 1959: 222]. Concerning the semantic relation of 'fever' and 'fire', cf. the witness of Grattius 389: *aestiuos uibrans accensis febribus ignes* for Latin or Greek *πυρετός* 'fever' (Hippocrates, Aph. 2.26; Aristophanes, Vespae, 1038) from *πῦρ* 'fire'.

29. As the Roman fire-god was honored *Volcānus*.  
Vulcan appeared already in the works of T. M. Plautus (see [Riley]):  
Rudens: act 3, scene 4, line 56:

*Volcanum adducam, is Veneris adversarius*  
'I'll bring Vulcan: he is an enemy to Venus';

Bacchides: act 2, scene 3, line 20:

*Quia edepol certo scio, Volcanus, Luna, Sol, Dies,*  
'Because, i'faith, I know for sure, that Vulcan, the Moon, the Sun, the Day,  
*dei quattuor, scelestiorem nullum inluxere alterum*  
those four Divinities, never shone upon another more wicked';

Amphitruo: act 1, scene 1, line 339:

*Quo ambulas tu, qui Volcanum in cornu conclusum geris?*

'Where are you going, you that are carrying Vulcan enclosed in your horn?'

Cicero in his «De Natura Deorum» III, 22.55f recognized four deities, which he called Vulcan: *Volcani item complures: primus Caelo natus, ex quo et Minerva Apollinem eum cuius in tutela Athenas antiqui historici esse voluerunt, secundus Nilo natus, Phthas ut Aegyptii appellant, quem custodem esse Aegypti volunt, tertius ex tertio Iove et Iunone, qui Lemni fabricae traditur praefuisse, quartus Memalio natus, qui tenuit insulas propter Siciliam quae Volcaniae nominabantur* 'There are also several Vulcans; the first, the son of the Sky, was reputed the father by Minerva of the Apollo said by the ancient historians to be the tutelary deity of Athens; the second, the son of Nile, is named by the Egyptians Phthas, and is deemed the guardian of Egypt; the third is the son of the third Jupiter and Juno, and is fabled to have been the master of a smithy at Lemnos; the fourth is the son of Memalius, and lord of the islands near Sicily which used to be named the Isles of Vulcan'. Elsewhere Cicero mentioned that gods have various names depending on territory (I, 30.84): *At primum, quot hominum linguae, tot nomina deorum. Non enim, ut tu Velleius, idem in Africa, idem in Hispania* 'But in the first place the gods have as many names as mankind has languages. You are Velleius wherever you travel, but Vulcan has a different name in Italy, in Africa and in Spain'. In the following notice Cicero apparently described Hephaestus (I, 30.83): *Et quidem laudamus Athenis Volcanum eum fecit Alcamenes, in quo stante atque vestito leviter apparet claudicatio non deformis. Claudum igitur habebimus deum quoniam de Volcano sic accepimus* 'And at Athens there is a much-praised statue of Vulcan made by Alcamenes, a standing figure, draped, which displays a slight lameness, though not enough to be unsightly. We shall therefore deem god to be lame, since tradition represents Vulcan so' (translated by H. Rackham: [Cicero 1972: 338–339, 80–81]). The Festival of Vulcan was celebrated on the 23rd of August. Varro in his «De Lingua Latina» VI, 20 described the festival as follows: *Volcanalia a Volcano, quod ei tum feriae et quod eo die populus pro se in ignem animalia mittit* 'The Volcanalia 'Festival of Vulcan', from Vulcan, because then was his festival and because on that day the people, acting for themselves, drive their animals over a fire' (translation R. G. Kent: [Varro

1967: 192–193]). The name of Vulcan was also used in the sense of ‘fire’. So Caesar in his «De bello Gallico» informed us about the gods celebrated by Germans (VI, 21.2): *Deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus iuvantur; Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne fama quidem acceperunt* ‘They rank in the number of the gods those alone whom they behold, and by whose instrumentality they are obviously benefited, namely the Sun, Fire, and the Moon, they have not heard of the other deities even by report’ (translated by [McDevitte, Bohn 1869]).

29.1. There are several corresponding theonyms, whose bearers were functionally connected with smithery:

(i) The Osset Digor divine smith and lord of fire called *Kurd-Alæwærgon* (besides the simplified variants *Kurd-Alæwgon* and *Kurd-Alærgon*). Abaev [Абаев 1949: 592–594; Абаев I: 610; IV: 93–94]; cf. also [Meid 1961a: 127–131]) derives his name from Iranian *\*kurta-* *\*ārya-* *\*Varkāna-*, i.e. the ‘Aryan smith Varkāna’, comparing the theonym *\*Varkāna-* with the name of the Roman fire-god *Volcānus* (cf. also [Polomé 1997: 529]).

(ii) The hospitable druid-smith *Olc Aiche* from the early Irish stories «Cath Maige Mucrama» (1.218: *goba*), «Scéla Éogain» (1.447: *druí-goba*; 11.405–06: *druí*), «Geneamuin Chormaic» (11.4–5: *goba*), see [O Daly 1975: 52–53, 64–68; Hull 1952: 82; McCone 1984: 5–6]. The name is probably derivable from *\*ulk-*, cf. Irish man’s name *Olcán* vs. Ogam *Ulc(c)agni*. See § 34.

(iii) The Germanic divine smith, whose name is known in two variants, *\*Walundaz* (Old Icelandic *Vǫlundr*, Old High German *Walant*) and *\*Wēlandaz* (Old English *Wēland*, Middle High German *Wielant*, Old Icelandic *Velent*), see [Топопова 1989: 442–443]. But it remains to explain the lack of expected *\*-h-/\*-g-*, regular only for Old Norse.

Beginning from Schlegel the theonym *Volcānus* has been connected with Old Indic *ulkā* ‘fire falling from heaven, meteor, firebrand’, in RV IV, 4.2 used about the flames of the fire-god Agni ([Meid 1961a: 131]; W. Eisenhut, [RE, Suppl. XIV, 1974: 949]). Interesting is also the Greek gloss mediated by Hesychius: ἄφλαξ · λαμπρῶς. Κύπριοι (see [Walde, Hofmann II: 326]), derivable from *\*H<sub>2</sub>ulk-* or *\*ulk-* with some of the prefixes *\*sm-* ‘together with’ or *\*H<sub>1</sub>n-* ‘in’. A further cognate can be Old Norse *olgr* & *olgr* ‘Odin’s name: hawk, ox’, poet. ‘fire’, derivable from *\*wulgaz* << *\*ulkó-* (see [de Vries 1962/1977: 418]). Let us stress that it was Óðinn, who .. *smiðaði himin ok iqrð ok lopt* ‘..forged heavens and earth and air’ (Edda of Snorri Sturluson: Gylfaginning 2 [Sturluson 1982]).

(iv) Most problematic seems the traditional comparison of *Volcānus* with Hesychius’ gloss *φελχάνος · ὁ Ζεὺς παρὰ Κρησίῳν*. The first objection consists in the fact that Zeus was not a fire-god or even smith-god. Doubtful is

not the difference in the vocalism of the first syllable, because the Latin theonym is probably derived from older *\*Velkānos* (cf. [Radtko 1965: 347; Schrijver 1991: 470]). But the correspondence of Latin *-c-* and Greek *-χ-* is not regular. It is necessary to seek another solution. One possibility could be ‘Pelagic’ origin (cf. [Meid 1961b: 260]), accepting the hypothesis of the regular *Lautverschiebung* for the pre-Greek language of Hellas. But there is perhaps an easier solution, namely the spontaneous metathesis of aspiration in later Greek: *πάθνη* for *φάτνη*, Cretan *καυχος* for *χαλκός* etc. [Lejeune 1972: 59–60, § 47]. If this idea is correct, *φελχάνος* is derivable from *\*φελκάνος* < *\*smelk<sup>o</sup>*. With regard to *ἔλκανα · τραύματα* (Hesych.), derived from *ἔλκω* ‘I draw, drag; tear’, it is perhaps possible to think about the meaning ‘that who causes wounds’. Independently on interpretation of the sense of this Zeus’ epithet, it is apparent that it has nothing common with *Volcānus*.

29.2. Walde, Hofmann [II: 326] also compared *Volcānus* with Old Indic *vārcas-* n. ‘energy, vital power, vigour, activity; esp. the illuminating power of fire or the sun, i.e. brilliance, lustre, light’ (RV), *vārcas-vant-* ‘vigorous, fresh’ (Atharvaveda), ‘shining, bright’ (Vājasaneyi Saṃhitā) = Gatha Avestan *var<sup>2</sup>cah-* n. ‘Würde, Glanz, Ansehen’ [Yasna XXXII: 14], Young Avestan *var<sup>2</sup>cah-uuant-* ‘strahlend, würdevoll’, further Sogdian *tr-w’rc* ‘ultra-miraculous’, Middle Persian *warz* ‘Wunderkraft’, Persian *warj* ‘Würde’ [KEWA III: 153; EWAI II: 516]. It is apparent, Indo-Iranian *\*yarc-as-*, if reflects *\*yolk-es-* with the primary meaning ‘power of fire’ is compatible with the comparanda discussed in § 16.2. On the other hand, if the primary meaning was connected with ‘energy’, it is possible to add Hittite *walkissara-/ulkissara-* ‘kundig, erfahren’ [Tischler 2001: 194].

## CELTIC

30. In Insular Celtic languages there is a common designation for ‘smith’, usually reconstructed as *\*gobenn-/\*gobann-*:

Old Irish *gobae*, gen. sg. *gobann* < *\*gobenn-* [Thurneysen 1946: 209], cf. further Middle Irish *goba*, gen. sg. *gobann*, dat.sg. *gobaind*, gen. pl. *goband*, Modern Irish *gobha*, gen. sg. *gobhann*, nom. pl. *gaibhne* (from old acc. pl. *\*goibnea*), Gaelic *gobha*, gen. sg. *gobhainn* [MacBain 1911: 200; Pedersen II: 112]. It is probable to identify this root (as a proper name?) in the Ogam inscription from Ardmore, County Waterford, from the middle of the 5th cent.: DOLATIBIGAISGOB[, probably DOLATI, BIGAIS. GOB[ [Королев 1984: 90, 159; Ziegler 1994: 185, 274].

Middle Welsh *gof*, pl. *gofein* < *\*gofan(n)* or *\*gofenn* [de Bernardo Stempel 1987: 117], Modern Welsh *gof*, pl. *gofaint*, *gofion*, *gofiaid* ([Holder I: 2030:



Stokes 1894: 114; Pedersen II: 112], who derived the Welsh plural form *gofaint* from the *nt*-stems with the plural in *\*-antoi* in Brythonic); Old Cornish *gof* gl. ‘faber vel cudo’ [Campanile 1974: 50]; Old Breton *gof* in the personal names *Ran Gof* (832-68 AD), *Uuor-gouan*, Middle Breton *goff* (Catholicon, 1464), Modern Breton *gov* (Hémon), *gôv*, *gôf* (Le Gonidec), Tréguir, Vannetais *gô* ‘blacksmith’ [Stokes 1894: 114; Henry 1900: 136; Fleuriot 1964: 177; Jackson 1986: 609]. For proto-Celtic Pedersen (l.c.) proposed the heteroclititic inflection typical for original neuter: nom. sg. *\*-ās*, gen. sg. *\*-ās-n-os* (cf. his inclusion of this etymology among examples illustrating the change *\*-sn-* > Celtic *\*-nn-*; see [Pedersen I: 86]).

A corresponding appellative was identified in Gaulish too, namely the word *gobedbi* in the inscription from Alise-Sainte-Reine, which was determined G. Poisson already in 1908 (see [Lambert 1994/2003: 99]). Let us mention the inscription with the translations of A. Lambert [1994/2003: 99–100] and B. Schrijver [1997: 182]:

MARTIALIS DANNOTALI IEVRV UCUETE SOSIN CELICNON

A. ‘Martialis, son of Dannotalos, has devoted Ucuētis this building,  
B. Martialis, son of Dannotalos, has offered to Ucuētis this *celicnon*,

ETIC GOBEDBI DUGHIONTHIO UCUETIN IN ALISIIA

A. and with smiths who honour Ucuētis in Alisia’  
B. which is [made] by the smiths who worship Ucuētis in Alisia’.

Schmidt [1983: 752] tried to find a common denominator of both insular and continental Celtic forms in *\*gobnn-* or *\*gobnd-*. Accepting this starting point, de Bernardo Stempel [1987: 117] included it in her study devoted to the syllabic sonants in Celtic (*\*gobann-* < *\*gobnd-*; *\*gobenn-* < *\*gobend-*, including Gaulish *gobed-bi*, if it is derivable from *\*gobend-bi*). For the insular forms Hamp [1988: 54] proposes the starting point *\*gobnt-n-*, where the stem is formed by the active participle (based on the Welsh pl. *gobaint* < *\*gobant-i-*), plus the individuating *-n-* suffix. This idea is attractive, because it explains the root vowel *\*-o-* (Beekes, p.c. May 2003). On the other hand, Hamp derives Gaulish *gobedbi* from *\*gob-et-bi*, determining *gob-et-* as the independent derivative in the agentive suffix *\*-et-* with function parallel to the *-nt-* participle. His point of view was accepted by de Bernardo Stempel in her recent monograph on the early Irish nominal derivatives [de Bernardo Stempel 1999: 156]. For analogical word-formation, she quotes Gaulish personal names *Cing-et-ius*, *Cing-et-o-rix*: Old Irish *cing* ‘warrior, champion’, *Org-et-ius*, *Org-et-o-rix*: Old Irish *orcaid* ‘kills, slays’, tribal name *Cal-et-es*: Old Irish *calad* ‘hard’. There is another possibility to connect the insular and continental forms together. In the Gaulish Calendar of Coligny the word (or its abbreviation) *MID* ‘month / moon’ was determined. If it reflects Celtic

*\*mīns*(C?.), we must assume a rule changing the cluster *\*-ns*(C?)- into Gaulish *\*-nd̄*(C?)-, giving *d* in script. This idea implies the following modification of Pedersen’s reconstruction: It seems better to start from the primary *n*-stem *\*gob-ŋ/-en-* in Celtic, plus *-(e)s-* to form the neuter abstract noun, extended with the heteroclititic inflection in *-n-* (Pedersen: heteroclititic; Hamp: individualization). A satisfactory starting point for common Celtic could be *\*gob-ŋs/-ens(-n-)*, or accepting Hamp’s participle interpretation, *\*gob-ŋt-s / -ent(-n-)*.

A quite different suffixal extension occurs in Middle Welsh *geueil*, Welsh *gofail* & *gefail* f., Old Cornish *gofail* gl. ‘officina’, Old Welsh rather than Old Breton *gobail* id., Middle Breton *gouel*, Breton *gôvel* ‘smithy, forge’ ([Fleuriot 1964: 177; Falileyev 2000: 62; Pedersen II: 54]: *\*gobal-ī/-iā*).

The studied protoforms from the point of view of the word-formation:

Attested form	IE projection	extension
Latin <i>faber</i>	<i>*g<sup>wh</sup>/g<sup>h</sup>uob-ro-</i>	<i>*-ro-</i>
Old Irish <i>gobae</i> , gen. <i>gobann</i>	<i>*g<sup>wh</sup>/g<sup>h</sup>uob-ŋ(t)s, -en(t)snos</i>	<i>*-n(t)- + *-s-</i>
Middle Welsh <i>gof</i> , pl. <i>gofein</i>	<i>*g<sup>wh</sup>/g<sup>h</sup>uob-ŋ(t)s/-en(t)s(-n-)</i>	<i>*-n(t)- + *-s-</i>
Gaulish <i>gobed-bi</i>	<i>*g<sup>wh</sup>/g<sup>h</sup>uob-en(t)s-b<sup>h</sup>i</i>	<i>*-n(t)- + *-s-</i>
Old Breton <i>gobail</i>	<i>*g<sup>wh</sup>/g<sup>h</sup>uob- al-ī/-iā</i>	<i>*-al-ī/-al-iā</i>
Lithuanian <i>gabė</i> ~ <i>gubė</i>	<i>*g<sup>wh</sup>/g<sup>h</sup>uob-iā</i>	<i>*-i-?</i>

The *n*-stem, plus *-es*-neuter proposed for Celtic by Pedersen, *n*-derivative in Germanic, *-ro*-adjective in Latin, all form the group of Caland’s suffixes (cf. the recent discussion by [Meissner 1998]). It could be another argument supporting the relation of these forms.

From the etymological explanations proposed till the present time only two will be analyzed — 30.1. The comparison with Latin *faber* ‘workman, artificer, smith’ [MacBain 1911: 200] is analyzed above (§ 28.3).

30.2. The comparison with Latin *habilis* ‘skilful’, Lithuanian *gabūs*, *gobūs* ‘able, skilful’ from IE *\*g<sup>h</sup>ab<sup>h</sup>-* ‘to seize, hold’ was proposed by Mann [1984–1987: 309, 327]. Latin *habilis* ‘skilful’ is a derivative of the verb *habēō*, *-ēre* ‘haben, halten’, which together with Umbrian *habetu* ‘soll halten’ reflect the essive stem *\*g<sup>h</sup>Hb-H<sub>1</sub>ié-*; Umbrian *habe* ‘hat ergreifen’ < *\*habed* < aorist-stem *\*g<sup>h</sup>éHb-/g<sup>h</sup>Hb-*; Umbrian *hahtu* ‘soll ergreifen’ < *\*habitōd*, fut. *habiest* ‘wird ergreifen’, besides Oscan fut. *hafieist* ‘wird nehmen’ < present-stem *\*g<sup>h</sup>Hb-ié-*; plus the Celtic counterparts as Gaulish 2sg imperative *gabi!* ‘nimm!’, Old Irish *-gaib*, *-gaibet* ‘nehmen’, all from IE *\*g<sup>h</sup>eHb-* ‘ergreifen, nehmen’ [LIV: 195]. Lithuanian *gabūs* ‘able, skilful’ with the lengthened

variant must be derived from the verb *gebù* : *gebēti* ‘vermögen, fähig sein; gewohnt sein’ < \**g<sup>h</sup>eb<sup>h</sup>-e-*, with the lengthened variant *at-gēbau* < \**gēb-* < \**gegb-*, and the *o*-grade-variant *gabēnti* ‘transportieren, herbei-, fortschaffen’ (cf. also the theonym *Gabiáuja* ‘goddess of wealth’), i.e. the root without any laryngeal, how the parallels from other IE languages confirm: Gothic *giban* ‘geben’ < present-stem \**g<sup>h</sup>eb<sup>h</sup>-e-*, *gaf* ‘gab’ < \**g<sup>h</sup>ob<sup>h</sup>-*, *gebun* ‘gaben’ < \**gēb-* < \**gegb-*, both from the perfect-stem \**g<sup>h</sup>e-g<sup>h</sup>yb<sup>h</sup>-/g<sup>h</sup>b<sup>h</sup>-*, cf. Old Indic *gábhasti-* ‘hand’ = Khotanese *ggoštā*, Avestan *gauua-* ‘hand’, all from IE \**g<sup>h</sup>eb<sup>h</sup>-* ‘keep, take; give’ [LIV: 193]. From the point of view of historical phonology and morphology, the Celtic designation of ‘smith’ is derivable from the *o*-grade of the verbal root \**g<sup>h</sup>eb<sup>h</sup>-*. But it remains to explain the semantic connection of the *aniṭ*-roots and the Celtic designations of ‘smith’.

30.3. De Bernardo Stempel [1994: 21; 2003: 49, fn. 52] offered the derivation of the Celtic word for ‘smith’ from the root \**g<sup>h</sup>eub<sup>h</sup>-*, attested e.g. in Lithuanian *gaubtis-* ‘sich krummen’, *gubùs* ‘geschickt, gewandt, kundig’ [Pokorny 1959: 450; Mann 1984–1987: 346–347]. From the point of view of historical phonology (see § 28) and morphology, it is quite acceptable to derive the Celtic & Latin designations for ‘smith’ from \**g<sup>h</sup>uob<sup>(h)</sup>-*, i.e. the *o*-grade of Benveniste’s variant II of the root \**g<sup>h</sup>eub<sup>(h)</sup>-*. The weakest point of this etymology remains the semantic development. It would be the only case of the similar semantic motivaton.

31. Another appellative designating metal-workers in Celtic languages is Old Irish *cerd* m. ‘craftsman, artisan’, frequently ‘bronze-, gold- & silver-smith’, f. ‘handicraft, art, skill, feat, accomplishment’ (f. in \**-ā* is more archaic, see [de Bernardo Stempel 1999: 51]), cf. the gloss *cert* ‘qui idula aere faciebat’, besides another gloss ‘figulus’; further *cerdach* ‘skilful, skilled’ < \**kerdākiā* and *cerdchae* ‘forge’, *cerddchae* gl. ‘officina’, consisting of *cerd* ‘metal worker, artisan’ & *cae* ‘house’ [DIL: C-139-40; de Bernardo Stempel 1999: 156, fn. 7, 370, fn. 193, 447, fn. 4]. Related are Middle & Modern Welsh *cerdd* f. ‘artisanat, métier; poésie, musique, poème’ and the derivatives in Middle Welsh *cerddawr* musicien, artisan’, *cerddoriaeth* f. ‘musique, poésie’, Old Breton *cerdoran* gl. ‘parasitaster’, lit. ‘petit poète’, *gurt-cird* ‘contre-arts’? [LEIA: C-72; Fleuriot 1964: 103, 203]. Outside of Celtic there are possible cognate in Greek κέρδος ‘gain, profit’ (Il. X, 225; Od. XXIII, 140), nom. pl. κέρδεα ‘cunning arts, trick’ (Il. XXIII, 322), κερδαλέος ‘willy, crafty, cunning, shrewd’ (Od. XIII, 291), κερδοσύνη adv. ‘cunningly, by craft’ (Il. XXII, 247; Od. IV, 251); Greek \*Κέρδων > Latin *cerdō* ‘handicraftsman’ [Juvenalis IV: 153; VIII: 182] [Liddell, Scott 1901: 799]; interesting is also Old Nordic *horti* m. ‘clever’ ([Pokorny 1959: 579]; missing in [de Vries 1962/1977]).

32. The derivatives from the Celtic root \**gob-* (see § 30) occur in the Insular Celtic mythological onomasticon:

Old Irish *Goibniu*, gen. sg. *Goibnenn* ‘divine smith of *Túatha Dé Danann*, creator of weapons’ < \**gobanniō* [Lambert 1994/2003: 30; de Bernardo Stempel 1999: 100, 109].

In «Lebor Gabála» he is included among Seven chieftains of *Túatha Dé Danann*:

*Atbear comadh hé Bethach mac Iardainis uisech na gabála-sa  
 7 na n-eladhan, 7 secht tuisich ar sain,  
 .i. Dagda, Dhan Cecht, Creidne, Luchne, Níadu Airgitlam,  
 Lugh mac Cein, Goibnend mac Ethlenn, de quibus secht meic Ethlenn* [§ 353]  
 ‘It is said that Bethach son of Iardan was chieftain of that Taking (= *Túatha Dé Danann*)  
 and of the arts, and that seven chieftains followed him  
 — Dagda, Dian Cecht, Creidne, Luchne, Nuadu Argatlam,  
 Lug son of Cian, **Goibniu** son of Ethliu; *de quibus* the seven sons of Ethliu’.

He is frequently designated as ‘smith’, besides the specializations of his colleagues:

*Goibnend Goba, 7 Luicne sáer, 7 Creidne cerd, Duan Cecht in liaig* [§ 314]  
 ‘Goibniu the smith, Luicne the carpenter, Creidne the wright, Dian Cecht the leech.’

*..is aige badar in t-aos dána,  
 Goibnend Goba 7 Creidhne cerd 7 Lucra saor 7 Dian Cecht in liaigh* [§ 343]  
 ‘In his (= of *Nuadu Airgetlam*) company were the craftsmen,  
 Goibniu the smith, Creidhne the wright, Luicne the carpenter, Dian Cecht the leech’ (Edition and translation by R. A. Stewart MacAlister [1941]).

In the Second Battle of «Mag Tuired» he is also explicitly called ‘smith’:

*Ro imconhoirc a gaboinn .i. Gaibne, cia cumong conanocur doib?* [§ 96]  
 ‘And he [[Lug]] asked his **smith**, even **Goibniu**, what power he wielded for them?’

Goibniu answers:

*Gé bet fir Erenn isin cath go cenn secht mbliatan,  
 gai detæt dia crunn ann,  
 no claidem memais ann, tarceba arm nua uamsai ina inoth.  
 Nach rind degeno mo lam-so, ..ni forcetar inrold de.  
 Nach cnes i ragæ noco blasfe bethaid de iersin.  
 Ni bó gnithe do Dulb gobhæ na Fomore annisin* [§ 97]

‘Though the men of Erin bide in the battle to the end of seven years.  
(for every) spear that parts from its shaft,  
or sword that shall break there-in, I will provide a new weapon in its place.  
No spearpoint which my hand shall forge, .. shall make a missing cast.  
No skin which it pierces shall taste life afterwards.  
That has not been done by Dolb the smith of the Fomorians’.

It was really so:

*Ni ba edh immorro de Tuathaib Dea, ar cia no clotis a n-airm-sium andiu  
atgainidis amarach, fobíth roboi Goibnenn Goba isin cerdchai ag denam calc 7  
gai 7 sleg...* [§ 122]

‘For though their weapons were blunted and broken today, they were renewed  
on morrow, because Goibniu the smith was in the forge making swords and  
spears and javelins...’

His colleague *cerd* ‘brazier’ *Credne* answers Lug’s question:

*Semonn a ngai 7 dornclai a cloidim 7 cobraid a sciath 7 a mbile rusia linsai doib  
ule* [§ 101]

‘Rivets for their spears, and hilts for their swords, and bosses and rims for their  
shields, I will supply them all’.

Finally the *soer* ‘wright’ *Luchta* offers:

*A ndoethain sciat[*h*] 7 crand sleg rosíæ lemsai doib ule* [§ 103]

‘All the shields and javelin-shafts they require, I will supply them all’.  
These three craftsmen are designated as *oes dána* ‘men of art’  
([§ 124; cf. Schmidt 1983: 755]; edition and translation by Whitley Stokes  
[1891: 88–93]).

*Goibniu* was transformed in his euhemerized version, where under the  
name *Gobbán Saor* lives in the Irish and Scottish Gaelic folklore till the 20th  
century (cf. [De Búrca 1967: 145–146; MacKillop 1998: 226]).

Middle Welsh *Govannon* — ‘son of the goddess *Dôn*’ < \**gobannonos*  
[Lambert 1994/2003: 101], who is mentioned in The Fourth Branch of *Ma-  
binogi*, where he killed his nephew Dylan eil Ton, and in *Culhwch ac Olwen*,  
here together with his brother *Amaethon* ‘Plowman’ (\**ambi-agtonos*; cf. Latin  
*ambacius* < Gaulish) in the role of prominent helpers of *Culhwch* for their  
unrivalled manipulation with a plow. The ability of *Govannon* is described  
in the lines 584–587 (see the edition of [Bromwich, Evans 1992: 22]):

*Kyt keffych hynny, yssit ny cheffych.*

*Gouannon mab Don y dyuot yt ym penn y tir y waret yr heyrn.*

*Ny wna ef weith o’e uod namyn y urenhin teithiawc.*

*ny elly ditheu treis arnaw ef*

‘Though thou get this, there is yet that which wilt not get.  
Govannon the son of Don to come to the headland to rid the iron,  
he will do no work of his own good will except for a lawful king,  
and thou wilt not be able to compel him’  
(translated by [Guest 1877: 236]).

The Old Brythonic name of the fortress *Gobannio* (*Itinerarium Pro-  
vinciarum Antonini Augusti*) continuing in contemporary *Aber-gavenny* is  
of the same origin [Holder I: 2030; Hamp 1988: 53–54].

The same stem was productive in the Gaulish anthroponymy [Holder I:  
2030; Evans 1967: 350–351; Stüber 2005: 20–42; Delamarre 2007: 105]:

*Gobannitio* — Brother of *Celtillus*, father of *Vercingetorix*, who tried to  
restrain his nephew in his efforts for rebellion against Caesar in 52 B.C. (*De  
bello gallico* 7.4.2).

*Gobani(c)no* — Personal name attested in one Latin inscription from the  
abbey of Saint-Just, near Suze, usually interpreted as *Gobanni filius*.

P. de Bernardo Stempel [2003: 49–50] adds important supplementa:

*GOBANO* — the theonym attested by Bern (see also [Fellmann 2004:  
747–748]).

*Deo Cobanno / Cobannu* — known from the inscription from Bois de  
Couan by Fontenay-près-Vézelay (see also [Fellmann 2004: 749]).

*Deo Xuban(us)* — known from one dedication from Aquitania  
Novempopulana.

33. The legendary Irish divine craftsman *Crédne*, is characterized as  
*cerd* (see § 31):

*Goibnend Goba, 7 Luicne sáer, 7 Creidne cerd, Duan Cecht in liaig*

‘Goibniu the smith, Luicne the carpenter, Creidne the wright, Dian Cecht the  
leech’ (Lebor Gabála, 314).

33.1. O’Rahilly [1942: 159–160] connected this divine-name with the  
word *cerd*, while it should be derived from the root \**K<sup>w</sup>er-* ‘to make’, re-  
constructing the starting form \**K<sup>w</sup>redenios*. For this reason O’Rahilly had to  
reject the Greek comparanda and explained the Welsh word *cerdd* as a  
Goidelic loan (sceptically [LEIA: C-72]).

33.2. In spite of the attractive word-play *cerd ... Crédne*, there is an  
easier solution, namely the derivation of *Crédne* from the word *créd* ‘copper,  
bronze’, earlier perhaps ‘tin’, cf. the compound *créd-umae* ‘bronze’ vs. *umae*  
‘copper, bronze’ [LEIA: C-226-27; de Bernardo Stempel 1999: 363, fn. 134].

33.3. Alternatively, it is possible to see in the first component a derivative  
from *cré*, gen. *criad* ‘clay, earth’ [LEIA: C-224]. In this case *Crédne* would

be a craftsman working with forms from clay. Let us mention that *cerd* was glossed as 'qui idula aere faciebat', but also 'figulus'.

34. *Olc Aiche* was a hospitable druid-smith appearing e.g. in the early Irish stories «Cath Maige Mucrama» (section 44, lines 218–220):

<sup>218</sup>*Luid trá Art mac Cuinn dar Sinaid siar co mórslúagaib* <sup>219</sup>*fer nHérend immi*  
'Art son of Cond, then, went westwards across the Shannon accompanied by great hosts of the men of Ireland.

*Do-génai Olc Acha .i. goba di Chonnachtaib a* <sup>220</sup>*yegidacht in n-aichi riasin chath...*

The night before the battle *Olc Acha*, a smith of the Connachtmen, gave him hospitality'.

The hospitality of *Olc Acha* was really far-fetching. A day before battle he asked Art:

<sup>224</sup>*Cía méit di chlaind fo-rácbai(s)-seo, a Airt?*

'«How many children have you left, Art?» said he (= *Olc Aiche*)'

<sup>225</sup>*Óenmac', ar Art. 'Robec, ám', orse.*

'«One son», said Art. «Too little, indeed», said he.

*'Fóe lamm ingin-se <.i. Achtan a ainm> innocht, a Airt'.*

'Sleep with my daughter <Achtan was her name> tonight, Art'.

<sup>230</sup>*Foid lé in n-oidchi-sin. Iss and ra compred Cormac.*

'He sleeps with her that night. It was then that Cormac was conceived.

*As-bert* <sup>231</sup>*frie no bérad mac 7 ropad ru Herend in mac-sin ...*

He (= Art) told her she would bear a son and that son would be king of Ireland. ...

<sup>233</sup>*...Ocus as-<sup>234</sup>bert no mairb(b)fid arnabárach 7 celebráid d'*

And he said that he would be killed the following day and he takes leave of her'.

The situation continues 9 months later.

Scéla Éogain (section 10 & 11, lines 443–449):

<sup>443</sup>*Téit Art don chath. In tan robtar lá(i)n a nnoí mis ingine* <sup>444</sup>*Huilc Haiche*

'Art goes to the battle. When the nine months of *Olc Aiche*'s daughter were complete.

*for Cormac, lámnith. Berith mac, Cormac a ainm.*

she gives birth. She bears a son, Cormac (was) his name.

<sup>445</sup>*Is de ro hainniged, de as-rubairt ( ):*

From this he was named, of him had said:

*Taurucéba mac (n)gor* <sup>446</sup>*éim.* *Cormac íarum.*

'You will rear a filial son indeed — thence *Cor-mac*'

<sup>447</sup>*In tan ro génair Cormac fo-caird in druí-goba* <sup>448</sup>*Huilc Haiche*

'When Cormac was born, the druid-smith, *Olc Aiche*,

*cóic cresa imdegla fair, ar guin, ar báduth, ar thein,*

put five protective (magic) circles about him, against wounding, against drowning, against fire,

<sup>449</sup>*ar adgaire, ar chonaib (.i.) ar cach holc.*

against enchantment', against wolves, that is to say, against every evil'.

See [O Daly 1975: 52–53, 64–68; Hull 1952: 82; McCone 1984: 5–6]. The name is probably derivable from \**ulk-*, cf. Irish man's name *Olcán* and its more archaic predecessor in the Ogam transcription **Ulcagni** (gen. sg.; Cork: 6th cent.?) and **Ulcagni** (gen. sg.; Cornwall, AD 450–500).

34.1. At first sight the name *Olc Aiche* can be etymologized as 'the bad one of Aiche' (on etymology of *olc* 'evil' see [LEIA: O-20]), where the latter name with its variant *Acha* are interpreted as place-name. McCone [1985: 171–176] analyzes the possibility to connect *Olc* with the common Indo-European designation for 'wolf'. He concludes that IE \**ul̥kʷos* should continue in Old Irish \**flec*. On the other hand, *Olc* is derivable from \**ul̥kʷos*, i.e. the same word formation with another syllabification. In the case of the second name, he thinks about corruption from such forms as *achad* 'pasture' or *aithche*, gen. sg. of *adaig* 'night'. Just latter possibility to reconstruct *Olc* \**Aithche* 'wolf of the night' is for McCone attractive. He seeks a support in the Old Norse name *Kveld-ulfr*, lit. 'evening wolf', described in *Egilssaga* 27 as a 'retired berserk warrior turned man of property who was given to nocturnal change of form and wanderings to earn his name'.

34.2. The description of *Olc Aiche*, the druid-smith, whose hospitality overcame all usual limits, excludes any relation of his name with the meaning 'evil'. McCone's idea about the connection of *Olc* with the IE designation for 'wolf' is attractive, but its proofs remain only in the level of speculation. But there is an alternative possibility, supported by such explicit definitions as *Olc Acha .i. goba di Chonnachtaib* 'Olc Acha, a smith of the Connachtmen' or in *druí-goba Huilc Haiche* 'the druid-smith *Olc Aiche*'. The alternative solution so allows to identify in *Olc* another name for 'smith'. The protoform \**ulk-* is compatible with the comparanda discussed above in § 16, 29.

35. In the Ulster Cycle *Culann*, characterized as one-eyed (*caech*), was a smith (*cerd*), whose hound was killed by the boy called *Sétanta*. The boy promised him to replace *Culann*'s hound and so the druid Cathbad decided about his new name *Cú Chulainn*, i.e. 'dog of *Culann*'. This story is described in the saga «*Táin bó Cúailnge*» (sections 540–607), where already the title expresses the content:

*Aided con na cerda inso la Coin Culaind 7 aní día fil Cú Chulaind fair-seom*  
'The killing of the Smith's Hound by *Cú Chulainn* and the reason why he is called *Cú Chulainn*'

*Dia forgéni Cauland cerdd óegidacht do Chonc(h)obur...*

'When Culann the smith prepared a feast for Conchobar...'  
(sections 540, 545; see [O'Rahilly 1976: 17, 140]).

The name *Culann* has to reflect Celtic *\*Kolionos*, which Olmsted [1994: 348] derives from the root *\*kelH<sub>2</sub>* 'to strike, beat', but in Baltic 'to forge': Lithuanian *kalù, kálti*, Latvian *kal' u, kált* 'schlagen, schmieden' vs. Lithuanian *kálvis* 'Schmied', *prei-kālas* 'Amboss' etc. [Pokorny 1959: 546; LIV: 350].

36. In the Second Battle of Mag Tuired *Goibniu*, the divine smith of *Túatha dé Danann*, describes his abilities in contrary to the smith of Fomorians, called *Dolb*:

*Ni bó gnithe do Dulb gobhæ na Fomore annisin*  
'That has not been done by Dolb the smith of the Fomorians'  
(Lebor Gabála 97; translated by [MacAlister 1941]).

The name corresponds with *dolb* m. 'sorcery, magical illusion, mystery' <*\*doluo-*, *dolbaid* 'fashions, shapes, forms', part. *doilbthe* 'formed, shaped: magical, enchanted', *doilbthid* 'figulus' [DIL: D-327, 306; LEIA: D-160]; further *delb* f. 'form, figure, shape, appearance, image, statue' <*\*deluā* [DIL: D-18]. Related are Old Welsh *delu*, Old Cornish *delu* 'imago, figura, effigies'; Latin *dolāre* 'to chip with an axe, hew; shape, construct'; Greek *δαίδαλεος* 'cunningly or curiously wrought' (by Homer always of metal or wood), *δαίδαλος* 'the Cunning Worker from Knossus in Crete, the first sculptor who gave the appearance of motion to his statues', also a 'maker of a *χορός* for Ariadne' (Il. XVIII, 592), *δαίδαλλω* 'I work cunningly (Il. XVIII, 489)'; Old Indic *dalati* 'splits, cracks, opens (a bud)' [Pokorny 1959: 194].

37. It would be surprising, if *Lug* called *Sam-il-dánach* 'skilled in many arts together' (Cath Maige Tuired, 56), the greatest divine hero of ancient Ireland and the only Celtic god, who was celebrated by all Goidels, Brittons, Gauls and Celtiberians, had also not the qualification of a smith. Really, he had, at least in Ireland. Let us repeat a fragment of the nice dialogue between him and the doorkeeper of Tara (Cath Maige Tuired 'Second Battle of Moytura', section 58 & 66; translated by Whiteley Stokes):

<sup>58</sup>*Atpert-sum: 'Atom-Athcomairc, a dorrsoid: am gòbhæ'*  
'He said: 'Question me, O doorkeeper! I am a **smith**'.  
*Frisgart ion dorsaid dou: 'Ata gobæ liond cenai*  
The doorkeeper answered him: 'We have a smith already,  
*i. Colum Cuaolléinech teoræ nua-gres'*.  
even Colum Cualléinech of the three new processes'.

<sup>66</sup>*Atbert: 'Atom-athcomairc: am cert maith'*  
'He said: 'Question me. I am a good **brazier**'  
*'Nít-regom e les: ata cert lind cemu. i. Credne cerd'*.  
'We need thee not. We have a brazier already, even Credne Cerd'.

The god *Lug* or a bearer of corresponding names was celebrated in whole territory of the West European Celts: *Lug* in Ireland (this theonym appears already in the Ogam anthroponymy: **TRENALUGOS, TRENALUGO(S?), TRENILUG(GO?)** in the inscriptions from Cork, Kildare, and Kerry respectively, interpretable as 'strong like Lug' — see [Kopolev 1984: 192]), *Lleu* in Wales, *\*Lugus* in Gaul (nom. pl. *LUGOUES* in CIL XIII, 5078, Avenches, Swiss; — see [Lambert 1994/2003: 62]; plus numerous place names of the type *Lugudunum* etc. — see [Delamarre 2001: 178]), *Lugos* & *Lugus* in Northern Tuscany [Zavaroni 2007: 64], *\*Lugus* in Hispania Tarraconensis (latinized dat. pl. *LUGOIBUS* in CIL II, 2818, Osma), and Celtiberia (dat. sg. *LUGUEI* in the Latin alphabet written inscription from Pecalba de Villastar, Spain). In spite of this remarkable wide-spreading of one theonym, there are numerous etymological approaches:

37.1. The comparison with Old Irish *lug* 'light, brightness', Welsh *lleu* 'light' (*\*lugu-*), Breton *losk* 'to burn' (*\*lug-sk-*) can be supported by such mentions in «Oidedh Cloinne Tuireann» as that *Lug*'s face and front were *fa cosmhail re fuineadh gréine* 'like the setting sun' or *fá comhshoiliseach le gréin a la tirim samhraidh* 'like sun on a dry summer day' [Olmsted 1994: 110, 311 with other references], while the epithet *grianaineach* 'sunny-faced' ascribed by Olmsted to *Lug* belonged to Ogmá (Táin Bó Cúailnge, 3483; see [O'Rahilly 1976: 106]). The theonym *Lug* has usually been understood as 'shining, brilliant'. Just this interpretation perfectly agrees with one of the motivations for the IE designations of 'smith' and 'smithery', namely the connection with meteors and meteoritical iron (cf. § 1.2, 16.1, 29.1).

37.2. Such forms as Gaulish *luge* 'swear!', Old Irish *luige* 'swears', *luge* 'oath' (*\*lugio-*) = Welsh *llw*, Breton *le id*. [Delamarre 2001: 177; Pokorny 1959: 687] imply the alternative function of *\*Lugus*, namely the 'god of oath, contract'. Interesting is that *Miura-*, the Avestan god with the corresponding function (his name means 'contract'), was characterized by the epithets *huuāraoxšna-* (Yašt X, 142 — see [Bartholomae 1904: 1855]), i.e. 'endowed with his own light', resembling the 'shining' aspect of *Lug* (see § 37.1), and *ustānazasta-* 'that with stretched arms' (Yašt X, 83, 84), corresponding to the epithet *lámfóta* 'long-armed' of *Lug*, and *llaw gyffes* 'swift-handed' of his Welsh colleague *Lleu* [Olmsted 1994: 316].

The other etymologies based on comparisons with Old Irish *lug* 'lynx: hero, fighter' (DIL. L-235; see also [Pokorny 1959: 690]) or Gaulish *λοῦγον*

κόραξ (Pseudo-Plutarchus, De Fluviis, VI, 4; see [Billy 1993: 100]) etc. are weaker in argumentation.

38. In the section 58 of “Cath Maige Tuired” the smith of Tuatha Dé Danann in Tara is called *Colum Cuaolléinech* (see above § 37). His first name *Colum* represents an adaptation of Latin *columbus* ‘dove’. The second name is a compound consisting of Old Irish *cúaille*, *cúailne* ‘stake, pole, post’, the derivative from *cúal* ‘faggot; bundle of sticks; bundle, pile; heap’ [LEIA: C-260-61], plus *enech* ‘face, front’. The existence of the third smith among Tuatha Dé Danann in the epic “Cath Maige Tuired” is rather surprising, there are already *Goibniu* and *Credne cérd*, plus the smith *Dolb* of Fomorians (see above § 32, 33, 36).

### GERMANIC

39. There is only one designation of ‘smith’ in Germanic languages, reconstructible as *\*smīþon / \*an-* > Gothic *aiza-smīþa* ‘χαλκεύς’, i.e. ‘coppersmith’; formally corresponding compounds appear in Old High German *ērsmid*, Old English *ār-smīþ* ‘coppersmith’, modeled after Latin *faber aerarius* [Lehman 1986: 22–23]; *\*smīþaz* > Old High German *smid*, Middle High German *smit*, Middle Dutch *smit*, Old Saxon *smith*, Old Frisian *smith*, Old English *smīþ* ‘smith’; Old Norse *smiðr* ‘smith, handworker, artist dealing with wood and metal’, nom., pl. *smiðar*, but acc. pl. *smiði & smiðu*, reflecting the *i-* & *u-* stems respectively, cf. also Old Swedish nom. pl. *smīþir*; in modern languages German *Schmied*, Dutch, Frisian *smid*, English *smith*; Danish, Swedish *smed*, Norwegian *smid & smed*, Faeroese, Icelandic *smiður* [Bjorvand, Lindeman 2000: 820–821]. Lappic (Norwegia) *smiðða* is of Scandinavian origin [Ahlqvist 1875: 58; de Vries 1962/1977: 520]. Instead of the narrow specialization ‘metal-worker’ for the Germanic ‘smith’ a very wide spectrum of activities was characteristic:

Old High German *urteil-smid* ‘judge’, *smeidar* ‘artisan’, Old English *wīg-smīþ* ‘warrior’, Old Norse *gollsmiðr* ‘gold-smith’, *trésmiðr* ‘wood-smith, i.e. ‘carpenter’, *eikismiðr* ‘oak-smith’, usually ‘ship-maker’ = *skipsmiðr*, *skósmiðr* ‘shoe-maker’, *hagsmiðr* ‘skilful craftsman’, but also in more metaphorical sense: *himna smiðr* ‘creator of heavens’, *Veðrsmiðr* ‘weather-smith’, about the giant of wind *Hræsvelgr*, *qlsmiðr* ‘beer-smith’ about the god of sea *Ægir*, *ljóða-smiðr* ‘poet’, i.e. ‘song-smith’, etc. (see [Lehman 1986: 23; Kluge, Seebold 1999: 732; Aðalsteinsson 2004: 195–197]). The verb *smiða* is used about the divine creative activities:

*Hittoz æsir á Idavelli,* ‘At Idavoll met the mighty gods,  
*þeir er hǫrg ok hof há timbroðo;* shrines and temples they timbered high;

*afla lǫgðo, auð smíðoðo,*  
*tangir skópo, ok tól gǫrðo.*

forges they set, and they smithied ore,  
tongs they wrought, and tools they fashioned’.  
([Neckel 1936: 2]: translated by  
H. A. Bellows, see [Bellows 1]).

Especially important it is about Odin as a demiurg (Gylfaginning, 2):  
*Þá mælr Jafnhárr: ‘Hann smíðaði himin ok jǫrð ok loftin ok alla eign þeira’*  
‘Then said Jafnhárr: He fashioned heaven and earth and air, and all things which are in them’ (translated by A. G. Brodeur; see [Brodeur 1916]).

Let us mention that *Smiðr* was also used as a man’s name already in the mythological texts (*Rígsþula*). In the Icelandic sagas one she-smith appears, namely in *Harðarsaga* 3:

*Kona hans hét Þorgrína og var kölluð smíðkona, fjölkunnig njög*  
‘Wife of him (= *Þorvaldur*) was called *Þorgrína* and in nickname *smíðkona*; she was familiar in witchcraft’ [Hardarsaga].

39.1. The Germanic ‘smith’ has traditionally been derived from IE *\*smēi-* ‘to cut, work with a sharp tool’, reconstructed *ad hoc* on the basis of various extensions (so [Pokorny 1959: 968; Mann 1984–1987: 1224] added Irish *smíotaim* ‘I chip, shatter’ and Lithuanian *smitrūs* ‘crafty’). But already more than half-century ago Knobloch [1956: 67] found a more semantically exact cognate in Hittite *summittant-* c. ‘axe’ with anaptyctic *-u-*, derived from *\*sm(e)it(o)nt-* by Oettinger [1976: 95, 101], *\*smitént-* by Kimball [1999: 196, 199, 432] or *\*smēi-t-* by Rieken [2002: 408] — details see Tischler: [HEG: II/2; Lieferung 14, 2006: 1162–1164].

40. North & West Germanic names *\*Walundaz* and *\*Welandaz* belong to the mythical hero, called *vísi álfa* ‘leader of elves’ (Völundarkviða, 13, 4; 32, 2, see [Neckel 1936]) or *álfa lióði* ‘prince of elves’ (ibid. 10, 3), who was a skilful smith. According to Völundarkviða he was crippled to remain at the Island of Sævarstað (see the edition of Edda of G. Neckel [1936: 115–116]; translated by H. A. Bellows, see [Bellows 2]):

*Svá var gǫrt, at skornar vóro sinar í knésfótom. ok settr í hólmi einn,*  
*er þar var fyrir landi, er hét Sævarstaðr. Þar smíðaði hann konungi*  
*allz kyns gǫrsinar. Engi maðr þorði at fara til hans nema konungr einn.*  
*Völundr kvæð:*

‘So was it done: the sinews in his knee-joints were cut, and he was set in an island which was near the mainland, and was called Sævarstað. There he smithied for the king



all kinds of precious things. No man dared to go to him, save only the king himself.

Vǫlund spake:’

Stanza 18

‘*Skín Níðaði | sverð á linda,  
þat er ek hvesta, | sem ek hagazt kunna,  
ok ek herðak, | sem mér hægst þótti!  
Sá er mér, fránu mækir, | æ fjarri boriun,  
sékka ek þann Vǫlund | til smiðio borinn!*’

‘At Niðuð’s girdle | gleams the sword  
that I sharpened keen | with cunningest craft  
and hardened the steel | with highest skill;  
the bright blade far | forever is borne,  
nor back shall I see it | borne to my smithy’.

The corresponding personage called *Wélund* appears in the beginning of the Old English elegiac text from the end of the 10th cent., known as **Deor** after the name of a fictive singer, who is a narrator of this story (see [Deor]):

*Wélund him be wurm(a) | wráces cunnade  
anhýdig eorl, | earföpa dréag,  
hæfde him tó gesiþþe | sorge ond longap,  
wintercealde wráce, | wéan oft onfond  
siþþan hine Niðhád on | néde legde  
swoncre seonobende | on syllan monn.*

‘Wélund, from serpents, | experienced misery,  
the resolute warrior, | he endured hardships,  
had as companions to him, | sorrow and longing  
wintry-cold exile, | he often found woes  
after Niðhad upon him | laid a compulsion,  
supple bounds on sinew | on a better man’.

In the Old English literature the name of *Wélund/Wéland* is known from more sources. In **Beowulf** (lines 452–455) Weland is mentioned as the author of Hrethel’s heirloom ([Heaney 1999: 30]; translated by Francis B. Gumare — see [Gumare]):

*Onsend Higeláce, | gif mec hild nime,  
beadu-scrúda betst, | þæt míne bréost wereð, hræglá sélest; | þæt is Hræðlan láf,  
Wélandes geweorc*

‘To Hygelac send, if Hild should take me,  
best of war-weeds, warding my breast,  
armour excellent, heirloom of Hrethel  
and work of Weland’.

In two existing fragments of the Old English poem called **Waldere** composed around 770 and recorded in the 10th-century Latin poem *Waltharius*, the name *Weland* appears twice (see [Waldere]):

A 2-4

‘*Húru Wélande(s) | worc ne geswíceð |  
monna ánigum | ðára ðe Mimming can  
hear(d)ne gehealdan.*’

‘Surely Weland’s | work will not fail  
any man | of those who can Mimming,  
the hard (sword), hold’.

B 4-9

*Íc wát ðæt (h)í(t) ðóhte | Déodric Wíðian  
selfum ousendon | and éac sinc micel  
máðma mid ðí méce, | monig óðres mid him  
golde gegirwan; | iúléan genam,  
þæs þe hine of nearwum | Níðhádes máeg  
Wélandes bearn.*

‘I know that of it thought | Theodric to Widia himself to send | and also many  
riches,  
treasure with the maiche-sword, | much else beside it  
adorned with gold; | he took reward for past deeds  
because him from captivity, | Niðhad’s kinsman,  
Weland’s son’.

Interesting is that in the Alfredian translation of *Metrum VII* of *Liber II* of Boethius, «*De Concolatione Philosophiae*», the name of *Weland* is used to replace the name *Fabricius*, who was a Roman consul in Boethius’s Latin original:

*Hwar sint nu þæs wisan Welandes ban, þæs gold-smiðes, þe wæs geo mærost?*

The Latin original does not correspond word by word:

*Ubi nunc fidelis ossa Fabricii manent, quid Brutus aut rigidus Cato?*  
(see [Boethius]).

In so called «*Saga Þiðriks konungs af Bern*» (*Þiðrekssaga*) from the 13th cent. the heroic smith *Velent* corresponds to *Vǫlundr*, how it is explicitly expressed in the chapter 69:

*Velent hin ágæti smiðr; er væringjar kalla Volond*  
‘Velent is an excellent smith, who was called by foreigners as Volund’.

In the Chapter 57 the giant *Wade*, son of *Vilcinus*, brought his son *Velent* to the mountain of *Ballova*, where the dwarf-smithes lived. Their king *Mimir* became a teacher of both *Velent* and *Sigurd*. In the end of his apprenticeship *Velent* flees in a one-stem-canoe through the North Sea. He becomes a servant of *Nidung*, the king of *Jutland*. In *Nidung*'s court his smith *Amilias* calls *Velent* for a battle of their arts. *Velent* fabricates a sword called *Mimung*, *Amilias* an armour. *Velent* has to try his sword on this armour. During the battle, *Velent* cuts *Amilias* into two pieces. Later after the conflict with *Nidung*'s daughter the king decides to cripple *Velent*. His knee-tendons are cut and the smith has to stay only in his smithy. *Velent* arranges a terrible revenge. He rapes king's daughter and murders his sons. Finally he prepares a way of his flight, making a coat of feathers. His flight is successful. After the death of *Nidung* *Velent* concludes a peace with his son *Otwin* and the princess, the mother of their son *Witig*<sup>1</sup>.

The name of the present hero is attested in two forms, Old Norse *Vǫlundr*, reflecting *\*Walundaz*, and Old English *Wélund* & *Wéland*, Middle Low German/Old Norse *Velent*, reflecting West Germanic *\*Wēlundaz* & *\*Wēlandaz/-uz*? Just the latter possibility is supported by the pre-Frisian *we<sub>2</sub>ladu* as a coin legend on a solidus discovered near Schweindorf (c. 600) and the man's name *Wilandus* recorded by the pape Gregor the Great, also around AD 600. The vowel *-i-* in the first syllable indicates the change *\*-ē- > -ī-*, typical for East Germanic languages (see [Nedoma 2006: 610]).

In any case, there are two variants differing in the vowel of the first syllable *\*a* vs. *\*ē*. Just the latter vocalization is compatible with Old Norse *vél* f. 'handwerkliches Geschick, Kunstfertigkeit; List, Hinterlist, Betrug', Middle Swedish *väl* n. 'kunstfertige Arbeit', supported by the word-play

*Sat hann, né hann svaf, ávalt ok hann sló hamri:  
vél gørdi hann (= Vǫlundr) helder hvatt Niðaði*

'He sat, nor slept, and smote with his hammer,  
fast for Niðuð wonders he fashioned'

(*Vǫlundarkvipa*, 20.1-4; translated by H. A. Bellows).

40.1. De Vries [1962/1977: 674, 653] rejects the comparison of the name *Vǫlundr* with *vél* ('unmöglich'), but brings important Runic supplementa: *welA-ðAuðe* (Björktorp, 7th cent.), *wel(A) ðuð(s)* (Stentoft, 7th cent.), interpreting them as 'durch Zauberkraft getötet'. Nedoma [2006: 610] thinks about two alternative Germanic protoforms motivated by Old Norse *vél*: (i)

Active participle *\*Wēlandaz*; (ii) Compound *\*Wēla-handuz*, where the second component should be the word for 'hand'.

40.2. It is tempting to speculate about some relation with the name of the 'god-smith' of the type of Latin *Volcānus*, Ossetic *Wærgon* etc. (see § 16, 29 and [Blažek 2006: 44]). In this case the protoforms *\*Walh°* & *\*Wēlh°* are expectable. Regarding the fact that the loss of *\*-h-* in this position is regular only in Old Norse (cf. *Valir* 'Celts, inhabitants of Northern France; slaves' vs. Runic *walha-kurne* dat. 'Welsh corn', Old English *wealth* 'Celt; foreigner; slave', Old High German *walah* 'Roman', all from the Celtic ethnonym latinized as *Volcae* — see [de Vries 1962/1977: 641]), this etymology gives a chance to identify the primary homeland of the story about *Vǫlundr/Wélund/Wéland/Velent* etc., namely in Scandinavia.

41. In the introduction to *Reginmál* we are informed about the smith *Regin*, his dwarf's stature, remarkable intelligence, but also his evil character and magical practices. Just this wise, but tricky dwarf became a foster and teacher of young *Sigurd*:

*Hann var hveriom manni hagari ok dvergr of vǫxt; hann var vitr, grimmr ok fiqikunnigr*

'He was more ingenious than all other men, and a dwarf in stature; he was wise, fierce and skilled in magic'

*Reginn veitti Sigurði fóstr ok kençlo ok elskaði hann miq.*

'Regin undertook Sigurd's bringing up and teaching, and loved him much'.

The Poetic Edda is rather brief concerning information about *Regin* as a smith:

*Reginmál*, 14/15

*Reginn gørdi Sigurði sverð, er Gramr hét. ... Því sverði klauf Sigurðr í sundr steðia Regins*

'Regin made Sigurð the sword which was called Gram. ... With this sword Sigurð cleft asunder Regin's anvil' (ed. by [Neckel 1936: 169, 172]; translated by H. A. Bellows, see [Bellows 3]).

*Fáfnismál*, 33

*Þar liggr Reginn, ræðr um við sik  
vill tæla mǫg, þann er trúir hánom,  
berr af reiði rǫng orð saman,  
vill þqlva smiðr bróður hefna.*

'There Regin lies, and plans he lays  
the youth to betray who trusts him well;  
lying words with wiles will he speak,

<sup>1</sup> see [http://books.google.com/books?id=RGj8JKwyuQoC&pg=PA377&as\\_brr=1#PPA82,M1](http://books.google.com/books?id=RGj8JKwyuQoC&pg=PA377&as_brr=1#PPA82,M1).

till his brother the maker (lit. smith) of mischief avenges.’ (ed. by [Neckel 1936: 182]; translated by H. A. Bellows, see [Bellows 4])

More information about Regin’s smithery offers *Völsungasaga*, 15:

*Reginn gerir nú eitt sverð ok fær í hönd Sigurði. Hann tók við sverðinu ok mælti: ‘Þetta er þitt smíði, Reginn!’ Ok hoggir í steðjann, ok brotnaði sverðit; hann kastar brandinum ok bað hann smíða annat betra. Reginn gerir annat sverð ok fær Sigurði; hann leit á. ‘Þetta mun þér líka, en vant mun yðr at smíða.’ Sigurð reynir þetta sverð ok brýtr sem í fyrri*

‘So Regin makes a sword, and gives it into Sigurd’s hands. He took the sword, and said: ‘Behold thy smithing, Regin!’ and therewith smote it into the anvil, and the sword brake; so he cast down the brand, and bade him forge a better. Then Regin forged another sword, and brought it to Sigurd, who looked thereon. Then said Regin: ‘Belike thou art well content therewith, hard master though thou be in smithing’.’

<...>

*Þá mælti Sigurð: ‘Hvart höfum vér rétt til spurt, at Sigmundur konungr seldi yðr sverðit Gram í tveim hlutum?’ Hon svarar: ‘Satt er þat.’ Sigurðr mælti: ‘Fá mér í hönd! ek víf hafa.’ Hon kvað hann líkligan til frama ok fær honum sverðit. Sigurðr hittir nú Regin ok bað hann þar gera af sverðeptir efnun. Reginn reiddiz ok gekk til smíðju með sverðs-brotin, ok þykkir Sigurðr frangjarn um smíðina. Reginn gerir nú eitt sverð; ok er hann bar ór aflinum, sýndiz smíðjusveinum, sem eldar brynni ór eggjunum; hiðr nú Sigurð við taka sverðinu ok kvez eigi kunna sverð at gera, ef þetta bilar. Sigurðr hjó í steðjann ok klauf niðr í fetinn, ok brast eigi né brotnaði*

‘Then spake Sigurd: ‘Have I heard aright, that King Sigmund (= Sigurd’s father) gave thee the good sword Gram (= ‘angry’) in two pieces?’ ‘True enough’, she (=Sigurd’s mother) said. So Sigurd said, ‘Deliver them into my hands, for I would have them.’ She said he looked like to win great fame, and gave him the sword. Therewith went Sigurd to Regin, and bade him make a good sword thereof as he best might; Regin grew wroth thereat, but went into the smithy with the pieces of the sword, thinking well meanwhile that Sigurd pushed his head far enow into the matter of smithing. So he made a sword, and as he bore it forth from the forge, it seems to the smiths as though fire burned along the edges thereof. Now he bade Sigurd take the sword, and said he knew not how to make a sword if this one failed. Then Sigurd smote it into the anvil, and cleft it down to the stock thereof, and neither burst the sword nor brake it’ (edited by [Zatočil 1960: 43]; translated by W. Morris & E. Magnusson; see [Morris, Magnusson 1888]).

The name *Reginn* is related to Old Norse *regin* n.pl. ‘gods’, lit. ‘the advising ones’ and *ragna* ‘to practice magic, conjure’, cf. Swedish Runic (Noleby) *raginaku* ‘do’ ‘stemming from the (divine) advisers’; further Gothic *ragin* ‘opinion; law, decree; task, responsibility’, *ragineis* ‘counselor;

guardian’, *ga-raginoda* ‘he advised’; Old English *regn-weard* ‘mighty guard’, Old Saxon *regan(o)-giskapu* n.pl. ‘divine destiny’ [de Vries 1962/1977: 436–437; Lehmann 1986: 280].

42. *Mimir* was the name of two super-natural personages. In the Poetic Edda it is a guard of the well of wisdom by the roots of the world’s tree *Yggdrasill*. Odin devoted him one of his eyes in the pledge to reach the wisdom from the well, guarded by Mimir:

*Allt veit ek, Óðinn, hvar þú auga falt:  
í inom mæra Mímis brunn!  
Drekk míð Mímir morgin hverian  
of veði Valföðrs — vitod ér enn, eða hvat?*

‘I know where Odin’s eye is hidden,  
deep in the wide-famed well of Mimir.  
Mead from the pledge of Odin each mom  
does Mimir drink: would you know yet more?’  
(*Völuspá*, 28; ed. by [Neckel 1936: 7];  
translated by H. A. Bellows, see [Bellows 1])

In *Þiðrekssaga* the dwarf *Mimir* plays the role of *Regin* from both the Poetic Edda and *Völsungasaga*, while under the name *Regin* the dragon appears here, who is a brother of Mimir and corresponds so to the dragon *Fáfnir* from the preceding sources:

Chap. 57:  
*Spurt hævir hann til ævins smíðs í Hunalande. Sa hætir Mimir ok er hann allra manna hagartr*

‘He heard about one smith in the Hunaland. He was called Mimir and was more skilful than all other men’.

Chap. 163:  
*Einn maðr het Mimir. Hann er smíðr ... Hann hevir att ser ævinn broður er het Reginn*

‘One man was called Mimir. He was a smith ... He had a brother and he was called Regin’<sup>2</sup>.

The name *Mimir* & *Mímir* has been compared with Old English *mimorian* ‘to remember’, *mámrian* ‘to think out, plan’, Low German *mīmeren*, Dutch *mijmeren* ‘tief nachsinnen’, besides Gothic *maurnan* ‘to worry, concern oneself’, and further Avestan *mimara-* ‘mindful’, Greek μέμνηρα ‘Sorge,

<sup>2</sup> see [http://books.google.com/books?id=RGj8JKwyQoC&pg=PA377&as\\_brr=1#PPA82.M1](http://books.google.com/books?id=RGj8JKwyQoC&pg=PA377&as_brr=1#PPA82.M1).

Sinnen', Latin *memor* 'mindful of', *memoria* 'memory', Breton *merzout* 'gewahr werden', Lithuanian *merėti* 'to concern oneself' etc. ([de Vries 1962/1977: 387; Pokorny 1959: 969; Lehmann 1986: 248–49; LIV: 569]: \*(s)mer- 'denken an, sich erinnern').

### BALTIC

For the first time the worship of 'smith' by Baltic nations is documented in the 13th century in the Russian version of the chronicle Chronographia of Ioannis Malalas (see §46 below). Another example was mediated by Eneo Silvio Piccolomini (1406–1464), from 1458 the pape Pius II, who recorded the witness of Hieronymus of Prague (?1360–1416). This Czech missionary described that Lithuanians honored the gigantic iron hammer, by whose aid the sun was said to have been freed from imprisonment (*Profectus introrsus aliam gentem reperit, quae solem colebat et malleum ferreum rarae magnitudinis singulari cultu venerabatur. Interrogati sacerdotes, quid ea sibi veneratio vellet, responderunt: olim pluribus mensibus non fuisse visum solem, quem rex potentissimus captum reclusisset in carceremunitissimae turris.* — see [LPG: 135]; cf. also [Gimbutas 1963: 202]). From the Baltic mythological traditions no epic texts are known, but a big amount of folklore texts, namely folktales and songs called *daina* are recorded. From them it is possible to reconstruct at least the fragments of the most important proto-Baltic myths. 'Smith' plays in them a very important role, he is frequently described as a creator of the heavens.

In the following folktale from Northern Lithuania the 'smith' is described as that who fashioned the 'sun':

*Senais laikais gyveno žmogus kalvis. Jis buvo įžymus kalvis. Tada buvo visur tamsu, buvo naktis ir naktis. Tai šis kalvis nutarė nukalti saulę. Paėmęs blizgančią geležį, kalė kalė ir nukalė per šešerius metus saulę. Tada, užlipęs ant aukščiausios trobos, imetė ją į dangų*

'In the old times a man-smith lived. He was the noted smith. In that time the darkness was everywhere, it was a night and night. So this smith decided to forge the sun. Taking the shining iron, he forged and forged, when after six years he forged the sun. At that time he climbed upon the highest cottage and threw out it at the heavens'.

Similar story was recorded in Latvia too:

*Agrāk ticēja, ka Dievs licis kalējam uzkalta apažu ripu. Kalējs uzkalis. Tad Dievs nokrāsojis apažo ripu zelta krāsā un pakāris to pie debesīm. Tā radusies saule*

'Sometimes people believed that the God ordered a smith to forge a round ball. The smith forged it. At that time the God painted this round ball by the golden

colour and hung it under the heavens. So the sun appeared' (both texts are quoted according to [Лауринкене 2004: 228–229]).

The following examples were chosen from Jonval's edition of the Latvian *dainas* (1929), where *kalējs* 'smith' presents the role of the creator:

<i>Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā. Kalējs kala, smēde dedza, melna vārna ogles dzēsa; tā nebija melna vārna, tā kalēja līgaviņa</i>	'Le forgeron forgerait dans le ciel, les charbons tombèrent dans la Daugava. Le forgeron forgerait, la forge flambait, une corneille noire éteignit les charbons; ce n'était pas une corneille noire, c'était la fiancée du forgeron'.
--	---

<i>Kalējs kala jūrmalī, dzirkstel's sprāga debesīs. Salasiju dzirkstelītes, nokalos zobentiņu. Es nocirtu Jodam kaklu ar dzirksteļu zobentiņu</i>	'Les forgeron forgeait dans la mer, les étincelles sautèrent dans le ciel. Je ramassai les étincelles, je me forgeai une épée. Je coupai e cou de Jodis avec l'épée d'étincelles!'
---	---

(Edition and the French translation after [Jonval 1929: 103–104]).

There is also another word for 'smith', *kaļvis*, dim. *kalveitis*, which appears in similar context:

<i>Kalveitis kola debesīs ūglis byra Danguvōs; ās pakloju vilnoneite, man pībyra sudobra</i>	'Der Schmied schmiedet im Himmel, Kohlen rannen in die Daugava; ich deckte drunter ein Wolltuch, es rann mir voll von Silber'
--	--

([Wolter 1886: 641]; translation Mannhardt: [LPG: 67]).

43a. Lithuanian *kālvis* & *kaļvis* 'smith', in compounds *-kalys*, e.g. *aukskalys* 'gold-smith', dim. *kalyelis* 'apprentice of a smithery' [Kurschat II: 1019–1024]. Latvian *kaļvis* 'smith' can reflect originally *\*kal-ev-is*, cf. the Lithuanian proper name *Kalevelis* and its umlauted variant *Kelevelis* (similarly Prussian *Widewutis* & *Widwutis*, derivable by the diminutive suffix *\*-ut-* from *\*vid-ev-īs* 'wissend, sciens'), interpreted by Būga [I: 188] as 'Volcanus', and the Baltic borrowing in Estonian (poet.) *kalev* 'faber ferrarius', identified by Ahlqvist [1875: 58]: *mina kako kalevile, 1 kalev mulle rauda* 'ich den Schmied den Kuchen | Eisen mir der Schmieder'; the text was edited and translated by [Neus 1850–1852: 402]). Ahlqvist (l.c.) also thought about a possibility to derive the Finnish mythological names *Kalevi* & *Kaleva* from the same source. The closest relatives are Lithuanian *kālvė*, Latvian *kalva* & *kalve* 'smithy' < *\*kal(e)vijā*; there are also the derivatives without *-v-*:

Lithuanian *kalýba* 'das Schmieden' = Latvian *kālba* 'Schmiederei', *kālamas kūjis* 'Schmiedehammer' [Kurschat II: 1018, 1022; ME II: 141]. It is generally accepted that these words are derived from the verb attested in Lithuanian *kalū*: *kálti* 'schmieden, hammern', Latvian *kalu*: *kaļt* 'schmieden, (be)schlagen', cf. also Lithuanian *káldinti* 'schmieden, schlagen', *kaldiniai* 'eiserne Fesseln', *priekālas* 'Amboss' = Prussian (EV, 517) *preicalis* id. [Fraenkel 1962–1965: 211–212]. The related verbs in other IE languages rather differ in semantic: Slavic *\*kolti* > Old Church Slavonic **КОЛѢЖ**: **КЛАТИ**. Bulgarian *коля*, Macedonian *kole*, Serbo-Croatian *клати*, Slovenian *kláti*, Slovak *klat'*, Czech *kláti*, Upper Sorbian *klóć*, Lower Sorbian *kłojś*, Kashubian *kłoc*, Old Polish *klóć*, Polish *klóć*, Belorussian *калоч*, Ukrainian *колоти*, Russian *колоть* with the following semantic dispersion: 'to kill' (South Slavic, Slovak, Czech arch., Sorbian, Kashubian, Polish dial., East Slavic), 'to cut, splint' (Slovenian, Czech dial., Upper Sorbian arch., Lower Sorbian, Polish dial., East Slavic), etc. [ESJS 5: 311], further Greek **κλᾶν** 'to break', Albanian *për-kul* 'to bend', Latin *per-cellere* 'zu Boden schlagen', Tocharian B *śalna* 'strife, bickering, quarrel', A *śalc-* 'frapper', all from IE *\*kelH₂-*, in some cases with the dental or nasal extension [LIV: 350; Pokorny 1959: 545–546; Adams 1999: 624; Van Windekens 1976: 469].

43b. Lithuanian *kalėjas* [Kurschat II: 1018; Fraenkel 1962–1965: 211], Latvian *kalējs* 'smith' [ME II: 141], plus the borrowing in Livonian *kal'ai* id. [Ahlqvist 1875: 58], represent the derivatives from the same verbal root discussed above in § 43.1. Interesting is the Lithuanian variant *kalvējas* 'smith' ([LKŽ V: 165]; *mano brolis kalvējas nukals tiltą per marias*), perhaps the result due contamination of both *kálvis* and *kalvējas*.

44. Lithuanian *žydžius* 'gold-smith, ring-maker' [Brückner 1922: 177] is derivable from the verb attested in *žydžiu*: *žydėti* 'flimmern, glitzern, blitzen', Latvian *ziēdēt* 'bunt sein, bunt schimmern'; interesting is Lithuanian *židinys* 'Herd, Feuerstelle, Aschengrube, Kamin, Brennpunkt' [Fraenkel 1962–1965: 1305]. The word is formed by the same suffixal extension as other craftsman terms: *žiēdžius* 'Töpfer, Bildner': *žiēsti* 'aus Ton formen', *gelėžius* 'Eisenhändler': *geležis* 'Eisen' etc. [Fraenkel 1962–1965: 1306, 144].

45. Quite different designation of the 'smith' appears in Prussian *wutris* 'smith' ([EV: 513]: 'Smyt'); related is also *autre* 'smithy' ([EV: 514]: 'Smede'). The personal name *Wutter* attested in 1414 can belong here [Trautmann 1925/1974: 122]. The same proper name probably appears in some toponyms: 1270 *Vutraynen*, 1419 *Wutterkaym*, 1412 *Witrowin*, 1400 *Utreyn* [Gerullis 1922: 209, 211]. There are two alternative solutions of the reconstruction of the protoform:

(i) *\*utrijas* vs. *\*autrijā* (cf. [Trautmann 1923/1970: 336; Топоров I: 174]; on the prothesis *w-* before *u* see [Smoczyński 1989: 104]).

(ii) *\*utrijas* vs. *\*utrijā*. For *autre* Būga [III: 661] and Mažiulis [IV: 272] propose the conjecture *\*(v)utre* — in this case no ablaut did operate. Smoczyński [2000: 120] mentions other examples, when *au* or *eu* are used instead of expected *\*u* in Prussian: *dauris* 'door' [EV: 211] vs. Lithuanian *dūrys* id. or *peuse* 'Kiefer' [EV: 597] vs. Lithuanian *pūše* & *pušis* id.

There are no safe correspondences within Baltic. Trautmann [1910: 466] compared *wutris* & *autre* with Lithuanian *jūtryna* 'fest eingelassenes Schloss einer Tür', but it is adapted from Russian *нутряник* 'Einlassschloss' [Fraenkel 1962–1965: 199]. Toporov [Топоров I: 175] sought a possible cognate in unclear Latvian *autrs*, attested in the phrase *mežs ir tik autrs, tik atskanīgs* [ME I: 231], approximately 'The forest is as *autrs*, as sounding' (about echo; I am indebted to Dr. Pavel Štoll for interpretation of this folkloric sentence). But Endzelin, Hausenberg [1934–1938: 189] inform us that: '*autrs* ist ein Druckfehler für *jaūtrs*', which means 'munter, frohsinning, fröhlich' and corresponds with Lithuanian *jautrūs* 'frisch; wachsam; leise' [ME II: 104]. These forms are rather far in both semantics and phonetics from *wutris* & *autre*.

45.1. Most of etymologies connect West Baltic *\*utrijas* and South Slavic *\*vǫtrь*, attested in Middle Bulgarian (13th cent.) *вътрь*, Serbian Church Slavonic (16th cent.) *вътрь*, Russian Church Slavonic *вътрь*, e.g. *вътрь ѿѣданъи* 'τέκτων χαλκοῦ' (see [Трубачев 1966: 337; Топоров I: 174]). Excluding the possibility of a borrowing from early Polish into Prussian, Trubačev [Трубачев 1966: 337–338] speculates about an opposite direction of borrowing. He is undoubtedly right that a hypothetical, although unattested Polish form *\*wetrz* could not be adapted in Prussian as *\*wutris*. But just this result is quite expectable in the case of borrowing of Russian Church Slavonic *вътрь*. It is necessary to stress that Russian Church Slavonic served for several centuries as a literary language in neighbourhood of Prussia, namely in Lithuania and Belorussia.

45.2. Trubačev (l.c.) sought a connection with Prussian *wetro* 'wind' [EV: 53], Lithuanian *vėtra* 'Sturm(wind), Unwetter', Slavic *\*vǫtrь* 'wind' vs. Lithuanian *áudra* 'storm', assuming the semantic equation 'smith' = 'that who works with bellows'. Although there are no apparent parallels in the semantic development, it is perhaps in principle possible. More difficult is the phonetic explanation. The Balto-Slavic isogloss *\*uǫetro-/ā* '(storm-)wind' is derivable from the IE root *\*au(ē)-* < *\*H₂uǫeH₁-* 'to blow' [Pokorny 1959: 81–84; LIV: 287]. But there is no example of the development of this root leading to the zero-grade of the type *\*u-C°*.

45.3. Endzelīns [1931: 180] compared Prussian *wutris* & *autre* with Lithuanian *utė* & *utis* 'louse', Latvian *uts* & *ute* id., speculating about a

primary verb in the sense 'to pierce' (see also [Fraenkel 1962–1965: 1173; Топоров I: 175]), corresponding so to Slavic *\*kolti* 'to pierce' vs. Baltic *\*kaltei* 'to forge'. This idea remains unprovable.

45.4. Regarding some of the preceding solutions, where the 'smith(-god)' is etymologized as the 'fire-maker' (§ 1.2., 15.1., 16.1., 25.1., 28.3., 29.1., 30.1. + 32, 34), the idea of Otrębski [1967: 227] to connect the Prussian terms with Slavic *\*vatra* 'big fire' seems quite acceptable from the point of view of semantics, but difficult in word formation. And difficult is the Slavic word itself, attested in Bulgarian *vampa*, Serbo-Croatian *vāmpa*, Slovak & Czech dial. (Moravia) *vatra* '(big) fire', Polish *watra* 'fire(place), ashes, Ukrainian *vampa* 'fire' and further in some of the non-Slavic languages of Balkan: Albanian Tosk *vatrë*, Gheg *votrë* 'fireplace', Rumanian *vatră*, Hungarian *vatra* id. It is very probable that the Slovak, Czech, Polish and Ukrainian examples can be ascribed to the culture of the Carpathian pastoralists. And so the word seems to be a heritage of the Dacian substratum (so [BER I: 123–124]). The original form without the prothesis should be preserved in Russian Church Slavonic *ов-атрити* 'to inflame', *ов-ашренник* 'inflammation' [BER I: 123–124; ЭССЯ I: 91–93], but the cluster *-b + v-* is regularly simplified in Slavic [ЭССЯ I: 92]. The generally accepted comparison with Avestan *ātar-* 'fire', Armenian *airem* 'I burn', Latin *āter* 'black', Umlaut *atru*, *adro* 'atra' etc. [Pokorny 1959: 69] exclude the initial *v-* in Slavic. The etymology of the Slavic & Prussian words for 'smith' based on South Slavic *\*vatra* is so much more complicated. The opposition of the Balto-Slavic forms with the initial *\*u-* against the word *\*ātr-* 'fire' resemble the situation of Balto-Slavic *\*uepriās* 'pig' vs. Latin *aper* id., Umbrian acc.pl. *abruſ*; Germanic *\*ebura-* > Old High German *ebur*, Old English *eofor* etc. [Trautmann 1923/1970: 351; Pokorny 1959: 323]. In the case of the Balto-Slavic 'smith' it is possible to think about a prefix *\*au-* 'of' or the verb *\*au(ē)-* 'to blow' + reduced root *\*ātr-* 'fire'.

45.5. It is possible to admit a simplification via dissimilation of a compound consisting of *\*ur(H)-* & *\*ātr- ±* 'burning fire', where the first component should represent the zero grade of the verb *\*uerH-* > Hittite *war-/ur-* 'to burn', *warnu-* 'to kindle', Armenian *vařem* 'I kindle', *vařim* 'I burn'; Albanian *vorbë* 'Kochtopf'; Lithuanian *vėrda* : *virti* 'kochen, sieden', Old Church Slavonic *варѣ* 'heath', *варити* 'to cook'; Tocharian *wrātk-* 'to cook' ([Pokorny 1959: 1166; LIV: 689]: *\*uerH<sub>1</sub>-*). A continuant semantically closest to the 'smithery' appears in the Baltic designation of 'copper': Lithuanian *vāriās*, Latvian *varš* (also 'ore, metal'), Prussian (EV 525) *wargien /varjan/* [Mažiulis IV: 221]; cf. also Prussian [EV: 529] *auwerus* 'Metallschlacke' [Топоров I: 176–177].

45.6. It is tempting to speculate about the *nomen agentis* *\*ur(H)-ter/-tr<sup>o</sup>* formed from the same root *\*uerH<sub>1</sub>-* (see § 45.5.), again with the dissimilative loss of the first *-r-*.

45.7. Smoczyński [2000: 205–206] discusses two quite new hypotheses of a borrowing:

(i) From Middle Low German *wörte* 'Arbeiter' < Old Saxon *wurhtio*;

(ii) From Middle High German *\*hütter*, hypothetically derivable from *hütte* 'arbeitet'.

46. Although the 'smith' plays a central role in a lot of Lithuanian and Latvian folklore texts, there is no deity or hero with his own name. The only exception is the theonym *Teljavel*, attested already in the 13th cent.:

Chronicle of Volhynia ad AD 1252:

*Крещение же его льстиво бысть: жряще богомъ своимъ в таинѣ: первому Нънадѣви, и Телявели, и Биверикъзоу, Заеячемоу богу и Мъидѣиноу; егда выехаше на поле и выбѣгнаше заяць на поле, в лѣс роцения не вохожаше воноу и не смѣяше ни розгы оуломити. И богомъ своимъ жряше и мертвыхъ телеса сожигаше и поганьство свое явѣ творяше*

'Doch seine Taufe war trügerisch; er pflegte seinen Göttern insgeheim zu opfern, zuerst dem Nъnaděj und der Teljavel' und dem Diverix und dem Hasengott Mějđejn: so oft er aufs Feld hinausritt, und ein Hase aufs Feld hinauslief, pflegte er in den Wald des Gehölzes nicht hineinzutreten, noch wagte er auch eine gerte abzubrechen, und er opferte seinen Göttern und verbrannte die Körper der Toten und trieb offen sein Heidentum' (after A. Brückner [1886: 1–3]; see also [LPG: 51]).

The second text, where this theonym was used, is the following insertion in the Old (West) Russian translation of Chronographia of Joannis Malalas:

*Сю прелестъ Сови въведе в нѣ, иж приносили жрѣтвоу сквернымъ богомъ: Анбаеви и Перкоунови, рекше громоу, и Жвороунѣ, рекше Соуцѣ, и Телявели і сгокоузнецю, сковавшие емоу солнце, яко свѣтити по земли и възвергышо емоу на небо солнце...*

'(Auch) den Aberglauben führte Sovij ein, dass sie Opfer bringen den greulichen Göttern Andaj und Perkun, genannt Donner, und der Žvoruna, genannt Hündin, und dem Teljavelj, dem Schmied, der ihm die Sonne schmiedet, dass sie auf die Erde leuchtet, und ihm die Sonne am Himmel aufstellt' (see [LPG: 58–60; Топоров 1970: 535]).

These two fragments offer the information that *\*Teljavelis* stands in neighbourhood of the thunder-god *\*Perkunas* or his equivalent *Diviriks* in the pagan Lithuanian pantheon (cf. Lithuanian *Dievo rykštė* 'god's whip',



i.e. 'lightning'). \**Teljavelis* is a smith who forged sun and placed it on the heavens.

Johan Łasicki (Lasicius) in his book «De Diis Samagitarum Caeterorum-que Sarmatarum et falsorum Christianorum. Item de Religione Armeniorum» from 1544 characterized a lot of Lithuanian pagan deities, e.g. *Percunos Deus tonitrus illis est*, and also *Tavvals Deus auctor facultatum* (p. 47; see [LPG: 356]). The theonym *Tavvals* can represent a corrupted equivalent of \**Teljavelis*.

Till the present time at least five etymologies were proposed:

46.1. Wolter [1886: 640–641] and Mannhardt [LPG: 67] identified \**Teljavelis* with Lithuanian *kalvėlis*, the diminutive from *kálvis* 'smith'.

46.2. Mierzyński saw in \**Teljavelis* and Łasicki's *Tavvals* the Lithuanian word *tėvėlis*, the diminutive of *tėvas* 'father' (see [LPG: 54, 68]).

46.3. Mannhardt interpreted \**Teljavelis* as a deity of herds, assuming here a compound consisting of *tēlias* 'calf' and *valdytojis* 'Herrscher' [LPG: 53].

46.4. Brückner supposed the compound consisting of *kēlias* 'Weg' and *vēlēs* 'Geister der Vestorbenen' (see [LPG: 53]).

46.5. Most attractive solution was proposed by Toporov [Топоров 1970: 537–543]. He judged that the names of \**Teljavelis* & *Tavvals* represent the adaptation of the Old Norse name *Þjálfi*, a helper of the Thunder-God *Þórr*. Etymologically connected with *Þjálfi* is the name of the cultural hero *Þjelvar*, who after Gutasaga caused the firm existence of the Island of Gotland, when he went round the island with a fire. The name *Þjálfi* is derivable from \**Þelban-*, while *Þjelvar* represents the compound \**Þelba-harja-*. The further etymology is not unambiguous. The following comparanda were proposed: (i) Icelandic *þjálfr* 'work' by Much; (ii) Old Norse *þiálfí*, *þálmí* 'Schlinge, Fessel' by Gutenbrunner [1936: 159–160; de Vries 1957: 129–130].

## SLAVIC

47. In Slavic languages there are several designations for 'smith', which represent the derivatives of the same root:

47a. \**kovačь*: Church Slavonic *ковачь* 'χαλκεύς, faber, aerarius', Bulgarian *ковач*, Serbo-Croatian *ковач*, Slovenian, Slovak & Czech dial. *kováč*, also Polish dial. *kowacz*, Russian dial., Ukrainian *ковач* 'smith', Old Belorussian *ковач* 'smith; master'; South Slavic \**kovačь* > Albanian *kovač* 'smith' (see § 27), Rumanian *covaciu* and Hungarian *kovács* id. [Meyer 1891: 203; Orel 1998: 193; ESJS 6: 349; ЭССЯ 12: 5].

47b. \**kovaľ*: Slovak dial. *kováľ*, Czech dial. (Opava) *kovaľ*, Lower Sorbian *kowal*, Old Polish & Polish *kowal*, Pomerian Slovincian *k<sup>h</sup>óvůľ* [Lorentz

I: 423], Kashubian *kováľ* [Sychta II: 221], Old Russian *коваль*, Russian dial. *коваль*, Ukrainian *коваль*, Belorussian *каваль* 'smith' [ЭССЯ 12: 7].

47c. \**kovarь*: Slovenian *kovár*, gen. -*rja*, Czech *kovář*, Upper Sorbian *kowar*, gen. -*rja*, Lower Sorbian dial. *kowar* 'smith'; Kashubian arch. *kowarż* 'Verbrecher'; Old Russian pl. *ковары* 'baits, pitfalls' [ЭССЯ 12: 8–9; Schuster-Sewc II: 650].

47d. \**kuzньсь*: Old Church Slavonic *кѹзньсь* 'χαλκεύς, aerarius et malleator', Bulgarian dal. & arch. *кузнец*, Serbo-Croatian arch. *кузнец* & *кузнац*, Czech dial. (Moravia) *kuzněc* 'smith' (only Jungmann), Old Russian *коузьньць* 'smith; magician', Russian, Ukrainian dial. *кузнец* 'smith' [ЭССЯ 13: 145; Karlíková: ESJS 7: 386] & \**kuznikь*: Czech dial. (Moravia, Silesia) *kuzník*, Polish *kuźnik*, Old Russian *коузникъ* 'smith' [ЭССЯ 13: 144]. Both these forms are derived from \**kuzn'a*/\**kuznь* 'smithy': Bulgarian *кузня*, dial. *кузня*, Macedonian dial. *kuzña*, Slovak *kúzeň*, *kúzňa*, Czech arch. *kuzna*, *kúzna*, *kúzňa*, and dial. (Moravia) *kuzeň*, (Silesia) *kuzňa* 'smithy', (South Bohemia) *kouzeň* 'chamber', Upper Sorbian *kuznja* 'Schnitz-, Werkkammer', Polish *kuźnia* 'smithy', Pomerian Slovincian *k<sup>h</sup>úźńa*, Old Russian *кузня*, dial. *кузня*, Ukrainian, Belorussian *кузня* id.; cf. also the form \**kuznica* 'smithy': Bulgarian *кузница*, Serbo-Croatian arch., dial. *кузница*, Polish *kuźnica*, Pomerian Slovincian *k<sup>h</sup>ú'źńica*, Old Russian *кузница*, Russian *кузница* id. [ЭССЯ 13: 144–145; Schuster-Sewc II: 742]. All Slavic terms for 'smith' collected in § 47a–d represent the derivatives of the verb \**kujǵ* : \**kovati*: Old Church Slavonic *ковати* 'cudere', Bulgarian *кова* & *квя* 'to forge; shoe a horse; strike, smite, beat', Macedonian *kovam* 'to forge; shoe a horse; coin', Serbo-Croatian *кујем* : *ковати* 'to forge; shoe a horse; have malicious intents', Slovenian *kujem* : *kováti*, dial. (Prekmurish) *kovēm* : *kuti* 'to forge; smite by hammer, shoe a horse; think about', Slovak *kuť*, *kovat'* 'to forge, shoe a horse', Old Czech *kuju* : *kovati*, Czech *kovati* 'to forge', *kuji* : *kouti* 'to devise, hatch', Upper Sorbian *kować* 'to forge', arch. 1sg. *koju*, 3sg. *wu-kujo*, Lower Sorbian *kowaś* 'to forge, shoe a horse; cover by metal', Old Polish *kuje* : *kować* 'to forge (in chain)', Polish *kuć*, dial. *kować* 'to forge', Pomerian Slovincian *k<sup>h</sup>ovac* 'to forge', Old Russian *ковати* 'to forge, cover by metal, coin, shoe a horse; produce, make; have malicious intents', Russian *ковать* 'to forge', dial. (Archangelsk, Tversk, Jaroslavl) 'to strike, smite', Ukrainian *кюю* : *кувати* 'to forge (a chain), shoe a horse, coin', *кувати лихо* 'to make evil, harm, injure', dial. *ковати* 'to forge'. Old Belorussian *ковати*, Belorussian *кюю* : *кавачь* 'to forge', dial. also 'to shoe a horse, whet, sharpen' [ЭССЯ 12: 10–11; Karlíková: ESJS 6: 349; Schuster-Šewc II: 649].

Let us draw our attention to the parallel semantic development, which was realized in two directions: (i) smithery; (ii) mischief, including the magical practices.

Smithery	Mischief & witchcraft
Slovenian <i>kôv</i> 'smithery', Czech <i>kov</i> 'metal'	Old Church Slavonic <b>ковѣтъ</b> 'conspiracy'
West Slavic <i>*kovarь</i> 'smith'	Old Russian pl. <b>ковары</b> 'baits, pitfalls'
Czech <i>kovářství</i> , Upper Sorbian <i>ko-warstwo</i> 'smithery'	Old Church Slavonic <b>коварѣство</b> 'slyness, cunning'
Old Russian <i>кузло</i> 'smithery'	Czech <i>kouzlo</i> , Upper Sorbian <i>kuzio</i> 'magic'
Church Slavonic <b>къзнѣ</b> 'art, craft'	Russian pl. <b>кѡзни</b> 'intrigues'

The related verbal forms and their derivatives from other Indo-European branches allow to reconstruct the primary root *\*keH<sub>2</sub>u-* ([Pokorny 1959: 535; Mann 1984–1987: 483–84; LIV: 345–346]: 'schlagen, spalten'): Lithuanian *káuju* & *káunu*: *káuti*, pret. *kóviau*, arch. *kavau* 'schlagen, hauen, umbringen, vernichten', refl. *káutis* 'sich schlagen, kämpfen, ausgelassen sein', *káustyti* '(mit Eisen) beschlagen', *kaunùs* 'kämpferisch', *kovà* 'Kampf, Schlacht', *kújis* 'schwerer Schmiedehammer', Latvian *kāiju*, *kāinu*: *kalīt* 'schlagen, hauen, stechen, schlachten, treten', *kuja* 'Stab, Stock, Keule', *kavējs* 'hewer, killer', Prussian *cugis* /*kūjis*/ 'Hammer' [Fraenkel 1962–1965: 232]; Germanic *\*hawwan<sup>am</sup>*: Old High German *houwan*, German *hauen*, Old Saxon *hauwan*, Dutch *houwen*, Old Frisian *hāwa*, *houwa* 'to strike, beat', Old English *hēawan* 'to hew', Old Norse *hoggva* 'to strike', while *heyja* 'to fight' reflects *\*hawjan<sup>am</sup>* [Kluge, Seebold 1999: 360]; Greek **κέασσαι** 'spaltet' (*s*-aorist), **κεῖων** 'spaltend'; Avestan *kušaiti* 'kills' < *\*kH<sub>2</sub>u-se/o-*; Tocharian A *ko-*, B *kau-* 'to kill, strike down, destroy' [Adams 1999: 208]: A 3pl. conj. *kāwēñc* 'werden erschlagen', B 3sg. *kowām*, 1pl. *kawam*, A *kos*, B *kowsa* 'erschlug' (*s*-aorist), A *kosam* 'erschlage', B *kausām* 'erschlägt' (*se*-present), A *koṣ-* 'to strike, kill by striking' < *\*keH<sub>2</sub>u-s-d<sup>h</sup>e/o-*. The *-d<sup>h</sup>*- extension appears in Old Irish *cuad* 'to war'; Latin *cūdō*, *-ere* 'to beat, pound, thresh; forge, strike (of metals)' < *\*kouade-* < *\*keuH<sub>2</sub>-d<sup>h</sup>e-*, *caudex* 'trunk of a tree, stem', *caudica* 'aus einem Baumstamm gemachter Kahn', *incūs*, *-ūdis* 'anvil'; Tocharian A *ko-*, B *kaut-* 'to split off, break; chop up/down, crush' < *\*kaud<sup>h</sup>e/o-* < *\*keH<sub>2</sub>u-d<sup>h</sup>e/o-* [LIV: 346; Adams 1999: 210]. It is tempting to add Vedic *khod-* 'hineinstossen (des Penis)' (discussion see [EWAI I: 456]); the initial aspirate would reflect the cluster *\*kH-*, cf. Vedic *khánati* 'gräbt' from IE *\*k<sup>(h)</sup>eH<sub>2</sub>-* [LIV: 344]. Related could also be Latvian *kūdināt*, *kūdīt* 'antreiben, hetzen'; Slavic *\*kydati* 'to throw' [Fraenkel 1962–1965: 304; ЭССЯ 13:

258]. There are remarkable parallels between Slavic and Germanic in the derivatives of the root *\*keH<sub>2</sub>u-* connected with smithery: Slavic *\*kovarь* 'smith' vs. West Germanic *\*hawwari-*: English *hewer* 'wood-cutter, stone-cutter, miner', Middle High German *hawer*, German *Hauer* 'reaper, mower', *Häuer* 'mincr', or Slavic *\*nakova* & *\*nakovъ* 'anvil' vs. West Germanic *\*ana-hawwa-*: Old English *onhéaw*, Middle High German *an(e)hou* id. [Трубачев 1966: 336, 348–349, 352; ЭССЯ 12: 9, 11].

With regard to the relatively strong cultural and especially religious influence of the Iranian world on the ancient Slavs, the specific development of the Slavic derivatives from the verb *\*kovati* should be seen in the light of similar Iranian words and proper names as Avestan *kauui-* 'Bezeichnung von Fürsten (den Abkömmlingen der *Kauuāta*-Dynastie bzw. *daēuuu*-verehrender Fürsten)', Sogdian *qwy*, *kw'y*, pl. *kwyšt* 'giant', Middle Persian & Middle Parthian of Tumshuq *k'w*, *k'w'n* for **γίγαντες**, Khotanese *kai* 'heroic; ārya-monk'. Later Zoroastrian Pahlavi *kai* 'title of king', *kayān*, Persian *kai*, *kayān(i)*, and dial. *kav* 'hero', *Kāwa* 'heroic smith from Šāhnāme'; Old Indic *kavī-* 'seer, prophet' etc. (see § 17 above; [Иванов, Топоров 1973: 159; 1974: 160–163]).

Interesting is the existence of the homonym *\*keH<sub>2</sub>u-* 'anzünden, verbrennen' [LIV: 345]. It is very attractive to think about their identity, regarding the fact that the procedure of 'striking of a spark' means simply 'striking'.

48. South Slavic *\*vьtrь* 'smith' is attested in Middle Bulgarian (13th cent.) **вѣтрѣ** and Serbian Church Slavonic (16th cent.) **вѣтрѣ**. Russian Church Slavonic **вѣтрѣ**, e.g. **вѣтрѣ мѣдianый тѣктон χαλκοῦ**, represents apparently an adaptation of Church Slavonic word (see [Трубачев 1966: 337; Топоров I: 174]). There are only one external parallel in Prussian *wutris* 'smith' ([EV: 513]: 'Smyt'); related is also *autre* 'smithy' ([EV: 514]: 'Smede'). The personal name *Wutter* attested in 1414 can belong here [Trautmann 1925/1974: 122]. The same proper name probably appears in some toponyms: 1270 *Vutraynen*, 1419 *Wutterkaym*, 1412 *Witrowin*, 1400 *Utreyn* [Gerullis 1922: 209, 211]. Above (§ 45) there were discussed two alternative solutions of the reconstruction of the protoform:

- (i) *\*utriās* vs. *\*autriā*; (ii) *\*utriās* vs. *\*utriā*.

The third possibility is that the Prussian words were borrowed from Church Slavonic.

The Slavic word has usually been derived from *\*utri-*, *\*utriō-*, but in principle, it is possible to imagine the dissimilation from *\*vьtrь*, leading to the protoforms of the type *\*uṛtri-*, *\*uṛtriō-*. No unambiguous etymology was proposed till the present time. Several hypotheses are discussed in § 45. One may be added. The hypothetical protoform *\*uṛtri-*, *\*uṛtriō-* remarkably

resembles such Indo-Iranian forms as Old Avestan *vərəθram.jā* ‘Widerstandsbrecher’ [Yasna: 44.16], vs. Young Avestan *vərəθra-* ‘Verteidigungskraft, Widerstand’, *aiiō-vərəθra-* ‘mit metallenen Schildern’ ([Yašt: 13.45]; translation [Wolff 1910: 236]), *vərəθrayna-* n. ‘Brechung des Widerstands, Sieg’, m. ‘Name eines Gottes’, Middle Persian *wahram* ‘Kriegesgott, Gott ‘Sieg’’, Vedic *vṛtrá-* n. ‘restrainer’, m. V. ‘serpent-like demon, son of *Tvaṣtar-*, antagonist of Indra’, cf. *Vṛtra-hán-* ‘Vrtra-killer’ about Indra and later *Vṛtrāri-* ‘enemy of Vrtra’ also about Indra [EWAI II: 573–574; Monier-Williams 1899/1993: 1007]. The hypothetical pre-(Balto-)Slavic *\*uṛtr̥iō-* can be interpreted as ‘belonging to *\*uṛtro-*’ and it is quite realistic about the dragon-like demon’s antagonist, frequently represented by the ‘smith’ (cf. § 17, 18). With the same probability it is possible to understand this derivative as the *\*uṛtro-* ‘maker’, concretely ‘metallic-shield-maker’, hence ‘smith’. In both cases it seems more probable the borrowing from (Indo-)Iranian into Slavic than their common heritage.

49. Russian Church Slavonic *крѣчи(у)*, *кѣрчи(у)* ‘χαλκεύς’, Old Russian *корчуй* ‘smith’ cannot be explained in Slavic.

49.1. According to Abaev [Абаев I: 610] it is related to Ossetic Iron *kʷyrd*, Digor *kurd* ‘smith’, which he derived from *\*kur-tjō-* (see § 15).

49.2. Knutsson [1927: 387–388] saw in East Slavic *\*kьrčī(jь)* a borrowing from a Turkic source, cf. Balqar, Kirghyz, Kazakh, Baškir, Uzbek dial., Uyghur *qurč*, Tatar *kuryč*, Kazakh *kuryš*, Chuvash *xuršă* ‘steel’, originally *qurč temür* ‘hard iron’, how it is preserved in Middle Turkish [ЭСТЯ: K/Q-172]. The final syllable reflects the Common Turkic suffix of nomina agentis *\*-či* (see also [Фасмер, Трубочев II: 340–341; Трубочев 1966: 336]). This solution seems much more probable.

50. In the Slavic pantheon there is only one god, namely *Svarogъ*, who was explicitly identified with the ‘smith’, better to say with the ‘smith-god’ *Ἡφαιστος*, called in the Old (West) Russian translation of the chronicle of Ioann Malalas as both *Феостъ* and *Сварогъ* (with variants *Зварогъ*, *Соварогъ* — see [Mansikka 1922: 66f]): *И бысть по потомъ и по раздѣленьи языка, поча царьствовати по немъ Феоста иже и Зварога нарекоша Египтяне ... сего ради прозваша и богъ Сварогъ* (in original τὸν δὲ αὐτὸν Ἡφαιστον θεὸν ἐκάλουσαν) .. *и по семь царствова сынъ его именемъ Солнце, его же наричють Дажьбогъ ... при Солнце же Царь сынъ Свароговъ еже есть Дажьдъбогъ бѣ мужь силенъ* (in original ὁ δὲ αὐτὸς Ἥλιος, ὁ υἱὸς Ἡφαιστου, ἦν φιλότιμος δυνατὸς) .. etc., quoted after [Топоров 1966: 145–146] and [Niederle 1924: 105].

With respect to the solar character of this deity (father of the Sun), from numerous interpretations it seems best to see here an adaptation of Indo-Iranian form attested in Vedic *svargá-* or *suvargá-* m. ‘going or being in light or heaven’, lit. ‘going to the sunshine’ ([Monier-Williams 1899: 1281]; cf. [EWAI II: 795]; survey of etymologies see [Фасмер, Трубочев III: 569–570]).

### Conclusion for the Indo-European traditions

The present results can be summarized in the following table

word/name	fire-maker (solar or meteor.)	metal-maker	worker	various professions	master	skilful/wise	striker	hammer-striker
<i>karmāra-</i>	1.2.		1.1., 1.3.			1.4.		
<i>ṛbhú-</i>				?2.				
<i>loha-kāra-</i>		3.						
<i>cimara-kāra-</i>		4.						
<i>dhamaka-</i>				blower 5.				
<i>thākur</i>					6.			
<i>Kāvyá-</i>						7b.		
<i>Viśva-karman-</i>			all-maker 9.					
<i>bhārika-</i>				carrier 10.				
<i>spanēkarē &amp; āhangar</i>		11.						
<i>*śajpá-</i>				melter 12.				
<i>wustō(ð)</i>						13.		

word/name	fire-maker (so-lar or meteor.)	metal-maker	worker	various professions	master	skilful/wise	striker	hammer-striker
<i>kurd/k<sup>u</sup>yrđ</i>	15.1.							15.2.
<i>Wærgon</i>	16.1.					16.2.		
<i>Kāwa</i>						17.		
<i>Hōšang</i>						?18.		
<i>darbin</i>	*19.3.		19.2.			19.1.		
AN.BAR. DÍM.DÍM	*20.							
URUDU. DÍM.DÍM	21.							
<i>warpi-</i>						23.		
<i>χαλκεύς</i>		24.						
<i>ἤφαιστος</i>	25.1.							
<i>faber</i>	28.3.		28.2.			28.1.		
<i>Volcānus</i>	29.1.		29.2.					
<i>*gobent(-n-)</i>	30.1.					30.2.		
<i>cerđ</i> <i>*Gobniōn /</i> <i>*Gobannonos</i>	30.1.					31 30.2.		
<i>Crédne</i>		33.2.	33.1.					
<i>Olc Aiche</i>	*34.2.							
<i>*Kolionos</i>							35.	
<i>Dolb</i>			*36.					
<i>Lug</i>	37.1.							
<i>*smiþ-an/az</i>								39.1.

word/name	fire-maker (so-lar or meteor.)	metal-maker	worker	various professions	master	skilful/wise	striker	hammer-striker
<i>*Walundaz /</i> <i>*Wēlu/andaz</i>	40.2.		*40.1.					
<i>Reginn</i>						*41.		
<i>Mimir</i>						42.		
<i>*kal(e)vis</i>							43a.	
<i>*kalējas</i>							43b.	
<i>žydžius</i>	?44							
<i>wutris</i>	?45.4., 45.5., 45.6.		*45.7.	?blo- wer 45.2.			?45.3.	
<i>Teljavel'</i>			*46.5.					
<i>*kov-ačb /-alb /</i> <i>-arb</i> <i>*kuznecb /-ikb</i>							47.	
<i>*ṽtrb</i>	?45.4., 45.5., 45.6.	iron- shield- maker? 48		?blo- wer 45.2.			?45.3.	
<i>*k̃rčijb</i>		*49.						
<i>Svarogb</i>	50.							

\* Borrowing; + Magician.

### Final comments

It is apparent, the most beloved semantic motivations in designations of the Indo-European 'smith' or his divine or heroic colleagues are 'fire-maker' and 'skilful, wise'.

There are only very limited cases of designations, which are wide-spread in more than in one branch:

\*g<sup>h</sup>ob<sup>h</sup>-/\*g<sup>h</sup>uob<sup>h</sup>- ... Italo-Celtic, plus possible cognate in Baltic.

\*uolk-(ān-)o- ... Iranian, Italic, maybe Celtic, Germanic.

Naturally, it is no surprise from the point of chronology, if the disintegration of the Indo-European dialect continuum precedes the introduction of metals in technology of the Indo-Europeans.

#### BIBLIOGRAPHY

- Aðalsteinsson 2004 — *J. H. Aðalsteinsson*. Schmied, Schmiedehandwerk, Schmiedewerkzeuge // RGA. 27. 2004.
- Adams 1999 — *D. Q. Adams*. A Dictionary of Tocharian B. Amsterdam; Atlanta, 1999.
- Ahlqvist 1875 — *A. Ahlqvist*. Die Kulturwörter der westfinnischen Sprachen. Ein Beitrag zu der älteren Kulturgeschichte der Finnen. Helsingfors, 1875.
- Aura Jorro I–II — *F. Aura Jorro*. Diccionario micénico. I–II. Madrid, 1985–1993. AV — Atharvaveda.
- Bailey 1979 — *H. Bailey*. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979.
- Bartholomae 1904 — *Ch. Bartholomae*. Altiranisches Wörterbuch. Leipzig, 1904.
- Bartoněk 2003 — *A. Bartoněk*. Handbuch des mykenischen Griechisch. Heidelberg, 2003.
- Bellows 1 — [www.sacred-texts.com/neu/poe/poe03.htm](http://www.sacred-texts.com/neu/poe/poe03.htm)
- Bellows 2 — [www.sacred-texts.com/neu/poe/poe17.htm](http://www.sacred-texts.com/neu/poe/poe17.htm)
- Bellows 3 — [www.sacred-texts.com/neu/poe/poe23.htm](http://www.sacred-texts.com/neu/poe/poe23.htm)
- Bellows 4 — [www.sacred-texts.com/neu/poe/poe24.htm](http://www.sacred-texts.com/neu/poe/poe24.htm)
- Benfey 1842 — *Th. Benfey*. Griechisches Wurzellexikon. Berlin, 1842.
- BER — Български етимологичен речник. I–IV / Ред. В. И. Георгиев. София, 1962–.
- Bereczki 1992 — *G. Bereczki*. Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte. II. Szeged, 1992 (Studia Uralo-Altica 34).
- Bezenberger 1890 — *A. Bezenberger*. Die indogermanischen Gutturalreihen // Beiträge zur Kunde der Indogermanischen Sprachen. 16. 1890.
- Billy 1993 — *P.-H. Billy*. Thesaurus Linguae Gallicae. Hildesheim; Zürich; New York, 1993.
- Bjorvand, Lindeman 2000 — *H. Bjorvand, F. O. Lindeman*. Vere arveord etymologisk ordbok. Oslo, 2000.
- Blažek 1990 — *V. Blažek*. New Fenno-Ugric — Indo-Iranian parallels // Uralo-Indo-germanica. Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. II / Ред. Вяч. Вс. Иванов, Т. М. Судник, Е. А. Хелимский. М., 1990.
- Blažek 2003 (04) — *V. Blažek*. Is Fenno-Lappic \*šepä ‘smith’ of (Indo-)Iranian origin? // Philologia Fenno-Ugrica. 9. 2003 (04).
- Blažek 2006 — *V. Blažek*. Celtic ‘smith’ and his colleagues // Evidence and Counter-evidence: Festschrift for F. Kortlandt. Vol. I. Amsterdam; New York, 2006.
- Boethius — [http://ccat.sas.upenn.edu/jod/boethius/jkok/2m7\\_t.htm](http://ccat.sas.upenn.edu/jod/boethius/jkok/2m7_t.htm)
- Borecký 1910 — *J. Borecký*. Firdúsí: Kniha králů (Šáh-náme). Praha, 1910.
- Brodeur 1916 — [www.sacred-texts.com/neu/pre/pre04.htm](http://www.sacred-texts.com/neu/pre/pre04.htm)
- Bromwich, Evans 1992 — *R. Bromwich, D. S. Evans* (eds.). Culhwch and Olwen. An Edition and Study of the Oldest Arthurian Tale. Cardiff, 1992.
- Brückner 1886 — *A. Brückner*. Beiträge zur litauischen Mythologie // Archiv für slavische Mythologie. 9. 1886.

- Brückner 1922 — *A. Brückner*. Osteuropäische Götternamen. Ein Beitrag zur vergleichenden Mythologie // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung (\*Kuhn's Zeitschrift\*). 50. 1922.
- BSOAS — Bulletin of School of Oriental and African Studies.
- Buck 1949 — *C. D. Buck*. A Dictionary of Selected synonyms in the Principal Indo-European Languages. Chicago; London, 1949.
- Būga I–III — *K. Būga*. Rinkiniai raštai I–III / Ed. Z. Zinkevičius, V. Mažiulis. Vilnius, 1958–1962.
- Bundahisn — <http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/miran/mpers/bundahis/bunda.htm>
- Burrow 1960 — *Th. Burrow*. Sanskrit krand- «step, stride» // Bulletin of the Deccan College Research Institute. 20. 1960.
- Caesar 1982 — *C. J. Caesar*. Commentarii de bello gallico / Ed. by H. Lindemann. Bamberg, 1982.
- Campanile 1974 — *E. Campanile*. Profilo etimologico del cornico antico. Pisa, 1974.
- Carnoy 1957 — *A. Carnoy*. Dictionnaire étymologique de la mythologie gréco-romaine. Louvain, 1957.
- Chantraine I–IV — *P. Chantraine*. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. I–IV. Paris, 1968–1980.
- Cicero 1972 — *Cicero*. De Natura Deorum / Ed. & transl. by H. Rackham. Cambridge (Mass.); London, 1972.
- CIL — Corpus Inscriptionum Latinarum.
- Coblin 1986 — *W. S. Coblin*. A sinologist's handlist of Sino-Tibetan lexical comparisons. Nettetal, 1986.
- Colarusso 2002 — *J. Colarusso*. Nart Sagas from the Caucasus. Princeton, 2002.
- Cowgill 1980 — *W. Cowgill*. The etymology of Irish *guidid* and the outcome of \*g<sup>h</sup> in Celtic // M. Mayrhofer, M. Pecters, O. Pfeiffer (eds.). Lautgeschichte und Etymologie. Akten der VI. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft (Wien, Sept. 1978). Wiesbaden, 1980.
- Curtius 1879 — *G. Curtius*. Grundzüge der griechischen Etymologie. Leipzig, 1879.
- CVST — *I. Peiros, S. Starostin*. A Comparative Vocabulary of Five Sino-Tibetan Languages. I–V. Parkville, 1996.
- Danka, Witczak 1997 — *I. R. Danka, K. T. Witczak*. Indo-European \*k<sup>h</sup>uHos and its Meanings In the Neolithic and Post-Neolithic Times // Journal of Indo-European Studies. 25. 1997.
- de Bernardo Stempel 1987 — *P. de Bernardo Stempel*. Die Vertretung der indogermanischen Liquiden und nasalen Sonanten im Keltischen. Innsbruck, 1987.
- de Bernardo Stempel 1990 — *P. de Bernardo Stempel*. Einige Beobachtungen zu indogermanische (w) im Keltischen // A. T. E. Matonis, D. F. Melia (eds.). Celtic Language, Celtic Culture: A Festschrift for Eric P. Hamp. Van Nuys (California), 1990.
- de Bernardo Stempel 1991 — *P. de Bernardo Stempel*. Die Sprache albritannischer Münzlegenden // Zeitschrift für celtische Philologie. 44. 1991.
- de Bernardo Stempel 1994 — *P. de Bernardo Stempel*. Zum gallischen Akzent: eine sprachinterne Betrachtung // Zeitschrift für celtische Philologie. 46. 1994.
- de Bernardo Stempel 1999 — *P. de Bernardo Stempel*. Nominale Wortbildung des älteren Irischen. Stammbildung und Derivation. Tübingen, 1999.
- de Bernardo Stempel 2001 — *P. de Bernardo Stempel*. Gotisch *in-weitiþ guþ* und gallisch *ande-díon uediñ-mi* (Chamalières. Z. 1) // Historische Sprachforschung. 114. 2001.

- de Bernardo Stempel 2003 — *P. de Bernardo Stempel*. Die sprachliche Analyse keltischer Theonyme // *Zeitschrift für celtische Philologie*. 53. 2003.
- De Búrca 1967 — *S. De Búrca*. Gobbán saer, the crafty artificer // *Beiträge zur Indogermanistik und Keltologie* J. Pokorny zum 80. Geburtstag gewidmet / Ed. by W. Meid. Innsbruck, 1967.
- de Vries 1957 — *J. de Vries*. Altgermanische Religionsgeschichte. Bd. II. Berlin, 1957.
- de Vries 1962/1977 — *J. de Vries*. Altnordisches etymologisches Wörterbuch<sub>2</sub>. Leiden, 1962/1977.
- Delamarre 2001 — *X. Delamarre*. Dictionnaire de la langue gauloise. Une approche linguistique du vieux-celtique continental. Paris, 2001.
- Delamarre 2007 — *X. Delamarre*. Nomina Celtica Antiqua Selecta Inscriptionum — Noms de personnes celtiques dans l'épigraphie classique. Paris, 2007.
- Deor — [www.heort.dk/deor.html](http://www.heort.dk/deor.html)
- DIL — Dictionary of the Irish Language. Dublin, 1998.
- Dossin 1971 — *G. Dossin*. Grèce et Orient // *Revue Belge de Philologie*. 49. 1971.
- Endzelin, Hausenberg 1934–1938 — *J. Endzelin, E. Hausenberg*. Ergänzungen und Berichtigungen zu K. Mühlhards Lettisch-deutschen Wörterbuch. Riga, 1934–1938.
- Endzelīns 1931 — *J. Endzelīns*. Sikumi. Filologu Biedrības Raksti. 11. 1931.
- Ernout, Meillet 1959 — *A. Ernout, A. Meillet*. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Paris, 1959.
- ESJS — *Etymologický slovník jazyka staroslověnského* / Ed. E. Havlová, A. Erhart, H. Karliková. Praha, 1989.
- Estell 1999 — *M. Estell*. Orpheus and R̥bhu Revisited // *Journal of Indo-European Studies*. 27. 1999.
- EV — Vocabulary from Elbing.
- Evans 1967 — *D. E. Evans*. Gaulish personal Names. A Study of some Continental Celtic Formations. Oxford, 1967.
- EWAL — *Etymologisches Wörterbuch des Altindogermanischen*. I–III // By M. Mayrhofer. Heidelberg, 1986–2001.
- Falileyev 2000 — *A. Falileyev*. Etymological Glossary of Old Welsh. Tübingen, 2000.
- Falk, Torp 1909 — *H. Falk, A. Torp*. Wortschatz der germanischen Spracheinheit. Göttingen, 1909.
- Fellmann 2004 — *R. Fellmann*. Gobannus, une divinité gauloise et galloromaine pratiquement inconnue (habent sua fata inscriptiones) // H. Heftner, K. Tomaschitz (eds.). Ad Fontes! Festschrift für Gerhard Dobesch zum fünfundsiebzigsten Geburtstag. Wien, 2004.
- Fleuriot 1964 — *L. Fleuriot*. Dictionnaire des gloses en vieux breton. Paris, 1964.
- Fleuriot 1976–1977 — *L. Fleuriot*. Le vocabulaire de l'inscription gauloise de Chamalières // *Études celtiques*. 15. 1976–1977.
- Fraenkel 1962–1965 — *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. I–II. Göttingen; Heidelberg, 1962–1965.
- Friedrich 1952 — *J. Friedrich*. Hethitisches Wörterbuch. Heidelberg, 1952.
- Frisk I–II — *H. Frisk*. Griechisches etymologisches Wörterbuch. I–II. Heidelberg, 1973.
- Furnée 1972 — *E. I. Furnée*. Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen. The Hague; Paris, 1972.
- Geiger 1912 — *W. Geiger*. Mahavamsa. Colombo, 1912. (<http://lakdiva.org/mahavamsa/chap018.html>)

- Gerullis 1922 — *G. Gerullis*. Die altpreussischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922.
- Chantraine I–IV — *P. Chantraine*. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. I–IV. Paris, 1968–1980.
- Gharib 1995 — *B. Gharib*. Sogdian Dictionary. Teheran, 1995.
- Chirikba 1996 — *V. Chirikba*. Common West Caucasian. Leiden, 1996.
- Gimbutas 1963 — *M. Gimbutas*. The Balts. London, 1963.
- Goetze 1962 — *A. Goetze*. Cilicians // *Journal of Cuneiform Studies*. 16. 1962.
- Griffith I–II — *R. T. H. Griffith*. Hymns of the R̥gveda. I–II. New Delhi, 1889/1987.
- Guest 1877 — [www.ancienttexts.org/library/celtic/ctexts/culhwch2.html](http://www.ancienttexts.org/library/celtic/ctexts/culhwch2.html)
- Gumare — [www.sacred-texts.com/neu/beo/beo07.htm](http://www.sacred-texts.com/neu/beo/beo07.htm)
- Gutenbrunner 1936 — *S. Gutenbrunner*. Zur Gutasaga // *Zeitschrift für deutsches Altertum*. 73. 1936.
- Hamilton, Falconer — <http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3A1999.01.0239.01.0239;layout=:loc=notice;query=toc>
- Hamp 1961 — *E. P. Hamp*. Marginalia to Pokorny's «Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch»: 1. Indo-European \*(s)kēu-/keu? // *Indogermanische Forschungen*. 66. 1961.
- Hamp 1988 — *E. P. Hamp*. (Aber)Gevenni // *Bulletin of the Board of Celtic Studies*. 35. 1988.
- Hardarsaga — [www.snerpa.is/net/isl/hardar.htm](http://www.snerpa.is/net/isl/hardar.htm)
- Hawkins 2000 — *J. D. Hawkins*. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Vol. I: Inscriptions of the Iron Age. Berlin; New York, 2000.
- Heaney 1999 — *S. Heaney*. Beowulf. Bilingual edition. New York, 1999.
- HEG — *J. Tischler*. Hethitisches etymologisches Glossar. Innsbruck, 1983f.
- Henry 1900 — *V. Henry*. Lexique étymologique du breton moderne. Rennes, 1900.
- Henry 1984 — *P. L. Henry*. Interpreting the Gaulish inscription of Chamalières // *Études celtiques*. 21. 1984.
- Herodotus 1963 — *Herodotus' Historiēn* / Ed. by B. A. Van Groningen. Leiden, 1963.
- Hoad 1986 — *T. F. Hoad*. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford, 1986.
- Hoffner 1997 — *H. A. Hoffner*. The Laws of the Hittites. A Critical Edition. Leiden; New York; Köln, 1997.
- Hoffner 1998 — *H. A. Hoffner*. Hittite myths. Atlanta, 1998.
- Holder I–III — *A. Holder*. Alt-Celtischer Sprachschatz. Bd. I–III. Leipzig, 1896–1907.
- Holthausen 1963 — *F. Holthausen*. Altenglisches etymologisches Wörterbuch<sub>2</sub>. Heidelberg, 1963.
- Homer 1935 — *Homeri Ilias* / Ed. by G. Dindorf. Leipzig, 1935.
- Horn 1893 — *P. Horn*. Grundriss der neupersischen Etymologie. Strassburg, 1893.
- Hull 1952 — *V. Hull*. Geneamuin Chormaic // *Ériu*. 16. 1952.
- II. — Ilias.
- Jackson 1986 — *K. H. Jackson*. A Historical Phonology of Breton. Dublin, 1986.
- Joki 1973 — *A. Joki*. Uralier und Indogermanen // *Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. 151. Helsinki, 1973.
- Jonval 1929 — *M. Jonval*. Les chansons mythologiques lettonnes. Paris, 1929.
- Juvenalis 1997 — *D. Juvenalis*. Saturae Sedecim / Ed. by J. A. Willis. Stuttgart, 1997.
- Kammenhuber 1969 — *A. Kammenhuber*. Das Hattische // *Altkeleinasische Sprachen*. Leiden; Köln, 1969 (Handbuch der Orientalistik, I. Abt., 2. Bd., 1.–2. Absch., Lief. 2).
- KBo — Keilschrifttexte aus Boghazköi.



- KEWA — Kutzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. I–IV / Ed. by M. Mayrhofer. Heidelberg, 1956–1980.
- Kimball 1999 — S. E. Kimball. Hittite Historical Phonology. Innsbruck, 1999.
- Kluge, Seebold 1999 — F. Kluge, E. Seebold. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache<sup>23</sup>. Berlin; New York, 1999.
- KN — Linear B texts from Knossos, series V.
- Knobloch 1956 — J. Knobloch. Hethitische Etymologien (*šummittant-*, *humant-*) // Festschrift für V. Christian zum 70. Geburtstag. Wien, 1956.
- Knutsson 1927 — K. Knutsson. Zur slavischen Lehnwörterkunde // Zeitschrift für slavische Philologie. 4. 1927.
- Koch 1987 — J. T. Koch. *Llawr en asseð* (CA 932) «The laureate hero in the war-chariot»: some recollections of the iron age in the *Gododdin* // Études celtiques. 24. 1987.
- Koch 1995 — J. T. Koch. Further to Indo-European \*g<sup>wh</sup> in Celtic // Hispano-Gallo-Brittonica: Essays in honour of Professor D. Ellis Evans on the occasion of his sixty-fifth birthday / Ed. by J. F. Eska, R. G. Gruffydd, N. Jacobs. Cardiff, 1995.
- Kretschmer 1896 — P. Kretschmer. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 1896.
- KUB — Keilschrifturkunden aus Boghazköi.
- Kuhn 1855 — A. Kuhn. Die Sprachvergleichung und die Urgeschichte der indogermanischen Völker. 1855.
- Kuhn 1973 — H. Kuhn. Alben // H. Beck (ed.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 1. Berlin; New York, 1973.
- Kuiper 1991 — F. B. J. Kuiper. Aryans in the Rigveda. Amsterdam; Atlanta, 1991.
- Kun Chang 1972 — Kun Chang. Sino-Tibetan 'iron': \*qhleks // Journal of American Oriental Society. 92. 1972.
- Kurschat II — A. Kurschat. Litauisch-deutsches Wörterbuch. Bd. II. Göttingen, 1970.
- Lambert 1979 — P.-Y. Lambert. La tablette gauloise de Chamalières // Études celtiques. 16. 1979.
- Lambert 1994/2003 — P.-Y. Lambert. La langue gauloise<sup>12</sup>. Paris, 1994/2003.
- Laroche 1965 — E. Laroche. Textes mythologiques hittites en transcription. I: Mythologie anatolienne // Revue hittite et asianique. 23. Fasc. 77. 1965.
- Lehmann 1986 — W. Lehmann. A Gothic Etymological Dictionary. Leiden, 1986.
- Lehtiranta 1989 — J. Lehtiranta. Yhteisaamelainen sanasto. Helsinki, 1989 (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 200).
- LEIA — Lexique étymologique de l'irlandais ancien / Par J. Vendryes et al. Dublin; Paris, 1959f.
- Lejeune 1972 — M. Lejeune. Phonétique historique du mycénien et du grec ancien. Paris, 1972.
- Lejeune, Marichal 1976–1977 — M. Lejeune, R. Marichal. Textes gaulois et gallo-romains en cursive latine // Études celtiques. 15. 1976–1977.
- Lewis, Short 1896 — Ch. Lewis, Ch. Short. A Latin Dictionary. Oxford, 1896.
- Liddell, Scott 1901 — H. G. Liddell, R. Scott. A Greek-English Lexicon<sup>3</sup>. Oxford, 1901. Lieferung 14 — J. Tischler. Helthitisches etymologisches Glossar. Innsbruck, 1983f. (HEG)
- LIV — Lexikon der indogermanischen Verben<sub>2</sub> / Eds. by H. Rix with M. Kümmel, T. Zehnder, R. Lipp, B. Schirmer. Wiesbaden, 2001.
- LKŽ V — Lietuvių kalbos žodynas. T. 5. Vilnius, 1959.
- Lorentz I — F. Lorentz. Pomoranisches Wörterbuch. I (A–P). Berlin, 1958.

- LPG — W. Mannhardt. Letto-Preussische Götterlehre. Riga, 1936.
- Łasicki 1544 — J. Łasicki (Lasicus). De Diis Samagitarum Cacterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum. Item de Religione Armeniorum, 1544.
- MacAlister 1941 — R. A. S. MacAlister. Lebor Gabála Érenn. The Book of the Taking of Ireland. Part IV. Dublin, 1941.
- MacBain 1911 — A. MacBain. An Etymological Dictionary of the Gaelic Language. Stirling, 1911.
- MacKenzie 1971 — D. N. MacKenzie. A Concise Pahlavi Dictionary. London, 1971.
- MacKillop 1998 — J. MacKillop. Dictionary of Celtic Mythology. Oxford, 1998.
- Machek 1968 — V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1968.
- Mann 1984–1987 — S. E. Mann. An Indo-European Comparative Dictionary. Hamburg, 1984–1987.
- Mannhardt 1936 — W. Mannhardt. Letto-Preussische Götterlehre. Riga, 1936.
- Mansikka 1922 — V. J. Mansikka. Die Religion der Ostslaven. Helsinki, 1922 (FF Communications. 43).
- Mayrhofer 1977 — M. Mayrhofer. Die avestischen Namen. Wien, 1977.
- Mažiulis I–IV — V. Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. I–IV. Vilnius, 1988–1997.
- MBh — Mahābhārata.
- McCone 1984 — K. McCone. Aided Cheltair maic Uthechair: hounds, heroes and hospitallers in early Irish myth and story // Ériu. 25. 1984.
- McCone 1985 — K. McCone. Varia II. 2. OIr. *Olc*, *Luch*- and IE *wl̥kʰos*, \**lūkʰos* 'wolf' // Ériu. 36. 1985.
- McDevitte, Bohn 1869 — W. A. McDevitte, W. S. Bohn. Caesar's Gallic War. New York, 1869.
- ME — K. Mühlensch. Lettisch-deutsches Wörterbuch, ergänzt und fortgesetzt von Janis Endzelin. I–IV. Riga. 1923–1932.
- Meid 1961a — W. Meid. Lat. *Volcānus* — osset. *Wārgon* // Indogermanische Forschungen. 66. 1961.
- Meid 1961b — W. Meid. Etrusk. *veluans*, kret. *φελχανος*, und die angebliche Herkunft des lat. GN *Volcānus* aus dem Etruskischen // Indogermanische Forschungen. 66. 1961.
- Meillet 1894 — A. Meillet. Notes arméniennes // Mémoires de la Société de Linguistique de Paris. 8. 1894.
- Meissner 1998 — T. Meissner. Das «Calandsche Gesetz» und das Griechische — nach 100 Jahren // Sprache und Kultur der Indogermanen. Akten der X. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft (Innsbruck, 22.–28. September 1996) / Hrsg. von W. Meid. Innsbruck, 1998.
- Meyer 1891 — G. Meyer. Etymologisches Wörterbuch der albanischen Sprache. Strassburg, 1891.
- Meyer-Lübke 1935 — W. Meyer-Lübke. Romanisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1935.
- Mn — Manu Laws.
- Monier-Williams 1899/1993 — M. Monier-Williams. A Sanskrit-English Dictionary. Delhi, 1899/1993.
- Morgenstierne 1954 — G. Morgenstierne. The Waigali Language // Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. 17. 1954.
- Morris, Magnusson 1888 — [www.sacred-texts.com/neu/vlsng/vlsng17.htm](http://www.sacred-texts.com/neu/vlsng/vlsng17.htm)

- Munkácsi 1986 — *B. Munkácsi*. Wogulisches Wörterbuch / Ed. by Béla Kálmán. Budapest, 1986.
- MY Oc — Linear B texts from Mycenae, series Oc.
- Napolskix p.c. — personal communication.
- Neckel 1936 — *G. Neckel* (ed.). Edda: Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern. Heidelberg, 1936.
- Nedoma 2006 — *R. Nedoma*. Wieland-Sage // *H. Beck* (ed.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 33. Berlin; New York, 2006.
- Neus 1850–1852 — *H. Neus*. Ehnische Volkslieder. Reval, 1850–1852.
- NEVP — A New Etymological Dictionary of Pashto by Georg Morgenstierne / Ed. by J. Elfenbein, D. N. MacKenzie, N. Sims-Williams. Wiesbaden, 2003.
- Niederle 1924 — *L. Niederle*. Život starých Slovanů. II.1. Praha, 1924.
- Nikolayev, Starostin 1994 — *S. Nikolayev, S. Starostin*. A North Caucasian Etymological Dictionary. Moscow, 1994.
- O Daly 1975 — *M. O Daly*. Cath Maige Mucrama. The Battle of Mag Mucrama. Dublin, 1975 (Irish Texts Society. 50).
- O'Rahilly 1942 — *T. F. O'Rahilly*. Notes, mainly etymological: 12. *Ir. cerd, W. cerdd* // *Ériu*. 13. 1942.
- O'Rahilly 1976 — *C. O'Rahilly*. Táin bó Cúailnge. Dublin, 1976.
- Od. — Odyssey.
- Oettinger 1976 — *N. Oettinger*. Indogermanisch *\*s(h)neug/n-* 'Sehne' und *\*s(m)en-* 'gering sein' im Hethitischen // *Münchener Studien zur Sprachwissenschaft*. 35. 1976.
- Olmsted 1994 — *G. Olmsted*. The Gods of the Celts and the Indo-Europeans. Innsbruck, 1994.
- Olsen 1999 — *B. Olsen*. The Noun in Biblical Armenian. Origin and Word-Formation. Berlin; New York, 1999.
- Orel 1998 — *V. Orel*. Albanian Etymological Dictionary. Leiden; Boston; Köln, 1998.
- Otrębski 1967 — *J. S. Otrębski*. Lat. *autumnus* und griech. *ἐνταυτός* // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung* ('Kuhn's Zeitschrift'). 81. 1967.
- Paasonen 1926 — *H. Paasonen*. Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan / Ed. by Kai Donner. Helsinki, 1926 (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. II).
- Paasonen 1948 — *H. Paasonen*. Ost-tscheremissisches Wörterbuch. Helsinki, 1948 (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. XI).
- Pecchioli Daddi 1982 — *F. Pecchioli Daddi*. Mestieri, professioni e dignità nell'Anatolia itita. Roma, 1982.
- Pedersen I–II — *H. Pedersen*. Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. I–II. Göttingen, 1909–1913.
- Pisani 1966 — *V. Pisani*. Relitti «indomediterranei» e rapporti greco-anatolici // *Annali Istituto Universitario Orientale. Sezione Linguistico*. 7. 1966.
- Pokorny 1959 — *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959.
- Polomé 1997 — *E. C. Polomé*. Smith god // *J. P. Mallory, D. Q. Adams* (eds.). Encyclopedia of Indo-European Culture. London; Chicago, 1997.
- Prellwitz 1889 — *W. Prellwitz*. Die Telchinen // *Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen*. 15. 1889.
- Procopius 1962 — *Procopius Caesariensis*. De bellis libri. I–IV. Leipzig, 1962.

- Puhvel 1991 — *J. Puhvel*. Hittite Etymological Dictionary. Vol. 3: Words beginning with *H*. Berlin; New York, 1991.
- Pulleyblank 1991 — *E. G. Pulleyblank*. Lexicon of Reconstructed Pronunciation in Early Middle Chinese, Late Middle Chinese, and Early Mandarin. Vancouver, 1991.
- PY An — Linear B texts from Pylos, series An.
- PY Jn — Linear B texts from Pylos, series Jn.
- Radtke 1965 — *G. Radtke*. Die Götter Altitaliens. Münster, 1965.
- Rasmussen 1989 — *J. E. Rasmussen*. Studien zur Morphophonemik der indogermanischen Grundsprache. Innsbruck, 1989.
- RE, Suppl. XIV, 1974 — *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* / Bearb. von G. Wissowa et al. Supplementband XIV; Ed. by H. Gärtner. München, 1974.
- Rieken 2002 — *E. Rieken*. Ein Lautgesetz und der Obliquusstamm des urindogermanischen Personalpronomens der 1. und 2. Person Plural // *Novalis Indogermanica. Festschrift für Günter Neumann zum 80. Geburtstag* / Ed. by M. Fritz, S. Zeilfeder. Graz, 2002.
- Riley — [www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll\\_Greco-Roman.html](http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html)
- RV — Rgveda.
- Sammallahti 1988 — *P. Sammallahti*. Historical phonology of the Uralic languages // *D. Sinor* (ed.). The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences. Leiden; New York; København; Köln, 1988.
- Sammallahti 1998 — *P. Sammallahti*. Historical phonology of the Uralic languages // *D. Sinor* (ed.). The Uralic Languages. Leiden; New York; København; Köln, 1988.
- Scherer 1953 — *A. Scherer*. Gestirnnamen bei den indogermanischen Völkern. Heidelberg, 1953.
- Schleicher 1852/1998 — *A. Schleicher*. Die Formenlehre der kirchenslavischen Sprache erklärend und vergleichend dargestellt. Bonn, 1852 (reprint Hamburg 1998).
- Schmidt 1981 — *K. H. Schmidt*. The Gaulish Inscription of Chamalières // *Bulletin of the Board of Celtic Studies*. 29. 2. 1981.
- Schmidt 1983 — *K. H. Schmidt*. Handwerk und Handwerker in altkeltischen Sprachdenkmälern // *H. Jankuhn, W. Janssen, R. Schmidt-Wiegand, H. Tiefenbach* (Hrsg.). Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. Teil II: Archäologische und philologische Beiträge. Göttingen, 1983.
- Schmidt 2001 — *K. H. Schmidt*. Die keltiberische Namenformel *likinos kuesontikum* IV 36 aus Botorrita III // *Palaeohispanica*. 1. 2001.
- Schönfeld 1911 — *M. Schönfeld*. Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen. Heidelberg, 1911.
- Schrader, Nehring I–II — *O. Schrader, A. Nehring*. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. I–II. Berlin; Leipzig, 1917–1929.
- Schrijver 1991 — *P. Schrijver*. The Reflexes of the Proto-Indo-European Laryngeals in Latin. Amsterdam; Atlanta, 1991.
- Schrijver 1995 — *P. Schrijver*. Studies in British Celtic Historical Phonology. Amsterdam; Atlanta, 1995.
- Schrijver 1997 — *P. Schrijver*. Studies in the History of Celtic Pronouns and Particles. Maynooth: Department of Old Irish (Maynooth Studies in Celtic Linguistics. II), 1997.
- Schuster-Šewc I–IV — *H. Schuster-Šewc*. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Bd. I–IV. Bautzen, 1983–1989.

- Sims-Williams 1995 — *P. Sims-Williams*. Indo-European \*g<sup>wh</sup> in Celtic, 1894–1994 // J. F. Eska, R. G. Gruffydd, N. Jacobs (eds.). *Hispano-Gallo-Brittonica*. Essays in honour of Professor D. Ellis Evans on the occasion of his sixty-fifth birthday. Cardiff, 1995.
- SKES — Suomen kielen etymologinen sanakirja / Ed. by Y. H. Toivonen et al. Helsinki, 1955–.
- Smoczyński 1989 — *W. Smoczyński*. *Studia bałto-słowiańskie*. I. Kraków, 1989.
- Smoczyński 2000 — *W. Smoczyński*. Untersuchungen zum deutschen Lehngut im Alt-preussischen. Kraków, 2000.
- Snoj 2003 — *M. Snoj*. *Slovenski etimološki slovar*. Ljubljana, 2003.
- Solta 1960 — *R. Solta*. Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen: eine Untersuchung der indogermanischen Bestandteile des armenischen Wortschatzes. Wien, 1960.
- Soysal 2004 — *O. Soysal*. *Hattischer Wortschatz in hethitischer Textüberlieferung*. Leiden; Boston, 2004.
- Steingass 1892 — *F. J. Steingass*. *Persian-English Dictionary*. London, 1892.
- Stokes 1891 — *W. Stokes*. The second Battle of Moytura // *Revue Celtique*. 12. 1891.
- Stokes 1894 — *W. Stokes*. *Urkeltischer Sprachschatz*. Göttingen, 1894.
- Strabonis — *Strabonis*. *Geographica*. I–III / Ed. by A. Meineke. Leipzig, 1907–1913.
- Stüber 2005 — *K. Stüber*. *Schmied und Frau*. Studien zur gallischen Epigraphik und Onomastik. Budapest, 2005.
- Sturluson 1982 — *S. Sturluson*. *Edda: Prologue and Gylfingning* / Ed. by A. Faulkes. Oxford, 1982.
- Sychta II — *B. Sychta*. *Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej*. II (H–L). Wrocław; Warszawa; Kraków, 1968.
- Thieme 1985 — *P. Thieme*. Nennformen aus Anrede und Anruf im Sanskrit // *Münchener Studien zur Sprachwissenschaft*. 44. 1985.
- Thomsen 1870 — *V. Thomsen*. Über den Einfluss der germanischen Sprachen auf die Finnisch-Lappischen. Halle, 1870.
- Thomsen 1890 — *V. Thomsen*. *Berøringer mellem de finske og de baltiske (litauk-lettiske) Sprog*. København, 1890 (Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og filosofisk Afd. I.1.).
- Thurneysen 1946 — *R. Thurneysen*. *A Grammar of Old Irish*. Dublin, 1946.
- Tischler 2001 — *J. Tischler*. *Hethitisches Handwörterbuch*. Innsbruck, 2001.
- Trautmann 1910 — *R. Trautmann*. *Die altpreussischen Sprachdenkmäler*. Göttingen, 1910.
- Trautmann 1923/1970 — *R. Trautmann*. *Baltisch-Slavisches Wörterbuch*. Göttingen, 1923/1970.
- Trautmann 1925/1974 — *R. Trautmann*. *Die altpreussische Personennamen*. Göttingen, 1925/1974.
- Tremblay 2004 — *X. Tremblay*. Chalcographie: Sur χαλκός, lit. *geležis* et turc *qoruyışın* // *Historische Sprachforschung*. 117. 2004.
- Turner 1966 — *R. L. Turner*. *A comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages*. London, 1966.
- UEW — *Uralisches etymologisches Wörterbuch* / Ed. by K. Rédei. Budapest, 1986–1988.
- Untermann 2000 — *J. Untermann*. *Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen*. Heidelberg, 2000.
- VaivartaPurana — [www.astrojyoti.com/BrahmaVaivartaPurana.htm](http://www.astrojyoti.com/BrahmaVaivartaPurana.htm)

- Van Windekens 1976 — *A. J. Van Windekens*. Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. Vol. I: La phonétique et le vocabulaire. Louvain, 1976.
- Varro 1967 — *Varro*. *De Lingua Latina* / Ed. & transl. by R. G. Kent. Cambridge (Mass.); London, 1967.
- VBoT — *Verstreute Boghazköi-Texte*.
- Vetter 1953 — *E. Vetter*. *Handbuch der italischen Dialekte*. Heidelberg, 1953.
- Vishnu Purana 1840 — *H. H. Wilson*. *Vishnu Purana* ([www.sacred-texts.com/hin/vp/vp044.htm](http://www.sacred-texts.com/hin/vp/vp044.htm))
- Vycichl 1983 — *W. Vycichl*. *Dictionnaire étymologique de la langue copte*. Leuven; Paris, 1983.
- Vycichl 1990 — *W. Vycichl*. *La vocalisation de la langue égyptienne*. I: La phonétique. Caire, 1990 (Bibliothèque d'étude. T. 16).
- Walde, Hofmann I–II — *A. Walde, J. B. Hofmann*. *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg, 1938–1954.
- Waldere — [www.heort.dk/waldere.html](http://www.heort.dk/waldere.html)
- Warners 1905 — *A. G. & E. Warner*. *The Sháhnáma of Firdausí*. London, 1905.
- Wb. — *Wörterbuch der ägyptischen Sprache*. I–VI / Ed. by A. Erman, H. Grapow. Berlin, 1971.
- West 1880 — [www.sacred-texts.com/zor/sbe05/index.htm](http://www.sacred-texts.com/zor/sbe05/index.htm)
- Wichmann 1987 — *Y. Wichmann*. *Wotjakischer Wortschatz* / Bearbeitet von T. E. Uotila, M. Korhonen. Helsinki, 1987 (Lexica Societatis Fenno-Ugricae. 21).
- Wilhelm 1988 — *G. Wilhelm*. *Gedanken zu Frühgeschichte der Hurriter und zum hurritisch-urartäischen Sprachvergleich* // V. Haas (ed.). *Hurriter und Hurritisch*. Konstanz, 1988.
- Wilkins 1882/1991 — *W. J. Wilkins*. *Hindu Mythology*. New Delhi, 1882/1991.
- Wolff 1910 — *F. Wolff* (transl.). *Avesta*. Die heiligen Bücher der Parsen. Strassburg, 1910.
- Wolter 1886 — *E. Wolter*. *Mythologische Skizzen* // *Archiv für slavische Philologie*. 9. 1886.
- Yasna — <http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/avesta/yasna/yasna.htm>
- Yt. — Yašt.
- Zatočil 1960 — *L. Zatočil*. *Sága o Volsunzích*. Praha, 1960.
- Zavaroni 2007 — *A. Zavaroni*. Expressions of Gaulish religion on some rocks of Northern Tuscany mountains (abstract) // *Programm of XIII<sup>th</sup> International Congress of Celtic Studies* (Bonn, July 23–27, 2007). Bonn, 2007 (Rheinisches Landesmuseum. 64).
- Ziegler 1994 — *S. Ziegler*. *Die Sprache der altirischen Ogam-Inschriften*. Göttingen, 1994.
- Абаев 1949 — *В. И. Абаев*. *Осетинский язык и фольклор*. I. М.; Л., 1949.
- Абаев I–V — *В. И. Абаев*. *Историко-этимологический словарь осетинского языка*. I–V. М.; Л., 1958–1995.
- Ардзинба 1985 — *В. Г. Ардзинба*. *Нартский сюжет о рождении героя из камня* // Б. Б. Пиотровский и др. (ред.). *Древняя Анатолия*. М., 1985.
- Ардзинба 1988 — *В. Г. Ардзинба*. *К истории культа железа и кузнечного ремесла (почитание кузницы у абхазов)* // Г. М. Бонгард-Левин, В. Г. Ардзинба (ред.). *Древний Восток*. М., 1988.
- Бертельс 1960 — *Фирдоуси*: *Шах-наме*. *Критический текст* / Ред. Е. Э. Бертельс. М., 1960.

- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов*. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.
- Гиоргадзе 1988 — *Г. Г. Гиоргадзе*. Производство и применение железа в Центральной Анатолии по данным хеттских клинописных текстов // Г. М. Бонгард-Левин, В. Г. Ардзинба (ред.). Древний Восток. М., 1988.
- Гордеев 1985 — *Ф. И. Гордеев*. Историческое развитие лексики марийского языка. Йошкар-Ола, 1985.
- Егоров 1964 — *В. Г. Егоров*. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
- Зарубин 1960 — *И. И. Зарубин*. Шугнанские тексты и словарь. М.; Л., 1960.
- Иванов 1977 — *Вяч. Вс. Иванов*. Древние культурные и языковые связи южно-балканского, эгейского и малоазийского (анатолийского) ареалов // Т. В. Цивьян (ред.). Балканский лингвистический сб. М., 1977.
- Иванов 1983 — *Вяч. Вс. Иванов*. История славянских и балканских названий металлов. М., 1983.
- Иванов, Топоров 1973 — *Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров*. Этимологическое исследование семантически ограниченных групп лексики в связи с проблемой реконструкции праславянских текстов // Славянское языкознание: VII Междунар. съезд славистов. М., 1973.
- Иванов, Топоров 1974 — *Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров*. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
- Королев 1984 — *А. А. Королев*. Древнейшие памятники ирландского языка. М., 1984.
- КРС — Коми-русский словарь / Ред. В. И. Лыткин. М., 1961.
- Лауринкене 2004 — *Н. Лауринкене*. Кузнец в литовской мифологической традиции // Балто-славянские исследования. 16. М., 2004.
- Лыткин, Гуляев 1970 — *В. И. Лыткин, Е. С. Гуляев*. Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.
- Пахалина 1971 — *Т. Н. Пахалина*. Сарыкольско-русский словарь. М., 1971.
- РАС — Русско-афганский словарь (пушту) / Ред. К. А. Лебедев и др. М., 1973.
- РКС — Русско-коми словарь. Сыктывкар, 1966.
- РМаС — Русско-марийский словарь / Ред. И. Ф. Андреев и др. М., 1966.
- РМоС — Русско-мокшанский словарь / Ред. С. Г. Потапкин, А. К. Имяреков. М., 1951.
- Соколова 1959 — *В. С. Соколова*. Рушанские и хуфские тексты и словарь. М.; Л., 1959.
- Старостин 1985 — *С. Старостин*. Культурная лексика в общесеверокавказском словарном фонде // Древняя Анатолия / Ред. Б. Б. Пиотровский и др. М., 1985.
- Старостин 1989 — *С. Старостин*. Реконструкция древнекитайской фонологической системы. М., 1989.
- Топоров 1966 — *В. Н. Топоров*. Об одной «ятвяжской» мифологеме в связи со славянской параллелью // Acta Baltico-Slavica. 3. 1966.
- Топоров 1970 — *В. Н. Топоров*. К балто-славянским мифологическим связям // V. Rūķe-Draviņa (ed.). Donum balticum: To Professor Christian S. Stang on the occasion of his seventieth birthday. Stockholm, 1970.
- Топоров I–V — *В. Н. Топоров*. Прусский язык: Словарь. I–V. М., 1975–1990.
- Топорова 1989 — *Т. В. Топорова*. Язык и миф: герм. \*Walundaz, \*Wēlundaz // ИАН СЛЯ. 48/5. 1985.

- Трубачев 1966 — *О. Н. Трубачев*. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.
- Фасмер, Трубачев I–IV — *М. Фасмер, О. Н. Трубачев*. Этимологический словарь русского языка. I–IV. М., 1986–1988.
- Феоктистов 1971 — *А. П. Феоктистов*. Русско-мордовский словарь. М., 1971.
- Цаболов 2001 — *Р. Л. Цаболов*. Этимологический словарь курдского языка. Т. 1. М., 2001.
- Шахнаме — *Фирдоуси*. Шахнаме. I / Ред. Ц. Б. Бану, А. Лахути, А. А. Стариков. М., 1957.
- ЭРС — Эрзянско-русский словарь / Ред. М. Н. Коляденков, Н. Ф. Цыганов. М., 1949.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков / Ред. О. Н. Трубачев и др. М., 1974–.
- ЭСТЯ — Этимологический словарь тюркских языков. K/Q / Ред. Л. С. Левитская, А. В. Дыбо, В. И. Рассадин. М., 1997.

С. КАРАЛЮНАС

## Древний литовский пантеон и его сравнительно-исторический контекст

Важным источником по литовской мифологии является написанная по-гречески в VI в. хроника византийского летописца Иоанна Малалы (Ioannes Malalas), переведенная болгарским священником Григорием в 927 г. на старославянский язык. Перевод, т. е., возможно, его список, рано попал в Россию. В 1261 г. один писец из западной Руси при переписывании подправил его, кое-где вставляя исторические сведения. Рукопись пропала, но сохранился список, сделанный в XV в. Надо отметить, что существуют еще несколько списков перевода хроники Иоанна Малалы. Один такой список XVI в., описанный Ф. Добрянским, хранился в Публичной библиотеке Вильнюса и когда-то принадлежал Супрасльскому монастырю базилианцев. Одна вставка в хронику Иоанна Малалы представляет собой рассказ о Совии под названием «Рассказ об одном языческом заблуждении, о том, что они называют Совия богом»:

*Совіи бѣ человекъ. Оуловишию емоу дивіи вепръ, иземше из него 9 слезениць и въдасть еи испечи роженнымъ от него. Онѣм же изѣдшим е. разгнѣвався на рождѣшихся от него. Покоушашеся снити во адъ. Осмерыми враты не възмогъ, девятыми хотеніе свое оуполоучивъ роженнымъ от него, рекше сыномъ. Братіи же его негодовавшимъ нанъ, испросися оу нихъ, дошедь възыцію отца своего. И приде в адъ. Отцю же вечерявшю с нимъ, сътвори емоу ложе и погребѣ и въ земли. На оутріе въспроси его въставшима, доброли покоище имѣ. Ономоу же възпивошу: охъ, чрѣвми изѣден бых и гады. Паки же на оутріи сътворивъ емоу вечерю и вложышему и въ древо и положи и. На оутріе въпроси и. Онѣже рече, яко бчелами и комары многыми снѣденъ бых; ух ми, яко тяжко спях. Паки же на оутріе сътвори въ крадоу огненоу великоу и връже и на огонь. На оутріе же въспроси его: добръди почи? Ономоу же рекшоу: яко дѣтиць въ колыбѣли сладко спяхъ.*

*О великаа прелестъ діавольскаа, яже въведе въ Литовскыи род, и Ятвезѣ, и въ Проусы, и въ Емь, и во Либь и иныя многы языки, иже Совицею наричются, мнѣце и душамъ своимъ соуца проводника въ адъ Совья. Бывшю емоу въ лѣта Авимелеха, иже и нынѣ мертва телеса своя съжигаютъ на крадахъ, якож Ахилеос и Эантъ и иніи по рядоу Эллини. Сію прелестъ Совии въведе в нѣ, иж приносити жрѣтвоу сквернымъ богомъ: Андаеви и Перкоунови, рекше громоу, и Жвороунѣ, рекше Соуцѣ, и Телявели і сгокузнецю, сковавшие емоу солнце, яко свѣтити по земли и възвергъшию емоу на небо солнце [...] (ср. [BRMŠ 1: 266, 268]).*

Другим важным источником является Волынская летопись, составляющая часть Ипатьевской летописи 1248–1263 гг. В ней рассказывается история Галича и Волыни 1202–1292 гг. Именно в этих двух текстах мы находим упоминания имен литовских божеств. Так, под 1252 г. о Миндовге сообщается:

*Миндогъ же посла к панѣ и прия крещение. Крещение же его льстиво бысть: жряще богомъ своимъ в таинѣ: первому Ньнадѣви, и Телявели, и Диверикъзоу, Заеячемоу богу и Мѣидѣиноу [...] [Mannhardt 1936: 51–52; BRMŠ 1: 260, 261].*

Комментаторы отмечают, что тенденциозность сообщения скорее всего связана с тем, что летописец был православным священником, клеветал на Миндовга, стремясь его дискредитировать и оправдать войну великого князя Галицко-Волынского Даниила Романовича с христианином Миндовгом [Jasas 1996: 262]. Несмотря на тенденциозность информации, ее историческая ценность огромна, поскольку в ней упоминаются больше нигде не зафиксированные имена языческих литовских богов.

В той же летописи под 1258 г. мы находим еще одно сообщение, в котором также упоминаются некоторые литовские языческие божества:

*Романови же пришедшоу ко градуу и Литвѣ, потокиши на градъ Литвѣ, ни въдѣша нишьто же, токмо и головнѣ ти, псы текуще по городищу; тоужахоу же и плевахоу по своискы рекоуше 'янда', възывающе боги своя Андая и Дивирикса и вся боги своя поминающе рекомыя бѣси [...] <sup>1</sup>.*

В этих западно-русских исторических источниках в определенном порядке зафиксированы следующие имена литовских богов: первым идет *Ньнадѣви*, который и назван первым (*первому*), второй *Андай* (*Андая*), третий — *Телявели*, четвертый — *Диверикъзоу*, *Дивирикса* и пятый — *Мѣидѣиноу*, то есть Медейна. Кроме того, литовцы кричали «янда». Богом называется и *Совий*.

Этот список богов, засвидетельствованный в исторических источниках, — литовский пантеон XIII в.

### 1. Дивирикс

Однако, как мы видим, в этом списке нет Перкунаса, самого популярного древнелитовского бога. В. Н. Топоров обратил внимание на то, что в списках богов имени Перкунаса нет в тех случаях, когда упоми-

<sup>1</sup> [Mannhardt 1936: 51–52; BRMŠ 1: 260, 260, 261 (здесь неточный перевод текста)].

нается Дивирикс. По его мнению, это позволяет предположить, что между ними существовало тождество. Предполагается, что Перкунас называется описательным, перифрастическим образом, как \**Dievo rykš(tė)* ‘бич Бога’ [Топоров 1972: 310–311; Торогов 2000: 31–32]. В литовском языке употребляется *rykštė* ‘прут, розга’, диал. *ryštė* [LKŽ XI: 609, 707]. Кроме того, В. Н. Топоров опирается на выводы Й. Балиса о том, что в литовских фольклорных текстах Перкунас иногда действительно описывается как «бич Бога»: *Kitaip Perkūnas vadinamas ‘Dievo rykštė’*; *Apie Perkūną bijodavo ir išsižioti [...]* *Žaibas — blogadarių rykštė* ‘Иначе Перкунас называется «бичом Бога»; о Перкунасе боялись и рот раскрыть [...] Молния — бич злодеев’ и под. [Balys 1937: 160–161 (Nr. 167, 192, 201)]. Анализируя такую возможность толкования, мы можем добавить, что нужно иметь в виду и то обстоятельство, что в старых словарях (Милкуса, Руйгиса и Бродовскиса) словами *deivaitis, dievaitis (dievaitis)* ‘божок’ обозначался Перкунас [LKŽ II: 379, 515], еще ср. у Бродовского *Kad tave deivaitis (perkūnas)!* ‘Чтоб тебя божок (перкунас)!’ [LKŽ II: 379]. Таким образом, Перкунас на самом деле назывался богом. С другой стороны, в литературе по этому вопросу справедливо отмечается, что неясно, действительно ли это название Перкунаса является древним, не может ли оно быть отражением позднего мировоззрения литовцев, например представлений о том, что гроза — это божья кара (бич) за грехи [Laurinkienė 1996: 58].

Зафиксированные в упомянутых исторических источниках формы этого теонима *Диверикъзоу* 1252 г., *Дивирикса* 1258 г. в литературе по этому вопросу толковались и иначе. Маннхардт считал их состоящими из двух слов *Dieva rikis* или *Dievų rikys* и обозначающими ‘господин Богов’ [Mannhardt 1936: 54–55]. По мнению А. Межинского, *Diviriks* состоит из *dievas* ‘Бог’ и *rik(is), riks* ‘правитель, господин, начальник’, поскольку в прусском языке действительно есть *rikis* ‘господин’. Сходным образом этот теоним трактовал и А. Ю. Грэймас, видевший в форме *Диверикъзоу* уменьшительную форму имени бога Рикиса *Rykužis* [Greimas 1990: 392]. С этим мнением соглашается Н. Лауринкене, указывая на то, что в литовском языке существует не только упоминаемый Даукантасом *rykys*, но и глагол *rykauti* ‘управлять, распределять, упорядочивать, господствовать, хозяйничать’, его производное *rykautojas* ‘тот, кто хозяйничает’ [Laurinkienė 1996: 59]. Таким образом, опираясь на подобные объяснения, мы получаем перефразирование языческого литовского Бога «Бог-Господин».

Но следует отметить, что употребляющиеся в сочинениях Даукантаса *rykys, rykis* ‘король, управитель’ и *rykė* (без ударений) ‘государство, королевство’ на самом деле являются заимствованиями. Об этом

К. Буга писал: «То, что Даукантас в своих сочинениях употребляет слова *rykys* ‘управитель, король’, *rykė* ‘государство, королевство’, один этот факт еще не доказывает то, что эти два слова существовали в литовском разговорном языке. Сосед Даукантаса Валанчяускас не знает ни того, ни другого. Скорее всего, эти два слова Даукантас включил в свои сочинения из словаря прусского языка [...]. Ввод *rykys* и *rykė* облегчался тем, что существовал глагол *rykauti*, который с древности был знаком литовцам [...]» [Būga II: 85, сн. 1]. Согласившись с К. Бугой, можем добавить, что для реконструкции не подходят ни *rikys, rikė* ‘кто управляет, хозяйничает’ (словарь Баронаса), ни *rikis* ‘король, правитель’ (поздние сочинения), поскольку это неологизмы [LKŽ XI: 604].

Функцию Бога-хозяина можно было бы усмотреть в значении глагола *rikiuoti (-iuoja, -iavo)* ‘приводить в порядок; ставить в определенный ряд; чинить, готовить; (возвр.) собираться, приводить себя в порядок...’, *su-rikiuoti* ‘поставить в ряд, очередь; ко м а н д о в а т ь, д а т ь у к а з а н и я; привести в порядок || разложить, расставить...’ [LKŽ X: 605–606], несмотря на то, что этот глагол может быть производным от существительных *rikià* ‘порядок’ (катехизис и Постилла Даукши), *rikė* ‘куча связанной пшеницы, льна, копна; ряд копен’, ср. *i rikę suvesti* ‘привести в порядок’ (Кведарна, [LKŽ X: 602]), *riknė* ‘куча связанной пшеницы, льна, копна’. Эти существительные и глагол *rikiuoti (-iuoja, -iavo)* имеют общий корень с *riėkti (-ia, -ė)* ‘укладывать на жерди’, то есть ‘аккуратно складывать, приводить в порядок’, который обычно употребляется с префиксом, ср. *pri-riėkti* (Нотенай, Шате, рай. Скуодас [LKŽ XI: 558]).

Принимая во внимание только что приведенные слова и их значения и структурную аналогию между прус. *rickawie* ‘управляет, упорядочивает’ (< прус. *\*rikauja*) и прус. *rikis, rikijs* ‘господин’ (< прус. *\*rikis* < балт. *\*rikijās*) [Mažiulis IV: 21, 25–26], можно считать, что в литовском языке раньше также существовало *\*rikas/\*rikis* ‘хозяин, распорядитель; правитель, господин’ наряду с глаголом *rykauti (-auja, -avo)* (и *rykauti*) ‘править, упорядочивать, хозяйничать, распределять; господствовать’ или в том же значении *\*rikis* — наряду с *rikiuoti (-iuoja, -iavo)* ‘упорядочивать; ставить в определенный ряд; чинить, готовить; (возвр.) собираться, приводить себя в порядок...’, *su-rikiuoti* ‘поставить в ряды; скоординировать, дать указания что-то делать; упорядочить || составить, разложить...’. Кроме того, эти теонимы могли употребляться и в уменьшительно-ласкательных формах *\*Rykužis* resp. *\*Rikužis*. В южно-литовских говорах (в Дятлово и др.) есть случаи, когда вместо *š, ž* произносятся *s, z* [Vidugiris 2004: 102–103], ср. *zasis, zasė* ‘гусь’, *zasyka* ‘гусыня, гусенок’, *zėmė* ‘земля’ [Vidugiris 1998: 787, 790]. Поэтому вместо



\**Rykužis* resp. \**Rikužis* могли быть и формы с согласным -z-. Возможно, \**Rikužis* resp. \**Rikužis* и отражается в русских летописях в форме *Diverikъzon* как второй компонент. Интересно, что в литовском языке мы находим аффиксы с согласными -ž- и -z-, ср. *mergūžė* 'ласкательное название девушки (напр., в народных песнях)' и *mergūžas* '(пренебрежительно) девка', в говоре Лазун *mergžnà* и *mergžnà* 'девушка, девка' [LKŽ VIII: 33]; также *blužnis* 'селезенка (Lien)...': *blužnis* (без ударения) 'то же' [LKŽ I: 957].

Древнелитовский композит \**dieva-rikas*/\**dieva-rikis* в значениях 'Бог-Господин', 'Бог-Правитель' в южных говорах мог произноситься как \**diva-rikis*/\**diva-rikis* — так позволяет считать лит. диал. *divmyly* между. 'боже, люби' [LKŽ II: 597] и то, что в литовском говоре Дятлово древний дифтонг *ie* произносится *i* (ср. *dī'nà, pī'nas* вместо *dienà, pīenas*, как в литературном языке) [Vidugiris 2004: 81]. То, что вторым компонентом является прусское *rikis, rikijs* 'господин' (< прус. \**rikis* < балт. \**rikijas*), представляется ненадежной версией и из ареальных соображений. Ведь в русских летописях ясно засвидетельствовано, что это были л и т о в с к и е, а не западно-балтийские — ятвяжские или прусские — боги.

## 2. Андай, Ньнадей и янда

В сравнительно-историческом аспекте весьма различно трактуются и трактовались также другие древнелитовские теонимы. В исторических источниках засвидетельствованы формы имени второго бога: 1258 г. acc. sing. *Андая*, 1261 г. dat. sing. *Андаеви* в рассказе о Совии. Форма nom. sing. была *Андай*. В 1611 г. в иезуитской хронике встречается *Andeimis*, который идентифицируется с римским морским богом Нептуном [Gimbutienė 2002: 64]. Скорее всего, это неправильно записанное *Andeiwis*. В вильнюсском списке хроники И. Малалы (XVII в.) засвидетельствованы сокращения *Andij, Andej*, которые Э. Вольтер рассматривает как 'Angis-Dievas'. По его мнению, в форме из Супрасльского списка *Andieве* вместо *Андаеви* явно выделяется элемент *dieva* (то есть *dievas*), а первый элемент *An* — это *angis*; то есть это был *dievas Angi*, как сейчас *Pondie* вместо *Ponas dievas* [Вольтер 1886: 176]. В другом месте Э. Вольтер отметил: '*Andij, Andej* мог легко появиться из *Ang'd'ew, Ang'e-Dēwe*, а это, как показывает *Joñde* (Господи Боже), превратилось в *And'e'*' [Volter 1886: 640; Volteris 1995: 342]. А. Межинский, опираясь на имя божества *Numejas* у Ласицкого, объяснил *Ньнадѣви* как 'божество дома', напоминая литовские слова *namas*, диал. *nomas, nūmas* и *dievas*. Он согласился с Вольтером, что *Андай* мог быть *Dievas-*

*Angis* [Mežinskis 1995: 386–402]. По поводу клича литовцев *янда* А. Межинский упомянул: «Возможно, не без основания Брюкнер отождествляет этот клич с *Андаем*, однако нет никакого основания отождествлять его с *Gondu* и считать страшилищем» [Ibid.: 397]. *Gondu* Ласицкого был «какой-то бог, которого почитали девушки, звали его» [Lasickis 1969: 19–20, 76].

А. Ю. Греймас пытался читать *Андай* как *Andojas* и отмечал, что его «корень не что иное, как просто (*v*)*and-uo*, употребляющееся без паразитарного согласного *v* [...] в формах *andenio* и *undenio*» [Greimas 1990: 388]. В. Н. Топоров реконструировал праформы этого теонима \**Andai(v)-* resp. \**Andei(v)-*, он считал их производными от более древних форм \**Ant-dai(v)-*/\**Ant-dei(v)-* и этимологически связывал с прус. *deiwas, deiwis* 'бог', к чему можно добавить и прусско-литовское *deivas* 'бог; истукан' (без ударения) [LKŽ I: 379]. В отношении префикса \**Ant-* можно сравнить префиксы лит. *ant-* (*anč-, an-*) (без ударений), которые, употребляясь с существительными, обозначают: 1) конкретную вещь, на чем что-то стоит, кладется, ставится, держится, 2) превышение размера, меры [LKŽ I: 156]. С генитивом употребляются наречия лит. *añt, antà* [LKŽ I: 152, 156]<sup>2</sup>. Структурный анализ этого теонима, произведенный Топоровым, подтвердился бы такими архаичными, не используемыми сейчас литовскими словами, как *andiēdas* 'очень старый человек' (А. Юшка [LKŽ I: 135]), *ánkunigis* [Būga III: 475], *antkunigis* (без ударения) [LKŽ I: 165] 'декан священников' (А. Юшка), *anbočius* 'отец дедушки, прадед' (первый слог ударный), которые были записаны А. Юшкой в Алседжяй [Būga III: 449; LKŽ I: 130]. Они состоят из *ant-* и соответственно из *diēdas* 'отец отца или матери, дед; старый человек, старик...', *kūnigas* 'священник', *bōčius* 'отец; отец отца или матери, дед; старик, предок'.

По мнению В. Н. Топорова, первичной балтийской формой *Ньнадей* могло быть \**Nō-(an)-deiv-*, и здесь мы должны были бы вспомнить лтш. *nodievs* 'небо' и появившуюся на основании этого фразу *niūdievā iet* 'заходить (о солнце)' [EH I: 40; Топоров 1972: 309–314; Торогов 2000: 30–33, 159], где *nodievs* состоит из префикса \**nō* и лтш. *dievs* 'бог'.

Но можно как *Андай*, так и *Ньнадей* объяснять иначе.

Н. Лауринкене обратила внимание на то, что «в реконструируемом индоевропейском пантеоне фигурируют два главных бога. Один из них — Бог Неба, Бог-Отец и по рангу более низкий бог бури [...]. Таким образом, бог бури по своей важности следовал за Всевышним Богом. Аналогичную последовательность первых основных богов зафиксиро-

<sup>2</sup> Подробнее см. [Mažiulis I: 262–263].

ровала хроника И. Малалы и, видимо, второе свидетельство Волинской летописи (если вспомним упомянутое предположение об идентичности Перкунаса и Дивирикса), отражающие литовский пантеон или его часть» [Lauginkienė 1996: 60]. Как будет видно из приводимых ниже сведений, вставка в хронику И. Малалы на самом деле засвидетельствовала такую структуру и функциональное распределение древнего литовского пантеона.

Принимая во внимание то, что В. Н. Топоров определил Андая как главного, высшего бога литовского пантеона, мы можем предложить и другую интерпретацию этого теонима. Форма *Andaj* (Андай) вначале могла выглядеть как *\*Ana-deivas*, то есть первым компонентом могло быть балт. *\*anas* masc. 'дед (отец отца или матери)', на существование которого указывает лит. *anytis* masc. (без ударения) 'муж свекрови' [LKŽ I: 141] и подтверждает этимологическое соответствие др.-верхне-нем. *ano* 'праотец, дед' (IX в.), нем. *Ahn* 'то же'. Лит. *anytis* с суффиксом *-it-* произошло от балт. *\*anas* masc. 'дед (отец отца или матери)', как, например, *vilkýtis* 'волчонок' [LKŽ XIX: 397] — из *vilkas* 'волк'. В балтийских языках лучше засвидетельствованы слова женского рода прус. *ane* 'бабушка (мать отца или матери)' и лит. *anýta* 'мать мужа' [Endzelins 1943: 141; Топоров 1975: 85; Mažiulis I: 76–77]. Такое объяснение подтверждается семантической аналогией с богом Ньнадеем, который в русских летописях действительно назван первым (*первому*).

Видимо, компонент *Ньна-* (< балт. *\*Nuna-*) в слове *Ньнадей* этимологически следовало бы соотносить с лит. *niūnis* masc. 'отец отца или матери, дед' (Даунорава, Скайсгирис, р-н Йонишкис [LKŽ VIII: 831]) и лит. *\*nunja-* этимологически сравнивать с лтш. *ņunje* 'пугливая женщина, которая не осмеливается говорить с чужими' [ЕН II: 116], *tumma* (без ударения) 'женщина' [МЕ II: 905], имеющими смягченные экспрессивные согласные *ñ* и *ņ*. Отсюда следует, что в литовском языке ранее была форма *\*nunas* 'отец отца или матери, дед', и поэтому *\*Nuna-deivas* вначале означало 'Бог-Отец (Дед)'.

Аналог имели пруссы — это упоминающийся первым в списке богов 1530 г. *Occopirmus deus coeli et terrae* 'бог неба и земли', имя которого следует читать как */Ukapirmus/* и понимать как 'самый первый', слово состоит из суперлативной приставки *уска-* и числительного *pirmus* 'pirmas' [Būga I: 150; II: 156; Endzelins 1943: 217, 268; Mažiulis IV: 209] — по поводу последнего слова *и-*основы ср. лит. диал. нареч. *pirmū* 'сначала', *pirmu-kart* 'впервые', *pirmu-syk/pirmu-syk* 'впервые' [LKŽ X: 21, 22, 23]. Прус. *уска-* (< прус. *\*uka* adj. nom.-acc. sing. neut.) с первичным значением 'который поднят resp. поднимается наверх, вверх' этимоло-

гически<sup>3</sup> можно сравнивать с лит. *ukóti* (-*ója*, -*ójo*) 'качать (например, ребенка на руках), укачивать, баюкать' [LKŽ XVII: 412], *ùkakoti* (-*oja*, -*ojo*) 'качать поднимая' (Купишкис, [LKŽ XVII: 396]), *ùkučiuoti* (-*iuoja*, -*iavo*) 'качать, укачивать' (Юрбаркас, [LKŽ XVII: 421]), *aukúoti* (-*úoja*, -*ávo*) 'качать, укачивать, убаюкивать', *aukas* (без ударения) 'баюкание, качание ребенка на руках' [LKŽ I: 474, 496] и, наконец, связывать с *aukóti* (-*ója*, -*ójo*) 'приносить жертвы богам' (перевод Библии Бреткунаса) и *aukà* '...подарок; вещь или животное, предназначенное богам' [LKŽ I: 473, 477].

Какие-либо другие исправления *Ньнадей*, например на *\*Noma-deivas* или на *\*Numa-deivas* и сравнение с лит. *nāmas*, *nūmas*<sup>4</sup>, не подтверждаются, хотя мы и находим довольно интересные параллели, ср. лит. *numėjis* (без ударения) 'тот, кто всегда бывает дома': *Vadino jį (Perkūnà) Numėju nu žodžio numėjis...* 'Называли его (Перкунаса) *Numėjis* от слова *numėjis*' (Даукантас, [LKŽ VIII: 894]).

Как сообщает Волинская летопись, литовцы «злили и плевались, по-своему произнося 'янда'». Звательная форма *janda* (янда), возможно, произошла из теонима *Андай* (< *\*Ana-deivas*), когда к неправильно укороченной его форме в начале слова прибавился согласный *j-*, — на счет такой фонетической возможности ср. лит. *añtis* 'разрез рубашки на груди...': диал. *jañtis* 'то же' [LKŽ IV: 293]; *áudra* 'сильный ветер часто с дождем и снегом': *jáudra* 'то же' [LKŽ IV: 297]; *aviža* 'лапоть': диал. *javiža* (без ударения [LKŽ IV: 329]). Попытки ранее писавших авторов в начале слова предполагать *g-* и саму вокативную форму сравнивать с *Gondu* Й. Ласицкого безосновательны [LM I: 465].

Заслуживает внимания звательная форма *Jonde* 'Господи, боже!' [Volter 1886: 640; Volteris 1995: 342]. При попытках объяснить эту странную форму бросается в глаза и большое фонетическое сходство с лтш. *jāndie* (без ударения) 'на самом деле, действительно (in der Tat, wahrlich)' (Сауснея, р-н Мадунос [МЕ II: 106]). Его морфологическая структура позволяет понять употребляющиеся в диалектах латышского языка более полные формы *jānudie* и *jānudien* (Рауна, р-н Цесис [МЕ II: 106]), где довольно ясно можно различать морфемы *jā-* (*jā-*) и *-nudiel-nudien*. Последние две морфемы можно идентифицировать с помощью лтш. *nudie, nudien, nudienīņ, nudiena* 'ей-богу! действительно! (bei Gott, wahrhaftig!)' [МЕ II: 753], появление которых Я. Эндзелин объяснял так: *nudie* (еще ср. лтш. *nudi* Акнисте, Пилда [ЕН I: 28] с тем же значением) может иметь сокращенную звательную форму *die(v)* существительного

<sup>3</sup> Иначе: [Mažiulis IV: 209].

<sup>4</sup> [Mannhardt 1936: 52; Greimas 1990: 390; LM I: 340, 390].

*diēvs*, а морфемы *nudien(in)* могли быть искажены по аналогии с *diena* [Endzelīns–Mülenbachs II: 753]. Морфема *ni-*, видимо, та же, что и в композите лтш. *nukā* ‘конечно (natürlich)’, которое в отдельных фразах может иметь и значение ‘да’ (ср. лтш. диал. *nuk, nuka* ‘да’ и *nui<sup>2</sup>* ‘да (ja, jawohl)’) [EH I: 28]) и которое состоит из партикул *ni* и *kā* [Endzelīns–Mülenbachs II: 753]. Партикула *ni* здесь скорее всего — это усилительная частица *ni, nī* ‘только что, сейчас, минуту назад (eben jetzt, jetzt erst, eben erst)’ [ME II: 754 s. v. *Nule*]. Соответствием в литовском языке могла бы быть частица *ni*, использующаяся при обозначении энергичного, сильного начала действия или при подчеркивании, усилении высказанной мысли, что, таким образом, могло иметь и значение ‘да (обозначая согласие)’ [LKŽ VIII: 879], — насчет такой возможности ср. лит. *nà* ‘партикула для обозначения энергичного, сильного начала действия: для усиления утверждения; да’ [LKŽ VIII: 493].

Но что такое морфема *jā-* (*jā-*)? Скорее всего это латышская партикула *jā* (*ja*), которую содержат сочетания *kā jā* и *kā ja*, ср. *Bijis tāds tilts gatavs kā jā* ‘Бывший прекрасный мост как раз (как надо) готов’ [ME II: 105]. Поэтому она может не иметь ничего общего с германизмом *jā* ‘да’.

В литовском языке есть наречие, партикула *juot* (без ударения) ‘правда, конечно, тем более, без сомнения; наоборот, нет’ [LKŽ IV: 429]. Употребляемое чаще *juotiēs* ‘то же’ показывает, что из него путем сокращения развился *juot*. Таким образом, на самом деле существовало наречие, партикула *\*juo*, развившаяся из более старой формы балт. *\*jō*, наряду с которой, видимо, существовало и балт. *\*jā*.

Отсюда следует, что вокативная форма *Jonde* ‘Господи, боже!’ является так же, как описанные аналогичные латышские формы, — из лит. *\*jā(\*jō)-nu-deive!* (с превращением *\*ā* в *o* или с рефлексом *o* балт. *\*ō* в литовском языке).

Как упоминалось, в вильнюсском списке хроники И. Малалы (XVII в.) зафиксированы сокращения *Andij, Andej*. Надо сказать, что подобные сокращения окончаний в литовском языке возможны. Это вокативные формы, такие, как *pōndie!* ‘Господи, боже!’, *pōnedie!*, *pōnediev!* ‘то же’, *pōndzies* subst. ind. ‘Господь Бог’ [LKŽ X: 426], сокращенные из *pōndievas, pōnedievas, pōndzivas* ‘бог’, а последние сокращены из *pōnas diēvas*. В отношении изменений окончания слова можно сравнить *anañdai* (и *anandāi*), *anañdie, anañdiej, anañdies* ‘в тот день’ [LKŽ I: 128] (← *anā diēnā*); из них путем дальнейшего сокращения появились *añdai* (*andai, andai*), *añdais, añdie, añdien* ‘в тот день, в тот раз’ [LKŽ I: 134–135].

### 3. Телявель

Происхождение и значение этого имени бога пытались объяснять по-разному. А. Межинскому показалось, что под именем Телявеля употреблено литовское слово *tėvelis* ‘батюшка’, из которого появилось и *Tawals* Й. Ласицкого [Mierzyński 1892: 151; Mežinskis 1995: 386–402]. Таким образом, А. Межинский сопоставил *Телявели* с *Tawals* Ласицкого — богом — подателем благ (*deus auctor facultatum*). А. Брюкнер считал *Телявель* собственным словом, первым компонентом которого, возможно, является неправильно записанное слово *kėliasis*, а компонент *vel-* — из имени богини умерших *Vielona*, упоминаемой Й. Ласицким, названия чёрта лит. *vėlinas* (*vėlnias*), лтш. *vels*; таким образом, первоначально Телявель мог быть богом пути (чёртом) [Brückner 1904: 11–12]. Принимая во внимание фразу из летописи *и Телявели и с коузнею*, Э. Вольгер утверждал: «Если ‘кузнец’ принадлежит Телявелю, то он не мог быть ни *Tavvals* ‘батюшка’, как считает Межинский, ни *Teliavelis*, чёрт, пугающий прохожих в пути (то есть ‘чёрт пути, Wegeteufel’), как поясняет Брюкнер» [Вольгер 1886: 177]. Мнение самого Э. Вольгера было неопределенным: с одной стороны, поскольку кузнец по-литовски — *kalvis*, уменьшительная форма *kalvelis* или *kā(ь)lvelis*, то последняя форма и была переведена на русский язык как *Тель-велись* [Там же]; с другой стороны, *Телявель* — от слова *kalvis* уменьшительная форма была бы *kalveits*, которая употребляется в латгальской песне и вообще в латышском языке, а значение *Teljavelis* появилось при переводе и литуанизации греческого обозначения бога Ήφαιστος [Volter 1886: 640–641; Volteris 1995: 342]. В. Маннхардт также считал это название композицией, но составленным из лит. *tėliasis* ‘телец, теленок’ и *valdytojis* ‘управитель’, — и это могло означать бога стада [Mannhardt 1936: 53].

Мнение, что это искаженное или неправильно записанное летописцами или копировавшими текст литовское слово *kalvelis*, высказывается и в наше время, поскольку исследователям трудно абстрагироваться от равенства значений (*Teliavelis* — *kalvis!*), внушенного тождеством фонетических форм. Например, А. Ю. Греймас утверждает, что существовали три бога-господа Андей, Калявель и Перкунас [Greimas 1993: 77; 1990: 385–388], и, опираясь на мнение молодого К. Буги [Būga I: 188], считает Телявеля в хронике Малалы искажением написания [Greimas 1990: 144, 169]. Таким образом, соответственно модифицируя имена богов, А. Ю. Греймас реконструирует для литовского пантеона триаду богов-господ: Андоюс — Калявелис — Перкунас [Greimas 1990: 385–388]. М. Гимбутене заявляла, что «Телявелис [...] — это искаженный теоним Калявелис» [Gimbutienė 2002: 114].

Также предполагалось, что имя и функция Телявелиса заимствованы из скандинавской мифологии — это имя помощника громовержца Тора *Pjalfi* и выполняемая им функция [Топоров 1970: 534–540]. В скандинавской мифологии Тьялфи был другом и слугой Тора, поступил к нему на службу, чтобы искупить причиненный ему вред: он покалечил однорогих козлов Громовержца по незнанию и из прожорливости откусил сладкую кость козла (Тор запретил это делать). Воскрешенный козел из-за этого хромал [Lecouteux 1991: 229]. Как мы видим, названия по форме несколько похожи, но их функции по сути различны. В случае заимствования следовало бы ожидать более похожих функций и более близких по значению слов. Поэтому следует попробовать поискать более надежный источник (см. ниже).

Опираясь на то, что черти в литовском фольклоре изображались кузнецами, а чёрт, кроме того, является ярким представителем литовского хтонического мира, тесно связанным с землей и подземельем, Н. Велюс согласился со сближением имени Телявеля со словом *vėlnias* и таким образом выделил два корня: один *\*tel-* ‘земля’, который содержится в имени римской богини *Tellus Mater* ‘Мать Земля’, а также в названии прусского бога подземелья *Patuls*, ирландское слово *talam* ‘зсмля’, и другой *\*vel-* — в словах лит. *vėlnias* и лтш. *Veļns* [Vėlius 1986: 15; 1987: 206–207]. Таким образом, благодаря этому объяснению Телявель оказывается богом, довольно близким к фольклорному чёрту, означаемым ‘земной чёрт’.

Сейчас материал живого литовского языка, диалектов позволяет найти для названия этого литовского мифического персонажа достаточно мотивированное объяснение.

Глагол *teliaŭoti* (-*oja*, -*ojo*) (и *tėliavoti*) ‘мешать, мять; мазать, пачкать; плохо рисовать, марать; (переносн.) болтать; (возвр.) грубо разговаривать’ употребляется в жемайтских диалектах; насчет характера его значений еще ср. *iš-teliaŭoti* (-*oja*, -*ojo*) ‘измарать, измазать; и з р и с о в а т ь’. Это слово-гибрид, флексия которого возникла по аналогии с такими славизмами в литовском языке, как, например, *maliavoti* (ср. польск. *malować*): *Maliavoj[ja]*, *teliaŭoj[ja]*, *dirba*, *veža visokius medelius iš visur* ‘Рисуют, малюют, работают, везут всякие деревца отовсюду’ (Тиркшляй, р-н Мажейкяй) [LKŽ XV: 1172]; *budavoti* ‘строить’ (польск. *budować*), *durnavoti* ‘дурачиться; шуметь, беситься...’ (белорус. *дурнаваць*), *minavoti* ‘помнить; часто вспоминать...’ (польск. *mianować*), *rubavoti* ‘рвать’ (польск. *rabować*, белорус. *рабоваць*) [Skardžius 1943: 515]. Структурная аналогия с лит. *draugavoti* (-*oja*, -*ojo*) ‘дружить, приятельствовать’: *draugauti* (-*aujal-áuna*, -*ávo*) ‘то же’, *draugiotis* (-*uoja*, -*ávo*) ‘то же’ [LKŽ II: 653, 654, 660]; *juokavoti* (-*oja*, -*ojo*) ‘смеяться;

высмеять’: *juokauti* (-*aujal-áuna*, -*ávo*) ‘то же’, *juokioti* (-*uoja*, -*ávo*) ‘то же’ [LKŽ IV: 416, 423]; *puikavoti* и *puikavoti* (-*oja*, -*ojo*) ‘быть надменным, гордиться’: *puikauti* (-*auja*, -*ávo*) ‘то же’ и *puikioti*, *puikioti* (-*uoja*, -*ávo*) ‘то же’ [LKŽ X: 849, 850, 855] позволяет реконструировать в литовском языке парадигму *\*teliauti* (-*iauja*, -*iavo*), соответственно *\*teliioti* (-*iuoja*, -*iavo*) ‘рисовать, мазать; изображать; создавать’. Это подтверждает слово *teliaŭonė* ‘плохой рисунок, мазня’ (Шаукенай, р-н Кельме), с суффиксом -*on-*, производное от *\*teliauti* (-*iauja*, -*iavo*), *\*teliioti* (-*iuoja*, -*iavo*) ‘рисовать, мазать; изображать; создавать’.

Формально и семантически близкое соответствие мы находим и в латышском языке. Правда, лтш. *tēluôt* (-*uoju*, -*uoju*) ‘изображать, рисовать’ является неологизмом в латышском литературном языке, выведенным из *tēls* (*tēls*) ‘облик, внешний вид, фигура; лицо, картина; скульптура, статуя; тень; призрак, дух; скелет’ [ME IV: 171]. Но предполагается, что лтш. *tēls* может быть заимствованием из древнерусского *тѣло* ‘истукан, статуя, божок; вид, изображение, картина’, поскольку значения этих слов совпадают, кроме того, на заимствование указывает и нисходящее ударение латышского слова (*tēls*), поскольку долгий корневой гласный индоевропейского происхождения у старого производного по правилам должен был бы иметь акутовую интонацию [Endzelins–Mülenbachs IV: 171]. Следует сказать, что, во-первых, значения этих латышских и русских слов совпадают только отчасти, поскольку латышский язык здесь имеет и специфические значения, как, например, ‘тень; призрак, дух; скелет’ [Karulis 1992, II: 386]; во-вторых, нисходящую, циркумфлексную интонацию имеют в латышском языке также заимствованные из индоевропейского праязыка архаизмы, такие, как, например, *gūovs* ‘корова’ [ME I: 692]. Балтийское *\*gōu-* ‘корова’ (ср. др.-инд. *gāuh* ‘скот’, авест. *gāuš*, греч. βους, дорийск. βως ‘то же’ < и.-е. *\*g<sup>h</sup>ōu-*) с древней акутовой интонацией в литовском языке сохранилось в названии деревни *Gūvainiai* (округ Шилиале, р-н Шилиале) с диалектной формой *ū* из *uo* (< и.-е. *\*ō*), поскольку оно по основе совпадает с лтш. *guovainis* (без ударения) ‘лужа, болото, где пасут скот’ [Karaliūnas 1987: 188]. Кроме того, аутентичность *tēls* (*tēls*) подтверждается его специфическим значением ‘сыпь на теле маленьких детей (сразу после рождения)’ [EH II: 677]. В словаре Ульмана есть форма *tēle*, употреблявшаяся в тех же значениях, что и *tēls* (*tēls*) [ME IV: 170] и имеющая соответствия в литовском языке — это *tėlė* ‘лауме’ (Шатес, [LKŽ XV: 1164])<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Другую (не совсем надежную) этимологию дал Карулис: [Karulis 1992, II: 387] (*\*tēn-lo-* > *\*tēlo-*).

Более широко известен и записанный Спруогисом (скорее всего из разговорного языка) глагол *tēluōt* ‘изображать, рисовать’ [ME IV: 171]. Его парадигма раньше могла быть *tēluōt* (-*uōju*, -*uōju*), форма претерита, кроме того, *\*tēlavu* с формантом прошедшего времени *\*-iav-*, как, например, лтш. *mēluōt* (-*uōju*, -*uōju*), но диал. и претерит *mēlavu* (ср. лит. *meluoti*, -*uoja*, -*avo*) и лит. *važiuoti* (-*iuoja*, -*iavo*) с формантами *\*-jō-*, *\*-iav-* [Endzelīns 1951: 809, 811–812, 880–881]. В таком случае эта латышская парадигма формально совпала бы с литовским глаголом *\*teliuoti* (-*iuoja*, -*iavo*) ‘рисовать, мазать; изображать; создавать’, существовавшим наряду с такой же архаической парадигмой *\*teliuoti* (-*iuoja*, -*iavo*) с тем же значением. Хотя этимологическое латышское соответствие в корне имеет долгий гласный, все-таки это подтверждает архаичность описываемых литовских глаголов. На основе этих глаголов и могло быть создано название персонажа Бога-Кузнеца *Телявель* (< первичное значение балт. *\*Teljavelis* / *\*Teljavēlis* ‘рисовальщик, художник, изобразитель; создатель’) с прибавлением суффикса деятеля *\*-elis* или *\*-ēlis*, поскольку сейчас нельзя сказать, какой из суффиксов был использован. Суффикс *\*-elis* в литовском языке также зафиксирован, ср. *teleželis* (без ударения) ‘тот, кто неряшлив’ наряду с *teleža* ‘размякший человек, неряха’ [LKŽ XI: 1169]. Словообразовательной параллелью, хотя и с другим словообразовательным значением (название действия) было бы *dūsavelis* ‘вдох’ [LKŽ II: 917], производное от *dūsauti* (-*auja*, -*avo*) (и *dūsauti*) ‘вдыхать, причитать вздыхая; тяжело дышать’ или от формы прошедшего времени *dūsuoti* (-*uoja*, -*avo*) ‘дышать (например, тяжело); вздыхать, причитать вздыхая’. Существуют случаи, когда суффиксы *\*-elis*/*\*-ēlis* в живом языке употребляются вперемешку и без диминутивного значения, как, например, *meūtelis*, *meitēlys*, *meūtelis*, *mėitelis* ‘кастрированный хряк, откормыш’ [LKŽ VII: 1019].

В словообразовательном отношении можно сравнить суффиксы *\*-elis*/*\*-ēlis*, значение которых в анализируемых случаях далеко не диминутивное, это название деятеля, например, лит. *šypelis* ‘тот, кто насмехается над другими, высмеивает других’ [LKŽ XIV: 837], *vėpelis* (и *vėpelis*) ‘тот, кто много болтает, болтун; разиня’ [LKŽ XVIII: 717–718], *vėpelis* ‘ротозей, разиня’ [LKŽ XVIII: 718]. С помощью суффикса *-el(is)* они произведены соответственно из *šypauti* (-*auja*, -*avo*) ‘смеяться, насмехаться над кем-то’, *vepėti* (*vėpa*, -*ėjo*) ‘говорить чепуху, болтать, пустозвонить...’, *vėpti* (-*sta*, -*o*) ‘становиться разиней’<sup>6</sup>. Но употребляется и суффикс *\*-ēl-*, например, *smirdēlis* ‘тот, кто воняет, вонючка; подлец, мерзавец, негодяй’ [LKŽ XIII: 189]: *smirdėti* (*smirdi*, -*a*, -*ėjo*) ‘рас-

<sup>6</sup> Ср. [Skardžius 1943: 176; LKG I: 334].

пространять дурной запах, вонять...’; *nevėdēlis* ‘тот, кто не женат, холост’ [LKŽ VIII: 753]: *nevėsti* (-*da*, -*dė*) ‘не жениться...’; *pasilėdēlis* ‘тот, кто избалован, непоседа; распутник, развратник’ [LKŽ IX: 469]: *pasilėisti* (-*džia*, -*do*) ‘избаловаться, развратиться...’; *pasmirdēlis* ‘тот, кто воняет, вонючий’ [LKŽ IX: 513]: *pasmirsti* (-*sta*, -*do*) ‘распространиться (о вони), повеять дурным запахом...’<sup>7</sup>.

В начале XV в. Иероним Пражский, будучи миссионером в Литве, обнаружил народ, «который почитал Солнце и очень уважительно относился к железному молоту необыкновенных размеров (quae Solem colebat, et malleum ferreum raris magnitudinis singulari cultu uenerebatur). Жрецы, когда их спросили, что означает этот обычай, ответили, что когда-то целыми месяцами не было видно солнца, которое могущественный король поймал и запер в самой крепкой башне. Тогда пришли на помощь Солнцу знаки Зодиака. Огромным молотом они разбили башню, освободили Солнце и вернули его людям. Следовательно, достоин уважения инструмент, благодаря которому смертные снова обрели свет» [BRMŠ I: 595]. Таким образом, Небесный кузнец имел большой молот, и это подтверждает существование Небесного кузнеца в древней литовской мифологии.

Стоит также подчеркнуть, что кузнеца мы нередко встречаем и в литовском фольклоре — чаще в волшебных, иногда также в этиологических сказках, где он изображается выковывающим оружие и предметы быта, иногда помогающим какому-нибудь мифическому персонажу. Однако встречаются случаи, когда этот фольклорный кузнец наделяется функциями, характерными для божественного кузнеца: он может выковать солнце. Таким образом мифический кузнец приравнивается к богу и, как показывают исторические источники, на самом деле и был богом. Как раз таким, видимо, и был Телявель [Лауринкене 2004: 241–242]. Сказание о кузнеце, выковавшем солнце и повесившем его на небо, записано в Северной Литве (в Жеймялисе):

*Senais laikais gyveno žmogus kalvis [...]. Tada buvo visur tamsu, buvo naktis ir naktis. Tai šis kalvis nutarė nukalti saulę. Paėmęs blizgančią geležį, kalė kalė ir nukalė per šešerius metus saulę. Tad, užlipęs ant aukščiausios trobos, įmetė ją į dangų. Tai ir iki šios dienos ji ten tebestovi.*

‘В давние времена жил человек-кузнец. Тогда было везде темно, была ночь и ночь. Так этот кузнец решил выковать солнце. Взяв блестящее железо, ковал-ковал и выковал за шесть лет солнце. Тогда, забравшись на самую высокую избу, забросил его на небо. Вот и до сих пор оно там стоит’ [Gimbutienė 2002: 116; Лауринкене 2004: 228].

<sup>7</sup> Ср. [Skardžius 1943: 176, 179–180; LKG I: 318–319].



Нарратив с похожим содержанием известен и в латышской традиции:

*Agrāk ticēja, ka Dievs licis kalējam uzkalāt apaļu ripu. Kalējs uzkalis. Tad Dievs nokrāsojis apaļu ripu zelta krāsā un pakāris to pie debesīm. Tā radusies Saule.*

‘Раньше верили, что Бог велел кузнецу выковать круглый диск. Кузнец выковал. Тогда Бог покрасил круглый диск в золотой цвет и повесил на небо. Так появилось солнце’ [Лауринкене 2004: 229, 229, 237–238].

На семантическом уровне мы находим параллели Телявелю, повторяющие описываемое здесь пояснение происхождения теонима, и в мифологиях других народов.

Телявель, как мифический кузнец, по своей ценности равнозначен Перкунасу и, как свидетельствуют исторические источники, был богом. Его подвигом было то, что он создал и повесил на небо небесный огонь — Солнце. Исследователи подчеркивают, что Телявеля, балтийского мифического кузнеца, можно на полном основании считать аналогом кузнеца других мифологических традиций, например греческого Гефеста [Лауринкене 2004: 229, 241–242]. Греческий Ἥφαιστος, то есть Hephaistos, — небесный кузнец, бог огня, сын Зевса и Геры, муж Афродиты, но его имя неизвестного происхождения (известно только, что в начале слова был гласный \*ā-) [Frisk 1960: 646].

Древнеиндийский бог грома и молний, а также бог войны Индра, властитель вселенной и богов, вместе с тем был и прекрасным кузнецом — он выковал и повесил на небосводе солнце [МНМ I: 533].

В финской и карельской мифологии и эпосе небесным кузнецом является Ильмаринен (*Ilmarinen*, вариант *Ilmari*), который вначале был богом погоды (ср. финск. *ilma* ‘плохая] погода, ненастье, буря; мир’, откуда появилось наименование этого бога) [SSA 1992: 224–225], из золота и серебра выковавший небесный свод и светила на нем — солнце, месяц и др. Однако Ильмаринен не смог заставить солнце и месяц светить — таким образом, работа Ильмаринена как демиурга была далеко не совершенной.

В скандинавской мифологии чудесный кузнец, сделавший крылья из лебединых перьев, чтобы сбежать из плена короля-тирана Нидудра, был назван др.-исл. *Völundr*, норв. *Völundr*. В Средние века это название попало в Англию как *Weland*, откуда норманны его перенесли на континент, и так появилось др.-верх.-нем. *Wielant* и франц. *Galant*. Очень возможно, что корень этих названий такой же [De Vries 1962: 674; Magnusson 1989: 1159], как и у др.-сканд. *vela* ‘хитрость, коварство, обман’, норв. диал. *vél* ‘орудие’, *véla* ‘хитрость, коварство, обман; находчивость’, исл. *vél* fem. ‘искусство; хитрость; орудие’, *véla* ‘очаровыв-

вать, манить, (о)колдовать’, *vėlindi* neutr. ‘хитрость, коварство. обман’, др.-швед. *väl* neutr. ‘красиво, мастерски выполненная работа’, др.-англ. *wil* ‘коварство, обман’. С этими германскими словами связано и лит. *vỹlius* ‘обман, ловушка, коварство, злая воля; обольщение, соблазнение, соблазнительная вещь; ложь, неправда; ловушка...’ [De Vries 1962: 652; Johannesson 1956: 110], как наименование деятеля особенно подходит засвидетельствованное Юшкой *vỹlius* ‘тот, кто лжет, обманывает’ [LKŽ XIX: 376–377].

В древнееврейской мифологии старший брат Каин убил младшего брата Авеля. Следовательно, у нас имеется оппозиция *Авель* : *Каин*, которая выражается семантической оппозицией ‘дыхание; жизнь; дуновение’ — ‘то, что создано, сделано; творение, живое существо; человек’. Но на иврите *Hébbel*, составляющее основу имени *Abel*, дословно означает ‘дыхание; пустая надменность, пустота’. Еврейское *Qáyin*, то есть личное имя *Cain*, дословно означающее ‘созданный; творение’, произошло от глагола с основой *q-y-n* ‘делать, формировать, создавать’, и родственными ему словами являются арамейское *qēnā’ā* ‘кто работает с металлом, кузнец’, арабское *qayn* ‘кузнец’ [Cassuto 1961: 196–202].

#### 4. Жворуна

Жворуна упоминается в хронике *Chronografija* византийского летописца Иоанна Малалы (Ioannes Malalas), написанной в VI в., во вставке о Совии, которую при переписывании этой хроники в 1261 г. сделал один русский из западной части Руси: dat. sing. *Жвороуне, рекше Соуце*. Название суки находится в контексте, в котором фигурируют одни боги и их имена, поэтому и сука Жворуна, видимо, не сука в прямом смысле этого слова, но, скорее, одно из небесных существ — если не богиня, то хотя бы одно из светил: *Сю прелесть Совии въведе в нѣ, иж приносити жрѣтвоу сквернымъ богомъ: Андаеви и Перкоунови, рекше громоу, и Жвороунѣ, рекше Соуцѣ, и Телявели і скоузнецю, сковавшѣ емоу солнце, яко свѣтити по земли и възвергышо емоу на небо солнце.*

В литературе по этому вопросу авторы склоняются к тому, чтобы считать Жворуну прежде всего Западной звездой (планета Марс, иногда Венера) и поэтому связывать ее с литовским глаголом *žėvėti* (*žėri*, *-ėjo*) ‘ярко светить. сиять...’ [Вольтер 1886: 177; Wolter 1886: 639; Mierzyński 1892: 144; Топоров 1972: 314 (сн. 60); Торогов 2000: 33 (сн. 62)] (первым это сделал Ф. Куршат [Mannhardt 1936: 65 (сн. \*)]). Но не отвергаются и другие соответствия, как, например, с Большой или Малой вечерней звездой (Сатурном / Юпитером, Марсом), с Большой звездой Пса (Сириусом) [Greimas 1990: 393–395; Vėlius 1996: 266,



264]. На самом деле, раньше производными от литовского слово *žvėris* ‘зверь’ назывались небесные тела: *žvėrinė* ‘вечерняя звезда; планета Марс’, *didžioji žvėrinė* ‘планета Сатурн или Юпитер’, *mažoji žvėrinė* ‘планета Марс’ [LKŽ XX: 1089].

*Жвороуна* скорее всего отражает литовскую форму *Žvėrūna*. Так позволяют считать соотношения корневых фонем славянских слов, иллюстрируемые, например, белорус. *жолудзь* (и *жолуд*) : рус. *желудь*; белорус. *жона*, *жонка* : рус. *жена*; белорус. *жорны* plur. : рус. *жерня*; белорус. *ужо* : рус. *уже*. Следовательно, гласный *e* в белорусском языке и диалектах становится гласным *o* [Блінава, Мяцельская 1969: 28–29]. По примеру греческой графики буквами *ou* в русском и белорусском языках часто обозначался славянский гласный *у*. Можно добавить, что, видимо, также вследствие влияния восточнославянских языков в литовском языке вместо гласного *e* появился гласный *o* и в других случаях и что это действительно, скорее всего, не просто факт написания. Например, на то, что именем богини леса у Ласицкого *Medeina* [Lasickis 1969: 20, 40] на самом деле было *Medeina*, указывает название божеств леса в катехизисе Даукши *medeinės* [LKŽ VII: 983]. То, что это древний литовский теоним, позволяет считать зафиксированный в Ипатьевской летописи (1252 г.) заячий бог Медейна (при переписывании текста вследствие ошибки появилась *Меїдейна*): *заеячемоу богу и Меидеиноу*.

В том, что Жверуна в древнем литовском мифологическом сознании была реально существующим персонажем, нетрудно убедиться по другим данным источников.

В документах XVI в. зафиксирован топоним *Зверона* (поместье в волости Паюрё; поле, почва, земля Бурбишкяй) с примечанием: *надь бродомь реки Юри, где переждчают одь Юдрань до Звероны* [Спрогис 1888: 120]. Возможно, *Зверона* со своим согласным *z* пришло из балтийских диалектов (скальвийского и других), в которых вместо литовских согласных *š, ž* были *s, z*. Несмотря на эту неясность, соотношение вокализма суффиксов в топониме *Zveruona* (в источниках *Зверона*) и в *Žvėrūna* у Ласицкого (в источниках *Жвороуна*) легко объяснить частым чередованием *-uon-* и *-ūn-* в литовском и других балтийских языках [Būga II: 333–335, 337], ср. лит. *gėležiuonės* ‘болезнь лошадей, мыт; железные опилки’: *gėležūnės* ‘то же’ [LKŽ III: 217]; *pirmuonis* (и *pīrmuonis*) ‘инициатор, начинатель; первые плоды, лучшая часть урожая, пища...’: *pīrmūnis* ‘то же’ [LKŽ X: 22–23].

В памятниках XVI в. засвидетельствовано название речки в волости Вилькия *Жорента* с вариантами *Вжоренъта*, *Жваренъта* [Спрогис 1888: 119]. Вариант *Вжоренъта* — это ошибка написания вместо

*Жворенъта*. Скорее всего с особенностями написания связано и *и* (ь). В форме *Жорента*, видимо, выпал согласный *v* — то есть должно было быть *\*Žvorenta*, а первичной формой могло быть *\*Žvarenta*. Если бы эти названия реки в волости Вилькия перешли через говор носителей славянских языков (писцов), появление таких вариантов из первичной формы лит. *\*Žvėrentā* фонетически было бы объяснимо, ср. чередование корневых фонем в уже упоминавшемся белорус. *жолудзь* (и *жолуд*) : рус. *желудь* и т. д. Но в живом языке известно название реки *Žvaranta* (Чекишке, Каунасский р-н) [LUEV 1963: 207]. Здесь чередование суффиксов *-ent-* и *-ant-* (и.-е. *\*-ont-*)<sup>8</sup>. А. Ванагас здесь видел корень *žvar-/žver-*, который он связывал с лтш. *zvēruot* ‘теплиться, блестеть, сверкать, сиять, мерцать’ [Vanagas 1981: 407]. С другой стороны, в описываемом регионе есть и *Žvērupis* с вариантом *Žvērupys* (приток Дубисы Чекишке), а также *Žvērė* (приток Юры Шилале). Поэтому можно предполагать, что название реки *Žvarantā* — искаженное *\*Žvėrantā*: эту возможную первичную форму явление сингармонизма превратило в *Žvarantā* — корневой гласный был ассимилирован с гласным суффикса. Таким образом, очень вероятно, что первичными формами были лит. *\*Žvėrentā* и *\*Žvėrantā*. Суффикс и.-е. *\*-(e/o)nt-* вначале имел собственно-посессивное значение, и с помощью него от существительных образовывались прилагательные, ср. хет. *peruna-* ‘скала’ и *perun-ant-* ‘скалистый’ [Одри 1988: 70].

Заслуживает внимания и то, что на территории Литвы находится шесть рек, называющихся *Žvēriņčius*. Две из них на описываемой территории, а именно в окрестностях Эржвилка и Велюоны, третья — по другую сторону Немана (Кидуляй, Шакайский р-н) [LUEV 1963: 207]. Очень сомнительно, чтобы название реки *Žvēriņčius* появилось при употреблении для названий рек литуанизированного славизма *žvēriņčius* ‘место, где содержатся звери, чтобы на них смотрели посетители’, как и *žvērēņčius* ‘то же’ [LKŽ XX: 1087, 1088], производное от белорус. *звярынец* ‘то же’ или польск. *zwierzyniec* с измененным началом слова, адаптированным к лит. *žvėris*. Нельзя забывать, что гидронимы — архаичный слой языковой системы. Очень возможно, что перед нами реликт древности и.-е. *\*ghuēr-’t(i)-*, название богини — покровительницы животных (зверей) [Витчак 1994: 31]. Суффикс и.-е. *\*-’t(i)-* сохранился в литовском языке, он используется для образования названий обладателей свойств, которые скорее всего возникли из категории наименований деятелей [Ambrazas 2000: 185], ср. *arklinčius* ‘пастух-негодник’ [LKŽ I: 305], производное от существительного *arklỹs*.

<sup>8</sup> По этому поводу см. [Vanagas 1970: 93, 135].

Как уже было упомянуто, *Жвороуна* скорее всего отражает литовскую форму *Žvērūna*. В документах XVI в. засвидетельствован топоним *Зверона*, который, видимо, сохранил архаичную форму теонима *Zveruona* (< и.-е. \*ǵhūēr-ōn-), название богини — покровительницы лесных зверей, реально существовавшей в литовском мифологическом сознании. Довольно точное соответствие мы находим в других родственных и.-е. языках. Древняя итальянская богиня — покровительница вольноотпущенников Ферония почиталась в далеких от Рима местах, где, конечно, было много диких зверей. Теоним *Fērōnia* (< и.-е. \*ǵhūēr-ōn-) и лат. *fera* fem., *ferus* masc. ‘зверь; дикое животное’ (< \*ǵhūēr-) являются однокоренными словами [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 469], но теоним производное от смежной формы с удлинненным корневым гласным \*ǵhūēr-, соответствующей лит. *žvērīs*.

По поводу суффикса *-uon-* (или *-ōn-*?) можно сравнить такие теонимы Ласицкого, как *Lazdona* (богиня орехов) и *Velionis* (бог умерших душ). Происхождение теонима *Lazdona* скорее всего связано с гидронимом *Lazduonà* (acc. sing. *Lazduona*) (левый приток Дубисы Екишке и левый приток Шиши Вайнутас), который местные жители произносят как *Lazdūnà* [LUEV 1963: 89]. Их словообразовательную основу, видимо, составляет *lazdà* ‘куст или дерево, на котором растут орехи’ [LKŽ VII: 212].

Форма женского рода теонима Ласицкого *Veliona* скорее всего показывает нечто другое: *Veliona Deus animarum cui cum oblatio offertur, cum mortui pascuntur* ‘Велона — бог душ умерших, ему приносят жертвы, когда кормят умерших’ [Lasickis 1969: 21, 41]. Таким образом, Велюона — это бог душ умерших (не богиня). Кроме того, его грамматическую форму мужского рода (*masculinum*) подтверждают такие контексты: *Sikies Velonia pemixlos*, то есть *Сукес* — откормыш Велониса, и *Velonia velos ateik mustur und stala*, то есть *Во время велюсов Велониса* [слово *veliai* ‘поминование умерших’] *приходи к нам за стол* [Ibid.: 21, 24].

Следовательно, здесь *velionio veliai*, как и *Sikies Velonia pemixlos* ‘лепешки велёниса (дословно корм)’, которыми кормят души умерших, из-за архаичного характера мифологического текста скорее следовало бы отождествлять не с существительным современного литературного языка *velionis* ‘умерший человек’, а с таким же архаичным названием озера *Veliuōnis*. Иначе говоря, в XVI в. и ранее, видимо, употреблялись архаичные формы *Veliuona* и *Veliuonis*. Эти обозначения богов, предводителей мира мертвых, являются производными от слова *velē*, реже *velys* ‘душа умершего человека’ [LKŽ XVIII: 606, 633] с помощью суффикса *-uon-* (< \**-ōn-*). Гидроним *Veliuonà* (acc. sing. *Veliuona*) совпадает с именем богини *Veliuona*, название озера *Veliuonis* — той же основы, что и

имя бога умерших *Veliuonis*. Несмотря на архаичность описываемых мифологем, и.-е. \**-ōn-* скорее всего уже превратилось в *-uon-*.

Существительное современного литовского языка *velionis* ‘умерший человек’, широко используемое и в древних памятниках, имеет суффикс \**-ān-* (по поводу связи их форм и функций ср. [Būga II: 333 и далее 371–376]).

В описанных случаях в литовском языке в качестве гидронимов использованы прежние обозначения мифологем.

## 5. Миф Совия

Вспомним начало мифа Совия: *Совии бе человек. Оуловишию емоу дивии вепрь, изнемише из него 9 слезениць и въдасть еи испечи роженым от него. Онем же изъедшим е, разгневався на рождьшихся от него покушашесе снити во ад* [Mannhardt 1936: 57, 59; BRMŠ I: 266, 267]. Далее идет этиологическое повествование, в котором объясняется появление древнего обычая сжигать останки, называемого *sovica* (см. выше).

Как видно из текста, Совий был человеком. Поссорившись со своими детьми из-за того, что поймал вепря и вынудив из него девять селезенок, он попросил детей их зажарить, но те не послушались отца и съели их, он пытался спуститься в ад через восемь дверей, но ему это не удалось. Когда один из сыновей показал девятые врата, Совий попал в ад. Братья на него обиделись, и сын отправился искать отца. Найдя его, он постелил ему постель и похоронил в з е м л е. На утро, когда сын спросил отца, хорошо ли он спал, отец ответил, что его ели черви и слизи. На следующую ночь сын положил отца на д е р е в о, а на утро узнал, что отцу было плохо, потому что его кусали пчелы и комары. Тогда отец был положен в п л а м я костра. Утром на вопрос он ответил, что спал так сладко, как младенец в колыбели. Этот мифический рассказ заканчивается определенным обобщением: проводником людей в ад был Совий; племя, которое сжигает на кострах тела своих умерших, называется Совица.

Таким образом, Совий — мифологически-ритуальный персонаж, выполняющий довольно ясные функции, хотя его имя больше нигде в источниках не упоминается. Совий был первым смертным, испробовавшим все способы захоронения, оценивший их и выбравший лучший — сожжение на костре. Таким образом, Совий стал создателем и распространителем этого обряда захоронения. Помимо этого, он был тем, кто связал этот ритуал с культом богов: кремацию покойника, видимо, считали жертвой богам, в том числе и кузнецу Телявелю, выко-

вавшему солнцу. Можно считать, что имя Совия так или иначе связано с самой технологией обряда кремации [Топоров 1987: 24–25].

Используется магическое число «9» — у вепря девять селезенки; у ада девять ворот! По мнению Э. Вольтера, упомянутые ворота в ад напоминают девять миров в скандинавской мифологии [Volter 1886: 642; Volteris 1995: 342]. *Совица*, слово, которым, видимо, назывались те языческие племена, которые дольше всего придерживались обычая сжигать тела умерших, может быть производным от имени Совия с собирательным значением.

Кроме того, стоит обратить внимание и на упоминание вепря и его селезенки: вынув из него девять селезенки, Совий дал их своим детям зажарить (видно, автор хотел сказать: «их сжечь»). Но, когда те их съели, он на них разозлился и, видимо, поэтому пытался спуститься в ад. Вепрь и свинья появляются в сказках о жизни после смерти. Эти животные считались провозвестниками жизни в ином мире, поскольку наиболее распространенным способом узнавания воли богов было отгадывание пророческих знаков по действиям некоторых животных [Rowell 1994: 131, 139]. Кроме того, в мировоззрении первобытных народов вепрь и его селезенка символизируют смелость и силу. Съев селезенку, человек становится смелым и сильным. Это подтверждают и данные литовского языка. Например, *blužnis* ‘орган, связанный с производством крови в организме (Lien); легкие’ (последнее значение в словаре П. Руйгиса) и *bluznis* (без ударения) ‘орган, связанный с производством крови в организме (Lien)’ (в словаре П. Руйгиса [LKŽ I: 957]) в древности выглядели как \**bulžn-* (насчет такого фонетического соотношения ср. *bruzdūs* ‘подвижный, быстрый, заботливый’ и *burzdūs* ‘подвижный, деятельный’ [LKŽ I: 1099, 1206]) и возникли из первичной формы \**bhǵh(e)n-*, существовавшей наряду с \**spǵh(e)n-* (< \**s-bhǵh(e)n-*) в других и.-е. диалектах [Топоров 1975: 237; Mažiulis I: 150]. Первичная форма \**bulž(n)-* (с *-ul-* из \**-l-*) сохранилась в слове *bulžys* (без ударения) ‘сильный, крепкий человек с большой головой и толстыми губами’ [LKŽ I: 1157], образованном с помощью суффикса деятеля \**-(i)jo-* от этого названия селезенки, как, например, *gaurys* ‘тот, кто мохнат’ [LKŽ III: 170] (< \**gauriǵà-*) — от *gaurai* ‘волосы’.

Наконец, русское название *адъ* из исторических источников, видимо, употребляется далеко не в том значении, которое ему придает христианство, но скорее в древнем, архаическом его значении, а именно ‘пропасть, бездна’. ср. лит. *prāgaras* ‘пропасть, бездна, очень отдаленное, недоступное место...’, *pragarėlė* ‘топкое, непроходимое место’, *pragarmà* ‘озеро, трясина’, *pragarmė* ‘бездна, пропасть’, *pragorė* ‘пропасть, бездна, дыра’ [LKŽ X: 499–500, 501, 504]. Эти слова образованы

архаичным чередованием корневых гласных от *pra-gérti* (*-geria*, *-gèrè*) в старом его значении ‘тонуть; всасывать, засасывать; пробираться, просачиваться (о воде, дожде)’ [LKŽ III: 264]. То, что древний литовский ад мог представляться как потоп, затопление, утопление, подтверждается данными современного языка: *paskandà* (и *paskánda*) ‘потоп, затопление; утопление; ад’, *pāskandos* ‘ад’ [LKŽ IX: 479] и *paskanda* ‘потоп; ад’ из древних памятников [Palionis 2004: 413], производные от глагола *pa-skēsti* (*-sta*, *-skeñdo*) ‘тонуть’.

В литовской мифологии Совий был создателем ритуала сожжения останков, традиции кремации и проводником душ в царство мертвых. В мифе Совия литовцы, ятвяги, пруссы и другие народы называются *совица*, а Совий описывается как проводник умерших в ад, поскольку он ввел обычай сожжения останков, «*иж приносити жрѣтвоу сквернымъ богомъ: Андаеви и Перкоунови, рекше громоу, и Жвороунѣ, рекше Соуцѣ, и Телявели і сгоузнецю, сковавшие емоу солнце, яко свѣтити по земли и възвергъшию емоу на небо солнце [...]*». Ему — видимо, Совию.

Толкование значения и происхождения имени *Совий* является сложной и трудно решаемой проблемой. И все-таки можно ответить на вопрос, каково было лексическое значение и происхождение имени *Совий*. Но перед этим посмотрим, как это объясняется в научной литературе, посвященной этому вопросу.

Исследователи склонны видеть в этом мифе связь Совия с Телявелем и солнцем, то есть считать, что здесь присутствовали элементы солярной символики: огонь кремационного костра и небесный огонь (солнце), пойманный Совием вепрь как зооморфное воплощение солнца, девять врат, которые можно понимать как девять зодиакальных «домов» солнца, соответствующих девяти месяцам от весеннего солнцестояния, и девять солнечных повозок в литовских народных песнях. Девять селезенки вепря, которые Совий велел зажарить, возможно, дублируют девять врат. Здесь можно вспомнить свидетельство Прсториуса о том, что жители Надровы по селезенке жертвенной свиньи гадали, каким будет наступающий год, какой урожай он принесет и др. Учитывая все это, исследователи напоминают, что в Ипатьевской летописи, которая цитирует хронику Малалы, засвидетельствован русский бог Сварогъ (однажды зафиксирован вариант Соварогъ), соответствующий греческому богу-кузнецу Гефесту и его сыну Гелиосу-Солнцу, и отмечают, что корень для обозначения солнца и.-е. \**sāue-*, \**sā-*, \**sue-* близок имени Совия [Иванов. Топоров 1988: 457–458].

Предпринимались попытки и иначе объяснить имя этого мифического персонажа (например, связывать с названиями мифических персонажей Европы и Евразии *Savazios*, *Sabi*, *šavi* и под.) [Beresnevičius

1995: 75–76]. Еще Маннхардт отмечал, что «в любом случае не может отрицаться возможность переноса толкования происхождения имен *Sovij* и *Sovica* в сферу литовского языка (auf litauisches Gebiet zu verlegen)» [Mannhardt 1936: 62].

В этом аспекте интересны сравнительно-исторические и семантические интерпретации Совия — персонажа и имени, — данные В. Н. Топоровым. Прежде всего этот исследователь констатировал, что миф Совия отражает происхождение обычая сожжения трупов умерших и введение его в древнем литовском обществе. Известие о Совии как проводнике душ в подземное царство, по мнению В. Н. Топорова, становится понятным, если предположить, что Совий — это земной огонь. Но с древности известно тождество земного огня (огня овина) и небесного (солнечного) огня. Поэтому слова *Совий* (< \**Sau-jo-*) и *saulė* ‘солнце’ (< \**sāu-l/r-*) могут быть однокоренными. Солнце здесь может быть персонифицировано в образе сына Совия, идущего в ад (ср. др.-рус. *Сварогъ*, обозначающее отца Солнца), если учитывать, что существует масса типологических параллелей о ежедневном спускании солнца в царство умерших и литовский сказочный мотив о том, что солнце было создано в аду и оттуда принесено на землю. Поэтому можно реконструировать балто-славянскую мифологию, в которой участвуют отец и сын, связанные с огнем и солнцем, а также определенными устоявшимися традициями (способом захоронения, кузнечным делом, супружескими связями, когда уже установилась моногамия) [Топоров 1966: 143–149].

Однако в более поздних своих статьях В. Н. Топоров мотивировал название Совия тем, «что оно [имя] принадлежит важнейшему жрецу похоронного ритуала, который помещает (р а - š а u п а) труп в огонь, в печь. Номенклатура жрецов обряда сожжения останков подразумевает жреца, исполняющего именно такую функцию в церемонии» [Торогов 2000: 211]. Поэтому, его же словами, ранее необдуманно толкуемое имя *Совий* В. Н. Топоров сейчас считает апеллятивом такого типа, как балт. \**šovėj(a)s*, соответственно \**sovėj(a)s*, которое является *nomen agentis*, производным от глагола \**šauti*/\**sauti* ‘толкать, заталкивать; двигать, бросать’ и под., уже не говоря о специфическом значении этого глагола ‘стрелять’, ср. лит. *šaudyti*, лтш. *saudīt* ‘стрелять’ (без удара); утверждая это, он опирался на такие слова, как лит. *šovėjas* ‘тот, кто выпускает пулю, снаряд, стрелу из огнестрельного оружия, стреляет; кто помещает, засовывает (хлеб) в печь’ [LKŽ XV: 264], лтш. *šāvējs* ‘кто стреляет, стрелец’ [ME IV: 9], лит. диал. (жемайтское) *šavėjas* ‘то же’ [Vitkauskas 1976: 366], *šavà* ‘хлебная лопата’. Их корень реконструируется как и.-е. \**skēu-/skēu-* ‘бросать, кидать; стрелять; толкать’ ([Топоров 1986: 80–89; 1987: 25–28; 1990: 521–534]; ср. [Торогов 2000: 211–

221]). Однако В. Н. Топоров стремился пересмотреть такое толкование происхождения литовского согласного *š-* и поэтому утверждал, что первичный корень здесь был \**sēu-*, из которого развилось балт. \**sjēu-* > \**sjāu-* и наконец – \**šiau-* > \**šau-*. В. Н. Топоров подчеркнул, что это только один из вариантов толкования. Другим могло бы быть превращение и.-е. \**s* в *š* в литовском языке в позиции после приставки с *-u* (то есть после *au-*, *nu-*, *su-*) и дальнейшее обобщение согласного \**š-* в анлауте [Торогов 2000: 217 (сн. 18)]. Все-таки В. Н. Топоров решился на предположение, что «настоящее единство слов этой семьи обеспечивается связанностью их значений и сходством словообразовательной системы слов этого корня в различных индоевропейских языках» [Там же: 217], именно сюда относится также хет. *šauitra-* ‘рог’ с суффиксом \**-etro-* со значением активности, и глагол *šuyāi-* в значениях ‘толкать, запихивать, совать...’ и ‘заполнять’ (со своей стороны мы можем тут добавить, что в транслитерированных хеттских клинописных текстах буквой *š* обозначается согласный /s/), без сомнения, и сл. \**sovati* ‘толкать, засовывать, совать’, и др.-инд. *savitár-* ‘тот, кто побуждает, заставляет, двигает, стимулирует, оживляет...’ — отсюда произошло и персонифицированное имя бога *Savitár-*, которому посвящено десять гимнов; все они связаны с глаголом др.-инд. *sū-*, praes. *suvāti* ‘(он) двигает, побуждает; оживляет, толкает...’. Континуантами этого корня являются и западнославянские производные с суффиксом *-dlo-*, а именно польск. *suwadło* ‘движок (в технике)’, верх.-луж. *suwadło* ‘задвигка, втулка, засов’. В литовском языке похожими по словообразовательной модели являются *šavỹklė* ‘хлебная лопата’, *šovėklis* ‘засов для запираания дверей и ворот изнутри, задвигка, запор’, *šoviklis* ‘то же’, лтш. *šavėklis* ‘ружье’, *šavėklis* ‘засов, дверная задвигка’ и др. По мнению В. Н. Топорова, проявляющаяся таким образом тесная связь анатолийских, древнеиндийских языковых моделей с балтийскими и славянскими словообразовательными структурами «окончательно подтверждает общеиндоевропейский характер применения этой модели к исследуемому корню», и это позволяет «восстановить больше звеньев в цепочке, изображающей основную операцию ритуала описываемого типа, а именно: ‘š o v ě j a s (засовывающий) & ‘р а - š а u п а (за-совывает)’ & ‘l i ž e’ & ‘что-то (покойника, хлеб и под.)’ & ‘в отведенное для этого место (огонь, костер, печь и под.)’» [Там же: 220–221].

В свою очередь мы можем добавить, что такая деривационно-мотивационная схема хорошо объяснила бы структуру и функцию *Совия* в том случае, если бы этот персонаж и его имя были бы представителями западно-балтийского (ятвяги-судовы) лингвоэтнического континуума. Тогда имя *Совий* могло бы возводиться к проформе \**sovėj(a)s* и фоне-

тически точно продолжило бы балт. \*šovėj(a)s, производное от и.-е. корня \*(s)keu-/\*(s)kēu- ‘бросать, кидать; стрелять; толкать’. Но упомянутые западно-русские исторические источники явно информируют нас о том, что персонаж Совия принадлежал к литовской мифологии, а это значит, что имя Совия, производное от и.-е. корня \*(s)keu-/\*(s)kēu- могло выглядеть и на самом деле выглядело бы как \*šavėjas или \*šavėjis (ср. формы прошедшего времени šavo, šavė), так как закономерным рефлексом и.-е. согласных \*sk и \*k в литовском языке является фонема š. Лит. šauti (-na/-ja, šovė/šavo/šavė), лтш. šaut (šaiju/šaiņu, šavu) ‘бросаться, кидаться, прыгать, пуститься’ (< лтш. \*sjān- < балт. \*šēn- < и.-е. \*kēu-), šaudyti, лтш. saudīt ‘стрелять’ (без ударения) может только продолжать и.-е. корень \*kēu- ‘бросить, кинуть; толкнуть’ (протоиндоевр. \*keuH-) [LIV 1998: 294].

А. Ю. Греймас интерпретировал мифические функции Совия в фигуративной плоскости как переход, своего рода в х о д из пространства одного мира в другой и поэтому сравнивал его имя с лит. šovà ‘гнилое место в дереве, дупло...; треснувшее, раскрошившееся место, щель, отверстие, лунка (например, в дереве)...’, но лтш. sáva ‘продолговатый рубец (также в коре дерева)’ [Greimas 1990: 369–370]. К сожалению, эта гипотеза «страдает от той же болезни», что и гипотеза В. Н. Топорова: для литовского языка характерны согласные š и ž, поэтому мы скорее ожидали бы \*šavėjas или \*šavėjis.

Далеко не точно определена связь имени Совия, как предполагается, с литовскими фамилиями Savas, Savukas, Saukaitis [Basanavičius 1903: LVII]. С такой интерпретацией соглашался Н. Велюс, относя эти фамилии, помимо прочего, к корню литовского слова sávas ‘свой’ [Vėlius 1986: 17–18].

Литовские фамилии Sávas [LPŽ I: 685] (Кетурвалакяй, р-н Вилкавишкис), Savùkas (Алове, р-н Алитус, Каунас), Savùlis (Друскининкай, Гражишкяй, р-н Вилкавишкис, Калвария, р-н Мариямполье) и т. д. (большое количество) возникли из славянских языков, ср. белорус. Сáвва. Сáва. Сáво, Савук, Савул [LPŽ II: 688], рус. Сáва (орфографический вариант Сáвва), которые являются укороченными вариантами Саввáтий и Савéлий; эти имена заимствованы из греч. Σάββα(ς), Σάββατιον ‘тот, кто родился в выходной день, в субботу’, σάββατον ‘суббота, шабат, выходной день, Sabbat’ (кратким вариантом последнего может быть греч. Σάββα(ς), τὰ σάββατα plur. ‘суббота, шабат, выходной день, Sabbat’, но и ‘неделя’, и греч. Σαβέλλος в первоначальном значении ‘сабинянский, принадлежащий сабинянам’, ср. лат. Sabellī ‘сабеллы (название группы италийских племен)’.

Можно полностью согласиться с замечанием А. Ю. Греймаса о невнимании лингвистов к этому древнему литовскому мифу: «Не желая обвинять этимологов только в попытке усложнять простые вещи, мы все же не можем скрыть своего разочарования их невниманием при поиске происхождения теонима прежде всего к мифическим функциям Совия, к семантическому контексту его действий» [Greimas 1990: 369].

Но прежде чем найти более надежное объяснение, связанное с сущностью мифа, опирающееся на внутреннюю реконструкцию, стоит вспомнить, что эти тексты были проанализированы многими исследователями в различные периоды и в разных аспектах. Многое установлено, выяснено, но многое так и осталось неясным, многое вызывает сомнения, возможно, многое можно и иначе трактовать. Однако на некоторые места в тексте не было обращено нужного внимания, например, почему д е т и главного героя называются ‘рожденными’, ‘родившимися (от него)’, то есть *роженым* [2 раза], *рождьшихся*, а не ‘детьми’: *дети*, *дѣти*, как это характерно для русского разговорного языка. Может быть, русские летописцы хотели подчеркнуть, что проводником в ад был тот, ‘кто рождает, родитель’? В русском народном разговорном языке, в его поэтическом стиле, дети действительно называются ‘рожденные, родившиеся’. Страдательное причастие прошедшего времени в русском языке от глагола *родить* [*рожу*] *рождённый* означает ‘кому-то принадлежать, быть кем-то созданным, с рождения иметь какие-нибудь особенности’, но в народном, живом языке употребляются *рожденье* ‘ребенок’, *роженье мое* ‘мой ребенок’, *рожены мое plur.* ‘мои дети’ [Даль IV: 9–10], *роженье* ‘ребенок’, эпитет детей *рѳоженьй* (и *рождѣньй*) [СРНГ 35: 2001]. В семантическом аспекте ср. лит. *gimdýtojas, gimdýtojis* ‘отец и мать’, plur. ‘родители’ [LKZ III: 307]; *gimdýti (gimdo, -ė)* ‘родить’; рус. *родители plur.* : рус. *родить [рожу]*. Употребление русской формы множественного числа, как и чешского *rodice* plur. ‘родители’ — но чешское *rodic* в поэтическом языке означало и отца [Machek 1957: 420], — при обозначении отца и матери объясняется тем, что этой формой множественного числа сначала обозначались предки [Фасмер III: 492], как, например, лат. *parentēs* ‘родители (отец и мать); предки, деды, прародители’ наряду с глаголом лат. *pario, -ere* ‘рожать’, ср. *mōre parentum* ‘по обычаю предков’ или греч. *γονεῖς masc. plur.* ‘родители’ и *τοκεῖς, τοκηες masc. plur.* ‘родители’ наряду с глаголами *γίγνομαι* ‘рождаться’ и *τίκτω* ‘рожать’.

Вследствие такого предположения Совий прежде всего был бы р о д и т е л е м. И.-е. корень \*seuH-/suH- ‘родиться, родить’ (реконструируется более архаичная форма и.-е. \*seuh<sub>2</sub>-) имеют др.-инд. *sūte* ‘(она) рождает’, *sū-* fem., masc. ‘родитель(ница)’, Авест. *haota-* ‘род, поколе-



ние', хотанск. *hava-* 'место роста, разведения' (< и.-с. \**seuo* и \**soyo-*) [Mayrhofer 1976: 492; 1996: 714]. Особенно важен тот факт, что мы находим представителей этого и.-е. корня также и в литовском языке: это *siaūsti* (-čia, -tė) 'рожать' (Шатес, р-н Скуодас), *iš-siaūsti* 'родить' (Варняй, р-н Тельшяй), *pri-siaūsti* 'народить' (Шаукенай, р-н Кельме), *su-siaūsti* 'родить' (Шатес, р-н Скуодас) (Clavis Germanico-Lithuana [словарь конца XVII в.]) [LKŽ XII: 484, 487, 489, 490]. К и.-с. корню \**seuH-* 'родить, родиться' (> балт. \**sīau-*) на почве балтийских языков был добавлен расширитель корня -*t-*, как и в других случаях, ср. лит. *sriaūsti* (-čia/-ta, -tė) 'струиться, течь; плыть потоком' (< \**sreu-t-*) наряду с *sravėti* (*srāvi*, -ėjo); лит. *kiaūsti* (-čia, -tė) 'обращать внимание, слушать' (< \**keu-t-*) наряду с сербо-хорв. *čūti* (*čūjēm*) '(пред)чувствовать, ощущать; слышать, слушать' (< \**keu-*) [Karaliūnas 1987: 130–132]. При образовании производных, в отдельных случаях, видимо, употреблялся и алломорф этого корня с регулярным чередованием корневых гласных \**sou[H]-* > балт. \**sau-* 'рожать'.

С другой стороны, Совий мог быть и сжигателем, крематором. И.-е. корень \**seu-* 'гореть (сжигать)' мы находим в древнеперсидской священной книге Авесте: 3 л. plur. optativa *hūiīārəš* '(они) должны зажечь', из этой формы произведен каузатив-итератив *hāuuaieiti* '(огонь) сжигает, сжигает' [LIV 1998: 486].

Поэтому очень возможно, что миф Совия — человека-родителя и одновременного бога-сжигателя — появился из игры слов, соединения, переплетения двух омонимов — одинаково звучащих, но имеющих разные значения слов одного языка [Gaivenis, Keinys 1990: 80], с другой стороны, возможно, это делалось и сознательно — желая удивить, потрясти слушателя, подействовать на него так, чтобы он поверил. Таким образом, Совия — человека и бога — можно на полном основании считать родоначальником обряда кремации в балтийской мифологии. Не надо забывать, что гореть, сжигать не обязательно означает у н и ч т о ж а т ь, наоборот — в определенные моменты жизни человека это может означать и создавать (разводить огонь), ср. *dēgti* (*dēga*, -ė) 'находиться под воздействием огня, исчезать в огне; разводить огонь, разжигать; усиливать сжиганием, укреплять; производить, получать путем сжигания...' [LKŽ II: 368]; *dēginti* (-ina, -ino) 'уничтожать огнем; держать зажженным, жечь; усиливать, укреплять сжиганием...' [LKŽ II: 363]; *kūrti* (*kūria*, *kūrė*) 'делать так, чтобы горело, гореть, греть; строить, устраивать; обогащать...' [LKŽ VI: 974], *kūrėnti* (-ėna, -ėno) 'греть, сжигая топливо; сжигать' [LKŽ VI: 945], *kūrėjas* 'тот, кто создает нечто в области науки, искусства или др.; тот, кто разжигает огонь' [LKŽ VI: 944]. Конечно, эти значения слов относятся к недавне-

му времени, но нельзя отбросить предположение, что нечто подобное было и тысячу или полторы тысячи лет назад.

Как из балтийского корня \**seu-* (< и.-е. \**seu[H]-*) 'рожать', так и из корня \**seu-/sou-* 'гореть (сжигать)' с регулярным чередованием корневого гласного (*eu* : *ou* > балт. *au*) и суффиксом \*-*ēj-* могло появиться балт. \**savėjas* resp. \**savėjis* 'родитель' resp. 'тот, кто сжигает, кто разжигает огонь, сжигатель, создатель'. В словообразовательном аспекте можно сравнить с лит. *šokėjas*, *šokėjis* 'тот, кто танцует, любит и умеет исполнять танцы' (А. Юшка, Саугос, р-н Шилуте), *Lynu šokėjis* 'тот, кто прыгает' (рукописный словарь Краузе XVII в.), *siuvėjas*, *siuvėjis*, *siuvėjys* 'тот, кто шьет одежду' [LKŽ XII: 642], образованные от глаголов *šokti* (-a, -o) 'танцевать', *siūti* (*siūva*, *siūvo/siūvė*) 'шить'.

Лит. \**savėjas* или \**savėjis* 'родитель, кто рождает' resp. 'сжигатель, кто сжигает', попав в соседние славянские языки, фонетически легко превратилось в *Совий*, поскольку литовский краткий гласный *a* автоматически превращается в славянское краткое *o*, а в отношении словообразования ср. укр. *носій* 'носитель' : сербо-хорв. *nošaj*; укр. *возій* 'возница' : сербо-хорв. *voħaj* [Мартынов 1973: 24] (с -*aj* из слав. \*-*ēj-* < и.-е. \*-*ēj-*).

В Супрасльском списке (XIII в.) в конце рассказа о Совии написано: **лѣтъ же имѣють шт ѡвѣмелеха и многогw роду сквернаго Совѣд** [Вольтер 1886: 178]. Таким образом, здесь засвидетельствован вариант имени Совия *Sovee* (**Совѣд**), где *e* (**ѣ**) может обозначать литовский долгий гласный того времени *ē* (из которого позже появился гласный *ė*), если, конечно, это не следствие традиционного написания, в котором буква *e* (**ѣ**) обозначала и русский гласный *i*. Это подтвердило бы реальность формы этого имени \**Savėjas*.

Глагол, употребляемый в литовском островном говоре Дятлово (Zietela, Белоруссия), — *sāvytis* (-inasi, inosi) 'божиться, утверждать что-либо именем бога', весьма вероятно, является производным от теонима Совий таким же образом, как лит. *dievāžytis* (-ijasi, -ijosi) 'божиться, утверждать что-то словами «Бог знает»' [LKŽ II: 518] восходит к междометию *dievaži* 'ей-богу, действительно, на самом деле (говорится, утверждая что-то наверняка)' (от слова *Diēvas* 'Бог' и частицы *ži*), и это обстоятельство доказывает реальное существование Совия и его мифа в народном сознании судавских и ятвяжских племен.

Данный реконструированный контекст объяснил бы, почему **р о д и т е л ь** становится **п р о в о д н и к о м** душ в ад. В сознании людей того времени, очень вероятно, рождение (роды) и сжигание (умирание) и имели тот глубинный смысл, который определил появление в литовской этнической культуре в определенный исторический период (VI–VII вв.) кремации как основной ритуальной формы погребения.



Следует отметить, что Совий, исполняющий функции проводника душ в ад, сопроводителя умерших, имеет параллели в литовском фольклоре. Существуют сказки, герои которых идут в ад [Beresnevičius 1995: 46–47]. В сказках фигурирует таинственный старик, указывающий путь в ад и советующий, как там себя вести [Vėlius 1987: 163–168].

В одной литовской сказке страдающий в аду сын объясняет отцу, что, желая его спасти, он должен прийти в ад и пролезть через 9 горящих печей [Beresnevičius 1995: 47]. Нельзя, однако, забывать, что миф о Совии представляет какую-то традицию, которая скорее была локальной, чем общей, балтийской — о ней знал и зафиксировал ее один представитель Западной Руси. Он и северных соседей литовцев — финнов, практиковавших обычай сожжения трупов, назвал *sovica* — словом, имеющим тот же корень, что и имя Совия.

Из этого древнего литовского мифа ясно видно, что обряд сжигания умерших ввел Совий: *Šitą paklydimą Sovijus paskleidė* 'Это заблуждение распространил Совий'. Поэтому и народы, которые практиковали этот обычай, назывались *Sovica*. Умерших в ад сопровождает также Совий — ведь он и сжигатель, крематор.

Несмотря на то, что Совий в упомянутой западно-русской летописи называется богом, на самом деле Совий прежде всего был человеком, создателем нового культа «нечистым богам», родоначальником обряда сожжения останков и, видимо, служителем, жрецом этого культа. Поэтому и народы, практиковавшие этот новый культ, не только литовцы, но и их соседи на севере — финноугры — назывались собирательным именем *sovica* (со славянским суффиксом *-ица*, присоединенным к имени *Совий*).

Опираясь на свидетельство русских летописей, что *Совиу бѣ человекъ*, можно предполагать, что первоначальным значением *Совий* было именно 'человек', то есть 'прародитель людей, предок, прадед'. «Сыновьями» Совия скорее всего были его соплеменники, члены рода.

Параллели нетрудно найти в других индоевропейских лингвокультурах.

Др.-инд. *mānuḥ* (основа *mānu-*) masc. означало 'человек, мужчина; человечество', но *Manuṣ-* masc. было 'человек; предок людей, прадед (der Stammvater der Menschen)' [Mayrhofer 1963: 575–576; 1996: 309–310]. *Manuṣ-* в германской мифологии соответствует *Mannus*, который, по свидетельству Тацита, обозначал прародителя, предка, прадеда германцев. Прародителя племени по имени *Mānuḥ* имели и фригийцы, жившие в древности на Балканах. С точки зрения происхождения это одно и то же слово, что и название человека, мужчины в германских языках: нем. *Mann* 'муж, мужчина; человек', др.-верх.-нем. *man*, англ.

*man*, др.-англ. *man(n)*, *mon(n)*, швед. *man*, др.-норв., исл. *mannr*, *maðr* (< герм. \**manu-* или \**moni-*, где \**-nu-* могло дать *-ni-*), однако гот. *manna* 'то же' может продолжать форму со старой основой на *-n-* герм. \**mannan-* [Kluge 1967: 459–460; EWD 1993: 835; Ayto 1990: 335]. Континuantами этого корня считаются и ст.-сл. *mъзь*, рус. *муж*, скорее всего продолжающие и.-е. проформы \**mangjo-* или \**mongjo-* (реконструируются и проформы с \**-giu-* и \**-gi-*) [ЭССЯ 20: 160–161 (с обзором литературы)]. Их этимологическое соответствие можно найти и в балтийских языках. Прежде всего это лит. *mānga* (и *mangà*) 'несерьезная женщина, любящая жеманиться, кокетка; потаскуха' (перевод Библии Бреткунаса, словарь Юшки) [Būga III: 194; LKB VII: 825]. Позднее, видимо, лит. *mānga* (*mangà*) из-за своего экспрессивного значения было включено в семантическое поле глаголов *māngytis* (*-osi*, *-ėsi*) I 'нескромно, некрасиво наряжаться, украшать себя, кривляться' и *māngytis* (*-osi*, *-ėsi*) (*māngytis* [*mañgosi*, *-ėsi*]) II 'не стоять на месте, шататься, крутиться, двигаться, кривляться; гримасничать; кокетничать...' [LKŽ VII: 826–827]. Но *mangos* (без ударения) 'принаряживание, кривляние' [LKŽ VII: 825 s. v. *mānga*] — скорее всего deverbative от глагола *māngytis* (*-osi*, *-ėsi*) 'нескромно, некрасиво наряжаться, украшать себя, кривляться'. Точным этимологическим соответствием прус. *manga* 'потаскуха (Hure, meretrix)' (еще ср. *mangoson* 'сын потаскухи (Hurenkind)') [Trautmann 1910: 375; Endzelins 1943: 208; Mažiulis 1981: 279] является лит. *mānga* (и *mangà*), и они оба могут продолжать и.-е. проформы \**māngā* или \**móngā* fem. наряду со слав. \**mañgio-* или \**moñgio-* masc.<sup>9</sup> Интонационные различия их корней могут быть обоснованы метатонией. такой же, как в лит. *vañnas* : *vārna*. Соотношения значений слов ст.-слав. *mъзь*, рус. *муж*, с одной стороны, и лит. *mānga* (и *mangà*) 'несерьезная женщина, любящая жеманиться, кокетка; потаскуха', прус. *manga* 'потаскуха (Hure, meretrix)', с другой стороны, такие же, как и лит. *žmogùs*, plur. *žmonės* '...женатый мужчина || муж для своей жены, супруг' наряду с *žmonà* 'женщина; супруга для своего мужа, жена' [LKŽ XX: 910, 914–915], с такой лишь разницей, что эти балтийские соответствия славянских слов с *ā*-основой получили экспрессивное пейоративное значение.

Первоначальным их корнем могло быть и.-е. \**men-* 'считать, думать', которое в литовском языке продолжается глаголом *minti*, диал. *menti* (без ударения) (*mēna*, *mìnė/mēnė*) 'думать, произносить, считать; (self.) понять, выдумать...' [LKŽ VIII: 18, 239–240]. Такое мнение подтвердилось бы др.-инд. *mānu-* 'думающий, умный' и типологической парал-

<sup>9</sup> Иначе: [Fracnkel 1965, II: 407; Mažiulis III: 108–109].

лелью в иврите *zākḥār* ‘думать, соображать; мужчина, мужского пола’ [Mayrhofer 1963: 576].

Исследователи отмечают, что далеко не точно установлено, что др.-инд. *Manuṣ-*, герм. *Mannus*, фриг. Μάνης было легендой происхождения еще не расколовшихся индоевропейцев; скорее это сказание о происхождении распространялось на сравнительно небольшой единой территории индоевропейцев; позднее в немного изменившемся виде оно могло использоваться несколькими этническими группами индоевропейцев [Wenskus 1961: 148]. Подобная этимологическая легенда могла существовать и в духовной жизни древних литовцев: очень возможно, что Совий был «прародителем» литовцев, то есть прародителем племени, предком, прадедом. Эта легенда о происхождении литовцев особенно тем, что Совий вместе с тем был и «сжигателем», крематором, то есть проводником душ в ад — царство мертвых.

Ингумация и кремация — две формы погребения, в различные периоды сменявшие друг друга. Иногда обычай сожжения умерших становился господствующей идеологией, объединявшей несколько племен, и вместе с тем отражал формирование союза племен или нации. Это в особенности следует сказать о литовцах — обычай сожжения они сохранили дольше всех европейских народов. Обычай кремации в Литву шел двумя волнами. Первая около 1000 г. (до н. э.) пришла с запада вместе с распространением металла (бронзы) и производством местных поделок. Ингумация, заменившая кремацию, сохранилась до первых веков н. э. В первые века нашей эры уже во всей Литве умерших опять хоронили не сжигая. Вторая волна сожжения достигла Литвы около середины I тысячелетия (н. э.), однако она распространялась медленно и уже совсем в другом направлении. Сначала она появилась в юго-восточной Литве и дальше ползла на север и запад. Около V–VI вв. в восточной Литве в курганах уже находят могильники с трупосожжениями. С VII в. на всей территории восточной Литвы уже преобладают могильники с трупосожжениями в курганах. Без сомнения, кремация была связана с идеологией жителей того времени и проникала медленно. Проявлением этой идеологии и может быть миф о Совии. С другой стороны, археологи находят в восточной Литве немало курганов с двойным погребением: скелеты умерших в ямах под насыпью, а могильники с трупосожжением оборудованы уже в самой насыпи (это небольшие ямки, куда ссыпали выбранные из кострища косточки). И всюду скелетные погребения более ранние, а могильники с трупосожжением — более поздние. Миф о Совии тоже это отражает. Археологи подчеркивают, что такое изменение обрядов погребения не связано с этническим развитием, этническим изменением населения. Эти курганы в восточ-

ной Литве оставили литовские племена [LAB 1961: 302–303, 379; LE 1987: 153–156]. Таким образом, миф о Совии — этимологическое сказание, поясняющее появление традиции сожжения тел умерших, — скорее всего, возникло в VI–VII вв., когда обряд кремации уже господствовал, но были еще живы и другие формы погребения (в пластинчатых могилах, в выдолбленных гробах).

Однако в связи с тем, что было сказано, обязательно следует отметить, что способы погребения и их хронологическая последовательность, возможно, и определенный их синтез в тексте о Совии изображены мифологизированно. Для подтверждения этого можно обратиться к синхронной славянско-русской традиции, которая, как и литовская, относится к концу языческой эпохи. Арабский автор Ахмед ибн Фадлан в X в. описал похороны одного русского-варяга, и его свидетельство особенно тем, что это рассказ участника похорон, видевшего все своими глазами. По скандинавской традиции, русский-варяг был положен в челн, который был помещен на кострище, после чего был разожжен костер. Один из участников обряда объяснил Ахмеду ибн Фадлану, что вы, арабы, отдаёте останки своего любимого и уважаемого человека на съедение насекомым и червям, а мы сжигаем в одно мгновение — так, что он сразу же попадает в рай [Петрухин 1998: 58–59]. Что это был за «рай», можно судить по произведению Снори Стурлуссона «Круг земной» XIII в. (*Heimskringla* [Сага Инглингов, IX раздел]), в котором рассказывается, что Один, высшее божество древнего скандинавского пантеона, введший обряд сожжения умерших, и сам был сожжен на костре, чтобы достичь небесного дворца — Валхаллы. Видимо, существовала вера в то, что чем выше поднимается дым костра, тем выше на небе окажется тот, кто сжигается. Скандинавский Один — как и литовский Совий — считался не только проводником душ в царство мертвых, но и, предположительно, обладал способностями жреца, шамана попадать в другие миры — небесную Валхаллу и подземное царство, ад Хель.

Помимо этого, как в рассказе Ахмеда ибн Фадлана, так и во вставке в западно-русском хронографе о Совии перед финальной стадией кремации идет ингумация. После смерти русский-варяг был на десять дней похоронен в могиле, пока шла подготовка к кремации. В течение всех этих дней русские-варяги пировали, сношались [с женщинами] и играли. Когда покойника извлекли из могилы для сожжения, он весь был почерневший от холодов этого края. Это известие арабского свидетеля отчасти совпадает с информацией другого очевидца — рассказом англосакса Вульфстана IX в. об обычаях прусского племени эстив (*Estas*):

*Край эстиев очень большой, там много крепостей [др.-англ. burg, burh 'крепость, укрепленный город'] и в каждой есть князь [др.-англ. cyning 'король']. И там очень много меда и рыбы. Князь и богатые люди пьют молоко кобылиц, небогатые и рабы — мед. Они много воюют между собой. Эстии пива не делают, но меда там достаточно. Эстии имеют такой обычай: когда умирает человек, он остается лежать не сжигаемый дома среди членов семьи и друзей в течение месяца, иногда и двух; князья и другие известные люди — настолько долго, насколько они богаты; нередко до полугода они лежат не сжигаемы на земле в своем доме. И в течение всего этого времени, пока покойник лежит дома, должны продолжаться попойки и игрища до того дня, пока он не сжигается. И в тот день, когда покойника хотят нести на костер, его имущество, оставшееся после попойки и игрищ, делят на пять или шесть, иногда и больше частей, смотря сколько его. Все это раскладывают на расстоянии одной мили: лучшую часть дальше всего от дома, потом вторую, третью, пока все не раскладывается на расстоянии этой мили; самая малая часть должна быть ближе всего к дому, где лежит покойник. Тогда собираются все люди, которые имеют самых быстрых коней во всем крае, в пяти или шести милях от имущества. Потом все мчатся к этому имуществу, и наездник, чей конь самый быстрый, получает первую и лучшую часть; и так один за другим, пока все имущество не разбирается. Самая маленькая часть достается тому, кто должен подъехать к своей части, находящейся ближе всего к дому. И тогда каждый отправляется своей дорогой со своей частью и может ее присвоить. И поэтому хорошие кони там очень дороги. Когда имущество таким образом поделено, выносят покойника и сжигают его вместе с оружием и одеждой. Все его имущество растрачивается долго, пока покойника держат дома, и распределяется на дороге, чтобы другие его выиграли в состязании. И существует обычай эстиев, что каждый человек, какого бы происхождения он ни был, должен быть сожжен. И если находят какую-нибудь несожженную кость, ее нужно искупить плачем, молитвами. Есть еще искусство у эстиев производить холод. И поэтому умершие люди лежат долго и не портятся, поскольку на них воздействуют холодом. Если рядом ставят две посуды, полные пива или воды, им удастся их заморозить, и зимой, и летом (ср. [L1Š I: 22–23]).*

В этом свидетельстве англосакса Вульфстана ясно не сказано, что покойник был закопан в могиле. Его держали замороженным в доме среди сородичей: «И в течение всего этого времени, пока покойник лежит дома, должны продолжаться попойки и игрища до того дня, пока он не будет сожжен».

В мифе о Совии упоминается и о некоторых ритуалах древней, «досовийской» религии. Вполне возможно, что событиями первой и второй ночи в этом мифе рассказывается об изменении способов погребения

умерших — Совий хоронится в земле, потом поднимается на дерево. Таким образом, может быть, «Совий отрицает оба способа захоронения, вместе с тем отрицая и две целые религиозные эпохи, — все-таки память о них в мифе о Совии сохранилась» [Beresnevičius 1995: 17]. На следующий день опять приготовили ему ужин и подняли его на дерево, на утро спросили его, хорошо ли он спал. Ответ Совия «я был поедан пчелами и множеством комаров; увы, так плохо спал» подтверждает реальное помещение останков на дерево.

Миф о Совии начинается с того, что Совий ловит вепря. Такое начало мифа не могло быть случайным. Тацит упоминает, что эстии носили статуэтки вепря. Возможно, они были связаны с почитаемой эстиями Матерью богов. Ловля вепря и его убийство скорее всего были одним из элементов ритуала, посвященного Матери богов, — он был жертвой Богине-Матери — Жемине. Возможно, поимка-убийство вепря, его потрошение и принесение в жертву были одним из главных элементов ритуала — с него все и могло начаться. Совий, видимо жрец, готовился к какому-то очень важному жертвоприношению, возможно связанному с культом Богини-Матери. Вепрь приносится в жертву, возможно, определенные его части должны были съесть сами жертвующие. Но случается непредвиденная вещь — сыновья Совия съедают селезенку вепря, скорее всего имевшую особое ритуальное значение, и Совию она не достается. Так начинается трагедия Совия: он лоялен к Богине-Матери, однако из-за оплошности и непослушания сыновей ему не удастся завершить ритуал. В древних практиках жертвоприношения если жертвующий не съедает жертвуемое животное или его часть, жертва не принимается. В мифе подчеркивается важность селезенки — их девять, и благодаря этому сакральному числу проясняется особенность, чудесность пойманного вепря. Поедание селезенки — так важно, что Совию не остается другого выхода, как только «отправиться в ад» [Beresnevičius 1995: 25–26]. Совий скорее всего был культурным героем.

Совий ловит, добывает на охоте вепря. Г. Бересневичюс считает, что такой образ охоты, с которого начинается миф, свидетельствует об очень архаичном происхождении мифа. Он также ссылается на наблюдения археологов, что обряд сожжения умерших распространялся вместе с культурой бронзы [Там же: 44]. Очень сомнительно, что миф о Совии такой древний. Конечно, сейчас трудно сказать, как нужно интерпретировать сыновей Совия — как его настоящих детей или, скорее, как имеющих определенную квалификацию участников соответствующего ритуала, а может, и членов племени.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Блінава, Мяцельская 1969 — Э. Блінава, Е. Мяцельская. Беларуская дыялекталогія. Мінск, 1969.
- Витчак 1994 — К. Т. Витчак. Из исследований праславянской религии // Этимология 1991–1993. М., 1994.
- Вольтер 1886 — Э. Вольтер. Западнорусское свидетельство о литовских богах // Литовский катихизис Н. Даукиши. По изданию 1595 года, вновь перепечатанный и снабженный объяснениями Э. Вольтером. СПб., 1886.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. II. Тбилиси, 1984.
- Даль IV — Вл. Даль. Толковый словарь живаго великарускаго языка. IV. СПб.; М., 1882.
- Иванов, Топоров 1988 — Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров. Совий // Мифы народов мира. II. М., 1987.
- Лауринкене 2004 — Н. Лауринкене. Кузнец в литовской мифологической традиции // Балто-славянские исследования. XVI. М., 2004.
- Мартынов 1973 — В. В. Мартынов. Праславянская и балто-славянская деривация имен. Минск, 1973.
- МНМ I, II — Мифы народов мира. I–II. М., 1987.
- Одри 1988 — Ж. Одри. Индоевропейский язык // Новое в зарубежной лингвистике. XXI. М., 1988.
- Петрухин 1998 — В. Петрухин. «Похороны Соява»: книжный сюжет и реалии погребального обряда в свете славяно-русских параллелей // Senosios raštijos ir tautosakos sąveika: kultūrinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtis [Senoji Lietuvos literatūra. 6 knyga]. Vilnius, 1998.
- Спрогис 1888 — И. Я. Спрогис. Географический словарь древней Жомойтской земли XVI столетия. Вильна, 1888.
- СРНГ 35 — Словарь русских народных говоров. Т. 35. СПб., 2001.
- Топоров 1966 — В. Н. Топоров. Об одной «ятвяжской» мифологеме в связи со славянской параллелью // Acta Baltico-Slavica. III. 1966.
- Топоров 1970 — В. Н. Топоров. К балто-скандинавским мифологическим связям // Donum Balticum. To Professor Christian S. Stang on the occasion of his seventieth birthday 15 March 1970 / Ed. by V. Rūķe-Draviņa. Stockholm, 1970.
- Топоров 1972 — В. Н. Топоров. Заметки по балтийской мифологии // Балто-славянский сборник. М., 1972.
- Топоров 1975 — В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. Т. I: A–D. М., 1975.
- Топоров 1986 — В. Н. Топоров. Индоевропейский ритуальный термин SOUH<sub>1</sub>-ETRO- (-ETLO-, -EDHLO-) // Балто-славянские исследования. 1984. М., 1986.
- Топоров 1987 — В. Н. Топоров. Заметки о балто-славянской похоронной обрядности // Балто-славянские исследования. 1985. М., 1987.
- Топоров 1990 — В. Н. Топоров. К реконструкции одного балтийского ритуального термина // Symposium Balticum. Hamburg, 1990.
- Фасмер I–IV — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. I–IV. М., 1987.
- ЭССЯ 20 — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Т. 20. М., 1994.
- Ambrazas 2000 — S. Ambrazas. Daiktavadių darybos raida. Vilnius, 2000.

- Ayto 1990 — J. Ayto. Dictionary of Word Origins. New York, 1990.
- Balys 1937 — J. Balys. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose // Tautosakos darbai. III. 1937.
- Basanavičius 1903 — J. Basanavičius. Iš gyvenimo lietuviškų vėlių bei velnių. Chicago, 1903.
- Beresnevičius 1995 — G. Beresnevičius. Baltų religinės reformos. Vilnius, 1995.
- BRMŠ I — Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, I. Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos / Sudarė N. Vėlius. Vilnius, 1996.
- Brückner 1904 — A. Brückner. Starożytna Litwa: Ludy i Bogi. Szkice historyczne i mitologiczne. Warszawa, 1904.
- Būga I — K. Būga. Rinkiniai raštai. I. Vilnius, 1958.
- Būga II — K. Būga. Priesagos -ūnas ir dvibalsio uo kilmė // K. Būga. Rinkiniai raštai. II. Vilnius, 1959.
- Būga III — K. Būga. Rinkiniai raštai. III. Vilnius, 1961.
- Cassuto 1961 — U. Cassuto. A Commentary on the Book of Genesis. I. From Adam to Noah. Jerusalem, 1961.
- De Vries 1962 — J. De Vries. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Zweite verbesserte Auflage. Leiden, 1962.
- EH I — J. Endzelin, E. Hausenberg. Ergänzungen und Berichtigungen zu K. Mühlens Lettisch-deutschem Wörterbuch. Bd. I. Riga, 1934–1938.
- EH II — J. Endzelin, E. Hausenberg. Ergänzungen und Berichtigungen zu K. Mühlens Lettisch-deutschem Wörterbuch. Bd. II. Riga, 1946.
- Endzelins 1943 — J. Endzelins. Senprūšu valoda. Rīgā, 1943.
- Endzelins 1951 — J. Endzelins. Latviešu valodas gramatika. Rīgā, 1951.
- Endzelins–Mülenbachs II — J. Endzelins. K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca / Rediģējis, papildinājis, nobeidzīs J. Endzelins. II. Rīgā, 1925–1927.
- Endzelins–Mülenbachs IV — J. Endzelins. K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca / Rediģējis, papildinājis, nobeidzīs J. Endzelins. IV. Rīgā, 1929–1932.
- EWD 1993 — Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 2 / Auflage, durchgesehen und ergänzt von Wolfgang Pfeifer. II. Berlin, 1993.
- Fraenkel 1965 — E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg: Göttingen, 1965.
- Frisk 1960 — H. Frisk. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1960.
- Gaivenis, Keinys 1990 — K. Gaivenis, S. Keinys. Kalbotyros terminų žodynas. Vilnius, 1990.
- Gimbutienė 2002 — M. Gimbutienė. Senovės lietuvių deivės ir dievai. Vilnius, 2002.
- Greimas 1990 — A. J. Greimas. Tautos atminties beiėškant. Apie dievus ir žmones. Vilnius; Chicago, 1990.
- Greimas 1993 — J. Greimas. Žvėrūna Madaina // Baltos Jankos. 3. 1993.
- Jasas 1996 — R. Jasas. Komentarai // Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, I. Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos / Sudarė N. Vėlius. Vilnius, 1996.
- Johannesson 1956 — A. Johannesson. Isländisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1956.
- Karaliūnas 1987 — S. Karaliūnas. Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė. Vilnius, 1987.
- Karulis 1992 — K. Karulis. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Rīga, 1992.
- Kluge 1967 — F. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20 / Auflage bearbeitet von W. Mitzka. Berlin, 1967.

- LAB 1961 — Lietuvos archeologijos bruožai. Vilnius, 1961.
- Lasickis 1969 — *J. Lasickis*. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. Vilnius, 1969.
- Laurinkienė 1996 — *N. Laurinkienė*. Senovės lietuvių dievas Perkūnas. Vilnius, 1996.
- LE 1987 — Lietuvių etnogenėzė. Vilnius, 1987.
- Lecouteux 1991 — *C. Lecouteux*. Petit dictionnaire de mythologie allemande. Paris, 1991.
- LIŠ I — Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. I. Vilnius, 1955.
- LIV 1998 — Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstamm-bildungen. Unter Leitund von Helmut Rix. Wiesbaden, 1998.
- LKG I — Lietuvių kalbos gramatika. I. Fonetika ir morfologija. Vilnius, 1965.
- LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. T. I–XX. Vilnius, 1941–2002.
- LM I — Lietuvių mitologija. I / Parengė N. Vėlius. Vilnius, 1995.
- LPŽ — Lietuvių pavardžių žodynas / Sud. A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė. A–K: Vilnius, 1985; L–Z: Vilnius, 1989.
- LUEV 1963 — Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas. Vilnius, 1963.
- Machek 1957 — *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.
- Magnusson 1989 — *A. B. Magnusson*. Íslensk orðsifjábók. Reykjavík, 1989.
- Mannhardt 1936 — *W. Mannhardt*. Letto-Preussische Götterlehre (Magazin der Lettisch Litterarischen Gesellschaft. XXI). Riga, 1936.
- Mayrhofer 1963 — *M. Mayrhofer*. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. II. Heidelberg, 1963.
- Mayrhofer 1976 — *M. Mayrhofer*. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. III. Heidelberg, 1976.
- Mayrhofer 1996 — *M. Mayrhofer*. Etymologisches Wörterbuch des Altindoirischen. II. Heidelberg, 1996.
- Mažiulis 1981 — *V. Mažiulis*. Prūsų kalbos paminklai. II. Vilnius, 1981.
- Mažiulis I–IV — *V. Mažiulis*. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. I. Vilnius, 1988; III. 1996; IV. 1997.
- ME I–IV — K. Mühlenbachs Lettisch-deutsches Wörterbuch. Bd. I. Riga, 1923–1925; Bd. II. Riga, 1925–1927; Bd. III. 1927–1929; Bd. IV. 1929–1932.
- Mežinskis 1995 — *A. Mežinskis*. Lietuvių mitologijos šaltiniai // Lietuvių mitologija. I / Parengė N. Vėlius. Vilnius, 1995.
- Mierzyński 1892 — *A. Mierzyński*. Źródła do mytologii litewskiej. I. Warszawa, 1892.
- Palionis 2004 — *J. Palionis*. XVI–XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas. Vilnius, 2004.
- Rowell 1994 — *S. C. Rowell*. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva. Vilnius, 1994.
- Skardžius 1943 — *P. Skardžius*. Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943 [= *P. Skardžius*. Rinktiniai raštai. I. Vilnius, 1996].
- SSA 1992 — Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. I (A–K). Helsinki, 1992.
- Toporov 2000 — *V. Toporov*. Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai. Rinktinė / Sudarė N. Mikhailov. Vilnius, 2000.
- Trautmann 1910 — *R. Trautmann*. Die altpreußischen Sprachdenkmäler. Göttingen, 1910.
- Vanagas 1970 — *A. Vanagas*. Lietuvos TSR hidronimų daryba. Vilnius, 1970.
- Vanagas 1981 — *A. Vanagas*. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.
- Vėlius 1986 — *N. Vėlius*. Senovės lietuvių religija ir mitologija // Krikščionybė ir jos socialinis vaidmuo Lietuvoje. Vilnius, 1986.

- Vėlius 1987 — *N. Vėlius*. Chtoniškas lietuvių mitologijos pasaulis. Folklorinio velnio analizė. Vilnius, 1987.
- Vėlius 1996 — *N. Vėlius*. Jono Malalos kronikos intarpas // Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, I. Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos / Sudarė N. Vėlius. Vilnius, 1996.
- Vidugiris 1959 — *A. Vidugiris*. Kai kurios Zietelos tarmės ypatybės // Lietuvių kalbotyros klausimai. II. 1959.
- Vidugiris 1998 — *A. Vidugiris*. Zietelos šnektos žodynas. Vilnius, 1998.
- Vidugiris 2004 — *A. Vidugiris*. Zietelos lietuvių šneкта. Vilnius, 2004.
- Vitkauskas 1976 — *V. Vitkauskas*. Šiaures rytų dunininkų šnektų žodynas. Vilnius, 1976.
- Volter 1886 — *E. Volter*. Mythologische Skizzen // Archiv für slavische Philologie. IX. 1886.
- Volteris 1995 — *E. Volteris*. Mitologijos apybraižos // Lietuvių mitologija. I / Parengė N. Vėlius. Vilnius, 1995.
- Wenskus 1961 — *R. Wenskus*. Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes. Köln; Graz, 1961.
- Wolter 1886 — *E. Wolter*. Mythologische Skizzen // Archiv für slavische Philologie. IX. 1886.

Перевод с литовского языка М. В. Завьяловой

Н. ЛАУРИНКЕНЕ

## Земля-Мать в литовской народной традиции

Отождествление земли с женщиной и матерью — одна из наиболее широко распространенных универсалий в традициях разных народов мира, в том числе у балтов и славян. В патриархальном земледельческом обществе материнская ипостась земли была актуальна в немалой степени благодаря ее роли кормилицы, т. е. в силу ее значимости в прагматической сфере жизни, однако и в духовной культуре она была одной из основополагающих ценностей. Уважение и любовь к Земле ассоциируются с подобным эмоциональным отношением и к Матери. И Мать, и Земля являются чем-то родным, настоящим, надежной опорой. Владимир Николаевич Топоров, анализируя понятие Земли-Матери у славян, в основном у русских, утверждает, что Земля была объектом некоей религиозно-нравственной системы и что «Мать-Земля была высшим нравственным авторитетом, выросшим из должности-необходимости, ставшей порядком-правилом, той последней и высшей инстанцией, перед которой несли ответственность, на суд которой выносили то, что не могло быть решено иначе» [Топоров 2000: 269, 272]. Преклонение перед Землей должно было быть подкреплено определенной идеологией, которая в восточнославянской традиции, как отмечается, во многом была близка балтийской системе ценностей.

Для литовцев Земля также обладала высочайшим статусом в аксиологическом отношении и занимала важное место в религиозном мировоззрении. Это лучше всего прослеживается в аграрных обрядах, некоторых связанных с ними народных верованиях, сохранивших реликты древнего мифологического мировоззрения. В них проявляются тенденции сакрализации и даже обожествления Земли: она может быть представлена как священная стихия и как персонифицированное божество. Одним из наиболее ярких женских мифологических персонажей является как раз богиня земли, властительница хтонических сил мира. Это — литовская *Žemyna*, латышская *Zemes māte*. Земля и ее растительность с находящимися в надземном или подземном мирах живыми и мертвыми является сферой господства и попечительства этой богини. Литовская богиня земли могла быть просто отождествляема с землей. Об этом можно судить по тому, что Жямину иногда называли *Žemele* 'землица' (*Zemyne, oder auch Zemele* — М. Преториус; [BRMS III: 121]); с другой стороны, обнаружены случаи, когда словами *žemyna, žemynos, žemynėka* называли саму землю.

*Rugiai iš žemynos virsta* 'Рожь из жямины расцветает' [Paulauskas 1977: 869].

*Visi žemynon eis* 'Все в жямину пойдут' [Ibid.: 869].

*Žubers o juodom žemynėkom* 'Засыплют черной жяминекой (землей)' [LMD III: 46b/5/].

Таким образом, *Žemyna* может иметь и нарицательное значение 'земля'. Со словами *žemyna, žemynėka* могут согласоваться те же эпитеты, что и со словом *žemė* 'земля' — *siera* 'сырая', *juoda* 'черная': *po sieraja žemyna* 'под сырой жяминей' [Paulauskas 1977: 869], *syrausioji žemynėka* 'сырейшая жяминекка' [LMD III: 131/12/], *o juodom žemynėkom* 'а черными жяминекками' [Ibid.: 46b/5/].

Богиня Жямина также могла представляться как мать. Примерно в 1970 г. в деревне Пеляса (совр. Белоруссия, р-н. Вороново) в разговоре с Марией Круопене (род. в 1920 г.) и ее сестрами я услышала возглас одной из них, обозначавший удивление, который, кстати, прозвучал очень естественно — *Žamyna motina!* 'Жамина мать!' Позже от других жителей Пелясы и соседних деревень (Дубиняй, Смильгиняй) я получила подтверждение, что Жямина действительно называлась матерью в их краях, по-дзукойски — *motina*.

Таким образом, *žemė* и *žemyna* — отчасти идентичные понятия. Оба слова могут иметь значение земли как материальной субстанции. Оба могут быть связаны с божественным материнством — как *Žemė Motina* 'Земля Мать', так и *Žemyna Motina* 'Жямина Мать', на что указывают уже сами их номинации.

В литовском языке и народной традиции представление Земли как матери основано на функциональном тождестве земли и матери. И земля, и мать — обе родительницы, кормилицы, «носительницы», покровительницы:

*Žemė reikia gerbti, ba žemė yra mūsų motka* 'Землю надо уважать, так как земля наша мать' [LTR: 1580/828/].

*Žeme, motina mano, aš iš tavęs esu, tu mane šeri, tu mane nešioji, tu mane po smerčio pakavosi* 'Земля, мать моя, я из тебя возник, ты меня кормишь, ты меня носишь, ты меня после смерти схоронишь' [Ibid.: 1539/39/].

*Žemė, dėl prigimimo motina tikroji, vis gimdo, tauso, pena ir vis palaidoja* 'Земля, по рождению мать настоящая, все рождает, бережет, кормит и все хоронит' [LKŽ XX: 313].

Таким образом, Земля считается матерью всего окружающего нас мира, а равно и человеческого существа. К земле обращаются — «мать моя» и объясняют: «я из тебя произошел». Следовательно, человек осознает свое происхождение из земли и воспринимает себя как земное



существо — не только из-за своей земной природы, но и из-за того, что вся его жизнь проходит на земле «носительнице», как на руках матери.

Земля — родительница в самом широком смысле: из ее чрева выйдут все творения живого хтонического мира. Давать жизнь — это, как уже было упомянуто, одна из основных функций и богини земли, отождествляемой с самой землей. Матей Преториус отмечал по этому поводу: *dem die Zemynelle || giebt u erhält, ihrer Meinung nach so Menschen Denn Vieh, u allen Dingen || das Leben [...] Wird jemand geboren, komt jemand zu einem || Stande, wird einem Hauß Wirth ein Pferd oder ander Vieh geboren, für || allen Dingen muß die Zemynelle verehrt werden, daß sie allen das || Leben giebt und erhält* 'Жяминеле дает и сохраняет жизнь человека и животного, и всех живых существ [...] Или что рождается, или в новое состояние переходит, или у хозяина жеребенок появляется, везде и всгда прежде всего должна быть почитаема Жяминеле (*Zemynelle*), поскольку она всем жизнь дает и сохраняет' [BRMŠ III: 197, 300].

С функцией Земли-Матери как родительницы, носительницы жизни, возможно, связано представление о толстеющей, полнеющей как живое существо земле. Речь идет о выражении в словаре Йокубаса Бродовскиса: *Zéme nutuks* 'Земля ожиреет'. Рядом же дается немецкое соответствие: *Die Erde wird dick* [BRMŠ IV: 22]. Толстеющая земля здесь могла бы восприниматься как носительница жизни, потенциальная роженица.

Однако существует яркое различие между настоящей матерью и землей с точки зрения выполняемых ими функций: только Земля-Мать может приютить земные существа после их смерти. Как известно из устной традиции, земля, точнее ее недра, подземелье — место пребывания душ умерших. Здесь души попадали во владения хозяйки этих недр, богини земли. По словам Матея Преториуса, если кто-то умирает, опять же Жяминеле (*Zemynelle*) кланяются: *Stirbt jemand, wird die Zemynelle bedienet, || ja ihr vertrauet, das, was sie der verstorbenen Seelen wünschen u gönnen* 'Под ее покровительство передается все, чего они душе покойного желают и хотят' [BRMŠ III: 197, 300]. С другой стороны, умершие, по поверьям литовцев, жямайтийцев и древних пруссов, *ob müssen diejenigen so da sterben der Zamolukse d.i. der Erdgöttin dienen* 'должны служить Жямелюке (*Zamolukse*), т. е. богине земли' [Ibid.: 107, 228]. Таким образом, Жямина, как и сама Земля, является также матерью душ умерших, которые ей подвластны. В этой сфере ее материнская функция не менее важна, чем при встрече новой жизни или создании этой жизни самой Землей-Матерью.

Функцию покровительства душам под землей выполняла и латышская *Zemes māte*. Она, как и Жямина, принимала умерших [Šmitas 2004:

26–27], запирая их в своих недрах. Как засвидетельствовано в латышской мифологической традиции, *Zemes Māte* (также и *Veļu Māte* 'Мать Душ') имела ключи от могил [ME II: 226].

Основные характеристики Земли как мифического универсума отражают уже упомянутые здесь эпитеты, употребляемые в литовском разговорном языке и в фольклоре: *tamsi* 'темная' (*in tamsių žemelį* 'в темную землю' [LTR: 2375/122/]), *juoda* 'черная' (*juoda žemelė* 'черная земля' [LKŽ XX: 315]; *juodoji žemaitė* 'черная земля' [Ibid.]), *siera* 'сырая' (*siera žemelė* 'сырая земля' [LKŽ XX: 315; LT II: 565; JLD: 1180, 1181, 1183]).

*Siera žemė* — калька выражения *сыра земля*, пришедшего от восточнославянских соседей, ср.: рус. *Мать сыра земля* [СД II: 316], белорус. *маці* — *сырая Зямля* [БМ: 201], укр. *мати* — *сыра земля* [УМ: 294]. Только слово *сыра* в литовском языке (из-за похожего по звучанию *сера*) превратилось в *siera*, хотя должно было быть переведено *dregna* или *šlapia*, что является основным значением слова *сыра*. Сырость у восточных славян считается обязательным признаком плодородной земли. Только сырая, увлажненная дождем или другими водами почва может быть плодородной, и в этом основная сила земли. Сырость земли особого рода, это — не просто влажность, не просто ее увлажнение водами, это свойство рождает ассоциации с ее плодородной силой. «Сырость в мифопоэтическом сознании только та влага, в которой кроме водной субстанции присутствует нечто такое, что имеет непосредственное отношение к творению жизни от ее зарождения до созревания плода» [Топоров 2000: 259–260]. То же выражение *Мать сыра земля* означает прежде всего землю, оплодотворенную небесной влагой и готовую родить [СД II: 316; Ūsaitytė 2002: 148–150]. А это, без сомнения, основная функция Земли-Матери.

### *Sacrum и sanctum*

Как утверждает Мирча Элиаде, появление земледелия по существу меняет не только хозяйственный уклад первобытного человека, но прежде всего *устои святости*. Начинают действовать новые религиозные факторы: половая принадлежность, плодовитость, мифология женщины и земли и т. д. Религиозный опыт становится более конкретным, более связанным с жизнью. Великие богини-матери и сильные боги или гении плодородия намного более «динамичны» и доступны людям, чем Бог-создатель [Eliade 1997: 88]. Таким образом, по замечанию Элиаде, с появлением земледелия религиозный опыт крестьянина становится более ориентированным на ежедневное существование и связанным с

практической деятельностью и ее целями, однако, с другой стороны, можно заметить и то, что представитель аграрной культуры выделяет землю как специфическую ценность, в которой, помимо ее материальности, различается еще и метафизический уровень — мир сверхъестественных явлений, связанных с землей и ее недрами. Поэтому, хотя *Žemė* часто означает то, что является совершенно «земным», материальным, видимым и реальным, одновременно это понятие могло ассоциироваться с более абстрактными и тонкими вещами: с тем, что является «совсем другим» — *ganz andere*, по словам Рудольфа Отто [Otto 1963: 28–37]. Земля проявлялась для религиозного человека в виде иерофаний. Осознавая таящуюся в земле силу и причисляя ее к большим ценностям, литовцы называли землю святой, как и восточные славяне: *Kaip tave šventa žemelė nešioja?! 'Как тебя святая земля носит?!'* [BIR 1: 5]; *Šventoji žeme, žeme, žeme, žemela!* 'Святая земля, земля, земля, земелька!' [LTR: 6258/89/], белорус. *Зямля святая, яна наша маці* [БМ: 201].

Подобно тому, как небо в мифическом мире связано с трансцендентностью, направленной в бескрайние высоты, земля также представляется имеющей «потусторонний мир», расположенный в хтонических глубинах. Если небесная бесконечность и усматриваемая в ней трансцендентная плоскость связана с неизмеримой высотой, то аналогичная плоскость земли связана с тайнами, кроющимися в ее глубинах — недрах. Религиозный человек верил, что его отношения со святой Землей-Матерью могли повлиять на действия хтонических сил, заключенных в недрах земли, на плодородие растительности. Само плодородие могло осознаваться как иерофания хтонической Матери. По словам Натана Сёдерблома, сакральность считалась некоей силой или мифическим явлением, направленным на определенные существа, вещи, события или действия [Söderblom 1913: 731]. Видимо, сакральность Земли-стихии и существа, ее олицетворяющего, могла проявляться как специфическая сила, отражающаяся в процессах вегетации растений или в таинственных феноменах, происходящих под землей, как неведомая и непонятная человеку мистика. Это материнство Земли по отношению к ушедшему в мир иной, эта *mysterium tremendum* (страшная тайна) ее темных недр относится к специфической сфере религиозных явлений, связанных с землей.

Религиозный литовец, будучи официально христианином, сохранил живую связь со своей исконной религией и еще в прошлом столетии рассматривал Землю-Мать как сакральную сущность. Такое отношение к земле довольно ярко проявлялось не только в значимых ситуациях бытия, обрядах перехода, но также и во время сельскохозяйственных работ — в начале и в конце земледельческого цикла, как это пока-

зывают достаточно устойчивые народные верования и обычаи. Люди понимали, что прикосновение к Земле может так или иначе на нее повлиять, поэтому при обработке земли следовало исполнять определенные обряды, которые явно демонстрируют религиозную связь человека с хтонической основой его бытия.

Существовала естественная потребность обращаться к Земле-Матери весной при первом выходе в поле и осенью при сборе или после сбора урожая. В первом случае это делалось с целью задобрить обладающую плодородными силами кормилицу, чтобы она была благосклонна к крестьянину, во втором случае — чтобы поблагодарить ее за предоставленные земные плоды. К началу работ на земле готовились как к важному акту, требующему внутреннего подъема, устанавливали духовную, религиозную связь с Землей как с божественной сущностью: идущий в первый раз в поле пахарь умывался, одевался в чистую одежду, старался быть в приподнятом настроении, даже запевал песню [BIZ: 6/73]. Знак высокого уважения к земле — ее целование:

*Artojas, pirmąkart išėjęs į lauką, bučiuoja žemę, kad ji gerą derlių išduotų, neprasisvertų ir ko nors pikto nepadarytų* 'Пахарь, первый раз выйдя в поле, целует землю, чтобы она дала хороший урожай, не расступалась и чего-нибудь плохого не сделала' [BIZ: 3/37].

Оказывать знаки уважения земле было актуально и перед посевной: земледелец, начинавший сеять, тоже обычно целовал землю [Ibid.: 24/368].

Землю целовали в различных ситуациях, не только перед началом ее обработки. Говорили: *Ar žemę pabučiuosi, ar mūkele, tai lygūs bus atpuskai* 'Землю ли поцелуешь или распятие, одинаковое будет отпущение [грехов]' [BIR 1: 4/10]. Хотя христианство укоренилось уже давно, землю все еще целовали в литовских деревнях, как зафиксировано в окрестностях Дусетай, — утром и вечером, перед началом и концом молитв, или, как замечено в окрестностях Салантай и Лишкявы, — после молитв. и такое смешение традиций показывает, насколько была живуча традиция почитания земли:

*Seniau bučiuodavo po poterį rytą ir vakare žemę, žodžių nesakydavo* 'Раньше целовали после молитв утром и вечером землю, слов не говорили' [BIR: 4/7].

*Kai buvau maža, pakalbėjus poterius turėdavom pabučiuoti žemę <...>* 'Когда я была маленькая, после молитв мы должны были поцеловать землю' [Ibid.: 4/6].

*Ypač vaikams sukalbėjus poterius liepdavo pabučiuoti žemę užtat, kad žemė — mūsų motka* 'Особенно детям после прочтения молитв велели поцеловать землю, поскольку земля — наша мать' [Ibid.: 4/4].

В последней приведенной здесь цитате объясняется, почему надо целовать землю — поскольку она «наша мать». следовательно, почитая ее как мать мы должны ее целовать, так же как из уважения мы целуем руку матери. Кое-где в Литве, например около Видукле, землю целовали 7 или 12 раз в день:

*Žemę, kaip maitintoją, reikia pirmą gegužės mėn. dieną septynis kartus pabučiuoti* 'Землю, как кормилицу, нужно в первый день мая семь раз поцеловать' [BIR: 4/8].

*Žemė žmones maitina ir rėdo, dėlto reikia į dieną dvylika sykių pabučiuoti žemę* 'Земля людей кормит и обеспечивает, поэтому нужно в день двенадцать раз поцеловать землю' [Ibid.: 4/9].

По свидетельству более раннего источника XVII в., целование земли могло быть частью общественных обрядов. Преторий описывает, как недалеко от Вайнотай один старый жямайтиец, считавшийся волшебником, поздним летним всчсром, когда было очень звездное небо, стоял между двумя дубами, потом упал на колени и три раза поцеловал землю. То же делали и другие люди: стоя на коленях у дуба с поднятыми руками, они смотрели на небо и шептали молитвы, а потом три раза целовали землю. Старый жямайтиец все это делал, чтобы узнать, что случилось с одним ушедшим на войну и пропавшим без вести литовцем. Выполнив обряд, жямайтиец рассказал собравшимся родственникам, что тот человек на войне был три раза ранен, но поправился [BRMS III: 158–159, 269]. Объяснение, почему в этом случае обращались к земле словно с просьбой о помощи, мы находим в письменных источниках XVIII в.: *semmes mahte, diese herschet unter der Erde, daher fordern sie von ihr, wann sie etwas verlohren* 'Земля-Мать, она правит под землей, поэтому у нее спрашивают, если что-то пропало' (Якоб Ланге; [BRMS IV: 170]; см. также [Ibid.: 166, 179, 184, 208]). Таким образом, во власти Земли-Матери, хозяйки подземных владений, по поверьям, находилось раскрытие тайн, связанных с исчезновением людей и вещей. Вероятно, исполняя обрядовые действия с подобной целью, люди и могли целовать землю.

Религиозное отношение к Земле-Матери отражалось и в других ритуальных действиях, выражающих высочайшее почтение: перед посевом человек снимал шляпу, опускался на колени и крестил почву, «делал на земле крест», а потом, встав, снова крестил землю [BĪŽ: 23–24/363]. Посеяв злаки, опять же нужно было «поцеловать землю этого участка, тогда лучше уродятся злаки» [Ibid.: 30/475]. В окрестностях Шауленай в начале посевной приносили освященные злаки и [освященную?] воду. Водой обливали руки, крестили поле, потом целовали землю и начинали сеять, проговорив перед этим какие-то слова [Ibid.: 24–25/

381]. В других случаях освященной водой поливали зерно перед посевом, таким образом, видимо, передавая ему защиту и витальные силы [Ibid.: 42/685].

Некоторые из описанных обрядов, отражающие почтение к земле — коленопреклонение, перекрещивание, — по своей форме, конечно, уже связаны с христианской традицией, однако их цель и адресат сформированы еще хранящимся в народном сознании более ранним мифопоэтическим мировоззрением. Многогранная народная культура подтверждает, что элементы христианского ритуала могли использоваться довольно универсально; и в этом случае, снимая шапку, опускаясь на колени и перекрещивая почву, люди стремились выразить не только глубокое уважение почитаемому объекту, но и желание уберечь от злых сил эту проявляющуюся иерофаниями стихию.

Земле-Матери приносились жертвы, и это подтверждает, что хтоническая сфера, по поверьям, заключает в себе нуминозное начало. Преторий отмечает, что потомки пруссов «придерживаются мнения, что в земле скрыто нечто божественное» [BRMS III: 196, 300]. Что представляет собой божественность земли, как она могла проявляться, прямо не объясняется. Следует считать, что эта божественность земли специфическая, иная, чем у небесных божеств. По замечанию В. Н. Топорова, Земля имеет нечто божественное, и представляется, что эта божественность иная, чем «божественность» языческих божеств [Торогов 2000: 265]. Божественность земли — это, как можно прокомментировать, опираясь на контекст мифологического содержания ее образа, — особая сила, выходящая из темных глубин хтонического мира, тяжелой земной материи и дающая потенцию вегетативной витальности, с которой тесно связана и властительница этой стихии — богиня земли. Последняя является олицетворением этой специфической силы земли, хтонической нуминозности. В земле или в пшеничном колосе скрыта Жямина, так же, как, по словам Эмиля Дюркгейма, «Зевс скрыт в каждой капле воды, как Церера в каждом снопе урожая». Видимо, божественная сущность может представляться не только в конкретном и осязаемом облике, но вместе с тем трактуется и как абстрактная сила, которая проявляется в пространстве и «таится в каждом из своих творений» [Durkheim 1999: 222]. К Земле, видимо, обращались отчасти как к божеству, веря, что в комьях земли находится Жямина. Этим, скорее всего, мотивируется и упоминавшаяся потребность приносить жертвы земле, то есть скрытому в ней божественному началу. Люди приносили материальные жертвы — хлеб, соль, чтобы обрабатываемая почва также дала человеку подобные блага. Собираясь пахать, приносили хлеб, иногда и соль. Крестьянин жертвовал земле, чтобы получить от нее зре-

лые колосья пшеницы, иначе говоря, хлеб. Поэтому принесенный хлеб при проведении первой борозды опахивали, чтобы год был урожайным [BĪŽ: 6/79, 80]. Или после проведения нескольких борозд тут же в поле ели хлеб, кормя им и коня [Ibid.: 6/86]. Иногда с буханкой хлеба хозяин обходил поле, чтобы уродилась пшеница [Ibid.: 6/76, 77]. Также хлеб и соль клали в землю, выполняя некоторые работы, связанные с землей, например при посадке дерева [Ibid.: 117/1882]. Хлеб, как и пшеница, — атрибуты, свойственные земле, а нередко и самой богине земли, которыми *pars pro toto* может быть представлена дающая урожай земля и ее божество.

Земле приносили даже кровавые жертвы: Жямине или не называемой по имени богини земли приносили в жертву домашних животных и птиц — свинью или курицу и петуха [BRMŠ II: 605–606, 608; III: 188, 293]. Известно, что кровью животных могли окроплять дерево в надежде на хорошие плоды. В других случаях под корнями плодоносного дерева закапывалось животное: поросенок, цыпленок, кот, собака [BĪŽ: 117/1184, 1885].

Ритуалы жертвоприношения, являясь составной частью аграрных процессов, свидетельствуют о живой, периодически обновляемой связи *homo religiosus* с землей, для поддержки плодородной силы которой, ее божественного проявления и гарантии благосклонности ее божественного начала и приносились эти жертвы.

Йоханн Якоб Бахофен, известный швейцарский ученый, исследователь античной мифологии и обрядов, наделяет землю признаком *sanctum* — ‘то, что свято, неприкасаемо’. Наряду с этим термином он употребляет и *sacrum* — ‘то, что свято’. Оба понятия связаны со священным, святым. Однако Бахофен обнаруживает между ними различие, утверждая, что *sanctum* отражает признаки теллурической (земной) материи, а *sacrum* — светящегося пространства. Таким образом, *sanctum*, по его мнению, связано с землей и хтоническими силами, а *sacrum* — с распространяющими свет началами и с высшими божествами. В дальнейших рассуждениях он приходит к выводу, что *sanctum* выражает женский принцип неподвижной материи, *sacrum* — мужской кинетический [Bachofen 1967: 40]. Таким образом, *sanctum* могло бы быть критерием оценки земли, земных объектов: насколько они содержат *sanctum*, насколько они являются неприкасаемыми, незагрязненными, чистыми, насколько они сохранили свою настоящую, ненарушенную, не оскверненную природу.

Еще наши предки оберегали землю от осквернения — не только физического, материального, но и от энергетического, например, землю нельзя было бить. В поверьях это выражается как табу:

*Anys sakydavo, kad nevalnia žemė nei mušt, nei kitaip kaip išnevožyt* ‘Они говорили, что нельзя землю ни бить, ни иначе как-то не уважать’ [BIR I: 4/10].

*Seniau senieji bardavosi, kada vaikai žemę mušdavo* ‘Раньше старики ругались, когда дети землю били’ [Ibid.: 4/15].

*Žemė nemožna runciu mušt, ana mus peni* ‘Землю нельзя рукой бить, она нас кормит’ [Ibid.: 4/16].

Строго запрещалось с негативными намерениями плевать на землю, что подтверждает и русская традиция. Это — оскорбление и осквернение Земли, как думал простой крестьянин и, между прочим, Достоевский [Торогов 2000: 271].

Следовательно, должно сохраняться *sanctum* Земли. Совсем другое — прикосновение к ней с позитивной целью — целование. В последнем случае ее *sanctum* не нарушается, поскольку целуется земля из-за своей святости, из-за того, что к ней ощущается безусловное, *a priori* почтение. Святость Земли специфична, ее следует связывать не только с проявлением теллурических сил (которые имеют иной характер, чем небесные силы), но и с ее *sanctum*, словно сохранившейся первоначальной чистотой.

Таким образом, если *sacrum* более свойственно небу, патристическому началу, мужским религиозным фигурам и феноменам, связанным с духом (хотя это, следовало бы признать, скорее патриархальный взгляд), *sanctum* — прежде всего атрибут земли, хтонического мира, женского и матристического начала и связанных с ним божеств, явлений души, признак, определяющий их уровень и качество в системе религиозных ценностей.

### Иерогамия

Тему Земли-Матери продолжают и связанные с ней фрагменты сюжета священного брака, которые иногда прямо свидетельствуют о иерогамии Земли и Неба, но чаще всего лишь аллюзиями, метафорами указывают на этот сакральный контакт основных противоположных полюсов мира и на его следствия во всеобъемлющем мироздании и теогоническом процессе. Один из классических примеров, зафиксированных в письменных источниках, — контакт греческой Геи, персонифицированной, обожествляемой Земли, и Урана, Неба, вследствие которого являются боги и другие существа мифического мира: титаны и титаниды, среди них — Рея и Крон, родители Зевса; они произвели на свет Темиду, Гипериона и Япета и других наследников [Hes. Theog.: 45–46, 132–149]. В восточнославянской мифологии бога Неба может представлять Перун, а Землю-Мать — хтоническое божество Мокошь, отражающая

по своей сути идею сырости, необходимой для зарождения жизни. В традициях различных народов иерогамия символизирует и просто связь Неба и Земли, проявляющаяся в природных явлениях, таких, как гром, молния, дождь. Обработка земли — пахота, посев также могут быть интерпретированы в народных поверьях как проявление священной свадьбы [МНМ II: 422–423; Simek 1984: 178–179; Топоров 2000: 263, 266]. Священная свадьба — это мифическая модель соития, которое как символический прецедент может проявляться в специфических образах во всем пространстве мифологической традиции: как в необъятном универсуме, в мире богов, так и в мире человеческих существ, которые символически повторяют созидательное действие, производимое первыми мифическими прародителями. Таким образом, демонстрация контакта Неба и Земли, а также заменяющих их нуминозных персонализированных существ, одновременно словно дает идеальный пример соединения полов, слияния духовного и душевного начал (дух, как известно, представляет небо, душа — землю).

Как уже говорилось, в патриархальном сознании Небо и Земля составляют различные по своему характеру полюса мифического мира: в е р х н и й, связанный со светом, неограниченным небесным пространством, андрогенным принципом, концепцией Бога-отца; и н и ж н и й, который ассоциируется с тьмой, земными и подземными глубинами, женственностью, Богиней-матерью. Это — основная оппозиция окружающего нас космоса, бытия, с одной стороны, рождающая напряжение и конфронтацию, с другой — таящаяся в этих противоположных полюсах, в их внутренней природе тенденция к соединению ведет к уничтожению противоположностей, к хоть и временному, но периодическому повторению и созданию новой жизни.

На формирование концепции земли как матери решающее влияние могло оказать появление земледелия. Женщина не только выполняла работы на земле, но и могла спокойно, не спеша наблюдать, как из упавшего в землю семени пробивается росток. Земля воспринималась как большое чрево, в котором из посеянных семян завязывается зародыш. Таким образом, Земля становится матерью [Элиаде 1998: 278]. Жест сеятеля здесь обретает тайный смысл. Это созидательный жест, а плуг считается фаллическим символом. Сам аграрный акт сближается с половым актом — это хорошо известно из истории религии. Однако без дождя земля не плодородна, поэтому она должна быть оплодотворена небесной бурей [Там же].

Концепция Неба как Бога-отца хорошо сохранилась в представлениях о римском Юпитере, боге неба и бури. Само имя Юпитер (*Iuppiter, Iovis Pater*, более ранняя форма — *Diespiter*), компонент *-piter* в кото-

ром связывается с лат. *pater* ‘отец’, постулирует идею Бога-отца [МНМ II: 679]. В балтийской мифологии существуют теонимы, в которых можно усмотреть корень *pat-*, имеющий значение отца, супруга, мужчины. Это Жемепатис (*Žemėpatis*), литовский бог земли, покровитель хозяйства и дома, Димстипатис (*Dimstipatis*), литовский бог дома и огня, Вейопатис (*Vėjopatis*), литовский бог ветра, Раугуземапатис (*Rauguzemapatis*), литовский бог закваски. Компонент *-patis* в этих именах богов связан со словом *pats*, которое в литовском языке используется не только как местоимение ‘сам’, но и как существительное, означающее именно мужа, супруга (соответственно и *pati* ‘сама; жена’; кстати, Жемина могла называться — *Zemes pati* — [BRMŠ IV: 29]; см. также [Ibid.: 82]): *Kai geras pats, gera pati, tai gražiai i gyvena* ‘Когда хорош муж, хороша жена, то и живут красиво’ [LKŽ IX: 633]; *Pasiuto bartis pati ant paties* ‘Жена бешено ругается на мужа’ [Ibid.]; *Patie mano, širdžiau mano!* ‘Муж мой, сердце мое!’ [Ibid.]; *Pats su pačia, katė su šuniu — teip ir kulia* ‘Муж с женой, кошка с собакой — так и бьются’ [Ibid.: 634]. *Pats* родственно латинскому *pater*; далее оба эти слова связаны с индоевропейским \**pātēr*. Таким образом, балтийские языки и мифология демонстрируют существование целого ряда богов, которых можно трактовать как персонажей типа Бога-отца, об этом свидетельствуют уже сами обозначающие их теонимы.

В литовских загадках можно найти намеки на образ Земли как матери, Неба как отца, а также на их детей — сына и дочь:

*Močia didelė, tėvas dar didesnis, sūnus sukėius, duktė — žabalė* ‘Мать большая, отец еще больше, сын мошенник, дочь — слепая’ (Отгадка: земля, небо, ветер, ночь [LTR: 4102/279/]).

Среди литовских богов неба значение отца, то есть божественного отца, сохранил, кроме уже упомянутых здесь божеств, еще и Перкунас. В одной фольклорной записи Йонаса Басанавичюса приводится субститут имени Перкунаса — батюшка (*tėvulis*): *vėšas tėvulis graudža* ‘старый батюшка гремит’ [BsFM: 178]. Такую трактовку Перкунаса подтверждают и данные латышского фольклора: *Ei, Pērkonī, vecais tēvs* ‘Эй, Перкун, старый отец’ [LTDz: 7845]. Перкунас для латышей и для литовцев, как показывают приведенные здесь выражения, — старый отец. В литовской устной традиции Перкунас не только обозначен как отец, но еще и утверждается, что от него зависит урожай хлебов, иначе говоря, плодородие земли:

*Juo Tėtis padangėmis dardės, juo mus' jewelei užderės* ‘Чем больше Отец будет по поднебесью грохотать, тем лучше наш хлеб уродится’ [KlvK: 111].



Мы должны это понять так: чем больше будет греметь гром, тем лучше уродится пшеница. Здесь уже совсем ясно говорится, что небесный Отец, то есть Перкунас, является гарантом плодородия, или, иначе говоря, он, как Отец, влияя на Землю, пробуждает ее плодородные силы. Следовательно, здесь идет речь об иерогамии, только, как мы видим, с использованием метафорического языка.

Священная свадьба Неба или замещающего его божества, как показывает приведенная сентенция, Перкунаса с Землей, происходила весной. Возможно, время этой свадьбы совпадало с первой грозой, которая обычно бывала после таяния снега во второй половине марта или в апреле. Деревенские люди представляли, что весной, на Благовещение или день св. Юргиса (Георгия), земля раскрывается после зимних холодов. В песнях праздника Юргинес отмыкающим недра земли является сам Юргис [LTR: 2920/58/; 1924/14/], который, кстати, в более позднее время мог стать и заменой Перкунаса (*Perkūnas yra šv. Jurgio su ratais važinėjimas po dangų, kibirkštys iš po ratų — žaibas* 'Гром — это св. Юргис ездит по небу, искра из-под колес — молния' ([LTR: 1144/1/]; см. также [LTR: 832/146/; Laurinkienė 1996: 195–201]). Отмыкание Земли — важный акт, если принять во внимание концепт земли как матери, способной к деторождению. Даже если земля, как и мать, может получить семена и сама из себя — партогенетическим способом, то мужская сила и действие (в том числе и как пахаря, сеятеля) нужны для того, чтобы она открылась (ср. [Neumann 1989: 71]). В песнях на Юргинес поется и о свадьбе Юргиса, которую его просят сыграть только после отмыкания земли: согрев ее, выпустив росу и траву [LTR: 1924/14/]. С ролью Юргиса как отмыкающего землю, а возможно, и оплодотворяющего ее мог быть связан обряд Юргинес, зафиксированный в Клайпедском крае (в Паскальвайя), — водить по деревне рожденного во время Юргинес ребенка, называемого Юргисом или Юрой, раздетого догола [BLKŠ: 168]. В песнях восточных славян Юрий является мифическим персонажем, увеличивающим плодородные силы: когда он обходит поля, лучше растет пшеница [Иванов, Топоров 1974: 187]. В других мифологических традициях св. Георгий считается и могущественным оплодотворителем женщин. В Англии верили, что св. Юргис может оплодотворить бесплодных женщин. В Северной Сирии бесплодные женщины приходили в святилище св. Георгия, чтобы их оплодотворил святой, воплотившийся в своих жрецах [FWS: 966]. Последнее свойство св. Георгия отражено в мифологии с помощью определенной символики. Аллюзии, обнаруживаемые в песнях и обрядах, позволяют констатировать, что литовский мифологический персонаж св. Юргис мог выполнять и функцию отмыкания земли, а возможно, и оплодотворения.

Возвращаясь к весенней грозе как теофании, пробуждающей плодородие, интерпретируя это явление как манифестацию *Deus pater*, следовало бы отметить, что в сохранившихся поверьях и обычаях говорится: после первого грома начинает расти пшеница, трава, лучше растут грибы [BrčNR: 474; LTR: 763/50/, 1032/124/]. Таким образом, вышеприведенное поверье о грохотании Батюшки на небе, улучшающем урожай пшеницы, подтверждается и другим фольклорным материалом, только в нем говорится о самом действии грохотания, без упоминания того персонажа, который вызывает этот грохот:

*Griausmingi metai — derlingi, žemei neduoda supult* 'Громовой год — урожайный, земле не дает осесть' [LTR: 1032/122/].

*Kakiais metais daugiau griaudžia, daugiau žemį sutrinkia, geriau auga* 'В какой год больше гремит, больше о землю стучит, лучше все растет' [ibid.: 1032/123/].

*Griausmas sujudina žemę, ir augalai pradeda geriau augti* 'Гром расшевеливает землю, и растения начинают лучше расти' [ibid.: 761/5/].

Только после первого грома может быть начат новый земледельческий и животноводческий цикл. Люди верили, что после этого события, когда гром расшевелит землю, то есть подготовит ее к принятию семени, можно заняться посевом, посадками, и только тогда все начнет расти:

*Sugriaudus pirmą kartą pavasarį ūkininkai mistija, kad Dievas jau sujudino žemę, ir jau galima pradėti dirbti, sėti, ir jau viskas auga* 'После первого грома весной хозяева думали, что Бог уже расшевелил землю, и уже можно начать работать, сеять, и все будет расти' ([LTR: 828/329/; см. также [LTR: 828/455/; BrčNR: 474/].

О влиянии грозы на плодородие земли свидетельствуют и такие поверья, в которых говорится о том, что во время первого грома женщины валялись по земле, веря, что от этого лен и репа хорошо уродятся:

*Pirmąkart griaudžiant išgirdusios moterys puola ant žemės ir voliojasi: kad linai derėtų — linai bus rąstu paristi, sulig žmogaus didumo* 'Женщины, услышав первый гром, падают на землю и валяются: чтобы лен уродился — лен будет с бревна длиной, с человеческий рост' [LTR: 1041/116/].

*Būdavo seniau, kai pirmą kartą užgriaudžia, tai moteros, kur tuo laiku buvo ir pasvoliodavo, tai, sako, ropės dera* 'Бывало раньше, как впервые гром загремит, то женщины, которые в это время бывали и валялись, говорят, репа уродится' [ibid.: 374c/1310/].

Таким образом, женщины валялись на земле как раз в то время, когда проявлялась мужская небесная сила, увеличивающая плодородие,



в образе грома или Перкунаса. Они касались земли, словно соединяясь с ней, а вместе с тем и отдавались пробуждающей плодородие силе, идущей с неба. Валяющиеся на земле женщины здесь как будто перенимают силы, придаваемые теофанией, раскрывающейся в природных знаках, и передают их льну и репе<sup>1</sup>.

В некоторых поверьях отмечается, что во время первого грома валяться на земле надо голым, таким образом, скорее всего, желая всем своим телом почувствовать идущее с неба грохотание Перкунаса-«Батюшки», а вместе с тем и Землю-мать, испытывающую влияние этого:

*Kai išgirsta pirmąkart perkūną, bėga nuogi, voliojasi po pievą, kad blusos nekąstų* ‘Когда слышат впервые грозу, бегут голые, валяются на лугу, чтобы не кусали блохи’ [LTR: 1349/49/];

*Kai išgirsti pavasarį pirmą griausmą — pasivoliok (pasiritenk) ant žemės — nebijosi perkūno. Žmonės voliojas. Voliojis reikia nuogam tris kartus: pasivoliok, atsikelk iki 3 kartų* ‘Когда услышишь весной первый гром — повались (покатайся) по земле — не будешь бояться грозы. Люди валялись. Валяться нужно голым три раза: повались, встань до 3 раз’ [LMD I: 653/5].

Обряд катания по земле хорошо известен и восточным и южным славянам. Это делалось не только во время первого грома, но и в другие периоды смены сезонов и при выполнении некоторых аграрных действий. Например, в западной Болгарии в день св. Иеремии (1 мая) молодые женщины выходили еще до восхода солнца на луга и катались попарно на траве, символически изображая соединение полов, от этого, по поверьям, трава обретает магическую силу [СД II: 479]. В Житомирской области в день св. Георгия мужчины с женщинами катались (*пэрэкатывались два разы друг чэрэз друга*), чтобы был хороший урожай ржи [Там же].

Литовцы также верили, что не только символическая связь земли и женщины с манифестацией *Deus pater* означает активизацию сил плодородия, но и реальное соитие мужчины и женщины, происходящее в человеческой плоскости, пробуждает плодородие земли и растений. Поэтому при выполнении определенных работ по возделыванию земли, особенно при посеве, посадке, происходило соитие женщин и мужчин с целью интенсификации вегетации растений: *Kai bobos pasodina agurkus, tai pagauna ir guldo vagon kokį nors vyriškį, tada labai gerai mezgasi agurkai* ‘Когда бабы сажают огурцы, то ловят и кладут на борозду ка-

<sup>1</sup> Действия человека могли пробуждать плодородие земли, а с другой стороны, и сама земля давала/возвращала силы человеку. Русские женщины, валяясь по полю после окончания сбора урожая, говорили: *Нива (жнивка), отдай мою силу* [СД II: 479].

кого-нибудь мужчину, тогда очень хорошо завязываются огурцы’ [BĪŽ: 100/1598/]. Влияние полового акта на «жизнь» растений известно из мифологических традиций многих народов. Во многих местах в начале весны проходили ритуальные оргии с целью получения хорошего урожая [Элиаде 1998: 281].

Все-таки чаще огурцы сажали мужчины и даже делали это без штанов или, по крайней мере, голыми их перешагивали, обходили, бегали вокруг, когда плоды начинали завязываться [LTR: 73a/150/, 716/225/, 68/443/; BĪŽ: 135/2149]. Это указывает на плодотворную силу мужчин не только по отношению к женщине, но и к соответствующей ей с функциональной точки зрения Земле. Говорят, что если конопля не растет, надо мужчине без штанов на кочерге вокруг обскакать — тогда будет расти [LTR: 546/2/. 440/123/]. Чтобы хорошо уродилась пшеница, хозяин голый перед Иваном Купалой, когда пшеница начинает цвести, обегает поле [BĪŽ: 134/2139–2141].

В некоторых случаях при посеве использовалась какая-нибудь мужская вещь как символ потенции или мужского пола. Семена пересыпали через штанины: *Morkų ir ropių sėklas pila per ilgų kelnių blauzdą, kad jos ilgos išaugtų* ‘Семена моркови и репы пересыпают через штанины длинных брюк, чтобы они выросли длинными’ [BĪŽ: 20/305/7b]; *Linų sėklas pila į ilgų kelnių blauzdas, kad išaugtų ilgi linai* ‘Семена льна пересыпают через штанины длинных брюк, чтобы вырос длинный лен’ [Ibid.: 20/305/8].

Как известно из земледельческих обычаев, сеятель, прежде всего пшеницы, обычно был мужского пола. Некоторые особенности его облика — а именно мужские признаки, кстати, ассоциировались с характерными атрибутами Перкунаса. Например, в поверьях утверждается, что чем пышнее борода сеятеля, тем лучше будет расти пшеница: *Jei barzda gerai sužėlusī, tai ir javai gerai sužels, tankiai sudygs, bus krūmuoti ir pan.* ‘Если борода хорошо растет, то и пшеница хорошо вырастет, будет куститься и под.’ [BĪŽ: 14/213; см. также 15/220–225].

Таким образом, в литовской мифологической традиции соитие Неба как мужского начала с Землей, женским началом, проявляется в различных формах, во многих случаях символических<sup>2</sup>. Мужское начало представляет Перкунас, который исполняет роль *Deus pater*, оказывающий влияние на Землю и растения, или его отчасти замещает св. Юр-

<sup>2</sup> Роль богини Жяminy, управляющей Землей и представляющей ее, как возможной супруги Перкунаса возможна, но об этом говорится только на уровне предположений [Топоров 2000: 259]. Женой громовержца могла быть не только Жямина, но и Лауме. Зафиксировано, правда, несколько разрозненных, единичных данных о Перкунасе и Лауме как супругах [Laurinkienė 1996: 173–183].

гис. В крестьянском сознании эта идеологема была так твердо закреплена, что еще в прошлом столетии при сельскохозяйственных работах мужской и женский принципы, отражающие универсальную иерогамия, охватывающую мир природы и человека, символически представляли сами люди — пара земледельцев или только один из них исполнял обряд пробуждения земли, ее плодородных сил. Это символическое замещение божеств, изображающее Священную свадьбу, делало людей участниками космического действия.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- БМ — Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік / С. Санько, Т. Валодзіна, У. Васілевіч і інш. Мінск, 2004.
- Иванов, Топоров 1974 — Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
- МНМ — Мифы народов мира / Гл. ред. С. А. Токарев. Т. I. М., 1980; Т. II. 1982.
- СД — Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. I. М., 1995; Т. II. 1999; Т. III. 2004.
- Топоров 2000 — В. Н. Топоров. К реконструкции балто-славянского мифологического образа Земли-Матери \*Zem@a & \*Mātē (\*Mai) // Балто-славянские исследования 1998–1999. М., 2000.
- УМ — В. Войтович. Українська міфологія. Київ, 2002.
- Элиаде 1998 — М. Элиаде. Азиатская алхимия. М., 1998.
- Bachofen 1967 — Myth, Religion, and Mother Right. Selected Writings of J. J. Bachofen / Transl. from the German by R. Manheim. New York, 1967.
- BLKŠ — J. Balys. Lietuvių kalendorinės šventės. Tautosakinė medžiaga ir aiškinimai. Vilnius, 1993.
- BIR — J. Balys. Raštai / Parengė R. Repšienė. T. I. Vilnius, 1998.
- BIŽ — J. Balys. Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikėjimai / Lietuvių tautosakos lobynas. X. Silver Spring, MD, 1986.
- BrėNR — B. Buračas. Perkūnas: Burtai ir prietarai // Naujoji Romuva. 1934. № 180–1.
- BRMŠ — Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai / Sudarė N. Vėlius. T. I. Vilnius, 1996; T. II. 2001; T. III. 2003; T. IV. 2005.
- BsFM — J. Basanavičius. Fragmenta mythologiae: Perkūnas-velnias // Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft. Bd. 2. Heidelberg, 1887.
- Durkheim 1999 — E. Durkheim. Elementarios religinio gyvenimo formos. Vilnius, 1999.
- Eliade 1997 — M. Eliade. Šventybė ir pasaulietiškumas. Vilnius, 1997.
- FWSD — Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. Vol. 1–2. New York, 1949–1950.
- Hes. Theog. — Hesiodas. Teogonija / Iš senosios graikų k. vertė, paaiškinimus parašė bei vardų rodyklę sudarė A. Kudulytė-Kairienė. Baigiamąjį straipsnį parašė N. Kardeelis. Vilnius, 2002.
- JLD — Lietuviškos dainos / Užrašė A. Juška. T. 1–3. Vilnius, 1954.
- KLvK — V. Kalvaitis. Lietuviškų vardų klėtėlė su 15 000 vardų. Tilžė, 1910.
- Laurinkienė 1996 — N. Laurinkienė. Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose // Tautosakos darbai. T. IV. Vilnius, 1996.

- LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. T. XX. Vilnius, 2002.
- LMD — Lietuvių mokslo draugijos rankraščiai Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne.
- LTdz — Latviešu tautasdziesmas / Izlasi kārtojuši: A. Ancelāne, K. Arājs, M. Asare, R. Drīzule, V. Greble. Rīga, 1957. Sēj. 3.
- LTR — Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas.
- LTt II — Lietuvių tautosaka. T. 2: Dainos, raudos / Medžiaga paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius. Vilnius, 1964.
- ME — Mitologijos enciklopedija. T. II. Vilnius, 1999.
- Neumann 1989 — E. Neumann. Die Grosse Mutter: Eine Phänomenologie der Weiblichen Gestaltungen des Unbewussten. 9. Auflage. Olten und Freiburg im Breisgau, 1989.
- Otto 1963 — R. Otto. Das Heilige. München, 1963.
- Paulauskas 1977 — J. Paulauskas. Lietuvių kalbos frazeologijos žodynas. Kaunas, 1977.
- RE — The Encyclopedia of Religion / Editor in Chief M. Eliade. New York, 1987. Vol. 6.
- Simek 1984 — R. Simek. Lexikon der germanischen Mythologie. Stuttgart, 1984.
- Söderblom 1913 — N. Söderblom. Holiness // J. Hastings. Encyclopaedia of Religion and Ethics. 6. Edinburgh, 1913.
- Šmitas 2004 — P. Šmitas. Latvių mitologija / Iš latvių kalbos vertė D. Razauskas. Vilnius, 2004.
- Toporov 2000 — V. Toporov. Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai / Rinktinė. Sudarė Nikolai Mikhailov. Vilnius, 2000.
- Ūsaitytė 2002 — J. Ūsaitytė. Motina žemė: moteriškumo reprezentacija // Tautosakos darbai. T. XVI (XXIII). Vilnius, 2002.

Перевод с литовского языка М. В. Завьяловой

Б. ЯСЮНАЙТЕ, Е. КОНИЦКАЯ

**Колесница Пяркунаса**  
(атмосферные явления в выражениях  
с переносным значением: облака)

*Jau saulutė leidžias,  
Artyn vakarėlis,  
Uždengė šviesumą  
Tamsus debesėlis<sup>1</sup>*

(из литовской народной песни)

§ 1. Данная работа представляет собой своеобразное продолжение наших предыдущих статей, посвященных сходной проблематике — атмосферным явлениям в литовской и славянской фразеологии, см., например [Jasiūnaitė, Konickája 2004; Коницкая, Ясюнайте 2006]. Тогда нас больше интересовали различные высказывания с переносным значением, связанные с характерной для северных краев реалией — снегом. Выяснилось, что существуют свойственные нескольким языкам метафоры, которые можно считать своеобразными семантическими универсалиями. Например, такая метафора, как «твердые, мелкие снежинки — крупа», есть у литовцев, русских, белорусов, поляков, лужичан, словенцев, а метафора «снег на земле — большое полотно (покрывало, простыня)» зафиксирована в литовском, русском, словенском языках [Ibid.]. На этот раз обратимся к вопросу, как в выражениях с переносным значением в литовском и русском языках воплощается другая реалья неживой природы — облака. Как известно, это действительно впечатляющее атмосферное явление, от которого в большой степени зависит жизнь и практическая деятельность человека-земледельца, члена традиционного деревенского сообщества. С другой стороны, облака — изменчивые, постоянно меняющие форму и цвет природные объекты, а это позволяет предполагать, что различные этнические группы могут различным образом интерпретировать эти свойства и по-разному выражать это на своем родном языке.

§ 2. Материал для данной работы, как и для прежних работ, собран из словарей большого объема, прежде всего — двадцатитомного «Словаря литовского языка» [LKŽ] и семнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка» [ССРЛЯ], а также «Словаря

эпитетов русского языка» [СЭРР] и «Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля [Даль 1955]. Использовались также разного рода фольклорные тексты: сказки, пословицы, загадки, заговоры, верования, приметы и под. из фольклорных сборников, а также других фольклористических и этнолингвистических работ [Balys 1986; 1993; 1998–2004; МЖРФ; СФ; РЗЗ; СД I–III; Ермолов 1905; Даль 1989; Садовников 1959; Виноградова 2000; Левкиевская 2000]. В них содержатся не только интересующие нас факты, но и дополнительный материал, необходимый для интерпретации собранных в ходе работы данных. Эта статья отличается от предыдущих тем, что в ней обращается внимание не только на выражения с переносным значением, но и на так называемое переносное употребление, свойственное языку отдельных авторов. Для этого мы использовали примеры из различных художественных текстов. Данные для литовского языка были собраны из антологии литовской поэзии в двух томах [LP], произведений А. Венуолиса, Й. Билюнаса, Й. Тумаса-Вайжгантаса и некоторых других писателей. Материал для русского языка собран в основном из произведений А. Чехова, И. Бунина, Н. Некрасова, А. Куприна, К. Паустовского, Б. Пастернака, из антологии «Времена года в поэзии серебряного века» [Времена года 2006] и др. Оригинальные метафоры некоторых авторов рассматриваются в основном как ценный вспомогательный материал для анализа выявленных при работе со словарями данных.

§ 3. В вышеуказанных источниках обнаружено более ста интересующих нас литовских примеров и примерно такое же количество русских примеров. В ходе анализа установлено, что можно говорить о двояком характере языковых фактов: они представляют собой либо очевидные метафоры и сравнения, либо так называемые метафорические эпитеты. Очевидные метафоры — это, например, литовские выражения *perkūno vežimas* ‘черное грозное облако, туча’, досл. ‘колесница пяркунаса’ [LKŽ IX: 834]; *velnio plunksnos* ‘перистые облака’, досл. ‘перья черта’ [FŽ: 811]. Метафорическое определение легких перистых облаков очевидно в примере: *Katroj dienos [debesys] lygiai virkšėtos — sek žirnius, valaknas pasitieses — linus* ‘Если в какой день облака как стручки — сей горох, если волокнами вытянулись — лен’ [LKŽ XII: 358]. Здесь имеется в виду, что форма высаживаемого или высеваемого растения должна быть похожа на форму облаков, например, на стебель вьющегося растения — гороха, фасоли, огурца, или же на волокна таких растений, как конопля, лен и др. К характерным метафорическим русским выражениям можно отнести такие, как, напр.: *серые лохмотья туч* [ССРЛЯ VI: 378], *горы облаков* [ССРЛЯ III: 263], *хребты сизых туч* [ССРЛЯ XIII: 374]. Здесь уместно напомнить, что литовцы для обо-

<sup>1</sup> ‘Солнышко спускается, вечер приближается, занавесила свет темная тучка’.

значения интересующего нас атмосферного явления используют одно слово — *debesis*, между тем как русские два: *туча* — ‘большое, темное, обычно несущее снег, бурю, дождь облако’ и *облако* — ‘обычно среднего размера’.

§ 4. Метафорические эпитеты — это производные слова с переносным значением, обычно прилагательные, реже причастия, которые используются со словами *облако*, *туча* или *небо* (лит. *debesis*, *dangus*), напр., в литовском языке: *laiviniai debesys* ‘облака в виде лодки, корабля’ (досл. ‘лодочные облака’) [LKŽ VII: 75]; *plunksnočiai debesys* ‘облака в виде перьев’ [LKŽ IX: 355]; *galvotiniai debesys* ‘черные облака в виде головы’ [LKŽ III: 88]; *kupstuotas dangus* ‘небо, полное маленьких облаков овальной формы, в виде кочек’ [LKŽ VI: 937]; *krūmuotas dangus* ‘небо, покрытое большими облаками в виде кустов’ (досл. ‘кустовое небо’) [LKŽ VI: 705]. По полученным нами данным, число относящихся к облакам литовских метафорических эпитетов примерно равно общему числу метафор и сравнений: первых обнаружено 63, вторых — 62 примера. Метафорических эпитетов подобного рода много и в русском языке, напр.: *облака, легкие и перистые* [ССРЛЯ IX: 1034]; *косматые облака* [ССРЛЯ V: 1499]; *тяжелая, изорванная и лохматая туча* [ССРЛЯ VI: 377], *пепельно-седое кудрявое облако* [ССРЛЯ VI: 1794]. В СЭРР приводится около 100 эпитетов к слову *облако*, среди них — метафорические эпитеты, такие, как: *барашиковое, волнистое, волнообразное, волокнистое, змеистое, клочковатое, кружевное, кучковатое, пуховое, крутобокое* и др. [СЭРР: 290]; к слову *туча* — *грудастая, зубчатая, клочковатая, хвостатая*, редкие эпитеты — *брюхатая, нахоленная, черногрудая* и др. [СЭРР: 470]. В ряде случаев метафоричность таких эпитетов уже стерта, и их переносное значение представляется перешедшим на уровень прямого. Это можно сказать по отношению к обычным литовским метеорологическим терминам *plunksniniai debesys*, *kamuoliniai debesys* и их русским соответствиям *перистые облака*, *кучевые облака*. Их метафорическое происхождение не вызывает сомнения. Особенно показателен в этом отношении литовский язык, ср. распространенные в нем характерные сравнения: *debesys kaip plunksnos* ‘облака как перья’, *debesys kaip kamuoliai* ‘облака как клубы (клубки)’, *debesys kaip kupetos* ‘облака как копны’, а также *debesų plunksnos* ‘перья облаков’, *debesų kamuoliai* ‘клубы облаков’, *debesų kupetos* ‘копны облаков’.

§ 5. Анализ переносных выражений удобнее всего начать с очевидных метафор. В первую очередь, здесь нужно упомянуть зооморфные метафоры и сравнения, которых немало как в диалектной речи, так и в фольклорных текстах и в художественной литературе. В различных

источниках обнаружено восемь литовских выражений, в которых упоминаются животные, части их тела или другая атрибутика, напр.: *Atjuoduol[ia] debesis kaip šėmis* ‘Приближается облако, как темно-серый бык’ [LKŽ XIV: 630]; *Debesys kaip vilkai (labai tamsūs)* ‘Облака как волки (очень темные)’ [LKŽ XIX: 381]; *Žili debesų avinukai slankiojo dangumi* ‘Седые барашки облаков бродили по небу’ [LKŽ I: 528]; *Bulvių sodinamas dangus — giedrus, karpytais arba kaip žąsies plunksnos debesimis* ‘Небо во время посадки картофеля — голубое, с изрезанными облаками или облаками, похожими на гусиные перья’ [LKŽ I: 945]; *Debesys kaip vėdaras (pilkas) kaba, o jam da nelis* ‘Облако висит, как брюхо (серое), а он [говорит], что не будет дождя’ [LKŽ XVIII: 467]; *Vėjas dangun ritena suakmenėjusius debesį pajuodusiais viršais, šviesėjančiom į apačią papilvėt* ‘Ветер поднимает в небо окаменевшие облака с почерневшими вершинами, становящимися светлыми книзу, в подбрюшьях’ [Andriušis 1992: 191]; *Rytų ir pietų kampe debesys buvo išretėję iki voratinklio* ‘На востоке и юге облака поредели до паутины’ [LKŽ XIX: 950]; *Tos vėjo debesys išpašytos tei[p] kai vilna* ‘Эти растрепанные ветром облака — как шерсть’ [LKŽ XVIII: 574]. В русском языке также довольно часты зооморфные метафоры, ср., напр., в загадках: *Шерсть черна соболя, Очи ясна сокола* (туча и молния) [Садовников 1959: 225]; *Бегут кони буланы, на них узды порваны, не догнать, не достать, и не могут они стать* [Калайдина: 10]. Разнообразные метафоры такого рода, иногда очень неожиданные, часты в русской художественной поэтической речи, ср. у Б. Пастернака: *Развалившись, как звери в берлоге, облака в беспорядке лежат* [Пастернак 1998: 427]; *В раскрытые окна на их рукоделье садились, как голуби, облака* [Там же: 195]; в поэзии Маяковского: *Плыли по небу тучки, Тучек — четыре штучки, от первой до третьей — люди, четвертая была верблюдик* ([Времена года 2006: 213]: В. Маяковский); ср. также интересную метафору из прозаического текста: *...и стаи перистых облаков — летучих рыб, заснувших в зеленоватом небе* [Паустовский 1965: 16].

§ 6. В первую очередь, обращает на себя внимание метафора «облако — крупное животное темной масти». Очень часто в виду имеется бык или корова (хотя иногда, как можно видеть по записанному в Мариямполе примеру, это может быть и волк). Такая метафора распространена как в литовском, так и в русском фольклоре, особенно в загадках, ср. литовские загадки: *Senas jautis baubia (debesis, perkūnas)* ‘Старый бык ревет (облако, гром)’ [LT V: 457]; *Juodas jautis dangų laižo (debesis)* ‘Черный бык небо лижет (облако)’ [Ibid.]; в русских загадках: *Черная корова небо лижет (туча)* [СФ: 103]; *Ревнул вол за сто сел, за сто речек* [Садовников 1959: 224]; *Тур ходит по горам, турица по до-*

лам: тур свистит, турица мигнет (гроза) [МЖРФ: 345]. В последнем примере, как видим, фигурирует уже вымершее животное — тур, дикий бык. В России, во Владимирской губ., «быками, бычками» называли передовые серебристые и круглые тучи, перед грозой [Даль 1955, I: 149]. В художественных текстах на обоих языках обнаруживается сходная ситуация. Так, в известном стихотворении К. Бинкиса можно найти не только *облачных телят* (лит. *debesų jaučiukai*) [LP I: 450], но и *дойное стадо облаков* (лит. *debesų pieninga banda*) [Ibid.], пасущееся в небе. Образное сравнение облака с медленно, тяжело идущей дойной коровой встречается в «крестьянской» поэзии Н. Некрасова: *И облака дождливые, как дойные коровушки, идут по небесам* [Некрасов 1987: 391]. Облако обременено дождем так же, как дойная корова — молоком. Интересно, что в белорусских полесских заговорах, основанных на принципах магии подобия, несомые облаками осадки напрямую связываются с молоком животных и с изготавливаемыми из него продуктами: молоко — с дождем, сметана — со снегом, сыр — с градом<sup>2</sup>.

§ 7. Другая популярная не только языковая, но и фольклорная метафора — «облако — овечка / барашек». Метафора основывается на внешнем сходстве: как один, так и другой объект — белого или белесоватосерого цвета, курчавый (лохматый), медленно перемещающийся. Вот как эта метафора представлена в литовских загадках: *Mėlynoj pievelėj piemenėlis baltas avis gano (dangus, saulė, debesys)* 'На голубой лужайке пастух пасет овец (небо, солнце, облака)' [LT V: 449]; *Žalios pievelės niekas nešienauja, joje baltos avelės žolės neragauna* 'Зеленый лужок никто не косит, белые овечки на нем траву не едят' [Там же]. В текстах загадок небесное пространство метафорически понимается как луг, а облака — как пасущиеся на нем белые овечки. Здесь можно вспомнить предание, по которому гром и молния — это образ двух сражающихся баранов, живущих на небе<sup>3</sup>. Метафора «облака — стадо овец» зафиксиро-

<sup>2</sup> Полный текст заговора, в котором хозяйка обращается к корове, первый раз выгоняемой на пастбище: *Дахаджу я да цябе, кароўка, из хлебам и ласкай, а ты да мяне — из любисцею и ласкай. Ишло три хмарки на небу: адна хмарка даждевая, а другая снеговая, а трэцяя — градавая. Як дождь, дай Бог малачко, як снег — сметану, як град — сыр.* Заговор записан в Гомельской области и как пример приводится в [Толстой 1997: 260].

<sup>3</sup> Приводим фрагмент этого интересного текста, записанный в Дусетос: *Tik žiūri — išėjo iš vieno debesio avinas su dideliais ragais, ir iš kito debesio toks pat, ir kad susibadė ragais, tai iš jų net ugnis sužaubavo ir taip smagiai suterškėjo, kad net miške medžiai nukriokė. Tai matai, iš kur griausmas griaudžia ir ugnis žaibuoja* 'Только смотрит — вышел из одного облака баран с большими рогами и из другого облака — такой же, и как столкнулись они рогами, что в лесу даже деревья затрещали. Так вот, видишь, откуда гром гремит и молния огнем блещет' [Balys 1998–2004, I: 59].

вана и в литовской художественной литературе, напр.: *Net tie maži debesėliai, išsisklaistę po mėlyną dangaus jūrą, stovėjo nesijudindami, kaip romiaiėdančiai baltų avelių būrelis* 'И даже эти маленькие облака, рассыпанные по голубому морю неба, стояли неподвижно, как мирно пасущееся маленькое стадо белых овечек' [Biliūnas 1954–1955, I: 154]. В художественных текстах вообще чаще, чем в разговорной речи, встречается различная атрибутика, связанная с этим животным: «облако — шерсть, пряжа; меха; белая шубка» и под.<sup>4</sup> В русском языке эта метафора лексикализована: слово *барашки* (pl. tan.) как в литературном, так и в диалектном языке означает *маленькие кучевые облака* [ССРЛЯ I: 274], см. записанный в Псковской обл. пример: *Дажжа ня будет, фсе нёба барашками* [ПОС: 117]<sup>5</sup>.

§ 8. К числу животных, с которыми метафорически связываются облака, в русском языке относится также конь. Как и в метафоре «облако — овечка», основанием служит внешнее сходство по цвету, «лохматости», способности перемещаться, но, в отличие от медленного перемещения «облака-барашка», «облака-кони (лошадки)» перемещаются быстро: *скачут, летят* и под., напр.: [*Астахов*] *недоверчиво оглядел взлохмаченную, ослепительно яркую листву деревьев, вздымленные ветром белогривые облака* [СЭРР: 290]; *Да над сосной курчавой скачка каких-то пегих облаков* ([Времена года 2006: 304]: Н. Гумилев)<sup>6</sup>.

§ 9. Довольно часто облака связываются с птицами и их атрибутами, напр., сравнение «облако — гусиное перо», записанное на севере Литвы, в Грузжй. Фольклорную метафору «облако — птица» находим в текстах загадок, напр.: *Skrenda varna — taukai laša (debesis ir lietus)*

Мотив животных, живущих на облаках, может быть очень древним, ср. в [СД III: 502–503] о небесных стадах в поверьях славян (сербских, болгарских, чешских и др.).

<sup>4</sup> Ср. такие примеры: *Ploni, gauruoti it iškedentos vilnos debesėliai* 'Тонкие, косматые, как растрепанная шерсть, облака' [Vienuolis 1954 II: 7]; *Pradriks kur netyčiomis debesų kailiniai* 'Кое-где нечаянно прорвется шуба облаков' [Vaižgantas 1969, I: 43]; *Lyg baltas kailis driekias debesys* 'Словно белая шкурка стелятся облака' ([LP II: 514]: J. Vaičiūnaitė).

<sup>5</sup> Метафора активно используется в русской поэзии, напр.: *А небные барашки-облака?* ([Времена года 2006: 24]: И. Северянин); *Вот плывут облака, как барашки* ([Там же: 305]: А. Белый), а также в детской поэзии, напр.: *Ветерок пасет овечек, Дунет он — летят овечки Воду пить от речки к речке. Пьют без устали, пока Не нальются их бока* [Стихи для детей].

<sup>6</sup> Эта метафора известна и у других народов. Так, тюркские народы особенно почитают белых лошадей, якутский бог — покровитель лошадей живет на небе и имеет образ коня. Когда шаман в его честь лил в огонь кумыс, на середину неба выплывало белое облако, из которого с громким ржанием появлялся белый конь [Потапов 1977: 165–166].

‘Летит ворона — капает жир (облако и дождь)’ [LKŽ XVII: 279]; *Paukštė šmaukštė per marias lėkė, o uodega gvoltu rėkė (debesis, perkūnas)* ‘Быстрая птица через море летела, хвост криком кричал (облако, гром)’ [LT V: 457]; *Gandras padangėje, gandro kojės žemėje (debesis ir lietus)* ‘Аист в небесах, ноги аиста на земле (облако и дождь)’ [Ibid.]. В русской фольклорной традиции тучи и облака также метафорически понимаются как огромные птицы: *Летит орлица по синему небу, Крылья распластала, солнышко застлала (туча)* [МЖРФ: 337]; *По синему морю белые гуси плывут* [Калайдина: 10]; *Крикнул ворон на сто городов, на тысячу озер* [Садовников 1959: 224]<sup>7</sup>. Метафора «облако — птица (или ее атрибуты — пух, перья, крылья)» широко представлена также в художественной литературе на обоих языках. В упоминавшейся выше поэзии К. Бинкиса находим: *Šilkasparniai debesėliai saulės blizgančioj šviesoje lyg ant marių baltos burės dangaus křištole plaukioja* ‘Шелковистые перья облаков в блестящем свете солнца, словно на море белые паруса, плавают в кристальном небе’ [LP I: 439]; у него же облака уподобляются стае лебедей (лит. *gulbių pulkas*) [Ibid.]. Для Э. Межелайтиса темные гроззовые облака — вороны: *Išvaikęs tuos debesis — juodus varnus* ‘Разогнав эти тучи — черных воронов’<sup>8</sup> [LP II: 281]. «Крылья облаков» встречаются и в русской литературе, напр.: *Громидная туча поднималась из-за лесу и все ширлась, тихо раскидывая по небу свои крылья* [ССРЛЯ V: 1752]; ср. также в поэтической речи у В. Набокова: *В лазури облако блеснуло, Как лебединое крыло* [Времена года 2006: 71].

§ 10. Собранный нами материал показывает, что в литовской диалектной речи популярны не только зооморфные, но и биоморфные метафоры и сравнения облаков. До сих пор было зафиксировано восемь таких случаев, например: *In dangaus vis estī sėmenijos: katroj dienoj lygiai virkščios — sėk žirnius, valaknas pasitiesęs — linus* ‘На небе обычно есть мелкие облачка: в какой день как стручки — сей горох, волокнами вытянулись — лен’ [LKŽ XII: 358]; *Žirniai reikia sėti, kada ant dangaus debesys kaip žirniai (smulkūs)* ‘Горох надо сеять, когда на небе облака как горох (мелкие)’ [Balys 1986: 57]; *Kai debesys virkščiom išsitiesę — sėt žirnius* ‘Когда облака вытягиваются стручками — сеять горох’ [LKŽ XIX: 558]; *Debesys kai varpa (mažas), o lyja kaip iš botago (smarkiai)* ‘Облако

<sup>7</sup> Связь облака с птицами известна во многих традициях. В южнославянских странах, напр., в Болгарии, существует поверье, что опасное для побегов и винограда облако с градом приводит огромный орел. Чтобы отпугнуть злую птицу, болгары стреляют из ружей [Ермолов 1905: 173].

<sup>8</sup> Эта метафора, как упоминалось выше, зафиксирована и в литовских фольклорных текстах.

как колос (маленькое), а льет как из ведра (сильно)’<sup>9</sup> [LKŽ XVIII: 287]; *Plačioms skiedroms dangus būs skiedrotas, o siauroms rykštėms būs rykštėtas (nuklotas retais, menkais debesimis, kurie gali būti platesni arba siauresni)*<sup>10</sup> ‘(Если) небо как в широкие щепки — будет «щепочное», а в узкие розги — «розговое» (покрытое редкими, незначительными облаками, которые могут быть или широкими, или узкими)’ [LKŽ XII: 871]; *Miežiūs reik sėti, kad ant dangaus tokios sruogos yr kaip miežių varpos nulinkusios* ‘Ячмень надо сеять, когда на небе такие стручки, как у ячменя склоненные колоски’ [LKŽ XIII: 1003].

§ 11. Как видно по приведенным примерам, распространенные в литовском языке биоморфные метафоры и сравнения чаще всего представляют собой советы сельскохозяйственного характера, при каких погодных условиях земледельцу надо сеять или сажать различные культуры (лен, горох, ячмень). В них дается настоятельный совет сеятелю посмотреть на форму облаков, прежде чем приниматься за работу. Если облака длинные, тонкие, похожие на стручки гороха или маленькие, круглой формы, как горошинки, то хорошо уродится горох; если облака напоминают склоненные колосья ячменя — можно дожидаться хорошего урожая ячменя; а если легкие облака похожи на волокна льна — вырастет красивый, долгий лен. Эти советы основываются на магии подобия (имитации) и призваны обеспечить сеятелю удачу в ведении хозяйства. Отсюда часто встречающееся сравнение формы облаков с различными растениями, которое, как мы видели выше, имеет скорее практический, а не эстетический характер. Неслучайно и само слово *sėmenija* [LKŽ XII: 357] в восточных литовских говорах означает или ‘подходящее для сева время’ (Дусятос, Таурагнай, Утяна, Купишкис), или ‘мелкие облака, рассыпанные по небу’ (Таурагнай, Купишкис), точнее, ‘благоприятную для хорошего урожая картину из облаков на небе’. Интересно, что в русском фольклоре практически не удалось найти примеры подобного рода<sup>11</sup>; у других славянских народов такие факты тоже редки, хотя и встречаются, ср. украинское поверье: *Картошку надо сажать, когда по небу ходят облака-барашки, приговаривая: Шоб така ся картопля*

<sup>9</sup> Дословный перевод фразеологизма *lyja kaip iš botago* ‘льет как из ведра’ — ‘льет как из кнута’.

<sup>10</sup> То есть большие, широкие легкие облака напоминают щепки, а узкие облака продолговатой формы в виде линий или черточек ассоциируются с узкими ветвями дерева, розгами. Обычно, как видно и по приведенному примеру, в таких случаях используются метафорические эпитеты к слову *dangus* ‘небо’: *skiedrotas dangus* ‘небо в щепках’, *rykštėtas dangus* ‘небо в розгах’ и под.

<sup>11</sup> За исключением примера с неустановленным первоисточником: *Сей овес, когда по небу ходят густые, кривистые облака* [ВБСХ].



була рясна, як на неби хмара густа! [Усачева 1999: 546]. Другие советы по севу (учесть фазы луны, направление ветра, различные фенологические явления, характер осадков и пол.) в славянском и литовском мире обычно совпадают, а широко распространенный в Литве совет обратить внимание на форму облаков очень слабо представлен у славян<sup>12</sup>.

§ 12. Интересны и выразительны те примеры, в которых облака сравниваются с различными объектами неживой природы. В литовском языке обнаружены пять разных случаев, которые можно отнести к этой группе, напр.: *Aukšti kalnai — juoddebesiai — tai cigonų užklojims* 'Высокие горы — черные облака — это одеяла цыган' [LKŽ IV: 398]; *Iš rytų pusės kupetuoti debesys užkrovė padangę ir išpuošė ją kalnais ir visokiais kloniais* 'С восточной стороны клубы облаков закрыли небо и изукрасили его горами и разными долинами' [LKŽ VI: 925]; *Sunkus lyg švinas debesys gauruoja (pamažu slenka)* 'Тяжелая, как свинец, туча клубится (медленно ползет)' [LKŽ III: 171]; *debesų šarmas (šerkšnas)* 'иней облаков' [LKŽ XIV: 522]; *Kartais lyg stogai, lygu žemės gabalas, rodos, važiuojas [sunkus, tamsus debesis]; kartais nelyna, važiuona i nuvažiuona ans* 'Временами как крыши, временами как комья земли, кажется, как будто едет [тяжелое, темное облако]; иногда дождя не случается, оно едет и уезжает' [LKŽ XVIII: 426]. Как можно заметить, в эту группу попадают в основном сравнения темных, клубящихся, предвещающих плохую погоду облаков с формами рельефа — горами и холмами, с металлом темно-серого или сине-серого цвета (свинцом, сталью) или же с комьями земли (возможно, последнее сравнение не является традиционным, а относится к ситуативным)<sup>13</sup>. С элементами пейзажа — горами, холмами облака обычно сравнивают и в русской речи, напр.: *горы облаков* [ССРЛЯ III: 263]; *хребты сизых туч* [Там же: 374].

§ 13. Надо сказать, что в обоих языках примеров этой семантической группы, довольно пестрой по своему составу, гораздо больше в

<sup>12</sup> Показательно, что в литовских примерах из разговорной речи облака чаще всего сравниваются с различными частями растений — со стеблями, колосьями, зсрнами, волокнами, но не с цветами. Можно думать, что таким образом также подчеркивается практическая, утилитарная направленность советов по севу. В противоположность этому, в русском фольклоре вообще не нашлось подобных примеров, а в художественных текстах нам удалось обнаружить красивые биоморфные метафоры, напр.: *И облака в предутреннем огне цветут и округляются как розы* [Бунин 1990: 96]; *Высокое небо с единственный облаком, похожим на кисть винограда, отражалась в воде* [Паустовский 1965: 93]; *На ветке облака, как слива, златится спелая звезда* ([Времена гола 2006: 21]: С. Есенин).

<sup>13</sup> Иначе говоря, создано во время акта речи при виде какого-нибудь бросающегося в глаза объекта, а не используется по памяти как уже готовая устоявшаяся формула.

художественных текстах, чем в диалектных или фольклорных. Это понятно, так как автору художественного произведения часто приходится изображать небесный пейзаж с облаками — сложную, многоплановую картину, на которой различные образы и фигуры наслаиваются друг на друга, а цвет и освещение постоянно меняются. Наряду с уже упомянутыми метафорами «облако — гора (холм)», «облако — долина (равнина)» и «облако — металл», в художественных текстах можно найти метафоры «облака — море (океан)», «облака — острова, небо — море», «облака — пепел», а также метафоры, сближающие облака с другими атмосферными явлениями: «облака — снег», «облака — дым», «облака — туман» и др. Подобные образы встречаются в литовских прозаических текстах, когда авторы стремятся воссоздать впечатляющий вид холмистых облаков, напр.: *Čia pat po mano kojų gulėjo balta debesų jūra* 'Тут же, под моими ногами, лежало белое море облаков' [Biliūnas 1954–1955. I: 101]; *Bekraštis šemų debesų okeanas* 'Бескрайний океан сизых облаков' [Vienulis 1954, VII: 295]; *Imeretijos kalnuose susitikome su debesų salelėmis* 'В горах Имеретии мы столкнулись с островками облаков' [Ibid.: 301]. Оригинальная метафора «облако — плывущая льдина» встретила в профессиональной литовской поэзии, в творчестве известных поэтов С. Нерис и Й. Айтиса, например: *Padangių nemuni pietys ritena debesų lytis* 'По небесному неману южный ветер катит льдины облаков' ([LP II: 29]: S. Nėris); *Laukas, kelias, pieva, kryžius, šilo juosta mėlyna, debesėlių tankus išas ir graudi, graudi daina* 'Поле, дорога, луг, крест, голубая полоса пуши, густая шуга<sup>14</sup> облаков и грустная, грустная песня' ([LP I: 43]: J. Aistis). Метафоры, перечисленные выше, широко распространены в русской авторской литературе, напр.: *...гряды облаков, висящих в небе очень далеко, пожалуй, над Мраморным морем* [Паустовский 1965: 77]; *Большое озеро как блюдо. За ним — скопление облаков, Нагроможденных белой грудой Суровых горных ледников* [Пастернак 1998: 494]; *Бесконечная волнистая равнина сгустившихся облаков, целая страна белых рыхлых холмов развернулась перед моими глазами* [Бунин 1983: 233]; *Необозримый океан белых застывших волн, сияющих под солнцем, необозримый образный слой* [Там же: 234]<sup>15</sup>; *В синем море небе островами стояли кое-где белые прекрасные облака* [Бунин 1987: 282]; *Он любил эти плавучие материки, пропитанные влагой* [Паустовский 1965: 16]; *Перистые облака, похожие на рассыпанный снег* [Чехов 1986: 72]; *Осталась одна только бледно-багровая полоска,*

<sup>14</sup> Шуга — плывущий по реке мелкий лед, часто имеющий причудливую, притягательную для глаз форму.

<sup>15</sup> В обоих случаях И. Бунин изображает вид облаков, открывающийся сверху.

да и та стала подвергаться мелкими облачками, как уголья пеплом [Там же: 133]; Извилистые края прихотливых облаков отливали расплавленным серебром [Куприн 1985: 31]; С моря неслись облака, легкие, как туман [Паустовский 1965: 24]; Высокие облака расходились тонким, белым дымом [Бунин 1984: 160]<sup>16</sup>.

§ 14. Нередко в изменчивых формах и образах облаков представитель традиционного общества усматривает человеческую фигуру или какой-либо другой объект, связанный с человеком. У нас всего несколько таких литовских примеров: *Vakar nelij[o], ale va šitiej žydai (tamsūs debesys) tęsias (slenka dangumi)* 'Вчера не было дождя, но вот эти евреи (темные облака) тянутся по небу' [LKŽ XVI: 110]; *Rugiai sėti, kai dangus apsikoręs ilgas, mėlynais kasų pavidalo debesimis* 'Рожь надо сеять, когда небо покроется долгими, синими облаками в форме кос' [Balys 1986: 10]. Первое сравнение, скорее всего, возникло вследствие наблюдений над одеждой евреев: они обычно носили длинные темные одежды, длинные волосы и бороду<sup>17</sup>. Во втором примере, где упоминаются облака в виде кос, скорее всего, имеются в виду не сплетенные, а распущенные длинные волосы женщины. Примеры, в которых облака сравниваются с длинными, свалывшимися волосами, часто встречаются в русском языке, напр.: *сизые, в седых лохмах тучи; черные лохмы туч* [ССРЛЯ VI: 378]; *В небе белыми и прозрачными космами недвижимо висели облака* [ССРЛЯ V: 1503]. Аналогичные случаи представлены в прозе и поэзии И. Бунина, напр.: *По туче в космах мертвенно-седых* [Бунин 1990: 138]; *[Ветер] нагонял злоеющие космы пепельных облаков* [Бунин 1987: 30];

<sup>16</sup> Количество приведенных примеров из художественной литературы, на наш взгляд, оправдано большим разнообразием метафор.

<sup>17</sup> Образ «облако, похожее на человека» нетрудно найти в профессиональной литовской поэзии, особенно футуристической (современной), например: *Slenka debesys lyg vagys, sysikūprinę, piktį* 'Ползут облака, словно воры, сгорбившиеся, злые' ([LP II: 29]: S. Nėris); *Debesų fakyrų medžių šakomis nusviro* 'Облачные факиры спустились по ветвям деревьев' ([LP I: 468]: J. Žlabys-Zengė); *Tingūs debesų atletai slankioja po žydą dangų* 'Ленивые атлеты-облака бродят по голубому небу' ([LP II: 159]: S. Anglickis). Эти удачные выражения, вводящие в текст чужие («заморские») реалии, интересны тем, что поводом к их появлению, по всей видимости, послужил внешний вид, будь то традиционный облик факира (белая одежда, тюрбан, седая борода) или же плотное сложение атлета-спортсмена. Интересно, что в русской художественной литературе сравнение «облако — человек/люди» чаще связывается не с заморскими реалиями, а со странниками, путниками (в поэзии М. Ю. Лермонтова), солдатами и под., например: *Шли пыльным рынком тучи, Как рекруты, за хутор, поутру* [Пастернак 1998: 140]; *И жарко белым облакам грудиться, строясь в батальоны* ([Времена года 2006: 121]: Б. Пастернак); *Как и встарь, месяц облака водит, словно древнюю рать богатырь* ([Времена года 2006: 29]: С. Клычков).

в поэзии Б. Пастернака находим: *Седого облака вихор* [Пастернак 1998: 420]. Думается, что метафора «облако — лохмы, космы» в большей степени свойственна русскому, а не литовскому языку<sup>18</sup>. Любопытны также другие метафоры и сравнения, связанные с частями тела человека, обнаруживающиеся в русской поэзии, напр.: *Из-под ладоней мокрых облаков* [Пастернак 1998: 239].

§ 15. Антропоморфизация облаков представлена в литовских загадках, напр.: *Marikė rikė padangiais lakstė, kukuliais drabstė (debesis ir lietus)* 'Марике-рике в небе бегает, клецками кидается (брызгается) (облако и дождь)' [LT V: 457]. Интересно, что здесь облако названо женским именем Марике. Болгары во время колядования приглашают облака на ужин, называя их при этом человеческим именем: *Герман, Герман, туча! Приходи к нам ужинать! Сейчас придешь, а летом чтобы мы тебя не видели* [Виноградова, Толстая 1995: 172]<sup>19</sup>. Здесь можно усмотреть эвфемистическую тенденцию: люди хотят обезопасить поля от градового облака, поэтому и стараются всеми способами угодить ему<sup>20</sup>.

§ 16. Следует заметить, что в литовском детском фольклоре очень распространены короткие песенки для отгона облаков, с помощью которых стремились отогнать в другую сторону нежелательный дождь, так как во время дождя пастухам трудно пасти скот. В этих песенках можно найти многочисленные специальные формулы с призывом к облакам развернуться в сторону соседних краев, чаще всего прусских или белорусских, например: *Debesėli, tėveli, nukeliauk ant Prūsų!* 'Облачко, батюшка, отправляйся на прусов!'; *Juodbrūveliai debesėliai, ant Prūsų, ant Prūsų!* 'Смуглые тучки, на прусов, на прусов!'; *Debesėli pragarėli, gudų šalin* 'Тучка-ад<sup>21</sup>, в сторону белорусов'; *Debesų bėgesų,*

<sup>18</sup> В литовских художественных текстах встречается выражение *debesų gaurai* 'космы облаков', напр.: *Greit atsibosta spoksoji į vienodus žemę debesų gaurus* 'Быстро надоедает смотреть на низкие космы облаков' [Vienuoelis 1954, VII: 296]. Слово *gaurai* 'космы, лохмы' может применяться как по отношению к человеку, так и по отношению к животному. Тот же корень с другой огласовкой обнаруживается и в литовском диалектном названии облака — *gurus*: *Išėjo gurus (didelis debesys), bus didelis lietus* 'Показались космы (большое облако), будет большой дождь' [LKŽ III: 760].

<sup>19</sup> В этой связи стоит отметить, что Герман в болгарской и сербской традиции — святой, управляющий тучами (наряду со св. Еленой, Саввой, Козьмой и Дамианом), см. [СД I: 152].

<sup>20</sup> О подобных явлениях в языке литовского фольклора см., напр., [Jasiūnaitė 2005: 48].

<sup>21</sup> В литовском языке широко распространены уменьшительно-ласкательные формы, такую форму можно образовать даже от существительного *pragaras* 'ад'. В данном случае это оправдано просительным обращением, стремлением задобрить тучу.

*gudo šonan!* ‘Туча быстрая, в сторону белорусов!’; *Debesėliai juodulėliai, gudų šalėlėn!* ‘Тучки черненькие, в сторонку белорусов!’; *Debėsy šepėty, pro šalį, pro šalį!* ‘Туча-щетка, [промчись] мимо, мимо’ (все примеры из: [Balys 1998–2004, I: 241–243]). Примечательны обращения в этих фольклорных формулах: к облаку (туче) обращаются, используя термины родства (*батюшка*, лит. *tėveli*), что является своеобразным комплиментарным эвфемизмом; в обращениях *juodbruvėli, juodulėli* ‘смуглый, черненький’ подчеркивается темный цвет грозовой тучи. Рифмованным обращением *Debėsy bėgėsy* ‘быстрая тучка’ она словно призывается быстрее убежать прочь. Некоторые обращения, такие, как *Debėseli pragarėli*, не совсем любезны, с их помощью, очевидно, выражается желание избавиться от нежелательного явления природы. Здесь же обнаруживается неожиданная и совершенно не свойственная русскому языку метафора «туча — щетка»: темное облако (туча) может быть колючим, с торчащей щетиной<sup>22</sup>.

§ 17. Иногда в выражениях с переносным значением облака связываются с мифологическими существами. У нас есть три таких литовских примера: *Vėlnio plunksnos pasirodė — lauk lytaus* ‘Появились чертвы перья — жди дождя’ (имеются в виду перистые облака) [FŽ: 811]; *Jau lis — atšėmuoja debėsys nuo girios kaip baubas* ‘Уже начнется дождь — со стороны леса приближается срая туча как страшилище (пугающее детей существо)’ [LKŽ XIV: 631]; *Perkūno vėžimas* ‘колесница Пяркунаса’ (черное грозовое облако) [LKŽ IX: 834]. Записанный в Платяляй (Жемайтия) фразеологизм *vėlnio plunksnos*, возможно, связан с тем, что черт в фольклорных текстах иногда появляется в зооморфном образе птицы (обычно черного ворона). Понятно, почему темная туча ассоциируется с детским страшилищем, которое представляется как темное, бесформенное, пугающее существо. Из этой группы примеров самым интересным, вероятно, является выражение ‘колесница Пяркунаса’, давшее название статье. О нем стоит поговорить более подробно.

§ 18. Появление интересующего нас выражения, очевидно, связано с мифологическими представлениями, например: *Žmonės perkūnų vaizduojasi kaip senį su žila barzda, važiujantį ugnies vėžimu* ‘Люди представляют себе пяркунаса (гром) как старика с седой бородой, едущего

<sup>22</sup> Чтобы разогнать тучи и охранить дом от грозы, в литовской традиции принимают и следующие магические действия: размахивают кочергой или метлой для печи; тянут листья девясилы; звонят в колокола; плетут венок из девясилы, сжигают его, а дым выпускают через трубу; выносят на улицу пасхальную скатерть (все примеры взяты из [Balys 1998–2004, I: 67–68]). Похожим образом ведут себя и русские: *Когда гром гремит, выноси лопату во двор* [Даль 1989: 377]; *Лопата, отгребай. Клюкой отгребай, а помелом отметаи* [РЗ: 167].

на огненной колеснице’ [Balys 1998–2004, I: 48]; *Žmonės perkūnų įvaizduoja sėdintį ratuose ir važinėjantį po dangų* ‘Люди представляют пяркунаса сидящим на колеснице и едущим по небу’<sup>23</sup> [Ibid.: 49]. Позднее соответствие Пяркунаса — Илия, библейский пророк, имя которого в литовском диалектном языке принимает форму *Alijošius*: *Alijošius važiuoja per debėsis dideliu vėžimu, užkinkytu ketvertu arklių* ‘Илья едет по облакам в большой колеснице, запряженной четверкой лошадей’ [Ibid.: 56]. В традиционных русских представлениях *Илья-пророк разъезжает по небу на огненной колеснице* [Даль 1989: 352]. Для русских св. Илия — повелитель туч, он пасет облака на небе<sup>24</sup>, в случае необходимости отвозит их на своей колеснице в определенное место [Левкиевская 2000: 89]<sup>25</sup>. У литовцев эту функцию выполняет св. Она (Анна), которой молятся во время грозы [TD III: 192]<sup>26</sup>. Кроме того, в литовской фразеологии упоминается также старый повелитель туч — пяркунас, напр.: *Kur siuntinėji mergučę kaip perkūnas debėsi?* ‘Куда посылаешь девушку, как пяркунас облако?’ [LKŽ XII: 605]. Интересно, что даты празднования дней святых-повелителей туч и облаков в календаре почти совпадают: св. Илия празднуется 20 июля, а св. Анна — 26 июля. Это понятно, так как середина лета — время самых сильных бурь и гроз.

§ 19. У многих славянских народов бытует традиционное представление, что облака связаны с душами умерших людей. Так, в южной Польше обнаруживается верование, что облака — это летящие по небу благословенные души. В восточных областях Польши считают, что облака в небе гоняют после смерти самоубийцы. Сербь считают, что грозовыми облаками повелевают души утопленников и висельников. Интересно, что отзвуки очень сходных образов можно найти в литовском разговорном языке и фольклорных текстах, например: *Važinėja balti, stambi debėsys: bočiai (mirę seneliai, protėviai) važinėjas, sako* ‘Едут (плывут) белые, плотные облака: умершие праотцы едут, говорят’ [LKŽ XVIII: 408]; *Toli mano giminėlis, už debėselių* ‘Далеко моя родня, за облаками’

<sup>23</sup> В фольклорных текстах иногда и само облако ездит на колеснице: *Važiuk, debėseli, sunkiuose ratuose, atvažiuok, saulele, rateliuose, rateliuose* ‘Уезжай, облачко, на тяжелой колеснице, приезжай, солнышко, в легкой повозочке’ [Balys 1998–2004, I: 240].

<sup>24</sup> Интересно, что болгары легкие белые облака называют «овцами Ильи-прока», а чехи считают, что облака пасет св. Петр [СД III: 503].

<sup>25</sup> Кое-где с облаками управляет св. Тихон. Он живет на небе, в густом тумане, черпает воду из моря, а потом заботится о дожде [Левкиевская 2000: 90]. Как уже указывалось выше, покровителями туч выступают также св. Елена, св. Савва, Козьма и Дамиан, а также Герман [СД II: 152].

<sup>26</sup> У белорусов в случае такого несчастья принято обращаться к св. Марку: *Сьветы Марку, розьнеси гэту хмарку* [Толстая 2005: 240].

[AM: 25]. Кроме того, у славянских народов с облаками связывают мифическое женское существо, что отражается в названиях грозовых облаков, например, чешское *babka* 'темное облако', *baby* 'грозовые облака', польское *baby, babuny* 'дождевые облака' [Виноградова 2000: 87–88]<sup>27</sup>. В нашем литовском материале не обнаружилось подобного явления, но следует отметить, что в современном русском языке один из эпитетов к слову *туча* — *грудастая* [СЭРР: 469], *черногрудая* [СЭРР: 470], к *облаку* — *белогрудое* [СЭРР: 290]. Эти метафорические эпитеты, очевидно, основаны на способности тучи проливаться дождем (ср. § 6 о дойных коровушках).

§ 20. В литовском языке облака довольно часто сравниваются и с изготовленными людьми вещами. Это относится прежде всего к полотну и сшитым из него предметам (простыня, белье, другие вещи). Мы зафиксировали 11 таких выражений с переносным значением, напр.: *Dangus apsitraukė kaip su drobule (paklode), visą dieną ruog[ia] (smulkiai lyja)* 'Небо затянуло как холстинкой (простынькой), весь день сеет (мелкий дождь)' [LKŽ XI: 968]; *Ploni, skysti debesys lyg išskidėjęs marškonis nudraikė padangę* 'Тонкие, жиденькие облака как выношенное (редкое) полотно разбросаны по небу' [LKŽ XII: 863]; *Ten skystas debesys, tik kol žemai, atrodo juodas ir sunkus. Iš tikrųjų — tik marška (drobinė paklodė)* 'Там жиденькое облако, только до тех пор, пока низко, выглядит черным и тяжелым. На самом деле — только простыня (холстинка)' [Vaičiulaitis 1994: 62]; *Rugsėjo saulė blyški, šildo kap per paklotę* 'Сентябрьское солнце неяркое, греет как сквозь простыню' [LKŽ XIV: 781]; *Snieginių debesų duknos (patalai)* 'Перина снежных облаков' [LKŽ II: 806]; *Tai debesys — kaip maišas (labai juodas)* [FŽ: 407] 'Это облако — как мешок (очень черное)'; *Pilkas niūrus dangus suplyšo didžiuliais debesų skaruliais (skudurais)* 'Серое хмурое небо покрылось большими лохмотьями облаков' [LKŽ XII: 763]; *Iš vėjo genamų pilkų debesų skarmalų jau krapnojo lietutis* 'Из гонимых ветром серых лохмотьев туч уже накрапывал дождик' [LKŽ XII: 758]; *Linus reikia sėti, kai ant dangaus debesėliai šniūrais arba juostom matos* 'Лен надо сеять, когда облака на небе напоминают пояс или шнур'<sup>28</sup> [LKŽ XV: 196].

<sup>27</sup> С облаками могут быть связаны и другие персонажи. Так, для македонцев облака и темный туман — это атрибуты злого дракона *ламии*, который приводит облака с градом и уничтожает посева. Похожие верования известны также сербам и болгарам [Плотникова 2000: 246].

<sup>28</sup> Метафору «облако — ткань» охотно используют как литовские, так и русские авторы, например: *Danguje tarutum Dievulis patiesė baltinti du didelius pilkus audeklus — du debesėlius* 'В небе словно Бог разостлал для отбелики два больших серых полотна — два облака' [Vieniuolis 1954. I: 176]; *К закату собирались длин-*

§ 21. Как видно по примерам, тонкие облака в литовском языке сравниваются с истрепанной, редкой тканью, затянувший небо густой слой облаков — с холстом, полотном, простыней. Толстые, рыхлые облака — это пуховое одеяло или перина<sup>29</sup>. Уныло звучит песня сувалкийцев, где поется о горах черных туч — одеялах бездомных цыган (см. § 11). Черные, огромные грозовые тучи сравниваются также с мешком. Этот образ сформировался из-за сходства темного облака с тяжелым, набитым мешком. Он хорошо коррелирует с зафиксированным в далекой от Литвы Галиции представлением, что облака — это наполненные водой дырявые мешки, сквозь прорехи которых идет дождь. Если такой мешок продырявится еще больше, начнется сильный ливень [Ермолов 1905: 140]<sup>30</sup>. Из-за ассоциативного сходства по форме появляются и выражения «облако — пояс или шнур, лента»; в этом случае имеются в виду длинные облака. В словарях литовского языка не зафиксирована метафора «облако — одежда»<sup>31</sup>, однако весьма популярна метафора «облако — изношенная ткань, тряпка». Такие метафорические образы можно найти и в русском языке: *Серые лохмотья туч свисали низко* [ССРЛЯ VI: 378]. Обычно это говорится об облаках с неровными, рваными краями. Эта метафора очень выразительно представлена в прозе А. Чехова, напр.: *На ее [тучи] краю висели большие черные лохмотья* [Чехов 1986: 316]; *Черные лохмотья [туч] слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне* [Там же: 317].

*ные перистые ткани тучек* [Бунин 1983: 52]. В русской поэзии встречаются и другие, «нарядные» сравнения: *И облако как толь, и солнце жжжет, паля* ([Времена года 2006: 114]; И. Северянин); *Небеса опускаются наземь, точно завеса бахромы* [Пастернак 1998: 251]. Такие образы помогают созданию впечатления легкости и романтичности. К группе «облако — ткань» мы отнесли также сравнение «облако — парус», например: *Debesis neša lyg baltas bures* 'Облака несет, словно белые паруса' ([LP II: 363]; Е. Matuzevičius); *...[облака] плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса* [СЭРР: 291].

<sup>29</sup> В художественном тексте солнце отправляется спать в пуховую перину, например: *[Saulė] murktelėjo į miegą debesų patalę* 'Солнце погрузилось в сон в перину из облаков' [Vaižgantas 1969, II: 124].

<sup>30</sup> Ср. с распространенной в Польше загадкой: *Kiedy najwięcej jest dziur na niebie? — Jak deszcz pada* 'Когда на небе больше всего дыр? — Во время дождя' [PZL: 220]. Этот образ регулярно воспроизводится также в современных русских загадках, напр.: *Надо мною, над тобою Пролетел мешок с водою, наскочил на дальний лес, прохулся и исчез* [Загадки: сборник 6].

<sup>31</sup> Подобную метафору можно найти только в поэтических текстах, например: *Pavasariniai debesys slenka — pilkos milinės* 'Весной ползут облака — серые шинели' ([LP II: 48]; S. Nėris); *Debesų skara kutota austa žvaigždėmis* 'Облаков бахромчатый платок выткан звездами' [Bradūnas 1990: 160]; *Mėnesis. atsupęs debesio skvernus* 'Месяц, откинув полу облака' [Aistis 1988: 62].

§ 22. В русской традиционной культуре зафиксирована красивая фольклорная метафора «облако — небесная одежда, радуга — пояс», напр.: *Небеса облаками одеваются, радугой опоясываются* [Ермолов 1905: 159]. Небо здесь понимается антропоморфно<sup>32</sup>. В русских заговорах заговариваемый отдает себя под покровительство небес словами: *Облаками облачуся, небесами покроюся* [Афанасьев 1982: 133]. Традицию этой метафоры продолжает русская художественная литература, например: *Любят они луну-кокетку, которая бы наряжалась в палевые облака* [СЭРР: 290]; *И сизым облаком повит, твой снег сияньем розоватым на кручах каменных горит* [СЭРР: 290]. Вообще метафору «облако — одежда» можно найти и в словарях русского языка, и в поэзии. Легкие, ажурные, прозрачные облака ассоциируются с прозрачной, тонкой газовой косынкой или узорной фатой, напр.: *Солнце сквозь них просвечивало, как сквозь белые газовые косынки* [ССРЛЯ IX: 1034]; *И как легко фатой узорной плывут два облачка на юг!* [Бунин 1995: 67]; *И перламутром тонких волн спадают тучек шарф нагрудный* ([Времена года 2006: 234]: Т. Тимашева).

§ 23. Метафорическое представление облаков как ткани или сшитой из нее вещи вызывает мысль, что они могут прохудиться, прорваться. Такого рода метафоры встречаются как в литовском, так и в русском языках, например: *Paskui susyk, tartum debesys būtų prakiurę, plūptelėjo smarki liūtis* 'Потом вдруг, словно из прохудившихся облаков, хлынул дождь' [Vaičiulaitis 1994: 13]; *Svaiddo aplinkui iš praplyšusių debesų sniegą* 'Вокруг кидало снег из прохудившихся облаков' [Biliūnas 1954–1955. I: 109]; *Debesų dugnas iškrito*<sup>33</sup> 'Выпало дно облаков' (о долгом непрекращающемся дожде) [FŽ: 141]. В последнем примере облака, очевидно, понимаются как вещь, имеющая дно и сделанная из более плотного материала, чем ткань. Как видно, метафорическая система склонна приписывать атмосферным явлениям определенную форму, структуру, конституцию и под. В русском языке также находим подобные примеры: *Ливень полил, словно тучу прорвало* [Ермолов 1905: 142].

<sup>32</sup> Сходную метафору фольклорного происхождения использует А. Венуолис: *Perrišusi juodą debesį, laumės juosta traukė iš upės vandenį* 'Перетянувший черную тучу пояс лаумы пьет из реки воду' (пояс лаумы — устойчивое обозначение радуги в литовском языке) [Venuolis 1954, I: 359].

<sup>33</sup> То, что облака понимаются как сделанные из материала вещи, показывают также легенды и предания, например: *Kitą kartą milžinai, trobas statydami, pusryčių pietų eidami, kirvius savo ant debesų pasikabindavę* 'Другой раз великаны, строя избы, идя на завтрак или обед, свои топоры на облака вешали' [LT IV: 596]; *Debesis į debesį trinas, ir iš to kyla griauštinis ir žaibas* 'Облака трутся друг о друга, от этого получается гром и молния' [Balys 1998–2004, I: 55].

§ 24. От этих рассуждений удобно перейти к другой доминирующей лексико-семантической группе: к примерам, в которых облака (тучи) сравниваются с предметами домашнего обихода. Зафиксировано 5 литовских примеров такого рода: *Kai sėjant avižas šluotos būna ant dangaus, tai avižos esti malatingos (derlingos)* 'Когда во время сева овса на небе бывают метлы, то будет много овса для молотыбы (овес уродится)' [Balys 1986: 53]; *Storai ūkas, debesys bėga dideliais valkčiais* 'Небо туманится, тучи бегут огромными волокушами'<sup>34</sup> [LKŽ XVIII: 54]; *Miško viršūnes prislegia sunkūs debesų volai* 'Верхушки леса давят тяжелые валики туч' [Katiliškis 1993: 208]; *Dangus kaip šikšna* 'Небо, как невыделанная кожа' (о затянутом облаками небе) [LKŽ II: 261]; уже приводимое *perkūno vežimas* 'колесница пяркунаса' [LKŽ IX: 834] (см. об облаках как других транспортных средствах в § 18–19). Жемайтйская метафора «облако — волокуши» семантически может быть связана с встречающейся у жемайтйцев лексемой *lytvalkos* 'дождевые облака' (компонит, содержащий корень *lyt(us)* — 'дождь' и *vilkti* 'волочить, тащить'), например: *Lytvalkos eis par visą dangų, netolie jau lytus* 'Дождевые облака идут по всему небу, близко уже дождь' [LKŽ VII: 596]. В русском языке сравнения облаков с предметами домашнего обихода, по нашим наблюдениям, не имеют широкого распространения, можно привести как пример загадку: *Ел, ел конь, да в ясли упал* (месяц за облаками) [Садовников 1959: 213], изредка встречаются такие образы в художественной литературе, например: *И полдень с берега крутого закинул облака в пруды как переметы рыболова* [Пастернак 1998: 486]. Очень оригинальную фольклорную метафору находим в загадке: *Гроб плывет, мертвец ревет, ладан вышет, свечи горят* (туча, гром, молния) [Даль 1989: 405]. Метафора «облако — гроб с мертвецом» может быть связана с древним представлением о загробной жизни и убеждением, что мертвые живут на облаках (ср. § 19), хотя упоминаемые в загадке реалии (свечи, ладан), без сомнения, относятся к более поздней христианской похоронной обрядовости<sup>35</sup>. В связи с рассматриваемым примером нельзя не указать на метафору «облако — корабль (лодка)», извест-

<sup>34</sup> Имеются в виду самые простые сани, используемые для перевозки сена из болотистых низин, или же сено, которое помещается на таких санях.

<sup>35</sup> По мнению Д. Н. Садовникова, уподобление черной грозовой тучи гробу безосновательно и возникло в результате «механистического отнесения образов одной загадки к ряду предметов», то есть контаминации с загадкой про Иону (*Гроб плывет, в нем мертвец поет*) [Садовников 1959: 233]; А. Н. Афанасьев же связывает образ плавающего гроба с представлением о туче как корабле, трактуя загадку как изображение тучи, несущей пробужденного после зимней спячки бога-громовержца [Афанасьев 1982: 139].



ную как в русском, так и в литовском языке. В литовской поэзии этот образ («облако — корабль / паром») можно найти в творчестве С. Нерис, К. Брадунаса, В. Мачерниса, например: *Užkelia mane ant debesėlių plausto* 'Меня подняло на паром из облачков' [Mačernis 1990: 97]; *Tolimam dangių du debesėliai balti balti lyg jūros du maži laiveliai supos* 'В далеком небе два облачка белые-белые, как два морских кораблика кружат' [Ibid.: 28]<sup>36</sup>.

§ 25. Часто, особенно в жемайтских говорах, облака ассоциируются с различными архитектурными формами, отдельными фрагментами зданий. У нас есть 4 таких примера: *Kartais lyg stogai, lygu žemės gabalas, rodos, važiuojas; kartais nelyna, važiuona i nuvažiuona ans* 'Иногда, как крыши, как комья земли, кажется, плывут [облака]; временами дождя не случается, плывут, так и уплывают' [LKŽ XVIII: 426]; *Juoda debesų siena jau buvo pakilusi* 'Черная стена облаков уже поднялась' [Vaičiulaitis 1994: 63]; *Užėina debesys kaip mūras* 'Встанет облако, как стена' [LKŽ II: 349]; *Mūrai kilst, gal prieš lytį* 'Стены встают, видно, перед дождем' [LKŽ VIII: 411]. Из наиболее оригинальных метафор литовской поэзии можно указать на мост из облаков у А. Малдониса: *Stovi toli horizonte žiema ant susiplakusio debesų tilto* 'Стоит вдаль у горизонта зима на мосту из облаков' ([LP II: 43]; А. Maldonis). Такие образы отражают монументальность плотных кучевых облаков. Во многих жемайтских говорах выражения *mūrai kilst[fa]*, *mūrai ein[fa]* — обычное определение дождевых туч, в них уже не ощущается образности.

§ 26. Сравнение величественных кучевых облаков с архитектурными формами встречаются в русском языке. Они достаточно редки в фольклорных, этнографических текстах, хотя, например, у В. Даля находим: *Солнце в стену садится (за сплошные облака по склону)* [Даль 1955, IV: 350]. Гораздо шире они распространены в литературных текстах, например, в творчестве И. Бунина: *Рубиновым огнем извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч резкая, ветвистая молния* [Бунин 1987: 118]; *Под сводом хмурых туч* [Бунин 1990: 203]; *Облака как призраки развалин встали на заре из-за долин* [Бунин 1995: 76]; *Как нежны на алеющем закате кремни далеких синих облаков!* [Бунин 1990: 111]; ср. также у других авторов: *В весеннем небе замок белый Воздвигнут грудой облаков* ([Времена года 2006: 211]; Н. Крандиевская-Толстая); *В небе, как белые башни, Долго стоят облака* ([Времена года

<sup>36</sup> Ср. в традиционных метеорологических приметах далекой Германии: если облако похоже на корабль, на Рейне говорят, что дождь или жара зависят от того, в какую сторону повернут нос корабля (см. [Ермолов 1905: 153]).

2006: 24]; И. Савин)<sup>37</sup>. Для обоих языков характерно, что метафорической системой подчеркивается своеобразный контраст кучевых и перистых облаков: кучевые облака — тяжелые, ассоциируются с монументальными, крупными объектами (крышами, стенами, в том числе городскими или крепостными), в то время как перистые облака — легкие, эфемерные, поэтому они обычно сравниваются с тканью, периной, покрывалом, птичьим пером.

§ 27. Поскольку облака — атмосферное явление, с трудом поддающееся счету, для их определения часто используются слова со значением определенного количества. У нас есть 11 литовских примеров такого рода: *Linus sėja, kaj debesys pluoštai* 'Лен сеют, когда облака слоями' [Balys 1986: 62]; *debesiukai smulkiais šmorais* 'облака узкими полосками' [Ibid.]; *Linus sėja, kaj dangui driekos (išsidriekę debesys)* 'Лен сеют, когда на небе волокна (расстилаются облака)' [Ibid.]; *Kai debesys stovi sruogom, tai gerai linus sėt* 'Когда облака стоят мотками, хорошо сеять лен' [LKŽ XII: 597]; *Kamuoliukai kilo, kilo ir pasidarė didelis debesys* 'Клубочки поднимались, поднимались и сделалось большое облако' [LKŽ V: 190]; *Tiesias per aukštai pakilusį dangų debesėlių pakulotos sluoksnos* 'Потянулись по высокому небу паклевые волокна облачков' [LKŽ XIII: 58]; *Ne išvien debesuoja, bet gabalais duburiuoja* 'Облака не сплошняком, но кусками, впадинами' [Dulaitienė 1958: 102]; *Bulvės reikia sėti esant dangui kernotam — debesų kupetomis padengtam* 'Картошку надо сажать, когда небо покрыто облаками в виде стогов (копен)' [MK I: 119]; *Mėnuo <...> vėl vos matomas pro balzganus debesų skutus* 'Месяц <...> опять едва виден сквозь белесые лоскуты облаков' [LKŽ XII: 1162]; *Debesų skivytai pašėlusiai greit skriejo* 'Ключья облаков летят бешено быстро' [LKŽ XII: 959]; *Stambios tamsių debesų skiautės tebeklaidžiojo padangėje* 'Плотные лоскуты темных туч все еще бродили по небу' [LKŽ XII: 857].

§ 28. Некоторые из приведенных слов с переносным значением, указывающих на количество, могут относиться к скоплению облаков (туч), например: *pluoštai* 'слои', *sluoksnos* 'волокна', *sruogos* 'мотки' и др.; другие характеризуют небольшой фрагмент исчезающего облака, например: *skutai*, *skiautės* 'лоскуты', *skivytai* 'ключья, лохмотья' и др. Слова *driekos*, *šmorai* характеризуют мелкие, разорванные облака. В русском языке в примерах из ССРЛЯ и из русских литературных текстов к первой группе можно отнести слова *клубы*, *слой*, *груды*, *кучи*, напр.:

<sup>37</sup> Ср. также английское поверье, в котором также упоминаются гряды скал и башни облаков, предвещающие дождь: *When clouds appear like rocks and towers, the earth is refreshed with frequent showers* [Ермолов 1905: 153].



Тяжело, огромными клубами они [облака] лезли одно на другое [ССРЛЯ VIII: 178]; Необозримый облачный слой [Бунин 1983: 234]; В окно я вижу груды облаков [Бунин 1995: 77]; Сбежались тучки в одну кучку — быть ненастью [Даль 1989: 376]. Фрагменты облаков в русском языке обычно определяются словом *клочья* [ССРЛЯ V: 1039], напр.: *Небольшие клочья белых облаков пролетают над самыми мачтами* [Паустовский 1965: 22]. Узкие, вытянутые облака определяются словами *полоса*, *полоска*, например: *Золотые полосы [облачков] потянулись по небу* [ССРЛЯ V: 1050]; *белые полоски облаков* [Бунин 1983: 53]. Довольно часто в русском языке для определения скопления виднеющихся на горизонте облаков используется слово *гряда (облаков)*, к более редким относятся *ряды*, например: *Заря меж синими рядами ревнивых туч уж занялась* [СЭРР: 470]. Как видно по приведенному материалу, во многих случаях находятся соответствия между литовскими и русскими определениями, относящимися к довольно прозаической, бытовой, свойственной разговорному языку сфере.

§ 29. Осталось рассмотреть последнюю лексико-семантическую группу выражений с переносным значением — это выражения с определением формы. В литовском языке зафиксировано несколько таких выражений, например: *Jei linai bus pasėti, kada ant dangaus matosi debesėlių verpetai tai bus susisukę ir išgulę* 'Если посеешь лен, когда на небе виден водоворот из облаков, то лен будет изломанным, полегшим' [Balys 1986: 62]; *Žirnius reikia sėti, kai dangus yra pridengtas mažomis debesų vilnimis, tada ir žirniai augs tokiomis vilnimis* 'Горох надо сеять, когда небо покрыто мелкими волнами облаков, тогда и горох вырастет такими же волнами' [Ibid.: 56]; *Debesys eit[a] stulpais, mūrais* 'Облака идут столбами, стенами' [LKŽ VIII: 411]; *Moterys mačiusios danguje kruvinus stulpus* 'Женщины видели в небе кровавые столбы'<sup>38</sup> [LKŽ XIII: 1024]. По примерам видно, что в отношении к облакам используются те же слова, что и в отношении к воде: *волны*, *водоворот* и под. Использование слов, относящихся к водной стихии, по отношению к облакам, свойственно также русскому языку. Интересно, что литовскому *debesų vilnys* есть два русских соответствия: *волны облаков* (о более крупных облаках) и *зыбь облаков* (о более мелких облаках), например: *Океан белых застывших волн [облаков]* [Бунин 1983: 234]; *Зыбь облаков и мелка, и нежна* [Там же: 45]; *Легкой белой зыбью облака плывут* [Бунин 1990: 180]. В литовском языке об облаке часто говорится *šviesos stulpas* 'столб света', *debesies stulpas* 'столб облака'; в русском языке

<sup>38</sup> Такое атмосферное явление традиционно рассматривается как предвещающее несчастье — эпидемию, войну и под.

аналогично употребляется *столб света*, *огненные столбы [облаков]* в вышине [ССРЛЯ XIV: 919]. Эта метафора красиво использована И. Буниным: *Нередко облако восходит и глядится блистающим столбом в зеркальный сон болот* [Бунин 1990: 116].

§ 30. Выражения с переносным обозначением облаков весьма разнообразны в литовском и русском языках, что, как уже отмечалось, обусловлено изменчивостью формы, цвета, плотностью, характером движения и другими качествами этого природного явления. Некоторые метафоры являются общими, причем не только для литовского и русского, но и для других языков (например, метафоры «облако — овца», «облако — большая птица», «облако — полотно», «облако — архитектурное сооружение»). Интересный пласт метафор, в котором отмечаются некоторые различия между двумя культурами, связан с мифологическими представлениями. Установлено также, что различия между языками в области метафорики существуют и в других группах, ср., например, распространенность в литовском языке метафор «облако — метла, щетка» или «облако — растение, которое следует сеять», «облако — клубок ниток», антропоморфные образы «облака — представители чужой культуры», с одной стороны, и распространенность метафор «облака — волосы, космы», «облака — воины, странники», отсутствие сельскохозяйственных метафор в русском — с другой. Все эти особенности выявляют специфику языковой картины мира двух народов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Афанасьев 1982 — А. Н. Афанасьев. Древо жизни. М., 1982.  
 Бунин 1983 — И. А. Бунин. Рассказы. М., 1983.  
 Бунин 1984 — И. А. Бунин. Повести и рассказы. Баку, 1984.  
 Бунин 1987 — И. А. Бунин. Антоновские яблоки. Мурманск, 1987.  
 Бунин 1990 — И. А. Бунин. Стихотворения. М., 1990.  
 Бунин 1995 — И. А. Бунин. Свет незакатный. М., 1995.  
 ВБСХ — Как надо выращивать овес // Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству. [http://fadr.msu.ru/rin/crops/how\\_oats.html](http://fadr.msu.ru/rin/crops/how_oats.html) (11.11. 2007).  
 Виноградова 2000 — Л. Н. Виноградова. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М., 2000.  
 Виноградова, Толстая 1995 — Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. Ритуальные приглашения мифологических персонажей на рождественский ужин: формула и обряд // Малые формы фольклора. М., 1995.  
 Времена года — Времена года в поэзии Серебряного века. Какие дни и вечера! / Сост. Л. Мезинов. М., 2006.  
 Даль 1955 — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1 - 4. М., 1955.  
 Даль 1989 — В. И. Даль. Пословицы русского народа. Т. 2. М., 1989.

- Ермолов 1905 — *А. С. Ермолов*. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. Т. VI. СПб., 1905.
- Загадки — [http://1000zagadok.net/2007/10/10/sbornik\\_6.html](http://1000zagadok.net/2007/10/10/sbornik_6.html) (11.11.2007).
- Калайдина — <http://zagadki.kalaydina.ru/10.htm> (10.11.2007).
- Коницкая, Ясюнайте 2006 — *Е. Коницкая, Б. Ясюнайте*. Жаворонков снег (происхождение снега в традиционной культуре) // Балто-славянские исследования. XVII. М., 2006.
- Куприн 1985 — *А. И. Куприн*. Избранные сочинения. М., 1985.
- Левкиевская 2000 — *Е. Левкиевская*. Мифы русского народа. М., 2000.
- МЖРФ — Малые жанры русского фольклора. М., 1986.
- Некрасов 1987 — *Н. А. Некрасов*. Избранные сочинения. М., 1987.
- Пастернак 1998 — *Б. Пастернак*. Избранные произведения. М., 1998.
- Паустовский 1965 — *К. Паустовский*. Избранная проза. М., 1965.
- Плотникова 2000 — *А. А. Плотникова*. Мифология атмосферных и небесных явлений у балканских славян // Славянский и балканский фольклор. М., 2000.
- ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Т. 1. Л., 1967.
- Потапов 1977 — *Л. П. Потапов*. Конь в верованиях и эпосе народов Саяно-Алтая // Фольклор и этнография. Л., 1977.
- РЗЗ — Русские заговоры и заклинания / Отв. ред. В. П. Аникин. М., 1998.
- Садовников 1959 — Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач / Сост. Д. Н. Садовников. М., 1959.
- СД I–III — Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1995; Т. 2. 1999; Т. 3. 2004.
- ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л., 1951–1965.
- Стихи для детей — Стихи и песни для детей. Облака <http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml?ctg=12> (11.10.2007).
- СФ — Славянский фольклор. Тексты / Сост. Н. И. Кравцов, А. В. Куланина. М., 1987.
- СЭРР — *К. С. Горбачевич, Е. П. Хабло*. Словарь эпитетов русского языка. М., 1979.
- Толстая 2005 — *С. М. Толстая*. Полесский народный календарь. М., 2005.
- Толстой 1997 — *Н. И. Толстой*. Об изучении полесской лексики // *Н. И. Толстой*. Избранные труды. Т. 1. М., 1997.
- Усачева 1999 — *В. В. Усачева*. Из истории культурных растений: картофель // Славянские этюды. М., 1999.
- Чехов 1986 — *А. П. Чехов*. Избранные сочинения. Т. 1. М., 1986.
- Aistis 1988 — *J. Aistis*. Katarsis. Vilnius, 1988.
- AM — Aukštaičių melodijos / Sud. L. Burkšaitienė, D. Krištopaitė. Vilnius, 1990.
- Andriušis 1992 — *P. Andriušis*. Anoj pusėj ežero. Vilnius, 1992.
- Balys 1986 — *J. Balys*. Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikėjimai. Silver Spring, 1986.
- Balys 1993 — *J. Balys*. Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, 1993.
- Balys 1998–2004 — *J. Balys*. Raštai. T. 1–5. Vilnius, 1998–2004.
- Bilūnas 1954–1955 — *J. Bilūnas*. Raštai. Vilnius, 1954–1955.
- Bradūnas 1990 — *K. Bradūnas*. Prie vieno stalo: poezijos rinktinė. Vilnius, 1990.
- Dulaitienė 1958 — *E. Dulaitienė*. Kupiškėnų senovė. Vilnius, 1958.
- FŽ — Frazeologijos žodynas / Red. J. Paulauskas. Vilnius, 2001.
- Jasiūnaitė 2005 — *B. Jasiūnaitė*. Eufemizmai tarmėse bei tautosakoje: problemos ir perspektyvos // Baltistika. VI priedas. 2005.

- Jasiūnaitė, Konickaja 2004 — *B. Jasiūnaitė, J. Konickaja*. «Atlėkė paukštis be sparnų» (Atmosferos reiškinių frazeologijoje: sniegas) // Kalbotyra. LII (1). 2004.
- Katiliškis 1993 — *M. Katiliškis*. Užuo vėja. Vilnius, 1993.
- LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. T. I–XX. Vilnius, 1941–2002.
- LP — Lietuvių poezija (antologija). Vilnius, 1967–1969.
- LT — Lietuvių tautosaka. T. 1–5. Vilnius, 1962–1968.
- Mačernis 1990 — *V. Mačernis*. Po ūkanotu nežinios dangum: poezija, proza, laiškai. Vilnius, 1990.
- MK — Mūsų kraštas. 1992. № 1.
- PZL — Polskie zagadki ludowe / Wybrał i opracował Sławomir Folfasiński. Warszawa, 1975.
- TD — Tautosakos darbai. Lietuvių tautosakos archyvo leidinys. T. I–VII. Kaunas, 1935–1940.
- Vaičiulaitis 1994 — *A. Vaičiulaitis*. Popiežiaus paukštė. Vilnius, 1994.
- Vaižgantas 1969 — *J. Tumas-Vaižgantas*. Pragiedruliai. Vilnius, 1969.
- Vienuolis 1954 — *A. Vienuolis*. Raštai. Vilnius, 1954.

Д. РАЗАУСКАС

## Рыба как символ (воз)рождения и жизни

Настоящая работа является продолжением предыдущей, в которой рассматривалась символика рыбы, связанная с нижним миром и смертью [Разаускас 2006: 295–352]. Предыдущую завершал мифический образ «большой рыбы», заглатывающей героя и впоследствии изрыгающей его обратно на сушу, что подразумевало инициацию, т. е. (символическую) смерть и возвращение к новой жизни, и тем самым вплотную подвело к переосмыслению образа «рыбы» в качестве символа порождающего начала. В заключении, в частности, приводились слова М. Элиаде о том, что «спуск в брюхо чудовища означает также возвращение в доформенное, зародышевое состояние существования», поэтому «здесь мы имеем дело с двойным символизмом: символизмом смерти, а именно: завершением мирского существования, а следовательно, и концом времени; и символизмом возврата к зародышевой форме существования, которая предшествует всем остальным формам и любому мирскому существованию» [Элиаде 1996: 260–261].

Действительно, как заметил уже А. А. Потебня, герой русской сказки «Иван Голик, брошенный в море и поглощенный большою рыбою, добывается из нее на свет, и это, быть может, есть его настоящее рождение» [Потебня 2000: 277, 278]. По наблюдениям В. Я. Проппа, «в Буине некогда существовал обычай бросать кости сожженных трупов рыбам», и «это бросание костей рыбам для нас очень важно. Оно приводит нас к кругу представлений, что съеденный рыбой или змеем вновь возрождается» [Пропп 1976: 230]. К.-Г. Юнг утверждает, что чудовище-кит, заглатывающий героя, — это «символ Страшной Матери» и что здесь «мы сталкиваемся с идеей Страшной Матери в форме пожирающей рыбы, персонифицирующей смерть», а также обращает внимание на «тесную связь между [др.-гр.] *delphís* 'дельфин' и *delphýs* 'матка'» [Jung 1990: 248]. По словам Юнга, «почти неизменной особенностью мифа о чудовище-ките является то, что герой во чреве чудовища испытывает сильный голод и для пищи отрывает куски внутренностей. На самом деле он находится внутри «матери кормилицы»» [Jung 1990: 338], т. е. как бы во вскармливающей его утробе.

Тут надо вспомнить о весьма широко распространенном и достаточно хорошо известном символическом тождестве охоты и любви,

пожирания и оплодотворения вообще<sup>1</sup>, которое отражается, например, и в русском слове *чрево* 'брюхо, живот', но в то же время и 'утроба'; ср. соответственно др.-гр. *énteron* '(pl.) кишки, кишечник' и 'чрево, матка', а также ср.-ниж.-нем. *inster* 'внутренности убитого животного', лтш. *iekšas* 'внутренности, потроха', но лит. *įsčios* в основном, а ныне и единственном значении 'утроба'<sup>2</sup> и т. п. Здесь мы находим тот же «двойной символизм», связанный с архетипом смерти и возрождения, о котором говорил Элиаде, частный случай которого и составляет пожирание рыбой, в то же время представляющей материнскую утробу. Отсюда, видимо, и подмеченная А. В. Гурой «символическая амбивалентность рыбы: она является одновременно и символом смерти, и символом рождения» [Гура 1997: 747].

Ср. в этом отношении известные представления о *vagina dentata*, при этом в «Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend», в статье, посвященной этому образу, кроме всего прочего, говорится: «Согласно верованиям индейцев васпишиана и тарума, первая женщина в своей вагине имела рыву, пожирающую плоть» [FW: 1152]. Далее признак пожирания утрачивается, и рыба уже символизирует просто женские половые органы, утробу, матку, наконец, само материнство и саму женственность. Так, по сведениям Юнга, «в беотийской вазовой росписи „повелительница зверей“ изображается с рыбой между ног или внутри тела» [Юнг 1997: 132], в чем Юнг, правда, усматривает указание непосредственно на рыбу-сына, но в этих двух интерпретациях (мать и сын, матка и зародыш), как мы еще увидим, вовсе нет противоречия. Так, например, согласно К. Леви-Строссу, в североамериканских «калифорнийских мифах удержательница вагиной — это Дама Скот. Как и в Южной Америке, индейцы, рассказывающие эти мифы, сопоставляют Скота с женскими генитальными органами: тело рыбы изображает матку, а хвост — влагалище. Таким образом, полное целиковое тело приравнивается к одной из частей тела, а имен-

<sup>1</sup> Слишком распространяться об этом здесь неуместно; см., например, [Матье 1996: 159–162, 259; Нойманн 1998: 112; Пропп 1976: 208–211, 218–219, 225–226; Jung 1990: 251; Spence 1915: 227–228] и др. Много раз говорит об этом Леви-Стросс в своей книге «Первобытное мышление», см. особенно 3 и 4 главы книги. Ср. австралийский миф о проглатывании змеем сестер Ваувалак, где «само проглатывание, как говорят, означает половой акт, но может также символизировать „возвращение Ваувалак в матку их матери“» [Элиаде 1998а: 178, ср. 230]. В литовской сказке, например, *Kada mergaitė suvalgė visą katę, sena ragana pamotėi sako: „Dabar jau ji bus nėščia...“* 'Когда девочка съела всю кошку, старая ведьма говорит мачехе: «Теперь уж она забеременет...»» [LT III: 475, № 164, А-Т 708] и т. п.

<sup>2</sup> См. [ДГРС: 551; Топоров 1980: 54–55; Fraenkel 1962–1965: 188; Frisk I: 524–525. Karulis I: 334–335; Pokorny 1959: 313–314] и др.

но полой части, и это влечет за собой трансформации: *внешнее* → *внутреннее* и *содержимое* → *содержащее*» [Леви-Стросс 2000: 282]. Мария Гимбутас, обсуждая археологические находки на Мальте (IV–III тысячелетия до н. э.), обращает внимание на ряд скульптур, изображающих лежащую на кровати женщину с выраженными детородными органами. Но «поскольку и рыбы лежали на таких же кроватях, можно предположить, что и женщина, и рыба могли иметь сходное символическое значение. Рыба является одним из самых ярких воплощений Богини и ее матки. Лежащие на кровати и рыба, и женщина (Богиня) могут символизировать инкубацию в могиле и следующее за ней возрождение» [Gimbutienė 1996: 175]. Ниже исследовательница еще раз обращает внимание на фигурку, которая «изображает рыбу, лежащую на кровати. Так как в Древней Европе рыба символизировала Богиню и ее матку, можно полагать, что здесь представлена сама Богиня в процессе регенерации» [Ibid.: 204–206]. Ср. в этом отношении такие русские (и соответствующие другие славянские) названия рыбы, как *баба-рыба*, *бабка* ‘подкаменщик, широколобка’ [Коломиец 1983: 18], сюда же *бабура* ‘то же’, производное от *баба*; сверху эта «рыба представляет собой почти треугольник, в основании которого широкая большая голова и резко сужающееся к вершине треугольника, то есть к хвосту, тело; эта же рыба местами носит название *vulva-piscis*; возможно и *катыка-рыба* ‘подкаменщик’ (костром.) того же происхождения. Ср. подобные обценные названия: рус. *курва* ‘снеток’; серб.-хорв. *попов курац* ‘чоп’, *pizdin poklopac* ‘серебряный карась’» [Усачева 2003: 173]. Ср. также укр. диал. *черевань*, *черевуха*, *черевушка*, серб.-хорв. *crevara* и др. ‘горчак’; «название связано с именем существительным *черево* (праслав. \**červo*) ‘живот, брюхо’ и обусловлено, вероятно, тем, что самка горчака во время нереста, длящегося более двух месяцев, выпускает наружу яйцевод, который достигает в длину 5 см» [Коломиец 1983: 24], т. е., собственно, «рожает».

В окрестностях литовского села Гервечай до сих пор о рождении ребенка говорят *žuvys davė*, буквально ‘рыбы дали’, например: *Dar sako: bacėnas atanešė, ė anksčiau — žuvys jam dav[ė] bernioką a mergiote* ‘Теперь говорят, аист принес, а раньше — рыбы ему дали мальчика или девочку’ [Lipskienė 1972: 139; LKŽ XX: 1009].

Сюда же, видимо, относятся и представления о происхождении людей из рыб вообще. См. выше о том, что «в одной из китайских версий потопа Гунь принимает после гибели облик рыбы, а из его тела возникает Юй, которому удаётся укротить воды» [Топоров 1982: 392], где мы снова находим в образе рыбы смерть и возрождение. В мифологии индейцев тукуна (Бразилия, Перу, Колумбия) культурные герои

«Дьяй и Эпи из пойманных ими рыб сотворили людей» [МНМ I: 417]. Вообще «существуют поверья о рыбах разных видов как о предках людей» [Топоров 1982: 393]. Ср. в этом отношении и австралийское предание о туземных «Ромео и Джульетте», в самом начале которого говорится, что «в давние Времена сновидений молодой мужчина по имени Магги был рыбой баррамунди — гигантским окунем» [Кудиновы 1987: 74, № 49]. Показательны наблюдения Фрэнзера о том, как перуанские индейцы «представляли себе происхождение клана от рыбы, как рыбы появились на земле из-под воды, как они были обучены человеческому языку, стали ходить на ногах и пр.» [Пропп 1976: 228]. А вот Анаксимандр по этому поводу говорил, согласно цитате у Censorinus’a («De die natali» 4.7), что «из теплой воды и земли родились рыбы, или рыбоподобные существа, а в этих существах сформировались люди. Эмбрионы оставались в них до половой зрелости. Тогда рыбоподобные существа раскрывались, и из них выходили мужчины и женщины, уже способные себя прокормить» [Jung, Kerényi 1973: 46]. Далее К. Кереньи вспоминает древнеиндийского Вишну, в облике рыбы спасшего от потопа Ману, и поскольку тот же Вишну породил из себя вселенную, богов и людей, он, «следовательно, является одновременно рыбой, эмбрионом и маткой, чем-то вроде анаксимандрова первичного существа»; причем «рыба-матка», порождающая богов и героев, была известна и греческой мифологии: по словам Кереньи, «греки называли ее «животным-маткой» и почитали больше всех жителей глубин, как бы признавая в ней способность самого океана рожать детей. Это существо — дельфин», «ср. *delphys* ‘матка’, *a-delphos* ‘брат (от той же матери)’» [Ibid.: 49–50], о чем нам уже напоминал Юнг<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> На символике дельфина мы здесь отдельно останавливаться не будем: по основным признакам он не очень отличается от общей символики рыбы. Приведем по этому поводу лишь слова В. Н. Топорова: «В одном ряду с рыбой фигурирует в мифопоэтических представлениях и образ дельфина, символизирующий море, морскую силу (дельфин — одна из ипостасей Посейдона/Нептуна, Тритона, эмблема Нерейд), свободу, благородство, любовь, удовольствие. Дельфин рассматривается как царственная рыба, благожелательная к людям. Он приходит на помощь тонущим (в греческом мифе дельфин спасает Ариона), предупреждает мореплавателей об опасности и т. п. В дельфина превращается Аполлон, Пифон тоже иногда называется дельфином. Ранить дельфина — грех и знак несчастья. Дельфин нередко выступает как носитель души умерших на острова блаженных (ср. изображения дельфина на похоронных урнах в Древней Греции). В индуизме дельфин — конь Камы [бога любви и вождления]. В христианской символике дельфин связывается с Иисусом Христом как творцом и спасителем, в оскрещении и спасением» [Топоров 1982: 393]. Также см. Тресиддер 1999: 74–75; ЭС: 109; ЭСС: 188–189 = Biedermann 2002: 85–86; Becker 1995: 50; Chevalier, Gheerbrant 1996: 303–304; Cirlot 1996: 84–85; Herder 1986: 59; Vries 1976: 141–142

\* \* \*

Поскольку рыба приобретает символическое значение утробы, матки и материнства, понятно и ее частое сопоставление вообще с женщиной, особенно с невестой — будущей матерью. Например, в литовской народной песне LTR 5086 (27), подразумевающей свадебный контекст: *Lydekėle seserėle, / Paduok šilkų skepetėle. / Paduok šilkų skepetėle, / Nušluostyk ašarėles* ‘Щучка-сестрица, / Поддай шелковый платочек. / Поддай шелковый платочек, / Утри слезы’ и пр. (причем ввиду известной аналогии свадьба—смерть рыба здесь опять же обнаруживает связь со смертью) ([Trinkūnaitė 2000: 89–90]; см. [Būgicnė 1999: 53]). Ср. также пример, записанный в начале XIX века в Малой Литве:

<i>Aš už šeirį eisiu,</i>	‘Я за вдовца пойду,
<i>Šeirį apslankysiu.</i>	Вдовца навещу.
<i>Aš pasiversiu</i>	Я превращусь
<i>Į margą lydekutę.</i>	В пеструю щучку,
<i>Aš nusiplauksiu</i>	Я поплыву
<i>Į jūres. Į maružes.</i>	В море-моряшко,
<i>Ten pasiglausiu</i>	Там приникну
<i>Po žalia žolele.</i>	К зеленой травке.

<i>Ateit šeirys paskui,</i>	Приходит вдовец следом,
<i>Šilkų tinklą nešas.</i>	Шелковый невод неся.
<i>Nor tinklą traukti,</i>	Хочет невод тащить,
<i>Nor mane sugauti.</i>	Хочет меня словить,
<i>Tikrai dabodams,</i>	Пристально смотрит,
<i>Meiliai kalbėdams:</i>	Ласково говорит:
— <i>Marga lydekytė,</i>	-- Пестрая щучка,
<i>Štai graži mergytė</i>	Вот красивая девица’

[Rėza 1958: 121, № 34; KlvD: 317].

Или еще один красноречивый пример конца XIX в.:

<i>Ulytėlėj ežerėlis,</i>	‘На улице озеро [!].
<i>Eisiva mudu du brolyčiai pažvejoti!</i>	Пойдем мы, два братика, рыбу ловить!
<i>Ką sugausva, tą paleisva,</i>	Что поймаем, то отпустим,
<i>Ale muma mergužėlę nepaleista</i>	А нашу девушку не отпустим’

[KlvD: 42, ср. 26].

и др. В эволюционном смысле это млекопитающее подразумевает определенный «регресс» — оно вернулось в лоно моря после того, как уже выбралось, «родилось» из него, собственно, вернулось обратно в утробу. И, в конце концов, само ее воплотило.

Ср. также колядку из юго-восточной Литвы:

<i>Manas broialis</i>	‘Мой братишка
<i>Bažnyčion jojo,</i>	В костел ехал,
<i>Lėliu kalėda, kalėda.</i>	Лелю коляда, коляда.
<i>Bažnyčion jojo,</i>	В костел ехал,
<i>Ladus kapojo,</i>	Льдины рубил,
<i>Lėliu kalėda, kalėda.</i>	Лелю коляда, коляда.
<i>O (j)ir iškirto</i>	И вырубил
<i>Dzyvnių žuvelį,</i>	Дивную рыбку,
<i>Lėliu kalėda, kalėda.</i>	Лелю коляда, коляда.
<i>Čia ne žuvelė,</i>	Это не рыбка,
<i>Ale mergelė,</i>	А девица,
<i>Lėliu kalėda, kalėda</i>	Лелю коляда, коляда’
[AK: 68, № 59]	

Или еще: *Marės žiuvelės — mūsų mergelės svetimosios šalėlės* ‘Морские рыбки — это наши девушки с чужой сторонки’ [LKŽ XX: 820]. Слово *žuvis* ‘рыба’ издавна употребляется в качестве ласкательного обращения к женщине, жене, подруге, например: *Mano žuvyte* ‘Моя рыбочка’ в словаре Нессельманна (Nesselmann) 1851 г. [LKŽ XX: 1013] или *Mano žuvyte gražioji* ‘Моя рыбочка прекрасная’ в словаре Бродовского (Brodowski) середины XVIII в. с пояснением: «Это самый красивый любовный эпитет литовских женщин» [SLT: 403]. Ср. типичные современные поговорки: *Geros mergos, kaip lydekos!* ‘Хорошие девицы, как щуки!’ (с. Пеляса); *Apsilaižytai pamatęs — merginos kaip lydekos* ‘Увидишь, облизнешься: девушки как щуки’ (В. Креве-Мицкявичюс) [LKPŽ: 146]. Загадка *Vikri mergaitė, sidabro suknaite* ‘Шустрая девочка, серебряная юбочка’ имеет разгадку *žuvis* ‘рыба’ [MS: 146]; в свою очередь, загадка *Ant lygaus laukelio nei vieno namelio, o vidury tūkstančiai mergelių gyvena* ‘На ровном поле ни одного домика, а посреди поля тысячи девушек е — к живут’ — *Žuvys ežere* ‘рыба в озере’ [AED: 287, № 647]. Или же ср. описание желанной невестки: *...plačiai žinojo tikią martelę, ir daug kas stengėsi pasigauti kaip žuvelę tinkle* ‘широко известна была такая невестка, и многие старались поймать ее, как рыбку в сети’ [AED: 297]. Не должно удивлять поэтому признание литовского рыбака Эгидиуса Чяпулиса, записанное в селе Бержининкай (Йонишкский р-н) в 1969 г.: *Žvejyba — kaip mergina. Reikia mylėti* ‘Рыбалка — как девушка. Надо ее любить’ [Piškinaitė-Kazlauskienė 2000: 27]. По словам другого информанта, Ромуалдаса Лазаускаса, записанным в селе Андруле-

най (Молетский р-н) в 1994 г. *žuvauti* ‘ловить рыбу, рыбачить’ значит *eiti pas panas* ‘ходить к девушкам’ [Šatkauskienė 2005: 108]. Наконец, ‘рыбками’ иногда называют девушек легкого повесдения, например: *Gaudo visokių žuvelių išvežti į užsienius, į tus numus (viešnamius)* ‘Ловят всякую рыбку, чтобы увезти за границу, в эти (публичные) дома’ [LKŽ XX: 1002]. Параллелизм рыба—девушка и, соответственно, рыбалка—свадьба в литовском фольклоре чрезвычайно популярен и, видимо, составляет вариант известного более общего параллелизма охота—свадьба/соитие (см. [Stukaitė 2003: 36–40]). Также ср. уже приводившуюся по другому поводу песню, в которой сначала утопленница превращается в рыбу, а эта рыба, после того как ее поймают рыбаки, вроде бы собирается снова превратиться в девушку: *Tai būč buvusi žvejų mergelė, / pajūriškių martelė* ‘Вот была бы рыбацкой невестушкой, / рыбацкой снохой’. Здесь мы опять наблюдаем связь свадьбы со смертью: сначала девушка умирает и превращается в рыбу, и лишь после этого рыба — в невесту.

Параллелизм рыба—девица/женщина ярко выражен и в латышских дайнах, притом тоже всегда в брачном или, шире, сексуальном контексте:

*Vizēt viz ezeriņīs*  
*No mazām zivītiņām:*  
*Tā vizēja brāļa sēta*  
*No mazām māsiņām*  
[BDS: № 3516-2; ср. № 3516-4.  
21647, 30824 и др.]

‘Рябит озеро  
От маленьких рыбок;  
Так рябил двор брата  
От маленьких сестричек’

*Kaķīts grib zivis ķert,*  
*Negrib kājas slapināt;*  
*Puisīts grib sievu ņemt,*  
*Nedrikst meitu bildināt*  
[BDS: № 11838-1].

‘Котенок хочет рыбу схватить,  
[Но] не хочет ноги мочить;  
Парень хочет жену взять,  
[Но] не смеет с девушкой заговорить’

*Maza, maza zivītiņa*  
*Sajauc dūņu ezeriņu;*  
*Maza, maza tautu meita*  
*Pieviļ manu bāleliņu*  
[BDS: № 12057-3].

‘Маленькая рыбка  
Смутила илистое озеро;  
Маленькая невестка  
Увела моего братика’

*Viena zuve ezerā*  
*Visas dūņas kustināja;*  
*Viena meita māmiņai*  
*Visus puisus kaitināja*  
[BDS: № 12057-6].

‘Одна рыба в озере  
Весь ил мутила;  
Одна дочь у матушки  
Всех парней дразнила’

Я. Курсите также замечает, что «в латышских народных песнях *lidaka* ‘щука’ (как правило, в уменьшительной форме — *lidaciņa* ‘щучка’) является одним из самых почтительных обозначений молодой девушки» [Kursīte 1996: 349], и приводит соответствующий пример:

*Maza, maza lidaciņa*  
*Visas niedras kustināja;*  
*Maza, maza brāļa māsa*  
*Visas tautas kaitināja*  
([LTD: 796, IV]; цит. по  
[Kursīte 1996: 350]).

‘Маленькая щучка  
Все тростники (рас)шевелила;  
Маленькая сестра брата  
Всех парней (раз)дразнила’

Вместо щуки в вариантах может выступать также *rauda*, *raudīņa* ‘плотва’ или ‘краснопёрка’ [Kursīte 1996: 350] и др. В свою очередь, как указывает Я. Курсите, женитьба в латышских свадебных песнях нередко изображается, наряду с охотой, в виде рыбной ловли, например:

*Tālu, tālu es redzēju*  
*Ezeriņu ligojot:*  
*Tur staigāja Dieva dēli,*  
*Lidaciņas zvejojot*  
([LTDz: № 10229]; цит. по  
[Kursīte 1996: 356]).

‘В дальней дали я видал(а) —  
Озеро раскачивалось:  
Там гуляли Божьи сыны  
И ловили щучек’

Выразительны в данном отношении и латышские загадки. Например: *Maza maza māsiņa, simts dukatu mugurā* ‘Мала-мала сестрица, сто дукатов на спине’ = *lidaka* ‘щука’; *Vacs dedīnš, saleics, sakrups nu azara mārgu valk* ‘Старый дедок, согнувшись, сгорбившись, тащит девицу из озера’ = *makšķere un zivs* ‘удочка и рыба’; *Saleics, sakrups nu dziļuma mārgu vad* ‘Согнувшись, сгорбившись, приводит из глубины девицу’ = то же; *Skaista skaista jumpraviņa visa spīd dālderis* ‘Прекрасная девица, вся сверкает в талерах’ = *rauda* ‘плотва, краснопёрка’; *Maza maza meitiņa, simtu rubļu (var.: dukatu) mugurā* ‘Мала-мала девица, сто рублей (вар.: дукатов) на спине’ = *zivs* ‘рыба’; *Maza maza māsiņa, simt dālderis mugurā* ‘Мала-мала сестрица, сто талеров на спине’ = то же [LTM: 174, 186, 230, 320, № 1782, 1944, 2562, 3713].

Параллелизм рыба—девушка очевиден и в русской песне, и также в свадебном контексте, например (песня девичьего цикла):

*Дунай-речка всколыхалася,*  
*В реке рыба разыгралася,*  
*В берега рыба кидалася.*  
*Проведали про рыбиньку*  
*Молоды гребцы-захарьевцы,*



Поладили шелковы невода,  
 Клали плутивья серебряные,  
 Проволоки позолоченные.  
 Эту рыбиньку пойзловили,  
 Эту рыбиньку белуженьку.  
 Стала рыбинька поплясывати,  
 Красна девица выспрашивати:  
 «Каково те, рыбинька, жить без воды?  
 Таково-то без мила дружка,  
 Без мила дружка, Иванушки!»...  
 [РНЮ: 255, № 374].

В русской сказке герой-дурак просит у ангела мудрую жену:

*«Хорошо! — говорит ангел. — Ступай к такой-то реке, сядь на мосту и смотри в воду; мимо тебя всякая рыба пройдет — и большая и малая; промеж той рыбы будет плотичка с золотым кольцом — ты ее подхвати и брось через себя о сырую землю». Дурак так и сделал, пришел к реке, сел на мосту, смотрит в воду пристально — плывет мимо рыба всякая, и большая и малая, а вот и плотичка — на ней золотое кольцо вздето; он тотчас подхватил ее и бросил через себя о сырую землю — обратилась рыбка красной девицей»* [НПС II: 162, № 216]<sup>4</sup>.

Вообще, согласно исследованиям А. В. Гуры, «в фольклорных текстах образ рыбы обычно наделяется женской символикой. В свадебных песнях рыбаца, пойманная в сети, символизирует невесту, а жених часто изображается рыбаком. Например, в величальных песнях молодым: *Да як наш Мишенька рыболовцем был, [2 р.] / Он ходил с неводом коло озера, [2 р.] / Он словил рыбиньку красноперую. [2 р.] — Жёночки, лебёдки, то не рыбинька, [2 р.] / А моя Нюшенька чернобривенька [2 р.] (Латгалия); Ой, да хотят тебя, белая рыба, / Все хотят тебя поймати, / [...] / Да хотят тебя, белая рыба, застрелити, / [...] / Ой, да на двенадцать частей разрубити, / [...] / Ох, да на двенадцать столов разложити, / [...] / Ой, да вы ешьте, гостечки, сваточки, / Да рыбушку нашу* (Воронежская обл., Хохольский р-н, Боршово). Образ девушки-рыбки присутствует и в любовно-лирических песнях. Например, в польской: *Na Korczyńskim bagnie / Rybka wody pragnie, / Ożeń sie Marysiu, / Bo ci tak nieladnie* «На Корчинском болоте рыбка воды просит. Выходи замуж, Марыся, ведь так жить невесело» [Гура 1997: 751–752].

<sup>4</sup> Причем жена-рыба впоследствии несколько раз чудесным образом спасает героя сказки от смерти и, следовательно, выступает в роли чудесного помощника-«спасителя».

Вспомним также «Калевалу» (V.123–126), где пойманная Вайнямейненом рыба говорит:

Я совсем не семга моря  
 И не окунь вод глубоких:  
 Я девица молодая,  
 Ёукахайнена сестрица  
 [Калевала 1985: 66].

В соответствующей оригинальной песне рыба, ускользнувшая от Вайнямейнена, готового уже съесть ее на обед, упрекает его:

Ох ты, старый Вайнямейни,  
 Ведь к тебе я приходила  
 Не для полдника лососем [...].  
 Я к тебе с другим являлась:  
 Вековечной стать женою  
 [ВПИ: 32, см. 328].

Вариант: «Эта рыба была бы мне женой» [КЭП: 128] и т. п.<sup>5</sup> Сопоставление невесты или девицы с рыбой для финского фольклора обычно. Ср. частушку из свадебного цикла о неудачном сватовстве: «Ох же ты, любезный братец! / Ты не смог поймать той рыбки, / Для кого взял ты невод, / На кого поставил сети», при том что в Финляндии рыбная ловля (как, впрочем, и охота, особенно на водоплавающих птиц) вообще служила прозрачным иносказанием для обозначения брачных намерений парня [ВПИ: 87, 327]. Ср. еще несколько примеров из необрядовой лирики: «Все сестрицы уплывали / Рыбками к скале прибрежной, / Лососями да по тоням»; «Много рыб, красивых с виду, / В шалашах съедают хвойных. / Много дев красивых, юных, / Портят под отцовской кровлей»; «Нас, девиц, в деревне вдоволь, / Словно рыбы- сига в море» [ВПИ: 93, 117, 118]. И финская традиция в этом, как мы видели, не отличается от балтийской и славянской.

Сродни этому и в видении индейца квакиутль «женщины превратились в больших красных рыб, в возбуждении совершавших конвульсивные движения» [Леви-Стросс 2000: 44].

<sup>5</sup> Интересно, что в некоторых вариантах руны из Эстонии девица появляется из рыбы постепенно при разделывании последней, как бы будучи проглочена рыбой. Например: «Перерезал рыбе голову. Что светится из головы? Из головы светится красный веночек. Перерезал рыбе шею. Что светится на шее? На шее светятся голубые жемчужины. Перерезал рыбе грудь. Что светится на груди? На груди светится большая застежка» и т. д. до туфельек [Niemi 1996: 532–534 и далее].

Наконец, в Индии «и санскритское *mīna-akṣī-* и тамильское *an-kayal-kanni* означают одно и то же: ‘рыбо-глазая, с рыбьими глазами’. Как в тамильской, так и в санскритской поэзии эта метафора использовалась для описания больших блестящих глаз красивой женщины. Это было признаком красоты, и образы богинь имели преувеличенно большие круглые глаза. В Meluhha терракотовые образки богинь изображались с подобными изумительными глазами [...]. Эти маленькие статуэтки почти нельзя отличить от статуэток сирийской Астарты, иерапольской Великой Матери, которая также была известна под именем богини-рыбы Атаргатис» [Sinha 1993: 72–74]. В свою очередь, «богине Астарте была посвящена рыба, которая плавала в прудах ее святилища в Иераполе [...]. Рыба — это чудесное дитя богини. Иисус сам был таким же чудом — рыбой, пойманной в священном пруду Святой Девы. „Великая незапятнанная Рыба из Источника, выловленная непорочной девой“, как назвал Его во втором веке епископ фригийского Пентаполя Авириций. На четвертой неделе человеческий и рыбий эмбрионы неразличимы. С этого момента их судьбы расходятся — человек за девять месяцев проходит 440 миллионов лет эволюции, купаясь в водах внутреннего моря: рыба, плавающая в священном пруду. [...] Женщина носит в своем теле первозданное море, и запах рыбы — это чистейший запах ее „йони“» [Ibid.: 86–87]. Создается образ не только рыбы в море, представляющей утробу, мать, невесту, но и, наоборот, образ самого порождающего «моря» внутри женщины-рыбы. По словам Элиаде, вообще «женщина, вода, рыба конституционально принадлежат к единому символизму плодородия, действительно для всех планов космического бытия», так, например, «в шумерском языке *a* означало ‘вода’, но равным образом оно означало ‘сперма’, ‘зачатие’, ‘порождение’. В месопотамской клинописи, к примеру, вода и рыба символизируют плодородие» [Элиаде 1999: 184].

\* \* \*

И рыба в этом случае — это уже не только женщина, мать и ее утроба, матка, но и сам ее зародыш — будущее дитя (см. об этом выше). С рыбой сопоставлялись, например, как сама семитская богиня-мать Деркетто, так и ее сын Адонис, или Таммуз [FW: 391]. По словам Юнга, напоминающего нам по этому поводу и об астрологическом символизме рыбы, «в полночь, в сочельник, когда (по старому летоисчислению) солнце вступает в знак Козерога, Дева восходит на восточном горизонте, а за ней в скорости следует созвездие Змеи, которую держит в руках „Змееносец“», подразумевая опять же заглывание чудовищем, и «это астрологическое совпадение представляется мне достойным упомина-

ния, наравне с идеей о том, что две рыбы суть мать и сын. Последняя идея особо значима, ибо такое отношение предполагает, что две рыбы когда-то были единым целым. Действительно, вавилонская и индийская астрология знают лишь одну рыбу. Позднее эта мать родила сына, который, как и она, был рыбой. То же произошло с финикийской Деркетто-Атаргатис: сама будучи наполовину рыбой, она родила сына по имени Ихтис» [Юнг 1997: 128]. И как в контексте символики «рыба-смерть» говорилось о рыбе, пожирающей рыбу [Разаускас 2006: 334], так теперь на тех же правах речь идет о рыбе, рыбу рождающей.

И если вместе с Проппом мы видели, как «поглощение животным заменяется поглощением водой, купаньем в пруду» [Пропп 1998: 311], то на тех же правах пребывание в рыбе и рождение из рыбы теперь заменяется пребыванием в воде и рождением из воды. А вместе с Юнгом здесь «стоит только упомянуть возрождение в купели, где принимающий крещение плавает, подобно рыбе» [Юнг 1997: 90].

И зародыш в таком случае, как только что было сказано, «купаясь в водах внутреннего моря» материнской утробы, действительно есть «рыба, плавающая в священном пруду», а «женщина носит в своем теле первозданное море», которое эту рыбу вынашивает. Согласно Юнгу, «рыба во сне иногда означает неродившееся дитя, поскольку дитя до своего рождения живет в воде как рыба [...]. Рыба, следовательно, есть символ возобновления и возрождения» [Jung 1990: 198]. Э. Нойманн в отношении связи между матерью и эмбрионом в ее утробе говорит: «Эта связь наиболее ярко выражается в „до-человеческих“ символах, где Мать является морем, озером или рекой, а младенец — рыбой, плавающей в окружающей его воде» [Нойманн 1998: 67].

Вообще символическое отождествление утробы, матери с водой, водоемом, в частности с морем, слишком хорошо известно, чтобы о нем здесь много говорить (см. [МНМ I: 240]). Приведем лишь один древнеиндийский пример. По словам Ф. Б. Я. Кёйпера, «в „Шатапатхабрахмане“ (VI.8.2.3) мантра, касающаяся божественных „жен“, объясняется с помощью этимологического каламбура: „Жены (*jānayaḥ*), поистине, — это воды, потому что от этих вод рождается (*jāyate*) вселенная“. Приравнивание вод (обозначаемых существительным ж. р. мн. ч. *āpah*) к женам бога также встречается в „Ригведе“. [...] См., например, ссылки на „неразличимый поток“ (X.19.3), высокие воды, которые зачали вселенную в виде своего зародыша и породили бога огня (X.121.7). В других местах к водам обращаются с призывом как к матерям (X.17.10; I.23.16). См. особенно VI.50.7: „Ведь вы самые материнские целительницы, матери (*jānitri*) всего, что стоит и движется“» [Кёйпер 1986: 118]. Ср. еще в «Атхарваведе» IV.2.6: «Воды в начале

господствовали надо всем, воспринимая зародыш...» [Атхарваведа I–VI: 172]. Далее Кёйпер еще приводит слова, которыми сириец Яков из Эдессы описывал изначальные воды и землю до космогонии: «В Библии говорится: „Земля же была безвидна“ — из-за Техома („Первозданного Океана“), который был неподвижен и окружал ее с шести сторон, подобно тому как зародыш окружен оболочкой в утробе матери» [Кёйпер 1986: 125], — ср. в этом отношении отождествление самой Земли с рыбой [Разаускас 2006: 307–309]. Таким образом, действительно «сотворению Космоса из воды соответствует — на антропологическом уровне — представление о происхождении людей из воды» [Элиаде 1999: 204]. «Поскольку вода есть первоисточник всего сущего, в котором заключены все возможности и прорастают все зачатки, легко понять существование мифов, возводящих к ней происхождение рода человеческого или какой-нибудь отдельной расы. На южном берегу Явы находится *segara anakkan*. ‘Море детей’. Индейцы караджа в Бразилии еще помнят мифические времена, когда они „еще жили в воде“. Хуан де Торквемада, описавший крестильные омовения новорожденных в Мексике, сохранил для нас несколько формул, посредством которых младенец посвящался Богине Вод Чальчиутликуэ Чальчиутлатонак, считавшейся его подлинной матерью. Перед погружением младенца в воду говорили: „Прими эту воду, ибо богиня Чальчиутликуэ Чальчиутлатонак есть твоя мать. Да очистит тебя это омовение от грехов твоих родителей...“ Потом, касаясь водой губ, груди и головы младенца, добавляли: „Прими, дитя, мать свою Чальчиутликуэ, Богиню Вод“. Древние карелы, мордва, эстонцы, черемисы и другие финно-угорские народы знали „Мать-Воду“, к которой обращались за помощью женщины, желавшие иметь детей. Бесплодные тагарки на коленях молились у пруда. [...] Этот символизм поистине универсален. Германия изобилует „детскими источниками“, „детскими прудами“, „детскими колодцами“. В Оксфордшире в Англии есть „Детский колодец“, известный тем, что исцеляет женщин от бесплодия. Многие такого рода верования континированы представлением о Матери-Земле и эротическим символизмом фонтана» [Элиаде 1999: 186–187].

Мать, утроба, порождающее лоно и в балто-славянской традиции недвусмысленно связываются с водой, а зародыш при этом — что для нас в данном случае существенно — с рыбой. Так, по словам Л. Н. Виноградовой, «в составе вербальных формул-объяснений, „откуда берутся дети“, известны восточнославянские варианты, в которых появление детей (или их душ) связывалось с водой: *Дитэй ловлять на ричцы; Тебя баба у болоти зловыла*. Лужичане объясняли появление на свет новорожденных тем, что некая баба вылавливает их души в глубоких ому-

тах и озерах. С этими воззрениями связаны и поверья о рыбах как душах либо умерших, либо еще не родившихся людей» [Виноградова 1999: 152]. В частности, в Полесье известны «формулы, в которых средой появления младенца называлась вода», и «в качестве наиболее характерных выступают здесь глаголы „ловить“, „поймать“ — по отношению к субъекту действия и „плыть“ — к объекту вылавливания: *Дитэй ловлять на ричцы; Тебе ў реце паймали; Баба ў болоте зловыла; На ричцы зловылы, як дитя плыло*. К такому минимальному тексту могли присоединяться дополнительные уточнения, мотивирующие появление людей у воды: *Пашла на канаву мыць (стираць), аж плыве дитятка на ваде, я злавил: Ехали лодкой, да паймали ў ваде*» [Виноградова 1995: 182]. «Особенностью украинских вариантов является то, что субъектом действия обнаружения детей в воде почти неизменно оказывается „баба“, часто именуемая Марией (*В болоті баба Марійка найшла*). Кроме того, в украинском материале более определенно выделена роль воды как стихии, самостоятельно приносящей детей: *Вода принесла. Я вийшла на двір, коли вода біжить і дитинку несе на воді. Я піймала*. Водная стихия выступает как среда появления младенцев и в немецких и сербо-лужицких поверьях. Лужичане, например, объясняли появление детей тем, что некая баба (слово *Bademutter* определяется и как ‘водяная мать’, и как ‘баба-повитуха’) вылавливает с помощью корзины младенцев в глубоких омурах рек и озер» [Виноградова 1995: 183]. Притом, по уточнению А. В. Гуры, лужичане непосредственно «объясняют появление детей тем, что „водная мать“ вылавливает из глубокого омура их души в виде рыбы» [Гура 1997: 748]. Прямое уподобление новорожденного рыбе мы находим в полесских заговорах: от выкидыша — *Шчучька секонца* [вероятно, искаж. *окунец да времяа да реченца* [ср. бел. *рчанец*], *и цур его, Господи, и памилуй ее, Господи, рабу Божию (имярек); отел коровы — Кагда плотка [плотва] и окунь / Лежиць тихо да пары — / Закацися, гара. / Пришла пара — / Аткацися, гара*; притом к последнему заговору составителями собрания прилагается комментарий: «Текст близок к заговорам от выкидыша у женщины с типичным для всей в.-слав. традиции мотивом „Мальчик ты или девочка (плотвица ты или окунец), лежи тихо до поры, закатись, гора. Придет пора — откатись, гора“. Характерно символическое обозначение пола и детеныша скота, и человеческого младенца через названия рыб. Мотив широко встречается в полес. (гомел.) заговорах от выкидыша» [ПЗ: 43, № 34 и 443, № 780] (примечания в квадратных скобках — составителей). Ср. также отрывки из белорусских заговоров на удачные роды:

...І залатыя тыны, затыніцяся, і залатыя ключы, замкніцяся, і царскія вароты, затыніцяся і ка ўрэмо адчыніцяся. І ці рыба чка, ці вакунец,

выдзяржы, пакуля табе выйдзя твой рачанец, без майго чысла, без майго ведама...; — ...І закаціся ж ты, закаціся, Осіяньская гара, яшчэ ж табе, раба божая, раджаць ня пара; да ці р ы б а ч к а, ці в а к у н е ц, выдзяржы ж ты, пакуля выйдзя твой рачанец, без майго ведама, без майго чысла...; — ...Яна замочки адмыкала, царскія вароты адчыняла і з цела младзенца выпускала. Ці ш ч у к а, ці ш ч у к а н е ц, вылезь з цела скоранька, ручанец...; — ...Гара, разайдзіся, камень, раскаціся, жалеза, растапіся, шкло, разбіся, вада, разліся, дубок, развейся, маладзенец-маладзенька, на гэты свет з'явіцеся. Як хлопчык, то на коніку, як дзевачка, то на р ы б і н ц ы [Замовы 1992: 325, № 1096; 326, № 1097; 330-331, № 1120, 1122].

Ср. также русскую загадку: *Какого д и т я мать не воспитает? — Рыбу* [Загадки 1968: 31, № 548].

Я. Курсите замечает, что в Латвии рождение тоже иногда связывается с водой, и «ребенка в таких случаях называют рыбинкой (если мальчик, то *asaris* 'окунь', а если девочка, то *rauda* 'плотва' или 'красноперка')» [Kursīte 1996: 22]. «Также и в родильных заговорах ребенок назывался рыбой, а если совсем конкретно — сын угорьком, а дочь — щучкой: *Atver, Dieviņ, kaula vārtus, laid zuvīti no murda ārā* 'Отвори, Боже, костяные ворота, выпусти рыбку из верши'; *Atslēdz, Dieviņ, ozola krūmu, atver, Dieviņ, ievas krūmu, atver, Dieviņ, liepas krūmu, atver, Dieviņ, Anniņas kauliņus! Ja meitiņa, lai nāk lideciņa, ja dēliņš, kā zutītis* 'Открой, Боже, дубовый куст, отвори, Боже, черёмуховый куст, отвори, Боже, липовый куст, отвори, Боже, Аннушкины косточки! Если девочка, пусть придет [как] щучка, если мальчик, как угорек'. Ребенка, называемого окуньком, красноперкой и т. п., из воды (одного из главных мест происхождения жизни в фольклорных представлениях) либо выуживают, либо вычерпывают, либо он сам выбрасывается на берег волнами», притом «чаще всего ребенка из воды вылавливают *Māra* и *Veca māte* 'повивальная бабка, баба, старушка'» [Kursīte 1996: 351]; заговоры см.: [Straubergs 1939–1941: 384] (ср. выше украинское обозначение соответствующего персонажа *баба Маріюка*).

В Литве младенцы тоже вылавливались из водоемов. Например, при объяснении появления на свет ребенка говорилось, что *bobutė* 'бабка' его *pagavusi baloje* 'поймала в болоте', *atnešusi iš kokio griovio ar patiltės* 'принесла из какой-нибудь канавы или из-под моста', *radusi beskalbdama upely ar ežere* 'нашла, когда стирала в речке или в озере', *ant vandenio pasigavusi* 'на воде поймала', *sugavusi pelkėse* 'в болотах поймала', *sugavusi pelkėje po tilteliu* 'поймала в болоте под мостиком', *sugavusi ežere ar šaltinyje* 'поймала в озере или в источнике', *iš vandens ištraukusi* 'из воды вытащила', *pagauanti baloje* 'ловит в болоте', *sugauanti upėj* 'ловит в реке', при этом бабки иногда имели при себе сачок, который пока-

зывали детям. В иных случаях появление на свет ребенка объяснялось без упоминания бабки, просто: *rado prūde* 'нашли в пруду', *surado kūdroj ar ežere, žietą — pralubėj* 'нашли в пруду или в озере, зимой — в проруби', *rado bučiujė* 'нашли в верше'. Верша здесь, как, впрочем, и сачок, является прямым указанием на то, что будущий младенец в воде имеет вид рыбы. Это очевидно в случае употребления глагола *žvejoti* 'ловить рыбу, рыбачить' в выражениях типа приведенных выше, например: бабка младенца *sužvejojusi ežere ar kūdroje* 'поймала, как рыбу, в озере или в пруду', *sužvejojusi kūdikį kūdroje* 'поймала младенца, как рыбу, в пруду' и т. п. Ср. также выражения типа *upę užtvenkti* 'реку запрудить' в значении 'прислуживать при родах', *pelkę užtvenkti* 'болото запрудить' в значении 'родить внебрачного ребенка', *gyvas žuvis gaudyti* 'живую рыбу ловить' в значении 'повивать, прислуживать при родах' [Jasiūnaitė 2002: 279–280; Balys V: 30] или просто *žuvį gaudyti* 'рыбу ловить' в значении 'принимать новорожденного' [LKŽ XX: 1014]. Ср. также вторичное сопоставление младенца с рыбой по отсутствию речи: *Žuvis ir vaikas balso neturi* 'Рыба и дитя не имеют голоса' [LKŽ XX: 1011].

Уподобление зародыша и младенца рыбе известно также немцам и другим народам Европы [HDA II: 1534, 1544]. Ср. в этом отношении неприличный английский детский стишок: *When I was a young Maid, and washed my Mother's dishes, I put my finger in my..., and plucked out little fishes* 'Когда я была маленькой девочкой и мыла мамину посуду, я засунула палец в свою... и вытащила оттуда рыбок' [Vries 1976: 189]. Может быть, с этим можно связать шотландское поверье, что, «если рыба не клюет, нужно бросить в воду одного из рыбаков и вытащить его оттуда, как будто бы он был рыбой. После этого клев начнется» [ЭС: 394], т. е. как бы возобновится плодородие моря<sup>6</sup>. Во многих традициях, в том числе древнегреческой, люди часто происходят или являются из воды, в частности в облике рыб, как, например, в Новой Гвинее [ER XV: 353–354], в свою очередь австралийские аборигены прямо говорят: «Наши отцы нашли нас в облике рыб» [ER XV: 330]. В одном из мифов индейцев племени томпсон девочка «добралась до озера, где плавало множество р ы б. Она присела понаблюдать за ними. У нее на глазах они превратились в маленьких детей с длинными

<sup>6</sup> «Преподобный отец Джеймс Макдональд рассказывает, что, когда в годы его детства он со своими товарищами рыбачил в районе Лоч-Элайн и рыба долго не брала приманку, они обычно симулировали выбрасывание за борт одного из рыбаков (как будто это была р ы б а), а потом якобы извлекали его из воды. После этого, утверждает отец Макдональд, — в зависимости от того, находилась ли лодка в пресной или соленой воде, — на крючок обязательно клевала форель или силлок» [Фрэнгер 1998: 26].

волосами и вышли на поверхность воды, улыбаясь ей» [Леви-Стросс 2000: 100]. Подобным образом в мифологии ганда бог-питон, хозяин воды (рек) и рыбы, «дарует также детей» [МНМ II: 424]. Постоянным эпитетом шумерской богини Намму, олицетворявшей первоизданное море, был «мать, давшая жизнь всем богам» [МНМ II: 197; Bielicki 1972: 178], т. е. Мать богов или, собственно, Богоматерь.

Юнг в связи с этим обращает внимание даже на звукопись некоторых слов, выражающих понятия матери и моря: «Фонетическая связь между нем. *Mar*, фр. *mère* 'мать' и словами разных языков, обозначающими море (лат. *mare*, нем. *Meer*, фр. *mer*), действительно примечательна, хотя в этимологическом отношении случайна»; и добавляет: «Даже христиане не смогли избежать объединения своей Божьей Матери с водой: *Ave maris stella* — слова, которыми начинается гимн Марии» [Jung 1990: 251]. Выше мы видели, что «рыба — это чудесное дитя богини. Иисус сам был таким же чудом — рыбой, пойманной в священном пруду Святой Девой. „Великая незапятнанная Рыба из Источника, выловленная непорочной девой“, как назвал Его во втором веке епископ фригийского Пентаполя Авириций» [Sinha 1993: 87]. В этом отношении показательна „огромнейшая рыба“ надписи Аверкия, соответствующая „рыбе из источника“, упоминавшейся в религиозных дебатах при дворе Сасанидов (V век). Источник указывает на вавилонскую Геру, однако на христианском языке он означает Марию, к которой и в ортодоксальных, и в гностических кругах („Деяния Фомы“) обращались *pēgē* 'источник'. Так, в гимне Синезия (ок. 350 г.) читаем: *Pagá pagōn, archōn archá, rhizōn rhíza, monàs eī monádōn* ('Кладезь кладезей, всех начал исток, корень всех корней. Всех единств — одно...'). Об источнике Геры также говорится, что в нем содержится единственная рыба (*mónon ichthýn*), которая ловится на „крючок божества“ и „кормит весь мир своей плотью“» [Юнг 1997: 131–132]. Таким образом, Богородица Мария, подобно соответствующим дохристианским богиням, символически уподобляется водоему, вынашивающему чудесную рыбу — Христа (вспомним, кстати, что будущий Будда, согласно «Ниданакатхе», при своем рождении также ловится сетью [Thomas 1949: 33]). Ср. выше латышскую Мару, *Māra*, и украинскую Марию, *Марію́ка*, вылавливающих младенца-рыбу из воды.

В славянской традиции в этом отношении также обращает на себя внимание известный женский мифологический персонаж под именем *Мара*, *Марина*, *Марья*, *Мора*, *Морена* и т. п., который, с одной стороны, переплетается с *Марией*<sup>7</sup>, а с другой, как семантически, так и фонети-

чески связывается с *морем* (и со смертью, *мором*)<sup>8</sup>. Ср., например, в отношении персонифицированной смерти (мора): *для чего выходят из океана, и из моря, бабы простоволосы, для чего оне по миру ходят... или идут к ним 12 дев, с моря, пустоволосых, страшные и безобразные и т. п.* [Иванов, Топоров 1965: 114]. В литовской сказке появляется некая *pana iš marės* 'дева из моря', которая непосредственной связи со смертью не имеет, но зато выходит замуж за «сына святого Иоанна Крестителя» (!) [ŠLP: 109–116, № 73; ATU: 531]. Она же — *marių pana* или *marių merga*, буквально 'морская дева' (о ней см. чуть ниже), заслуживающая сопоставления с народным наименованием Девы Марии *Mergelė Marija* или *Pana Marija*. Наряду с представлением смерти в виде моря, в котором плавают души умерших в облике рыб (см. [Разаускас 2006: 323–327]), образ моря приобретает также и свойства материнского лона, вынашивающего душу к возрождению, в частности и в архетипе — Христа, который, будучи рыбой, победил смерть и восстал из *моря смерти* — (воз)родился из чрева *Марии*. Ср. такие литовские сокращения имени Марии, как *Mārė*, *Marė*, *Marià* [Kuzavinis, Savukynas 1987: 263], и, с другой стороны, варианты названия моря *mārė*, *marià* [LKŽ VII: 848, 858]; также ср. такие гидронимы, как лит. *Marà*, *Marėlė*; лтш. *Maras-upe*, *Mariņa*, *Māra*, *Mār-upe*; прус. *Mariten*, *Marithen*, *Maritten*, *Moriten*; в бассейнах Вислы и Одера польск. (дославянского происхождения) *Maryta*, *Marynia*, *Maruszka*, *Maruńka*, нем. *Marien See* [Vanagas 1981: 204; Орел 1997: 342], тем более что исторически, по мнению некоторых исследователей, «наряду с другими литовскими языческими богинями, водяные богини отождествлялись с Божьей Матерью Марией» [Dundulienė 1989: 35].

С другой стороны, Богородица сама уподобляется (особой) рыбе. Так, «[Плиний описывает рыбу — *stella marina*, 'морскую звезду', — озадачивавшую, по его словам, многих великих философов» [Юнг 1997: 148]. А свечение этой рыбы — это, по мнению Picinellus'a, «огонь Святого Духа», и «тот удивительный факт, что огонь *stella marina* не гаснет в воде, напоминает нашему автору *o divinae gratiae efficacitas* ('действию божественной благодати'), воспламеняющей сердца, погруженные в „море греха“. На этом же основании, рыба означает милосердие и божественную любовь» [Юнг 1997: 149]. Но *Stella Maris* (тоже, собственно, 'Морская Звезда') — это Дева Мария, в литовской традиции к тому же отождествляемая с дохристианской богиней утренней звезды, в фольклоре принявшей образ «морской девы», о которой говорилось чуть

<sup>7</sup> См., в частности, [Иванов, Топоров 1974: 198–200].

<sup>8</sup> См. [Иванов, Топоров 1965: 76, 114; 1974: 230; МНМ I: 531]. Ср. также варианты *Мокрая Мария*, *Марина*, *Макрина* и т. п. [Топоров 1982а: 145].



выше<sup>9</sup>. Заслуживает внимания в этом отношении и так называемая мандорла — «изображение миндалевидного сияния, которое использовали в средневековом христианском искусстве, чтобы выделить фигуру возносящегося на небо Христа, а иногда и Девы Марии или других возносящихся святых. Известная как *vesica piscis* ('рыбный пузырь'), мандорла была раннехристианским символом Христа во Славе. В мистике «миндаль» (по-итальянски *mandorla*) был символом чистоты и целомудрия, его овальная форма была в древности символом в у л ь в ы» [Тресиддер 1999: 212]; см. [Metford 1983: 166, 253]. Таким образом, восхождение восставшего из гроба Христа с земли на небо и в этом случае можно представить как выход из «чрева рыбы», т. е. как рождение из материнского = материального мира, представленного рыбой, в мир духа.

\* \* \*

В свою очередь, Христос, принимаемый в себя с причастием, соответствующим образом возрождает к вечной жизни и спасает верующего в Него. Но так как Христос сам является рыбой, то и причастие можно представить как поедание именно рыбы. Так, в сирийском культе рыб, посвященных Атаргатис, «на некоторых мистических трапезах жрецы и посвященные вкушали эту запретную пищу и верили, что при этом поглощают плоть самого божества» [Кюмон 2002: 154–155]. Следовательно, «Христос выступает не только рыболовом, но и рыбой, „евхаристически“ поедаемой. Августин говорит в „Исповеди“: „Но [земля] подает рыбу, извлеченную из глубин, за столом, уготованным тобою для верующих; ибо рыба извлечена была из глубин, дабы накормить нуждающихся на земле“. Святой Августин имеет в виду рыбную трапезу учеников в Еммаусе (Лука, 24. 43)» [Юнг 1997: 129]. Ср. выше источник Геры и его «единственную рыбу» (*mónon ichthýn*), которая ловится на «крючок божества» и «кормит весь мир своей плотью». Вспомним в этой связи и кормление народа хлебом и рыбой в Евангелии (Матф., 14. 19–20; Лука, 9. 10–17; Ио., 6. 1–13)<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> [Greimas 1990: 129–132 и далее]; см. [Gimbutienė 2002: 111]. Основной фольклорный источник — сказка АТ 531, см. [PSO: 78. 320, № 8. 101; RSPS: 180–181, № 104; SLP: 115, 116, № 73] и др. Образ «девы из моря» имеет многочисленные параллели в других традициях, ср. хотя бы древнеегипетскую Исиду, выходящую из моря и приравниваемую к Венере в «Метаморфозах» Апулея (XI. 2–5) [Элиаде 1998: 298–300], а впоследствии как раз и ставшую одним из прообразов христианской Марии.

<sup>10</sup> В связи с преломлением вместе с рыбой хлеба стоит, может быть, привести отрывок из Диогена Лаэртского (VIII. 34) с упоминаемым им наказом Пифагора

Кстати, ср. в этом отношении народную легенду, в которой воскресение Христа ставится в зависимость именно от оживания по е д а е м о й р ы б ы. Имеется в виду вариант этимологического сказания о происхождении камбалы (АТ 2126, в классификации Й. Балиса № 3180 [Balys III: 176–177]). Ср. литовский вариант:

*Erodas valgė vakarienę. Valgė žuvį, ir buvo žuvies visas vienas šonas nuvalgytas. Tiktai užgirdo, kad kažkas dungtelėjo.*

— *Kas gi čia? — klausia Erodas.*

— *Kristus iš numirusių atsikėlė, — atsakė kiti.*

— *Jau kaip šita žuvis nepasidarys gyva, taip ir Kristus neprisikels, — pasakė Erodas.*

*Tiktai žiūri — kad kruta žuvis. Tai ją mariosna ir paleido. O kaip jos buvo pusė nuvalgyta, tai ir atsirado vienašonės žuvis.*

‘Ирод ел ужин. Ел рыбу и уже съел один бок ее. Только слышит, что-то стукнуло.

— Что же это такое? — спрашивает Ирод.

— Христос воскрес из мертвых, — ответили другие.

— Уж как эта рыба не станет живой, так и Христос не воскреснет, — сказал Ирод.

Только смотрит — шевелится рыба. Так ее в море и отпустили. А так как половина ее была уже съедена, то и появились однобокие рыбы’ [КАЖ: 79, № 143].

Только рыбу здесь ест, в противоположность причастию, не ученик Христа и не посвящаемый им в таинство, а его противник Ирод. Вспомним, однако, мифического героя (в том числе и самого Христа в его уподоблении себя Ионе), который в качестве первообраза инициации поглощался чудовищем и возрождался из него для новой жизни. В причастии рыба (опять же — Христос) поедается посвящаемым и возрождается в нем (из чрева — в душу, так сказать), заново рождая его самого для духовной жизни. И в этом опять обнаруживается теснейшая связь рыбы с рождением, только рыба теперь представляет не чрево, утробу, мать (или не только и не столько чрево, утробу и мать, если учесть образ «рыбы в рыбе»), а наоборот — зародыш во чреве.

Ср. в этом отношении русский вариант сказания о происхождении камбалы, в котором рыбу ест не кто иной, как сама Богородица:

«не касаться рыб, которые священны, — потому что не должно богам и людям располагать одним и тем же, точно так же, как свободным и рабам. Не преломлять хлеб — потому что в старину друзья ели от одного куска, как варвары и сейчас, а того, что сводит людей, делить не нужно (впрочем, иные говорят, будто это — к посмертному суду; иные — что от этого робеют на войне; а иные — что от этого начинается целокупность)» [ДЛ: 341].



В субботу, когда Христос был уже распят, к Богородице явился архангел Гавриил и сказал:

— Твой сын воскреснет из мертвых.

Б о г о р о д и ц а в э т о в р е м я е л а р ы б у, и с о д н о г о б о к у р ы б а б ы л а у ж е с ь е д е н а. Б о г о м а т е р ь п е р е к р е с т и л а с ь и п р о и з н е с л а:

— Т о г д а м о й с ы н в о с к р е с н е т, к о г д а о ж и в е т э т а р ы б а.

А рыба встрепенулась и ожила. Богородица опустила ее в море. С тех пор у камбалы один бок как у обычной рыбы, а на другом видны ребра [Левкиевская 2002: 131]; см. [Белова 2004: 159, 291]<sup>11</sup>.

Поскольку рыбу здесь ест сама мать Иисуса — Мария, и рыба при этом оживает (и отпускается обратно в море), то тут можно усмотреть то же символическое тождество поедания и оплодотворения, пищи и семени, о котором говорилось выше, только с другой стороны: если раньше поглощенный рыбой (= маткой) герой вынашивался во чреве для возрождения, то теперь человеку, женщине предстоит зачать от съеденной рыбы (= семени). И представления такого рода не менее архаичны и широко известны, чем те, о которых говорилось выше.

<sup>11</sup> В восточнославянской традиции воскресший Христос в этом сюжете тоже сопоставляется с ожившей рыбой (не обязательно камбалой) не только в связи с «трапезой Богородицы» (варианты см. [Белова 2004: 371–373, № 766–772]; также [Белова 2001: 147]), но и в связи с «трапезой евреев», «иродов», «июд» и т. п., наподобие приведенного выше литовского варианта (см. [Белова 2004: 366–368, № 758–762; 2001: 147]). В свою очередь, ср. литовское обозначение рыбы-камбалы *Marijos žuvelė*, буквально ‘рыбка Марии’ [Lipskienė 1975: 252]. Само сопоставление Христа и рыбы здесь очевидно вторит образу Спасителя-«Ихтиса».

С другой стороны, в латышской традиции «однобокие» рыбы вроде камбалы встречаются и совершенно в ином контексте, далеком от христианского, тем не менее они продолжают оставаться святыми: *Varakļānu pag. Rēzeknes apri. senos laikos bijis Vabuļu ezers. Tāt vietā sen, sen apkaļ bijusi pils. Pils esot nogrimusi, un viņas vietā cēlies ezers. Ezerā esot dzīvojušas zivis ar vienu aci un vienu plakanu sānu. Tās esot svētas zivis bijušas. Jāņu naktīs, kamēr ezers nebijis aizaudzis, pils esot cēlusies augšā ar lielu troksni, varejuši dzirdēt, ka tur braucot, dziedot, zvani skanot. Zivis esot Jāņu naktī saukušas, pa ezeru skraidīdamas: «Cūk, cūk, cūk, viena aciņa ir, otras nav!» Ja kāds cilvēks būtu zinājis atminēt pils vārdu, tā būtu cēlusies augšā. Tagad ezers jau ir aizaudzis, viņa vietā ir staigā. Iļgojoša zeme ar daudzām avotiem* ‘В Вараклианской волости, Резекненском округе в старые времена было озеро Вабулю. В том месте много лет тому назад был замок. Замок провалился, а на его месте появилось озеро. В озере, говорят, жили рыбы с одним глазом и одним плоским боком. Это были с в я т ы е рыбы. В Купальскую ночь, пока озеро еще не заросло, замок с большим шумом поднимался вверх, можно было слышать, как там ездят, поют, звучат колокола. Рыбы, говорят, в Купальскую ночь носились по озеру и кричали: «Цук, цук, цук, один глазок есть, другого нет!» Если бы кто-нибудь смог вспомнить название замка, он поднялся бы вверх. Сейчас озеро уже заросло, на его месте болото, земля качается, и много источников’ [LTT: 284].

Так, Пропп отвечает на поставленный самим собой тот же «вопрос: съедалась ли где-либо и когда-либо рыба в целях вызвать рождение? Гартлянд говорит<sup>12</sup>: „Неделю спустя после смерти кого-нибудь конды совершают обряд возвращения души умершего. Они идут к реке, выкликают имя умершего, ловят рыбу и приносят ее домой. В некоторых случаях они едят ее, полагая, что, делая так, они возвращают умершего, который благодаря этому снова рождается в семье в виде ребенка“. Этот случай особенно ясен. Умершего в виде рыбы зовут обратно, ловят его, приносят домой, съедают, и он возрождается в виде ребенка. [...] Подобный же случай мы имеем в одной из джатак, приведенных у Пишеля<sup>13</sup>. „Когда в древние времена в Бенаресе царил благочестивый и справедливый царь Падмака, на его подданных напала желтая лихорадка. После того, как врачи напрасно использовали все средства, они, наконец, объявили, что только рыба Rohita здесь может помочь [т. е. — спасти]. Несмотря на все поиски, такая рыба не могла быть найдена. Наконец царь решил принести себя в жертву для своего народа [т. е. стать жертвой-спасителем]. Он передал царство своему старшему сыну, поднялся на вышку дворца и бросился вниз, выражая желание в следующем рождении возродиться рыбой Rohita. Его желание исполнилось. Немедленно после этого он был найден на речном песке в образе огромной рыбы Rohita. Народ сбегался и стал ножами срезать его мясо. Он назвал себя и обратил их в буддизм“. Этот случай представляет собой явное переосмысление. Сюжет прошел через руки жрецов и получил соответствующую политическую и религиозную окраску. Вкушение в целях исцеления и ведет к обращению в новую веру [ср. причастие]. Но для нас этот случай все же ценен, так как он показывает, что вкушение рыбы на более ранних стадиях представляло вкушение умершего. Повидимому, именно в Индии этот обычай был особенно распространен. Агиры, каста пастухов крупного скота в центральных провинциях Индии, также возвращают души умерших домой в форме рыбы, после того как они сожгли или где-нибудь похоронили труп» [Пропп 1976: 228–229]. И в Древней Греции верили, что душа мертвого может быть возрождена, если превратится в рыбу и будет съедена своей будущей матерью [Vries 1976: 189]. По данным Гартлянда, «у трансильванских саксонцев бездетные женщины на праздник Рождества [!] едят рыбу, а кости бросают в проточную воду, надеясь таким образом произвести на свет ребенка», а в Исландии «во второй половине XVIII века рассказывали, что некая знатная женщина, желая иметь ребенка, по совету трех

<sup>12</sup> Ссылка на [Hartland 1919: 50].

<sup>13</sup> Ссылка на [Pischel 1905: 511].

женщин, явившихся ей во сне, легла у ручья и попила из него. Она устроила дело так, что в рот ей попала форель. Она проглотила ее, и желание ее исполнилось» [Пропп 1976: 231]. «Один сельский священник рассказал Гартлянду следующее: „Однажды он шел с женой кузнеца через мост. В это время мальчик удил рыбу. Женщина сказала: Если бы он мог дать мне живую форель, я передала бы ее нашей корове, чтобы она произвела теленка“<sup>14</sup>» [Пропп 1976: 232]. В свою очередь, некий ирландец Туан, по преданию, последние из своих прошлых жизней прожил «сотню лет в облике лосося. Один рыбак поймал его в свою сеть и отнес королеве, жене Муиредаха Муиндерга; она отведала лосося, и именно в ней был, наконец, зачат Туан» [Леру 2001: 210]; см. [MacKillor 2004: 376, 414]. «В Гренландии говорится, что съев определенную рыбу, женщина и даже мужчина может забеременеть. В Бразилии, Самоа и Индии девицы оплодотворялись, получив в подарок рыбу. Если муж бездетной женщины съест рыбу из „Моря Детей“ на южном побережье Явы, он будет иметь потомство» [FW: 392]. В мифологии сапотеков богиня-мать «Уичаана, давшая жизнь человеку и рыбам, считалась покровительницей новорожденных» [МНМ II: 6].

Выше уже говорилось о сопоставлении литовцами рыб и новорожденных по признаку отсутствия речи: *Žuvis ir vaikas balso neturi* ‘Рыба и дитя не имеют голоса’ [LKŽ XX: 1011]. Ср. еще поверья: *Jei mažam vaikui duosi žuvis, tai ilgai nekalbės* ‘Если маленькому ребенку дашь [поест] рыбу, то он долго не будет говорить’; *Mažam vaikui, kuris dar nekalba, nereikia duoti žuvenios valgyti, nes jis turės tokį balsą, kaip žuvis, tai yra, nekalbės* ‘Маленькому ребенку, который еще не говорит, нельзя давать есть уху, потому что у него будет такой голос, как у рыбы, то есть он будет нем’ [Elisonas 1932: 49, № 415, 416]. Также славяне, по данным А. В. Гуры, «детям, пока они не начнут говорить, не дают есть ни рыбы, ни уха, иначе они долго будут немые, как рыба, не научатся говорить (Витебская губ., Дриссенский у., Борковичи; Минская губ., Слуцкий у.; Македония, Прилеп; Лужица). В Сербии по тем же причинам запрещено есть рыбу и беременной женщине (то же у немцев и шире [HDA II: 1529, 1540]). Это свойство рыбы как ее мифологический признак играет определенную роль и в представлениях о рыбах как душах: беззвучность, немота — признак, соотнесенный с миром мертвых, сближающий рыбу и душу человека, отошедшего в мир иной, или ребенка, еще не появившегося на этот свет. Этим определяется символическая амбивалентность рыбы: она является одновременно и символом смерти, и символом рождения. [...] Ср. также белорусское толкование сна:

<sup>14</sup> Ссылка на [Hartland 1919: 52].

*Рыбу (видеть) — коли живая, дак дети жить будуть* (также: здоровье), *а коли мертвая — помруть* (также: болезнь) (Витебская губ., Городокский, Лепельский у.; Могилевская губ., Рогачевский, Гомельский, Горецкий, Оршанский, Сенненский у.). С представлением о душах неродившихся детей в облике рыб связано, например, толкование сна о рыбе. Женщине такой сон сулит беременность и роды (Витебская губ., Полоцкий у., Маширово; Минская губ., Минский, Борисовский, Бобруйский у.; Гомельская обл., Добрушский р-н, Дубровка; Ровенская обл., Рокитновский р-н, Глинное, Дубровицкий р-н, Крупово, Сварицевичи; Волынская обл., Ковельский р-н, Уховец; Брестская обл., Малоритский р-н, Олтуш). Например: *Як зловыла рыбу, шчучку, то точно, ужэ ў положэнне зайшла* (Житомирская обл., Овручский р-н, Журба); *Як рыбину зловить — дытя народыць* (Житомирская обл., Новоград-Волынский р-н, Курчица); *Паймала рыбу — зродиш нешта: шчука — дэвачка, а карась — хлопчык* (Гомельская обл., Петриковский р-н, Комаровичи); *Як жэнчына поймае рыбу — заберемене: як судак, окунь — (родітся) хлопец, як шчука — дэвочка* (Киевская обл., Чернобыльский р-н, Копачи); *Калі бабі на час ўоҳ прысніце рыбка маленечка — дачка будзе* (Гродненская губ., Волковыский у.). Аналогичное представление отражено также в сказочном сюжете о том, как бездетная царица, съев рыбку, рождает ребенка. В сербской песне по совету «вил» королева беременеет от съеденного правого „крыла“ златоперой рыбы, выловленной в Дунае» [Гура 1997: 747–748]; см. [СМ: 417; Дучыц, Санько 2004: 441]. Ср. выше ирландское предание о Туане, зачатом королевой от съеденного лосося.

Указанный Гурой сказочный сюжет приведем в кратком пересказе Потебни: «У царя нет детей. По совету нищего он приказывает девкам-семилеткам за одну ночь напрясть, а мальчикам — сплести шелковый невод. Тем неводом поймали золотоперого леща. Поварка бросила кишки этого леща собаке, помой дала выпить трем кобылам, сама оглодала косточки, а р ы б у царица съела. От того царица родила Ивана Царевича, поварка — Ивана-поваренка, сука — Ивана-сученка, а кобылы ожеребились тремя жеребятами»; в другом варианте «от золотоперого ерша царица родила Ивана Царевича, кухарка — Ивана, кухаркина сына, а корова — Ивана Быковича»; при этом Потебня высказывает предположение, что «беременность от съеденного куса рыбы есть, быть может, указание на то, что рыба есть истинная мать богатыря», и в связи с этим тут же напоминает нам, как «Иван Голик, брошенный в море и поглощенный большою рыбою, добывается из нее на свет, и это, быть может, есть его настоящее рождение» [Потебня 2000: 277–278].

В. Я. Пропп в отношении этой пересказанной Потесбней сказки замечает: «Сопоставляя этот случай с предыдущими, мы можем поставить вопрос, не отражает ли данный случай обряд съедения тотемного предка с целью его возвращения к жизни?» [Пропп 1976: 227]. А. Н. Афанасьев также обратил внимание на эту сказку, приводя в связи с ней упомянутую выше А. В. Гурой сербскую народную песню в сопровождении своего прозаического перевода:

*Да сакупи будимске девојке,  
Да донесе много сухо злато,  
Да саплете ону ситну мрежу,  
Ситну мрежу от сухога злата,  
Да је баци у тихо Дунаво,  
Да увати рибу златокрилу,  
Да јој узме оно десно крило,  
Опет рибу у воду да пусти,  
Крило да да госпоић крал(ь)ици —  
Нек изеде оно десно крило,  
Иеднак ће му трудна заходити*

‘Пусть соберет король будимских девиц, принесет много чистого золота и слетет частую мрежу, частую мрежу из чистого золота, пусть закинет сеть в тихий Дунай, поймает златокрылую рыбу и возьмет у ней правое крыло, рыбу да отпустит в воду, а крыло отдаст госпоже-королеве: когда съест она правое крыло -- тотчас забеременеет’» [Афанасьев II: 81–82].

При этом, по мнению Афанасьева, «чудесная рыба, исцеляющая от неплодия, напоминает нам сказочную шуку, с помощью которой Емеля-дурачок творит все, что ему ни пожелается. Пойманная дураком, шука, в уплату за свое освобождение, наделяет его следующим даром: стобит только ему сказать: „по моему прошенью, по шучьему веленью, будь то и то!“ — и в ту же минуту все исполнится; в любопытном варианте сказки об Емеле-дурачке царевна тотчас забеременела, как скоро было выражено им подобное желание, скрепленное этою заветною формулою» [Афанасьев II: 82]. Действительно, «если дурак вызывает беременность у царевны заклинанием, то он делает это именем шуки», согласен В. Я. Пропп [Пропп 1976: 214].

Наконец, «сходный мотив присутствует в моравской песне: *Zjedla som rybičku, / Narodila mi v brúšku* ‘Съела я рыбку, она выросла у меня в животе’. В другой песне рыбак бросает пойманную рыбку (линя) на лоно своей милой: *Hodil ho svej milej do bílého klína*» [Гура 1997: 748]. И «в белорусском фольклоре соитус часто передается через вещественно-операционный символ «есть рыбу», например: *Эй, Лука мая зялёная, / Рыбка салёная... / На Луку хлопчыкі рыбку някуць, / Дзевачкам*

*есці даюць...; — Дзе, Купала, начавала? / — Начавала у Івана. / — Што, Купала, вячэрала? / Вячэрала галушачкі, / Лягла спаць у падушачкі. / Вячэрала рыбку з перцам, / Лягла спаць са шчырым сэрцам; Я яму рыбку з перцам, / Ён мяне ўсім сэрцам — и т. п., где эротическая символика усиливается формулой „рыбка с перцем“ [...]. Пожалуй, активнее всего этот мотив обыгрывается в *Цярэшках*, что естественно, приняв во внимание свадебно-эротичный контекст всего обряда *Жаніцьба Цярэшкі*, например: *Паіла я коніка ў вядрэ, / Відзіла рыбачку на дне. / Добрая рыбачка карась, / Пацалуй, дзядулька, хоць раз, / Добрая рыбачка акунь, / А скажы, дзядулька, адкуль?; Ішла я на рэчку, на стаў, / Мой дзедзька рыбачку дастаў. / Смачная рыбачка щучка, / Мяккая дзедзькава ручка. / Смачная рыбачка акунь, / Скажы, мой дзедзька, адкуль? / Смачная рыбачка карась, / Пацалуй, дзедзька, хоць раз и т. п. (ср. другой символ полового акта — „поить коня из полного ведра“). В волшебных сказках типа *Іван Сучкін сын* мотив поедания рыбы [о чем говорилось выше на основе русской традиции] напрямую связывается с оплодотворением: словленную рыболовом рыбу съедают царица, кухарка и сучка (или кобыла), в результате чего все три понесли и родили по сыну. Чуть ли не однозначное символическое совпадение поедания рыбы и соитус’а как раз и задает схему интерпретации таких фразеологизмов, как *І рыбку з’есці, і на х... сесці* (вариант *і ў пакой сесці* значительно менее прозрачен). В связи с этим находится и толкование снов, когда снится рыба: видеть или словить во сне рыбу (карася, линя, окуня, язя, шуку) значит понести сына, а если увиденная рыба мелкая, тогда дочь» [Дучыц, Санько 2004: 440].**

Сказочный мотив, о котором шла речь выше, представленный в сказках типа AT 303, хорошо известен и в Литве (см. [Balys III: 43, № 303; RSPS: 48, 331, № 17]). Появляется он и в широко известной сказке типа AT 650 [Balys III: 74, № 650], а также типа AT 516. Например, бездетной госпоже нищий старик дает совет:

— *Liepkite slūgom viena diena nurautie linus ir išmintie, suverptie ir tinklą numegztie, su tuo tinklu tą pačią dieną nuveitite in prūdą, sugautie dvi žuvis, išvirtie viską ir kad ponia viską suvalgytų — tada bus vaikai.*

*Kaip senis prisakė, taip lygiai tokių ponų norą turėj išpildyt — slūgos viską viena diena padarė: žuvis sugavo, išvirė, ir suvalgė ponia. Ale ir kukarka virinama neiškentė neparagavus, ar ne per daug druskos indėjo, ir ji paragavo. Ant senio žodžio ir pastajo abi...*

‘Прикажете слугам за один день вытеребить лен и промять, спрясть и невод связать, с этим неводом в тот же день пойти к пруду, поймать двух рыб, сварить все и чтобы госпожа все съела -- тогда будут дети.

Как старик наказал, такое желание господ и должны были выполнить — слуги все за один день сделали: рыб поймали, сварили, и съела госпожа. Но и кухарка не стерпела не попробовав варева, не слишком ли много соли положила, и попробовала. По слову старика и понесли обе... [BLP II: 431, № XIV.8].

Причем о родившихся таким образом сыновьях впоследствии добавляется, что *iš Dievo galybės abudu užgimė* ‘от Божьего могущества оба родились’ [BLP II: 432], что, впрочем, может восприниматься и как пояснение самого рассказчика-христианина. Хотя ср. предание перуанских мачиганга, в котором их «культурный герой» лунный бог берет в жены земную девушку и оплодотворяет ее с помощью рыбы [ER X: 88].

Согласно Я. Курсите, «и в латышских волшебных сказках одним из самых частых средств против бесплодия является съеденная рыба. Так, в известной сказке о Курбаде и ее вариантах хозяйке, у которой все нет и нет детей, рыба дает совет: *Klausies, saimniece, paņem mani, nokauji, izvāri un apēdi, tad Laimiņa dēlu dos* ‘Слушай, хозяйюшка, возьми меня, убей, свари и съешь, тогда Судьба сына даст’. Угощения из рыбы как стимулятор плодовитости довольно часто упоминаются также в купальских и свадебных песнях» [Kursite 1996: 362].

А раз уж от рыбы можно зачать и забеременеть, естественно, что в этом отношении, по замечанию Проппа, «рыба во всех случаях играет роль отцовского, а не материнского начала. Другими словами, рыбе свойствен характер фаллический. Это представление иногда понимается совершенно буквально: мужчина превращается в рыбу. В Северной Америке можно встретить сюжет о человеке, который преследует женщину, но не может овладеть ею. Тогда он подстерегает ее во время купанья, и сам превращается в рыбу и в удобный момент, когда женщина принимает соответствующую позу, он ее оплодотворяет. Такие же случаи имеются в Океании. Здесь женщина после тяжелой работы каждый день купается в море. Всякий раз она видит большую рыбу: „рыба терлась у ее ног и обнюхивала ее бедра“. Бедра разбухают, из опухоли выходит мальчик. Эти случаи объясняют некоторые археологические находки. Так, на обломке оленьего рога, найденного в пещере в Лорбе, вырезаны три оленя, а между ног у них — по две рыбы. Рисунок отличается высокой художественностью. Сходные рисунки имеются из античности. В Тиринсе найден черепок с изображением лошади. Между ее ног по направлению к половым органам изображена рыба. Шефтеловиц относит его к VII веку до н. э. и прибавляет: „Такие рисунки, по видимому, считались магическим средством для быстрого увеличения стада“. [...] Наконец, соединение человеческого и животного плодородия через рыбу мы имеем в древнеиндийском свадебном ритуале: „Ново-

сочетающаяся пара до колен входит в воду и подолом одежды, обращенным на восток, ловит рыбу, задавая вопрос брамину: Что ты видишь? Тот отвечает: Сыновей и скот<sup>15</sup>. Шефтеловиц прибавляет: „Рыба символизирует многодетность и увеличение поголовья скота“» [Пропп 1976: 232]; см. [HDA II: 1529]. Мать ирландского святого Финан Кама (VI в.), по преданию, зачала его во время купания от лосося [MacKillop 2004: 377]. И т. п. Тут мы можем вспомнить и замечание Юнга о том, что «в беотийской вазовой росписи „повелительница зверей“ изображается с рыбой между ног или внутри тела, чем предположительно указывается, что рыба является ее сыном» [Юнг 1997: 132].

Упомянутый Проппом фаллический характер рыбы в некоторых случаях выражен и вовсе недвусмысленно. Например, «в произведениях так называемого мобильного искусства палеолита наиболее частый сюжет (на жезлах с отверстиями) представлен рыбой в виде фаллоса» [Топоров 1982: 391]. В Античности выпрыгивающий из воды лосось уподоблялся фаллосу, например, римским поэтом I в. до н. э. Катуллом [MacKillop 2004: 377]. А «до сих пор расхожее сленговое обозначение „пениса“ в португальском языке, *picha*, восходит непосредственно к лат. [диал.] *pisca*» [Vaz da Silva 2000: 191]. «Рыба в качестве символа сновидения является аллегорией пениса, который в турецком языке обозначается как „одноглазая рыба“» [Biedermann 2002: 506; ЭСС: 739]. Ср., может быть, слав. *\*bolень* ‘жерех и др.’, также ср.-в.-нем. *bullich*, *bolch* ‘большая рыба’, др.-гр. *phállē*, *phálaina*, *phállaina* ‘кит, (мифическое) чудовище’ в связи с др.-гр. *phálēs*, *phallós*<sup>16</sup>. Ср. также рус. *уд* и *удá*, *удило*, которые, впрочем, по происхождению между собой не связываются, несмотря на туманную этимологию обоих [Фасмер IV: 148]. Примером откровенности, с которой в народной традиции рыба (в данном случае угорь) иногда уподобляется фаллосу, могут служить латышские дайнны:

*Es jums lūdzu, jaunas meitas,  
Zem eglītes negulēt:  
Lietus lija, skujuš bīra,  
Zutis līda vēderā.  
Tas nebija upes zūnis,  
Tā bij puīša pipelīte  
(вар. *Tas bij puīša pimpuļits*)*

[BDS: № 34633 с вариантами].

‘Я прошу вас, молодые девушки,  
Под елочкой не лежите:  
Шел дождь, падала хвоя,  
Угорь залезал во чрево.  
То был не угорь с реки,  
А удок парня’

<sup>15</sup> Ссылка на [Scheftelowitz 1911: 377].

<sup>16</sup> [Frisk II: 987; Pokorny 1959: 120–121]; см. [Коломиец 1983: 75; Цымбурский 1987: 130; ЭССЯ II: 172].

*Meita guļ mauriņā  
Zutis lida vēderā.  
Nebij zutis, nebij zutis,  
Ta bij puiša pipelite*  
[BDS: № 35005].

В следующей песенке с рыбой сопоставляется как пенис (угорь), съев кусочек которого девушка бременеет, так и вагина (леща):

*Es vakar vakarā  
Ar puišiem mīlojos:  
Puiši man zuti deva,  
Es viņiem plaudī devu.  
Es apēžu zūša gaļas  
Mažu mažu kumosīņu;  
Ak tu dieva devumiņš,  
Man piebrieda vēderiņš*

[BDS: № 34707-1]; см. [Kursīte 1996: 362]

И не только угорь выступает в этой роли. «В народных песнях о снятии венца девушке эту ритуальную функцию, в свою очередь, выполняет щука (*Atskrien zaļa lidaciņa, / Norauj manu vainadzīņu...* ‘Примчалась зеленая щучка, / Сорвала мой венец...’)» [Kursīte 1996: 352]. Метафора «снятия венца» вряд ли нуждается в пояснениях. Наконец, «рыба как символ фаллоса угадывается и в латышских сказках типа [AT] 703. *Vecīšiem nav bērnu. Kāds vecītis liek šņpot zivi, kamēr rodas dēls...* ‘Старики не имели ребенка. Один старичок велел качать рыбу, пока не появится ребенок...’» [Kursīte 1996: 363].

В Литве, в окрестностях Купишкис, когда в клетки у девушки обнаруживали парня, говорили: *Pagavom lydį varžoj*, буквально ‘мы поймали щупака в верше’ [Jasiūnaitė 2002: 280]. Ср. также литовскую загадку, в которой фаллос (косвенно) уподобляется рыбе: *Kojom miua, pilvu trina, kai išsižioja — žuvelė nardo* ‘Ногами мнёт, животом трёт, когда раскроется рот — рыбка ныряет’ = *audžia* ‘ткёт’ [AED: 291, № 716].

Здесь, может быть, уместно упомянуть и германскую средневековую любовную ворожбу, о которой имеются, например, следующие свидетельства: (Frater Rudolfus) «Они кладут трех рыбок, одну в рот, вторую под грудь, а третью — в нижнее место (*in loco inferiori*), [и держат там,] пока те не сдохнут; тогда стирают их в порошок и дают мужчинам вместе с едой и питьем»; (Korrektor zu Burchard von Worms) «Они берут рыбу, кладут ее себе в вагину [так!] и держат там до той поры, пока она не сдохнет; тогда варят и пекут ее и дают съесть своим мужьям, чтобы те вспылали любовью» [HDA II: 1537].

‘Девка лежит на траве,  
Угорь залезает во чрево.  
То не угорь, то не угорь,  
То удок парня’

‘Я вчера вечером  
С парнями лакомилась:  
Парни дали мне угря,  
Я им дала леща.  
Я съела мяса угря  
Маленький кусочек;  
Бог вложил свой вклад,  
У меня разбух животик’

\* \* \*

Таким образом, рыба — это и вагина, женское начало, и фаллос, начало мужское. Уже говорилось, что в произведениях так называемого мобильного искусства палеолита «наиболее частый сюжет на жезлах с отверстиями представлен рыбой в виде фаллоса; следует помнить, что отверстие, возможно, эквивалентно женскому символу. Показательно, что из сорока одного жезла, исследованного А. Леруа-Гураном, на тридцати пяти были „мужские“ изображения, а на четырех — „женские“ и „женские“ в связи друг с другом» [Топоров 1972: 90]. В самом полном содержании символа рыба — это фаллос, входящий в рыбу-вагину и оставляющий там, в рыбе-матке, свое семя, своего рыбу-зародыша. Причем здесь мы имеем тот же, упомянутый выше, образ «рыбы, пожирающей рыбу», но в определенном переосмыслении, подразумеваемом совокупление, поглощение семени маткой (символически — поглощение фаллоса *a vagina dentata*), возрождение (в потомстве) и, в конечном счете, размножение (ср. в этом смысле расчленение бога плодородия и т. п.), плодovitость. Как отчасти уже говорилось в начале, «с рыбой связывается и тема умирающего и воскресающего бога плодородия, которая прослеживается в контексте реконструкции афро-евразийского мифа об Иштари (Иштар) и ее соответствиях [...]. Центральный мотив этого мифа связан с самооскоплением (ср. трактат Лукиана „О Сирийской богине“, где этот мотив относится к прекрасному юноше Комбабосу, а его действие происходит в Гиераполе, где почиталась Деркето-Атаргатис), причем в ряде вариантов фаллос бросается в воду и проглатывается рыбой (в египетской версии Сет бросает детородный член Осириса в Нил и рыба съедает его [...]). Имеются различные варианты этого мотива. Например, в грузинской сказке „О девяти сыновьях царя“ младший сын берет живую воду из источника, принадлежащего женщине-рыбе; когда юношу убивают и расчленяют, женщина-рыба собирает тело и с помощью воды из источника воскрешает его» [Топоров 1982: 392]; см. [Jobes 1962: 575]. С другой стороны, «рыбopodobная форма Осириса в Абидосе подтверждает, что основным значением материнского элемента является вмещающее рыб море. Оживляющая и оплодотворяющая сила воды может быть также представлена фаллически как рыба. Рыба является одновременно и фаллосом, и ребенком» [Нойманн 1998: 98]. Ср. в этом отношении латышское поверье о том, что *Ja, zivi tīrot, atrod iekšā noēstu zivīņu, tad drīzā laikā gaidāmas kāzas* ‘Если при чистке р ы б ы внутри обнаруживают проглоченную рыбку, то в ближайшее время ожидают свадьбу’ [Ltt: 2154, № 35662; Straubergs 1944: 233].



По наблюдению Юнга: «Мифологические Великие Матери обычно опасны для своих сыновей. Джеремиас упоминает изображение рыб на раннехристианском светильнике, где одна рыба поедает другую. Название самой яркой звезды созвездия Южной Рыбы — Фомальхаут, 'рыбий рот' — может интерпретироваться именно в таком смысле, подобно тому, как в соответствующем символизме всевозможные формы поглощающей *concupiscentia* [вожделение] приписываются рыбам, считающимся „честолюбивыми, похотливыми, прожорливыми, алчными, развратными“ — короче говоря, служащими эмблемой мирского тщеславия и земных наслаждений (*voluptas terrena*). Этими своими дурными свойствами они более всего обязаны своей взаимосвязи с богиней материнства и любви: Иштар, Астартой, Атаргатис или Афродитой. В качестве планеты Венера проходит *exaltatio* [высшую точку] в зодиакальном знаке Рыб. Таким образом, и в астрологической традиции, и в истории символов рыбы всегда наделялись указанными отрицательными качествами» [Юнг 1997: 129]. Добавим, что Венера и сама непосредственно превращается в рыбу (например, в «Метаморфозах» Овидия V.331), и по пятницам, в день Венеры, римляне ели именно рыбу [Jobes 1962: 575; Vries 1976: 190]. Лат. *concupiscentia*, в свою очередь, как известно, происходит из *con-cupisco*, *-ere*, одного корня с *cupio*, *-ere* 'страстно желать', однако на уровне звукописи, заметим, в этом слове (*concupiscencia*) непосредственно проступает лат. *piscis* 'рыба'.

В связи со сказанным ср. и такую латышскую песенку (вариант см. в [Kursite 1996: 363]):

*Es redzeju sapinā,  
Zivs ar zivi bučojas;  
Ta nebija zivs ar zivi,  
Tie bij puīši ar meitām*  
[BDS: № 34680].

'Я видел(а) во сне —  
Рыба с рыбой целовались;  
То не были рыба с рыбой,  
То были парни с девушками'

Таким образом, рыбы действительно выступают в качестве эротических символов. Более того, две рыбы астрологического знака Рыб непосредственно связываются с Афродитой, или Венерой, и ее сыном Эротом, или Купидоном, подразумевая историю их спасения от Тифона в реке, где они превратились в рыб [Metford 1983: 200]<sup>17</sup>. У народов Западной Европы при помощи рыбы совершаются свадебные гадания [HDA II: 1534–1535]. «В Китае пара рыб считается эмблемой счастья в браке, верности, плодородия», а в «Ачара-Динакаре» индийских джай-

<sup>17</sup> Выше об этом уже упоминал Юнг, приводя некоторые дополнительные аналогии.

нов «пара рыб объясняется как символ на флаге бога любви, пришедшего почтить Джину и принесшего этот флаг в знак своего поражения», в свою очередь, «в „Пуранах“ мы находим бога любви Каму описанным как *Makaradhvaja*, т. е. тот, у кого на флаге рыба» [Chandra 1996: 78 и 71]. Неслучайно макура в виде «большой рыбы» относится именно к «свадхиштхана-чакре», расположенной в области половых органов [Woodroffe 1918: 356–365]. В Японии слово «*кои* — это не только 'карп', но еще и 'любовь'», при том что «карп и его изображение в виде кинобори [специальное матерчатое или бумажное изображение карпа] являются и фаллическими символами тоже» [Мещеряков 2004: 169, 170; см. 739]. Вообще в этом смысле рыба — «позитивный символ, связан с плодородием, сексуальной гармонией; фаллический знак»; «Сексуальный символизм рыбы присутствует во многих культурах, что связано с их обильной икрой, с водой — эмблемой плодородия, а также сравнением рыбы с penisом. Они ассоциируются с богинями луны и материнства и деторождения. В Китае рыба — эмблема изобилия и удачи» [Тресиддер 1999: 316, 317]<sup>18</sup>. Действительно, играет в этом роль и плодовитость самой рыбы. По словам Проппа, «рыбе приписывается особая сила плодовитости — представление, основанное на простом наблюдении народов-рыболовов, что рыба размножается чрезвычайно быстро и обильно. „Так как рыбы быстро размножаются, то у многих народов они символизируют плодовитость, избыток и многодетность“, — говорит Шефтеловиц<sup>19</sup>. И о том же свидетельствует Пишель: „Рыба была символом плодовитости“<sup>20</sup>. [...] В свете приведенных материалов понятно, почему индийский бог любви имел знак рыбы или почему у северных народов богине плодовитости и плодородия Фрейе каждый шестой день приносили в жертву рыбу. С этим перекликается и Талмуд: „Жену надо брать в первый день недели, так как в этот день Бог при сотворении мира благословил рыб словами: Плодитесь и размножайтесь“<sup>21</sup>. У испанских евреев в Константинополе есть обычай: новосочетавшиеся жених и невеста немедленно после церемонии бракосочетания трижды прыгают через большое блюдо, наполненное свежей рыбой» [Пропп 1976: 230–231]. Ср. выше свадебные песни, в которых свадебные намерения парня выражаются в образах рыбной ловли.

<sup>18</sup> См. в том же духе, наряду с другими сторонами образа рыбы, во многих словарях символов, например: [Becker 1995: 322; Biedermann 2002: 506; Chevalier, Gheerbrant 1996: 383; Cirlot 1996: 107; Herder 1986: 77; Jobes 1962: 574–575; Vries 1976: 188–189] и др.

<sup>19</sup> Ссылка на [Scheffelowitz 1911: 376].

<sup>20</sup> Ссылка на [Pischel 1905: 530].

<sup>21</sup> Ссылка на [Scheffelowitz 1911: 376].



О связи рыбы вообще с плодородием, счастьем, богатством недвусмысленно говорят следующие латышские поверья: *Ja vasarā upēs daudz zivju, tad šai gadā būs labs miežu birums* 'Если летом в рсках много рыбы, то в этом году будет хороший урожай ячменя'; *Ja vasarā upēs daudz zivju, tad būs ražīgs gads* 'Если летом в реках много рыбы, то будет урожайный год' [Lit: 2157, № 35725, 35726]; *Sapni zivis zīmējas uz laimi* 'В сновидении рыба означает счастье'; *Ja sapni redz zivis, tad drīzumā dabūs daudz naudas* 'Если во сне видишь рыбу, то в ближайшее время получишь много денег' [Lit: 2158, № 35742, 35744] и т. п. Соответствующие поверья известны и в Белоруссии [Дучыц, Санько 2004: 440–441]. В одной песенке из Малой Литвы конца XIX в. говорится: *Buk teip linksmas kaip žuvis* 'Будь таким веселым, как рыба' [KivD: 99]. Как символ удачи, богатства и счастья рыба воспринимается также народами Западной Европы [HDA II: 1534] и современной Индии [Chandra 1996: 71], а в Китае слово «рыба» по звучанию буквально совпадает со словом «изобилие, избыток» (*yü*) [ER III: 324]. К этому же кругу представлений, очевидно, восходят поверья индейцев цимшианов Британской Колумбии о том, что «близнецы способны вызывать лососей (рыбу-свечу), и в силу этого их называют „приносящие изобилие“. По мнению индейцев-квакиутль, близнецы — это переплотившиеся лососи», в свою очередь, «индейцы-нутка также верят, что близнецы имеют отношение к лососям» [Фрэнгер 1998: 75].

Уже говорилось, что «о широком распространении культа рыбы в Закавказье свидетельствует, в частности, использование рыбы (например, форели) при лечении разных болезней (в том числе бесплодия)» [Топоров 1982: 392]. И не только бесплодия. Например, вавилонскому «Эа приписывались не только мощь и мудрость, но и целительные способности; известны изображения „рыбообразного“ Эа у постели больного ребенка (ср. роль изображения и фигурок рыб в целебной магии)» [Там же]. Карибы верят, что «рыбы всегда молоды и что люди, которые питаются рыбой, никогда не стареют» [FW: 391]. Рыба широко используется в европейской народной медицине [HDA II: 1538, 1540]. В свою очередь, рыба означает здоровье в славянской традиции. «В 1841 г. в Галиции Григорий Илькевич записал: *Бувай здорова, як риба, гожа, як вода, весела, як весна, робуча, як пчола, а богата, як земля свята*. Фразеологизм *здоровый, как рыба* известен в чешском, польском, словацком, сербохорватском, словенском, белорусском и украинском языках. [...] В Покутье на Карпатах русины полагают, что видеть во сне живую рыбу — к здоровью, а дохлую (уснувшую) — к лихорадке; поляки в Люблинском воеводстве полагали, что приснившаяся рыба в воде — к здоровью, а в Великой Польше рыба в чистой

воде — к добру; русские в Саратовском Поволжье считали, что рыба во сне — к прибыли» и т. п. [Толстой 2003: 309–310]. В Литве рыба также служит эталоном здоровья: *Sveikas kaip žuvis* 'Здоров, как рыба', — гласит соответствующая славянским народная поговорка [ЛКРŽ: 343]; см. [TŽ V: 616–617]. Наконец, в свете того, о чем говорилось выше, интересно латышское поверье, согласно которому, *Ja uzšīerstas zivs vēderā atrod citu noritu zivi, tad pēdējā ir jāsakaltē un jāsaberž pulverī, kas noder drudža dziedēšanai* 'Если во внутренностях выпотрошенной рыбы обнаруживается другая проглоченная рыба, последнюю надо высушить и стереть в порошок, который годится для лечения лихорадки' [Lit: 2157, № 35720]. Рыба во чреве рыбы, напоминающая зародыш во чреве матери — концентрат грядущей жизни, разумеется, должна способствовать восстановлению жизненных сил.

Согласно У. Беккеру, рыба представляет собой «широко распространенный талисман, символизирующий ж и з н ь и плодородие» [Becker 1995: 322]; см. [HDA II: 1528–1529]. В роли защитника «Древа жизни» и «напитка бессмертия» (хаомы) рыба выступает в иранской традиции, ср. «Бундахишн», XVIII, где говорится о том, что в море «выросло (дерево), которое называют Гокирн. Оно необходимо как воскреситель, потому что из него готовят (напиток) бессмертия. Злой дух в той глубокой воде создал в качестве соперника (дереву) жабу („лягушку“), так что она может навредить Хому. Для сдерживания этой жабы Ормазд создал там десять рыб Кара, которые постоянно кружат вокруг этого Хома, так что голова одной из тех рыб всегда обращена к жабе» [ЗТ: 289–290]. О присущем самой рыбе качестве ловкости, проворности, вообще живучести и жизненной силы свидетельствуют опять-таки латышские поверья: например, говорят, что люди, родившиеся под знаком Рыб, «в день рыб» (*zivju dienā*), в жизни будут *izveicīgi iešanā un darbos* 'ловкие в ходьбе и в работе' [Lit: 151, № 2441]; *Zivs dienā kas piedzimst, tie ir izveicīgi kā zivs* 'Кто родился в день Рыбы, те проворные, как рыба' [Lit: 152, № 2452]; наконец, *Zivju dienā dzimis bērns būs dzīvs kā zivs* 'Ребенок, родившийся в день рыб, будет живуч, как рыба' [Lit: 2154, № 35659]. В последнем выражении, *dzīvs kā zivs*, семантическая связь рыбы с жизнью подчеркивается и на уровне звукописи. Ср. также загадку *Nedzīvs dzīvu velk* 'Неживой живого тащит' с разгадкой *makšķere un zivs* 'удочка и рыба' [LTM: 187, № 1945].

Интересны в этом отношении исконно литовские [Fraenkel 1962–1965: 1323] диалектизмы *živė, živis* 'рыба', также *živeikà, živyka* 'рыбка', *živinis* 'рыбий', отраженные к тому же в названиях рек *Žiūpė* (< \*Živ-upė, ср. лтш. *Ziv-upe*), *Živintà* [Vanagas 1981: 404, 405] и корневым гласным полностью отвечающие латышскому названию рыбы *zivis*. Но все

они происходят из юго-восточных окраин территории распространения литовского языка [Būga I: 140; II: 852]<sup>22</sup>, поэтому заслуживают сопоставления и со славизмами *žyvis*, *živis* 'пища', *žyvyti* 'кормить; проживать, промыслить', *živonė*, *žyvatà*, *žyvātas* 'жизнь' [LKŽ XX: 824–827]. Хотя в сопоставлении с исконнородственными лит. *gūvis* 'живое существо; скотина', 'живость', *gūvinti* 'живить, оживлять', *gūvonė*, *gūvatà*, *gūvātas* 'жизнь' и др. [LKŽ III: 366, 383, 384] данные слова свидетельствуют скорее не столько о заимствовании, сколько лишь о фонетическом влиянии славянских соответствий на первый звук и частично на значение<sup>23</sup>. Ср. пол. *żywić* 'кормить, питать' и, в связи с рыбной ловлей, *żywiec*, рус. *наживка* (которой может служить и сама рыба). Кстати, имеются свидетельства обозначения рыбы русскими рыбаками и непосредственно словом *живая*. Н. А. Криничная пересказывает слова М. Д. Георгиевского о запрете на продажу добычи кому попало у олонечских рыбаков: «Я продал ему, — говорил мне однажды один из видных рыбаков нашей местности, — два пуда лецей и, что ты думаешь, после того вот уже две недели не вижу «живой», т. е. рыбы, в своих ловушках. Ну, он у меня больше не купит», — в чем Н. А. Криничная усматривает «факт былого наличия условного промыслового языка» [Криничная 2001: 485]. Ср. русский заговор при ожоге и от жара: *Огонь — жгучий, рыба — ж и в у ч а я. Огонь, умри, рыба, оживи* [РЗЗ: 269, № 1693]. Ср. упоминавшуюся уже белорусскую загадку с ответом «рыба», отчасти объясняющую совмещение в рыбе символики жизни и смерти: *На тым светe живы й, а на гетым мятвый* [Гура 1997: 748–749].

Во всяком случае, фонетическая контаминация слов, выражающих понятия 'рыба' и 'жизнь' в (восточно)балтийских и славянских языках, по меньшей мере на балто-славянском языковом пограничье, налицо.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Атхарваведа I–VI — Атхарваведа (Шаунака) / Пер. с ведийского яз., вступит. ст., коммент. и прилож. Т. Я. Елизаренковой. Т. I: Книги I–VI. М., 2005.

<sup>22</sup> Изменение в корне *-iv-* > *-iv-* здесь пытались связывать с влиянием русского языка (его диалектов), хотя последнему такое изменение в общем тоже не свойственно [Sabaliauskas 1968, 171].

<sup>23</sup> Отождествление рыбы со змеей, о котором говорилось в предыдущей статье [Разаускас 2006], кстати, тоже согласуется с символикой жизни, ср. хотя бы литовское обозначение змеи *gyvātė*, своим происхождением непосредственно связанное с *gūvas* 'живой', *gūvatà*, *gūvātas* 'жизнь', что подтверждается многочисленными фольклорными данными.

- Афанасьев I–III — А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Т. I–III. М., 1995.
- Белова 2001 — О. В. Белова. Библейские сюжеты в восточнославянских легендах / Восточнославянский этнолингвистический сборник: Исслед. и мат.-лы. М., 2001.
- Белова 2004 — «Народная Библия»: Восточнославянские этиологические легенды / Сост. и коммент. О. В. Беловой. М., 2004.\*
- Виноградова 1995 — Л. Н. Виноградова. Откуда берутся дети? Полесские формулы о происхождении детей // Славянский и балканский фольклор: Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995.
- Виноградова 1999 — Л. Н. Виноградова. Материальные и бестелесные формы существования дупи // Славянские этюды: Сб. к юбилею С. М. Толстой. М., 1999.
- ВПИ — Высек пламя Илмаринен: Антология финского фольклора / Пер. с финск., сост., вступит. ст. Э. Г. Рахимовой. М., 2000.
- Гура 1997 — А. В. Гура. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
- ДГРС — Древнегреческо-русский словарь / Сост. И. Х. Дворецкий. М., 1958.
- ДЛ — Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.
- Дучыц, Санько 2004 — Л. Дучыц, С. Санько. Рыба // Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік. Мінск, 2004.
- Загадки 1968 — Загадки / Изд. подгот. В. В. Митрофанова. Л., 1968.\*\*
- Замовы 1992 — Замовы / Укладанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул і каментары Г. А. Барташэвіч. Мінск, 1992.\*\*\*
- ЗТ — Зороастрийские тексты: Суждения духа разума (Дадестан-и меног-и храд), Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты / Изд. подгот. О. М. Чунаковой. М., 1997.
- Иванов, Топоров 1965 — Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период). М., 1965.
- Иванов, Топоров 1974 — Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
- Калевала 1985 — Калевала / Пер. Л. П. Бельского. Петрозаводск, 1985.
- Кёйпер 1986 — Ф. Б. Я. Кёйпер. Труды по ведийской мифологии. М., 1986.
- Коломиец 1983 — В. Т. Коломиец. Происхождение общеславянских названий рыб (К IX междунар. съезду славистов). Киев, 1983.
- Криничная 2001 — Н. А. Криничная. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов. Т. I: Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-«хозяевах». СПб., 2001.
- Кудиновы 1987 — В. М. Кудинов, М. В. Кудинова. Сумка кенгуру: Мифы и легенды Австралии. М., 1987.

\* Благодарю Татьяну Владимировну Цивьян за любезно указанные или предоставленные мне издания, помеченные в списке звездочкой.

\*\* Благодарю светлой памяти Владимира Николаевича Топорова за любезно указанное мне данное издание.

\*\*\* Благодарю Марию Вячеславовну Завьялову за любезно предоставленные мне материалы из изданий, помеченных в списке тремя звездочками.

- КЭП — Карельские эпические песни / Предисл., подгот. текстов и коммент. В. Я. Евсеева. М.; Л., 1950.
- Кюмон 2002 — Ф. Кюмон. Восточные религии в римском язычестве. СПб., 2002.
- Леви-Стросс 2000 — К. Леви-Стросс. Путь масок. М., 2000.
- Левкиевская 2002 — Е. Левкиевская. Мифы русского народа. М., 2002.
- Леру 2001 — Ф. Леру. Друиды. СПб., 2001.
- Матье 1996 — М. Э. Матье. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. М., 1996.
- Мещеряков 2004 — А. Н. Мещеряков. Книга японских символов. М., 2004.
- МНМ I, II — Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. Т. I. М., 1980; Т. II. М., 1982.
- Нойманн 1998 — Э. Нойманн. Происхождение и развитие сознания. М.; Киев, 1998.
- НРС I—III — Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах / Подгот. текста, предисл. и примеч. В. Я. Проппа. М., 1958.
- Орел 1997 — В. Э. Орел. Неславянская гидронимия бассейнов Вислы и Одера // Балто-славянские исследования 1988–1996. М., 1997.
- ПЗ — Полесские заговоры (в записях 1970–1990-х гг.) / Сост., подгот. текстов и коммент. Т. А. Агапкиной, Е. Е. Левкиевской, А. Л. Топоркова. М., 2003.\*\*\*
- Потебня 2000 — А. А. Потебня. Символ и миф в народной культуре: Собр. трудов. М., 2000.
- Пропп 1976 — В. Я. Пропп. Фольклор и действительность: Избр. статьи. М., 1976.
- Пропп 1998 — В. Я. Пропп. Собрание трудов: Морфология (волшебной) сказки [С. 5–111]; Исторические корни волшебной сказки [С. 112–436]. М., 1998.
- Разаускас 2006 — Д. Разаускас. Символика рыбы, связанная с нижним миром и смертью, в балто-славянской традиции // Балто-славянские исследования XVII. М., 2006.
- РЗЗ — Русские заговоры и заклинания / Под ред. проф. В. П. Аникина. М., 1998.
- РНПО — Русская народная поэзия: Обрядовая поэзия / Сост., подгот. текста и др. К. Чистова и Б. Чистовой. Л., 1984.
- СМ — Славянская мифология: Энциклопедический словарь. 2-е изд., испр. и доп. М., 2002.
- Толстой 2003 — Н. И. Толстой. Очерки славянского язычества. М., 2003.
- Топоров 1972 — В. Н. Топоров. К происхождению некоторых поэтических символов: Палеолитическая эпоха // Ранние формы искусства. М., 1972.
- Топоров 1980 — В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. I–K. М., 1980.
- Топоров 1982 — В. Н. Топоров. Рыба // Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. Т. II. М., 1982.
- Топоров 1982a — В. Н. Топоров. Из индоевропейской этимологии. II (1–3) // Этимология 1980. М., 1982.
- Тресиддер 1999 — Дж. Тресиддер. Словарь символов. М., 1999.
- Усачева 2003 — В. В. Усачева. Славянская ихтиологическая терминология: Принципы и способы номинации. М., 2003.
- Фасмер I–IV — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. СПб., 1996.
- Фрэзер 1998 — Дж. Дж. Фрэзер. Золотая ветвь. М., 1998.
- Цымбурский 1987 — В. Л. Цымбурский. Беллерофонт и Беллер (Реминисценция древнебалканского мифа в греческой традиции) // Античная балканистика. М., 1987.

- Элиаде 1996 — М. Элиаде. Мифы, сновидения, мистерии. М.; Киев, 1996.
- Элиаде 1998 — М. Элиаде. Священные тексты народов мира. М., 1998.
- Элиаде 1998a — М. Элиаде. Религии Австралии. СПб., 1998.
- Элиаде 1999 — М. Элиаде. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999.
- ЭС — Энциклопедия суеверий / Составители: Э. и М. А. Рэдфорд (английские суеверия); Е. Миненок (русские суеверия). М., 1998.
- ЭСС — Энциклопедический словарь символов / Автор-сост. Н. А. Истомина. М., 2003 (перевод словаря: H. Biedermann. Knauer's Lexikon der Symbolik. München, 1998 без указаний на то).
- ЭССЯ II — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. акад. О. Н. Трубачева. Т. II. М., 1975.
- Юнг 1997 — К. Г. Юнг. Aion: Исследование феноменологии самости. М.; Киев, 1997.
- AED — Athëga elnias devyniaragis: Rožës Sabaliauskienës tautosakos ir etnografijos rinktinë / Sudarë ir parengë Pranë Jokimaitienë, Norbertas Vëlius. Vilnius, 1986.
- AK — Atvažiuoja Kalėdos: Advento-Kalėdų papročiai ir tautosaka / Sudarë N. Marcinkevičienë. E. Venskuskaitë. Vilnius, 2000.
- ATU — The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography, based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson by Hans-Jörg Uther. Helsinki, 2004.
- Balys III, V — J. Balys. Raštai. T. III. Vilnius, 2002; T. V. 2004.
- BDS — Krišjāņa Barona Dainu skapis // <http://www.dainuskapis.lv>.
- Becker 1995 — U. Becker. Simbolių žodynas. Vilnius, 1995.
- Biedermann 2002 — H. Biedermann. Naujasis simbolių žodynas. Vilnius, 2002.
- Bielićki 1972 — M. Belickis. Užmirštas šumerų pasaulis. Vilnius, 1972.
- BLP II — Lietuviškos pasakos / Surinko J. Basanavičius. T. II. Vilnius, 2003.
- Būga I, II — K. Būga. Rinkiniai raštai. T. I. Vilnius, 1958; T. II. Vilnius, 1959.
- Būgienė 1999 — L. Būgienė. Mitinis vandens įprasminimas lietuvių sakmėse, padavimuose ir tikėjimuose // Tautosakos darbai. T. XI (XVIII). Vilnius, 1999.
- Chandra 1996 — R. G. Chandra. Indian Symbolism: Symbols as Sources of Our Customs and Beliefs. New Delhi, 1996.
- Chevalier, Gheerbrant 1996 — J. Chevalier, A. Gheerbrant. A Dictionary of Symbols. London, 1996.
- Cirlot 1996 — J. E. Cirlot. A Dictionary of Symbols. London, 1996.
- Dundulienė 1989 — P. Dundulienė. Pagonybė Lietuvoje: Moteriškosios dievybės. Vilnius, 1989.
- Elisonas 1932 — J. Elisonas. Mūsų krašto fauna lietuvių tautosakoje // Mūsų tautosaka / Red. prof. V. Krėvė-Mickevičius. T. V. Kaunas, 1932.
- ER I–XV — The Encyclopedia of Religion / Ed. in chief Mircea Eliade. Vol. I–XV. New York, 1993.
- Fraenkel 1962–1965 — E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg; Göttingen, 1962–1965.
- Frisk I–II — H. Frisk. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I–II. Heidelberg, 1960–1970.
- FW — Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend / Ed. Maria Leach. New York, 1949.
- Gimbutienė 1996 — M. Gimbutienė. Senoji Europa. Vilnius, 1996.
- Gimbutienė 2002 — M. Gimbutienė. Senovės lietuvių deivės ir dievai. Vilnius, 2002.

- Greimas 1990 — A. J. Greimas. *Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones*. Vilnius; Chicago, 1990.
- Hartland 1919 — E. S. Hartland. *Primitive Paternity: The Myth of Supernatural Birth in Relation to the History of the Family*. T. I. London, 1919.
- HDA II — *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens* / Hrsg. unter besonderer Mitwirkung von E. Hofmann-Krayer und Mitarbeit zahlreicher Fachgenossen von Hanns Bächtold-Stäubli. Bd. II. Berlin; Leipzig, 1929–1930.
- Herder 1986 — *The Herder Symbol Dictionary: Symbols from Art, Archaeology, Mythology, Literature, and Religion*. Wilmette (Illinois), 1986.
- Jasiūnaitė 2002 — B. Jasiūnaitė. „Gužutis vaiką parnešė!“ (Nepaprasta žmogaus kilmė frazeologijoje) // *Baltistica*. XXXVI (2). Vilnius, 2002.
- Jobes 1962 — G. Jobes. *Dictionary of Mythology, Folklore and Symbols*. New York, 1962.
- Jung 1990 — C. G. Jung. *Symbols of Transformation*. Princeton University Press, 1990.
- Jung, Kerényi 1973 — C. G. Jung, C. Kerényi. *Essays on a Science of Mythology: The Myth of the Divine Child and the Mysteries of Eleusis*. Princeton University Press, 1973.
- Karulis I–II — K. Karulis. *Latviešu etimoloģijas vārdnīca, sēj. I–II*. Rīga, 1992.
- KAŽ — Kaip atsirado žemė: Lietuvių etiologinės sakmės / Sudarė ir parengė N. Vėlius. Vilnius, 1986.
- Klvd — Prūsijos lietuvių dainos / Surinko ir pridėdams anas per Rėžą, Nesselmann'ą, Dr. Sauerwein'ą bei kitus rinktas arba sutaisytas dainas išleido savo paties kašta Vilius Kalvaitis. Tilžėje, 1905 (Vilnius, 1998).
- Kursīte 1996 — J. Kursīte. *Latviešu folklorā mitu spoguļi*. Rīga, 1996.
- Kuzavinis, Savukynas 1987 — K. Kuzavinis, B. Savukynas. *Lietuvių vardų kilmės žodynas. Этимологический словарь литовских личных имен*. Vilnius, 1987.
- Lipskienė 1972 — J. Lipskienė. *Gervėčių tarmės frazeologizmai // Lietuvių kalbotyros klausimai*. XIII: Leksikos tyrinėjimai. Vilnius, 1972.
- Lipskienė 1975 — J. Lipskienė. *Termininiai frazeologizmai su asmenvardžiais // Lietuvių kalbotyros klausimai*. XVI: Lietuvių terminologija. Vilnius, 1975.
- LKPŽ — *Lietuvių kalbos palyginimų žodynas* / Sudarė K. B. Vosylytė. Vilnius, 1985.
- LKŽ — *Lietuvių kalbos žodynas*. T. I–XX. Vilnius, 1956–2002.
- LT III — *Lietuvių tautosaka*. T. III: Pasakos / Paruošė L. Sauka, A. Seselskytė. Vilnius, 1965.
- LTD — *Latvju tautas daiņas* / Red. prof. J. Endzelīns, sakart. R. Klaustiņš. Rīga, 1928–1932. 1–12 sēj.
- LTdz — *Latviešu tautasdziesmas*. Rīga, 1979–1993. 1–6 sēj.
- LTM — *Latviešu tautas mīklas. Izlase / Sastādījusi A. Ancelāne*. Rīgā, 1954.
- LTT — *Latviešu tautas teikas: Izcelšanās teikas. Izlase / Sastādītāja A. Ancelāne*. Rīga, 1991.
- Lt — *Latviešu tautas ticējumi / Sakrājis un sakārtojis Prof. P. Šmits*. Rīgā, 1940.
- MacKillop 2004 — J. MacKillop. *Oxford Dictionary of Celtic Mythology*. Oxford University Press, 2004.
- Metford 1983 — J. C. J. Metford. *Dictionary of Christian Lore and Legend*. London, 1983.
- MS — *Mįslių skrynelė: 3000 lietuvių mįslių ir minklių / Sudarytojas S. Lipskis*. Vilnius, 2002.
- Niemi 1996 — A. R. Niemi. *Lituanistiniai raštai: Lyginamieji dainų tyrinėjimai / Sudarė ir iš suomių kalbos vertė S. Skrodenis*. Vilnius, 1996.

- Pischel 1905 — Pischel. *Der Ursprung des Christlichen Fischsymbols // Sitzungsberichte der königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*. T. XXV. 1905.
- Piškinaitė-Kazlauskienė 2000 — L. Piškinaitė-Kazlauskienė. *Žvejų vieta Lietuvos kultūroje // Liaudies kultūra*. Vilnius, 2000. № 6.
- Pokorny 1959 — J. Pokorny. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bd. I. Bern; München, 1959.
- PSO — *Pasakos, sakmės, oracijos / Surinko M. Davainis-Silvestraitis*. Vilnius, 1973.
- Rėza 1958 — L. Rėza. *Lietuvių liaudies dainos*. T. I. Vilnius, 1958.
- RSPS — *Lietuvių rašytojų surinktos pasakos ir sakmės / Parengė B. Kerbelytė*. Vilnius, 1981.
- Sabalaiuskas 1968 — A. Sabalaiuskas. *Baltų kalbų naminių gyvulių pavadinimai (jų kilmė ir santykis su atitinkamais slavų kalbų pavadinimais) // Lietuvių kalbotyros klausimai*. X: Baltų ir slavų kalbų ryšiai. Vilnius, 1968.
- Scheftelowitz 1911 — J. Scheftelowitz. *Das Fischsymbol im Judentum und Christentum // Archiv für Religionswissenschaft*. Bd. XIV. Leipzig, 1911.
- Sinha 1993 — J. Sinha. *Tantra: The Search for Ecstasy*. London, 1993.
- SLT — *Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a.: priešodžiai, patarlės, mįslės / Paruošė J. Lebedys*. Vilnius, 1956.
- Spence 1915 — L. Spence. *Myths and Legends of Egypt*. London, (1915) 1998.
- Straubergs 1939–1941 — K. Straubergs. *Latviešu būramie vārdi*. I–II. Rīgā, 1939–1941.
- Straubergs 1944 — K. Straubergs. *Latviešu tautas paražas*. Rīgā, 1944.
- Stukaitė 2003 — V. Stukaitė. *Vestuvinių dainų tipas „Karvelėli mėlynasai“: vaizdinių prasmė // Liaudies kultūra*. Vilnius, 2003. № 1.
- Šatkauskienė 2005 — V. Šatkauskienė. *Kai kurie lyčių suvokimo aspektai tradicinėje kaimo bendruomenėje // Lyčių samprata tradicinėje kultūroje: Konferencijos medžiaga*. Vilnius, 2005.
- ŠLP — *Šiaurės Lietuvos pasakos / Surinko M. Slančiauskas*. Vilnius, 1974.
- Thomas 1949 — T. J. Thomas. *The Life of Buddha as Legend and History*. London, 1949.
- Trinkūnaitė 2000 — Ž. Trinkūnaitė. *Našlaičiai ir mirties tema lietuvių bei latvių dainose // Tautosakos darbai*. T. XIII (XX). Vilnius, 2000.
- TŽ V — *Tauta ir žodis / Red. prof. V. Krėvė-Mickevičius*. T. V. Kaunas, 1928.
- Vanagas 1981 — A. Vanagas. *Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas*. Vilnius, 1981.
- Vaz da Silva 2000 — F. Vaz da Silva. *Cinderella the Dragon Slayer // Studia mythologica Slavica*. III. Ljubljana, 2000.
- Vries 1976 — A. de Vries. *Dictionary of Symbols and Imagery*. Amsterdam; London, 1976.
- Woodroffe 1918 — J. Woodroffe. *The Serpent Power: Two works on Laya-Yoga, translated from the Sanskrit, with introduction and commentary*. Madras, 1992 (первое издание 1918).

Н. А. МИХАЙЛОВ, Т. В. ЦИВЬЯН

## Rauda boružei — Плач по божьей коровке (статья В. Н. Топорова и стихотворение М. Мартинайтиса)

В документальном фильме-интервью с Владимиром Николаевичем Топоровым, снятом литовским режиссером А. Тарвидасом в 2000 г., В. Н. говорит о «технике» работы над фольклорно-мифологическими текстами: сначала надо войти *внутри* исследуемой традиции, проникнуться ею, на какой-то момент почти стать ее носителем, а потом взглянуть на нее *извне* и беспристрастно анализировать. Отпечаток «личного участия» всегда ощущается в работах В. Н., и их мифологические персонажи нередко давали ему знаки, что считают его *своим*. После статьи о божьей коровке, она стала (по)являться в неурочное время и в неподобающем месте — например, зимой на комнатных цветах, — и автор благодарно приветствовал свою героиню<sup>1</sup>.

Статья В. Н. «Еще раз о балтийских и славянских названиях божьей коровки (*coccinella septempunctata*) в перспективе основного мифа» [Топоров 1981]<sup>2</sup> посвящена анализу «энтомологической» версии «семейного» фрагмента мифа, связанного с женой Громовержца, ее низвержением с неба на землю и ее возвращением (или попытками возвращения) на небо. Божья коровка в этой версии принадлежит к числу тех персонажей, с кем связывается идея смерти и воскресения, реализуемая в противопоставлении *верха/низа, неба/земли*.

Привлекательный своей необычностью — контрастом ярких цветов, узором — маленький, красный, реже желтый (цвета солнца) «в горошек», выпуклый круглый жучок<sup>3</sup>, почти обязательное воспоминание детства (проводить глазами улетающую с конца поднятого вертикально пальца и действительно исчезающую в небе божью коровку), оказывается таким образом причастным к «высокой мифологии».

<sup>1</sup> В Интернете был отклик на смерть Владимира Николаевича: «Божья коровка, улети на небо».

<sup>2</sup> Краткий вариант был опубликован в 1978 г. в «Предварительных материалах» конференции «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. Москва, 11–15 декабря 1978 г.».

<sup>3</sup> В 1991 году Общество энтомологов Латвии утвердило двухточечную божью коровку (*Adalia bipunctata*) в качестве национального насекомого Латвии.

«Сюжет божьей коровки» реконструируется в основном по текстам детского фольклора, отчасти по гаданиям (главным образом, о погоде, но и о замужестве, о сроке жизни, см. [Гура 1997 s.v.; Терновская 1993]), по закличкам божьей коровки, в которых появляется мотив *неба* (полет = возвращение на небо), *детей, дома, огня*. Ср., например, лит. *Boružėle, skrisk, skrisk / Tavo nameliai dega, / Tavo vaikeliai rėkia* 'Бору-желе, лети, лети. / Твой домик горит, / Твои детки кричат'; *Dievo karvytė, Skrisk į dangų, / Ten tavo vaikeliai / Laukia prie langų...* 'Божья коровка, / Лети на небо. / Там твои детки / Ждут у окна' ([Skabeikytė-Kazlauskienė 2004: 125]; ср. также [Vaitkevičienė 2001: 114; Macijauskaitė 2004: 26–28] и др.); *Putpalaiiki, putpalaiiki, lėk į dangų, klausk matužės, ar jau veik bus pietūs* 'Путпалайкис, лети на небо, спроси матушку, скоро ли будет обед' [LT 1968: 9425]<sup>4</sup>, *Matiuška batiuška, / Kur lėksi, kur slėpsies? / — Padangėсна, padangėсна* 'Матушка, батюшка, / Куда полетишь, где спрячешься? / В поднебесье, в поднебесье...' [LT 1968: 9428]. Столь же важны имена божьей коровки, связанные с солнцем (ср. многочисленные примеры по славянским традициям: в.-луж. *bože slónčko*, укр. *сонечко*, блр. *сонейка, солнышко* и др.). Эти данные<sup>5</sup> позволили В. Н. соотнести божью коровку с Невестой/Женой Громовержца (Солнце или дочь Солнца) в «семейном фрагменте» основного мифа: небесная свадьба, которой пытается помешать противник Громовержца, и/или наказание жены за измену — изгнание с неба на землю, разлучение с оставшимися на небе детьми, которым без нее грозит опасность.

В. Н. выделял «диагностически важные женские обозначения божьей коровки, прежде всего ее антропоморфизированных версий», например, лтш. *marīte* (при имени *Maņa*, в образе которой сочетаются черты жены Громовержца и Девы Марии), лит. *marytė* и особенно *dievo marytė* (ср.: *maryt, maryt, skrisk pas dievą* 'марите, марите, лети к богу' [LKŽ VII: 863]), *Marele, Mariškėle* как обозначение божьей коровки. Он предположил, что и одно из литовских названий божьей коровки — *boružė*

<sup>4</sup> *Putpalakė = putpelekė* 'boružė, Dievo karvytė, petronėlė (*Coccinella septempunctata*): *Putpalake, putpalake. lėk į dangų, paklausk matužės, ar jau veik bus pietūs* 'Божья коровка, Божья коровка, лети на небо, спроси матушку, готов ли уже обед' (говорят дети, подбрасывая божью коровку в воздух); *Putpeleke, lėk, lėk! Pasakyk man pasakelę. atnešk man naują naujynelę* 'Божья коровка, лети, лети! Расскажи мне сказку, принеси мне новую новость' (пастушеская песня); *Putpeleke, lėk, lėk, tavo vaikiai rėk, rėk!; Veizėk, lau putpelekės lekia!* 'Божья коровка, лети, лети!; Смотри, твои божьи коровки летят' (говорят, когда во время еды на одежду попадают брызги) [LKŽ X: 1138, 1139] — ср. к этому в связи с названием *boružė* лит. *borauti, boroti* 'barstyti, dulkinti (сыпать, посыпать, пылить, опылять)' [LKŽ I: 973] — «усыпанная» крошками спинка насекомого («точки» в его латинском названии).

<sup>5</sup> Мы добавили здесь и далее некоторые примеры.

может быть возведено к собственному имени — *Барбара* ([Топоров 1981: 285, 286]; ср. названия божьей коровки *barborytė* [LKŽ I: 655], *barbutė* [LKŽ I: 656]).

Более чем за десять лет до публикации статьи В. Н. Топорова о божьей коровке уже существовало посвященное ей «мифологичное» стихотворение М. Мартинайтиса «Плач по божьей коровке. Летний сон» — «*Rauda boružei. Vasaros sapnas*», вошедшее в сборник «*Saulės grąža*» «Солнцеворот». Оно переложено на музыку: известный литовский композитор и певец Витаутас Кярнагис написал на эти слова песню, которая сразу стала необыкновенно популярной, и которую поют до сих пор.

### *Rauda boružei. Vasaros sapnas*<sup>6</sup>

Дословный перевод

<i>Rytą, Patekiant saulei, Mirė boružė.</i>	Утром, При восходящем солнце Умерла божья коровка.
<i>Ją vežė iškeltą aukštai Stikliniam laše.</i>	Ее везли поднятую высоко В стеклянной кашле.
<i>Pakelėj be kepurių stovėjo Basi šienpjoviai. Žybciojo dalgiai.</i>	По дороге без шапок стояли Босые косцы. Поблескивали косы.
<i>Priekyje dvylika raitelių jojo, Kaip nupiešti jų žirgai Ėjo nuleidę galvas. Ir nesimatė, kur baigiasi kelias.</i>	Впереди скакало двенадцать всадников, Как нарисованные, их кони Шли, повесив головы. И не было видно, где кончается путь.
<i>Šalia katafalko Ėjo mergaitė raiša — Ji buvo boružės sesuo.</i>	Рядом с катафалком Шла хромая девушка — Она была сестрой божьей коровки.
<i>Raudotojų dvylika, Tą dvylika Juodai gobtūruotų naktį, Paskui raudodamos ėjo:</i>	Плакальщиц двенадцать, Тех двенадцать В черное закутанных ночей Следом, рыдая, шли:
<i>«Saulėle, saulele, Auginki smilgele Boružei pakilt».</i>	«Солнышко, солнышко, Расти полевицу, Божьей коровке подняться».

<sup>6</sup> [Martinaitis 1969: 24–25].

<i>Saulę ant dalgių galando —</i>	Солнце на косах точили —
<i>Dalgiais pakirto smilgele —</i>	Косами срезали полевицу <sup>7</sup> —
<i>Dvylika raitelių jojo —</i>	Двенадцать всадников скакало —
<i>Krito rasa — —</i>	Па(да)ла роса — —

### Плач по божьей коровке. Летний сон

Утром, На самом восходе она умерла — Божья коровка.	Это была сестра Божьей коровки.
Ее, вознеся высоко, В капле стеклянной везли.	И плакальщицы — Их было двенадцать, — Двенадцать Укутанных в черное черных ночей, Шли за повозкой рыдая:
Косари по обочинам тихо стояли, Босые, без шапок. Косы мерцали на солнце.	«Ты, солнце, свети, дай травам взойти — Ее оживи».
И двенадцать безмолвных всадников Ехали впереди. Их кони, глядевшие в землю, Шли осторожно. И не было видно, где обрывается путь.	Солнце мерцало на косах, Косами срезаны травы — Ехали всадники молча — Пала роса — —
По краю дороги Шла девочка-хромоножка —	Пер. Г. Ефремова <sup>8</sup>

Марцелиус Мартинайтис — выдающийся современный литовский поэт, творчеству которого посвящены многие и многие литературоведческие работы<sup>9</sup>. Наша цель — рассмотреть названное здесь его стихотворение главным образом *sub specie mythologiae*. Как представляется, Мартинайтис полностью вписывается в модель, предложенную В. Н. Топоровым (см. выше): он и носитель традиции, и ее профессиональный исследователь. Так осуществляется плодотворное сочетание Поэта и Филолога<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> *Agrostis vulgaris* With. — *Полевица обыкновенная*. Трава с красноватыми колосками, собранными в раскидистую метелку; рост 15–60 см; цветет в июне-июле по лугам, лесам, паровым полям.

<sup>8</sup> [Martinaitis 1983: 89–90].

<sup>9</sup> Упомянем здесь только одну, приуроченную к 70-летию Мартинайтиса статью Д. Сауки [Sauka 2006].

<sup>10</sup> «Профессор пишет литературные произведения», сочетая описание с (авто)метаописанием: явление XX века, давшее много блестящих примеров: Элиаде, Андрич, Эко, Павич... В Литве назовем еще Томаса Венцлову.



Фольклорные корни Мартинайтиса исследовались неоднократно, отмечалась, в частности, его привязанность к жанру плача, *rauda*<sup>11</sup>. Ср.: *Severiūtės rauda* «Плач Северюте», *Kvailūtės Onulės rauda* «Плач глупенькой Онуле», *Rauda adant žuvusio sūnaus pirštine* «Штопая варежку погибшего сына (Поминальное рыдание)», *Gegučių rauda* «Плач кукушек», *Kukučio rauda po dangum* «Плач Кукутиса под небесами»<sup>12</sup>. Во всех перечисленных стихотворениях плачут/произносят плач заглавные герои, так сказать, с у б ъ е к т ы плача. Анализируемое стихотворение — «Плач (по) божьей коровке», и героиня в нем является о б ъ е к т о м: *боруже* — божью коровку о п л а к и в а ю т, плач включен в ритуальное действие торжественных похорон.

*Боруже*, умершую на восходе солнца, заключили в стеклянную каплю и везли, высоко подняв, по пути, не имеющему конца. Как почетный караул, стояли косцы с поблескивающими косами, в п е р е д и скакали двенадцать всадников, р я д о м с каплей-гробом шла хромоножка сестра *боруже*, с з а д и шли двенадцать черных (закутанных в черное) плакальщиц. Собственно *плач* обращение к *солнцу* появляется только в предпоследней из восьми строф и занимает в стихотворении всего три строки из двадцати девяти: это просьба к Солнцу вырастить/поднять траву, чтобы *боруже* могла подняться/вознестись. Но Солнце не помогло (не захотело? не смогло помочь? или это взывание риторическое, клише народных песен и особенно плачей, не предполагающее исполнение просьбы?), и траву срезали косами. Па(да)ла роса. Прямо не сказано, но подразумевается, что *боруже* подняться не смогла.

Сюжет стихотворения одновременно и прозрачен, и темен: загадка без однозначного ответа. Первое и основное, что следует — но не удается — отгадать: к т о т а к а я *боруже*. На то, что это действительно божья коровка, отдаленно указывает мотив стеклянной капли, в которой она заключена: столь реальный для Балтии образ маленького насекомого, навеки «запаянного» в янтаре<sup>13</sup>. На то, что это «фольклорная божья коровка», указывает ее связь с солнцем-Солнцем и стремление подняться (взлететь) к нему. Объединяет обе ипостаси *трав* (*полевица*). Это и реальная деталь (божья коровка взлетает только «с вершины» некоей вертикали), и мифологическая (образ мирового дерева, соединяющего землю и небо).

<sup>11</sup> Такую тему он дал и одной из своих учениц для дипломной работы: «Kreipiniai lietuvių raudose» (2001).

<sup>12</sup> В сборнике «Солнцеворот» шесть плачей [Vaškėlis 1990].

<sup>13</sup> Ср. янтарное изображение божьей коровки (амулет), найденное в Юодкранте [LM 2004: 194].

Обращение к Солнцу (*Saulele, saulele, / Auginki smilgelę / Boružei pakilt*<sup>14</sup>) и «ответ»-реакция Солнца (результат обращения) конструируются по образцу цепного текста. В основе такого рода текстов лежит схема палинотии. Сначала к разным персонажам или предметам обращаются со «ступенчатой» просьбой/ами и при этом обязательно объясняют причины/цели просьбы каждой ступени (*сделай, дай это, чтобы...*; высшая, конечная цель — спасение от опасности, и тогда действие может разворачиваться в рамках оппозиции *жизнь/смерть*). Затем все ступени повторяются, в соответствии с исполнением каждой просьбы; в финале столь же обязательно сообщается о благополучном разрешении ситуации. Так и здесь, плакальщицы обращаются к *солнышку* с просьбой взрастить (= «поднять») траву, чтобы с их помощью могла подняться *боруже*. По фольклорному клише ожидается, что солнце «поднимет» травы, травы поднимут *Боруже*, и она вознесется на небо (или оживет, что, конечно, не одно и то же). Однако результат противоположен просимому: косы наточили (толкование этой строки см. ниже), траву срезали, всадники продолжали свой бесконечный путь, пала — трава, роса. Оппозиция *жизнь/смерть* реализуется настойчивым противопоставлением *верха* и *низа*: вместо того, чтобы п о д н я л а с ь *боруже*, у п а л а роса<sup>15</sup>.

Последняя строка может иметь двоякое толкование. Прямое значение — «выпала роса». Тогда речь идет о вечере: похороны *боруже* длятся весь день, косвенное указание на это содержится в том, что за ней шло «двенадцать черных ночей». Метафорически можно понять и по-другому: со срезанной травы упали капли росы — утренней, потому что *боруже* умерла утром, на восходе солнца. Образ падающих капель росы отсылает и к стеклянной капле, в которой заключена *боруже*: она не смогла подняться/взлететь, не смогла вырваться из капли и упала вместе с ней.

В мифопоэтическом контексте такого рода ситуация может быть интерпретирована либо как враждебные действия противника, либо как наказание со стороны верховного бога, по определению, справедливое. Вновь возникает вопрос о том, кто же такая *боруже*. Очевидно, что речь идет о некоем мифологическом персонаже, а не о попавшем в беду насекомом. Появление у катафалка *боруже* ее сестры, девушки-«хро-

<sup>14</sup> Глагол *kilti* обозначает и движение солнца на небе: *солнце поднимается*.

<sup>15</sup> См. лтш.: «В Икшкиле девушки говорят божьей коровке: *Mārīte, Mārīte, kur tu mani vedīsi? Vai uz augšu, vai uz leju, vai uz zaļām velēnām?* ‘Марите, Марите, куда меня поведешь? Вверх, вниз, или на зеленый дерн?’ [Šmitas 2004: 195]. Подробнее см. [Kursīte 1996: 389–390].

моножки' *mergaitė raiša*<sup>16</sup> (подчеркнутый мотив затрудненности движения), дает дополнительные основания для такого рода предположений<sup>17</sup>. И тогда представляется возможным говорить о проступающем мифологическом сюжете: конфликт между *боруже* и верховным небесным божеством — или конфликт между ними и их противником; вина *боруже*, с чем может быть связана ее смерть, — или ее безвинная смерть из-за чьих-то козней. В любом случае существует некое препятствие, не дающее ей *улететь на небо*, т. е. *вознести сь*. С *солнца* начинается — *боруже* умирает *patekant saulei* — и *солнцем* кончается: *saulę ant dalgių galando*.

Образ *солнца*, *заточенного на косах*, понят переводчиком как отблеск солнца на лезвиях остро отточенных кос. Тогда это своего рода метонимия: косы так сверкают на солнце, что можно сказать: (косцы) «точат солнце». В мифологическом ключе представляются допустимыми и другие прочтения/толкования. Субъект при глаголах *galando* и *pakirto* не назван. Стоят ли глаголы в неопределенно-личной форме? Или это *косцы*, представляющие здесь Смерть как мифологический персонаж и тогда, по определению, являющиеся врагами Солнца? Почему Солнце выступает в пассивной роли?<sup>18</sup> Означает это его поражение или это его нежелание помочь *боруже* и исполнить просьбу плакальщиц? И тогда траву срезают с помощью Солнца? В любом случае ощущается присутствие неких (скрытых) злокозненных сил, которые вмешиваются в космический порядок.

Примечателен звуковой (анаграмматический уровень) стихотворения. Как уже было сказано, основная оппозиция стихотворения, на которой строится то, что можно назвать сюжетным конфликтом, — *верх/низ*, *подниматься/падать*. Фонетическое сходство соответствующих

<sup>16</sup> Ср. вообще тягу Мартинайтиса к увечьям: немой брат Северюте, одноногий Кукутис, тема горбунов и горбиков и т. д.

<sup>17</sup> У автора *боруже* пишется с маленькой буквы, у переводчика *Божья коровка* с большой, как собственное имя.

<sup>18</sup> М. В. Завьялова сообщила нам текст заговора от укуса змеи («Nuo gyvatės įkandimo»; записан в 1969 г. в Игналинском районе), в котором отражен необычный мотив сожжения солнца змеями, вместо ожидаемого сожжения змей солнцем (как это зафиксировано в других вариантах того же заговора): *Susirinkit, traja devynara, kurią verpsinė, gelažinė, sidabrinė, pasiūnkit su savim savo gyluonį. Išsirinkit jūs iš čia, ba jūs čia daug privisę, čia jūs visi šventi prieteliai nekenčia, čia jūs saulę sudeginisit* 'Соберитесь, тридевятая, которая веретяная, железная, серебряная, возьмите с собой свое жало. Выберитесь вы отсюда, потому что вас здесь много развелось, здесь вас все святые ненавидят, здесь вы солнце сожжете' [LTR: 4077(63)]. Хотя единичность этого заговора позволяет предположить ошибку при записи текста, мы думаем, что такой вариант возможен, ср. фольклорное уподобление змеи/ужа косе.

литовских глаголов создает примечательный рисунок, когда контраст построен на минимальных различиях и выражается в почти незаметных переходах<sup>19</sup>: *kilti* 'подниматься, взлетать' и *kristi* 'падать'; к этому и *kirsti* 'рубить, срубить' ('резать, срезать'), предполагающее падение, т. е. движение/путь (*kelias*) *вниз* (ср. и *skristi* 'лстеть' в заличках божьей коровки): *iškeltą — pakelėj — kepurį — priekyje — kelias — pakilt — pakirto — krito*<sup>20</sup>. И к этому же на содержательном уровне: *капля*, вознесенная *высоко*, обречена на падение (*вниз*).

Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что прочтение стихотворения Мартинайтиса в контексте основного мифа может показаться слишком прямолинейным (прежде всего самому автору), в частности и потому, что наш анализ, как уже было сказано, исходит из более поздней мифологической реконструкции. Однако *мифологическое* реет над стихотворением Мартинайтиса, как и вообще над его мировосприятием<sup>21</sup>, и то, что миф был угадан поэтом раньше, а «кабинетным ученым» — позже, как представляется, является дополнительным свидетельством его достоверности.

Добавим, что стимулом (и оправданием) к нашему толкованию стихотворения Мартинайтиса были и слова самого поэта: «O ir aš pats kartais nežinau, ką pasakyti apie savo eilėraščius. Gal jūs?...»<sup>22</sup>.

APPENDА: хотя нашей целью было выявление мифологического уровня стихотворения Мартинайтиса, все же позволим себе несколько наблюдений, касающихся его поэтики. В стихотворении, несомненно, просматриваются литературные мотивы и, если можно так сказать, декорации средневекового западноевропейского ритуала<sup>23</sup>: всадники-«рыцари» (*raiteliai* < *Reiter*), закутанные в черное плакальщицы, идущие за катафалком<sup>24</sup>. Босые и простоволосые «дере-

<sup>19</sup> Можно предположить в стихотворении и анаграмму красного (*raudonas*): *ryta — rauda — raitelių — raiša — raudotojų — raudodamos — raitelių — rasa*. Вместе с черными (*juodas*) это складывается в «геральдические» цвета божьей коровки. Ср. В «Kvailutės Onulės rauda»: *Rado prie tako Onulė / raudoną siūlą* 'Нашла у тропинки Онуле / красную нитку'.

<sup>20</sup> См. также палиндром: *dalgių galando*.

<sup>21</sup> О чем говорит он сам: «От традиций еще никто никуда не убежал, не спрятался ни в космосе, ни на земле. Они обладают поразительным свойством сохраняться, вновь всплывать, постоянно обновляться, словно какие-то животворные начала национального бытия и культуры...» (цит. по [ИЛЛ 1977: 755–756]).

<sup>22</sup> «Но я иногда и сам не знаю, что сказать о своих стихах. Может быть, вы?...».

<sup>23</sup> Да и «Летний сон» в заглавии отсылает к шекспировскому «Сну в летнюю ночь».

<sup>24</sup> В связи с божьей коровкой и горящим домом В. Н. привел «мотив оглядки» у Ахматовой (...оглянулась, а дом в огне горит...). И здесь также можно вспомнить ахматовскую строку: *Я плакальщиц стаю веду за собой...*



С. ВАЛЯНТАС

## В поисках потерянной традиции: поэтическая балтистика

### 1. ВВЕДЕНИЕ

#### 1.1. Наука и/или искусство

В статье «К истории связей мифопоэтической и научной традиции: Гераклит» [Топоров 1967], опубликованной ровно сорок лет назад, Владимир Николаевич Топоров охарактеризовал две традиции познания, одну из которых обозначил как научную, другую — как мифопоэтическую, имеющую дело не с отдельными фактами, а с их совокупностью. Правда, научное и художественное познание не всегда разделялись: ни в Античности, ни в Средневековье такой проблемы не существовало, различные способы познания воспринимались просто как *познание*. В середине XX века вновь было замечено, что можно говорить не только о действенности художественного произведения, но и о его способности проникнуть в сферы, традиционно принадлежащие науке, прежде всего — в языкознание [Koch 1983]<sup>1</sup>. С первого взгляда может показаться, что поэзия пользуется лингвистическими открытиями, без труда понятными каждому читателю. Точек пересечения поэзии и лингвистики несколько. *Во-первых*, поэзия своими средствами повторяет и вносит разнообразие в то, что провозглашает лингвистика. Это самый простой случай. *Во-вторых*, поэзия своими средствами интерпретирует лингвистические теории или лингвистические модели: возникает стык художественного и научного мышления. *В-третьих*, дистрибуции поэтических и лингвистических объектов отчасти не пересекаются, и поэзия, касаясь тех же тем, что и лингвистика, решает проблемы, которые лингвистика в силу своей специфики или сложности проблемы решить на данный момент не может<sup>2</sup>. Науке всегда требуется критическая масса данных, без которых невозможно ни обобщение, ни само исследование. Поэзия, пользуясь интуитивными способностями творца, решает

<sup>1</sup> Правда, лингвистика, по крайней мере в ее синхронном аспекте, в отличие от, например, истории или археологии, с первого взгляда кажется всем «открытой» и не требующей специальной подготовки. ср. [Žiperka 2000; 2001].

<sup>2</sup> О взаимоотношениях поэзии и лингвистики в очень широком контексте, начиная с вавилонской катастрофы и чуда на Троицу, см. [Schmitz-Emans 1997: 49–105].

проблемы, не выясняя, достаточно ли для этого собрано данных. Художественное творчество вторгается в науку, используя свои возможности и средства. например, в поэзии ярко отражается одна из интереснейших тем балтики — положение лирического героя в пространстве. В таких случаях бросается в глаза дуализм искусства: поэзия является не только словесным искусством, но и инструментом исследования, при использовании которого расширяются границы балтики.

#### 1.2. «Умножение балтийских языков» Владаса Бразюнаса

##### baltiška aritmetika

*vienąkart vienas — kiek mūsų?  
vienas ir vienas? ar du?  
trečias negrįš jau iš prūsų  
ten dabar tyruos — gūdu*

*broli dvyni, nenumirkim  
būkim, dvyni, amžini  
lekia balandis su mirta —  
spjaudantis ugnimi*

*broli, vai kelkim tiltelį  
per Nemunėlį — abu  
vienąkart vienas gali  
būti daugiau nei du*

[Braziūnas 1988: 140].

##### балтийская арифметика

‘единожды один --- сколько нас?  
один и один? или два?  
третий не вернется уже из пруссов  
там теперь в пустыне --- тоскливо

брат-близнец, давай не умрем  
давай будем, близнец, вечными  
летит голубь с миргой ---  
плююсь огнем

брат, давай поднимем мостик  
через Неман --- оба  
единожды один может  
быть больше, чем два

Читая «Балтийскую арифметику», можно думать, что поэзия использует все, что попадает под руку, например, в этом стихотворении — математику (арифметику)<sup>3</sup>. Однако, применяя математическое или лингвистическое действие, поэзия его переделывает под свою модель, и ее интерпретацию может понять только узкий круг «посвященных» — как грамматику Панини. Однако за математическими действиями, если углубиться в их суть, внезапно проявляется имплицитная лингвистическая и культурная информация. Поэт словно пытается сосчитать балтийские языки, делая это, с первого взгляда, парадоксальным образом — не складывая, а умножая: намеренно берется число (единица), при умножении которого на себя ( $1 \times 1 = 1$ ) получается число, меньшее, чем при сложении

<sup>3</sup> Сближение этих дисциплин имеет двухтысячелетнюю традицию, ср.: «Все, что не создано, говорят, в нас таится как возможность, а не как реальность. как грамматика или геометрия» [Simonas Samarietis 1980: 34].

нии (1 + 1 = 2). Однако следует вспомнить, что *умножение, увеличение* — одно из основных стремлений древнего общества — ключевые слова балтийских народов (понятно, что эти языки ни в коей мере не исключение) *tauta, liaudis* ‘народ’<sup>4</sup> происходят от корней, обозначающих «увеличение». Даже понятие святости (*šventumas*) [Топоров 1987: особ. 192–194] связано со значением *увеличения*. Поскольку в этом конкретном случае математические и лингвистические смыслы радикально различаются, во второй строке поэт пытается установить «правильное» математическое действие, т. е. сложение (*один и один*), — так можно представить не только двух главных членов, но и третий компонент — «не вернувшийся из пруссов». Слово *gūguos*, конечно, соответствует нем. *die Wildnis* — этим словом обозначается или необжитая, или не подвластная никому территория [Jurginis, Šidlauskas 1983: 3–4]. В третьей строке словом *gādu* ‘тоскливо’, ср. лит. *gudas* ‘белорус’) обозначается еще один народ, близкий балтам и находящийся рядом с ними, — *белорусы*. Упомянутый во второй строфе *dvynys* ‘близнец’ ассоциируется не только с конями на крыше, но и с латинским словом *divinus* ‘божественный’. В третьей строфе мы сталкиваемся еще с двумя имплицитными моментами. Во-первых, выражение *broli, vai kelkim tiltelį* ‘брат, давай поднимем мостик’ противоречит латышской дайне с подобной тематикой:

*Rūci, rūci, pārkonīti,  
Skaldi tiltu Daugavā! 5  
Lai nenāca poļi, leiši  
Manā tēvu zemītē*

‘Греми, греми, Перун,  
Разрушай мост на Даугаве,  
Чтобы не шли поляки и литовцы  
В земли моих отцов’.

В стихотворении Бразюнаса и в латышской дайне мы видим совершенно противоположные действия: литовский поэт предлагает *поднимать мостик*, а латышская дайна — его *разрушать*.

С другой стороны, появляется двусмысленность, *какого* балтийского брата поэт имеет в виду при обращении. Поскольку в стихотворении

<sup>4</sup> Слово *tauta* возводится к и.-е. *tēu-* ‘распухать, увеличиваться’ (первоначальное значение — ‘множество’). семантической параллелью слова *liaudis* в готском языке является *liudan* ‘расти’ [Sabaliauskas 1990: 25].

<sup>5</sup> Несколько проблематичен перевод на русский язык второй строчки строфы, которая должна звучать «Разрушай мост на Даугаве». Конечно, в древности таких мостов, которые мы видим сегодня через реки, особенно такие, как Даугава, никто не строил. Само слово лит. *tiltas*, лтш. *tilts* является производным из балт. *\*tel-/til-* ‘расстелить, постелить’. Вост.-балт. *\*tilta* (средний род) означало ‘расстиланье, настил’. Древние мосты — настилы, чаще всего природные, через броды рек, ср. топонимы прус. *Stabynotilte* ‘lapideus pons’, *Grobetiltēn*, лит. *Tiltinis* река, *Tiltisrē* река, *Tilturpē* река и т. д. [Mažiulis 1: 187; 4: 273; Vanagas 1981: 345].

говорится о *трех* братьях (*trečias negriš jau iš prūsų* ‘третий не вернется уже из пруссов’), а в литовском и латышском языках очень распространены уменьшительные суффиксы<sup>6</sup>, становится неясным, о какой реке говорится: о текущей на пограничье Литвы — Латвии (латыши называют Неман *Mēmele*) или о протекающей между литовцами и пруссами, называемой немцами *Memel*<sup>7</sup>. Последняя аллюзия усиливается упоминанием пруссов.

Таким образом, поэтический текст получает большую обобщающую силу: в нем возрождается общебалтийское пространство, которое пытаются «увеличивать»<sup>8</sup> с использованием значения умножения, колеблющегося между лингвистикой и математикой<sup>9</sup>.

### 1.3. Цель

В статье исследуются модели взаимоотношений балтийских языков, имплицитно и эксплицитно проявляющиеся в поэзии Бразюнаса. Эти модели больше ориентированы на северных соседей литовцев — латышей. Поэт, описывая лингвистический разлом, произошедший в прошлом языков, пытается снова «склеить» раздробившиеся языки — как в исторической грамматике.

## II. МОДЕЛИ ЯЗЫКОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ И ПОЭЗИЯ

### 2.1. Лингвистическая модель: время — причина изменений

Фердинанд де Соссюр, обсуждая причины дифференциации языков в «Курсе общего языкознания», утверждает, что начало французскому и провансальскому языкам положила народная латынь, *по-разному* эволюционировавшая в *южной* и *северной* Галлии. Однако что определяет различную эволюцию? По мнению Соссюра, неверно считать, что причина языковых изменений — *пространство*. Пространство само

<sup>6</sup> Периферическое на первый взгляд языковое явление таит в себе универсалии. ср. [Иванов 2004: 139–141].

<sup>7</sup> Нем. *Memel(e)/Mumel(e)* появилось из зап.-балт. диалектной (скальвийской или куршской) формы *\*Nemunā* [Mažiulis 3: 174–178].

<sup>8</sup> Поэтический проект «увеличения» балтийского пространства поддерживает лингвистика, считающая отдельным балтийским языком латгальский, ср. [Leikuma 2003] (с указанными на с. 40 учебниками этого языка, выпущенными в Латгалии (в Лиелварде, Резекне) и в Баварии (в Мюнхене)).

<sup>9</sup> Подобным образом в глоссемантике Л. Ельмслева дается определение *функции* ни строго математическое, ни лингвистическое.





## gretinamoji gramatika

*lėtas laikas, tiksintis mano kalboj, o  
greitas tavojoj, nebesugriebsi  
raiteliai báltai už Dnepro jojo ir nuklajojo  
bekėpsio Babelio šmėkla it  
varnalėša, tautovardžių sėklom apkibus*

*mėlynasis mėnulis kas  
septyneri metai Andalūzijoje, sužeistas  
varnas, prieš rytą išėjęs į miegantį mažą  
miestelį, raudona gaisa, išprotėjusi  
pilnatis, pažadui pildantis, mirgant mirazui*

*dalybos nelygios, žingsnių aidas žingsnius  
aplenkia, prie savo mirties neprisėlinsi  
šunes neprijaukinami, neatpažįstami tavo  
skiemėnys, vėjo žiedai, nors vėjas tas  
pats, kur lydėjo iš Azijos plynų*

*vėjas toks stiprus, kad neįmanoma žodžio  
pratarti, sėdim ant žolės už namo ir tylim  
išsigydyčiau, būčiau naminis, išmokčiau  
metamą kaulą pastverti, mėgdžiot balsus  
visomis kalbomis iš karto, bet laikas*  
[LM: 2005-05-13, 16].

## сопоставительная грамматика

‘медленное время, тикающее в моем языке, а  
быстрое в твоём, не ухватишь  
всадники балты за Днепром скакали и заблудились  
торчит призрак Вавилона словно  
лопух, увешанный семенами названий народов

синий месяц каждые  
семь лет в Андалузии, раненый  
ворон, под утро вышедший в спящий маленький  
город, красное зарево, сумасшедшее  
полнолуние, при исполнении желаний, при мерцающем мираже

раздел неровный, эхо шагов шаги  
обгоняет, к своей смерти не подкрасться  
собаки не приручены, нераспознаваемы твои  
слоги, цветы ветра, хотя ветер тот  
же, что провожал из пустынь Азии

ветер такой сильный, что невозможно слова  
произнести, сидим на траве за домом и молчим  
я бы вылечился, был бы домашним, научился бы  
хватать брошенную кость, подражать голосам  
на всех языках сразу, но время<sup>7</sup>

Стихотворение разделяется на две части: в двух первых строфах  
говорится о времени, в третьей и четвертой — о ветре.

В стихотворении создается модель времени и изменений, метафорически повторяющая Вавилонскую катастрофу и стремление повторить чудо сошествия Святого Духа на Троицу. В первых строчках подчеркивается неровность течения времени — время может быть *медленным* (время языка автора) и быстрым (время того, к кому обращается автор: нетрудно понять, что он — носитель другого балтийского языка). *Медленность / быстрота* времени символизируется оппозицией *l/(g)r*: примеры последней с *r* почти повторяют «Кратил» Платона. Скрыто указывается на национальность, в которой время едва тикает: *медленное время, тикающее в моем языке*. Одна из трех форм, называющих Литву, это форма \**lēt-* < \**leit-*, ср. эстонск. *Leedumaa*<sup>12</sup>. В третьей строфе изменения детализованы: *не распознаваемы твои / слог, цветы ветра, хотя ветер тот / же, что провожал из пустынь Азии*. Поэт хорошо «уловил» суть: в исторической грамматике обычно сравниваются не слова, а морфемы или даже слог. Под действием времени (в стихотворении — ветра) они меняются, например, синтетизм сменяется аналитизмом, особенно интенсивным в родном говоре Владаса Бразюнаса. В последней строфе *время*, точнее, *ветер* такой сильный, что не дает возможности договориться — языки разделены окончательно<sup>13</sup>. Сила ветра приравнивается к быстро текущему времени: строфа начинается словом *ветер*, а заканчивается словом *время*. Именно *время* (если в обратном порядке — *ветер*) мешает говорить на разных языках *сразу*, поэтому чудо Троицы больше не повторяется.

<sup>12</sup> Эстонцы познакомились с этим этнонимом, видно, в то время, когда дифтонг *ei* в корне \**leit-* был монофтонгизирован и произносился как *ē* (позднее последний превратился в *ie*).

<sup>13</sup> Ветер (соотв., время) меняет формы так, что они уже не распознаваемы. ср. русское слово, составленное из корня, обозначающего «ветер»: *выветривать*.

### III. ПИЛИГРИМСТВО: ПОЭТ «ПРИХОДИТ ИЗ-ЗА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ»

#### 3.1. Бассейны рек и лингвистические границы

Поэзия использует лингвистику, применяя поэтическую логику: как и языковедение, она пытается проследить процесс разделения языков, ищет точки нейтрализации лексики и грамматики, в которых встретились бы отделившиеся, но все еще обнаруживающие сходства лексические и грамматические значения. Цель такого приема — преодолеть лингвистические границы и лингвистическими или поэтическими средствами воссоздать праязык. При таком развитии мысли появляется поэтическое балтийское двуязычие, многоязычие или, по крайней мере, его идея. Или это — только плод поэтического мышления?

Одним из ярчайших способов преодоления лингвистической границы является билингвизм, живое творение языка в бассейне Муши—Даугавы. Как ни странно, реки, их слияния довольно сильно действуют на языковые контакты, хотя с первого взгляда кажется, что язык (или языки) и реки имеют мало общего.

Духовным и культурным центром каждого народа является столица. Понятие столицы связано с государством, но ведь народ не всегда имеет свое государство или может его временно потерять. Кроме того, связь пространства со столицами или религиозными центрами возникла недавно и — самое главное — неестественно. Народы, *не имеющие государства*, начинают жить согласно очень архаичному восприятию пространства — рекам, их слияниям и под. Именно так можно объяснить современному читателю загадочные строки 175–176 поэмы Антанаса Баранаускаса «Дорога в Петербург» ('*Kelionė Petaburkai*):

*Tu letuwa tu meliausia mono motinėla  
Tu Dauguwa tu placiausia letuwas upėla*  
[Baranauskas 1995: 218].

‘Ты, Литва, ты милейшая моя матушка  
Ты, Даугава, ты широчайшая речка Литвы’

Такое «протяжение» литовского пространства на север, без сомнения, появилось в историческое время, может даже в период жизни поэта: около этой реки литовцы никогда не жили.

В отличие от Антанаса Баранаускаса, перешагивание рек для Владаса Бразюнаса — вход в *другой*, хотя и близкий, лингвистический и культурный ареал. В поэзии этот переход происходит гладко: образ реки

подчеркивает относительность и время, изменяющее языки (ср. выражение *время течет*), и, наконец, *время*, как и в стихотворении «Сопоставительная грамматика», заменяется образом *ветра*:

<i>nuo Lėvenio tekančio tako latvėjančio vėjo ko teko neteko ėjo nuvėjo</i>	‘от текущей дорожки Левяниса становящегося латышским ветра что досталось утратилось шло ушло’
[ŠA 2004: I, 33–36].	

Большое пространство Баранаускаса в поэзии Бразюнаса соответствует маленькому, почти миниатюрному, однако далеко не бытовому пространству, в котором переход реки означает воссоздание древних балтийских связей. В стихотворении нетрудно заметить скрытый внутренний диалог двух поэтов — Кнутса Скуйениекса и Владаса Бразюнаса, в котором латыш с помощью пива соблазняет литовца перейти границу:

<i>ak kas par leišiem ak kas par alu!</i> Knuts Skujenieks	‘ах что за лейши, ах что за пиво!’ Кнутс Скуйениекс
---	--

<i>europietei, gimęs Lietuvoj, palatvįjį knieti vis paklaust, o ką galvojam, kaip gyvi klyvi</i>	‘европейца, родившегося в Литве, на границе с Латвией все подмывает спросить, а что думаем, как живы кривоноги
--	---

<i>ar vaikaičiai klykia, ar laukais į Ryzdžinią dar Velykė kiaušų, skaisčiai išdažyta, ridina</i>	кричат ли детишки, катит ли еще Велике <sup>14</sup> полями в Ригу ярко раскрашенное яйцо
---	--

<i>ar Mūšos pakriaušiuos dar miselė kruta, dar gyvena ar neliausit šiauštis, zvirbuliai, prieš Knutą ir prieš meną</i>	шевелится ли, живет ли еще сусло на обрывах Муши не перестанете ли важничать, воробы, перед Кнутом и перед искусством
--	--

<i>brisk dar mūsų pusėn, kad jau vis labiau koštuvės knieti duok šen baltą ūsą, europietei, prie dangaus prikniedytas</i>	бреди еще в нашу сторону, чтобы уже все больше угощения хотеть дай сюда белый ус, европеец, к небу приклепанный’
[M 2003: Nr. 5, 66].	

<sup>14</sup> Велике (*Velykė*, от *Velykos* ‘Пасха’) — мифологический персонаж, приносящий на Пасху (или на отдание Пасхи, т. е. в следующее воскресенье после Пасхи) подарки детям.

Для целых поколений жителей северной Литвы Рига была своим городом, несравнимо более близким, чем далекий и говорящий польски и по-белорусски Вильнюс. Жители северных районов Литвы в течение десятилетий собирали бруснику и клюкву в бескрайних лесах южной Латвии. Поэтому совершенно обоснована тема *подарка* — *Велике*, катящая яйцо<sup>15</sup> в Ригу (*Rydzinią*). Так обнаруживается цель преодоления лингвистической границы — переход через Мушу, чтобы попробовать пива. Весь текст полон глаголов, обозначающих активное действие: *кричат, катят, шевелится, важничать, бреди, дай*. Появляется возможность назвать даже ветвь индоевропейских языков — *балтов* (*duok šen baltą ūsą, europietį* 'дай сюда белый ус, европеец').

### 3.2. Рига — река и город

Для жителей северной Литвы центром притяжения в XIX в. (когда не было государства) и во второй половине XX в. (после потери независимости) стала Рига, город, который, с одной стороны, был в некотором смысле литовским, а с другой стороны — похожим на национальный Вавилон, в котором литовец чувствовал себя довольно уютно. В этой многоязычной среде был найден способ «приручить» город с помощью языка — этимологизирова название:

*į aklikele, ką jau tos giesmės beprikelia  
přitaria prūsas ir keltas, variagas vi-  
kingas rikis  
rinkis iš seno dievyno, kam alų, kam  
midų, kam Ringės vyno  
statinę, merga dar galinga, stati stuome-  
nėta lininė*  
(<http://vladas.braziunas.net>).

‘в тупик, кого уж эти песни поднимают  
подпевают прусс и кельт, варяг викинг  
властелин  
выбирай из древних богов, кому пиво,  
кому мед, кому бочку вина Ринге  
девка еще могучая, прямая, статная  
льняная’

Рижский Вавилон изображен довольно своеобразно: объединение пруссов и кельтов<sup>16</sup> как представителей мира мертвых, с варягами, в имени которых не этимологически вписано название латышской сто-

<sup>15</sup> Дарение пасхального яйца (только с противоположным значением — отрицательным) известно и из истории Литвы, ср. угрозу Великого литовского князя Альгирдаса Московскому князю Димитрию: *A ja dast' boh w neho budu na velik deň, a pocaliui ieho krasnym jajcom czerez szczyt* [Хроника Быховца: 140].

<sup>16</sup> Отражения этих этнонимов актуализируются в тексте, ср. созвучия *aklikele, beprikelia, přitaria*, где *три* слова своеобразно сплетают названия *трех* народов: первое слово ассоциируется *только* с кельтами, последнее — *только* с пруссами (следует заметить, что такой корень слова известен пруссам, ср. в Катехизисе 1561 г. *iārin* 'голос'), среднее — с обоими.

лицы: *variagas*. Дальнейший текст готовит этимологию: *vikingas rikis rinkis* — выделенные части слова напоминают основное слово *Ringė*, к которому и возводится топоним (вначале, как и всегда в классических случаях, — гидроним, потом — топоним) *Riuga*.

В стихотворении довольно точно пересказывается этимология топонима. По мнению Зигмаса Зинкявичюса [Zinkevičius 1984: 355]<sup>17</sup>, имя городу дали жившие вперемешку с ливами балты — земгалы или селы: «Эти балты скорее всего и дали имя Риге (реке, по названию которой назван город), ср. литовские гидронимы *Ringa, Ringė* <...> *Ringis, Ringys, Ringelė* и др. (более полусотни рек и озер), связанные с апеллятивами *ringa, ringė* <...> *ringis* 'волна, волнистая линия', *ringiuoti* 'витья, извиваться' и др.».

### 3.3. Обозначение национальности поэта — по другую сторону границы?

С первого взгляда может показаться, что *названия* народов совершенно аутентичны, однако на самом деле это не так. Например, *gudai* 'белорусы' в первоначальном значении, видимо, были 'те славяне, которыми управляют готы'<sup>18</sup>. Понятно, что такую «характеристику» можно дать только извне. Нередко литовские поэты (Тислява, Мачернис и др.) считали себя (по крайней мере духовно) пришельцами из других народов — пруссов или венгров. Получается, отнесение себя к «родившимся за языковой границей» считается престижным. По мнению Сигитаса Гяды, это «все тема пилигримства, судьбы пилигримов» [Geda 1998: 79]. Такой взгляд не чужд и Бразюнасу.

Название одного и того же народа (в данном случае — литовцев) может в процессе миграции приобрести различные формы и значения. Название литовцев в латышском языке, кроме общепринятого и нейтрального *lietuviētis*, -e, еще имеет формы *leitīs, leišīs*. Тот же балтийский корень \**leit-* отражается и в латышском слове *lietuviēns*: это слово не является этнонимом, однако на него можно смотреть как на отражение пейоративности *лейшиса*.

**3.3.1. Leišīs.** Пытаясь вернуться на поэтическую родину через самых северных балтов, Бразюнас называет себя *leišīs*, т. е. обозначение национальности поэта появляется «из-за лингвистической границы», из Латвии. В одних случаях этим словом подчеркивается близость народов: *kur leišīc mētos / kur latviu meitos* 'где мята лейшей / где девицы

<sup>17</sup> Ср. [Sabaliauskas 1994: 288–290].

<sup>18</sup> Конечно, это только одно из возможных объяснений, ср. [Karaliūnas 1999].

латышей' («Palatvē»; [Braziūnas 2002: 44]). Однако в других случаях *leišis* приравнивается к чужому тюрку: *aukščiāusiam baltų beržyne / girdėti leišiai ir tiurkai / vis latviškai čiulbant ir ulbant* 'в самом высоком балтийском березняке / слышно, как лейши и тюрки / все по-латышски щебечут и воркуют' («Karvelių paštas»; [Braziūnas 1998: 37]). Лейшами здесь называются литовцы<sup>19</sup>, ср. историзм *leišu ciltis* 'литовские племена'; наречие *leitiski* 'по-литовски'). Поэт отмечает, что, старея, человек возвращается в инвариантное состояние, называемое древним этнонимом *leišis*:

*karvelėli kai senas nubalsi  
gal kaip kadaise senelė  
visas jau spalvas pametus  
leišių pašių nešiosi*  
[Braziūnas 1998: 37].

'голубок когда старый побелешь  
может как когда-то старушка  
потеряв уже все цвета  
будешь носить почту лейшей'

Можно примерно представить себе пространство этих строк и находящихся в нем действующих лиц. Лирический герой стоит на стороне литовцев, однако называется на латышский манер (*leišis*). Тот, кто называет лирического героя, стоит «по ту сторону границы», в Латвии. Лингвистическая граница существует почти невидимо — и ее преодолевает только *голубочек* (поэтому и название стихотворения — «Голубиная почта»).

Стоит сравнить сопоставление *leišis* и *tuteišis*, где две неопределенные национальности оказываются рядом друг с другом, а перед их упоминанием поэтический текст имитирует народную песню, имеющую неопределенную семантику:

*ei išsilakstėt po užpelkių upsalas  
alu vis dzert vis pa druskai  
vis um-pa-pa um-pa-pa  
leišis tuteišis trumpina  
kelį neria į rudenio upę  
paskui karvelį ulduką*  
[Braziūnas 1998: 38].

'эй разлетелись по заболотным ушсалам  
пиво все пить все по соли<sup>20</sup>  
все ум-па-па ум-па-па  
лейшис тутейшис сокращает  
путь ныряет в осеннюю реку  
за голубем-клинтухом'

<sup>19</sup> Латыши обычно не признают, что называют литовцев лейшами, поскольку последний вариант этнонима в Латвии получил пейоративный оттенок. Однако сама форма *leišis* очень архаична, ее фонетика восходит ко времени балтийского языка.

<sup>20</sup> В этой строчке нет смысла, слова (литовские и латышские) между собой не согласованы (примеч. пер.).

И в литовском, и в латышском языке слово *leišis* (*leitis*) имеет скорее пейоративное, чем нейтральное звучание<sup>21</sup>. «Словарь литовского языка» [LKŽ VII: 296–297] указывает значение 'медлительный, крупный, неуклюжий человек, увалень': *Jis toks didelis leišis, kad nė ant arklio neužlipa* 'Он такой большой увалень, что даже на коня не влезет'; *Jin leišėlė — kur stumia, ten ir grūva* 'Она неуклюжа — куда толкают, туда и падает'. Несколько более нейтрально значение 'прозвище литовца, заимствованное у латышей': *Alaus darysu, pyragu prasikepsu — svečių iš Latvijos būs. Noru parodyti, ka ir leišiai ne iš kelmo spirti* 'Наварю пива, напеку пирогов — будут гости из Латвии. Хочу показать, что и лейши не из пня тесаны'. Таким образом, во всех случаях довольно ощутима пейоративность этого этнонима.

Ради интереса можно отметить, что, возможно, из этого этнонима возникла фамилия *Leišis*, *Leišys*. Правда, совершенной ясности здесь нет — фамилия может быть связана и с названием синецветной вики, и с аналогичным по звучанию словом, обозначающим неуклюжего, крупного человека [LPŽ 2: 48].

**3.3.2. Lietuvėnas.** Ни в латышском языке, ни в этом стихотворении слово *lietuvėnas* (по-латышски *lietuvēns*) не является этнонимом. Название связано с негативностью, подземной сферой, смертью. В поэзии Бразюнаса слово *lietuvėnas* встречается в одноименном стихотворении:

*gyvi atsizėgnos prie vakarienės stalo  
pakarto vaiko siela, vienišas slogutis  
(kaip latviai sako — lietuvėnas) sąla  
galugerklį, gomury atgimstant rugiui*  
[Braziūnas 1998: 58].

'живые откредятся у вечернего стола  
душа повешенного ребенка, одинокий  
кошмар  
(как латыши говорят — летувенас) со-  
лодеет  
в глотке, когда в нёбе возрождается  
рожь'

Это слово в латышском языке означает 'кошмар', ср. *lietuvēns moka* 'кошмар мучает', *gul kā lietuvēns uz krūtīm* 'лежит как камень на сердце', *lietuvėna krusts* 'крест кошмара' (этногр.) — колдовской, заклинательный знак — пятиконечная или восьмиконечная звезда, нарисованная без отрыва руки [LLKŽ: 383]. Само стихотворение скомпоновано так, чтобы оно было максимально хтоническим, связанным с подземным миром.

В текстах Бразюнаса оппозиция *leišis* / *lietuvėnas* очевидна. Первое связано с положительной оценкой, небом, светом. В стихотворении

<sup>21</sup> Ср. выражение *tas ir tā ka leitis* (ирон.) 'он совсем как литовец' [LLKŽ: 276].

«Голубиная почта» [Braziūnas 1998: 37], в котором упоминаются *leišis*, взгляд поэта сначала останавливается на «Медном петухе Петра»<sup>22</sup>, а другой его фокус «в высочайшем березняке балтов». При слове *lietuvėnas* почти все глаголы отрицательные: *не дотронется, издохнет, не ответит, не спрашивай, перекрыть, заколоть, не возвращайся, не утешит, не даст, открестятся*, а образ балансирует между «нулевым уровнем» (*kai jį plukdys per ežerą* ‘когда его будут сплавлять по озеру’) и подземным царством (*urveliais mirčiai kelią užkirsti* ‘пещерами смерти дорогу перекрыть’, *šermukšnio mietagalį per krūtinę kala* ‘рябиновый кол в грудь втыкают’). Даже в том случае, когда текст на первый взгляд должен быть позитивным (*gyvi atsizėgnos prie vakarienės stalo* ‘живые открестятся у вечернего стола’), все оказывается иначе: *откреститься* скорее всего означает *отказаться*.

Не стоит удивляться, что, хотя название *leišis* в латышском языке имеет некоторую пейоративность, в стихотворениях Владаса Бразюнаса негативный оттенок этого слова не ощущается. Это происходит из-за лингвистичности стихов: мы в них словно попадаем в общество лингвистов или литературоведов, в котором значения слов *leišis, tuteišis* и под. чисто лингвистические и поэтому не могут иметь негативного оттенка.

#### IV. ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКЕ

##### 4.1. Поиск общепалтийского языка: проект

Когда-то существовавший единый язык (он может быть назван восточно-балтийским праязыком) раздробился. Однако в грамматике, лексике, акцентологии осталось много общих черт. Их количество так велико, что представители отдалившихся и отдаляющихся народов могут без особого труда понять друг друга. Это понимание облегчает, например, филология — знание грамматики родственного языка. Так начинаются поиски общепалтийского языка. Чаще всего в поэзии Бразюнаса внимание концентрируется на литовско-латышской границе. Цель поэта — преодолеть невидимую стену<sup>23</sup>, разделяющую языки и народы, используя язык в качестве инструмента.

<sup>22</sup> Однако в переводе Петерса Бруверса это *licentia poetica*, появившееся, возможно, из-за связи варягов и Риги: *variagu* ‘варягов’ (: *varinio* ‘медного’), исправлено: *zelta gaiļa* ‘золотого петуха’, см. <http://vladas.braziunas.net> (ст. ‘Balozu pasts’).

<sup>23</sup> В литовском языке слово *siena* означает одновременно и ‘стена’, и ‘граница’ (примеч. пер.).

#### sed contra

*perakēt, išsivertusius įtartinus trupint  
kalbos faktelius be konteksto  
kalbos, kurios realiai nėra  
atitrauktōs nuo realaus gyvenimo  
nuo žmonių, kurie ta kalba šneka  
kaupti aprašinėti  
šluostyti dulkes*

<...>

*o tu sprogdini sienas  
lingvistines, aišku*

(<http://vladas.braziunas.net>).

#### sed contra

‘проборонить, размельчая вывернутые подозрительные языковые факты без контекста языка, которого реально нет оторванного от реальной жизни от людей, которые на этом языке говорят собирать описывать вытирать пыль

<...>

а ты взрываешь стены лингвистические, конечно’

Как разбиваются лингвистические стены? Поэтическое разрушение стены мы видим в стихотворении «Балтийские языки» [Braziūnas 1998: 27], в котором поэт, начиная с общего утверждения *baltų linksniai baltalinksniai / ant kalbos asfalto linksta* ‘балтийские падежи балтопадежи (белопадежи) / на асфальт языка склоняются’, так определяет реконструкцию языкового литовско-латышского единства:

*sprogtą priebalsiai ir švokščia  
prieblandoį ir mėnesienoj  
kad galėčia juos išvogčia  
susprogdinčia latvių sieną*

‘взрываются согласные и шумят в сумерках и при луне если б мог я их выкрасть взорвал бы латышскую границу

*sėlių sieliais taranuočia  
tvirtagalis galininkas  
kirsčia lielupe lig žiočių  
bet didžiosios linkin sminga*

селов на плотах протаранил бы восходящий винительный пересек бы Лиелупе до устья но изгиб Большой вливается

*ir laužtinės, ir trumpinės  
byra priedainės, pušynės  
per kalbos asfaltą, žvyrą  
juodos baltų valtys irias*

и прерывистые, и краткие сыплются припевы, сосняки через асфальт, гравий языка черные лодки балтов гребут’

[Braziūnas 1998: 27].

Это стихотворение получило бы особый смысл и звучание, если бы мы на него посмотрели как на программу действий, цель которой — объединить балтийские языки, а через них — и балтийские народы.

## 4.2. Поиски общебалтийского языка: воплощение проекта

**4.2.1. Фонетика.** Согласные, которыми взрывается стена, классифицируются необычными терминами: наряду с взрывными, упоминаются шумные<sup>24</sup> (должны были бы быть — фрикативные), однако такой поэтический термин согласных вполне возможен.

**4.2.2. Акцентология.** Иногда Бразюнас использует чисто филологические приемы, известные узкому кругу специалистов. Например, в этом стихотворении соединение языков подкрепляется упоминанием согласных: *tvirta-galis gali-ninkas* ‘твердо-конечный (нисходящий) винительный’. С одной стороны, это применение излюбленного Бразюнасом бесконечного текста, аранжирующего одни и те же морфемы, когда второй компонент первого слова совпадает с началом или корнем второго слова. С другой стороны, с точки зрения исторической акцентологии, окончание винительного падежа единственного числа действительно всегда имеет нисходящую (циркумфлексную, в литовской терминологии — «твердо-конечную») интонацию. Две другие упоминаемые интонации (и прерывистые, и краткие) тоже имеют «двойное» назначение: прерывистая (семантика термина «прерывистый» хорошо сочетается с «агрессивными» глаголами) интонация встречается не только в латышском языке (*lauzta*), но и в жемайтских диалектах, а в «краткой» (на самом деле такой интонации нет, но когда-то в грамматике литовского языка так называлось ударение, обозначавшееся знаком грависа) зашифрована интонация латышского языка, которая в научной литературе называется *kričoša* (что соответствовало бы литовскому акуту). Границу не удастся преодолеть: выражение *kirsčia Lielupe lig žiogiu / bet didžiosios linkin sminga* ‘пересек бы Лиелупе до устья / но изгиб Большой впивается’ показывает, что граница выдерживает (поэтому и изгиб впивается), а поражение смягчается лингвистическим способом — при переводе *lielupe* литовским словом *didžioji* ‘большая’. *Didžioji*<sup>25</sup> *upė* ‘Большая река’ — аналогия латышского гидронима *Lielupė*, по-литовски называемого *Mūša*.

**4.2.3. Морфология.** Ясно показано, что место лирического героя — на стороне Литвы в Аукштайтии: об этом свидетельствуют морфологические формы агрессивных глаголов (*išvogčia, išsprogdinčia, taranuočia*), свойственные этим диалектам.

<sup>24</sup> Имеются в виду *фрикативные* согласные. Термин *шумные* тоже вполне подошел бы.

<sup>25</sup> Интересная параллель: реки, которые литовцы называют *Mūša* и *Neris*, для их соседей просто *Большие реки*: для латышей это — *Lielupė*, а для белорусов *Нерис* — *Велья*.

**4.2.4. В лексике** лингвистические границы разрушаются с использованием структуры двуязычных словарей, когда рядом оказываются слова разных языков. В этих строфах есть случаи даже двух переводов с литовского на латышский язык (или наоборот). Наиболее тщательно замаскирован перевод, связывающий *priedainės* и *pušynės*: слова родственных языков разделены запятой: латышское *priedaine* = литовское *pušynė* (ср.: лтш. *priede* ‘сосна’) — полу-лингвистический, полу-поэтический перевод<sup>26</sup>. Так возникает нейтрализация *литовскости* и *латышскости*, усиливающая взрывание границы как восстановление потерянной общности двух языков и народов, призывая на помощь когда-то исчезнувший балтийский язык — селов: используется как созвучие *sėliai* : *sieliai*, так и лингвистическая реальность, поскольку селы исчезли, отчасти смешавшись с латышами, отчасти — с литовцами.

**4.2.5. Детализация и дополнение проекта в других стихотворениях.** Больше всего усилий поэт прилагает, сравнивая или хотя бы сопоставляя не столько балтийские данные, сколько данные других языков. При таком сопоставлении может использоваться несколько различное написание родственных слов латышского и литовского языков: читая *jēga* ‘смысл, понимание, ум’, литовец сразу сопоставляет это слово с *jėga* ‘сила’: так появляется элементарная сопоставительная грамматика, перерастающая в дальнейшее сопоставление уже менее родственных языков (*siela* : *cūla*)<sup>27</sup>. Сравняя лит. *jėga*, лтш. *jēga*, с одной стороны, и лит. *siela*, рус. *сила* — с другой стороны, Альгирдас Сабалиускас заключает: «Наша *siela* имеет очень близких родственников в прусском языке: *seilin* (форма винительного падежа единственного числа) ‘чувствительность, прилежание’, *noseilis* ‘дух’. Первоначальным значением литовского и прусского слов было скорее всего ‘сила’, сначала физическая, а позднее уже духовная. Это развитие значений подтверждается и точным соответствием литовского и прусского слов в славянских языках, ср. рус. *сила*, польск. *sila*, чешск. *síla* и др.» [Sabaliauskas 1994: 310]<sup>28</sup>. Похожее изменение значений мы видим при сравнении литовского *jėgà* и латышского *jēga* ‘смысл, понимание’. Так поэт создает элементарные этимологические гнезда:

<sup>26</sup> Эта связь повторяется еще в одном стихотворении: *kur priedainė buvo, pušynė / skrenda gyvatė rudoji, raudona, juoda, geležinė* ‘где сосняк (лтш.) был, сосняк (лит.) / летит змея рыжая, красная, черная, железная’ («Degančios pušys» ‘Горящие сосны»; [Braziūnas 1999: 34]). Конечно, поэт провоцирует читателя и на другое прочтение: *prie-dain-ės* ‘при-пев-ы’.

<sup>27</sup> Отдельную и очень интригующую тему составила бы история этого слова в балтийских языках (ср. еще прус. *noseilis* ‘Geist, дух’). см. [Пазаускас 2004].

<sup>28</sup> Ср. [Sabaliauskas 1990: 134].



*jėga, siela ar siula*  
*kas ten iš gylio kyła*  
[M 2003: Nr. 5, 63].

‘смысл, душа или сила  
что там из глубины встает’

В другом стихотворении продолжается тема души (*siela*) с помощью формулы загадки «пробив лед, найдешь серебро, пробив серебро, найдешь золотого»: сопоставляются литовские и латышские слова разного происхождения и значения, но похожие по звучанию:

*dvēsele ir nemirstīga*                      душа бессмертна (лтш.)

*pramuški ledą*                                  ‘разбей лед  
*rasi sidabrą*                                  найдешь серебро  
*praplēšk dēvēseną*                      разорви одежду (лит.)  
*rasi dvēseli*                                  найдешь душу (лат.)’  
(<http://vladas.braziunas.net>).

Еще большее сходство с двуязычным словарем возникает тогда, когда подразумеваемая латышская его часть (*burtas* ‘буква’, нововведение Юриса Алунаса) составлена из литовского слова, имеющего другое значение (*burtas* ‘колдовство’):

*puolusis aitvare, burtą ir turtą praradęs*                      ‘падший айтварас<sup>29</sup>, потерявший  
*raidę praradęs bežadis parjok iš kur nors*                      колдовство и богатство  
[Braziūnas 1999: 60].                      букву потерявший немой прискачи  
откуда-нибудь’

Иногда латышского слова (в данном случае — лтш. *spogulis*, произносится *spuogulis* ‘зеркало’) может и вовсе не быть, однако о его существовании на «втором плане» говорят детали текста, написанного политовски. Как и всегда, такой текст напоминает двуязычный словарь, ср. *spulgsi, spokso, apspuogęs* («латышскис» варианты) : *veidrodis* («перевод» на литовский язык):

*veidrodis*    зеркало

*vos spalgsi lempelė, apspuogęs*                      ‘едва дымится лампочка, ослепшее  
*veidrodis spokso į nuogą paauglę*                      зеркало глазет на голую девчонку’  
(<http://vladas.braziunas.net>).

<sup>29</sup> Айтварас – литовский мифологический персонаж, летающий змей (*при-меч. пер.*).

Поскольку литовская и латышская лексика нередко различается только отдельными звуками или суффиксами, в поэтическом тексте, написанном на литовском языке, латышские слова очень быстро получают все «гражданские» права: иногда их почти невозможно заметить, например: *žvirbulis* — *žvirblis* ‘воробей’. Однако в других случаях слова балтийских языков, хотя и бывают непонятными, начинают функционировать как часть литовской лексики, например, слова *spurglis* нет ни в литовском, ни в латышском словаре, однако мы находим его в Эльбингском словаре (*spurglis* ‘воробей’ Е 739), производное от прусского прилагательного \**spurgas* ‘прыгающий’ [Mažiulis 4: 146]<sup>30</sup>. Выражение *spurglių sielos* ‘души воробьев’ вполне подходящее, учитывая, что это слово принадлежит мертвому прусскому языку. Таким образом, лит. *žvirblis* в тексте стихотворения нет — его должен отгадать читатель, сравнивая слова двух других родственных языков (латышского и прусского):

*žiedlapējanti tavo oda, žaliās liepos bals-*                      ‘цветолистная твоя кожа, белесая дре-  
*va mediena suliepsnoja po*                      весина зеленой липы пламенеет под  
*spurdančiais pirštais, pasienu*                      трепещущими пальцами, под стеной  
*žvirbuliui pešas su spurglių sielom*                      воробьи (лтш.) дерутся с душами во-  
*šliurinėja vējas už durų, pešioja sama-*                      робьев (прус.) шлепает ветер за дvere-  
*nas, grabinėjas šlapių sienojū*                      рью, шишет мох, ощупывает мокрые  
бревна

*treška plonytė luobelė, tik pusdienį šitaip*                      трещит тонкая кожица, только в пол-  
*ar pusę gyvenimo likusio*                      день так или полжизни оставшейся’  
[Braziūnas 2007: 260].

Литовский и латышский языки можно связать, пользуясь тем, что слово в латышском языке может функционировать как самостоятельная лексема, а в литовском языке — только как компонент составного слова:

*Margeris, Pēteris. Janis ir Juris, paskry-*                      ‘Маргерис, Петерис, Янис и Юрис,  
*dėsiu prie savo*                                  полечу к своему  
*lygmalos jūros, kol iš tikrųjų kryžiuoką*                      полному морю, пока на самом деле  
*primygs ir prie*                                  крестик прижмет и к  
*mano vardo sarkanais Dieva markeris*                      моему имени красный (лтш.) маркер  
[KB 2005: Nr. 6, 26].                      Бога’

<sup>30</sup> Семантическое развитие было такое: ‘прыгающая птица’ > ‘воробей’. Прус. \* *spurg-* <\* и.-е. \*(s)p(h)-erg-.

Слово *lygmalas* ‘полный’ встречается чаще всего на границе с Латвией. — ср. *lygmalas, -a adj.*: *Jau pribēgo lygmala kūdra vandens šl.* ‘Уже набсжал полный пруд воды’; *lygmalai adv.*: *Uorē lygmalai prikrove Všk* [LKŽ VII: 476] ‘Повозку полностью наполнили’. — однако, по-видимому, не было заимствовано у латышей. Альгирдас Сабаляускас отмечает, что соответствие латышскому *mala* ‘край, берег’ (ср. лтш. *piebraukt malā* [LLKŽ: 397] ‘приплыть к берегу’) сохранилось в составных литовских словах *lygmalas* ‘вровень с краями, полный’, *skarmalas* ‘тряпка’, где оно не является заимствованием [Sabaliauskas 1990: 271].

Слово третьей строки процитированного выше отрывка *sarkanais* ‘красный’ кажется принадлежащим литовскому языку, точно также трудно смириться с тем, что *zirneklis* ‘паук’ — не литовское слово:

<i>voras — žirgt žirgt — it žir(g)nis</i>	‘паук — шаг за шагом — словно горох
<i>zirneklis — žengia į dangų</i>	паук (лтш.) — шагает на небо
<i>žirgas žvengia po langu</i>	конь ржет под окном
<i>žirgeliai po kraiga laigo</i>	стрекозы по коньку (крыши) прыгают
<i>vandenys teka, dievams atitekusi jūra</i>	воды текут, богам доставшееся море’

[LM 2002: № 11, 3].

В тексте предпринимается попытка связать междометие *žirgt* (от *žirgtelėti* ‘шагать’) с лит. *žirgas* ‘конь’ и лтш. *zirneklis* ‘паук’. Правда, в литовском языке это междометие обозначает широкий шаг или перешигивание, ср. *Jo ilgos klišės — žirgt, ir namie* ‘У него длинные ноги — шаг, и дома’ Кр. [LKŽ]. С другой стороны, поэт пытается связать лтш. *zirmelis* ‘горох’ с лит. *žirnis* ‘то же’. Может, это метафорическое название паука<sup>31</sup>?

Наконец, — семантически это самый сложный случай, — написанная по-литовски строчка чередуется с латышской. Название «Народная песня», намеренно вводящее в заблуждение, должно для читателя символизировать преемственность традиций:

<b>liaudies daina</b>	<b>народная песня</b>
<i>kas, Knutai, jos pradžiū matė</i>	‘кто, Кнут, ее начало видел?’
<i>mātes mute vai Mutes Māre?</i>	рот матери или Мать Рта (лтш.)?’

(<http://vladas.braziunas.net>).

<sup>31</sup> Такая предлагаемая поэтом этимология не противоречит лингвистическим толкованиям [Karulis 1992: 564].

#### 4.3. «Балтийская» письменность?

Греческий и латинский алфавиты, их диакритические знаки являются особыми сигналами, реализующими оппозицию *свой/чужой*. Алфавит может разделить даже говорящих почти на одном и том же языке (сербы и хорваты). С другой стороны, разумно подобранная письменность позволяет легко общаться представителям отдалившихся диалектов: по идее Антанаса Баранаускаса, все литовцы должны писать одинаково, а читать текст — каждый на своем диалекте. Кажется, такую мысль Владас Бразюнас переносит на балтийский уровень.

Поэт, перешагивая лингвистическую границу, иногда отказывается от типично латышской диакритики<sup>32</sup>, достигая таким образом двойной цели: с одной стороны, визуально он приближает текст к литовскому, с другой стороны — такое написание становится многозначным, ср. название стихотворения «*pac rudentini*»<sup>33</sup> ‘приди осенью’ [Braziūnas 1998: 38]. Латышское выражение здесь становится полулитовским, т. е. таким, каким его может записать литовец, не знающий правил правописания латышского языка.

## V. РЕКОНСТРУКЦИЯ БАЛТИЙСКОГО МИРА

### 5.1. Пространство

Ощущение пространства заметно далеко не только в поэзии — некоторые названия балтийских племен свидетельствуют об их положении в пространстве, например: *galindai* ‘голядь’ (от *galas* ‘конец’) (на прусских территориях и в окрестностях Москвы, в обоих случаях воспринимаются как конечные, живущие на окраинах земель балтов), возможно *kuršiai* ‘курши’ (‘те, кто живет слева’ [Dini 2000: 211–212], таким образом, тот, кто их так назвал, стоит лицом на север) и под. При исчезновении народов или племен связанные с этим изменения в пространстве происходят медленнее, чем превращения языков: так появляется убеждение, что народы никогда не исчезают, что на их существование до сих пор указывают реликты ориентирования в пространстве. Стихотворение Бразюнаса начинается с «усыновленного города у

<sup>32</sup> Это особенно бросается в глаза на общем фоне творчества поэта, поскольку обычно диакритика как диалектных, так и латышских слов в поэзии Бразюнаса отмечена безупречно.

<sup>33</sup> Интересно то, что Бразюнас использует диакритические знаки литовских и латышских букв как поэтическое средство, делая «литовским» латышское написание: название стихотворения должно было бы (вернее могло бы) быть записано как «*Nāc rudentinī*».

моря», т. е. Риги, и кончается ятвягами (вслед за Антанасом Баранаускасом<sup>34</sup> и Сигитасом Гядой<sup>35</sup>): (su)jot vingiais '(с)ят вягами' = '(с)ехать петля'. Белорусов, живущих на пограничье, можно рассматривать как бывших ятвягов, когда-то живших по ту сторону Немана, и даже как современных ятвягов:

<i>debesie</i>	'туча
<i>neišlyto debesio gylva</i>	голова не вылившейся тучи
<i>iš šiaurės dangaus lygumi</i>	с севера равнинами неба
<i>įvaikinta miesto prie jūros</i>	усыновлена городом у моря
<i>tarp jo ir kalbos pakibusi</i>	между ним и языком повисшая
<i>o</i>	а
<i>sujot vingiais</i>	съехать петля
<i>į viena, sustot į gūdų pasieniais</i>	в одну, встать на пограничье в
<i>dainuojantą ratą, nugaromis</i>	поющий круг белорусов, спинами
<i>susiliečiant</i>	касаясь
<i>su jotvingiais</i>	ятвягов
<i>su gudų pasieniečiais</i>	с белорусскими пограничниками
<i>sienojais</i>	бревнами
<i>tegu juos ruduo</i>	пусть их осень'

[Braziūnas 2003: 30].

Так возникает замкнутый круг пространства восточных балтов: к западным балтам-ятвягам они становятся *спиной*, хотя и *касаясь*, потеря отражается в *белорусскости* круга, а пограничные белорусы превращаются в *бревна* — твердую и непреодолимую стену.

## 5.2. Лингвистическое объединение пространства: реконструкция

Поэтические тексты появляются при объединении языковых ассоциаций с лингвистической или поэтической реконструкцией. Слова хорошо известных живых восточно-балтийских языков умело спле-

<sup>34</sup> *Jotwingaj Letuwaj ejo giriu skrodžiu / Abiem krasztajs upes unt Nemuno prodžiu, / Ir ti ažusedi, tolou kelu grinde / Unt wiso pris-mone, wikri, stipri buwo, / Wingejs jodinejo ir niekur né kluwo, / E ku tik užjojo, pokojom suminde* 'Ятвяги литовские шли сквозь лес / По обоим берегам реки в верховьях Немана, / И там остановились, дальше дорогу прокладывали / Во всем умелые, ловкие были / Петля ехали, и нигде не зацепились, / А на кого только наехали, ногами примяли' [Baranauskas 1995: 262].

<sup>35</sup> <...> *senovės / jotvingių / valstybėj* <...> *žmogus / Jojantis / vingiais* — / *vagon* '...> в древнем / ятвяжском / государстве <...> / человек / едущий / петля — / бороздами' [Geda 1988: 43]. Правда, последняя поэтическая этимология не очень далека от лингвистической. см. [Karaliūnas 1997: 64–67].

таются с западно-балтийскими формами, однако это сопоставление не всегда обосновано лингвистическими законами. И наоборот: там, где читатель не усмотрел бы никаких смысловых связей, раскрывается мир индоевропейских реконструкций. Последний случай могла бы проиллюстрировать вторая строка:

<i>kraujaraudonis ruduo</i>	'кроваво-красная осень
<i>raudantis rudenio kraujas</i>	рыдающая осенняя кровь
<i>assanis-asins-vanduo</i>	осень (прусс.)-кровь (лтш.)-вода
<i>prūsiškai, latviškai niaujas</i> <sup>36</sup>	но-пруссски, по-латышски ссорятся'

[Braziūnas 1998: 33].

С одной стороны, *рыдающая осенняя кровь* — это изящная метафора. С другой стороны, эта метафора опирается на поразительно глубокие слои индоевропейского прошлого, те времена, когда говорившие на индоевропейских языках еще не покинули свою прародину. *Рыдания* обозначается словом *слезы*. В некоторых индоевропейских диалектах слово, обозначающее 'слезу', происходит от названия *крови*. Из индоевропейской формы \**esHǵn-(th)-* // \**esHǵn-(kh)-* образовалось не только хетт. *ešhar*, др.-лат. *aser*, лтш. *asins* (все они означают 'кровь'), но и слова, означающие 'слеза': хетт. *ešhahru-*, др.-инд. *ásram*, лтш. *asara*, лит. *ašara* [Гамкрелидзе, Иванов 1998: 816].

В дальнейшем тексте с помощью ассоциации *рыжего/красного* цвета объединяются слова *assanis-asins*, хотя прусское *assanis* означает не 'кровь', а 'осень'.

Иногда смежные формы связываются далекими ассоциативными связями, которые можно заметить разве что листая этимологические словари: *degė vasara, ir švito pilkos žaros* 'горело лето, и светали серые зори' («Žemė» 'Земля'; [Braziūnas 1998: 88]). Литовскому слову *vasara* 'лето' соответствует слово *dagis* (E13), означающее горячее (горящее) время года.

## 5.3. Балтийская грамматическая форма?

В стихотворениях Бразюнаса обнаруживается уникальная, кажется еще не использованная ни одним «плотником языка», идея единства балтов: окончания литовских слов даются по латышскому склонению (окончание *-ie* в латышском языке принадлежит местоименным прилагательным мужского рода в форме множественного числа именительного падежа)<sup>37</sup>: *iš kur tie pavargusie žmonės* 'откуда эти уставшие люди'

<sup>36</sup> *Niautis* означает 'ругаться, драться, бороться, грызться' [LKŽ VIII: 767–768].

[Braziūnas 1999: 55], *mano sutirštėjusie sapnai / kaukia į mėnulį* ‘мои сгустившиеся сны / воют на луну’ [Braziūnas 1999: 92], *išplasnėjusie broliai, sesuo...* ‘вылетевшие братья, сестра...’ [Braziūnas 1999: 120], *lapai tavo liepų, knygų / subyrėjusie manin* ‘листья твоих лип, книг / рассыпавшиеся в меня’ [Braziūnas 1998: 97], *žydi ir tyli / neuvylyusie sapno klausos* ‘цветет и молчит / не разочаровавшие слуха сна’ [Braziūnas 1998: 98], *laukiniais kapais ir kvapais apauginusie* ‘заброшенными могилами и запахами обросшие’ [Braziūnas 2002: 82].

## VI. ВЫВОДЫ

Чем отличается поэтическое знание и особенно передача этого знания от научного знания? Индоевропейцы обозначали знание с помощью двух корней. Корень *\*weid-/wid-* означает человеческое знание, которое один смертный может передать другому и которое может быть истинным или ложным. Совсем другое — божественное знание, передаваемое корнем *\*ǵnō-*. Работа ученого и результат этой работы обозначался бы корнем *\*weid-/wid-*: лучше всего это доказывает *теория изменяющихся парадигм*. Вдохновение поэта, без сомнения, относится к божественной сфере, поскольку, проникая в прошлое, оно не сталкивается с ограничивающим возможности горизонтом, не знает понятий истинности / ложности: никому не приходит в голову задумываться над тем, правда ли то, что сказал поэт. Целью и смыслом научного высказывания является *объяснение*, которое можно разложить на меньшие единицы и верифицировать. В то же время поэтическое высказывание — это *понимание*, цельное, неразложимое и не верифицируемое, в него можно только верить или не верить.

Научное мышление может и должно быть дополнено художественным мышлением: так можно представить появление не только научной, но и поэтической (возможно, и художественной вообще) баллистики. Поэтическая трактовка явлений не является дополнением к научному мышлению — в свой кругозор искусство слова включает и те сферы баллистики (или науки вообще), которые наука по тем или иным причинам, например из-за недостаточного количества данных, еще не в состоянии изучить. С другой стороны, несоответствие поэтических и научных объяснений не свидетельствует о произволе: на первые, возможно, стоило бы смотреть как на новые способы толкования.

<sup>37</sup> Однако это не только особенность латышского языка: такое же окончание есть и в купийшкенском диалекте, в котором конечный полудолгий *-ē* местоименных форм соответствует *-ie* в литературном языке.

Поэзия, как и языкознание, создает модели лингвистических трансформаций, определяет объекты трансформаций, миграцию языков и племен. Как и для понимания научного текста (в отличие от учебников, предназначенных для последовательного усваивания системы), для понимания поэтической баллистики необходимы начальные знания. Поэзия решает и определяет, что *чужое*, а что — *свое*, какие территории «закрыты», а какие — «открыты» и т. д., используя методы, основа которых — логика *поэтического* мышления, по существу отличающаяся от привычной для нас логики. В отличие от ученого, поэт не может оправдываться недостатком языковых, литературных или исторических источников, тем, что они недоступны или вообще исчезли, разве что это делалось бы из стилистических соображений. Поэт — усердный читатель Библиотеки Борхеса, и его труд заслуженно вознаграждается — он всегда находит единственную книгу, страницу в ней и букву на странице, в которой скрыт Бог<sup>38</sup>. Поэтому интуиция художника нередко опережает выводы ученого. Правда, поэтическое произведение, в отличие от научного трактата, ограничено необходимостью все излагать концентрированно — длина строки и ритмика строго определяют не только количество слов, но и число слогов.

Для поэта языковые границы, особенно литовско-латышская, легко преодолеваемы. При объединении восточных балтов — литовцев и латышей — общим знаменателем становятся бассейны рек. В пространстве поэт представляет себя находящимся за литовской языковой границей: пребывание или приход с другой стороны языковой границы считается престижным.

От восточно-балтийских текстов поэт плавно переходит к общебалтийским вариантам отдельных слов. В отличие от лингвистики, поэтическое приравнивание форм основано не на правильных соответствиях (это прерогатива языкознания) или на схожести форм (схожесть форм не является доказательством родства языков, хотя в поэзии ожидалось бы именно это), но на очень длинных ассоциативных цепочках.

## Список сокращений

Гамкрелидзе, Иванов 1998 — Т. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. II (1). М., 1998 (Второе издание).

<sup>38</sup> *Dios está en una de las letras de una de las páginas de uno de los cuatrocientos mil tomos del Clementinum* (de Jorge Luis Borges, ‘El milagro secreto’, см. <http://www.galeon.com/borges/relatos.htm>) ‘Бог находится в одной букве на одной странице в одном из сорока тысяч томов Клементинума’.

- Иванов 2004 — Вяч. Вс. Иванов. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему. М., 2004.
- Разаускас 2004 — Д. Разаускас. Прусск. *noseilis* 'дух' в структуре балто-славянского понятия души (маленькая заметка на большую тему) // Балто-славянские исследования. XVI. М., 2004.
- Топоров 1967 — В. Н. Топоров. К истории связей мифопоэтической и научной традиции: Гераклит // To honor Roman Jakobson: Essays on the occasion of his seventeenth birthday. Vol. III. Paris, 1967.
- Топоров 1987 — В. Н. Топоров. Об одном архаичном индоевропейском элементе в древнерусской культуре — \*SVĖT- // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.
- Хроника Быховца — Хроника Быховца // Полное собрание русских летописей. Т. 32. М., 1975.
- Baranauskas 1995 — A. Baranauskas. Raštai. I: Poezija. Vilnius, 1995.
- Braziūnas 1988 — V. Braziūnas. Suopiai gręžia dangų. Vilnius, 1988.
- Braziūnas 1998 — V. Braziūnas. Užkalinėti. Vilnius, 1998.
- Braziūnas 1999 — V. Braziūnas. Ant balto dugno. Vilnius, 1999.
- Braziūnas 2002 — V. Braziūnas. Lėmeilėmeilėmeilė. Vilnius, 2002.
- Braziūnas 2003 — V. Braziūnas. Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai. Vilnius, 2003.
- Braziūnas 2007 — V. Braziūnas. Rinktinės juostos. Vilnius, 2007.
- Dini 2000 — P. U. Dini. Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius, 2000.
- Geda 1988 — S. Geda. Žalio gintaro vėriniai. Vilnius, 1988.
- Geda 1998 — S. Geda. Man gražiausias klebonas — varnėnas. Vilnius, 1998.
- Girdenis 1995 — A. Girdenis. Teoriniai fonologijos pagrindai. Vilnius, 1995.
- Jurginis, Šidlauskas 1983 — Kraštas ir jo žmonės / Sud. J. Jurginis, A. Šidlauskas. Vilnius, 1983.
- Karaliūnas 1997 — S. Karaliūnas. Etonimo *jotvingis* struktūra ir kilmė // VIII Tarpautinio baltistų kongreso pranešimų tezės. Vilnius, 1997.
- Karaliūnas 1999 — S. Karaliūnas. Etonimo *gudai* kilmė (iš baltų-germanų ir baltų-slavų praeities kontaktų) // Darbai ir dīnos. T. 10 (19). 1999.
- Karulis 1992 — K. Karulis. Latviešu etimologijas vārdnīca. 2 sēj. Rīga, 1992.
- KB — Kultūros barai.
- Koch 1983 — W. A. Koch. The Poetics of Evolution and the Evolution of Poetics. Ten hypotheses on an integrated Correspondence Theory of Poetry and Science // Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Textlinguistik. Tübingen, 1983.
- Leikuma 2003 — L. Leikuma. Latgališu volūda. Sanktpēterburgs, 2003.
- LKE — Lietuvių kalbos enciklopedija. Vilnius, 1999.
- LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. T. I–XX. Vilnius, 1941–2002.
- LLKŽ — Latvių-lietuvių kalbų žodynas. Kaunas, 2003.
- LM — Literatūra ir menas.
- LPŽ — Lietuvių pavardžių žodynas. T. 2. Vilnius, 1989.
- M — Metai.
- Mažiulis 1–4 — V. Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. T. 1. Vilnius, 1988; T. 3. 1996; T. 4. 1997.
- NR — Naujoji Romuva.
- Sabaliauskas 1990 — A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos leksika. Vilnius, 1990.

- Sabaliauskas 1994 — A. Sabaliauskas. Iš kur jie? Pasakojimas apie žodžių kilmę. Vilnius, 1994.
- Schmitz-Emans 1997 — M. Schmitz-Emans. Die Sprache der modernen Dichtung. München, 1997.
- Simonas Samarietis 1980 — Simonas Samarietis. Liudijimai // Filosofijos istorijos chrestomatija. Viduramžiai. Vilnius, 1980.
- ŠA — Šiaurės Atėnai.
- Vanagas 1981 — A. Vanagas. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.
- Zinkevičius 1984 — Z. Zinkevičius. Lietuvių kalbos istorija. T. I: Lietuvių kalbos kilmė. Vilnius, 1984.
- Župerka 2000 — K. Župerka. Kalbos dabartiškumo nuorodos nelingvistiniuose tekstuose // Acta linguistica Lithuanica. Lietuvių kalbotyros klausimai. T. XLII. 2000.
- Župerka 2001 — K. Župerka. Kalbą tiria visi // Gimtoji kalba. № 12. 2001.

Перевод с литовского М. В. Завьяловой

В. И. МАТУЗОВА

## Прусы глазами Петра из Дусбурга

Исторические исследования последних десятилетий свидетельствуют об интересе к духовности и ментальности рыцарей Тевтонского ордена [Fischer 1991; Wichert 1993; Dygo 1993; Матузова 1984]. Религиозность наложила отпечаток на разные стороны внутренней жизни духовно-рыцарских орденов, что прежде всего заметно в нарративных источниках. Это особенно касается «Хроники земли Прусской» Петра из Дусбурга, первого и самого важного (в некотором смысле программного) исторического памятника Тевтонского ордена. Одна из глав «Хроники» (кн. 3, гл. 5) «Об идолопоклонстве и обрядах и нравах пруссов» [PD: 53–55] хорошо известна; к ней нередко обращаются историки и этнографы, занимающиеся проблемами Восточной Прибалтики в средние века. Как правило, авторы принимают сведения хрониста как достоверные — ведь он был участником и очевидцем многих описываемых им событий. Однако его сочинение слишком пронизано идеологией, чтобы принять его информацию на веру.

Что касается данной главы, то, думается, при ее написании ментальность и духовность хрониста имели особое значение. Петр из Дусбурга был священником и рыцарем Тевтонского ордена и разделял духовные ценности корпорации, членом которой он являлся. На первых же страницах сочинения он выступает как идеолог Ордена, развивая идею «новых войн» Бернарда Клервоского. При этом он создает апологию как Тевтонского ордена, так и крестового похода в Пруссию, которая в более широком контексте Хроники может восприниматься как служащая идентичности Ордена. Прусы в восприятии Петра из Дусбурга контрастируют этой идентичности. Сознательно или подсознательно автор вносит в Хронику то, что я однажды назвала «черно-белым изображением» [Матузова 1987: 107] и то, что называется дихотомией «мы» и «они» в этнической, равно как в групповой, психологии [Поршнев 1973: 9]. Крестоносец пришел в эту чужую языческую страну с ценностями и нормами собственной этнической культуры, с культурным наследием, которое от него неотделимо. Но дело не только в том, что ментальность хрониста отлична от ментальности коренного населения, но и в том, что он, как носитель этноцентризма, не проявлял ни малейшего желания постичь ментальность пруссов. Интересно, что, хотя ему и известны названия прусских племен и территорий, все же понятие «пруссы», похоже, используется в данном фрагменте как соби-

рательный термин, а описание относится ко всем пруссам без различия. Он никогда не пишет о языке пруссов (лишь в редких случаях он переводит прусские имена и названия на латинский язык). Этот вопрос его не интересует<sup>1</sup>. Задачей хрониста было создать «групповой образ» пруссов. Следует иметь в виду и то, что это описание, непосредственно предшествующее событиям завоевания Пруссии, было выполнено ретроспективно, почти столетие спустя, когда крестовый поход достиг своего победоносного завершения.

Враждебное отношение крестоносца заметно с самого начала: «Прусы не имели понятия о Боге. Поскольку они были глупцами, то разумом не могли постичь Его, а так как письменности у них не было, то не могли созерцать Его и в Писании»<sup>2</sup>. Это утверждение подкрепляется детальным описанием пруссов как язычников. Нетрудно заметить тенденцию, характерную для его апологии Тевтонского ордена. Не буду вдаваться в детали описания «языческого» культа и обычаев и поведения пруссов. Этот конфессиональный аспект присущ всем хроникам о крестовых походах<sup>3</sup>. В нем имеются любопытные моменты, которые обсуждались некоторыми историками, в частности самокритика Тевтонского ордена<sup>4</sup>, но в целом позиция хрониста хорошо известна и типична для крестоносца. Это основа его «философии», занимающей место где-то между теологией и политикой. Образ жизни и ментальность пруссов являются как причиной, так и оправданием крестового похода.

И все же, оставив в стороне языческий культ, зададим вопрос: почему именно эти особенности, порой на первый взгляд вполне безобидные, находятся в поле зрения Петра из Дусбурга? Само собой разумеется, в его намерение не входило рассказать своим читателям и слушателям о пруссах, так сказать, ради интереса, чтобы донести новую информацию. Он не был путешественником, не был новым Вульфстаном, которого пленила экзотика этого края. По крайней мере эта экзотика была для него иной. Кроме того, он имел о ней иное мнение, вернее, предубеждение.

В социальной психологии известно противопоставление одной общности другой. Такое противопоставление может быть более или менее намеренным, более или менее идеологически мотивированным [Поршнев 1979: 107]. Тот же феномен можно наблюдать и в сфере этни-

<sup>1</sup> Изначально грамоты Тевтонского ордена прусским нобилям издавались на немецком или латинском языках.

<sup>2</sup> [PD: 53]: Prutheni noticiam dei non habuerunt. Quia simplices fuerunt, cum ratione comprehendere non potuerunt [...> ymmo in scripturis ipsum speculari non poterant.

<sup>3</sup> Решение этой проблемы в психолингвистическом аспекте см. [Лучицкая 1994].

<sup>4</sup> Итоги этих исследований подводятся в книге [Rowell 1994].



ческой психологии. Проблема с Петром из Дусбурга состоит в том, что он выступает как член *этноса* (он по происхождению немец и христианин) со всем своим культурным багажом, со своими жизненными ценностями, а также член корпорации (Тевтонского ордена) с присущими ей институциональными особенностями, при этом не простой монах, а идеолог. Именно поэтому он оценивал пруссов по меркам, свойственным его миру. Однако трудность выявления этих оценок состоит в том, что для нас Петр из Дусбурга остается индивидуумом, чья ментальность (с ее сознательным и подсознательным) ограничена текстом его хроники. Он с готовностью предлагает нам факты, но об их оценке, практически никогда не выражаемой открыто, можно только догадываться; ее можно вывести, только принимая во внимание образ мыслей автора, вырисовывающийся в широком контексте.

Таково свидетельство, которое можно расценить как «аскетизм» пруссов: «Они не пользуются мягкими ложами и тонкими яствами. В качестве напитка они пьют простую воду и мед, или брагу, и кобылье молоко»<sup>5</sup>. И далее: «Иных напитков они испокон века не знали»<sup>6</sup>. Это единственный момент, когда хронист, кажется, несколько обнаруживает себя, как бы намекая, что ему есть что противопоставить этому. Значит ли это, что автору (несмотря на пафосно описанный в начальных главах аскетизм тевтонских рыцарей) известны «иные напитки»? Возможно, среди них были и вина. Со времени своего основания Орден начал культивировать виноград, где только было возможно это делать, и прославился своими винами<sup>7</sup>. Гостеприимство пруссов на их пирах представляется Петру из Дусбурга попойками, которые заканчиваются только тогда, когда «гость с хозяевами, жена с мужем, сын с дочерью все не опьянеют»<sup>8</sup>. Этот прусский обычай был хорошо известен тевтонским рыцарям, которые однажды (мстя пруссам) пригласили прусских нобилей на пир и убили их, когда те опьянели [PD: 98–99]. Трезвость (по крайней мере теоретически) считалась одним из двенадцати главных достоинств рыцаря, описанных в одном из руководств XIII в. [Rice 1954: 79]<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> [PD: 54]: Pro potu habent simplicem aquam et mellicratum seu medonem, et lac equarum.

<sup>6</sup> [PD: 54]: Alium potum antiquis temporibus non noverunt.

<sup>7</sup> Со временем Орден стал возделывать виноградники и в Пруссии [Arnold 1989].

<sup>8</sup> [PD: 54]: quousque hospes cum domesticis, uxor cum marito, filius cum filia omnes inebriantur.

<sup>9</sup> В «Бревиарии» Алена Шартье говорится: «Человек должен соблюдать трезвость, / И избегать вина и его горячительного воздействия» («L'homme doit lors sobriement tenir. / Et eschouer le vin et sa chaleur»). В жизнеописании Людовика Свя-

В Прологе Петр из Дусбурга настойчиво говорит о скудости еды и питья тевтонских рыцарей. Что же касается пиров Тевтонского ордена (особенно «стола почета» (Ehrentisch), получившие распространение во второй половине XIV в.), то их следует считать прежде всего церемониальными (см. [Paravicini 1989]).

Внимание Петра из Дусбурга как рыцаря, должно быть, привлекло положение женщин в прусском обществе. Пруссы, говорит он, покупали своих жен и потому обращались с ними как со служанками, с которыми они не сидели за одним столом и которые каждый день мыли ноги родичам и гостям<sup>10</sup>. Конечно, образованный рыцарь (он читал не только Писание, но и романы Альбрехта Штаденского<sup>11</sup>) знал и иное отношение к женщинам. С начала XII в. представление о даме, вдохновительнице рыцарских подвигов, бытовало в истории рыцарства [Barber 1974: 71]. Действительно, культ Пресвятой Девы был неразрывно связан с почитанием Христа (ее образ был запечатлен в архитектуре и изобразительном искусстве Тевтонского ордена). Петр из Дусбурга пытался создать в хронике идеал тевтонского рыцаря: он то святой, то мученик, то рыцарь из куртуазного романа, который сражается на турнире за Деву Марию и, победив, отдает свои трофеи бедным [PD: 94–95]. Впрочем, уважение к женщине было присуще не только куртуазной традиции, но и немецким мистикам. Полагают, что мистицизм мог оказать влияние на формирование идеалов куртуазной любви [Barber 1974: 90]. Культ Девы Марии занял место Minne (куртуазной любви), сформировавшейся не без влияния христианства, а в хронике заметны следы воздействия мистицизма [Матузова 1987: 102–118].

Некоторые стороны увиденного в Пруссии кажутся постыдными Петру из Дусбурга. «Никому среди них не позволено просить подаяние; нищий свободно ходит у них от дома к дому и без зазрения совести ест когда угодно»<sup>12</sup>. Милостыня была важной составляющей религиозной жизни христианской Европы. Мероприятия по очищению, продол-

того, принадлежащего Жану Жуанвиллю, автор вкладывает в уста короля такие слова: «...слишком позорно для достойного человека напиваться допьяна» («...c'était laide chose a un vaillant homme de s'enivrer»). См. [Le Goff 1996: 635].

<sup>10</sup> [PD: 54]: Secundum antiquam consuetudinem, hoc habent Prutheni adhuc in usu, quod uxores suas emunt pro certa summa pecuniae. Unde servat eam sicut ancillam, nec cum eo comedit in mensa et singulis diebus domesticorum et hospitem lavat pedes.

<sup>11</sup> [PD: 46]: «Dimidium facti, qui bene cepit, habet» («Тот сделал половину, кто хорошо начал»). М. Перльбах считал эту строку искаженным отрывком из Горация [Perlbach 1886: 114]. Однако эта строка является дословным соответствием строки из «Троила» Альбрехта Штаденского [TAS: 26].

<sup>12</sup> [PD: 54–55]: Nullus inter eos permittitur mendicare, libere vadit egenus inter eos de domo ad domum, et sine verecundia comedit, quando placet.

жавшиеся месяцы и даже годы, предшествовали выступлениям в крестовые походы. Раздача милостыни была частью этих мероприятий (см. [Le Goff 1996: 178–180]). Забота о бедных, традиция монашеских орденов, была одной из задач Тевтонского ордена (Орден возник как полевой госпиталь). В Статутах Тевтонского ордена имеется статья о милостыне, в которой говорится, что бездомный бродяга может прийти в любой дом Ордена и быть благодарным за все, что он получает от братьев, чтобы отдохнуть и поесть, не прося большего, что считалось «невежливым»<sup>13</sup>.

Несколько раз хронист пишет об одежде пруссов: «Они не заботились о запасной или нарядной одежде, да и до сих пор не заботятся; как снял ее сегодня, так завтра и надевает, не обращая внимания, что она вывернута наизнанку», и, похоже, это описание не содержит в себе одобрения<sup>14</sup>. Время, когда рыцари Ордена шили свою одежду из мешковины, по-видимому, ушло. Статья 34 Статутов содержит свидетельство об очень заботливом отношении к одежде и внешнему виду рыцарей. В ней приводится перечень предметов одежды (скромной, но предусмотренной для всех времен года), которые должен иметь тевтонский рыцарь. В ней говорится об обязанностях интенданта (Tropier), который должен заботиться об одежде братьев, чинить ее и выдавать новую одежду взамен старой (новая должна была быть подобрана по размеру и иметь метку)<sup>15</sup>.

Среди прочих прусских обычаев от внимания Петра из Дусбурга ускользает месть: «Если у них совершается убийство, то примирение наступает только после того, как этого убийцу или его близкого убьют родичи убитого»<sup>16</sup>. Это вовсе не означает, что хронист против мести. И в реальной жизни, и в литературе рыцари предстают благородными мстителями, и некоторые военные действия Тевтонского ордена в Пруссии осуществлялись как месть. Однако в христианском мире существовали строгие ограничения. Церковь запрещала месть по воскресеньям и во время церковных праздников [Painter 1940: 65–67; Brunnes. Daim 1981: 16; Bumke 1986: 400]. К концу Средневековья институт мести угасает, на смену ему приходят поединки или даже денежные штрафы, и

<sup>13</sup> [Die Statuten: 34 (Qualiter petitores elemosynarum mittantur). 42 (De elemosina danda)].

<sup>14</sup> [PD: 54]: Vestes superfluas aut preciosas non curabant, nec adhuc curant; sicut hodie ipsas exuit, ita cras induit, non attendens, si sint transverse.

<sup>15</sup> [Die Statuten: 38 (de vestibus fratrum). 108 (Quid liceat fratribus habere pro indumentis)].

<sup>16</sup> [PD: 55]: Si homicidium committitur inter eos, nulla potest compositio intervenire, nisi prius ille homicida vel propinquus ejus ab occisi parentibus occidatur.

постепенно он превращается в чистую формальность. Что касается прусского обычного права, то современных записей его не существует. Конечно, в позднейших немецких записях его нет и следа мести. Кровную месть со стороны сородичей убитого можно лишь предполагать, поскольку таков был обычай балтов, германцев, русов и других народов в древнейший период их истории [Пашуто 1955; Назарова 1980: 142]. Отсюда — огромное значение «Хроники» Петра из Дусбурга, в которой сохранилось это известие.

Наконец, не случайно Петр из Дусбурга говорит, что пруссы кончают самоубийством, «столкнувшись с непреодолимыми трудностями», что было не только греховным, но и позорным с точки зрения христианина<sup>17</sup>. Порой хронист приводит более мелкие детали язычества пруссов. Его замечание, что «не было у них ни различия, ни счета дней»<sup>18</sup>, означает, что пруссы не знали христианского календаря (а одна из статей Статутов представляет собой длинный перечень церковных праздников)<sup>19</sup>. Рыцари многого натерпелись от пруссов, которые не раз нападали на них в праздничные дни<sup>20</sup>. Это снова возвращает хрониста и читателей к самому началу данной главы, где говорится о язычестве пруссов. Картина была бы не полной без множества душераздирающих эпизодов, разбросанных по всей хронике и свидетельствующих о кровожадности пруссов: убийство беременной немки, сожжение немецкого пленника и т. д. Таким образом, был создан «групповой образ» пруссов, образ негативный, такой, каким он виделся чужеземцам.

В столь древний период истории, когда возникали лишь проблески этнического самосознания, Петр из Дусбурга не только заявил о специфическом характере чуждого ему *этноса*, но и зафиксировал свое эмоциональное и аффективное отношение к нему, выразив его в негативном изображении. Одним словом, пруссы — это «они», а не «мы». Несомненно, хронист ощущал явления жизни пруссов странными и непонятными, но он смог представить прямые противопоставления этим явлениям, заимствуя их из жизни, хорошо ему знакомой. Такое противопоставление позволило стороннему свидетелю, Петру из Дусбурга, создать образ врага, служащий оправданию войны, развязанной в Пруссии, тем самым подкрепляя апологию Тевтонского ордена.

Изображая пруссов, Петр из Дусбурга мог сделать только то, что он сделал. Его ментальность позволяла ему увидеть именно то, что он уви-

<sup>17</sup> [PD: 55]: Quando ex inopinato rerum eventu aliquam immoderatam incurrerent turbacionem, se ipsos occidere consueverunt.

<sup>18</sup> [PD: 55]: distinctionem dierum non habuerunt aut discrecionem.

<sup>19</sup> [Die Statuten: 76 (De festivitibus)].

<sup>20</sup> [PD: 125; о литвинах: 164, 176–177, 180, 181, 187–188].

дел. Стороны жизни пруссов, которые показались ему наиболее впечатляющими, были одинаково значимы и понятны его аудитории. Петр из Дусбурга был не только отделен ментальной границей от того, что он описывал, но он, не сознавая этого, был близок тому, что ныне называется «национальным стереотипом». А поскольку этнический стереотип, согласно одному современному определению, — это «образ данной группы, существующей в сознании другой группы в форме взаимосвязанных ценностных суждений» [Wandycz 1995: 5], то, значит, Петр из Дусбурга создал эскиз прусского этнического стереотипа для своих «братьев», который, кажется, просуществовал по крайней мере до конца XIV века.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Лучицкая 1994 — С. И. Лучицкая. Араб глазами франка (конфессиональный аспект восприятия мусульманской культуры // Одиссей: Человек в истории. 1993. М., 1994.
- Матузова 1984 — В. И. Матузова. Идеино-теологическая основа Хроники земли Прусской Петра из Дусбурга // Древнейшие государства на территории СССР: Мат-лы и исслед. 1982. М., 1984.
- Матузова 1987 — В. И. Матузова. «Хроника земли Прусской» Петра из Дусбурга в культурно-историческом контексте // Балто-славянские исследования. 1985. М., 1987.
- Назарова 1980 — Е. Л. Назарова. Ливонские Правды как исторический источник // Древнейшие государства на территории СССР: Мат-лы и исслед. 1979. М., 1980.
- Пашуто 1955 — В. Т. Пашуто. Помезания: «Помезанская Правда» как исторический источник изучения общественного и политического строя Помезании XIII–XIV вв. М., 1955.
- Поршнев 1973 — Б. Ф. Поршнев. Противопоставление как компонент этнического самосознания. М., 1973.
- Поршнев 1979 — Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история. М., 1979.
- Arnold 1989 — U. Arnold. Weinbau und Weinhandel des Deutschen Ordens im Mittelalter // Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens im Mittelalter / Hrsg. U. Arnold. Marburg, 1989.
- Barber 1974 — R. Barber. The Knight and Chivalry. London, 1974.
- Brunnes, Daim 1981 — K. Brunnes, F. Daim. Ritter, Knappen, Edelfrauen: Ideologie und Realität des Rittertums im Mittelalter. Wien, 1981.
- Bumke 1986 — J. Bumke. Höfische Kultur: Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. Bd. 2. München, 1986.
- Die Statuten — Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften / Hrsg. M. Perlbach. Halle an der Saale, 1890.
- Dygo 1993 — M. Dygo. Die heiligen Deutschordensritter: Didaktik und Herrschafts-ideologie im Deutschen Orden in Preußen um 1300 // Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter. Toruń, 1993.
- Fisher 1991 — M. Fischer. 'Di himels rote': The Idea of Christian Chivalry in the Chronicles of the Teutonic Order. Göppingen, 1991.
- Le Goff 1996 — J. Le Goff. Saint Louis. Paris, 1996.
- Painter 1940 — S. Painter. French Chivalry: Chivalric Ideas and Practices in Mediaeval France. Baltimore, 1940.
- Paravicini 1989 — W. Paravicini. Die Preußenreisen des europäischen Adels. Sigmaringen, 1989. 2 Bd.
- PD — Peter von Dusburg. Chronicon terrae Prussiae / Ed. M. Toeppen // Scriptores rerum Prussicarum. I. Leipzig, 1861.
- Perlbach 1886 — M. Perlbach. Preußisch-polnische Studien zur Geschichte des Mittelalters (Zur Kritik der ältesten preußischen Urkunden). Halle an der Saale, 1886. Bd. 2.
- Rice 1954 — W. H. Rice. Deux poèmes sur la chevalerie: Le Breviaire des Nobles d'Alain Chartier et Le Psautier du Vilains de Michault Taillevent // Romania. 75. 1954.
- Rowell 1994 — S. C. Rowell. Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe. 1295–1345. Cambridge, 1994.
- TAS — Troilus Alberti Stadensis / Hrsg. T. Merzdorf. Leipzig, 1875.
- Wandycz 1995 — P. Wandycz. Western Images and Stereotypes of Central and Eastern Europe // Vampires Unstaked: National Images, Stereotypes and Myths in East Central Europe / Ed. A. Gerrits, N. Adler. Amsterdam, 1995.
- Wichert 1993 — G. Wichert. Die Spiritualität des Deutschen Ordens in seiner mittelalterlichen Regeln // Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter / Hrsg. Z. H. Nowak. Toruń, 1993.

Е. Л. НАЗАРОВА

## Кришьянис Валдемарс и Федор Чижов

В настоящей статье анализируются не публиковавшиеся ранее письма лидера латышского национального возрождения, ученого-экономиста, одного из инициаторов создания торгового флота России в XIX в. Кришьяниса Валдемарса (*Вольдемара, Вальдемара*) к русскому предпринимателю, публицисту, общественному деятелю, славянофилу Федору Васильевичу Чижову.

В работах исследователей, изучающих отношение славянофилов к остзейскому вопросу, а также связи между славянофилами и лидерами латышского национального возрождения («младолатышами»), обычно фигурируют Ю. Ф. Самарин, И. А. Аксаков, М. П. Погодин, М. Н. Харузин, К. Валдемарс, И. Алуанс, Ф. Трейландс (Бривземниекс) и другие их соратники в 60–80-х гг. XIX в. часто публиковали свои статьи в славянофильских газетах «День», «Москва», «Москвич», а также в газетах, близких славянофильским в оценках национальной проблемы в Российской империи, — в «Московских ведомостях» и др. Контакты основывались на стремлении защитить латышских и эстонских крестьян от угнетения со стороны немецко-прибалтийских помещиков и обеспечить их землей. При этом взгляды младолатышей и многих представителей русской общественности (литераторы, публицисты, университетские профессора и т. п.) на перспективы развития коренного населения региона как самостоятельных наций часто имели принципиальные различия ([Ковальчук 1993: 137–138; Назарова 2000: 27–29; 2005: 270–285; Михайлова 2005: 292–305; 2006] и др.). Об отношениях между жившими в Москве латышами и Ф. В. Чижовым до сих пор практически ничего не было известно. Да и сам Ф. В. Чижов, несмотря на его огромный вклад в развитие российской промышленности и профессионального образования, до последнего времени был мало известен и широкому читателю, и многим специалистам<sup>1</sup>.

Ученый-математик и любитель изобразительного искусства, Ф. В. Чижов примкнул к славянофилам после того, как, наблюдая тяжелое положение славянского населения в Австро-Венгерской и Осман-

ской империях и общаясь там с православными славянами, пришел к выводу о необходимости создания славянской федерации во главе с Россией [Либерман 1907/8: 4; Симонова 2002: 77–82]. Он поддерживал точку зрения славянофилов на необходимость освободить латышских и эстонских крестьян от гнета прибалтийских немецких помещиков, на чрезмерное засилье немцев в высших административных органах Российской империи при Николае I и Александре II. Вместе с тем, как один из ведущих «теоретиков и конкретных участников торгово-промышленного движения» в России [Гранат 1925: 578] Чижов рассматривал национальный вопрос через призму мер, необходимых для экономического развития страны. Он был сторонником жестких протекционистских мер в российском предпринимательстве — в первую очередь, в связи с железнодорожным развитием в стране, в организации и финансировании которого он принимал самое активное участие. Противодействие протекционистским мерам, поддержка иностранного капитала в России и стремление предоставить концессии иностранным предпринимателям (и не только прусским) исходили, по его мнению, от немецкого лобби при императорском дворе, а также и от «немецкого начала династии» [Симонова 2002: 186–191]. Протекционизм, по его мнению, был нужен внутри страны и русским<sup>2</sup> предпринимателям там, где они были поставлены в неравные условия. Например, он внимательно следил за возможностями русских купцов в Риге, которым местная администрация чинила искусственные препятствия для занятия торговлей<sup>3</sup>, был распространителем во внутривосстийских губерниях русскоязычной газеты «Рижский вестник», которую в 1869 г. начал выпускать Е. В. Чешихин [Список: л. 1–2]. Вместе с тем, ратуя за равные условия для реализации возможностей русских людей во всех частях страны и во всех сферах деятельности, Чижов был против того, чтобы в издательской политике использовать национальный вопрос для проповедования вражды к другим народам империи. Он не считал уместной торпливость Аксакова в учреждении новой газеты (взамен закрытой в 1868 г. «Москвы») именно до конца Франко-Прусской войны (1870–1871 гг.), поскольку политическая ситуация давала богатый материал

<sup>2</sup> Точнее, православным, то есть *русским* по конфессиональному, а не этническому признаку.

<sup>3</sup> Например, в своем дневнике в ноябре 1870 г. он писал о выступлении на собрании московских промышленников купца из Риги А. Ф. Еноховича, который рассказывал о сложном положении русской общины в регионе. Причем наибольшее впечатление на Чижова произвело то, что в Риге «всем управляет магистрат, не признающий русского языка ни в каких официальных сношениях» [Дневник 1863–1871: л. 26, об. 27].

<sup>1</sup> Многолетняя исследовательница жизни и деятельности Ф. В. Чижова И. А. Симонова только в 2002 г. смогла выпустить о нем отдельную книгу. О Валдемарсе она упоминает лишь мимоходом (как о «близком к славянофилам латышском публицисте»), приводя фразу из дневника Ф. В. Чижова [Симонова 2002: 181].

для развенчания старой Европы и особенно нелюбимых им немцев — пруссаков, а заодно и остзейцев. Против последних безудержные нападки вели тогда, пользуясь обстоятельствами, «Московские ведомости» Каткова. Полагая, что такой изначально предвзятый настрой не может не сказаться на трактовке событий, Чижов задавался вопросом: могла ли газета «проповедовать правду, когда в ней самой была бы вражда к пруссакам?» Чего стоит такая правда, как у Каткова, который в гонении на Остзейский край «цепляется за все, где бы поймать что-нибудь, и указать на остзейцев как на исконных врагов России?» Как бы вели себя русские, если бы их призывали, как остзейцев, отказаться от своего языка, образованности и дарованных им прав? [Дневник 1863–1871: л. 23, об. 24]. В такой позиции Чижов был ближе к Валдемарсу и его соратникам, которые, защищая права латышских крестьян, не ставили знак равенства между немцами, как одним из народов в Российской империи, обладающим богатыми культурными традициями, и политической социальной верхушкой и властью Остзейских губерний [Назарова 2000: 23–24].

Публикуемые письма показывают, что Валдемарса и Чижова связывала, в первую очередь, проблема создания торгового флота в России. Изучением значимости торгового мореходства для экономического развития страны — сначала на Балтийском побережье, а затем и на других морях Российской империи — Валдемарс занялся в 50-х гг., будучи студентом Дерптского (Тартуского) университета. До начала 1867 г. он опубликовал несколько статей (включая дипломную работу) по торговому мореходству в разных периодических изданиях [Woldemar 1857; Вольдемар 1860; 1862: № 4; 1863: № 10; 1866: № 10]. Переезд Валдемарса из Петербурга в Москву в начале 1867 г. совпал с началом выхода новой газеты «Москва», редактором которой стал И. С. Аксаков. Финансировала газету группа московских предпринимателей, среди которых был и Ф. В. Чижов. Вместе с экономистом И. К. Бабстом он стал вести в ней экономическую тематику. Газета, по мнению Чижова, должна была поднимать важные вопросы промышленного развития страны, обсуждать экономическую политику государства, объединять деловых людей России<sup>4</sup>. Новая газета нуждалась в привлечении читателей, в подписчиках. Для этого нужны были темы, которые были бы одновременно и общественно значимы, и вызывали бы интерес у читателей, что позволило бы «Москве» конкурировать с бесспорным лидером — «Московскими ведомостями». Занимаясь организацией желез-

<sup>4</sup> Такие цели Чижов ставил перед собой, издавая в конце 50-х гг. газету «Вестник промышленности» и журнал «Акционер» [Либман 1907/8: 15; Чероков 1902: 31].

нодорожного строительства, Чижов сталкивался с тем, что российские купцы и предприниматели не очень охотно вкладывали в это мероприятие деньги, поскольку не видели реальной отдачи. Не видели для себя в этом выгоды и помещики, земли которых должны были отчуждаться под строительство. Соединив производящие районы с крупными внутренними рынками, железные дороги не давали преимуществ российским экспортным товарам на внешнем рынке. Отсутствие необходимо для этого торгового флота в стране и портов с развитой инфраструктурой вынуждало фрахтовать иностранные суда. Это значительно повышало затраты производителей и делало российские товары неконкурентоспособными на внешнем рынке в ценовом отношении. Кроме того, недостаточно использовались и огромные внутренние водные артерии страны. В 60-х гг. XIX в. активные исследования возможностей морского и речного судоходства в северных регионах страны в контексте экономического подъема русского Севера проводили и члены Вольного экономического общества. В этом отношении привлечение Валдемарса к разработке проблемы торгового мореходства в новой газете было логично и закономерно.

Неизвестно, были ли знакомы лично Чижов и Валдемарс до переезда последнего в Москву, хотя работы Валдемарса Чижов безусловно знал. Много лет спустя Валдемарс вспоминал, что в 1867 и 1868 гг. ему удалось подвигнуть «Московские ведомости» и их конкурента «Москву» на публикацию ряда длинных передовиц по данному вопросу, так что вскоре, по замечанию правительственного органа «Северной почты», «толкования о русском торговом флоте сделались модным предметом наших газет» [Sarakste: 434, 733]. Возможно, что Валдемарс сам предложил Чижову серию статей о флоте, а Чижов с удовольствием принял предложение. Известно, что уже в начале 1867 г. у Валдемарса начались разногласия с И. С. Аксаковым<sup>5</sup>. Не исключено, что именно заинтересованность Чижова и личная его привлекательность оказались решающими для Валдемарса, чтобы отдать предпочтение «Москве», а не «Московским ведомостям»<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> В письме к эстонскому художнику Иоганну (Юхану) Кёллеру от 6 февраля 1867 г. Валдемарс с явным недовольством отмечал, что в статье о Балтийских губерниях («Москва». 1867. № 30) И. С. Аксаков и Н. А. Попов, несмотря на лучшие намерения, показали свою некомпетентность. Там же он пишет, что в «Московских ведомостях» (1867. № 30) выступил против высказанного Аксаковым мнения о необязательности школьного образования [Sarakste: 45, 140].

<sup>6</sup> Первая статья по мореходству появилась в «Московских ведомостях» только 7 апреля 1867 г. Статья — редакционная, без подписи. Но вполне вероятно предположение А. Биронса, что автором ее был К. Валдемарс [Биронс 2006: 31].



Передовая статья, в которой обосновывалась важность развития торгового мореходства для страны в связке с железнодорожным строительством для экономического подъема Российской империи, появилась в «Москве» уже 15 января (№ 12) 1867 г. Статья не подписана, но в дневнике Чижов указал на свое авторство [Дневник 1863–1871: л. 18]. При этом по содержанию чувствуется, что текст согласовывался с Валдемарсом. Статья содержала разъяснения о том, какие преимущества даст создание сильного торгового флота для экспортной торговли России и какие уже имеются конкретные возможности для мореходства в стране. Два основных ее положения таковы: 1) «Чем более развивается промышленность, чем более накапливается грузов для перевозки морем, то есть, чем более строятся железных дорог и чем сильнее начинают, благодаря им, процветать земледелие и промышленность, тем необходимее, безотлагательнее и настойчивее следует заботиться каждой стране <...> о своем торговом флоте» и 2) «Если какая-либо страна при развитии у себя железных дорог пренебрежет развитием торгового флота, то она непременно самые железные дороги сделает сборщиками податей с своих жителей в пользу иностранцев и будет вводить их в обман кажущимся увеличением производительности <...> тогда как плата за труд в общей сложности несколько не увеличится». Передовица анонсировала публикацию серии исследований Валдемарса о возможностях России «в этом деле».

В течение января–марта в «Москве» появилось 4 статьи (одна статья в двух номерах) Валдемарса по разным конкретным вопросам, связанным с мореходством (№ 19, 32, 50, 67 и 69). В них Валдемарс показал в динамике развитие флотов в разных странах по количеству судов, их грузоподъемности, объем перевозок и состав перевозимых товаров. Отдельно он показал, как развивалось торговое мореходство в России, какие сложности предстоит преодолеть на этом поприще россиянам, и подчеркнул, что у жителей Балтийского побережья и у поморов уже есть большой опыт в мореходстве и существуют естественные возможности, чтобы стать лидерами в народном судостроении, которое следует поддерживать для достижения быстрых результатов.

В архиве Чижова сохранился черновой вариант первой из опубликованных статей Валдемарса со статистическими сведениями о развитии судоходства в морских странах Европы (включая Россию), США, Южной и Центральной Америки с последней трети XVIII в. до начала 60-х гг. XIX в.<sup>7</sup> На полях рукописи карандашом Чижов сделал для себя отметки [Нынешнее развитие]. Статья была опубликована в № 19 «Москвы» со значительными добавлениями по сравнению с черновым вари-

антом, сделанными Ф. В. Чижовым (об этом есть запись в его дневнике [Дневник 1863–1871: л. 18]). Добавления касались положения флота России в сравнении с флотами других стран и соответственно со стоящими перед ней в этом плане задачами [Вальдемар 1867].

Именно этим событиям посвящено первое из публикуемых ниже писем Валдемарса к Чижову. Письмо без даты. Но очевидно, что оно написано либо в последние три дня марта, либо в начале апреля 1867 г. Скорее всего до 7 апреля, когда появилась упомянутая выше статья в «Московских ведомостях». Иначе он бы ее упомянул.

Сергей Сергеевич Лошкарев (умер в 1869 г.), о котором говорится в письме, — почетный член Императорского Вольного Экономического общества, член Императорского Русского Географического общества, сотрудничал также с Императорским Московским обществом сельского хозяйства. Одним из направлений его деятельности в этом плане была пропаганда «пользы введения грамотности между помещичьими крестьянами»<sup>8</sup>. Уверенность в важности образования — общего и профессионального — для низших слоев населения также объединяла его с Чижовым (организатором железнодорожной, медицинской и ремесленных — «чижовских» школ) и Валдемарсом (инициатором создания мореходных («вальдемаровых») школ [Либерман 1907/8: 20, 21; Чероков 1902: 43–44; Симонова 2002: 247–248; Назарова 2006: 67–68; Краевска 2006: 81 и др.].

Под председательством Лошкарева 12 марта 1867 г. было проведено заседание III отделения Вольного Экономического Общества, на котором состоялась дискуссия по нескольким докладам — М. К. Сидорова, В. Л. Долинского и В. Н. Латкина, — поднимавшим разные вопросы мореходства в Северном крае: о природных возможностях для развития там торгового флота, о необходимости поощрения частного судостроения, об установлении водного сообщения по северным озерам и рекам с выходом в полярные моря в связи с колонизацией территорий европейского Севера и т. п. Судя по опубликованным в том же году материалам, заключения исследователей (изложенные в докладах и записках в правительственные органы) были подготовлены задолго до 1867 г. Однако реализация высказанных в них предложений требовала решения многих административных, таможенных, организационных и прочих вопросов, а также огромных капиталовложений. Причем быстрой окупаемости затрат, в связи со сложностью работ на Севере, ожидать не приходило [Беседы].

<sup>8</sup> С докладом на эту тему он выступил в Москве на юбилее Общества сельского хозяйства, а также на общем собрании ИВЭО еще в 1847 г. [Лошкарев 1847].

<sup>7</sup> Статья опубликована, см. [Вальдемар 1867].



Судя по письму, из-за общественного резонанса, который получили публикации в «Москве», сторонники развития торгового мореходства в Обществе смогли представить собранные материалы для широкой дискуссии.

По мнению Валдемарса, привлечение внимания к теме флота, благодаря публикациям в «Москве», оказало поддержку и сторонникам развития российского торгового флота на Черном море. В «Кронштадтском вестнике» 24 февраля 1867 г. (№ 24) было напечатано письмо из г. Николаева некоего Н. Гладкого (аннотация письма изложена в № 50 «Москвы» за 4 марта), в котором говорилось об экономических сложностях городов побережья Черного моря после того, как в результате поражения в Крымской войне Россия лишилась Черноморского военного флота. Крупные черноморские города (в том числе и Николаев), которые до войны развивались, ориентируясь на инфраструктуру военного флота, оказались в запустении. Сократилась численность населения, слабела торговля, не было потребностей в развитии промышленного производства. Экономическому оживлению региона могло помочь создание торгового флота. Тем более что потребность в нем в скором времени возрастет, так как к югу все ближе подходит железная дорога, «ища доступа к морю и сбыта произведений страны». В некоторых слоях здешнего общества — «не собственно николаевского, а вообще южного» — начинают «проявляться мысли, клонящиеся к придумыванию мер, способных создать в Черном море наш собственный парусный флот». Парусные суда значительно дешевле, чем паровой флот, к тому же уже есть много мелких парусных судов с командами, которые можно использовать. Строительство торгового («коммерческого») порта в городе, к которому тяготел большой регион юга России, внесло уже некоторое оживление в «производительные и торговые силы края». Толково организованный коммерческий флот удовлетворит различные потребности юга и «наполнит море тысячами своих кораблей», которые заменят иностранные суда в торговле на российском побережье Черного моря.

В письме автор придерживается того же мнения, что и Валдемарс, который отдавал предпочтение парусному флоту как более дешевому и более доступному, а также считал, что следует использовать уже имеющиеся в большом количестве мелкие парусные суда и их команды, в том числе и для заполнения этими моряками вакансий на вновь построенных кораблях.

Но, в отличие от побережья Балтийского и северных морей, где развивалось частное купеческое и крестьянское судостроение (к этому активно призывал Валдемарс), на Черном море проблема становления

торгового флота обсуждалась по преимуществу дворянами — помещиками, владевшими землями в приморских степных районах Новороссии и на Северном Кавказе, среди которых было много отставных офицеров флота. Именно с такой, социально отличной, позиции написана статья в Николаевском вестнике (№ 25, 28 марта, 1867 г.). Автор, Н. Ильин, написал статью еще в 1864 г., в связи с проектом «Устава верфи»<sup>9</sup>, но тогда она не была напечатана, «теперь же она появляется в печати по поводу возбуждения вопроса по этому предмету». Статья производит противоречивое впечатление. Автор определенно знал работы Валдемарса 1860–64 гг.<sup>10</sup> и в своей статье как бы рассматривал и анализировал предлагаемую им программу. С одной стороны, Н. Ильин ратует за создание российского торгового флота на Черном и Азовском морях — это поможет возрождению экономического благосостояния Юга. Наиболее оптимальным он также считает строительство парусного флота — это быстрее и требует меньшей квалификации кадров, чем строительство пароходов. Но, в отличие от Валдемарса, ведущую роль в строительстве верфи и судов автор отводил правительству, а не частным предпринимателям. С другой стороны, автор весьма скептически относится к возможностям быстрого решения проблемы флота в Южной России: сетует, что на русском флоте необразованные шкиперы и матросы; на верфях мастера не умеют пользоваться чертежами, нет корабельных инженеров и т. д. и т. п. Если в Финляндии строятся коммерческие корабли, готовые конкурировать с европейскими и американскими<sup>11</sup>, то на Юге России, на Черном море единственное «искусство или ремесло», которое в последнее время не сделало никаких успехов, это «искусство коммерческого судостроения <...> которое осталось на первобытном положении». В отличие от финнов, русские будут работать только при определенных льготах и поощрениях, которые может дать правительство, ибо частным предпринимателям это невыгодно. Помимо строительства самих судов, нужно прежде оборудовать дорожные верфи, что также отпугивает купцов. Повышают общие затраты и многочисленные расходы на лицензии и прочие разрешения, которые необходимо получить частным предпринимателям. Мореходные

<sup>9</sup> Тогда силами Общества Пароходства и Торговли начал строиться в Николаеве торговый порт.

<sup>10</sup> Автор пишет, что на вопрос о «низших морских школах» «правительство уже обратило свое внимание, и на страницах Морского сборника появились замечательные статьи по этим вопросам» [Ильин 1867: 97].

<sup>11</sup> О побережье Прибалтийских губерний автор не упоминает, но, судя по всему, он объединяет местных судостроителей с финскими.

школы — дело хорошее, но некому обучать начинающих моряков и негде проходить квалифицированную практику.

По мнению Ильина, строительство должно вестись на коммерческой верфи, со значительным спонсорством правительства и под его контролем (по крайней мере, пока дело не наладится). Чтобы не испортить новые парусники по неопытности, их следует сначала отдавать «флотским и штурманским офицерам», в помощники которым обязательно назначать на практику воспитанников Херсонского училища торгового мореплавания. Боцманов и часть матросов также назначать из отставных военных моряков унтер-офицерского состава. Из вольнонаемных матросов брать не более 6 человек на каждое судно. Таким образом, в основе создания торгового флота автор видит не свободное предпринимательство и вольных мореходов, а государственное регулирование и военных моряков. Заметим, что тогда, когда была написана столь пессимистическая статья с оптимистическими надеждами, на латвийском побережье уже активно работали крестьянские верфи, а их владельцы — братья Вейде, заботясь о развитии флота, вместе с Валдемарсом нашли преподавателя для первой мореходной школы на севере Латвии, в Айнажи, — капитана дальнего плавания с большим опытом (И.-Х. Даля). Школа начала работать в 1864 г. [Краевска 2006: 80]. Неудивительно поэтому реакция Валдемарса на статью Ильина, о чем он и писал Чижову. При этом он был, надо полагать, уверен, что Чижов разделяет его взгляды.

Таким образом, письмо Валдемарса к Чижову отражает обсуждение перспектив развития торгового флота в трех основных регионах Российской империи: на Балтике, на Севере и на Черноморско-Азовском побережье. Первым значимым результатом развернутой «Москвой» дискуссии было обнародование 27 июня 1867 г. Положения о мореходных классах и школах Российской империи. В основу документа лег проект, разработанный К. Валдемарсом и опробованный Далем в школе в Айнажи. Проект предполагал обучение в течение 1–3 лет курсантов, уже знакомых с работой в море, но не имевших необходимых теоретических знаний. В последующие годы Валдемарс и его единомышленники — действующие моряки дальнего плавания и педагоги — неоднократно усовершенствовали учебные программы и в практическом, и в общеобразовательном плане. Всего на разных морях и реках работало во 2-й половине XIX в. до 40 школ и классов, позволивших решить вопрос кадров торгового судоходства в России.

Курирование мореходного образования было важнейшей задачей созданного в 1873 г. Императорского Общества для содействия русскому торговому мореходству. Инициатором создания этого Общества был

Валдемарс; он же был вплоть до своей смерти бессменным членом-делопроизводителем Общества, а с 1879 г. — составителем и редактором его печатного органа — «Известий». В обязанности Общества входили разработка различных проектов и программ, направленных на развитие флота, и содействие конкретному воплощению их на практике, а также осуществление связи между правительством и теми, кто непосредственно на местах занимался судостроением, гражданским судоходством и мореходным образованием. Центральное правление Общества находилось в Москве — многие годы располагалось в квартире Валдемарса в Кривоколенном переулке. Здесь же помещалась и редакция «Известий» [Москва-флот: 117–125; Назарова 1999: 205–208].

Среди членов Общества были предприниматели, финансисты, капитаны дальнего плавания, отставные адмиралы и офицеры флота, чиновники разного уровня, преподаватели университета, литераторы, журналисты и т. п. Членами Общества с момента его создания были ближайшие соратники Валдемарса — младолатыши, из публицистов — М. Н. Катков, И. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, другие славянофилы [Sarakste: № 525, 872]. Первым председателем Общества был избран один из друзей Чижова — А. Е. Комаровский [Дневник 1874: л. 8 об. и др.; Москва-флот: 120], а членом первого правления — давний его знакомый и соведущий Экономического отдела в газете «Москва» профессор И. К. Бабст.

Сам Чижов, судя по сохранившимся источникам, не был ни организатором этого Общества, ни членом его правления. При огромном объеме дел, в которых он был непосредственно занят, брать на себя еще одно обязательство, предполагавшее активную деятельность, было невозможно, а числиться номинально в правлении — не было в правилах Чижова. Вместе с тем, вклад его в развитие отечественного мореходства и так был достаточным. В 1873 г. Чижов стал одним из основателей Товарищества Северных промыслов [Дневник 1871–1873: л. 41 и далее). В том же году по его инициативе акционерами Московско-Курской железной дороги было создано Товарищество Архангельско-Мурманского срочного пароходства. Чижов стал основным пайщиком предприятия. Пароходство, пока не встало на ноги, требовало очень больших вложений, было убыточным. Поэтому желающих рискнуть своими деньгами было немного. Некоторые положительные сдвиги наметились только в 1876 г., хотя и в том году Чижов из своих средств вложил в него 76,5 тыс. руб. [Либман 1907/8: 18–19; Дневник 1876: л. 28 об., 29, 51 об., 66 и др.].

Все же членом Общества содействия русскому мореходству Чижов, очевидно, был — о чем и свидетельствует приглашение принять уча-

стие в ежегодном Общем собрании 16 апреля 1876 г., присланное ему Валдемарсом. (письмо № 3). Вряд ли слова в приглашении о «нравственной поддержке» были только формой вежливости со стороны Валдемарса. Чижов делал для российского судоходства значительно больше, чем некоторые члены правления Общества, не говоря уже о рядовых его членах.

Тем не менее, собрание прошло без Чиждова. В последние годы жизни здоровье его постоянно ухудшалось. У него уже давно болели ноги. Позже он стал задыхаться по ночам, страдал бессонницей, появились и другие проблемы. Из-за этого он даже не смог быть на отпевании и похоронах Ю. Ф. Самарина 30 марта 1876 г., о чем очень сожалел [Дневник 1876: л. 50, 50 об.]. При этом Чижов продолжал работать: железные дороги, Купеческий кредитный банк, судоходство и промыслы в Северных морях и т. д., и т. п. 16 апреля, в день собрания Общества содействия торговому мореходству, в дневнике он записал: «Что за скверное здоровье». Ночью он спал мало: мучили сильные боли в животе. Утром Чижов поехал к своему доктору, затем, хотя боли не прошли, отправился в управление Московско-Ярославской железной дороги [Дневник 1876: л. 60 об.]. О собрании в «Славянском базаре» в дневнике — ни слова. Ясно, что сил для такого мероприятия не было... [Дневник 1876: л. 60 об.].

В источниках нет указаний на то, что Валдемарс и Чижов были близкими друзьями. Но можно говорить о добрых отношениях между ними. Иначе вряд ли Валдемарс обратился бы к Чижову с просьбой помочь с устройством на работу его близкого друга Андреяса Спагиса (письмо № 2).

Андрейс Спагис (в России — Андрей Спаг) — педагог, публицист и общественный деятель (1820–1871). Происходил из крестьян Курляндской губернии. Закончил учительскую семинарию, успешно работал в волостной школе, написал в 1844 г. учебник для народной школы под названием «Детская радость или маленькая книжечка, с помощью которой дети легко, быстро и отчетливо могут выучиться читать» на латышском языке, а также учебное пособие по немецкому языку под названием «Паромщик». Но стремление его воспитывать учеников в национальном латышском духе, а также поддержка требований крестьян в годы народных волнений послужили в 1853 г. поводом к его отставке местным помещиком, содержащим школу, и закрытию самой школы. После неудачной попытки вернуться в школу через суд Спагис работал (в 1854–1859 гг.) управляющим в различных имениях в российских губерниях, затем изучал сельское хозяйство в Германии, вернувшись в Российскую империю, опять работал управляющим имениями, а также

помещичьими винокурнями [Bachmanis 1932: 30–59 ff.; Altements 1939–1940: 39912–39914]. В 1867–1869 гг. он жил в Москве и принимал самое деятельное участие в подготовке под руководством К. Валдемарса русско-латышско-немецкого словаря, см.: [Назарова 2006]. Кроме того, Спагис подготовил оставшиеся в рукописи русско-латышскую грамматику и учебник физики на латышском языке. Но в латышской социальной публицистике Спагис остался в первую очередь автором двух книг по крестьянскому вопросу. Первая брошюра — «Состояние латышского крестьянского сословия в Курляндии» [Spaģis 1860] — была написана как опровержение вышедшего в кенигсбергской газете лживого очерка, приукрашивавшего жизнь курземских (курляндских) крестьян. Спагис на конкретных примерах показывал истинное тяжелое положение крестьян и помещичий беспредел. Другая книга — на ту же тему, с публикацией большого количества законодательных документов, статистических исследований и прочих свидетельств, сопровождавшихся критическим анализом, — появилась в 1863 г. [Spaģis 1863]<sup>12</sup>. Книга, написанная по-немецки, имела большой резонанс в общественных кругах и в Европе, и в России. Очевидно, именно ее упоминает Валдемарс в письме к Чижову. Судя по тексту письма, книгу Валдемарс послал ему по собственному желанию, но определенно знал, что Чижов ею заинтересуется, поскольку положение прибалтийского крестьянства было постоянно в поле зрения славянофилов.

Надо полагать, что речь об устройстве Спагиса на работу уже шла раньше. Записка, о которой говорится в письме, и в которой, вероятно, Спагис сообщает сведения о себе и своих возможностях как работника, в архиве Чиждова отсутствует. Валдемарс, лучше знавший Чиждова, чем Спагис, вносит такие дополнения, которые, по его мнению, полнее характеризовали бы его друга. Не случайно Валдемарс упомянул о помощи Спагиса родственникам. Сам Чижов всю жизнь заботился и о своих родственниках, и о близких знакомых (например, о сестрах Гоголя, которым Чижов пересылал деньги, вырученные за продажу собрания сочинений писателя [Либерман 1907/8: 21; Чероков 1902: 33]).

В памятном очерке о Спагисе Ф. Бривземниекс писал, что в 1869 г. (месяц неизвестен) тот уехал из Москвы работать управляющим одного из имений князя Мещерского в Смоленской губернии [Brīvzemnieks 1909: 13]. Чижов был знаком с князем [Дневник 1876: л. 25 и др.]. Из письма следует, что Мещерскому рекомендовал Спагиса Чижов.

<sup>12</sup> Латышский историк А. Алтементс, изучив архивные документы, предположил, что значительная часть этой книги могла быть написана Кр. Валдемарсом [Altements 1939/40: 39914].

Письмо, о котором идет речь, не датировано. Точно определить время его написания не представляется возможным. Известно, что русско-латышско-немецкий словарь, в составлении которого участвовал Спагис, был подготовлен к печати уже летом 1968 г. [Sarakste: № 52, 53, 153, 154]. Бюджет словаря был невелик, деньги поступали нерегулярно. Валдемарс вряд ли мог много заплатить Спагису за работу. Поэтому обратиться к Чижову за помощью в трудоустройстве своего друга Валдемарс мог уже вскоре после этого. В своих воспоминаниях Бривземникс писал, что еще в начале 1869 г. Спагис помогал ему в переводах на латышский и немецкий языки [Brīvzemnieks 1991: 52]. Иначе говоря, уехал он в Смоленскую губернию весной 1869 г. Таким образом, письмо Валдемарса к Чижову было написано в промежутке между концом лета 1868 г. и началом 1969 г. По словам Бривземникса, Спагис покинул имение Мещерского весной 1871 г., чтобы на сэкономленные деньги начать какое-нибудь свое дело [Brīvzemnieks 1909: 13]. Остановившись на некоторое время в Москве, он отправился на Волгу. Чем Спагис собирался заниматься, неизвестно, так же, как и то, почему он выбрал для воплощения своих замыслов Поволжье и почему решил обосноваться именно в Саратове, где и умер от холеры в июле 1871 г. До Москвы известие об этом дошло только 1 августа [Ibid.: 14].

Таким образом, три небольших письма позволяют расширить уже имеющиеся представления об отношениях между лидерами латышского национального возрождения и русской интеллигенцией, а также об их совместном участии в развитии такой важной отрасли российской экономики, как торговое мореходство.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### ПИСЬМА К. ВАЛДЕМАРСА К Ф. В. ЧИЖОВУ

Письма приводятся в оригинале с сохранением орфографии подлинника (за исключением не употребляющихся букв алфавита). К. Валдемарс учился в немецкой гимназии и в университете с немецким языком преподавания. В России, куда он попал только в 1859 г., также в значительной мере общался по-немецки или по-латышски (с супругой, ближайшими соратниками, работая в газете «St.-Peterburger Zeitung», в московской латышской общине, в переписке и т. п.). Основательной подготовки по русскому языку у него никогда не было. Писать по-русски ему было достаточно трудно. Отсюда грамматические и стилистические ошибки в письмах, сохраненные в настоящей публикации.

№ 1

Без даты.

Имею честь кланиться от Сергея Серг. Лошкарева, который поднял сильно вопрос о торговом флоте по появлении наших общих трудов г.<sup>1</sup> «Москве», III отдел. вольного экономического общества теперь весьма внимательно преследует этот вопрос, оно изъявило благодарность г. Аксакову за передовую статью в № 12 г. «Москвы» и пр., оно ставляет вопросы о<sup>2</sup> привилегиях и пошлинах и пр.<sup>2</sup> и разрешает оныя в собраниях и пр. и пр. Сколько пользы принесут эти прения, еще не известно, но интерес к делу растет.

В городе Николаеве на Черном море тоже занимаются этим делом уволенные офицеры военного флота, как видно, кроме прочим из Николаевского вестника 28 марта нын. г. — но к сожалению эти офицеры показываются совершенно неспособными<sup>3</sup> понять необходимость свободы для моряков. Большие денежные пособия для офицеров и невольничество для матросов — вот их вечный<sup>4</sup>, несчастный<sup>4</sup> программ в кратце.

Ваш покорнейший  
Х. Вольдемар

<sup>1</sup> вставлено над строкой;

<sup>2-2</sup> вставлено над строкой;

<sup>3</sup> подчеркнуто автором;

<sup>4-4</sup> вставлено над строкой.

ОР РГБ. Ф. 332 (Ф. В. Чижова), карт. 19, ед. хр. 486, л. 4.

Письмо написано чернилами на одинарном листе бумаги, обрезанном или аккуратно оторванном снизу.

№ 2

Без даты.

Уважаемый государь  
Федор Васильевич.

(л. 2) К приложенной здесь записке<sup>1</sup> г. Спаг, составленной им по Вашему приказанию, я имею честь прибавить, что он получил как управляющий именьями разная жалованья, 500, 700 и наконец 1000 рублей сер. Теперь он за неимением занятий и доходов, и по случаю слабости глаз, недозволяющих<sup>2</sup> заниматься литературными делами, находится в весьма стеснительном положении. Свои денежные сбережения он израсходовал прежде отчасти на вспомоществования своих бедных родственников в Курляндии<sup>3</sup>, отчасти на посещение германских учебных

заведений (имеющий уже 40 лет от роду!!) и отчасти на издание приложенной при сём книги, которую он должен был напечатать на свой счет за границую.

(л. 2 об.) Хотя патриотический труд сочинителя достиг цели и обращал внимание на ненормальное положение этого края, — а автор должен был пожертвовать не только своим трудом, но и ещё последними своими деньгами.

Вот причина, дающая мне смелость, просить Вас при первом случае иметь его в виду, при практических занятиях. Его деятельность в качестве управляющего разными имениями и винокуренными заводами, сделала, кажется, его способным к различным промышленным занятиям (между прочим, может быть, при исполнении торговых и пр. поручений из внутренних городов к прибалтийским, и даже заграничным портам, при сооружении Ярославской железной дороги при амбарных надзорах и контролях и пр. и пр.<sup>1</sup>

Ваш покорный слуга  
Х. Вальдемар

<sup>1</sup> записка отсутствует;

<sup>2</sup> далее в скобках было написано и зачеркнуто слово «безпрерывно»;

<sup>3</sup> вставлено над строкой;

<sup>4</sup> скобка не закрыта.

ОР РГБ. Ф. 332 (Ф. В. Чиждва), карт. 19, ед. хр. 486, л. 2, 2 об., 3, 3 об.  
Написано чернилами на двойном листе бумаги, текст на л. 2 и 2 об.

№ 3

15 апреля 1876 г.

Императорское Общество  
для содействия русскому  
торговому мореходству  
от Члена-Делопроизводителя  
Адрес Мясницкая Кривое колено,  
дом Сытова, квартира 3  
№ 408

Милостивый государь  
Федор Васильевич,

Покорнейше прошу оказать честь и нравственную поддержку Обществу личным присутствием на имеющем быть завтра Общем Собрании (16<sup>го</sup> Апреля в 7½ ч. вечера в Славянском Базаре).

Имею честь быть  
Вашим  
Милостивый государь  
покорнейшим слугой  
Х. Вальдемар

ОР РГБ. Ф. 332 (Ф. В. Чиждва), карт. 19, ед. хр. 486, л. 1.

Написано чернилами на бланке члена-делопроизводителя Общества для содействия русскому торговому мореходству, с указанием порядкового номера письма.

#### СПИСОК АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Дневник 1863–1871 — Дневник Ф. В. Чиждва за 1863–1871 гг. // ОР РГБ. Ф. 332 (Ф. В. Чиждва), карт. 2, ед. хр. 10.  
Дневник 1871–1873 — дневник Ф. В. Чиждва за 1871–1873 гг. // ОР РГБ. Ф. 332 (Ф. В. Чиждва), карт. 2, ед. хр. 11.  
Дневник 1874 — Дневник Ф. В. Чиждва за 1874 г. (март – август) // ОР РГБ. Ф. 332 (Ф. В. Чиждва), карт. 3, ед. хр. 1.  
Дневник 1876 — Дневник Ф. В. Чиждва за 1876 г. // ОР РГБ. Ф. 332 (Ф. В. Чиждва), карт. 3, ед. хр. 4.  
Нынешнее развитие — (II Статья о торговом мореплавании). Нынешнее развитие торговых флотов всего мира // ОР РГБ. Ф. 332 (Ф. В. Чиждва), карт. 76, ед. хр. 21.  
Список — Список подписчиков на «Рижский вестник» в 1869 г. // ОР РГБ. Ф. 332 (Ф. В. Чиждва), карт. 5, ед. хр. 20.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Беседы Беседы о севере России в 3 отделении Императорского Вольного Экономического общества. СПб., 1867.  
Биронс 2006 — А. Биронс. Кришьянис Валдемарс — общественный деятель и человек (1825–1891) // Россия и Балтия. Вып. 4. М., 2006.  
Вальдемар 1860 — Х. Вальдемар. Русский торговый флот, в особенности Балтийский, его состояние, развитие и будущность // Санкт-Петербургские ведомости. 1860. № 10, 11 (Также издана отдельной брошюрой: СПб., 1860).  
Вальдемар 1862 — Х. Вальдемар. О преподавании наук мореплаваная // Морской сборник. 1862. № 4.  
Вальдемар 1863 — Х. Вальдемар. Сколько у нас мореходов? О нашем прибалтийском населении и наборе для флота из наших рыбаков вообще // Морской сборник. 1863. № 10.  
Вальдемар 1866 — Х. Вальдемар. О развития мореплаваная у латышей // Морской сборник. 1866. № 10.  
Вальдемар 1867 — Х. Вальдемар. Нынешнее развитие торговых флотов всего мира // Москва. 1867. № 19.  
Гранат 1925 — Энциклопедический словарь Гранат. 7-е изд. Т. 48. Л., 1925.

- Ильин 1867 — *Н. Ильин*. Об основании коммерческой верфи в Николаеве // Николаевский вестник. 1867. № 25.
- Исаков 1961 — *С. Г. Исаков*. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов. Тарту, 1961.
- Ковальчук 1993 — *С. Ковальчук*. Славянофилы и их обоснование перехода латышских крестьян из лютеранства в православие (начало 40-х – начало 70-х гг. XIX века) // *Religija. Vēsture. Dzīve. Rīga*, 1993.
- Краевска 2006 — *Б. Краевска*. Христиан Иоганн Даль: капитан, педагог, полярик // *Россия и Балтия*. Вып. 4. М., 2006.
- Либерман 1907/8 — *А. А. Либерман*. Памяти Федора Васильевича Чижова. М., 1907–1908.
- Лошкарев 1847 — *С. С. Лошкарев*. Участие Императорского Вольного экономического общества в трудах Императорского Московского общества сельского хозяйства. М., 1847.
- Михайлова 2005 — *Ю. Л. Михайлова*. Вопрос о переводе латышского языка на кириллический алфавит в 1860-е – 70-е годы на страницах русской прессы // Исторический путь литовской письменности. Вильнюс; М., 2005.
- Михайлова 2006 — *Ю. Л. Михайлова*. «Балтийский вопрос с правительственной точки зрения»: П. А. Валуев и его роль в управлении Прибалтийским краем в 1860-е гг. // *Россия и Балтия*. Вып. 4. М., 2006.
- Москва-флот — Москва в истории российского флота. М., 1996.
- Назарова 1999 — *Е. Л. Назарова*. К 125-летию Императорского Общества для содействия русскому торговому мореходству // *Отечественная история*. № 4. 1999.
- Назарова 2000 — *Е. Л. Назарова*. Латышская интеллигенция в России. Вторая половина XIX в. (К проблеме самосознания нетитульной нации в многонациональном государстве) // *Россия и Балтия*. Вып. 1. М., 2000.
- Назарова 2005 — *Е. Л. Назарова*. Русский язык как инструмент русификации/обрусения Остзейского края в политике властей и представлениях общественности Российской империи XIX в. // *Исторический путь литовской письменности*. Вильнюс, 2005.
- Назарова 2006 — *Е. Л. Назарова*. Словари Кришьяниса Валдемарса // *Россия и Балтия*. Вып. 4. М., 2006.
- Симонова 2002 — *И. А. Симонова*. Федор Чижов. М., 2002 (Серия: ЖЗЛ).
- Чероков 1902 — *А. Чероков*. Федор Васильевич Чижов и его связи с Н. В. Гоголем. Биографический очерк. М., 1902.
- Altements 1939–1940 — *A. Altements*. Andrejs Spāģis // *Latviešu konversācijas vārdnīca*. 20. sēj. Rīga, 1939–1940.
- Bachmanis 1932 — *K. Bachmanis*. Andrejs Spāģis un viņa laikmets. Rīga, 1932.
- Brīvēznieks 1909 — *F. Brīvēznieks*. Andrejs Spāģis // *Brīvēznieka raksti*. 1. sēj. Rīga, 1909 (Первая публикация очерка в газ. «Baltijas Vēstnesis». 1872. № 21–23).
- Brīvēznieks 1991 — *F. Brīvēznieks*. Autobiogrāfiskas skices. Rīga, 1991.
- Sarakste — *Krišjānis Valdemārs*. Lietišķā un privātā sarakste. Rīga, 1997. 1. sēj.
- Spāģis 1860 — *A. Spāģis*. Die Zustände des freien Bauernstandes in Kurland. Leipzig, 1860.
- Spāģis 1863 — *A. Spāģis*. Die Zustände des freien Bauernstandes in Kurland nach dem Gesetze und der Praxis im Lichte des modernen Russlands. Leipzig, 1863.
- Woldemar 1857 — *C. Woldemar*. Über die Heranziehung der Letten und Esten zum Seewesen // *Das Inland*. 1857. № 18, 19.

IN MEMORIA



**Лидия Георгиевна Невская**  
(19 октября 1938 – 19 мая 2008)



После окончания русского отделения филологического факультета Московского университета (1961) Лидия Георгиевна несколько лет работала в группе этимологического словаря того же факультета, но уже с 1966 года ее научная деятельность была связана с Институтом славяноведения, где были созданы все ее труды, принесшие ей известность в среде коллег как в нашей стране, так и за рубежом. В 1977 г. вышла в свет ее книга «Балтийская географическая терминология (к семантической типологии)», написанная на основе кандидатской диссертации, выполненной под руководством В. Н. Топорова и защищенной в 1974 г. Эта книга продолжила ряд монографических исследований географической терминологии славянских языков, появившихся в 50-е и 60-е годы и принадлежащих перу известных славистов (Ф. Безлая, Г. Шютца, П. Нитше, М. Юрковского, Н. И. Толстого и др.); благодаря этим трудам, географическая номенклатура оказалась одним из наиболее тщательно изученных разрядов славянской лексики. В книге исследо-

вано под семантическим углом зрения более полутора тысяч географических апеллятивов, преимущественно литовских, в сопоставлении со славянскими и установлены общие для славянского и балтийского закономерности их семантической организации в рамках микрополей «Болото», «Возвышенный рельеф», «Низинный рельеф», прослежено взаимодействие географических терминов с другими семантическими полями (части тела, строительство, болезни и др.). Уже в этой работе проявился интерес Лидии Георгиевны к тому, что стоит за словом, к сохраняющимся в языке архаическим представлениям об устройстве мира.

В последующие годы Лидия Георгиевна расширила объект своих исследований, обратившись к обрядовым и фольклорным текстам, — сначала к балтийскому погребальному обряду и его терминологии («Погребальный обряд в Пелясе (структура и терминология)», 1980), а затем к сравнительному изучению структуры и семантики балтийских и славянских текстов похоронных причитаний. Еще до выхода книги «Балто-славянское причитание. Реконструкция семантической структуры» (1993) публикации Лидии Георгиевны по отдельным сюжетам этой большой темы привлекли внимание лингвистов и фольклористов своим глубоким и тонким анализом, сочетающим в себе собственно лингвистический (семантический, этимологический) и культурологический (семиотический) подход. Особенно широкий отклик получили статьи «Семантика дома и смежных представлений в погребальном фольклоре», «К типологии *пестрого* в балто-славянском», «Концепт *гость* в контексте переходных обрядов», «Повтор как особенность поэтики ритуального текста» и др. Книга, объединившая эти и другие работы, удостоилась похвальных рецензий в таких авторитетных зарубежных журналах, как *Recherche Slavistique* (Roma, 1994, vol. 4) и *Russian Linguistics* (1997, vol. 21, no 3). В своем отношении к тексту Лидия Георгиевна была подлинным филологом, для которого в тексте важно все, начиная от его звуковой организации и кончая его функцией и «прагматикой». Но главное в тексте — его смыслы, как выраженные эксплицитно, так и скрытые, глубинные, которые могут быть реконструированы только в предельно широком контексте языка, фольклорного жанра, ритуала, мифологической картины мира.

Лидия Георгиевна была членом редколлегии «Балто-славянских исследований» (с самого начала и до последнего выпуска), одним из редакторов широко известного сборника «Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд» (1990), ответственным секретарем редколлегии двух томов этой же серии, посвященных загадке («Загадка как текст», 1994, 1999), участником многих других изданий.

Человек исключительно тонкой душевной организации и истинного благородства, Лидия Георгиевна своим присутствием делала этот мир возвышенной и чище. С ее уходом в нашей жизни стало меньше тепла и света. Остаются ее книги и статьи. Но тем, кто знал и любил ее со студенческих лет, кто бы мог сказать словами поэта: «почти не может быть, ведь ты была всегда», тем остается еще память о ее обаятельном облике, трепетном голосе, старомосковском выговоре, залихватом смехе и — о том поразительном мужестве, с каким она переносила выпавшие на ее долю испытания. Чем человек тоньше, тем он более стоек к ударам судьбы. Это ее слова, подтвержденные ее жизнью.

С. Т.

## Памяти А. П. Непокупного



25 октября 2006 г. не стало Анатолия Павловича Непокупного — члена-корреспондента Национальной Академии наук Украины, выдающегося специалиста в области балтийского, славянского и германского языкознания, ареальной лингвистики, лингвистической географии, семасиологии и этимологии, историка балтийских и славянских литератур, культуролога, поэта и переводчика. Не так давно — 18 марта 2002 г. — отмечался его 70-летний юбилей, которому в XV-м выпуске «Балто-славянских исследований» [2002: 619–620] была посвящена специальная публикация акад. В. Н. Топорова.

Наряду с В. Н. Топоровым, А. П. Непокупный является одним из крупнейших исследователей балто-славянских языковых отношений, в том числе сохраняемых славянскими языками реликтов прусского и других вымерших балтийских языков.

При всей широте научных интересов Анатолия Павловича, в них прослеживается явная доминанта — внимание к слову (в самом широком смысле и во множестве его конкретных воплощений — слову балтийскому, славянскому, апеллятивам, гидронимам и проч.) преимущественно в его содержательном аспекте (значение) через призму тщательно исследуемых пространственно-временных координат. Труды Непокупного всегда строго следуют законам сравнительно-исторического языкознания и исторической диалектологии изучаемых языков, открывая при этом немало нового для этих научных дисциплин.

Показательно, что он чрезвычайно высоко ценил всякое точное, меткое, насыщенное смысловой глубиной речение или изречение. Мно-

гим знавшим его известна история с эпиграммой, которую акад. О. Н. Трубачев адресовал Непокупному после чтения (в качестве оппонента, в 1975 г.) его докторской диссертации «Балто-севернославянские языковые связи».

Вместо знаменитого

И неподкупный голос мой  
Был эхо русского народа

появилось

И непокупный голос мой  
Был эхо прусского народа.

Впечатление, которое произвел на А. П. Непокупного эпизод со стихами и писанием отзыва на диссертацию (отзыв О. Н. Трубачева ему очень помог), несомненно, осталось у него на всю последующую жизнь. Как будто наяву видятся хищно сощуренные густые брови Непокупного, торжество в его глазах при пересказе истории с отзывом и саркастические интонации: «Что?! А?! Как?!» — дескать, кто еще сможет так написать!?

Лингвистические монографии А. П. Непокупного, относительно небольшие и немногочисленные<sup>1</sup>, служат примером того, что принято называть перфекционизмом, и прекрасно соответствуют формулировке «томов премногих тяжелей». Их влияние на балто-славянское языкознание, в полной мере еще не оцененное, несоизмеримо с их количественными показателями. Не меньшее значение имеют его многочисленные статьи (в журналах «Мовознавство», «Baltistica» и многих других изданиях) и иные публикации. Представляется, что в среде балтистов труды Непокупного известны гораздо лучше, нежели в среде славистов, и в этом смысле нуждаются в своего рода пропагандировании. Игнорирование трудов Непокупного весьма негативным образом

<sup>1</sup> Ареальные аспекты балто-славянских языковых отношений. Киев, 1964; Балто-севернославянские языковые связи. Киев, 1976; Балтійські родичі слов'ян. Київ, 1979 (в литовском переводе: Baltai slavų giminaičiai. Vilnius, 1983). Сюда примыкают созданные при активном участии А. П. Непокупного, под его руководством и редакцией коллективные монографии: Общая лексика германских и балто-славянских языков. Киев, 1989; Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков. Киев, 2005. К сожалению, автору этих строк ничего не известно о «новой книге», подготовившейся Анатолием Павловичем в последние годы жизни, о чем говорится в упомянутой выше юбилейной публикации В. Н. Топорова (Балто-славянские исследования. XV. М., 2002. С. 620). В принципе, не исключено (узнать теперь, увы, уже не у кого), что речь идет о названных «Очерках по сравнительной семасиологии...» 2005 года издания.

сказалось на трактовке в праславянской лексикографии целого ряда важных лексем, например \**bedro*, \**gora*, \**griva*, \**dyorbъ*, \**dvьrbъ*, \**lьkno*. Кроме того, оно лишило ее ценных лексических славянских данных (как можно более полный их отбор с самого начала составлял важный аспект конкуренции московского и краковского праславянских словарей), в том числе полевых записей А. П. Непокупного.

Выигрышной стороной научной деятельности А. П. Непокупного, которой могут похвастаться далеко не все балтисты и слависты, даже ведущие (правда, как правило, не по своей вине), было то, что он в течение многих лет подолгу, на месте изучал свой языковой материал — так сказать, в среде его обитания. И, естественно, прекрасно знал саму эту среду. В ноябре 2001 г. во время экскурсии в Друто Парке, устроенной организаторами конференции памяти К. Буги в Вильнюсе, автору этих строк посчастливилось быть там с Анатолием Павловичем, который встретился со статуями советских вождей как со старыми знакомыми: вот эта статуя стояла там-то в Клайпеде, а та — в Шяуляе и т. д.

Знание материала не только по книгам и словарям, но и живую, непосредственно, было одним из факторов, сообщавших трудам Непокупного высокую степень конкретности и достоверности. К этому следует добавить превосходное знание географии — и физической, и историко-лингвистической.

Научные труды Анатолия Павловича отличаются логичностью и очень высокой степенью эксплицитности. Каждое звено рассуждений развернуто, ничего не дается небрежно и мимоходом, ничего не умалчивается — как у хорошего пианиста, у которого слышна каждая нота.

В трудах Непокупного виден чрезвычайно конструктивный подход к деятельности других ученых, умение увидеть в них не предмет или повод для критики, упреков, но опору для прогресса лингвистического знания в самом широком смысле слова — от этимологии конкретного слова до обоснования семасиологических фреквенталий или обобщений, касающихся лингвистической географии или истории науки. Сюда примыкает следующее: оптимистическая, можно сказать, жизнеутверждающая в целом общая тональность научных трудов А. П. Непокупного и, как представляется, лежащая в ее основе вера в осмысленность бытия. То, что делалось до меня и будет после меня, — не напрасно, все ведет к складыванию из отдельных приношений единого здания науки.

И неслучайно его разработки по отдельным словам часто включают взгляд на эти слова с точки зрения истории балтийской, в частности древнепрусской, этимологии. Очень характерно название его доклада в

Вильнюсе на упомянутой конференции памяти К. Буги в 2001 г.<sup>2</sup>, где он рассматривает конкретные факты прусского языка в свете традиции, идущей от Ф. Нессельмана к Р. Траутманну, затем к Я. Эндзелину и, наконец, к В. Н. Топорову и В. Мажюлису.

Несомненно, что А. П. Непокупному принадлежит множество убедительных (и оригинальных) разработок по этимологии славянских и балтийских слов. Он обладал весьма редким даром строить не этимологические версии (прикидывая — может быть так, а может быть и эдак), но дать одно, убедительное и обязательно красивое решение, эвристическая ценность которого не только в этимологии, но и в превосходной разработке проблематики «Wörter und Sachen», лингвогеографической стороны дела и истории привлекаемых текстов и т. п. — так сказать, инструментовке этимологической мелодии. Чего стоит одна только «инструментовка» его превосходного объяснения прус. *prestors*!<sup>3</sup>

Нет сомнений, что проводившиеся А. П. Непокупным исследования имеют не только большое научное, но и высокое нравственное значение — будь то экспедиционно-диалектологические разыскания (фиксация исчезающих диалектных данных) или анализ данных вымерших балтийских языков, гидро-, топо- и антропонимии. Естественно, плодотворную работу в этих областях можно поставить в заслугу не одному Непокупному, но вместе с другими особенностями его научного наследия она составляет неповторимое целое, которое, наряду с незабвенным обликом самого Анатолия Павловича, будет оставаться для всех знавших его настоящим даром судьбы и уроком на будущее.

А. Е. Аникин

<sup>2</sup> А. П. Непокупный. Три этапа в изучении Эльбингского словаря и этимологизация двух прусских зоонимов // Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Vilnius, 2001.

<sup>3</sup> А. П. Непокупный. Прусское название христианского священника: *prestors* EV 707 // Colloquium Pruthenicum Secundum. Kraków, 1998.

## ГИНТАРАС БЕРЕСНЯВИЧЮС

(6 июля 1961 — 6 августа 2006)



Летом 2006 года при трагических и до сих пор до конца не выясненных обстоятельствах из жизни неожиданно ушел молодой и выдающийся литовский религиовед, прозаик, публицист и эссеист Гинтарас Береснявичюс.

Г. Береснявичюс родился в Каунасе, здесь прошло его детство и отрочество, здесь он прожил половину своей короткой, интенсивной и удивительно плодотворной творческой жизни. В 1979 году Гинтарас Береснявичюс окончил 26-ю Каунасскую школу (с 2001 г. школа им. Симонаса Даукантаса), в 1979–1984 годах изучал историю в Вильнюсском университете (ВУ). Закончив университет, на 2 года был призван в советскую армию в качестве офицера бронетанковых войск, служил в Тбилисском военном округе, в Ереване, затем в Нахичеване. В 1986–1989 годах работал ассистентом на кафедре философии Каунасского политехнического института (КПИ), в 1990–1999 годах преподавал на кафедре этнологии и фольклористики Каунасского университета им. Витаутаса Великого (УВВ), с 1990 года до конца жизни работал в Вильнюсе, в Институте культуры, философии и искусства научным сотрудником (с 2004 года — старшим научным сотрудником) Отдела культуры балтов. С 1995 года по совместительству работал также в Центре исследования религий Вильнюсского университета в должности доцента, одновременно преподавал историю религий и литовскую религию и мифологию в Вильнюсской академии искусств и в Литовской музыкальной академии. Г. Береснявичюс был создателем и председателем Общества религиоведов Литвы, членом редколлегии научного журна-

ла «Darbai ir dienos», сотрудником журнала «Naujasis židinys», ответственным за раздел журнала «Metai», редактором отдела религии еженедельника «Šiaurės Atėnai».

За свою короткую жизнь Береснявичюс успел опубликовать более шестидесяти научных статей по проблемам истории и теории религии балтов, издал 21 книгу (в том числе 7 научных монографий, 2 учебника, 2 словаря, 3 романа, 4 сборника эссе), около 500 публицистических статей, эссе, рецензий и научно-популярных статей, более десятка новелл.

Литературные достижения Г. Береснявичюса были оценены по достоинству: в 1997 году он был награжден премией по новеллистике литературного журнала «Nemunas» и премией по публицистике еженедельника «Literatūra ir menas», в 2000 году — премией Друскининкайской поэтической осени за поэтический дебют (за поэзию в эссеистике) и премией Министерства культуры за эссеистику, в 2001 году — премией Президентуры Литвы за сборник эссе по истории Литвы «Ant laiko ašmenų» («На острие времени»). Посмертно ему была присвоена Премия Ассоциации деятелей искусств Литвы. Произведения Г. Береснявичюса были переведены на датский, латышский, хорватский языки. Однако богатое научное наследие Г. Береснявичюса еще ждет своих ценителей и исследователей.

Г. Береснявичюс многим известен как замечательный писатель, но в первую очередь он был исследователем мифологии и религии древних балтов, религиоведом, перу которого принадлежат такие замечательные монографии, как: «Dausos. Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje» («Рай. Концепция посмертной жизни в мировоззрении древних литовцев») (Klaipėda, 1990); «Baltų religinės reformos» «Религиозные реформы балтов» (Vilnius, 1995); «Religijotyros įvadas» «Введение в религиоведение» (Vilnius, 1997); «Religijų istorijos metmenys» «Основы истории религий» (Vilnius, 1997); «„Eglė žalčiui karalienė“ ir lietuvių teogoninis mitas» «„Эгле — королева ужей“ и литовский теогонический миф» (Vilnius, 2003); «Palemono mazgas. Palemono legendos periferinis turinys» «Узел Палемонаса. Периферийное содержание легенды о Палемоне» (Vilnius, 2003); «Lietuvių religija ir mitologija: sisteminė studija» «Литовская религия и мифология: системное исследование» (Vilnius, 2004).

Диссертацию доктора гуманитарных наук по этнологии — «Концепция посмертной жизни в мировоззрении древних литовцев» («Pomirtinio gyvenimo samprata senovės lietuvių pasaulėžiūroje») Г. Береснявичюс защитил в 1993 году в УВВ под руководством профессора Норбертаса Велюса. В этом же году Береснявичюс отправился на ста-

жировку в Боннский университет в Германию. Стажировка и общение с профессором Удо Арнольдом для него оказались очень плодотворными и существенно повлияли на дальнейшие его исследования в области религиоведения.

В 1996 году, после смерти профессора Н. Велюса, Г. Береснявичюс в полной мере принял эстафету исследователя литовской мифологии и религии, продолжил незаконченную профессором работу по изданию III тома хрестоматии по литовской мифологии (*Lietuvių mitologija*. Т. 3. Vilnius, 2004).

Уже первые книги Г. Береснявичюса — «Рай» и «Религиозные реформы балтов» — ворвались как порыв свежего воздуха в кабинеты исследователей литовской мифологии. Эти оригинальные произведения вновь подняли вопрос о периодизации истории религии балтов, открыли новую страницу в исследованиях литовской и балтийской религии и мифологии. После этих исследований Г. Береснявичюса совокупность знаний по мифологии балтов наконец приобрела хронологически структурированный религиозный контекст. Без преувеличения можно сказать, что этими исследованиями Г. Береснявичюс положил начало новому этапу в познании культуры балтов; уверенно дебютируя в качестве первого литовского религиоведа, именно он превратил исследование по балтийской *мифологии* в исследования *религии* балтов.

Статьи и исследования Г. Береснявичюса отличаются необыкновенной широтой кругозора, обилием сравнительного материала. Реконструируя основные концепты балтийской религии и мифологии, он обращается не только к индоевропейской мифологии, но и, например, к культурам сибирских шаманов, папуасов Новой Гвинеи, индейцев Калифорнии, тайцев, корейцев, монголов, индийских дравидов, племен предгорьев Тибета. Сравнение разнообразных мифологических и религиозных структур позволило Г. Береснявичюсу обнаружить важнейшие составляющие религии балтов и определить возможные формы ее исторических трансформаций. Умело применяя сравнительный метод и пользуясь только одному ему присущей способностью «разговорить» отдельные, хорошо всем известные и, казалось бы, уже не могущие ничего нового сказать факты исторических источников, Г. Береснявичюс совершает чудо — воскрешает целые пласты древних религиозных представлений балтов. Чего стоят одни только его выводы при анализе организационной структуры жреческого сословия балтов и значимости балтийских святилищ в религиозном и политическом контексте, к которым он приходит, опираясь на зафиксированные только в исторических источниках сведения о том, что балтийские жрецы в святых местах разжигали и поддерживали Вечный огонь.

В 2004 г. вышло в свет долгожданное системное исследование по религии и мифологии балтов «Литовская религия и мифология: системное исследование», в которой Г. Береснявичюс впервые в мировой балтистике систематизировал комплексы религиозных представлений балтов и попытался объединить их в мировоззренческую совокупность, стараясь последовательно воссоздать общий вид реально функционировавшей литовской религии и мифологии. Исследуя мифологические мотивы, сохранившиеся в фольклоре, и свидетельства исторических источников, автор в пяти разделах этого произведения описал основные компоненты литовской религии: религиозную терминологию, характер культовых мест, функции священников, концепты богов, религиозных сил, души и посмертной жизни, а также космогонические и космологические представления. Опираясь на сравнительное религиоведение, Г. Береснявичюс не только обрисовал общую структуру религиозных представлений литовцев, но в то же время вписал ее в контекст религий, существовавших когда-то на просторах Северной, Центральной и Восточной Европы. Г. Береснявичюс уже в более ранних своих работах в общих чертах раскрыл синтетический характер древней литовской религии и описал ее трансформации в контексте религиозных реформ, тем самым он первым ярко обрисовал и этапы обратного процесса деструкции древней религии, произошедшего после экспансии христианства, таким образом соединив основы древней религии балтов, покрытых доисторическим туманом, со знаками балтийской религиозности, кроющимися в потоке этнических традиций XX в. и в синкретическом народном христианстве.

Научные труды Г. Береснявичюса очень высоко ценил В. Н. Топоров: «И если говорить о том, с кем я связываю наибольшие надежды... это с Береснявичюсом», — говорил он в 2001 году кинодокументалисту А. Тарвидасу. — «Он серьезный ученый, и, Вы понимаете, что ценно, — ценно, когда сам ученый человек чувствует себя представителем, частицей того мира, мифологию которого он описывает. А второе чрезвычайно важное положение — это умение подняться над, так сказать, самостью и непосредственностью и увидеть это в более широком смысле. <...> Иногда нужно уметь преодолеть вот такую провинциальность: хорошую, добротную... иногда нужны более широкие контексты, более далекие горизонты, и вот мне кажется, что Береснявичюс к этому готов... Вы, пожалуйста, передайте ему мои добрые пожелания, скажите, что я жду от него новых работ и что направление его трудов, все, что мне попадаете на глаза, мне очень импонирует, в частности, его книга о религиозной реформе. Он — именно серьезный ученый».



Трагическая смерть не позволила Г. Береснявичюсу воплотить в жизнь многие яркие идеи, среди которых была и мечта заняться поисками следов древнего рунического письма в древнебалтской культуре, и намерение приступить к сравнительным исследованиям балтийской религии и японской национальной религии синто, в которых Береснявичюс видел много общего. В связи с этим в последние годы жизни он мечтал о поездке в Японию и искал контактов с японскими коллегами.

Занятия наукой для Г. Береснявичюса отнюдь не стали самоцелью, как для многих ученых, углубившихся и успешно специализирующихся в той или иной области научных изысканий. Свои знания и научный опыт, как и результаты своих исследований, он всегда старался ориентировать на поиски решения насущных проблем современности, на принятие вызовов, возникающих перед своей страной и народом, вступившим на путь глобальных испытаний XXI века. Будучи профессиональным историком и религиоведом, Г. Береснявичюс не боялся братья за роль творца, осмеливающегося не только изучать, но и продолжать традицию на основе достигнутого. Ярким примером этому служит его сочинение «Imperijos darymas: Lietuvių ideologijos metmenys: Europos Sąjunga ir Lietuvos geopolitika XXI a. pirmojoje pusėje» («Создание империи: Проект литовской идеологии: Европейский Союз и геополитика Литвы в первой половине XXI века», 2003), которым он уверенно врывается в сознание современника-литовца, подобно жрецу, воплощающему в своем слове унаследованные от предков знания и вдохновляющему соотечественников на применение этих знаний для современного мифотворчества, способному объединить и настроить народ на путь консолидации и выживания, на достижение самоутверждения и развития в условиях глобализации, нивелирующей культуры и суверенитеты. Сухой научный стиль был не в состоянии удовлетворить творческие порывы ученого, поэтому он многие свои чувства и идеи изящно кристаллизовал в оригинальных и талантливых эссе, зашифровал в романах и раскрыл в многочисленных публицистических произведениях.

Сухая академическая биография не способна представить и оценить этого чрезвычайно живого и интересного человека, отличавшегося научной сосредоточенностью, дисциплиной ума и логики, а вместе с тем и юношеским азартом, юмором и безграничной фантазией. Г. Береснявичюс был человеком свободным и в то же время в высшей степени толерантным, но никогда не поддавался всяким приспособленчества и конформизма по отношению к властвующей системе и бюрократизму. За свое откровенно равнодушное отношение к советским военным «наукам» на военной кафедре ВУ он был призван «послужить отчизне»

в советской армии (1984 г.), за игнорирование марксистско-ленинской философской методологии был уволен с кафедры философии КПИ (1989 г.), а за лекции студентам УВВ о критических идеях по отношению к католической Церкви немецкого теолога, психотерапевта и писателя О. Древермана (Drewermann) был изгнан из Каунасской Духовной семинарии, в которой в то время читал курс по литовской культуре (1995 г.).

Гинтарас писал чрезвычайно много. Вставал он в 4 часа утра и работал, работал. Не было дня, чтобы не появилось его новое сочинение, — куда только ни глянь, какие страницы ни полистай — везде Береснявичюс. Казалось, что он пишет с такой же скоростью, как и читает. А самое главное, что он не повторялся и никогда не испытывал недостатка в новых оригинальных идеях. Казалось, что внутри него кипит какой-то вулкан творчества — как будто в незатронутом историческими невзгодами жертвеннике горел Вечный огонь, через который предки осеняли его ум не зафиксированным нигде и никогда знанием — а Гинтарас Береснявичюс только успевал его записывать...

Я уверен, что тайна творческого феномена Гинтараса Береснявичюса кроется в свойственной ему удивительной способности проникнуть, прочувствовать и пережить глубинную мощь родной балтийской культуры. Нет ни одного сочинения Гинтараса, в котором это не ощущалось бы. Г. Береснявичюс нам показал своей жизнью, как нелегко этой мощью овладеть и каким творцом можно стать, овладев ею.

Й. Вайшкунас

Научное издание

**БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Сборник научных трудов

XVIII

Издатель А. Кошелев

Зав. редакцией М. Тимофеева

Корректор Т. Марелло

Оператор Е. Зуева

Оригинал-макет подготовлен А. Магамбетовым  
Компьютерная верстка статьи В. А. Дыбо, С. Болотова  
Художественное оформление переплета С. Жигалкина

Подписано в печать 22.12.2008. Формат 60 × 90<sup>1/16</sup>.  
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Times.  
Усл. печ. л. 40,5. Тираж 800 экз. Заказ № 1520.

Изд-во «Языки славянских культур». ОГРН 1037789030641.

Тел.: 607-86-93. E-mail: [Lrc.phouse@gmail.com](mailto:Lrc.phouse@gmail.com)

Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО ордена «Знак Почета»  
«Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова».  
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

**Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».**  
Тел./факс: (499) 255-77-57, тел.: 246-05-48, e-mail: [gnosis@pochta.ru](mailto:gnosis@pochta.ru)

**Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).**

Адрес: Зубовский проезд, 2, стр. 1  
(Метро «Парк Культуры»)

Foreign customers may order this publication  
by E-mail: [koshelev.ad@mtu-net.ru](mailto:koshelev.ad@mtu-net.ru)



БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

